

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ



ГОСЛИТИЗДАТ  
1949

1

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ**

**ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ**

**В. Я. КИРЕГИНА, Б. П. КОЗЬМИНА, П. И. ЛЕБЕДЕВА-ПОЛЯНСКОГО,  
Н. А. МЕЩЕРЯКОВА, И. Д. УДАЛЬЦОВА,  
Е. А. ЦЕХЕРА, Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**МОСКВА — 1939**

1

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**ТОМ I**

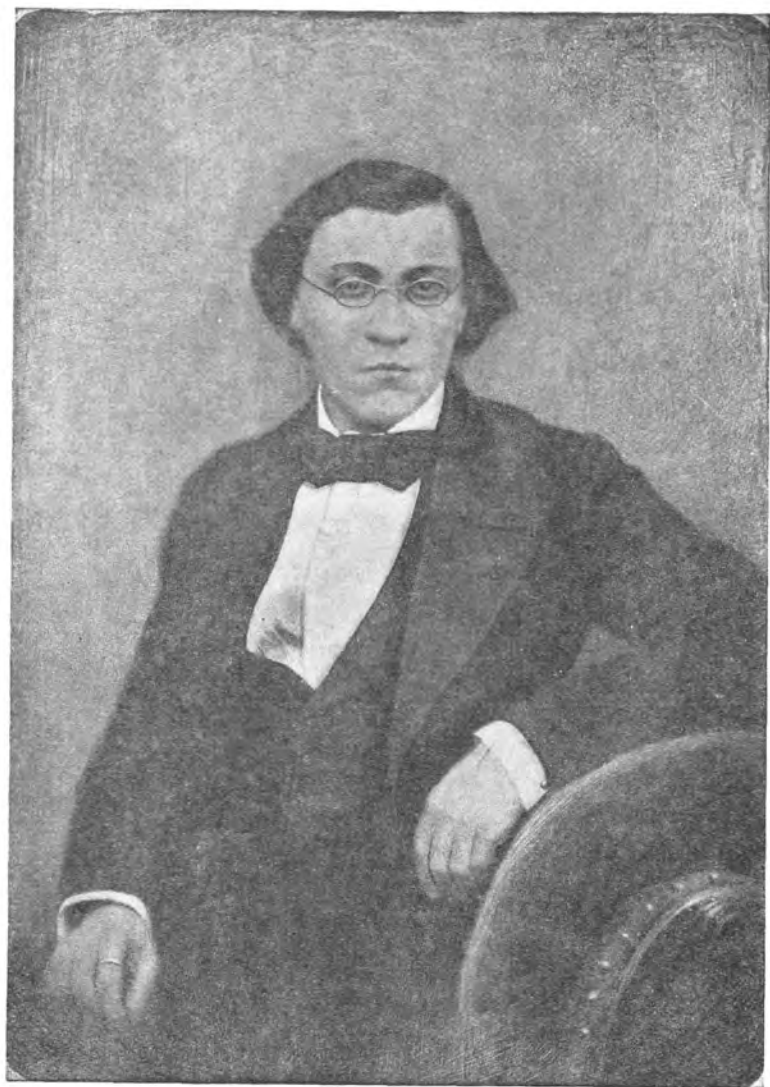
**ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. П. КОЗЬМИНА  
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ  
Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА—1939**

*Подготовка текста*

*Н. А. Алексеева и Н. М. Чернышевской.*





Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Дагерротип 1853 г. Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове

## ЛЕНИН О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Товарищ Н. К. Крупская, вспоминая об отношении В. И. Ленина к Чернышевскому, говорит: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек, к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрезвычайной мере»<sup>1</sup>.

Действительно, Ленин в своих книгах и статьях очень часто говорил о Чернышевском. В справочном указателе к сочинениям Ленина указано 39 отрывков, в которых он упоминает о Чернышевском. Кроме того, ряд упоминаний о нем находим в тех материалах — «Ленинских сборниках», которые не вошли в собрание сочинений.

Отзывы и замечания Ленина чрезвычайно глубоки и интересны. Но во всех своих отзывах о Чернышевском Ленин подходил к нему всякий раз с какой-нибудь одной стороны этого многогранного человека и не дал нигде исчерпывающей, суммирующей сводки своих характеристик, рассеянных в ряде статей и в ряде томов, характеристик, часто очень коротких, но глубоких по содержанию. Поэтому тот, кто захочет ясно представить себе полностью характеристику, которую Ленин давал Чернышевскому, должен сам произвести эту работу суммирования разрозненных замечаний. Настоящая статья и представляет попытку такого суммирования.

Ленин писал о Чернышевском:

«Демократ», «гениальный провидец», «наш русский великий утопист», «великий русский писатель», «великий русский социалист», «социалист-утопист», «величайший представитель утопического социализма», «последовательный боевой демократ», «замечательно глубокий критик капитализма», «великорусский демократ, отдавший свою жизнь делу революции», «русский великий социалист до-Марковского периода», «один из первых социалистов в Рос-

---

<sup>1</sup> А. Луначарский. «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности». «Вестник Коммунистической Академии», кн. 25.

сии, замученный палачами правительства». Некоторые из этих характеристик повторяются неоднократно.

В этих характеристиках часто встречаются две: «великий русский социалист» и «демократ». Ленин часто к слову «социалист» прилагал еще эпитет «утопический». Очевидно, Ленин видел характернейшую черту Чернышевского в том, что он был одновременно и «утопическим социалистом» (и притом «великим»), и «демократом».

И действительно, уже в брошюре «Что такое «друзья народа» Ленин, характеризуя конец 50-х и начало 60-х годов, писал:

«...та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность. Теперь нет уже решительно никакой почвы для той идеи, — которая и до сих пор продолжает еще кое-где держаться среди русских социалистов, крайне вредно отзываясь и на их теории и на их практике, — будто в России нет глубокого, качественного различия между идеями демократов и социалистов.

Совсем напротив: между этими идеями лежит целая пропасть, и русским социалистам давно бы пора понять это, понять неизбежность и настоятельную необходимость полного и окончательного разрыва с идеями демократов»<sup>1</sup>.

Но разве всякий социалист не должен быть демократом? Разве мы, строители социалистического общества, не создали наиболее демократическую из всех когда-либо существовавших конституций? Конечно, каждый социалист должен быть демократом, и если Ленин говорил, что «та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность», то это потому, что под словами «демократизм» и «социализм» он подразумевал особый вид социализма и демократизма.

Это не был научный социализм, как он был развит в работах Маркса, Энгельса и самого Ленина. Это был *утопический* социализм, характернейшей чертой которого было то, что он не знал пути к торжеству социализма через классовую борьбу пролетариата, через революцию, в которой вождь и гегемон выступает пролетариат, и далее через диктатуру пролетариата. А «демократизм», который имел в виду Ленин в вышеприведенной цитате, был не наш современный пролетарский демократизм, который вводит теперь в действие наиболее демократическую Сталинскую Конституцию, а крестьянский демократизм.

В самом деле, как представлял себе Чернышевский политический переворот в России и дальнейшее изменение общественного строя?

Главное зло современной ему русской жизни Чернышевский ви-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том I, стр. 170—171. (Везде цитируется по III изд. 1931 г.)

дел в крепостном праве. В 1858 году в статье «О новых условиях сельского быта» он писал:

«Дух сословия, имеющего главное участие в государственных делах, организация войска, администрация, судопроизводство, просвещение, финансовая система, чувство уважения к закону, народное трудолюбие и бережливость — все это сильнейшим образом страдает от крепостного права, все искажается им в настоящем, и сильнейшее препятствие в нем встречается каждым нововведением, каждым улучшением для будущего. Много говорили мы о наших недостатках и множество всевозможных недостатков находили в себе, но общий, главнейший источник всех их — крепостное право; с уничтожением этого основного зла нашей жизни каждое другое зло ее потеряет девять десятых своей силы».

Итак, крепостное право — вот основное зло. За это звено и должен был схватиться в то время политический деятель.

Каким же путем мыслил Чернышевский уничтожение крепостного права в России?

Он не ждал его ни от царя, ни от либеральных помещиков. Он был убежден, что настоящее, действительное освобождение крестьян, такое освобождение, которое будет произведено в их интересах, а не в интересах помещиков, может произойти только революционным путем.

«...если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский», писал Ленин в 1911 году в статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция»<sup>1</sup>.

«...Чернышевский был не только социалистом-утопистом, — продолжает Ленин несколько далее. — Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Крестьянскую реформу» 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он называл мерзостью, ибо он ясно видел ее крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский называл «болтунами, хвастунами и дурачьем», ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед властью имущими»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 143.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 144.

И действительно, в своем «Дневнике», где Чернышевский мог откровенно записывать свои мысли, он писал еще в 1850 году, что, по его мнению, Россия быстро идет к революции, что «мирное и тихое развитие невозможно», что «без конвульсий нет никогда ни одного шага в истории». В «Дневнике» за 1853 год он записал свой разговор с невестой. «У нас будет скоро бунт,— говорил он ей,— а если он будет, я буду непременно участвовать в нем... Недовольство народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно— когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость<sup>1</sup>, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Было много революционеров из среды интеллигенции, которые мечтали о революции. Но в то же время они, чуждые трудовым массам, боялись этой революции. Они боялись, что пролетариат и крестьянство, низвергнув власть эксплуататоров, став сами у власти, не сумеют оценить завоеваний культуры, что они разрушат культуру. Этому боялся, например, Гейне. А Чернышевский не имеет этих опасений. Он, очевидно, убежден, что, став у власти, трудящиеся сумеют не только сохранить старую культуру, но и создать новую, неизмеримо более блестящую. В этом виден глубокий, органический демократизм Чернышевского.

Приведенная выше выписка из «Дневника» Чернышевского не была для него пустыми словами. Он действительно все силы свои отдал делу пропаганды и подготовки революции. Он умел делать это блестяще, ловко обходя цензуру, а часто прямо издеваясь над ней, «чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати»<sup>2</sup>,— говорит Ленин, характеризуя Чернышевского. В другом месте Ленин отмечает «могучую проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров»<sup>3</sup>.

В конце 1861 года Чернышевский решил прямо при помощи написанной им прокламации обратиться к крестьянству с призывом готовиться к близкой революции.

Чернышевский был утопическим социалистом. Но в то время как великие утопические социалисты Западной Европы—Фурье, Оуэн и др.—думали, что их идеальный социалистический строй

<sup>1</sup> Чернышевский, как человек чрезвычайно скромный, говоря о себе, всегда старался выставить себя в смешном виде, выставить в преувеличенном виде свои недостатки или даже приписать себе такие, которых у него совсем не было. Так он делает и в данном случае. В действительности никакой трусости у него не было; как показала вся его жизнь, он был очень мужественным, стойким революционером.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том I, стр. 178.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том IV, стр. 126.



может быть осуществлен только мирными средствами, Чернышевский не допускал этого мирного пути. Все свои надежды он возлагал только на революцию и притом на революцию, которую должна была сделать не кучка заговорщиков, а действительно широкие народные массы. Чернышевский не только на словах признавал теорию классовой борьбы; он клал ее в основу всей своей политики. В этом признании революции, как единственного пути осуществления социалистического строя, в этом признании класса «трудящихся» единственно способным осуществить эту социалистическую революцию состоит громадное превосходство Чернышевского над утопическими социалистами Западной Европы.

Чернышевский был смелым, мужественным, непреклонным, стойким революционером. Признавая основным злом в России того времени крепостное право и царизм, против них он и направлял свои удары.

Какой же строй установился бы в России, если бы исполнились надежды Чернышевского и в России в начале 60-х годов победила бы та революция, которую он подготовлял?

В России установился бы буржуазно-демократический строй. Чернышевский сам знал это; в своей прокламации «Барским крестьянам» он ничего не говорил о социализме; он указывал, как на желательный образец, на Швейцарию, Англию и Америку.

Вот что писал, например, Чернышевский в этой прокламации:

«Вот у французов есть воля, у них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит богат он; мало — так беден; а розницы по званию нет никакой... Надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу... А кто не хочет, тому и принужденья нет...

А то вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот еще в чем у них воля. Паспортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешения на то ему не надо...

А то вот еще в чем у них воля: никто над тобой ни в чем не властен, кроме мира... Народ у них всему голова: как народ повелит, так тому и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен».

Далее рассказывается, что в Швейцарии и Америке совсем нет царей, что там «народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается», и «тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает». «Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а все одно: обольщение в словах».

Из этих цитат видно, что только об одном демократическом строе и говорил Чернышевский в своей прокламации. Достижение этого демократического строя он и ставил задачей ожидаемой им в России революции. О социализме он в своей прокламации не говорил ничего.

Итак, рассматривая эту сторону деятельности Чернышевского, мы видим в нем действительно последовательного, решительного, непримиримого по отношению к пережиткам старого, христианского, революционного демократа. Эту сторону и подчеркивал неоднократно Ленин в своих характеристиках Чернышевского, называя его демократом.

В своих заметках на опубликованную в 1910 году статью Плеханова о Чернышевском Ленин отмечает, что Плеханов недооценивает общий материалистический характер воззрений Чернышевского, «чересчур» подчеркивая в них элементы идеализма, и что «из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа»<sup>1</sup>.

Но Чернышевский был не только революционным демократом. Он был в то же время и социалистом. Он не удовлетворялся политическими реформами или переворотами, как бы радикальны они ни были. Обращаясь к вождям французской либеральной буржуазии, он писал в своем «Дневнике»:

«Эх, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика да власть у вас,— не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства, не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться; воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться: мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода, и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых — орда, рабы и пролетарии; не в этом дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».

Эта запись в «Дневнике» ясно показывает, что Чернышевский был не только политическим радикалом, не только демократом. Основной целью политической деятельности он ставил заботу о благе трудящихся, о том, чтобы «один класс не сосал кровь другого». Другими словами, он был социалистом.

Какой же характер имел социализм Чернышевского?

Чернышевский был не только широким, разносторонним, но и глубоким мыслителем. Его мирозерцание имело под собою глубокую философскую основу. Этой основой был материализм, ко-

<sup>1</sup> Ленинский сборник, XXV, стр. 231.

тому Чернышевский оставался верен всю свою жизнь. Ленин очень высоко ценил эту сторону мировоззрения Чернышевского и отмечал, что «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»<sup>1</sup>. Однако немедленно вслед за приведенными словами Ленин добавляет: «Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса». В другом месте (в статье «Народники о Н. К. Михайловском») Ленин писал: «В философии Михайловский *сделал шаг назад* от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т.-е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» (кантианцы, махисты и т. п.)»<sup>2</sup>.

Чернышевский понимал, что развитие общества совершается не по воле отдельных гениальных личностей, а как результат борьбы общественных сил. «Совершение великих мировых событий,— писал он,— не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону, столь же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания». «Серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в таких делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею». Чернышевский в значительной степени понимал классовую сущность всякой общественной борьбы и в своих сочинениях освещал политическую и общественную жизнь как России, так и Западной Европы с точки зрения классовой борьбы. «От его сочинений веет духом классовой борьбы»<sup>3</sup>,— писал Ленин. Чернышевский понимал, что в основе всякой науки, всякой философии лежат классовые интересы; больше того — он прекрасно понимал партийность науки и философии. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения,— писал он,— создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ». «Философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем».

Итак, Чернышевскому была ясна роль классовой борьбы. Он знал и то, что в современном обществе борются три основные

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XIII, стр. 295.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том XVII, стр. 224.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том XVII, стр. 342.

класса (он называл их «сословиями»): помещики-землевладельцы, капиталисты и третий класс, который он называл «простолюдинами», соединяя в нем и рабочих, и ремесленников, и крестьянство. Чернышевский не выделял пролетариат в особый класс из среды «простолюдинов». В 50-х и 60-х годах XIX столетия, когда писал Чернышевский, капитализм был еще очень слабо развит в России, пролетариат был еще немногочисленным. Наиболее многочисленным классом было крестьянство. Главным «злом» в то время в России было действительно крепостное право, сковывавшее всю жизнь страны; его нужно было устранить прежде всего. Рабочие волнения, выражавшиеся тогда в редких, разрозненных и неорганизованных выступлениях против хозяев фабрик и заводов, играли небольшую роль по сравнению с волнениями крепостных крестьян. Наконец, рабочие того времени были еще очень тесно связаны с крестьянством (иногда они были и крестьянами и рабочими одновременно). Все это было причиной того, что Чернышевский не уяснил, да и не мог в то время уяснить себе, историческую революционную роль пролетариата. Пролетариат для него сливался с другими слоями трудящихся, а в России — с крестьянством. Поэтому социализм Чернышевского носил характер крестьянского социализма.

Чернышевский не понимал, что социализм может быть построен только пролетариатом, ставшим у власти после победы пролетарской революции. Для построения социализма Чернышевский искал других путей. «Чернышевский,— писал Ленин в статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция»,— был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»<sup>1</sup>. А в области промышленности Чернышевский рекомендовал для осуществления социализма прибегнуть к организации производительных товариществ на добровольных началах, которые должны были получать ссуды от государства. Образование таких кооперативных товариществ могло быть осуществлено только после победоносной крестьянской революции. Но неизвестно, какие причины побудили бы крестьянство строить такой «социализм», когда каждый крестьянин стремился бы прежде всего к расширению и развитию своего индивидуального хозяйства. В действительности в случае победы в 60-х годах крестьянской революции в России не произошло бы никакого строительства социализма, а были бы созданы только чрезвычайно благоприятные условия для быстрого развития капитализма, что было бы, конечно, в то время чрезвычайно прогрессивным явлением.

В действительности же крестьянские массы могут быть вовле-

---

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 144.

чены в процесс строительства социализма только в условиях диктатуры пролетариата, как это показала нам Октябрьская социалистическая революция.

Итак, Чернышевский не знал правильного пути к торжеству социализма. Ленин, отдавая должное гениальности Чернышевского, его революционности и т. д., указывая, что Чернышевский был «замечательно глубоким критиком капитализма»<sup>1</sup>, характеризовал его всегда как утопического социалиста.

Маркс и Энгельс, которые были хорошо знакомы с сочинениями и деятельностью Чернышевского, также очень высоко ценили его как социалиста, подвергшего меткой, убийственной критике буржуазно-помещичий строй и буржуазную политическую экономию, и вместе с тем, как мужественного, непреклонного революционного демократа. В «Послесловии» ко второму изданию «Капитала» Маркс указывал, что «банкротство «буржуазной» политической экономии мастерски выяснил уже в своих «Очерках политической экономии по Миллю» великий русский ученый и критик Н. Чернышевский».

Энгельс также очень высоко ценил Чернышевского. Так. в послесловии к статье «Социальные отношения в России» он называет Чернышевского великим мыслителем, «которому Россия бесконечно обязана столь многим и чье медленное убийство долготой ссылок среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II»... И далее в той же статье: «Вследствие интеллектуального барьера, отделявшего Россию от Западной Европы, Чернышевский никогда не знал произведений Маркса, а когда появился «Капитал», он давно уже находился в Средне-Виллюйске... Все его умственное развитие должно было протекать в тех условиях, которые были созданы этим интеллектуальным барьером... Поэтому, если в отдельных случаях мы и находим у него слабые места, ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев не было гораздо больше». В статье «Эмигрантская литература» Энгельс говорит, что Россия — «страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов».

Наконец, в письме членам комитета русской секции в Женеве Маркс писал: «Такие труды, как Флеровского и вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века».

В статье «Что такое «друзья народа» Ленин отмечает «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности»<sup>2</sup>. С другой стороны, мы видели, что Чернышевский был утопическим социалистом и неправильно указывал путь к социализму. Как же примирить эти два положения?

Поистине Чернышевский как революционный демократ обнару-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XVII, стр. 342.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том I, стр. 178.



жил гениальное понимание окружавшей его русской действительности. Он понял, что главным злом, главным препятствием всему дальнейшему развитию России в 50-х годах было крепостное право, и на нем сосредоточил он всю силу своих ударов. Но еще большая гениальность Чернышевского сказалась в том, что он понял глубокую революционность русского крестьянства, понял, что уничтожение крепостного права, произведенное царем руками помещиков, отнюдь не уничтожало ни этой глубокой революционности, ни причин, ее порождающих. И после уничтожения крепостного права Чернышевский продолжал готовить эту революцию и положил начало движению, которое действительно сыграло крупную роль в революции.

Чернышевский был одним из предтеч народничества.

«Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского», — писал Ленин в 1913 году в статье «О народничестве»<sup>1</sup>. «Герцен — основоположник «русского» социализма, «народничества», — повторял он в статье «Памяти Герцена». «Но Герцен принадлежал к помещицкой, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения»<sup>2</sup>.

На смену Герцену пришли другие люди, выросшие в России и вышедшие из других классов. Это были революционеры-разночинцы. «Как декабристы разбудили Герцена, — писал Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в России», — так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству»...

«Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество»<sup>3</sup>.

Кадрами революционной демократии 60-х годов были разночинцы-интеллигенты, выходцы из мелкобуржуазных слоев. Это были «революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышев-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XVI, стр. 283.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 466—467.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том XVII, стр. 341—342. «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев»... — говорит Ленин в уже цитированной статье «Памяти Герцена» (том XV, стр. 467).

ский»<sup>1</sup>. «...Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая донныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм»<sup>2</sup>. Наиболее ярко и открыто революционная защита интересов крестьянства развита была Чернышевским в его прокламации «Барским крестьянам», где он писал, не считаясь с требованиями царской цензуры. За эту деятельность Чернышевского Ленин и называл его «последовательным и боевым демократом». В статье «Памяти Герцена» Ленин писал:

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»<sup>3</sup>.

Итак, в движении русской революционной демократии при его возникновении в 60-х годах (точнее — в конце 50-х годов) была революционная сторона. Она состояла в том, что революционная демократия в то время выражала и защищала интересы широких масс жестоко эксплуатируемого, угнетаемого и в основе революционно настроенного крестьянства. Революционная демократия (а во главе ее Чернышевский) в то время ставила своей задачей подготовку такой крестьянской революции, которая смела бы до основания старый крепостнический строй и уничтожила бы всякую силу помещиков.

Вожди этой революционной демократии были и социалистами, — правда, утопическими. Но в то время этот утопический социализм не выступал противником пролетарского революционного движения, противником научного социализма. Это обстоятельство и отмечал Ленин в характеристике Чернышевского, как демократа той поры

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 143.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том XVII, стр. 342.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 468—469.

«общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое»<sup>1</sup>.

Но в революционной демократии наряду с революционным крестьянским демократизмом существовала и другая черта. Крестьянство — это была в то время только потенциальная революционная сила. Кадры революционной демократии состояли тогда из интеллигентных разночинцев — выходцев из чиновничества, мещанства, мелкого купечества, духовенства и прочих мелкобуржуазных слоев, а также из среды обедневшего дворянства. В силу вообще неустойчивости мелкой буржуазии, а в частности ее интеллигентских представителей, соприкасавшихся с дворянством и буржуазией, в разночинских кадрах возникло и развивалось тяготение к этим верхушечным слоям, к их идеологии и программе — к либерализму, то есть к идеологии и политике, враждебной пролетариату. Этот народнический либерализм выступал для привлечения к себе сочувствия масс под маской социализма, но социализма реформистского, враждебно относившегося к пролетарскому социализму.

В конце 1897 (или в начале 1898) года Ленин написал статью «От какого наследства мы отказываемся»<sup>2</sup>, в которой он дал характеристику «просветителей» 60-х годов и народников 70—80-х годов и устанавливал отношение марксистов к этим двум течениям. Для характеристики шестидесятников он взял в своей статье книгу буржуазного либерала того времени Скалдина («В захолустьи и в столице»). Но в примечании на страницах 314—315 он говорил, что Скалдин во многих отношениях не типичен для 60-х годов. Однако, взять представителя «наследства» с более типичным тоном было для него неудобно. В одном письме он повторяет, что Скалдин «не типичен» для 60-х годов, что «типичных» писателей взять «неудобно», что у него «не было статей Чернышевского... да и не переизданы еще главные из них, да и вряд ли бы сумел обойти при этом подводные камни»<sup>3</sup>, то есть цензуру.

Итак, наиболее характерным для «просветителей» 60-х годов Ленин считал Чернышевского. Каковы же характерные черты этих «просветителей», которые Ленин отмечал в своей статье?

«Как и просветители западно-европейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, глав-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том I, стр. 170.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том II, стр. 303—338.

<sup>3</sup> Ленинский сборник, том IV, стр. 13—14.

ным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют «наследством 60-х годов»<sup>1</sup>.

Что касается народничества семидесятых годов, то оно проявило три черты, которые сделали его «теорией реакционной и вредной». Эти черты следующие:

«Первая черта — признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освященного якобы вековыми устоями и т. п. и т. д. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа — пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения «задержать» и «остановить» это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д. С «наследством» все эти черты народнического мирозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противостоят ему... «Наследство» 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести до чиста эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше, — это «наследство» не только не при чем в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им»<sup>2</sup>.

«Вторая черта народничества — вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т. п.... Это общее всем народникам учение о самобытности России опять таки не только не имеет ничего общего с «наследством», но даже прямо противоречит ему. «60-ые годы», напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение ее к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждений этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную, почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией»<sup>3</sup>.

«Третья характерная черта народничества — игнорирование связи «интеллигенции» и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов — находится в самой неразрывной связи с предыдущими: только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло по-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том II, стр. 314.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том II, стр. 323—324.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том II, стр. 324—325.

единимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского), безвозвратно канула в вечность»<sup>1</sup>.

Но чисто оппортунистическими стали только буржуазно-интеллигентские кадры народничества. Что же касается крестьянства, его бедняцких и в значительной степени середняцких слоев деревни, то там революционное движение, наоборот, росло, и этим все более подготавливалась почва для грядущей революции. Но вместе с тем назревали и условия разрыва между руководящей верхушкой народничества, становившейся все более реакционной, и широкими крестьянскими массами расслаивавшейся деревни.

В 1911 году в статье «По поводу юбилея» Ленин писал:

«...в народничестве таилась двоякая тенденция... Поскольку народники прикрашивали реформу 1861 года, забывая о том, что «наделение» реально означало в массе случаев обеспечение помещичьих хозяйств дешевыми и прикрепленными к месту рабочими руками, дешевым кабальным трудом, постольку они опускались (часто не сознавая этого) до точки зрения либерализма, до точки зрения либерального буржуа, или даже либерального помещика; — постольку они объективно становились защитниками такого типа капиталистической эволюции, которая всего более отягощена помещичьими традициями, всего более связана с крепостническим прошлым, всего медленнее, всего тяжелее от него освобождается.

Поскольку же народники, не впадая в идеализацию реформы 61-го года, горячо и искренне отстаивали наименьшие платежи и наибольшие, без *всякого* ограничения, «наделы», при наибольшей культурной, правовой и проч. самостоятельности крестьянина, постольку они были буржуазными демократами. Их единственным недостатком было то, что их демократизм был далеко не всегда последователен и решителен, при чем буржуазный характер его оставался ими несознанным...

Эта двоякая, либеральная и демократическая тенденция в народничестве вполне ясно *наметилась* уже в эпоху реформы 1861 года...

Из двух указанных тенденций народничества демократическая, опирающаяся на сознательность и самодеятельность не помещичьих, не чиновничьих и не буржуазных кругов, была крайне слаба в 1861 году. Поэтому дело и не пошло дальше самого маленького «шага» по пути превращения в буржуазную монархию. Но эта слабая тенденция существовала уже тогда. Она проявлялась и впоследствии, то сильнее, то слабее, как в сфере общественных идей, так и в сфере общественного движения *всей* пореформенной эпохи. Эта тенденция росла с каждым десятилетием этой эпохи, питаемая каждым шагом экономической эволюции страны, а, следовательно, и совокупностью социальных, правовых, культурных условий.

---

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том I, стр. 170.



Через 44 года после крестьянской реформы и та и другая тенденция, которые в 1861 году только наметились, нашли себе довольно полное и открытое выражение на самых различных поприщах общественной жизни, в различных перипетиях общественного движения, в деятельности широких масс населения и крупных политических партий. Кадеты и трудовики, — понимая тот и другой термин в самом широком смысле, — прямые потомки и преемники, непосредственные проводники обеих тенденций, обрисовавшихся уже полвека тому назад. Связь между 1861 годом и событиями, разыгравшимися 44 года спустя, несомненна и очевидна. И то обстоятельство, что в течение полувека обе тенденции выжили, окрепли, развились, выросли, свидетельствует, бесспорно, о силе этих тенденций, о том, что корни их лежат глубоко во всей экономической структуре России»<sup>1</sup>.

Итак, «демократическая» тенденция русской революции 1905 года, выразившаяся в том, что революционно настроенное крестьянство совершило ряд выступлений против помещиков, в том, что оно не пошло за кадетами, которые старались потушить революцию, и образовало свою организацию, ведет начало от 1861 года, от того движения революционной демократии, вождем которого был Чернышевский.

В статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал:

«Либералы 1860-ых годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»<sup>2</sup>.

«В революции 1905 года те две тенденции, которые в 61-м году только наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе, развились, выросли, нашли себе выражение в движении масс, в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в стачках, в восстании, в Государственных Думах»<sup>3</sup>.

«Тенденции демократическая и социалистическая отделились от либеральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организовался и выступал отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг своей рабочей с.-д. партии. Крестьянство было организовано в революции несравненно слабее, его выступления были во много и много раз раздробленнее, слабее, его сознательность стояла на гораздо более низкой ступени... Но все же, в общем и целом, крестьянство, как масса, боролось именно с помещиками, выступало революционно, и во всех Думах — даже в третьей, с ее изуродованным в пользу крепостников представительством — оно создало трудовые группы, представлявшие, несмотря на их частые колеба-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 95—97.

<sup>2</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 143—144.

<sup>3</sup> Ленин. Соч., том XV, стр. 145.

## ОТ РЕДАКЦИИ

В царской России в течение ряда десятилетий имя Н. Г. Чернышевского было вычеркнуто из истории русской литературы и общественного движения. Не допускалось не только издание его сочинений, но и простое упоминание его фамилии. Между тем спрос на его произведения был велик, и желающим познакомиться с идеями великого революционера приходилось отыскивать старые номера «Современника», где печатались его сочинения. Только революция 1905 года сняла запрет с Чернышевского. Его сын М. Н. Чернышевский, воспользовавшись ослаблением цензурного гнета, выпускает в 1906 году полное собрание его сочинений в одиннадцати томах. Это издание было результатом многолетней упорной работы, произведенной М. Н. Чернышевским по выявлению и собиранию литературного наследства, оставленного его отцом. В него вошли не только те сочинения Н. Г. Чернышевского, которые были в свое время напечатаны в «Современнике» и других легальных журналах, но и те, которые нелегально печатались за границей или оставались неопубликованными, сохранившись в рукописном виде. Однако, несмотря на громадную работу, произведенную М. Н. Чернышевским, изданное им собрание сочинений его отца являлось далеко не полным. Ряд произведений Н. Г. Чернышевского, в том числе очень крупных, как, например, романы «Повести в повести» и «Алферьев» или «Рассказы о Крымской войне по Кинглеку», не вошли в это издание или же вошли только в отрывках. То же самое надо сказать и о «Дневниках» Чернышевского, представляющих исключительный интерес для характеристики умственного и политического развития их автора. Что же касается эпистолярного наследства Н. Г., то оно вообще не было включено в издание 1906 года. Таким образом это издание было далеко от полноты. Пробелы этого издания в настоящее время в значительной мере, — однако далеко не полностью, — заполнены рядом публикаций, выпущенных после Великой Октябрьской социалистической революции: тремя томами «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, рядом отдельных изданий его произведений, ранее неопубликованных или опубликованных частями, и, на-

конец, мелкими публикациями в различных сборниках и журналах. Однако и этими публикациями литературное наследство Чернышевского еще не исчерпывается. Некоторые его произведения, как, например, роман «Отблески сияния», остаются до сих пор неопубликованными. Таким образом действительно полным собранием сочинений Чернышевского мы до сих пор не располагаем. Это и было одной из причин, побудивших Государственное издательство «Художественная литература» предпринять в связи с приближающимся пятидесятилетием со дня смерти Н. Г. издание собрания его сочинений, которое включало бы в себе все до сих пор выявленное литературное наследство Чернышевского.

Другая причина заключается в том, что мы до сих пор не располагаем достаточно точным текстом большинства произведений Чернышевского. При печатании в «Современнике» они подвергались сильной цензурной и редакционной правке, нередко приводившей к искажению мыслей их автора. В собрании сочинений, изданном в 1906 году, по общему правилу воспроизводился текст «Современника». Лишь в некоторых немногих случаях он сверялся с сохранившимися рукописями и корректурами. Между тем мы располагаем в настоящее время богатым собранием рукописей и корректур Чернышевского, хранящимся в Саратове в доме-музее его имени. Научное изучение литературного наследства Чернышевского невозможно без самого внимательного использования этого собрания, дающего в ряде случаев возможность восстанавливать подлинный, не искаженный цензурой или в угоду ей текст сочинений Чернышевского.

Использование рукописей и корректур Чернышевского в целях восстановления подлинного текста его произведений было одной из задач предпринятого сперва Госиздатом, а затем Соцэкгизом собрания избранных его произведений. Это издание (до настоящего времени вышло 4 тома) внесло ряд коррективов в издание 1906 года. Однако восполнить целиком все дефекты этого издания оно не смогло, так как заключало в себе только избранные сочинения Чернышевского.

При воспроизведении точного текста произведений Чернышевского, не появлявшихся в печати при его жизни, издатели наталкиваются на одно чрезвычайно серьезное затруднение. Многие его произведения, сохранившиеся в рукописях, написаны особым шифром, разбор которого требует и большой опытности в его расшифровке, и исключительно напряженного труда. Это привело к тому, что при воспроизведении в печати рукописей, написанных шифром, в них вкрался длинный ряд неточностей и ошибок. Это можно иллюстрировать хотя бы на примере дневников Чернышевского, издававшихся уже дважды: первый раз в составе I тома его «Литературного наследия», вышедшего в 1928 году, второй — отдельным изданием, выпущенным в 1930 году Издательством политек-торжан. В первом из этих изданий «Дневники» печатались по расшифровке их текста, сделанной М. Н. Чернышевским. Для вто-

тисты» вместо «чартисты»). В тех случаях, когда автор не выдерживает определенного написания данного слова, допуская различные (например, «Фукидид» и «Тукидид»), принимается правописание, принятое в настоящее время.

Пунктуация дается современная, за исключением тех случаев, когда автор специально оговаривал необходимость соблюдения всех особенностей пунктуации, принятой им в данном произведении.

Текст произведений Чернышевского сопровождается в настоящем издании комментариями, состоящими из примечаний и именных указателей.

Примечания имеют свою целью:

а) установить время написания и напечатания данного произведения и его цензурную историю, если таковая была;

б) выяснить, если это необходимо, причины, побудившие автора написать данное произведение;

в) объяснить недостаточно ясные для современного читателя места в сочинениях Чернышевского и раскрыть встречающиеся в них политические, литературные и личные намеки;

г) установить, если это требуется по содержанию комментируемого произведения, отношение Чернышевского к упоминаемым им лицам и событиям на основании других источников, в частности мемуарных;

д) познакомить читателей в сжатой форме с тем, как реагировала на данное произведение критика, представлявшая интересы различных классов тогдашнего общества.

В каждом томе наряду с примечаниями будет помещен указатель имен, встречающихся в данном томе. Относительно лиц, включенных в эти указатели, сообщаются, помимо фамилии, имени и отчества, годы рождения и смерти и краткие биографические сведения. Относительно лиц общеизвестных (например, Пушкин, Гегель, Наполеон, Дарвин и т. д.) биографические сведения не даются.

Все издание редакция предполагает закончить в течение трех лет.

## ДНЕВНИКИ

[ДНЕВНИК. МАЙ 1848 г.]

В конце апреля 1848 г. сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь станционного смотрителя на первой станции по Московской дороге (Средняя Рогатка) Егора Гавриловича, Надежда Егоровна.

«Это девушка, — говорит он, — молоденькая, полная, румяная, но, мне кажется, не отличается особым умом; добрая, будет меня любить и будет, конечно, верна до несомненности, но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувствований, потому что девушка простая, которую едва ли можно будет образовать, и верно я не буду с нею счастлив; ее сделать счастливой постараюсь; главная причина жениться: это существо, которое я буду обязан сделать счастливым, будет для меня необходимым побуждением к деятельности, заставит меня выйти из той беспечности, к которой я привык, принудит и определить мое положение в обществе, и обеспечить его и материально и нравственно; заставит думать и о деньгах, и о службе, и об ученой степени, развернуть внутреннюю деятельность, которая может действовать чрезвычайно энергически, но слишком беспечна. Но родители мои? Эта девушка так проста и ограничена, что я буду стыдиться ее перед своими родителями и сестрами, которые несравненно выше ее. Что делать? Я буду скрывать перед ними и всеми это как можно долее; когда нельзя будет скрыть, напишу; ездить к ним буду один, без нее; а старшая сестра (это превосходная, но выше своего состояния и женихов девушка, которая поэтому должна остаться незамужнею) пишет мне, что если умрут родители, она не будет жить у зятьев, которые не могут понимать ее и от которых она слышала уж несколько чрезвычайно для нее оскорбительных слов (ты слишком горда, и вот не выйдешь замуж), и будет жить у меня, говорит: «не правда ли, ты без меня не женишься?» А что теперь делать? Как показать ей мою жену? А я ее так люблю! И сохрани бог, если умрет отец, — что делать, как быть — я не знаю, с сестрою этою и матерью?» (О, как он любит семейство свое!) «Жена не будет знать ничего, я буду стараться сделать ее счастливой, а сам — ну, шутя со мною выйдет что-нибудь нехорошее — шутя и запьешь с отчаяния. А у нее есть сестра замужем,



нул на черноволосую, которая раньше казалась мне лучше, и увидел, что по выражению лица, т.-е. вообще вблизи, когда видно не одни общие контуры, которые у нее весьма благородны, далеко ниже Надежды Егоровны, у которой контуры все так благородны, правильны и вместе с полнотою лица так изящны и тонки (хоть Ив. Вас. говорит, что у нее простое лицо без всякого выражения), и кроме того, лицо имеет такое тихое, даже в этом бурном состоянии, такое отрадное и вместе глубоко нежное выражение.

Выходя из церкви, я был радостен сердцем, и когда мы шли с Ив. Вас. и свахою вместе, я отпустил несколько фраз свахе, что она может гордиться этим делом и Вас. Петр. много обязан ей. Несколько минут мы должны были ждать коляски, между тем как другие все уехали; мы приехали таким образом с отцом ее и Ив. Вас., когда все другие уже поздравляли молодых; нам подали бокалы, мы подошли и поздравили. Свадьба была в 8 часов, мы просидели до 11. В продолжение этих трех часов Вас. Петр. несколько раз, подходя на несколько минут ко мне, говорил, что думает, что привяжется к ней тихою, спокойной любовью и будет с нею счастлив. «Я, говорит, рассказал ей о наших отношениях с вами». Это меня порадовало. Когда они ходили вместе, в каждом взгляде, в каждом движении ее (они большей частью ходили и стояли под ручку) высказывалось такое нежное чувство к нему, что я почти не сводил глаз с нее, когда не говорил с Ив. Вас. или отцом ее, — меня радовало это милое, нежное, благородное существо. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал, или как это сказать, меня, — так чувствовал, не в голове, а в сердце, какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны.

«Я нашел вашу супругу совершенно не такою, как ожидал, судя по вашим словам», — сказал я тут (почти как только воротился из церкви) Василию Петровичу. — «Мне кажется, что — конечно, она не говорила со мною ни слова, но сколько я могу судить по физиономии, по широкому открытому лбу, который так прекрасен, — что Надежда Егоровна не может не быть девушка с большим умом, вовсе не ограниченная, как думали вы, а напротив». — «Мне кажется, что я привяжусь к ней от души и буду сильно любить ее». — «Я радуюсь за вас».

Она держалась чрезвычайно свободно, непринужденно. Старшая сестра мне тоже понравилась, но менее; тогда я не мог сказать хорошо почему, потому что не видел хорошо и вблизи ее, но точно: тонкое, умное лицо (когда я был во вторник у них, я больше рассмотрел Ольгу Егоровну и увидел, что мне не нравится положение ее глаз, которые сами хороши и выразительны, особенно эта часть лица под глазами, и то, что нижняя часть лица уходит слишком быстро назад и черты нижней части лица слишком тонки).

Он говорит: «Мне она теперь кажется хороша и вовсе не глупа, не ограничена, но сердце мое еще совершенно спокойно». При-

знаюсь, мне было чрезвычайно приятно, когда она остановила свои глаза на мне, потому что мне хотелось бы быть не чужим у них (дай бог, чтобы они были счастливы).

В 11 часов мы уехали. Вас. Петр. хотел быть у меня во вторник и взять к себе. Дорогою мы говорили о различных пустяках с Ив. Вас. Я приехал, лег спать — сердце мое было полно радости. Я заснул через полчаса (в час) и уже не помню, что мне снилось, но должно быть приятное (не такое, что бы возбудило поллюцию), потому что я встал весьма радостен и жалел, что Фишеров экзамен помешает мне пробыть у них все время. Пришедши на экзамен к Фишеру, я был так переполнен этим чувством, что не мог удержаться и стал говорить об этом с Корелкиным, хотя вовсе он не кажется мне человеком, с которым я любил бы делить чувства по симпатии, а просто некому сказать, так буду говорить и с кем бы то ни было, хоть сам с собою. Пообедавши дома в самом лучшем расположении духа, я до 5 часов просидел дома, после пошел к Славинскому, где говорил с большим жаром о политике и новых началах и идеях, проповедуемых в Западной Европе, — говорил оттого, что сердце было полно и хотелось поэтому говорить.

В 9 часов воротился домой, и вечер понедельника провел в самом приятном, сладком расположении духа, так что писать когда стал своим, начал было с жару писать об этой свадьбе, но, конечно, тотчас бросил и начал другое письмо; начало этого прежнего цело.

Утром был у Ворониных, после в почтамте, после у Тушева и Корелкина, после переписывал Куторгины лекции, на которых я не был, после отправился к Фурсову за шинелью. Эти вещи не дали мне сосредоточиться поутру, и я развлекся. Так в 4 часа воротился я домой от Фурсова во вторник; дорогою стал сосредоточиваться и снова явилась радость. В половине 6-го пришел Вас. Петр., говорит: «Моя жена до сих пор девушка; боится; во мне большая перемена нравственная, — это существо вовсе не такое ограниченное, как я думал; напротив того, в ней много ума, весьма много, и чрезвычайно много естественного благородства во всем, даже в манерах (это я-то заметил и в день свадьбы), и она будет иметь на меня чрезвычайное влияние, я с нею буду счастлив, она чрезвычайно любит меня; правда, она не образована, но этому легко пособить, у нее большие способности, и она весьма мила; я ее буду любить и теперь равнодушен. Начинаю быть деятельным».

Это все вместе меня весьма обрадовало: во-первых, что он будет счастлив, она тоже. Во-вторых, что, несмотря на то, что теперь любит ее и любит не только с физической стороны, как раньше, он говорит мне вещи такие, как что она еще девушка, — это показалось мне ручательством за то, что он действительно расположен ко мне; однако я сказал: «Вы не должны говорить ни другим кому, ни мне вещи такой, что, например, она еще девушка: после, может быть, вам самому будет неловко смотреть на человека, которому вы сказали это и так доверялись».

Я нашел, что привязан к нему несравненно больше, чем думал, потому что эти вещи так могут занимать меня, что я думаю о них почти так же и сильно, и постоянно, как думал раньше о себе и своем изобретении<sup>1</sup> и о том, что я сосуд божий, и проч., — значит, я не так в сущности холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал; меня обрадовало и то, что физическая сторона во всех не так сильна, как обыкновенно думают, и что это поддерживает мое постоянное мнение о девушках, на которых, с одной стороны, я смотрю как-то слишком платонически и считаю их более, чем обыкновенно думают, доступными влиянию в обыденной жизни и выходе замуж других чувств, а не физической потребности любви. И как один из примеров и доказательств, что есть такие женщины и девушки, как я думаю про большую часть их (пока не увлекутся они испорченностью жизни и не охладят постепенно), мне стала мила Надежда Егоровна, мил и Василий Петрович, которые доказывают и служат примером моему взгляду на молодых людей.

С радостным сердцем я пошел к ним. Он зашел за женою к старшему зятю, мы остались с Ив. Вас. одни, и он говорит, что заметил сильную перемену в Вас. Петровиче: «Не хочет показать только, а сильно недоволен своим делом». — Мне стало любопытно и смешно, и смешны эти узкие люди. Они вышли. Она шла свободно и легко, с грациею; мы шли сзади; я радовался на нее: как мила шейка сзади! (Но только мне кажется, что она, когда сидит, держит немного голову вперед, горбится в шее и должна умываться, чтобы не было веснушек: это когда я был во вторник у них.) Пришли. Она с милой детскостью впускала в комнату собачонку, мило спорила с Вас. Петр., который говорил, что собачонка мерзкая, что он купит хорошего щенка, чтобы она не приучала эту быть в комнате. Так мила, непринужденна, нестесненно держит себя в своем новом положении, которое, конечно, должно быть чудно ей, что в ней должно быть много такта и естественной грации, которая должна привязать Василия Петровича. Приехал старший зять с женою, — и Вас. Петр. непринужденно держался со старшею дочерью, так что мне показалось, что теперь эта опасность исчезла, — и отец. Я большей частью смотрел на дочерей и рассматривал их, и младшая все более нравилась мне. Мне было приятно сидеть, и я, кажется, сделал, что мы после просидели часом больше, чем следовало, и утомил Надежду Егоровну — с  $\frac{1}{2}$  7-го до  $\frac{3}{4}$  10-го,  $3\frac{1}{4}$  часа или  $3\frac{1}{2}$ . Не знаю, давно я не чувствовал такого тихого осчастливливающего удовольствия, как в этот вечер. Вас. Петр., кажется, привязан к ней и привязывается все больше и больше, шутит с ней, жалуется на нее — идиллия. Дай бог, чтоб было все хорошо. Воротившись, весь вечер и все утро, вот до самых этих пор, я был наполнен мыслью о них и счастлив тихим счастьем. Эх, хорошо иметь полное сердце. Это еще более дало мне почувствовать радости семейной жизни, — во всяком случае, как я воображаю и желаю ее всем. Дай бог.

Вас. Петр. хотел ныне (в среду), как говорил вчера, быть в университете, после у Залеманов и сказать им, он жалеет, что не сказал раньше, когда мать Залемана два раза сказала: «смотрите же, за мои хлопоты (о платье Вас. Петровичу) пригласите меня на свадьбу», после зайти ко мне (поутру все), после обеда ехать на Рожок для уроков.— 19 мая 1848 года, 11½—1 час. утра.

Это радостно для меня и потому, что уверяет меня, что я не такой негодяй, как думал и, может быть, имел раньше основание думать, что я способен питать чистую привязанность к посторонней девушке или молодой женщине, не думая ни о любви к ней, как обыкновенно понимают эту любовь, ни о тому подобном, а просто питать расположение к ней (как питаю его к своему приятелю за то, что это человек и человек с благородною и милою личностью), которое, конечно, обусловлено полом, как и самое это чувство: ведь сестру любишь не так, как отца, а не потому, что возбуждает бурные чувства. Я верно буду привязан после к ней и из-за нее самой, вместо того, чтобы быть привязанным из-за Вас. Петровича.

23 мая 1848 г. ¾ 6-го пополудни. Вот уже неделя, как женат Вас. Петр. Лободовский. Нынче весь день я его ждал к себе, потому что он вчера сказал мне, чтоб ехать ныне вместе к тестю его. Я не умею хорошенько сказать, что я теперь именно такое чувствую. Кончаются экзамены у нас, я постоянно думаю о нем с Надеждой Егоровной: этого со мною никогда не бывало, чтоб я думал о других так, как о себе; и это не оттого, что не занят: читаю записки, есть замыслы свои, едут Любинька с Иваном Григорьевичем, — это довольно интересные, кажется, предметы, а между тем я постоянно думаю о них, и мне хочется видаться с ними и чтоб он рассказывал мне о Над. Егор., и сердце постоянно как-то сжато от ожидания: чувство приятное, хотя есть несколько и стеснений, — они, кажется, оттого, что не знаю как-то [он] еще окончательно поймет характер и пр. Над. Егор. и, кроме того, как он будет доставать деньги. Это странно, я не думал, чтоб меня могли так интересовать другие. Я теперь пишу совершенно неприготовленный к восторженности, читал записки Куторги, после — несколько времени «Débats»<sup>2</sup>, но все постоянно, правда, что я ни делаю, постоянно господствующая мысль у меня — они. Изложу теперешние свои мысли об этом.

Дружба ли это собственно к нему, или дружба к Над. Егор., или любовь к ней? Последнего я не думаю, потому что мне кажется, что — нет, не умею, как сказать: не то, чтоб она мне мало нравилась, — напротив, весьма: лицо, манеры, непринужденность, грация вообще; не то, чтоб я почитал себя неспособным или не готовым любить: другие скажут, что так, но я знаю, что я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться (я говорю это в хорошем смысле, потому что если от физического настроения чувствую себя беспокойно, это не от лица, а от пола, и этого я сты-

жусь; напротив, это чувство мне мило и я питаю его); не то, что я мало знаю ее: конечно, я почти не говорил с нею, но Вас. Петр. сказывал мне довольно многое, — напр., как она заботится о нем, все время вертится около него, как на третий или четвертый день свадьбы он чувствовал себя нездоровым, не спал ночь (перед совершением окончательного действия, которое, кажется, было, на другой день), сказал ей об этом, после утомленный заснул: «просыпаюсь — она стоит подле меня на коленях и положила на меня свою голову». — Это на меня снова приятно подействовало. — Не умею сказать отчего, мне кажется, что это не любовь к ней.

Может быть, это льстит мне мое самолюбие, что молоденькая, милая девушка будет расположена ко мне не так, как, напр., любит меня сестра, ведь это будет не по привычке с ее стороны, а значит будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий. И кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму, как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею; я не знаю; может быть.

А может быть, это дружба к нему собственно, и все это происходит оттого, что я знаю, что если она не будет счастлива, он будет мучиться при своем благородном характере; а она не будет счастлива, если он не будет любить ее, а в этом деле (как говорит, не знаю, угадывание истинного, не знаю, самолюбие, *Eigendünkel* \*) я могу много содействовать его любви к ней, и поэтому, хотя мне самому незаметно это, чувство долга и желание счастья ей (оно зависит от любви его), — т.-е. ему, потому что и он не выдержит со своим характером, если не сделает ее счастливою, — заставляет меня беспрестанно думать о ней, так ли точно она мила и добра и хороша, как бы мне хотелось и как бы должна быть для того, чтобы приковать его к себе, и желание, и надежда, и сомнение, эта полууверенность, в которой более уверенности, чем сомнения, занимает меня (пришел Ив. Вас., стали пить чай вместе, так прошло до 1/2 10-го).

Это может быть, конечно, но этого мало, я не просто думаю о ней, а думаю с удовольствием; и, кроме того, признаюсь, теперь, когда я почти уверен в хороших последствиях этого дела, я гораздо больше думаю о супруге Василия Петровича, чем думал о ней или о нем тогда, когда он бывал у меня расстроенный перед свадьбою; а тогда, если б это было одно чувство дружбы к нему, я должен был бы гораздо более думать о нем, между тем как тогда я думал о нем, как всегда думаю о другом человеке, которого, правда, люблю, но все же не как себя (хотя, может быть, для него и готов бы сделать больше, чем для нее), — так, как теперь думаю о Промптове, — минутами, когда вздумается; а теперь я думаю об этом постоянно.

---

\* Самомнение.

Да вообще, может быть, я могу иметь влияние (он говорит это), тем, что буду хвалить или нет ее, — я поэтому сильно интересуюсь своим мнением о ней, и мне хочется, чтобы оно было лучше как можно — так *à force de forger*\* и выходит, что я постоянно и все думаю о Над. Егор., и думаю с любовью к нему и к ней и поэту с наслаждением. — Может быть.

Вообще все это есть понемногу, не могу сказать, что именно в какой степени участвует здесь, но что-нибудь одно из трех, другие чувствования не могли бы иметь такого сильного действия на меня, ведь постоянно я думаю. Или я слишком люблю Вас. Петр. и через него думаю о ней, надеясь теперь от нее счастья для него, люблю ее; или во мне развивается склонность к Над. Егор. (может быть, братская, может быть, нет, о последнем я не думаю, а что, если?), или это чисто самолюбие, что вот я стану братом по *Wahlverwandschaft*\*\* молоденькой, хорошенькой, чистой девушки; нет, во мне могло родиться это и оттого, что я предполагаю эту душу чистою и милою, как я всегда склонен думать о девушках и вообще о людях, пока они не испорчены.

Одно могу сказать, — что теперь мои мысли о ней так чисты, что я даже не предполагал в себе способности так свято и чисто думать о женском существе, привлекательном по внешности. Например, бывали поллюции (хоть ныне была), я весь вечер и как просыпаюсь думаю о Над. Ег. и, слава богу, я не видел ничего относящегося к ней в это время и с Вас. Петр. ее, например, в иных положениях, и я думаю об этом так безмятежно, как никогда не думывал.

Вот что еще: из этого серьезно, может быть, выйдет, что я стану сближаться с существами другого пола, которые будут и всегда чисты, и привлекательны по душе; может быть, из этого выйдет перемена моего характера, и, кажется, я довольно чувствую в себе что-то похожее на понимание сладости любить в смысле любви к возлюбленной, между тем как раньше я серьезно не думал об этом: бредни были физические, а потребности любить не было.

Дай бог, чтоб я мог всегда так же спокойно, ясно, без упрека в тайных нечистых помыслах смотреть на Надежду Егоровну, как не могу я смотреть на многих других, — например, Любиньку (боже, какой мерзавец!).

Меня тянет видаться с ним, слушать его; видеть ее или нет — все равно почти.

Иногда мне кажется, что я, может быть, заставляю себя думать о ней потому, что это льстит мне, потому, что тогда я могу представлять себя хорошим человеком — а сам по себе немного думал бы. — Нет, само собою думается, — странно. Дай бог, чтобы оставалось это в таком направлении, как эти дни, все до сих пор.

---

\* В силу этого.

\*\* Сродство душ.

Не так ли это: всегда я склонен — может быть, потому, что дурен слишком сам (сколько за мною тайных мерзостей, которых никто не предполагает, например, разглядывание (?) во время сна у детей (?) и сестры и проч., то же после у наших служанок и проч.\*; судить о других не по тому, каков я сам, а по тому, каковым бы мне хотелось быть и каковым быть было бы легко, если бы не мерзкая слабость воли, это *laissez faire*\*\*, которого, как я думаю, нет у других, — я не хочу оскорблять человечество, судя о нем по себе вообще, а сужу о нем не по цепи всей своей жизни, а только по некоторым моментам ее, когда бываю доступен чувствованиям высшим; поэтому я готов все видеть в свете той неиспорченности, какую я желал бы иметь сам; кроме того, я смотрю с серьезной точки зрения на все положения и всегда считаю высоким человека, если замечаю в нем что-нибудь такое, — напр., всегда отец священен в моих глазах, всегда священны муж и жена, — поэтому я способен увлекаться энтузиазмом и с этой своей идеальной точки зрения смотрю на это — и на Надежду Егоровну.

## ДНЕВНИК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1848 ГОДА

(с 12 июля до 31 декабря)

### И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1849

(до 11 июля)

21 год моей жизни.

12 июля 1848, 2 часа ночи. — Встал, стал до чая разрезывать летопись Нестора (завещание Мономаха), дорезал; за чаем читал «Débats» 15 июня, где Леру говорит о колонизации Африки. Над ним смеются в палате и «Débats», — это уяснило мне, что это за люди: они так же ограничены, как и мы, так же точно не могут понять ничего, что не вдолблено им, и все новое кажется им смешной нелепостью; но эти задолбленные понятия у них все-таки лучше и выше тех, которые задалбливают у нас.

После чая пошел к Славинскому собственно для того, чтобы высказать, что я не напишу Срезневскому, — это намерение принял я, когда услышал от Вас. Петр. о мнении товарищей, и был так счастлив, что в это самое время был у него Лыткин, который один из тех, которые более всего говорили против этого. Мы говорили, я кричал, как обыкновенно, но собственно беспокоился, как высказать это, как довести речь к этому. Лыткин, к счастью, сам навел: «Пишете?» — «Нет». Вскоре он встал уйти, я пошел с ним; на дороге (всего от Пантелеймона до Фонтанки было идти вместе 30 шажен) он снова спросил: «Что ж вы так скоро переменили намерение?» — «Я никогда и не имел твердого намерения

\* Слова, отмеченные вопросительным знаком, написаны неразборчиво. *Ред.*

\*\* Попустительство.

писать». — «Да, точно, — говорит он, — слишком много труда, и бесполезного».

Пришедши домой в час, я все разбирал нарезанные слова<sup>3</sup> и разобрал буквы А и Б; только перед чаем в обыкновенное время пошел было сказать Вас. Петровичу, что слышал от Лыткина, что свободно место учителя истории в Вознесенском училище, но не застал их дома. По дороге купил Любиньке сассапарельной эссенции у Стефаница. Когда вечером Ивана Гр. не было, она сказала, что серьезно боится, что не выздоровеет; я ободрял, но плохо и совершенно без успеха. Что, если ее предчувствие справедливо? Когда резал и разбирал, думал — правда, несвязно и невнимательно, развлекаемый работою — более о Василии Петровиче.

13 июля, вторник. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. — Встал в 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, до 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> писал домой, после пошел в университет, надеясь найти там письмо от папеньки и верно с деньгами, — не было; воротился в 12, до 5 разбирал букву В и разобрал ее на отделения по первым двум буквам — Ва, Вб и т. д.; в 5 час. в баню с Ив. Гр. до 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>; на обратном пути застал сильный дождь; тотчас же, как мы, пришли Ал. Фед. с Ив. Вас., просидели до 9, играли в карты. После [пошел] я к Вас. Петр. сказать о месте в Вознесенском училище, где просидел до 10<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, воротился домой в 11. Ив. Гр. уже сидел за ужином. От ужина писал это, почти ничего не читал, только несколько страниц Горлова «Теории финансов»<sup>4</sup> — слишком ограниченного ума и небрежно составленная книга, и «Débats» 16 и 17 июня. Иван Гр. и Любинька все шутили, как обыкновенно, целовались и я вовлекался в их шутки; кажется, все мило и хорошо, а между тем что-то нет душевного наслаждения, когда смотрю на них — как будто они пошловаты. Не то Лободовские; ныне сна мне еще более понравилась лицом, когда вполоборота ко мне подняла головку к Вас. Петр., и еще более убедился я, что она весьма умна и с характером и нежным сердцем. Вас. Петр. хотел идти завтра к Муравьеву и зайти ко мне. У него говорили о воровстве, доказывая, что это ничего, что у отца особенно красть нечего, — он говорил ей: «Украдь у своего», — что мошенники лучше нас, и т. д.

Любинька, которая знала, что ныне день моего рождения, подарила мне фунт пряников, раньше спросив, люблю ли я их, — это произвело хорошее впечатление на меня. Письмо Свинцова-отца к сыну отправил в Саратов в своем. Расход — 20 к. сер. письмо, 30 к. сер. чищение 2 пар перчаток, 17 коп. сер. баня.

14 июля 1848, среда, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. — Не нашедши вчера в университете письма, я думал, что позабыли послать; ныне в 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. говорят мне: «Вас спрашивает солдат». Я думал: Фриц за тем, не нужно ли сапог, выхожу — университетский сторож; я думал: требование в университет, как тогда, когда требовали взять назад бумаги, сердце дрогнуло, — нет, посылка на 25 руб. сер., почта опоздала; я дал ему 20 коп. сер. В 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> в почтамт, где я был один, тотчас получил и воротился поэтому раньше, чем сказал сестре, как всегда говорю, когда воруясь, — главным образом для того,



чтоб, если придет Вас. Петрович, так она б сказала и удержала его подождать, хотя не высказывал ей это; прочитал письмо в почтамте — там о смерти Олимпа Яковлевича отца, — итак, это письмо должно быть известно Ивану Гр. и Любиньке, да и без того трудно угаить, потому что Любинька раз заметила, что обещались писать со следующей почтою; что делать? Сначала думал показать с деньгами и сказать сестре: «Как хотите, если хотите — отдам деньги, но мне хотелось бы купить Гете, который продается весьма дешево, за 15 руб. сер.», — и взял бы Гете у Василия Петровича<sup>5</sup>. После решился, идя дорогою, не заходить теперь к Олимпу Яковл. в типографию, как думал утром, потому что на мне был старый сюртук и брюки, а зайти вечером на дом. После передумал: не буду им показывать письма ныне, а завтра утром пойду как будто бы в университет за письмом, а сам к Олимпу Яковл., скажу и ворочусь оттуда с письмом, как будто бы только [что] получил, а сам ночью подделаю письмо и вложу в один из старых конвертов, где числа на почтовых штемпелях стерлись; спишу из письма все, кроме 5 строк о деньгах. Это оставалось до 11 час. — мысль подделывать письмо.

После, когда стал в 11 час. готовиться подделывать, лень много копировать сквозь плохую бумагу, несходство в формате бумаги, на которой писано письмо, и той, которая у меня, боязнь, что заметят странность и какую-то необыкновенность почерка, что тем легче, что перо починить как следует нечем (и действительно, снимок 5 строк, которые должно зачеркнуть, вышел дурно), подали мне мысль показать это письмо, только зачеркнуть 5 строк, где говорится о деньгах, и сказать, что это зачеркнул папенька, как это часто довольно бывает: верно писал, чтобы я в чем-нибудь переменялся, не подавал повода к огорчениям и был благоразумнее, а после передумал и вычеркнул; а теперь думаю сказать на себя, что это я вычеркнул, потому что не хотел этого показать Олимпу, к которому заходил я с тем, чтобы показать письмо, и от которого должен ожидать, что он станет читать все под ряд. Конверт найду другой.

Это письмо тронуло меня, потому что показывает такую нежность со стороны их, — пишут теперь, что Палимпсестов приехал, потому что знают и предусмотрели, что это интересует меня; маменькино письмо дышит нежностью — мне стало себя немного совестно.

Придя домой, сел за дело; они сидели и болтали, я вместе с ними и несколько раз едва было не проговорился то о смерти Ол. Як. отца, то о Богдане Христофоровиче и Марии Дмитриевне, то о Вареньке — проклятая болтливость. В 9 часов пошел сказать о деньгах Василию Петровичу.

Да, перед обедом, когда Ив. Гр. ушел в сенат, а я уж воротился, Любинька спросила, почему Лободовский вообще не так часто приходит и не сидит у меня так долго, как прежде. Я ей сказал: во-первых, потому, что, может быть, это стесняет их, а во-вторых, потому, что здесь разговор связан; она сказала, что

40

я оскорбляю ее, когда думаю, что мои гости могут обременять их, скорее ихние меня, тем более, что Ив. Гр. и не занят ничем.

Итак, я пошел к Вас. Петр. У него готовился чай, — они пьют в 9 час. обыкновенно, а не в 8, как при мне, это я узнал только вчера, пришедши к ним первый раз в это время; у него тещь и Пелагея Васильевна. Я ему сказал на ухо о деньгах и сказал, что мне сидеть некогда; он говорит: «Я провожу вас» (верно сердце переполнено, хочет излиться), чего обычно не говорил; тотчас встали. Тестя просил подождать и пить чай, тот обещал. Мы дошли почти до конца их линии, потом воротились; на полдороге попался тещь и Пелагея Васильевна: рассердились верно и не стали дожидаться, а между тем времени прошло только 4—5 минут. Он дорогою говорит: «Я расстроен, право, снова уйду». — «Что же?» — «После, теперь я огорчен». Через минуту стал говорить: «Это такие пошлые люди, каких я еще никогда не видел: сердятся, что я горд; сплетничают, все слова перетолковывают, шпионничают, где я бываю, — думают, что я по трактирам; сердятся, что я знаком с молодежью (верно говорили что-нибудь про меня дурное и это его рассердило, как раньше огорчался тем, что Надежда Егоровна на слова его: «завтра будет Залеман», который до этого времени был только раз у них, сказала: «ну, уж твой Залеманто»). А между тем обкрадывают со всех сторон: теплый салоп Надежды Егоровны взяли — и пропал; большой самовар тоже, а маленький самовар худой, поэтому Вас. Петр. говорит, я хотел переменить его с придачею медной посуды, которой было много, на новый, хватъ нынче, — ее нет, один кофейник; чай и сахар таскают постоянно; ныне были 12 человек, хозяйничали, распоряжались, смерть и только, а между тем деньги у них есть, добро бы не было; пошил себе тещь новое платье, — видели, как разрядился, и пришел показывать, красуется, велит смотреть, как будто насмехается» (что его задело это, я видел еще вчера, когда в разговоре он говорил, что у своего отца не грех украсть, «а тебе, вот, Надя, можно — у твоего есть деньги, — смотри, каким франтом разрядился»), «это выводит из терпенья, — и молчать? или высказывать?»

Я готов был отвечать, что лучше молчать, как он толкнул меня: перед нами стояли тещь и Пелаг. Вас. Он просил воротиться, она не захотела, хотя я обещался проводить; он хотел, но когда я вышел, его еще не было и верно не придет, потому что рассердился на меня. Я взмошел снова к ним, через несколько минут вышел и, идя дорогою, передумывал, не лучше ли сказать тещю, что понимают его, иначе это не будет иметь конца, и он решительно испортит отношения Надежды Ег. к Вас. Петр.; высказать — и без Надежды Егор.; а после передумал: нет, лучше при ней, если только чувствует, что достанет терпения выдержать и не наговорить ругательств, потому что, если это будет без нее, ей насплетничают про этот разговор бог знает что, лучше пусть видит сама его благородство.

Сказал ему, что говорила мне Любинька о нем, только ее слова приписал Ив. Гр., что отчасти справедливо, потому что она верует в него и верно хорошо знает, что это не против него будет. Пришедши домой, молот глупости, как дурак, хотя было вовсе не весело, — правда, не было слишком большого и томления, да ведь это бывает редко. Завтра в 10<sup>1/2</sup> выйду к Ол. Як. и буду до 11<sup>1/2</sup> у него; скажу, был в университете; в 5 часов хотел придти Вас. Петр., которого, как теперь вижу, более всего действительно удерживало опасение быть неприятным гостем, а меня тревожило, что он не бывал, думал, что это оттого, отчего я не бываю, напр., у Александра Федоровича.

С каждым новым свиданием я вижу в нем все более и более. Это странный человек, какого еще нельзя найти, человек великий, благороднейший, истинно человек в полном смысле слова.

Да, совесть как будто говорила, что не должно обманывать так сестры и скрывать деньги, да нельзя: человек так устроен, что ему ничего нельзя сказать серьезного, а не пошлого: тотчас, во-первых, поймет не так, во-вторых, выведет бог знает какие следствия, в-третьих, сделает бог знает какие предположения, в-четвертых, разболтает; а домой, подумал, не написать ли о Вас. Петр. и дружбе моей с ним, только не о финансовых делах, и не входить в большие подробности о нем, потому что, известное дело, не так поймут и не так станут смотреть.

Вчера был случай, доказывающий, что мною, однако, не слишком пренебрегают и что говорить свое мнение не всегда бесполезно. Ив. Гр. говорил, что пойдет купить чаю и сахару и лучше в маленьких магазинах, потому что дешевле; он был в этом уверен довольно твердо. Я сказал, что в больших дешевле и лучше, напр., у Белкова и Чаплина, и ругал после себя за это, — а он купил у Белкова. Вчера же Ив. Вас. Писарев, взошедши, поцеловал меня, и показалось мне, что он добряк, и совестно, что я постоянно смеюсь над ним, а между тем и вчера и ныне смеялся (половина первого, ложусь). Да, вчера же был утром неприятно поражен своей небрежностью, когда утром увидел начало этого журнала, где было записано только 12 июля, лежащим на столе — позабыл спрятать в ящик. Однако, я как-то эти дни мало раздражаюсь и томления нет. Работал всего 8 часов, кончил В и начал Г.

15 июля. — В 10 час. пошел к Олимпу Як. узнать, писали ли ему о смерти отца, и, может быть, сказать, если не писали; но мне должно было провести 1<sup>1/2</sup> часа вне дома, чтобы сказать, что я был в университете, и показать письмо. Ол. Як. не застал, пошел в Гостинный двор, купил бумаги почтовой полдести на 30 коп. сер., после пошел к Фрицу, который пришел вечером и взял сапоги приделать головки. Пришел, показал письмо. Любинька посмотрела на замазанное место на конверте (от одного письма за май): была стерта надпись, которую я делал на конвертах, когда отправлено письмо, и стертое залито чернилами, как будто стерты были чернила; не нужно было этого делать; стала разбирать замазанное

маменькою и разобрала, а того, что я замазал, не стала, потому что сразу видно, что ничего нельзя разобрать, или потому, что догадалась.

В 5 час. по обещанию пришел Вас. Петр., сидел до 9; мы сидели, говорили, как раньше в моей комнате, когда я жил один. — Говорил, как его раздражает тесть своею пошлостью; потом говорит: «Не знаю, как теперь любят меня дома». Стали говорить о своих домашних делах; по его словам выходит, что его отец — человек ограниченный, довольно тщеславный и обыкновенный; сестру, говорит, особенно любит Анну, вторую. Вместе с этим говорил о пошлых людях, о том, что они способны на всякие гадости, хотя, может быть, бессознательно; ссылался, что добродетель может быть только у человека с хорошей головою. — Я говорил, что иногда думают, что все это высшее качество, высшая натура — вздор; посмотрите на то, как действует этот человек (при этом я думал о нем), и выходит, правда, что он может быть несчастлив, может делать несчастливыми и других, но все делает не то, что [другой], и другой не может сделать того, что делает он.

Тесть вчера воротился; придет, разляжется на диване, распоряжается как хозяин, критикует с чувством своего права кушанье. — «Я, — говорит, — при нем не могу есть без отвращения. Быть, — говорит, — деликатну с такими ограниченными людьми, совестливу, как я бываю, не годилось бы — они ведь не понимают, что это снисхождение к ним, и обходятся с тобою за панибрата, ставят тебя ниже себя, кладут тебе руки на голову; вчера — говорит, — не выдержал, ушел и ходил верст 15, без этого насказал бы ему; придется кончить, как Самбурский — выгнать его просто из дому». — «Что не переедете на Петербургскую, удалиться бы от них?» — «Перевозка стоит 10 руб.; во всяком случае теперь здесь хозяин поверит, если не заплатит ему, а там этого нельзя будет, потому что незнаком».

Говорили много о пошлых людях, я приводил примеры и, между прочим, Любиньку и Ив. Гр.; я, кажется, решительно увидел, что опасаться, чтоб он полюбил Любиньку, нечего. — «Вот, говорю, видите, напр., целуются — очевидно от скуки». До сих пор мне только две женщины попались, не внушающие неприятного чувства, это Александра Григорьевна, дочь Клиентова, и Надежда Егоровна. Снова говорил в ее пользу; привел, как дурно обходится отец с Александрою Григорьевной. «И [с] Надеждой Егоровной, умрите вы, то же будет — взять к себе возьмут, потому что не взять неприлично, но принуждена будет идти в служанки». — «Да, — говорит он, — сам говорит — отрезанный ломоть; и все, говорит, перетолковывают в дурную сторону; тесть говорит: «Вот вы как обходитесь с Николаем Гавриловичем, а мы родные, больше должны любить друг друга»; они думают, что я знаком с молодежью, вместе кучу и мошеничаю». — Я говорю: «И это все перетолковано в миллион раз подробнее и обстоятельнее Надежде Егоровне, она должна беспокоиться». — «Да, — говорит, — я два

раза видел, что она плачет; даже спрашивали ее они, люблю ли я ее; она говорит: «Судя по ласкам и внимательности — любит»; мне ее жаль более, чем когда-либо». — «Да, — я говорю, — вам должно быть осторожнее в словах, чтобы не подавать ей повода к подозрениям; вот, напр., мы говорили третьего дня с вами о кражах и т. д., — ведь за пять лет вы были в миллион раз на высшей ступени развития, чем теперь она, а что бы вы подумали о людях, говорящих такие вещи?» — «Да, — говорит он, — она меня спрашивала об этом и приняла это в шутку».

Я спросил его, находил ли он вообще когда-либо людей, с которыми можно быть откровенным, — по поводу того, что его не понимали дома, и он должен был быть не откровенным. Он говорит: «Да, иногда находил, но теперь я неспособен к откровенности, потому что лета не те и поэтому и с вами не откровенен» (это я и раньше думал, что не совсем), «а между тем с вами можно быть откровенным, потому что вы ко всему приготовлены и не отвернетесь, если я скажу, что украл, как это сделает отец; он отречется: делать подлости можно, только чтобы не знали их, вот его правило». Решили, что тщеславие и пристрастие, по которому осуждается в другом то, что уважается в себе, и злобные пересуды (я привел в пример насмешки Любиньки над всеми ее женихами, это ему понравилось, верно потому, что он вспомнил, между прочим, как переменялось мнение его родных об Антоновском, который, когда был женихом Марьи, был прекрасен, после стал негодяй) — признак людей ограниченных и пошлых; что они всему радуются и печалются и ничему глубоко. — Я говорю: «Это от пустоты и отсутствия собственных интересов, — это как река, — течет, и ничто не делает впечатления на нее, — так, когда имеешь свой интерес, — а то как болото стоит — только чуть тронь, и потечет вода, как тебе угодно». Это было отнесено отчасти к его родным. «Я, — говорит, — сказал Надежде Егор. о наших отношениях с вами для успокоения ее, говорил о деньгах ей». — Я говорю: «Это не должно». Он говорит: «Было нужно». Я говорю: «Особенно не хорошо, что вы говорили об этом Залеману; хорошо еще, что Залеман в энтузиазме к вам, но ведь это знаю я, а не вы, как же вы могли сказать ему это? Если вы не хотите сделать человека смешным, вы не можете ничего сказать хорошего про него, кроме того, что не пьет вина и не играет в карты; что не ходит к девушкам, не прибавляйте, а то выйдет, что употребляется или употребляет мальчиков».

Я говорил довольно много об Александре Григорьевне и Надежде Егоровне и о впечатлении их на меня, совершенно отличном от впечатления, произведенного другими. «Думаете, — говорю, — что это вздор? Нет, не вздор; нет, это действительно существа высшей природы, в которых есть это естественное благородство и такт, а то другие говорят все и прилично, и хорошо, да некстати в сущности, или то, что не следовало бы говорить, например, делают что-либо для вас, и не хотят это показать, а между тем

делают так, что выказывается это вам». (Свойство, противоположное этому, я точно заметил в Надежде Егоровне: она делает так, что только после рассудишь, что это было сделано для вас, а сразу и не заметишь.)

Меня радовало, что он снова будет бывать и мы снова будем говорить с ним, как раньше, откровенно в некоторой степени; что он не станет думать, что беспокоит, приходя ко мне. Отдал ему 25 р. сер., которые получил. Завтра хотел принести Любиньке «Современник» июльскую книжку и «Домби и сын», 1-я часть<sup>6</sup>. Посылал за табаком (20 коп. сер.; сдачу отдали не мне; итак, истрачено 50 коп. сер.).

У Горлова пояснил себе раньше темную мысль, что налог выдается в расход раз, а с народа берется два раза, в первый раз — когда собирается, во второй — произведениями, за которые снова отдается поставщикам, и что проценты долга государственного (мысль эта раньше мне не приходила в голову) берутся у производящих сословий, а отдаются [не] производящим, а живущим рентою. Работал все время, когда был дома один, с 9—10, 12—5 = 6 часов, кончил Г, разобрал Д и списал до слова «до». 12 часов вечера, ложусь.

Да, прояснилась мысль во время разговора с Вас. Петр., что чем больше понимаю, тем больше высоко ценю папеньку и тем более замечаю в себе сходства с ним. Боже, сохрани его! Думаю более всего о Вас. Петр., несколько об Ол. Як., почти ничего о себе, как теперь обыкновенно; как сестра бывала на глазах, то заговаривал с нею обычным насмешливым тоном — ее беспокоит ее положение: думает, не поправится. Бог знает. Ив. Гр. сказал, входя: «Вы утешаете ее?» — «Да, — говорю, — только, кажется, безуспешно, как вообще бывают утешения». — «Правда, — говорит он, — в это самое время утешения только раздражают нас и более утверждают в нашей мысли; но после мы рассудим и согласимся; что в них есть резонного, в самом деле утешило». Эта мысль вертелась не слишком ясно у меня, а она важна.

Пятница, 16 июля, 12 час. — До 5 часов работал, когда принесла Марья (служанка Катерины Павловны) записку от Александра Федоровича: «Папенька умер, приходите поговорить о судьбе брата». Тотчас пошел. Это известие принял я весьма холодно, Любинька и Ив. Гр. тоже спокойно, снова стали играть в карты, как прежде. Шел, думал, что, может быть, найду его чрезвычайно встревоженным, — он был спокоен, даже лицо с почти обыкновенным выражением; я взошел, мы молча поцеловались, он дал мне прочитать письмо брата; оно было написано хорошо, с умом, связно, с чувством — он говорит о желании отца, чтобы ~~ф~~ был на его месте, говорит — «Я сказал, не могу, и как мочь? Нет невесты, кроме грубых, обязанности тяжкие и т. д.». Он хочет быть в светском звании и, если можно, жить вместе с братом здесь, — так подействовало на него одиночество его теперь, «пусть наша могила будет одна». Ал. Фед. говорит: «Я пришел

домой из департамента, письмо лежит, прочитал, ноги и руки затряслись, я был сам не свой, не помню, что писал вам (я пришел верно через 20 минут после этого), теперь начинаю приходить в себя».

Он говорил рассудительно, по виду холодно, сказал: «Как жаль, нет и портрета; я очень рад, что все письма его целы у меня; жаль, нет маменькина; смерть дяди (Минаева) навела меня на мысль, что из наших еще кто-нибудь умрет: всегда умирали по-трое». О брате стал говорить: «Оно, говорит, видно, что ему хочется сюда, хотя он представляет на мое решение; против воли нельзя, пусть едет, место я достану, он будет получать хоть 10 руб. сер., с этим будет у нас 2 000, можно жить». Он говорил о делах, ничего не позабыл, кажется: а как ему ехать? Через год, который остается дослужить до трехлетия для службы в губернских местах, или осенью? Лучше осенью. Мысли эти были у него, я был совершенно согласен. «Пойду, — говорит, — узнаю у Страховского о местах в канцелярии генерал-губернатора». Не застал его дома и зашел к нам; в это время Ив. Гр. не было, мы пили чай; пришел и Вас. Петр. в 7¼ час.; говорил довольно весело, так что другой и не заметил бы ничего в Алекс. Фед. особенного; а между тем это известие должно сильно подействовать на него по его характеру и придает его характеру новый вид.

После он ушел, мы посидели с Вас. Петр. еще до 9 час., он говорит: «Я пойду завтра далеко гулять куда-нибудь». Я говорю: «Лучше пойдите вместе, заходите ко мне». Бедный, он все более и более приходит в дурной образ мыслей, делается более и более мрачным и более и более впадает в кручину; я хотел пойти с ним, чтобы он не ушел в Петергоф или Царское (как говорил он, едва было не ушел четвертого дня), проводить его, поговорить, может быть, успокою несколько его; тяжело ему, тяжело; а между тем, странно — я как будто не трогаюсь этим, сердце не щемит; жизнь, кажется, отдал бы для его счастья (не знаю, может быть, отдал бы, — если б знал, что не будут слишком тосковать папенька и маменька, конечно, отдал бы тотчас и за счастье не всей его жизни, а хоть на год). «Хорошо, — говорит, — я приду в 10 час. за вами, или вы приходите в 5». Я отказываюсь обыкновенно, когда он говорит «приходите», потому что думаю теперь (дня 3 назад), что это может более раздражать против него тестя, который будет расстраивать Надежду Егоровну.

Говорил с Любинькой, довольно спокойно по наружности, сидел; в 10½ пришел Ив. Гр., за ужином говорил о том, что ему не нравится, когда говорят о высших правительственных лицах нехорошо: хоть палка, да начальник; от этого разрушается государственный порядок и доходит дело, когда каждый мыслит, до того, что теперь во Франции. Я говорю: «Начальники слишком много на себя берут, забыв, что не подчиненные для них, а они для подчиненных, и тем вызывают осуждение и строгость к себе; не правда существует для государства, а оно для правды. Кто

различает человека и палку, место и власть и человека, занимающего его, тот не должен бояться суждением о нем ослабить в себе уважение к власти; во Франции и теперь лучше, чем у нас». — «Да, — говорит он, — в материальном смысле, а в нравственном что?» Я говорю: «И в этом лучше, чем у нас, и семейные отношения лучше; а что мы думаем, что у нас лучше, — это от самолюбия, которое говорит: лучше нас, т.-е. меня, нет и на свете никого; кроме того, оттого, что мы выросли в этих понятиях и думаем, что иначе и быть не должно, а если есть иначе, то это гадость». Дело делал часов: 9—5 (—1½), 9—10½, 11—12; = 10, разобрал до З. Букву И только начал разбирать, почти еще не раскладывал по местам. Читал 20 июня «Débats», проект конституции.

*Суббота, 17 июля.* — В 12 часов пошел в университет за письмами. Когда воротился, убирали и мешали делать дело; это расстроило несколько расположение духа; а Любинька и Ив. Гр. нежничали на диване подле меня и показывались, может быть, именно оттого, что я был раздражен, весьма пошлыми, и давно не чувствованное «тянет с души» было почувствовано мною так, что мне до обеда хотелось уйти из дому, как бывало осенью. После — ничего.

Вас. Петр. не зашел, поэтому я был у него с 6 до 9; после он проводил меня, я егр. Наверное он заметил и сообразил то, что я ему сказал неосторожно третьего дня, — что я вычеркнул в письме несколько строк, и сообразил, что это верно говорилось, что прислали деньги; я, кажется, разуверил его, сказав, что это говорилось об отношениях Любиньки и Ив. Гр. друг к другу; говорил ему о чувстве неприятном, которое производят их нежности, да и вообще все *Wesen und Treiben*\*, и о том, что мне самому совестно его. Он опасается все расстроить своею близостью мои отношения к ним; я разуверял, не знаю успешно ли. Надежда Егоровна читает Лермонтова (стихи, что я замечал и раньше) и «Тома Джонса»<sup>7</sup> — хорошо.

От него зашел к Ал. Фед. за «Débats» и теперь ложусь их читать. Разобрал и несколько списал буквы И (до иже списал); почти ничего не читал, только дочитал 1-ю часть «Домби и сына» — хорошо, конечно. Почти ничего не думал. Пусто и довольно глупо было на душе и в уме, когда был дома; с Вас. Петр. говорил довольно шутя и остря о Пушкине<sup>8</sup>, Залемане старшем и Орловых петергофских. Работал 4 часа.

*18 июля, воскресенье.* — В 11½ пришли Ол. Як. и Ал. Фед., просидели до 2½; Ал. Фед. снова пришел в 6 и просидел до 9½; еще несколько времени было отнято тем, что Ив. Гр. пил чай, воротясь домой, и свечу поставил на другой стол; работал около 4 часов, — день, пропавший совершенно. Вас. Петр. не был, это немного беспокоило, однако немного, я что-то как дубина.

\* Существо и поведение.



Пришла мысль, возбужденная словами Олимпа Як. про гатчинских воспитанников, что должно сечь их, — дарования необычные и не занимаюсь, а с какой-то бесцветностью и бессмысленностью смотрю\* в то время, когда занимаюсь разбором словаря, — что собственно и хорошо делают, если не занимаются школьным делом, — что неудивительно, что дурак в школе бывает обыкновенно умнее хороших и талантливых учеников в жизни: те, все учась, следуют авторитету и не имеют времени свободно жить и чувствовать и мыслить, остаются детьми, забитыми людьми; одним словом, понял, как выходят бестолковые люди из школ и что значит — это забитый мальчик. Да, защищал по нападкам на Ол. Як., как наставника в Гатчине, мысль, что большая часть занимающихся места не имеют ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойнее занимать их места, чем те, которые не занимают их, и что, напр., он ничем не хуже других, и большую часть чиновников и правителей легко можно бы заменить durch den ersten besten\*\*, кто сел, тот и умеет сидеть, не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и дает тебе ум или репутацию на ум. Споря о чем с Ив. Гр., довел его до того, что он сказал: «Однако этот спор ни к чему не поведет»; через несколько секунд все-таки начал он говорить о вздоре снова.

Думал почти бесплодно и без интереса. Семейные помехи несколько надоедали. Любинька наскучила своими толками о том, что не надеется на выздоровление: и жаль ее, и скучно, и приторно слушать. Читал «Débats» только, разобрал И и К.

19 июля, понедельник. — Утром около 1 часа был расстроен несколько помехами семейными, так что хотелось уйти из дому. Пришли к Ив. Гр. Горизонтовы оба, я не выходил; просидели более двух часов, время пропало, потому что в это время, как нарочно, я рассыпал по полу слова, а подбирать было неловко при них; от скуки читал Горлова и «Débats» без всякого внимания; после обеда был не так, как раньше, расстроен, хотя бы должен бы быть расстроен, потому что от 5 до 9 сидел Алекс. Фед., время снова пропало. Думал несколько о Вас. Петр., что его нет, а вообще ни о чем, кроме своей скуки, — не будет ли она увеличиваться и не начнется ли снова состояние, как было осенью.

Ал. Фед. просил написать папеньке о том, что будет стоить поминание в год его отца в нашей церкви, не говоря, что это для его отца; я отвечал, что верно и так написал в синодик, но что все-таки что напишу. Он говорит, что «все более и более грущу и тоскую, гораздо более, чем раньше». От Фрица принесли сапоги (надел головки), отдал 3 руб. сер. и мальчику 6 коп. сер. Разобрал буквы Л и М, работал 8—1, 4—5, 9—11 = 8 часов, но много мешали мне разговоры Любиньки и Ив. Гр. и много сам рассыпал букв своею неосмотрительностью. Когда Любинька спросила, за-

\* Слово неразборчиво.

\*\* Первым попавшимся.

чем, отвечал: «Сам теперь не знаю хорошенько; раньше для медали, а теперь не могу писать на нее». — «Почему не можешь?» — Я сказал пустяки.

20 июля, вторник, 12 часов. Писал домой вследствие вчерашнего разговора с Любинькою. Ив. Гр. не было дома, я говорю в 2 часа: писать домой, чтоб прислали мне денег или подождать, что скажут Воронины после вакаций? — Она говорит: «На что ж тебе? Не нужно». Я говорю: «Отдать вам». — Она говорит: «Да разве нужно отдавать что-нибудь?» — «Само собою», — говорю я. — «Ну так теперь есть деньги у нас, можно погодить» (что она скажет погодить, [я ожидал], но что они думали, что я буду даром жить у них — не ждал я), «чтобы погодили до конца вакаций присылать деньги». В университете получил письмо от тетеньки. Думал пойти к Вас. Петр., и когда пришла хозяйкина дочь, которая навела на меня прежнее чувство неприятное, которое овладевало мною обыкновенно при виде и слушании женщин и девушек, — ушел.

Их встретил возвращающимися домой с прогулки, просидел до 10<sup>1/2</sup>. Мы говорили и играли в карты. Он в суетах позабыл налить в самовар воды, и он распаялся; это было весьма неприятно для меня; они сохранили дух; Над. Ег. выказала к моему удовольствию себя хорошо. Он говорит: «А лучше было, когда вы стояли в доме Фредерикса; не знаю сам, почему мне неловко бывать у вас».

Вчера решился написать словарь так: раньше выставить места, где слова, после уж приискивать вдруг значения слова, когда вообще кончу всего Нестора; это прибавит работы, зато лучше, по месту и значения будут выставлены вернее, а то раньше не знаешь необычного значения слова и, если можно, придаешь старое, после необходимо видишь новое значение, тут его и даешь, а в прежнем месте осталось старое и контроль труден. У Вас. Петр. взял июльскую книгу «Современника» и теперь ложусь читать ее. Расположение духа ничего, думал более о Вас. Петр.; Ив. Гр. и Любинька надоедали менее, чем вчера, и расположение было лучше. Разбирал Н, работал 7<sup>1/2</sup> часов.

Когда ходил в университет, все слыхал хороших с Надеждою Егоровной — все хуже; одна все-таки, девочка лет 15, может быть 16, довольно понравилась (напоминает лицом, особенно плавным переходом носа, довольно острого по обе стороны к щекам, сестру жены Иринарха Ивановича Введенского, брюнетка), так что я остановился, опередив их, чтобы подождать или по крайней мере взглянуть на нее; чувство было чистое, как от хорошей книги или разговора с умным человеком; однако не дождался. Видел ее на Чернышевом мосту; это я сделал едва ли не в первый раз, что оглядывался, чтобы полюбоваться. Хозяйкина дочь пошла.

Вздумалось перед тем, как пошел в университет, когда разбирал Н букву, — не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пеленках, так что я не жил, как

другие, не любил до сих пор, не кутил никогда; что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это само развитие приняло, может быть, ложный ход, — может быть.

Ив. Гр. сказал, что хотя нельзя смеяться в глаза над людьми, которых любишь, между тем как не грех за-глаза, напр., над тем, что Ал. Тимоф., не умея играть в карты, садится показывать хорошим игрокам; да, так кажется должно уживаться с людьми, а я все-таки не так думал и думаю: кого любишь, нельзя смеяться за-глаза.

*Среда, 21 VII, 1848.* — Весь день работал, кроме того, что утром несколько времени и за столом и чаем читал «Современник»; прочитал в июльской книжке 8-ю часть «Домби и сына» — хорошо, но вполне определить не могу, потому что читал, развлекаясь разговором. — Ждал Василия Петр., — не был, завтра узнаю, чего. Вечером был у Раева в 10 ч. по обещанию принести «Débats»; отнес. Работал около 10 часов, обделал О и разобрал по слогам П. Думал, хотя без чувства, о Вас. Петр. и мало, более все вообще и точно ли высшей природы Над. Егоровна. Говорил о положении женщины с Ив. Гр. и Любинькою. Любинька говорит: «Бедные женщины, потому что всегда в зависимости от мужа». Значит, она хорошо чувствует в этом отношении то же, что и я. Ив. Гр. говорит: «Пустяки, стоит наравне с мужем». Он не понимает этого угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочтенных браком. Я говорил за, он — против, довольно много и умеренно к общему удовольствию. — Вчера забыл записать 20 коп. сер., отданные швейцару за письмо. День почти пуст, потому что занят делом. Ив. Гр. не надоедал, кроме только, когда читал — смешил.

*Четверг, 22 VII.* — В половине первого пришел Вас. Петр. по дороге к Залеману и священнику Казанскому, просидел с полчаса. Говорит: «Нахлынули родные, я ушел и не буду обедать дома». Взял с него обещание зайти на возвратном пути; он долго отказывался, наконец, согласился и зашел, в  $3\frac{1}{4}$  часа; всего в оба раза просидел с  $1\frac{1}{2}$  часа; тут он был весел, потому что застал Залемана мать одну дома и высказал ей, почему не отдает долга, говорит — «не могу»; говорит: «точно гору с плеч свалил»; она говорит: «Волodyа мне говорил уж: он не ходит потому, что совестится, что не отдал». Приняла она его с большою радостью. После Казанский предложил ему учить детей своих, которые в семинарии, на вакации; хоть немного, говорит Вас. Петр., все лучше, чем ничего. Казанский достал ему «Ревизора» и достанет «Мертвые души»<sup>9</sup>, это также весьма было приятно ему, он был весел; я обещался придти в 6 час., но завлекся работою, между тем пришел Ал. Фед., принес газеты, когда я хотел уйти, и он хотел: «я, говорит, хочу посидеть с вами», и просидел до  $8\frac{1}{2}$ . — Я пошел-таки, просидел до  $10\frac{1}{4}$ , — пошел тотчас, как ушел Ал. Фед. Поговорили несколько, после я стал читать последнюю часть «Разъезда из театра» Гоголя из 4-й части, которая у Вас. Петр. лежала, — пьеса, которую он не

читал. Надежда Егоровна была в чепчике спальном, он к ней не идет, но все-таки мила; смеялась, не знаю, над картинками «Иллюстраций»<sup>10</sup>, которую пересматривала, или над гоголевскими судьями; кажется, несколько раз над судьями; если так — хорошо, значит, понимает. Он говорит: «Я вас с нетерпением дожидался в 6 часов, был один дома».

День прошел ничего, чувствовал только голову, кроме того, когда был у них, было несколько приятно сердцу. Списал П до слова «посѣжаеми», работал часов 5.

Утром читал «Тома Джонса» в «Современнике» — чрезвычайно хорошо, должен перечитать еще, как и «Домби». В «Débats» при Ал. Фед. пробежал (они 9—14 июля) объяснение Луи Блана против «Débats» на его оправдание в участии в бунте 25 июня<sup>11</sup> и ответ «Débats»: как неизмеримо выше он их по уму и мыслям! Ответ «Débats» сделал на меня неприятное впечатление: «Droit du travail»\* говорит, что всякий делай, что хочешь, а не то, что государство, как вы говорите, должно дать работу тому, который не имеет ее — хорошо! [He] думал почти ничего, более о Вас. Петр. — Половина первого. — Да, последние дни утвердился в мысли, что в груди у меня перемена: пишу много, а усталость если и чувствую, то в плечах, а не в ней. Любинька сильно жаловалась на боль при отдирании во время перемены перевязки на больной ноге (пальце) мне, что заметно будут от них помехи.

23-го VII. — До 7 работал с легкими (всего с час) перемежками чтения июльской книжки «Современника». Ждал Вас. Петр., который обещался быть. В 7½ пришел и в 8 пошли, потому что он говорит, должен быть дома (он был у Казанского), а мне должно было зайти к Стефаницу Любиньке за сассапарельной эссенцией и в университет за письмом, которое обещался взять ныне Ал. Фед., который думал, что там будет написано о Петре Фед. Вас. Петр. проводил меня к Стефаницу (в Казачий переулок) и после до Каменного моста, потому что верно ему хотелось говорить: «Я, — говорит, — ныне более обыкновенного угрюм, — тесть говорил Наде: что Василий не учит Васю? — Я говорю ей, чтобы она сказала, во-первых, должен сказать об этом ему сам; во-вторых, он не возьмется, потому что время нужно ему самому, а денег брать с родных не годится. Надя, кажется, начинает понимать наши отношения и что это не годится. Да, понимает, а если и не понимает — ничего; невыносимый человек этот тесть, невыносимый. Прекрасно делает с ним Ник. Самойлович, теперь они не видятся: тесть присылал за деньгами, он сказал — нет, и вообще хорошо, что он так прямо и резко отвечает ему, а то вот предлагает стать на одну квартиру, и когда я говорю — не стану, видит в этом нерасположение, а я говорю, что далеко квартира и пр., и не говорю настоящей причины, а должно высказать; это, говорит тесть, будет выгоднее жить вместе, расходы пополам; так бы и сказать: ведь нас

\* Право на труд.

двое, а вас восьмеро. «Да, — говорит, — выгоднее, сколько ведь у вас выходит?» — «Два-три рубля в день», говорю я. — «Два-три рубля? Что это? Лакомства?» и с таким видом, выводящим из терпения. Да нет, я воспользуюсь случаем, когда он будет у меня один, а Надя у них, и выскажу ему; потребу, чтоб возвратил сапог, белье, чайник, кофейник, главным образом, потребу для того, чтобы показать, что я не такой человек, каким он меня считает; скажу ему тоже, что не по мне и это его свинство: войдет и полчаса стоит в шапке и с таким гордым видом, как будто так и следует». — Я, пока говорил Вас. Петр., все время молчал, только вздумал было, в намерении принести пользу Надежде Егоровне, утвердить, примером неверной оценки им с первого раза тестя, убеждение в нем, что нельзя с первого раза узнать человека и что слишком часто мы ошибаемся, — мнение, которое я постоянно поддерживаю перед ним, потому что так должно и потому что это задушевное мнение. — «Нет, — отвечал он, — я его так и с первого раза оценил: пошлый и чрезвычайно ограниченный, хотя и добрый человек; он свинья, и этим объясняются все его поступки».

Мы подходили к Садовой, когда он стал говорить, переменяя несколько предмет и наводя разговор на то, что верно еще более интересует его и о чем хотелось ему говорить сначала, но увлеченный рассказом: «А что более всего меня тревожит, это совершенное равнодушие к жене». — «Почему? Что же, влюблены в другую?» — «Нет, это пустяки и я не знаю, могу ли уж влюбиться, а то, что этак, пожалуй, я и марш: ничего не делает, сначала я заботился о том, чтобы ей не было скучно одной, теперь уж оставляю, как хочет, а кажется, могла бы видеть, что я целый день что-нибудь делаю». — «Эх, — говорю я, — это делается медленно, и это пустое препровождение времени у слишком многих людей: напр., Ив. Гр. ничего весь день не делает, а, кажется, человек не то, что Надежда Ег. по умственной ступени (это, кажется, несколько произвело на него впечатление), и Любенька, — как больна, не встает, а давеча проходили похороны — кричит, а тащится к окну». — «Да, еще: когда одна — ничего не делает, когда я тут или кто еще — шьет, да и только». Это уж на меня подействовало, хотя я не измился наружно; это нехорошо, это притворство; но тотчас же вспомнил круг, в котором жила она, его привычки и пошлость, и снова извинил ее, а теперь приходит мысль: ничего не делает, — а что делается внутри? Может быть, думает и тоскует, может быть то, может быть другое, а когда человек здесь — естественно, внутренняя жизнь сощемляется и садится от нечего делать за работу. «Она с душком», — начал было говорить он, но здесь был угол и он говорит: «Нет, дальше не пойду, жаль ее заставлять ждать пить чай, теперь будет не совсем приятно ей, если меня так долго не будет, я давно из дому». — Что за человек! И это еще, когда он совершенно равнодушен! А какое счастье быть любимой им! Боже, какая сила чувства, какая сильная, нежная, великая душа! Мнение мое о нем, если можно, еще возвысилось после этого. Велел

приходить завтра. В университете получил письмо Марье; Ал. Фед. заходил сказать на минуту, что ничего нет. Письмо папеньки довольно подействовало своим уверением, что «не будет для меня тяжелых дней в жизни» — это в ответ на поздравление с ангелом, верно я желал, чтобы их не было — «я шел тесными вратами и не стыжусь себя». Слава богу! Есть на свете люди, такие как папенька, и слава богу, что такой человек мне папенька! Любиньке была вложена записка от Варвары Дм. Ступиной и Зарубаевой, я не читал ее, когда увидел подпись Зарубаевой; после спросил у Любиньки, можно ли прочитать; в письме Алексея Тимоф. к Ив. Гр. было о смерти Андреева; Любинька сказала мне, читая письмо с сожалением, — это хорошо подействовало на мнение о ней у меня: почему не всегда и не про всех так? — Грудь, когда я воротился из университета, была несколько тяжела, — от ходьбы и флакона с эссенцией или работы? Верно от первой причины, потому что теперь ничего не чувствую. Блеснула мысль, которую верно буду приводить в исполнение (потому что не хотелось бы получить что-нибудь через Срезневского при теперешнем мнении студентов о моих к нему отношениях) — отправить словарь не к нему, а прямо в Академию. Чувствовал только голову. Кончил П и отдал Р и начал разбирать по словам С — разобрал 6-ю часть этой буквы. Работал 8½ часов.

VII, 24. — Утром несколько читал «Тома Джонса» во второй раз и мелкие статьи в «Современнике». Узнал о смерти Фон Швейден (Мариной), бывшей Любинькиной подруги, когда еще были дети обе; они перестали видаться так давно, что Любиньке было еще столько лет, что она и не может сказать, сколько именно; с тех пор я ни разу ее не видел и чикогда о ней не думал, даже не могу теперь припомнить ее лица, совершенно не могу, даже цвета волос, а между тем это подействовало на меня: я работал и продолжал работать, но выкатилось 3—4 слезы: дай тебе бог царство небесное! Так сильно, верно, воспоминание о детстве. Мне верно было не более 6 лет, когда это знакомство кончилось, и она явилась мне теперь в таких чистых, ясных, хотя совершенно неопределенных воспоминаниях и поэтому-то верно и дорого и свято для нас [то], что соприкасалось с нашим детством: мы тогда чисты, святы, не подозрительны, и поэтому все представляется нам и чисто и свято, так верно и здесь. — Прости навсегда! Известие ни о чьей смерти на меня так еще не действовало, хотя и это подействовало более прискорбно, чем сильно опечаливающим образом. Я совершенно остался в прежнем, кажется, расположении духа, но все-таки принял это к сердцу, как никогда раньше не принимал, даже о Федор Ивановичевой или бабенькиной<sup>12</sup>: их я знал большой то же, и они являлись мне людьми с недостатками, а эта как была тогда, так и осталась в воспоминании ангелом.

Проработал до 5¾, после стал собираться к Вас. Петр., как обещался; пока чистил сапоги, Любинька вовлекла меня в прения с Ив. Гр. о полезности наказаний (главным образом, телесных

в школах), — он говорил да, я говорил нет, но довольно мирно и довольно, кажется, с удовольствием. До 9¼ просидел у Вас. Петр.; когда шел туда, встретила Над. Ег., которая шла за Алекс. Ег., чтобы идти гулять; я пошел к Вас. Петр. почитать, пока не воротятся, Гоголя (сначала «Ревизора» я читал). — Немного после пошел гулять через мост на Семеновский плац, через него мимо железной дороги к Вас. Петр.; на дороге я говорил о гоголевой «Переписке»<sup>13</sup>, что все ругают «я первый», что это не доказывает тщеславия, мелочности и пр., а напротив только смелость, что первый высказал то, что думает каждый в глубине души; памятник? Да ведь назвали бы дураком, если [б] не знал он, что в 10 раз выше Крылова, а ему ставят памятник, «Мертвые души» нехороши и обещает лучшее? Это притворство, кривляние, чтоб хвалили? Это назвать всех дураками? — Нет, просто убеждение, что исполнение ниже идеи, которая была в душе, и что мог бы он написать лучше, чем написал, — мысль, которая у всех. Что Россия смотрит на него? Естественное и справедливое убеждение и нельзя не иметь его. Вас. Петр. согласился, что этим критикам потому это кажется сумасбродством или высшей степенью тщеславия и мелочности, что не привыкли к этому и сами неспособны питать таких мыслей, поэтому не верят и другим. А Гете, я говорю, делает то же, что Гоголь. Что Гоголь многого не понимает, как говорят, хорошо? Гете не понимал Байрона.

О своих делах Вас. Петр. не говорил ничего; пришедши, пили чай, разговор был общий (и Над. Ег. участвовала) и довольно ничтожный, довольно обыкновенный, говорили анекдоты и проч. Странно, что я у них одних не скучаю и мило мне видеть их ласки друг к другу, между тем как у своих наоборот. Над. Ег. в первый раз поцеловала при мне Вас. Петр. (раньше целовала часто, только в другой комнате); у них всегда сижу спокойно и доволен, — не так как у других, жалея о времени, если и выгонит из дому неспокойное состояние духа. Пришедши домой, работал около 2 часов, всего будет около 8 часов; списал до конца слога *си*, завтра хотел бы кончить переписку словаря и начать выписывать места, где находится слово.

*VII, 25, воскресенье.* — Весь день просидел за работою, которую, думал, может быть, кончу к обеду; чувствовал некоторое утомление и лень (чего раньше не было), оттого ли, что надоело, или вернее потому, что вчера, да и дальше, долго не спал. Мелькнула мысль, не принести ли как будто чужое, пославши по городской почте, письмо Вас. Петровичу, в котором предупреждают его о предосторожности, говорят, что я влюблен в Над. Ег., — может быть возбудится ревность и возбудит любовь, если догадается, что это я, и спросит, зачем, — скажу: испытать, как далеко простирается ваша доверенность ко мне. Довольно думал об этом. Заметил еще резче, что у Любиньки навязчивый и капризный, так сказать, характер — это относительно Ив. Гр., которого она раздражает тем, что не отвечает на его заботливо-неуместные вопросы:

«что ты?» — как будто сам не видит, что именно. Действительно, может надоесть, но она и про него не хочет понимать, что это от заботливости. А может быть это и потому, что она думает, что уж надоела ему болезнью и что эти вопросы внешнее инстинктивное выражение скуки.

Говорил с ним о дружбе, в которой он сомневается: «Я,— говорит,— более способен к тесному приятельству». Окончательно (еще раньше этого разговора, который после обеда, а то до обеда) утвердился в мысли, что Варв. Дм. Ступина и Анна Андр. Зарубаева женщины замечательные, потому что вот все дружны так долго, и так дружно, что Варв. Дм. говорит: «Несмотря на свою гордость, я пойду в няньки к Анете, так люблю ее». Любинька сказала это, кажется с насмешливым видом,— неприятно видеть такое пристрастие к себе и такую ограниченную несправедливость к другим. Действительно, должно быть как можно более осторожно в выражении своих мнений, которые считаешь благородными, напр., о дружбе, любви и пр., и особенно не должно высказывать, если есть у тебя подобные отношения, которые в твоих глазах придают тебе человеческие достоинства, а в глазах большей части тех, которым будешь говорить, сделают тебя только смешным. — В половой любви, говорит Ив. Гр., нельзя сомневаться, дружбы может быть и нет. Кроме того, где Любинька огорчалась от своего характера, сколько раз оскорблял он ее и по своему неумению: я, кажется, тоже. Какая неловкость! Он, напр., наводит на мысли о Верочке, а после недоволен, что она плачет; да он смеется над слезами вообще, поэтому и она стесняется перед ним в своих чувствах; это тяжело — и не хотела бы плакать при нем, как говорит, поэтому. — Работал часов 11 или 12, кончил С разбирать, и списал Т и У. — Половина первого. Весь день был совершенно спокоен, кроме некоторой скуки за работою или утомления.

Понед., VII, 26. — Утро работал все, и к 3 часам было почти кончено, в 4 часа кончил и было лег почитать «Героя нашего времени»<sup>14</sup> — пришел Ал. Фед.; утром был Вас. Петр., «сказал, что тесть заболел холерою; довольно жаль, взял «Современник», я поэтому не могу перечитать снова «Тома Джонса» и «Домби», и принес на возвратном пути «Героя нашего времени» и некоторые листки «Иллюстрации». Мне было досадно, когда после его ухода Любинька не тотчас бросилась на Лермонтова, а, как это обыкновенно делается, стала перебирать картинки в «Иллюстрации» и слегка перечитывать некоторую статью, хотя сама раньше читала ее и решила, что это вздор, а между тем так говорила, что ей так хотелось бы прочитать «Героя нашего времени», что я думал — тотчас на него бросится. Погледши с Ал. Фед. вместе, пошли — я к Вас. Петр., который звал, он — домой. Когда он сидел у нас, играли в карты, я снова заметил в себе то, что бывало раньше, — что это довольно приятно для меня и я могу, может быть, сделаться любителем этого, потому что люблю в сущности азартность.



Утром приходило в голову, что письмо, о котором думал вчера, покажется бог знает как; что, если он не скажет мне ничего? Любви через ревность не возбудить, а только подозрение против себя (а теперь вздумалось — и против нее), и он начнет чуждаться, между тем как это решительно неприятно было бы для меня, у которого теперь самое большое наслаждение — слушать, как говорит он хоть сколько-нибудь откровенно. — Был у него в 7—10, когда Над. Ег. не было, уходила к тетке; читал «Ревизора»; и только было начал говорить о том, что жалеет, что женился, а то бы ушел отсюда, она воротилась. Ныне была со мною еще ближе несколько, говорила более, чем раньше: она совершенный ребенок, потому что не понимает, что годится, что не годится по условиям общества, но чрезвычайно мила и жива. Я был у них совершенно доволен, но такого благоговения и вдохновенного наслаждения перед Над. Ег., как существом не от нас пошлых, как это бывало в первое время после свадьбы, не чувствовал; мелькала яснее мысль, что очертание между подбородком и шеею несколько грубовато у нее — должно посмотреть внимательнее; некоторые движения (это я тотчас заметил после свадьбы) неграциозны, но это не от нее, а от неумения держать себя и неизучения грациозности своих движений, но решительно должен сказать попрежнему, что это существо высшего порядка; что ореол благоговения пропал — в этом виноват Вас. Петр., который всегда так говорит о ней, как о ее отце.

Мелькнула мысль и утвердилась, что может быть времени на словарь будет нужно слишком много, так сколько бы ни нужно было, может 1½, 2 года, буду делать и верно не утомлюсь, вообще, может быть, только к окончанию курса будет работа эта готова, — делать, сколько бы времени ни понадобилось, но делать хорошо и аккуратно, это необходимо. Так может быть к окончанию только курса пишу я с нею, но в более обширном виде, чем думал: весь Пестор, Лаврентьевская летопись, может быть, и все другие древние и замечательные по языку. Вечер весь не был посвящен работе, занятая на нее. Читал до обеда несколько «Débats» — проект закона о судебной организации, а теперь «Героя нашего времени» и этот закон.

VII. 27, вторник. — До 10 час. писал письмо, в котором написал о картине, изображающей Пия IX, похороны д'Афра и Кокреле; после пошел в университет, оставя письмо, которое они не кончили, отослать им; там повестка на 58 руб. сер., не обрадовался сердцем, головою довольно слегка — отдать Вас. Петр. Через ¼ часа, когда уже шел домой, сказавши швейцару, чтобы отдал подписать — мне самому являться не хотелось — рассудил, что это не мне, а Пластову; это произвело мало перемены в расположении. Пришедши [домой], стал связывать тетради; тут была хозяйка; после начал было вносить, читая медленно места, где какое слово, тотчас увидел, что мелкие листки, много хлопот, когда должно переворачивать их; вздумал списать на большие и теперь переписываю. Более половины кончил до обеда.

Когда читал несколько «Княжну Мери», вздумал переписать ее; в 11 ч., когда легли, начал переписывать, до этого времени — час — переписал до слов Грушницкого о Лиговских.

Вечером был разговор с Ив. Гр. о великих писателях, их слабостях и пр.; он говорит: «Коли Байрон пьяница, так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель фигляр, между тем как правитель не то». — «Нет, — говорю я, — это те, о которых говорится — вы есте соль земли, это рука, двигающая рычагом, который называете вы правителем, и странно считать ее за ничто, уважая рычаг, и если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывает у нас: Байрон пил не потому, почему пьет Петр Андреевич». — «Вздор, — говорит, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы». Он отвергает их важность для человечества, я утверждаю ее. «Басня Крылова о разбойнике и писателе, которую приводит он (она и раньше являлась мне, как неприложимая к делу, влияние всегда благотельно у великих писателей), — говорю я, — неприложима, хотя вы ее приводите; мне досадно чрезвычайно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними, это Западная Европа». — «И, — говорит, — они глупцы, потому что делают ошибки». — «Да мы не падаем, потому что не ходим, хоть, напр., в области богословия. Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому бог должен спасти нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?» Он говорит: «В области науки — ничего, потому что вообще еще должно раньше воспитать народ в нравственности». — «Хорошо мы воспитывали его в продолжение 900 лет! Это уж показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а зародыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!» Разговор был довольно живой, хотя умеренный; у меня задрожала левая часть верхней губы, когда я сказал, что чтобы увидеть, что его суждение справедливо, стоит только взять его вообще и приложить к спасителю — он будет фигляр тоже, и других высших побуждений тоже у него не будет, — конечно я выразил это осторожно, — а Пилат и Канафа были правители, следовательно, по-вашему, люди хорошие и достойные уважения. Вы, я говорю, однако не подумайте из этого, что [я] радионалист — где, куда, — это все неприложимо к нам»<sup>15</sup>.

Весь день почти ничего не делаю: 1<sup>1/2</sup> [часа] писал письмо, 1<sup>1/2</sup> — в университете, 1 [час], пока был доктор у Любиньки, не хотелось, после — 2 в бане, 2 разговаривал, час читал; всего было: до 1<sup>1/2</sup> ничего не делал, после от 5<sup>1/4</sup> до 7<sup>1/4</sup> в бане и говорил, так что только в 10 сел за переписку словаря. Обещался Любиньке отслужить завтра панихиду по Верочке на Волковом, сам назвался. Ив. Гр. она верно не будет просить — знает, что не сделает, а если сделает, то или скажет, что не стоило б собственно, или насмехнется; а завтра должно быть еще в почтамте. Теперь ложусь читать «Героя нашего времени». Расход — купил конвертов на 15 к.

сер., 10 к. за письмо, 17 в бане = 42. Да вчера табаку 45 к. сер. = 57 сер. Три четверти первого.

VII, 28, среда. — Как встал, и по обыкновению поздно, поленился идти в почтамт — ведь это Пластову, а не мне; да может быть если бы и мне, не пошел бы, так равнодушен; только то заставляет дорожить деньгами, что Вас. Петр. нужны. Закончил переписку первых листочков словаря, переписывал до обеда и несколько после «Героя нашего времени», но на 26 стр. закапал и бросил, после вздумал, что можно [вывести] крепкой водкой, поэтому ходил в аптеку и к Вас. Петр. поздно вечером, но в аптеку не зашел, потому что забыл дома пузырек, а платить за него не хотелось; у Вас. Петр. не раздевался даже, только спросил о здоровье тестя, — «как раньше», говорит; я сказал, что меня дожидается Раев, и ушел, хотя оставляли; как раньше, все думаю — то ли идти, то ли нет, как когда был маленький еще.

День прошел кое-как, как проходят дни, когда нет определенного занятия. Решился перечитывать, развернув словарь на одном листе и подчеркивая в книге, вписывать цитаты слов, которые на этих двух страницах; кажется, это будет скорее, чем по порядку вносить все слова: слишком много времени идет на перевертку листов. — Среди дня был расстроен отчасти мелочью, — напр., [тем], что брали карандаш для записывания выигрышей в пикет, когда он был нужен для подчеркивания, отчасти мнением, которое вчера слышал от Ив. Гр.: ««писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр», — это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть близ себя такого человека. Вздумал, что лучшего мужа не нужно Любиньке, а ему лучшей жены: добры, хороши оба, но до известной степени и оба ограниченным образом пристрастны к себе и пошло резки в суждениях о всем порядочном в других.

Вспомнил, идя от Вас. Петр., что я совершенно тот же, как мальчиком был: тогда расплакался о том, что «богатыри так трудились для блага нашего, а мы не хотим даже и знать их, ценить их заслуги и подвиги», — теперь это же самое волнует меня: они наши спасители, эти писатели как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность, близорукость, пошлость. Это несколько волновало, и я был недоволен.

Писал среди дня, от этого не хотелось к вечеру, когда воротился, ничего. Странно, что ходил узнавать о здоровье тестя Вас. Петр. Правда, думал равнодушно, но все [же] думал о нем несколько, между тем как о бабиньке не думал и не пошел бы сам собою узнавать о здоровье. Значит, я в самом деле люблю Вас. Петр., когда и это занимает меня. Панихиду «служить Любинька посылала Марью. Любинька призналась (это когда Ив. Гр. ходил гулять), что ее мучает, что она в тягость маменьке, говорила: «Я и не думала раньше, что в состоянии так любить человека, как люблю

Ив. Гр.». Я то же самое: не любил Вас. Петр. и думал, что вовсе нет у меня любви. «О Верочке, говорит, только и думаю».

Дочитал «Débats» до 15 июля, особенного ничего не заметил, только все более утверждаюсь в правилах социалистов<sup>16</sup>. — Несколько читал «Княжну Мери». В почтайт пойду в субботу, когда получу письмо к себе, в котором, может быть, будут деньги, так чтоб не лезть два раза в глаза экспедитору. Вносил на первую и последнюю страницы словаря, дочитал до 82 стр. Хочу кончить эту часть работы, внеску слов, в следующую пятницу. Дай бог.

29 [июля], четверг. — Сделал цитаты для полулиста (первая и последняя страницы), это заняло главным образом до 6 часов; в промежутки читал несколько «Героя нашего времени» — 1-ю часть, «Тамань» всю; более чем раньше понравилась, но новая чрезвычайно лучше; блеснула мысль о зависти к Печорину, который видел и испытал любовь столько раз, что теперь даже довольно привык к этому, чувство неудовольствия, что не был еще в делах жизни и борьбе ее, поэтому дитя. Утром ходил в аптеку за крепкой водкой для вывода чернил, ее не дали, а дали щавельной соли, которую должно разводить в воде и которая прекрасно желтела пятна из «Героя нашего времени». Среди дня томился желанием идти к Вас. Петр. — соскучился по нем до того, что (как идти нельзя было, потому что сказал, что не будет) желал, чтобы пришел Ал. Фед. Он в 8 часов принес «Débats» до 21 июля, скоро ушел; я стал читать их и позабыл почти желание видеть Вас. Петр. Вздумал, что я сам виноват, потому что не приглашаю усиленно его. — Прочитал половину «Бэлы». Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, реторика, которой решительно не должно и которая не идет к Максиму Максимовичу, который их пересказывает, однако, лучше должно знать горцев. Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью; описания Бэлы (кажется) и лошади Казбича не совершенно чисты от этого. Но все же мне понравилось более чем раньше. Другое дело «Мери»! Это удивительно! Теперь буду списывать снова «Мери», не знаю, много ли спишу. — 11 часов. — Час ночи: списал до конца 5-й страницы своей и ложусь. Хорошо!

VII, 30, пятница. — В 10 час., когда Ив. Гр. ушел и я писал «Мери», принес тот же, который раньше, сторож повестки — ту, которую я видел раньше и считал Пластову, и еще на 30 р. сер., которую я почел тут своей. Ничего особенного. Шел и думал бог знает о чем-то; деньги само собою думал Василию Петр., письмо подменить письмом своего изделия. Это думал очень спокойно, даже лениво, как предмет сам собою следующий и о котором нечего говорить. — Взял письма и пошел было домой, не смотря на них, но, ступив несколько шагов, вздумал прочитать письмо свое, зашел в переднюю отделения для приема простой корреспонденции и стал читать: «20 руб. Любиньке, 10 — тебе». Итак, не должно и не нужно скрывать, это меня несколько обрадовало даже. Пришел,

подаю Любиньке письмо, смотря при этом на другое, — оно не Пластову, а Ив. Гр. из дому. До обеда большею частью писал Лермонтова, сидя в зале, после все вносил цитаты, теперь второй лист (бо—В), прочитал до конца 98 стр. Лермонтова, списал до 80-той почти, у меня до конца 8 стр. (4 листа), превосходно!

Вечером был у Вас. Петр. (в  $8\frac{3}{4}$ ), при прощании сказал он: «То ли дело, когда вы жили холостяком — всегда, когда хочешь, заходишь». Это меня утвердило решительно в мысли, что он стесняется Любиньки и Ив. Гр., без этого бывал бы попрежнему часто<sup>17</sup>. Шел и думал все об этом прежде всего: скажу ему завтра (он должен прийти), что, если он не будет ходить попрежнему часто, я схожу, сроку ему для испытания месяц; после прибавилось другое: «Если вы эту неделю не будете часто бывать, в следующем письме напишу домой, что схожу (чтобы узнать их мнение об этом и не слишком ли огорчатся), и как получу оттуда ответ, перехожу»; теперь окончательно, кажется, утвердился в этой мысли, что, однако, решительно не стоило никакого раздумья и колебания; если так, напишу домой почти все так, как есть; попробую это, вместе и полагаются ли они вполне на меня и можно ли с ними говорить откровенно. Ему, конечно, сказал о деньгах; он был весьма весел, кажется, потому, что почти уговорил Казанского отдать детей в гимназию и будет готовить их в таком случае. Тесть сидел у него.

Теперь прошла лень и, кажется, начну писать снова «Мери». Пятна чернильные выведены хорошо, масляные только гадят первые страницы.

В тот раз, когда я читал «Ревизора», я спросил у Вас. Петр.: «Правда ли, что я гадко читаю?» Он говорит: «Нет, напротив — хорошо». Я этому почти верю, потому что думаю, что начал читать с некоторым чувством, а не совершенно по-дьячковски, как читал я, говорит Михайлов.

Утвердился постепенно в мысли, как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей. Ив. Гр. и Любинька решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях.

К Над. Ег., как я и раньше замечал, не идет ни ночной чепец, ни эта голубая узенькая повязка вроде бахромы, опоясывающая спереди чепец, которую она часто надевает; смотрю, правда ли, что лицо грубое — неправда; нос чрезвычайно (в профиль) нежный и изящный, губки тоже.

Вчера Жюль Жанен в фельетоне «Débats» заставил улыбнуться насмешками над Прудонем; хотя я не люблю и не хочу никогда смеяться над нововводителями, но не мог не улыбнуться, читая слова, приписываемые ему «Débats», будто бы сказанные им в бюро: «Христианство s'use\*, собственность s'usera\*\*»; может быть, ее станет на 200—300 лет и пока я ее принимаю, хоть это

\* Изводится.

\*\* Известется.

дурное учреждение — в сущности я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: *chacun produit selon ses facultés et reçoit selon ses besoins*\*, — это необходимо должно быть, когда производство увеличивается и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет все, чего ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего. Ламартин молодец, по его речи в бюро иностранных дел, которую он напечатал, не зная, что устав этого бюро воспрещает публичность. Кормнен заставил от души похвалить себя своими ловкими сарказмами над Национальным Собранием в защиту того, чтоб президента выбирал народ: он, говорит, дает вам право отбирать у себя деньги — конечно, для употребления в пользу общую, то еще не следует, чтобы он отдавал вам все свои права<sup>18</sup>. Остряк, резкий человек! молодец! — 12 часов, ложусь.

31 июля, суббота. — Глаз, который начал распухать вчера, нынче все более и более распухает, это ничего, потому что почти не болит, только немного слышно, что нарывает. Утром докончил (около 2 часов) второй полулист (до В) и исправнее, чем первый; потом стал писать «Мери» в одной комнате с Терсинским, положив книгу как будто держа поставленного Нестора; не знаю, заметили, что я взглядывал не в Нестора. В 6 часов пришел и с полчаса посидел Вас. Петр. Говорит: «Надя перестала любить своих родственников, потому что поняла, что они дурно поступают с нами, и ныне при мне отказала им (в чем именно из мелочей, я уж позабыл—мое примечание) в... они беспрестанно присылали то за тем, то за другим; ужасно недовольны мною — хоть бы, говорят, теперь мог порадоваться, что тесть выздоровел; глупо я сделал, что женился — вот видите, образование ничего, я скорее согласился бы жениться на простой сельской девушке без всякого образования, чем на такой, которая набралась ложных понятий и взглядов — я сам тоже»... Далее он не стал говорить эти мысли, а, очевидно, думает, что природа обидела Над. Ег. в нравственном и умственном отношении. «То ли дело, — говорит, — свобода, теперь бы я ушел куда-нибудь, все лучше — и соскучусь по кому-нибудь и захочется снова увидеть людей лучше тех, которых встречал на дороге, а то тут такое однообразие, монотонность и сам глупею. Вот видите, я думаю, что я делаюсь совершенно бревном, и все, что есть во мне еще человеческого, погаснет; ну, есть же у людей надежды, мечты, у меня ничего не будет». — Я отвечал ему, что с ним этого никогда не будет, так как я думаю, что, конечно, может быть, что раньше еще более он был жив, но что и при нынешнем его спокойствии я не встречал никогда человека такого пылкого, как он. Он говорит: «Ошибка, что женился, ошибся во всех расчетах». Жаль мне и его, и ее, жаль, но ныне только головою, и сердце не поет. Я сказал ему, что если он не будет часто ходить, схожу

---

\* Каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих потребностей.

отсюда. — «Это, — говорит, — не умеете вы ценить спокойствия». В понедельник придет вечером. А может быть придет и завтра, потому что «Мертвых душ» не получил. Был Ив. Вас.; был Залеман в это же самое время — заходил в надежде застать здесь Вас. Петр., сказать ему, что не будет дома вечером, потому что именинница сестра, и не достал «Мертвых душ», а уж до субботы; просил сказать Вас. Петр., что он непременно ждет его в среду в 7 час. Вас. Петр., странно, до сих пор не может приучиться к моей физиономии и подозревает, что я в нерасположении духа и что принимаю с ним натянутое положение, — напрасно стараюсь уверить его в противном; говорю я ему: «Поверьте, что если бы я притворялся, то вы не узнали бы, потому что мне ничего не стоит притворяться». Действительно, это так. Отдал ему 10 р. сер., он говорит: «А вы как?» — не беря их. — «Да разве я не рассчитываю? Само собою, рассчитываю и очень хорошо». — Взял. Думаю, не видела ли то, как он брал деньги, Марья в окно из кухни: в это время она входила туда брать на стол самовар.

«Мери» списал до конца первой страницы моего 6-го листика. Времени в самом деле пропадает много от Терсинских, а все потому, что сначала вообще не умел поставить себя. Как бы действительно не понадобилось сойти. Любинька обиделась тем, что я стал развивать сказанную ею шутку, которая, я думал, понравится ей, — глупая болтливость; всегда я стараюсь удерживаться, не говорить ни слова, а между тем всегда ввертываю свое словцо и по большей части некстати, т.-е. лучше бы не говорить. Она мне снова не нравится, как не нравилась раньше по своему характеру, когда мы жили дома. Действительно, перешедши к ним, я стеснил себя во многом — от своей глупости и от их взгляда на вещи или, лучше, непонимания вещей.

(После некоторого времени, просиженного там без особых мыслей, несколько секунд): я действительно глуп, — напр., как сделал так, что до сих пор они не понимают, что всем у одной свечи, как теперь сидим мы, сидеть нельзя, что вообще, находясь в одной комнате, мы друг друга развлекаем, а что мне, конечно, этого вовсе не хотелось бы. Да, сейчас вздумал — не высказать ли это косвенным образом при разговорах о привычках и проч., особенно с Ал. Фед., и сделать так, чтобы он, который это все хорошо знает, высказал это про меня? Это глупо и смешно прибегать к этим гамлетовским околичностям, но это всегда было в моем подлом характере, и верно я так сделаю. Теперь пишу совершенно в бесчувственном состоянии, хотя по эпитетам можно бы думать, что я расчувствовался. Нет, это так. Вот что значит теперь много дела — переписать «Мери» и Нестора, а я ни одного не делаю, но Нестора потому, что завалился карандаш за диван, на котором сидит Любинька, и хотя она предлагала встать, но, как всегда, я сказал, что не нужно, а «Мери» потому, что под их глазами не хочется. Стану читать что-нибудь. Да и того хорошенько нельзя. Половина десятого.

Августа 1. — День этот ничем особенным не был замечателен; с утра все время, когда работал, я списывал «Героя нашего времени», списал до 173-й или 174-й страницы; писал снова, как [будто] пишу Нестора. Печорин действительно человек, в котором много дурного, серьезно, напр., слова его Вере: «что ж, ты любишь мужа? он молод? хорош? особенно верно богат и ты боишься?» Его сердце в самом деле в некоторых отношениях очерствело.

Пишу это, сидя с одной свечой с Терсинскими, поэтому будет это не так связно. Утром часа два просидел Ал. Фед.; вечером довольно долго читал «Débats»; нового, кажется, не встретил ничего, кроме того, что писал. День прошел решительно мертво и без всякой пользы.

Стану делать обзор своему положению в эти 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> недели со дня моего рождения.

Отношения мои. Самые важные и интересные для меня — к Вас. Петр. и через него к Надежде Ег. В его положении самое важное — его отношения к жене его, и мои мнения о ней, кажется, остались в продолжение этого времени без всякой перемены; он продолжает считать ее девушкой (хоть так назову за недостатком слова) слишком простою по уму и сердцу, в которой мало высшего и в которой есть душок, как он выражается. Мне она попрежнему нравится более всех женщин, которых я знал когда-либо, не знаю хорошенько, справедливо или нет, но почти уверен вполне, что справедливо: эта непринужденность, прелесть — она делает неловкости, заметные даже для меня, но каждый звук ее голоса идет как бы из души и выказывает душу, свободную от тех мелких недостатков, которые всегда как-то проявляются в каждом движении, особенно у женщины, которые можно назвать, если угодно, мелким кокетничанием женщины самой перед собою и которые выказывают натуру пошлую. Признаюсь, напр., когда Любинька или Анна Дм. говорят: «Пожалуйте, милости просим», или что-нибудь подобное, в каждой ноте голоса есть для меня что-то неприятно задирающее и отталкивающее, и это с первого раза — во всяком случае так теперь помнится мне (подтверждается примером дочери наших хозяев) — видно мне в женщине. В ней нет этой пискливости и, как бы это назвать, этого неприятного оттенка голоса, который придает словам выражение натянутости и нерадушности. Два-три раза из того, как я был у них, мне блеснула мысль, что она не так хороша собою, как раньше я воображал; в самом [деле], чепчик ночной или эта голубая повязка к ней не идет; что в ее лице действительно не довольно выражения и что оправдывается мнение о ней Ив. Вас. и Залемана — простое русское, обыкновенное лицо. Нет, после чувствовал, что это вздор, — а между тем едва ли чувство преданности и глубокого благоговения, которое я раньше питал к ней, может быть, ослабевает во мне и заменяется чувством: «так себе, ничего», которое после может превратиться в «да, точно, на лице есть, что не из аристократии». Не знаю, что в этом виновато: то ли, что я всегда принимаю людей с первого раза



слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их, — следствие энтузиастичности, склонности ценить хорошее в каждом и, главное, непроницательности, которая заставляет только после долгих суждений и опытов замечать то, что другим, более опытным, с первого раза бросается в глаза, или это следствие того, что Вас. Петр. постоянно говорит о ней с сожалением, а я слишком высоко ценю его авторитет и слишком недоверчив к себе вообще, а особенно уж когда он не согласен со мною? Я более склонен сказать, что это от последнего. Да, она более не обвораживает меня, а между тем я знаю, что стоит только поставить себя в известное положение, поговорить о чем-нибудь серьезном с нею, чтобы снова очароваться. Но особенно звук ее голоса решительно отнимает у меня возможность считать ее женщиной пошлою и принадлежащею к дюжинным.

Вас. Петр. — Я все более и более, кажется, люблю его; между тем теперь снова, признаться, как-то не мучусь из-за него сердцем, снова нашел спокойный период времени: думать думаю, а тосковать — почти нет. Признаюсь, мне всегда совестно, как я получаю письма от своих, что я о них менее думаю и забочусь, чем о нем, и убеждаю [себя], хотя не слишком долго, с упреками каждый раз, более думать о них, а между тем думается о нем.

Н а ш и. — Мнение мое о папеньке понемногу, но постоянно все подымается, все более и более ценю его: христианская кротость, смирение, непамятозлобие, много того, что у Альворти в «Томе Джонсе» — непоколебимое благородство; я более и более сознаю сходство между им и мною в хорошие моменты моей жизни или во всяком случае между тем, что я сам считаю за хорошее в человеке. Маменька между тем едва ли, бог знает, не сходит на степенность обыкновенных женщин: необыкновенная, решительно материнская, только в высшей степени, привязанность ко мне, большая, сильная любовь к папеньке — это вещи необыкновенные, но в отношении к другим она едва ли не стоит ниже папеньки по своим действиям и суждениям — более пристрастна. Однако я сам не знаю, справедливо ли это; в последнем, кажется, много участвуют рассказы Любиньки и намеки Ив. Гр. про их отношения раньше и во время свадьбы — слова, в которых всегда проглядывает недовольство.

Я, признаться, мало о них думал, менее чем о Вас. Петр. и себе; конечно, жизнь готов отдать, и мысль о них может удержать меня от дурного — «это их огорчит», но ведь это потому только, что мне теперь ничто не доставляет обыкновенно слишком живого удовольствия из того, что в моей власти.

О И в а н е Г р. и Л ю б и н ь к е м н е н и е. Видимые отношения тоже с их стороны кажутся ничего; [а] я постоянно как будто жду стычки; как-то хочется предполагать в них, что они недовольны тем, другим во мне, и даже отчасти желается, чтобы было высказано с их стороны, чтоб дать отпор и разойтись с ними или

определить отношения. Вот хоть теперь: говорят между собою, Любинька хочет есть постное, он — нет, и, кажется, главное для себя, но отчасти и потому, чтобы не расстроить ее; скука и гадость (я это говорю не в неудовольствии) слушать эти прения. Он ей надоедает своими толками об этом — неделикатность удивительная, с ее стороны тоже. Странная непонятливость, особенно у него — говорит так, что постоянно не так, как бы должно, чтобы производить благоприятное действие на нее, и если она не всяким огорчается (хотя огорчается довольно часто, и часто справедливо, а не от несносности мелочного характера), то это от любви к нему, предполагает, ему не видно. Она тоже его [огорчает], но он более скрытен, и я менее знаю его, — да ведь обыкновенно это он читает наставления и ведет разговор, а не она. Мне почти совестно в душе перед ними, что в сущности я не чувствую никакого расположения к ним; да ведь по-настоящему они ко мне еще менее, если сравнить с тем, что говорится ими (хотя он не говорит, а только по Любинькиным словам должно угадывать) об Ал. Тимоф., который, конечно, так же близок к нему, как я к ней. Мне [кажется, что] эти люди в сущности никого не любят, кроме нескольких, к которым бог знает почему привяжутся — потому что это брат и сестра — да еще непонятная любовь, которая заставляет одну предполагать в женихе, а другого в невесте половину своей души. — Однако он мне кажется довольно порядочным эгоистом и любит ее менее, чем она его, хотя может быть ее любовь и происходит от безделья и оттого, что он надел на нее чепец и вывел из-под власти маменьки и тетеньки. Она его сильно любит, у него — любит, как я; такая любовь называется — так, между прочим; «возлюбилши жену твою», — ну, почему и не любить — сердце мягкое у него, он и заботится о ней, но оставляет ее скучать, а сам уйдет к своему приятелю какому-нибудь, — нет, это не истинная любовь в моем смысле, а вообще пожалуй и любовь. Вас. Петр. вон вовсе не чувствует ничего к жене, а заботится о ней гораздо более, чем он. То-то и есть, что у одного так велико, что ему кажется пламя вулкана, то у другого даже незаметно, так велика его душа.

Теперь о себе. — О своей будущности думаю мало, как-то беспечен<sup>19</sup>. Составляю словарь, иногда подумываю, что место и возможность жить получу через Академию за это, иногда что через Срезневского, иногда что через Никитенку, с которым сближаюсь на педагогических лекциях. Занимает мысль о том, что нужно достать свидетельство, чтоб не платить денег<sup>20</sup>, и тяготит, что вот прошла вакация более чем в половину, [а] я еще ничего не сделал по этому делу.

Теперь о науках и умственном мире. Но это когда останусь один, чтобы было связнее, а теперь снова пишу «Мери».

2 августа, понедельник. — До 2¼ писал «Мери», всю кончил; после до конца вечера (теперь 11½) провел так, как проводил обыкновенно раньше — читал, ничего не делал особенного, то то, то другое; читал «Героя нашего времени» — удивительно хорошо;

все более и более нравится; за словарь примусь с завтрашнего дня, теперь ничего не делал по нем. Писал письмо Саше об экзаменах. Любинька говорила: «Я думаю не шутя, что надоела Ив. Гр. и что он скучает со мною». Нехорошая мысль, которую я подозревал в ней с неделю по некоторым ее выражениям в этом роде, которые, может быть, другой принял бы за шутки. Это так жаль ее, бедную! Такое состояние самое грустное, тяжелое. Доктор сказал, чтобы есть скоромное; это ее огорчило снова, но оправдало, я думаю, в ее глазах Ив. Гр. День у меня прошел хорошо, без неприятности, читал спокойно, лежа в зале; ждал Василия Петровича, и когда не пришел в 7—8 часов, несколько беспокоился головою.

Продолжение вчерашнего. Обзор моих понятий:—Богословие и христианство: ничего не могу сказать положительно, кажется в сущности держусь старого, более по силе привычки, но как-то мало оно клеится с моими другими понятиями и взглядами и поэтому редко вспоминается и мало, чрезвычайно мало действует на жизнь и ум. Занимает мысль, что должно всем этим заняться хорошенько. Тревоги нет. Блеснула мысль: «без религии нет общества», говорит Платон и мы за ним, — да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, конечно, разумел совокупность нравственных убеждений совести, естественную религию, а не положительную. История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети<sup>21</sup>; наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов еще не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру увлекают меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими, если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить. В этом убеждают «Débats», которые только голословно высказывают свои убеждения, не будучи в состоянии развить и доказать их; они даже неспособны и к жару почти, а только к жалкой иронии, которая может в глупую минуту вырвать улыбку, но ничего более. Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся недостижимыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь. Защитники старого, напр., «Библиотека для чтения»<sup>22</sup> и «Иллюстрация», пошлы и смешны до крайности, глупы до невозможности, тупы непостижимо. Чрезвычайное уважение к людям, как Краевский<sup>23</sup>, который более сделал для России, чем сотня Уваровых и ему подобных, красующихся в летописях отечественного просвещения.

Мысли: Вас. Петр. и Над. Егор. более всего; свидетельство о неплатеже денег в университет, несколько; отношение мое к студентам — уничтожение неблагоприятного о себе в них мнения; словарь; как выйти из денежного положения, заплатить деньги Терсинским, если Воронины не возобновят новых уроков. Более ничего.

Любострастия меньше чем когда-либо, хотя по ночам приходят глупые мысли, напр., спать нагим, как я это и пробовал делать эту ночь; кажется, усиление стремления полюбить женщину, т.-е. девушку, но любовью чистою, платоническою, смешною, но целью которой жениться на ней; вместе с этим боязнь ошибки и разочарования. Это довольно занимает, семейная тихая радость.

3-го [августа], вторник. — Писал письмо, которое отнесла Марья; писал Саше об экзаменах. После писал словарь (цитаты), почти кончил Ва — все; пришел в 7 час. Вас. Петр., просидел до 8<sup>1/2</sup>; после я пошел проводить — много говорил, и говорил от души, о Лермонтове, о Пушкине, которого он считает легким; говорит: «Раньше я считал Лермонтова дитятею перед Пушкиным, а теперь нет». Он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом: «Элементы, — говорит, — есть, ведь поднимаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да еще разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего еще нет». Мысль [участвовать] в восстании для предводительства у него уже давно. «Пугачев, — говорю я, — доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны». — «Нет, — говорит он, — они разбивали линейные войска, более чем они многочисленные».

«Станный, — говорит, — вкус: Над. Ег. нравится не то, что должно бы». Я объяснял и оправдывал примером собственного развития: человек на другой ступени развития так странен и непонятен для нас, что мы не поймем его, если не вспомним себя на этой ступени развития, да и себя почти не помним. Ал. Фед. вошел на двор, сказал, чтоб я взял на завтра «Мертвые души» и приходил нынче вечером почитать газеты; в комнату не пошел, потому что, говорит, расстроен. Я этому поверил, хотя может быть справедливо говорит Вас. Петр.: «Он не пошел потому, что видел меня». Когда пошли, я сказал снова: «Если вы не будете ходить, схожу — не считаю за нужное об этом распространяться, напишу домой — и только». — «Хорошо, — говорит, — лучше буду ходить», но я могу повредить мнению о вас Терсинских и огорчить их тем, что вы меня больше любите, чем их». — «Мнение их обо мне меня не интересует, как и я ими не интересуюсь, огорчиться они этим не могут, да едва ли в состоянии заметить, потому что едва ли предполагают; права судить себя я не признаю и не предполагаю ни за кем, кроме папеньки и маменьки, да и то потому, что они серьезно могут огорчаться и радоваться мне».

В самом деле у меня нынче была тоска по нем, хотя только в голове, в сердце не так много, но в голове сильно, несколько мешала занятиям, и в голове моей было беспокойство. «Единственное, что мне доставляет наслаждение, говорю, кроме книг, это свидания с вами». — «Но я отнимаю у вас много времени». — «Раньше я думал бы так, теперь я знаю, что время, проведенное с вами, для меня, чтобы говорить без гипербола, в семь-восемь раз

полезнее, чем за Нестором или т. п.». — Это мы говорили по дороге мимо казарм и по Семеновскому полку (разговор начался: «как ваши отношения?» — я сказал, что отдал 45 р. сер. и что более ничего). А перед этим, когда шли по улице, ведущей до казарм, говорил главным образом о жене: «много благородства», говорит. И, сидя у меня, говорил: «Душа добрая, нежная, сердце способное любить, образования недостает ей, молода; перейдем, говорит, к вещам не поэтическим: как муж, я пас, не потому, чтобы не было сил, а потому, что нет охоты, а она кажется сладострастна. Зайдемте ко мне». — «Нет». — «Почему?» — «Так». — «Потому что не одеты?» — «Очень странно, что вы отгадали, потому что обыкновенно не отгадываете». — «Это ничего». — «Ну, нет же». — После зашел к Ал. Фед., прочитал газеты наши 24 июля — 1 августа. Во Франции идут назад, следственное дело разыгрывается, Ледрю Роллен, Луи Блан попадают под следствие. Это меня огорчило<sup>24</sup>. Взял «Мертвые души». Вечер прошел весьма хорошо. Люблю Василия Петр., люблю.

4 [августа], среда. — Утром в 11 час., только напился чаю, отнес Вас. Петр. «Мертвые души» и не остался у него, сам не могу сказать хорошенько, потому ли, что знаю — утром не вовремя (кажется, это говорил), или потому, что думал, что один он лучше любит читать. В 7½ часов [он] принес их, посидел с полчаса. Я до того времени писал словарь, кончил 108-ю страницу — Все-два — и говорил отчасти с ними; они меня удивили, т.-е. Ив. Гр. — раньше я все-таки думал, что играют в карты потому, что кроме нечего делать, теперь есть что читать, а он все играет — как это так пусто время у человека? — после стал раскладывать гранд-пасьянс, она сидела подле него — решительно Маниловы со стороны праздного пустого воображения, говорят о вздоре всегда. Вас. Петр. говорит: «Тяжело быть у Залеманов (к которым он шел), теперь обязан им и велят приходить, нельзя не придти; неприятное чувство быть обязанным». Теперь с 8 час. читаю «Мертвые души» и не совсем еще понимаю характеры, не совершенно дорос до них, поэтому мало и пишу. — 11¼.

5 [августа], четверг, 12 ч. утра. — Вчера дочитал до Плюшкина, ныне утром до визита дамы, приятной во всех отношениях; характера Коробочки не понял с первого раза, теперь довольно хорошо понимаю; связь между медвежьим видом и умом Собакевича и теперь не так ясна, но утром нынче, когда я шел, расставшись с Вас. Петр., прояснилась несколько более, чем раньше: так он и во внешности так же тверд и основателен и любит основательность, как и внутри, — он основателен и все делает основательно, поэтому и избы знает, что выгоднее и лучше строить прочнее, да уж заходит за границы — итак это связано, как внешнее и внутреннее. Чувствую, что до этого я дорос менее, чем до «Шинели» его и «Героя нашего времени»: это требует большего развития. Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова, как он видит поэтическое или гусарское движение его души (встреча с губернатор-

скою дочкой на дороге и бале и другие его размышления), но это характер самый трудный, и я не совсем хорошо постиг его, однако чувствую, что когда подумаю и почитаю еще, может быть пойму. Велико, истинно велико! ни одного слова лишнего, одно удивительно! вся жизнь русская, во всех ее различных сферах исчерпывается ими, как, говорят (хотя я это принимаю на веру), Гомером греческая и верно; это поэтому эпос. Но понимаю еще не так хорошо, как «Шинель» и прощ., это глубже и мудренее, главное мудренее, должно догадываться и постигать.

Сейчас мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на высшей ступени по натуре и развитию: следствие развития то, что многое перестает нас занимать, что занимало раньше. Это я испытываю, сравнивая себя с Любинькою и Ив. Гр., и эта мысль пришла по поводу Марьи, которая явилась рассказать что-то новое Любиньке. Записать ее я, собственно, и сел. Как ни хочется прочитать все «Мертвые души», но я не стал сидеть за ними ночи, а поступил на авось: удастся — так, нет — нет. Может быть, тут участвовала и физическая не то что усталость, а расслабление некоторое, которое есть отчасти и теперь, но помогла мысль, что они еще будут, через Ол. Як., у Любиньки, и что я теперь еще не совсем понимаю, и чтение это менее принесет пользы, чем «Шинель». Утром думал понести их — не так, как думал вечером, как можно раньше, а так, чтобы иметь вероятность не застать Ал. Фед. дома, чтобы он ушел в департамент. Все-таки не знаю хорошенько, поддался я этой мысли или нет. Пошел в 10 ч.; он не ночевал дома, и таким образом было все равно. Я оставил «Débats» и, переодевшись, отнес Вас. Петр. «Мертвые души». — «Я, — говорит, — почти потерял надежду получить их от Залемана; я сказал, что прочитал только половину, а он не сказал в ответ, что достанет; он стал походить на старшего брата, молот в его роде; говорит, — характеров нет в «Женитьбе» Гоголя и что «Игроки» еще хуже ее». Он проводил меня до мостика, потому что нужно было ему итти в лавку; оставляя меня у себя, между тем мне не должно было оставаться, как я увидел, когда не остался. Теперь должно ждать — он раньше принесет книгу или Ал. Фед. придет раньше, потому что верно он нынче будет у нас.

Я взял у Вас. Петр. «Иллюстрацию» и предугадал, что [ради] этой глупости бросят «Отеч. записки» Терсинские: бросили, чтобы пересмотреть картинки, Любинька на целый час, а Ив. Гр. и теперь читает ее, а не «Отеч. записки», которые читал раньше. Дети, особенно он, по литературному развитию. Третьего дня, когда он принес «Отеч. записки», и раньше у меня утвердилась мысль, которая была и раньше: не показывать им, что читаю книги, взятые ими, а не мною, и если читать их, то разве когда они лягут спать, чтобы не видели, — несколько детски, но так и быть, — чтобы после на меня ничего не могли свалить или не могли быть в неудовольствии, когда книги будут запачканы и Ол. Як. что-нибудь скажет. Вчера до ужина, читая «Мертвые души», был

сильно не в духе оттого, что должен сидеть вместе с ними и развлекаться их разговором. Много маниловского в них чрезвычайно, т.-е. особенно в Ив. Гр. [много] сходства с Маниловым.

*Двенадцатого половина.* — В 5<sup>1/2</sup> зашел Вас. Петр., принес «Мертвые души». Я стал читать, затворившись в спальне своей; потому что день этот мыли полы, и Терсинские, и я вышли в зал. Дочитал почти, когда он воротился от Казанского. Я стал читать вслух, дочитал; после стал читать с 360-й страницы, мы сидели одни; после, когда стали пить чай, я продолжал читать для всех — совещание чиновников, капитана Копейкина и проч., до лирического места о выезде Чичикова. После Вас. Петр. встал, я пошел проводил его до Гороховой. Дорогой говорил о Гоголе только. Придя ко мне, он сказал: «Счастливы вы, что не уважали [никого] кроме Гоголя и Лермонтова, — «Мертвые души» далеко выше всего, что написано по-русски». После дорожно тоже говорил, что предисловие не кажется ему странным, напротив — вытекает из книги и что он ничего не видит смешного в этом, — это меня обрадовало. — «А эти господа, которые осуждают, — говорит он, — ничего подобного не чувствовали, поэтому не понимают (так в самом деле) и (новая мысль для меня, с которой я совершенно согласен), напиши он это же самое короче, другими словами, все бы говорили, что это так; хоть просто бы сказал: «присылайте замечания». — Так, в самом деле высказался из сердца и поэтому смешно. — «Да, — говорит он, — следовательно, гордости, самоунижения, вообще тщеславия здесь никакого нет». О младшем Залемане и давеча и теперь говорит: «Очень глупеет и пошлеет и будет как старший брат», — он насолил ему замечаниями своими о «Мертвых душах» и «Женитьбе» и «Игроках».

После зашел к Ал. Фед., занес «Мертвые души»: ему не было очень надобно; когда прочитает, снова хотел дать; говорил он со мною от души и [был] очень рад. Давал прочитать два циркуляра, писанные начальником их отделения Струковым, который пописывал \* довольно [не] глупо, как говорит Михайлов; действительно, эти циркуляры (о поощрении садоводства через раздачу земель под сады сельским учителям и через поощрение духовенства ко введению у себя улучшенного земледелия) хорошо написаны, с толком и знанием дела, как это пишется за границей. Воротился в 11 часов, не велел подавать себе ужин, так как Ив. Гр. уже поужинал, несколько времени смотрел глупую «Иллюстрацию», теперь ложусь спать. Докончил Все — два и дописал до 85-й стр.; полулист, который составил из (расшитых) Два — Дѣтій и Землѣ — Игумена — союз и буду особо выписывать. — Завтра вечером у Вас. Петр. — Ал. Фед. сделал довольно хорошее впечатление, как говорят. Добрый человек в сущности и благородный и кажется, почти я совершенно уверен, расположен ко мне. «Мертвые души» не так были к спеху, как я думал; вообще я из пустой деликатности

---

\* Неразборчиво. Ред.

тревожу всегда себя и других. Ему особенно понравилась страница 171-я: «Каждому человеку блеснет что-нибудь не похожее на то, что видит он каждый день, и надолго останется светлым гостем в его душе» — по случаю встречи Чичикова с губернаторскою дочкою. Посылал снова за табаком.

6-го [августа], половина третьего. — Затруднялся, как же я пойду вечером к Вас. Петр., когда Ал. Фед. обещался придти; особенно когда Иван. Григ. сказал шутя, что вечером, шутя<sup>25</sup> не будет дома, если застанет у себя Яхонтова или другого кого, к кому пошел. Но Ал. Фед. был в час, Ив. Гр. воротился, и все пришло в порядок. Думал — когда сходить за письмом: перед тем, как пойду к Вас. Петр., или завтра? Любинька спросила, пойду ли ныне, и я отвечал, что пойду. Так всегда решается, как в самых пустых, так и в самых важных делах. Докончил Д в а ж д ы — И г у м е н а, теперь начну Д ъ т ь — З е м л я м». Готовлюсь обедать.

10 час. вечера. — Сейчас воротился от Вас. Петр. В 4<sup>3/4</sup> начал собираться в университет и к ним; в 5<sup>1/4</sup> готов, пошел в университет, получил письмо из Аткарска, от своих и Корелкина, дал 20 к. сер. На дороге купил карандаш. Когда шел оттуда, смотрел шар, на котором поднимался кто-то из 1-го Кадетского корпуса. Вас. Петр. не застал дома, как и ожидал; а встретил на дороге у железной дороги. Воротились. «Мы нарочно ходили все здесь, чтоб вас встретить». Когда вошли и Над. Ег. вышла на секунду, он сказал: «Какая капризница, раскапризничалась, что я шел в другие улицы, а ходили не по одной». Я, разумеется, отвечал, что так и должно быть и что это естественно. — Зачем он так делает? — это может и в ней поселить неприятное чувство ко мне, и ему нехорошо. — Когда шли (у угла на повороте с проспекта во 2-ю линию, когда идешь мимо казармы), мне мелькнуло чувство, что нехороша у нее походка — голову слишком вперед держит и между плеч яма, а когда вошли и я посмотрел, когда входила в комнату, — что не слишком хороша, а так себе, как говорит Вас. Петр. Не знаю, утвердятся ли эти мысли и начало ли это переворота в моем мнении о ней; это довольно вероятно; вообще часто случается, что с первого раза — преумный человек, чем далее, тем более приближается к не слишком умному, а после и пошлому человеку. Но скорее это вздор, произведенный случайностью какой-нибудь или словами Вас. Петр.; однако странно.

Когда сидел, она читала «Героя нашего времени», мы говорили о «Мертвых душах», я все более и более чувствую величие их, и точно, это глубже и многообъемлющее всего другого, даже «Героя нашего времени», хоть этого последнего более понимаю, чем их. Он говорил о том, что характер Чичикова не понятен, — это меня удивило; спорить я не стал, потому что сам не умел совершенно его определить, а между тем чувствовал, что он определеннее всех. (Сейчас Любинька спросила: «Что это такое?» Я с секунду не мог прибрать слова, это время прошло в произнесении слов: «это как бы тебе сказать»... и тотчас сказал: «Не то, что университетские



записки, а приготовление для них». — «Так я тебе не мешаю ли?» «Нет, ведь это пишется на память и большого соображения не нужно». Это показывает, что она не знает, что о чем теперь не начинаю говорить сам, о том не должно спрашивать и что они не подозрительны в этом отношении, в отношении к предположению в другом склонности молчать и скрываться. — Я доволен, что тотчас спокойно, не смешавшись и не показывая особенного внимания, отвечал ей.) После нашел, что он не читал с того места, где заставили меня читать, с 360-й страницы, и как я тогда вечером не дочитал до жизнеописания Чичикова, то он не читал, — а между тем сказал, что прочитал. Это и то, что они ходили по той улице, где ждали меня, показало мне, что в нем не менее, чем во мне, этого старания, если что делаешь для другого или в этом роде вообще, то не показывать вида, например, сказать, что обедал, когда не обедал, и проч. Это тонкие деликатности, сказал бы я, если бы не приписывал этого чувства и себе, однако скажу и теперь. Я рассказывал жизнь Чичикова, тотчас встал и пошел. Она, когда я рассказывал, слушала, — значит, несколько понимает. Любинька в письме от своей маменьки нашла желание кольнуть Ив. Гр.: «а я думаю, что там не ждуть, и в следующем письме жду, что вы уже определились». — Когда я сказал, что это вообще для того, чтобы написать что-нибудь в том роде, в каком всегда принято писать в подобных случаях, она не согласилась.

11 часов. Ал. Фед. говорил Лободовскому заходить и поэтому мой расчет, что уже не будет нынче, оказался неверен. Что Любинька так спросила, что я пишу, — показывает, что беспокойство мое происходит, может быть, только оттого, что они не знают, что это может быть беспокойство, а если узнают, то прекратят, но как передать? Сказать прямо нельзя, кажется, по Любинькину характеру, который в этих мелочах обидчив.

11.40. — Дописал 84-ю страницу Дѣтій — Землям. — Ив. Гр. воротился; когда спросили, хочет ли ужинать, сказал нет; когда после этого меня спросили, я тоже сказал нет, потому что не хотел, чтобы могли сказать: там только обедал, а здесь и ужинать хочет. Карандаш подчеркивает славно, и это меня радует.

7-го [августа], 11<sup>1/2</sup> утра. — Думаю с тоскою о том, что если Над. Ег. в самом деле не такова, как мне казалось, а такая, как Вас. Петровичу, и если, как вообще я с первого раза принимаю людей обыкновенных лучше, чем они есть, и только после разбираю, что это люди не необыкновенные, так и здесь.

Сижу, как обыкновенно, за Нестором.

6 часов. — После обеда в 4 часа пришел Вас. Петр.; сидел 1<sup>1/4</sup>. «Я, — говорит, — человек неспособный к семейной жизни». Я говорю, что часто бывает, что именно того-то мы в себе и предполагаем недостаток, чего в нас весьма много. — «Нет, — говорит, — например, приходит тесть, говорит — собирайся; я смотрю на него: «что же собираться, да куда?» — «К тетке на Крестовский», — и был весьма изумлен, что я сказал, что не пойду; в са-

мом деле, — вообще это-то именно и раздражает нас: человек ничего, только совершенно различным образом от нашего смотрит на вещи, чем мы, и через это делается нам несносным, между тем как мы ему сами также делаемся чужды. А она прекапризная, — вчера до 11 ч. не говорила со мной из-за того, что я не пошел по другим улицам, — я говорил это спокойно, как обыкновенно, — я тоже; наконец, сама же подошла и стала играть и говорить». (Эти слова действовали на меня хорошо: в самом деле, сердце мягкое весьма.) Я сказал, что он сам неправ и что с ее стороны это естественно и другого нельзя ожидать и так вообще не должно делать. — «И странно, — говорит, — что не читала Лермонтова». Я сказал: «Напротив, при мне читала, и когда я вошел, была положена карта на 130-й странице; ведь это положили не вы?» — «Нет». — «Так она перестала читать с этого места. Да, должно быть осторожным в таких случаях, — сказал я: — как давеча я: вижу, Любинька сидит, не читает «Отеч. записки», — и осудил в душе и приписал это оплошению строго и серьезно. После прихожу — лежат «Отеч. записки» перед нею, на открытой странице таблицы, гляжу — статистика Петербурга Веселовского. — Разве ты все повести прочитала? — Все. — Итак, я глубоко виноват перед нею». — «Семейная жизнь, — говорит он, — начинает несколько надоедать, что-то кажется пошловато», — это выражение в первый раз я слышу, — «и я не создан для семейной жизни; никогда не было у меня времени счастливее того, как когда я путешествовал, и на следующее лето я, если бог даст, выеду отсюда; скажу, что в Ригу на две недели, а сяду на петергофский пароход, оттуда пешком в Варшаву». Довольно грустно для меня это, но чувствую голову, тоски нет.

Вас. Петр. не думает, чтобы Гоголь был православный в душе, я, напротив, думаю, т.-е. не о православии, а о том деле, верующий ли он в откровение и проч., или только человек, как все великие люди, крепко верующий в промысл, или христианин в старом смысле.

Кажется, В. П. по себе судит о других: я нет, следовательно, и другой нет, — мысль, от которой не удерживаюсь и я, только в другом приложении: я верю в прогресс и то, что мы питаемся крохами Запада и дети перед ним, следовательно, и все люди умные тоже, и Иннокентий лжет, если говорит: «С нами бог, а кто с вами — не знаю»<sup>26</sup>.

9<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. — Вас. Петр. говорил еще о Воскресенском, профессоре химии: «Пошлый, грубый человек; жаль, что вышел из университета и негде будет его встречать, а хотелось бы чаще смущать его и припоминать ему его подлость; когда я вошел в первый раз в его аудиторию, он смутился заметно и смешался, я не сводил с него глаз».

Думаю я теперь о папеньке по поводу приписки в письме: «Пусть холера идет туда, где не жалеют жизни, режутся»: человек, чуждый партий и даже не знающий их, — что было бы, если по

его мнению, конечно глубоко беспристрастному, устраивать дела? Мог ли бы он отказывать в *droit du travail*\*, над которым так безжалостно смеются и которое истинная причина переворотов (т.-е. пауперизм)?

Когда я говорил о Над. Ег., что не читает Лермонтова и пр., что читает «Иллюстрацию» и проч. против него, и сказал: «Это так естественно по степени ее развития; это вещи такие, что вы не вправе огорчаться», или что-нибудь в этом роде, он сказал: «Да огорчаюсь-то вовсе не я, а вы». Не знаю [как] первое, а последнее верно: если он сказал это не нечаянно и не в шутку, то трудновато обманываться ему и в другом, — в самом деле, это как бы личное мое дело, так я говорю об этом и думаю всегда, и когда расположен — чувствую. «Меня удивляет, — говорит он, — мое совершенное равнодушие к ней: я думаю, что я люблю ее как одну мою двоюродную сестру, которую весьма люблю, — нет, менее».

10.40. — Дописал Дѣтѣй — Землям и написал И до конца 104-й стр.; часто работу прерывал на несколько минут разговорами с Терсинскими. Спина устала, грудь нет.

8-го [августа], воскресенье. — День ничего, несколько лучше других дней. Утром был Ив. Вас., звал к себе, после Ал. Фед., с которым условился идти ныне в 4 (после, в 6, я хотел идти к В. П.); сначала я отказывался идти ныне, потому что Ив. Вас. звал на завтрашний день, но Ал. Фед. сказал, что ему должно будет быть у вечерни, чтобы отслужить панихиду, которую не успеет, как думал, отслужить в обедню, но успел, и поэтому теперь можно идти. Ему хотелось ныне, и я согласился, только сказал, что долго не могу сидеть, должен уйти. — «Куда?» — Я сказал, что к Славинскому, потому что из деликатности (что нужды было говорить, как понимаю свои чувства — где хорошо — хорошо, где маниловщина — маниловщина, где худо — худо) стараюсь не дать ему заметить, что я с Вас. Петр. более близок и чаще вижусь, чем с ним: конечно, глупость, но мне кажется, что это могло бы огорчить его, и поэтому я старался скрыть.

В 4<sup>1/4</sup> пошли к Ив. Вас. на новую квартиру. Он уже напился чаю, но тотчас же велел поставить еще. — Признаюсь, это гостеприимство, — во-первых, напился уже, во-вторых, теперь это было еще рано, и мы собственно должны бы ждать или уйти так, — это понравилось и даже как-то хорошо расположило меня в его пользу и вообще придавало хорошее расположение духа и вместе с этим, когда я сравнивал это с тем, как бывало в подобных случаях поступали у нас дома и теперь поступают Терсинские: что «кормить всех, не накормить», — то я как-то отдал ему и Ал. Фед. и другим, им и мне подобным, [предпочтение] перед этими господами семейными людьми, и это расположило меня на час или два смотреть идиллически на такую жизнь холостую, открытую, весьма радужную и почти никогда [не] скражиническую.

\* Право на труд.

Пошел к В. П. в 6 ч., предчувствовал как бы, что опаздывать не годится, и как бы предчувствовал, что они, т.-е. Ив. Вас. и Ал. Фед. это узнают, куда я, а между тем, когда сидели за чаем, Ал. Фед. спросил: «Это что за картинка? Ваша или их?» (То был женский портрет, висевший над чайным столиком, верно какая-нибудь знаменитость или какой-нибудь идеал, скорее первое.) Ив. Вас. отвечал на это, обращаясь ко мне: «Посмотрите, есть сходство с Лободовскою». Я, когда это имя услышал, как-то вздрогнул сердцем, как это всегда бывает, когда услышу, что заговорят о том, что задевает за живое, — впрочем, таких предметов весьма мало, — но сердце вздрогнуло. Я поглядел: точно, есть — нос и части около носа, что я мельком заметил и раньше, когда посматривал так мимоходом.

Странно, что я всегда вздрагиваю, когда что-нибудь подобное относительно ее, напр., раз, когда показалось, что навстречу мне идет она, — и вот в этот же раз, когда я ныне [был] у Ив. Вас. и смотрел в окно, и мне показалось, что она с Пелаг. Вас. прогуливается и т. п. Значит, я этим сильно интересуюсь? Я думаю, подобным образом вздрогнул бы я при встрече у кого-нибудь с Краевским или при начале знакомства с Гоголем, или, в другом роде, при свидании с попечителем, — мне неприятно однако сближать его и Над. Ег. А между тем, когда я бываю у них, ничего, решительно ничего; иногда и довольно часто я радуюсь и наслаждаюсь; когда руки наши дотронутся, снова решительно таким образом ничего, все равно, мои и ее или мои и Вас. Петр. руки встретились, да и вообще никакого смущения.

Когда я пришел к ним, он сказал, — когда она вышла из комнаты, — кажется от неудовольствия, — что она сердится оттого, что он не пошел гулять (потому что ждал меня) и сказал, что болит голова. Я стал уговаривать его идти, он — нет. Я сказал, что если так, я уйду. «Хорошо, я спрошу, хочет ли она». Вышел, воротился — «не хочет». Я подумал: или он ей не говорил, или она в неудовольствии сказала это: в самом деле это неприятно, и он нехорошо это делает, и это меня как-то стесняет. Я его заставил идти снова, она сказала: да, и он стал одеваться. Пошли; он сказал, что устал; гуляли мало; они шли не под ручку, и дорогой, особенно на возвратном пути, он говорил (что мне было неприятно) со мною и шел подле меня, а она часто отставала, или он шел от нее довольно далеко, потому что я шел не по панели, а подле нее, и он, приближаясь ко мне, должен был отдаляться от Над. Ег. Но все-таки, когда мы воротились, она перестала быть в неприятном расположении, развеселилась, играла с ним и с котенком, и проч.

Да, как мы вышли, встретились нам — мы шли по проспекту на Обуховский — Ал. Фед. и Ив. Вас., которые шли; это мне было неприятно: и так открылось, что я солгал перед ними. Хорошо еще, если Ал. Фед. заговорит об этом: я скажу, что шел точно к Славинскому, но он попался и затащил к себе. — «А, — сказал Ал. Фед., — Ив. Вас. все подкарауливал вас». — Мне неприятно и то,

что Ал. Фед. увидел Над. Ег., когда она была не одета хорошо, верно и на него сделает дурное впечатление.

Когда воротились и она играла с В. П., то, между прочим, когда он стал на стул на коленки лицом к спинке, она подошла и стала нагибать стул; нагнула несколько и приложила свое личико к его груди, говоря ему в лицо (свеча стояла на чайном столе, стул прямо перед ним и свет падал на нее хорошо довольно, т.-е. полусвет, потому что она была в тени за Вас. Петр., но ясный) — у них завязался разговор: «Ты убьешь меня, матушка, впрочем убивай, будешь интереснее — молодая вдова». — «Нет, лучше пусть я умру, или, лучше, если умирать, так вместе, так что если я умру, чтобы ты не оставался вдовым, если ты умрешь, я не оставалась вдовою». Она с нежностью смотрела на него.

Обыкновенно, — по крайней мере, я это замечал на Любиньке и кажется (однако не помню хорошенько) на других, — чувство особенное нежное, особенно любовь, особенно в этом роде, каком-то идилическом (я говорю про этот случай), гораздо полнее заставляет бросаться в глаза физические недостатки или, лучше, несовершенства лица и недостаток или ложность этого выражения на нем; это верно потому, что здесь апотеоз лица, оно проявляется в полном блеске, все и хорошее, и дурное в нем — потому что выступает в него душа. Вообще, обыкновенные лица неспособно притворны или уморительны в такие минуты, и только уважение к чувству, вызывающему это смешное выражение, заставляет не смеяться над ними, как, напр., и над кислыми и скверными гримасами обыкновенного лица, когда оно плачет; вообще все в эти минуты выказывается на лице резче и яснее. Я смотрел внимательно, старался отыскать что-нибудь, что было бы не так, как следует, в ее лице, и не мог найти ничего; оно мне показалось весьма, весьма хорошо, обворожительно, и мне показалось (однако не могло истребить сомнения у меня), что мои сомнения насчет ее красоты, решительной красоты, — вздор; что грубого у нее в лице ничего решительно нет, следовательно, однако я еще колеблюсь сомнением. Однако радости на сердце было; но не через меру.

Чаю пить я не стал у них, хотя и говорили, и это, кажется, на несколько времени рассердило его, т.-е. он думал, что я потому, что не хочется мне с сахарным песком, или, может быть, думал и то, что это по расчету в его пользу я делаю. Она, как всегда, тоже говорила, чтоб я пил, и даже сказала было, когда ушла в другую комнату: «я не стану пить», — верно, чтобы заставить меня или потому, что это было неприятно, или, как это сказать, что я не пью. Ушел я в 9 часов, провел время как обыкновенно, так что не раскаивался, что был у них; она произвела хорошее впечатление, радости, однако, не было у меня; в нем я осудил недостаток внимания к ней: не знаю, следствие ли это тягостного для него расчета (как в отношении к Залеманам — обязан, следовательно...), или в самом деле вследствие того, что я в самом деле ему лучше ее, он оказывает мне больше внимания, чем ей, и это мне неприят-

но, напр., хоть гулять не идет, когда она хочет и когда он ждет меня. Завтра хотел зайти; я это, может быть, скажу ему.

9-го [августа], 8¼ утра. — Вчера вечером читал в «Отеч. записках», в 3 или 2 № за этот год, отзыв о Луи Блане в книге автора «Ораса» и «Компаньона» (кажется, Жорж Занд)<sup>27</sup> «великий писатель Луи Блан и великий человек!» Хочу непременно купить его, как только смогу. Ив. Гр. не стал ужинать, я тоже. Вчера закончил И, довольно неисправно, судя по тому, что недостало 30—40. Сосчитал строки и подписал их по углам во всем Несторе и написал до конца 72 страницы — Игумене — Княжашю.

12 час. вечера. — Утро сидел за Нестором, только не все время делал дело настоящее, а от 1 до 2 час. составлял дробь, выражающие отношение между числом строк от конца каждой страницы до начала и до конца той части Нестора, которой я теперь занимаюсь. Голова довольно разгорячилась в арифметическом смысле, и я, как говорит Амос Федорович, своим умом дошел при этом до непрерывных дробей, так что только после заметил, что выдуманный мною способ есть только непрерывная дробь, делая быстро и в уме. Думал, сколько могу вспомнить, довольно живо; чувствовал нетерпение увидеть Василия Петр.; он пришел в 4, просидел до 5, ушел и обещался быть снова, возвращаясь, когда я сказал, что пойду с ним, когда он пойдет покупать утюг. Говорили больше о литературе. Все-таки он сказал: «Мне было неприятно вчера встретиться с Ив. Вас. и Раевым, особенно когда Ив. Вас. стал в струнку и показал на меня, на нее и на Раева, как будто говоря: вот видите сами, что моя правда — она не хороша». Не должно ли предполагать по этим словам, что в сущности он сам считает ее, как и я, красавицею, хотя и не говорит этого, т.-е. не то, что считает, а почти считает, и не то, что красавицею, а выходящею далеко из круга женщин ни то, ни се, хорошеньких только потому, что молоды. Если так — хорошо.

«Домби» окончание ему не нравится: трескучесть, говорит. «Том Джонс» в августовской книжке тоже, говорит, много слабее.

Когда он ушел, я — бог знает с чего пришла охота делать не дело, а в сущности для него, потому, что он курит из трубки — стал чистить чубук и провозился с ним с час; после сел снова писать, дописал прежний полулист до 102-й стр. середины. Он пришел, мы напились чаю, пошли за утюгом; когда шли около Министерства внутренних дел, я сказал ему свое вчерашнее наблюдение над лицом Над. Ег. в то время, как на нем выражалось нежное чувство; он не стал противоречить, может быть потому, что мы подошли, пока я говорил все, к железному ряду, но скорее потому, что не наблюдал за этим и не мог ничего сказать, а еще скорее потому, что заметил сам и то же, что я. А раньше, когда мы шли к Чернышеву мосту и были уже недалеко, он сказал снова то же, что говорил и в первый раз, когда был в 4 часа ныне: «Ныне утром разразилась на меня она упреками и слезами, что я мало бываю дома, да когда и бываю, то все читаю или

пишу, а с нею ничего». Я сказал, что этого должно было ждать, говорил в этом тоне. «Я, — говорит, — немало говорю с ней». — «Для вас немало, потому что у вас каждая минута на счету, и чтоб говорить, когда вы говорите, для этого нужна воля с вашей стороны, а не самому хочется говорить и не самому заговаривается».

Когда пошли с рынка через мостик на Крюковом канале, мимо больницы, он стал говорить, что заботится, что долго нет писем из дому: «Один зять написал, другой написал и писали, что наши пишут тоже, а между тем ничего нет; это или я что-нибудь написал, что им не понравилось и они не хотят отвечать, или кто-нибудь умер». Тотчас перешел к тому, что он, однако, всегда был только горестью для родителей, как говорил ему и отец. Я говорил против этого — не знаю, хорошо ли я это сказал или нет, но прискорбно видеть, как он этим мучается: «Что вы приносили им более радости, чем горя, это доказывается тем, что они вас любят». — «Да ведь он говорит противоположное, сам отец». — «Да это обыкновенная фраза, сама собою выливающаяся в минуты грусти или дурного расположения, да и вы сами разве не видите, что причины, по которым они были на вас в неудовольствии или огорчились, были безосновательны? Это похоже на то, как бабушка горевала, что папенька не хотел выходить из семинарии, чтоб занять дедушкино дьяконское место». — «Да ведь они не могут рассудить того, что их неудовольствия и огорчения неосновательны». — «Могут». В это время мы подходили к квартире. Он заговорил о том, чтобы я зашел, я не зашел. — «Я, — говорил он мне ныне, — сам жалею, что она скучает и грустит с своими, она тоже что-то не бывает у них. Я сказал ныне — побывай у них, Надя, — она не пошла». — «А вот вы и не знаете, что это такое и отчего она в неудовольствии с ними». — «Я жалею ее, но равнодушен к ней», говорит он, как раньше.

Оттуда зашел переодеться, пошел к Ол. Як. У него был Ал. Фед. Мы пошли оттуда вместе. Он заговорил о вчерашней встрече: «Я поколебался вчера в своей уверенности в вас — это первый случай, когда я заметил, что и вы кривите душой, а раньше я был убежден в противном». Он говорил это таким тоном, что в нем было видно в самом деле некоторое сожаление о том, что он разочаровался относительно меня; действительно, это, верно, произвело на него действие вроде того, как измена друга или разочарование в поэтическом воззрении на жизнь, разница только в объеме впечатления, а не роде его. Я покривил душой, как следует, и отвечал веселым, но правдивым тоном: «Вообще я не оправдываюсь, часто случается кривить душой, где бы и не следовало, кривлю, но только здесь не виноват: я в самом деле шел к Славинскому, Лободовский встретился мне около нашей квартиры и утащил к себе; какое бы вам доказательство? да вот: я был без шинели, значит, я был у себя до-

ма». — Это, кажется, убедило его. Совестно мне не было при этом обмане, напротив, я желал, чтоб он удался вполне, потому что хоть это дело и ничтожно, но все лучше для меня и него (Ал. Фед.), если он останется в убеждении, что я не кривлю перед ним душою.

После, пришедши домой, стал писать письмо Корелкину в таком тоне, как некогда в Саратове писал письма: так, ни о чем, только пустая болтовня, совершенно без всякого предмета, только, может быть, остро — смешно и умно, или глупо и более ничего, как угодно. Например, после того, как написал о начале лекций и, во-первых, о Михайлове: «во-вторых, писать уже не о ком, поэтому от лиц перейдем к вещам лучше, и как о вещах писать тоже нечего, кроме того, что сюртуки у меня износились окончательно, то напишу вам об этом и перейду к событиям. Итак: сюртуки у меня износились окончательно. Теперь перейду к событиям».

«Из того, что делается в Петербурге, я не знаю ничего, как есть; раньше знал по крайней мере, что делается в неимоверном количестве набрюшники и перцовка, но теперь холера прошла<sup>28</sup>, ни набрюшников, ни перцовки более не делают, что делают вместо них — я не знаю; в провинциях делается весьма многое, — например, в лесных местах весьма хорошо делаются оглобли и лопаты, а в безлесных — кизяки (если вы не знаете...), но эти вещи или недостойны просвещенного внимания, или, если достойны, то я не могу, без некоторого оскорбления вам и несправедливости, предполагать, что они ускользнули от вашей любознательности, а как таковое предположение необходимо для того, чтобы я решился писать вам о них, а этого предположения именно сделать я и не вправе, и не решусь, то и не могу писать вам об этих делающихся в наших провинциях вещах. Теперь долг рассказчика повелевает мне приступить к рассказу о совершающемся за границей, ограничиваясь пределами того, чего я не знаю. Итак: во-первых, я не знаю, совершается ли на Западе покупка хороших карандашей по гривеннику серебром или соответствующей ценностью своего гривеннику монете, или совершается она у нас или дешевле, или — чего не дай бог, потому, что зачем же желать дороговизны? она сокращает потребление, а следовательно, и производство — дорожке: нет, я надеюсь, что дешевле; но, увы, я только надеюсь, но знать наверное я не знаю; это для меня так прискорбно, что я принужден стереть выкатившуюся от избытка чувств слезу и обойтись посредством платка. Слезу стер и посредством платка обошелся. Теперь продолжаю: во-вторых, я не знаю, совершаются ли на Западе кулчие крепости так, как у нас в местах присутственных второй инстанции или, может быть, и первой. Многого и другого я не знаю из совершающегося на Западе, но эти два пункта самые важные и сомнение относительно их весьма тяжело для души моей, а средств разрешить так занимающие меня вопросы эти никаких, никаких!!! О, как много не знает еще человек вообще, и я в особенности, из того, что знать ему было бы необходимо»



для его спокойствия и для его блага... Грустно жить на свете после этого. Единственная моя отрада в таком грустном житье на вышереченном свете, что я надеюсь увидеться с вами к началу сентября. Ваш... Ах, да! Вообразите себе свинью. Вообразили? В таком случае можете меня и не воображать, потому что я весьма похож на нее — забыл написать вам свой адрес (это не из письма уже), для того, чтобы зашли ко мне, когда приедете...».

Это буквальная выписка.

Ив. Гр. не ужинал, я тоже, только спросил хлеба. Свидание с В. П. и слова его об отношениях к Над. Егоровне не произвели грустного впечатления, как обыкновенно это бывало, потому что теперь подают надежду. Свидание с Ал. Фед. благоприятствовало моим мелким планам относительно лжи об обмане их, и я этим довольно доволен. Когда шел, расставшись с В. П., думал о них, был весел, пел, как это почти всегда бывает, но не в таком веселом духе, как теперь, и вздумал, поя песню Маргариты из Фауста — *Meine Ruh ist hin*\*, которую я довольно часто пою, что хорошо бы, если бы она знала ее, и мысли — отчего хорошо, если бы она знала по-немецки, а главное хорошо, что он стал бы ее учить и время шло [бы] у них в этом; скажу, чтобы он учил ее. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> первого. Ложусь.

10-го [августа], 12 час. утра. — Странно, сердце снова при постоянных мыслях о Над. Ег. беспокойно, как это бывало в первые дни после их свадьбы; снова есть чувство; странно, что это такое? думаю — это вздор, от моей глупости; нет, это оттого, что действительно они оба выше, чем то, что обыкновенно видишь, и достойнее всех других любви: в самом деле, есть что-то особенное, это не глупость, а только необходимое следствие того, что я его довольно близко знаю: зная, нельзя не интересоваться ими в высшей степени и не любить их от всей души. И мне приятно это биение сердца или, лучше, не биение, а как-то особенным образом оно сжимается или расширяется и что-то в самом деле чувствуешь в нем.

Вчера Ив. Гр. попросил меня уйти в залу, чтобы свет не мешал Любиньке спать; это ничего, ни хорошо, ни дурно. Я ушел и в первый раз с давних пор, когда кончил писать, лег без свечи. Любинька ныне говорит: «Верно ты сам отнесешь письма, потому что Марья стряпает». Я не хотел раньше, но уж пошел переодеваться, как взглянул на Марью, — она стоит так. «Есть тебе время?» — «Есть». — «Ну, отнеси». Так-то все случай — не будь же в это время в прихожей, я бы и порол по Гороховой, а после по Невскому, потому что давно уж не видал картинок и хочется посмотреть их. Да, а о Надежде Ег. все думается и не равнодушно.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12-го вечера. — Ждал Вас. Петр. и думал; часто находили довольно продолжительные периоды, когда сердце билось беспокойно, как обыкновенно в таких случаях, что его нет, когда обе-

\* Мой покой исчез.

щался; приходили в ум разные глупые предположения о том, что не случилось ли с ним или с нею чего, и что именно могло случиться. К чаю приехал доктор, рассказывал анекдоты, уморил; чрезвычайно хорошо говорит, и хороши, и новы рассказы. Когда уехал, Любинька сказала, что он врет кстати и некстати. Это мне показалось досадно: удайся хоть в 10 раз хуже рассказать что-нибудь подобное Ив. Гр-чу, она была бы в восторге и не знала бы, как и смотреть на других и как заставлять их преклоняться перед таким умником. Что за пристрастие к другим в худую сторону: только мы умны, все другие дураки... — После, спустя сказала: «Вот хвалился, что это он сделал, что академикам дают чай вместо сбитня». Я говорю: «Почему ж не он? Разве весело ему возиться с больными?» (он сказал, что от сбитня больных бывало много). — «Уж слишком! Семинарист, который жил с свиньей в одном хлеве, да делается еще от этого болен!» Мне хотелось сказать, что Ив. Гр. тоже принадлежит к этим господам, о которых она так отнеслась; он сам горячо вступился против этого: ее слова задели его за живое. Пресмешно! Она замолчала. Через несколько времени говорит: «Вы дадите мне свечу на диван перевязать ногу?» Ив. Гр. снял и поставил. Что раньше не спросил меня, — это взбесило мою голову, впрочем, не слишком сильно, а встал и пошел, не от сердца, которого вовсе не было, я был решительно холоден, а так; сделал несколько шагов по улице (мы все сидели у дивана, свеча горела на столе, я писал Нестора).

Когда вышел, пришло в голову зайти на двор к В. П., посмотреть в окно, что они делают, и побежал было; но стал накрапывать дождь, ветер скоро наносил тучи, и я, прошедши за переулок, который на Загородном проспекте (около 320 шагов), воротился. После ужина Любинька стала укладываться спать, сидя на моем диване, о чем она долго уж говорила. «Вы пойдете в залу», сказала она нам. Иван Гр. с «Отеч. записками», в которых читал Прескотта<sup>29</sup>, я с бумагами пошли; свеча оставалась на столе. Я подошел и стал складывать бумаги на стол в зале перед диваном. — «Принесите свечу», — сказал он мне так, как говорят людям, которыми распоряжаются; это меня более прежнего задело, но снова за голову, а не за сердце. Странно! Эти люди не понимают, пока не скажут им прямо: «пожалуйста, будьте не так, как до сих пор; если я вам спускаю, так ведь это по снисходительности, которую всякий человек чувствует, если только он порядочный человек, к людям, которые гораздо ниже его по уму». А до тех пор они это перетолковывают как выражение уважения. Все-таки свечу я принес.

Любинька устроилась, он читал. Тут-то, когда дело было кончено, он стал приставать к ней с нежными, но чрезвычайно неуместными заботами: о том, что ей здесь будет неловко, на постели лучше, — как будто не знает, что если неловко, она сама увидит и перейдет снова туда, а всегда человеку должно дать испытать то, что ему кажется лучше: может быть, в самом деле лучше, а если

и хуже, то теперь ему кажется лучше и будет век казаться, если он не испытает, и не позволить ему сделать это значит сделать ему неприятность. Она с прискорбием несколько времени отговаривалась, наконец, по своему характеру вышла из терпения отрицательным образом: взяла, перешла на постель и принялась плакать. В самом деле, она не может улечься на постели от своих болячек и спать, а на диване надеялась спать сидя и давно об этом мечтала. Она стала плакать, он пришел и сел читать Прескотта, сделавши свое дело — настоявши на том, чтоб она поступила так, как ему кажется лучше, а ей хуже. Я несколько жалел о ее слезах, но, глядя на него, мне было пресмешно, и я даже несколько раз на секунду улыбался.

Кончил прежний полулист и дописал до конца 110-й страницы Ко - Ме ө. — Вчера у меня в доме В. П. говорил о Сидонском, как умном, но своекорыстном, тщеславном, пошлом человеке, но который постоянно занимается, о Казанском, как ужасном негодяе: «Что, кажется, мне сделал человек? а так бы и убил его, когда он напустился на жену и детей за то, что один из детей уронил чернильницу». Говорил и о Шатобриане и Дюма.

11 [августа], 5 час. 20 мин. — Сейчас ушел В. П.; разговор нашел на то, что я или он (оба кажется) сказали, поправляя у себя в штанах: скверно, что нам дана эта вещь. — «В 42 году мое положение весьма бы улучшилось, если бы я не был сам виноват. Жил я у помещика Мирного; человек почтенный, но я связался с его женою. Но разве один Иосиф Целомудренный мог бы устоять, я не устоял. Он узнал и хотел меня высечь — и высек бы, если бы она не предупредила меня. Я бежал ночью; в четырех верстах была приготовлена лошадь, а должно было проходить по местам, где паслись стада, собаки, страшные, сейчас разорвут, ночь ужасная, темная, должно было пробираться с величайшей осторожностью; пробрался. Приехал за 25 верст к жиду, который обыкновенно приезжал к нему лудить, чинить посуду и проч.; он верно что-нибудь догадался, потому что запер меня и сказал извозчику, что не раньше отпустит, как когда ему сообщат ответ от Мирного, что это такое. Ночью я спустился и убежал, и 200 верст дошел домой с одним чемоданчиком без денег. А у него дети готовились в корпус, и он хотел ехать вместе с ними и говорил: «Тысячи, двух не пожалею, чтобы вас приняли в университет». — «Что ж, разве она весьма молода?» — «Не молода уже, лет 35». — «И слишком хороша?» — «Ни се, ни то, разумеется, ничем не хуже моей Нади»...

С этим он и ушел к Казанскому.

Это: «разумеется, ничем не хуже моей Нади», поразило меня, даже теперь задевает за сердце серьезным образом. Итак, мало надежды, что его мысли о ней переменятся и, кроме того, они так дурны, как я и не предполагал. Когда он ушел, перед тем, как я сел, пока я брал в руки перо писать это, мне даже мелькнула мысль: боже, неужели этот человек уже так много видел и проч.

в таком роде, не хочется сказать износился, а приелось ему, что он уже не в силах, т.-е. не хочет понять это простое, милое создание, которое досталось ему законным образом? Я не думаю, чтобы эта мысль у меня удержалась господствующей, потому что я вижу, что он вовсе не износился, как говорит, не истерся — свеж и юн и чист даже, чище гораздо меня, — но грустно видеть то, что он ее так низко ставит; весьма грустно, — для сердца, а не для головы.

Теперь стану писать о предыдущем времени дня. Ходил в университет, главным образом, узнать, есть ли к нему письмо. Так это беспокойство его насчет того, что он не получает, заняло меня? Разумеется, нет. Оттуда шел по Невскому смотреть картинки. У Юнкера много новых красавиц; внимательно, долго рассматривал я двух, которые мне показались хороши, долго и беспристрастно сравнивал и нашел, что они хуже Над. Ег., много хуже, потому что в ее лице я не могу найти недостатков, а в этих много нахожу, особенно не выходит почти никогда порядком нос, особенно у этих красавиц, у переносицы, и части, лежащие около носа по бокам, где он подымается; да, это решительно и твердо.

Ночью (неприятно писать это на той же странице, где говорится о Над. Ег.) я проснулся; попрежнему хотелось подойти и приложить... к женщине, как это бывало раньше; подошел и стал шарить около Марьи и Анны; но в это время проснулся Ив. Гр., — а, может быть, и не спал, — и стал звать их. Это мне было неприятно, что отнимало у меня эту глупую возможность пошлым образом дурачиться, хоть это не доставляет мне никакого удовольствия, просто никакого. Мне вздумалось, что это бог попускает меня делать такие глупости — просто глупости в самом определенном смысле слова — для того, чтоб я не стал кичиться своею нравственною чистотою. Неприятно мне было подумать, что вот опять я под влиянием мыслей глупых и пошлых, и подлых, которые считал отставшими от себя. Думал я это в то время, когда шарил около них.

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> десятого. — Заходил В. П., по условию, чтоб я проводил его; проводил. Дорогою ничего особенного, только он говорил, как и вчера, что: «Пишу, да что толку, когда сам видишь, что дрянь? и охоты нет, и усидчивости, а когда бы знал, что будет хорошо или полезно, деятельность нашлась бы». Я говорю: «Покажите что-нибудь». Он говорил: «Писать бы что-нибудь из истории, по актам, разумеется, а не по Карамзину». — «Да, — я говорю, — для этого нужно много средств и приготовления». — «Главное — средств, — сказал он, — нет». Еще когда давеча в первый раз был, сказал, что он собирался и в солдаты, и пробовал, да нет, везде нужны деньги. «Эх, — говорит, — палками бы меня по пяткам за то, что женился: ушел бы теперь в Варшаву». Это он говорит и ныне.

Да, — еще, когда ходил в университет, оттуда ворочаясь, повстречал Воронова. Он меня проводил и сказал, что половину экзаменов выдержал, другие остались, и, может быть, он додержит, да еще сам не знает, успеет ли. Да, — еще В. П. говорил, когда был

в первый раз, что писал к Адамовичу, чтобы узнать, где теперь Антоновский: «Через него всегда скорее всего могу узнать, что делается у нас, — если нужно, он даже съездит; это 200 верст от Курска». Так сильно занимают его родные!

Докончил прежний полулист, до обеда; после обеда дописал до 104-й страницы следующий М з — Н а с и. — Спина уставала, грудь нет. Читал я эти дни весьма мало, только во время еды и когда что-нибудь помешает писать, читал «Цивилизацию во Франции» Гизо — превосходно<sup>30</sup>. Великий человек! я много о нем и о его судьбе думаю.

12-го [августа]. — Утром был в бане (четвертной) и остригся; в 4 часа пришел В. П., просидел с четверть часа, и мы пошли к Ив. Вас. Я смеялся, но верно прерывистым волнующимся голосом, потому что мое сердце было беспокойно, как обыкновенно, когда думаю о Надежде Ег. — Пили чай; после пошли к Вас. Петр.; Ив. Вас. также зашел, раскланялся странно доволью, так что я заметил. Вас. Петр. после говорит: «Он поплатился бы мне за эту кичливость, если бы я был равнодушен к Наде». Мы не говорили как-то ничего особенного, я все играл с котенком, она была огорчена сначала его грустным видом: «Ты всегда ворочаешься домой такой сердитый, — хотя бы раз я видела тебя веселым». Не понимает, бедная, отчего он такой! Все говорила, что нужно переменить квартиру, эта ей ужасно не нравится, так что мне головою стало ее жаль. Когда она вышла, сказал Вас. Петровичу, чтоб учил ее по-немецки или французски. Он говорит: «Нет, не захочет». — «Неправда». — «Да разве я уже не пробовал?» — Не знаю, правду ли он говорит или нет, что пробовал; он от вопроса о квартире отделивался неловко; меня сегодня еще более чем когда-либо занимала мысль, как ему выйти из этого положения. Заставили пить чай, хотя я не хотел, ушел в 8.35. — Думаю прямо обратиться для него к Срезневскому, сказать ему, право. Кончил прежний полулист, дописал до 85, следующей Н — О в. Читал только Гизо и буду читать, когда лягут все, и июньский номер «Отеч. записок», который не читал раньше.

13-го [августа], 3 часа. — Утром писал Нестора; вчера читал до 21½ «Отеч. записки», ничего хорошего не нашел и решил, что В. П. критику написал бы не хуже, если не лучше. Так мы вырастаем! Из этого источника раньше я воспитывался, а теперь смотрю на этих людей, как на равных себе. Это первая критика «Отеч. записок», которая пробудила такие мысли, что В. П. или я сам не хуже их. — В 11 час. пошел за письмом, потому что думал, не будет ли денег или письма Вас. Петр.; собственно для него я пошел так рано, что мог и не найти еще письма в университете. Письмо себе нашел, ему нет. Встретил, выходя из университета, Фурсова, — заявил, что поступает к Zubову репетитором, — хорошо, дай бог; разговаривали; Никитенко выхлопотал ему кандидатство. — благородный человек этот Никитенко! Смотрел картинки на Невском, решительно уверился, что все хуже Над. Ег.

11 часов. — В 8¼ пошел посмотреть на Лободовских, пришел: когда подходил, сердце билось довольно сильно; пошел мимо окна, они пили чай; окно у чайного стола, как обыкновенно, было завешено, и нельзя было хорошо видеть их: он сидит перед столом, Над. Ег. в углу под образами. Когда прошел и увидел их хоть мельком, сердце стало снова спокойно. В продолжение этих дней меня сильно занимает вопрос: откуда мне взять денег, чтобы В. П. мог жить (и хорошо, да и следовало бы, чтобы он мог жить лучше, чем теперь) до того времени, когда выдержит экзамен и получит место? Ничего не могу придумать.

Докончил полулист Наст — Ов. День был довольно странный: сердце сжималось не так много и не во все время, а работал я как-то слишком с большим рассеянием и как-то не хотелось. Утром так утомился ходьбою с узким застегнутым воротником, что после обеда лег и заснул и проспал до пяти часов. Читал Гизо 5 том, теперь начал 4, несколько и Баранта.

Прибавление к 11 числу. — В. П. заходил; [пошли] с ним в лавку за сыром; когда шли мимо казарм около церкви, он сказал: «Ныне мы не готовили, а просто поели молока и вот поедем сыру — надоело мне возиться с этой стряпней».

Прибавление к 12-му. — Когда мы были у Ив. Вас., Вас. Петр. взглянул на портрет, когда мы сидели за чаем, и сказал: «Это что за моська?» — Ив. Вас. отвечал: «Вглядитесь хорошенько, может быть и увидите». Тот стал смотреть. Ив. Вас. через несколько секунд сказал: «Есть сходство с вашей половиной?» — Вас. Петр. снова прибавил «моська», хотя, может быть, был сконфужен, что раньше так выразился, и сказал, что сходства нет. «Нет, есть». — «Где же?» — «В овале лица». — «Да это всегда у всех одинаково» (по мне часто нет; действительно, как я после разглядел, главное сходство в овале лица). Когда Ив. Вас. вышел к М. С. Туффе, которая присылала за ним, чтобы переговорил со швеею, В. П. сказал: «Кто же это в самом деле?» Я взлез на стул — издание русское, Поля Пти (P. Petit). Я догадался или вздумал, что есть сходство с женою наследника, и вспомнил, что В. П. сам хвалил ее за то, что выражение ее лица у нее весьма мило, так что нельзя не любить ее, и сказал в намерении выгодно подействовать на него: «Это портрет жены наследника, только, может быть, не слишком похож». Он сказал, что, может быть, и вероятно. Это писал я в 9½, 14 числа.

14-го числа [августа], 9½ утра. — Думаю все о них более всего. Пишу Нестора; вчера читал Гизо и Баранта. Ночью опять приходила глупость некоторая: я снова подходил щупать, но тотчас же ушел, оттого что поленился, или не захотел. Странно, как в человеке совмещаются совершенно противоположные качества и поступки. Когда думаю о Над. Ег., я совершенно чист, совершенно, как только может быть чист человек, а тут приходят в ум такие глупости.

11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. — Думаю все о Вас. Петр., довольно щемит сердце, теперь думаю о финансовых делах: денег у меня не будет долго, может быть, месяца два, как же быть, где ему взять? Это трудно. Отыскал в журнале<sup>31</sup>, когда было отправлено письмо, в котором писал, чтобы не присылали денег: 20 июля, и не получен ответ на него. Уж и теперь заметил мельком в журнале много такого, чего не упомянул бы без него.

4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. — Я закончил тот лист и разлиnevывал новый, когда пришел В. П. Долго мы сидели молча, только его физиономия стала расстраиваться, так что я даже это заметил. «Чорт знает, какую глупость сделал, что женился; а однако, все ничего, ко всему можно сделаться равнодушным»; — с дурным видом были произнесены эти слова; — «сколько я ни стараюсь объяснить себе свое теперешнее положение, никак не могу; а надобно внимательнее смотреть на свой череп, не показались бы тут какие-нибудь бугорки или что-нибудь этакое — какой-то червь залез под череп и роется там; досада смертная каждый день, и сам не знаю, отчего: кажется бы не от чего, — а досада, тоска ужасная» (я думаю, это оттого, что он досадует на себя, что ничего не делает, чтобы выйти из своего положения); «человек с умом напр., Ив. Вас., — давно бы сошел с ума, а я ничего; другой бы, не такой пошлый человек, как я, [не] стал бы ни есть, ни пить, тосковал, худел, так и умер бы, а я ничего: ем препорядочно, сплю преспокойно, только от скуки лежишь, свистишь да глядишь в потолок. Ну, пишешь; пока пишешь — ничего, как прочитаешь — только засвистишь и изорвешь». Показывать мне не хочет ничего, — не стоит, говорит он. — Бог знает, может, и в самом деле не стоит, а скорее напротив. «Что делать, — говорит, — коль бог не дал таланта». — Мне стало думать, несколько теперь, что вот, что угодно, как угодно будь добр и прекрасен человек, но может быть поставлен в такое положение и приведен в такое состояние духа, что не будет составлять удовольствия другому. Итак, Над. Ег., конечно, грустит и тоскует, глядя на него. — Снова он говорит об этой смертной досаде, тоске. Как я бестолков, что не вижу, пока мне не скажут, а когда скажут, то вижу, что иначе и не могло быть и что должно было бы давно это видеть. — От Казанского обещался зайти, чтоб вместе идти гулять. В понедельник хочет быть в университете, потому что ждет письма.

11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. — Был в 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ал. Фед. Когда уходил, я спросил, можно ли взять «Мертвые души», — он велел приходить в 9 часов; я пошел, взял, посидел час, — он утомил и наскучил мне и показался более ограниченным, чем обыкновенно. В. П. не был; завтра утром отнесу «Мертвые души». Меня занимает, помимо прочего, мысль о переходе от Терсинских; беспрестанно мешают. Так ныне, когда я, как стало темно, стал брать свечу, Любинька сказала: «Что это, ты никак уже хочешь зажигать?» По их понятиям, конечно, этого не нужно, а с <sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа должно просидеть так, пока будет настоящим образом темно. Я поставил свечу и ушел в другую комнату, после

стал перебирать письма, перекладывать несколько их в один конверт. Она говорит: «Что же ты, зажги свечу, что копаться так?» (уж было достаточно темно). Я промолчал. Странные люди; кажется, с ними не должно церемониться, потому что они не хотят предполагать это, а нельзя не церемониться, если слушаешь их мнения и суждения. С завтра начну пить по одному стакану чаю. Дописал до 94-й [стр.] конца По б ъ — По я.

15 числа [августа], воскресенье, 6 час. вечера. — До сих пор день был самый пустой, что касается до дела, и самый беспокойный, что касается до сердца. До 12 час. читал я «Современник», августовскую книжку, которую вчера принес В. П., и носил к нему «Мертвые души», он оставлял, я не остался, хотя тотчас же стал жалеть, что сказал, что не буду после обеда: в самом деле, лучше было бы согласиться, что буду. Когда читал «Современник», ничего еще, читал последнюю часть «Домби» — хуже много первой, и особенно я это увидел, когда Вас. Петр. сказал, что хуже, — у него действительно вкус тонче и разборчивее моего, он создан быть критиком. Когда кончил и хотел приняться за дело, не стало делаться — так растосковался о Вас. Петр., отчего долго с ним не виделся и не говорил, как бы мне хотелось, и что еще сутки с лишком не увижусь, что ужасно. Довольно давно не было так тяжело на душе. Как и что он будет делать? т. е., во-первых, чем будет жить? а это главное, чтобы у них теперь было много денег, и он был бы доволен в этом отношении; тогда, я надеюсь, его мысли относительно Над. Ег. переменялись [бы], и он стал бы счастлив.

Я не мог продолжать писать Нестора, бросил, лег в зале читать Баранта и заснул, к счастью. Нехорошо было на душе. Проснулся перед самым обедом; когда пообедали, я хотел было писать — снова не пишется, тянет к нему, да и только. Я уже пошел в университет, главным образом так, чтоб прошло время, но обманывал себя надеждою, что может быть найду письмо ему, — нет, ему нет, а было Ив. Гр. Чорт возьми, подумал я, которых писем не нужно, те есть. Но ходьба рассеяла мои мысли и мрачное расположение. Оттуда я шел по Невскому, встретил Михайлова брата, узнал, что он недавно писал им и пригласил его к себе. Теперь ничего, довольно спокойн, хотя Нестор не пишется, — лень ли, или скорее предчувствие, что снова задумываюсь о В. П., не знаю. Уж хоть пришел бы Ал. Фед., все бы разговорились о чем-нибудь — желание, которое у меня бывает только во время довольно порядочного неудовольствия. Жду, когда откроются курсы, что-то будет, — может быть, от Воронина что-нибудь такое, чем можно будет В. П. воспользоваться, а может быть и мне. Нестора дописал тот лист, всего до 104-й стр., теперь снова сажусь за него, не знаю, много ли напишется.

10 ч. 40 м. — Все читал «Современника», прочитал «Тома Джонса» и дочитал «Домби». В самом деле Том Джонс здесь много слабее, чем в прежних книжках, но я не знаю, заметил ли бы я это, если бы раньше не сказал это В. П.; думал во время чая



мало, конечно, и читал спокойно. У него вкус более гораздо развитый, чем у меня — от природы, или упражнения, или от лет. Дописал всего до 110-й стр. — День прошел в чтении, а не в письме. Теперь снова ложусь читать.

16-го [августа]. — День довольно незамечательный. О В. П. не тосковал, хотя он не был; весь день писал Нестора. Вчера читал вечером долго «Космос», критику в июньской книжке «Отечественных записок»<sup>32</sup>. Хорошо, и несколько новостей в голове. Читал несколько Гизо и Баранта; докончил следующий полулист и написал 72 стр. Разг — С в я т о с л а в. В 8 час., как В. П. не заходил, пошел к нему; он не выходил из дому, потому что думал, что дети Казанского не будут дома; говорил довольно живо. Он в очаровании от Гоголя, ставит его наравне с Шекспиром. Она понравилась попрежнему — ни более, ни менее. Пришел оттуда в 10 час. почти. Он курит табак, говорит — не выдержал, купил четверку в грустные минуты; это меня несколько обрадовало: значит, у них деньги еще не подходят к самому концу; она все попрежнему. Сам я не думал почти ни о чем весь день; в разговоре с ним ничего почти, кроме того, что написал теперь, нового не было; завтра хотел зайти ко мне в 6 час. Делал еще, до 74-й стр., итого в день 1½ листа. Работал с начала дня с жаром; после ничего, как обыкновенно. 11 час., ложусь, буду читать «Отеч. записки».

17-го [августа], вторник. — Вчера читал «Отеч. записки» вечером, прочитал, между прочим, начало в июньской книжке Дютроше<sup>33</sup>; запала в душу мысль там, которая есть: «Чем более у кого абсолютных истин в известной отрасли ведения, тем ниже он стоит в ней. Простому человеку покажется смешным вопрос, отчего падает тело на землю: как же ему не падать? так всегда бывает и было и этого, по его, довольно; смешно и то, отчего корни у растений вниз всегда направлены, стебель вверх».

Писал письмом ныне утром, в котором говорил худо о сочинении Терещенки и словаре Р. Академии, в ответ на папенькино письмо<sup>34</sup>. Пошел отнести письма, чтобы побывать в университете; Любинька дала 30 коп. сер. вместо 20, потому что Иван Григорьевич тоже написал два письма; я думаю 10 коп. сер. оставить пока у себя и отдать ей после, когда получу от Ал. Фед. В университете слышал, что Срезневский режет на экзаменах из русского, это мне показалось неприятно; на дороге туда встретился с Галлером, он уже приехал из Гатчины, и говорю: «не пишу Срезневскому»<sup>35</sup>. Пришел домой, — да на обратном пути пошел по Невскому для картинок, у Дадзиаро новые — две молодые прекрасные женщины на террасе, выходящей в море, одна сидит и целуется с молодым человеком, другая смотрит за занавес малиновый, отделяющий террасу от других частей дома (это что-то вроде балкона), не подсматривает ли кто-нибудь. У нее лицо в профиль весьма хорошо, но хуже много Над. Ег., хотя есть некоторое сходство, почему я долго смотрел; шейка также вперед и грациозна. У другой лица нельзя хорошенько рассмотреть, потому что не в профиль, а прямо; также хороша.

Мария Магдалина молится перед крестом, лампадой и черепом в пещере, — это я раньше видел; освещение понравилось почти от лампы, лицо довольно хорошо, но много хуже Надежды Егоровны. — Пришел домой, — Иван Григорьевич спросил у Любиньки мелких денег, сказавши, что нет табаку; я сказал, что должен гривенник, и вынул его и еще 6 коп. сер., которые только у меня и были, а он послал кажется за водкою, а табаку не хочет. Что-то будет, когда придет Василий Петрович, а у меня нет с чем послать за табаком; если не купит к тому времени, разумеется, спрошу у Любиньки, хотя глупо, конечно, сделал, что не рассудивши отдал деньги. — Ивана Григорьевича на месте помощника утвердили потому что, говорят, — министр верно согласится (2½ ч. дня).

9½ вечера. — В 4 были Ив. Вас. с Вас. Петр. Вас. Петр., действительно, как сам говорит, слишком дурно думает об Ив. Вас. и не может даже удержать этого; это на меня действовало неприятно, что он его обижает, между тем как я сам делаю то же и еще более и чаще. Ив. Вас. приходил затем, чтобы поручить узнать о дипломе Герасимова. Вас. Петр. хотел после зайти, чтобы идти вместе до квартиры. Я спросил у Любиньки деньги на табак, ничего не сконфузаясь и даже без всякого усилия, как будто так и следует, а давеча не хотелось этого. В 6 час. пришел Славинский. Его приход меня обрадовал тем особенно, что, значит, он не смотрит на меня особенными глазами и не думает отстраняться от меня, но, кроме того, я в сущности чувствую расположение к нему. Тотчас пришел Благосветлов старший узнать о Неволлина записках, я указал на Раева, он побежал, а меня пригласил на завтра. После пришел Вас. Петр. Говорил с Славинским о духовных преемниках Московского и Антония, о политике. Радецкому дали Георгия 1-й [степени], — странно и неприятно<sup>36</sup>. Славинский сидел довольно долго; был, бедный, как обыкновенно, не совсем здоров, ушел в 8½ или ¾, а может быть и 9. Они и Вас. Петр. пили чай. Вас. Петр. принес «Мертвые души», которые теперь читает Любинька; они ей нравятся, сверх моего ожидания. Я дописал Нестора до 104-й стр. и только, потому что весь почти день писал письмо (которое писал на простой бумаге, потому что почтовой не достало); после ходил в университет, после 4¼—8¾ все были люди. День прошел почти бесполезно, но довольно порядочно, все шло хорошо.

18-го [августа]. — День решительно пустой и бесплодный, кроме разве того, что прочитал несколько из «Мертвых душ». Вставши, читал их, после с полчаса писал, после к Славинскому, там обедал, видел Лыткина; в 3 часа воротился, до 4½ ч. читал и несколько писал, поджидал Вас. Петр., поэтому не уходил к Благосветлову. Тут пришел Пелопидов, после Ал. Фед., который взял «Современник», просил меня к себе за ним завтра, — попрошу денег, — может быть, принесет и «Débats»; в 8 часов ушел. Я несколько снова писал, читал «Мертвые души». Теперь 8 ч. 40 м. и кажется Нестором более не буду заниматься уже, а как будут

деньги, [куплю] бумаги и [буду] писать Срезневского лекции<sup>37</sup>, потому что времени едва достанет.

У Славинского видел Алексея Герасимовича, который, когда он сказал о Пестеле, что, идя на виселицу, сказал: «Это цветочки, а будут и ягодки», — «стало быть, говорит, у них был сильный покровитель» (мысль, которая была вовсе некстати и нелепа по ходу разговора), «который, как он знал, поддержит их предприятие», а я отвечал: «А, может быть, он сказал это и не потому» (разумеется, потому что был убежден, что должен совершиться переворот — правда ли это или нет), сказал: «а что вы думаете, — это он говорил как пророк? — как Иоанн Предтеча: «глас вопиющего в пустыне?» — Я был этим удивлен: ловкость мысли и приведение примера из священного писания, что я так люблю и делаю сам с таким удовольствием; странно показалось мне: человек самый пустой, ограниченный, но только довольно бойкий и несколько остроумный и говорит, как говорю я, — следовательно, может быть, и я ничем не лучше его? И другие мне подобные и мною уважаемые ничем не лучше его? — О Вас. Петр. думал мало, когда был один, почти не думал и вовсе не тосковал, т.-е. в голове всегда он, только кроме этого есть другие предметы, — это оттого, что я был развлечен, всего часа два был без гостей и не в гостях.

19-го [августа]. — Почти весь день прошел в чтении, во всяком случае большая часть. Утром читал «Мертвые души» и Гизо IV томик, несколько писал Нестора; наконец, после обеда в 5 час., не дождавшись В. П., пошел к Алекс. Фед. сказать, что не могу быть у Благоветлова; ему также было некогда; тотчас же я воротился; не хотел я идти к Благоветлову, потому что дожидался Вас. Петр. После он пришел, говорил только о «Мертвых душах», посидевши 1/4 часа пошел, я проводил его и не пошел к нему, потому что лицо было покрыто красными царапинами от угрей, — не хотелось так явиться перед Над. Егоровной. Алекс. Фед. и вчера и ныне говорил о следствиях, которые имела для меня женитьба Лободовского: «Я, — говорит, — писал об этом Михайлову, писал, что вы весьма часто бываете там и что наслаждаетесь». — Странно, если он угадал, что Надежда Егор. для меня кажется не то, что другие молодые женщины или девушки. После почти все читал Гизо или «Мертвые души». Дописал до конца 93-ю стр. Св — Ст; решил теперь оставить это, а завтра же, или когда будут деньги, купить бумаги и писать для Срезневского лекции. Тотчас же подам просьбу и о свидетельстве. 11 1/2 — ложусь читать Гизо и «Мертвые души».

20-го [августа]. — Весь день как-то Нестор не писался, только dokonчил прежний полулист и начал и дописал до конца 78-ю стр. Ст — Т я. — Среди дня вздумал бросить пока, а ныне же приняться за сличение записок Срезневского, и начал в 8 или 9 часов и несколько сличил из начала 2 чтения — его буду писать раньше, потому что это веселее, а после уже dokonчу первое. — Ни-

чего почти не думал о В. П., почти как всегда, но без тоски, а больше читал Гизо и «Мертвые души», больше Гизо; дочитал IV томик и начал V, теперь дочитал до 83-й стран.; заняла, между прочим, мысль его (начало лекции о Филиппе Прекрасном): деспотизм и тогда, когда употребляется для бескорыстных, благих видов, как употребляли его Карл Великий и Петр Великий, есть орудие дурное, прививающее зло к добру, которое производит.

В 3 часа, тотчас после обеда, пошел в университет взять письмо, узнать о дипломе Герасимова, может быть увидеть Срезневского. Экзамен, когда я пришел, уже кончился. Мне повестка на 20 руб.; 10 оставляю у себя, тотчас куплю бумаги и буду писать записки Срезневского. Теперь в голову почти не приходило скрывать эти деньги от Терсинских, мало представлялась эта мысль; что им за дело? так думаю я, хотя сам знаю, что неправда. В. П-чу сначала хотел отдать 15: теперь 10, а 5 после, если будет надо. Что присланные деньги — голову обрадовало, сердце ничего.

День прошел нельзя сказать, что бесплодно, потому что читал, но и без плодов. В. П. был в 6 часов по условию от Казанского; я решился не идти, потому что еще угри не сошли, а завтра верно будет меньше, и не пошел, хотя он звал; хотел придти завтра. Мне было самому досадно несколько головою, что я не пошел (после, когда он ушел, я это вздумал хорошенько, при нем слабее), что в самом деле это может его оскорбить, обидеть или огорчить, во всяком случае должно казаться странным. Не говорил ничего, когда он сидел, ровно ничего. Теперь 10 часов, принимаюсь читать Шафарика, верно прочитаю немного, а возьмусь за Гизо и «Мертвые души».

21 августа, 2 часа дня. — Ночью снова чорт дернул подходить к Марье и Анне и ощупывать их и на голые части ног класть свой... Когда подходил, сильно билось сердце, но когда приложил, ничего не стало. Дурно напившись чаю, пошел в университет; когда подходил, билось и сжималось сердце, как бы что-то предчувствовал, — так и есть: «Вот, — говорит Савельич, — еще письмо Лободовскому, привез Пархумов, который остановился в «Лондоне» и желал видаться». — Это тот их откупщик, который был любим и любил его старшую сестру. Получив это, я в первую минуту только обрадовался и ничего. Зайду, говорю [себе], в почтамт, после перескину сапоги и вычищу брюки дома и пойду к ним. Сделал несколько шагов — нет, в почтамт не зайду, чем скорее, тем лучше, зачем ему ждать и в это время бог знает что может случиться? Шел по мосту, думал и то, и другое: теперь не зайти, шутя не успеешь получить ныне деньги и 2 дня еще пропадет; когда подошел к концу моста, без всякого раздумья, а как дело само собою следующее, пошел на Гороховую, не заходя в почтамт. Когда шел по бульвару и через площадь пройдя его, вздумал, что лучше и не заходить домой, так и быть, что гадкие сапоги и проч. и что собственно нехорошо так являться перед Надеждой Егоровной: время дороже этих пустых эгоистических расчетов опрятности;

итак, иду прямо туда. Идучи по Гороховой, думал, как сделать, чтобы передать ему письмо так, чтобы она не знала; думал, что скажу, что заходил к Ивану Вас. по диплому, который отправляется ныне, и что не могу быть после обеда у него, поэтому прошу Вас. Петр. передать это ему, а сказать думал на немецком ему: «Письмо от вашего батюшки»; обдумывал эту фразу, чтоб не сделать ошибки против языка, потом вздумал, что верно он сам выйдет отпирать дверь, и я скажу это в прихожей. Но на дороге, по линии между казармами и первой линией, встретил его: — «Вам письмо, читайте же». — «Некогда — Надя пошла в баню, так я хочу воротиться, чтобы она не злилась». — Дойдя до... (сажусь обедать, кончу после обеда).

Дойдя до места парада против церкви, говорит: «Прощайте», — с таким затруднением. — «Куда же вы?» — «Я так», — и поворачивает по Крюкову каналу, где ходят обыкновенно на толкучку. Из этого и того, что он постоянно действовал одной рукой, а другая была занята у него, я догадался, что он идет что-нибудь продать, верно икону. Прошло несколько времени, я послал его домой и, кажется, он воротился, зная, что я иду в почтамт, следовательно, должен получить деньги. — «Странно, — говорит, — как получу из дому письмо, — дрожу». — Как он мне попался, это еще более утвердило меня в мысли, что должно делать все тотчас, что должен делать, и отлагать не следует, потому что всегда может что-нибудь случиться в это время, а когда я увидел, что он шел туда продавать, я чрезвычайно обрадовался, что успел во-время встретиться и остановить его. — Пришел в почтамт, получил: 15 р. — Любиньке, мне только 5; это мне было неприятно головою; через несколько времени вздумал, что либо можно подать просьбу и дать Василию Петр. сколько нужно, [либо] можно, как я и раньше думал, взять у Ал. Фед. Оттуда пошел через Невский, купил бумаги тонкой десть 50 коп. и почтовой полдести; первая Невской фабрики, вторая Аристархова — 25 коп. сер., и теперь принимаюсь писать Срезневского. Или нет, раньше несколько отдохну, потому что от ходьбы (3 часа ходил) некоторая усталость в спине, как обыкновенно. — 2 часа 50 мин.

11 час. с четвертью. — В 7<sup>1/4</sup> пошел к Вас. Петр., потому что он не заходил; как пришел, он стал говорить о том, как был он у Пархумова. «Как вхожу, он кричит: «Марья Петровна, братец пришел». И побледнел и задрожал весь; в соседней комнате что-то зашевелилось, — я страшно перепугался: ну, что если в самом деле она с маменькой приехала? это тем более возможно, что у него свой экипаж, и он с того времени как провинился перед нами, чрезвычайно услужлив». Он поговорил с ним о своих прежних товарищах, и то, что они все хорошо служат и уже играют довольно важные роли, между тем как в сто раз ниже его по всему, горько ему: один правителем канцелярии у генерал-губернатора, другой старшим помощником этого правителя, хотя только два года [назад] кончил в университете курс действительным студентом. Он

стал рассказывать мне, между тем, как сам готовил самовар, как он обманул Пархумова, сказавши, что он живет в Петергофе и только приехал. «О женитьбе, — говорит, — ничего не сказал. А наделал я ему довольно хлопот: отец спрашивал, где я живу, я написал и что только вздумалось, так написал: должно быть, написал дом, какого вовсе нет, — что в «доме Фредерикса в Графском переулке». Он перерыл там всю книгу у дворника, был два раза в университете, наконец, уже отослал письмо с человеком в университет». Мне было неприятно, когда он говорил это, как и всегда, когда он говорит при Над. Ег. о том, что скрывает свою женитьбу, — неприятно и жаль его и ее. Он раздувал и накладывал самовар, она стояла у дверей в прихожую, я в той комнате у зеркала, она иногда начинала играть с котенком. Мне показалось ясно, отчего он равнодушен к ней: у нее нет той развитости, ловкости, которых никак не может придать, как я думаю, природа, а должно придать общество и образование, и без которых действительно женщина не то, чем могла бы и должна бы быть. Пришел Ив. Вас., мне это в первую минуту показалось хорошо, что я могу передать ему о дипломе, после неприятно несколько, что он застал меня там и будет думать, что я там беспрестанно и скажет это Ал. Фед., а главное, что сам застал. Скажет или нет? — Ушел в 8½ час., шел дождь; я дорогой думал об этом: «Марья Петровна, братец пришел», — а он дрожит, и мне стало довольно тесно на сердце — жаль его, жаль, и все время вчера было так и теперь так. — Дело: дописал весь 17-й лист, вышло 5 страниц, надеюсь все кончить к началу лекций, судя по началу. Завтра пойду к нему: глуп, что не отдал 3 р. сер., должно отдать, — а может быть он уже продал что-нибудь, — и пойду в 4½, чтобы прийти, когда Над. Егоровна спит, как кажется всегда она спит, чтобы он мог поговорить свободно. Бедный (это однако теперь головою пишу).

½ 12-го. — Да, что в самом деле, если так, как мне показалось, что будто я чувствую другое? Если в самом деле Над. Егор. уже перестала иметь для меня прелесть, и я перестал быть уверен в том, что она заслуживает и заслужит любовь Вас. Петровича (достойна его) и составит его счастье, потому что может и должна составить, и что она не более как всякая довольно хорошенькая, но довольно и грубая девушка? это говорит сердце, хоть и не сильно, а так; а голова говорит: нет, вздор; посмотри, как она ведет себя, разбери степень развития и отличи его от самой натуры и увидишь, что нет. В самом деле, так естественно, просто, непринужденно, хотя иногда и не изящно, но всегда чрезвычайно мило, если под мило разумеешь, что вообще должно быть, и притворного, фальшивого, пошлого — ничего нет. Напр., хотя теперь: пришел Ив. Вас., который, конечно, она понимает, смеется над нею и над ним, и она над ним тоже смеется, а между тем это так хорошо, что Любиньке никогда не удастся это сделать.

22 августа, 11 час. веч. — Утро прошло так: писал Срезневского только; был Андрей Иванович и весьма занимательно рас-

сказывал о своих дедушках и кулачных боях, так что старина наша так и выступала перед вами. Большой мастер рассказывать!

Ничего особенного, даже почти ни о чем не думал, кажется. В 5 пошел к Вас. Петр., как раньше думал, так; оба спали, он проснулся, говорит: «Надя нездорова». Говорил о Марье Петровне и Пархумове. Я просидел 10 минут и ушел в действительности потому, что она нездорова, хотя раньше думал уйти не поэтому, а просто так, как обыкновенно. Сказал ему, что ухажу потому, что будет Раев; хотя солгал, но вышло так. Когда выходил, сказал в сенях: «Вам нужны деньги?» — «Да ну», — сказал он с обыкновенным своим в таких случаях видом. «Со мною теперь немного, всего 3 целковых», — и положил ему в руку. Он отнекивался почти, только было, конечно, неприятно отчасти ему, как разумеется само собой, и несколько пожал мою руку, но слабо, так что как будто не хотелось выразить и то, что благодарен. Это меня растрогало головою, сердце ничего. Деньги ему весьма нужны, я должен спросить у Ал. Фед.

Пошел домой; пришел в 6 час. Ал. Фед. и просидел до 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, говорил много и хорошо и о нем и от души и все, как всегда, даже лучше, но что это перед В. П., как и Ив. Гр., что перед Вас. Петр.! Не человек перед человеком, Булгарин перед Гоголем! Это я пишу головою. Все время, когда он сидел, сердце у меня, хоть слабо, съеживалось, и думал о Вас. Петр.; денег все-таки не спросил — просто потому, что не привелось, а не почему-либо и не какому-либо затруднению или что замешался бы — это вздор решительно, это я пишу в твердом убеждении, что это вздор — тут действительно нужны, а я что перед действительною нуждою? и моя щекотливость! она при этом случае и не мешается в дело и хорошо делает. А не спросил главным образом потому, что знал, что скоро буду у него, завтра же, и завтра буду в 9 час., в ответ на его предложение, чтобы я был у него. Завтра хотел зайти В. П., оттуда, т.-е. от Казанского, и посидеть.

Писал Срезневского и теперь написал до конца взятия\*... 10-я страница. Теперь несколько буду продолжать, однако верно немного. Теперь решительно ничего почти не чувствую — 12 час. Дописал до устройства дунайских славян.

23 августа. — В 6 час. вечера пришел Вас. Петр. Мы сидели, несколько времени разговор был пустой, после он стал говорить: «Вы сами запутываетесь, давая мне; и странно, для чего вы это делаете; думаете ли вы, что после этого я более буду вас уважать? вовсе нет, да это и сами вы знаете, да и не интересуетесь моим мнением». — Это его сильно тревожит и ему даже как-то неприятно одолжаться, как он и говорил ныне и говорил два раза, тут и после, когда я пошел его проводить. Встал уходить. — «Зачем?» — «Да она теперь, я знаю, что плачет; мне ее жаль, я знаю, что ей тяжело, очень тяжело, хоть ни слова об этом не говорит. И зачем я это

---

\* Одно слово неразборчиво. *Ред.*

сделал? Если бы не она, ушел бы, да и кончено, был бы спокоен; а теперь вот нет. И ушел бы, если б она была одна дочь у отца или мог бы оставить много денег. Эх, я какой! У Казанского 10 000 сер., взять бы, да знаю его, что умрет, а жалость есть в сердце, — жаль, умрет, если взять; так жаль было бы, что половину отнес бы снова ему, пусть пропадая, ничего, а 2 500 ей бы, да 2 500 домой, а сам пошел бы в Сибирь». Это говорено было с таким видом и тоном, как обыкновенно говорит он такие вещи, так что видно, что он не то, что думает это, а вообще нечто в этом роде. — «А жаль ее; она, бедная, много переносит горя и чувствует его, между тем как я уж и не чувствую; и не заслуживает его, потому что у нее в душе много добрых качеств, очень много. Да хоть бы уж одна скверная квартира чего стоит, сколько делает огорчения! И она надеется, что вот я получу степень в университете, и тогда вдруг переменится наша участь, а я уже не знаю, чего и надеюсь, сам не знаю».

Он говорил это таким тоном, что мне жалко было, это само собой, но вместе мне показалось, что он с большим чувством говорит о ней, чем раньше. И сам же удивляется: «Как я равнодушен к ней! Это оттого, что я решительно окаменел; а между тем она так много меня любит, что я даже не знаю, за что». — Я говорю ему: «Конечно, вам это покажется смешно, но на это скажу я вам словами Веры из письма ее к Печорину: «В тебе есть что-то такое, что любящая тебя не может не смотреть с презрением на всех других мужчин», и действительно, стоит только сравнить кого-нибудь с вами, чтоб он совершенно исчез со всеми своими качествами, обратился в ноль». — Он это принял серьезнее, чем я ожидал: «Я знаю, что вы это говорите от души, но дело в том, что вы знаете только одну половину меня, а другую не знаете, и что я хуже, чем вы предполагаете. И чего я ни делал, чтобы выпутаться из этого положения, да вот недостает практического ума и опытности, и не могу — вижу, что все не успеваю: у Абазы сказали, что мест нет таких, которые были бы хороши, а конторщик получает всего 25—30 руб. ассигн. жалованья. Одно остается — поступить на службу, но знаю наперед, что с полгода не выдержу, не знаю, когда срок приемный». — Вообще, пока мы говорили, он более, чем раньше, порадовал меня, хотя, конечно, в сущности все грустно: он не теряется, не отчаивается, все отыскивает средства и способы. — Великий человек! И она, кажется, более и более пробуждает его участие, хоть он и говорит, что попрежнему равнодушен к ней. Он говорит: «Я не понимаю, сколько у вас доброты, что вы занимаетесь чужим горем, я не охотник до этого, потому что — верно оттого, что сам много натерпелся его — во мне чужое горе возбуждает самые неприятные мысли». — «Да ведь вам может будет легче, когда вы скажетесь?» — «Да, иногда бывает». Его стесняет и это! Боже, какой человек! А когда он говорил о деньгах! Я был так глуп, что даже не переменился в лице и не сконфузился, как ожидать должно было, но не нашелся переменить предмет разговора и перемене-



нил, уже когда довольно много говорил об этом неприятном предмете.

После пришел Ал. Фед., вскоре после [него] Снежницкий и Горизонтов. При них, разумеется, у нас разговор шел кое-как, — говорили о детстве, о том, как он был в семинарии; он хотел уйти, я говорю: «Неловко; слышите, стучат, значит чай, должно напиться». Он хотел притвориться, что не слышит, но снова застучали, и он остался. Когда напились, он пошел, я за ним; дорогою говорил об Ив. Вас.: «Это человек, что он всем, кто на палец ниже его, наносит оскорбления, и мне нанес бы, если бы я не был так зубаст, а вот Надя слабее, так он и делает; и я думал, что она не понимает — нет, понимает весьма хорошо и оскорбляется, — напр., тем, что тогда, когда он был без меня, он был в пальто, без сюртука и расстегнулся и высунулась рубашка; это свинство, и она сильно оскорбилась, и тем тоже оскорбляется и замечает, что он вообще и раскланивается с ней, и делает ей такие вопросы странные, и говорит так, — это свинство, и я не думаю, что это не намеренно». — «Что в пальто без сюртука, — сказал я, — это может быть без намерения, а поклоны и вопросы и тон обращения очевидно умышленно». — «Да, — сказал он вдруг, — позабыл взять «Мертвые души» (мы были в это время у Гороховой). — «Воротимся, — сказал я, — и возьмете». — «Нет, теперь уже 8 час., и она плачет, бедная; да и не хорошо, потому что Раев здесь; я зайду завтра». — «Она читала?» — спросил я. — «Читала». — «И понравилось ей?» — «Конечно, потому что у нее много природного ума и здравого смысла, и она эти вещи понимает, конечно, во сто раз лучше Ив. Вас. и ему подобных и никогда не назовет «Жепитьбы» и «Игроков» вздором и не скажет, что «Ревизор» ни то, ни се». И стал снова говорить о деньгах: «Я много думал после, как вы ушли». — Звал к себе, — странно, зачем, когда видел, что я не одет, — но, конечно, не стал принуждать. Когда я воротился (в 8½), гости уже ушли, что мне было несколько неприятно. После читал «Мертвые души» несколько, несколько сверял лекции, с 10 до 11 спал, после ужина. Дописал до религии южных славян, сверил до богослужения. Ничего почти нынешний день сердцем не чувствовал, и когда говорил с Вас. Петр., только тогда чувствовал несколько, но не так сильно. А он когда говорил, то дышал даже так тяжело, что было видно, так весь колышется. 12 часов, ложусь.

24-го [августа], 12 час. вечера. — Утром писал письмо, сам понес, чтобы быть в университете; там получил от Алексея Тимофеевича Ивану Григорьевичу и прочитал газеты санкт-петербургские за нынешний день. — Луи Блан, Коссидьер отданы под суд<sup>38</sup>; вообще, как видно, большая реакция и много уже двинулось назад с февраля. Это нехорошо. Дома Любинька прочитала, что в Академию посылают Промптова, Клюкова и Кипарисова. — Мне вздумалось несколько о Левицком. Хорошо, что Промптов туда едет. После писал до 6½ час., перемешивая это чтением вслух «Мертвых душ» и разговорами. После пришел В. П., пошли

к нему. Он говорит: «Лучше б у меня болели зубы, чем у нее», и вообще вел себя несколько, едва-едва, лучше; но мне стало неприятно: все-таки она всегда ласкается к нему, а он никогда не приласкает ее. Она в самом деле весьма, весьма добра: зубы болят весьма сильно, и она чрезвычайно хорошо держит себя — не куксится, не хнычет, а тверда; мне сказала: «Я собиралась вам сделать выговор: зачем вы всегда подойдете к воротам и уходите назад?» — Я сказал В. П., что это нехорошо, что он рассказывает, в самом деле она может этим оскорбляться, что мне скучно бывать у них или т. п. — «Если б, — говорит он, — я нашел 10 тысяч вместе с Николаем Гавр., уходил бы его». — «А я, — говорит она, — так разделила бы». — «Нет, ты позвала бы его сюда к нам делить, а я уходил бы». — «Нет, не дала б, как можно?» — «Мы оба с ним не сладим?» — «И стала бы кричать». — «Да ведь он пропадет за это?» — «Нужды нет, зачем хотел убить». — Когда стали пить чай, я не хотел, потому что пил и потому что это ведь расход для них. Она и раньше меня заставила как-то выпить, и теперь. — «Ну, так не наливай и мне, и я не буду пить, пей один». — «Да ведь он в самом деле пил». — «Нужды нет». — «И если бы он хотел, то сказал бы». — «Нет, не скажет», — сказала она. — Он уверен, что я не поцеремонюсь, а она напротив и лучше его угадывает меня — это меня порадовало, как доказательство ее ума и проницательности. Тогда это только в голове, а теперь рождается убеждение, что она заставит его полюбить себя и в самом деле; и когда припоминаю все, как я был у них ныне и она вела себя, на меня нисходит самое благоприятное впечатление: «Я, — говорит она, — не могу видеть не только как человек, даже как кошка или собака страдает»; — в самом деле, чрезвычайно доброе сердце. — Он говорил после чаю, когда она ушла, потому что зубы заболели сильно, что «Мертвые души» Гоголя выше, по его, «Гамлета»: «Вот, — говорит, — сказать это Никитенке — разинет рот, а почему разинет — сам не будет знать; это, говорит, удивительно». — Лермонтова, за которого стихами по просьбе Любиньки и Ал. Фед. собственно я заходил, не было у него дома.

Идя оттуда, встретился с Ив. Вас., который рассказывал про свои дела, после о Марье Константиновне, после о том, как он доказывал ее брату, что он глупо сделал, что женился, а у того уже дети. «1 000 руб. жалованья и жениться — да на что? Ко мне будет ходить для этого прекрасная и преблагогородная за 400 р. в год». — Человек решительно без души и сердца и дурной. Мы проходили с ним полчаса, он сказал, что устал, а между тем я ушел, а не он. Мне было даже весело его слушать: так это все странно, глупо, тупо, надменно, самоуверенно.

Пришедши домой, Любиньку застал одну, она дожидалась Ив. Гр. Чтобы не дать ей тосковать о нем, я стал ей говорить об Ив. Вас. и вместе смеяться, хотя, конечно, ей это было не совершенно занимательно, но несколько было, когда я сказал, как он убеждал женатого человека в глупости женитьбы и что он осуждал

Ив. Гр. за то, что женился. Она этим заинтересовалась сильно и стала расспрашивать и говорить об этом и осуждать Ив. Вас., между тем как раньше постоянно заступалась за него. Так, то справедливо, что только когда нас коснется, мы интересуемся, и наше положение имеет чрезвычайное влияние на нас.

Ив. Гр. в 11 час. воротился и сказал, что Кульматицкого посылают в уездные учителя, потому что не выдержал экзамена, и переменить этого нельзя. Сердцем ничего не чувствовал, только теперь, когда писал о Над. Ег., несколько чувствовал; на голову произвело теперешнее писание о ней сильное влияние — почти убедило, что он полюбит ее, между тем как когда я был, кажется, я был почти решительно не переменен в своих мыслях. Половина первого, ложусь. В. П. взял «Мертвые души». Дописал до обрядов и сверил до введения христианства.

25 августа, среда. — Все время писал Срезневского, кроме только обеда и чаю. Да, чаю я все пью по два стакана, кроме того только, что утром на другой день после вечера, когда решился, выпил только один; увидел, что это бесполезно, да и лень отстать. После обеда приходил Ал. Фед., просидел 1½ часа; когда я спросил денег, он сказал, что верно нельзя будет дать, однако, посмотрит. Когда он ушел, я несколько задумался пишучи: — что же теперь? где взять? во-первых, на прошение, а во-вторых, для Вас. Петр.? Думал продать книги, да это вздор, на 3 р. сер. не продашь. Однако, головою только несколько думал нынешний день, да и то мало, сердцем ничего почти не чувствовал. Теперь 10 час. вечера.

26 августа, 11 ч. веч. — До 6 писал, в 6 пришел В. П. Когда входил, мне показался веселым несколько — я немного подумал о притворстве, на слишком бегло, а скорее думал, что в самом деле довольно легкая минута у него. «Идем». — «Посидите». — «Нет, идем». — Это должно было возбудить подозрения, однако ничего не вздумал я. Пошли. Он снова не говорил, или если говорил, то рассеянно и пустое довольно, так что снова должен был возбудить подозрения, я снова ничего не думал. Переходим мы по камням от Введенской церкви к мосту, он, оглянувшись, сказал: «Право, если найдет слишком тяжелая минута, я узнаю, у кого есть 1 000 р. сер. в кармане, и украду; половину отдам Наде, половину домой, а сам пойду в Сибирь». — «Нет, это чрезвычайно нехорошо», стал говорить я; он не согласился, говорил, что пустое, а я говорил: «Если бы вы были один, я ничего не мог бы говорить против этого, но вы подумайте о ней». — «Что ж? я не скажу имени; конечно, будут бить, — ничего». — «Но что будет она делать? во-первых, отец возьмет ее и отнимет, и она будет жить как работница у него; а если и не отнимет, то что [такое] 1 000 р. сер.? на 4—5 лет, а после что? Нет, вы гораздо лучше сделали б уж, если бы... но я не хочу и говорить этого (я думал: если бы обесчестил ее в девушках и бросил, лишивши имени и чести). Одним словом: нельзя ни за что осудить человека, но это чрезвычайно нехорошо с вашей

стороны относительно ее. Это с материальной стороны, а кроме того, есть и нравственная, сердце». — Мы подошли к углу, я повернулся, он звал к себе, я был не одет. Он говорит: «Это хитрость, что не одеваетесь, — вам скучно». Я уверял, что нет, он не верит. Пришел домой.

Его слова поразили мою голову (т.-е. как тяжело его положение!), но сердце ничего и теперь ничего, только когда я шел, несколько сжималось. И я отчасти виноват в этом! написал домой, чтобы не присылали денег! не мог рассчитать! Когда сидел за чаем, вздумал, если не будет у Ал. Фед., можно спросить у Ив. Гр., хотя для себя никогда или после всего спросил бы. Не знаю, говорит ли мне что, что он выйдет из этого положения, но мне не верится, что он кончит ничем! Не знаю, но этого не должно бы быть!

Был у хозяев после — она именинница и за мною присылала, поэтому я нехорошо сделал, что не поздравил утром. Там нашел сына их и когда увидел, что ограниченный человек, мне показалось, что раньше я с первого раза этого не заметил бы и теперь стал проникательнее от Вас. Петр. и встреч с людьми, которых разбирает он.

Странно, что я не мучусь Василием Петровичем и думаю теперь о нем немного разве менее хладнокровно и лениво, чем о своем свидетельстве, — вообще верно чувствительность изнутри, а не извне, как я раньше замечал, что чувствования зависят не от места, а от времени, так и волнение сердца не от событий, а так от чего-то беспричинного.

Вчера дописал до построения Болеславии, ныне до княжеского рода. Завтра в 5 час. в университет, оттуда к В. П., чтоб не оставлять его одного и чтобы уверить его несколько, что я не скучаю у него.

27 августа. — До 5½ час. писал и ни о чем не думал, после пошел в университет; там Савельич говорит о Срезневском слишком нехорошо — на него слишком жалуются, как на экзаминатора, и когда я шел оттуда, мне кажется, что мое прежнее расположение к нему сильно поколебалось, и я вздумал, что решительно правы те, которые были недовольны моим поведением относительно его, и что я не должен никаким образом подавать на медаль. Прочитал письмо — поразила заботливость и постоянная дума о нас.

Пошел к Вас. Петр. Должен сказать, что Над. Ег. весьма понравилась собственно мне: как при таком тяжелом положении и столько еще иногда веселья и внимательности! Она была вчера у матери и мать ныне у нее. Он, как я вошел, сказал: «А Надя всегда говорит, когда мы ходим смотреть квартиру и не можем найти, что это бог дурак не дает нам денег!» Она прибавила, что, может быть, он не слышит. Я говорю: «Нет, слышит, да жаль. последствий из этого нет», т.-е. не дает, хотел я сказать. Она поняла не так, кажется, и сказала: «Да уж лучше бы он наказал

за это и умерла бы». — Потом они все говорили между собою, я все молчал, это было два часа целых, и во время разговора я сидел как будто в другом месте, совершенно бесчувственно сердцем, хотя головою чрезвычайно; нехорошо: вот и она заговорила о деньгах и все говорит! верно, слишком мало! и тесно им, тяжело, грустно! Но сердце ничего не чувствовало и не чувствует — странно, как раньше было перед женитьбою его.

Он говорил несколько нехорошо с нею по-моему, и, напр., сказал, что мне весьма не понравилось: «Украдь у Шереметьева 10 000 р. сер., тебя пустят, ты скажешь, что тебе нужно, женский пол пускают». Как бы сводник! Недостойна, конечно, его мысль, — подумалось мне! Вот до чего доводит тяжесть бедности такая даже благородных людей. Она говорит: «Лучше умереть, чем жить в этой зале», как она называет насмех комнату, и все ласкается, целует его. Ныне вела себя при мне более свободно, чем когда-либо, хныкала шутя, напр.: — «Что ты мне мало сахара кладешь, а себе много» и т. п., весьма мило. Лицо решительно самое милое, характер самый прелестный, какой только я встречал, такой непостижимо добрый и вместе и сильный характер, и веселый. Я это так говорю, а сам ничего не чувствую. Или говорит ей, когда она говорит: «Тебе еще можно здесь жить, ты часто не бываешь дома, а я всегда тут»: — «А что не ходишь к маменьке?» А ведь, разумеется, она не ходит из-за него, что не бывает. Бедность, бедность! О, скверно, скверно! Он говорит об убийствах при ней и говорит: «того-то убил бы», и проч., и это нехорошо, однако это уж не знаю, нехорошо ли! Теперь я в первый раз увидел, что она слишком хорошо понимает, что теперь у них нет доходов и нечем жить. Мне снова пришло в голову, что и теперь он уж виноват перед нею. В 8<sup>3/4</sup> ушел. Она заставила снова пить чай.

Дописал до религии чехов. Срезневского хочу оставить, если он не переменится, а должен буду приниматься за Куторгу, Устрялова или Никитенку. 11 ч. 50 м.

28 августа. — Нынешний день, конечно, от влияния вчерашнего, прошел довольно нехорошо и неприятно. Весь день не хотелось делать дела, может быть и кажется оттого, что вчера же вздумал, что подло это, с одной стороны, прислуживаться Срезневскому, когда он так делает и когда другие имеют справедливые причины быть им недовольными.

Встал в 10 почти часов, утром почти ничего не делал, после обеда тоже. Расположение духа было довольно неприятное; несколько, хотя мало, щемило, главным образом, конечно, оттого, что думалось о В. П., потом, конечно, и оттого; может быть, что думалось о себе после этого, — что я не устроен, покровителей нет.

Этой мысли ясной не было, но может быть была темная, и пришло, когда пришел Ал. Ф.: да что в самом деле? В. П.-чу только 9 месяцев прожить как-нибудь, после диплом и пошли дела. В 6 час. пришел он, говорит: «Пойду». Не хотел ни минуты сидеть, принес только «Современник», чтоб [я] отнес к Залеману и ска-

зал, что он нездоров, — ему с ним видется что-то не хочется. В ту минуту, как я одевался, пришел Ал. Фед., просидел до 8 слишком часов, было прескучно, мне было тяжело, я думал о В. П., который уходя сказал: «Иду к тестю, нужно быть там». — «Что же?» — «Третьего дня была Надя, он сказал: ступай вон; и вчера прибил жену, которая в слезах пришла и просила, чтоб я как-нибудь помирился: это, говорит, ты ее избаловала! и бьет ее». — Не вышла бы история, т.е. не растревожился бы слишком В. П., хотя я знаю, что это глупо: не тревожится он каждый час. Завтра буду у него, как сказал. Ал. Фед. приходил звать завтра к себе помочь перевозиться. После писал несколько, с час, теперь ложусь читать. Дописал до Велеса у чехов.  $\frac{1}{2}$  10-го. Луи Блан, сказал А. Ф., бежал.

29 августа. — Утром сходил к Залеману, отнес «Современник». А когда просыпался, был весьма обеспокоен своим положением: свидетельства не достал и денег нет, и В. П., так что сделалось весьма тошно. Залеман сказал, что будет в час у В. П. Я пошел к нему сказать, чтоб он приготовился принять или не ушел. Пришел — его не было дома: ушел к Казанскому. Над. Ег. была одета и была весьма хороша, весьма хороша, так что я давно не представлял ее себе такою хорошею. Она сказала, что он верно через час воротится, и звала к себе, чтобы вместе гулять. Я колебался, когда идти, — в 5 или  $7\frac{1}{2}$  час., чтобы не заставить ждать себя. Сказала, что они хотели идти вместе с ее отцом и проч. к тетке на Крестовский, куда 6 августа звал отец, а В. П. не пошел, отчего и началось разногласие. Я посидел 5 минут, более не стал. В 7 час. пошел (после обеда вчера несколько заметил, а теперь сильно подумал и несколько убедился, что после обеда точно хуже расположен к занятиям) к ним. На дворе выпало стекло из очков и разбилось. Я пошел к Шеделю, на дороге встретил Ал. Фед., который позвал к себе — он был вместе с Лилиэнфельдом, и сказал, что Лилиэнфельд хочет со мною познакомиться. Я обещался зайти и сам подумал: как в самом деле случай все устраивает: нужно денег и я не хотел просить, — он заставляет просить, и я хотел у Любиньки, что было бы мне неприятно — он сделал, что теперь есть случай у Ал. Фед. У Шеделя закрыто. Воротился к Ал. Фед., стал говорить с Лилиэнфельдом. Дело [началось] с того, что Ал. Ф. сказал: «Вот он вам расскажет, что было с Луи Бланом». Я сел, заговорили об университете, после о политике; я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения, Прудона, он говорил против. Человек умный и человек, который хорошо держится против меня в этих вещах, в которых Лыткин и другие спрашивают меня. Хорошо, он мне понравился, умный человек. Он говорит, что осуждает крайности, что лучше английская конституция, где мысль раньше должна пройти через высшие слои и там созреть, между тем как во Франции она еще не готова, не довершена, а уже низвергает настоящий порядок, и проч. Однако вскоре меня поразило то, что как мы почти равно знаем события

и историю, то очевидно, что мы оба знаем, т.-е. я знаю, плохо; между тем как когда я говорю с Лыткиным или т. п., то я всегда кажется все знаю и история вся служит мне. Наш разговор был настолько беспорядочен, что мне снова показалось (что я замечал и раньше при разговорах с Ив. Гр.), что я не умею еще держаться в споре идеи главной, так, чтобы не дать себе и другому запутаться предмета. Я хотел бы продолжать знакомство с Лилиэнфельдом, умный человек, — по крайней мере, так показалось. После остался с Ал. Ф. один и взял 3 р. сер., потому что видно, что много, так, чтобы можно было взять для Вас. Петр., дать он не может. Лилиэнфельд сказал, что Адлер, знакомый В. П., получил премию и место инспектора у Лазаревых, — об этом должно сказать В. П., не получит ли он через него.

Дописал я Zyt Wratt\*. Кажется, теперь мои дела относительно свидетельства устроятся; что-то В. П. — У Ал. Фед. просидел с 8 до 10<sup>3/4</sup>, теперь 11<sup>1/4</sup>.

30 августа. — Весь день ни о чем не думал, был так себе решительно, как бы думать о чем-нибудь человеку и не следует. Писал, все как следует, и только. В 12 час. пришел Корелкин с Дозе, новым студентом. Я ему много врал, напр., что очки сняты с меня по указу Михаила Павловича, и проч. Он пишет на медаль и написал словарь. Скоро ушел обедать к родным. После Любинька сказала: «болят зубы». Я сказал: «схожу за лекарством», и пошел в аптеку в доме Сутугина. Там дали мне не того, какое я брал раньше, но которое было главною составною частью того и действует одинаково, хотя может быть не так сильно. Я взял пузырек из дома, который был с гофманскими каплями, и от этого лекарство воняет ими, а не собой. Купил чернил на 15 к. сер. — После обеда, в 7 час. веч. к Ал. Фед. Он был один. Просидел до 10, говорил с ним о Лермонтове, о великих людях; я все говорил о В. П., как его знаю, о сердце великих людей, таких, как Лермонтов, о «Герое нашего времени», он слушал и только делал замечания. Я говорил с охотою и некоторым волнением, хотя решительно без одушевления, которого у меня с ним не бывает; другое дело с кем-нибудь другим. Проговорил до 9<sup>1/2</sup> час. После пришел Ив. Вас., я ему стал врать об устройстве нехороших домов на Сенной, где, я сказал, я сам бываю. Пришедши домой, писал письма домой и к Кондрату Герасимовичу, в котором ничего нет, только просил денег.

Дописал до того, что молитвы пелись у чехов. Теперь ровно 12; не знаю, какую пользу принес мне нынешний день, — кажется, никакой.

31 августа, 11 час. вечера. — Утром думал так: отнесу очки, после письмо, после пойду дожидаться очков к Вольфу<sup>39</sup>, после в канцелярию обер-полицмейстера справиться, как и что должно писать и на какой бумаге, после куплю ее и завтра подам. В 10

\* Неразборчиво. Ред.

пошел, все так; пришел к Вольфу, там читал газеты: Луи Блан в Лондоне, во Франции все более и более реакция, так что мне было неприятно; неприятно и то, что немцы так своекорыстны и глупо самолюбивы касательно Ломбардии: она всегда должна принадлежать Австрии, говорится в «*Illustr. Zeitung*»<sup>40</sup>. Там взял чашку чаю — 15 к., прождал до 2 час., и шел дождь, то уж некогда было. Когда шел домой, раньше вздумал спросить у хозяина перед тем, как пойду к Ал. Фед.; а от Ал. Фед. к Вас. Петр., главное затем, чтоб сказать об Адлере и навести на мысль обратиться к нему. Но когда обедал, хотелось удержаться, ничего не говорить о западных делах, однако не удержался, стал говорить — что за глупость. К Ал. Фед. пошел в пять, дописавши до конца чешскую религию. Пришел, тотчас пришли носильщики, он ушел с ними, я, отделившись от Катерины Павловны, лег на диван и стал петь, сначала: «Ай, вдоль по улице молодчик идет», сколько знаю, «Ах, как пошел наш молодец», хотел «Сени», после, когда кончу, но запелось уже по-немецки *Wie herrlich leuchtet*<sup>41</sup>, после песни Маргариты, при которых я постоянно думал о В. П. и Над. Ег. — ее положение довольно трудно, как и Маргариты; наружного сходства никакого, внутренне я нахожу, их я перемешивал, все думал о ней; Шиллеровой Теклы *Der Eichwald brauset...*<sup>42</sup> Когда пел эти песни, постепенно расчувствовался так, что стали катиться слезы. Так провел я с полчаса или более, лежал на диване, раскинувшись на спине и поя, слезы понемногу катились из глаз. Я думаю, что можно бы пользоваться квартирою А. Ф. для разговоров с В. П. — А. Ф. пришел, пошли туда, на новую. Когда там сидели, я спрашивал, будет ли он записывать, он говорит — нет, я думаю: хорошо. С ним вместе пошли. Когда шли мимо Олимпа, я зашел к нему и сердечное получил удовольствие, видя его и говоря с ним: добрый и хороший человек, и я к нему чувствую расположение. Посидел до 9; после пошедши, пошел к хозяину; он принял весьма хорошо и сказал, что это будет в 3—4 дня. — Хоть бы в две недели, хорошо бы! Завтра буду утром за бумагой, после в университет, после стану проверять лекции и выставлять цитаты, после обеда — у В. П. Жаль, что я не успел его видеть ныне. Думаю отдать Срезневскому написанные тетради, 14 листов, где южные славяне и чехи. Остается еще более половины.

Сколько могу заметить, в этот месяц я нисколько не переменялся ни в своих мнениях, — только разве стал немного холоднее к Срезневскому и перестал чувствовать враждебное расположение к Терсинским и почти не стал скучать ими, хотя чувствую, что это [не]хорошо так жить, — ни в положении; узнал в это время только Лилиэнфельда.

До свидания, милая тетрадь, теперь за другую. Дай бог, чтобы мне было можно более приятного и более хороших поступков, более радостного о Вас. Петр. написать в следующую тетрадь — дай бог. 20 минут 12-го, ложусь,



1 сентября, 11 час. вечера. — В 10<sup>1/2</sup> пошел за бумагой и в университет, в 5 хотел быть у хозяина, после к В. П., завтра подать прошение. Бумаги купил, у молебна не молился и не думал молиться, а говорил, а если не говорил, то так себе ничего. Стоял там вместе с Лыткиным и Славинским. Лыткин встретил как обыкновенно, даже, может быть, радушнее; за молебном узнал сына Сидонского, который идет по филологическому отделению и из 3-й гимназии. Проходя в церковь, на площадке, через нее у окна увидел Касторского и поклонился ему; после молебна он подошел, подал руку и сказал несколько слов. Это меня обрадовало: значит, он думает обо мне хорошо, как я и предполагал. Когда читали список и до меня дошли, сердце несколько дрогнуло, как бы я не совсем был уверен, что не оставлен. Наши переведены все, и Пшеленский и Соколов, а в I курсе оставлен Грефе. Что все переведены, это меня порадовало. Когда услышал, что Благосветлов исключается, [так] как не был два года и не явился на экзамен, несколько подействовало на голову; решился ныне же сказать ему. Когда сходил вниз, внизу встретил Куторгу, который довольно много поговорил со мною, как бы обрадовался, увидя меня, и это меня развеселило.

Пришедши домой, застаю Серапиона. — Как я счастлив: не нужно теперь идти. Он принес три первые части Гизо «Цивилизации во Франции». Когда он уходил, я, провожая его, сказал, что брат исключен. В обед пришел Ал. Фед., здесь обедал, после просидел до 7 час., играли несколько в карты, я несколько с охотою; пришел Ив. Вас.; Ал. Ф. позвал почитать газеты, — хорошо, я пошел, прочитал 24—28 августа, где есть о Луи Блане, что он в Лондоне, и протест журналистов — молодцы; а «Débats» и проч., которые не участвовали, нехорошо, если не по глубокому убеждению, но я склонен назвать их подлецами. В 6 час. был В. П., просидел с полчаса и играл за меня в карты. Он пришел с папиросами, и я в нем ничего не заметил особенного; сказал об Адлере — он схватился за «Кто виноват», а не о месте через него подумал. У А. Ф. увидел те номера «Débats», которые последние были у меня, — это, верно, он только [что] получил их от Савина или как зовут этого господина, который их брал, и есть надежда, что снова будет брать, между тем как раньше я решительно думал, что он перестанет. О «Мертвых душах», о которых говорил вчера мне, что надо взять, теперь позабыл, между тем как я несколько беспокоился, — что если узнает, что теперь их нет у меня. Однако, я думаю, знает.

Шел когда домой, встретил Олимпа, которому сказал о Репинском, о котором он просил узнать, что поступил; он говорит: «Сечь бы, остался в правоведении, а теперь переходит, а отец ничего; а как я вышел, он и ругался, и отцу писал». Олимп говорил горячо, и это на меня подействовало не знаю как сказать: во-первых,

как глубоко человек чувствует оскорбления! — Что ему сделал, говоря так, как говорил, Репинский? Чрезвычайно мало, и только раз посудил о нем, как теперь он судит сам о его сыне, а Олимп высказал, что не может вспомнить об этом хладнокровно и хорошо это помнить. — Ледрю Роллен, читал в газетах, говорил так хорошо, что даже «Débats» говорят, что должно все позабыть. — В 9 час. домой, хозяина не будет дома до завтра. В университете был, чтобы узнать расписание, а не для того, чтобы быть на молебне. Дописал чехов до обеда, а после прочитал 10 страниц.

2 сентября. — Ночью ходил за обычною гадостью, но ничего не успел. В университете был — лекций много, скверно; у Грефе на второй был, читает совершенно как Фрейтаг, меня уморила эта детскость их, господ классических филологов. Грефе совершенный ребенок по понятиям своим, и мне совестно было смотреть на человека этого, которому 75 лет. На Софокла не остался и уговаривал других не оставаться, некоторые не послушались; я не буду бывать, как и на педагогических лекциях у него. У Никитенки буду бывать. Куторга читал о характере главных европейских народов, — основные мысли из Гизо, но распространение свое и много, кажется, не так; мне показалось, что это Корелкин, только в другом виде. Начатие лекций не произвело никакого впечатления, как будто они и не прекращались. Говорил я как обыкновенно, кричал, но разговор ни о чем не вязался между лекциями. В третью лекцию, когда был у Грефе Софокл, читал у Эрша<sup>43</sup> Hebert, Herault de Sechelles, и мне показалось, что я террорист и последователь красной республики. Я несколько поопасался за себя. После читал Hebraische Sprache, говорит: ни одна книга не раньше Давида. Что же, я говорю, разве откровение должно распространяться в букве, а не духе? Несколько родилось желание приняться за еврейский и библию.

Когда пришел домой, они не обедали. Это хотя порадовало мое самолюбие, но попросил Любиньку впредь не дожидаться и, кажется, не с такою нежностью и признательностью, как должно. После обеда был у Ив. Вас.; оттуда я пошел на полчаса к В. П., где Над. Ег. заставила пить чай. Он снова сказал: «что ж, если не хочет». Он думает так, она иначе — и угадывает. Пришел домой, говорили с Ив. Григ. о разных житейских отношениях, как-то о взятках и т. п., что необходимость брать, единодушно и весьма довольны друг другом. В. П. сказал, что выражение у Ал. Фед. иногда бывает нелепое; в самом деле, я сам это заметил по лицу его в полуоборот ко мне третьего дня, что действительно читаю недалеко от него на нем, — да, дурака часто можно узнать по этому. Просмотрел еще 8 страниц, писать не хочется, делать дело тоже. 11 час., ложусь.

3 сентября. — Снова не подал прошения и вижу, как худо сделал, что не подал раньше — теперь некогда. В университете объявление на 25 р. — не знаю, что, и мне ли, — никакого впечатления. У Фрейтага два раза срезался: во-первых, пересчитывая цезарей,

смешался, перемешал Калигулу и Клавдия и сказал in Florentia. Когда я стал говорить, он сказал: «Carissime Tschernyshevskii! Saepius eram offensus voce tua obscura\*», постарайся сказать яснее». Carissime — значит не сердится. Он показал и Грефе меня. Устрялов понравился, как раньше, но необыкновенного впечатления не сделал. У него видел В. П., ничего не говорил особенного. Куторга ничего, немного лучше, чем раньше. Пришел домой — Любинька ждала обедать; я просил не ждать впредь; она говорит: «нет, ничего». Это хорошо на меня действовало. Ходил в лавки по Садовой за Светонием, которого раскупили в магазинах — дорог, но видел Гете — 10 р. сер. и Шиллера — 8 р. сер., это меня задело: так дешево! — Пришел Ал. Ф., просидел до 8½ и сказал, что привез газеты; «Мертвые души», чего я боялся, не спросил. Любинька говорила, когда еще его не было (за обедом): «отчего В. П. не пьет чай и уходит, как слышит стук или т. п.?» Это меня порадовало. Весь день ничего, более хорошо, чем дурно. Пересмотреть еще до 32-й стр. завтра не успею, хотя хотел раньше так. Куторге также не успел сказать, что хотелось бы быть у него на педагогических занятиях. В университете отличался циническими разговорами. Ал. Фед. сказал, что я должен был отсоветовать В. П. жениться, Любинька сказала, что это нельзя. Итак, А. Ф. не удержался и начал говорить, и сказал, что у него нет такого близкого человека, как я к В. П.

4 сентября, 5 час. — Проснулся в 6 часов. (Да, вчера ночью ходил снова, где Марья, наша прислуга, и клал свой... подле.) Стал тотчас читать лекции Срезневского, не успел однако. Фрейтаг показался ужасным педантом. Куторга говорил все старое. На третью лекцию пошел в почтамт, после читал в библиотеке несколько, пересматривал каталог французский, чтобы посмотреть сочинения Proudhon, L. Blanc, P. Leroux, Ledru Rollin, Guizot. Срезневский говорил против наших беллетристов и критиков: «Этот вздор, — говорит, — высоко ценят, ученый труд — ничего». Это меня несколько встревожило; он однако увлек и показался одним из лучших, кого я слышал. Он сказал между прочим: «Напр., хоть в «Отеч. записках» писал критики человек<sup>44</sup>, который кроме новейшей литературы ничего не знал, да и вообще у нас пишут критику, сами ничего не зная, хоть, напр., чтобы писать на сочинение по политической экономии, должно же знать ее». Неужели это так, и критик, беллетрист тоже не имеет чрезвычайного влияния и чрезвычайных заслуг? И это не пристрастный взгляд? — Программа его обширнее и лучше, чем я ожидал. Воронин сказал мимоходом, что они живут еще на даче, — это меня с этой стороны совершенно успокоило. Из университета я шел не в хорошем расположении духа, теперь еще хуже, отчего — сам не знаю: поводов никаких нет, напротив, мне прислали 10 руб. сер., Любиньке велели отдать 15 р. сер. Из этих 10 р. сер. 5 ныне же

\* Милейший Чернышевский, меня часто раздражал твой невнятный голол.

отдать должно В. П-чу. Фрейтаг уморил бы, если бы не было скучно и совестно, своим детским педантизмом и своею глупостью, надутостью или как это назвать.

10<sup>1/2</sup>. — Весь вечер до 8-ми ничего не делал, кроме того, что прочитал повесть в «Отеч. записках» 1839 г. «Прошрое» Корфа<sup>45</sup>, которая понравилась; хотя несколько заметил пошлого, но мало, и хорошего больше. После пошел к Вас. Петр. отдать 5 р. сер. и взять «Мертвые души» и сказать о «Современнике», что он у За-лемана готов. Просидел час, говорили об университете; для Над. Ег. было скучно. После пошел домой: поговорили несколько о зверинце, где был Иван Гр.; после читал в «Отеч. записках» 1839 г. «Лев»<sup>46</sup>, — довольно хорошо.

5 сентября, 11 часов. — Ходил к обер-полицмейстеру, подавал прошение, но был пожар и поэтому не принял. После заходил оттуда к Ол. Як., которого встретил и прошелся. Ждал В. П., читал более «Отеч. записки», несколько страниц «Мертвых душ», большую часть дня провел, как проводил раньше, в так называемом бездействии, но все-таки написал две страницы новых лекций — образ жизни балтийских славян и дочитал прежнее. Вечером был А. Ф., принес «Débats» 22 июля — 27 августа, а после, когда он ушел, [я] несколько читал их и теперь буду читать. Почти ни о чем не тосковал. Завтра подам просьбу и отдам Срезневскому тетради. Прудонову речь в ответ донесению Финансового Комитета (Тьеру) начал читать — какой необыкновенный жар! В самом деле (хотя это никакого особого впечатления не сделало еще на меня), не решительно ли [я] революционист, что не осуждаю с первого раза его и сужу о нем, что он высоко стоит и будет стоять в истории? — Ждал В. П., он не был; я о нем мало думал.

6 сентября. — Вчера вечером и этот день утром читал донесение Следственной Комиссии Национальному Собранию<sup>47</sup>, и странное дело — в сущности нет ничего странного: оно нисколько не переменило моего прежнего мнения о Луи Блане и о партии, которая теперь стала снова господствовать во Франции. Там приведены отрывки из речей Луи Блана в Люксембурге<sup>48</sup>, которые не были напечатаны в «Монитере»<sup>49</sup>, они провозглашают, что это говорить есть великое преступление и что они в ужасе от этого, а мне кажется это самыми обыкновенными теперь речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и у другого умного человека — что народ выше Собрания, — следовательно, имеет право повелевать им и т. д. Действительно, эти люди пристрастны, как партия, а мне кажется, я сужу, как история, как судил Гизо прежние времена. Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих идей, но эти идеи велики и в них благо человечества и грядущее его. Луи Блана я уважаю, как и раньше! Что за сила, что за последовательность мысли и слова в этом человеке! И как он одушевлен своим убеждением! И как он убежден! И как он предан своим идеям и

верит в их могущество и право и святость, и в то, что победят они и победят сами собою, как всегда правда и право должны торжествовать, потому что ничто не устоит против них, и что по этому-то самому они не нуждаются в насилии, в интригах!

После пошел к обер-полицмейстеру, подал; в библиотеку нашу; туда пришел В. П., мы вышли к XI аудитории, где никого не было, и сидели. Я стал говорить о событиях, которые читал, о следствии этом. Пришли Залеман и другие; он просил меня зайти к Залеману за «Современником», за которым, говорил, зайдет сам, между тем не зашел, хотя я «Современник» взял. Срезневскому отдал написанное. Он кажется не ожидал и предлагал мне все книги, которые нужны для этих или настоящих лекций, и свои тетради, как материалы для их составления; я об этом завтра скажу. После все читал «Современник», т.-е. IX №, «Тома Джонса», — не то, что «Мертвые души»! только факты, правда, а не слова, в словах нет необходимости, это вообще болтовня, а в «Мертвых душах» не то! здесь и слова, и дела! Все лежал на диване, читал несколько «Débats», теперь снова ложусь читать. Ровно 11 часов. День был веселый довольно, приятный, т.-е. расположение духа вообще хорошо, ни о чем не думал, как почти все эти дни. Разумеется, как всегда, главный предмет В. П., но *implicite*, а *explicite* \* нет мыслей и не теснит сердце.

7 сентября. — Утром читал, как и остальной день, «Débats». В университете шумел много, особенно с Корелкиным, которому читал сильные речи. У Никитенки на педагогической лекции был один наш курс, — я получил надежду выйти через него, — он сказал: «Кто же, господа, имеет готовую мысль, чтобы писать?» — Я хотел сказать, что буду писать разбор «Княжны Мери», но Главинский предупредил, и я остался так. Идя дорогою, вздумал, что всего много, лучше взять один характер, и выбрал Грушницкого, что верно и буду писать, если не буду писать об отношении поэзии к действительности<sup>50</sup> — тему, которую предложил Никитенко. Я теперь думаю о себе, что сделаюсь деятельнейшим участником этих бесед и могу через это выиграть — 1) мнение Никитенки и Плетнева, 2) и дальнейший ход.

Пришел домой. Пришел в 4 часа Вас. Петр., посидел около часа, все порываясь идти домой; тут он несколько проговорился и сказал, что «ведь вы будете читать» и «я буду в тягость», и я увидел, что он не ходит и не сидит не потому, что не хотел бы оставить одну Над. Ег., а потому, что думает, что неприятно его присутствие и, во-вторых, может, мешает мне. Он говорит: «Она довольно сносна; и хорошо, что не походит нисколько на отца, этого препошлого человека: сына хотел лишить места, потому что им ничего не присылает; я ему сказал, через мать, что если он это сделает, я не позволю ему войти к себе». Я сказал, что у нее много проницательности (и разумел под этим то, что она заставляет пить чай, между тем как он думает, что я не пью потому, что не хочу

\* Внутренне, а внешне.

или что не нравится). — Он говорит: «Да, есть пронизательность». — Я стал говорить — в это время мы стояли, облокотясь на комод — он к двери боком, задом к двору, я задом к улице: «Да, вы нехорошо делаете, что говорите такие вещи, что, напр., поступить на место за Троицким мостом помешало вам [то], что вы женаты, — от этого недалеко мысль, что «следовательно, я ему помеха», и это может быть причиной большого горя». Он говорит: «Это ничего, она об этом не думает, точно так же, как и о том, что я не пишу родным; напр., не читала еще письма, хотя я оставил его на виду». Я стал говорить, что из того, что она не показывает вида, что это ее огорчает, нельзя выводить, что не огорчается, и привел в пример Любиньку, что многое не говорится Ив. Гр-чу, о чем она говорит мне, напр., происшествия во время похорон дочери и пр. в этом тоне. Не знаю, согласился ли он со мною; во всяком случае, ничего не сказал: или не хотел спорить, или согласился, — первое скорее.

Пришел Ал. Ф. и вел себя относительно В. П. не так, как должно, — напр., начнет разговор и снова уйдет к Ив. Гр. После, когда В. П. ушел, он посидел и пошли вместе к Ол. Як., у которого он велел мне просить 50 руб. сер. для него; следовательно, думаю я, он не понимает настоящих денежных моих отношений с В. П., не думает, как я опасался несколько ранее, что что я могу достать, то, конечно, достану не для него и, пожалуй, если выразиться романтически, не для себя, а для В. П., как и ни пронизателен он и пр. и догадлив вместе, это правда. После читал «Débats», теперь следует читать 26, речи Ледрю Роллена, Луи Блана и Коссидьера. 11 час. Ничего не писал Срезневского.

8 сентября. — Вчера до 3 час. читал объяснения Ледрю Роллена, Луи Блана и, пропустивши Коссидьерово, — конец заседания. Ледрю Роллен сказал превосходно, не хуже, а, может быть, лучше какого-нибудь Верньо, которого, однако, я знаю только по отрывкам у Беккера. Что за высота, на которую он возвел прение! Он не оправдывался, а разил своих противников, он обвинитель, а не обвиняемый, и не совсем-то ловко должно было быть Комиссии, когда он так говорил. Он говорил собственно не о себе, а об общих началах, и о Луи Блане и Коссидьере: «Нет, вы не должны отдавать их под суд!» — Превосходно, так что я начал, наконец, читать вслух. После также хорошо стал говорить Луи Блан. В первой части своей речи, когда он говорит об общем направлении дела и оправдывает свое участие, он также велик, может быть, еще выше Ледрю Роллена по красноречию и увлекательности; во второй, когда он объясняет свое поведение в мае, он удивителен, хотя здесь интерес не такой общий. По моему мнению, он совершенно уничтожил, точно так же, как и Ледрю Роллен, все обвинения, на него возводимые, совершенно уничтожил, так что я даже дивился, как у него достало, как и [у] Ледрю Роллена, средства и силы так оправдаться. Я всегда считал их невинными перед историей, теперь вижу, что они невинны должны быть и перед судом

полиции, если только судить будет она беспристрастно. Великие люди! Поведение Следственной Комиссии недостойно — она, как справедливо доказывал Ледрю Роллен, переступила границы, ей назначенные для исследования, рылась там, где не должна была, и не искала того, что должна была искать, и все-таки ничего не нашла, что бы не возвышало этих людей. Она, как доказал Луи Блан, отыскивала клеветы, принимала свидетельства, не заслуживающие никакой веры, даже сама дополняла их своими догадками и оставила в своем докладе в стороне все, благоприятствующее Луи Блану. Они вели себя (г. Одилон Барро и пр.), как люди, ослепленные политическою ненавистью, и вели себя неблагородно и нечестно. Одним словом, эти защищения были так основательны, что странно, как могли решиться обвинять: ведь знали, что имеют дело с людьми, которые тверды духом и чисты совестью и сильны словом. Да, они (Луи Блан) имели право сказать: «Я убежден, что ни один честный человек не может не быть убежден, что я невинен». После — какая недостойная сцена, эти требования генерального прокурора и Кавеньяка! Какое пристрастие, и этот Кавеньяк явился мне, судя по своим речам, глупым, хотя, может быть, и честным человеком, который выучил несколько фраз и переминает их и который думает, что глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол! Эх, господа, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас, — не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины — трупами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором <sup>9</sup>/<sub>10</sub> народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. И какое подлое лицемерство! «Мы не требуем приговора над ними», вы не суд. *Vous ne préjugez rien!*\* — Что за низость, — играют словами и накидывают маску! Если когда я был убежден в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!

А это сильное разочарование видеть, что так преследуют этих людей те, которые ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 г., когда казнили все всех, и что

---

\* Вы не предпринимаете ничего!

настали времена новые и лучшие, где уважают убеждение в противнике, где не думают, что законопреступно все высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую, т.-е. новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории, мысль. «На эшафот! На эшафот! туда его — он говорит, что он сын божий! по закону нашему должен есть умереть!» Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дай победу истине! Да победит она.

11 час. утра с  $1\frac{1}{2}$ . — Это я писал, написавши письмо Дм. Ем. о Соломке. Утром читал «Венецианского купца» Шекспира — ничего особого не вижу. Правда, вижу, что есть большая сила таланта и что действительно говорит так, что видно, что человек, заставляющий говорить, весьма умен, но особенного ничего.

10 час. 40 мин. — После того, как написал предыдущее, стал писать Срезневского, написал  $1\frac{1}{2}$  страницы; после пошел обедать; после пошел в канцелярию справиться, — записали в книгу, узнаю, должно быть, после. — Воротился домой через Невский, смотрел картины и женщин: ни одной лучше Над. Ег. Сердце, когда я шел оттуда и думал о том, что будет у них, несколько сжималось как-то. Пришел домой, лег читать газеты, которые прочитал до чаю; особенного ничего не вычитал. В 7 — к Вас. Петр., как обещал. Просидел там до  $9\frac{1}{2}$ ; говорили о литературе и привидениях и пр. Она несколько говорила о привидениях, и разговор был хороший; говорили об Ал. Ф. и Ив. Вас., смеялись, как обыкновенно, над ними; говорили о Куторге, Никитенке, Устрялове, о которых имеем привычку говорить. Ныне и в прошлый раз я успел отказаться от чаю, между тем как раньше она заставляла. Мне как раньше понравилась она. Не знаю, однако, что это: когда я ее не вижу, а думаю о ней, то несколько мне боязно, не покажется ли она мне хуже, чем как бы мне хотелось, когда я ее увижу. Нет, не хуже. Ныне я любовался через стол (я сидел у дивана на стуле, она в углу) на ее шейку, которая была открыта, — грациозна. Завтра он хотел зайти.

9 сент. — Теперь пишу у Грefe на лекции. Буду писать об отношениях своих к людям. Самое главное место в сердечном отношении занимают Лободовские. В отношении к нему мое мнение остается попрежнему: я все так же его уважаю, так что не ставлю никого наравне с ним из тех, кого знаю, не исключая даже и самого себя. Но, к сожалению, должен я сказать, что в последнюю неделю, или даже две, мы не были с ним так часто и так коротко вместе, как бывали раньше, и поэтому я не так может быть много им занимаюсь, как раньше, и нового о нем долго не узнаю ничего. О ней мнение мое снова прежнее; ореол красоты и телесной и душевной, я сам не знаю хорошенько, окружает ее в моих глазах или нет, одно я могу сказать верно, — что когда я жду, что увижусь с нею, мое сердце находится в волнении, подобном тому, как



[если б], напр., я должен был увидаться с Лермонтовым или Гоголем. Большая часть этого волнения, кажется, происходит оттого, что я трепещу за то, не открою ли я в ней что-нибудь разочаровывающее; после много происходит и от самолюбия, которое всегда говорит нам, когда мы должны увидаться и говорить с людьми, мнением которых мы очень дорожим: «как-то ты покажешься ему? как-то он будет судить о тебе? не опозлишься ли ты в его глазах?» А, наконец, бог знает, нет ли чего-нибудь и вроде той привязанности, которую, бог знает, как назвать — любовь, или дружба, или просто высокое уважение — последнее имя, кажется, будет лучше всего. Признаюсь, я мало думаю теперь об их положении, так, как будто не знаю его хорошо; это, конечно, оттого, что теперь у меня нет определенных планов и средств помочь ему, но также и от того, что бог знает какого-то забвения, к которому я очень способен. Относительно его я думаю, что как Ал. Воронин скажет мне, что у них возобновятся уроки, я скажу ему: «А вот что: если б можно было, я бы хотел лучше, чтобы вместо меня пригласили одного человека, который, смею вас уверить, в миллион раз лучше меня». Не знаю хорошенько, много ли меня огорчит, если Воронин не согласится, но, конечно, будет для меня весьма приятно, если он согласится.

Относительно Терсинских я потерял почти всю враждебность против них и не готов схватиться и меня не занимают различные планы и расположения битвы с ними. О том, что я должен им, я мало думаю, потому что думаю, что они считают полученными как бы от меня деньги, которые получили из дому, однако, сколько всего получено, я хорошенько не знаю. О нем мнение как бы сродно с мнением моим о Курторге: бог знает, пошлый отчасти, отчасти нет, человек; главным образом пошлость выражается в манерности; человек очень неглупый, что касается под глаза падающих житейских истин, т.-е. не только своекорыстных, но и вообще. Например, «отчего так раньше уважали архиереев?» — как-то стали мы говорить: оттого, что в самом деле за 50 лет он, говорит, был один ученый человек в епархии, все остальное были провинциалы, между которыми семинаристы были самым просвещенным классом.

Отношения с другими не переменялись несколько; новых людей узнал только Лилиэнфельда, которого видел только раз.

Вчера В. П. говорил о переписке Розена с Шевыревым, которая выписана отчасти в сентябрьской книжке «Современника»<sup>51</sup>, назвал их детьми, как и я постоянно называю подобных людей и называл при нем Грефе. Это несколько поддало мне мысль, что он не всегда считает мои суждения о людях неправильными. Когда мы с ним говорим, много места занимают разговоры об Ал. Фед. и Ив. Вас. и часто о Корелкине, о котором постоянно говорю в ироническом духе. Не знаю, как это назвать: это не сплетни, мне кажется, а род разбора человека и вывода фактов о том, что такое пошлый и ограниченный человек.

Я намерен сказать В. П. снова, что если он будет так редко и мало бывать у меня, то я сойду от Терсинских. Но я боюсь постоянно говорить ему это, потому что, бог знает, может быть, он не бывает и не потому, что считает это неприятным или тяжелым для себя и думает, что присутствие его не совсем приятно для Терсинских, но потому же, почему не бывает у Залеманов, у которых, напр., обещался быть вчера и не был утром: он мне сказал: «Как это тяжело быть обязанным, — теперь вам говорят: «Будьте у нас», и вы должны идти». Может быть, то же и относительно меня.

«А если он, напр., ответит: «сойдите», спросят меня: ведь вы предполагаете его принудить бросить церемонии и бывать у Терсинских, — будет ли это вам приятно? верно озадачит?» — Я ничего не могу сказать, ни да, ни нет, — не произведет ровно никакого впечатления, кажется, а просто заставит сделать, потому что нельзя не сделать.

Вообще как-то странно я устроен: иное производит впечатление, а другое никакого и вообще просто увлекает меня, как дерево: плаваю и только, и ничего не чувствую, ровно ничего. Напр., хоть то, что я решился не писать Срезневскому на медаль: как будто ровно ничего не бывало, не пишу и не могу писать, да и только. После лекции объявляю слова Срезневского, что если кто хочет составлять лекции, может брать материалы у него, и скажу: «Кто будет брать?» и воспользуюсь этим, чтобы объяснить гг. товарищам, что я знаю их мнение обо мне и Корелкине и решился прекратить сношения с Срезневским, потому что они думают серьезно, что это подло, но что, по-моему, они совершенно ошибаются.

Вот таким образом я осуществляю мысль, которая давно была у меня: пользоваться лекциями Грефе и Фрейтага для этого дневника, и во всяком случае нынешний раз дело было так удобно, как нельзя лучше. Мысль [эта] постоянно была за две недели до начала лекций. Так как остается 7 минут до конца, то кончаю — Грефе начинает переводить.

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. — Пришел из университета, стал обедать; после обеда лег, потому что спина несколько устала, как и прежние дни, и читал «Débats» до 1 августа. В 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов пришел Ал. Фед. и просидел до 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Мне было не досадно, что он отнимает время, хотя особенной занимательности не было; мы говорили о людях, их сердце и проч. в его духе. После я писал несколько Срезневского и дописал до религии (т.-е. написал страницу) балтийских славян. — Вот сколько дней проходит без дела. В. П. не был, хотя обещался быть; завтра, если не будет в университете, схожу к нему. Студентам не сказал про отношения к Срезневскому, потому что не помнилось хорошо, и не пришлось видеть Фурсова, — он назначен учителем истории в Псков: свинья попечитель не согласился позволить остаться ему здесь жить у Зубова. Теперь ложусь читать.

10 [сентября]. — Теперь снова сижу у Фрейтага и пишу. Мне вздумалось ничего не говорить у него, потому что я не люблю его, сам не знаю хорошенько за что, и потому что, если отвечать, то должно отвечать на все по-моему, а как не могу на все, то должно уж ни на что.

Пришел из университета, читал «Débats»; после был разговор около 1½ часа с Ив. Гр., который я вел спокойнее, чем раньше, о наказаниях и необходимости их в обществе. Я говорил, напротив, что наказания ничто, главное — должно возбудить нравственное чувство и общественное мнение. После к В. П., где просидел с 8 до 9½, говорили занимательно, как всегда. Он высказал, что хотел бы более всего заниматься нашей историей, но много должно средств, что Терещенко дурак, но содержания много, и сам Кавелин не без странных взглядов на историческую жизнь. — После, когда шел сюда, вздумал писать Курторге о Прудоне, на которого он взвел противное тому следствию, которое он хотел произвести своим предложением. Это письмо положу на стол завтра. — Конечно, не положу, останется в кармане.

11 сент., 11 час. вечера. — Если когда, то ныне я ничего не делал в университете, ничего хорошего, только много хохотал и смеялся. Перед лекциею Срезневского сказал, стоя у кафедры с Галлером, Залеманом, Корелкиным, что Срезневский сказал, что если кто хочет составлять записки, может брать у него материалы. Залеман сказал тотчас и довольно резко, что этого не должно делать, потому что это он хочет узнать, кто составляет. Я совершенно согласен, что не должно. — Пришел домой, читал «Débats». Ныне обедали без меня. В 6 час. или раньше пришел Ив. Вас., посидел до 8½, говорил ужасно скучно и утомительно. Я проводил его в намерении зайти к В. П., хоть это должно было быть в 9 час., потому что он не был ныне у меня, когда обещался; но их не застал дома, т.-е. в окнах не было света. Решительно так прошел весь день; о В. П. несколько думал и с некоторой тоской, особенно тоской ума.

12 сент., 11 час. вечера. — Утром все читал «Débats». Получив повестку из квартала по делу, пошел на часть с намерением после зайти к В. П. В части Федот Матв. сказал, что это должно быть из квартала. Я пошел к В. П., хотя думал, что, может быть, он заставит просидеть до Залемана, и это попрепятствует быть в квартале. Пришел совсем не во-время: стряпня была в полном разгаре. Н. Е. была не одета, почему и не выходила; я тотчас ушел, и он не удерживал. Оттуда в квартал, где высокий чиновник с завязанным глазом принял меня весьма хорошо. Бумага пришла и требует, из какого я состояния, между тем как должно требовать, какого я происхождения. Во всяком случае, я так думаю, и вероятно, когда они ответят, а они сказали, что иначе отвечать не могут, как на этот вопрос, то те снова пришлют к ним и выйдет проволочка, и я должен буду заплатить деньги.

К Федоту Матв. вечером не пошел, а сказал это Ив. Гр., который был у них; он говорит тоже.

Весь день читал все «Débats». Странно, как я стал человеком крайней партии; мне кажутся глуповаты и странны и смешны, но главное — жалки и пагубны для страны все эти мнения и речи господ приверженцев большинства в настоящем Собрании. Прочитал все, которые напечатаны там, *dépositions*\* и решительно увидел, что нельзя требовать отдачи под суд гг. Коссидьера и Луи Блана<sup>52</sup>. Но вместе с этим я убедился, кажется, что — хоть в слабейшей, чем у нас, степени — и там тоже преследование за мнения, которые сами собою подразумеваются, — напр., что [народ] выше представителей и т. д., что поэтому народ может сменить свое Собрание, если оно делает не то. Конечно, это принцип, который сам собою разумеется, как же вы боитесь его высказать, когда сами в него верите? Должно бояться не принципа, а ложных приложений, а ложные приложения делаются возможны и успешны только тогда, когда не освещен вопрос. Одно дело возмущение и распушение Национального Собрания буйною, пьяною толпою; другое дело, когда страна видит, что нет ей спасения от этих людей и она должна переменить их. — Господа, господа! все вы пусты и робки и так глупы и тупы, что думаете, что будет иметь какое-нибудь другое следствие, кроме обнаружения вашей мелкости и робости, то, что вы преследуете за то, чего нельзя не думать.

Кроме того, какое пренебрежение к низшему классу! Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берет верх, но и то хорошо, что она берет верх, как хищница, а не — как раньше — по закону: конечно, хищение легче разрушить, чем закон. И вот печатают в обвинение Луи Блана бумаги демократического общества, в которых ровно ничего нет, решительно ничего, и эти бумаги схвачены у правителя! И, кроме того, тут говорится как о деле естественном, отчего производился обыск у министра Флокона во время его отсутствия из дома! О, господа! вот как уже далеко [зашли] вы! *allez, allez toujours*\*\*.

Когда я лежал после обеда на диване в зале и читал, Терсинские играли в карты и шутили. Ив. Гр. весьма мило пошутил: «свинья ты, свинья!» весьма мило; мне показалось и жаль, и смешно: жаль потому, что я не мог предположить, чтобы, если не теперь, то после, это не огорчил сестру; смешно потому, что это было сказано с таким добрым и невинным намерением пошутить, а с ее стороны было отвечено на это милыми тож вопросами: «ах, друг, кого это ты так называешь?» или: «как ты меня обижаешь», и т. п., — и оба стали смеяться и целоваться, — прелесть! В. П. истинно великий человек. Велик по сердцу, может быть, еще более, чем по уму, — это по случаю того, что я застал его в полном разгаре приготовления кушанья.

\* Показания.

\*\* Идите же, идите.

11-го [сентября], 12 час. — Пошел в 10 час., чтобы зайти к Ю. Ик. и занести Каткову посылку, которую так долго задерживал у себя. Ол. Як-ча встретил на дороге и, идя, шутил с ним довольно резко, как и он со мною. Занес к Каткову, его не было, и я сидел сторожу. Оттуда в Казанский, где достоял обедню, после осмотра иконы, между прочим, Марии Магдалины, которую называли вранчицею Ив. Гр., в том приделе, который дальше от входа; напротив, мне не понравилась. Особенного ничего не чувствовал и, идя, хотя шел и думал, что с усердием помолюсь. Когда смотрел у Юнкера, несколько пошевеливала мужской член какая-то женщина; да, спит или полуспит брюнетка. Должно сказать, что я все время сравниваю всех — и картины, и живых — с Над. Ег.

В университет пришел В. П., я сказал ему, — что он не придет? — Гипорит: «Она скучает». — «Верно, говорю, не то». — «Ну, так и могу наскучить и буду тяжел». — Воронин сказал: «Приходите вечером». — «С удовольствием», сказал я. (В. П. обещал прийти после обеда.) Я, конечно, почти наверное знал, что [Воронин] затем, чтобы предложить уроки. В. П. пришел, посидел час, мы смеялись над всеми, особенно профессорами, много над Фроловым и Грефе; и Куторга и Никитенко не ушли. Любимке и Ю. Гр. и думаю, было неприятно. Пошли; он проводил меня до Мещинской. Дорогою сначала говорили о вздоре, после этого он стал говорить, как ему надоедает и вчера вечером особенно надоела мать, — а она все дает им. «Чорт знает, я трус, — сказал он, переходя Семеновский мост, — да, трус: вчера мчалась бешеная тройка, только поставить бы ногу и тотчас же в одну минуту был бы мертв и без шума; и думал, но просто струсил, а между тем тут то и можно было не струснуть, потому что времени сообразить не было — одна минута». Все это не сделало на меня особенного впечатления на сердце, которое не билось, а на голову, которая, однако, прыгает, тоже не была сильно взволнована, а находилась как бы в сонном состоянии.

Пришел к Воронину, он сказал — «пожалуйста туда». Я сказал: «Вы верно хотите сказать мне, чтоб я снова давал уроки братцам? нет, мне было бы приятнее, если бы вместо меня давал их один молодой человек, которого вы видели у Устрялова на лекции». — «Да отчего же вы не хотите?» — «Напротив, я буду с удовольствием, если вы не согласны, чтоб давал он, но мне было бы приятнее, если бы стал давать он, а не я». — «Кто он?» — «Кончил курс в Харьковском университете, а теперь слушает некоторые лекции здесь. Это было бы мне весьма приятно». — Он пошел к гувернеру и минут пять там побыл. Гувернер, кажется, сначала не согласился. Когда я говорил и после, когда дожидался, я был совершенно спокоен и сердце нисколько не билось, и нисколько не сконфузился, как это обыкновенно бывает, когда дело идет о предметах, по моему мнению, вообще справедливых, и когда он был у гувернера, сердце тоже было совершенно спокойно, хотя довольно с любопытством ожидал, что будет, и почти уверился,

что не согласится губернёр, и это было мне неприятно. Он ворвался. — «Так пусть он пожалует сюда завтра». — «Когда?» — «В два часа». — Я хотел уйти, поблагодаривши, но он оставил пить чай. Я был совершенно хладнокровен, совершенно, как только могу быть, и ни радости, ничего не было, решительно как бы этого не случилось, а я только думаю об этом, и то еще думаю, не разгорячаясь мыслью. Я несколько раз сказал раньше Воронину, что это мне весьма приятно. Когда он подходил к своей комнате, я перекрестился, кажется, так, по «авось, это так и следует перекреститься», чем по непоколебимому убеждению. Раньше я думал, что если должен буду давать теперь сам Ворониным уроки, то это я уже могу взять себе. Ныне, идя из университета, решил, что нет. Оттуда к В. П., хотя должен был придти туда в 9 часов. Они пили чай и мне не удалось взглянуть хорошенько на Над. Ег.

Я всего более, идя к нему, да и раньше, думая об этом, затруднялся, как В. П. примет это, и что не захочет. Сидел совершенно хладнокровно. Над. Ег., кажется, мой приход был неприятен. «Вы проводите меня?» сказал я (если б не хотел, мог бы у ворот); он сказал: «Пойдемте», — верно потому, что уж ждал чего-нибудь в том роде, как я ему должен был сказать. Вышли. Я без всякого замешательства сказал: «Воронин предлагает мне снова давать уроки, но как я не могу, то сказал — скажу вам, и вы пожалуйста туда в два часа». Он не показал внешним образом никакого удивления, как бы это совершенно так. Я продолжал: «Он спросил, кто же это? — я сказал: тот молодой человек, которого вы видели со мною у Устрялова, он кончил курс в Харьковском университете». — «Зачем вы это сказали? Просто сказали бы, что был в Харьковском университете» (не годилось мне так сказать, может быть, это расстроило бы дело). Он проводил меня до моста, после я его до квартиры; говорили о том, где Воронина дом, о том, чему учить: алгебра и геометрия его пугают. Я говорю: «Вздор; если хотите, будем приготавливаться вместе». Он против последнего ничего, против первого говорил, но ничего, согласился, что ничего, но сказал: «А вы?» Я сказал весьма спокойно и обыкновенным своим, несколько ироническим, тоном: «Я не мог, что же, нужно мне было сказать о Корелкине, а не о вас? Если вы не согласитесь, конечно, я скажу о Корелкине». — «Нет, в таком случае, конечно, раньше Корелкина уж буду я».

Таким образом, чего мы боимся, того не бывает: я боялся препятствий от него, их не было. Его должно быть хорошо настроили прежние мои, не без намерения говоренные слова о том, что я думаю, не бросить ли уроки у Ворониных, потому что слишком много времени тратится, о том, что едва ли мы не разойдемся, потому что я, кажется, нехорошо себя у них поставил. Когда он был у нас, сказал, что Залеман слишком хорошо обо мне отзывается: «Это, говорит, человек необыкновенно скромный, он знает более всех наших профессоров, но не хочет этого показать». — Вот уж в чем не виноват!

Когда я шел от него, расположение духа было совершенно как бы ничего не было, решительно пустое расположение духа, даже и не пелось и не думалось хорошенько об этом поступке, никакого довольства и радости на сердце, хотя в уме есть несколько, но и то слабо. Дорогою своротил два лещадных камня с крыльчиков у лавки, выходящей на улицу по линии у казарм и по проспекту. Пришел домой ничего, читал и несколько спал, потому что ноги устали страшно и несколько ломило и теперь несколько ломит под коленями, т.-е. верхнюю часть икры.

Итак, решительно ничего, как бы ничего не было; довольство в уме есть некоторое, в сердце никакого. Купил Фукидида — 90 коп. сер., 10 коп. сер. сургуч и 10 за повестку.

14 сентября, 10 ч. 40 м. — Весь день решительно ничего не делал, только почитал несколько Гизо. Утром писал письмо, где ничего; после несколько читал Гизо; в 1<sup>1/2</sup> пошел в канцелярию обер-полицмейстера, там узнал, что должен раньше справиться во второй части, куда перешла бумага. Когда пришел, был уже Ал. Фед., который обедал и просидел до 6 часов, говорили о всем. — Он сказал, когда говорил, чтобы мне быть завтра у него. «Мне некогда», сказал я, когда тоже жаловался, что я мало сижу у него. «Я знаю, да меня не то огорчает, а то, что вы у других просиживаете по 5 часов, [а] когда у меня, дорожите каждой минутой». Взял «Débats», обещая взять новых.

Когда он ушел, я пошел тотчас к В. П., который был утром здесь, когда шел к Ворониным (при уходе его я перекрестил его вслед). Он сказал, что просили завтра, потому что отца не было дома. День ныне был веселее других, — может быть, оттого, что услужил или во всяком случае хотел услужить Вас. Петр. Однако, как и всегда, находил, что поступаю глупо: во-первых, не следовало так говорить Ал. Степановичу, как я сказал: «Это мне доставит весьма большое удовольствие». — Но тогда, может быть, он и не согласился бы уговаривать гувернера, который, кажется, был против этого. Во-вторых, следовало сделать не так, а когда сказал Воронин, чтобы я пришел, сказать Вас. Петр.: «Я не могу; если вы хотите, я скажу про вас, если нет — про Корелкина». Но ведь я хорошо не знал, что именно затем, чтобы возобновить уроки, говорил он.

В Над. Ег. мне показалось ныне разительное сходство с сестрою, Александрою Ег.; это если смотреть прямо и немного сверху, т.-е. когда она нагнет голову. Не знаю, я начинаю думать и несколько бояться при этом, не соглашусь ли я вполне с Вас. Петр. в мнении о ней, наконец. Ведь, напр., он гораздо лучше меня определил Воронина, сказавши, что это ужасный человек, как он назвал старшего Залемана, и вообще он лучше замечает и его более мучают пошлость и глупость других, чем меня. Он, кажется, понимает, что я лгу, что сам не могу у Ворониных давать уроки. Над. Егоровне я скучен, это видно, — и это мало огорчает меня, хотя, конечно, неприятно, — она зевает, да и вообще как-то видно.

Ложусь читать «Современник», который принес Вас. Петр.

Да, ругал себя вчера и ныне, как это не отдал до сих пор 3 руб. сер. Василию Петровичу: взял с собою, да снова позабыл.

15 сентября. — Читал вчера и третьего дня «Современник» сентябрьскую книжку. «Том Джонс» хорош; Петушков<sup>53</sup> навел на чрезвычайно грустные мнения о прогрессе и о достоинстве нового нашего поколения в литературе, особенно если сравнивать с выписками из Москвы Загоскина<sup>54</sup> — последние можно читать без неудовольствия, между тем как первый и еще Чумбуров (в Смеси)<sup>55</sup> есть жалчайшая пародия на «Мертвые души», до того гадкая и отвратительная, что нет мочи, внушает омерзение.

Утром сходил в почтамт, купил бумаги две дести на 70 коп. сер., которая гладка. В университете лекция Никитенки понравилась довольно, Фишерова тоже. Сказали, чтоб я сказал Срезневскому, чтоб он не читал так скоро и оставил бы свое намерение спрашивать нас переводить. Я совершенно согласен и даже хочу в пятницу или субботу сказать, чтоб поддержали меня, когда я буду говорить и за первый курс, чтоб он бросил там спрашивать лекции. Воротился, принес письмо из Аткарска с 10 р. сер.<sup>56</sup> Любиньке, которые, думал раньше, присланы мне.

Читал Беккера о религиозной стороне царствования Людовика XIV, Порт Рояле и проч. довольно с большим интересом, как раньше читывал. После пришел Ал. Фед., ушел к нему, взял газеты 28 августа — 9 сентября, теперь просмотрел несколько и решительно против Кавеньяка: как это *suspendre* \* «*Constitutionnel*»!<sup>57</sup> — Выписанное в «*Débats*» решение его издателей мне чрезвычайно понравилось: «Мы будем продолжать, но сделали свои распоряжения, чтобы если запретят, то мы кончим выдавать и не станем издавать под новым названием, а пригласим всех взять следующие им еще по расчету подписные деньги».

В. П. не был, я ходил к нему, на дороге вспомнил, что должно быть в театре, как вчера сказал, но все-таки дошел и увидел, что в самом деле нет дома. Так как все читал, то некогда волноваться; это все-таки весьма, весьма занимательно, как подумаю. — 10 час. 30 мин., ложусь.

16 сентября. — Утром ходил раньше в квартал, — там еще не отослана бумага; нехорошо, верно не успею получить свидетельство, должно попросить снова хозяина. В университете у Грефе не мог писать здесь, потому что не было чернил. Куторги не было, и я пошел домой в час; после до 4½ читал «*Débats*» и сильно, кажется, увлекся Р. Легоух в № 31 авг. После был у В. П., где просидел до 8¼, 3 с лишком часа, собственно для того, чтоб узнать, что с Ворониным, он говорил, что не видел, потому что в первый раз, раньше 6 часов, когда он должен был быть, они обедали, как ему сказали; во второй раз он ушел гулять и просил оставить адрес. — Это нехорошо, по-моему. Он мне ныне ничего не сказал, следова-

\* Временно приостановить.



тельно, думаю, что примет В. П. или не хочет принять и меня, — но не деликатно, и меня раздосадовало. Завтра объяснюсь.

Мне кажется, что я согласился теперь с В. П. о Над. Ег., во всяком случае как-то ореола нет, но все-таки нет, она не то, что Любинька или, еще хуже, дочь нашего домовладельца. Говорила о театре, в котором она вчера была со своими хозяевами, он через них хочет в театр. Когда она ушла к своим, он сказал, что она только ныне помирилась с ним, а то была в ссоре, как было несколько дней с того дня, как она при мне читала книгу. Я сказал, что в самом деле я тогда что-то заметил, что могло ее оскорбить, но что теперь я не могу вспомнить, что именно. Он сказал, что у меня есть проницательность, чего он раньше не думал, но что я часто ошибаюсь в том, чем другой может оскорбиться. Я отдал 3 руб. сер., он ничего не сказал — хорошо, — ни слова решительно. После читал «Débats».

17 сентября. — Утром читал «Débats», в 10½ пошел поздравить Над. Ег. с ангелом. У угла казарм, когда перейдешь железную дорогу, встретил В. П., он шел со своей хозяйкою. — «Ее, — говорит он, — нет дома, верно уж теперь в церкви, ушла к матери, чтоб взять Алекс. Ег.». — «Пойдем, зайдем в церковь». — «Хорошо», сказал он. Пошли, но ее там не было. — «Пойдемте к ним», т.-е. к ее родным, сказал он. Я сказал было несколько слов, но вспомнил, что мне нельзя говорить против этого, да и не было противоречия в душе, поэтому пошел. Когда входили, встретили их, т.-е. Над. Ег. и Ал. Ег., на лестнице. Я сказал: «честь имею...», она сказала просто, непринужденно: «покорно вас благодарю», и мы пошли проводить их до канала (они шли в церковь), сами пошли по каналу в университет.

Я пропустил Фрейтага, как давно думал, чтоб поздравить вовремя: У Устрялова Воронин, который взошел в аудиторию вместе с Устряловым, не подходил к нам. Куторги не было, поэтому мы не виделись, и это было мне несколько странно, что так долго не объясняется это дело. Воронин, по моему понятию, не вправе отказать мне в этом, потому что я даром занимался с ним славянскими наречиями и вообще всегда показывал себя готовым помочь ему, напр., и в латыни. Пошли к Залеману, после я проводил Вас. Петр. к углу парада; после в 3 часа пришел домой; после обеда все читал, когда пришли хозяева и после Ал. Фед. Бумага моя отослана, и хозяин дал номер. Мне прислано 60 руб. сер. — это головою мне приятно, — я думаю, что на одежду. Конечно, вместо того должно Вас. Петр., но должно будет дать и Терсинским? Это меня несколько занимает, что я им не плачу до этого времени, но весьма мало, и даже почти не конфузит перед ними.

Когда мы шли в университет, идя по каналу, В. П. спросил, обидчив ли я. Я ответил, что весьма в том, что считаю обидою. Когда шли по бульвару, он стал говорить, что Над. Ег. его рассердила тем, что невнимательно отвечала мне (между тем как он эту внимательность ко мне ставит, кажется, весьма высоко). Я от-

вечал, что она сказала совершенно так, что это именно так и должно делать, а это внимание по большей части бывает нелепо, и глупо, и приторно, и он превратно в этом случае понимает вещи и не должен бы позволять ей провожать меня за двери, и проч. — Он не согласился, что мне неприятно; или он в это не верит — истинности моих слов, или чего, но только нехорошо, что я служу поводом к неудовольствию на Над. Ег. Сейчас пришла мысль, что после этого должно мне избегать видаться с нею.

18 числа сентября, у Фрейтага на лекции. — О внутренней жизни. Главная часть принадлежит Вас. Петр., а через него много думаю и о ней. После следуют мысли о человечестве, о религии, социализме и пр., особенно о Франции. Россию уважаю весьма мало и даже почти не думаю о ней.

(Сейчас Фрейтаг спросил, кто будет переводить; никого не было желающих; мне, как всегда, было несколько совестно, что я не начинаю, но я не стал, и начал Лыткин.)

Теперь постараюсь сказать несколько о моих политических мнениях.

Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление и что, конечно, это последняя форма государства. Это мнение взято у французов; но к этому присоединяется мое прежнее, старинное, коренное мнение, что нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низших классов, как господство одного класса над другим; ненависть по принципу (большинство должно всегда преобладать, и меньшинство должно существовать для большинства, а не большинство для меньшинства) к аристократии всякого рода, к сущности этого рода правления, а не форме и господству его — теперь мое коренное убеждение, которое подтверждено еще более, может быть, красноречивыми словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным; между тем, у кого есть состояние, и у кого нет; между тем, у кого развит ум, и у кого не развит? Нет, если вы допустили борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станет рабом. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимает свое назначение, — что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должна делать от души, по убеждению, и должна, конечно, знать, что ее роль временная, что назначение ее двоякое: во-первых, для того, чтобы в настоящем покровительствовать, быть предводительницею низшего класса, т.-е. не в том смысле, чтобы пренебрегать другими, а в том, что всем должно оказывать равное решительно покровительство, но в нем нуждается более всего, несравненно более всех, низший класс и относительно налогов и судов, и отношений жизни,

и общественных, т.-е. чтобы уважали их как можно более, не менее других сословий и не называли *sieur*, между тем как других называют *monsieur*, что меня также несколько бесит, и относительно всего, одним словом. Во-вторых, ее обязанность состоит в том, чтобы всеми силами приготавливать и содействовать будущему равенству — не формальному, а действительному равенству — этого сословия с другими высшими классами, равенству и по развитию, и по средствам жить, и по всему, — так, чтобы поднять это сословие до высших сословий. Вот обязанности и настоящее назначение неограниченного правительства, и поэтому и я теперь приверженец этого образа правления в той форме, как я его понимаю; но, к сожалению, редко и немногие понимают это назначение и то, кажется, только по инстинкту, и эта идея еще не вошла в число общеизвестных, хоть не общепонимаемых истин. Так действовал, например, Петр Великий, по моему мнению. Но эта власть должна понимать, что она временная, что она средство, а не цель, и благородно и велико будет ее достоинство и значение в истории, если она поймет это и будет стремиться к развитию человечества, хотя это должно привести ее к уничтожению; поняв, [что] она для человечества, а не человечество для нее, и что, противясь вечному ходу вещей, действительно можно, может быть, затруднить его, но может быть, нельзя даже и замедлить: беременная женщина не может не родить, но можно облегчить и затруднить ее роды, и то, что должно пасть с развитием человечества, то падет, только падет, сопровождаемое благословением человечества, если само сознается, что время пасть, и само передаст своему переросшему его воспитаннику имение, или падет с кровью и проклятием, которые заставят позабывать и о заслугах его, если захочет пережить свое время. Конечно, долго еще, мне кажется, жить должно безусловной монархии, потому что не в один век пересоздать общественные отношения и общественные понятия и привычки, и ввести равенство на земле, и ввести рай на земле<sup>58</sup>.

Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно, но мне кажется, что противники этих господ несколько в сущности их не понимают и обезображивают и клеветают на них, как я убедился. Это бывает и всегда, когда мы осуждаем человека за его мнение, мы осуждаем потому, что человек не может высказать в одно время, а если бы и мог высказать, то не мог бы обнять сам в одно время свои мысли во всех составляющих ее элементах и отношениях и выставляет только главный элемент ее, а главный элемент обыкновенно кажется, да и бывает тот, который новый, и между тем как мысль его уважает все принципы прежние, но только прибавляет к ним новый, — часто и он сам, увлеченный противоречием ей господ староверов, забывает о других элементах, кроме собственно ему принадлежащего и собственно им выставленного, а другие еще чаще забывают об этом и хватают его мысль в совершенной ее одно-

сторонности, которая собственно никогда ей не принадлежит в действительности, а только в воображении этих господ, и пугаются ею сами, и пугают ею других.

10 час. вечера. — После лекций, чего я несколько и ждал, пошел ко мне Воронин и сказал, чего я не ожидал: «Папенька, когда я ему сказал, что вы говорили, велел мне узнать, угодно ли вам давать уроки, или нет». — «А если не угодно?» — «Я ничего не знаю». — «В таком случае стану я». — Пошел в почтамт и там узнал, что мне 10 руб. сер., а 50 Терсинским. Очень мало впечатления это сделало, хотя я глупо и не ожидал этого. Пошел в 6¼ к Ворониным, как условился, переговорить, и когда шел, придумал новую причину, — что думаю, что В. П. принесет более пользы. Там увидел, что если я откажусь, на это будет отвечено так: «О, не хочешь, — как хочешь, мы найдем и без тебя и не по твоей рекомендации», что место будет потеряно для Вас. Петр., что еще яснее, если можно, увидел из слов гувернера, который, когда мы говорили, вошел и сказал: «Скажите, что мы не хотели бы, чтобы он давал уроки из милости, а может, так может, а не может, так не может». Это меня даже не взбесило, а я просто отвечал, но не таким презрительным тоном, как следовало: «Я и сам это весьма хорошо знаю, и объяснять мне это нет нужды». После, когда шел оттуда, несколько было неудовольствия сердцем на себя, но мало: зачем так говорил, что мне это приятно? просто должен был сказать, что не могу, и кончено, а тогда, может быть, и спросили бы мнения моего о заместителе, это бы лучше всего; всегда я делаю глупо. — Папенька услышал о ссоре с профессорами и пишет, — это [сделало] мало впечатления, но хорошо то, что напомнило, что должно смотреть на то, как всякое столкновение взволнует их, а то я мало стал об этом думать и готов был на многое.

19 [сентября]. — Утром и весь день тосковал и ругал себя за глупое поведение, которое оставило без места В. П., так что давно не чувствовал такой тоски, она даже мешала несколько писать. Ходил к обер-полицмейстеру — там никого не застал. Вечером был Алекс. Фед., принес [«Débats»] 10—12 сентября. С 4 часов я говорил с Любинькою до 6, потому что, кажется, ей было скучно, а главное — завязался разговор, так совестно было отстать. После Ал. Ф. сидел до 9. После читал газеты и едва было не лег спать, не записавши сюда ничего. Начал перечитывать «Мери» для разбора характера Грушницкого и прочитал 4 листа. Списал польские гимны и только.

20 сентября. — Утром читал «Débats», которые дочитал, и «Мери»; после пошел в университет. У Устрялова не было Вас. Петр.; я решился отдать деньги ему и поэтому разменял, чтобы за вычетом 3 руб. сер. Ал. Фед-чу 7 руб. сер. отдать ему. Когда его не будет, должно будет идти к нему. Срезневский читал с большим жаром и резкостью, и мне понравилась его живость и одушевление. Залеман сказал, что придет поговорить что-то об его лекциях, чтоб я ему объяснил; поэтому, когда я

пошел к Вас. Петр., имел намерение тотчас воротиться. Над. Ег. дома не застал. Он писал что-то или переводил из Гете, мне не показал и не сказал, что. Я ему помешал, и поэтому он меня, кажется, не удерживал сильно. Ив. Вас. пришел вчера к нему и принес от себя же письмо, в котором просит достать «Обыкновенную историю»: славная манера и весьма остро. — Теперь я жду Залемана. На похороны не пойду, вероятно, хотя, может быть, и буду об этом жалеть.

В. П-чу сказал только, что Воронин сказал, что отцу хотелось непременно, чтоб был учитель из университета. Он при этом не выказал никакого удивления, потому что этого ждал, и сказал: «Вы порекомендуйте Тушева». Я сказал: «Да, конечно, он, к счастью, теперь приехал». Он не думал, что я его обманывал. Жаль, очень жаль, что я тогда не решился порисковать решительно и не сказал решительно, что я не могу учить у них. Тогда Воронин верно спросил бы моего совета, кого пригласить; тогда можно было сделать ни себе, ни ему, но зато — если не ему, то уж и не себе, не быть пустым человеком в своих глазах.

Корелкин после лекции долго стоял с Срезневским; о чем говорил, я еще не знаю. Думаю, должно серьезно заняться сначала сочинением Никитенке, после лекциями для Срезневского, после словарем Нестора и летописей.

21 [сентября]. — Утром писал письма, между прочим папеньке по-латыни, что ничего не было между мною и профессорами. Понес с намерением после быть у Никитенки, после пойти в канцелярию обер-полицмейстера, где должно было быть, сказали мне, в 2 часа. Дошел в почтамт, увидел, что потерял двугривенный, и у меня денег не оставалось, по отдаче 3 руб. сер. Ал. Фед., на 90 коп. лист, и я решил воротиться домой, взять деньги и от обер-полицмейстера [идти] к Вольфу. Так и сделал. Бумага отправлена в инспекторский департамент военного министерства, по глупости чиновников. Я не дожидаясь справки и ушел, как увидел это, когда раскрывали книгу для того, чтоб справиться для другого. У Вольфа просидел более часу; «Отеч. записки», которые попались, почти не читал; во Франции Кавеньяк принужден, говорят, сблизиться с демократами или падет — хорошо; Сенар выйдет, и вместо него будет Марра или даже Флокон, — и это хорошо, и выбрали Распайля, — и это хорошо. После обеда читал Гизо; пришел Вас. Петр. и сели играть в преферанс. После Н. П. Корелкин, который рассказывал о похоронах И. Я. Соколова, на которые я не пошел, между тем как другие почти все были. Вас. Петр. посидел 2½ часа; после я пошел проводить Н. П. и зайти к Олимпу попросить, нет ли кого в канцелярии обер-полицмейстера, чтоб повели дело как должно.

Деньги, верно, должен буду заплатить. Весь день ничего не писал. — 11 час. с половиной.

Да, вчера ведь, после того, как я писал, пришел Залеман

и просидел до 9<sup>1/2</sup>, 2<sup>1/2</sup> часа, и тут я убедился, что глупые действительно глупы, т.-е. не понимают вещей, как должно. Он чрезвычайно смешно подмечал непоследовательности у Срезневского, между тем как ничего не бывало, и весьма хорошо сказал, что если есть что у Куторги хорошего, то это его система (где он ее видел, бог знает), и тон, которым говорит, чрезвычайно уморителен. — Читаю я Гизо первый том и теперь ложусь читать 7 лекцию, о германском элементе; мне хотелось прочесть предыдущие лекции Ив. Гр., и я читал некоторые отрывки об управлении церкви и споре о бестелесности души.

22 [сентября]. — Утром был у Олимпа; не сказал, однако, ему, а хотел раньше узнать номер, теперь, думаю, не нужно; скажу завтра утром, чтоб не показывать, что был у него только за этим. В университете ничего особенного. После пошел в 6<sup>1/2</sup> к Вас. Петр., у которого до 9. После читал Гизо и говорил с Ив. Гр. У них играли в карты, говорили мало и без большой важности. День спокойный, хотя не совершенно, потому что несколько досадно, что должно будет вместо Вас. Петр. отдать деньги в университет.

23 сентября, у Грефе на лекции. — Заходил к Олимпу, но не застал его — родилось подозрение не... \* ли у него была. Так как оставалось еще <sup>3</sup>/<sub>4</sub> часа, то зашел к Вольфу; там читал, только ничего не понял почти о событиях берлинских и франкфуртских, потому что не знал предыдущего: что это за Frebel, какое возмущение было во Франкфурте<sup>59</sup>, почему теперь было. Во Франции Распайль, выбранный в представители, удержан в Венсенской тюрьме. Мне кажется, что должно было бы, после того как он выбран, Собранию велеть его выпустить, и после уже генерал-прокурору требовать autorisation des poursuites\*\* против него, и тогда Собрание разрешило бы или нет. Из Journal de St.-Petersbourg<sup>60</sup> узнал, что Распайль выбран 66 тысячами, Кабе и другой кто-то 64 тысячами, и из этого видно, что социалисты организованы и подают голоса на одних кандидатов, действуют единодушно, как действовали монтаньяры; там сказано, что часть народа la plus éclairée, qui demandait ou à qui était promis droit du travail \*\*\* их выбрала, — итак, весь лучший класс, кроме буржуазии, социалисты, — хорошо. И по выборам ясно, что не они выбирали Луи Наполеона, а собственно чернь, которая ничего не знает, кроме пустых имен.

Сейчас Грефе спросил — что значит *бога* \*\*\*\* в 52-й главе Фукидида; я сказал, когда другой сказал, что это *profana* \*\*\*\*\*; он отвечал: *hoc non minus absurdum est*\*\*\*\*\*, и некоторые засмеялись добродушно, посмотрев на меня; не знаю, так ли я сказал;

\* Слово неразборчиво.

\*\* Разрешения возбудить преследование.

\*\*\* Наиболее просвещенная, которая требовала или которой было обещано право на труд.

\*\*\*\* Божественное, священное.

\*\*\*\*\* Неосвященный, мирской.

\*\*\*\*\* Это не менее нелепо.

кажется, что и в самом деле ошибся, однако, это никакого впечатления на меня не произвело.

Когда шел от Вольфа, догнал на дороге Маркова и Райковского; говорили довольно с радушием со мною, а Райковский сказал, что одно дурно между моими добродетелями, что я позволял попечителю. В университете Воронин сказал, чтобы я был у них в 6 часов завтра. Ныне я жду к себе Раева и — едва ли, однако, придет — В. П. Дома писал и написал  $\frac{3}{2}$  страницы Срезневского — о Радогасте и Святовиде. Снова писал с охотою.

Переводит теперь Орлов и как нерешительно, так и с остановками, то Грефе иногда говорит очень громко. У Тушева не было книги, и я подал ему свой листик.

Читаю я последние дни только Гизо, и иногда мне начинает казаться, что, может быть, некоторые мысли и не решительно вполне опираются на фактах, а иногда и а priori образованы, и после этого множество фактов, в которых выражаются эти идеи, подмечены, а другие, в которых выражаются не эти идеи, пропущены Гизо. Но это мнение мое весьма слабо и почти не имеет никакого основания по моему мнению.

Ныне утром, когда я лежал еще, вздумалось мне, по какой кафедре держать на магистра? Может быть, кроме славянского и истории, я буду колебаться между философиею и русской словесностью, — эти последние, особенно философия, пришли мне ныне с давнего времени в первый раз на мысль.

Когда я разменивал 10 руб. сер. в лавочке (на Гороховой где-то), стояла у прилавка и покупала кофе какая-то девушка около 15—17 лет, маленького роста, с толстым лицом, кожа вся в подкожных крупинках, поэтому мне показалось, что она, должно быть, не из хорошего дома. Когда мне сдали, я оставил было, как обыкновенно в рассеянности, двугривенный. Она без всякой ложной интонации подала мне его, сказавши: «Вы позабыли». Я сказал: «Покорно благодарю». Это доказывает, что в каждом человеке, напр., и в ней, гораздо более хорошего и честного, чем сам человек думает и чем другой видит в нем.

К нынешней лекции я приготовился и наверно каждый раз буду готовиться.

Теперь у меня нет денег, а между тем одежда начинает изнашиваться, а главное — грозит ненастье, а у меня одни сапоги, и к тем нет калош, и мне как-то не то что страшно, а немного неприятно думать о том, что скоро понадобится все это, а я не думаю, чтоб мне скоро сделать это все, тем более, что мне хотелось бы все, что можно, передавать Вас. Петр., и теперь я несколько понимаю, что должны чувствовать бедные при приближении зимы, и т. п.

Как чернильницы кругом не было, то я попросил Лыткина поставить свою чернильницу назад, и это писано из нее.

В. П., бывши у нас третьего дня, сказал мне, что я грубиян, за то, что я называю Терсинского отсталым в глаза. В самом деле, ему кажется, что это может быть оскорбительно. Я на это

не согласен, но сам давно вижу, что вообще слишком резок в своих выражениях и легко могу оскорбить того, с кем говорю, если не уважаю его, а уважаю я немногих, а если безразличен к нему, то легко могу оскорбить.

Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня, у которого утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч. записок» (я вычитал его в статьях о Державине<sup>61</sup>), что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового, общечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими, имели бы общечеловеческое достоинство. Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия.

Я думаю, что нахожу в себе некоторые новые начала, которые не нахожу ясно и развито и сознательно выраженными в теперешней науке и теперешнем взгляде на мир и которые теперь, конечно, весьма неясны, или не то, что не ясны, а главное — которые еще не получили твердости, общеприменимости, которые в своих приложениях еще не тверды, а часто управляются минутною прочитанною мыслью и новым узанным фактом. Должен сказать, что такое мнение о себе утвердилось во мне с того времени, как я почел себя изобретателем машины для производства вечного непрерывного движения, и только несколько переменилось в объеме (тогда я считал себя одним из величайших орудий бога для сотворения блага человечеству, а теперь нужды нет, я не заспору, хоть был бы равен Гизо или Гегелю или чему-нибудь подобному) и в предмете.

Да, о машине: я не могу сказать, чтобы я убедился, что это невозможно; мне, напротив, кажется противное, но только как недостает средств начать исследования на деле, то я и сижу и молчу, и поэтому мои мысли затеснены в глубь души, на мои ежедневные чувствования и действия не производят никакого влияния. Может быть, они действуют зато вообще, на все направление мое в целости, но и этого я не могу сказать по фактам, а только а priori предполагать. Но если б я получил 20 000 руб. сер., я тотчас принялся бы за пробы: мне кажется во всяком случае так, и решительно увлекся бы.

Итак, должно сказать, что я довольно твердо считаю себя человеком не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена,



которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь. И если я хочу думать о себе честно, то, конечно, я не придаю себе бог знает какого величия, но просто считаю себя одним из таких людей, как, напр., Грим, Гизо и проч. или Гумбольдты; но если спросить мое самолюбие, то я может отвечу себе: бог знает, может быть, из меня и выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона, или Коперника, одним словом, человека, который придает решительно новое направление, которое никогда не погибнет; который один откроет столько, что нужны сотни талантов или гениев, чтоб идеи, выраженные этим великим человеком, переложить на все, к чему могут быть они приложены, в котором выражается цивилизация нескольких предшествующих веков, как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключение, которое задаст работы целым векам, составит начало нового направления человечества.

Однако, должно сказать, что меня эти мысли теперь мало волнуют, потому что жизнь моя поглощена или ничтожностью, или *praeoccupata est* \* мыслью и заботами житейскими, главным образом, заботами о Вас. Петр., и вообще у меня теперь довольно давно уже нет ничего лихорадочного в этих мыслях, чтоб заставляло меня действовать неумоимо, так, чтобы горела голова и глаза, и я пожирал все, что попадает в мои руки, чтобы переварить это и извлечь из этого новое; напротив, по этому отношению моя жизнь течет в болоте, и даже мелкие планы и надежды, напр., сблизиться с Никитенкою или попасть в журнал, или написать словарь к летописям, по крайней мере, к самым главным, и т. п., более меня занимают и по времени и по интенсивности.

Но если я спрошу свои сомнения, которым, я не знаю, более или менее верю, чем своим надеждам, то я предполагаю, что все это вздор, что ведь так думают о себе все почти люди; но мне кажется, что те думают об этом так, что сами эти думы ручаются за пустоту их, т.-е. думают глупым образом, а что, напротив, я думаю об этом не как тупая голова, а как фантазер, которого фантазии доказывают его ум. Эти сомнения теперь (т.-е., по крайней мере, с нового года) также не мучают меня, даже почти нельзя сказать, чтоб делали мне сильное неудовольствие; конечно, лучше быть хорошим человеком, чем дурным, т.-е. ничего не стоящим для человечества и даром живущим на свете, но, однако, все равно почти, потому что я в сущности теперь о всем мало думаю, а поэтому и думы мои не интенсивны.

11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. — Когда пришел из университета, читал, пока пришел Славинский, которого я звал. Принес три номера «СПБ ведомостей» <sup>62</sup> и мы говорили более о политике; взял первый том «Цивилизации во Франции», принес «Революцию в Англии», I том. — Я понял, что в самом деле одни люди умнее других, напр., он Залемана и Ал. Фед. — Вас. Петр. не был; Ал. Ф. пришел и принес

---

\* Занята.

1848  
 1849  
 1850  
 1851  
 1852  
 1853  
 1854  
 1855  
 1856  
 1857  
 1858  
 1859  
 1860  
 1861  
 1862  
 1863  
 1864  
 1865  
 1866  
 1867  
 1868  
 1869  
 1870  
 1871  
 1872  
 1873  
 1874  
 1875  
 1876  
 1877  
 1878  
 1879  
 1880  
 1881  
 1882  
 1883  
 1884  
 1885  
 1886  
 1887  
 1888  
 1889  
 1890  
 1891  
 1892  
 1893  
 1894  
 1895  
 1896  
 1897  
 1898  
 1899  
 1900  
 1901  
 1902  
 1903  
 1904  
 1905  
 1906  
 1907  
 1908  
 1909  
 1910  
 1911  
 1912  
 1913  
 1914  
 1915  
 1916  
 1917  
 1918  
 1919  
 1920  
 1921  
 1922  
 1923  
 1924  
 1925  
 1926  
 1927  
 1928  
 1929  
 1930  
 1931  
 1932  
 1933  
 1934  
 1935  
 1936  
 1937  
 1938  
 1939  
 1940  
 1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945  
 1946  
 1947  
 1948  
 1949  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364  
 2365  
 2366  
 2367  
 2368  
 2369  
 2370  
 2371  
 2372  
 2373  
 2374  
 2375  
 2376  
 2377  
 2378  
 2379  
 2380  
 2381  
 2382  
 2383  
 2384  
 2385  
 2386  
 2387  
 2388  
 2389  
 2390  
 2391  
 2392  
 2393  
 2394  
 2395  
 2396  
 2397  
 2398  
 2399  
 2400  
 2401  
 2402  
 2403  
 2404  
 2405  
 2406  
 2407  
 2408  
 2409  
 2410  
 2411  
 2412  
 2413  
 2414  
 2415  
 2416  
 2417  
 2418  
 2419  
 2420  
 2421  
 2422  
 2423  
 2424  
 2425  
 2426  
 2427  
 2428  
 2429  
 2430  
 2431  
 2432  
 2433  
 2434  
 2435  
 2436  
 2437  
 2438  
 2439  
 2440  
 2441  
 2442  
 2443  
 2444  
 2445  
 2446  
 2447  
 2448  
 2449  
 2450  
 2451  
 2452  
 2453  
 2454  
 2455  
 2456  
 2457  
 2458  
 2459  
 2460  
 2461  
 2462  
 2463  
 2464  
 2465  
 2466  
 2467  
 2468  
 2469  
 2470  
 2471  
 2472  
 2473  
 2474  
 2475  
 2476  
 2477  
 2478  
 2479  
 2480  
 2481  
 2482  
 2483  
 2484  
 2485  
 2486  
 2487  
 2488  
 2489  
 2490  
 2491  
 2492  
 2493  
 2494  
 2495  
 2496  
 2497  
 2498  
 2499  
 2500  
 2501  
 2502  
 2503  
 2504  
 2505  
 2506  
 2507  
 2508  
 2509  
 2510  
 2511  
 2512  
 2513  
 2514  
 2515  
 2516  
 2517  
 2518  
 2519  
 2520  
 2521  
 2522  
 2523  
 2524  
 2525  
 2526  
 2527  
 2528  
 2529  
 2530  
 2531  
 2532  
 2533  
 2534  
 2535  
 2536  
 2537  
 2538  
 2539  
 2540  
 2541  
 2542  
 2543  
 2544  
 2545  
 2546  
 2547  
 2548  
 2549  
 2550  
 2551  
 2552  
 2553  
 2554  
 2555  
 2556  
 2557  
 2558  
 2559  
 2560  
 2561  
 2562  
 2563  
 2564  
 2565  
 2566  
 2567  
 2568  
 2569  
 2570  
 2571  
 2572  
 2573  
 2574  
 2575  
 2576  
 2577  
 2578  
 2579  
 2580  
 2581  
 2582  
 2583  
 2584  
 2585  
 2586  
 2587  
 2588  
 2589  
 2590  
 2591  
 2592  
 2593  
 2594  
 2595  
 2596  
 2597  
 2598  
 2599  
 2600  
 2601  
 2602  
 2603  
 2604  
 2605  
 2606  
 2607  
 2608  
 2609  
 2610  
 2611  
 2612  
 2613  
 2614  
 2615  
 2616  
 2617  
 2618  
 2619  
 2620  
 2621  
 2622  
 2623  
 2624  
 2625  
 2626  
 2627  
 2628  
 2629  
 2630  
 2631  
 2632  
 2633  
 2634  
 2635  
 2636  
 2637  
 2638  
 2639  
 2640  
 2641  
 2642  
 2643  
 2644  
 2645  
 2646  
 2647  
 2648  
 2649  
 2650  
 2651  
 2652  
 2653  
 2654  
 2655  
 2656  
 2657  
 2658  
 2659  
 2660  
 2661  
 2662  
 2663  
 2664  
 2665  
 2666  
 2667  
 2668  
 2669  
 2670  
 2671  
 2672  
 2673  
 2674  
 2675  
 2676  
 2677  
 2678  
 2679  
 2680  
 2681  
 2682  
 2683  
 2684  
 2685  
 2686  
 2687  
 2688  
 2689  
 2690  
 2691  
 2692  
 2693  
 2694  
 2695  
 2696  
 2697  
 2698  
 2699  
 2700  
 2701  
 2702  
 2703  
 2704  
 2705  
 2706  
 2707  
 2708  
 2709  
 2710  
 2711  
 2712  
 2713  
 2714  
 2715  
 2716  
 2717  
 2718  
 2719  
 2720  
 2721  
 2722  
 2723  
 2724  
 2725  
 2726  
 2727  
 2728  
 2729  
 2730  
 2731  
 2732  
 2733  
 2734  
 2735  
 2736  
 2737  
 2738  
 2739  
 2740  
 2741  
 2742  
 2743  
 2744  
 2745  
 2746  
 2747  
 2748  
 2749  
 2750  
 2751  
 2752  
 2753  
 2754  
 2755  
 2756  
 2757  
 2758  
 2759  
 2760  
 2761  
 2762  
 2763  
 2764  
 2765  
 2766  
 2767  
 2768  
 2769  
 2770  
 2771  
 2772  
 2773  
 2774  
 2775  
 2776  
 2777  
 2778  
 2779  
 2780  
 2781  
 2782  
 2783  
 2784  
 2785  
 2786  
 2787  
 2788  
 2789  
 2790  
 2791  
 2792  
 2793  
 2794  
 2795  
 2796  
 2797  
 2798  
 2799  
 2800  
 2801  
 2802  
 2803  
 2804  
 2805  
 2806  
 2807  
 2808  
 2809  
 2810  
 2811  
 2812  
 2813  
 2814  
 2815  
 2816  
 2817  
 2818  
 2819  
 2820  
 2821  
 2822  
 2823  
 2824  
 2825  
 2826  
 2827  
 2828  
 2829  
 2830  
 2831  
 2832  
 2833  
 2834  
 2835  
 2836  
 2837  
 2838  
 2839  
 2840  
 2841  
 2842  
 2843  
 2844  
 2845  
 2846  
 2847  
 2848  
 2849  
 2850  
 2851  
 2852  
 2853  
 2854  
 2855  
 2856  
 2857  
 2858  
 2859  
 2860  
 2861  
 2862  
 2863  
 2864  
 2865  
 2866  
 2867  
 2868  
 2869  
 2870  
 2871  
 2872  
 2873  
 2874  
 2875  
 2876  
 2877  
 2878  
 2879  
 2880  
 2881  
 2882  
 2883  
 2884  
 2885  
 2886  
 2887  
 2888  
 2889  
 2890  
 2891  
 2892  
 2893  
 2894  
 2895  
 2896  
 2897  
 2898  
 2899  
 2900  
 2901  
 2902  
 2903  
 2904  
 2905  
 2906  
 2907  
 2908  
 2909  
 2910  
 2911  
 2912  
 2913  
 2914  
 2915  
 2916  
 2917  
 2918  
 2919  
 2920  
 2921  
 2922  
 2923  
 2924  
 2925  
 2926  
 2927  
 2928  
 2929  
 2930  
 2931  
 2932  
 2933  
 2934  
 2935  
 2936  
 2937  
 2938  
 2939  
 2940  
 2941  
 2942  
 2943  
 2944  
 2945  
 2946  
 2947  
 2948  
 2949  
 2950  
 2951  
 2952  
 2953  
 2954  
 2955  
 2956  
 2957  
 2958  
 2959  
 2960  
 2961  
 2962  
 2963  
 2964  
 2965  
 2966  
 2967  
 2968  
 2969  
 2970  
 2971  
 2972  
 2973  
 2974  
 2975  
 2976  
 2977  
 2978  
 2979  
 2980  
 2981  
 2982  
 2983  
 2984  
 2985  
 2986  
 2987  
 2988  
 2989  
 2990  
 2991  
 2992  
 2993  
 2994  
 2995  
 2996  
 2997  
 2998  
 2999  
 3000  
 3001  
 3002  
 3003  
 3004  
 3005  
 3006  
 3007  
 3008  
 3009  
 3010  
 3011  
 3012  
 3013  
 3014  
 3015  
 3016  
 3017  
 3018  
 3019  
 3020  
 3021  
 3022  
 3023  
 3024  
 3025  
 3026  
 3027  
 3028  
 3029  
 3030  
 3031  
 3032  
 3033  
 3034  
 3035  
 3036  
 3037  
 3038  
 3039  
 3040  
 3041  
 3042  
 3043  
 3044  
 3045  
 3046  
 3047  
 3048  
 3049  
 3050  
 3051  
 3052  
 3053  
 3054  
 3055  
 3056  
 3057  
 3058  
 3059  
 3060  
 3061  
 3062  
 3063  
 3064  
 3065  
 3066  
 3067  
 3068  
 3069  
 3070  
 3071  
 3072  
 3073  
 3074  
 3075  
 3076  
 3077  
 3078  
 3079  
 3080  
 3081  
 3082  
 3083  
 3084  
 3085  
 3086  
 3087  
 3088  
 3089  
 3090  
 3091  
 3092  
 3093  
 3094  
 3095  
 3096  
 3097  
 3098  
 3099  
 3100  
 3101  
 3102  
 3103  
 3104  
 3105  
 3106  
 3107  
 3108  
 3109  
 3110  
 3111  
 3112  
 3113  
 3114  
 3115  
 3116  
 3117  
 3118  
 3119  
 3120  
 3121  
 3122  
 3123  
 3124  
 3125  
 3126  
 3127  
 3128  
 3129  
 3130  
 3131  
 3132  
 3133  
 3134  
 3135  
 3136  
 3137  
 3138  
 3139  
 3140  
 3141  
 3142  
 3143  
 3144  
 3145  
 3146  
 3147  
 3148  
 3149  
 3150  
 3151  
 3152  
 3153  
 3154  
 3155  
 3156  
 3157  
 3158  
 3159  
 3160  
 3161  
 3162  
 3163  
 3164  
 3165  
 3166  
 3167  
 3168  
 3169  
 3170  
 3171  
 3172  
 3173  
 3174  
 3175  
 3176  
 3177  
 3178  
 3179  
 3180  
 3181  
 3182  
 3183  
 3184  
 3185  
 3186  
 3187  
 3188  
 3189  
 3190  
 3191  
 3192  
 3193  
 3194  
 3195  
 3196  
 3197  
 3198  
 3199  
 3200  
 3201  
 3202  
 3203  
 3204  
 3205  
 3206  
 3207  
 3208  
 3209  
 3210  
 3211  
 3212  
 3213  
 3214  
 3215  
 3216  
 3217  
 3218  
 3219  
 3220

deficiunt vires; a Moena (mortis dea) in tenebras crassas noctis aeternae  
 trahitur heros, capus e vulnere sanguis multus fluens humida terra da  
 lente bibit, e viridi in purpureum colorem mutatur gramen. Moenae autem  
 per guttas & quondam robustissimi evolvans, in arbore proximaco  
 sedet paululum; tum per virgulta volitans, donec comburatur moritur  
 exspectat. In quarto carmine haec invenimus, similiter in sexto  
 mors deo describitur: Horrendas volat per auras Laeae malle  
 atque ac et Ludoxi scutum perfrengit; post scutum autem etiam  
 pectora Ludoxi contundantur; animam quoque paridam malleis

РУКОПИСЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. ЗАПИСЬ ЛЕКЦИЙ ПРОФ. ФРЕЙТАГА ПО ИСТОРИИ РИМСКОЙ  
 СЛОВЕСНОСТИ  
 Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове

газеты 13—18 сентября; теперь я их прочитал бегло, ложусь. Славинский сидел часа два. Деньги забыл отдать Ал. Ф. У Олимпа хотел быть вечером, да как-то так устроилось, что решился не идти, отчасти потому, что какая-то лень, отчасти потому, что думаю, что все равно теперь уже было бы поздно, — он уедет в Гатчину, ничего не успевши сделать.

24 сентября. — Утром принесли мне повестку из квартала; пошел туда: пришла из канцелярии бумага, и мне там сказали, чтобы я написал, кто мой отец, они удостоверят сами без всяких подписей в несостоятельности. Я когда туда шел, спросил у дворника, откуда приходил солдат — из части или квартала; он, отвечая на это, сказал, что Федот Матв. велел сказать ему, как буду в квартале, и сказал, что тогда он сам этим займется. Теперь, может быть, успею получить [свидетельство о несостоятельности] и не заплатить денег.

Славинскому отнес газеты русские, французских несколько принесу завтра.

Должен я сказать, что третьего дня вечером прочитал у Гизо, когда он говорит о законах германцев и опровергает взгляд немцев на их древнее устройство как на образец государственного устройства, прочитал мысли, которые ясным довольно образом начинались у меня тогда, когда прочитал в апреле, кажется, в «*Débats*» о Франции, что вот два месяца, как народ сам собою управляет без всякого правительства; но теперь, после Гизо, это приняло решительную ясность и вполне перешло в убеждение.

Вот история народа: сначала все свободны, но нет общества, это замечают и ищут средства выйти из этого состояния; зло само в себе носит противоядия против себя, и являются два противоядия естественным образом — [1] неравенство между лицами развивается, является аристократия, 2) является власть — так является общество. По одному тому уже, что люди живут в обществе, они развиваются под множеством влияний и столкновений, и, развившись, замечают, что власть и неравенство слишком много отнимают свободы и равенства, что общество могло бы существовать, не стоя так дорого частным *volontés* \*, — и начинается стремление, противоположное тому, которое было раньше: раньше развивались власть и неравенство, теперь стремление *diminuer* \*\* их — конечно, это цель общества, оно стремится к тому, чтобы, наконец, каждый мог делать все, что хочет, если только с этим может существовать общество; только, говорит он, позабывают, что хотя первое и последнее состояние общества сходно, несходны несколько лица, составляющие единственные *êtres réels* \*\*\*: там они делают, что хотят, и нет общества, здесь общество есть, и они до того развились, *volonté* их *reglée* \*\*\*\*, что хотя они могут делать все, — не делают

\* Волям.

\*\* Уменьшить.

\*\*\* Реальные существа.

\*\*\*\* Воля упорядочена.

ничего, что могло бы разрушить общество (т.-е. я здесь несколько изменяю в конце мысль Гизо и говорю о последнем состоянии или, может быть, утонченном состоянии общества, между тем как он говорит только о стремлении). Я так и думал, что чем больше будет развиваться, тем меньше нужно будет стеснять его, тем меньше нужно будет власти общественной для того, чтобы порядок не был нарушен, и благо целого не было вредимо частными волями.

Как удивительно мелочен, какой педант, т.-е. глупый человек, Фрейтаг: теперь переводим 10 главу Светония, и он велит слово Бибула переводить на прямую речь, как делает всегда — и как ему это не скучно!

Я хотел поступить кандидатом на педагогические лекции к Куторге и говорил об этом про себя Воронину и так, мимоходом, Лыткину; вчера выбирали новых кандидатов, и я не знал об этом ничего, и меня не выбрали; я хотел это для того, чтобы через Куторгу со временем получить что-нибудь, но это теперь мне не вышло, и я мало об этом думаю, потому что думаю (хоть думаю, что это не удастся во-время сделать, как обыкновенно все, что предполагаю), что во время, когда еще буду в университете, смогу написать и напечатать в каком-нибудь журнале историческую статью, которой бы обратил на себя внимание, и поэтому ничего не потеряю, что не буду идти обыкновенною детскою дорогою, как Ведров и Захаров. Однако, кроме этого, я думаю еще и о том, что, может быть, будет случай сблизиться с Куторгою, вроде того, как замечание о Прудоне или что-нибудь такое; кроме этого думаю о Никитенке.

Тушев ныне подошел ко мне и весьма дружелюбно, как я ему обыкновенно, так он мне, подал руку. Поэтому сомнения мои относительно того, что меня считают подлецом в университете, возбужденные переданными через Залемана Вас. Петровича словами Лыткина о моих отношениях к Срезневскому, может быть, несправедливы; однако, я остаюсь при прежнем мнении, что хоть меня не чуждаются, но, однако, все-таки считают это нехорошим. Не знаю, хорошо ли я сделал, что не пишу на медаль, — теперь шутя скажут, что мог бы и писать, и ничего бы не сказали против того, если бы я получил медаль, а если бы написал и получил, шутя бы восстали против этого и сказали бы, что это приобретено подлостями и угодливостью и тем, что Срезневский рассказал мне все, что нужно для того, чтобы писать. Корелкин, может быть, и не совершенно от души, говорит мне всегда, чтобы я писал, — нет, отчасти от души, может быть, и совершенно от души, вот что значит, что человек еще молод — все-таки не всегда смотрит на свой интерес или, по крайней мере, не всегда видит, что противно его интересу.

Ныне уходя сказал, что, может быть, не ворочусь к обеду и чтобы меня не дожидались: это с две недели как я думаю, что так как ходить домой слишком далеко, то может, когда я буду

бывать у Ворониных, время между окончанием лекций и тем, когда должен идти туда, я буду проводить у Вольфа. Не знаю, едва ли это будет исполняться в действительности, но сначала это доставляло мне удовольствие, но теперь, когда я рассудил, что решительно хорошо читать там нельзя, что «Débats» я имею от Ал. Фед., что, если я отстаю неделю, это ничего, потому что я не подвержен неудовольствию выставлять, что я не знаю, о чем говорят другие, и что в университете по политике ничего уже не говорят, — не так, как около начала марта, когда об этом говорили, что особенно поддерживалось тем моряком, который ходил к Курторге.

Что у меня вчера был Славинский — это хорошо, и мне понравилась его внимательность, и мне кажется, что прежние отношения, решительно дружелюбные, теперь восстановились, да, может быть, и не прерывались, а только мне так казалось по делу Срезневского и потому, что я вообще в университете говорю резко о профессорах, говорю несколько похабным языком, поэтому, бог знает, может быть, он и в самом деле по своему смирному характеру не имел такого интереса сближаться со мною.

Перед лекцией Фрейтага Залеману говорит Галлер о profanation, что было мною переведено вчера. После окончания лекции он ведь вчера сказал Грефе, что можно переводить profana. Я Залеману привел пример, как один, которому было сказано Грефе absurdum, вышел из аудитории и Грефе у него на другой день просил извинения.

Вечером шел из университета и думал — к Вольфу или домой идти. Пошел домой, особенно потому, что не знал еще, буду ли у Воронина: так мне гадко показалось идти в теплой шинели, которая связывает ноги и которую должно поддерживать, по дождю. Что у меня нет калош, между тем, как уже грязь, — это наполняло довольно сильным и постоянным неудовольствием меня. Пришел домой, совершенно нечаянно попались под глаза калоши старые; я примерил — о чудо! надеваются! Это меня утешило. Повестки еще нет, нет и письма. — Пошел в холодной шинели к Ворониным, к Алексею, — он не просит садиться, думая, что я на одну минуту. Я постоял несколько времени и, как самому никак не хотелось первому заговорить, то сказал: «Прощайте». — Он сказал: «Что, вы идете к ним?» — «А я этого и не знал». Сел; ныне был первый урок, только еще теперь три Константину в неделю, но я мало о том думаю, что мало; во-первых, потому что думаю, что прибавится, во-вторых, потому что теперь мало забочусь об этом. Когда шел оттуда, почувствовал у Садовой усталость, которая, по рынку идя, усилилась весьма. Пришедши домой, лег читать и уснул. Теперь 10 час. с 20 мин., я ложусь и скоро, должно быть, усну. Что возобновились уроки, не сделало почти никакого впечатления, как я это думал раньше; а сидел за уроком я — как бы вчера же был у них.

25 [сентября]. — Снова у Фрейтага на лекции. Писал Корел-  
у\*

кин — и хуже Залемана, переводит Галлер. — Я, уставши от вчерашней ходьбы, уснул так крепко тотчас как лег, что проснулся, когда было уже четверть 9-го. Тотчас пошел посмотреть, готов ли самовар, — нет. Я стал одеваться, решив, что не буду пить чаю и поем черного хлеба; пока одевался, самовар почти поспел и я думал, чтоб избежать после удивления и расстройства, почему не пил, наложить чаю, после идти, чтоб думали, что я пил; но ушел так, и только когда выходил, Марья догнала и сказала, что готово; я сказал, что некогда, и ушел. Взял 3 номера (13—15 сентября) «Débats» для Славинского и отдал ему, потому что встретился с ним на дороге.

Напишу что-нибудь о моих религиозных убеждениях. Я должен сказать, что я, в сущности, решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т.-е. как это веруют православные в то, что он был бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, вообще, во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., P. Leroux и проч., только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы, и Паскаль, и все; что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношения к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды, и что христианство только может приобрести от их усилий, хотя, может быть (я этого не могу сказать, верно ли, потому что сам не читал их, а обвинениям, что они враги христианства вообще, я не верю нисколько, как, напр., и обвинениям против Прудона и тем более Луи Блана), они и смешивают временную, устарелую форму с сущностью. Мне кажется, что главная мысль христианства есть любовь и что эта идея вечная и что теперь далеко еще не вполне поняли и развили и приложили ее в теории даже к частным наукам и вопросам, а не то, что в практике, — в практике, конечно, усовершенствование в этом, как и [во] всех отношениях, бесконечно, а через это бесконечное усовершенствование и в теории, потому что теория, совершенствуясь, совершенствует практику, и наоборот.

Что касается до другого, по моему мнению, коренного догмата христианства — помощи божьей, сверхъестественного освящения, что и составляет собственно то, что есть сверхъестественного в христианской религии (хотя, однако, и догмат любви, и «ты должен не делать другому того, чего не хочешь, чтобы он делал тебе», в котором я решительно убежден, также, по моему мнению, не мог быть провозглашен Иисусом Христом в такой ясности, в такой силе, не мог быть положен так ясно им в основание своего учения об обязанностях человека, если бы он был просто естественный че-

ловек, потому что и теперь еще, через 1850 лет, нам трудно еще понять его и особенно трудно убедиться в том, чтоб человечество могло быть устроено по этому закону, а не [по] закону хитрости и своекорыстия, и особенно трудно нам убедиться в том, что можно жить и действовать в своей частной, личной жизни по этому началу истины, правды, добра, любви, — все это показывает такую зрелость и величие и вместе такое отсутствие всякой мечтательности, от которой не может удержаться естественный человек, одаренный такими благородными убеждениями, что нельзя не видеть в человеке, который так говорит, человека неестественного); так, что касается до этого догмата благодати, освящающей человека, я решительно нисколько не отвергаю его и готов даже по теории защищать его, но сам по опыту я не убежден в этом так твердо, как в других вещах, т.-е. я говорю по внутреннему опыту, по которому знаю, напр., господство и достоинство и божественное назначение любви и ценю ближнего наравне с собою. Итак, об этом втором догмате я ничего хорошо не знаю, т.-е. ничего определенного, точного, — что это такое, как это бывает, должно ли это понимать в сверхъестественном смысле, в каком понимают его наши богословы, или это что-нибудь более обыкновенное и естественное, т.-е. не такое отчужденное от остальных явлений в жизни человека и не имеющее аналогии в других сферах человеческой внутренней деятельности, кроме этой нравственной области. И поэтому, не имея об этом никакого опыта, — по крайней мере, не имея знания о таких действиях ни во мне самом, ни в других людях, я мало об этом думаю, как это обыкновенно бывает, что что мало связано с жизнью остальною, то плохо клеится в наших мыслях и мало имеет влияния на нашу внутреннюю и внешнюю жизнь (Гете, записки о своей жизни, о причащении таинстве); но по теории я скорее убежден в этом, чем сомневаюсь, и иногда даже замечаю за собою поступки, которые объясняются только верованием в сверхъестественную помощь божества.

Когда шел домой, сделалась довольно сильная тяжесть в желудке, так что было весьма нехорошо, поэтому пришел и тотчас же должен был бежать куда следует. Любинька в эту минуту по обыкновению стала говорить шутливым тоном: «Я должна тебя выбрать», и я прервал ее довольно нехорошо, сказал: «Матушка, нельзя было, я проспал», — и ушел. Теперь несколько недоволен тем, что в самом деле мое сожительство с ними или лучше теснота квартиры мешает заниматься, так [что] проходит время. Теперь, придя домой в 1<sup>1/3</sup> (потому что Срезневского не было), я до сих пор ничего не сделал, кроме того, что прочитал три последние номера «Débats» и страниц 30 «Истории Английской революции», да написал Русвита Срезневского. В самом деле, время проходит так и этому должно как-нибудь помочь. Сходить не знаю как, огорчит и наших, и их, и как-то неловко, что мало заплатил, т.-е. ничего не заплатил, и не хочется начинать говорить об этом. — 11 часов.



26 [сентября], воскресенье. — Хотел делать дело и ничего не сделал. Хотел быть у В. П. и не был. Дела не делал утром потому, что было лень, т.-е. собственно хотелось делать не дело, а читать Гизо «Английскую революцию», это так, но глупость вместо этого дала читать путешествие Греча<sup>63</sup>, которое принес Ив. Гр., и я пробежала все до обеда; после обеда пришел Пелопидов и принес письмо от Промптова, — пишу ему верно в субботу, может быть, и после завтра; вместе спрашиваю его о том, как писать Палимпсестову. Был и Ал. Ф. Когда сидел Пелопидов, я ужинал; скука мне казалось еще более с ним, чем с Ал. Ф., и в самом деле скучал. С Ал. Ф.-чем скучал тоже. Денег отдать не успел, отдам завтра, когда отнесу газеты. Ал. Фед. просидел до 9 час. После писал Срезневского и написал до конца Триглава, т.-е. листик. Думал писать что-нибудь и Фрейтагу, ничего не написал. Никитенке тоже.

27 [сентября]. — Утром писал Срезневского, пришедши из университета тоже, написал места поклонения в скалах. Срезневского не было, как и в субботу. От Ворониных, у которых гувернер показал мне ныне внимательность некоторую, пошел к В. П., где просидел до 10 час. Над. Ег. показалась похожа на сестру, и нос по бокам показался не так, как должен был бы быть. Я думаю, это ошибка с моей стороны; думаю и то, что если так еще много пройдет времени, и она так станет загрубевать, — это нехорошо. С ним говорил о Гете и проч. У него болит нога, от которой он давно довольно хромал несколько, теперь, говорит, нарывает, и что будет? что, если в больницу должно будет? что тогда? Весь день почти не думал почти от сердца, голову, конечно, о нем и о его положении. Завтра хотел быть у Никитенки. — 11¼. Желудок был несколько расстроен вчерашним пирогом с начинкою, т.-е. луком. У нас был, когда меня не было, Ив. Вас., — и хорошо что был, когда меня не было.

28 [сентября]. — Сейчас написал письмо домой и за чаем читал Гизо «Hist. de Révol. d'Angl.» середину второй книги, где говорится о том, каково было состояние умов во время деспотизма и через открытие тех последних парламентов, о религиозном состоянии и утвердилась и блеснула мысль, что все это — бурные, идущие далее, чем пошла реформа в Германии и Швейцарии и Англии, секты родились оттого, что правительство и духовенство высшее, которые должны были бы руководить этим восстанием, этою реформою, лицемерно, нерешительно соединились с реформою, приняли ее вполчину, повели и не довели, а стали удерживать на половине дороги; вот и начались эти секты, которые пошли сами *sans et malgré lui* \*. Итак, это новый великий пример, утверждающий в мысли, что правительство должно идти впереди.

28 [сентября]. — Пришел и думал переводить, но стал переводить Лыткин, а я этому был даже рад, потому что обыкновенная

---

\* Без него и вопреки ему,

нерешительность. Теперь осталось только 20 минут, потому что раньше черновик не было, и попросил Залемана переставить к себе назад. Напишу что-нибудь. Хотя о том, что думал сделать для Никитенки — сначала Грушницкого характеристику писать, теперь едва ли, не знаю, как обыкновенно; верно выйдет, что не буду писать, пока Никитенко не скажет сам что-нибудь. Утром был у хозяина, он сказал, что справится и позаботится. Утром писал письмо своим.

Напишу о Вас. Петр. что-нибудь. Мне после вчерашнего пришли в голову мысли, которые, бог знает, может быть, и утвердятся, что в самом деле она не может составить его счастья, т.-е. главным образом то, что много уже прошло времени и все еще проходит, а он ничего не делает, кажется, еще для ее образования, потому что невозможно употреблять на это внимания, которое занято возможностью жить. Теперь мне кажется, что я не могу ему по чистой совести сказать, что считаю ее существом высшего разряда, что не вижу в ней обыкновенной женщины ее класса по рождению и воспитанию, т.-е. обыкновенной простой женщины. Но когда я сравниваю ее с Любинькою, которая все-таки лучше большей части своих одноклассниц, то мне кажется, что там решительно такая же разница, как, напр., между ним и Ив. Гр. или Ив. Вас. Что касается до него, я думаю, что я еще решительно вполне не могу оценить его ума, потому что сам не развился до этого, и что теперешнее мое мнение о нем более инстинкт, принимающий форму радостной уверенности, чем выведенное из фактов заключение; точно так же, напр., как я не уверен, что я сам, а не предрассудок заставляет меня считать великими многих из тех, кто считается великими, напр., Шекспира или т. п.

Но верно то, что когда я говорю с ним, то я опасаюсь за себя и сознаю, что ниже его, и главное то, [что] я следую ему в мнениях, как, напр., следую Гете. Напр., он говорит, что «Мертвые души» выше «Ревизора» и драматических сцен, так что видно, как Гоголь растет с каждым годом, и я был убежден в этом и думал, что точно, это можно заметить. Вчера он сказал, что вот он читал повести Гоголя (где «Шинель» и проч., тот том), и говорит: «Вот ведь, так же хорошо, как «Мертвые души», почти никакой разницы нет, а между тем ведь до «Мертвых душ» не ставили еще Гоголя так высоко». Он сказал это, и я убедился и увидел, что в самом деле между повестями и «Мертвыми душами» нет разницы, — признаюсь, что я и раньше так почти думал, но когда он сказал противное, то и я подумал противное. Итак, это и вместе то, что когда я говорю с ним, то постоянно думаю: «Как-то я говорю, не то ли я говорю, что говорит Адамова голова и младший Залеман, и не кажется ли это ему так же глупо»; одним словом, я чувствую, что я перед судьей, который может судить и который по праву судья надо мной, а когда я говорю со всеми другими, я чувствую как-то, что я господствую над ними и что мне нет дела до их мнения обо мне. Так-то я думаю.

10 час. вечера. — В университете со мною сидел у Грете и Никитенки Герасим Покровский — он что-то внушает мне нелюбовь к себе. У Никитенки читал Главинский, я защищал несколько его против Корелкина, но раз и посмеялся также над ним, когда он сказал, что воину необходимо знать греческий. Когда шел из университета, утвердилось мнение о том, чтобы постоянно защищать тех, кто будет читать, — так и сделаю. Это, во-первых, несколько в моем духе: какое право вы имеете говорить, что это глупость, если сами в ответ на нее говорите новую глупость, и во-вторых, — можно приобрести этих господ.

Вечером ничего не делал, только читал несколько Гизо; пришел Вас. Петр., мы смеялись над Ив. Яковл. и над Главинским, который поместил в «Полицейской газете»<sup>64</sup> его биографию, в которой очень хвалил его как профессора. Я пошел проводить Вас. Петр., он сказал, как обыкновенно говорит, что, кажется, это не нравится Терсинскому, что мы смеемся. После несколько поговорил о Пад. Ег. (я ему сказал за несколько дней, когда он говорил: «Только не противна мне, а решительно равнодушен, а что не противна, это так». — «Да это важное дело, что не противна, это весьма много уже, потому что, что касается, например, до меня, то немного людей, которые бы не опротивели мне, когда б я жил с ними вместе»), — что он подумывал о том, каких женщин знал, и раздумывал, что все они ему страшно бы опротивели, а Пад. Ег. ничего, несколько, потому что в ней нет кокетства, жеманства, принужденности, натянутости. Ныне у меня не билось сердце, когда он говорил о ней. Вообще кажется, тут, что он начал ставить как бы в заслугу ей и достоинство пред другими, что она не опротивела, было мое влияние. — Вечером думал о том, что писать (Фрейтагу: думал о своем семинарском рассказе о Милоне<sup>65</sup>, — он написан дурно и почти все должно исправить; о переводе «Книжны Мери» — и даже начал было писать и проч.; кажется, буду писать Milo.

29 [сентября]. — В университете несколько говорил с Финшером о цели, освящающей средства. Он сказал, что так говорили, — говорят, — иезуиты, хоть, может быть, и не говорили они этого. Как кончилась лекция, Залеман закричал, что это он говорит потому, что сам иезуит; я стал говорить против этого. — Несколько говорил с Лыткиным, стоя у кафедры у Куторги. Приходил к Куторге к концу попечитель; я совершенно владел выражением своего лица, но внутри несколько волновался или, собственно, злился на него. — я его враг, это так. Вечером несколько спал, несколько читал «Hist. de Rév. d'Angl.», большую часть времени писал Срезневского и почти дописал, хочу утром завтра кончить, — дописал до гаданий и остается одна только страница. Теперь 11½. Вас. Петр. хотел зайти, если пойдет к Залеману, я и ждал, и нет, потому что было довольно сыро, а он говорит, что у него нет калош.

30 [сентября]. — Утром писал Срезневскому, которого вечером

дописал перед тем, как пошел к Славинскому. Грефе не было, и я пошел к Вольфу. 20 к. сер. за кофе. Вечером был у Славинского, — собственно, за газетами, говорил о философии и политике, кажется, попрежнему довольно хорошо. Оттуда, просидевши 2½ часа, к Ал. Фед., где просидел также около 2 часов и взял 19—22 сент. «Débats». День довольно хороший, т.-е. занимательный, но ничего не сделал, кроме того, что дописал Срезневского. Читал Ив. Гр. процесс Стратфорда из «Révol. d'Anlg.».

[О к т я б р ь 1848].

1 окт., 11 час. — Написал Фрейтагу перевод из книги Срезневского о гаданиях, просидел не так много, как раньше, гораздо менее, всего часа 3½ с перепискою. Потом читал все «Débats», где, однако, ничего особенного нет; только разве речь Монталамбера, которая хороша, где нападки на университет, и дурна, где предлагает свои средства. Ал. Ф. обедал у нас и просидел до 6 часов; играли в преферанс и я играл с охотою, так что даже хотел бы еще поиграть час. Денег не мог отдать, потому что они спрятаны у Любиньки и взять у нее при нем — подать возможность ей и Ив. Гр-чу заметить это. Читал Вентворта (№ 1, приложение к Гизо) Ив. Гр-чу, и он начал несколько читать «Историю англ. революции», — может быть, понравилось в самом деле через мои чтения. С Ал. Ф. ни о чем не говорил. Вас. Петр. не был; я думал, но без сердца, только головою, о нем и о ней, как это довольно уже давно. В церкви не был. Да, третьего дня, как давно хотел, проходя мимо лавочки, которая за Пятью углами против дерева, купил на 7 к. сер. белого хлеба, который по виду казался лучше, чем какой покупает Марья, потому что печен не с такою коркою, а твердою, и поэтому выходит как московская сайка. После этого стал покупать там.

2 октября. — Мое сочинение прочитал и ничего не нашел, кроме *praedicens* и *narrans* \*, вместо которых предложил другие слова, да и *apud Slavos divinatio* \*\*. Когда я шел, и раньше того, когда писал, то не то трусил, а в этом роде, как обыкновенно бывает, напр., перед экзаменами, но когда читал и много не разбирал или не понимал Фрейтаг, я отвечал совершенно равнодушно, не как обыкновенно, так что сердце несколько не билось, и отвечал голосом твердым решительно и громким, а не таким, как делал раньше. Итак, я думаю, что постепенно все исцеляюсь от своей способности смущаться и конфузиться или не в этом роде, а, как бы сказать, волноваться. Когда писал, то думал, что слишком стараться не должно, потому что ведь сам Фрейтаг не бог знает как много знает. Теперь переводит Воронин.

\* Вступление и повествование.

\*\* Гадание у славян.

Должно сказать, что я еще не удосужился сказать [В. П-чу] о том, что [даю] у них теперь уроки. Однако, не потому, что со-вестно,— правда, совестно, но перед собою более, чем перед ним,— а потому, что позабывал, или потому, что нельзя было, потому что были другие при этом.

Напишу что-нибудь о моем суждении о чрезвычайных людях, напр., о Гоголе, Гизо и проч. Я, признаться, не совершенно сам независимо могу, кажется, видеть, что в самом деле они безмерно выше других; во-первых, потому что я ценю более отдельные части, чем целое, потому что (по крайней мере так я думаю) не достиг еще степени развития, необходимой для того, чтобы вполне обни-мать целое. Правда, однако, что я стал понимать части более об-ширные, чем раньше, но, напр., в романе не могу еще хорошо и вполне с первого раза проследить развитие характера, а более смотрю на отдельные сцены, — это придет, я надеюсь, со време-нем; — итак, везде я более в состоянии ценить части, чем целое, а части могут быть украдены, т.-е. заимствованы, конечно, из из-вестного писателя, которого еще не читал, и поэтому мне они по-кажутся своими, между тем как не принадлежат тому, которого чи-таю; и потом только в целом является истинное величие. Поэтому, признаюсь, между скелетом трагедии и самою трагедиею, между трагедией и лирическим стихотворением я не могу заметить боль-шой разницы в значении, и, напр., в трагедии мне обыкновенно нравятся отдельные монологи и сцены. Во-вторых, мне кажется, этому много противодействует то, что я везде, где нахожу что-нибудь хорошее, склонен ценить того, кто сказал его, за умного человека и не понимаю хорошо, какое огромное различие между умною мыслью, высказанною умным человеком, и между умною тою же самою мыслью, высказанною дураком; и, напр., что у Греча в «Поездке в Германию» все глупость и пошлость, это так, но, напр., Мстиславцев, когда влюбился, смотрит в лица всем де-вушкам (однако, здесь, если снова смотреть предубежденными гла-зами, т.-е. так: великий человек — все, что говорит, если знаешь— должен принимать, если не знаешь — должен верить и стараться отыскать в своей жизни что-нибудь подобное; а невеликий, обык-новенный человек говорит, — что знаешь сам, так; что не знаешь или хоть чуть знаешь по опыту противное, — критикуй), то можно и здесь отыскать пошлость, т.-е. неверность сердцу. Он смотрит затем, чтоб отыскать черты, что не должен надеяться (слишком влюблен), а не затем, как я делал, когда был взволнован Над. Ег., чтоб сравнивать всех с нею со страхом, что, может быть, которая-нибудь сравнится с ней, но более с гордостью некоторой, что нет и не будет встречена ей равная. — Я открыл в себе подобное, что и теперь, но особенно раньше, смотрел в лицо всем, чтобы сказать, как говорит Валентин у Гете: «Вот и хвали каждый свою, я спо-койно сижу и скажу, наконец: — а где есть такая, как моя Марга-рита? — и все замолчат». — Так точно и в науке — не решительно хорошо я могу, напр., оценить «Историю Англ. революции» Гизо и,

напр., сам по себе не заметил бы в ней необыкновенной разницы с «Историей Фронды» Сент Олера, и если бы я не был предубежден в пользу Гизо, то, может быть, и сказал бы, что одною этою историею нельзя удовольствоваться, потому что ни по всестороннему и обширному, полному изложению фактов, ни по изложению идей она не решительно удовлетворительна и принуждает обратиться к источникам, чтобы узнать действителей и цели и образ действия их. Так-то я еще молод и слаб умственным силюю. А Луи Блан почти в мое время уже выступил главою партии и стал одним из первых людей; Гете тоже, — это для меня неприятно.

11 час. — Отдал Срезневскому балтийских славян и, из университета когда шел, был весьма недоволен собою, — как-то мне кажется, что другие почитают это подлостью. Вечером был у Вас. Петр., у которого не остался сидеть, не хотелось оставаться и чай пить, но было неловко: он, кажется, осердился, что я ушел. Над. Ег. лицом снова понравилась больше, чем давно (с самого того воскресенья, когда я застал ее неодоетую). Когда пришел домой, сшивал тетради, чтобы дописать Срезневского, и после читал Ив. Гр-чу процесс Карла I из Беккера. У В. П. ничего особенного не говорили.

3 октября. — Утром сходил к Корелкину за Шафариком, его не застал дома, дожидался Попова, который был у обедни, посидел с полчаса. Попов мне показался не так хорош, как раньше, и лицо несколько странно. Я слушал рассеяннo и говорил тоже; после писал Срезневского. Пришел Ал. Фед., просидел три часа, говорил все решительно вздор. Я написал до местоположения городищ. Алекс. Фед. говорил с Ив. Гр. об Иринархе и все почти насмешливо; рассказывал, как подлец Ионовский уведомил его отца о том, что сын его обокрал церковь, с тем сделался удар. Это меня раздражало несколько, потому что подобное было недавно с папенькою. Писал Промптову. Вчера, когда шел от Вас. Петр., вздумал, и теперь решительно думаю, в этом письме написать папеньке: огорчит их или нет, если я перейду от Терсинских. Главная причина — по крайней мере мне так кажется, — Вас. Петр.; больше через это расстраивается знакомство с ним. Если напишут, что ничего, то я скажу, чтобы, если угодно, переменили квартиру и взяли такую, чтобы мне была особая решительно комната, так, чтобы ни мне, ни от меня не было беспокойств. Между тем о В. П. думаю мало. — 11 часов. Писал, совершенно не читал.

4 октября. — Утром писал Срезневского, написал городища. В университете прочитал объявление, что кто нынешний день не заплатит, будет уволен. Ничего особенного не почувствовал, только завтра побываю у хозяина и проч., чтоб справиться, не готово ли уже. Не беспокоюсь об этом, потому что ждал, что не успею получить свидетельство, а эта угроза вздор. Просидел у Вольфа обед, выпил кофе и до самого того времени, как в 9¼ час. воротился домой, ничего не чувствовал, только несколько усталости в ногах. У Вольфа газеты читал мало, более читал «Отеч. записки», кото-

рые мне подал мальчик, что меня утешило: значит, знает уже. От Ворониных пришел к Вас. Петр., потому что думал, что он рассержен, что я третьего дня ушел так скоро. Посидел с час почти и ушел, потому что был не во-время. Дома съел хлеба, после уснул, теперь поужинал, но все еще как-то несколько как бы пусто на желудке, хоть не голодно, а в этом роде. Пошел к Вольфу вместо дома, более чтоб испытать, могу ли так делать или нет, чем потому, чтоб хотелось много быть там. Купил Светония за 35 коп. сер. у Эггерса и подлых конвертов, продававшихся у колонны в Гостином дворе, 25 за 15 коп. сер.; в кондитерской 30 коп. сер., получил 10 коп. сдачи, отдал мальчику — итак 80 коп. сер.

5 октября. — Был у хозяина, он хотел ныне узнать, но ничего не сказал. До того самого времени, как пришел Вас. Петр. (6 часов), тосковал от мысли о деньгах, которые в университет, и проч., и объявлении, что кто 4-го не получил свидетельства, будет уволен; хоть знаю, что это вздор, все-таки тоскую, потому что знаю, что всякий вздор может иметь последствия и никогда нельзя надеяться, что дело кончится как следует, а между прочим и по природной трусости. Пришел по обещанию Вас. Петр., сидели все вместе и говорили о вздоре, только Ив. Гр. повторял, что проповеди трудно писать. Я стал говорить об этом несколько много, он, конечно, замолчал. После проводил Вас. Петр. и пошел к Ал. Фед., где взял [*Débats*] 23—25 сент. Написал домой о том, могу ли, не вводя их в сомнение, сойти от Ив. Гр., хотя еще вставши был почти уверен, что не решусь написать<sup>66</sup>. Ныне, когда вставал, особенно тосковал и тоже третьего или четвертого дня, так что показалось, как бы пословица: «утро вечера мудренее», имеет и то основание, что утром человек более расположен к критике и неудовольствию на себя.

У Никитенки читал Корелкин; я все молчал, но когда думал, что он спросит, кто будет далее писать, то думал сказать, что я; и хотел писать о Гете и обвинениях его в эгоизме и холодности. Некоторым поводом к этому было то, что было сказано Никитенкой и Корелкиным несколько неуважительных слов о Гоголе; Никитенко сказал: «Гоголь — поэт и писатель и Гоголь не поэт и не писатель — два совершенно различные человека» и проч. Корелкин читал слово в слово Никитенкины лекции, и мне пришло в голову, что в самом деле это так, что и дурак усваивает умные мысли, хотя и сам не понимает их. Меня всегда волнует то, когда говорят, как о нехороших людях, о великих людях, и слова Гизо «никогда великое событие не совершается по незаконным побуждениям» я перелагаю и так: «Никогда великое событие не совершается, никогда ничего великого не производится через человека, который бы не сделал чести человечеству и тогда, если бы не был действователем в истории и не играл такой важной роли в обществе или умственном мире, а был бы известен в тиши». 11 часов, ложусь. Когда же я буду писать Никитенке? В следующий раз будет читать Корелкин и снова Главинский; после будут исто-

рические темы, которые, верно, я не возьму, потому что, напр., о «Слове о полку Игореве» я не хочу писать.

6 [октября]. — Когда ныне встал, то не был так тосклив, как вчера. У Фишера сидел, другие говорили и я хотел говорить и ужасно волновался перед этим в последней половине лекции, так что дрожал, как в лихорадке. Когда воротился домой, не хотелось сидеть одному до завтра, — что будет, когда решится, так или нет (т.-е. нет, конечно), потому что принесли повестку в квартал. Пошел поэтому к Славинскому, где его сначала не было; сидел поэтому с отцом, после с ним, после пошел к Ол. Як., где были гости, с которыми играл несколько за него в карты. Когда к нему пришел еще посторонний гость, — ничего, не конфузился. Славинскому отнес номера «Débats» и взял у него 2-ю часть «Истории революции». Ночью делал попытку пойти в кухню, но разбудил Ив. Гр-ча и поэтому, конечно, воротился. — Подлец. —

[7 октября]. — Утром встал покойно, хотя почти был уверен, что дело продлится так долго, что должно будет отдать деньги; но там показали мне чистый отказ, которого я решительно не ожидал, а всегда думал о противном. Это мне показало, что необходимо для того, чтобы выиграть дело, иметь своих людей между теми, которые производят его или через деньги, или через знакомства, а теперь вздумал я еще, что кроме того я сам неискусно вел дело и мог бы представить обер-полицмейстеру при его просьбе уже готовое свидетельство. Отказ, можно сказать, нисколько не возмутил меня. Просидел полчаса в квартале, пока писали расписку в слышании, которую я должен был подписать; после по дороге разменял серию у менялы, так как купцы не хотели (Любинька истратила деньги, которые я отдал беречь ей, и когда я спросил их, то велела разменять серию), и дал промена 25 коп. сер., о которых не сказал Ив. Гр-чу, а отдал свои. Шел в университет почти решительно спокоен, что все пойдет хорошо и деньги примут и свидетельство выдадут. Казначей точно принял без всякого особого внимания или рассуждений, потому [что] еще не поздно и многие еще вносят, [так] что я не исключение, а правило. Потом отдал квитанцию и свидетельство, которое должно переменить, Грейсону, который также ничего, принял, как бы я не первый и не последний, — это хорошо. Пошел в библиотеку и там читал *Revue de deux Mondes*, сначала политические обзоры за 1840 г., из которых не узнал ничего, кроме того, что Гизо тогда был посланник в Англии, после Лерминье о Парламентской истории *Buchez et Roux-Lavergne*. Бюше, главный издатель его сборника, что мне было весьма любопытно узнать, исповедует евангелие и основывает на нем систему якобинцев, которых тоже поддерживает. Это хорошо и поднимает его в моем мнении, хотя против этого и говорит Лерминье.

У Куторги сидел попечитель<sup>67</sup>, я ничего, только был суров и глядел иногда на него мрачно, — я его враг, но уже не волнуюсь при виде его. Вчера, когда я давал Куторге подписывать Мюнха,



он сказал, что это не слишком хорошо написано, и говорил, что лучше. Я образовал проект подавать ему беспрестанно по два новых билета для подписки, что, конечно, отчасти будет исполнено. Отдал Лыткину его Светония. Когда пришел домой, читал Гизо и почти дочитал первый том. Пришел Ал. Фед., принес 26—30 сентября, которые я уже просмотрел, главное о Франции; просидел до 8 час. После я читал «Débats» и поэтому и ныне, как прежние дни, ничего не делаю, т.-е. ничего не писал для Срезневского. Герасим Покровский ныне в аудитории не подходил уже ко мне, что мне, конечно, приятнее. Когда шел из университета, захотелось сильно на двор за большою нуждою, и я зашел на Гороховой в дом в третьем проулке, т.-е. дом, который перед Красным мостом, там сходил; но когда застегивался, какая-то девушка в красном платье отворила дверь и, увидев мою руку, которую я протянул, чтобы удержать дверь, вскрикнула, как это бывает обыкновенно; я не почувствовал при этом никакого движения и даже не полюбоствовал, хороша ли она. Когда Ал. Фед. стал говорить о Софье Никифоровне или, как он говорит, Соничке и других красавицах, я, поддерживая довольно вяло этот разговор о красавицах, довольно живо волновался, конечно, думая о Над. Ег. — Теперь 10 час. 40 мин. Ложусь читать «Débats».

8 [октября]. — Напишу о моих отношениях к Вас. Петр. Не знаю, как это сказать: верно оттого, что теперь редко с ним вижу; теперь почти никогда и почти ничего не говорю о его состоянии и как-то мало волнуюсь его положением; мысль о нем почти постоянно у меня и почти всегда я о нем думаю точно так же, если не более как о себе, т.-е. *implicite* \*; кажется, думашь о другом, а господствующая мысль все та же. Это все равно, как то же, напр., когда я иду и считаю шаги — думаю о другом, кажется, и вовсе не считаю, вдруг, как вспомню, говорю — 235 или в этом роде, или все равно почти как о себе; прекрасно, не знаю, откуда взял это сравнение Греч: «В канатах английского флота по всей длине всегда идет в середине красная ниточка».

(Сейчас Фрейтаг кончил перевод, и должно было делать парфраз, никто не хотел и я тоже; наконец, Лыткин сказал — его \*\*. Тогда Фрейтаг сказал *inter vos non convenit, ego ipse ordinem constituam* \*\*\*, и, начиная с Лыткина, учредил порядок, в котором мы и пишем — это мне нравится отчасти, хотя это противно *libertati* \*\*\*\*, поэтому не нравится отчасти),

...незаметная для того, кто смотрит снаружи, но вечно идущая — так и эта мысль. Но все-таки, как бы то ни было, я думаю головою, а не сердцем, и без особого волнения или тоски; иногда бывает и это, но редко и не в такой сильной степени, как раньше, когда я ежедневно говорил с ним. Мое мнение о его достоинстве и

\* Скрыто.

\*\* Я.

\*\*\* У нас не клеится, я сам устанавливаю очередь.

\*\*\*\* Свобода.

уме и сердце остается прежнее, т.-е. самое высшее, какое только имел я о каком человеке мне знакомом — конечно, мое слабое доверие к своей оценке препятствует мне сравнивать его с теми людьми, которые увенчаны авторитетом в моих глазах, напр., Гоголь, или Гизо, или Луи Блан, или кто-нибудь в этом роде, но, напр., ни с кем из наших я его никогда не сравниваю. О ней я хорошенько не могу ничего сказать. Кажется, я теперь должен сказать, что я очень высоко или, лучше сказать, довольно высоко ее ценю, но собственно отрицательно, а не положительно приписываю ей большое достоинство, т.-е. почти ничего не нахожу в ней (кроме некоторого тона, которым она произносит названия своих кошек, или названий, которыми называет их) такового, что меня так отвращает, напр., от Любиньки или от других, которые мне, если ближе всмотреться и отбросить чисто физические влечения и снисхождения, то внушают отвращение.

Если что писать о Срезневском, то я должен также сказать, что так как слишком давно не говорил ничего с ним, а читать он не читает ничего особенного, то я теперь мало думаю о нем и почти не одушевляюсь им. Другие люди, т.-е., главным образом, французы, теперь действующие или недавно действовавшие, история, особенно новейшая, и политическая экономия заняли мои мысли, и русские все как-то исчезают. Но, конечно, я и раньше его не сравнивал с великими действующими Запада, но мало о них думал, поэтому более места оставалось для него.

Должен я сказать, что я довольно лениво читаю все, что у меня есть, т.-е. собственно Гизо, который теперь один у меня, потому что жажду узнать новейшую историю и теперь думаю, что мне должно будет удовлетворить этому желанию, и тогда я мог бы снова с рвением обратиться к истории до 1789 г., а то это заслоняет от меня теперешнюю — как, в самом деле, не знать, что и кто теперь действует на свете и что думать, и за кого бояться, кому сочувствовать, чего надеяться, что эти люди, которые теперь действуют. «*Débats*» читаю почти все, хотя не соглашаюсь с ними во взгляде на предметы совершенно, — для них равенство слишком далеко зашло, а по-моему оно глупо и отстало и речь Deville, которую он сказал по случаю выбора Raspail в представители, то что говорит Corne и проч., мне кажется вздором и вздором опасным, который постоянно делает то, что правительство находится в противоречии с обществом, между тем как собственно должно идти впереди его. Общество говорит то, правительство говорит другое и, главное, боится высказать те начала, на которых основывается и оно само, и вообще общество.

11 час. — Взял Мюнха и лежал, читал, пока пошел к Ворониным. Оттуда к Вас. Петр. У него были Самбурские; Ольга Егоровна мне лицом снова теперь решительно понравилась, но движениями, голосом и всем — какое сравнение с другой! Верно это происходит оттого, что не испорчены заученным гримасничаньем они. Играли в карты — мельники, а после короли, — я старался сделать

так, чтоб [королем] был кто-нибудь — Ольга Ег. или Над. Ег. — Просидел полтора часа и просидел с удовольствием, хотя, правда, не живым, но с удовольствием и как бы в семейном кругу, чего не чувствую, когда бываю с Терсинскими, — может быть, оттого, что живу с ними и поэтому пошлое в них уже надоело и через то кажется вдвое пошлее — но, кажется, нет — здесь не так много пошлости. Вас. Петр. ничего не говорил решительно, все сидел молча. Николай Самойлович поссорился с Над. Ег. за взятки в короли. Над. Ег. мне показалась действительно весьма хороша, хотя я особенно пристально смотреть не чувствовал стремления и не находил при этом в себе волнения.

9 [октября]. — Говорили о том, что должно сказать Фрейтагу, чтобы он перестал употреблять этот строгий глауный тон и обращаться так, как до сих пор: напр., вчера сказал Залеману грозным гувернерским голосом: «Non est confabulandum!» \* Конечно, отчасти это говорилось не в уверенности, что что-нибудь выйдет из этого, но все-таки. Притом сами студенты отчасти виноваты в том, что так с ними обращаются. Тут было несколько человек, они согласились, чтоб сказать. — Вчера, собственно, должно было, кажется, переводить мне, но не хотел, потому что не готовился и потому что не хотел иметь дела с Фрейтагом, как и теперь не хочу, потому что сильно не люблю его. Таким образом я отчасти виноват в том, что Фрейтаг учредил этот порядок, и мне вчера сказал это Славинский. Ныне подавал Тихомиров и наделал много ошибок, и Фрейтаг несколько раз поводил глазами по студентам, чтобы увидеть улыбку, одобряющую его придирки, но, к счастью, студенты довольно хорошо себя держали и никто не засмеялся; только раз, когда Фрейтаг спросил, что это за вещь *pisces testaceae*\*\*, что написал Тихомиров, который писал о пище римлян из лекций Шлиттера, то Лыткин, улыбаясь, сказал, что это вместо *testudines*\*\*\*, конечно, но Фрейтаг в этот миг смотрел в другую сторону.

Вчера отнес Баранта; когда возвращался из университета, вздумал, что пора перестать говорить с Корелкиным о борделях и проч., потому что это неприлично и глупо и может на меня набросить мантию сквернословца. Итак, бросаю решительно, а вздумал это по поводу разговора, который имел у Куторги перед лекцией. Вместе с этим решил я сам не вмешиваться в разговоры и не подходить ни к кому, чтоб восстановить свою репутацию, потому что, может быть, меня считают навязчивым человеком, и, главное, для меня неприятно то, что со мною постоянно говорят больше Вологодские, т.-е. дурная партия, а, напр., Тушев, Лыткин и даже сам Славинский и также Воронин ничего (да это и нечего говорить, и я не хочу этого, а так только), почти также ничего.

Когда вчера сидел у Куторги попечитель, я смотрел на него, ко-

\* Не болтать!

\*\* Черепоконные рыбы.

\*\*\* Черепашка.

нечно, с враждою, но вместе и с некоторым не то что сожалением или презрением или, — ну, а как это сказать, сам не знаю: сидит старик, и губы и все это кажется опустилось, как обыкновенно бывает у стариков: и это развалина — это возбуждает некоторое чувство сожаления; но эта развалина поставлена управлять и стеснять движение живых сил (т.-е., пожалуй, и не сил живых, но все-таки выказывающих некоторые признаки, что не совершенно гнилы), и эта же развалина принимает грозный и глупый тон и кричала, между тем как право должно бы молиться богу да сидеть в вольтеровских креслах. И что за радость везде совать старых дураков, которых должно бы давно уже отпустить на покой. А между тем, все-таки старик, — и я при этом вспомнил о бабенке, у которой лицо так же опустилось. И жаль, что старик этот так странен, или, как это сказать, — жаль, что он явился в таком положении, а между тем, смотря на него среди молодежи, и нельзя не вспомнить мысли несколько грустной о старости. А чувство, внушаемое идеею, переносится несколько и на неделимое, в котором выражается идея.

Когда в эти дни погляжу на Галлера и вижу глупость или что-то в этом роде, вообще что-то нелепое, как говорит Вас. Петр., написанное на его лице, и вспомню, что это говорил с самого начала Михайлов, то думаю, что у меня недостаток проницательности и что я узнаю человека в год, между тем как другой узнает в одну минуту.

Вчера, когда ходил к Ворониным, нисколько не устал, не так, как в первый раз, и теперь, кажется, почти постоянно буду приходить домой. У Мюнха<sup>68</sup> ничего почти нет; но только я узнал, что Гизо издавал «Temps», — имя, которое меня поразило — весьма нехорошо: что это за перевод с английского «Times»?<sup>69</sup> — мне неприятно видеть англomанию. И по нему выходит, что главным образом во время июльской революции действовал Arm. Carrel, а Гизо был только второй после редакторов «National»<sup>70</sup>, Каррель тогда собственно был главным революционером, и там снова выставляется Al. de la Borde главным действующим из Палаты депутатов.

То письмо, которое я получил вчера, говорит: «на боку лежать не должно», — в ответ на мои слова, что я здесь обыкновенно лежу на боку. Во-первых, что я за дурак, что сколько раз уже видел, что писать подобных ругательных вещей о себе не должно, и все пишу; во-вторых, это заставило меня задуматься несколько, не обязан ли я заниматься не чем хочу, как, напр., новейшей историей, а чем должно и что нужно для экзаменов и по мнению людей другого мнения, чем я.

10<sup>1/2</sup>. — Читал все Мюнха. С 6 до 8 сидел Вас. Петр., после я его проводил, дорогою смеялся над Терсинским и проч.; он сказал, что Ольга Ег. теперь ему менее нравится, чем раньше, и он видит, что в тысячу [раз] она не так понятлива, как Над. Ег. Он переводит стихами «Коринфскую невесту»<sup>71</sup> и хочет переводить, кажется, «Фауста» — это все хорошо. 9-е число.

10 [октября]. — Читал Мюнха, «Débats» и статьи, которые списаны в некоторого рода сборнике, который взял на несколько дней Ив. Гр. у своего приятеля дьякона, — «О новой и древней России», Карамзина<sup>72</sup>: весьма умный и добросовестный человек, весьма много хорошего и дельного, но есть много и устарелых негодных понятий, напр., восстает против централизации, министров, хочет усиления власти губернаторов; хочет, чтоб известные места давались только дворянам, вообще который очень любит, чтобы дворянство раздавалось с большой осторожностью; говорит против Сперанского; во всяком случае, мне так кажется, — ученик Монтескье, только несколько отсталый от тех, которые через него хотели англ. *Verfassung*\*. Письмо Сперанского государю, которое читал и раньше, очень хорошо, и видно, что весьма умный человек, об Александре составил мнение, что должно быть был весьма хороший человек, когда ему так писали.

В 6 час. пришел Вас. Петр., Любинька скоро ушла к хозяевам, но пришел Ив. Гр., который ходил к своему приятелю, но воротился и сказал, что пойдет к хозяевам, однако, просидел целых два часа дома, сначала за чаем, а после чорт знает за чем, и ужасно надоел мне: чего сидит человек и нейдет туда? Себе никакого удовольствия, а другим мешает. Наконец, в 8 час. ушел. Посидели до 9 час. с Вас. Петр., он думает, как бы перевести Гизо и пр., но знает, что денег нельзя за это получить. Теперь 11 часов. Утром был Ал. Фед., взял «Débats» и переписывал здесь на мой бумаге завещание Розенберг, я ему для этого должен [был] устроить транспарант в лист. День прошел так, не то что без пользы, не то что с нею.

11 [октября]. — От Ворониных зашел к Ал. Фед. и зашел после к Олимпу Як., чтобы показать письмо. От Ал. Фед. ему «Débats» возьму завтра, когда пойду из университета. Устал довольно и поэтому, когда пришел, все спал и теперь тотчас ложусь. Отнес Пшеленскому лекции Срезневского 2 курса Корелкина, которые прислал он еще в пятницу.

12 число, 11 час. — Пошел на вторую лекцию, но Грефе читал первую, и вторая была свободна; я этому был весьма рад и просидел в библиотеке; прочитал в 1841 «[Revue] de deux Mondes»<sup>73</sup>, которые теперь в библиотеке читаю, статью Carné, который говорит вместе о новых сочинениях Ламне, Прудона и Луи Блана. Еще не кончил, но меня поразила сила мысли этих господ, и, признаюсь, я решительно их последователь, и мне остается только читать их в подлиннике и только, — я совершенно предан им и уважаю их.

Славинский предложил ходить к Грефе и записывать замечания поочередно—хорошо. У Никитенки читал Главинский об отношении поэзии к действительности также. Я снова, как и в прошлый раз, не сказал ни слова; после Славинский говорит мне, что Главинский

\* Конституцию.

сказал, что пишет для того, чтоб иметь хоть кого-нибудь покровителем, — это так, и теперь я готов всегда его защищать. Из университета пошел к Ал. Фед. за «Débats» — его и их нет; после к Ол. Як., которого просил о Гражданском судопроизводстве, — Попов хотел дать, — после к Вас. Петр., от которого должен был скоро воротиться, потому что звал к себе Славинский, а между тем как обещался, то не мог не быть. Да, у Олимпа Як. обедал; Терсинские ждали меня и за обедом сказали, что Зуров, у которого по Яхонтову Ив. Гр. будет давать уроки, предлагает ему у себя в доме квартиру по самой сходной цене, — это хорошо, потому что верно будет удобнее. У Вас. Петр. пришла при мне Самбурская; она мне весьма понравилась, села в короли играть, и мы сначала спорили шутя, после она рассорилась с ним, и он сказал ей: «Свинья, замолчи, а то утру нос»; она встала и ушла домой. Эта сцена сделала на меня довольно сильное впечатление в том смысле, что доказывает необходимость и благодетельность образования даже и светского, поверхностного, и показала прогресс. — После читал и спал. Читал все Дон-Кихота, — весьма хорошо, хоть это перевод Шаплета, — весьма умно, и Дон-Кихот говорит преумно, превосходно все, что он говорит и даже о рыцарстве, но только здесь он не разбирает обстоятельств. Получил посылку, которая подписана была на 15 руб. сер.

13 [окт.]. — Взял Michelet Geschichte der n. Systeme der Philosophie; дорогою из университета, как стал несколько времени назад, читал введение его, и оно меня радостно и сильным образом всего взволновало, — это признание прогресса всеобщего, это мнение о новейшей истории Франции, эти мощные ответы тем, с которыми он не согласен, это оживленное и мирное воззвание к Шеллингу о соединении: — «Мы, говорит, одни, одни призваны решить и уяснить», этот мощный язык глубокого убеждения, — как это прекрасно, и это почитание великого человека, которого он последователь, — как хорошо он называет его и других ему подобных Негоз. Люди силы! Пришел, читал немного его, но мешали Терсинские, которые играли в карты подле, и ему, и мне было досадно. Пришел Ал. Фед., просидел до 9<sup>3/4</sup>, принес 1—7 «Débats», — хорошо; я читал ему 7 октября, речь Ламартина, но сбивался при переводе и читал вяло, говорил ему о социализме и проч. Теперь пробежал первые страницы их и буду читать Мишле.

Мне кажется, что я почти решительно принадлежу Гегелю, которого почти, конечно, не знаю, конечно, общих мыслей о развитии и значении лица только как проявления, но это так и вся история так говорит и так во всяком случае объясняется, — да, это правда, «мы все говорим одно», и есть места у него, которые как бы списаны у Гизо, например, стремление этого времени согласить принцип и факт — у него в предисловии, у Гизо первая лекция «Цивилизации во Франции». Но вместе меня обнимает и некоторый благоговейнейший трепет, когда подумаю, какое великое дело я решаю, присоединяясь к нему, т.-е. великое для моего я, а я пред-

чувствую, что увлекусь Гегелем. Твоя воля, боже, да будет! — и будет она.

Да, вчера, не знаю, сказать как это, но только Над. Ег. сидела без платка, миссионер<sup>74</sup> был, конечно, немного разрезан спереди и было видно некоторую часть пониже шеи, — признаюсь, я смотрел с наслаждением некоторым, решительно целомудренным, но не знаю, стал бы я смотреть на эту часть ее, если бы это видел в первые дни после свадьбы, не знаю, может быть, нет. У нее на щеках был румянец и это было хорошо, к ней идет и хорошо, хорошо, а это последнее я пишу чисто от головы. А сердце хотя слабо, но несколько бьется при мысли о ней со вчерашнего, как это бывало, только в большей степени, в первое время после свадьбы.

Кажется, для меня снова начинается жизнь, которая на несколько времени прекращалась или засыпала, и сердце как-то чудно бьется, — несколько, правда, а не слишком, вместе от первых страниц Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Над. Ег. и все это вместе! Половина двенадцатого, теперь ложусь читать Мишле.

14 [октября]. — Вот и доканчиваю эту тетрадь. Утром читал «Débats» и Мишле до места, где подробный разбор Канта (50 стр.). После пошел в университет в 11 часов, потому что к Грсе не хотел, потому что Славинский предложил бывать поочередно и записывать поочередно также. Хорошо. Читал в библиотеке «Revue d. d. Mondes» и записал за 1842 год. Квитанцию за Мюнха вчера позабыл, и ныне Лерхе сам напомнил и отдал. Записал Salvandy о революции 30 года<sup>75</sup> — решительно меня тянет к современной истории, политике и политической экономии, поэтому прочитал полкаталога по политической экономии и все хорошее выписал и хочу перечитать. Из университета когда пришел, читал снова «Débats»; в 7 час. к Вас. Петр. Над. Ег. сидела в открытом платье, а не миссинере, поэтому плечи были открыты, но был платок и только середина груди была видна; я смотрел, чего, конечно, раньше не сделал бы, смотрел, должно сказать, решительно с братским чувством и собственно в надежде и желании убедиться, что Вас. Петр. должен быть очарован этим, особенно когда она будет образована. Но все-таки смотрел, а раньше не стал бы, — благоговение исчезает; мне кажется, в этом много отчасти виноват Вас. Петр. Она сидела и шила и поэтому должна была ставить ногу на стул, чтобы прилипало шитво к коленке, и я — чего, кажется, еще никогда не думал и при ней, мельком стал представлять положение между ног. Это меня оскорбило и огорчило. Правда, что я представлял это так не по охоте и без всякого желания и волнения, решительно без волнения, но все-таки представлял, — что я за подлец! подлец! Раньше, когда я благоговел, я этого бы не стал представлять себе. Вас. Петр. сказал, что имеет сообщить мне некоторые новости, а когда я уходил, сказал, что ничего нет — а меня было это порадовало: вот, может быть, что-нибудь хорошее! Он го-

ворил, как ему надоел Ив. Вас., который был у него и ныне и почти каждый день бывает; после сказал, что статья из «Débats» о речи Ламартина об избрании президента глупа: — она переведена в наших газетах — и я увидел, что точно глупа: так покоряюсь ему, и мне как-то совестно перед собою, что я сам не вижу. Очевидно, что я много моложе его в отношении том, что не различаю так хорошо, как он, глупость от ума. Над. Ег. снова понравилась лицом — да более, чем в прежний раз, когда понравилась более, чем в предыдущий. Но меня беспокоит то, что прежнее мое наслаждение было чисто духовное, нравственное, и все ослабевало, теперь начинается снова усиление наслаждения, но боюсь, что, увеличиваясь, оно делается все более материальным, физическим. Боже, сохрани их. Дай счастья. — 11 час. 10 мин.

15 октября 1848 года. — Утром дочитал «Débats» для того, чтоб [за] 6 и 7 отнести Славинскому. Речь Ламартина мало понравилась, в этом много виноват и Вас. Петр. В 11 час. пошел; когда шел, скорбел о вчерашнем материализме относительно Над. Ег. У Устрялова попросил незнакомого студента переставить свою чернильницу на задний стол, где сидел я и Залеман. После читал Мишле, был у Ворониных, несколько устал и поэтому когда пришел, почти все спал. Хотя слабая, но есть потребность видиться, как раньше, с Вас. Петр. — Salvandy не выдают; я посмотрю в библиотеке и теперь довольно много бываю там и буду бывать. У Мишле многого не понимаю.

16 [октября]. — Когда шел в университет, догнал меня Лерхе и пошли вместе; говорили о Фрейтаге, с которым был удар, и Прейсе. В университете досмотрел Supplément II и каталог [по] политической экономии, а в третью лекцию просмотрел Salvandy весьма бегло: он против июльского движения, защищает Бурбонов и аристократию, и у него больше рассуждения, чем ясно означенные факты, так что я из него многого не могу знать. Несколько почитал «Revue d. d. Mondes» 1842. Обещался быть у Славинского завтра. Более ничего, только после обеда вздумалось снова начать и как можно скорее кончить Срезневского в надежде, что из этого что-нибудь будет (т.-е. завяжется разговор и можно будет обратиться [его] на Вас. Петр.). Дома читал Мишле и Куторгину брошюру <sup>76</sup>, которую дал Славинский; в ней тоже можно видеть, хотя в меньшей степени, чем на лекциях, беспрестанные повторения и проч. характеристичные черты.

Ныне явился снова на Куторгины лекции морской офицер, который слушал прошлый год; я первый увидел его и подошел к нему, после и другие; мне было довольно приятно видеть его и говорить с ним. Корелкин надоел своими подражаниями; кажется мне, напр., когда говорил с ним, что решительно некстати, — напр., говорил о Бурачке и «Маяке» <sup>77</sup>, он сказал: «И я хотел издавать журнал, да не пропустила цензура». — Я сказал: «И хорошо сделала, потому что верно было бы дурно», — потому что мне было несколько досадно, что острит человек совершенно не у места. У Мишле



многое кажется непонятным. Дочитал несколько страниц, которые оставались в первом томе Гизо *Rév. d'Angleterre*. Возьму его политические сочинения и, если можно, *L. Reybaud*.

17 окт., воскресенье. — В час просыпался и вздумал нагишом побегать на двор, куда хотелось; сходил — мало; когда оттуда возвращался, увидел, что лампада еще не погасла в людской и что Аннушка лежала, заворотив платве; пришла охота ближе подойти; я пошел в двери, которые из коридора, и когда стал на пол, зашкрипело, Анна проснулась было; я нагнулся за шкапом, так, чтоб меня не было видно, и несколько секунд — с минуту — дожидался; когда снова улеглась, тогда вышел. Что за глупая странность! Это, конечно, чтоб я не гордился, попускает меня это делать бог.

Когда встал, читал Мишле, и когда встали Терсинские, я сел в прихожей и меня бесило, что мешают. Ушел в 11½ к Славинскому, там просидел до 4½, обедал; за обедом отец показался тоже весьма ограниченным, и я слушал его с нетерпением. Оттуда пошел к Вас. Петр. Сначала один он был дома, сказал, что у них нашел крови много в нужнике и что верно это кто-нибудь родил и бросил туда, что это их очень обеспокоило, и вчера [тесть] у них ночевал и, дурак — говорит — еще страшает. После пришла она, после Залеман. Мы с нею играли в карты и в то же время говорили с Залеманом о Корелкине и отношениях его к Срезневскому: «он, говорит, подлец». Я оправдывал. Оттуда в 6½ пошел вместе и дорогою говорили тоже. Вас. Петр. говорит, что был в четверг (когда я был у них) утром у Сосницкого и Каратыгина 2-го. — «Весьма умные люди, особенно первый; говорили, что если хочу, то должно об этом хлопотать у директора, иначе ничего не будет». Он хочет. Это меня порадовало. Деньги, которые получу от Ворониных, отдам, конечно, ему. С Славинским сидел скучно, и я заметил, что когда я распространяюсь о социалистах, не слушает, т.-е. рассеянно слушает, и стал писать катехизис, вроде: «верую в прогресс» — но, конечно, не написал; он просил, чтобы я написал и принес завтра, но я, конечно, ничего с ним не сделаю. Теперь я начал было писать, да тотчас бросил.

18 [октября]. — Читал *L. Reybaud* в «*Revue d. d. Mondes*» 1842 г. о социалистах. У Устрялова Корелкин сказал, что не написал к завтра, и поэтому нет ли чего у меня. Я сказал, что нет; он сказал: «Напишите что-нибудь», а потом сказал Никитенке, что ни у него, ни у кого нет ничего, чтобы читать, — потому что мой ответ был неопределенный. Я тотчас вздумал писать о Гете, которого отношу к Гоголю и его так называемому лицемерию, и когда пришел, сначала не писал, после стал писать в 8 час., а раньше просидел так, говорил с Терсинскими, играл с ними в бостон и даже несколько времени решительно не хотел писать, потому что хотелось написать лучше, чем можно в один вечер, и потому, что снова уже сказал, что не будет ничего написано, и Никитенко хотел говорить о критике<sup>78</sup>. Все-таки написал несколько, завтра почитаю и напишу еще; теперь не знаю еще, буду ли читать.

19 [октября]. — Утром встал в 6½ часов, прочитал раз свою статью, несколько приписал и пошел в 9 часов. Не хотел быть у Грефе, да и не знал хорошенько, что первая лекция, просидел в библиотеке. У Никитенки, когда он входил, было волнение некоторое; когда он спросил, будет ли кто читать, я сказал: «Если позволите, то я» — и начал читать. Никитенко обращал внимание на то, что более нападали на Гете за то, что он не участвовал в движении против Наполеона, а не [на] его частную жизнь. Я много говорил с ним; он говорит, что нет, не во всех сферах человек одинаков, — я говорил против этого. Когда звонок был, меня прервал он на середине повести о Лили; он похвалил очерки характеров отца Гете и его матери. Уходя, он ничего не сказал в том роде, что «буду иметь удовольствие дослушать в следующую лекцию». Он показал, что довольно много существенного знает, и вообще возвысил мое о себе мнение; а как ничего не сказал, то мне было несколько неприятно, и я теперь не знаю, придется ли мне дочитывать мою статью, которая, кажется, получила несколько более обширный размер, потому что нужно будет говорить о том, что человек всегда и во всех сферах деятельности одинаков. Когда шел из университета, думал об этом, хотя без большого напряжения и почти в забытии, но все думал, теперь перестал, конечно. Как Ив. Гр. ныне именинник и ждал хозяек, то я ушел к Вас. Петр., у которого застал отца, — не слушал, что тот говорил, скоро ушел; мы играли в карты с Над. Ег.; она мне решительно как раньше; у него болели зубы. Пришел — у нас сидит хозяйки дочь, такая гадость и пошлость по лицу и натуре, что смерть, и, признаюсь, жених ее дает весьма невыгодное понятие о себе: мне кажется странно, что такие невесты находят женихов! Я не хочу ее сравнивать и с сестрою, а не то что с Над. Ег. или Ольгою Ег. Мне смешно было, как она хвалила Любиньку, излагая свои понятия о замужестве: что она не будет хозяйничать, ездить только по вечерам и с визитами. Пришло в голову и то: к чему ведет цивилизация, если дает этакie плоды — глупость и пошлость чрезвычайные. «Да, — она говорила Любиньке, — вы золото жена», и пр. в этом тоне. Мне было смешно, потому что я сравнивал эту сцену, когда Любинька слушает, и ей приятно, с тою, когда, напр., Вас. Петр. меня хвалил, и я слушаю, и мне приятно: ведь это когда другому говорят, видишь, что пошло и тривиально, а как дело дошло до тебя, то и развесил уши.

Должно сказать, что когда читал я, то, кажется, голосом твердым, очень порядочным, в котором не выказывалось волнения, а разве одушевление, да и то едва ли: голова не кружилась, был решительно спокоен, когда говорил с Никитенкою, т.-е. против его мнений, и только, как говорили, щеки разгорелись.

20 [октября]. — У Ворониных, чего я не ожидал еще, отдали 15 р. сер. Конечно, я, как раньше думал, 5 оставляю себе, главным образом, на шляпу, которая решительно изнашивается, а 10 само собою должно Вас. Петровичу. И вчера думал купить ему поль-

ские [булки] и принести, но не сделал, потому что это наделало бы толков о моей доброте. Ныне купил [булки] и отнес ему и 10 р. сер. Он ни слова не сказал, только несколько, да и то мало, пожал руку. О Никитенке думал мало, более о Вас. Петр. и том, как его дела и что будет и как тут должно делать мне — ничего не выдумал особенного. Потерял ключ, и поправка стоит 60 к. сер., я думал, что всего 15 — гадость. У Вас. Петр. посидел только 20 минут. Как пришел, пришел и Ив. Вас. и просидел более 3 часов, говорил все о Клейнмихеле и себе; нетерпенья у меня не было, но слушать я его почти не слушал — бестолково, это правда. Почти ничего не сделал, прочитал только несколько страниц из Hist. de Rév. d'Angl. и Мишле — все еще о Канте — и написал несколько строк Срезневского, т.-е. дописал тексты из Иорнанда и Прокопия о старожитности. — Что ключ потерял, сначала несколько огорчило, теперь ничего решительно, так как, что делать, 60 к. сер. потерял.

21 [октября]. — Чувствовал вчера вечером и утром ныне некоторый озноб, но более усталость в боках, как перед лихорадкою, и теперь тоже, хотя менее. У Грefe не писал ничего — не было чернильницы. Потерял ключик от часов. Хочу взять 3—5 [т. т.] Oeuvres politiques Гизо (о смертной казни, о заговорах и политическом правосудии, о средствах управления и оппозиции и истории Франции 1814—1820), не знаю только, не должно ли будет вернуть раньше Мишле. Досадовал, что долго не подавали огня, а когда прислуга спрашивала, не давать ли, говорят: нет еще. Я просидел полчаса и ужасно, т.-е. хладнокровно думал, что это гадко. После пришел Ал. Фед., принес [за] 8—15 «Débats», теперь читаю. Утром написал Срезневского страницу, теперь не пишу ничего — бока болят.

22 [октября]. — Утром Анна нашла ключик от часов, и поэтому 30 к. сер. остались целы, это хорошо, я их отдал вечером хозяйскому мальчику, который принес газеты из трактира, чтобы он приносил каждый день. Утром и почти до самого чая вечернего досадовал на помехи; после обеда затворился в маленькой комнате, чтобы писать для Никитенки, но ничего не написал, потому что был не в духе; дочитал [про] Канта, половину «Débats» прочитал. Вечером расположение было ничего, потому что прохладился как-то и потому что принесли газеты, и я теперь буду читать их каждый день, а также и потому, что читал «Путеводитель в пустыне»<sup>79</sup>, который принес Горизонтов; прочитал теперь 117 страниц — хорошо и пусто, так что ничего не остается, никакой пользы, кроме разве местных красок. Вечером сидела Катерина Федот. и показалась самым пошлым, гадким, надутым существом в самом гадком роде; наконец, дошла до того, что заговорила, как один молодой человек, брат жены ее брата, влюбился в нее и как был исключен из университета; настоящая гоголевская дама. Этот рассказ ее стоит того, чтобы быть записану; пустое, гадкое, самолюбивое, мерзкое, с своими притязаниями на светскость, грациозность, любезность и красоту существо; мне стало прискорбно думать, что эта

женщина читает что-нибудь порядочное и хвалит: ведь ее похвала — оскорбление, и неприятно думать о том, что порядочный человек может ей понравиться и она может избрать его предметом своих бесед и похвал и представлять себя влюбленною в него, а его в себя. Мерзость. — Писал несколько о Гете, ничего, однако, не написал; написал страницу Срезневского. Расстройство здоровья, кажется, прошло, — ел не так много.

23 [октября]. — Вчера читал речь Roux-Lavergne об избрании президента, и меня поразили слова, которые приводит он из евангелия: «Ищите раньше царствия божия и правды его и сия вся приложатся вам»: эта мысль решительно прилагается к миру и управляет его судьбами, это так убедительно, и с этого времени, благодаря R-Lav., который напомнил мне ее, она занимает в моем уме и понятиях такое же место, как «возлюбите друг друга», и «если меня изгнали, то и вас выгонят» и проч.; может быть, даже более места, чем эти мысли, потому что это в самом деле основная мысль, которая должна управлять всеми действиями и идеями человека, призванного действовать в государстве, и человека частного; которая, конечно, обоим трудна, но должна прилагаться, несмотря на то, что кругом их не признают ее, — эта мысль одна из существенных в христианстве.

Несколько думал вчера о своем тезисе, о котором спорил с Никитенкою, — что человек всегда и везде во все продолжение своей жизни и во всех кругах своей деятельности, во всех поступках своих решительно одинаков и что нет в нем противоположных свойств, т.-е. какие элементы в его уме и характере оказались господствующими в одном случае (должно только смотреть хорошенько и осторожно и принимать случай, факт не иначе как с величайшей осторожностью относительно того, что выражается в этом факте), но как скоро мы знаем, что выразилось в этом факте, то я утверждаю, что мы всегда во всех других фактах жизни этого человека найдем вслед то же самое. Конечно, между многими принципами, которые управляют понятиями и деятельностью человека, много разнообразности, и в данных случаях выражается то один, то другой, но мы говорим, что все эти принципы проистекают из одного общего начала, поэтому относятся между собою, как части одной системы, и никогда не могут не только противоречить друг другу, а даже быть в сущности различными друг от друга, и что в каждом факте, если рассмотреть внимательнее и глубже, чем, может быть, возможно для нас, мы найдем везде следствие, всего человека (как в каждой части материального мира отражается весь мир, и каждое событие в ней производится всем миром и всем существующим в нем, но для нас ближайшая по времени и месту причина заслоняет все другие), так что вся натура человека выражается вполне в каждом его поступке, только некоторые элементы, конечно, ближе и действительнее и более господствующим образом, чем другие, — напр., в еде выражается всегда весь человек, но, конечно, физическая сторона яснее для нас, чем духовная.

Когда я стал хорошо это обдумывать, то мне показалось слишком трудно приложить это правило везде и всегда к действительности (особенно, например, я не умею согласовать своего платонического увлечения и благоговения перед Над. Ег. и своих ночных походов, да иногда и дневных). Что же теперь: доказывает ли это, что я не так силен, чтобы увидеть, что противоречие только видимое и здесь и что в основании единства лежат принципы, которые допускают равно и то, и другое при данных обстоятельствах, или в самом деле (как и скорее может быть) мое мнение слишком односторонне и априорично, так что действительность противоречит в самом деле ему и отвергает его? И у меня родились две противоположные мысли о себе: что я поверхностная и мечтательная голова, которая слепо, наобум, с бухту барахту, вдруг болтнет и вздумает быть убеждена в том, что чорт знает отчего взойдет в мысли решительно случайным образом, что так скоро сам вижу свои ошибки, — и это скорее, может быть; или у меня так много не то что бы проницательности и не то чтоб глубокомыслия, а способности что ли выводить следствия из начал и прилагать быстрое начала к фактам и осматривать их с различных сторон, что необходимо тотчас мне представляются противоречия действительности с известным мне началом или этого начала с другим? Это, кажется, я выразил что-то не так, как думаю, но одним словом, открываю ли я противоречия в своих мыслях и так скоро начинаю сомневаться в них, оттого ли, что мысли в самом деле пусты и слишком неосновательны, или потому, что голова слишком крепка, и трудно убеждению выдержать напор этой головы и ее критику? — Мое мнение, о котором я говорил, состоит в том, что если, напр., человек устроен так, что он смотрит на цель, он всегда смотрит на цель (человек с сильною головою), если ставит средства вместо цели (тупая голова, не понимающая дела), он всегда будет думать так везде и обо всем, педант — во всем педант, человек, самоотвергающийся из разумных целей, всегда пожертвует собою для разумной цели (для разумной, это должно прибавить, потому что из-за вздора он и раньше не жертвовал и не хотел жертвовать собою).

Вчера ждал Вас. Петр., и Любинька сказала, что его давно не было. Я сказал: главным образом давно не был он потому, что много дела. Ныне вздумал, что получу, может быть, с нынешним письмом деньги и их хочу отдать уж Терсинским, а не Вас. Петровичу, потому что совестно, что так давно живу у них и ничего не давал им.

Вчера мне понравилось мое сравнение, которое я сказал, когда ушла хозяйская дочь, Терсинскому, — она говорила, что она обратила какого-то развратника: «как свиньи обратили блудного сына», — это мне показалось остроумно. Ныне утром читал снова Купера, хотя вздор решительно относительно пользы и анализа души человеческой, — ничего нет, ни характеров, ничего, разве только местные типы тех мест и того времени, так что это род

исторического или лучше — этнографического романа, а между тем я так еще не развит, что легче читается этот вздор, чем Гизо или Мишле. — Это все писал у Фрейтага.

Когда пришел из университета, читал «Débats», чтоб отнести Ал. Фед. Когда дочитал, отнес ему. Конечно, не застал, как и хотелось, а взял [за] 16—19 октября. Потом читал и спал, и хотя теперь половина десятого только, ложусь по предложению Любиньки, чтобы встать раньше завтра.

24 [октября]. — День прошел занимательно довольно и без неприятности, хотя без пользы почти (т.-е. для письменного дела) и с некоторым сожалением и тяжестью, что я не пишу Никитенке на всякий случай. После обеда принимался, да не делалось \*, я и оставил до завтра. Любинька снова спрашивала, что я давно не был у Вас. Петр., я сказал, что ныне жду его, и если не придет, пойду вечером. Конечно, это говорится так же, как я сказал это Ив. Гр. о Горизонтове, так, по учтивости дружбы, но все-таки мне весьма приятно. Читал и прочел «Débats», списал имена подавших за и против министерства Дюфора 16 октября. После немногого конца 12-й части Беккера о переходе терроризма в Директорию (это вечером решительно) и теперь буду читать Мишле. Купера дочитал, — патетические места весьма у него напоминают Любинькину улыбку: знаешь, что чувство выражается доброе, а приторно и кисло (при этом, конечно, вспомнил В. П. и Н. Ег., у которых этого нет), говорят действующие лица так красноречиво, как не следует говорить. — 10 ч. 35 м.

25 [октября]. — В библиотеке еще не было вынута «Revue», и я читал Гизо предисловие к «О теперешнем положении истории Франции» — прекрасно, так что увлекаюсь, и видно, что писатель велик, как и мыслитель велик, — итак, до того времени, т.-е. до 1820 г., он был уже членом королевского совета, т.-е. министром или товарищем министра! Этого я не знал. Когда вышел от Срезневского, он остановил меня и сказал: «Правда ли, что вы начинали дело, но оставили?» — «Да, оставил», — сказал я спокойным голосом, между тем как думал, что скажу взволнованно и, как обыкновенно, чрезвычайно мягко, почти рабски. — «Решительно оставили? а это жаль». — «Покорно вас благодарю, но так вышло, что я должен был оставить». — «Да что мне в вашей благодарности, а лучше бы вы дали нам дело, с вашею аккуратностью (которую он мне приписывает, что хорошо, и кроме которой, кажется, ничего не приписывает, что, конечно, не так хорошо, хотя решительно так, справедливо) вы бы сделали хорошо». — «Покорно вас благодарю».

Когда пришел, пришел Мотинька, после Ал. Фед., принес [за] 20—21 октября; газет мальчик снова не принес; просидел до 8 часов. Мотинька просил (он приходил прощаться) проводить его в четверг в 6 час. в почтовой карете; я сказал, что буду и верно

\* Неразборчиво. Ред.

посижив у Вольфа. Он, мне и теперь показалось, смотрел на меня с любовью, а я ему не отвечаю — что делать, человек ленив, это один из главных его пороков и причина большей части неприятности и горя. После писал Никитенке; после письмо; после вот это, теперь ложусь читать. 12 часов. Завтра у Грефе не буду. Деньги получил и отдал Любиньке, она стала говорить: «За что? я стану теперь считать себя тебе должной». Я, как обыкновенно, промышал, что нет.

26 [октября]. — Встал в 6 часов, прочитал раз Никитенку, это до 9 вышло; после в 10 ч. пошел в университет, — читал Гизо, Историю Франции после 1814 г. Никитенко, когда вошел, спросил Корелкина и Главинского: «Вы будете читать?» — «Нет, — говорят, — Чернышевский». — «Очень хорошо, — сказал он мне, — я хотел тоже ныне говорить о критике. Извольте начинать, или начну я, как угодно». — «Если вам угодно говорить, — сказал я, — то я буду читать после, потому что ныне я верно не успею кончить». — Не знаю, заговорился ли он, или понял меня не так, ~~а~~ что я сказал, что буду лучше читать в следующий уж раз, но читал всю лекцию, и я ничего не читал. Волновался я несколько перед его приходом, думал и теперь несколько думаю, что, может быть, это и оттого, что он не хотел слушать меня, потому что дрянно и скучно и некстати ему показалось тогда же, в первый раз, и так и останется, может быть, недочитанным.

Вечером хотел быть Корелкин, и поэтому я стал ждать его; пришел с Поповым, просидели 1½ часа, в 7 ушли. Я тотчас к В. П., где просидел до 9½; играли в карты, я шутил и смеялся относительно Над. Ег., т.-е. то притворялся, что плутую, то что-нибудь другое. Она смеялась этому, но, может быть, также и показалось ей это, наконец, некстати, что с ней шутят. Вас. Петровичу обещает похлопотать о месте, которое приносит 2 000, брат тех, которые живут у Невского и у которых он раньше давал уроки. Теперь сплю. Куторга отказался подписать Гизо.

27 [октября]. — Прислугу отвез Ив. Гр. в Калинкину больницу. Был Вас. Петр., говорил, что чувствует, что с ним чахотка. Тотчас у меня зародились мысли: как же это? что будет с Над. Ег.? что буду обязан делать после него? должен поддерживать ее? как должен? Раньше у меня в этом случае выходило в мысль жениться на ней, теперь нет — разочаровался почти и вижу в ней, конечно, не то, что Любиньку, какое сравнение, а так, только весьма хорошую в сравнении с другими женщину. Это известие мне было неожиданно и горько и как [бы] оглушающее, но сердце теперь у меня не болит, — хоть горько, но голове, а не сердцу, которое не волнуется, но все-таки это что-то поразительное и приводящее в недоумение, думать, что он умрет. Пришло в голову тотчас просить Срезневского о месте в журнале ему; после вздумалось: пускай кончится то дело раньше, что хотели ему похлопотать о месте письмоводителя, где мало работы, жалованья 2 000 и награды. Жалкая, горькая участь человека, такого как он! —

Написал о племени сербов Срезневского, тотчас как Вас. Петр. ушел. Утром чувствовал в голове не хорошо и вздумал, не от боли ли это в...

28 [октября]. — Это пишу у Фрейтага. Утром вместо Грфе был в библиотеке, читал 1843 г. «Revue d. d. Mondes» и ничего нового не прочитал. Из университета был у Вольфа, просидел до 5 час., читал несколько «Отеч. записки», прочитал «Illustr. Zeitung» за 21 окт., там бранят Вену; узнал, что она взята<sup>80</sup>. В 5 час. пошел проводить Мотиньку; после пришел Олимп. Мне несколько приятно было, что я увижусь с ним; проводить у меня ровно никакого чувства не было, ровно ничего, ни хорошо, ни худо. После воротился домой, поел хлеба, после чаю уснул, и мне показалось, что так утомился, что не стал писать вчера вечером это (это в первый раз не пишу вечером), а оставил до утра, так и сделал. Какие мысли были вчера, ничего не могу хорошенько сказать, только думал о Вас. Петр. и его чахотке.

29 [октября]. — Теперь буду писать более об этом. Думал, как быть с тем, чтоб он не умер? Что будет, когда он умрет? Тут моя мечтательность открывает себе широкое поле и прогуливается по нем. Я давно уже об этом думаю (все равно, как, напр., о том, как отомстить попечителю): вот он говорит, что умрет, что убьет себя или что-нибудь этакое — что тут будет? Какие будут мои отношения к Над. Ег.? Конечно, я должен поддерживать ее; может быть, должен жениться на ней и т. д. в самом целомудренном духе, конечно, в самом тихом и грустном, конечно, и теперь думаю так: она останется без всякой помощи, — у отца жить мученье, потому что пошлый человек, дурная будет жизнь, в том роде, как обыкновенно изображается жизнь сироты и воспитанницы в повестях, или как, напр., жизнь Александры Григорьевны у своего отца (Клиентова). Я, конечно, как человек, который любил Вас. Петр. как никто, конечно, во всяком случае, как я никого не любил, как его брат, должен употребить всю свою жизнь для нее, должен жениться на ней, потому что так ведь нельзя жить молодой женщине и принимать помощь от человека вроде меня, тоже молодого. — Итак, вот роман, как он представляется в моей голове: человек, какие редко бывают на земле, пропадает; у него остаются жена и друг; я, пока в университете, должен употребить все усилия (для этого прибегаю тотчас к Срезневскому, чтобы достал место в журнале; если не удастся — к Никитенке; если нет — сам снова к Краевскому; если нет — в «Современник»; если нет — даже к папеньке, которому объясняю положение), чтобы она не могла терпеть ни в чем недостатка, даже должен всеми силами стараться о том, чтобы она жила в довольстве. Я бываю у нее редко, потому что бывать часто нехорошо для ее репутации, и потому что и сам я не должен подавать никому повода догадываться о наших отношениях и о романтической привязанности к покойному, а если я буду часто бывать, это нельзя будет скрыть (где я бываю) от своих, от Ал. Фед. и Ив. Вас. Когда он умирает, я ничего никому



не говорю, не показываю ровно никакого признака, никто кроме меня не должен из нашего круга знать об этом; итак, я редко у нее бываю, ничего не говорю ей о наших отношениях, — если можно, она не должна знать и о том, чьи это деньги, и должно стараться об этом. Жить должно ей одной, взяв к себе какую-нибудь старуху, или что-нибудь в этом роде. Когда я кончу курс, устраиваю все свои дела, решаюсь на бракосочетание. Должен сказать, что я об этом думаю так, без особенного волнения, и подобные мысли не только в этом одном деле, а и везде и всегда и во всем всегда бродят у меня в голове, т.-е. что я мечтаю или, лучше, думаю, как Манилов, о том, как «и вот они с Павлом Ив. в прекрасных каретах, и как слух об их дружбе распространяется везде, как даже высшее начальство узнает об их дружбе и пожалует их за это генералами». То, что вообще я никогда не могу оставаться в границах мечты сколько-нибудь рассудительной, а всегда зайду чорт знает куда и думаю чорт знает что о себе и приключениях со мною. — напр., хоть постоянные мечты о том, как я отомщу этому гадкому попечителю, и раньше, напр., о том, как император, призвавши меня к себе, говорит: «Вот ты изобрел машину, которая превращает вид шара земного, избавляет всех от работы телесной и лишений, которые терпит человек в мире физическом, — что тебе надобно?» — «Переведите сюда в Сергиевский собор моего отца» и проч. в этом роде. Я давно уже мечтаю в этом роде, точно так же, напр., о том, как Вас. Петр. будет жить роскошно; о том, напр. (в августе или, собственно, в июне), как во время именин Над. Ег. они будут иметь уже, конечно, хорошую квартиру, и я туда с радостью в сердце являюсь поздравлять Над. Ег., или, напр., о своей свадьбе и проч., да и вообще я всегда замахнусь куда вовсе не следовало и не было никакого повода заноситься. Но когда я раньше об этом думал, не входило в мои мысли двух элементов, которые вошли ныне утром: во-первых, ее согласие? Как могу я так легкомысленно думать, что это будет зависеть от моего предложения, а что она, конечно, согласится? Разве я не знаю, что хорошего во мне мало? Потом — каково будет это принято папенькою и маменькою? Но в этом отношении едва ли будет сопротивление, а если и будет, то ведь только отрицательное, и я скажу: «Если вы не хотите, конечно, я не женюсь на ней; но само собою, я не могу жениться и ни на ком другом, — как угодно». Кроме этого, я должен сказать, что если б это было за три месяца, я стал бы думать о том времени, когда буду ее мужем, с наслаждением, потому что такой женщины никогда, казалось, трудно найти в мире, т.-е. я был уверен, что буду решительно счастлив с нею, а теперь думаю о том, буду ли счастлив: ее необразованность смущает меня; то, как она обходится с кошками, т.-е. ее голос, как она говорит: Микишечка (так она называет котенка, — уже и самое имя это мне не нравится), мне кажется не совершенно хорошим. Когда она начинает ласкаться к Вас. Петр., мне тоже кажется, что некоторые движения не со-

вершенно грациозны и т. д., так что у меня рождается сомнение, буду ли доволен я этим, т.-е. буду ли смотреть на нее, как на существо высшего разряда.

Странно сказать: серьезно ли у меня бродят в голове все эти мысли или нет, или я их просто считаю за сон, бред, роман — этого нельзя сказать, этого я не могу решить; кажется, это принадлежит к тому же разряду, как, напр., мои мысли о коммунизме и решительном господстве этой системы; не могу сказать, что это только мечта, а спросите: «Да неужели вы думаете, что это что-нибудь такое положительное в будущем, как, напр., то, что вы кончите хорошо курс, или что человечество, конечно, достигнет многого, что теперь кажется невозможным для достижения?» — конечно, я должен отвечать: «Нет», а между тем, эти мысли хотя и не волнуют меня, а все-таки странно — ведь толпятся в голове, и нельзя сказать, чтобы мало занимали; конечно, занимают не бог знает как, а ведь думаю о них. Какой странный я человек, пре-мудрый.

30 [октября]. — Утром писано о вчерашнем дне, т.-е. о 29 окт. — Был у Ворониных, как обыкновенно. Залеман принес 14-ю часть Беккера, о которой я говорил ему несколько времени назад (когда он был у меня), и я читал ее. Итак, Гизо всегда был последователем одной и той же партии, исповедывал одни и те же начала — хорошо, я его уважаю — един всегда был в теории и практике.

30 [октября]. — Как Антон не подал самовар во-время, то я не успел к Фрейтагу. Взял письмо на почте; после в библиотеке сел читать «Revue d. d. Mondes» и позабыл было о письме; вспомнил, и когда стал распечатывать, — сердце билось: в этом письме должен был быть ответ на мое письмо, в котором говорю о неудобстве квартиры. Хорошо, — отвечали так, что меня обрадовало. Теперь жду случая сказать об этом им; так, я имею доверие от папеньки и маменьки. Третью лекцию также читал в библиотеке. Перед четвертой, с Корелкиным когда остался в аудитории, как это обыкновенно теперь бывает (я не выхожу в коридор, потому что мне смерть не хочется встречаться ни с кем, ни с Алекс. Иван., ни с кем из суб-инспекторов, так, по какой-то всегдашней моей антипатии видеть тех, кто имеет право сказать что-нибудь мне), в аудитории никого обыкновенно не остается на несколько секунд. раньше всех приходят назад обыкновенно Корелкин и Соколов, — так я с Корелкиным стали выжимать губку, которая была уже сухо выжата: он не мог выжать воды обеими руками, я два раза, раньше и после его пробы, выжимал одною. Это мне было приятно — так, в самом деле, странен человек: я весьма рад своей телесной силе, весьма рад и доволен ею и случаями выказать ее.

У Срезневского сели мы с ним, и у нас не было чернил, так что должны были пересесть — я к Тушеву, он к другому месту. Несколько дней у меня явилась мысль о том, что я слишком много говорю в аудитории с Корелкиным, и это мешает моему сближе-

нию с другими студентами, и я как-то стал от него отстраняться, т.-е. первый не стал заговаривать с ним, да и пошлым мне он стал казаться, хотя хорош тем, что я всегда господствую над ним своими мнениями и имею свободу говорить их. — Когда пришел, хотел идти к Вас. Петр., но дожидался чаю, а его подал Антон только в 7½ час., поэтому не пошел. Читал 14-ю [часть] Беккера и писал Срезневского; дописал до собственных имен, как доказательства родства между славянами и немцами. Теперь половина 12-го. Купил почтовой бумаги в магазине подле Юнкера (у Косковского \* в доме) и конвертов на 50 коп. сер.

31 [октября]. — Вчера день прошел ровно без всякой пользы. Ничего не думал. Только слегка головою чувствовал досаду, что мешают. Весь день читал сначала «Сын отечества»<sup>81</sup>, после роман Купера «Последний из могикан». Все это хорошо, если угодно, но ничего нет, ни характеров, т.-е. типов, ничего, а только чудачки и герои в различных формах. Это не то, что Гоголь, и читать его можно только раз (это писано поутру). Ходил к Вас. Петр. и не застал обоих и был отчасти доволен этим. Пойду ныне.

## Н о я б р ь

1 [ноября]. — (Это пишу снова поутру на другой день.) В университете виделся с Вас. Петр., который сказал, что получил приглашение явиться в театр и пойдет завтра, т.-е. нынешний день. Дай бог успеха. Вечером был у них. Застал Ив. Вас. и в 8 час. пошел к нему. Он был мил, а я сначала несколько обрешивал его, так что Над. Ег. смеялась (за то, как мог приходить в пальто). Вас. Петр. сказал еще, что то место, которое предлагают, зависит от того, получит ли сам тот, который предлагает, то место, о котором теперь хлопочет, потому что это право его — тогда будет место писмоводителя. У Устрялова вчера, во второй раз уже, не писал ничего — не было чернил — и теперь решился носить их к нему, однако, что нельзя будет писать — не догадывался.

2 [ноября]. — Написал домой два письма: одно вложил Ив. Гр. со своим и сам отнес; другое, в котором я написал ответ на доверенность ко мне и что теперь обстоятельства изменились и сами верно Терсинские перейдут с квартиры, отнес я сам. — Никитенки не было. Я дочитал историю (3 том) Гизо в университете — великий человек, он переменял несколько мои мнения и, как сам думает, что *souveraineté* \*\* принадлежит не народу, а *au droit, à la justice* \*\*\*, и решительно убедил меня в своих мнениях, которые излагает там, — человек гениальный решительно, что за светлость ума и взгляда, что за сила в мыслях, что за логика в доказательствах! И он решительно приверженец новой Франции, как называет ее там, — и между прочим после этого для меня еще тем-

\* Неразборчиво. Ред.

\*\* Верховная власть.

\*\*\* Праву, справедливости.

нее, как мог он ошибиться и пасть — рок увлек этого человека! Но я верю в совершенную чистоту его.

Дал Курторге подписать Droysen Alexander der Grosse, чтобы вместо этого взять Гизо IV и V томы. После был в бане, где было весьма много народа, так что мне было неприятно, шум, крик, воды не дожدهшься, и поэтому я, кажется, плохо вымылся. После писал Срезневского. (Да, я ему, как и думал, сказал, что вчера он говорил, читая Паннона житие Кирилла, что Амвросий волхв (он говорит: верно эмир) и что ответ Кирилла: «Я внук изгнанного царедворца» — должно понимать в богословском смысле, — что «я внук падшего Адама». Он сказал, что это уже думали, но что это не так и что здесь в самом деле пропущено несколько строк в ответе, где Кирилл говорит о достоинстве своего отца. Кажется, я слишком настаивал на своем мнении в последнем случае, так что показался ему долбоголовым, но говорю решительно без всякого ощущения и предзанятия и думы об этом: это хорошо, новый шаг к устранению робости и глупости.) Дописал до литовских слов в славянском для Срезневского.

Прочитал 10-ю статью о Пушкине Белинского («Борис Годунов»), которую взял вчера у Ив. Вас.: в самом деле, снова хорошо писано, и мне кажется, что взгляд во многом весьма отличается верностью и большими сведениями в истории человека вообще — во всем, может быть, верно, разве только замечание «Борис не гений, а талант, а на его месте мог удержаться только гений» несколько преувеличено или, как это, переходит в декларацию мысли; в самом деле, Белинский был тогда не то, что в последних своих статьях, где пошлым образом говорил о романтизме и проч.

3 [ноября]. — (Это все писано 5 числа утром в 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> час.) — У Никитенки: он предложил взять списать свою программу с тем, чтобы, кто возьмет, тот бы и отвечал за целость. Залеман, который сидел ближе, взял и после лекции сказал: «Господа, я вам дам список, а подлинник возвращу, чтобы он не был замазан, потому что я за это отвечаю». Другие стали говорить, что нет. Он сказал, что не может отдать другим, потому что отвечает за это. Я сказал высоким своим голосом, как обыкновенно говорю, напр., вздор, т.-е. пронзительно и высоко: «Если вы не хотели давать другим, так зачем же вы и брали? взял бы другой и передал бы другим». — «Ну, если угодно, я и отдам». После пошел я в библиотеку и получил от самого Лерхе Гизо, замавав Droysen IV и V томы, а боялся, что не получу, потому что много книг у меня и потому что замазан билет (это последнее, однако, знал, что ничего). Вечером читал «О смертной казни» Гизо — превосходно, превосходно, свидетельствует о глубоком уме. Почти дочитал.

4 [ноября]. — Утром читал Гизо, дочитал о смертной казни (конец V тома) и прочитал 40 страниц IV тома: о средствах управления и оппозиций — превосходно. После пошел в университет в

библиотеку, а не к Грефе. — Мост разводили, и я зашел к Вольфу на полчаса, пробежал газеты, ничего не брал, а хочу зайти завтра почитать газеты и «Современник» и «Отеч. записки». Оттуда зашел к Алекс. Фед. взять и взял «Débats» 22—28 окт. и до этого времени читаю их. Вечером был у Вас. Петр., пил чай; у Над. Ег. узнал, что болит голова, она хотела лечиться, и поэтому ушел в 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Вас. Петр. сказал, что еще не было испытания, а будет ныне (т.-е. 5-го, в пятницу утром). Признаюсь, что я как-то мало волнуюсь этим и им вообще, хотя думаю попрежнему, — вот что значит: без поддержки огонь затухает, и остаются только искры в пепле. Стало досадно, как это охладевает наша связь, и я ничего не делаю, т.-е. не делаю ничего для того, чтобы она могла возобновиться, т.-е. для перемены квартиры, или чтобы разойтись с Терсинскими, и решил говорить как можно скорее, т.-е. во-первых, узнав, что его дело кончилось хорошо, потому что я тогда могу располагать деньгами.

5 [ноября]. — Утром были Ив. Вас. и Вас. Петр., который сказал, что ничего еще нет, но завтра будет решено. Над Ив. Вас. смеялся и много колол глаза ему графом<sup>82</sup> и дорогами. Просидел с час, ушел. Мне стало несколько досадно, что вот прекратились наши беседы с Вас. Петр., а все от моей глупости. Дочитал «Débats». После обеда не хотели зажигать огня; хотя было весьма досадно, что не зажигают, так и просидел 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа в потемках, а зажигать сам не стал. Когда уходил к Ворониным, Любинька сказала: «Ну, зажги же мне огню», — это патриархальность. Занес «Débats» Ал. Фед.; он толковал, как обыкновенно, о своих делах, как и Ив. Вас., и мне было довольно скучно; однако к скуке я привык, так что, если можно так сказать, она мне уже не скучна. Перед уходом к Ворониным, да и после прихода, бесился головою на себя и свою глупости, которые довели меня вот до того, что чорт знает, в каком отношении к Терсинским, да не имеею свободного времени, нельзя ни читать, ни писать, не могу выпить чашки чаю. — Дурак!

Хотел сказать, но останавливает Любинькина болезнь, а что останавливает? ведь предложи Зуров квартиру, конечно, болезнь не помешает переехать.

11 часов. — Срезневского дописал до Новгорода\*. Завтра хотел идти к Вольфу, теперь не хотелось идти, но завтра, может быть, будет досадно сидеть дома, а после чаю побываю у Вас. Петр. узнать. Гизо произвел некоторое впечатление, так что я теперь как бы колеблюсь говорить, что должно бы дать *suffrage universel*\*\* теперь, может быть еще рано, потому что еще не воспитана большая часть народонаселения. Но как бы то ни было (прибавлю свои старые мнения), это отвратительно, что одна часть населения господствует над другой.

\* Неразборчиво. Ред.

\*\* Всеобщее избирательное право.

6 [ноября], суббота. — Утром в 12 час. был Вас. Петр., — итак, я весьма хорошо сделал, что не пошел к Вольфу, а не пошел потому, что думал, что должен буду быть у Ворониных в понедельник, а лекций не будет, так поэтому и просижу у них; нет, мосты есть, в понедельник праздник. Вас. Петр. смеялся над Ив. Вас. (Ив. Гр. не было) с Любинькою и говорил довольно много, как Ив. Вас. невежлив с ним и с Над. Ег. Это мне не понравилось: к чему говорить о себе, что кто-нибудь не уважает его? — Сказал, что снова ничего не было, а будет завтра, т.е. в воскресенье, потому что ныне не было русского режиссера. Посмотрим, будет успех или не будет ничего. Хотел быть завтра. «Если не успех, — говорит, — не дай бог, если не успех». Я опасаясь за него, если он не успеет. Говорит, что грудь болит жестоко, днем ничего, а ночью; кровь не идет.

Я весь день писал Срезневского и написал всего Нестора, так что теперь остается всего, пожалуй, 4 листка; завтра думаю написать два (едва ли напишу, однако), однако, должен буду кончить к субботе, чтобы отдать Срезневскому. Под вечер была несколько тяжела грудь. Читал о средствах управления около 30 страниц, теперь на 110-й странице. Ложусь. Половина 11-го.

7 [ноября], воскресенье. — Утром, как встал, стал писать Срезневского. Писал почти весь день. Утром был Вас. Петр., сказал, что началась генеральная репетиция и что ему велели в 1 час приходить. Вечером был Ал. Фед. и другие гости у Ив. Гр.; я был ничего, ни в хорошем, ни в дурном расположении. Завтра вечером буду у Василия Петр., утром, если не будет лекций — у Вольфа. [Из] Срезневского написал Константина Порфирородного, Александра и начал писать Анонима Баварского, — итак, почти сделал, что хотел сделать, и теперь остается только два листка, и кончу это во вторник. — Читал Гизо и дочитал до 190-й стр. — Ив. Гр. от Зурова принес «Les femmes de la Bible», я смотрел, сравнивал с Над. Ег. и ища красавицы — ни одного лица, кроме разве Аталии, где есть выражение, и матери Макавеев, т.е. пожилых женщин, и это полные госпожи — ничего решительно и портрет Над. Ег., конечно, не уступит ни одной из них.

8 [ноября]. — Начало дня было проведено в хорошем расположении духа. Проснулся рано, дописал текст Анонима Баварского и, взяв с собою чернильницу и целковый, пошел к Ворониным, чтобы оттуда в университет. Думал, у Ворониных будет праздник и пропадет урок, — нет. Когда шел в университет, туда через мостки, мостки начали опускаться в воду, и у меня явилось не беспокойство, нисколько, а так, обыкновенные мои забегающие вперед мысли о том, что могу утонуть. У Вольфа прочитал в «Отеч. записках» № 11 Даля, «Маруся»<sup>83</sup>, понравилось (где упырь) и думал, что хорошо такие вещи, которые резко характеризуют наши поверья, но вместе и жизнь простого народа, перевести, напр., на французский. — Записки Шатобриана<sup>84</sup> также, и живость и естественность тех сцен его детства, которые он рассказывает, весьма

понравились; это что-то вроде «Wahrheit und Dichtung» Гете, и хорошо, что он подписывает числа, когда писано, весьма хорошо, но слишком как-то есть туманность в расположении и порядке всего, как-будто теряет беспрестанно нить; может быть, это показалось только потому, что читал я в кондитерской, где, однако, было весьма тихо и нисколько не мешали.

В Берлине от 12-го и 13-го числа известия в «SPB Zeitung» весьма меня взволновали приятным образом: «Мы уступаем силе, не будем призывать к войне, — говорят депутаты, — а спросим наших избирателей: если они скажут, что мы действовали так, мы будем продолжать действовать, если нет, — нет; а восстания, вооруженного сопротивления в Берлине мы не хотим, потому что не один Берлин должен интересоваться нами, и если мы справедливы, восстать за нас, а все государство, все 16 миллионов»<sup>85</sup>. — Весьма хорошо! весьма хорошо. Я тогда сказал — молодцы! и дорогою несколько раз сказал — молодцы!

За обедом говорил несколько об «Отеч. записках» Ив. Гр., хотя давно стараюсь приучить себя ничего не говорить, особенно о том, что несколько относится ко мне и к моим чувствованиям и впечатлениям (однако я это так записал, а не потому, чтобы мне было неприятно, что я говорил ныне, потому что говорю весьма вообще и весьма мало). Ив. Гр. сказал, что Ив. Гр. Виноградов просил сказать Ал. Фед., чтоб увиделся с ним. Я взял это на себя, потому что должен был идти за газетами. У Вас. Петр. встретил Ив. Вас. в халате, — это уже слишком по-свински, — а он так глупо-добродушно еще говорит: «А я нынче вот как». Хорошо, что не было дома Над. Ег. Я принял свой тон, каким читаю ему проповеди, только посерьезнее обыкновенного, и сказал: «А что же, разве это хорошо?» — «Ну, вы все хотите заковать в форму». — «А учтиво было бы с моей стороны идти к вам этак?» — Он переменял разговор и сказал: «Вот вам записка, прочитайте». — «Да ведь вы здесь, так скажите сами, зачем же записку?» — «Да прочитайте». — «Не стану читать: зачем, когда вы сами здесь?» — «Ну, я говорю». — «А я не прочитаю». — Взял записку, не развертывая, повернул ее спинкою, после развернул, оторвал полулист, на котором было написано, и, держа к себе задом, зажег на свече (я сидел на диване к окну, Вас. Петр. к другой комнате, Ив. Вас. подле меня у окна на стуле). — «Жаль, — сказал он, — было написано весьма интересное». — «Тем хуже для меня». Мне хотелось так поругаться над ним в глаза, — может быть, и догадается, что мне такая его невежливость кажется глупой. — «А моя хозяйка»... — «Да что? вы хотите жаловаться на то, что не уважает вас? Да делайте сами то, что требуете от других, ведь вот вы никого не бьете, и вас не бьют; уважайте других, и вас будут уважать»... — «Ну, вы, кажется, хотите читать мне самому проповеди вроде тех, как вот видел я книжку, в которой собраны изречения греческих мудрецов, так что в 10—12 фразах вся его философия вроде —

— «Что ж такое? Извините, что я вам скажу это в глаза — ведь вы и этого не выдумаете». — Чтобы не пришла Над. Ег. и не застала его в его белом тулупчике, я встал и взял шляпу. Ему должно было встать, чтобы пропустить меня, а может быть, он и сам встал, для того, чтобы тоже идти, мне было все равно. — «Вы тоже идете?» — «Иду». — И пошли. Как вышли, я спросил: «Вам, я думаю, холодно в этом тулупчике?» (Мне хотелось узнать, не надет ли по крайней мере под ним сюртук, хотя я знал, что нет, но в эту минуту мне пришло сомнение.) — «Нет, не холодно, ведь вот — распахнул — это (т.-е. его красный плюшевый халат) греет не хуже шинели». Ах, какой скот! Итти так! к даме!

Я был несколько доволен, что так его отделал, хотя он этого нисколько не понял и принял за пустую шутку, нисколько не относящуюся к его настоящему состоянию. — У Вас. Петр. еще ничего; завтра должно решиться. Я сказал, что зайду; после пошел к Ал. Фед., поджидал его там, все ничего, был в очень порядочном расположении духа; как вышел вместе с ним (он принес 29—4 ноября мне), меня разобрала досада на свинство Ивана Вас., и я тут же сказал, что во мне вдруг взорвало сердце на Ив. Вас., и весь вечер после этого было гадко. Я когда пришел домой, стал досадовать на Терсинских и на себя. У Вольфа пил кофе, сдачи 85, итак взяли 15. Мне приятно, что мальчик тотчас подает журнал, когда я ему скажу.

9 [ноября]. — 10 час. утра, наливаю чай. Я не знаю, пойду ли в университет, если будут лекции. Меня сильно интересует Никитенко, — скажет ли мне он что-нибудь о моем Гете, или нет; но есть другие стороны: почти наверное знаю, что моста нет, потому что сильная оттепель и вчера не было моста и, кроме того, может быть, зайдет Вас. Петр. из театра и, кроме того, хочется ныне дописать, а если можно, [то] и кончить корректуру Срезневского. Утром ныне дописал мнение об Анониме Баварском и дописал до Адама Бременского, который и Гельмольд остаются только одни.

5¼. — Кончил Срезневского и помолился, однако, холодно. Думаю теперь отнести на дом к нему, чтоб иметь случай поговорить с ним — или о медали и почему я не писал, или о том, не достанет ли нам с Вас. Петр., если можно обоим, а если нельзя, так хоть одному ему, места в журнале, если понадобится ему, т.-е. если он не успеет здесь в театре. На этом несколько основываются мои планы, хотя должно сказать, что я не верю в их осуществление, а знаю, что это пройдет так. Если успею прочитать, отнесу завтра, если нет — в четверг, если не будет моста.

6 час. 10 мин. — Я сшиваю тетради Срезневского. Марья воротилась из аптеки и рассказала, как она ошиблась и прошла мимо своей улицы, когда шла назад, — и я вздумал: это ее занимает, — так всякий ничтожный, т.-е. не имеющий никакого отношения ни к какой идее случай, чисто минутный случай, интересует человека,



стоящего на самой низшей ступени развития; чем больше развивается он, тем более его мысли и внимание обращаются к общему, к постоянным интересам, к постоянным мыслям, напр., хоть о своем возвышении или приобретении чего-нибудь, тем более приобретает для него важности все, что относится к этому, и тем менее важным, менее занимательным, более ничтожным становится все, не имеющее к этим постоянно занимающим его мыслям отношения; так все идет к идее и все полнее и постояннее и глубже проникается ею и сознанием ее, и все более и более теряется из глаз развивающегося существа частное, индивидуальное, и если имеет какую-нибудь цену, то что имеет отношение только к идее. И вот вам в опыте доказательство, или, лучше, не доказательство, а пример, или не пример, а, как это сказать (ну, я говорю, что на дереве есть листья, и показываю на дерево тому, кто спрашивает у меня доказательство), частный случай из общего правила, что все из идеи, что идея развивается сама из себя, производит все и из индивидуальностей возвращается сама в себе: развитие идеи по Гегелю.

10 час. 40 мин. — После чаю пошел к Вас. Петр.; пришел туда в 8 час., просидел почти 1½ часа; он был один дома; смеялись над Ив. Вас. и Терсинским. Над Ив. Вас. я довольно злобно, над Терсинским с некоторым участием; он сказал, что Любинька что-то весьма плоха, — кажется, как будто не будет долго жить, что лицо как будто мертвое и уши желтые, а я этого ничего не замечал. Это на меня ничего не произвело. У него ничего еще нет, сказал об этом своему хозяину, потому что он помощник режиссера и от него уже нельзя будет скрыть, а после этого должно будет сказать и Над. Ег., которая, думает он, не скажет своим, потому что отец говорит, что актеры прокляты. Хозяин сказал, что это все проводят его, и должно просить директора, который иногда и сам берется за эти дела и живо ведет их.

Я говорил ему, чтоб он прочитал мне, что писал, потому что кажется, что когда я пришел, он писал; он не хотел, сказал, что не писал. — «Да писали». — «Ну, [а] вы пишете?» — спросил он меня. — «Как же, пишу и уже 3-ю часть романа теперь пишу». — «Ну, прочитайте мне». — «Тогда и вы прочитаете?» (У меня родилась мысль написать и прочитать что-нибудь, все равно, хорошо или нет напишется, чтобы он прочитал также, потому что мне хочется узнать, как он пишет; если, как я думаю, весьма хорошо, то этим можно воспользоваться.) — «Конечно». — «Ну, так, конечно, я прочитаю, только что? С начала или самые лучшие места? мне кажется, что лучше самые лучшие места?» — «Ну, как хотите», — сказал он шутя, а я не шутил, чтоб только он прочитал, и когда шел, дорогоу вздумал писать рассказ о Лили и Гете, который ввел в то, что читал Никитенке, только в обширном размере романа. Напишу — так напишу, не будет писаться далее, так напишу только начало, чтобы прочитать Вас. Петр., и меня нисколько не оскорбит, если будет дурно, потому что я не сомневаюсь, что,

может быть, я не одарен этою способностью или еще слишком молод и неопытен; но может быть будет и хорошо (в этом подкрепляет меня отзыв Никитенки об очерке характеров отца Гете и матери его). Итак, верно буду писать. Прочитал перед уходом к нему и после, сейчас 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> листа и завтра вечером, может быть, отнесу. Ныне открыл утром новую манеру писать набело, как написаны последние страницы Срезневского, — весьма мелко, так, чтоб буквы были в вышину немного более того, чем теперь писано здесь и выходит гораздо красивее, чем прежний, довольно крупный почерк; кажется, теперь буду держаться этого мелкого письма набело.

10 [ноября]. — От Ворониных зашел на несколько минут к Вольфу, оставаться было некогда, потому что должно было дочитать Срезневского. Ничего нового не прочитал. В 4 час. 20 мин. кончил корректуру Срезневского, и Любинька, когда заметила, что я хотел идти, сказала, не хочу ли выпить раньше чаю; я сказал, что очень хорошо, и в 5 час. 20 мин. вышел. Срезневский несколько секунд заставил меня подождать, потому что дописывал мысль в программе, которую готовит по требованию министра для представления ему и которую просил меня переписать. Я сказал, что хорошо, — подобоострашие, если угодно, но я думаю, что это не то, а как что-то в другом роде, и когда он сказал, что недурно было бы иметь ему на то время, когда составляет программу, тетрадки славянской литературы, которые я видел у Залемана, но что их нельзя достать, потому что верно они в университете, я сказал, что может быть достану, и оттуда заходил к Залеману, чтобы взять, если у него [они]. Его не застал. После к Олимпу — тоже нет. У Срезневского пробыл две-три минуты, потому что ему было некогда. Теперь 10 час. 10 мин. и я ложусь.

11 [ноября]. — Утром дочитал «Débats»; около 10 часов, когда уходил Ив. Гр., я стал разбирать письма, чтоб уложить их по несколько в один конверт, чтобы таким образом они не топырились так и уложились в меньшем объеме. Как только начал складывать, пришло в голову складывать в один конверт письма за каждый месяц и надписывать на конверте, какие номера, за какой месяц и сколько прислано было в них денег. Таким образом перебрал все письма 2-го и 3-го курса и последней половины 1-го курса, и первую тоже постарался сложить поуютнее, и в самом деле, наконец, успел так, что вышло только две такие пачки, которые укладываются в ящик. Разбирал также несколько бумаги; в этом дело прошло до 2 часов. Был одержим и теперь одержим желанием поскорее побывать у Срезневского, чтоб скорее кончилось все это дело чем-нибудь. Только сомнение: что, если придет Вас. Петр. в то время, когда меня не будет дома? А если придет, то, конечно, в это время, между 4 и 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, когда я думаю воротиться.

Вчера были Ив. Гр.<sup>86</sup> и Ив. Вас. — Любинька, когда я перебирал письма, сказала, чтоб я написал, чтоб не присылали мне так много денег. Хозяева присылали за деньгами, потому что, говорят, елит Наталья Ивановна, а нужно провизии. Любинька дала 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> р.

сер. Ив. Гр., когда узнал, рассердился на хозяев очень и сказал: «Если б не была ты больна, через неделю же перешли бы; что за бессовестность — дано еще за 1½ месяца вперед, а они требуют, когда сами колотимся». — Это мне показалось хорошо для моих целей: значит, как Любинька выздоровеет, можно будет перейти.

*11 часов с половиной.* — Зашел к Залеману в 3¼, они обедали, значит, я им помешал. Взял у него листки, пошел к Срезневскому и в Гостином Дворе придумал купить себе стальных перьев дюжину, по той линии, которая идет по Садовой. Вот, думал, когда писал Срезневскому программу, что будут толсты и для лекции понадобится покупать другие, — нет, превосходны и гораздо лучше моих прежних, которые так же дороги; это меня радует. Заплатил 20 коп. сер. за дюжину. — Срезневский пил кофе с своей женою, когда я взшел и высматривал было его, взглянувши и на жену, как это обыкновенно со мною бывает (между тем и ее не знаю до сих пор и теперь не видел хорошенько ее лица); но он сам встал. Хотел давать почтовой бумаги, — я сказал, что лучше бы большой, обыкновенной; он говорит: «У меня другой нет». — «Ну, все равно, — сказал я, — у меня есть». — «Да что вам все убытки». — «Ну уж эти расчеты слишком»... (вот и позабыл, какое слово употребил: не деликатны и не тонки, а что-то вроде того и другого вместе) и ушел, постоявши только несколько минут: у него готово было все, а я, когда шел, думал, не купить ли самой хорошей бумаги; но, между прочим, помешало то, что я думал, нужно будет ½ дести, а у меня было только 30 коп. сер. Когда пришел домой, было 5 час. 20 мин., до чаю не хотелось начинать ничего, не стоило. После чаю до 8 часов провозился все с транспарантом, потому что прежние не были прямы для этой бумаги. Теперь написано по-своему 41 страница, у Срезневского 3½ листика, почти ¼ всего, и завтра надеюсь отнести ему, когда пойду к Ворониным.

О Вас. Петр. думал, т.-е. беспокоился, мало; конечно, в мыслях постоянно был, но несколько не беспокоился, — отчего это? Конечно, оттого, что с глаз долой и из памяти вон, долго не видел и не говорил как должно, вот и охладел; и, конечно, не от симпатии, по которой чувствую, что решительно еще ничего нет, хотя он вчера хотел быть у директора.

*12 числа [ноября], 11 часов.* — Весь день писал Срезневского и все-таки не успел дописать. Я думаю, что кончу завтрак к 12 час. и в таком случае отнесу до обеда, если нет — после обеда, в 4 понесу, что и скорее. — Вас. Петр. был поутру на несколько минут, говорит: «Было испытание ныне утром, но так холодно, невнимательно, и слушает, и сам твердит к репетиции, и проч. и проч., послушает 3 минуты — «вас зовут» — и бежит, а меня оставляет; не знаю, будет ли мне, говорит он, какой толк из этого; в субботу или понедельник узнать можно». — «Дай бог, говорю я теперь, чтобы был успех».

Отнес Ал. Фед. «Débats» и к счастью не застал его дома. Читал в промежутках Гизо и почти дочитал «О средствах управ-

ления и оппозиции». — Великий человек, великий ум и практический, совершенно практический, ничем не ослепляющийся, хоть и увлекающийся тем, что не может ослепить: любовью к истине, к праву и проч. Он сам решительно убежден, и я во всем согласен с ним и в том, что власть есть нечто высшее, а не *à gages serviteur* \*, как говорят те, против которых говорит он, и многое другое, что раньше считал вовсе несправедливым; другой человек, пожалуй, даже стал бы подозревать его в макиавеллизме, — так он знает всего человека и велит удовлетворять всему человеку, а не по частям, и так хорошо умеет знать, что должно делать с ним, чтоб сделать из него то и то; но какой это макиавеллизм? это все вздор, он великий человек. Только у меня от прения с Никитенкою образовалось мнение (нет, раньше, постепенно), что всякий великий человек велик во всем и если велик по уму, велик и по душе, — а он с невыгодной слишком стороны отзывается о Наполеоне в нравственном отношении, и в этом я боюсь, как бы он тоже не перетянул меня к себе и я снова не стал верить, что есть великие негодяи, которые делают что-нибудь в истории и заслуживают имя действователей на человечество; нет, кажется, этого не бывает.

13 [ноября]. — Утром встал в 6 час., в 11 дописал Срезневского и прочитал корректуру и уж начал было собираться и вместе хотел отнести Залеману его листки, как вдруг вижу, что они идут ко мне с Лободовским; очень хорошо, рад видеть В. П. и не идти к Залеману. Посидели около получаса или побольше. В. П. хотел курить, Ив. Гр. сказал, что нельзя, доктор не велел; посмотрю, так ли это, верно так. — В. П. и Залеман говорили почти все об Элькане: он хорошо знаком Залеману и немного ему родственник и он просил его за В. П.: в Управе благочиния есть место переводчика, так чтоб он доставил; тот согласился и сказал, что должен раньше испытать его. В. П., который раньше чрезвычайно много слышался о нем от Залеманов обоих, говорит, что шел с робостью, потому что думал найти чорт знает какого высокого человека — вышел простой, умный, весьма хитрый человек, с виду простяк; он дал ему перевести несколько строчек с немецкого и французского. В. П. завтра отнесет ему их. Они все толковали об Элькане и, разумеется, было много сказано, что не рекомендует его, напр., для Терсинского, который, конечно, слышал и слушал об отношениях к нему В. П. Из разговора открылось Терсинскому, что он весьма нуждается. Все это было мне весьма неприятно, я даже перебивал разговор, — снова начнут. Я пошел к Срезневскому, В. П. к Залеману.

У Срезневского мыли полы, поэтому все сидели в кабинете жены, на которую я взглянул мельком, когда входил; после, когда говорил с ним (во второй раз довольно неловко свел глаза с него, когда он смотрел мне в глаза), мне показалась весьма мила, и когда сказала в ответ на слова, которые сказал он мне, несколько слов.

\* Наемный слуга.

мне было весьма приятно, что она вмешалась в разговор, хотя и не со мною говорила: вот такой чудак! Это в том роде, как после свадьбы было относительно Над. Ег. — молодая, красавица, и мне чрезвычайно приятно было бы быть с ней вместе и не подвергаться насмешкам. Он говорил о том, где я беру чернила, перья, которые ему понравились (я носил с собой чернила, чтобы вписать Мухара, которого не разобрал, как кажется, для того я вывел слово отделение, которое написано не на своем месте, пропустил было несколько строк — такой чудак). Я пробыл 3 минуты, не садился, ушел, пошел в университет. Там ему письмо, я взял отнести, думал, что, конечно, нельзя будет уже снова с ним увидеться, почему я, конечно, отдам письмо служанке, которая отворит дверь, но все-таки может быть увижусь, и он заговорит со мною. Мною руководила надежда навести его на разговор, который кончился бы так, что я попросил бы доставить место Вас. Петр. в журнале, а после весьма приятно было бы услужить и самому себе. Отнес, отдал служанке и пошел, не входя в дверь. Когда шел по Вознесенскому против церкви (я пошел домой через Мещанскую), вдруг слышу сзади женский голос; не служанка ли это догоняет меня воротиться (я должен сказать, что я для этого сходил с лестницы медленно и даже на 4—5 секунд остановился на нижней площадке)? — чухонка просила милостыни. — Теперь, кажется, дело с Срезневским кончено, если не навсегда, то, вероятно, очень надолго, до выхода почти из университета; я сам никогда не начну с ним говорить, разве что-нибудь для объяснения себе или ему на лекции. — Папенькино письмо написано шутивным тоном — это мне было приятно. Когда шел через мост Чернышев, догоняет В. П. — «Откуда?» — Я сказал, что был в университете. Он стал говорить о том, что Залеман чрезвычайно выгодно говорит обо мне; говорит, что даже притворщик: «Говорит, что не знает, а сам все знает». И говорил ему о моем «об эгоизме Гете», — говорит: «удивил нас всех, — и такой скромный, удивительно: когда Никитенко спросил, будет ли дочитывать, сказал, что не стоит» (вот уж это-то не говорил). Мне было весьма приятно, что Залеман так обо мне думает; кажется, это в самом деле потому, что я самолюбив, и крупно и мелко. Пришел к нам и перевели вместе несколько строк, которые он хотел перевести для Элькана, из Code Civil чей-то, 106—110 или той статьи о приговорах и из Real. Encycl. Брокгауза, с начала Rechtswissenschaft; я педантически выказывал свое знание. После обеда несколько спал, несколько времени говорил с Любинькою, потому что совестно было не говорить, наконец, списывал Срезневскому листочки его лекций, которые оставил Залеман мне, и из 5 списал почти 3, до конца выписки из Шафарика, завтра думаю отнести. Дочитал IV том и начал «О заговорах» Гизо: так хорошо начинается, что приходит охота читать Ив. Гр., хоть и не хотел читать. Любиньку несколько жаль головою, — но чисто головою, и то мало, — что вот сколько времени томится бедная, и еще, по крайней мере, 6 недель это будет, — 11 ч. 50 м.

14 [ноября], 2 часа. — Все утро хотелось идти к Славинскому, к которому задумал идти еще вчера, но не пошел, потому что Ив. Гр. не было дома, так и самому сидеть так, и Любиньку оставить одну несколько не хотелось, а думал идти ныне и пойду. Утром встал в 6 час., к 9 дописал Срезневского листки (всего 5, теперь остались 8 из тех, которые есть у Залемана), после лежал в зале, дочитал «О заговорах» Гизо и не знаю, перечитывать ли в другой раз — может быть. После читал Мишле о Гегеле и на несколько времени уснул, сейчас пообедал.

До 5 час. просидел с Любинькою, гадали и играли в карты. Марья ухаживала в больницу, я дожидался ее. Я спросил у Любиньки между прочим, так, хотелось ли маменьке, чтобы я приехал нынешний год? Она сказала: «Не слишком, но они все беспокоились, что тебе беспокойно жить». — «Напротив, — сказал я, — мне было гораздо спокойнее, чем дома», — несколько в намерении, чтобы разговор пошел так, как он и пошел. — «Стало быть и теперь тебе беспокойно с нами?» — «Не знаю, как тебе сказать — отчасти, конечно».

Когда Марья пришла, — к Залеману, его не было дома, отнес листки; после к Славинскому, — они играли в карты; мы ушли и стали говорить. Отец принес газеты, субботы и нынешние, и там я прочитал окончательно о том, что Роберт Блюм, член Франкфуртского Собрания, расстрелян в Вене<sup>87</sup>, и о том, как единогласно во Франкфурте принято требование наказания всех, кто участвовал в этом поступке. Это меня взволновало, и теперь я об этом думаю: как Европа так еще близка к тем временам, когда деспотизм осмеливался даже нарушать формы явно! Расстрел члена Собрания, без его ведома! Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства; да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба твоего, да воцарится он в жизни твоей! — Когда шел от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам. Франкфуртское Собрание поступило хорошо, что выказало единодушие: я думаю, что из этого выйдет серьезное столкновение и или решительно падет центральная власть (чего не дай бог), или решительно поражена будет ольмюцкая партия, — и да будет поражена она!

Славинский все толковал о Фанни Эслер — он был несколько раз в театре. Он хочет купить Гегеля. Что будет в Пруссии — неизвестно; верно Собрание победит, и дай бог.

15 [ноября]. — От Ворониных, у которых не получил, хоть думал получить, денег, пошел, как думал, к Вольфу, где просидел до 4 час. с 11. Прочитал «Современник», XI, только не все, а статью Майкова<sup>88</sup> — есть вещи хорошие и живые, как будтонося-

щие что-то вроде мысли и волнующие мысль, но целое бог знает что и какая-то нелепица! Читал журналы почти все. Итак, Берлинское Собрание окончательно-таки поддерживает! Молодцы! Молодцы! И Франкфурт хорошо делает, что требует единодушно наказания за Блюма и проч. — После был у Вас. Петр., в 8 час. пошел, пришел в 10. Там говорили несколько о «Современнике», играли в карты. Когда пришел, у нас был Ал. Фед., который заговорил и о политике, и я-таки сказал о Блюме и что хорошо б, если бы повесили Виндишгреца, которому наши дали орден<sup>89</sup>. Молод, горяч и поэтому не мог удержать язык за зубами и когда говорю, то не могу удержаться от волнения чувства.

Когда шел к Вас. Петр., был пожар, и когда я переходил переулок, который между Пяти углов и Гороховой, извозчик задел меня серединою оглобли, потому что я засмотрелся (огонь был в углу между нами и Семеновским плацом); я несколько не смутился, решительно как бы спокойно, решительно спокойно, только без всякой обдуманности, так естественно, как естественно и без всякого расчета двигаешь одну ногу за другой, когда идешь не смотря ни на что, а так, само собою как-то, лег на сани грудью, т.-е. боком, между ног седоков (после увидел, что это были купцы, а то не обратил внимания) и, доставши голову извозчика (после увидел, что это был мальчик лет 18, может быть менее), взял его, сдвинувши шапку, за висок, весьма сильно стал не терсбить волоса, а как захватил широко, все сжимал, так что довольно много вырывалось и проехал в таком положении шагом сажен 15. Я встал, когда подумал, что довольно, и пошел назад решительно спокойно, не сказав во все время ни слова решительно. В этом открывается для меня ясно новая черта моего характера, что я терю всякую обдуманность, т.-е. боязнь или расчет в такие минуты и делаю решительно безрассудно, решительно спокойно и холодно, ничего не видя, не думая, т.-е. теряя голову или прибегая к ее помощи. — Теперь вздумал, что подобное расположение было и во время Касторского экзамена — сердце ни разу ни ударилось. У Вас. Петр. ничего особенного нет. Завтра хочу быть у Корелкина и Михайлова братьев.

16 [ноября]. — Когда напился чаю, в 10 час., пошел к Корелкину, чтоб оттуда пойти в Горный Корпус. Был снег. У Корелкина было скучно, потому что толковали о Матвееве и Академии Художеств, о Вологде и древних рукописях. Пошли было с Корелкиным в Горный, но, дошедши до 13-й линии, узнали, что он в 25-й, и поэтому я воротился, когда Корелкин хотел идти дальше, и так как шли мимо Соколова, зашли к нему. Корелкин отделивал его, мне было его жаль и поэтому я, заступившись за него, отделивал Корелкина.

В 2 часа был уже у Вольфа, где просидел 1½ часа и ничего не брал. Завтра снова буду, потому что весьма любопытно, во-первых, рассказ Фребеля, который воротился во Франкфурт, потом берлинские дела — суд признал министров виновными — и как го-

рода примут декрет о неплатеже податей.— Тьер за Бонапарте; это нехорошо, по моему мнению, и, как говорят все лучшие газеты,— с противореволюционными целями, из него хотят сделать \* émissaire; перебить парижан картечью и низвергнуть прежнюю династию, а самому править — это самохвальство.

Вечером был Ал. Фед. и перед ним доктор, который сидел с час и который толковал Любиньке о том, что эта квартира очень дорога, вся цена ей 8 р. сер. Это было мне весьма приятно, и когда пришел после Ив. Гр., очевидно было из их разговора, что тотчас, как Любиньке можно будет переходить, перейдут; это хорошо. Ал. Фед. сидел и все вел разговор о политике, что мне было приятно, и я с удовольствием толковал ему различные вещи часа с два, кажется. После списывал конституцию и списал 1-ую страницу и 1 столбец (до половины 10 §) 2-й страницы. Читал «Библиотеку» за 1835 г., принесенную Ив. Гр. В критике более остроты, чем в нынешней ее и менее узкости, хотя направление пошлое; так то сначала человек бывает нечто менее глупое, чем является впоследствии. — 11 часов.

17 [ноября]. — У Ворониных получил за 12 уроков 17 р. 15 к. 14 р. сер. отнес после обеда Вас. Петр., 3 р. оставил у себя, чтоб заплатить было чем за головки Фрицу, который кстати взял их вчера: у меня обувь уже оплоскала. Оттуда пошел к Вольфу, где сидел без особенного удовольствия и почти ничего нового не узнал, кроме того, что есть у них «Revue d. d. Mondes». Завтра, если не будет лекций, снова там буду, если не будет лекций, то весьма долго буду. В 2 часа (думал, что уже было более, поэтому и ушел) воротился домой, пописал конституцию; как пообедал, в 4 ч. к Вас. Петр., чтоб застать его одного, — и в самом деле Над. Ег. спала. Отдал, он ничего не сказал. У Элькана, говорит, верно не удастся; в театре, говорит, тоже, хоть справлялся еще, — если б что-нибудь было, то хозяин уже сказал бы. Ив. Вас. не был у него с тех пор, как я его отделал. Я посидел не более 20 минут и ушел; в 5½ был уже дома и почти все время писал конституцию, дописал. Читал только «Библиотеку»; в «Отеч. зап.» статья о Кантемире<sup>90</sup> показалась весьма посредственной и без мыслей, впрочем, читал ее слишком бегло, почти не читал вовсе. Утром сжег большую часть конвертов, но некоторые остались, потому что спрятались между бумаг.

18 [ноября]. — Утром думал на-двое — будут ли, нет ли лекции? Если нет — посижу утро у Ворониных, если есть — в библиотеке. Все-таки я зашел к Вольфу на ¾ часа — более приятные известия о новом министерстве в Пруссии. В библиотеке читать начал «Revue d. deux Mondes», 1844, — политическую историю, — весьма мало занимательного, только в начале 44 loi sur la dotation\*\*, как мне кажется, ясно выражено, что представлен Гизо по при-

\* Одно слово неразборчиво. Ред.

\*\* Закон о дотации.



нуждению от короля и, как кажется, он сам не мог удержаться, чтобы не высказать этого. И было бы хорошо, если бы я убедился, наконец, что если что было не так, то это не так было не от него, а от короля, а Тьер, говорят тут, молчал через это целых полтора года. Итак, они вот как молчат иногда — этого я не знал: не говорят, когда не надеются получить успеха. Демократы (Гора) и социалисты, газеты говорят, примирились. Луи Блану тоже предлагают кандидатство<sup>91</sup>, он принимает и письмо ясно носит на себе его всегдашнюю прелесть — обворожительно. — Великий человек, великий чувством братства к своей партии. — У Куторги говорил с Антоновичем о политических делах, это мне приятно. Вечером писал сначала две польские песни Срезневскому, а после писал *table des matières*\* «Истории французской революции».

19 [ноября]. — Вчера за ужином взял читать «О смертной казни в политических делах», никак не мог удержаться не прочитать несколько строк (1½ страницы предисловия) Ив. Гр-чу. Он говорит: «Верно этот Гизо был филантроп»; это меня взбесило несколько, однако сначала только голову, а когда уже кончил спор (который был 2—3 минуты) — уж и сердце. Этаким народ: в голову ничего нельзя вбить нового и может держаться только теми пошлостями, которые удалось услышать в первой молодости (относительно к нему до выхода из Академии, потому что после уж «я самостоятельный человек и сам должен учить, а не учиться»), и все, кто говорит не общепринятую пошлость, фантазеры. И всего забавнее его притязание на знание человека и хода дел и того, как должно обращаться с человеком: он лучше Гизо знает, что возможно и что невозможно, что действительно полезно, что нет; это преуморительно!

Противопологать себя этим людям! Если говорю что-нибудь против общепринятых авторитетов, так ведь во всяком случае не приписываю же себе заслуги, что говорю по собственному опыту, что своим умом дошел, а просто говорю: «Так думал раньше; теперь явились вот какие идеи и вот какое положение их в этом деле, и тот, кто не соглашается на это положение, не знает или не может понять, потому что одарен такою головою, что что раз вошло к нему в голову, то уже неспособно ни к какому развитию и видоизменению», и смешны для меня эти люди, которые так высоко ставят себя и свое знание дел, — а знание этого света все состоит в том, что они видят, что вот люди, которых глупость часто сами они видят, делают по рутине вот что и думают, что через это они достигают того-то, — они после этого и заключают так; а делается для достижения *b*, следовательно, *b* достигается *a*, потому что как идет, так и должно идти, и все, что предполагают люди по рутине и по поверхностному знанию результатов в отдельном случае, прилагается к вещи вообще.

\* Оглавление.

Однако, я не стал много спорить, да и он ушел курить трубку, и после тотчас я стал жалеть, что вздумал читать ему: я постоянно стараюсь удерживаться от всяких вообще разговоров с ним о чем-нибудь, в чем я убежден и что относится к кругу того, на что он не согласен или даже на что и согласен,— не стоит, потому что с презрением слушает, как от молока, и только внушаешь ему о себе странные понятия, чего я вовсе не любитель.

Из университета может быть пойду к Вас. Петр., может быть, и скорее нет,— а скорее пойду.

Свои листочки, на которых записываю лекции, с начала года носил в Helmsoldi выписках, а когда кончил Срезневского и Helmsoldi почти весь разорвался по сгибу — в своей риторической задаче о речи pro Milone.

Это все писал у Фрейтага; решил ничего не говорить с ним, ровно ничего. Когда, как ныне, забуду дома Светония, весьма неприятно, потому что может быть, что Фрейтаг заметит и войдет в объяснения, которые я ненавижу, потому что мне все кажется, что честь от этого страдает. Против Терсинских снова у меня какое-то тайное желание схватки или в этом роде; всегда, когда нужно зажигать мне особо себе свечу, жду, что скажут что-нибудь, хоть знаю, что не скажут, и отчасти мне это было бы приятно: я промолчал бы, а нето купил бы себе особо свеч.

Да, должно сказать, что когда я в первый раз в этом месяце (около 9-го, что ли) читал у Вас. Петр. «Отеч. записки» № 11, там прочитал я о термометре с часовым прибором, который проводит под карандашом, который движется сообразно изменению термометра, бумажку, которая там; сделаны часы недельные. Это самое думал сделать я, только вместо Брегета термометра, как там, кружащегося, я думал употребить просто длинный металлический (цинковый) прут, один конец которого прикреплен, а другой растягивается и сжимается, и к которому приделан карандаш. Это вздумал я довольно давно и постоянно придумывал усовершенствования. Основная мысль (прибор часовой) родилась, я думаю, месяца 4 назад, как следствие случайной мысли о приделке карандаша к ртутному термометру, что в первый раз пришло в голову еще, когда раз дожидаясь Троицкого для бабенки (лет шесть назад), в чем теперь у меня отнято обоснование.

У Устрялова. — Устрялов сказал, что у Гизо везде двойится в глазах, везде двойственность, две причины, два следствия и проч. — Не знаю, где эта двойственность, постараюсь заметить — и что, наконец, это становится приторно и этому подражал Полевой в своей истории.

У Куторги. — Когда переставляли скамьи, сходил в шинельную, чтоб сходить на двор, воротился — свертка Лыткиных лекций Срезневского, которые принес отдать ему, — их нет. Где? Сердце дрогнуло; взглянул мельком в IV аудитории — нет; вниз побскал — нет; в XI аудиторию, где сидел у Устрялова — нет. Сердце дрогнуло: ну, что теперь? Должно писать снова для Лыт-

кина, да кроме того, репутация растеряхи. Наконец, воротился в IV, взглянул, не надеясь найти, в скамьи. — он там, где я хотел сесть. Чрезвычайно приятно, что нашел — тотчас же отдал Лыт-кину с многими благодарностями.

20 [ноября]. — Утром пришел Фриц, принес сапоги, я ему отдал 3 р. сер.; он хотел после зайти, чтобы сделать калоши, которые сам увидел он, что худы. Принес записку от Ал. Фед., что у него есть «Отеч. записки» и «Débats», чтоб я пришел, поэтому я пошел, просидел почти до 12. Сидеть у Вольфа долго было нельзя, поэтому я зашел на минутку, почитал — ничего нового, о новом прусском министерстве еще ничего. Оттуда в университет за письмом — повестка на 50 р. сер. Я отложил до понедельника. Ивану Гр. или [на] платье? Конечно, скорее первое, но ныне уж было поздно. Когда пришел, читал «Отеч. записки» № 10 и прочитал Светелкина<sup>92</sup>. Все остальное — не слишком (я читал последнюю половину книги, а первую еще не читал, и о последней только говорю). В «Débats» 11—13 ноября тоже ничего нового нет.

21 [ноября]. — (Это писано 22-го в вечеру.) С 20-го на 21-е читал «Отеч. записки» до 3 часов. В воскресенье читал «Отеч. записки» все и все прочитал. Был Ал. Фед. вечером, сидел недолго. В эти дни Терсинские сказали, что у них нет денег, и что было у меня, я отдал все почти, т.-е. целковый в субботу и ныне поутру 50 к. сер. В воскресенье все утро просидел в кондитерской, читал между прочим «Revue d. d. Mondes» 1 октября, где о датском вопросе, — нового почти ничего не узнал. Ал. Фед. спрашивал, есть ли у меня деньги, хотел занять.

22 [ноября], 10 час. вечера. — Расположился уйти раньше, чтобы раньше прийти в университет, взять там повестку, а после к Ворониным, чтоб не делать два пути вместо одного, и сделал три вместо двух, потому что не было подписано и должен был ходить во вторую лекцию, чего не хотел, во-первых, потому, что лень, во-вторых, потому, что хотелось лучше читать «Revue d. d. Mondes» 1844. Думал, что там все мне присланы деньги — и для этого в особом письме, на одежду, вышло нет. Решился сшить брюки без всякой борьбы и сомнения, во-первых, потому, что эти худятся, во-вторых, чтоб, наконец, хоть раз могли бы Терсинские видеть, куда я употребляю деньги. 9 или 10 р. сер., конечно, Вас. Петровичу из 20, которые присланы мне. У Устрялова почти ничего не записано, потому что почти все знаю и почти все есть в книге.

У Срезневского был попечитель, и Срезневский, говоря о наших, без имен, но очевидно наших и древних, хоть в новых рукописях, проповедях, сказал: «Вот, напр., «Слово христороубца», которое списал для меня г. Чернышевский, там то-то и то-то». После лекции попечитель сказал с ним несколько слов, вероятно спросил: «Так Чернышевский делал кое-что для вас?» Срезневский отвечал: «Весьма много», а может быть и просто «много» — по крайней мере, я расслышал хорошо одно последнее это слово, подо-

шедши в эту самую минуту к первой скамье на левой стороне (я сажусь всегда направо на вторую, чтобы попечитель не был у меня в глазах и я у него, потому что кресла его слева от кафедры, конечно, ближе к входу). Однако я думал, что я продолжая быть у него на дурном счету и что он скорее, чем к другому, обратится ко мне с замечанием о пуговицах, волосах и т. п. (В промежутке этого ужина).» — Попечитель сказал мне, подвинувшись ко мне на шаг: «Я должен передать вам, г. Чернышевский, что г. Срезневский весьма доволен вами». — Я не слишком заметно и, кажется, с заметною неохотою поклонился несколько и сказал, что весьма благодарен, — чего мне не хотелось говорить. — Итак, теперь я у него на хорошем замечании, хотя, конечно, гораздо после Корелкина и Лыткина. Вот еще доказательство того, что вообще мы ошибаемся, если думаем, что нами так же занимаются другие, как мы другими: я думал, что попечитель помнит и хранит на меня неудовольствие, имеет ко мне антипатию, как я к нему, — разумеется, нет. И теперь, кажется, у меня будут гораздо реже приходить мысли о том, как я ему дам пощечину и проч., которые весьма часто бродили в моей голове; все это вздор — благоволение и неблаговоление других к нам; должно предполагать всегда в других индифферентизм, который всегда готов на то и [на] другое.

Мне было неприятно, особенно в ту самую минуту, что попечитель это говорит мне: во-первых, ставит меня в ложное и неприятное положение к себе, во-вторых, снова перед студентами резкое напоминание о моих отношениях к Срезневскому.

Когда выходил, получил письмо от своих, еще и от Алексея Тимофеевича. С час посидел у Вольфа; нового ничего. Дорогою шел с Славинским, который рассыпал комплименты, как преемнику Дон-Жуана — довольно, по моему мнению, мило и умно. Едва ли это слово попечителя не произведет мало-по-малу в моих мыслях и расположении к нему перемены и не заставит смотреть как на бестолкового добряка решительно; это я и раньше думал, но раньше \*выставлялся элемент грубости, теперь, может быть, выставится элемент доброты. Посмотрим, какие будут следствия; хорошо, если я [не] окажусь подлецом.

Читал Гизо о смертной казни, прочитал до 80 страницы, — около 50 страниц, конечно, спал тоже, потому что как лягу — конечно, усну, и дочитал «Débats» [за] 10—13, потому что завтра отнесу вместе с 3-й частью Беккера, которую просил Ал. Фед. и которую завтра принесет Залеман.

23 [ноября], вторник. — Идя в университет, зашел к Шмиту у Каменного моста, его не было дома (в 9 ч. 20 м.). Я в библиотеку, где пробежал *Chronique* и после статью о Гетевской поэзии, о *de Sallier*\*. У Никитенки должен был читать снова о Гете, чего не думал, прочитал всего две страницы, потому что все толковал с ним, — другие никто не вмешивались; он сказал, что

\* Неразборчиво. Ред.

для объяснения убеждений Гете хорошо бы разобрать вторую часть «Фауста», чего еще никто не мог, и поставить в параллель с ним Байрона. К концу лекции пришел попечитель, как будто нарочно, чтобы снова во второй раз заставить меня в действительности. Это было ровно ничего, только, конечно, неприятно, и хорошо, что у [него] завязался разговор с Никитенкой о Жуковского «Одиссее». Я при нем почти ничего не читал. Куторги не было, я пошел вниз, и когда надевал шинель, вдруг вижу подле себя Ханыкова, который сидел у Никитенки. — «Вы, кажется, читали у Никитенки?» — «Я». — «Так вас сильно интересует разгадка характера Гете?» — сказал он мне. — «Да, конечно, сильно». — «Ну, так это сделано уже в науке». Я думал, что он говорит что про Гегелеву школу, и сказал несколько неловких слов, невпопад. — «Нет, у Фурье, который нашел гамму страстей, 12 первоначальных и их сложение, которое составляет основу всякого характера». — Мне должно было идти по Невскому, чтобы взять у Залемана Беккера 3-ю часть, и он, толкуя мне учение Фурье, прошел до Фонтанки, после мы воротились, и он пошел по Конюшенной. Прощаясь, — и раньше, — он звал меня к себе в субботу вечером в дом Мельцера в Кирочную. — «Если хотите, я дам вам Фурье». Говорил с жаром и убеждением непрерывно всю дорогу, говорил иногда весьма умные мысли для объяснения его, напр., как он пришел к этому «не через отвлеченности, а через то, что обратил внимание на земледелие, увидел, что помочь ему лучше всего через ассоциацию, но как попробовал осуществить ее, был поражен тем, что 2—3 семейства не могли никак ужиться вместе, и начал исследовать, почему это», и проч. Мне показалось странно, что он так скоро начинает говорить и объясняет с такою ревностью; эта ревность как будто бы немного бестолкова. — Вот что значат дурные привычки: они заставляют подозревать в глупости за то, что доказывает только ревностное, горячее убеждение в истине и веру в то, что она должна распространяться, что всякий, признающий ее, должен быть апостолом ее. — Я у него буду.

У Залемана взял; после домой; в 4 часа к портному, — между прочим, потому не откладываю до завтра, чтоб поспело к субботе, к Ханыкову. Оттуда к Вас. Петр.; посидевши при ней с  $\frac{3}{4}$  часа (у них сначала была хохлушка довольно забавная и бойкая, прачка, которая приносила белье, после играли в карты), я попросил проводить себя, чтоб отдать. Он пошел, и когда мы прошли переулок, я хотел проститься. — «Нет, я вас провожу еще, мы долго не виделись», — сказал он тоном от сердца и проводил до конца линии. После мы снова дошли до угла, раз с полдороги повернувши снова назад, потому что вперед нас вышла из ворот женщина и пошла впереди. — «Жизнь, говорит, для меня весьма тяжела, весьма тяжело это положение, сам не умею сказать — отчего, Надя мне почти в тягость и сам, признаюсь, ей в тягость» (мне кажется оттого, что, во-первых, положение его тягостно, во-вторых, потому что она неразвита умственно, это, конечно, тягостно

не по-другому, а нравственно); «не знаю, как теперь разделаться с нею; продал кольцо свое и ее подвески и теперь не знаю, как выпутаться, — сказал, что отдал поправить. Хорошо, что она мало на это обращает внимания».

Вот как он нуждается и она, а ничего не говорит. Ему хочется видиться со мною, а я не исполняю того, что сказал ему, что перейду от Терсинских, — это все моя деликатность или нерешительность, которая заставляет дожидаться конца Любинькиной болезни. Слова его произвели довольно сильное впечатление на мою голову, но я слушал сердцем спокойно.

Воротился домой в половине 7-го, после чаю в 8<sup>1/2</sup> лег читать и уснул до ужина, 10<sup>1/2</sup>, потому что был утомлен ходьбой. — Никитенко сказал, больше как комплимент, что у меня логический, строгий порядок и простота; главное, что это. Это мне приятно, хотя я слова эти принимаю решительно как комплимент и насколько они меня не радуют.

Что-то будет из этого начала знакомства с Ханыковым? Рассохнется оно или превратится в обращение меня в фурьериста — что-то бог даст? Кажется, моя трусость и нерешительность и несмелость оставить прежние понятия, которые привились ко мне, заставят меня остаться в таком же положении в этом отношении, как и теперь, что основание: «страсти обыкновенно законны и привести только в гармонию» — истина, а остальное большею частью мечты: особенно подозрительно, что их 12 — число слишком подозрительно, как бы не из природы найденное, а натянуто для 12 звуков в музыкальной гамме, а если так, то, конечно, человек, делающий такие натяжки, — человек фразы.

24 [ноября]. — У Ворониных не было урока, — это меня, однако, не взбесило, а так, ровно ничего, — мать именинница. Время это провел кое-как в университете; несколько ходил по коридору, где шкапы, и сидел большую часть в сборной. Куторги снова не было. Никитенко, показалось мне, почти все смотрел на меня. Как пообедал, в 4 часа к Вольфу, там слишком много было и не мог дожидаться [газеты], поэтому через полчаса ушел и зашел, в намерении только посмотреть, потому что думал, что там еще народу, к Излеру, — напротив, почти никого в той комнате, где читают, и гораздо тише, только сначала двое мальчишек — один студент, другой в фуражке — мешали своим разговором. Там вместо «Gaz. de France»<sup>93</sup> — «Presse»<sup>94</sup>, что, конечно, лучше. Я просидел там с 5 до 8<sup>1/4</sup>, прочитал весь «Débats» 26 ноября, где только все отчет этот в interpellations\*, и два номера, 26-го и 27-го, «Presse» и проч. Новости: в Бранденбурге нет beschlussfähige Zahl\*\*<sup>95</sup> — это хорошо. Кавеньяк, сколько мне кажется, педант по своему образу действий, которого педантизм стоило крови, и вместе с тем коварный честолюбец, который через это хотел и успел возвы-

\* Запросы.

\*\* Кворума.

ситься. Мне кажется, что нападающие решительно правы. — К Олимпу Як. оттуда, он спал; к себе — уснул также. Кофе у Излера лучше, чем у Вольфа.

25 [ноября]. — Утром отнес Ал. Фед. «Отеч. записки», оттуда в библиотеку, где читал «Revue d. d. Mondes». Большая часть их возгласов против социалистов показалась глупа, особенно, напр., Limaugas о «Парижских тайнах»<sup>96</sup>. Когда воротился домой, стал читать [за] 14—19 «Débats», которые взял у Ал. Фед., хотя его не было дома. В 5½ пришел Вас. Петр. — ничего нет. Он сказал: «Пойдемте к Залеману». В 6¼ пошли, посидели до 7 часов в пассаже, почти ничего не говорили там, а говорили дорогого туда. Он говорил, что ему досадно, что Ив. Гр. смотрит на меня, как на мальчишка, и что должно быть он меня не любит, потому что сознает мое превосходство перед собою. Последнему-то я не верю, а первого не знаю. У Залемана сидели, потому что мать праздновала ныне свои именины. Оттуда в 7½ пришли ко мис. Терсинские напились чаю, но Любинька спросила тотчас, пили ли; между тем как я, когда шел, готовился употребить свои initiatives\* — так мои враждебные расположения вообще глупы и дурны. Вас. Петр. говорил довольно много дорогою об Ив. Гр. и его нелюбви ко мне. Я ему сказал, что не хочется мне теперь перейти, потому что им нельзя переменить квартиру, потому что Любинька больна и они говорят: «Мы нанимали, чтоб жить вместе, а теперь для нас одних дорого». Так от слабости характера я всегда лгу: я говорил в таком тоне, как бы решил, что перейду от них, а сам решил только, что перейду с этой квартиры, вместе [с ними] или нет — все равно. Из всего поведения его у меня родилось подтверждение мысли, что он aigre fert\*\*, что не с кем ему говорить, и поэтому — довольно, однако, не твердо еще — решился расстаться с Терсинскими. Само собою разумеется, что хозяйственные хлопоты мне неприятны, но равно неприятно и то, что, живя с ними, я лишен всех наслаждений дома, особенно наслаждения едою, без которой нет наслаждения чтением, и наслаждения говорить с Вас. Петр., да и вообще как-то стеснен. После я его проводил до квартиры тестя, и говорил он о том, что в каком-то ложном положении к родным, что они теперь узнали от какого-то, кажется, студента, который бывает у Ник. Сам., что он не бывает в университете, и сообщили это Над. Егоровне. Конечно, есть у меня мысль, что он говорит отчасти об Ив. Гр., и потому, что ему неприятно, что я живу с ними, но, само собою, я эту мысль отвергаю, как недостойную его и себя. В воскресенье буду у него с Залеманом утром, он у меня вечером. Вечером, когда он ушел, читал объявления в «Débats» и захотелось купить «Almanach républicain», который издает Montagne, и поэтому ныне утром заходил к Исакову, но еще не получены

\* Инициатива.

\*\* Скорбит.

альманахи здесь. Снова несколько захотелось узнать, что делается в Пруссии. — Это все писано в пятницу у Фрейтага.

26 [ноября]. — Не знаю, может быть буду завтра у Иринарха. Между прочим, кроме того, что приятно познакомиться с ним, пришла мысль, что может быть полезен для Вас. Петр., только не знаю, — кажется, через меня пользы никому нельзя дожидаться. А может быть и не буду, как случится. Когда ложусь и встаю, несколько думаю о моем свидании с Ханыковым.

Получил повестку на 50 руб. сер., думаю, что несколько и мне, и, конечно, Вас. Петровичу назначил; дал швейцару 30 к. сер. К Устрялову пришел Вас. Петр., посидел и у Куторги. Когда мы сошли вниз, я пошел в шинельную, он остался в сенях. Выходя оттуда, я увидел Ханыкова и подал ему руку и должен был идти с ним, а Вас. Петр. не пошел с нами, а сзади. Ханыков повторил, чтобы я пришел к нему в субботу, и сказал, что он хочет просить меня прочитать у Никитенки о страстях из Фурье, статью, которую написал он; я сказал, что очень хорошо. Он пошел на Невский, я в Гороховую и на Адмиралтейском бульваре мы разошлись. Я догнал на углу Гороховой Вас. Петр., сказал на его вопрос, что это за человек со мною шел, зашел к портному, а Вас. Петр. в это время в лавку за сахарным песком. Брюки не готовы, поэтому я решил, что не буду у Иринарха Ивановича, у которого думал быть на его именины, чтоб возобновить знакомство. Пошли после снова вместе до Семеновского моста, после повернули по Фонтанке, ведя его; он проводил меня — видно, что ему хотелось подольше говорить со мною; после пошли через пустое место вроде прохода, которое вывело к углу Казарменной площади и Загородного проспекта, здесь расстались.

Он сказал, когда мы шли к Семеновскому мосту, перейдя Садовую: «Ну что, если у Нади родится дитя, что с ним делать? задушить?» — Это на меня произвело впечатление только на голову, показавши всю безнадёжность, в которой он считает себя, и в самом деле я думал уже о том, какое новое обременение будет, если в самом деле родится, и несколько в самом деле и в настоящем обеспокоился, потому что я думал, что есть уже признаки беременности. — «А разве родится?» — «Да почему же нет?» — Нет, я думал, он сказал это так, в раздумьи об этом, как и я, а не потому, чтобы уже было заметно что-нибудь. Я задал себе вопрос, когда шел один: «Если бы в самом деле он сделал то, что сказал, как и я сам говорю такие вещи всегда, то стал ли бы я гнушаться им, или бы решительно извинил его и только стал бы видеть в нем человека, еще более угнетенного судьбою, чем как до сих пор даже я предполагал?» Я думаю, что конечно последнее, а первое глупо. — От Ворониных когда шел, не устал против обыкновения; пришедши домой, все-таки, когда лег читать, уснул. — Это писано в субботу в 5¼ после обеда, перед тем как идти к Ханыкову. Продолжаю нынешний день.

27 [ноября] 5½ веч. — Утром хотелось получить деньги, не хо-



дя лишний раз из университета; и пока еще не должно ждать. Поэтому не был у Фрейтага, который, как нарочно, как после узнал, ныне переспрашивал всех по списку, кто где учился, как у него есть эта манера. Письмо не распечатывал до половины 3-й лекции. На 3-й лекции читал начало статьи о молодости Benj. Constant. Его письма меня очаровали, как автобиография Гете — это решительно Вас. Петр. во многих отношениях, между прочим по своей страсти к путешествиям. Замечания его о характере большею частью показались пошлы, т.-е. писаны в духе мещанской морали. — Деньги все Любиньке. Когда пришел, отдал письмо, она стала плакать, что присылают столько денег. Меня это тронуло, однако, весьма мало, потому что эта любовь ее весьма бесплодная, ограничивающаяся тем, что отвергает возможность говорить: «Я не слишком люблю их», но более тронула маленькая записочка папеньки, приложенная к этому письму для меня, чтобы я сошел с квартиры от них решительно.

Заходил из университета к Вольфу — ничего нового. В понедельник буду у Излера, 1 числа вечером у Вольфа. Читал «Отеч. записки». — Бездействие и нерешительность Франкфуртского Собрания мне не нравятся<sup>97</sup>, — кажется, оно должно было бы понять, что, произойдя из воли народа, против воли правительств, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительств, да и совесть должна принудить бы его к этому; если незаконно делает народ теперь, незаконны и те его акты, которые дали бытие этому Собранию. — Что оно? ни да, ни нет, в прусском и особенно австрийском деле. По-моему, должно послать комиссаров с полномочиями требовать, чтобы без их согласия ничего не делалось; одним словом, действовать в том роде, как требует левая сторона, а то эта мелочная осторожность, желание не компрометировать себя, ладить со всеми — э, так нельзя жить. Прусское правительство подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало, я не нахожу слов, чтобы выразить то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма. — В последние 2—3 недели, а может быть и более, я жалею, что нет человека, который бы умел править всем этим великолепным движением умов, что нет Мирабо ни в Германии, ни во Франции. Росси мне жаль, хоть я ничего не знаю о нем и далек от того, чтоб осудить его убийц<sup>98</sup>, между тем как Латура решительно было не жаль, как и Лихновского, потому что Росси человек известный, человек умный, ученый, не нуль пошлый, как эти господа.

11<sup>1/2</sup>. — У Ханыкова просидел с 8 до 10. Он человек умный, убежденный, много знающий, и я держал себя к нему в отношении ученика или послушника перед аввою, как держу перед собою, напр., Славинского. Он дал мне «Phalange»<sup>99</sup> четыре номера, какие — запишу после, «Paris révolutionnaire» 1838, который я начал сначала читать — хорошо довольно. Ханыков весьма мил, знакомил меня с новыми общими идеями (не о фурьеризме только говорю я, а вообще) и дельный человек, ужасный пропагандист, но

мирным путем убеждения; кажется, я свяжусь с ним; он несколько не увлекает меня, но теперь я его уважаю, как уважаю человека с убеждением и сердцем горячим. Ложусь.

28 [ноября]. — Утром дочитал «Débats» и начал читать лежа статью Фурье о космогонии. Первое, что я начал читать в «Phalange» — примеры и приложения идей, — кажутся странны или смешны почти мне, может быть потому, что я невежда в этом и не знаю путей, которыми получены они, напр., что бык порожден Сатурном, осел — Марсом и проч.; но основа идеи решительно, кажется, справедлива, что каждое тело небесное имеет свои отправления, состоит во взаимодействии с другими телами и проч., что это взаимодействие не ограничивается тяготением, а есть много и других процессов между ними, которые незаметны для наших чувств.

В 3 часа к Вас. Петр. Он говорил о себе с большою безнадёжностью, и заметно, что наконец ему становится невтерпеж. — Не знаю, что мне здесь делать; сердце, однако, холодно. Завтра, может быть, обращусь к Срезневскому, что ни будь. — Когда пришел, у нас был Ал. Фед., мы толковали о политике; после пришел Горизонтов, священник, и Ал. Яковлевич, толковали. Горизонтов показался не так непогрешимо умен, как в первый раз, и не так мил, но все-таки в довольно высокой степени. После Ал. Фед. остался (Ив. Гр. не было дома и разговор поддерживал Ал. Фед. по большей части о семинарии) и стал спрашивать у меня анекдоты из римской истории, которые написаны в скобках косыми буквами у Смарагдова. Я, несколько не тяготясь, говорил ему, правда и без большого удовольствия своему самолюбию, но без обременения, говорили до 10 часов. После я стал переводить, чтобы прочесть Никитенке во вторник о «Фаусте» и проч., из «Фаланги» и перевел введение до «I». После ужина, теперь ложусь. Перевод писал полно, а не с сокращениями.

29 [ноября]. — Положил, что ныне буду у Излера, и был после обеда, как думал. Утром после Ворониных не пошел в библиотеку, а в XI аудитории сел на самую заднюю скамью посредине, для того, чтоб, если войдет кто из знакомых, успеть спрятать книгу, и начал переводить из «Phalange» о характерах. Сходя по лестнице, сказал несколько слов мне Никитенко, что мне было приятно, хотя слова эти состояли в том: «какие у вас сегодня лекции?», «так вы еще не успокаиваетесь, — а я вот уже успокаиваюсь» — и только, но все-таки приятно, что стал говорить. Срезневского не было. Дома переводил, в 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> к Излеру, там посидел с удовольствием — до 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>; после к Александру Фед., которого, как и знал вперед, не застал; после [к] Ол. Як. — тоже; после, до этого времени (11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>), переводил и теперь остается только 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> страницы, потому что уже кончил 145-ю и теперь следует: «Que cherchait donc Alceste?» Маленькое сомнение у меня: ведь это против общепринятой системы нравственности, и совестливости прочитает такие мысли несколько тяготит, однако, весьма мало, — эмансипация страстей и проч. — все равно, думаю, что завтра непременно буду читать.

30 [ноября]. — Проснулся в 7, в 9 кончил перевод и в 10 пошел в университет, написавши письмо. Был снег, не протоптанный еще, и резкий ветер; было скверно. Перейдя Исаакиевский мост, встретил Ханыкова, которому сказал, что перевел, и сказал, что лучше, если он будет у Никитенки. Я хотел, как он войдет, сказать, чтобы позволил после себя прочитать одну вещь, потому что я знал, что он хотел принести ныне темы и говорить о них, но думал, что успею сказать это и что тогда он сократит свою речь. Был Вас. Петр. на лекции, может быть, для того, чтобы послушать «об эгоизме Гете», которое он говорил, чтоб я прочитал ему, а я не прочитал ему, а может быть потому, что нужно поговорить с Залеманом об Элькане, и потому, что был уже в этих краях. Место уже назначено почти человеку, ничего не стоящему, дожидались кандидатов две недели, не было. Встретил у входа в VI аудиторию Ханыкова, стоящего с Фурсовым, который согласился справиться о деле; потолковали кое о чем, о Михайлове и проч., который придет в феврале. Никитенко говорил все время о темах; я положил листки на стол перед собою и показывал, может быть довольно заметно, нетерпеливый вид; вошел он в аудиторию весьма быстро, так что мы стояли у дверей и увидели его только, когда он подошел, и я, идя впереди его, только обогнул стол от стены и обернулся, как он уже начал говорить. Я думал, что если и не удалось сказать, то, может быть, он заметит, что у меня бумага, и кончит скорее, но надежды разрушились, когда я увидел, что остается только уже полчаса и еще три темы разбирать из семи. Дело проиграно. Я смотрел с сожаляющим недовольным видом на Ханыкова и после сказал ему об этом несколько слов. Сначала решительно слушал Никитенку, после менее, потому что думал о том, что не удалось сделать по душе Ханыкову.

После дома спал; после говорил с Любинькою, так как Ив. Гр. был у Зуровых. Мне было несколько неприятно оставить ее скучать, и я говорил о свадьбе Шатобриана, [про] которую вчера читал в «*Presse*», об электрическом освещении, и наконец, читал отрывки из первой статьи IV тома *Paris révolutionnaire*\*, который дал Ханыков, где сцены из заговора *Tories*\*\*, те сцены, где король и проч. радуется, что он *s'avise conspirer*\*\*\*. Ей понравилось. Деньги хозяевам отдали ныне за месяц или до января. Итак, еще месяц жить здесь или вместе с ними, если не захочу переехать, более не хочу. Читал вечером март — апрель «*Фаланги*» — *la question religieuse*\*\*\*\*, что-то вроде «*Маяка*», хотя есть дельные мысли, напр., что в Евангелии нет ясных мест о божестве, как существо бесконечном, и что если мы говорим о нем в науке, то как о существе, которое состоит в отношениях с конечным, только поэтому круг действия которого конечный. После необходимость науч-

\* Революционный Париж.

\*\* Неразборчиво.

\*\*\* Решился составить заговор.

\*\*\*\* Религиозный вопрос.

ной реформы — правда, Ассоциация делателей науки, и хорошо развитая необходимость. Теперь прочитал до 235 стран.

1-го [декабря]. — Фишер показался на лекции еще пошлее и недалеко, чем в прошлый раз. Когда шел из университета, было так холодно, что я не захотел к Вольфу после обеда и спал до чаю. После читал о новом административном праве в май — июнь, потому что там говорится о сериарном законе, который основа учения, поэтому стал раньше других статей читать. Что основание, крылья, переходы — это все решительно так, это я и раньше думал, что исключения — индивидууму, образовавшемуся под влиянием 2 законов, это решительно так; в религиозном вопросе в этой книжке что мне более понравилось, чем в март — апрель, хотя, конечно, не бог знает как — Фома Мюнцер: превосходный взгляд, решительно мой.

В желудке было нехорошо, поэтому чай вечером пил без хлеба и не ужинал. Теперь  $10\frac{3}{4}$  и через четверть часа лягу, а теперь начну читать июль — август. Да, утром прочитал библиографию и смесь во всех книжках, которые начал читать вчера вечером.

Когда шел к Ворониным, снова несколько думал о своей машине, и мелькала мысль расположением известным образом магнитов устранить неравномерность, при различной глубине во время круговращения, веса столба воды.

2-го [декабря], 11 [час.]. — Было менее холодно, чем вчера, и я сумел, особенно когда шел в университет, весьма хорошо закутаться, так что уши несколько не озябли. Теперь во второй раз зимою ходил без калош, между прочим по экономии: не достанет, ли этой пары сапогов и старых калош до лета? Конечно, нет, но все-таки. В университет пошел в  $10\frac{1}{2}$ ; не пошел к Грефе, как и хотел, а в библиотеку, где читал «Revue d. d. Mondes» критические статьи Limaugac'a — пошлость, так же, как и замечания о бездушии, непостоянстве и проч. отсутствии принципов у Бенж. Констана. Чудаки, — они думают, если человек в негодовании говорит: «я не верую, люди подлы и глупы», так это в самом деле потому, что он менее их одарен душою, жаждущей верить, любящей человека, а не потому, что, напротив, у него эти силы жаднее ищут удовлетворения и что горше для него несообразность действительного с разумным?

Когда сидел, Залеман сказал, чтоб если я буду у Вас. Петр., сказал бы ему, что в 11-й линии Тарасов (в собственном доме) ищет переводчика; я решил идти к нему, от него к Вольфу, проводив его к Залеману. Но я еще обедал, как вошел он, просидел  $1\frac{1}{4}$  час. Мне было досадно, что присутствие Терсинского его стесняет и меня тоже, — перейду, как будет можно. Ушел в  $5\frac{1}{4}$ , я уснул; проснулся в  $7\frac{1}{2}$  пить чай, после читал (да и раньше тоже) «Phalange» — никакого сравнения с «Revue d. d. Mondes», которое довольно надоедает своими «умеренными и благонамеренными» мнениями — точно Булгарин. В субботу, может быть, отнесу эти книги Ханыкову.

3-го [декабря]. — Вас. Петр. вчера, напр., говорил, что мое присутствие стесняет Никитенку, как опасного судьи, и что он менее позволяет себе высказывать свои мнения, которые считает подозрительными, при мне; что, напр., когда он, как пришел, сказал, что выходит весьма хорошая книга, грамматика Давыдова, я тотчас сказал: «Конечно, не знаю, следует ли это сказать, но, судя по имени автора, ничего слишком хорошего нельзя ожидать». Это, говорит, его сконфузило, потому что он уважает Давыдова — как же так ниспровергать его авторитеты? Я отвечал, что, вероятно, это не так, что Никитенко смеется над ним, как человеком устарелым, поклонником Батё. И вообще, напр., Вас. Петр. говорит, что Ив. Гр. стесняется моим присутствием потому, что сознает мое превосходство над собою. Мне приходит сомнение в голову, не лезть ли это от него — может быть, по простому искушению польстить, сказать приятное человеку, а может быть по нашим денежным отношениям. Конечно, последнего, как решительно недостойного его, я не принимаю, но сейчас пришла в голову мысль, что какое же сомнение в друзьях заставляет нас питать богатство, могущество и проч., когда уже мне приходят в голову такие мысли.

К Терсинским в последнее время снова какая-то странная вражда, так что мне кажется, что с минуты на минуту должно ждать какой-нибудь схватки (точно так же, как, напр., и с Фрейтагом, у которого на лекции пишу это), и когда я в одной комнате с ними, принимаю мрачный вид, который должен бы быть смешным для того, кто знал бы это, смешным потому, что едва ли есть какие-нибудь в этом роде намерения и чувствования у них. Когда, напр., я зажигаю свечу, я всегда ожидаю, что скажут что-нибудь вроде, что можно бы сидеть всем вместе, и знаю, что если это скажут, то Любинька, и без всякого дурного намерения, и что если скажет, то я промолчу, потому что не люблю связываться, а между тем все-таки готовлюсь дать отпор. — Смешно, все равно, что жду сражения с Фрейтагом, которого от души как-то не то что не люблю, не то что презираю, а и то, и другое вместе понемногу. Напр., ныне, когда шел сюда, когда дошел до Чернышева моста, вспомнил, что не взял листочков из Светония и что он это может заметить — знаю, однако, что не заметит — и сказать что-нибудь в этом духе: «Что, у тебя нет?» — и когда шел, большую часть дороги думал о том, как ему отвечать на это: «*Noli, quaeso, res alienas*», или «*ea quae nihil ad te spectant scrutari*»\* или «*Moneri*» поп (и вздумал, что собственно должно сказать *minime*) ато\*\*.

Напишу что-нибудь про «Phalange». — Что говорится об ассоциации — кажется решительно справедливо, только бог знает, *le travail attrayant*\*\*\* каково, — и потом мешает несколько предрассудок относительно Луи Блана, которого мысли, еще кажется мне, должны быть решительно справедливы и про которого говорят

\* Прошу не спрашивать про вещи, которые тебя не касаются,

\*\* Не люблю поучений.

\*\*\* Привлекательный труд.

они: «один писатель, которого, однако, не все принципы мы принимаем».

Завтра отнесу книги Ханыкову, если увижусь ныне с Вас. Петр., который может быть будет в университете, если нет — нет, потому что я сказал вчера, что буду у него в субботу вечером, а если так, то слишком устану. Если увижу, так скажу ему, что лучше буду в воскресенье, чем в субботу. Прочитываю в этих книгах почти все, кроме рукописей самого Фурье, потому что теперь читать их бесполезно, не читавши его сочинений, при жизни изданных, в которых те мысли, на которых он основывается здесь. У него, однако, — я прочитал рукопись в двух, я думаю, книжках — ясно виден ум весьма самостоятельный, поэтому очень сильный, хотя, так как я не знаю путей, по которым доходит он до результатов, результаты если не очевидно справедливы — странны.

Ныне может быть буду у Вольфа, а скорее не буду из университета, а домой. Вот и мало пишу, и в голову идет мало.

Meine Ruh' ist hin,  
Mein Herz ist schwer;  
Ich finde sie nimmer  
Und nimmer mehr!  
Wo ich ihn nicht hab,  
Ist mir das Grab,  
Die ganze Welt  
Ist mir vergällt.  
Mein armer Kopf  
Ist mir verrückt,  
Mein armes Herz  
Ist mir zerbricht,

Nach ihm nur schau ich  
Zum Fenster hinaus,  
Nach ihm nur geh' ich  
Aus dem Haus.  
Sein hoher Gang,  
Seine edle Gestalt,  
Seines Mundes Lächeln,  
Seiner Augen Gewalt,  
Und seiner Rede  
Zauberfluss,  
Sein Händedruck,  
Und ach! sein Kuss!

Meine Ruh' ist hin,  
Mein Herz ist schwer;  
Ich finde sie nimmer  
Und nimmer mehr.  
Mein Busen drängt  
Nach ihm sich hin:  
Ach, dürft' ich fassen  
Und halten ihn!  
Und küssen ihn  
So wie ich wollt',  
In seinen Armen  
Vergehen sollt'! <sup>100</sup>

Когда я это писал, меня как-то расшевелили сердцем эти стихи, как довольно давно уже не шевелили, я читал их официально, более ничего, а теперь почувствовал особенно последние куплеты, потребность странной любви. Когда я их читаю, всегда приходят мне в голову слова Веры у Лермонтова: «Вы, мужчины, материалисты и не понимаете блаженства взгляда, пожатия руки! А я, когда слышу звук твоего голоса, ощущаю такое глубокое, странное блаженство, какое не доставляют самые страстные поцелуи».

10<sup>1/2</sup>. — У Устрялова был Вас. Петр. и у Куторги, — верно невесело, — и после мы пошли вместе до Семеновского моста. После он немного проводил меня в сторону по Фонтанке. К нему в воскресенье, завтра к Ханыкову. Дома немного вздремнул от усталости — и к Ворониным. Когда туда шел, чувствовал уж утомление, поэтому думал, что понадобится взять извозчика, но когда вышел от них, вздумал, что лучше зайти отдохнуть к Вольфу, и зашел; нового мог узнать мало, потому что слишком бегло читал, а замечательного сделал только то, что вырвал и унес листок из «*Illustr. Zeitung*», где перечисляются партии и их предводители во Франкфуртском Собрании. Вот и вырвал, и несколько не мучит совесть, а только, как всегда, я трушу, что может быть заметят. — Конечно, нет. Ложусь теперь.

4-го декабря.— Утром проснулся поздно и поэтому не был у Фрейтага. Когда пришел в университет, сказали, что мне приходилось быть назначенным писать вместе с Корелкиным и нас обоих не было, он сказал: «Верно эта болезнь продолжится долго и поэтому назначаю других», с усмешкою. Мне это было неприятно, и я думал, не сказать ли ему, когда он будет у нас в следующий раз, чтобы он удерживался от шуток. Получил деньги с почты, — мне 10 р. сер., из которых, конечно, 9 Вас. Петровичу.

Из университета пришедши спал, после — к Ханыкову, у которого просидел с 8 до 11; у него был один господин молодой, Дебу, и мы толковали. Сначала разговор был больше между ними, после между Дебу и мною, после между всеми, после между мною и Ханыковым. Я ушел, он остался. Говорили о политике в радикальном смысле, — это все так и я решительно согласен; о семействе, против которого они оба сильно восстают, — с этим я уже не согласен, напр. детей отнимать от родителей и отдавать государству — разумеется, говорю про теперешнее положение вещей, когда государство так глупо; о боге, в которого они не веруют, — на это я также не согласен и все-таки в этих двух пунктах я не противоречил им по своей обычной слабости или уступчивости. У него взял II том Фурье, где о *libre arbitre* и *de l'unité universelle*\* и Катехизис Ж. Б. Сея. О *libre arbitre* теперь прочитал (теперь 9½ утра, 5-го воскр.) 40 стр., и снова тоже все равно, как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т.-е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна. Пришел домой, как весьма давно не приходил, в 11¾ и писать здесь не стал, потому что не хотелось.

5-го [декабря] (пишу это 6-го в 9¼ утра).— Утром, как напился чаю — к Вольфу, где читал «Отеч. записки», XII, Записки Шатобриана и Литерат. летопись и смесь; науки и повести — нет, потому что не успел. Записки Шатобриана весьма хороши — это описание этой любви к созданию его воображения, живой, всемогущей потребности любить, его исключительно, — все это дышит жизнью. Одно из мест так мне понравилось, что когда он прибавляет: «Когда ты будешь читать, я буду уже перед богом» — я поцеловал это место.

В 4 почти часа пришел домой; как пообедал — к Вас. Петр., у которого с 4½ до 7½ просидел, играл в карты с ними и все плутовал и смеялся: она не догадывалась об уступках, которые делал ей, когда играли в короли. — как дитя, решительно дитя. После пришел и читал Фурье. Когда Ив. Гр. спросил, что это, я сказал, что политическая экономия. Когда спросил — чья, я сказал, что не знаю — я завернул и запечатал эту книгу, чтобы нельзя было видеть, чье это сочинение, и печать спрятал (это после чаю 9¾). Надежда Егоровна, которая не бывает у своих, потому что недо-

\* О свободе воли и всемирном единстве.

вольна ими, была рада, что я пришел, и оставляла посидеть, говорила, что ведь им одним скучно, и проч. — Когда вышли, я отдал Вас. Петр. деньги, который вышел в сени. Он хотел быть ныне, т.-е. в понедельник 6-го. Я сидел у них без скуки; Вас. Петр. снова в суждениях показывал свое превосходство надо мною, напр., говоря о глупости рожки попечителя и проч. Я пил у них чай, чего давно не было. Он между прочим сказал, что вчера хотелось ему страшно сходить к Ив. Вас., чтобы покурить табаку, да не знал наверное, есть ли у него. Это меня затронуло: я со своими глупостями стал так жить, что у меня ему нельзя и покурить. В субботу взял у Шмита брюки.

Фурье своими странностями и чудным беспрестанным повторением одного и того же как-то отвращает, но между тем виден во всем ум решительно во всем новый, везде делающий не то, что другие — если можно с чем сравнить это его свойство, что обо всем говорит не так и не то, как другие, и так спокойно, так это с «Записками сумасшедшего» Гоголя — вещи бог знает какие и высказывает их человек так уверенно. Прочитал я у него до этого времени до 20 стр. его *de l'unité universelle* \*, прочитавши уже о свободной воле и введение к *unité*.

6-го [декабря]. — День моих именин. Как встал, помолился несколько минут, стоя на коленях. Мысли были: дай, боже, чтобы в этот год решительно поправились дела Василия Петровича и чтобы не нанести мне никакого прискорбия папеньке и маменьке, чего я боюсь, и чтоб служил им в радость (между прочим, чтобы не вышло чего-нибудь неприятного для них по университету). О себе не помню, молился ли, кажется (да, верно), чтобы быть здоровым и чтобы освободиться, наконец, от этой мысли, не имею ли какого-нибудь рода сифилиса. После этого читал Фурье и его, когда встали Терсинские, спрятал в ящик и читать буду Гизо и Мишле.

Сходил к обедне, пришел к самому началу, ходил не по внутреннему побуждению, а более по внешнему приличию. Там, сажени на две от меня, стояла какая-то молодая женщина вроде швеи или в этом роде. Я случайно взглянул на ее лицо — полное, кругловатое, довольно правильное, но с неприятным выражением, какое показалось мне издали похожим на лицо Златорунного, моего товарища по семинарии, который казался мне портретом лисицы, и лицо ее поэтому мне не понравилось; но когда я остановил на ней глаза, она также стала смотреть на меня смело, но как бы показывая вид скромности. Мне захотелось позабавиться и заставить ее подумать, что она мне понравилась, и я довольно часто стал смотреть на нее; она тоже постоянно оборачивалась на меня, и тут я понял, что она в моем распоряжении и ждет только повода выказать свою благосклонность; это было для меня так ясно, как никогда еще относительно женщины — чувства никакого, кроме некоторой приятности, что вот хотел бы, так можно бы, да, конечно, не хочу, потому что

---

\* О всемирном единстве.



не хочется и потому что дрянь. Хотел выйти до молебна, да дожидался конца, чтобы пересмотреть женщин, и половину пересмотрел. Когда пришел, стал переписывать по порядку имена франкфуртских членов, которых в том листке более 100. Пришел Ал. Фед., сказал, что был Корелкин, когда я был у обедни. За обедом Терсинский купил бутылку вина, я не стал пить, потому что не захотел, потому что не стоит. Это может быть несколько оскорбило Ив. Гр. Был Вас. Петр., который не дожидался чая, а ушел перед самым чаем, — что для меня было неприятно, — потому что должен был придти в это время, потому что Над. Ег. должна была в это время воротиться от Самбурских, а ключи у него. Вечером читал Дон-Кихота Ламанчского (?), спал и говорил. Читать почти ничего не читал, теперь 11<sup>1/2</sup>, ложусь читать Фурье.

Через несколько минут снова выдвинул ящик, чтоб записать, что когда стоял у обедни, пришла в голову мысль, которая, кажется, не выйдет из нее, а сделается основанием взгляда на мир, — что когда человек решается на благородный поступок, против страстей, которые советовали ему сделать другое, эти страсти не покидают его, а переходят и в это его состояние и прилепляются как могут к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение; тоже и нужды и потребности и вообще все личное, мелкое, эгоистическое. А теперь пришло в голову сравнение: это все равно, напр., [как] чувство гастрономическое велит мне выбирать из молочной кашицы и какого-нибудь дорогого, великолепного и чрезвычайно приятного для меня соуса последний, но я должен, потому что он нужен для больного, есть молочный: чувство вкуса против этого выбора и жалею об этом, но все равно, чувствую приятное и довольно большое удовольствие от молочного супа. Или: я должен продать свой прекрасный фрак, но когда надену старый и дешевый, который один остался у меня, чувство желания быть хорошо одету не покидает меня, напротив, заставляет прихорашиваться, чиститься, даже, пожалуй, рисоваться — что из этого? разве я шел теперь против него? и разве что следует из этого? Так оно всегда со мною, всегда, всегда, но не имеет никакого на меня влияния, как скоро есть что-нибудь кроме него и выше него.

7-го [декабря]. — У Никитенки читал статью из «Phalange», слушателей было весьма мало. Никитенко нашел взгляд решительно неосновательным, сказал, что автор видит в характерах то, чего в них нет. Я отчасти спорил, отчасти поддакивал ему, и вообще эта неудача произвела на меня неприятное впечатление. После, как пообедал — к Излеру, у которого пробыл до 6<sup>1/2</sup>, читал 9 декабря газеты; нового ничего почти не узнал, кофе не пил. Оттуда к Ал. Фед., у которого посидел до 10, скучал не во все время, а разве в продолжение полчаса, когда он говорил о своих делах у Оржевского и о брате. Говорили о политике, Ханыкове (мало), наконец о Резимон, которая ему весьма нравится и в душе какое-то платоническое чувство наслаждения, когда он смотрит на нее — все сколько-нибудь возвышает человека над мелким эгоизмом. Взял

«Débats» 21—26 ноября, статью прочитал до половины 3-й страницы, половину характера Д. Ж.<sup>101</sup>.

8-го [декабря], 10<sup>1/2</sup>. — В университете Фрейтаг и особенно Куторга так надоели, что нет мочи, и сам Никитенко показался пошлым, чего раньше не было: казалось, что толкует вздор, но не казался пошлым — это все открыл мне глаза Вас. Петр. Из университета зашел к Вольфу, там в «Прусском Монитере»<sup>102</sup> 10 декабря ничего нет. После обеда уснул и спал до 7<sup>1/2</sup> (2<sup>1/2</sup> часа, я думаю), когда разбудили к чаю; так-то я все сплю — я думаю, главным образом, оттого, что с Терсинскими живу. После писал Фрейтагу и написал черновую в продолжение 1<sup>1/2</sup> часа, завтра пересмотрю и перепишу. После ужина, да и перед ним, да и утром читал Фурье и прочитал до 150 стр., где начинается о страстях: вещь не так нелепа, как казалось с первого раза, посмотрим. Любопытства у меня мало теперь, между тем как раньше было весьма много, и не думаю, чтоб увлекся его системою.

9-го [декабря]. — Утром встал в 5 часов, это хорошо, потому что вчера спал, прочитал латинское сочинение внимательно (около 1<sup>1/2</sup> часа) и дочитал до *avant propos* \* самого трактата *De l'unité* (всего стран. 60—70), после пошел в университет, по дороге — к Вольфу, где пробыл около 1<sup>1/2</sup> часа, ничего не брал; после в библиотеку, где читал сначала каталоги и записал политические сочинения Sismondi, чтобы читать там вместо «*Revue d. d. Mondes*», которого 45 год и 46-й у Чайковского, а 47-го еще нет. Других журналов не хотел уже читать, потому что не стоит, я разве примусь за Вентурини; итак, раньше с нетерпением читал «*Revue*», а теперь вижу, что не стоит читать: направление знаю, приложения этого направления не стоит читать. Когда пришел, читал «*Débats*» с час; после переписал сочинение и спал; после пришел Ал. Фед., просидел час, толковали о политике, взял прежние журналы и принес новые, 27—4 дек. Теперь сплю и читаю «*Débats*». В субботу хочу быть у Ханыкова, завтра верно побываю у Излера от Ворониных или у Вольфа из университета. Фрейтагу верно ничего не скажу, потому что не хочется, потому что сам не слышал ведь его насмешек и не знаю, в каком тоне, а в сущности, кажется, потому, что трушу связываться!

10 [декабря]. — Фрейтаг читал сочинение гораздо тише, чем другие, и мне показалось, что несколько оправдываются слова Василия Петровича, что опасается делать замечания. Написал *as oacula*, — должно быть *atque*, решительно так, я сделал глупость; времена все так, между тем как я не знал, так ли. Может быть не знает сам, так или нет, и не поправляет, потому что слишком ясного противоречия с правилами нет. Начал переводить Лыткин, между тем как хотел кто-то другой.

Когда узнал, что австрийского императора принудили отказаться не либералы, а Виндишгрец и проч., т.-е. военные депутаты, тотчас

\* Предисловия.

переменил тон своих суждений о нем и стал жалеть о нем, между тем как раньше смеялся.

Что до Вас. Петр. — ничего не могу сказать; деньги всегда готов жертвовать, к нему — уже не тянет, напротив — не то что лень ходить, а в этом роде, похоже на то, как к Ал. Фед., только с другой стороны, и теперь, когда раздумывал об этом, кажется, что даже странно такое живое постоянное участие в человеке, как я себе раньше воображал. Когда иду к нему, то желаю лучше, чтобы Над. Ег. не было дома (это уже давно, почти как перешли к Максимовичу, — нет уже после правда), между тем в первое время [после] свадьбы хотелось смотреть на нее, и теперь решительно хладнокровно бываю у них; думать не хочу и не буду сладострастно, а платонически восхищаться как прекрасным созданием божьим перестал уж, кажется, и смотрю только как на доброе и красивое существо, но которое не может сильно нравиться, потому что не развит ум.

Когда Фрейтаг прочитал, не делая никаких замечаний, и сказал спокойно после: bene\*, мне стало совестно, что я всегда так встаю против него и перед этой самой лекцией бранил его. — От доброты это или от низости душевной? И мне захотелось не связываться с ним.

Ныне или из университета посижу у Вольфа и буду пить кофе, или от Ворониных зайду к Излеру и после к Ал. Фед.

Когда шел в университет, вдруг вздумал, что до нового взноса денег в университет только 3 недели, а не 2 месяца, и перемены в положении в это время не может быть. Никитенке хочу писать первую о влиянии образования чувства изящного на человека с точки зрения единства сил в человеке, абсолютного единства: развитие его необходимо, потому что должно развивать всего человека; односторонность пагубна и невозможна, так что если человек не весь развит, он и не развит, и с этой же точки зрения буду говорить о произведениях изящных — они должны служить не одному этому чувству — это было бы дело пустое, а вместе всегда разрешать [задачи] истинного и доброго (истина и добро решительно одно и то же, два выражения одного и того же, которые никогда не отрываются и не могут быть одно без другого), и всегда должно быть содержание их взято из жизни, живых потребностей времени, того, что волнует или должно волновать общество, поэтому политическая литература — высший род литературы, и писатель раньше всего должен быть человек с мнением о настоящем и прошедшем. И напишу это ко вторнику, чтобы отвязаться от Никитенки с его незамысловатыми задачами и чтобы другой кто не отнял единственной порядочной.

Чувствую превосходство Вас. Петр. в проницательности передо мною: он с первого раза, видя человека, говорит то, что я скажу о нем, когда коротко его узнаю, т.-е. вот человек пошлый или порядочный (последнее редко).

\* Хорошо.

Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру, не перечитавши хорошенько их и не переписавши на общечитаемый язык, то ведь это пропадет для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным человеком.

Сейчас по случаю того, что ведь гладиаторы бились по странному мнению, о котором напоминал Фрейтаг (*deos manes placari victimis humanis* \*): во время Цезаря немногие очень верили в это из образованных людей, немногие верили в языческие учения, а между тем вот что делали — даже человеческие жертвы и миллионы для предрассудка, над которым, конечно, смеялись, но в который верил народ, хотя не решительно верил, жертвовали; и точно то же положение христианства в Западной Европе, можно сказать, и как тогда падающее язычество пробудило маленькую, но чрезвычайно энергичную в верованиях и убеждениях, что не погибнет язычество, партию, так и теперь видим маленькую партию на Западе: александрийцы, которые сливают учение Павла и Юпитера, равняются Buchez и Genoude, которые соединяют якобинцев и католицизм. И пришло на мысль: что, если мы должны ждать новой религии, которая ввергнет меч между отца и сына, между мужа и жены, как христианство, и если я приму ее? но это — желание повторения, а повторения редки, и скорее вместо христианства, если оно должно пасть, не явится уж такая религия, которая объявляла бы себя непосредственным откровением, а по системе Гегеля — вечно развивающейся идеею.

А что, если мы в самом деле живем во время Цицерона и Цезаря, когда *saeculorum novus nascitur ordo* \*\* и явился новый мессия и новая религия, и новый мир? У меня, робкого, волнуется при этом сердце, и дрожит душа и хотел бы сохранения прежнего — слабость? глупость? Что угодно богу, то да будет. Если это откровение, — последнее откровение, пусть будет так; если должно быть новое откровение, да будет оно, и что за дело до волнений душ слабых, таких, как моя.

Но я не верю, чтоб было новое, и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о нем.

Пришло в голову вчера, когда думал о влиянии смерти Р. Блюма и о предложении Chabot: «Убейте меня и подкиньте мой труп реакционерам, чтобы народ встал против них», и проч. Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют,

\* Тени умерших требуют умиловительства богов человеческими жертвами.

\*\* Рождается новый порядок вещей.

и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что [не] увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден.

3 часа. — Куторги не было, поэтому по Невскому пришел домой сейчас и стал читать Фурье, как раскрылось, и прочитал полстраницы или менее, несколько строк, строка 10 снизу 28-й стран. *avant propos* \* (полного собрания сочинений II том) — отношение раздробленного к *associé* \*\* обществу, отношение тьмы к свету, планеты к комете — пришла в голову (потому что он говорит противоположным образом, — комета выше планеты) теория развития небесных тел и вообще развития — когда я ими буду доказывать общую мысль, что все развивается, происходит через развитие (т.-е. когда Гегель будет защищать свою систему), и буду ссылаться на все эти примеры, то собственно это не доказательство настоящего образом, а указание, что эта мысль уже сознана веком в известных частных случаях и приложена по мере возможности и что все должно быть едино, по единой мере и весу должны мы смотреть на все, — там признаете это, следовательно должны признавать и здесь. Таково стремление идей века, и поэтому моя идея превозможет, будет для вас (а может быть и навсегда) истина.

11 час. у Фрейтага на лекции. — У Устрялова был Вас. Петр., сказал мне, что в театре его хорошо отрекомендовали и завтра он будет у Сосницкого; это хорошо, дай бог. К Ворониным, оттуда в кондитерскую к Излеру, где пил кофе, просидел до 10 час., несколько не устал. Выбран, конечно, будет, как пишут, Луи Наполеон действительно <sup>103</sup>; деревни не выросли еще до подавания голосов в таких обширных делах, и может быть не несправедливо говорили те, что рано еще *suffrage universel* \*\*\* , — вот как меняются мои мнения, — но, однако, это только начало и это новое мнение далеко не пустило корней в мою душу и много надо событий, чтобы оно превозмогло. С Вас. Петр. увижусь в воскресенье или понедельник.

11 декабря. — Ночью просыпался и пошел в кухню и там делал свои известные дела, но совершенно неудачно, наконец разбудил Марию, которая спала на печке, и едва ушел. Хорошо, что было слишком темно. Не знаю, кажется, не заметила. Что за глупость и низость! И как бог допускает меня до такого унижения! В самом деле, странное дело человек! Днем я сам едва понять могу, как отпускаю такие скверные шуточки ночью.

Не знаю, что будет с Вас. Петр., дай бог ему освободиться от своих тесных обстоятельств, потому что, наконец, как же это можно ему! Это нечто противоестественное и странно, что такой человек находится в таком положении, но нет, правда, это не должно бы быть так! Кроме того, это желание усиливается во мне *coincidentia* \*\*\*\*

\* Предисловие.

\*\* Правильно организованному.

\*\*\* Всеобщее избирательное право.

\*\*\*\* Совпадением.

с ним и того обстоятельства, что таким образом и я освобожусь от своего затруднительного положения: 1) что все деньги должны идти к нему, и я в неприятном положении перед Терсинскими, 2) самому не могу ничего сделать, напр., одежда плоха, 3) не могу разойтись с Терсинскими или выйти из этого смешного положения (однако, это все ничего: я человек пустой, — он главное).

Дочитал ныне утром Фурье, т.-е. собственным образом и не дочитал, а пробежал глазами, потому что вечная палинодия надоела, наконец, — то же и то же во всем предисловии; теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений: странное дело для меня кажется, что человек с такими странностями и ограниченный в своих толкованиях, умствованиях должен быть поставлен главою школы, которая неоспоримо занимает великое место в истории, что он первый провозгласил новый принцип — удовлетворения инстинктов, хотя может быть (я это еще не знаю) и придал ему странный вид, так что вышло что-то похожее на смешное; притязания его так ограничены и ясно случайное и не самостоятельное, напр., вознаграждение эмигрантов и проч., и весь этот II том так отзывается рассуждениями сумасшедшего у Гоголя, а между тем он провозгласил первый нам несколько новых мыслей, которые называют нелепыми, а я нахожу решительно разумными и убежден, что будущее принадлежит этим мыслям, — напр., о вреде торговли в теперешнем виде, и проч. и проч. Мне кажется, это несообразность, и мне хочется предполагать, что все эти мысли заняты им у его предшественников, — должно это узнать, а то это слишком любопытный и запутанный психологический вопрос, — Лейбниц ведь не так писал о дифференциальном исчислении. Это должно собственно узнать, хотя я и не думаю, чтобы я мог скоро это узнать, потому что для этого должно хлопотать и доставать различные книги, которые без просьб нельзя достать; но, конечно, со временем узнаю, а то слишком странно.

Ныне вечером буду у Ханыкова; идя к нему, зайду к Излеру: у меня правило бывать раз надолго и пить кофе, другой — на полчаса даром, чтобы менее выходило денег и вместе чтобы не совестно было.

После лекции (это уже писано в воскресенье 12-го в 10¼, перед тем, как пойду к Славинскому, которому вчера обещался быть) [Залеман] сказал мне, что есть место у нашего посланника в Штутгарте учить сына, только не знает он, поедет ли туда Вас. Петр. на первый раз без жены или нет, и спрашивал меня, должно ли этого ждать или нет, и должно ли ему говорить об этом. Я сказал, что решится ли он — я решительно не знаю, сказать должно во всяком случае, и по просьбе Залемана обещался быть у него, чтобы сказать ему и позвать его к Залеману, который в этот же вечер хотел побывать с ним у тех людей, с которыми должно для этого видаться. Зашел — ему не хотелось идти, Над. Ег. была дома и мне весьма понравилась лицом, но при ней, конечно, я не сказал зачем, а сказал, что захотелось посмотреть «Современник»

XII №, и сказал, что Залеман непременно просил у себя быть. Он надел брюки к сюртуку. Тогда я сказал, чтобы во фраке; ему не хотелось и он взбесился, но Над. Ег. и я настояли. — «Может у него, — сказал он, — этот дурак из Гельсингфорса, с которым он давно хотел меня познакомиться; если это так, то дуралей же он». — Я играл самую жалкую роль. Вышли, я ему сказал, он говорит: «Все это вздор, не знаю, с чего и как приходит, пришло в голову Залеману это, — нелепо: как можно, чтоб посланник не нашел человека с дипломом и значением и проч.». И мне тогда показалось, что это в самом деле вздор, а раньше я не думал и верил в возможность. В самом деле нелепо, и мне стала еще жалче, кажется, моя роль, что принудил, бог знает зачем, идти человека, которому не хотелось идти и оставлять одну Над. Ег. Чтобы отвлечь его от неприятных мыслей о Залемане и себе, и своей глупости, и его положении, я начал говорить насмешливо или желчно о людях. Он слушал и смеялся и поддакивал, а может быть и не слушал. Пришли к Залеману, — он за фортепьянами, поэтому пошли мы к Излеру.

Он ушел, я дождался, пока принесут газеты, которые переменяли, и прочитал, что 2 миллиона у Луи Наполеона, едва полмиллиона голосов у Кавеньяка. После к Ханыкову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, напр., раскольники, общинное устройство у удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле многого я не замечал, или, может быть, не хотел заметить, потому что смотрел с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна и которой, может быть, не долго дожидаться. Это меня несколько беспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твердый неподвижный Boden \*, на котором стоял и в непоколебимость которого верил, вдруг, видим мы, волнуется как вода. Просидел до 11 час. с удовольствием, но не слишком большим и иногда скукою (по временам на несколько минут), взял I том «Положительной философии» Конта и Адскую комедию, которой перевод помещен в «Revue d. d. Mondes» за 1846, потому что следующей части Фурье у него не было. Иду к Славинскому, половина 11-го, в 3½ ворочаюсь, потому что в 4 будет Вас. Петр., или во всяком случае хотел быть.

12-го [декабря]. — День прошел почти без пользы. Утром пошел к Ол. Як. Туда пришел Балбенков, и моя довольно жалкая роль перед ними и потом, главным образом, сравнение с их участью участи Вас. Петр. сделало тяжелое впечатление на меня, так что когда я вместе с Ол. Як. вышел и пошел к Славинскому, я дорожно ругал себя и махал руками. У Славинского говорил больше о том Славинскому, который восхищается слишком мимикой и Фанни Эльслер, что это односторонность жалкая, что ограничивать се-

---

\* Почва.

бя мимикой так же унизительно, как играть на фортепьянах одним пальцем вместо десяти, плетью на скрипке вместо смычка, и что если общество принуждает такой род развиваться, то об этом обществе и о тех, кого оно принуждает делаться сухими фиглярами, должно жалеть. Ушел в 3 часа, чтоб не проглядеть Вас. Петр., его, однако, не было.

Читал вечером Aug. Comte, «Положительная философия», I том — математическая часть не для меня, почти ничего не понял, а 1-я часть 1-й лекции сначала было довольно понравилась, а теперь, прочитавши две первые лекции, в сильном подозрении, не вздор ли все это, и эти 3 периода и все: может быть, это просто довольно ограниченная голова вздумала подвести под свою математическую систему социальные и исторические и философские науки, — не знаю, только этого тома больше читать не буду, а попрошу другие томы. Прочитал и Адскую комедию в книжке от 1 окт. 1846 «Revue d. d. Mondes», отчасти оно порядочно, но кажется подражание Фаусту и вздор и риторика, которая вдобавок делается bestолова от этой узкой драматической формы. И чорт знает что; и глуп, кажется, довольно символизм этот: чорт знает что. — Не понравилось, но нельзя сказать, чтоб решительно гадко было, а просто дрянь. — Что-то Василий Петрович! Он не приходит. В ожидании его не садился писать Никитенке, как хотел писать, и ныне вздумал рассматривать влияние искусства на развитие человека только с одной точки зрения какой-нибудь, чтоб по крайней мере можно было хоть об одной стороне что-нибудь сказать.

13-го [декабря], 11 [час.]. — Пришел из университета (там был Кочубей), заходил к Вольфу; в 5 часов у Ив. Гр. был канцелярист, с которым читал он корректуру записки напечатанной. Это меня взбесило, что нельзя писать Никитенке, хотел было писать. Любинька ушла и села в темной комнате, это меня еще более взбесило, я ушел к Ал. Фед. и Ол. Як. У Олимпа просидел до 8, Ал. Фед-чу отнес «Débats», его не было дома. Воротился, думал, что уже ушел и тихо, — нет, просидел до этого времени, до 11. Я писал письмо, спал, прочитал VII лекцию 2-го курса Гизо de col-pis и ужасно был взбешен на себя, что не мог предвидеть или предупредить этого, — теперь время проходит без всякой пользы, решительно без возможности заниматься, — дурак, подлец. Давно не был так взбешен, ужасно было досадно, все ворчал и не стал ужинать. Еще более взбесило, что когда уходил, приходил Корелкин и не застал меня, это еще более взбесило.

14-го [декабря]. (Писал утром в 8 часов 15-го.) — Вышел, как напился чаю, к Излёру, где выпил кофе, и к Никитенке — в самое время. Сказал Корелкину, который спрашивал, что написал и за-был дома. Никитенке, когда тот пришел, начал было говорить, что кто писал, не пришел, и хотелось сказать, что что-нибудь прочитаю. Он того ждал, что не будут читать, и начал говорить о критике, приводя в пример Державина.



После университета пригласил к себе Корелкина, который пришел в 6 часов, просидел до 8; после пошли вместе к Излеру, где он повел меня в отдельную половину, куда я хотел уже раньше идти, думал посмотреть на шахматы там, — там читал «Allgemeine Zeitung»<sup>104</sup> и проч., выпили по чашке кофе, Корелкин курил трубку. Деньги были только у меня, у него не было, поэтому я и отдал, да раньше 20 к. сер., итак в один день 65 к. Пришло в голову, что ведь Вас. Петр., кажется, говорил, что хорошо играет на бильярде, так нельзя ли этому быть источником денег? Пришло стремление узнать, что с ним делается, и ныне после обеда непременно буду у него, тем более, что может быть (хотя едва ли) получу от Ворониных деньги. Когда получу, — 3 р. сер. на калоши, которые делает Фриц (приходил и взял для этого сапоги без меня, дней 5), другие ему.

Ив. Гр. просидел до 8 час. в Сенате, дожидаясь напечатания записки, которой корректуру читал вчера, и мне стало его жаль, как бывает жаль себя, что утомился, а еще более, когда он просидел всю ночь теперь за письмом, потому что, не думая, что выйдет в 5 час., обещался к ныне составить краткую записку; человек трудится до утомления, и тогда мне нельзя не принимать в нем участия, хотя он мне и не нравится. У Излера читал «Presse», Шатобриана, за субботу и воскресенье (16 и 17 декабря), где говорит он о своей любви к Miss Ives — прекрасно, прекрасно и решительно в моем духе; хотя как-то мысли, которые напечатаны в 4-м или 5 столбце первой страницы, показались несколько ограниченными и несколько расстроили мое расположение, но после снова решительно понравилось оно: как трогательно это свидание через 20 лет, когда оба волнуются, и раньше какая нежность, а в воскресном номере (то в субботу) в первых столбцах, 3-м или 4-м, он объясняет это событие и говорит о своем характере: не откровенный, какой-то сжимающийся, ничего про себя не говорящий, потому что знает, какую скуку наводит это на других, когда говорит человек о себе, поэтому никто, — говорит, — никогда не знал меня — и, конечно, самые короткие друзья мои гораздо более узнают и меня, и обо мне из этих записок, чем знали до сих пор. Это решительно как бы я, решительно как бы я (я и раньше замечал в себе много его характера, весьма много сходства, конечно, такое сходство по качеству, а не по количеству, какое есть между шаром в вершок в поперечнике и солнечным шаром, но все-таки они подходят под один разряд).

15 [декабря] (писано 16-го в 8<sup>1/4</sup>). (Из университета вчера (14-го) я ходил с Славинским в Пассаж и смотрел там на женщин.) Читал Гизо, прочитал лекцию и спал. Хотел начать снова писать словарь из летописей, но не начал, потому что знал, что не кончу, да если и кончу, то нечего отличаться перед Срезневским до окончания в университете. После чаю — к Вас. Петр., у которого просидел до 10<sup>1/4</sup>. Над. Ег. оставляла, когда я хотел уйти раньше. Играли в карты. Вас., Петр. мастерски плутует, и

мне так не удастся. Говорил ему о том, хорошо ли играет на бильярде, — сказал, что нет, и сказал: «Это пробуждает во мне дрожь — то, когда я играл на нем, была самая мрачная эпоха в моей жизни». Говорит: «Надя говорит, что поедет в Штутгарт, вы проводите». — Хорошо, я уж и думал, что это так — если бы это было так, хорошо бы было. Да едва ли будет. Она бы приехала туда, не зная по-немецки, поэтому несколько времени, пока образуется (в это же время и по-немецки выучится), не бывала бы в обществе, ее никто бы не знал, — и после явилась бы решительно дамою — это было бы хорошо, как это будет здесь — я не знаю. Вас. Петровичу какой-то господин, родственник Залеманов (Гринцевич), предложил переводить какое-то рассуждение. В пятницу будет в театре и у него и в субботу у меня.

16 [декабря] (писано у Фрейтага на лекции, 17-го в пятницу). — Утром в 10 к Излеру, где ничего нового не нашел; в 11 оттуда вышел, просидевши час, и в университет, где читал Лафатера Физиогномику<sup>105</sup>, которая не удовлетворяет меня, потому что только (читал я конец I и II тома) замечания инстинктивные, но в этот час несколько развились мои понятия, но и кроме того в библиотеке слишком много нужно времени для того, чтобы с пользою читать, потому что [нужно] много времени и внимания, чтобы внимательно разбирать портреты; хорошо он говорит об однородности черт в лице, так что если хоть одна черта в портрете истинна, то по ней собственно, говоря по теории, можно бы было поправить все неверные, если б наука была совершенно развита.

Идя в университет, заходил к Ал. Фед., у которого взял 5—9 декабря «Débats» и оставил записку, в которой говорил, чтоб пришел ко мне. Пришел в самом деле в 6<sup>1/2</sup>. Как пришел из университета, я (но времени \* за обедом до пяти) в баню за 7 к. сер., много народу было, однако, ничего, вымылся, кажется, хорошо. Пошел собственно потому, что на подбородке стала от грязи дрань, руки слишком загрязнены от кисти до локтя, и свое дело в нужнике слишком делал грязно и неловко, так что все должен был чесать. Ал. Фед. просидел до 10; после читал «Débats» и теперь принес 9 ноября Славинский, которому хотелось прочесть Прусскую конституцию, которая здесь помещена. Залеман в университете сказал, что надежда на Штутгарт решительно не потеряна, но граф в холере и должно ждать, когда выздоровеет.

17-го декабря. — Ныне последний день, в который до нового года будет мне это тяжелое обстоятельство — сходить утром в университет, после к Ворониным, отчего я всегда почти уставал весьма, и поэтому пятница, день усталости, и вторник, Никитенкиной лекции — два основные дня недели, из которых один я не дождусь пока пройдет и рад, когда пройдет, а другого, когда придет, жду, поэтому суббота — понедельник лучше для меня были дни, чем среда — пятница.

---

\* Неразборчиво. Ред.

О Вас. Петр. — Мне лучше хотелось бы, чтоб он получил хорошее место в театре, чем в Штутгарт, однако, сказать хорошенько не могу, чтобы последнее для него могло быть лучше, а если для него все равно, то лучше для меня, если б он остался здесь. Расскажу свои мечты относительно того и другого случая. В первом случае он тотчас принимается за образование Над. Ег., занимает хорошую квартиру, я бываю у него и у нее; с нею мне становится говорить так же приятно, как в первые дни после свадьбы было приятно смотреть на нее; так как ему не нужны деньги от меня, то я или заставляю Терсинских занять такую квартиру, где мне особая совершенно комната и особый ход, так что они обо мне и знать почти ничего не будут, не только мешать мне, или схожу от них. Во втором случае — Над. Ег. после, до лета, переходит жить, конечно, к отцу; я бываю там часто, но не так часто, чтобы можно было подать повод к каким-нибудь недоразумениям; говорю много с ней, делаю ей всяческие услуги мелкие и удонольствия, сколько могу; она всегда принимает меня с удовольствием, потому что я приятель Вас. Петровича и говорю с нею о нем; приходит июнь и я провожаю ее в Штутгарт. Здесь рождаются различные у меня сомнения в возможности мне ехать; во-первых, от папеньки и маменьки, — но они, я думаю, согласятся, чтобы я побывал за границею, потому что это для меня в самом деле полезно в отношении учения и всего; во-вторых, главное, со стороны правительства, которое не позволяет выезжать раньше 25 лет или окончания курса — ну, это как обделать, это я уже не знаю, это меня вводит в сомнение. Какой я чудак, напр., думая об этом, я знаю, что, во-первых, едва ли и поедет Вас. Петр. в Штутгарт, а если поедет, то, конечно, не меня, такую россомашу, попросит проводить Над. Ег., для чего нужно, конечно, опытность, и предусмотрительность, и расторопность, и проч.; но все думаю, т.-е. не думаю об этом, а само приходит в голову и развертывается там и о приятности свидания с ним и оказания ему услуги, и проч.; потом думаю о переписке с ним и о том уже думаю, будет ли правительство распечатывать письма или нет, — славный Манилов.

Что я буду делать на Рождество, это я и сам не знаю хорошенько: жар читать «Débat» и другие журналы французские в Публичной библиотеке за 1814—1847 года прошел большею частью, так что хорошенько не знаю, буду ли там бывать; вероятнее, буду довольно часто бывать у Вас. Петр. и иногда у Корелкина; у Ханыкова буду брать книги, и эти книги его составят главное мое чтение и занятие в продолжение этого времени; а может быть, буду у Срезневского, чтобы узнать для Корелкина и для себя (потому что и мне несколько любопытно, почему — хорошенько не знаю) о том, каково рассуждение Корелкина, и может быть вследствие этого получу от него какое-нибудь поручение, что мне отчасти хочется, отчасти нет, потому что ведь нечего делать; буду бывать в кондитерских, читать газеты; наконец, может быть, буду что-нибудь писать, только едва ли, потому что для чего пи-

сать? В «Отеч. записки» или «Современник» не попадет, а иначе не стоит, да как-то, потерпевши два раза неудачу в «Отеч. записках», не думаю об успехе в третий раз, а о том же.

Да и о чем писать? Без материалов, книг и предварительного чтения многих книг ничего не могу написать, а книг, из которых почерпнуть и материалы и пополнить и привести в уровень с современностью свой взгляд, нет и, конечно, не будет, потому что где взять без хлопот, т.-е. без просьбы? А купить — денег, конечно, нет. А хотелось бы, наконец, найти этот источник доставать деньги, потому что не бог знает же, сколько времени лежать на тяжести папеньки и все оттуда получать деньги; ведь от Ворониных слишком мало, другое дело, если бы в 2½ раза больше, т.-е. 40 р. сер. от них в месяц, вместо этих 15—17 р., которые, да и не каждый месяц, [получаю]. — Третьего дня у меня начался кашель сухой и продолжается и теперь; однако, он не сильный и в воскресенье, которое я просижу дома, конечно, пройдет; должно только согреть грудь, что я чувствовал и теперь, когда шел сюда и хорошо был закутан.

Теперешнее собственно мое положение и положение мое, сколько оно зависит от положения Вас. Петр., и положение Вас. Петр. я почитаю как бы provisoire \*, из которого не ныне — завтра должны выйти и в самом деле выйдем, — но, конечно, это только мысль.

О Над. Ег. мое мнение: теперь я, кажется, решительно к ней равнодушен, т.-е. говорю с ней без приятности и неприятности; это весьма много, потому что собственно говорить без неприятности я не говорю ни с кем здесь, кроме Вас. Петр., с которым часто говорю с удовольствием; под «неприятно» я понимаю то состояние, когда если говорю с кем-нибудь, то почти всегда скучно, но не это главное, а постоянно присутствует в голове мысль: «э, пошлый ты человек», и если иногда говорю с удовольствием, так это оттого, что говорю о слишком интересном предмете, о своих убеждениях, которые приписываю собственно себе или которые ставят тебя выше круга русских (почерпнутые из Гизо и проч.), или о политике; но и тут, когда говорю, приятность предмета и увлечение уничтожаются мыслью о понимании того, с кем говорю; так мне неприятно, или противно, говорить всегда с Терсинским; всегда относительно собеседника, хотя не всегда относительно предмета разговора, — с Ал. Фед. В самой высшей степени из тех, которые близки ко мне, неприятны и противны мне и в равной степени — Терсинские, после — Ал. Фед., менее их — Корелкин, менее — Славинский; относительно последнего это чувство развилось уже после каникул. Так вот как: у меня train или pente \*\* (не знаю, как настоящим образом должно сказать по-французски) к мизантропизму, т.-е. я на дороге к тому, что мне

\* Временным.

\*\* Влечение или склонность.

будет вообще противно встречаться, и разве только после долгого знакомства личного или через книги и известия будет мне приятно встречаться с людьми; это во мне, сколько я могу заметить, развивается; а между тем с Над. Ег., когда я сижу и играю и говорю, то такое же безличное чувство некоторой, хотя не живой, приятности, какое бывало в детстве, что вот с людьми, а не один; и говорю, а не молчу.

Вас. Петр. (это писано 18-го, в 4<sup>1/4</sup> после полудня) приходил к Устрялову и Куторге, чтобы в 4 часа идти к Гринцевичу. У Куторги мы говорили с Корелкиным, и Вас. Петр., кажется, показалось, что мы поехали в сторону и понесли дичь; я после лекции предлагал в субботу аплодировать Куторге, как аплодировали брату его в пятницу (17-го), Славинскому и Воронину, и согласились, и тогда, и 18-го. Пошли из университета вместе с Вас. Петр. Он сказал, что теряет уважение к Устрялову за то, что тот дурно отзывался о Соловьеве. Он сказал: «Не знаю, где побывать до 4 ч.» — «Зайдемте к Вольфу», — сказал я. Зашли. Там не дал мальчик «Отеч. записки», XII, которые я спросил для Вас. Петр., сказал, что потеряны; это меня раздражало несколько; я велел [подать] две чашки кофе, Вас. Петр. еще папироску, которую стал курить в первой комнате, где мы сели; мальчик (самый маленький, бойкий) сказал, что здесь не курят; я сказал, что вздор, но это мне снова было неприятно; несколько покуривши, Вас. Петр. ушел докуривать в другую комнату, где курят; я посидел почти со скукою до 5<sup>1/2</sup>.

Гувернер сказал у Ворониных, что в понедельник будет последний урок. — «А когда начнется снова?» — спросил я. — «Nous verrons» \*. Это меня взбесило отчасти, что я так глупо спросил; может быть, они хотят отказать; как хотят, но только эта перспектива отказа меня взбесила, и вечером я был недоволен, весьма недоволен.

18-го [декабря]. — Утром проспал до 8<sup>1/2</sup>, поэтому у Фрейтага не был; Куторги не было; мое предложение аплодировать принял с радостью Корелкин и отвергнул Славинский; мы (я действительно участвовал) согласились не быть у Срезневского, после этого Корелкин не согласился и ушел домой; я, когда увидел, что все ушли (остался, чтоб уговаривать уйти, доказывая, что никого не будет), ушел к нему, где, скучая и наскучивая, просидел до 2, чтоб Корелкин не мог уйти к Срезневскому, что он хотел сделать.

(Писано в понедельник 20-го, 7<sup>3/4</sup> утра.) Пошел к Излеру, где просидел с 5<sup>1/4</sup> до 6<sup>3/4</sup>, после к Ал. Фед., где до 7<sup>3/4</sup>, оттуда с ним к Ханыкову, ему отнес книги, и он позабыл предложить мне новые, а я не спросил. Быть может, буду у него через две недели, в ту субботу, чтоб взять книги, а может быть, и не буду, пока [не] увижу его в университете, но это нехорошо было бы после того, как он так приветливо познакомился. Когда сидел у

\* Увидим.

него, защищал немецкую философию и неудачно, потому что не знаю сам. Пришел в 11.

19-го [декабря]. Весь день не выходил. Утром был Вас. Петр., который приходит проверить свой перевод, данный ему на пробу, объявления о той книге, которую хотят ему дать переводить. Там было особенно слово *durchgehen* — о линии — я совершенно не знал, он лучше меня знает немецкий. Говорит, что и то, и другое верно не удастся, т.-е. и Штутгарт, и этот перевод. Приходил, но на минутку, Корелкин; при нем еще ушел Вас. Петр. в час; после я читал «*Débats*», прочитал. После обеда читал Мишле о Шеллинге (философия и религия) и большую часть не понял. Также и спал часа 1½. День прошел довольно не несносно, во всяком случае не бесился.

20-го [декабря]. — Теперь к Ворониным в последний раз в этом году, может быть, и вовсе. Деньги, конечно, получу. 4 р. сср. себе (три — Фрицу), остальные Вас. Петр. отдам. Фрицу ныне же. Буду, может быть, у Корелкина. Буду у Излера или Вольфа. После обеда должен быть у Вас. Петр.

11½ вечера. — У Ворониных не получил денег, потому что не было дома отца, а получу завтра. Спросил было гувернер, где я живу, но после сказал, не буду ли я завтра в этих местах, я сказал, что буду в 10 [час.] — хорошо; разумеется, лучше получить там, чем чтоб прислали сюда, чтоб узнали Терсинские. После пошел к Излеру, где ничего нового, кроме министерства Луи Наполеона и что пожали друг другу с Кавеньяком руку. В час домой, лег на диване, где сплю, и читал Гизо II том «Англ. революции», 160—210 стр., до 5 [час.], когда уснул, проспал до того времени, когда пришел Ал. Як. Снежницкий, к которому вышел и я. (Дографил шахматную доску и продолжаю.) Сомневался, идти к Вас. Петр. или нет, — не хотелось, потому что и завтра бы понадобилось, если бы он не согласился придти сам ко мне, потому что должно отдать деньги, а ныне весьма холодно; не хотелось и не идти, потому что сказал, что приду. Пошел и не озяб ничуть. У Над. Ег. показалось в такой степени деревенское лицо, как никогда еще, так что почувствовал, что отчасти согласился с Ив. Вас., который говорит: «русская красавица», «простое русское лицо», но в некоторых положениях показались очень тонкие черты ее лица. Играли в карты. Вас. Петр. мастер плутовать. Ушел в 9½, пришел в 8 ч. 5 м., просидел 1¾. После, как пришел, стал делать шашечную доску, потому что он — Вас. Петр. — сказал, люблю ли я играть в шашки, и что он хотел сделать, да не умеет. Я сказал, что завтра сделаю. Завтра он будет утром, поэтому я в кондитерской не буду, разве только на минуту, да кажется, что нет. — 11¾.

21-го [декабря], — 11½ ч. утра. — В 9¼, написавши кое-что домой, пошел к Ворониным, но раньше зашел на несколько секунд к Ол. Як. показать ему, что пишу о зяте Ал. Фед. У Ворониных получил 17 р. 10 к., из которых 3 р. Фрицу, 13 р. Вас. Петр.,

который ныне придет. Идя оттуда, исполнил мысль, которая пришла в голову вчера, когда думал, как набрать шашки, — купил на толкучке шахматы, которые могут заменить и шашки, за 50 к. сер., но теперь пересчитал, и недостает красной пешки, белого коня и вместо белой пушки красная. Сначала купил было шашки за 15 к., после спросил шахматы и дали. Собственно, для Вас. Петр., чтобы играть с ним и, может быть (чего не думаю), выучимся так, что можно будет через это доставать у Излера деньги. Я думаю, что дадут недостающие шашки, или во всяком случае можно купить за 10 к. сер. Написал домой о том, почему не схожу от Терсинских, только не написал, что и отношения Вас. Петр. мешают этому. Теперь ожидаю Вас. Петр.

(Писано 22-го в 2 ч. 40 м.) После этого через полчаса пришел Вас. Петр., посидел почти до 2 ч., я отдал и пошел вместе с ним, чтобы пойти переменить шахматы или прикупить недостающие. Вошел в лавку, множество народа, я несколько времени дождался, наконец купец сказал: «Что вам?» — я сказал; тот говорит мальчику: «Зачем же ты подаешь неполные?» и велел подать другие, полные, на перемену. Я вышел из лавки и своротил немного в сторону, сел и начал считать — все, но одной нет пешки голубой. Я не воротился, потому что посовестился, а пошел с места, но вздумал воротиться посмотреть на место, где сидел, не уронил ли еще, воротился — там и лежит голубая пешка; я взял, думая, что, может быть, этой и недоставало, а может быть, что это еще. Пришел домой — все. Что тотчас дали новые, как я сказал, и поверили на слово, это меня порадовало. Вечером читал Гизо, но большею частью спал. Вечером вздумал купить руководство к шахматной игре.

22 [декабря]. — Утром читал Мишле, Шлегеля (II том, начало), это понятно все. Пошел купить руководство, сначала в мелкие лавки, там дорого — 60 к. сер. за плохое, изданное Поляковым, поэтому к Исакову, думая там найти лучше и дешевле, — самое дешевое 1 р. 05 к. сер., и вижу, что не слишком хорошо. Жаль растратить деньги, которые следует Фрицу или собственно если не ему, то Вас. Петр.; все-таки совестно не купить, и купил. Когда купил, стало совестно, что так трачу деньги, которые следует Вас. Петр., который нуждается, — пожалуй, не буду за это в кондитерских до нового года. Пришел домой, — руководство скверное, и должен был бы купить в немецкой лавке, где, конечно, лучше и дешевле; разобрала досада на свою расточительность и глупую (прикидывающуюся совестливостью) неосмотрительность, ужасная досада, которая продолжается и до сих пор, так что читать почти не мог, — жаль Вас. Петр. и себя стыдно. Большую часть времени разбирал игры по руководству.

(Продолжение. Писано 23-го, 12 ч. 10 м.) — Досада все продолжала разбирать, так что наконец не стало терпения: взял и пошел к Славинскому, чтобы оттуда к Александру Фед. занести газеты, которые думал только показать Славинскому и сказать,

что ничего любопытного нет. Но он оставил у себя их и хотел принести ныне утром. Я отнесу, идя вечером к Вас. Петр., и напишу Ал. Фед., чтобы он пришел завтра вечером. У него ни о чем не толковали как следует, только он об Ал. Герасимовиче со своим братом медиком, который поссорился с Ал. Герасимовичем за картами. Я спрашивал посмотреть стихотворение «*Wörter des Wahnes*» Шиллера, и он сказал, чтоб я взял хрестоматию. Мне хотелось, тем более, что предвижу нехорошее расположение духа, но хотелось, чтоб он сам дал, а не просто предложил, и знаю, что всегда измараю книжку, что и сказал ему.

В 6 — к Ал. Фед., у которого сидел до 12 почти; толковали обо всем, я разговорился и провел время весьма занимательно; принимая несколько на себя тон знатока, говорил о великих людях, Шатобриане, которого историю с мисс Ives я рассказывал ему, как раньше рассказывал Корелкину и Терсинским. После стали говорить о Терсинских, оба находя их чудачками, и я довольно резко уже выражался на их счет, так что, может быть, и не следовало бы быть так откровенным в своих мыслях — с этого времени не буду смеяться перед Терсинскими над Ал. Фед., потому что этот разговор был откровенный, мы почти во всем сходились, я играл роль объяснителя, высказывал свои мнения о людях, их сердце, совместимости в них противоположных, повидимому, свойств; как основания учения брал факты из себя и Вас. Петр., Ал. Фед. тоже. Я несколько не скучал, напротив, было несколько приятно, и решительно рассеялась моя хандра из-за шахматов, так что когда пришел наконец домой и теперь (на другой день поутру) — решительно ничего. Кажется, не выспался, уснув в час.

23-го. — Завтра буду у Корелкина, оттуда в университет утром, вечером буду ждать Ал. Фед., и, может быть, согласится быть Вас. Петр. — Ал. Фед. пронизательнее или вообще людские отношения ему яснее, чем я думал, потому что он заметил ужасную холодность мою с Терсинским, и с этого-то именно и начался разговор, что и он в них обманулся, ждал их с нетерпением, а теперь тяжело ему бывать у них, — Любинька насмехается над ним и колет его, это он чувствует, и поэтому тяжело и неприятно. Я никогда не хочу перед Терсинским смеяться над ним. Утром проснулся почти в 9, несколько читал Гизо, а более времени играл в шахматы.

(Писано 25-го, 11<sup>1/4</sup>.) Вечером был у Вас. Петр. Лоб у Над. Ег. показался каким-то слишком выпуклым посредине и в лице показалось что-то простонародное. Пошел в 7, пришел в 10.

24-го [декабря]. — День именин маменьки. Ничем особенным не отличались мои чувствования, не то, что прошлый год. — Вчера утром (23) был Фриц за деньгами; я сказал, что теперь нет, а будут через несколько дней, потому что твердо жду, что пришлют к рождеству. Пошел в 10 час. за письмом и занес газеты Ал. Фед-чу, который против ожидания был дома и дал [за] 16—19 декабря. Оттуда к Корелкину, идя к которому и от



которого заходил в университет, но письма не было. Когда меня не было дома, приходил Вас. Петр. (жаль поэтому, что не было) и принес X № «Современника». У Корелкина просидел до половины второго; как пришел, он шел с Коврайским к обедне, посидели несколько минут и после пошли. Когда сидели, я шутил с Корелкиным в известном тоне, он сказал, что идет в актеры, я сказал, что прогонят и что он будет Толченев второй, и как-то несколько перед Коврайским это, не обращая на него большого внимания, развертывался вроде того, как Олимп, — черта, которая во мне есть. — Пошел в Академическую церковь, там не было службы, — снова к Корелкину, где нашел чиновника (блобырысь) Воронина. Я не говорил ничего, а только большей частью смотрел Иоанна Экзарха. Конечно, как-то устал, идя туда, да и оттуда. Вечером играл с Любинькою в шахматы и читал «Débats», между тем как Ив. Гр. читал 10 №. Когда лег спать, читал до 1½ 2-го, почти все прочитал, т.-е. «Тома Джонса» — весьма хорошо, т.-е. как раньше, так и теперь впечатление. В «Прогулках по Риму», конечно, уж не то и заметно (это Майкова) подражание Гоголю в манере, что к Майкову не идет. Остается прочитать критическую статью о Терещенке и «Три страны света» и «О торговле древней Руси»<sup>106</sup>.

25-го [декабря]. — Встал в 8¾ и как напился чаю в 1½ 10 и к обедне, сказала Любинька, звонили раньше 8, и, конечно, уж она отошла, сказала она, то я воспользовался этим и не пошел. Ныне хотел быть Ал. Фед., завтра утром буду у Славинского, вечером у Вас. Петр.

(Писано во вторник, 28-го, 5 час. вечера.) — Вот трое суток, как я пропустил вести свой дневник. Так долго я пропускаю его еще в первый раз. Отчасти это произошло оттого, что каждый раз вечером приходил домой поздно весьма, а утром было что читать, или оттого, что было что читать, а отчасти и оттого, что часто я, как и раньше, видел, сам ослабеваю в его ведении. Итак, про-должаю.

В субботу, 25-го, у обедни не был, целый день никуда не выходил. У нас был только один Ал. Фед. Читал «Современник» № 10 и дочитал почти весь. Большею частью, сколько помню, не было весело.

26-го [декабря]. — Утром в 9½ отправился к Славинскому, у него до 12½, оттуда в университет, где как воскресенье, сходилась народ к концерту, и я довольно долго (20 минут) походил в коридоре и простоял перед дежурной, чтобы посмотреть дам, но их было весьма мало и то ни одной, которая была бы хороша. Там простое письмо получил, а отдал 20 к. сер.: итак, денег не прислали, а я ждал. Вечером был у Вас. Петр. и должен сказать, что непонятливость Над. Ег. в игре за картами, что ей уступают, а она не понимает, и особенно в короли — как решительно дитя, решительно 12 лет, — эта непонятливость заставила призадуматься и согласиться с Вас. Петр., что есть в самом деле отчего ему сказать: «Да

теперь я и если б и стал иметь много денег, то не мог бы быть счастливым», — что он сказал мне и что врезалось мне в душу, когда он пошел проводить меня, когда я раз был у него, и пошли мы по 4-й линии, и ветер дул, и баба было помешала нам говорить, идя перед нами; грустный довольно воротился я домой. Ал. Фед. у нас был с 2 до 3<sup>1/2</sup> и закусил несколько, когда мы обедали, а не обедал сам, потому что к Розенберг шел. Сказал, что у него есть два №№ «Débats» и 12 № «Отч. зап.», чтоб я завтра (27-го) приходил к нему за ними. Играл с Любинькой в шахматы 25-го и 26-го.

27-го [декабря]. — Утром было в животе нехорошо, пучило, и поэтому я послал на свои деньги за спичками и табаком, потому что ничего не было (всего 18 к. сер.). Все читал «Москвитянин»<sup>107</sup> 1848 г., №№ 8—11, большую часть статей прочитал в Смеси и проч. и «Сын отечества» только Иностранную Словесность № 12—47 и 1, 2, 4—48 и последнюю половину № 1 за 1848 «Пантеона»<sup>108</sup>, который принес Ив. Гр. от Горизонтова. Курил трубку, чтоб не пучило, сидел в зале затворивши дверь. Дождался Вас. Петр., который хотел быть у графа, после у Залемана, после у меня; не был, потому что, как сказал ныне, болела голова.

В 7<sup>1/2</sup> отправился наконец к Залеману за 11 № «Современника» для Ал. Фед. (его хотел взять я, если не возьмет для меня Вас. Петр.). Его не застал дома и пошел к Ал. Фед., у которого снова просидел до 11<sup>1/2</sup>, снова толковали о психологических вопросах, большею частью он спрашивал, я отвечал, напр., о том, как быть любезну с женщинами, о чем с ними говорить, потому что о пустяках совестно, должно, чтоб было для них интересно, что же для них интересно? Кажется, что их вопросы науки и современной политики не трогают. Я сказал: трогают, но точно так же, напр., Пушкин занимался психологиєю и Фишер тоже, но между тем Фишер скажет, что Пушкин не занимался, что это особый род занятия, что это так: А. — чисто специальным образом занимающиеся предметом, напр., Ньютон математикою, учением о красках. Б. — люди, занимающиеся этою наукою не как люди\*специальные, а как люди вообще, литераторы или вообще люди образования общего, но только люди в высшем значении, напр., Гете. В. — женщины. Итак: А : В = Б : В, т.-е. так [см. вклейку — стр. 208].

Так, напр., Гизо и Шлоссер, говорю я, не философы и не политические писатели, а между тем обрабатывали эти науки не хуже или лучше, скорее, других; вообще, собственно так: А<sup>1</sup> (специальный ученый), А<sup>2</sup> (Гете, Пушкин, Гизо), А<sup>3</sup> — женщина. Показатели степеней выражают различные степени общности, литературности, дилетантизма (хотя это слово и не хорошо), житейственности, практичности людей. Напр., случился развод — дама и может быть заинтересована разговорами о браке, о христианстве, отношении его к буддизму и индийской и вообще восточным религиям, и проч. Или: об отношении мужчины к женщине. — Мы до

шли до этого постепенно, и я сказал, что женщина у нас лакей, вольноотпущенник, взявший в руки своего барина, или дитя, — три положения, все три неестественные. И кажется, этот разговор имел следствием развитие и усиление во мне этого взгляда на неестественность положения, на порабощение женщины. Взял у него 12 № «Отеч. записок» и сказал, можно ли дать его Вас. Петр. Он сказал — можно. Дома читал до 2 часов.

28-го [декабря]. — Утром писал письмо, читал «Отеч. записки» («Гордость») <sup>109</sup>; вчера прочитал «Ревнивый муж» Ф. Достоевского <sup>110</sup>, много хохотал над этим, и это меня несколько ободрило насчет Достоевского и других ему подобных: все большой прогресс перед тем, что было раньше, и когда эти люди не берут вещей выше своих сил, они хороши и милы. В 11<sup>1/2</sup> пришел Вас. Петр., выкурил 4 трубки, играл все в шашки, сказал, что голова так сильно разболелась, что не пойдет ни к графу, ни к Залеману, а уж разве завтра. Когда он сидел, и я посмотрел ему в глаза, — он от боли в голове не мог, конечно, ничего думать, не мог слушать или говорить со вниманием, можно сказать, потерял *асиет*\* своих способностей, — эти глаза в самом деле походили на глаза других многих людей, т.-е. глаза многих других в самом деле всегда такие, как у него в эту минуту, и в самом деле нет в них жизни, и ясно в глазах написано, что глуп человек или, то-есть, что он, как баран, ни о чем не думает. Вместе с ним вышел, чтобы идти к Залеману за № 11, снова не застал. Пошел на 10 минут в Пассаж смотреть на женщин, никого не было хороших, ходил и в подвал, никого не проходило над стеклами, кроме одной женщины, когда я шел под стеклами и смотрел вверх, — да, кажется, нельзя и видеть ног. Воротился в 2 часа, обедал, после обеда Терсинские играли в шахматы, я учил и смотрел и читал «Débats».

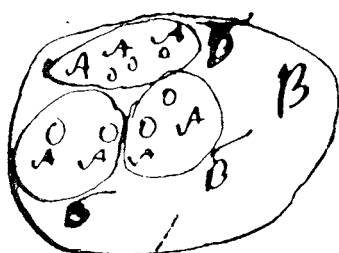
29-го [декабря]. — Вынимая эту бумагу, взял в руки лежавший под нею листок с выписками из «Débats» и прочитал первые строки французской конституции: «Франция s'est constituée en république. En adoptant\*\* эту окончательную формулу правления, она»... пришло в голову по сцеплению идей: s'est constituée, adopté — невмешательство во внутренние дела других земель — право каждого государства устраиваться как угодно — ведь это право, которое теперь признаем и мы, есть следствие признания *souveraineté du peuple*\*\*\* и вообще теперь в зерне оно признано всеми, а если господство собственно должно принадлежать не народу, а праву, истине, добру, идее, то Гизо не прав, принимая non-interвенцию, да и мы тоже не признаем этого права.

(Это писано 29-го, 1 [ч.] 20 [м.]). Сердце как-то беспокойно, оттого, что был на вечере у Ив. Вас. Когда я писал предыдущее отделение, пришел вчера (28-го) Ал. Фед., как хотел. Тотчас отправились к Ив. Вас. На дороге он сказал, что это будет вечер

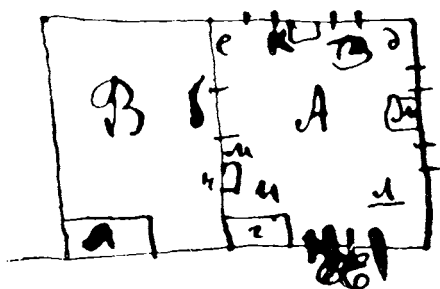
\* Остроту.

\*\* Приняла республиканский строй. Принимая.

\*\*\* Верховенство народа.



К стр. 207.



К стр. 210.

у хозяйки с танцами, — этого я не ожидал и если б знал, не пошел бы, потому что танцы и женщины и потому что болит голова; я не думал, чтоб Вас. Петр. согласился идти, но сказал, что зайду за ним; Ал. Фед. сказал: «Так зайдемте». — Я испугался, что он хочет идти к Вас. Петр. — он слишком дурно живет, — и не пошел. У Ив. Вас. хозяйки три дочери, одна лет 30, замужем, потом Марья и Прасковья Константиновны, обе весьма похожи одна на другую. Марья была в розовом, Прасковья в телячьего цвета платье, обе очень бедно одеты, но прекрасно играют на фортепьянах, т.-е. лучше Любиньки (танцовали под фортепьяна), лицо не очень хорошо, но и не дурно, держат себя хорошо. Но звездой была жена старшего сына (хотел очертить ее профиль, и пробовал чертить на особой бумажке) — брюнетка с востренькими чертами лица, напоминающими несколько греков и Н. Андр. Туффу, — глаза черные или очень темно-карие, живые, одушевленные огнем, губки розовые, толстенькие, роскошные, выказывающие чувственность; вообще вся фигура роскошная, роста небольшого, хорошо сложена. Мне не нравилась только прическа: волосы были спущены слишком низко для ее лица, так что оно выходило слишком широко внизу и узко кверху, что не шло к ее востренькому, может быть, слишком резко идущему вперед носу, да сзади коса тоже была приколата слишком высоко, так что через это голова вся принимала вид, как будто она слишком пригнула подбородок к горлу, и кроме того самый подбородок, т.-е. не лицевая часть его, та прекрасна, а часть от горла к углу кости была слишком дугою, так что несколько как бы отвисла, что бывает, когда мы держим голову так, что лоб нагибаем вперед, а нижнюю часть лица к горлу, между тем как шею держим прямо. Итак, кроме этих трех вещей: волос, спереди спущенных, косы и подбородка, все было прекрасно, а особенно глаза и губки, вся она имела роскошный вид, и я все смотрел на нее с большим вниманием и старанием, особенно с начала вечера (после много смотрел на фортепьяна и играющих на них). Ал. Фед. больше всех танцевал с нею и говорит, что был сильно взволнован (когда мы шли оттуда, он сказал, что эта, как Н. Васильевна, — значит самая красивая женщина, которую он видел, и даже должно думать, что она лучше Н. Вас. и есть и ему нравится, хотя он этого не хотел сказать, потому что думает, что мне не показалась красавицей) нравственно и физически. — Я все смотрел на нее в первую часть вечера; все девицы показались мне с начала вечера дурны, после ни одна не казалась дурна. Вечер продолжался с 8 до 12; около 10½ стали играть на фортепьянах хозяйкины младшие дочери одна за другую — сначала Марья романс, и я хотел благодарить ее за удовольствие, и все время сидел и смотрел на ту, которая играла, — это в последнюю часть вечера.

Сначала я стоял у двери, которая ведет в их комнату, где стоят фортепьяна, после у двери у входа; во все это время танцевали шесть или во всяком случае четыре пары, и я смотрел на молоденькую женщину эту (не знаю, как ее зовут: чрезвычайно свежа,

как 18-летняя девушка, нельзя думать, чтобы у нее могло быть уже дитя, а она уже родила, между тем — удивительно роскошна и свежа). Стоя у двери, я сказал Ив. Вас., что хочу поблагодарить Марью Константиновну за узор, данный сестре; после танцев он подвел меня к ней, и я сказал ей несколько слов, несколько не сконфузясь; после тотчас мы отошли снова к двери, вот: [следует чертеж. См. вклейку — стр. 208].

Сначала (1-я кадрили) она стояла на месте л, мы с Ив. Вас. в дверях б — я все смотрел на нее, почти не спуская глаз; после мы перешли к дверям в, она танцевала на и и галопировала мимо нас совершенно; после этого хозяйкины дочери сели на е, и меня подвел Ив. Вас. к ним с благодарностью; я ошибся сначала и смотрел только на одну, между тем как должен был смотреть на обеих. После этого мы говорили с ветеринарным студентом с надутыми ужасно щеками на и, и Ив. Вас. сидел с нею у ж — он к углу, она к дверям; я подошел и сказал несколько слов; говорили о Туффе, я сказал, что Ив. Вас. испугал меня, сказавши, что он будет здесь; она спросила: «Почему же?» — «Потому что я виноват перед ним». — «А так вы знаете за собою вину, поэтому и боитесь». — Мне не пришло в голову, что отвечать, и разговор кончился. Я отошел к Ал. Фед. После этого некоторые дамы и кавалеры ушли и танцевали только в три пары. Мы сидели на л, она с Ал. Фед. стояла в кадрили на з. Так было и после, когда пришли снова и составились снова четыре пары. В 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> ушли чужие, и своих не доставало, поэтому с час играли на фортепьянах. Она ушла укладывать ребенка, после воротилась и села на м; когда играли, я все сидел у к, между к и з, и смотрел на играющих и притворялся, что слушаю весьма внимательно, чтобы польстить и доставить удовольствие, потому что мне стало как-то жаль этих бедных девушек, которые дожидались этого целый год, потому что вспоминал тот вечер на святках за два года, когда Ал. Фед. был у них в первый раз, — тогда в первый раз была и она в этом доме, куда после вошла снохою. Когда Марья Константиновна кончила, я хотел пойти ее благодарить за игру, чтоб доставить ей удовольствие и вместе сколько-нибудь сам получить значение в ее глазах. Но тотчас стала играть Прасковья Константиновна, и Марья Константиновна осталась у фортепьян, так что я хотел дожидаться, когда кончит она, чтобы благодарить обеих вместе. Но игра Прасковьи Константиновны кончилась галопом и танцами, и тотчас же после нее села старшая самая сестра, а они начали кадрили — так и пошло, а между тем у меня начинала несколько пробегать легкая дрожь по коленкам, когда я готовился благодарить. Во время игры говорила мать, которая сидела между е и к, с Ал. Фед. и Ив. Вас., который сидел подле меня (я сидел все между к и з) между д и ж, о том, что вот нынешний вечер скучный, а тот, за два года, был весьма веселый, — так долго помнят, так быстро идет время! подумал я; подумал о том, что этот вечер один — важнейшее время года для дочерей ее и, может быть, для нее, — как-то стало жаль,

что он скучен или не так оживлен, как бы они ожидали, и жаль, что я не оживляю его. Наряженные, которых ждали, не пришли. Молодые люди танцевали с танцкласскими вывертками, из [которых] большая часть (привиливание ног) весьма пошлы, а одна, во время, когда пары несутся в промежутки одна другой, в середине полету\* и дается на минуту особая скорость именно в то время, когда пары проходят одна мимо другой — это что-то одушевленное и хорошее, а девицы танцуют решительно как следует, не знаю только, грациозно ли, — кажется, как должно и некоторые хорошо.

У меня в мыслях все вертелась фигура Тарнеева (Майков, «Прогулки по Риму» в «Современнике», XI №), и мне хотелось принять на себя его роль, но слишком мало любезничали другие, и потому я, зная, что середины держать я не умею и должен, если не хочу молчать, быть именно Тарнеевым, молчал все.

(Пришел Ив. Гр. — 2 час. 20 мин.; итак, я писал целый час, — садимся обедать, после буду продолжать.)

Продолжаю писать. Теперь 9<sup>1/2</sup>. — Я заметил в себе различные результаты этого вечера. Во-первых, сердце как-то волнуется и неприятно, потому что я недоволен ролью, которую играл вчера — столб и больше ничего. Потом вследствие этого я увидел необходимость знать много вещей, от знания которых раньше отказывался, и раньше всего танцевать необходимо, решительно необходимо, но с этим вместе, что необходимо танцевать, чтоб сблизиться с девицами и молодыми женщинами, чтобы проложить себе путь в общество их и, следовательно, путь к тому, чтобы избрать одну из них в подруги жизни, потому что чем более знать будешь людей, тем лучше будет выбор (больше число и лучше знаешь), вместе с этим соединяется мысль, что это ведет к физическому волнению, к тому, что влюбишься, а мне хотелось бы принести, сколько возможно, в супружество душу и тело девственным, так чтобы я мог сказать своей жене: «Ты первая, которую обнимаю я, ты первая, которую люблю я». Потом необходимость играть на фортепьяно или на чем-нибудь, — это менее, но все-таки очень хорошо было бы, чтоб иметь возможность услуживать этим добрым людям. Потом мне кажется, что должно было бы уметь рисовать, — по крайней мере, настолько, чтобы мочь делать очерки профилей и лиц, а то вот хотелось бы сохранить лицо этой жены сына, а между тем я не могу этого сделать. Потом необходимо говорить по-французски и немецки, потому что я все более и более чувствую, что начинается новый период в моей жизни, что физически-духовная потребность любви будет все усиливаться и усиливаться во мне, что мысль о подруге жизни, с которой делить сердце пополам, которую обнимать, которую целовать, которая, наконец, будет в едином теле со мною и в единую душу, — что эта мысль все сильнее входит в мою голову, и я теперь весьма много думаю о том, как будет, когда я женюсь, точно так же, как раньше думал много о том,

\* Неразборчиво. Ред.

как, например, видеть нагих женщин. И пришло в голову, как развивается духовность и как проникается духовностью чувственность: сначала мне хотелось только просто видеть нагих женщин, чтоб физическая природа волновалась, чтоб сердце судорожно билось, а то все равно, хороша эта женщина или нет, на красавицу не хотелось смотреть; а теперь хочется смотреть на красавицу; а между тем чувственность развилась сильно, и между тем она стала гораздо духовнее — да, так; жениться теперь моя дума, и этот вечер (не потому, чтобы меня слишком взволновала эта брюнетка, а просто потому, что здесь я был в обществе девиц в первый раз после того, как развился в этом отношении, т.-е., собственно говоря, в первый раз сознательно и со вниманием в течение нескольких лет, весьма многих, потому что на свадьбе у Вас. Петр. я был занят им и Над. Ег., а раньше на девиц смотрел решительно не так), — этот вечер будет иметь большое влияние на меня, и кажется, что он двинет меня намного вперед: мне сильно хочется и танцевать, и бывать на вечерах, и проч., хотелось бы также и рисовать, и говорить по-французски и немецки для этого необходимо — итак, вот новый источник недовольства собою. Наконец, мне стало жаль, и глубоко жаль, этой прекрасной, умной, пламенно-чувственной и роткошной женщины, что досталась она мужу невзрачному, глупому, пошлому, настоящему канцелярскому чиновнику, истинно типичному, с пошлыми ухватками, который не может удовлетворить ни чувственности, ни души ее, что должна она жить в нужде и беспокойстве, — жаль стало ее и всех подобных ей, родившихся в одном с нею состоянии, т.-е. собственно жаль не ее, как ее, а ее как одно из этих лиц этого рода, не как ее именно, а как символ, как сосуд, в котором проявилось это, — жаль, наконец, стало и этих девиц, т.-е. снова не собственно этих девиц (хозяйкиных дочерей, — конечно, они милы), а всех девиц этого состояния, родившихся хорошими и не пошлыми в этом положении в обществе: как грустна, скудна удовольствиями, однообразна их жизнь — целый год ждут они этого праздника, и этот праздник, этот праздник так ничтожен, так все помеха на нем, так все не клеится, — жаль от души. И вот из этого сожаления о них, между тем как это никогда не приходило в голову мне о Любиньке, не приходило в голову о других сестрах, — из этого я снова вижу, что я глупый и смешной человек, и даже, собственно, пошлый и гадкий человек: всегда свои кажутся мне пошлы и неинтересны, поэтому я и не думаю о них, а другие, т.-е. все, которых я не знаю, о них всегда я предполагаю хорошо, — и, напр., Ступины кажутся мне лучше Любиньки, эти девицы гораздо лучше и Любиньки, и Ступиных, так что я всегда сравниваю себя с тем, что читал где-то: «О вы, чувствительные люди, плачущие в театре над мелодраматическими несчастьями актера и не находящие места и предмета для вашего сострадания, жалости, помощи и любви в мире!» В самом деле, что за тупость: почему не примечать из того, что делается кругом тебя!

Шутя я начну учиться танцевать, но для того, чтобы начать,



должно иметь много денег, почему нынче я не могу, а как этого не будет, во всяком случае, весьма долго, т.-е. не будет денег, то шутя я стану тосковать об этом, как тосковал, напр., — да о чем я не тосковал?

Пришел я оттуда, начал читать и скоро уснул. Дорогою Ал. Фед. говорил, что если б был на месте Ив. Вас., употребил бы все старание употребить ее. Это на меня подействовало неприятно, как вообще на меня это действует, когда говорят о соединении полов так, как об еде.

29-го. — Проснулся, когда сердце тосковало оттого, что вчера вечером был у Ив. Вас., — т.-е. отчего именно, это трудно решить; тосковало довольно сильно. Я сначала играл в шахматы один по книге, после стал собираться от скуки, т.-е. тоски, к Славинскому, после раздумал, потому что думал, может быть, придет Вас. Петр. и что не хотелось у них обедать. И в самом деле, Вас. Петр. пришел, играл в шашки, курил и ушел в 1 час, я стал писать в этот листик. Когда читал Гизо, писал этот листик, у меня не было на сердце ничего, решительно ничего; во время, когда был Вас. Петр., постепенно забывалась тоска. Вечером хотел идти к Славинскому, но в 4 или менее пришел вдруг Пелопидов. Я ругнул его в голове, но ничего, конечно, остался дома: во-первых, расстроил план, во-вторых, принес чрезвычайную скуку; но против ожидания, когда он сидел, просто только, да и то не слишком, скучал, а беситься не бесился. Торопил чай, чтоб он скорее ушел, — ушел в 7.

Я посмотрю, не расположить ли так: ныне к Вас. Петр., к которому обещался завтра и к которому хожу теперь как бы по обязанности, без всякого удовольствия, даже с некоторою неохотою; утром завтра — к Пластову и Благосветлову, который в доме Соловьева, как узнал от Пелопидова, вечером — к Славинскому. Между тем стал подстригать на всякий случай бороду; если вздумается идти.

(Пошел ужинать, после продолжаю.)

Стал вместе с этим играть в шахматы один; Любинька сказала, чтобы играл с ней, — и начал, и время прошло, и не пошло к Вас. Петр. Ничего решительно нынешний день, а за этим листком провел почти 2 часа.

30-го [декабря]. — Встал в 7. Пришла охота пересмотреть эти записки, т.-е. сосчитать, сколько страниц, — перенумеровал, и выходит, что ровно 100 страниц, а перед этим попалась в руки письма, и я сложил октябрь и ноябрь, 63 и 73 №№, в месячные конверты, более потому, что теперь топится печь и хорошо сжечь; за этими делами прошло полчаса и теперь 7<sup>1/2</sup>.

(Писано в 9 час., 31-го.)

Утром вздумалось, что можно после обеда быть у Славинского и Вас. Петр. вместе. Так и сделал. Утро просидел дома.

Оттуда пошел к Ал. Фед., занес «Débats» и остался у него. Там был Чернявский, и мне было скучно довольно, но собственно не хотелось идти к Вас. Петр., и я просидел там до 10<sup>1/2</sup>. Гово-

рил между прочим о Робеспьере и Луи Блане. Это в первый раз я обещался быть у Вас. Петр. и не был.

Утром был Фриц, я взял у Любиньки 2 руб. сер. и отдал ему. Без меня был Корелкин и принес два письма, одно от В. И. Промптова.

31-го [декабря]. — Встал в 9 и как встал, сел за это. Хочу, так как весьма холодно, утро провести дома, в 3 [час.] к Вас. Петр., у него пробыть до 6 час., после домой, — лучше, чем поздно вечером. Итак, мое последнее посещение в этом году, и первое в следующем, будет посещение Вас. Петровича.

Хочется написать общий обзор этого года, да лень. Не знаю, напишу ли. Скорее нет.

11 час. веч. — В последний раз сажусь за это отделение моих записок. Утром в 10 [час.] хотел к Корелкину и взять письмо из университета, потому что вздумалось ошибочно, что есть уже и что теперь суббота; но дорогою вздумал, что будет только завтра, и было весьма холодно, поэтому воротился. Пришел скорняк кроить мех и просидел весь день до 7 [час.]; было весьма холодно, — в 7 и 8 [час.] я сидел в зале в шинели, которую надел в первый раз. У нас в комнатах, даже в маленькой, было весьма холодно, 12—13° в зале и только теперь в маленькой комнате стало как следует, потому что затворена весь день дверь. Я играл утром один в шахматы и проч., читал дрянь, читал и Гизо несколько страниц. В 3<sup>1/2</sup> пошел к Вас. Петр., от которого воротился в 5<sup>3/4</sup>, обещавшись быть завтра, чтоб дать возможность отговориться моим присутствием от того, чтоб идти на вечер, который дает завтра тетка. Над. Ег. в профиль, когда взглянул, понравилась как раньше, а в лицо — только что встала, и прическа спустилась, так что лоб был слишком треугольником. Что-то будет с Вас. Петр.! О, дай бог, чтоб было хорошо!

Когда воротился, спал, читал Гизо, в третий раз начиная читать, и теперь прочитал 20 стр., играл в шахматы с Любинькою.

Прости, тетрадь! Дай бог в наступающем году записывать более радостные, более счастливые, особенно для Василия Петровича, события!

Дай, боже!

11 час. 10 мин.

Дай, боже!

## ДНЕВНИК

1849 ГОД

Январь

1 [января]. — Встал как бы ничего, перекрестился и поклонился несколько раз, прося бога (в которого, бог знает, верю или нет) о счастье Вас. Петровичу и себе; после чаю читал Гизо Hist. de Rén. и в продолжение утра прочитал около 100 стр.; в 3 [час.] пришел на минуту Ал. Фед., после Серапион Благодетель, который просидел с полчаса, после Ив. Вас., который просидел до 6 час. (с час); мне было досадно, что Терсинские так смеются над ним, и я готов был защищать его. С ним вместе пошел к Вас. Петр.; он проводил до окон и пошел домой. Я просидел там час; когда пришел, Надежда Ег. спала, и Вас. Петр. говорил мало. Между прочим, когда она уже проснулась и потягивалась, он сказал: «Счастливы люди, которые скоро привыкают к своему положению; правда, и я часто могу скоро привыкнуть и даже к самому дурному, но не ко всякому... напр., вот хоть к марьяжу... И странное дело, что судьба ставит человека в такие положения, в которых никогда не следовало бы ему быть». Это мне открыло снова глаза на всю глубину ложности положения и горя, в которое поставлен он этим браком. И она? Разве она также не несчастлива? Мне мелькнула мысль, что уже не в самом деле ли должно его назвать человеком безрассудным и без характера, — но мне самому совестно этой пошлой мысли. Когда пришел домой, чаю уже напились, и я сказал, что пил, когда Любинька спросила, — конечно, не стану говорить иначе, — и пришло в голову: хорошо же начинается новый год, — тем, что не пил чаю вечером. Ив. Гр. сказал Ив. Вас., что до весны уже нельзя, а тогда должно будет занять другую квартиру, получше и подешевле и поболее, — итак, и они понимают неудобства этой. Что мне делать, я, конечно, не знаю, но что сделаю — это знаю: пока Вас. Петр. не устроится, я не перейду от них, потому что деньги, сколько возможно, нужны. В зале было холодно, утром на столе перед диваном 12 и окна замерзли, я отчищал лед. (— Писано это около половины второго в зале, 2 числа.) — Когда воротился, спина ломилась, как бы после чрезвычайно долгой ходьбы, как бы начинается лихорадка по этой боли.

2 [января]. — Утром раздосадовал головою Ив. Гр., который смеялся над Ив. Вас., что тот дурно говорит о духовных сановниках и пр. — И вчера и ныне до обеда сидел в зале у печки и ныне даже вздумал сесть на комод. Ночью была два раза поллюция, и тяжело было после нее в этом члене. Ныне дочитал до 3-й книги Гизо и опять начал снова, потому что хочется хорошенько запомнить эту историю, но успех не решительно хорош. Итак, если это пойдет до конца так, то я буду читать ее 4 раза.

Вас. Петр. обещался быть ныне утром вторично вечером, чтобы вместе идти в Залеману, потому что я хочу, сколько возможно, облегчить его от тяжелой беседы. Но вот поутру его нет, что-то будет после обеда.

Вчера (или нет, третьего дня) пришло в голову, что списанная по моей методе сокращенно «Княжна Мери» поможет прочесть другим мои бумаги и этот дневник, если я стану человеком замечательным и умру, не успевши написать сам своей автобиографии, с помощью этих бумаг и дневника, а то мысль, что эти материалы могут пропасть, вообще меня сильно (т.-е. не сильно, а все равно что, напр., что будет, когда Над. Ег. после Вас. Петр. останется на моих руках, или как Манилова занимал его мост) занимала. Теперь, кажется, я обеспечен: не могу сказать хорошенько, шутя или нет я пишу это: «успокоен в этом отношении» — так глупо, что каждый скажет: шутя, насмех, — а между тем, едва ли так, — нет, это серьезно занимает меня.

(Писано 3-го, понед., 7<sup>1/4</sup> утра.) — После обеда стала разбирать ломота в спине и проч., как бы лихорадка; я подумал, подумал, идти или нет в университет за письмом (собственно ждал я повестки), и решил, что лучше пойти, потому что может быть и расхожусь. Пошел — и в самом деле неприятное расположение прошло в теле. Идя оттуда (там получил повестку на 100 руб. сер., чего никак не ожидал, что так много, — но чувствования это никакого не произвело, — вероятно, 70 руб. сер. или 75 Любиньке; да и мелькнула мысль: если будет мне 40 руб. сер., отдать их Василию Петр. в два раза, а не в один, — мысль пошлая, отзывающаяся холодностью и глупым педантством, которое говорит: «смотри, чтобы не шло у него понапрасну денег», как будто б он не лучше меня знает им цену и умеет их беречь), зашел к Ал. Фед., который был в Царском; у него взял 22—23 «Débats», эти уж прочитаны мною, вечером читал их (т.-е. с 4 [час.]). Ждал Вас. Петр., но его так и не было — жаль, что не было — Ив. Гр. был весь вечер у Мих. Павл. — Прочитавши их, не стал читать Гизо, а «Москвитянин», который весьма глуп, и играл с Любинькою в шахматы. Уснул раньше, чем пришел Ив. Гр., около 11.

3 [января]. — Проснулся в 6<sup>1/2</sup>. Марья тотчас стала подавать самовар, о котором я говорил вчера. Мне было отчасти неприятно, что слишком рано, целым часом. Как напился, читал Гизо и лежа стал писать это в зале, между тем как Ив. Гр. пишет на столе в спальне. От Ворониных зайду в почтамт, оттуда к Вольфу посмотреть новые номера журналов. Вечером буду ждать Вас. Петр. — Что-то получу на почте? Однако, меня занимает несколько только то, напишут ли что-нибудь о перемене квартиры или нет, да и о шитье одежды тоже.

4 час. 50 мин. — Пришел к Ворониным слишком рано, в 8 час. 40, сказали, что спит. Пошел в почтамт, получил деньги. Экзекутор, когда пришел, увидя меня в углу, сказал: «Вот хорошо, что вы рано, а то будет много». Я поздравил его с новым годом, он

подал руку и сказал: «Для нового года вам прислали поболее». Я сказал: «Большую частью присылают не мне, а сестре». Пошел к Ворониным, Константин сказал, что в пятницу — это меня не взбесило нисколько. — Пошел к Корелкину, — тот все представлял из себя актера. Ушел в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к Вольфу, спросил кофе и «Отеч. записки», — ни их, ни «Современника»; я читал газеты до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> без особого интереса — нового только скандальная история Мальвиля. В 3 часа, когда пришел Ив. Гр., обедали; раньше и после играл в шахматы.

(Писано 4-го в 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.) — Вчера пришли вскоре после этого Александр Яковлевич и брат Горизонтова, посидели; едва только ушли, как пришел Пластов, — я ему весьма был рад; он громким голосом (как всегда) говорил о театре, Фанни Эльслер и проч. Как ушел (в 8), я пошел к Олимпу, его не было, поэтому к Ал. Фед., у которого просидел до 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> без особого удовольствия, но скука едва показывалась; говорил также в психологическом роде, и раз, когда он сказал, чтоб я развил мою тему, что человек не переменяется, я начал с того: «Напр., положим, честолюбие есть в человеке, ну, теперь он мальчик, если нет сил, так, чтобы быть первым в играх, он может быть меланхолик». — Это его поразило: «Удивительно верно, это мой портрет», — сказал он. Я не сумел, да и [не] позаботился развивать его жизнь, а продолжал прямою дороною и скоро кончил. Взял Губеров перевод «Фауста» у него.

4 [января]. — Утром проснулся почти в 9, стал после чаю писать письмо, еще не кончил (в 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>), как пришел Залеман, чтоб дожидаться здесь Вас. Петр., который стал одеваться, чтоб идти к графу, с которым намерен ехать в Штутгарт. Пришел Вас. Петр., выкурил трубку и пошел (Ив. Гр. уже не было). Залеман остался здесь, я письма так и не дописал. Вас. Петр. пошел к графу (это писал, дожидаясь Ив. Гр., а Любинька держала в руках «Современник» № 11, теперь взяла «Фауста», я беру читать «Современник»).

(Писано января 5-го до обеда, 5 час.) — Только что я взял вчера «Современник», пришел Ив. Гр. и начали обедать. Мне было досадно до обеда, что он так долго не идет, потому что хотелось идти к Славинскому; теперь мы сели обедать.

Продолжаю теперь рассказ о Вас. Петр. Вас. Петр. пришел в необыкновенно живой радости: «Есть надежда; князь человек весьма умный и необыкновенно обходительный, во всяком случае я в первый раз встречаю между нашими вельможами такого: он говорит, что весьма много заботится о воспитании своих детей, считает это весьма важною вещью, просил бывать у него чаще, каждый день, чтобы, говорит, мы могли с вами познакомиться. Спрашивал, занимаюсь ли литературою, я сказал да, и теперь должен понести к нему показать что-нибудь: это-то именно мне и подает надежду, что он разборчив, поэтому станет смотреть не на аттестаты. Когда спросил, есть ли у меня кто знакомый, я сказал, что Сидонский может сказать ему обо мне. Это его обрадовало, —

верно он знает Сидонского. Умный человек и без этих оскорбляющих и унижающих гримас, которые всегда почти в наших вельможах». Вас. Петр. был чрезвычайно рад, говорил живо, довольно, мне это было отчасти стеснительно, потому что не хотелось, чтобы сестра расслышала подробности, как и куда и что, и проч. «Теперь, — говорит, — я пойду к Сидонскому предупредить его, если не застану — попрошу быть дома в 7 час.». — Я сказал, чтоб зашел снова ко мне, если застанет, оттуда, а если нет, так в 7 час. зашел бы, я пойду вместе с ним — сам думал я пойти к Излеру. Зашел оттуда и сказал, что Сидонский был весьма обрадован его приходом, сказал, что дивился, что он перестал бывать у него, дивился его женитьбе (хотя, говорит, конечно, уже знал об этом от Орлова) и проч. Вас. Петр. был весьма рад. Я тоже за него и потому, что если он выйдет из стесненного положения, то и я выйду тоже, — так-то мерзкие эгоистические стихии вмешиваются везде — и уже явились мечты, как же это будет: мне должно будет съездить за Сашею и вместе проводить Над. Ег. в Штутгарт — удивительно, что за мысли бродят в голове! — До обеда играл после этого в шахматы, у него обещал быть в среду.

(Писано 7 числа, пятница, 12 час. 10 мин. утра.) — После обеда отправился к Славинскому, увидел, что он пишет для отца ведомости, и ушел через  $\frac{1}{4}$  часа, сказавши, однако, что ухожу потому, что у него есть дело, а не по чему другому.

5 [января]. — Утром был Вас. Петр., сказал, что на Литейной глупость: жена, которую вчера он встретил, сказала, что дадут перевод, а муж ныне сказал, что не стоит его утруждать этим. Просидел до 3, так что Ив. Гр. пришел. После обеда я тотчас к Славинскому, у которого просидел до 6, оттуда идя заходил к Излеру, и не видал все-таки «*Presse*», для которой главным образом заходил, чтоб посмотреть Шатобриана Записки, поэтому зашел в Пассаж, там увидел, что печатают не их, а что-то Ламартина. Оттуда к Вас. Петр., у которого просидел с 8 до  $9\frac{3}{4}$ , [он] говорил о том, что поедет, если будет тепло, завтра (6-го) на Рогатку к Ульяне Яковлевне; я сказал, что должно ехать, он не хотел. Деньги вчера вечером (4-го) разменяли, и я отдал 25 руб. сер. Вас. Петр., когда он был поутру. Взял «Современник» и «Отеч. записки» 12-е №№, и Вас. Петр. обещался придти в пятницу (7-го) утром. — Когда пришел, читал взятые книги.

6 [января]. — Утром с  $10\frac{1}{2}$  до  $2\frac{1}{4}$  просидел у Вольфа, где, однако, не было ни «Отеч. записок», ни «Современника», за которым собственно я пошел; но читал все и между прочим и «*Revue d. d. Mondes*», пил кофе. После все читал дома. Идя от Вас. Петр., купил вчера на 20 к. сер. пастилы и ел вечером вчера и утром это и отдал может быть  $\frac{1}{3}$  Любиньке, нет, меньше; это с давнего времени, с того времени, как живу вместе с ними, покупаю я в первый раз сласти. Вчера утром, когда ждал по обещанию или лучше так, потому что знал, что пойдете мимо, Вас. Петр., сердце билось какою-то тоскою, как раньше, когда ждал его при-

хода; в этом много участвовало то, что я думал о том, что отдам ему деньги, чего раньше не было, т.-е. о чем раньше не думал.

7 [января]. — Все до сих пор читал и прочитал почти все. «Том Джонс» весьма хорош, но не Гоголь — болтовни много; но превосходно. Когда начал читать «Белые ночи»<sup>111</sup> вечером, боялся влияния Вас. Петровича похвал: «конечно, покажутся хороши, потому что он хвалит», — но нет, кажется, сам увидел, что в самом деле весьма хорошо; кажется, что сам увидел, что весьма хорошо. Ныне вечером от Ворониных зайду к Излеру; если будет «*Presse*», — останусь там, если нет — к Ал. Фед. — К Ворониным иду решительно ничего, как бы и не прерывалось. Теперь 12 ч. 28 м.

(Писано 8-го, суббота, 1½ ч.) — Был Вас. Петр., ушел в 2¼, хотел быть ныне от князя и Сидонского на обратном пути; я у него хотел быть в воскресенье после обеда. Он пришел в новой шинели, я заметил это, но не стал говорить, потому что здесь была Любинька; променял на прежнюю и дал в придачу 15 р. сер.; довольно хорошая, с енотовым воротником, хотя, конечно, довольно плохим. Это мне показало, что он мог располагать теперь несколько деньгами, и — странный, пошлый эгоизм — мне пришлось в голову: то, что я лишаю себя возможности располагать ими для него, сильнее, чем то, что слава богу, если он не горюет, по крайней мере, об этом. Сказал, что на Сретенье был на Рогатке, выиграл 7 р. сер. и весьма рад; весьма хорошо, если бы почаще. — Я думаю после обеда играть и в шахматы. От Ворониных, где ровно ничего особенного, пошел к Излеру, — он перестал, кажется, выписывать «*Presse*», поэтому я побываю разве еще раз у него, а то более не буду: не из-за чего, лучше к Вольфу; после к Ал. Фед., у которого до 10½ (час.). Разговор не вязался, т.-е. я не хотел вязать; взял за 24—31 «*Débats*» и когда пришел, читал их, но скоро уснул.

8 [января]. — Утро все читал «*Débats*» и теперь почти прочитал, кроме рассуждений Национального Собрания и иностранных новостей, которые обыкновенно отлагаю. Из 31 декабря хочу списать имена [тех], кто за, кто против сбавки 2/3 налога на соль<sup>112</sup> — во всяком случае, главные имена.

(Писано 10-го, 10 ч. 10 м. утра.) — Вас. Петр. не был потому, как узнал, когда был у него 9-го, что проснулся поздно и не ходил к графу, а пойдет уж в понедельник 10-го, т.-е. ныне, и оттуда придет ко мне. В субботу Ив. Гр. не приходил из Сената до 6 ч., мы его ждали и все-таки не дождались, пообедали в 5½ и я тотчас в университет. Савельич был болен, я зашел к нему в комнаты и рад тому, что зашел; оставил 20 к. сер. за письмо. Оттуда к Славинскому, по дороге на минуту оттуда к Ханыкову, — он все болен, и я почти все молчал, да и он говорил без особого жару, так что было не решительно нескучно; книг никаких я не взял у него; спорить или излагать своих мыслей не хотелось, потому что сам ничего не знаю в этом деле. Пришел домой в 11½.

9 [января]. — Утром пошел к Ол. Як. показать письмо; от него

в кондитерскую к Вольфу, где прочитал новый «Современник» («Отеч. записок» еще не было); статей хороших нет, книга пустая довольно. Пошел оттуда в 3, и на дороге захотелось ужасно испражниться; я зашел в дом, который подле Милютинных лавок по каналу; это уж не в первый раз, что я досаживаюсь до того, что не могу дойти до дома. После обеда спал. В 7 ч. пили чай, и я к Вас. Петр., где просидел до 11 ч. почти. Под конец я все говорил, хоть без всякого одушевления, о политике; отнес ему XI и XII [№№] «Современника». Вас. Петр. обещался зайти от графа 10 числа. В эти дни я в шахматы не играл, а все читал «Débats» и «Современник» (XI и XII) и «Отеч. записки» (XI).

10 [января].— Хотел было утром идти к Ол. Як. за «Историю Консульства» Тьера, которую предложил он, и чтобы купить бумаги, но раздумал, чтоб не проходил Вас. Петровича и потому, что должен спросить денег у Любиньки, которая по моему расчету должна дать мне еще сдачи 2 р. 20 к. сер. с 5 р. сер., которые отдал я ей, когда получил деньги. Вчера был Алекс. Фед., но не застал меня, часов в 6. Эти деньги, которые на Любиньке, не знаю, получу ли, потому что она, кажется, не думает о них.

(Писано 12 янв., 9 час. веч.) — В понедельник В. П. пришел, и я вместе с ним пошел (он у графа не был, потому что проспал, а пошел к Сидонскому) — купить бумаги и к Ол. Як.; купил на 40 к. сер. полдести и 25 конвертов, потом к Ол. Як., но не застал никого. Когда шел от него домой, под ложечкой или, как это сказать, в грудных костях стало весьма больно, так что я подумал: «Ну, уж не холера ли, да нет, пустое», но на дороге прошло, хотя было минут 10 весьма больно. Вас. Петр. пришел от Залемана, принес себе новый «Современник» и сказал, что Сидонский сказал, что граф еще не был у него. Вечером от Ворониных я пошел к Ол. Як., у которого застал Ал. Фед. — Тьера уж он отдал; это меня почти не раздосадовало, только так головою было неприятно.

11 [января]. — Утром обещался быть Вас. Петр., но не пришел, поэтому тотчас после обеда отправился я к нему, просидел почти до 5<sup>1/4</sup> и воротился назад. Играли в карты, и Над. Ег. своею непонятливостью (радуется чрезвычайно, когда ее выводят в короли, и решительно не может заметить, что оба ей нарочно уступают и выводят ее) и проч., своими толками о модных картинках и о том, что непременно должно оставить их, — одним словом, тем, что необыкновенно неразвита в этом отношении, решительно как 10-летнее дитя, она, я говорю, возбудила сильное сожаление о Вас. Петр. во мне. — Пришедши оттуда, почти все спал, с самых 7<sup>1/2</sup> до двух, когда Ив. Гр. воротился с вечера у Мих. Павл. (это еще в первый раз так поздно), и думал, что, проснувшись в два, уже не усну; напротив, просыпался еще и все снова тотчас засыпал, так что спал не менее 12 часов сряду. Да, был Ал. Фед. до обеда, я ему по условию дал на время 10 р. сер. из тех 20, которые оставил для внесения в университет.

12 [января]. — От Ворониных пошел к Вольфу, «От. записки»



чтоб читать. Их уже читал один господин, которого я просил после дать мне их. Он все читал, но наконец его соблазнил «Сын отечества», который лежал у меня на коленях, и он поменялся на него. У Вольфа не видно «Droit» и «Gazette de France», но вместо того, — и может быть это лучше, — явилась «Indépendance Belge»<sup>113</sup>, — ее-то я раньше всего и начал читать, а после «Staats-Anzeiger» прусский<sup>114</sup>. Итак, во Франции Собрание большинством 4 голосов приняло в рассмотрение предложение Râteau; во Франкфурте дали полномочия Гагерну вести переговоры с Австриею как отдельною державою<sup>115</sup>. У Вольфа я просидел так долго, как, может быть, никогда еще не сидел, до 4<sup>1/2</sup>, так что пришел домой в 5, — выпил только кофе и не проголодался. У «Отеч. записок» переменялся формат полей, и от этого, хотя страница печатная осталась та же, книга стала шире; взяв ее, я перекрестился, молясь, чтобы нынешний год были здесь труды мои или Вас. Петр.; они переменялись также, в том, что вместо двух колонн везде теперь одна. Прочитал «Неточку»<sup>116</sup>; хотя содержание мне не нравится, не мне кажется, что это решительно не то, что «Капельмейстер Сусликов»<sup>117</sup>: то чушь, а это писано человеком с талантом, так что не чуждо психологического анализа и занимательности для науки, хотя собственно мне и не понравилось. В Смеси «Наталя Ивановна»<sup>118</sup> писана довольно порядочно, хотя решительно ничтожна, но видно, что человек не решительно пошлый, хотя есть некоторые следы тупости. Записок Шатобриана нет, о чем я жалел. Обзор литературы за 1848 г. писан лучше, чем в «Современнике», но все не слишком-то, и зачем было несколько говорить о «Домби»? Это отзывается общим местом. Места из «Рустема и Зораба» Жуковского<sup>119</sup> в самом деле некоторые весьма хороши по языку и стиху, весьма хороши, как будто народная легенда наша или из Гете; есть, хотя мало, и Державинских оборотов вроде девчонкам — сучочкам. После обеда лег читать «Фауста» Губера, и теперь перевод понравился более, чем сначала; заснул между прочим и спал до чаю; после был доктор у Любиньки, и как уехал, я принялся писать это.

В газетах пишут, что Гизо скоро издает продолжение своей «Истории англ. революции» — Кромвеля. Мне бы хотелось это как-нибудь прочитать. Что думать о Гагерне и споре его с Linke за Австрию, не знаю; верно в самом деле нельзя, если Gagern решается исключить ее из Германии — у меня какое-то хорошее мнение о нем, а отчего — я сам не знаю, и, этому хорошему мнению уступая, я не ругаю его за то, что он не рубит с плеча, как всегда Linke. А Роберт Блюм все нейдет у меня из головы и все меня беспокоит мысль, что это убийство должно остаться без отмщения. Теперь 10 часов, завтра начинаются снова лекции: для меня ровно все равно, только то разве, что теперь нельзя по утрам видеться с Вас. Петр. В «Неточке» мне что-то кажется: не к этому ли же роду людей, как отчим Неточки, принадлежит и Вас. Петр.? т.-е. со слабою волею? — Внешнее сходство меня заставляет так

думать тоже, напр., женитьба того и другого; но что за слабость у Вас. Петр.? — это вздор.

13 [января]. — Утром читал кое-что довольно плохо из давних принесенных Ив. Гр. книг, играл в шахматы, тосковал о Вас. Петр., которого между прочим и дожидался; в 12 час. ушел в университет к Куторге, но его не было, потому что болен. Оттуда я шел с Филипповым, прошли до Мойки, он по каналу, я пошел к Вольфу, у которого просидел до 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа — и чувствовал усталость и ломоту в спине (когда пришел домой, уже после увидел, что это припадок лихорадки). Куткины утром присылали письмо, я вследствие того написал Данилевскому, чтоб он пришел к ним. Около 5 пришел Вас. Петр. и сказал, когда вышел курить в залу, что Горчаков, у которого он был ныне, сказал: «Вы человек семейный? Это одно уже уничтожает всякую возможность». — «Я стал было говорить, что я могу оставить жену здесь...» — «А это противно моим правилам и притом я уверен, что вы женились по любви; вам будет хотеться увидеться с нею». Такой добрый человек, извинился, что беспокоил меня, и проч.. Вас. Петр. сидел до 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, едва я упросил дожждаться чаю, а то хотел уйти, между тем как самовар уже был на столе, потому что у него хотели быть Самбурские, а сахару нет, насилу я удержал. Меня в голову так поразило, т.-е. не поразило, а так, это известие. Я не волновался ровно нисколько, ровно нисколько, но я смотрел на эту его поездку уже как на верную; думал, что он теперь пойдет по новой дороге, а вместе и мои обстоятельства выйдут из этого ложного положения, в котором они теперь... Да, штука плохо. — Мы играли в карты, пока Ив. Гр. был в бане. Теперь 11 час., ложусь, допишу завтра.

(Писано в пятницу, у Фрейтага на лекции.) — Когда уже сидел Вас. Петр., и тогда, но особенно, когда он ушел, а я лег в зале на диван читать «Дердид Гиржа»<sup>120</sup>, повесть, написанную с большим смыслом, чем я думал («Пантеон», № 1, 1848 г.), то стала мелькать мысль, как теперь будет Вас. Петр., и тотчас, конечно, явилось: должен писать в журналах — как это сделать? — Мне показалось, что его должно ободрить к этому, если можно, своим примером, возбудить его решительность, показать ему дорогу и завязать связи, которыми мог бы он воспользоваться во всяком случае, последует ли он моему примеру или нет; должно достать для него денег тем, что сам начну писать; попробовать попасть в журнал, и как в «Отеч. записки» после двух неудач совестно, то обратиться на пробу к «Современнику». Что писать? Конечно, быть какую-нибудь — и скорее всего, — вздумалось почти в то же самое время, — историю Жозефины, которую рассказывал мне Петр Иванович Швецов, — я и стал думать; но вздумалось, что ведь собственно эта история имеет для меня достоинство и интерес как доказательство того, что должно воспитывать детей не так, как теперь, а объяснить им все, все опасности и, напр., говорить об онанизме, и о мужеложестве, и о разврате, и о венерической бо-

лэзни, и о пьянстве, и о картах и проч. и проч., и все это самому показывать им в истинном свете, показывать средства избежать этих вещей, пагубность некоторых из них, настоящую роль в жизни, какую должны занимать другие из них, напр., соединение с женщинами, любовь, карты, вино, — потому что смешно требовать от своего воспитанника, — сына или кого другого, — чтобы он воздерживался от этих вещей, от которых воздерживается разве один из тысячи, и смешно надеяться удержать его от этого, одним словом, что это доказательство всей пагубности настоящего образа воспитания; должно говорить детям все, должно быть товарищами во всей их жизни, должно быть с ними на такой же ноге, как товарищи их по летам, чтобы не было у них ничего от нас тайного, и чтобы не было и причин ничего скрывать от нас. Так вот, собственно, эта повесть приобретает свое значение только оттого, что она истинна, а если должно будет писать как повесть, должно будет очерчивать характеры, из которых многие не очерчены в самом рассказе Петра Ивановича, — таким образом характер судебным образом засвидетельствованного дела она потеряет, а характер истины поэтической, не знаю еще, успею ли я придать ей, — так собственно это только важно для меня, как пример в доказательство общего начала, которое я хотел бы доказать, — так и буду писать статью ученую или именно не повесть, а рассуждение. Так я и решил и через несколько времени, около 9 час., после некоторых сомнений — писать или нет, — потому что сомневаюсь в успехе, — начал писать и написал предисловие,  $\frac{1}{3}$  страницы одной почти взял из Гизо; это предисловие: «Вот что говорит Гизо, вот что должен сказать и я», и мне кажется, что теплота, которая у Гизо есть, и у меня сохранилась.

14-го [января]. — Когда лег, стал читать Гизо «о заговорах» и с тем, что прочитал ныне утром, около 60 стран.; чрезвычайно хорошо; главным образом мне нравится чрезвычайно логическое развитие фактов в их общем виде и ходе — «сначала то, после то, то, то — и вот конец» — чрезвычайно хорошо. И кроме того, великое знание человеческого сердца в том отношении, что он хорошо видит истинные причины действия недовольства — опасение за себя, смещение своей опасности с опасностью общественной, одним словом, истинно глубоко анализирует сердце человеческое, все его illusions \*, и поэтому допускает и то, что эти люди в этих действиях и словах, собственно говоря, sincère\*\*, они как-то отчасти сами верят тому, что говорят, тем оправданиям и причинам, которые отвергают их противники; что он не останавливается на пустом: «негодяй, злонамеренный человек, лицемер»; конечно, и эти элементы входят в круг побуждений партий и людей, когда они действуют, но не они собственно главная причина дей-

---

\* Иллюзии.

\*\* Искренни.

Нынешний день чувствую еще, что не совершенно здоров я, и поэтому сам не знаю, как расположится день: может быть, посижу у Вас. Петр., но скорее пойду домой, потому что ведь Куторги не будет и поэтому время будет достаточно, чтоб отдохнуть от утренней ходьбы. Когда шел — ничего, а теперь снова нехорошо — усталость, хотя не болит в спине.

Изложу свои мнения о Франции. Людовик Наполеон мне кажется лучше, чем казался раньше, и не таким глупым, как раньше — обыкновенный человек и добросовестный или может быть несколько хитрый человек, и после этого в таком случае и настолько проникательный, что противится своему министерству во многих вещах, понимая, что оно им не решительно-то дорожит и хочет делать из него мост для перехода к своим, одни к Орлеанам, другие к Бурбонам. Одилон Барро решительно потерял мою всякую симпатию, потому что действует не совершенно открыто, потому что делает сам вещи гораздо хуже тех, против которых восставал сам за год и за два, и мне кажется, что если не у Ламартина или Ледрю Роллена будет в руках власть, то лучше уже была бы у Гизо, а не у Od. Barrot и особенно не у Тьера, которого я что-то не люблю. Ледрю Роллен до этого почти времени имел все мои симпатии, Ламартин тоже; первый — как глава партии и именно как олицетворение ее, второй — как личность благородная, незапятнанная ничем, высокая, великая в нравственном смысле. Мне не хотелось бы, чтоб Собрание расходилось скоро, потому что этого не хочет левая сторона, но мне кажется, что если и разойдется, то убытка большого не будет, и что в видах правой стороны было бы лучше сохранить настоящее Собрание, а распуская его, они ошибутся жестоко или в своих надеждах, или в успехе; во-первых, тогда, значит, все партии левой стороны снова соединятся, как до февраля, от Кавеньяка и Marrast до Proudhon через L. Rollin и L. Blanc, они все соединятся решительно, и тогда будет два случая: или все партии правой стороны также единодушно будут подавать голоса на выборах и овладеют снова деревнями и в таком случае они выберут такую палату, которую должно будет назвать *introuvable\** (как в 1815 г.) и *impossible\*\**, и тогда снова вспыхнет восстание, разгонят эту палату, и будет для правой стороны последняя горше первых, потому что уже власть не будет в руках Marrast, а в руках Ledru Rollin или шуги и Louis Blanc и надолго, если не навсегда, останется в руках этих партий. Это в случае, а) что на выборах будут единодушны, б) что при этом успеют склонить деревни на свою сторону (в чем я не решительно уверен, потому что Наполеон не через них выбран должно быть в деревнях, а собственно через свое имя), с) что деревни станут voter\*\*\* с таким же усердием и в таком же большом числе, как в декабре. Но скорее, что нет, что все эти условия не уда-

\* Беспримерной

\*\* Невозможной.

\*\*\* Голосовать.

дутся: правая сторона будет думать, что власть в ее руках, и явится тут множество партий непримиримых\*, у которых у каждой будет свой список: легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, партия Гизо, партия Тьера, партия Od. Barrot; деревни не станут подавать голоса в таком множестве и вместо 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> явится votants\*\* 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, — а более двух миллионов, можно надеяться, будут республиканцы (Кавеньяк — 1.200.000, L. Rollin 400.000 и проч.), и, наконец, деревни будут подавать голоса не единодушно, как в декабре, а будут орудиями всех партий, хотя может быть, что за правую сторону будут подавать более всего голосов и даже это вероятно, но главное — это единодушие республиканцев и разногласие, разнообразие списков правой стороны, — и поэтому я думаю, что почти возможно, что Национальное Собрание, которое будет выбрано для замены настоящего Собрания, будет левее его, т.-е. что левая сторона будет сильнее, чем теперь, а если нет, так восстание<sup>121</sup>.

Просидевши у Устрялова, пошел домой (это писано 16-го, 8 [час.] вечера), где все лежал; погода была дурная довольно, тепло довольно, но ветер и снег; спина ничего особенного; вообще лихорадки мало чувствовал, но не знал, пойду или нет к Ворониным. Наконец, пошел, но оттуда нанял извозчика, шел все торгуясь и, дошедши до Большой Морской, успел нанять за 10 коп. сер. Получил письма утром. Это я в первый раз с долгого времени решился нанять извозчика, да и то собственно решился на этот расход потому, что уже положил себе, что, идя оттуда, зайду к Вольфу выпить чаю или ликеру, так уж все равно буду тратить деньги. Когда приехал оттуда, лег читать и уснул; в 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> пришел Ал. Фед., у которого я был утром вчерашним, и просидел до 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

15 [января]. — К Фрейтагу не пошел, потому что ведь две лекции пустые в середине между ним и Срезневским, так в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к Вольфу, где просидел до 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>; ничего не брал, читал газеты. Пошел в 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub> в университет, между прочим пока в библиотеку; идя, дорогою вдруг вздумал зайти к Гауеру спросить «Démocratie en France» Guizot<sup>122</sup>; нет — и хорошо. Пошел; на Неве попался Соколов, который сказал, что Срезневского не будет, и пошли вместе. Он толковал о политике и пошли вместе до Излера, где я оставил его, чтоб посмотреть, есть ли «Presse»; нет. Кажется, я пошел в бильярдную и смотрел с полчаса, до 1 час. 40 мин.; после, идя домой, вздумал зайти в Пассаж посмотреть «Presse», зашел — есть. Я спросил кофе и прочитал два отрывка Ламартина Confidences<sup>123</sup> — хорошо, — о том, как он ходил на rendez-vous\*\*\* с Lucy, и об итальянском мальчике (как-то с z начинается имя) — хорошо; кофе весьма хорош, весьма хорош и дают и сахару больше, и сливок, и только 15 коп. сер. Поэтому я вместо Излера туда буду ходить. Хорошо.

\* Неразборчиво. *Ред.*

\*\* Избирателей.

\*\*\* Свидание.

В 3<sup>1/2</sup> воротился домой и провел время почти в разговорах с Любинькою до чаю; после к Вас. Петр., у которого взял № 1 «Современника», играли в карты. Я начинаю жалеть, что он соединился с Над. Ег.: он гораздо выше ее и не может быть, кажется, с нею счастлив, она слишком проста, слишком проста, решительно как будто ничего не понимает, и мне серьезно, положительно стало его жаль. Мы толковали с ним о свободной воле, несма немного, и отвергали возможность человеку управлять обстоятельствами; говорили, что нелепость «человек с твердою волею» и проч. — у него основание было не знаю что, у меня главным образом его пример: всякий дурак и я скажет, что тверже его нельзя найти человека, а он говорит, что решительно не имеет никакой воли. И сам тоже я: Ал. Фед. недавно и Тушев, когда у меня были, сказали, что предполагали, что я человек с необыкновенно твердою волею. Говорили о величии России, и я сказал, что глупость, и как он тоже говорил, то мне стало совестно, что я слишком резко говорю об этом перед человеком, которого не должно castigate \* за ослепление к русскому, и что собственно я не говорю, что русские дураки, а что ничего еще не сделали, и проч. Но это все я пишу так, а главное — Надежда Егоровна! Надежда Егоровна! Когда пришел, было 10 с <sup>1</sup>/<sub>4</sub> или <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Лег. Когда читал до 4 или 5, прочитал всю «Жюли» и, признаюсь, некоторые места меня заинтересовали: человек с талантом, это видно, не говорит глупостей, многое занимательно из тех приключений, которые он рассказывает. Но что это? Более ничего, как сказка, т.-е. проишествия, т.-е. французский роман вроде Поля Феняля или, лучше, Дюма, где приключения, приключения и т. д., ни характеров, ничего, ничего. А все-таки прочитал все, не засыпая. «Жюли»<sup>124</sup> лучше, чем я думал.

16 [января]. — Когда проснулся, уже подали чай. Чувствовал, что не выспался, но ровно ничего. Сел было писать для Никитенки, но только написал строк 20, как пришел Ал. Фед. и просидел до 3<sup>1/2</sup>. Мне это было не неприятно, а напротив приятно, и я был разговорчив, хоть и не бешено разговорчив. Говорили о журналах, политике; я рассказывал ему отрывки из Ламартина, о политической экономии, и он хотел достать Rossi и Garnier-Pragès, словарь политический. Первое есть у Колерова, он знает; второе, как мне кажется, есть или есть у них в библиотеке; если достанет — хорошо. После посидел, читал «Современник» и говорил с Ив. Гр. решительно симпатически до чаю. После чаю сел писать Никитенке, — ничего не писалось, поэтому я стал писать это. Вас. Петр. обещался быть, может быть, но не был.

(Писано 22-го в субботу, 9<sup>1/2</sup> час.) — Так вот целую неделю не вел я своего журнала. Сам не знаю хорошенько, почему. Продолжаю теперь.

17 [января]. — У Вороиных учил вместо Константина, кото-

\* Бичевать.

рый был болен, двух маленьких и только до 7 часов. Оттуда к Ал. Фед. за «Débats», которые взял [за] 1—9 января. Во всю эту неделю я почти каждый день бывал в кондитерских, обычно у Вольфа, раза два в Пассаже для «Presse» и «Признаний» Ламартина.

18 [января]. — Никитенки не было, и я почти этого ждал, поэтому не много заботился о сочинении, хотя несколько заботился. Встретился, идя к нему в аудиторию, с Троянским, который заговорил о Фаусте и попросил объяснить его себе. Я начал, и таким образом мы просидели всю лекцию. После он уж говорил, а не я, и о Дюма, которого находит удивительным. Показался весьма недалеким, но добрым и усердным. Просил быть знакомому и обещался принести Вронченку, перевод «Фауста», и принес на другой день.

19 [января]. — Мне сильно хотелось увидеть Вронченкин перевод, т.-е. изложение второй части, и в самом деле принес Троянский. Вечером я читал его. Был Ал. Фед. в воскресенье, и когда говорили, он сказал, что возьмет книги о политической экономии у Колерова и в своей библиотеке. Кажется, я просил словарь Гарнье Пажеса и Росси. Он взял Росси; и я взял у него Росси в среду.

20 [января]. — В университет не ходил, а вместо того к Вольфу и после обеда к Вас. Петр. отнести Вронченку ему. Не застал, а когда шел оттуда, на углу канала и больницы встретились они с Над. Ег., и он подошел ко мне. Я сначала, как шел по другую сторону улицы, не заметил, что он с Над. Ег. Отдал ему, он обещался быть в субботу. В среду я просил у Залемана Гете, хотя и не хотелось, потому что вдруг ужасно захотелось сличить вторую часть с Вронченкиным изложением и объяснениями. Но у Вас. Петр. еще не взял. Остальное время просидел дома так, в разговорах с Ив. Гр., и под конец вечера играл в карты до 12 ровно. Главным образом этот и следующие дни и предыдущие я ничего не делал, потому что в зале было холодно с самого вторника и сидеть там было нельзя. Теперь снова делается несколько сносно.

21 [января]. — Фрейтага не будет — он убирает Эрмитаж, и мы решили не быть у него ныне; поэтому я пойду только к Срезневскому, да и то уговаривал товарищей не ходить, но не согласились. От Ворониных, где снова начал с Константином, — к Вольфу, где с час просидел; оттуда к Ал. Фед. — отнес «Débats», взял «Современник». Там встретил новое лицо, Венедиктова, у которого Ал. Фед. уже выпросил несколько новых книг для меня — такой обязательный — напр., «Жирондистов». Росси читаю — умен, но не то, что Гизо, а так себе, не из первого класса умов, а из таких людей, которых всегда бывает по нескольку, напр., хоть Тьер. — Вместо Фрейтага был у старшего Куторги, и в самом деле довольно хорош, человек умный, но от других не ушел много вперед, напр., от Фишера, или Устрялова, или Срезневского.

22 [января].— Ив. Гр. вчера принес Священную историю издания Плюшара. Я переворачивал несколько листов, и пришла охота углубиться, если бы было можно, в занятие этим предметом — да нет, теперь нельзя еще достать книг. Был Фриц и снял мерку для новых сапогов. Я сказал ему: «Нет денег», он говорит: «Хоть два месяца ждать, ничего». Подлец, зачем отдавал, когда эти деньги должен буду отнять от тех, которые бы следовало Вас. Петровичу. То утешает, что через два месяца уже, даст бог, он не будет в этом нуждаться, потому что у самого будет много денег.

*Продолжение (26 числа, 11 час. 35 мин.).* — К Фрейтагу условились мы не ходить, поэтому я пошел к Срезневскому. Идя оттуда, заходил к Вольфу и в Пассаж, читать «Presse». Когда шел оттуда, у библиотеки догнал меня (было 5½ час.) Райковский и спросил (мы пошли по тротуару к Аничковскому дворцу), знаю ли я по-английски; я сказал: «скверно». — «Так у меня есть что переводить, а отдавать другому, а не товарищу, мне не хотелось бы». — «Я весьма рад». — «Приходите ко мне». — «Когда?» — «В четверг или пятницу». — «Хорошо». В четверг вечером был Вас. Петр. и после пришел Ал. Фед., с которым я толковал — большею частью говорил я — и с Вас. Петр., который принес Вронченку, защищая Гете и вторую часть «Фауста» от Вронченки, а когда пришел Ал. Фед., защищая Иринарха от Горизонтова. Было после, когда ушел Вас. Петр., немного совестно, что говорил: во-первых, он в это время скучал, а, во-вторых, конечно, я говорил глупо и потерял у него во мнении, т.-е. еще подтвердил его прежнее мнение обо мне. У Вас. Петр. обещался быть (тогда была суббота) в среду, т.-е. 26-го.

23 [января].— Решился приготовить несколько на всякий случай для Райковского по-английски, потому что, хоть вероятнее, что это неудача будет, что это т.-е. мечты с его стороны, дело у него, верно, еще у меня не обделано, но все-таки на всякий случай, и поэтому большую часть дня читал Эджворта со словарем, прочитал всего страниц 20, приискивая всякое слово, даже не нужное; в понедельник прочитал более, а во вторник всего до 80-й страницы, после уже не приискивал слов, потому что не так стало нужно, и вышло — я более способен быть тотчас переводчиком, чем думал, и что почти могу добросовестно переводить. Вечером был Михаил Павлович, приехал с обеда на именинах у тестя, почти пьяный, и его стало тошнить и рвать — это мне было отчасти приятно, потому что мне не мешали, а между тем отнимает прежнюю возможность мне конфузиться своими глестями перед Ив. Гр-чем. В то самое время, как его рвало, пришел Серапион Благосветлов, — конечно, решительно не во-время, хорошо, что не долго сидел. Теперь 11 ч. 50 м. и ложусь спать. Это писал, когда стлали постель. Теперь постлали. *Продолжение после.*

*Продолжение. 24-го [января], 3½, понедельник.* — Утром рано в 8½ отправился к Ал. Фед. за деньгами, которые взял он у



[меня] в субботу, чтоб получить несколько из них для Любиньки, у которой решительно не было и которая говорила уже в воскресенье, что их решительно у нее нет. Посидел у него и не хотелось самому напоминать, чтоб он дал несколько сдачи из 10 р. сер., которые взял, но пошел, он все не догадывался, и я воротился, как бы вспомнив вдруг, и взял 5 р. сер. — итак, употребил хитрость. Из университета прямо домой, после к Ворониным. Читал «Débats», которые взял у Ал. Фед. утром, но более английскую книжку.

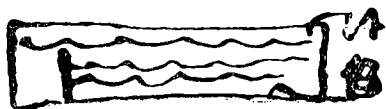
25 [января], вторник. — Все думал, что Никитенке написал я гадко и бессвязно, но когда утром прочитал и сделал маленькую вставку, которую написал на особом лоскуте, о том, что в самом деле прежде так думали, что дух состоит из частей решительно независимых, то показалось хорошо. Начал читать. Никитенко, как пришел, сказал: «Кто хочет давать уроки? Случаи бывают, что ко мне адресуются, так на всякий случай». Я сказал, что верно все готовы, — от нас буду я, Корелкин, Главинский только да Трояновский, да еще один чужой, итак, только 5 человек. Он сказал — «адреса дайте». Главинский сказал, что даст, и тотчас после лекции дал, а я нет и поэтому ругал себя, но весьма мало, как бы знал, что ничего еще не испорчено. В самом деле, как вышел из университета, пришла мысль, что можно дать еще адрес и в среду, и в самом деле дал после лекции. Итак, я стал читать. Никитенко заговорил о том, что в самом деле так делили душу, и начал говорить о мнемонике, о способе Жакото, который должно бы о ициально исследовать, о том, что теперь поручено ему составление программ или инструкций для преподавания словесности в гимназиях и проч., говорил, говорил так, что почти всю лекцию проговорил сам, и только сначала я прочитал полстраницы; это-то мне ничего, весьма приятно, что я не читал, т.-е. не то, что приятно, а все равно, в следующий раз прочитаю лучше, поправивши, да и работа отлагается все впредь, это хорошо; но и какое-то сомнение в голове, что, может быть, он говорил для того, чтобы избежать моего чтения, которое показалось глупо и скучно, надеясь, что в следующий раз будет что-нибудь другое. Итак, это сомнение отчасти и неприятно. Из университета — к Вольфу; сомневался, можно ли тратить деньги или нет, чтоб не замедлить взносом в университет, как отдаст Ал. Фед., но подумал, что к тому времени получу от Ворониных и, может быть, из дому, и велел дать шоколаду, потому что пили тут его другие.

В 6<sup>3/4</sup> пошел к Ханыкову, как был и намерен, хотя отчасти колебался, не лучше ли заниматься по-английски (у Вольфа в этот раз и предыдущий читал «Иллюстрацию» английскую<sup>125</sup> и Galigpani Messenger<sup>126</sup> и все равно понимал, это мне придало бодрости). Просидел у него до 11 почти и взял 8-ю часть Гегеля, Rechtsphilosophie, что меня несколько волновало, но только голову, а не сердце, от радости и размышления, что-то вычитаю я там у него; он дал для того, чтобы из моих рассказов ознако-

миться с Гегелем, и просил меня сделать для него выписку оттуда. Я сказал о том, что напрасно он думает, что трудно выучиться по-немецки, предлагал свою методику — беглое чтение, по возможности без лексикона (мой конек) и проч. и проч., защищал Гегеля. Пришел, немного читал Гегеля, но скоро уснул.

26 [января]. — Из университета снова к Вольфу, где просидел не много. Дома читал, однако мало весьма, Гегеля и мало понимал, отчасти и язык, а главное — смысл и почему это так. Прочитал около 30 страниц. После к Вас. Петр., у которого просидел с 7<sup>3/4</sup> до 11 решительно без скуки, напротив, с удовольствием, правда тихим, не резким, но тем не менее с удовольствием, чего довольно долго не было. У Над. Ег. в лице прямо как-то есть что-то слишком безрезкостное, как-то гладкое, не развитое, но удалось со вниманием посмотреть в профиль, и я снова начал смотреть с некоторого рода прежним удовольствием, хотя, конечно, слабым в сравнении с прежним — черты в самом деле тонкие и чрезвычайно красивые, грациозные. Что мне не нравится, так это лоб, который как-то слишком изогнут, слишком круг в средней части, но это так кажется от прически, которая не идет к этому лбу, и мне подумалось, нельзя ли как-нибудь сделать, чтоб она стала носить другую прическу. С Вас. Петр. толковал обо всем, кроме политики, о которой ни слова, — более об унии и обращении униатов; оба обременились позором поведения нашего правительства в этом случае. Он говорит — читал недавно «Бориса Годунова» Пушкина и решительно не так теперь думает о нем, как раньше, — это чистая риторика, а не что-нибудь существенно хорошее — пустая вещь, говорит: уж «Руслан и Людмила» лучше. Это почти так, как я думал, хотя не читал этого произведения. Обещался прийти в 4 часа, чтобы после вместе идти к Залеману; я думал идти тотчас с ним в Пассаж в кондитерскую, но теперь кажется, что Ив. Гр. не будет, поэтому мне сиделось и дома.

27 [января], четверг. — В университет не ходил совершенно. Читал Гегеля — я тороплюсь читать его, чтоб побывать у Ханыкова поскорее, потому что обещался; прочитал до 105-й стр., до II Abtheil, Vertrag. Гениальности не вижу, потому что строгости выводов не вижу еще, а мысли большею частью не резкие, а умеренные, не дышат нововведениями, поэтому я не могу видеть в них ничего особенного, пока не увижу, что они непоколебимо выведены и связаны между собою и со всем целым. Что человек умный — это видно, боюсь, что придется мне краснеть за это после, но все равно пишу. Однако, об этом после когда-нибудь — дело в том, [что] не решительно все понимаю, хотя большею частью то, что напечатано, отступя от начала строк так —



(В), т.-е. объяснения и примечания, большею частью понятны — да я не решительно еще приготовлен к этому чтению, — где он говорит о частных применениях, т.-е. в этих короткими строками напечатанных прибавлениях и проч. и *Zusätze* \*, там кажется более занимательности. — Что это такое? практическую ума или еще незрелость, то, что не могу еще свободно жить в этих общих областях решительно неприложенного, абсолютного, и нужны приложения?

Теперь пришел Терсинский и начинаю читать «*Débat*», дожидаясь Вас. Петр., который, думаю, придет слишком поздно, т.-е. позже, чем желал бы я. Теперь 4 ч. 5 м.

(Писано у Фрейтага.) — Вас. Петр. пришел в 5 или  $5\frac{3}{4}$  и просидел до 8, потому что должен был подождать чаю, хотя хотел уйти раньше. Поэтому уж у Райковского не был я; существенно это произошло оттого, что и раньше уж сомневался, не пойти ли лучше завтра, т.-е. ныне от Ворониных по дороге; так и сделалось, что решился так идти. Он был у Сидонского, но не мог ничего сказать, потому что у него сидел кто-то, и поэтому будет в субботу. А теперь зашел от Залемана; семейством их он весьма был доволен, особенно матерью. Я, как вздумал за несколько дней, спросил его, будет ли держать он теперь экзамен; чтобы напомнить ему об этом, и он сказал, что нет, т.-е. решительно бросил об этом думать, — теперь, может быть, что в самом деле он снова начнет думать об этом и будет держать, если до того времени ничего не случится. Он сказал, что решительно предоставляет себя на волю судьбы, и выразил это так решительно, что даже мне, который решительно то же делаю с собою и держусь этого мнения относительно участи других, что не они, а обстоятельства управляют всегда, но все-таки даже и мне показалось это как-то уж слишком *laissez passer*\*\* — самооставлением, самопокиданием, почти отчаянием. Сказал еще на мой вопрос, о чем он теперь думает, что и теперь ни о чем, да и обыкновенно ни о чем не думает, когда с людьми, напр., когда с Над. Ег. сидит — обыкновенно ни о чем. Это высказал так снова выразительно, что я решительно в этом убедился, — снова повторил, что никак не может привыкнуть к своему новому положению, к Над. Ег. и проч., что тесть решительно сердится, что никогда не бывает у него, и хочет не велять ей бывать у него, если Вас. Петр. не побывает. Я уговаривал, чтобы побывал, но он не согласился, говорил, что ждет письма от своих, имеет предчувствие, что получит это письмо, и что до этого времени предчувствия эти его не обманывали. — И провел я это время с ним с удовольствием.

28 [января]. — Всего теперь прочитал я до 2-го отдела у Гегеля, до *Moralität*\*\*\*. Особенного ничего не вижу, т.-е. что в подробностях везде, мне кажется, он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества, так что даже не решается

\* Дополнения.

\*\* Предоставить ходу вещей.

\*\*\* Мораль.

отвергать смертной казни и проч.; так или выводы его робки, или в самом деле общее начало как-то плохо объясняет нам, что и как должно быть вместо того, что теперь есть — ведь Фихте пришел же к обоготворению настоящего порядка вещей, — но несколько, однако, мало, замечаю логическую силу; главное то, что его характер, т.-е. самого Гегеля, не знает этой философии — удаление от бурных преобразований, от мечтательных дум об усовершенствованиях, *die zarte Schonung des Bestehenden* \*.

Ныне Куторги не будет, поэтому пойду домой, оттуда к Ворониным, оттуда к Райковскому. — Что-то будет у него? Не жду я приятного ответа; думаю, что то, что он говорил, более от надежды получить самый перевод, чем от того, что уже получил, — но все-таки.

Напишу что-нибудь о тех идеях, которые пришли мне в голову. Напр., что история разлагается на повествование о действиях, происшествиях и состояниях, положениях народа и известных классов, — что до этого времени, кажется, не было достаточно ясно создаваемо, хотя отчасти уже есть в исторических трудах, но недостаточно постоянно и хорошо проведено в практике (в теории не делают хорошо и ясно этого различия) относительно состояний, положений жизни, а между тем, эти части равно обе существенны, и если уж которая из [них] важнее, то, конечно, состояния; итак, дело истории всегда связывать между собой эти две части и показывать, как из состояния рождались стремления и действия, как действия и события вели народ или часть его от одного состояния и положения в другое (вот сижу и думаю, что еще мне вздумалось, а две или три мысли были, которые имеют для моего развития и взгляда некоторую важность).

В эти дни, как прочитал Губера перевод, большею частью все пел: «Как негодница мать убила меня, как отец, старый плут, съел родное дитя, как малютка сестра кости в яму снесла и как стала потом вольной пташечкой я. Взвейся, пташка моя!»<sup>127</sup> — Пел также, но гораздо раньше оставил и менее пел, песню под липой, особенно последний куплет: «Нельзя нам, бедным, верить вам, вы часто так клялись нам, а все-таки смеялись. Но он ей шепчет на ушко и из-под липы далеко — юхге, юхге, юхгейза, гейза, ге — все крики раздавались». — И мне казалось, что для этой песни голос мой лучше, чем для другой.

(11½ утра, воскресенье 30-го.) — Из университета, т.-е. от Устрялова (на лекции у Фрейтага услышал, что попечителя [назначают] сенатором в Москву, вместо него Кочубей, что, конечно, меня весьма обрадовало, но живой радости несколько не почувствовал от этого) домой, где читал Гегеля. — От Ворониных к Райковскому, его не было дома, поэтому в Пассаж.

Да, из университета пошел к Вольфу; там известия от 26—29 января привели меня в такой восторг, в каком я давно не бывал

---

\* Нежное снисхождение к существующему.

и какой можно сравнить с тем, с каким я читал Люксембургские рассуждения. Итак, думал я, или падение министерства, или новая революция — последнее мне больше нравилось, потому что власть, думал я, перейдет к Ледрю Роллену, это было бы чудесно<sup>128</sup>; и в таком радостном расположении духа пробыл я и у Ворониных. В Пассаже, прочитавши, что все утихло, охладел снова, но и теперь снова заинтересован много, все равно как в начале ноября борением Прусского Собрания с министерством.

В Пассаже выпил кофе (во второй раз) и оттуда пошел к Ал. Фед., у которого просидел не решительно без скуки, но ничего, до 12 час. Главным образом просидел потому, что хотелось отплатить ему за то, что он старается так доставать мне книги, напр., теперь достал Альманах *démocrat. et social* от Венедиктова, которого я у него видел; здесь я увидел в первый раз портрет Жорж-Занда — мне чрезвычайно понравилось лицо, хотя, может быть, оттого, что я уже расположен дивиться хорошим людям. В этот вечер, идя домой, и в субботу утром до 10 прочитал всю эту книжку. Кроме статьи Ламне *Question du travail* ничего нет решительно хорошего, кроме, разве, последних страниц, которые — выписка из Прудона.

29 [января]. — У-Фрейтага не был; прочитавши книжку, вздумал срисовать сквозь прозрачную бумагу портреты, которые в ней, и довольно порядочно (т.-е. гадко) вышел Фурье, Барбес скверно, я и бросил; на другой день снова рисовал, но Фурье вышел, может быть, хуже, а Ж. Занд совершенно не вышла, поэтому снова оставил; жаль бумаги, а то занялся бы, это помогло бы мне выучиться рисовать, может быть, — верно займусь, только не теперь, а когда будет время. Идя из университета вместе с Славинским, зашел в Пассаж — там Вас. Петр. Славинский пошел к булочнице, я с Вас. Петр. в кондитерскую, посидели до 4<sup>1/2</sup>, когда ему [было] нужно к Сидонскому. Сидонский, как после он сказал мне, сказал — «подумаем» (насчет работы). Уговорились, что он оттуда ко мне, и зашел в 5 час., просидел до 7<sup>2/3</sup>, и под конец я-таки прочитал ему об эгоизме Гете, почти все, кроме истории с Лили, которую мне было совестно читать, чтоб не показаться сентиментальным, поэтому два последние листика, т.-е. один только последний, да и то не весь, а о подражателе Тьеру, т.-е. Иване Вас. и великих людях, что они негодяи — последнее уж я сам начал читать, когда уж собрался к Залеману. Мне было, конечно, совестно читать, но ничего все-таки, ведь последнюю статью сам вызвался прочитать. У Залемана все время мы играли в шахматы с Владимиром, и когда пришла мать, которой не было дома, Вас. Петр. ушел с нею. Я играл гораздо лучше Залемана, т.-е. он ничего почти не может сообразить — оказывается туповат, хотя я убедился, что и я играю еще хуже, чем я думал, потому что ровно ничего не вижу, что готовится мне и что я должен делать. Взял у него по его предложению книгу Петрова о шахматах, дома увидел, что это только одна практика, т.-е. три последние части, а теории,

которая больше принесла бы пользы, т.-е. первых двух частей, нет. Все-таки, как пришел домой, разыграл одну игру, и ныне утром некоторые задачи. Проводил оттуда Вас. Петр. до Самбурских, дорогою говорили о различных вещах.

30 [января] (писано в четверг, 3 февраля), воскресенье. — Хотел зайти Вас. Петр. после обеда. Весь день просидел дома; читал Гегеля немного, немного Росси вторую часть, писал для Никитенки. Приходил во время обеда Ал. Фед., взял «Débats». Вас. Петр. не был, я у него хотел быть в среду.

31-го [января], понедельник. — Утром к Вольфу, из университета домой, от Ворониных к Райковскому (второй раз), снова не застал; оттуда в Пассаж, где 2 февраля «Presse», окончание истории Грациэллы меня необыкновенно тронуло: я плакал, когда читал, и превосходны они оба, Ламартин и она, и как он оканчивает: «простите меня и вы, которые читаете это». Оттуда к Олиंपу, у которого Булбенковы, и скоро все ушли. Когда пришел домой, был измучен немного.

1 февраля. — Видел Фурсова, который едет через неделю, 6-го или 7-го, в понедельник. Михайлов, говорит он, придет в феврале, если приедет Якоби, управляющий Соляным отделением. У Никитенки читал, и он согласился со мною более, чем я думал. Корелкину золотая медаль, и сочинение будет напечатано университетом или в Записках Академии нашей — весьма хорошо. Существенного сожаления, т.-е. в сердце, решительно не было, что я не писал, и зависти нет; в голове, конечно, думается: «Если б я, я б еще лучше». Иду пить чай.

(Продолжаю у Фрейтага в пятницу, 4 февр.) — Вечером не помню уже теперь, что делал, — верно ждал Вас. Петр., который обещался зайти, когда пойдет к Залеману, но не мог идти, потому что нога, на которой он неловко подрезал мозоли и от которой он хромал в субботу, распухла (см. после под 3 февраля — я был у Ханькова.)

2-го [февраля] был праздник. После чаю пошел к Ал. Фед. за «Débats» и деньгами, просидел вместе с ним до 11, потому что ждал, чтоб он одевался. Денег у него еще не было мелких, поэтому хотел в этот или следующий день отдать. После, оттуда к Вольфу, у которого выпил кофе, просидел до 3 или больше, читал все газеты, но и снова взял 1 № «Отеч. записок», потому что 2-го еще не было, как я и думал. Прочитал «Нигрицию» Ковалевского<sup>129</sup> — весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен: когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народы на север от Греции самым климатом и своею расою осуждены на рабство и варварство, — и первую часть («Гордость») Э. Сю<sup>130</sup>. Мысль-то, если угодно, прекрасная для романа, но преувеличения и мелодраматические сцены, как всегда у него. Оттуда в Пассаж, где прочитал следующую за «Грациэллою» статью Ламартина, но там не так

занимательно, только о нашествии с Эльбы Наполеона, а после смотрел «*Journal pour rire*»<sup>131</sup> 3 целых номера, довольно мало понравилось, однако ничего — отделка обыкновенно весьма хороша в больших полиטיפажах, но есть такие вещи, где почти нет ровно несколько остроумия. Только что пришел домой и кончил обед в почти 6 час., как пришел Корелкин и просидел до 9, но последний час только потому, что я его удерживал *per fas et nefas*\*. Я был довольно весел, читал стихи Лермонтова и особенно Гете из «Фауста»; потом начал ему говорить правила демократов о *émancipation de la femme*\*\*; стал говорить о *meretricibus*\*\*\*, что они ничем не хуже нас, и этот разговор довел его до того, что он с угрызением совести стал вспоминать и говорить мне, как он бывал в доме на Гороховой; после раскаяние отчасти прошло, и он стал говорить так, что там три их и оно как бы Вологодское подворье, как выразился я. Так он вкусил запрещенного плода. Итак, я не был у Вас. Петр.

3 [февраля]. — В университет не пошел. Писал отчасти Фрейтагу, отчасти читал «*Débats*» и Гегеля — теперь прочитал до «гражданское общество, система потребностей». Пообедали рано, в 3¼ пошел к Вас. Петр., чтобы воротиться домой в 6, потому что думал, что придет Ал. Фед. — Над. Ег. уходила к Самбурским, поэтому Вас. Петр. почти сам предложил идти к Ив. Вас., от него к нам, от нас к Залеману; я сказал, что пойду к Залеману, если придет и уйдет до того времени Ал. Фед. Пришли к Ив. Вас., я с ним стал играть, шутить, смеяться; пришел Майер, который живет с ним и учит его по-французски, — хуже, чем я думал, просто глуп и надут, вроде Туфы, только, может быть, тертый калач. К нам Ал. Фед. не приходил, и поэтому я не пошел, а поэтому и Вас. Петр., тем более, что не взял с собою «Современника». Говорил почти все я, кроме того, что играл в шашки, и говорил все я о Февральской революции и положении партий теперь и чего теперь должно ждать. Вас. Петр. сказал, что его это сильно интересует и что если у него будут вдруг «*Débats*» и «Современник», то он раньше взял бы «*Débats*»; поэтому я вздумал передавать их ему и, как увижусь с Ал. Фед., спрошу у него позволения на это. Читал у него письмо, которое написал он к редактору «Сына отечества» от лица трех дворовых людей. Сначала довольно остроумная мысль, что «хотя мы и считаем вас дураком, а благодарим вас, потому что через вас мы выучились читать: хорошие книги господа берегут в своих комнатах, а ваш журнал, который выписывают больше для приличия или хвастовства, лежит всегда в передней, вот мы по нему и выучились читать». — После неостроумно, потому что писано решительно без обдуманности. Так я ему все говорил о революции и о хилости нашего правительства, — мнение, которого зародыш положил Ханыков, и

\* Всеми правдами и неправдами.

\*\* Об эмансипации женщины.

\*\*\* Проститутках

проч. в этом роде. Когда ушел он в 10, я немного пописал Фрейтагу, после — спать.

4 [февраля]. — Теперь утром просмотрел написанное Фрейтагу почти все, остальное здесь в университете перед этим просмотрел; после это [т.-е. дневник] стал писать. Ныне из университета зайду к Вольфу на полчаса (да, этот vote\*, что отверг ordre du jour sur l'enquête contre le ministère\*\*, наполнил меня радостью и теперь должно узнать, какой ordre du jour motivé\*\*\* принят).

(Писано у Фрейтага в субботу 5-го.) — В университете Вас. Петр. не было. Пошел к Вольфу, где почти до 3-х. Amendement\*\*\*\* de Louis Perrée не принят, а Uudinot, и столкновение избегнуто, но 6 числа о Rateau общая discussion. 7-го должны перейти к параграфам — бог знает, будет ли принято. — От Ворониных, где всего до 7, потому что Константину было куда-то нужно (да, еще гувернер бранил его передо мною и рвал за ухо, что не умел переложить на ассигнации 18 р. сер., и сказал, что fort zustreiten\*\*\*\*\* не годится, потому что он позабывает, что назади; что меня не слишком, правда, но все-таки взбесило), пошел к Райковскому, у которого почти до 9, потому что, конечно, не был, только адрес оставил. Оттуда идя, заходил к Fleischhauer, который в Чернышевском переулке, за чернилами. Вышла девушка довольно красивая, в немецком роде, и стала говорить по-немецки, я не отвечал по-немецки, чернил не было готовых. Когда пришел, стал писать Фрейтагу и до 11½ в этом прошло, все-таки просмотрел все и переписал; итак, на сочинение было употреблено часов пять.

5 [февраля]. — Проснулся в 7, потому что боялся проспать. Сердце несколько не волновалось, когда подавал Фрейтагу; он заметил несколько в самом деле нечистот и, когда отдавал, ничего не сказал. Вчера получил, когда пришел, письмо, которое оставил Ал. Фед., и в нем 16 р. сер.; итак, отдаю ныне деньги в университет. Получил повестку от своих на 40 р. сер. — Конечно, что мне — все отдам Вас. Петр., потому что у меня и так остается 3 р. 75 к. сер. — Итак, с лекций в почтамт, оттуда, если придет Вас. Петр. (верно не придет), в университет, к Корелкину, если нет, к Вольфу верно пойду (нет, прямо в библиотеку, потому что там еще ничего нового нет, конечно). После обеда — к Вас. Петр., если не увижусь с ним до обеда, потому что обещался, да и кроме того верно буду в состоянии отдать несколько. Хотел бы что-нибудь ныне и завтра написать «о воспитании»; не знаю, напишу ли что-нибудь, а как напишу, хочу отослать в «Современник».

В Берлине выборы демократические — это хорошо. Что-то будет? Что-то будет? Жаль, что Франкфурт так ослаб, — бог знает, не виноваты ли в этом отчасти сами они, как говорят справедливо,

\* Голосование.

\*\* Порядок дня о расследовании против министерства.

\*\*\* Мотивированный порядок дня.

\*\*\*\* Поправка.

\*\*\*\*\* Идти вперед.



кажется, — Bassermann и другие, которым помешали действовать решительно по случаю смерти R. Blum'a и смятий в начале ноября в Берлине. Кажется, если бы вступились решительно за Национальное Собрание и проч. и послал бы слева, а не справа послов в Вену, людей решительных и смелых, хотя не дерзких и не заносчивых, потребовали бы тотчас отдачи под суд Виндиш-греца и Бранденбурга и проч., то уже было бы одно что-нибудь — или да, или нет, и как теперь вышло, может, нет, то хуже теперешнего не могло выйти, а едва ли посмели бы отвечать — нет. (Писано во вторник 8, в 8<sup>3/4</sup>.) — В субботу пришел от Вольфа весьма усталый, так что весь вечер проспал и у Вас. Петр. не был.

6 [февраль], воскресенье. — Ушел к Вольфу довольно рано и просидел 7 часов сряду, от 10<sup>1/2</sup> до 5<sup>1/2</sup>. Читал все «Отеч. записки», но и остальное тоже. В «Отеч. записках» повести довольно хороши, так что это меня несколько утешило, но особенного ничего, нигде ничего особенного; в «Записках» Шатобриана тоже ничего нет особенного, но везде чрезвычайное чувство и видно, что великий человек. Вечером был у Вас. Петр., толковал все о революции у нас и проч., и проч., как и раньше; он любит заводить об этом речь, но раньше я не сочувствовал, а теперь не прочь и я. Мнение его о государе, кажется, переменялось к худшему, во всяком случае, я думаю, что и он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина<sup>131а</sup>. Просидел до 10<sup>1/2</sup>.

7 [февраля]. — Обед пробыл у Вольфа и все-таки мало изнурился; в воскресенье и теперь выпил по чашке кофе. Любинька взяла 3 р. и, кажется не отдаст, потому что забыла. Когда пришел, играл в шахматы, и проч.

8 февраля. — Утром читал и играл в шахматы, читал Росси; почти дочитал, Гегеля совершенно дочитал, особенного ничего не нашел. Еще акт, опишу после.

(Писано 10-го, четверг, 10 ч. вечера.) — Пришел на акт, когда Плетнев уже начал читать; начало необыкновенно глупо, необыкновенно глупо. Срезневский стал читать также хуже, чем думал я; подошел Ал. Фед., мы стали говорить с ним, как раньше с Мельниковым также говорил я и проч., и не слушал Срезневского. Хорошо, начинают читать и раздавать медали. Я был весьма весел, и когда Корелкин получил, поздравил его от души решительно. Конечно, живой радости не чувствовал, а собственно радовался как делу постороннему, не моему, не то, что если бы, напр., Вас. Петровичу что-нибудь; и зная, как приятно, как видишь участие в своей радости, даже поцеловал Корелкина в висок. Сочинение печатает на казенный счет университет. После акта я ушел искать Раева, между тем как он здесь оставался, и не видал того, как Корелкин был представлен министру, который, как нарочно, приехал в ту самую минуту, когда начал Куторга старший читать о медалях. После Раев сказал, что ужасно хвалил, сказал, что должно поддержать, и проч. Это хорошо, дай бог. Не скрою и того, что мне несколько больно, что может быть теперь он будет счи-

таться в университете первым человеком в нашем факультете, а не я. Но эта мысль у меня слаба, потому что слышал лестные отзывы о себе: во-первых, когда шел через коридор, Алексей Иванович, который встретился, сказал: «На следующий год уже вы получите». Это меня обрадовало несколько, что обо мне такого мнения. А сошел вниз — там встретил морского офицера, который бывал раньше у Куторги. Он тоже сказал тотчас же, как увидел я его и подал ему руку: «А я ожидал услышать ваше имя». — Это меня также обрадовало, я поблагодарил его. После то же сказал Троянский. Славинский стыдил меня, что я не писал, и на другой день в университете несколько человек из нашего курса мне это говорили. Я с интересом слушал, какие-то задачи на следующий год: Куторга, о Клеоне, — тотчас у меня мысль огромного, полного сочинения, и проч., и проч. Для этого должно заняться греческим и проч. раньше, и как пришел, едва тотчас же не принялся за Фукидида, но тотчас вспомнил о своей методе, что должно читать, если можно, с переводом книгу, чтоб выучиться языку, и тотчас решил взять у Залемана, а до того времени отложить. Это меня обрадовало, что о Клеоне, т.-е. что по истории хотя лучше бы, если бы не из Афин, которые надоели мне; но решительно ничего, все-таки. Да кроме того и у юристов: «О налогах на промышленность до Петра» — мысль написать и то, и другое. Тотчас другая мысль — сначала одно, свое, после — если будет время — непременно и за то, только летописи и акты Архивной Комиссии и проч. — немного дела, менее чем о Клеоне. Это было бы тоже хорошо в своем роде: одному вдруг получить две медали. Оттуда к Вольфу, где читал случайно «Современник», потому что он лежал на конторке, и я взял его. Читал только Смесь — французскую повесть «Кризис» (что женщина хочет испытать бурную жизнь и проч.)<sup>132</sup>; мне понравилась, потому что я проникнут этою мыслью. Оттуда когда пришел, пришел Сокольский Петр Максимович из Саратова, который был и раньше, у которого был раньше и Ив. Гр., пришел и Ал. Фед. скоро, и я вышел. Когда я вышел, скоро дело приняло новый вид по причине того\*, что у Ив. Гр. вырвалось слово о том, что образованный поляк, с которым служит он, толковал ему о праве на собственность (французский вопрос, коммунизм), и что глупо говорить об этом в собраниях. Я-таки не удержался и пошел говорить, хотя думал, что Ив. Гр. слушает с нетерпением, и говорил больше часу, — по моему мнению, хорошо, только увлекся и представил дело одностороннее, но вообще говорил о том, что не должно смеяться над теми, которые проповедуют новые мысли, потому только, что они увлекаются и проч., что смеяться легко и пр. Ал. Фед. поддакивал, Ив. Гр. говорил свои сомнения. Ныне за обедом спросил моего объяснения, т.-е. предложил возражение, которое пришло ему в голову, — следовательно, он не решительно не слушал, т.-е. слушал решительно

\* Неразборчиво. *Ред.*

со вниманием, а не нехотя и, следовательно, проповедывание и в такой душе, как его, которая кажется мне по своей щепетильности, самонадеянности и мягкому, повидимому, деспотизму, т.-е. Stockheit \*, всего менее способна проникаться новыми мыслями, особенно сколько-нибудь противными прежним убеждениям, потому что он мнения более всякого другого будет держаться до последней крайности, — и в таком человеке проповедывание оставляет некоторые следы, и поэтому не должно безусловно молчать из опасения даром, без всякой пользы показаться смешным.

9 [февраля], среда. — От Ворониных в университет, оттуда в Пассаж, до которого шел вместе с Славинским. В «Presse» нет Шатобриана. Оттуда домой, купивши чернил у Флейшгауера, снова где прежде, в Малой Садовой. (Отдал в университете 20 коп. сер. швейцару за письмо из Аткарска и получил билет, который отдал Марье, чтоб отдала дворнику.) В 4<sup>1/4</sup> к Вас. Петр., у которого застал Ив. Вас., который, однако, скоро ушел; мы остались и толковали с Вас. Петр., пока [не] пришла Над. Ег. с отцом, — он дожидался ее, чтоб отдать ключ, чтобы идти к нам, после к Залеману, но пришел отец, и я ушел, он остался, а теперь сказал, что если б я посидел немного, и он мог бы уйти. Вечером во вторник вздумал (вздумал-то раньше, а теперь только хорошенько подумал и начал делать), что для Ханыкова лучше перевести из Мишле «Истории философии» эту статью о праве, чем делать конспект по самому Гегелю, и более половины сделал 8-го и 9-го вечером.

10 [февраля]. — Утром в университет не пошел, а писал сначала перевод из Мишле, а когда ушел Ив. Гр., то начал писать о воспитании и дописал теперь до того, что должен рассказывать факты, т.-е. писать историю Жозефины; это должно писать, кажется, с одного присеста, поэтому оставляю до следующего раза, когда можно будет долго писать. Всего написал около 140 строк, т.-е. 8—9 страниц «Современника» или «Отеч. записок». Дописал это уже после обеда; после дописал, когда уже смеркалось, Мишле — всего там страниц 8 — 8<sup>1/2</sup>, у меня уписалось на пол-листе, и ровно все решительно понял. Когда дописал, в ожидании Вас. Петр. сел за шахматы в их комнате. С час после, часов в 6, пришел Вас. Петр. и просидел до 10; я сказал, что к Залеману идти не чувствую особенной охоты — на его вопрос. Он сказал, что тоже, и остался сидеть. Хорошо. Сидели, толковали, сначала о политике, и играли в шашки; я конечно излагал свои мысли. Он сказал, можно ли брать «Débats» — «я об этом уже думал, — сказал я, — конечно, верно, можно, спрошу». — После стал говорить о тесте, который сидел вчера, о Корелкине, Клеоне; я сказал, как думал, что писать можно и написать можно хорошо и тем легче, что я сам думаю о нем так же, как Куторга, и что хочу писать, но что здесь может быть и опасность, потому что и Куторга толкует

\* Упрямству.

о прогрессе и реакции, о революции, партиях, демократах и проч. при этом, а у меня будет еще более. После я стал говорить (около 9) историю Благовещенского, которую рассказывал мне Ханников; это, кажется, его взволновало, потому что это его история моего цинизма. Он стал говорить по этому поводу об Антоновском и говорил, я думаю, полчаса, не нехотя. В 10 ушел, и я сел писать это. Теперь подали ужин, и я иду. Завтра утром у Ал. Фед.; может быть пойду к Ханникову, если не ворочусь с Ал. Фед. есть блины. Должно купить стальных перьев, которых не покупал с того времени, как писал программу для Срезневского, — так долго велась эта дюжина. После обеда к Вас. Петр. и верну с ним к Залеману.

(Писано 14 у Устрялова.) 11 [февраля]. [Отправился] к Ал. Фед., купил перьев, идя; он не пошел к нам, а сказал, что после. От него воротился домой и писал о воспитании до самого обеда, а после к Вас. Петр., где просидел до 10 час. Особенного ничего не было весь день. Отнес Вас. Петр. «Débats» 22—31 января. Он обещался быть в воскресенье, но не был; к Залеману не пошел.

12-го [февраля], суббота.— Утром писал все о воспитании. Как пообедали нарочно в 2, пошел в университет за письмом, обещавши быть дома в 6 ч. Хотел зайти к Корелкину на 1½ часа, но раньше хотел к Вольфу, зашел и был там более, чем думал. Важного ничего нет в газетах. В университете встретил Пластова, он проводил меня до Казанского собора. На Адмиралтйской площади смотрел на женщин, как обыкновенно, т. е. если бы был один, идя оттуда, то остановился бы, может быть, там довольно надолго. На обратном пути зашел в Пассаж, там [статья] Ламартина в «Presse» — там мысль Ламартина о поэзии, что это не стихи настоящему, а проза (это он говорит о патере Dumont).

(Писано у Фрейтага в пятницу, 18-го.) — Все время до этого дня, которое не провел в лени, употребил сначала на писание первой статьи о воспитании (отрицательной стороне его, где рассказ о Жозефине) и переписку ее до настоящего числа.

13-го [февраля]. В воскресенье после обеда пришло сомнение, можно ли писать о Жозефине, которую я назвал Казимириою, потому что ведь это может дойти до тех, которые теперь ее знают, и они могут узнать ее; это меня сильно поколебало и я с четверть часа об этом думал, как пришел Ив. Вас., который просидел до 9 [часов].

14-го [февраля]. — В понедельник утром отнес «Современник» Ал. Фед-чу. Воронин сказал, что брат именинник, чтобы я не был — хорошо. Пришел домой. В 6 час. пришел Ал. Фед. и просидел до 10 (двери с месяц уже, кажется, с самого нового года, или раньше даже, затворены, поэтому мне стало гораздо свободнее, — я и пишу в зале и сижу с гостями также).

15 [февраля]. — Во вторник пошел в университет. Вчера вечером написал две первые страницы набело и в университете написал еще страницу. Никитенке ничего не писал, потому что думал, что доста-

нет прежнего. Он принес «Бориса Годунова» разбирать, и когда спросил, есть ли что у нас, я сказал, что, кажется, ему угодно было разбирать «Бориса Годунова». Говорил несколько хорошо, но большею частью вещи, которые давно сказаны Белинским гораздо лучше и с лучшей точки зрения, а много и устарелого уж говорил. Оттуда к Вольфу, где ничего нового. Вечером пришел Вас. Петр., просидел до 10, говорил довольно много, сидели все одни — весьма хорошо. Большею частью говорили о политике, потому что он принес «Débats», которые не совсем дочитал, но назад взять в этот раз не захотел последние номера. Говорит: демократы глупы, поэтому едва ли можно надеяться успеха. Я отвечал, что они делали все, что возможно и проч., оправдывал их, говорил, что по «Débats» нельзя судить. Он говорил, что людей нет; я говорил, что есть, напр., хоть у Ламартина неужели не доставало мужества или решительности, или у Луи Блана, когда он говорил в Собрании 15 мая и оправдывал Барбе и Альбера и проч. Когда уходил, говорил, когда я буду? Я сказал, что не раньше субботы, потому что буду все писать. Он сказал: «Если так, я буду в среду или четверг», — и в самом деле в четверг пришел.

16-го [февраля]. — Когда я переписывал предисловие свое до рассказа, особенно первую половину его, мне пришло в голову, что это все весьма гадко, и я сомневался, буду ли я продолжать эту вещь — так гадко написано и проч. Дописал все-таки до Жозефины. Ждал Ал. Фед., его не было; Василия Петровича тоже.

17-го [февраля]. — Так как Куторга хотел быть, то я должен был идти в университет, но его не было. Утром успел написать одну страницу Жозефины. После обеда долго сидел так, как и утром, читал «Сын отечества», который принес вчера Ив. Гр., особенно комедию Шекспира «Укрощенная злая жена», где нет ничего особенного, ровно ничего, но ум виден. В 5½ пришел Вас. Петр., и мы разговорились. Я начал читать ему эту вещь — мысль, которая и раньше пришла мне в голову, что он скажет, стоит ли посылать и какие есть главные недостатки и можно ли их поправить. Он взял лист, который написан, и три последние [номера] 29 — 31 января «Débat». Говорили о том, о сем, — сначала он все о своей прежней жизни, после уж и я о себе, о том, какой у меня в голове хаос, как я ничего не могу сказать положительно и проч. Он говорил, что это от молодости, сказал о том, как я готов всему верить, что скажет порядочный человек, решительно всему, напр., что скажет Наполеон, Ламартин, Гете и проч. Он рассказывал о своей прежней жизни, о доме, (?) \* который говорит по-латыни глупости относительно богословия, и проч. Я начал говорить, что я ничего не знаю даже о себе, напр., трус я или нет, что и то, и другое равно мне кажется достоверно, а скорее

\* Перазборчиво. Ред.

всего я трус и человек бесчувственный вместе, и проч. Я сказал, что приду в субботу.

Любинька взяла у меня в эти дни всего 12 р. сер., потому что не было денег; мне было совестно, что я ничего не отдаю им, но мало совестно, потому что ведь туда употреблять их, куда употребляю я, гораздо нужнее; теперь вздумала отдавать 3 р. сер., я взял только один, потому что это было недавно, а остальное не хотел брать, да и не возьму, конечно, потому что мне и так совестно, что ничего не отдаю им, но мало совестно, потому что я человек вместе и раздражительный, и бесчувственный в высшей степени.

Напишу, что теперь я думаю о своей «необходимости отрицательной стороны воспитания». Сначала о манере. В первой половине до рассказа, во-первых, повторения и усиления риторические на манер Куторги портят; это произошло сколько оттого, что я довольно легко разгорячаюсь, как навоз, и начинаю испускать дым, если не огонь, столько и оттого, что не обделываю, а мысль, в то время, как она не обдумана заранее, дополняется в то самое время, когда пишу, и выходит мысль, как будто наш Свод законов с десятью дополнениями, из которых каждое — повторение прежнего и прибавляются новые клочки. Итак, это должно переделать бы, но я спешил. Потом какая-то патетичность, которая происходит от этого самого. Потом мне не нравится теперь, что я слишком горячо выразил, что никто не думает и не пишет об отрицательной стороне воспитания; у нас это так, но почему я знаю, что в других литературах и у ученых других народов? И не будет ли это в таком же роде, как Никитенко, который всегда говорит, что, напр., о Державине и Пушкине почти ничего у нас не сказали, они не оценены, и говорит в виде общих мест то, что давно с умом, резкостью и последовательностью высказано Белинским; так и я. А что касается до второй части, то самый главный недостаток, мне кажется, то, что я придал любви Петра Ивановича к Жозефине более продолжительности и интенсивности, чем следует, да и его сделал образованнее, чем он в самом деле. И вообще рассказ получает в моих устах какой-то мелодраматический оттенок, который должен вредить впечатлению на тех, которые одарены вкусом. И потом мне кажется, что все это вообще, — обе части, и половина первая, и самый рассказ, — растянуто, так что снова приобретает какую-то аффектацию, и выходит что-то снова вроде Куторги. Теперь я решительно не знаю, пошлю ли в «Современник», — скорее что пошлю, но решительно не знаю. Много это будет зависеть от Вас. Петр. Что он скажет об этом сочинении, я не знаю. Я думаю, что может показаться ему, что дело идет из-за пустяков, из-за мысли, которая вошла бог знает каким манером в голову, и в чем она истинна и применима, — давно уже прилагается всеми порядочными людьми, а в чем не прилагается, в том доведено мною до нелепости, как всякий дурак, который проколачивает голову, молясь богу.

18-го [февраля]. (Писано 19, в субботу, у Фрейтага снова.) — Куторги не было. Я сказал, чтобы аплодировали ему, о чем начали говорить некоторые, и говорил много. Из университета домой, где прочитал почти все «Débats». К Ворониным. Узнал в университете, что Куторга старший<sup>133</sup> за пропущенные года три назад стихи сидит на гауптвахте, и даже, — сказал мне Воронин, когда я был у них, — государь спрашивал министра, может ли профессор Куторга продолжать лекции. Ныне, когда я пришел в университет, я говорил об этом резко. От Ворониных пошел к Вольфу, где думал от 26 февраля «Staatanzeiger» найти (открытие палат), но [был] только от 24. Выпил кофе, посидел до 10. Когда полез за целковым, увидел, что в кармане нет ключа, думал — позабыл, но когда вышел, вдруг зазвенело — из кармана выпал двугривенный: итак, ключ выпал также. Это меня потревожило, но я думал, что может быть забыл дома — нет, обыскал все места. Зашел к Ал. Фед., взял «Современник», его не было дома; у него лежал атлас, я посмотрел его. Итак, меня беспокоило, что должно еще терять 60 к. сер. за ключ. Ныне, идя в университет, вздумал, что можно вывернуть замок и приискать ключ на толкучке. Это заставило почти перестать думать, что-то будет у Вас. Петр., когда я схожу к нему, что-то он скажет о моем сочинении? Вздумал, не спросить ли у Куторги после лекции, что с его братом, — это так, для того чтобы сказать что-нибудь и выказать участие, да и в самом деле любопытно. Что-то за границей? В Риме и Тоскане республика. Когда мне сказал это Славинский, я с нежным участием сказал: «дай бог им успеха!» — тихим, нежным голосом, а не резким голосом гнева на противников, не голосом войны. Что-то будет? Дай бог, чтобы было хорошо.

Пробовал отпереть замок шпильками и вязальной иглою, потому что нужно было достать из ящика некоторые бумаги, но не мог. Наконец, догадался достать сквозь щель, не выдвигая ящика, в промежуток между стенками и крышкою стола, и в самом деле достал все, что нужно. Теперь начинаю пересматривать свой рассказ о Жозефине.

(Писано у Фрейтага в пятницу 25 февр.) — Всю эту неделю ничего не делал, кроме того, что переписывал рассказ о Жозефине, и теперь дописал до конца того, что она о себе рассказывает, и должно начать слова Петра Ив. Швецова. Меня сильно занимало, сколько выйдет страниц, и тогда, когда я писал, и когда я переписывал. Когда писал, сначала думал, что надобно как-нибудь написать до 30; когда написал предисловие (1 лист) и должен был переписывать рассказ о Жозефине, думал, что упишу на 3<sup>1/2</sup> полулистах, поэтому 12 страниц моего письма, поэтому 24 «Современника» (Науки) — поэтому всего будет + 23 = 36 — 37. Теперь вижу (потому что во время самой переписки я много прибавил), что едва упишется на 5 полулистах, поэтому почти 36 — 37 страниц один рассказ, а всего поэтому 49 — 50. Когда писал и переписывал, довольно легко придумывал ход событий

и события, поэтому я стал считать себя способным к писанию повестей, между тем как раньше думал, что я не могу ничего выдумать — ни характеров, ни особенно происшествий, — нет, могу.

В субботу был Куторга на лекции, и я хотел, чтобы хлопали, потому что мне вообще хочется делать шалости, глупости и т. п. и почему же не польстить человеку? Я всегда готов польстить, т.-е. сделать удовольствие, особенно если насмех, это в моем духе....\*. Я говорил перед лекцией, чтоб хлопать, — первую идею подали об этом те студенты, которые были у него во время болезни, — за то, что он сказал, что, пока может, он не оставит университет, так он его любит. Во время лекции я даже написал билетик и стал передавать его из рук в руки: «после лекции аплодировать Михаилу Семеновичу», — не согласились, написали: «во вторник». Хорошо; во вторник я также говорил и даже было написал фальшивой рукой: «Некоторые из студентов филологического факультета предлагают своим гг. товарищам аплодировать г. профессору Мих. Сем. Куторге за его превосходные лекции и за выказанную им во время болезни любовь к университету. Они предлагают аплодировать 22 февраля во вторник после окончания лекции». Это хотел я положить на кафедру, когда не будет никого в аудитории, но не успел; поэтому осталось так в кармане, из которого в среду выронил, доставая платок; поднял Славинский и прочитал вместе со мною. Я показал свое незнание об этом листке, кажется, довольно хорошо, так что нельзя подозревать. Так во вторник все-таки я продолжал говорить, что должно аплодировать; немногие согласились, многие спорили, и даже Воронин, который, наконец, сказал об этом Куторге, который сказал, чтоб не хлопали. Когда Воронин сказал это нам, я перестал говорить об этом.

В субботу был у Вольфа; вечером у Вас. Петр. и говорил об общих вещах, о благе рода человеческого и т. п. Он говорил более в таком духе, какого я не мог подозревать, почти совершенно так, как у меня написано, когда я писал об эгоизме Гете, о различии между [заурядными и] такими людьми, как Гете, и между прочим, о том, что одни ничего не знают того, из чего состоит главным образом жизнь этих людей, что любовь у них обращена на другие решительно предметы, общие, а не свои частные — науку и проч., и, напр., любовь к женщине имеет решительно не тот характер.

*Прибавление к субботе.* — (Нет, я ошибся, хотел написать, что в этот день взял Вас. Петр. первый лист, предисловие к Жозефине, но он взял раньше, как я написал. А когда я был у него, то думал, что он заговорит, — нет, а только сказал, что начал писать было об образовании и воспитании по этому поводу, как он их понимает.)

---

\* Неразборчиво. Ред.



20 февраля, воскресенье. — Утром ходил к Олимпу Як. попросить справиться о том, можно ли разменять бумажки, и к Ал. Фед. за «Отеч. записками», которые взял без него и взял два номера прошлого года, который не должен бы брать, как нарочно, особенно чтобы прочитать Вас. Петр., но ему-то и не дал, и пролежала эта книжка так. Был Ал. Фед. от 12 до 3. Хотел быть Вас. Петр., но не был, как и в понедельник следующий.

21-го [февраля]. — Из университета к Вольфу, где просидел до того, как идти к Ворониным, и пил кофе. У Ворониных не было урока, потому что говеев Константин. Меня это взбесило, что не сказали раньше и заставляли приходить понапрасну, но мало.

22-го [февраля]. — Никитенко читал письма наших царей, которые недавно вышли, — мне снова показалось, потому, что ему скучны и глупы кажутся мои чтения, — но ничего. Дал Главинскому адрес семейства, в котором он готовится в университет сына. Это хорошо; поэтому и я могу когда-нибудь надеяться; но он ему дал раньше — это ничего, потому что ведь Главинский раньше меня отдал ему свой адрес. В университет приходил было Вас. Петр. к Никитенке, но опоздал, поэтому только между лекциями был. Я был развлечен своим намерением положить бумагу, в которой приглашал аплодировать. Сказал, чтоб я ныне приходил к нему, а он завтра. Был у него, снова говорили, снова играли в карты, и мне было снова нескучно. Воротился в 10<sup>1/2</sup>.

Во вторник Вас. Петр. приходил в университет собственно затем, чтоб сказать мне, что он был по «Полицейской газете» во второй уже раз у Мордвинова (в первый раз был он в пятницу и уже говорил об этом мне 17-го в тот же день), приносил ему начало своей повести, как Мордвинов требует...\*, которое ему понравилось и он сказал, что если так будет продолжаться и кончится, то он даст по 25 руб. сер. за лист. Это его несколько порадовало.

23 [февраля]. — Из университета был у Вольфа на несколько времени. Ничего нового или любопытного нет, решительно ничего. Вечером, как обещался, был Вас. Петр., просидел до 10. Надежда Ег. была у своих, но должна была придти сама с отцом, а не он за нею зайти, поэтому-то он беспокоился и хотел раньше уйти домой: «будет плакать». Вообще он весьма мягок. Мне было весьма жаль и его, и ее, весьма жаль и стало жаль, когда... (Ну, теперь звонок, допишу завтра и более конечно напишу о Вас. Петр.)

(Писано в субботу, снова у Фрейтага.) — Итак, вечером был у меня Вас. Петр. в среду. Говорил о Над. Ег., о том, что он близок к самоубийству. «Над. Ег., — говорит, — весьма понятлива, весьма любит меня, весьма любит, мне не хотелось бы, чтобы она так была привязчива, потому что ведь неизвестно, что со мною случится, — и такой я бесчувственный человек (так обыкновенно

---

\* Неразборчиво. Ред.

он называет себя): она ласкается, а я сижу как пень, такой бесчувственный. И то в ней хорошо, что никогда не высказывает, что ей неприятно, — напр., хоть каждое утро угораем мы, оттого, что печь дурно топится, и она каждый раз угорает, хоть я высылаю ее, когда топится, но все-таки. А между тем никогда ничего не скажет, не жалуется, а я такой бесчувственный — ничего. И многое понимает, чего я не предполагал, чтобы понимала, и ваша правда, что должно с большою осторожностью обращаться с людьми, чтобы не оскорбить их: я как-то раз сказал (это было при мне), что я не знаю, могу ли я теперь любить что-нибудь, или чувствовать к кому-нибудь привязанность; я говорил довольно темными словами и никак не мог думать, что она это поймет, а между тем это ее сильно огорчило». «Если, — говорит, — Мордвинов даст денег, хоть 100 р. сер., уеду в Москву на театр, здесь как-то связан; отзыв обо мне сделали хороший, так что от меня зависит поступить, но жалованья всего 1.200 на последнем разряде, это слишком мало». — Когда он говорил, все это на меня производило некоторое впечатление, так что сердце как-то несколько билось, т.-е. сжималось, но мало. Ушел в 10; я отдал ему шахматы и шахматные книги. Он хотел быть на другой день, чтобы принести «Débats», а я у него в пятницу.

24-го [февраля]. — Утром вышел рано из дома, чтобы быть у Олимпа Яковл., спросить об ассигнациях, но он не сказал, а я не напомнил, потому что можно еще и в воскресенье. Купил перьев; после писал в университете о Жозефине; когда пришел домой, все лежал. — В 6<sup>3/4</sup>, так как Вас. Петр. не пришел, я к нему, взял «Débats» и свой листок, — он ни слова не сказал. Отнес ему две пешки, которые позабыты были у меня. Играли в шашки и говорили; Над. Ег., конечно, скучала. Пришел в 10<sup>1/2</sup>. Хотел он быть в пятницу или ныне; вчера не был, поэтому ныне будет.

25-го [февраля]. — В университете, когда дожидался у XI аудитории, Славинский сказал, что у Иванова в кондитерской все журналы французские, между прочим и «National». — Это мне было любопытно и я захотел быть как можно скорее и в самом деле был в тот же день. Когда шел от Устрялова, остановил Срезневский, который стоял у окна с Корелкиным, и сказал, что он считает нас с ним решительно равными (это мне было приятно, что сравнивает, несмотря на то, что он получил медаль за сочинение для Срезневского) и что Мейендорф, студент 2-го курса, который хочет воспитываться в Берлине, хочет приготовляться к его экзамену и на-днях спросил у него, с кем ему приготовляться, что он равно смотрит на нас обоих и что уж как мы там знаем, пусть устраиваем между собою это дело. Это меня порадовало — во-первых, мнение Срезневского, что он не забыл обо мне и думает, что я помогу заниматься, хотя я у него ни разу не был; во-вторых, — может быть, Корелкин и уступит мне, и будут деньги, которые можно будет [отдавать] Василию Петровичу. Ныне утром пришло в голову, что легко может быть, что Мейендорф поговорит об

этом с Ворониным, а этот скорее должен будет указать на меня, чем на Корелкина. Как мы ушли с Корелкиным от Срезневского, я сказал ему: «Если вы отказываетесь, я очень рад» (он раньше уже сказал, что не знает, можно ли будет, потому что слишком много времени на это; я сказал, что нет, я так с удовольствием; но, конечно, это сказал он так и не откажется, — однако, не знаю как). Вообще, если он обнаружит желание, я ему уступлю, потому что не хочу связываться и переспоривать.

Из университета когда пришел, дожидался Василия Петр. — не пришел. Я захотел зараз побывать у Ал. Фед., Иванова и Ханькова, к которому давно собираюсь. Взял «Débats», Гегеля и «Отеч. записки» № 2 за прошлый год, отнес к Ал. Фед., которого застал против желания дома, должен был просидеть до 8. Оттуда к Иванову, где более двух часов читал различные газеты и нашел, что у него бывать лучше, чем у Вольфа, потому что есть и «Presse», и менее людей, так что свободно, да и больше журналов, которые стоит читать. В Берлинском Собрании в первый раз 169 против 148 приняли Geschäftsordnung\*, предложенный правою стороною; итак, и здесь торжество реакции! что-то будет? — Мне это было несколько неприятно — что делать. Выпил кофе — хуже, чем где-нибудь, т.-е. менее сахару и хуже хлеб. Читал «Journal pour-rige» — довольно хорошо (тот №, где Les défenseurs de la République \*\*, как Бюжо изображен в виде старухи и подписано: «Это не маршал, а повитуха, которая не умеет держать язык за зубами»). Воротясь, прочитал «Débats» 16 февраля, которые взяла у Ал. Фед. и которые должен отдать Вас. Петр., который, надеюсь, придет ныне.

Любимьке велели вчера сидеть на постели, чтобы не простуживать ног. Бог знает, выздоровеет ли она. Мне, однако, несколько ее не жаль, кроме той жалости, которая вообще входит невольно в душу, когда видишь существо страдающее или хотя просто недовольное своим положением. Теперь они нуждаются в деньгах, у меня тоже почти нет (всего 30 к. сер.); они перебиваются; конечно, без затруднений, но не знаю, едва ли Ив. Гр. не должен будет взять их у Яхонтова или кого другого.

О Иванове: к Вольфу буду с этого времени заходить только по дороге, когда захожу, а когда нарочно пойду, то к нему, потому что это не дальше, чем Вольф, а газет больше и есть «Revue d. d. Mondes» и проч. — Теперь написано у меня 17 страниц о Жозефине, остается белых три, а из того, что переписываю, из черновой переписал почти 5 страниц, так что остается почти только последняя страница, написанная только вполовину и почти конченная, и этот рассказ Жозефины. Если Вас. Петр. получит довольно много денег, так что ему не нужно будет, то едва ли отошлю эту статью в «Современник», а оставляю так до времени, а

---

\* Порядок дня.

\*\* Защитники республики.

может быть и весьма надолго, так что если пошла, то только для того, чтобы получить деньги за нее, а не из стремления к известности.

Не знаю, кажется, меня будет беспокоить экзамен Грете, потому что я ведь год не был у него и теперь еле начинаю бывать, но много трусить не буду.

(Писано у Фрейтага 4 марта.) — В субботу из университета и из дома в 6, когда не пришел Вас. Петр. (не знаю, однако, дожидаясь ли я его, — кажется, что так), пошел к Иванову, где до 7, снова пил чай. В 7 час. к Ханыкову, который дал Feuerbach's Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шел домой, у меня было несколько раздумья, что выйдет из этой книги, когда я ее прочитаю, — убеждусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет; но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями, т.-е. что прежние верования решительно не годятся, а сущность только справедлива в нашей религии, т.-е. личный бог, возможность и действительность откровения, — но толкование церковью этого откровения решительно не годно; однако и эти убеждения в личности бога, божественности христианства непосредственной и особенной, а не просто естественной, все это весьма шатко в голове. Когда пришел, прочитал вечером и утром сегодня введение — весьма понравилось своим благородством, прямою, откровенностью, резкостью — человек недюжинный, с убеждениями. После прочитал еще несколько страниц, и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда воображал себе бога человечески, по своим собственным понятиям о себе, как самого лучшего абсолютного человека, но что ж это доказывает? Только то, что человек все вообще представляет как себя, а что бог, решительно так, отдельное лицо. Например, Раев думает обо мне по себе, я о Гете и Гоголе по себе, и собственно в моем воображении под этими именами являются не Гете и Гоголь, а я сам же, мои же собственные понятия о них, т.-е. обо мне, а не они; но они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности, у которых решительно другая сущность, другой характер и образ воззрения, чем у меня, но которые я представляю себе не в их истинном свете и виде, а как отражения моей сущности. Но я прочитал еще всего 8—10 страниц и может быть мое убеждение изменится; а то все читал «Débats», чтобы, когда придет Вас. Петр., [были] готовы. Он был вечером, но не издал, потому что должен был быть у Федора Афанасьевича, у которого умер сын (это к 25, субботе), на похоронах; приглашал меня туда, я не согласился, собственно потому, что не хотелось бывать в чужом доме, где собственно я незнаком, и потому, что как-то стал я дик, да и об одежде пришлось в голову, но слабо, что скверная. Хочу быть во вторник.

(Продолжение 26-го.) Писал Жозефину вечером. Читал и «Débats».

27-го [февраля], воскресенье.— Был у Олимпа Як., чтобы спра-

виться об ассигнациях, и в самом деле он уже справился — как он мил. Оттуда снова к Иванову, где пил чай. Пришел домой и ждал Вас. Петр. после обеда, потому что был у Федора Афанасьевича.

28 февраля. — Был у Вольфа, где пил кофе. Вечером писал Жозефину и почти дописал, так что оставались только прибавления от моего лица, что следствия из этого ясны и что это решительно правда, и начал перечитывать, чтобы поправить, где описки. Любинька сказывала, что был Ал. Фед., что нездоров и велел присылать меня, как приду; я и думал, что болен, но более думал, что это ему так показалось. (Нет, ошибся, смешал понедельник со вторником, оставалось еще много, это почти кончил, то — вторник.)

Колебался раньше, а теперь решил читать Никитенке на лекции свою статью о воспитании, пропуская только лирические места в введении о распространении убеждений, о слабости моих сил и проч., потому что в чтении перед пятью человеками они неуместны. Но Никитенко принес свою программу и сам толковал о словесности и ее преподавании, по большей части, что было говорено в первой лекции первого курса. Мне было довольно скучно. Должно сказать, что, переписывая Жозефину, я образовал привычку ходить в университет раньше времени и писать в аудитории пустой.

Вечером был Вас. Петр., говорил большею частью о том, как был у Фед. Афан., о том, в каком отношении он к ним, как это странно и ложно, что вместо того, чтобы думать о нем как о человеке, нуждающемся в помощи, которого должно пристроить хоть куда-нибудь, они приступают к нему со страхом и трепетом, как были чрезвычайно рады, что он приехал, и как Фед. Афан. встретил его и обращался с ним с большим благоговением, чем с своим вице-директором, с которым за панибрата, а с ним с благоговением и, напр., говорит, что место столоначальника для него низко, и почти конфузится, когда говорит, как бы не рассердился я, что смеют мне [предлагать] такие вещи. Взял Фейербаха, вторую часть Мишле и «Débats» и велел взять первую часть Мишле у Славинского, у которого я поэтому буду в среду. Я у него хочу быть в четверг. Почти кончил Жозефину и начал переписывать с твердым решением отнести в среду. Вас. Петр. говорил вообще о своих отношениях, поэтому и о Бельцове, и говорил, что у него дочь, как выразился, милая девушка. Я спросил: «Молоденькая?» Он говорит: «Лет 18; хотите, я вас познакомлю с ней?» Я сказал, что уж после моей свадьбы. Конечно, не согласился быть введенным к ним в дом, потому что, во-первых, не люблю этого — знакомиться, мне все как-то неловко кажется, как будто в низшее положение становишься, но не это главное, а то, что неловко: не говорю по-французски, не танцую, наконец, нехороша одежда и мало денег; а это меня весьма задело, что он говорит о ней — «милая девушка», потому что я полагаюсь на его суждения, слишком много полагаюсь, особенно в суждениях о людях, —

итак, в самом деле прекрасная должно быть девушка. У меня уж и начинает шевелиться то чувство, которое заставляло бывать в Пассаже и пр., потребность влюбиться, что ли, как это называется: теперь думал об ней всю среду более, чем о Жозефине и всем другом — сижу на лекции, а в мыслях не то, будет ли принято в «Современник», а она, дочь Бельцова. Что за мальчик такой! Вот что значит не бывать в обществе и не видеть женщин и становиться таким человеком, который от первого женского имени готов вспыхнуть; в первую, с которой увидится и которая не будет слишком пошла лицом или душою (т.-е. не будет вроде Любиньки, где я вижу и то, и другое), готов влюбиться. Ну, да об этом после когда-нибудь больше буду писать. А теперь продолжаю свой рассказ, потому что остается только 10 минут. Вечером напишу письмо в редакцию.

2-го [марта], среда. — Оставалось проверить еще три страницы, когда должен был идти к Ворониным. Я надеялся успеть это в университете и поэтому взял с собою спички, сургуч, печать, чтобы, когда кончу, запечатать в университете свою статью (ее хочу свернуть я трубочкою). Все сделалось так, как я думал, даже скорее успел и лучше, чем думал: прочитал все у одного Никитенки, между тем как раньше думал, что не успею и должен буду после лекций остаться в университете на несколько минут. Перед Куторгиною лекциею пошел в нужник, где заперся и запечатал. Как выхожу оттуда, говорят: Куторги не будет; хорошо. Пошел из университета, думаю: ведь должен буду быть завтра или ныне у Славинского, чтобы взять первую часть Мишле истории, так все равно, уж лучше теперь, потому что будет короче дорога, ведь все равно должен идти в дом Лопатина, — и пошел, хотя не решительно хотелось там оставаться обедать, да уж все равно, — и пошел туда. Ну, остальное допишу завтра.

(5-го, суббота, писано не у Фрейтага, а в VII аудитория, пустой, где висят ландкарты и читает Касторский древнюю географию.) — Итак, пошел к Славинскому. Его еще не было дома; отец сидел за столом, оставил меня. После пришел Славинский, пообедали вместе; я взял Мишле; он говорил, чтобы, когда будет можно, принес я вторую часть, и дал мне Лео, *Lehrbuch* средней истории — хорошо, я взял. Оттуда, так как было рано, а мне хотелось в редакцию попозже, чтоб не узнали, пошел к Иванову, где часа полтора, и около 4¼ в контору «Современника». Он выйдет еще 12 числа, — итак, во-первых, рано отдаю, заняты еще следующим 3-м №, во-вторых, «Современник» как-то колеблется, шатается, что это? так запаздывает? можно ли это? Это сделало нехорошее впечатление. Вошел решительно холодно, так, как будто надеваю сапоги, равнодушно отдал молодому приказчику и сказал: «пожалуйста, передайте», — самым сухим и холодным голосом, как не ожидал; сердце нисколько не билось, ровно нисколько; сам тоже был решительно холоден, даже, можно почти сказать, занят другими мыслями. Пришел домой и пообедал, еще после довольно много спал.

Однако, с того времени, хоть не так много и беспокоюсь об этом, а все-таки, как иду в университет, думаю: «а может быть письмо из редакции», — хоть сам знаю, что, во-первых, слишком рано, во-вторых — может быть, и не примут. Однако, об этом мало думал, т.-е. постоянно занят, но так же, как, напр., мыслью о *regretuum mobile*\*, так что лежит в фоне души и лежит совершенно спокойно.

3-го [марта], четверг. — Утром решил зайти к Ал. Фед. и против ожидания нашел, что [он] болен; посидел со скукою  $\frac{3}{4}$  часа; просил зайти в пятницу взять письмо с 10 р. сер. Петру Фед., — хорошо, но едва не забыл. Из университета, где против ожидания был Куторга, который не был в среду, — к Вольфу, — нового ничего; после к Вас. Петр., у которого играл в шашки и карты. Он прочитал более половины Фейербаха и говорит: «Как же я ошибся, думая, что эта книга глупая — напротив, человек умный, каких у нас и в помине нет, которого даже не в состоянии и понять наши ученые, и человек с убеждениями и говорит решительно справедливо». Просидел до 10 $\frac{1}{2}$ .

4-го [марта], пятница. — Читал вечером в четверг и ныне утром Лео; особенного ничего, но фактов бездна, равно как и учены, так что, кажется, получше Беккера. Читал и Bianqui<sup>131</sup>, прочитал страниц 80 первого тома, все вздор — во-первых, фактов нет, ровно нет; во-вторых, плохо, все из других заимствовано, так что, напр., факты только из Гизо; начну уж второй том, а первый брошу. — К Устрялову пришел Вас. Петр., который должен был быть у Залемана и в почтамте, и как сел подле меня, то я не стал писать, а вздумал писать записки, которые своим содержанием могли раззадорить Корелкина, и передавать ему (он сидел скамьею ближе к кафедре); так и прошла вся лекция. Так как бумаги не было, я разорвал один листик, который был начат Устряловскими лекциями. Всего было написано мною (я написал более всех), Вас. Петр. и Корелкиным, который писал ответы, 3 бумажки, из которых одна осталась у меня, 2 взял Корелкин; это мне было неприятно, что они не у меня в руках, потому что мне хотелось бы сохранить их, и под конец он упомянул о логике в своем ответе, и я вывел дилемму, что он лжец, и соритом\*\*, что всякий лжец подлец, а подлец стоит [того], чтобы ему плевали в глаза, следовательно... Дивлюсь, как я дерзок на язык, как он не рассердился решительно, а был уже близок к тому, чтобы рассердиться. Так как должен был быть у Вольфа, [то] взял 20 к. сер. у Любиньки, посидел там, — нового ничего. От Ворониных к Ал. Фед., где почти до 9 $\frac{1}{2}$  и пил чай, который нарочно для меня делали; после пришел Генрихсон — недалекий, т.-е. пошловатый человек, как показалось под конец, а сначала показался хоть куда и, конечно, гораздо лучше Ал. Фед.-ча по манере и по обра-

\* Вечный двигатель.

\*\* Сорит — цепь положений, приводящих к требуемому заключению.

зованию и по уму, хотя в сущности того же поля ягода. Я просил Вас. Петр. быть у меня в субботу или воскресенье, он меня также; я не знаю, как это будет: если он не будет ныне, может быть, я и буду; он будет завтра утром.

5-го [марта], суббота.— Утром встал почти в 8, пролил чернила, когда хотел налить в чернильницу, и стирал и выводил их до 9<sup>1/2</sup>. После в почтаме для Ал. Фед., — хорошо. В университет пришел почти в 10 и вот все это писал до второй лекции, теперь скоро бьет звонок. Письма из редакции нет. Да, Вас. Петр. вчера сказал снова (он и раньше это говорил), что у Ламартина есть сходство с Иваном Яковлевичем. Я этого, правда, раньше решительно не замечал и раньше даже не соглашался с ним, а теперь пошел и посмотрел портрет его у Дациаро, довольно большой, грудной и хорошо сделанный, где он является стариком с угловатым лицом в застегнутом сюртуке; в самом деле, решительно правда и должен был сам заметить это: ниже носа, по бокам ноздрей и положение частей около рта, особенно сбоку рта, решительно как у Ив. Як., да, если угодно, и все лицо смахивает, а Ив. Як., должно сказать, Вас. Петр. не называет иначе, как ослом — решительно, говорит, подобие осла; а уж о сходстве Трошю (?) с Куторгою старшим и говорить нечего; я раньше не замечал, а когда сказал, я тут же согласился, и когда посмотрел, то удивился, как раньше не обратил на это внимания, сходство снова в тех же частях лица и носе, особенно нижней части и щеках, той части, которая ближе к носу. Необыкновенную проницательность в отношении лиц имеет Вас. Петрович.

(Писано 8 марта, у Куторги на лекции.) Когда сидел на третьей лекции в библиотеке, подошел Срезневский и спросил, что дело с Мейендорфом. Я сказал, что, кажется, занял это место Корелкин, но что хорошенько я не знаю. Он был недоволен этим и сказал, что он думал не так, а что мы разделим это поровну. Идя на лекцию, он остановился с Корелкиным и Мейендорфом и сказал что-то, верно рекомендовал одного другому.

Из университета заходил к Вольфу, где узнал о том, что в Австрии также распушено Национальное Собрание и дана конституция императором — итак, вот как ободрил пример Пруссии. Хорошо! Хорошо! Будет и на нашей улице праздник и скорее, чем вы думаете! О, как вы слабы, вы, которые в руках, думаете, имеете силу!

6-го [марта], воскресенье. — Читал Blanqui<sup>134</sup>. Говорит об утопиях довольно хорошо, т.-е. без глупого отчуждения, которое так смешно было бы, если б не было вредно, но писал вовсе не хорошо — фактов весьма мало и то выписано из вещей весьма известных, напр., из Гизо. — Вечером, когда не было Вас. Петр., пошел в 6 ч. к нему, — его не было. Я уже уходил, когда догнал он, — он был в лавке, насилу догнал, — ко мне идти не мог, потому что дождался Над. Ег., которая была у своих, в 7<sup>1/2</sup> пришла.

(Писано 9 [марта], у Никитенки.) Пил чай у Вас. Петр., про-



сидел до 11, так что пришел домой в 11<sup>1/2</sup>. У него говорили более в революционном духе; говорили и о Фейербахе, — он сказал, что, конечно, умный человек, весьма умный, умнее всех этих наших ученых. Обещался быть у меня во вторник.

7 [марта]. — Утром шел снег, так что было ужасно скверно. Я ходил за письмом, — прислали 75 р. сер., мне в том числе 20 р. Я 5 р. сер. должен отдать за сапоги Фрицу, 2 р. сер. должен оставить себе, 13 р. сер. вчера отдал Вас. Петр., т.-е. во вторник. Когда был у Вольфа, просидел до 6<sup>1/2</sup>, потому что читал дело в Бурже по «Indépend. Belge». Весьма хорошо; мне нравится Распайль; как хорошо, кротко и вместе сильно говорит он — молодец! Пришел поздно к Ворониным, просидел до 8 или более, пришел домой в 9 и не слишком устал — хорошо. Читал Лео, Среднюю историю — хорошо, весьма хорошо, не то, что Бланки, глубокая ученость. А 3 № «Отеч. записок» пуст так, что ничего почти не читал, кроме только литературы, которая писана хорошо, и даже разбор книги Михайлова<sup>135</sup> привел меня к размышлению, что это писано человеком, поболее меня знающим эти дела, и что мне тут не писать, потому что есть лучше меня. К этому присоединилось и то, что ответа на статью из «Современника» нет, хотя, однако, я того и ожидал, что не будет до 15 числа, когда услышал, что «Современник» выйдет 12 числа. Итак, конечно, я от этого ничего особенного не начинаю думать; да и то должно сказать, что я об этом думаю без слишком большого трепета, потому что это дело постороннее, [не] удастся, — так не будет хуже, чем теперь, удастся — хорошо. И снова должен сказать, может быть, и то, что собственно здесь дело не о мне, а о Вас. Петр., поэтому-то, может быть, как дело собственно чужое, это меня и не так занимает, как свое.

Но нет, это не оттого, потому что ведь почти так же занимает меня мало и мое *perpetuum mobile*, моя машина, которая должна перевернуть свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении, — отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться. После, когда физические нужды не будут беспокоить его, когда относительно нужд начнется для него жизнь как бы в раю (другое дело болезнь и смерть — те еще верно останутся, хотя слабее, чем теперь), когда снимется проклятие: «в поте лица твоего снеси хлеб твой», тогда человечество решит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящего своею задачею, нравственною и умственною, тогда перейдет оно к следующим задачам. Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания.

(Писано у Фрейтага 11-го.) 8-го [марта], вторник. — Никитенко, когда пришел, спросил у Корелкина, есть ли у него что-нибудь, тот сказал — нет. Как меня не спросил, то я и не сказал ничего. Никитенко начал говорить снова о программе своей и т. д.; сказал, что ждет грамматики Давыдова, — я стал опровергать, что

ничего ждать, потому что ничего не может быть хорошего от Давыдова. Из университета пошел к Вольфу, чтобы разменять деньги, выпил кофе и просидел до 5<sup>1/2</sup>, так что, когда пришел домой, уже около часа ждал Вас. Петр., который просидел до 9; принес Фейербаха и «Débats» до 12 числа, остальные хотел прочесть завтра, и поэтому я к нему должен буду идти. Отдал ему 13 р. сер.

9 [марта]. — У Ворониных получил за 10 уроков 13 р. 60 сер., потому что раньше получил 15, следовательно 70 к. лишних — хорошо. Думал о том, как сделать, отдать Вас. Петр. 10 ли, [или] 12 р. сер. из них — решил, что 12, хотя думал, что скорее решу 10. Пошел к нему и не успел отдать, как не успел и взять «Débats», потому что еще не прочитал; играли все в шашки; он сказал, что принесет завтра и вместе пойдем к Залеману — хорошо.

10-го [марта]. — Утром читал Фейербаха. Что думаю о нем, напишу после. Прочитал до 110-й стран., хочется поскорее отнести, но раньше воскресенья не могу, потому что не успею. Думал: идти или нет к Куторге, потому что знал, что не будет; все-таки пошел, — он не был (и вчера, в среду, не был); я пошел к Вольфу, где до 3<sup>1/2</sup> читал «Débatz» и Фейербаха несколько. Вас. Петр. пришел в 5<sup>1/2</sup>; в 6<sup>1/2</sup> к Залеману — он должен был [идти] в концерт, который в Пассаже, потому что получил билеты от сестры, поэтому в 8 час. ушли все вместе. Мы снова домой, я отдал 12 р. сер. ему; когда пришли, я пошел поставить самовар. Вас. Петр. взял 3 № «Современника» — это хорошо, что взял, но нехорошо, что до этого времени нет ответа мне из редакции. Это нехорошо, если и это так погибнет, как прежнее, которое отдавал в «Отеч. записки». Однако, все ничего, и как-то если успех — хорошо, если неуспех — как-то мало беспокоюсь; странный характер, решительно беззаботный, с одной стороны, чрезвычайно мнительный, трусливый, с другой стороны; однако, все вздор.

Когда пришли, я говорил большею частью и почти все о политике, говорил о суде в Бурже, говорил о Бланки, что вычитал в «Indépend. Belge», о том, какой оригинальный и резкий человек, и т. д. — Говорили мы после об истории, я о Шлоссере, об «Истории революции» Buchez; он говорил снова, что слишком мало читал он, ничего не знает, что теперь хотелось бы чем-нибудь заниматься. Я снова начал говорить, как мне противно, когда кто настаивает на том, что он решительно беспристрастен, не принадлежит ни к какой партии; да как же можно не принадлежать ни к какой партии, ни к какой школе? И вообще говорил много. Он, я думаю, должен был скучать, однако, не знаю. Да, должно сказать, что как иду в университет, думаю, что вот, быть может, найду письмо в университете из редакции. Вас. Петр. ушел в 10 час., я хотел быть у него в воскресенье. Теперь, если будет Куторга — к Вольфу, если не будет — домой пойду.

Лучше хотелось бы мне, чтобы был, — нет, лучше, чтоб не был, потому что все равно пойду к Вольфу, — нет, если не будет — не пойду, а домой. — Звонок.

(Писано 11-го, в субботу, у Фрейтага.) — У Куторги, который вчера был, говорил громко с Корелкиным в обыкновенном своем духе, так что оборачивались с других скамей, — мне это было как будто бы приятно: пусть слушают да дивятся. Из университета к Вольфу, — новых газет нет, поэтому через несколько времени взял «Современник», который брат не хотел, и стал читать «Признания» Ламартина и должен сказать, что они показались мне лучше, чем я думал, так что вроде Шатобриана, между тем как раньше я думал, что хуже. Письма из редакции нет. Когда туда шел, на Б. Морской, между Гороховой и Вознесенским, по стороне, которая к каналу, увидел на окне кондитерской, которую и раньше видел, вывеску «Staatsanzeiger» и вздумал, что должно туда зайти. У Ворониных не было урока, потому что Константин был болен. Вышел Александр и сказал это. Я так уже привык к этому, что почти не рассердился, т.-е. рассердиться совершенно не рассердился, а даже почти ровно ничего. Но что же за невнимательность, что не могут сказать? Хоть Александр — ведь видел же меня в университете, что же не сказал? Он попросил посидеть у себя, я вошел на минуту и тотчас ушел, потому что и не хотелось сидеть, потому что хотелось прочесть поскорее «Débats» и Фейербаха и отчасти (хотя это был более предлог для меня) потому, что ему должно было к завтра сочинение написать Фрейтагу, — я хотя знал, что уже написано им вместе с Захаровым. Пришел домой, поел, читал, спал от 10 до 11<sup>1/2</sup>, после до часу снова читал и прочитал все «Débats», хотя поверхностно, и прочитал вчера и ныне утром Фейербаха до 180-й страницы, и как сначала все соглашался, так с того времени, как стал он говорить о значении божественности слова, тайны создания из ничего и т. д., не стал соглашаться; почему — напишу в другой раз, когда все дочитаю.

12-го [марта], суббота. — Утром встал в 6<sup>1/4</sup> и стал читать Фейербаха и должен сказать — не слишком с большим вниманием и охотою, а более как бы по обязанности. После, как готов чай, напился и ровно в 8 вышел к Ал. Фед. занести «Débats»; у него уже новые до 1 марта; я его просил к себе, он хотел придти. Пошел в университет, получил письмо от своих; когда швейцар позвал, я подумал, что это из редакции. Как думаю расположить свое время до вторника: ныне вечер и завтра утро — дома, буду читать Фейербаха; если успею дочитать, завтра же отнесу, если нет, что скорее, — как случится, — в понедельник или вторник, т.-е. в понедельник, если Константин Воронин будет все нездоров. Вечером в воскресенье буду у Вас. Петр., отнесу «Débats», если можно будет отнести Фейербаха, то пойду к нему в 4, от него в 6<sup>1/2</sup>, если нельзя — к нему в 6<sup>1/2</sup> или в 7, от него в 10, как обыкновенно. В понедельник, если не буду в воскресенье у Вольфа или Иванова (скорее, что не буду, а ныне буду у Вольфа), то буду непременно у Вольфа, все равно, буду ли или нет у Ворониных. А что вообще сказать о планах относительно будущего — я ничего не знаю теперь: жду, чем кончится история о необходимости воспитания, по-

сле почти до пасхи — там приготовления к экзаменам, там экзамены (готовиться особенно к Срезневскому, — много, кажется, должно будет списывать), а что на вакацию делать — не знаю, может быть, писать на медаль.

(Писано в среду 16-го, в 10 ч. вечера.) — В субботу, когда пришел из университета, читал «Débats — или нет, не «Débats», а Фейербаха; вечером был Раев, просидел почти до 11 [часов].

13 [марта], воскресенье. — Утром до 4 вчера читал все Фейербаха и прочитал все. Как прочитал, пошел к Вас. Петр., отнес шесть первых номеров «Débats», т.-е. до 23 числа февраля, которые уже прочитал, и шел к нему с намерением уйти к Славинскому и Ханыкову; может быть, и не пошел бы, но Корелкин прислал мне польские стихи, которые я взялся перевести в понедельник Срезневскому, поэтому должен был достать лексикон у Славинского. Итак, к В. П. пошел как можно ранее. Над. Ег. не было дома, мы просидели до 7 почти, поэтому я вышел и пошел; в воротах встретила Над. Е., которая воротилась домой и которой вздумалось, что я ухожу, увидевши ее, хотя это было невозможно. Вас. Петр. сказал, что она об этом [будет] плакать или во всяком случае будет недовольна этим. У Славинского лексикон польский взял Корелкин. Итак, я к 8 часам отправился к Ханыкову. У него был один студент и один статский молодой человек, который очевидно был глупее всех нас. Студент несколько похож на человека, т.-е. даже очень много, но не так умен, как Ханыков. У них просидел до 11 часов; должно снова пойти, потому что хочется взять книг.

14-го [марта], понедельник. — Утром отправился к Корелкину, взял у него лексикон и пошел в университет готовиться. У Срезневского переводил хорошо, читал — нет, хотя думал, что прочитаю порядочно. Из университета, хотя Воронин болен, все-таки зашел к Вольфу, взял кофе и просидел до 6<sup>1/2</sup> и уж почувствовал как-то нехорошо в желудке, так что уходил на двор туда в переулоч. Когда шел домой, несколько ныли зубы, — должно было раньше пообедать, после чистить, потому что пачошак нехорошо; я сделал наоборот: чай был подан, я обедать не стал, а стал чистить зубы и расстроился, так что стало тошно и я поправился хорошенько только через полчаса или более. После читал «Débats»; думал и о том, не написать ли чего Никитенке, но уж было поздно. Хорошо. Да, тем более не захотел, что думал, что будет читать о синонимах Корелкин, и так в самом деле было. — Подают ужин, после уж.

(Писано в четверг 17-го, в 11<sup>1/2</sup> утра.) — Вчера сел писать, потому что щемило сердце потребностью любви, поэтому я и сел, но не успел дописать до тех пор, как хотел, поэтому продолжаю теперь, потому что еще час почти до того времени, как должно будет идти в университет.

15-го [марта], вторник. — Утром у Никитенки на лекции, вхожу — сидит Вас. Петр. в аудитории. Поговорили втроем с Корел-

киным, я довольно резко. Вас. Петр. не остался на лекции, а ушел в 14-ю линию Васильевского острова, где нужно переводчика, но сказали, что уж занято место. Мы остались. Корелкин стал читать о синонимах русского языка и говорил, что русский язык [богат], и стал говорить, что нет; Никитенко заступался за Корелкина, за русских писателей, за Державина и проч. Я все говорил, — я думаю, больше половины лекции прошло в том, что я все доказывал, что русский язык еще решительно не развился, что поэтому богатств в нем гораздо менее, чем во французском, немецком, что богатство этимологических форм в сравнении с этими языками ничего не значит, потому что в финском языке 14 падежей, в татарском 20 или 30 залогов, но что же это доказывает? Все зависит от синтаксиса, перифрастические формы могли бы весьма хорошо или даже лучше заменить этимологические формы. Я говорил не с жаром, конечно, которого вовсе не чувствовал, а все-таки щеки разгорелись. После лекции Никитенко сказал, чтобы я давал уроки одному молодому человеку из Финляндии, который хочет быть учителем и должен держать экзамен из русского языка. Это меня весьма обрадовало для Вас. Петр. Никитенко сказал, что с завтра начнутся, — весьма хорошо, весьма хорошо. Цену я думаю брать смотря по его состоянию: если небогатый человек, то, конечно, сколько может, но чем более, тем лучше, потому что это нужно для В. П. — по моему мнению, это доставит около 30 р. сер. — Вечером пришел Вас. Петр. почти в 6 и просидел до 11. Это одно из самых важных и душевных свиданий с ним, давно уж не было такого, и очень давно ничто на меня так не действовало, как этот вечер с ним. Ив. Гр. весьма скоро ушел к Олимпу, откуда воротился в 12 ч.; мы сидели с затворенными дверями и говорили довольно тихо, так что ничего нельзя было слышать, поэтому совершенно откровенно. Он мог оставаться долго потому, что у Над. Ег. была в гостях Александра Егоровна и поэтому можно было оставить их одних. Напишу об этом побольше.

Сначала разговор был о внешнем — о разговоре В. П. с нами перед лекцией у Никитенки, о Никитенке, о политике несколько, о 3 № «Современника», который Вас. Петр. принес, — там была статья об университетах, где говорится, что разврат не в сочинениях древних, классических писателей можно почерпнуть, а разве в сочинениях Виктора Гюго и ему подобных<sup>136</sup>. Вас. Петр. спросил, что ж писал этот Виктор Гюго и что за особенная развратность в его сочинениях? Я и пустился толковать о В. Гюго, рассказал, что знал о его драме *Marion Delorme* и Лукреции Борджиа, сначала о М. Делорм: сказал, кто такая была она, что любовница Людовика XV, когда он [был] старик, гадкий, что это была женщина просто развратная, негодная, просто негодная, не то, напр., что первая любовница Людовика XIV графиня Ла... (позабыл фамилию, та, которая пошла в кармелитки)<sup>137</sup>, которая любила короля, была женщина, заслуживающая всякого уважения, достойная, весьма достойная, а это была просто беспутная жен-

щина. Все это рассказывал я подробно, как знал, со своими суждениями, которые более, чем в отдельных фразах, высказывались в самом рассказе, в самом изображении фактов и ходе мыслей, как изображалась эта Делорм, этот L'Ange\*, лоретка, на самой низкой ступени, на которую может стать женщина, — и вдруг она в кого-то влюбляется, и любовь эта решительно преобразует, очищает ее; одним словом, говорю я, основная мысль этого создания та самая, которая выражена в стихотворении Гюго же «Не насмехайтесь над падшею женой» и т. д.; передал по-своему содержание и смысл этого стихотворения и то, как нужен только луч солнца золотой, чтоб заблестать ей опять. Потом стал говорить о Лукреции Борджиа, что она была по истории, в каком веке она жила, какие тогда были нравы в Италии в высшем обществе, как она была полным воплощением их, наконец, что говорят о ней самой, о связях ее с братьями и отцом и, наконец, о том, как представляется она у Гюго. (О Делорм я вычитал в какой-то повести «Библиотеки для чтения», кажется, или нет, «Отсч. записок», переведенной с французского, где еще молодой парижанин дает эту книгу молодой женщине, та после сжигает ее, чтоб не увидели у нее такую книгу, в духе Ж. Занда, а может быть и ее повесть; а о Лукреции Борджиа, кажется, в «Телеграфе»<sup>138</sup>, который брал у Левитова в Саратове, в критике G. Planché на эту драму.) Наконец, сказал: «Вот видите, основные мысли, как видите, в высочайшей степени нравственные и глубокие: истинная любовь очищает, возвышает всякого человека, как бы низко ни спустился он, совершенно преобразует его, — это Делорм. А Борджиа — зло носит в самой себе, свое наказание, свое мучение. Конечно, — говорю я, — эти мысли изложены пластически в сценах бурной вакханской оргии на сцене, так что большинство, пожалуй, и скажет, что это безнравственно, но в сущности это вовсе не то, и когда В. Гюго был бы безнравственным? Он весьма рано женился, потому что вот его сыну столько-то лет, тогда-то кончил он курс и был увенчан вместе с сыном Гизо, а он страстно любит свою жену и детей и сам прекрасный семьянин».

Таким образом говорил я, вероятно, более получаса, как обыкновенно заговорился, т.-е. как-то разгорячилась голова и стал какой-то помешанный несколько, т.-е. как после трубки или когда встаешь, долго лежавши, когда кровь в голову, и между тем думал: «Верно я наскучил Вас. Петровичу». Когда я кончил, тут-то собственно и начался разговор, слишком для меня занимательный и волнующий, или лучше — щемящий мое сердце, но об этом после, а теперь сажусь есть, потому что должен, потому что поздно ворочусь: в 5<sup>1/2</sup> час. уже ведь должен быть у этого Ната или Напа, как его зовут. Теперь ровно 12.

(Писано у Фрейтага в пятницу.) — Когда я кончил, он сказал: «Как я ошибаюсь в вас, — я думал, что у вас воображение ничего

\* Ангел.

не раскрашивает, что вы смотрите на вещи положительно и холодно, напротив — у вас сердце горячее». Мне хотелось поехать по этой открытой мне дороге, объяснитьсь, и хотя не вдруг, но дошел почти до конца. «Это так может казаться, — сказал я, — оттого, что я совещаюсь говорить об этих вещах, а уж что и говорить, как воображение мое расцвечивает вещи; ну, конечно, есть вещи (и я думал о любви к женщине в это время; он понял, о чем я хотел сказать, и после сказал об этом), которые бывают с другими в 15—16 лет, а со мною теперь только хотят быть, и, конечно, оттого, что позднее, будет только сильнее и хуже; но что касается, напр., хотя до славы, так нечего и говорить, как я тут далеко заносился воображением (и я, конечно, думал о своем *perpetuum mobile*), я думал о том, что уж нельзя назвать и славою, а я не знаю, как»... — «Да, — сказал он, — скажите, как же я думал, что вы слишком холодны и равнодушны к женщинам, а у вас сердце чрезвычайно любящее и так и готово вспыхнуть, ведь вы об этом намекали?» — «То-то и есть, что об этом». — «Скажите же, как вы были до сих пор? Что скажете о чисто физической стороне этой любви? Я думал, что вы слишком холодны и не знаете этого». — «Нет, — сказал я, — это началось во мне так рано, что не только удовлетворять нормальным образом, но и онанизмом было почти невозможно. Не знаю хорошенько, как именно рано, но в конце 15-го или начале 17 года, не знаю теперь хорошенько, я уж думал, что имею право подсмеиваться над теми, которые увлекаются этими вещами — у меня уже прошло и остыло большею частью». — «Ну, а ведь вам никогда особенно не нравилась ни одна женщина, особенно? не производила на вас впечатления?» — Я прямо не стал говорить об этом, чтобы не сказать ничего о Над. Ег., а стал объяснять, как это могло быть: «Вот видите, когда я жил в Саратове, во-первых, я решительно не знаком был ни с кем, решительно ни с кем, и должен сказать, совершенно не видел женщин; а потом ведь должно сказать, что я ведь слишком близорук, так что должно сказать, что я до самых тех пор, как надел очки, настоящим образом знал в лицо только папеньку, маменьку и товарищей, вообще только тех, с которыми целовался, потому что на полтора аршина я уже ничего не могу различить в лице. Вообразите, что я, напр., настоящим образом узнал Ив. Гр. только уж по приезде сюда. Так видите, мне не могла понравиться ни одна женщина, потому что я ни одну не мог видеть в лицо». — Я говорил это довольно подробно, так что говорил об этом с четверть часа. Когда я кончил, он сказал: «Да, вам предстоит еще огромная деятельность на этом поприще... В самом деле, человек необыкновенно много живет в то время, когда любит. Да, вот, в самом деле, когда я вспомню про свою первую любовь, про любовь к Катеньке Райковской... Ну, а остальные уже скверные, но все-таки это самое счастливое время моей жизни». — И он начал рассказывать о своей любви к Катеньке Райковской; после, заговорившись, стал говорить и о других. Я слушал с тоскою сердца, напряженным внима-

нием и большим интересом, как по самому содержанию и потому, что это относилось к нему, а все, что относится к нему, имеет для меня почти такой же вес, как и то, что относится собственно до меня. Что помню, то стану писать.

О Катеньке Райковской он рассказывал мне как-то раз прошлой осенью, когда он жил в Большой Офицерской, я на Вознесенском, в доме Соловьева, когда как-то он вечером провожал меня по Вознесенскому часов в 8. Вот что говорил об этом теперь:

«Когда я приехал» (куда — я хорошенько не помню, а должно быть в Курск, об этом должно спросить), «там я перешел учить детей к полк. Райковскому, у которого была дочь. Кстати, должен сказать, что куда я являлся, везде у меня были союзницами женщины, врагами мужчины, но что сначала женщины везде меня ненавидели, и только мало-по-малу сходились мы с ними» (я вспомнил о княжне Мери и Печорине); «так и здесь, сначала я хотел оставить это место и именно потому, что она с явным неудовольствием смотрела на меня, — т.-е. по наружности, конечно, соблюдала она все приличия, спрашивала о здоровье, потому что там так принято, присутствовала при наших уроках, но явно было, что я ей именно не нравлюсь. Только уже много после и мало-по-малу это нерасположение обратилось в любовь, и как сильно она привязалась ко мне — это удивительно. И я также как любил ее! Когда дело расстроилось, я хотел убить себя, и, конечно, убил бы, до того я был в отчаянии, но остановила мысль о маменьке и папеньке. И только под конец уже я стал бывать у нее ночью в комнате, только под конец, а то была все чисто платоническая любовь. И как я бывал у нее? Можно было бы очень легко, потому что ключи от парадного хода всегда можно было достать, а как войдешь, так в коридор, который ведет в ее комнату — решительно бы спокойно и безопасно. Да нет, тогда я был трус и неопытен в этих вещах, поэтому делал так: выходил из комнаты на двор; там в доме в нижнем этаже был подвал, который не запирался и который был заставлен различными вещами небольшой цены, различным хламом. Я проходил посреди всего этого, — долго должно было идти по подвалу, наконец, подходил к лестнице, в подвал выходит погребочек из буфета с закрышкой (я не припомню теперь хорошенько, как называется это, но и у нас в Саратове так делают, напр., так у Фед. Степановича), и вот тут должно было только поднять закрышку и влезть, и я выходил в буфет, а оттуда в ее комнату. Удивительно, как привязаны мы были друг к другу. Катеньке особенно нравились мои глаза, и сколько раз она целовала их» (это, как она целует его в глаза и как говорит: «О, бог мой, какие у тебя прекрасные глаза» — особенно мне понравилось, как-то трогательно, и эта картина живет всего на меня подействовала). «Так у нас прошел год... Наконец узнали»... (продолжение после, где знак) (писано в субботу). Чтоб не мешал Фрейтаг, так разговор напишу в другой раз, отметивши, что продолжаю 15-е марта, вторник, а теперь продолжаю



остальные дни, не внося сюда следствий этого разговора, которые напишу после вместе с его продолжением.

16-го [марта]. — У Ворониных все не было урока, как и в пятницу 18-го. Из университета пошел к Вольфу, где просидел довольно долго; после этого не был до этого дня, поэтому трое суток, поэтому больше, чем довольно давно уже бывало, расстояние между моими посещениями. Ныне зайду. Утром, после своей лекции, Никитенко представил мне Ната — 3 урока в неделю, о цене ничего — по-моему исчислению это около 30 р. сер. будет доставлять, потому 6 недель до начала мая, поэтому 18 уроков или 20 по полтора рубля сер., из этого можно будет 25, конечно, Вас. Петр. Что делаю вечером? Да вот что: писал польские стихи, которые дал Срезневский, и читал «Современник».

17-го [марта], четверг. — Утром читал «Современник», писал стихи, наконец завтракал, потому что думал, что поздно ворочусь от Ната, с которым условился, [что] буду бывать утром во вторник, вечером в четверг и в субботу. Из университета зашел к нему, но урока не было, а так посидели, и в 4½ был дома; условился, что буду давать по утрам в понедельник, вторник, четверг перед лекциями, и начнется с понедельника, т.-е. 21 марта. Он поступает учителем в гимназию и теперь живет не слишком дурно, а как жил я, когда жил один, поэтому может несколько давать, но немного; о цене ничего. Когда пришел домой, Ив. Гр. попросил вписать несколько (страницы 2½ в полстраницы шириною) по-польски из актов в записку о деле Карповичей. Сел, писал до 6, после пошел к Вас. Петр., у которого до 10½, так что домой пришел в 11. Толковали мало, больше играли в шашки и карты. Когда пришел, Над. Ег. не было еще, скоро пришла от своих. — У Вас. Петр. явилась кухарка, о чем он говорил мне и в прошлый раз, когда я был у него, т.-е. в воскресенье, но тогда говорил он, что надеялся отделаться от нее, а ее рекомендовала Ольга Егоровна. Он отдал мне «Débats», но не Бланки, которого у него теперь первый том, а раньше был второй. Про второй он говорил, что это ему занимательно показалось, потому что ничего не знал об этом до этого времени. Когда я был у него, приходил Ал. Фед. и взял «Современник», о чем я и не знал тогда.

18-го [марта], пятница. — Вас. Петр. хотел прийти в субботу, но пошел к Устрялову и у него писал некоторые вещи — слово папы Иннокентия, которое осталось у меня и мне понравилось. Здесь Воронин сказал, что урока не будет, и я как знал, что Ив. Гр. хотел не быть вечером дома, [то] просил Вас. Петр. не в субботу, а ныне. Хотел из университета зайти к Вольфу, но как шел с Славинским, то не зашел и хорошо сделал, может быть. Когда пришел домой, читал польскую книжку *Szatan i Kobieta*, не эту драму, а приложенные к концу стихотворения, которые не слишком-то понравились, и мне показалось, что у меня развивается вкус, так что весьма хорошо вижу, что нехорошо и почему нехорошо, что или основная мысль пустая или надутая или моральная, школь-

ная, или исполнена нехорошо и почему нехорошо, как это же самое и относительно стихотворений, которые переписывал — Swietezianka и Pani Twardowska — мне кажется, что я хорошо вижу, почему это не так. В 6 ч. пришел В. П., просидел до 10. Я ждал его с нетерпением, потому что думал, что снова разговор будет как в прошлый раз, — так же расшевелит меня, хотя и знал, что это бывает не по заказу и желанию, а как придется; и в самом деле, как-то не так хорошо клеился. Говорил он о себе, своих отношениях к своим несколько и снова об Антоновском, о том, почему ему не пишет: потому что боится, что тот все бросит и отправится сюда и расстроит свою службу и доходы: наконец, потому, что могут прочесть письмо к нему писанное, потому что он неосторожен в этом отношении. Говорили об откровенности, он сказал, что с Антоновским не был откровенен, со мною больше, но не совсем. Говорил о том, что он ждет сюда Стибурского, который едет помощником правителя дел в канцелярии здешнего генерал-губернатора; говорил о своих планах, о том, что должно держать экзамен, и я даже говорил, чтоб держал ныне, хотя сам думал, что поздно; он говорил, что с нетерпением ждет Михайлова, потому что вместе, или во всяком случае, когда знаешь, что не один, готовиться гораздо лучше, и я сказал, что если так, должно написать ему письмо, спросить, что он думает; одним словом, он говорил о степени его необходимости и проч., решительно так, как думал я, между тем как я думал, что он вовсе не так думает. Говорил о том, что по камеральному факультету пугает его механика, что каково держать по камеральному, каково по юридическому, каково, наконец, по филологическому факультету. Итак, мне пришло в голову, что если не теперь, [то] в следующий год со мною; непременно должен его довести до того, чтобы он вместе со мною готовился и держал экзамены; но ведь это еще год, а мне лучше хотелось бы, чтобы в этом же году. Звонок, — итак, оставляю, а штука с табаком, который думал заставить Ив. Гр. купить на свои деньги.

(Продолжение разговора с Вас. Петр., — см. предыдущую страницу вверху, — который был в прошлый вторник.)

«Итак, узнали о нашей любви, и я принужден был удалиться. Она уехала в другой город жить. Боже мой, в каком я был отчаянии! думал утопиться, зарезаться, и только мысль о папеньке и маменьке удерживала меня от этого. Это была самая лучшая любовь моя. После этого уехал я в Екатеринославскую губернию, где стал учителем у помещика Балясного — это был поляк. У него было три дочери, все весьма недурные и все нечуждавшие меня, но средняя, Юлинька Балясная была лучше и милее всех. Вот с этою-то и завязалась у нас любовь. К моему удовольствию, у нее было уже проломлено, но я не думаю, чтоб она имела до меня с кем-нибудь дело, потому что она была слишком молода, но часто они сами себя портят. Наконец, и это узнали. Вот как: я уже вам говорил, что везде я бывал во вражде с мужчинами (потому что

затмевал их). Был один поляк, который раньше имел претензии на Юлиньку, а тут я решительно уничтожил его в ее глазах, и он страшно на меня злился и подсматривал за нами. Раз мы поехали гулять через реку в лес на другую сторону. Когда все разошлись, и мы с Юлинькою ушли в лес, и хоть мы никого не заметили и не видели, кто бы мог подсмотреть нас, но все-таки у меня тот час сердце предчувствовало, что что-нибудь вышло неладно. Он, каналья, в самом деле заметил и пересказал ее отцу и матери. Как мы воротились и я поглядел на его лицо и на лицо ее отца и матери, для меня все стало яснее дня. Хорошо. Я вижу, что если я останусь, дело может кончиться плохо, — они, пожалуй, могут вздумать наделать мне неприятностей, — и тотчас решился бежать. Но во весь обратный путь домой я сохранял совершенное спокойствие и веселость, так что не подал им никакого подозрения, что я заметил, что они знают. Как приехали, я в тот же вечер, пока не разъехались гости, и удрал. Идти обычною дорогою мне было нельзя, потому что могли догнать, поэтому я и пошел пешком, не нанимая лошадей, потому что меня ведь кругом знали, к Антоновскому, который жил верст за 20, тоже на уроке. Должно сказать, что судьба всегда так устраивала, что Антоновский являлся тотчас там, куда я перейду. Я явился к нему, пересказал ему все, оставил письмо Юлиньке, в котором написал, почему должен я оставить так вдруг — после я получал сведения о них через Антоновского». (Или я позабыл, это было о Райковской? кажется, что скорее об этом.)

«Наконец, вот третья история. Я жил в Курской губернии у помещика Мирного, у которого готовил двух сыновей в инженерный корпус; он меня ужасно любил, хотел всеми средствами помочь мне; обещался, как дети будут готовы, дать мне все средства жить в университете, и одним словом, если б до конца я выдержал, судьба моя устроилась бы решительно иначе; он был решительно такой кроткий, тихий, добрый; но и тут не обошлось дело как следует. Его жена, женщина уже немолодая» (как я сужу по его рассказу — 30—33 года), «довольно хорошая собою, страстно влюбилась в меня — уж тут не я был виноват. Я противился всеми средствами, но, наконец, не устоял, а надобно вам сказать, что и она, как я приехал к ним первый раз из города, ужасно была недовольна на мужа за то, что привез такого неуклюжего, нелюдимого, как я — это сначала и отталкивало меня от нее. Я думал, что это развратная женщина, которая ездила и будет ездить на всех учителях и теперь недовольна мужем за то, что привез ей не красавчика — нет, напротив, — я обижал ее, — страстно влюбилась в меня, и в это время я уже был смел. Я с детьми жил через огромный двор, в особом флигеле, должно было переходить через весь двор, а ведь каждую минуту может кто-нибудь заметить, все-таки я проходил; она жила на отдельной половине вместе с маленькими дочерьми, в одной комнате спали с ней две: одной было года 3, другой лет 6, и должно было не разбудить их — ведь дело опасное, — мы уходили в другую комнату. И странно, как неловки бывают эти жен-

щины; никак не может скрыть ни любви, ничего; уж как я, кажется, говорил ей обо всем, как она должна вести себя, чтобы ничего не заметили, — нет, всегда в каждом слове, в каждом взгляде так и высказывает нежность. Раз я едва мог ускользнуть: мужу приснилось или показалось, что пожар, и он разбудил лакеев, поднял страшную суматоху, стал бегать по всему дому — а, может быть, он что-нибудь уже и подозревал, только я этого не думаю... У нас была поверенная — одна ее горничная, после она была принуждена как-то открыться и другой, я ее предостерегал от этого, но нет, не могла остережиться, и верно кто-нибудь из них проболтался, так что муж узнал и готовил страшное мщение. Боже мой, как расвирипел этот человек, такой кроткий, который только, кажется, спал и ел! И что значит горе: он был удивительно здоровый, крепкий мужчина, а тут в несколько дней так осунулся, постарел, похилел, что страшно смотреть. Она написала мне, чтобы я бежал, потому что муж знает, и вот я в страшную ночь бежал». (Об этой ночи я уже раньше писал в этих записках <sup>139</sup> — было рассказано по другому какому-то поводу.) «Я ужасно негодовал на себя, что допустил соблазнить себя, убить этого кроткого, доброго, почтенного человека».

«Вот, наконец, перешел я служить в Курске и Антоновский со мною; мы стояли вместе у одной родственницы священника Андреевского. У него была дочь лет 13—14, которую знали Анна, — или, как обыкновенно называли, Нюечка, — в самом деле премилое, прекрасное существо, мы и влюбились в нее оба с Антоновским и сначала не говорили об этом друг другу, а после объяснились. — Так знаете ли, бывало, как скажет хозяйка, что будет у нее Нюечка, мы сами не свои, ждем — не можем дожидаться, и сердце бьется, и лицо изменяется, — мы молчим и наблюдаем друг за другом. Не знаю, что теперь — если Антоновский в Курске, может быть, он теперь и женился на ней, потому что ей теперь уже лета. Только то, что ведь он горький пьяница, но это ничего, он может решительно перестать, если захочет, совершенно перестать, стать человеком решительно прекрасным во всех отношениях, это я знаю уже по опыту: когда он был в богословии первый год, он влюбился в одну девушку, и тогда в этот год его решительно нельзя было знать, — человек был тогда влюблен, это я узнал уже после, а раньше я думал, что он решительно неспособен к любви. Эта любовь кончилась несчастливо: она ему изменила, и он впал в ужасное отчаяние. А первая моя любовь была, когда я еще не...» — Ну, теперь буду собираться к Нату, а это допишу после, — теперь  $9\frac{1}{4}$ , у него должен быть в 10. Где будет продолжение, будет знак З — верно вслед за этим.

(Писано 2 апреля в  $8\frac{1}{2}$  утра.) Итак, вот две недели, как я не принимался за эту вещь, а стоило, между тем, потому что несколько различных вещей, которые, однако, мало имели влияния на сердце.

Запишу по дням:

У Ната был только во вторник 22-го, в четверг ему было некогда, в субботу 26-го я позабыл; в четверг я сказал, чтоб у Фрейтага и ни у кого не были, не послушались, как мне показалось, потому что ничего не сказали, поэтому мне должно было готовиться к субботе. Я в четверг вечером (а утром был у Ол. Як., чтобы взять для Ханыкова книги «Отеч. записок», где «Письма об изучении природы»<sup>140</sup>, а между тем взял другие книги, где Мартин Чодзальвит<sup>141</sup> и о Реформации<sup>142</sup>, 5 книг 1844 г., вечером первую, где начало Жака<sup>143</sup>, тотчас отнес к Вас. Петр.). Вечером заходил к Ив. Вас. за латинскою грамматикой, его не было; я просил Вас. Петр. занести завтра — принес в самом деле, но писать не хотелось, поэтому я и выписал было у Ciceronis De natura deorum, сказавши, что это отрывок из старинной проповеди, но когда пошел, решил, что не буду у Фрейтага и ни у кого. Хорошо. Мы, третий курс, пошли наверх, — внизу остался болгарин Дмитриев, которого сочинение у Фрейтага, — вслед за мною, вдруг слышим, что он и Голубев сидят у Фрейтага, который пришел. Лыткин говорил, что нужно дожидаться, когда пойдут с лекции, и сказать выговор. Хорошо. Я ничего не говорил. Фрейтаг не стал сидеть, они ушли в комнату для студентов подле дежурной. Мы собрались в Х аудитории и послали за ними Главинского, тот не сказал как следует, они поэтому не пошли; мы решили отправить депутацию сказать им, что они поступили плохо, по жребии; говорили, чтоб одного, я сказал — двух. Написали билетики, подняли — нам с Лыткиным. Пошли мы, стали выговаривать, они объяснились, и кажется, что они были решительно не виноваты.

Потом я пошел к Корелкину, где говорил о браке, что его должно уничтожить; сначала говорил более так, а теперь в самом деле убедился в этом отношении в вещах, о которых раньше думал, как думают люди старые. Оттуда к Вольфу, после домой. В воскресенье был у Вас. Петр., которому отнес еще две книжки, №№ 9 и 10, взял «Débats». Думаю, что должен начать говеть.

28-го [марта]. (Продолжаю это в субботу на пасху, 8 апр., ровно в 6 [час.] вечера.) — В понедельник от Ната пошел к Вознесенению к часам, чтоб оттуда пойти к Срезневскому, а к Срезневскому вот зачем: во вторник 22-го, после Никитенкиной лекции, он подошел ко мне, когда я шел мимо дежурной; мы вышли к окну перед входом в аудиторию, и он сказал, что у него есть для меня работа и довольно занимательная — делать выписки о Сибири для Булычева<sup>144</sup>, по 40 р. сер. в месяц. Я сказал, что весьма рад и благодарен ему. «Хорошо, — сказал он, — я переговорю». [Не] застав его, он сказал, что не виделся, и дал мне записку, чтоб я сам сходил — это на Английской набережной, подле Румянцевского музея, его дом — хорошо. Вечером пришел Вас. Петр., чтобы быть у Залемана, я вместе с ним пошел, чтоб оттуда и к Булы-

чеву. Залемана еще не было дома, поэтому мы в Пассаже, где до 6 часов. Оттуда он проводил меня до угла Адмиралтейства. Булычев спал, поэтому я во вторник должен быть. Когда пришел к Залеману, его не было. Я пошел домой и разошелся с Вас. Петр., который дожидался в Пассаже. Измучился весьма.

29-го [марта]. — У заутрени не был, к Булычеву — живет весьма хорошо, гораздо лучше Ворониных, поэтому богаче, чем я думал, должно быть, тысяч сто дохода. Должен был несколько времени (минуты две-три) дожидаться в сенях, говоря по-нашему, где швейцар, — это показалось решительно ничего; взошел, поговорил, решительно все холодно и ровно, несколько не билось сердце и не смущался. Он сказал, что привезет из Сената их, Полное Собрание Законов, чтобы я зашел в 3-м часу. Я пошел к Корелкину, тот в церкви; я в церковь, оттуда к нему, посидел до 2 почти; говорили о Державине, которого ругал я. Оттуда взял 3 тома, тащить было ужасно тяжело, нес до угла Исаакия, оттуда поехал на извозчике за 20 к. сер., но должен был отдать 25, потому что не было меньше. Два первых тома он привез и хронологический указатель. Я приехал домой почти в 4 часа; вечером просмотрел почти Уложение, хотя должен был выходить ко всенощной, у которой не был почти все-таки; к Ханыкову, который, как сказал мне вчера Толстой, с которым встретился я на Невском, в больнице Маргулеса, — нет там. Я пошел к Ал. Фед., у которого прочитал дело о письмах дьякона Черницкого — умный и благородный человек.

30, 31 [марта], 1 апреля. — Был или после часов, или после вечерни у Срезневского и все не заставал, так что под конец подумал: или рассердился за что-нибудь, или (!! с чего) жена родит. Так как почти не был в церкви, то совестно было причащаться, я и вздумал только исповедываться, а не причащаться; хорошо, так и сделал. В четверг [был] у ранней обедни и не причащался, на душе ровно ничего. В пятницу почти кончил совершенно переосмотр, и оставалось только сделать окончательно употребление.

В субботу, 2-го [апреля], получил 25 р. сер. себе, 15 Любимьке, но отдал ей 20, Вас. Петр-чу назначил 15, себе купил шляпу новую и гадкую за 2 р. сер. в Гостином дворе — мерзкая — и перчатки. Даже в этот день, бывши у Вольфа, выпил кофе как обыкновенно со сливками.

3-го апреля. — Пошел к заутрене, собственно для того, чтобы не стали дивиться и говорить, к Пантелеймону, чтобы быть в алтаре. Там Славинский позвал к себе; у него был племянник с женою — нехороша собою, хотя другому понравилась бы: это я считаю важным развитием вкуса. В пятницу и на пасху после обеда был у Вас. Петр. На пасху Над. Ег., так как была одета, весьма понравилась, немного походила на прежнюю, и лицо показалось таким молодым. Писано это все 12-го числа, в 10—10½ час. вечера.

Во вторник на пасху утром был у Срезневского, не застал его,

поэтому пошел вечером — нет сна (спал). Я пошел дожидаться к Branger'у, после к нему и убедился, что в самом деле не заставлял раньше его дома. Он толковал со мною с четверть часа, и когда я сказал, сколько стал бы работать, он сказал: «Если так, я возьму вас помогать мне».

5-го в среду утром был у Вольфа, где просидел до 3; когда воротился, были у нас медицинские саратовские студенты и оба лучше Пелопидова, так что мне понравились, особенно другой, не Надежинский, а другой. Но вечером со мной сделалось несколько жару, и поэтому я не весь решительно вечер писал, хотя хотелось скорее кончить; после до воскресенья была горячка, в четверг и пятницу — весьма сильный жар, ломило кости; я лежал на Любинькиной кровати и все пил ром, вино и пунш, в два дня эти выпил больше бутылки рому и полбутылки хересу и от силы болезни чувствовал от рому, который иногда пил по две рюмки враз, только освежение в голове, которая несколько была тяжела. В четверг был Вас. Петр. после обеда, в субботу снова. Ал. Фед. принес «Débats» до 3 апреля и взял прежние, принесенные Вас. Петр., который был поутру.

В воскресенье, 10-го, хотел идти к Вас. Петр., но не пошел, главным образом оттого, что была скверная погода.

11-го был в университете, обе лекции были, хотя я думал, что Нева пойдет, — нет еще, стоит и, может быть, долго простоят.

Ныне, 12-го, утром писал письмо своим и дописал Булычеву. Ошибся временем, думал, что должно быть к двум в университете, и было опоздал к Куторге. В университете решился с нынешнего дня прекратить лекции, т.-е. перестать бывать на них.

Завтра утром буду у Булычева, оттуда к Вольфу до 3-х, оттуда домой дожидаться Вас. Петр.; если его не будет, то в 7 к нему. Что-то будет у Булычева?

И вот я не писал снова целых полторы недели. Начинаю новую тетрадь 22 апреля, в 9 ч. 50 м. вечера.

*Николай Чернышевский*

## ДНЕВНИК 1849 ГОДА, № 2. С АПРЕЛЯ 13

*Начал писать 22 апр. в 10 час. вечера.*

У Булычева должен был несколько времени дожидаться в швейцарской снова, потому что у него был ювелир. Конечно, это было неприятно, но я как-то холоден и не чувствовал ничего, потому что ведь это не я, а моя одежда, и то, что пришел пешком. Булычев нашел образец Собрания (я написал слово ссылка) весьма хорошим. Сказал, что статьи, которые не относятся к колонизации Сибири, должно выписывать как можно короче; [сказал], чтоб я был на другой день в Сенате сменить книги — мне должно было кроме

этого быть и у Ната. От него к Вольфу, у которого выпил чаю, кажется, и видел Константина Черняева. Должно быть, в этот же день был у меня Вас. Петр. и спросил об этих выписках, или нет — раньше; во всяком случае, когда я пошел провожать, я сказал ему свои мысли о том, что могу передать половину ему, а после он сказал, что пожалуй и все. Это меня облегчило; вообще я хотел объясниться с ним решительно, но не высказал решительно, а только полунамеками и обиняками, но все-таки довольно порядочно — слабый характер: точно то же, как, бывало, маленький — хочется сказать, а с языка не идет (нет, этому объяснение другое несколько).

14-го [апреля], четверг. — Ната не было дома; я подождал его, потому что должно было. Отнес I и II томы, несколько времени дожидался в Сенате, но почти тотчас явился Булычев, и я вместо этих взял три следующих тома. Чиновник, который заведует этим, Ильин, сказал, что будет отдавать мне и одному, когда я стану приносить бывшие у меня, — это хорошо, лучше, чем хотел Булычев присылать с курьером, потому что то требовало бы издержек. Стал писать III том, после передал Василию Петровичу IV и V, которые теперь он уже кончил.

15-го [апреля], пятница. — Ничего не помню. Был вечером у Славинского, взял польские песни и Фукидида с латинским переводом. Был у Иванова.

16-го [апреля], суббота. — Был у Ната, он был болен. Вот в этот-то день был у меня утром Вас. Петр., которого я позвал нарочно для решительного объяснения о Булычеве. Мы ходили вместе к Иванову; после через Пассаж прошли мы, чтобы мне купить бумаги.

17-го [апреля], воскресенье. — Не помню, что было в этот день.

18-го [апреля], понедельник. — Тоже. Вас. Петр., кажется, тоже был у меня. В один из этих дней был у Раева — нет, раньше, должно быть, в пятницу, и занял у него 3 руб. сер.

19-го [апреля], вторник. — Вечером был у Василия Петровича и позвал его к себе в среду, чтобы вместе идти к Залеману, чтоб взять у него для Раева Литературный Сборник, приложение к «Современнику» и еще потому, что утром был в Сенате, отнес (стальных перьев нет, поэтому начинаю писать простыми) туда XLI том (указатель) и взял вместо него ошибкою VII, а не VI (о чем несколько времени, идя из Сената, и беспокоился, потому что расписался в получении, хотя знаю, что из этого никаких неприятностей быть не может, — такой робкий характер, что гадость!) и относил было Булычеву...\* тетрадь, в которую переписал выписки из первых трех томов (III не совершенно кончен), всего 18 листов (3 тетради из 6 листов) и 228 выписок, но его не застал в Сенате, поэтому решил в среду утром отнести ему на дом и думал там

---

\* Неразборчиво. Ред.



определительнее переговорить с ним, может быть получить деньги, которые отдать Вас. Петр.

20-го [апреля], среда. — Булычева не застал дома, оставил тетрадь швейцару, а сам отправился за письмом, которое еще не получил, но сначала зашел к Корелкину — его не было дома, а были Попов и Дозе. Я с ними посидел до 2½ час.; все смеясь довольно весело, так что почти не чувствовал своей пошлости; смеялся большею частью над Корелкиным и тут же я переписал вендскими рунами (по алфавиту у Воляньского, которого сочинение было у Корелкина) изречение, которое сказал Попов: славянские языки (суть) ключи от нужника, и прибавил к этому рассказ о том, как эта надпись (которую подписал я фамилиею Востокова) из IX века очутилась у Корелкина — рассказ библейским языком, подражание рассказу в «Kladderadat:ch»<sup>145</sup>, перепечатанному в «Neue Preuss. Zeitung»<sup>146</sup>, о столпотворении вавилонском — о построении Германской империи; этот рассказ состоял из 13 стихов и начинался так: «Бе муж благочестив и бояйся бога и любяй славянские наречия зело. 2. И бысть речено ему духом святым не видети смерти, дондеже истина о славянских языцех приидет в мир», и т. д., что отверзлись небеса, когда он читал Остромирово евангелие<sup>147</sup>, и ударил его по голове камень. Когда он пришел, все увидели, что к этому камню привязано это писание, и не могли прочитать его. Тогда голос с неба сказал ему: «Иди на Васильевский остров в 7-ю линию к рабу моему Корелкину, и той ти прочтеть. И он пошел, и как Корелкин прочитал, ужаснулся зело, было бо писание похабно зело, и иде к Чернышевскому и уби ъ ножем». — Оттуда зашел к Вольфу, в 4 воротился домой (да, в воскресенье и понедельник утром был у Олимпа Яковлевича, чтоб переменить книги. В воскресенье было нельзя, поэтому и в понедельник, и взял вместо 3 (он прибавил своих 2) 6 книг, так что всего теперь у меня 8 №№ «Отеч. записок», и их более всего я читал). После обеда пришел Вас. Петр., посидел несколько времени, и вместе отправились к Залеману. На дороге попался Раев, который сказал, что Черняев дает уроки истории у Чистякова, теперь болен корью, поэтому предлагали ему, он не может и верно уступит мне — верно, поэтому чтобы я зашел к нему в 10 час.; хорошо. Залеман сидел за фортепьяно за уроками, поэтому мы пошли в другие комнаты, где они занимаются во время экзаменов, к Галлеру. Туда Славинский принес Куторгину программу. Переписавши ее, мы вместе с Славинским вышли, он домой, мы в Пассаж, чтоб подождать, когда кончится Залеманов урок. Раев, побывавши, где ему нужно было, воротился, встретился со Славинским, который сказал ему, где мы, и нашел нас в Пассаже, и решительно сказал, что уступает мне, чтобы я сейчас отправился к Черняеву; хорошо. Поэтому мы тотчас пошли; заходили к Залеману было, но урок не кончился еще, и, не входя, пошли к нам, где напились чаю, и я довольно много кричал с Ив. Григ. о недействительности наказаний к предупреждению преступлений, о чрезмерной и глупой жестокости их,

и т. д. — После этого пошли вместе отыскивать Черняевых квартиру. — (Подали ужин, и допишу в следующий раз, конечно, завтра, потому что снова пришла охота писать.)

Продолжаю после ужина (11 час. 8 мин.). — Вместо Нарвской части мы пришли к одному из Нарвских кварталов, который ближе к Обуховскому проспекту, долго ходили по домам, перебулгачили пропасть народу и не нашли. Оттуда пошли к В. П., у которого просидел я до 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, когда воротилась Над. Ег. от Самбурских. Это меня почти нисколько не расстроило.

21-го [апреля], четверг. — Утром к Александру Фед., расспросил лучше о положении дома Черняева. Он сердился на меня, но сказал при уходе, что там есть одна хорошенькая... Хорошо, посмотрю, — кто, и сердце как-то более переменялось, но и в среду уж, как воротился от Вас. Петр. (до этого времени не был одинок, и нельзя было думать), уж как-то думалось с удовольствием о том, что буду давать уроки девушкам 16-ти лет, уже взрослым, которые могут понимать и у которых можно отличиться, но так как не был уверен, что согласится Чистяков, то мало довольно занимался этим. — Хорошо, отправился к Черняеву; тот лежал, сказал, что очень рад. Я посидел у него от 10 до 11 почти и пошел к Чистякову, который живет на углу Ивановской и Кабинетской в 150 саженях от меня — это-то хорошо, что так близко. Пошел, не запутался и прямо нашел дом, никого не спрашивал, — впрочем, это было и легко, потому что надпись «Пансион». — Хорошо, вхожу. После уж, теперь ложусь спать. 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> час.

(Писано 23, в субботу, 10 час. 20 мин. веч.) — Михаил Борисович — так зовут Чистякова — принял весьма ласково и просто, т.-е. с тою простотою, которую, как кажется, он с любовью придает себе и своим словам и движениям. Когда я сказал, что я вместо Раева, он сказал: «Что ж, я весьма рад», — и только всего. Я просидел у него с <sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа; говорили о предметах серьезных, Синоде, духовном управлении, реформах, политике. Он говорит лучше, чем я думал, судя по его книжке, но что человек ограниченный — это что и говорить, но как кажется (конечно, не забывая себя и весьма ловко умея обделывать свои дела) добрый. Мне он нельзя сказать, чтобы понравился, но решительно ничего, даже лучше, чем ничего, туда и сюда; только не нравится, как он делает губами, когда говорит, выпячивая и вместе сжимая их — это придает какой-то глуповатый оттенок; он принадлежит к породе Ал. Фед. в том отношении, что говорит о себе много, — однако, так делает большая часть людей, — т.-е. рассказывает события своей жизни, так что я могу уже написать 3—4 страницы «Отеч. записок» его биографии.

Когда пришел домой, пришел Раев, сказал, что там есть одна весьма хорошенькая, «смотрите, не влюбитесь». Это меня несколько задело. — Что, в самом деле? Разве от меня долго этого ждать? Ведь я жду только первого повода, первой возможности и врежусь, и сердце этим стало шевелиться: в самом деле, я чувствую боль

или приятное чувство в сердце, в физической части тела, как, напр., чувствую это и в наружных частях тела и в половых органах, и т. д. Вечером читал «Отеч. записки», и воображение мое несколько разыгрывалось при мысли, как я стану читать перед этими девицами, как я увлеку их, займу, как покажусь им умнее и интереснее всех других; должно говорить о средней истории — и у меня в голове бродит, как я буду говорить, напр., о книгопечатании, реформации и т. п. Читал, и все в уме вертелось эти мысли, как вертятся и теперь.

В пятницу в 10 час. я должен буду быть у Чистякова на уроке, поэтому я, как воротился от него, сходил в баню, вечером пошел к Иванову, чтобы оттуда пойти постричься и даже думал побриться, но когда посмотрел в зеркало, увидел, что еще не стоит: это все для того, чтобы явиться в порядочном виде перед ученицами.

22-го [апреля], пятница. — В 9-50 вышел из дому, ровно било 10 у Чистякова, когда я пришел; посидел с ним минут 10, пока приготовлялся, узнал его жену, — та самая, которую видел я у Иринарха, в чем меня заставило было усомниться слишком большие похвалы ей и ее светскости и проч. Она решительно ничего, только, мне кажется, глаза что-то походят на глаза Норманской (которую, между тем, я не видел уже лет 8, да и раньше видел, конечно, плохо), так как-то неприятно. Я был решительно холоден, сердце ровно нисколько не билось, решительно ничего, вовсе не то, что когда один и когда бродят в голове мысли; а тут решительно без всяких мыслей и всяких образов и решительно ничего, решительно не думаю робеть или конфузиться, но должно сказать, решительно становился как-то как бы машиною (это все равно то же самое, как со мною бывает, когда, напр., едва не наедут на тебя лошади, так что едва увернешься из-под дышла — решительно холоден, так что и не думает дрогнуть сердце, хотя в самом деле опасно), находился в каком-то как бы забытьи или опьянении легком. Входим с его женою в класс, там сидят 5 девиц, двух не было (Рубцовой, т.-е. племянницы Прасковьи Петровны Оржевской, и другой). Должно быть одну из тех, которые не были, называют хорошенькою, потому что этих всех нельзя так собственно назвать, — две, кажется, ничего, другие пожалуй и дурны — ну, да после лучше рассмотрю, — и вот я решительно спокойно, без всякого смущения (только несколько неловко положил шляпу свою, когда жена Чистякова сказала, что она меня беспокоит — положил на пол, а она подняла и положила на окно) стал слушать урок, как у них делают, и рассказывать вообще картины византийского быта — урок был о Византии. Так как было холодно, я шел распахнувшись, то грудь вдруг стала как-то застывать минут через 10 или 15 после начатия класса. Через  $\frac{1}{4}$  часа этак после [того], как я вошел в комнату, голос изменился, стал глухим, я едва мог говорить, грудь потяжелела, но все-таки я продолжал говорить, и скоро это прошло. Девицы смеялись, — мне показалось, что отчасти и надо мною, но едва ли, потому что смеялись не конфузясь или не

стараясь это утаить от меня, а то более исподтишка бы, — да если и надо мною, то для меня решительно не обидно бы, решительно нет, а напротив, я даже готов поощрять к этому с решительною веселостью. На душе если теперь грустно — от других причин: урок кончился раньше, чем я мог ожидать. Я поклонился, как и входя, — снова неловко, разумеется, — но решительно ничего, — не думал краснеть по своему обыкновению.

(Писано 26 апреля, в 10 час. вечера.) — Когда я воротился домой от Чистякова, у меня был (нет, смешал — это было в четверг, что был Раев), у меня разыгралось снова воображение, и уж здесь не участвовала красота, любовь и т. д., а собственно удовольствие переливать свои взгляды, чертить картины, заинтересовать, сделаться в их глазах порядочным человеком. Но меня смущало несколько то, что, может быть, Чистякова, которая была постоянно при уроке, заметила (однако, я не думаю, чтобы могла) мою ошибку, когда я отнес к убийству в Антиохии по приказанию Аркадия и [к] Аркадию анекдот, как Амвросий не допустил императора до причастия, — мне вспомнилось, что это был не Аркадий. Но все-таки я ждал с большим удовольствием и даже, если угодно, нетерпением, следующего раза, т.-е. вторника, т.-е. нынешнего дня, и это жданье продолжалось до настоящего времени, и теперь снова жду пятницы тоже с удовольствием.

23-го [апреля], суббота. — Утром пошел к Булычеву, — у него сидел писарь, писал доклад. Нет, я пошел к Нату, как следовало — он, бедный, все болен; я просидел у него с  $\frac{1}{4}$  часа, и он взял мой адрес, чтобы, когда выздоровеет, обратиться ко мне. Жаль несколько бедного. Оттуда пошел домой и читал «Отеч. записки».

24-го [апреля], воскресенье. — Утром пошел к Булычеву — дома. Толковал довольно долго и без всякого результата для меня, т.-е. решительно не стало определенное для меня, что делать. Он уходил на довольно долгое время с магазинщиком рассматривать белье, которое должен был отдать шить, я дожидался и читал «С.-Петербург. Ведомости». Таким образом почти до 12-ти; под конец он предложил мне теперь же перейти к нему, дело для меня важное, может быть, весьма важное, — я сказал, что весьма рад, и он назначил для решительных переговоров среду, т.-е. 27-ое завтра. Дал 30 р. сер., которые я вечером передал Вас. Петр. Тотчас от него отправился к Срезневскому сказать об этом предложении и посоветоваться. Тот был рад от души, так что чувство выказалось в голосе, каким он сказал: «я этому весьма рад, весьма рад». У него сидел какой-то господин, и вот толковали об изучении славянского и нашего языка. Срезневский более здесь являлся мне ученым и умным человеком, чем обыкновенно; я должен был просидеть около  $1\frac{1}{2}$  часа; он давал мне различные наставления, рассказывал при этом, как сам жил у одного вельможи в деревне. «Главное, — говорит он, — никак не должно показывать вида, что вы ему обязаны, — вы ему нужны, а не он вам». Срезневский слишком хороший человек, и должно быть я ему буду обязан не

одним этим, а вообще должно быть он готов сделать все, что может, — действительно, весьма благородный и добрый человек. Да, напишу об этом деле — переходе к Булычеву.

Собственно говоря, я не должен был бы радоваться этому, а скорее жалеть и постараться отказаться или оттянуть вдаль, потому что ведь через это я лишаюсь возможности передавать работу Вас. Петр., и действительно, с этой стороны мне жаль и со-вестно перед Вас. Петр., что я пустые интересы, да может быть и не интересы, свои ставлю выше его интересов. Чорт знает, а между тем, на душе как-то приятно, что перейду: возбуждаются какие-то надежды, какие-то мечты. Не знаю, постараюсь записать те, кото-рые ясно представляются.

Сближение с этим домом порядочным введет меня в круг по-рядочных людей, думаю я. А может быть, и не введет, может быть, я уединюсь у себя в комнате. Нет, думаю, что сближусь, приучусь быть как следует, держать себя как следует, стану через несколько времени говорить по-французски, по-немецки, одним сло-вом — стану, как должно быть. Еще Срезневский сказал, что жена его весьма молода — «еще ребенок почти», ей всего 19 лет. Вот я и ожидаю, что миленькая, хорошенькая, умная и т. д., что я сближусь с нею, понравлюсь ей — т.-е., само собою разумеется, не что-нибудь вроде любви и т. д., а, во-первых, буду иметь приятное общество, во-вторых, приучу держать себя как следует с женщи-нами, приучусь знать их и т. д. — о любви у меня в мыслях нет и помину. Конечно, я думаю, что скорее будет разочарование, что она вроде его, т.-е. женщина — или ребенок, как угодно, — весьма добрая, но ограниченная и не слишком-то привлекательная, а разве возбуждающая в душе идею о кислом или о человеке, поевшем кислого: он всегда делает такую гримасу, когда хочет сделать какое-нибудь хорошее движение лица, или даже просто это само собою делается, как он хочет сказать или вздумать что-нибудь по его мнению хорошее. Потом через это, я думаю, более сближусь с Срезневским (вот это не мечта, должно быть, а настоящая здра-вая мысль, которая должна исполниться), и, конечно, через это будет лучше по окончании курса, да и, кроме того, приятность; может быть, сближусь с кем-нибудь другим, напр., из литерато-ров или ученых, через кого можно двинуться вперед, может быть, буду даже в состоянии доставить что-нибудь Вас. Петр., т.-е. зна-комство или возможность быть сотрудником «Отеч. записок» или «Современника», или уроки и т. д., — это не знаю, верно ли, может быть, и верно, но едва ли скоро может быть, а разве через 3—4 месяца. Может быть, и сближение мое с Срезневским может быть ему полезно. Наконец, мне льстит перспектива ученого труда и т. д. — Я теперь уже думаю, что почти весь он будет принадлежать мне, что ему будут принадлежать только топогра-фические сведения и цветки реторики, — имя мне все равно, мое или его, но во всяком случае мое сотрудничество не может не быть известно кому следует и должно доставить мне некоторую репу-

тацию, должно дать мне возможность идти по окончании курса по ученой дороге. Наконец, мысль, что я разделяюсь с Терсинскими, с которыми отношения мои были так невыгодны для моей чести; хотя, однако, с этой стороны тяготит меня то, что я, отнимая тягость у них, отнимаю у себя возможность давать Вас. Петр. столько, сколько давал раньше — потому что ведь понадобятся расходы на одежду, и сейчас надобно бы сюртук, без которого, может быть, можно (хотя едва ли) было бы обойтись. Но вот теперь мои мысли в этом отношении несколько переменяются: денег из дому мне будет доставать на одежду, а между тем эти 20 р. сер. будут поступать Вас. Петр. Конечно, и кроме того будет перепадать мне что-нибудь из случайных источников, напр., уроков, как у Ната и Чистякова, — одним словом, когда захочу или, лучше, когда захочется оправдать себя в подлом или все равно эгоистичном поступке, всегда оправдываюсь очень хорошо. — Итак, рисуется светская жизнь, блистание некоторое умом, знаниями, языком острым, остроумием, некоторая перспектива приятного общества, приятного существа, с которым несколько раз в день видаться и говорить, некоторые виды на обеспечение будущности и т. д. — Наконец, дело выйдет гораздо лучше, чем когда бы я не жил у него, дело, т.-е. его сочинение гораздо лучше, гораздо лучше. — Ужин, поэтому перестаю писать и сажусь. Нет, приехал Ив. Гр., поэтому я пожогу, потому что неприятно мне сидеть вместе с ним, потому что он ужасно чавкает. Теперь 11 час. Вечером был у Вас. Петр., отдал деньги, сказавши, что у себя оставил, кроме этого, сколько следовало. Над. Ег. долго не было дома.

25 [апреля], понедельник. — Утром в 9 час. отправился, наконец, исполнить поручение папеньки в Детскую больницу, оттуда к Корелкину, оттуда в университет, где получил письмо (в половине 12), оттуда к Вольфу, где выпил чашку чая и досиделся до скверности, как иногда случается — захотелось на двор, т.-е. вроде поноса, и едва успел зайти, как это случилось уже раньше, в дом, который подле, угольный, на углу Казанской площади и Канала, где Милютины лавки. Оттуда пошел купить перьев, оттуда к Кораблеву, комиссионеру Детской больницы, куда послали меня, и который послал меня снова назад.

Вечером два раза был Ал. Фед., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Пестрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дубельта и т. д., — должны были бы быть повешены<sup>148</sup>. Как легко попасть в историю, — я, напр., сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы.

26-го [апреля]. (Это писано 3 мая, вторник, в 9½ вечера или более). — Утром был у Чистякова, говорил о Норманском молении<sup>149</sup> и был несколько доволен собою, хотя не слишком, но ни-

чего. Да, должно сказать, что...<sup>\*</sup> первая больше понравилась мне во вторник, чем в первый раз: довольно хороша и полненькая, и кажется умное лицо, и мне приятно было бы читать для нее, и, однако, должен сказать, [что] если встречу ее [то], может быть, и не узнаю. В четверг вечером (был у Ол. Як., который негодовал, рассказывая об этих подлецах, которые, напр., как Липранди, губят людей, раздражают массу для собственных видов; после просидел до 10 час. у Иванова) получил [письмо], что увидел, когда воротился домой. Вечером был у Славинского по лекциям, и как у него больные глаза и не мог читать, [то] вызвался быть у него на другой день.

27-го, в среду был у Булычева, который сказал, что не успел обдумать, а в конце этой недели передаст свои условия Срезневскому, и чтобы я зашел поэтому к Срезневскому на следующей, т.-е. этой, неделе, во вторник. После у Славинского до 8, бывши по дороге у Иванова. Читал с Славинским книжку Куторги, прочитал всю.

28-го [апреля], четверг. — Утром был в Комитете Детской больницы. Оттуда к Черняеву до 1 часу; оттуда идя, стоял до 3 часов на Семеновском плацу, где ученье. Поздно домой, вечером к Ол. Як., отсюда к Иванову. Когда пришел домой — письмо. Мне показалось — от Булычева, обрадовался и щелкнул при Терсинском пальцем, живо вскрикнувши «а!» в знак того, что узнал; все-таки не распечатал, пока не разделся, и т. д. Открываю — от Чистякова, что вместо меня взялся за Константина Ивановича и прилагает за 2 урока 4 р. сер. — Ужасно стало грустно, особенно этот вечер, да и на другой день, т.-е. в пятницу утром, к вечеру менее, все-таки было даже и в субботу это чувство: итак, я нигде не могу поладить своими уроками, итак, мой взгляд на то, как учить и что должно заучивать, что нужно ученикам, не годится; итак, если угодно быть как другие, должно переделывать себя (эта последняя мысль теперь только ясна, а то просто неясно мучила); ужасно тяжело было; а я с таким удовольствием развертывался 2 раза с своими знаниями и понятиями и взглядами! Вот тебе и раз, лучше было бы, если бы просто более слушал, чем говорил.

29-го [апреля], пятница. — Утром сходил переменить книги, — нет, это было в субботу, а в пятницу дочитывал прежние, которые должен был отнести, и «Débats», да несколько прочитал Куторги, был у Вас. Петр., должно быть пришел после обеда Вас. Петр. и взял одну из них (№№ 7, 9, 10, 11 «Отеч. записок» за 1845 г., потому что № 8 не было); до самого почти вечера субботы все читал эти книги. Начал читать и с большим наслаждением читал «Теверино»<sup>150</sup>. Я не знаю, эта роскошная жизнь, разлитая во всем рассказе, это — я не знаю, как сказать, — что-то богатое, свободное, дух сильный, воображение творческое, чрезвычайно сильное, все это как-то приковало меня, и у меня и теперь еще мелькает Теверино в глазах и выведенные вместе с ним, но

<sup>\*</sup> Неразборчиво. *Ред.*

только оттеняющие его образы: да, сильный, великий, увлекательный, поражающий душу писатель, эта Жорж Занд: все ее сочинения должно перечитать. После этой повести остается у меня чувство, похожее на то, как если бы иметь прекрасную, любимую от всей души сестру и поговорить с ней часа два от души, прерывая разговор всякими братскими нежностями — какая-то духовно-материальная, но решительно чистая радость, светлость.

30-го [апреля], суббота. — Утром был у Ал. Фед. рано; отсюда переменить [книги]. Вечером был Вас. Петр. (а не вчера, т.е. в пятницу). С вечера принялся несколько за Куторгу, так что было прочитано, хоть плохо, всего до воскресенья 5 страниц с 4-го билета, поэтому до 9-го или 8-го, да была прочитана книга Куторги; не хотелось приниматься, потому что думал, что успею в следующие два дня. Хорошо, и успел, и делал дело, совершенно не отрываясь, когда пришло время.

1-го и 2 мая — читал [лекции] Куторги; ходил оба дня в университет за письмом после обеда тотчас, но перевоза \* не было, поэтому думал шутя, не будет перевоза и 3-го, все-таки готовился. В воскресенье был Ал. Фед., который уже знает о Чистяковском деле.

3-го [мая], вторник. — Утром встал в 5 или 6, нет, в 5 ч. 20 м., легши нарочно в 10; дочитал все, что хотел у Куторги, переехал туда на катере, ужасно долго ехал, хотел и не хотел беситься, все-таки не бесился, потому что не стоило, — должно быть, успею еще. Вышел на экзамен последним, т.е. перед Главинским, который сказал, что он последний, а так случилось потому, что не хотел отбивать очереди ни у кого, хотя поднимался, чтоб выйти четвертым, и пятым, и шестым, и седьмым. Всего было нас двенадцать. Мне достался из греческой 13-й [билет] (часто мне 13 выходит), из средней — об услугах Карла дома до коронования. Вышел решительно без робости, не как раньше, совершенно холоден (хотя должен сказать, что в аудитории не то что озяб, а не мешало бы быть потеплее, поэтому, посидевши несколько времени, стал подрагивать), потому что знаю, что ничего не может быть. Итак, во всяком случае, это хорошо, мало-по-малу становлюсь апатичнее в этом смысле, т.е. не робею и решительно все равно. «Лисагора был, — сказал я, — как все греки, которые с персами бывали в сношениях, как бы сказать (интригант и пронырливый не приходило в ум)... да просто мошенник» — отчасти сказал я это и для хорошего словца, чтоб потешить Куторгу и других, да и себя. Куторга залился смехом, я также счел обязанностью улыбнуться довольно широко, но холодно продолжал... «т.е. интригант». — Оттуда, как и вчера, зашел к Вольфу (чай вчера). Когда пришел домой, устал; погода гадкая, поэтому лежал и читал; после сидел и читал «Débats», после «Отеч. записки», а к Вас. Петр., как обещался, не пошел, — лучше завтра, когда побываю у Срезнев-

\* Через Неву. Ред.



ского, — где, может быть, что-нибудь узнаю, хотя, может быть, еще ничего и нет, — и в почтамте, потому что прислали деньги.

19-го числа [мая]. Писал в 9 час. вечера. — Итак, я не писал две недели. Напишу прежде всего об экзаменах. 10 числа был Срезневский, 17-го — Устрялов. Как у меня были «Отеч. записки» и «Débats», то я все читал, шатался по кондитерским (собственно бывал только, кажется, у одного Вольфа, — у Иванова не хочу бывать почти: раз, когда я протягивал руку за «Отеч. записками», он положил на них локоть и сказал: «занята», — довольно грубо, мне показалось, а главное, что ему, должно быть, кажется, что я мало беру у него), бывал почти каждый день и часто весьма долго. Бывал у Вас. Петр., хотя гораздо реже, чем прежде, бывал он у меня довольно часто, и время проходило решительно не за лекциями: к Срезневскому начал готовиться в субботу, весьма мало; собственно готовился только два дня; в понедельник-вторник ночь не спалось до 4-х часов, собственно потому, что должно было дочитать записки. Несколько думал, что нехорошо приготовился, и было совестно перед Срезневским, но решительно ни-сколько не трусил, решительно нет; это мне приятно, что я становлюсь решительно холоден и не дрожу, а решительно спокоен, хоть приятно или нет, боюсь или нет. Достался прекрасный билет, кажется 8-й что ли, о чешской литературе в древнейшее время, здесь о Любуше и Краледворской рукописи<sup>151</sup>; хорошо, пошел, отвечал легко, ничего.

Да, должно сказать, что на другой день после Куторги, в среду, я был у него, застал там какого-то читающего публичные лекции английского языка датчанина, должно быть, Гасфельда, и должно быть просидел около часа, потому что завязался разговор (это было 4 мая) политический — о Дании и Франкфурте и Шлезвиге и венграх; Срезневский рассказывал несколько о Кошуте. Они стояли за Данию; Срезневский называл Франкфуртское Собрание — Шустер-клуб; «Кошут, — говорит, — ренегат во всех отношениях, желал гибели венгров»; я защищал, насколько, казалось мне, позволяло приличие, а может быть, и более, и, может быть, понравился Срезневскому, потому что он, когда я уходил, подал мне руку с какою-то сердечностью.

После Куторги снова принялся за «Отечественные записки», Вольфа и Вас. Петр., так что снова не готовился, откладывал до последних двух дней Устрялова. Да, мне прислали 25 р., 5 р. я оставил на сапоги, 20 отдал Вас. Петр., сказавши, что это от Булычева. Хорошо.

15-го [мая], воскресенье. — Когда я просыпался, Любинька говорит мне, что им нужно денег. У меня было только 7 р. сер., и 75 к. сер. я отдал. Мне ужасно было совестно, да и теперь тоже, что я даром живу, так что неприятно все. И сказала мне, что они ныне переезжают на дачу — это также неприятно: когда мне готовиться? Поэтому я тотчас отправился к Булычеву — нет дома, уехал смотреть дачу, приедет в 5 час. Я решил снова придти, по-

тому что думал, что, может быть, ненужно будет перебираться с ними на дачу. Оттуда пошел, пообедавши дома, к Ал. Фед., чтоб не беспокоили сборы, просидел до 5, после зашел на квартиру узнать, уехали ли — уехали, и я снова к Булычеву. Он велел быть в субботу в 11 часов. Хорошо. Оттуда, зашедши несколько отдохнуть к Вольфу, пошел на дачу (Малая Кушелевка, дача Роде) не по самой короткой дороге — ходил я в этот день, сколько еще никогда, и все-таки не ломил поги, хотя была некоторая усталость. Я ходил всего: от Максимовича к Булычеву и назад около 100 минут, после к Ал. Фед. 16 мин., оттуда домой снова 16, оттуда к Булычеву еще 50 или 48 хотя, всего 180 мин. = 3 часа — и оттуда на дачу пришел без  $\frac{1}{4}$  9, между тем как у Булычева был в 6, — по крайней мере  $2\frac{1}{2}$  часа — итак,  $5\frac{1}{4}$  часа, 32 версты. Напала тоска отчасти потому, что не мог надеяться приготовиться к Устрялову, но не это главное, я думал, что экзамен пустой, а главное — разлука с Вас. Петр. — каково? Тоска, тоска: вот я отделен от него, редко виделся, он не будет бывать у меня, и потом грусть вообще по городу, так что ужасно тосковал до самого утра Устрялова — целых полтора суток. На другой день все готовился и приготовился весьма плохо, как еще никогда, может быть, не был плох. Утром во вторник встал довольно рано, кажется, в 5 час., в  $7\frac{1}{2}$  отправился и все-таки пришел поздно.

17-го [мая], вторник. — Должно сказать, что меня озабочивали сапоги, которые одни и, думаю, весьма готовы протереться, а Фриц, у которого я был в воскресенье 15-го, сказал, что сделает не раньше, как через 2 недели. Итак, я думал, как бы сберечь. Наконец, решился идти в старых, взяв с собою новые, чтоб переменить в городе, а чтобы не видно было в худое белого носка, завернул правую ногу черным галстухом, — каково? Это меня утешило. Поехал через перевоз, шел мимо Самсония, переехал к Летнему саду, — в такой ветер никогда еще не ездил, хотя не слишком велик, конечно, — поэтому и отдал 15 к. сер. за перевоз из 30, которые были у меня. Устрялов уж экзаменовал и весьма строго; я должен был струсить, но не струсил, так как-то был в надежде, и в самом деле — второй билет: о славянах до основания русского государства; конечно, я здесь мог говорить без приготовления, и Устрялов сказал: «Видно, что вы занимались». Мне было совестно перед товарищами, напр., особенно перед Лыткиным, который получил тройку и которому он сказал, чтобы более занимался. Это меня развеселило: удивительное счастье или, как я думал, бог помог! Именно я так думал, потому что в сущности не только религиозен, но и суеверен. — Хорошо. Такого счастья еще никогда не было! Мог получить тройку и держу блистательно — просто совестно! А между тем, рад, что отделался, слишком плохо был готов. Ужинаю и ложусь, потому что завтра должно раньше встать для Фрейтага.

(Писано 22-го мая в 11 ч. вечера.) — От Устрялова тотчас пошел к Вольфу, оттуда через Гостиный двор к Вас. Петр., купил там пятикопеечный калач и съел. У Вас. Петр. посидел несколько

минут, может быть, с час, и пошли вместе — мне [должно] было быть у Раева, отнести книгу Черняева, зайти переменить книги у Крашенинникова, наконец, отдать Славинскому замечания на Фрейтага Лыткина, которые я имел глупость взять у него. Когда мы шли к Крашенинникову и оттуда к Ал. Фед., я почти все говорил о Жорж Занде («Теверино» и т. д. и т. д.). У Раева просидел с час. Я отпирал своим ключом его ящики, ища табаку: нашел несколько. Вас. Петр. велел, чтобы я от Фрейтага приходил обедать к нему.

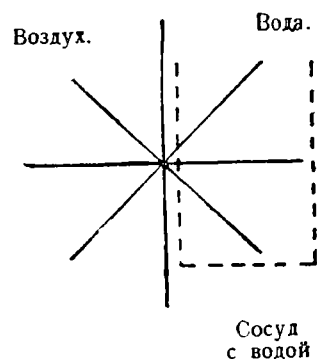
В субботу должен был я быть у Булычева, поэтому решился ночевать в городе у Ал. Фед. Хорошо. У Славинского говорил о Фрейтаге и несколько заговорился, так что отчасти и привирал. Особенно совестно было, когда говорил, что, например, мое из поэтов и писателей, — например, Горация, а они не указывали, что это занято, — сконфузился. Среду и четверг провел почти ничего, кончил или почти кончил XVI том Собрания [законов], готовил Фукидида, читал «Отеч. записки» 1—4 №№ [18]47 г. и т. д.; было спокойно и ничего.

20-го [мая], пятница. — От Фрейтага и Вольфа пошел к Ал. Фед., чтобы взять «Германа»<sup>152</sup>, оттуда к Вас. Петр. Надежда Егоровна снова понравилась довольно много, и довольно с теплою любовью и участием смотрел я на нее, а когда Вас. Петр. уходил со мною, а она тосковала о том, что и она не пойдет гулять, а Вас. Петр. было это тяжело, мне стало досадно почти на него, т.-е. было бы весьма досадно, если бы не знал я, как ему тяжело его положение. Вместе с ним пошли к Черняевым, — их не было дома, — хорошо. Оттуда к Ив. Вас., у которого посидели с час, чай пили; он толковал мне о своей службе, и мне стало его жаль, в самом деле, жаль, не удастся человеку или мучается человек. Оттуда к Вас. Петр. Над. Ег. ушла к хозяевам. Вас. Петр. этого не знал и досадовал, что нет ключа; объяснилось, принесли ключ. Просидел до 8, они проводили меня до квартиры Ал. Фед.-ча, у которого был Ив. Вас. Посидели вместе до 9 [час.], после я, заняв у Ал. Фед. полтинник, пошел к Вольфу. Утром к Булычеву — дома нет, должно во вторник в 10 час. — Меня это не то, что сильно оскорбило, а так порядочно — говорит, чтобы быть, а между тем приходите в другое время, что это? Т.-е. не оскорбление главное, это ничего, а то, что это показывает, что отношения неравны, что смотрит на человека, готового к услугам. Идя туда, взял в университете письмо: «Если вообще теперь могут мешать тебе, не оставайся там», — хорошо. Когда я пошел от Булычева, у меня образовалась мысль, которой начало было положено тогда, когда мы вчера проходили с Вас. Петр. мимо пустой квартиры. Он показал и сказал, что предлагает Ив. Вас. взять ее вместе, а теперь думаю: весьма может быть, что я не пойду к Булычеву, тогда буду жить вместе с Вас. Петр. Пришел домой в 2 часа.

Воскресенье, 22 [мая]. — В это утро пришла новая идея о вечном движении, самая простая, самая простая, чрезвычайно легко

осуществимая, так что соблазняет, не сделать ли самому модель. Об этом после, теперь ложусь. Слава богу, который дал мне эту идею.

(Писано 23-го, в 10 утра.)—Вчера, в воскресенье утром 22 мая; проснувшись около 7<sup>1/2</sup> час., я лежал еще на постели с полчаса,



до 8 или 8<sup>1/4</sup>, думая без большого внимания или интереса о том, о другом, о себе, конечно, более всего, поэтому и о своем значении, поэтому и о своем изобретении — *perpetuum mobile*. Вдруг вздумалось: боже мой, да ведь сущность в том, что на одной стороне оси облегчены водою, на другой нет, колесо; поэтому лучше всего вместо этих подвижных поршней и т. д. сделать просто плотные массы, только сделать так, чтоб по одной стороне оси были они в воде, по другой в воздухе, так (см. чертеж), т.-е. сделать сосуд, в котором в одной стороне прорезка, гер-

метически припоровленная к тем спицам и массам, которые будут входить в нее, так, чтоб они входили, вода не могла выходить из сосуда этою прорезкою,— это вещь весьма легкая, потому что так делается в атмосферической железной дороге, что поршень проходит, воздух не проходит, это будет так: края прорезки будут раздвигаться при давлении спицы и массы, сделанной чечевицеобразно, как маятник, и сходиться снова, когда

(продолжаю 4 июня в 10<sup>1/2</sup> час. вечера)

спица и чечевица пройдет. После вздумал, что лучше делать, т.-е. выгоднее при одном диаметре, не отдельные чечевицы, а колесо со сплошным ободом; после расчел, что еще лучше делать колесо совершенно сплошное, круг, диск, без спиц, без прорезок. Только мысль: «что, как это не будет вертеться?» Но это вздор, ясно, это так только говорит неверующая и невежественная натура. Итак, жернов деревянный лучше всего входит в прорезку вапны или котла или кадки с перпендикулярными стенками; эта прорезка герметически прилажена к ширине и длине входящего в нее пояса круга (полукруга), так что вода не выливается, т.-е. не тратится и своим трением при выливании не мешает движению колеса. Я не отчаиваюсь в скором времени устроить эту машину, потому что это слишком просто и может стать весьма недорого, можно сделать в 2—3 р. сер. — ах, если бы было можно!

Во вторник и среду готовился, но во вторник больше читал «Отеч. записки» и XII т. Беккера; собственно готовился в среду, читал теперь Кюнера о глаголах все.

26-го [мая], четверг. — Экзаменовался последним, хорошо, ошибку сделал только одну — сделал от *ἔριον* (перемешал его в уме с *ἔρατον*, прошедшее изъявительное страдательного [залога]

как должно, а в неокончательном не как должно, как *ἐρῶμαι* как-то у меня сказало, хотя для самого ясно было бы, если б не непонятное затмение ума, которое, однако, сначала послужило в пользу, заставив не задумавшись сказать, как это будет в изъяснительном наклонении. Везде пять, кроме [греческого].

Да, во вторник 24-го был у Булычева, дожидаясь с час, пока он просматривал старое. Лакей сказал, провел в кабинет. Как сели, я сказал: «Я перейду, если вам не будет стеснительно, а для меня все равно это, но только если останусь и когда вы воротитесь, а то не стоит только на то время, когда вы на даче». Он сказал: «Ну, так подумаем, а теперь пока 30 р. сер.». Я говорю: «Пожалуй». — «А мы увидимся через две недели, я буду в Сенате». Как теперь у меня еще почти ничего не готово, я решился не быть, а буду в следующий вторник. Мне показалось, что он недоволен моим тоном, или как это сказать, и я решился поговорить с Срезневским.

28-го мая, суббота. — Получил письмо, где говорят: «Если не устроятся дела, приезжай» <sup>153</sup>. Это не так хорошо, потому что как оставить Вас. Петр.? Решился переговорить с Срезневским, Булычевым, порекомендовать Булычеву Вас. Петр., так, чтобы он не через меня, а прямо относился к нему, но этого всего не будет. Почти решился ехать, но не знал, как быть с Вас. Петр., поэтому, когда в воскресенье вечером пришел, чтоб в понедельник видаться с Срезневским, пошел к нему. Он проводил меня к Ал. Фед., которого не было дома, и мы начали говорить. Говорили, говорили, он говорит: «Не деньги, это пустое, а главное, — я не знаю, как буду не видаться с вами, — теперь, когда не вижу неделю, и то не знаю, как провожу ее, а то целых два месяца». Я сказал ему, что приеду в конце июля. После, разумеется, говорили, говорили все более и более. Он спросил моего мнения о мнс. Я говорил, говорил, наконец, сказал, за что я себя считаю, как необыкновенно высоко себя ставлю, считаю себя призванным к необыкновенным переворотам, и сказал ему, что считаю себя изобретателем машины, которая сама собою движется. Он говорит: «Во-первых, это, может быть, невозможно, во-вторых, мир более нуждается в освобождении от нравственного ига и предрассудков, чем от материального труда и нужд; более нужно развить сердце, нравственность, ум, чем освободить от материального труда». И говорил мне, чтобы я был вторым спасителем, а чем он не раз и раньше намекал. Я не стал ни слова возражать почти против этих слов, однако не в виде возражения, а так, чтобы разговор не возвращался к вопросу о том, что важнее теперь, проповедывание нравственности и любви к человечеству или изгнание материальной бедности, нужды и т. д., — сказал: «Да много ли успехов принесло учение этого существа, которое проповедывало нравственность и любовь? Вот 18 веков, а эти учения и не думали еще входить в жизнь». И тут, хотя я этого не сказал и говорил немного, а более молчал, а говорил он, тут у меня более, чем прежде, ясно явилась мысль, что Иисус Христос

тос, может быть, не так делал, как можно было, т.-е. *contradictio in adjecto* \*, Сог, который может освободить человека от физических нужд, должен был раньше это сделать, а не проповедывать нравственность и любовь, не давши средств освободиться от того, что делает невозможным освобождение от порока, невежества, преступления и эгоизма.

После пришел Чернявский, и Вас. Петр. ушел. Мне было, конечно, неприятно, что я сказал о своей идее, об этом изобретении, потому что и он, во-первых, не верит, смешно, а, во-вторых, считает это ненужным. Что за глупость говорить о чем не следует. Все-таки не слишком жалею, потому что ведь он никому более не может сказать. Конечно, я сказал только потому, что думал, что он поймет всю важность этого и не отвергнет возможности, а он — это ничего, что отвергает возможность, главное — не видит важности этого, и, конечно, я не сказал бы, не проболтался бы, если б не сделалось нового переворота в этой идее за три-четыре дня, переворота, по которому я думаю не ныне-завтра видеть эту машину в моих руках. В среду, между прочим, перед Грефе экзаменом, или, может быть, в понедельник, я несколько часов провел в том, что старался сделать круг и повернуть его посредине так, чтобы он не перетягивался ни которою стороною, и отыскивал, нельзя ли как устроить тот сосуд, в который он должен входить. Когда не нашел такого сосуда, да и увидел, что не смогу прорезать так, чтобы вода не уходила, стал смотреть на падение воды из пруда \*\*, нельзя ли там сделать — провернул пробку, и тоже пробовал, держа ее на игле, но не мог сделать сосуда, поэтому не была она одною половиною в воде, и вода течением своим иногда заставляла ее вертеться наоборот того, как следовало бы.

Итак, я проболтался и хотел, если бы можно, поправиться, сказать, что это я говорил так, но чувствовал тогда и чувствую теперь, что разуверить его нельзя и что говорено это было в слишком серьезном разговоре и слишком серьезным тоном.

Итак, 30-го увидел Срезневского. Тот сказал, чтоб я поговорил сам с ним об этом, потому что Срезневский в самом деле как же может с ним увидаться! — Хорошо; я зашел, во вторник будет, я пришел домой. Во вторник получил деньги на проезд 75 р., был в Сенате, не застал Булычева, был в конторе дилижансов с намерением взять билет, — сказали, что рано; я решился подождать до четверга, не будет ли чего, напр., может быть, будет попутчик, пошел домой, и когда пришел, спал и читал «Две Дианы» <sup>154</sup> до 9, после до часу почти готовился к Фишеру, всего не более 7 часов читал я его записки. В среду взял 50 р. сер. с собою, отправился, сам не зная, что будет, но в намерении ехать — только Вас. Петр. затруднял, как тут быть. Хорошо. (Так как теперь половина 12-го, то перестаю писать.)

\* Противоречие в определении.

\*\* Вероятно, описка вместо сосуда. Ред.

(Писано 6 июня, ровно в 10 ч. вечера.) 1 июня. — Дочитал Фишерово, когда переезжал через Неву. На экзамен вышел раньше других, третьим, кажется, и получил билет последний, 13-й, — о ригористах и т. д. Когда воротился, сказал Славинский, чтоб я у него обедал. Пошел в Сенат к Булычеву, получить пашпорты, — нигде никого не застал. Пошел к Славинскому, просидел до 6. Он сказал, чтоб я приходил прочитать Никитенкины лекции. Хорошо. Пошел к Вас. Петр.; зашел все-таки раньше к Ив. Вас., у которого хотел ночевать. Вхожу — в дверях стоит Тушев; я зашел к нему и просидел почти до 8. Очень был рад, что увидел его, в самом деле он лучше всех наших, кроме, может быть, Нейлисова, да и то нет. Он живет с каким-то чиновником, тоже весьма бойким и должно быть умным человеком. Когда пошел к Вас. Петр., не застал его дома. Идя оттуда, встретил Ол. Як., который велел спросить у Ал. Фед., на что он Анне Дмитриевне, которая просила его к себе. Я зашел и воротился ночевать к Ол. Як., но Ал. Фед. пришел к нему, и мы ушли вместе. Утром к Славинскому, в 3 ч. к Вас. Петровичу. Думал я, что непременно поеду, посидевши у него; попросил проводить себя, и вот мы пошли мимо Владимирского и по Троицкому переулку. Я приставал к нему, чтобы он решительно сказал, могу ли ехать, нужен ли я ему. Он, конечно, не говорил прямо, я все настаивал, спросил, наконец, когда ворочусь, обещается ли он мне, что я его застаю здесь, он сказал, что не знает. «А если так, я не еду», — сказал я. Он промолчал, я повторил это и, наконец, стали говорить о другом. Так я пошел к Славинскому, вместо конторы дилижансов. Пошел от него, когда кончил, к Вольфу, где весьма мило, разменяли 50 р. сер., воротился оттуда в 12, когда двери [были] уже заперты. (Это все в четверг, 2-го.) Отдал Ал. Фед. долг и лег, условившись, что я зайду за ним. Я думал, это будет в пятницу, он — в субботу. Я сказал Вас. Петр., чтобы он принес том, который у него, в университет, чтоб зайти вместе от Никитенки. Ждал его до 12, он принес; вместо Сената, куда не хотелось, потому что думал в субботу привезти свои томы, поэтому что два дня сряду беспокоить? — к Ал. Фед., чтоб он мог покурить. Посидел почти до 1½. Я пошел за Ал. Фед., забыл купить фуражку, увидел с Ал. Фед., что не поняли друг друга, и я пошел домой. В субботу или воскресенье хотел быть Вас. Петр., поэтому я отложил в Сенат до понедельника, а свидание с Булычевым, которое должно было быть 7 числа, на две недели, или одну, когда будет довольно приготовлено. Хорошо. Отдал Любиньке 30 р. сер., другие 30 хочу отдать Вас. Петр., как бы получил их от Булычева; остается почти, когда отдам Фрицу 5, почти только 5 р. сер., т. е. когда куплю фуражку, только 3½. Вечером и утром в субботу писал письмо домой, в котором просил прощения и говорил, что могу еще приехать, если они напишут мне, в конце июня, но это пишу только потому, что знаю, что не захотят уже, а то откуда взять де-

нег? Да, хотел видаться с Панаевым. Письмо это отдал отнести Марье в отделение почтамта. Она понесла в Большую Кушелевку, там его взяли, но сказали, что пойдет оно уже во вторник; это меня огорчило: следовательно, оно не предупредит их, что меня не должно ждать, а придет в тот самый день, когда надеяться будут меня встретить, т.-е. 16 июня, как я написал в своем письме раньше, — это дурно. Я стал тосковать и эта тоска все увеличивалась, что я нанес такое, я знаю, сильное огорчение папеньке и маменьке, и бог знает, нужно ли было еще его делать, так ли я буду нужен Вас. Петр., как мне кажется, — если бы он мог обойтись и без меня. Стал писать в воскресенье другое письмо, о Саше главным образом. Да, как жить и переписывать и сверять написанное Вас. Петровичем? — Решился для этого бывать в университете, а сюда не носить, теперь вижу, что и это отчасти можно. — Большею частью читал «Отеч. записки» и XII том Беккера несколько и переписывал выписки из Собрания законов.

5-го [июня], воскресенье. — Пришел в 12 Ал. Фед., просидел почти до 5, мне было так скучно, я ничего почти не говорил, почти не слушал, потому что нечего, а как сидел без дела, то и нашили мысли о моем поступке относительно своих и напала порядочная тоска, которая все усиливалась и владела мною весь вечер; под влиянием ее писал и письмо. Читал «Отеч. записки» и т. XII Беккера; несколько переписывал.

6-го [июня], понедельник. — Утром взял V и XVI томы и пошел в гостиницу, дожидаясь дилижанса; один поехал, но был полон, просидел с 9 ч. 50 м. до 11 ч. 50 м., т.-е. два часа, наконец, пошел с книгами в контору — места заняты, поэтому я отложил до вторника и был почти рад этому, потому что увидел, что можно идти пешком, поэтому останется целых 25 к. сер. Дописал письмо, в котором повторил то, что писал в субботнем, думая, что оно, может быть, не дойдет. Это писал ровно полчаса. Писал все выписки, кончил V и почти кончил XVI томы, которые и отнесу завтра и там ночью.

(Писано во вторник, 14 числа в 10<sup>1/4</sup> веч.) — Итак, вторник прошел так. В среду пошел снова с двумя томами; пришел, взял вместо них XVII и XVIII — к Вас. Петр.; у него мыли полы, поэтому я только положил их и пошел к Анне Дмитриевне и просидел у нее почти до 1<sup>1/2</sup>; она поручила зайти к Ал. Фед., сказать, чтоб он к ней, а не на дачу; хорошо. Его в департаменте не было, мне сказали, что в университете на диссертации; хорошо, пошел, сказал ему; там Депп защищал по уголовному праву диссертацию на магистра, весьма глупо, кажется. Оттуда к Вольтфу, оттуда вечером к Вас. Петр. Конечно, ночевал у Ал. Фед. Условились, чтоб Вас. Петр. пришел на другой день ко мне для того, чтобы проводить меня и быть вместе со мною на даче. Я взял у него VI том и листик его, но, заходя к Ив. Вас., потерял его, что увидел уже на другой день и чем было огорчился, но ничего, — хорошо, ночевал.



8-го [июня], среда. — Утром пришел Вас. Петр.; ему должно было в 12 [ч.] быть у Залемана, у которого хотел быть Орлов, чтобы переговорить об учителе на фортепьяно для сына. Пошли вместе, — дождик. Он к Залеману, я за фуражкой и сменить книги — там Ол. Як., который сказал, что 25-го срок билета его кончается, поэтому чтобы сдал к этому времени книги. Сказал об этом Вас. Петр., чтобы «Гамлета» приготовил. Зашел к Залеману, глупость, завтрак; пережидали дождя, не могли, пошли вместе с Вас. Петр. обедать, посидели несколько, и к Вольфу. — Были прения 10-го и 11-го о Риме, когда демократические журналы взывали к оружию. Оттуда в 9 [час.] воротился к Ал. Фед., стал пить чай один и просматривать VI том с новыми чернилами, которыми пишу это. Кончил весьма скоро, часа 4, я думаю, или менее.

Четверг, 9-го [июня]. — Пришел Вас. Петр. и мы отправились на дачу. Пришла Марья, говорит — Любинька не в себе; уговариваю ее, — в самом деле, глаза странные; был доктор через несколько времени, ничего не сказал; после обеда сделались сильные припадки, вроде падучей болезни, как у Егорушки, и вместе с этим вроде истерики, кричала, становилась на колени и т. д.; более всего повторяла «Христа, Христа» и т. д. Мне было неприятно, что Вас. Петр. попал в такое время, и к тому же шел дождь; я заставил его надеть галоши свои и сапоги, сам пошел с ним в аптеку, где купил на 50 к. сер. слабительных порошков, деньги были мои — вообще в эти дни у Ив. Гр. деньги все вышли и я должен был истратить все свои, так что когда ныне ворочался, то нашел у себя только 3 коп. сер. в кармане, да на столе 45 к. сер., которые не знаю, брать или нет: Вас. Петр. был тронут; мне было более смешно, что такая чинная, чванная женщина делает такие штуки — становится на колени, бегают и т. д.; я думал, что это кончится легкою горячкою. Когда ушел Вас. Петр., я принялся писать и устраивать дверь в сени, чтобы Любинька не могла убежать.

10-го [июня], пятница. — Провел дома, читая, переписывая и т. д. Да, в воскресенье или понедельник начал было писать эпизод из жизни Гете (любовь к Лили) под названием «Пониманье».

11-го [июня]. — В субботу утром зашел сначала к Славинскому, у него несколько посидел; он хотел купить какой-нибудь очень хороший атлас, это было бы хорошо. Я отнес ему 2 или 3 части Гизо. Шел дождь. Я взял у Ал. Ф. том Собрания законов (а другой был у меня), пошел в Сенат — присутствия нет, и я должен был отнести их в университет, Савельичу, который принял, отнекиваясь. Оттуда к Вольфу, где [читал газеты] до 13 числа и депешу, что все спокойно. Сердце несколько билось, но не так, как в январе и ноябре. Оттуда в 6 ч. к Вас. Петр., откуда в 8 ч. к Ив. Вас., у которого хотел ночевать, — нет дома; я пошел, сам не зная куда: домой, к Ал. Фед. или Ол. Як. — Вас. Петр. сказал, чтоб я остался здесь, я хотел идти домой; он проводил до пристани и простился, я снова с ним почти до Симеоновского моста, и говорили мы, говорили так, как почти никогда не говорили, изла-

гая свои понятия о характерах своих «я» друг другу. Он говорил о своих отношениях к Над. Егоровне. Дело началось так: переходя по камням мимо Симеоновской церкви, он сказал: «Как досадно, когда толкуешь, толкуешь, а никак не можешь вбить в голову людям». Я сказал: «О ком вы это говорите?» — «Да хотя бы о Наде». Я стал защищать, как обыкновенно, наконец, сказал: «Если уж так говорить, то и вы сами отчасти виноваты в том, что она не развивается». И стал говорить: «К чему этот цинизм в выражениях о себе при ней? В самом деле, мне это не нравится»: «Стану ходить так-то (в Плюшкинском халате и т. д.)». — Он стал говорить, что иначе нельзя, и т. д. Мы друг друга мало понимали, т.-е. я знаю, что он понимал не так, как я хотел сказать ему; должно быть и я его не так, как хотел сказать он; и он стал говорить о том, что главное это, конечно, оттого, что охоты нет, а охоты в нем нет почти ни к чему и т. д. Говорил много похожего на то, как я думаю о себе в этом отношении. Я сказал, что если это так, [то и] я так о себе думаю. Он стал говорить, что это неправда. Я сказал, что что он говорит о себе, то неправда, что это только так, при этих обстоятельствах он сдавлен, а ждет только первой возможности вырваться из них и почувствовать снова и охоту, и привязанность ко многому. Говорил я во всяком случае весьма откровенно, так много, как нельзя более, хотя, конечно, не все: ничего не сказал о том, что теперь у меня своя мысль — женитьба и *perpetuum mobile*, хотя последнее он знает и первое знает в общих чертах, да должно быть и в частности почти все знает. Он сказал, что слишком мало чувствует охоты и говорить о чем бы то ни было, хотя бы это даже и занимало его самого, например, о литературе, политике. Я сказал, что почти не имею охоты никогда слушать, но говорить еще [не] отстал от охоты.

Итак, почти в 11 поехал через Неву; со мною ехал какой-то человек с книжками «Записок Географического Общества»<sup>155</sup>, заговорил о нем и сказал, что Голубков предлагает 20 000 руб. на перевод Риттера; странно, как мало кажется это нашим господам, мне кажется — довольно. У нас спали. В воскресенье я читал и писал несколько [из] Собрания законов. Любимька лежала без памяти. Вечером были Анна Дмитриевна и Александр Федорович, я проводил их отсюда, после зашел в парк, где была музыка, но кончилось, и все разошлись.

13-го [июня], понедельник. — Иван Григ. снова не пошел в Сенат, а мне дал письмо к Врангелю и Мих. Павл., в котором просил денег. Хорошо, я зашел в Сенат, нашел там Гедду, но не было Врангеля. Я в университет, взял книги, пошел. Врангель попался, я сказал ему и отдал письмо. Ильина (которого, как мне показалось, фамилия Попов) не было, ушел. Я книги оставил, сам к Вольфу. В последние оба раза вместо булки его пил кофе с 5-копеечным калачом, в последний раз не таясь. Оттуда к Славинскому, с которым толковал охотно о его апатии. Он говорил так, как будто не слишком чужд мысли о самоубийстве; я отклонял его и как сред-

ство привязаться к жизни советовал влюбиться, а для этого верное средство бывать в обществе. Я говорил с охотою, потому что, собственно, это говорил советы ему, а высказывал то, что мне самому хочется, чтобы со мною было.

Оттуда к Вольфу, прочитал, чем кончилось восстание<sup>156</sup>: Ледрю Роллен, Консидеран, Voichot, Rattier и т. д. отданы под суд; этого я не ждал, я думал, не посмеют до Ледрю Роллена. Он поспекал в Лион; не знаю, удастся ли это восстание, скорее нет, но это все равно, он уйдет, здесь пойдет реакция быстро и через год будет у нас антиреакция, и власть шутя не удержится и у Ледрю Роллена, а перейдет к Луи Блану или Распайлю. Ну, да политические свои мнения и ощущения изложу в другой раз, а теперь только скажу, что, конечно, грустно, но так вообще, а не то чтобы мучился неуспехом восстания 13 июня, — ведь это только откладывается дело и, может быть, через реакцию еще быстрее будет торжество, чем без реакции. Все-таки интересно несколько знать, подавят ли Лион. Эх, если б с альпийскою армиею Ледрю Роллен пошел на Париж — и война против нас, Германия к Франции приступила б, и нас назад, — эх, это бы хорошо! Но это я так говорю, ничего этого не будет теперь, кажется, но и этого снова не знаю, потому что не знаю духа народа во Франции, — а жаль. Рима — подлецы<sup>157</sup>. — Это известия до 15 числа.

Оттуда к Вас. Петр., взял Собрание [законов], т. XVII, вечером к Ив. Вас. вместе с Вас. Петр., напились чаю; ночевал прекрасно и в этот вечер и особенно утром просмотрел этот том. Утром вошла убирать немочка, племянница. Мне было не хотелось быть в шубочке Ив. Вас., — но она нехороша, т.-е. нехороша, весьма нехороша нижняя часть лица, когда смотреть в профиль, и поэтому ничего, но все-таки не хотелось бы, потому что мне хотелось бы уважать женщину и не заставлять ее думать, что я не учтив или вообще вроде циника (т.-е. как циник господин перед рабом, барин перед кухаркою) перед ними. Когда кончила почти, пришел Вас. Петр. В Сенате насилиу нашел Ильина, взял XIX—XXI томы, XIX взял с собою; на дороге толковал с Вас. Петр., который звал к себе, я не пошел. Он отнес книги к тестю, потому что я не хотел, чтоб он нес два тома. Когда перекопались, догнал Константин Иванович Черняев, такой веселый, милый, кричал несколько. Он хотел заехать за мною в четверг, когда поедет на дачу. Итак, простился с Вас. Петр. и домой, — это было во вторник, 14-го. Любиньке уже несколько лучше. Я вечером не спал, а писал и написал более половины XIX тома; думал, что если кончу в среду, буду в Петербурге, чтобы сменить книги, но знал, что не кончу, да и не сильно хотелось сменить.

15 июня. — Утром большею частью писал из Собрания законов. Вечером ходил в парк Лесного Корпуса, где видел Сидонского, Плетнева с женой и дочерей Павского (которых, впрочем, собственно не видел). Когда шел оттуда, меня догнал Ив. Гр. Я спросил его, что доктор говорил о Любиньке. Он отвечал, что теперь со-

вершенно ничего, через несколько дней она совершенно поправится, что это было от прилива крови и теперь ее можно считать почти выздоровевшею, т.-е. нельзя сомневаться, что болезнь миновалась. Завтра жду Черняева, который хотел заехать за мною, чтобы вместе быть в Мурина. В пятницу непременно должен быть в городе. Я думаю, придется и ночевать там у Ал. Фед. или Ив. Вас.

Глупости. Суета суетствий, всяческая суета...

(Писано это 25-го.) В субботу вечером не мог хорошенько рассказать всего в порядке, поэтому сделаю общий очерк и важные события.

Половину времени пробыл в городе, все писал; другую половину — дома, снова писал. Обедал раз у Вас. Петр., в другой раз у Славинского, остальные разы не обедал, а у Вольфа съедал калач пятикопеечный. Ночевал обыкновенно у Ал. Фед. Около 18 числа я был у Вас. Петр. вечером. Когда Над. Ег. хотела идти к своим, он все не шел и, одним словом, всл дело так, что рассердил меня. Пошел вместе со мною, но воротился, чтобы не слишком огорчать ее. Дорогою оправдывался, я молчал. На другой день пришел к нему с книгами или за книгою, он стал при-ставать, — обедал ли я. Я был голоден, а вчера еще рассердился, и когда он пошел со мной, я более молчал, был ужасно не в духе, а когда пришел к Ал. Фед., долго молчал; наконец я, собственно, чтоб рассердить Вас. Петр. почти, завел спор о том, что он говорит неправильно «то», напр., хоть так: «Я эту книгу не читал, я-то хотел, да скучно». Он, как я и ожидал, стал спорить. Я не вел вперед спора, а только поддерживал его. Он ушел при Ал. Фед., когда после Ал. Фед. ушел, я тоже, — к Вольфу; оттуда пришел, — пришел Чернявский, после Лилиэнфельд, которого мне было несколько приятно видеть, и снова начал спорить с ним, более всего о браке, положении женщины. Я говорил в духе ультра Жорж Занд, но он в самом деле отстал и теперь думает, как говорит: «Назначение женщины любовь, между тем как назначение мужчины — между прочим и любовь». Просидел до половины 1-го, и я думал, я так ему надоед, как и Ал. Фед.-чу (последнему несомненно, я думаю), хотя и от него зависело поддерживать разговор и более от него, чем от меня.

Ходил раз как-то (должно быть, 12-го в воскресенье, а может быть и нет) прогуливаться в сад Лесного института, собственно затем, чтобы посмотреть на женщин, а между прочим и затем, не увижу ли Никитенку и не заговорит ли он со мною. Ни того, ни другого, но видел Плетнева с женою, которую не успел рассмотреть, а рассмотрел только ныне; ныне же видел и Никитенку. Он не заговорил со мною, — это на меня не произвело почти никакого впечатления, но только почти, потому что некоторое произвело. Да вот как это было. Вас. Петр. не пошел проводить Надежду Егор. в пятницу или в четверг, не знаю уж, только так, потому что на другой день, когда я голодный пришел к нему, я был расстроен, между прочим, и тем, что был у Панае-

ва — а я был у него, кажется, в субботу, 18-го, — да, так, в субботу, — нашел, почему: это потому, что в контору я заходил узнать, наконец, о своей статье, которую думал получить назад. Мне сказали — «справьтесь в редакции», вот теперь я собрался почти через две недели, а может быть, и более, может быть, и менее. Он сказал, что спросит у Некрасова и приготовит ответ; обошелся, разумеется, без невежливостей, но так небрежно, что я не то что оскорбился, потому что особенно оскорбительного ничего не было, а ужасно как-то неприятно. Вот в субботу-то я и толковал с Вас. Петр. о грамматике и, признаюсь, Schadenfreude\* какая-то была у меня, когда он занялся этим вздором: «Вот ты умнее других, а все-[таки] и ты такой же, как другие, все-таки тебя можно заставить быть не умнее других». — Итак, я оттуда пошел в воскресенье 19-го поздно, в 4 часа, потому что дописывал книги у Ал. Фед., пошел и думал зайти к Славинскому; зашел, потому что пошел дождь; принужден был посидеть до 6 [час.] и снова был скучен и весьма не в духе (может быть, даже отчасти этому содействовали и известия об окончательном уничтожении 13 июня и бегстве Ледрю Роллена и т. д., только едва ли, — я как-то холодно принял эти известия); оставил у него «Отечественные записки», но вместо того взял Хрестоматию Курца, которую дали ему в награду в гимназии и которую я видел у него во время прошлой вакации. Это хорошо. Как пришел, начал читать, и воскресенье прошло большею частью в том, что читал это и «Отеч. записки», и главное, что я читал, был «Nathan der Weise»<sup>153</sup> — хорошо, только после напишу о впечатлении, какое производят на меня эти разговоры или эта драматическая форма в части своих произведений, а теперь иду ужинать, по моим часам ровно 11. Теперь дописал до того времени, которое я очень хорошо и твердо знаю в хронологическом порядке. Итак, до следующего раза. Вот я все небрежнее и небрежнее становлюсь со своим дневником.

20-го [июня], понедельник. — Не знаю, что я делал, должно быть, читал «Отеч. записки» и писал что-нибудь для Булычева (да, пишу я 29-го в среду в 50 минут 4-го часа, нет — после).

21-го [июня]. — Отнес «Отеч. записки» и «Гамлета» (за которого опасался, потому что он не в переплете, а другой экземпляр, купленный Вас. Петр., потому что прежний потерялся) Крашенинникову. Оттуда пошел к Вольфу, оттуда к Вас. Петровичу. В это время до следующего вторника я все более всего писал и переписывал для Булычева и переписал довольно много, но вдруг, зайдя к нему, услышал от швейцара, что его переводят в Москву. После видел его в Сенате; он сказал, чтобы я виделся с Срезневским. Я думал, что дело решительно расстраивается. Что делать? Кажется, говорю себе, единственное средство подерживать Вас. Петр. — это писать в журналы. Хорошо. Допи-

\* Злорадство.

сал до 25 тома и переписал все это, отнес эти книги, но новых не взял, потому что дожидался, что скажет Булычев мне через Срезневского. Я надеялся получить от Булычева денег, которые нужны Вас. Петр. Итак, все писал. Но вечером в воскресенье ходил снова в парк, собственно, чтобы видеть Никитенку (и не видел его) и женщин, — также не видел таких, которые бы того стоили. Переписано было к утру понедельника до половины XXIV тома. Поверить пришел в университет, где встретил Дмитриева, который сказал, когда я выходил и встретил его на крыльце, чтобы я зашел на выставку. Я пошел, чтобы от нечего делать, а между тем мало-по-малу завлекся смотрением на женщин, так что пробыл там более двух часов, с часу до трех. Обошел в первый раз, но должен был воротиться к входу за книгою «Отеч. записок», которую нес Вас. Петр., и тетрадью выписок к входу, и снова пошел, собственно чтоб смотреть на женщин. Когда я был около того места, где были разложенные жестяные вещи, статуэтки и т. д., — это так — нет, не умею сделать плана (иду обедать).

Продолжаю после обеда, выпавшись. — Наконец, в том месте, где были разложены хромолитографии с той стороны (весьма плохие), с другой — подносы жестяные, клеенки, статуэтки, в том месте, где оканчивалась первая двойная галлерея и начинается особая комната с великолепными стеклянными, фарфоровыми, бронзовыми вещами (из которой ход вверх), я увидел одну девушку, весьма еще молоденькую, должно быть, 16-ти, может быть несколько даже менее, лет: довольно высокого роста, по крайней мере, много выше Над. Ег., тонкая, весьма стройная, весьма белое лицо, глаза прекрасные, черты чрезвычайно правильные, умные, несравненно лучше всего, что было тут. Она была с матерью или теткою, они шли весьма медленно, останавливались смотреть на все; она мало смотрела, потому что в самом деле смотреть было не на что, — это уже весьма много говорило в ее пользу, — равнодушно шла за ними без всякого кокетства; одним словом, мне показалась весьма хороша и я пошел вслед за нею, то немного опережая, то немного отставая, и совестясь, чтоб она не заметила, и краснея в душе перед нею, а может быть и так. Это продолжалось сажен 10—15 и, я думаю, минут 5 или несколько более. У этих хромолитографий они дошли к тому месту, где стоял я, и она стала почти возле меня, но на меня не обратила никакого внимания, как и вообще шла весьма просто, не церемонясь и не кокетничая, одним словом, мне весьма нравилась и я бог знает сколько времени готов бы был ходить вслед за ними; но я, перегнав их, перешел в следующую комнату и стал ждать их, — они не входят; я долго ждал, наконец, хотел выйти снова в первую галлерею, — мне сказали, что нельзя. Я снова остался ждать их. Долго я стоял и ждал тут, я думаю, больше четверти часа, но не понимаю, каким образом я пропустил их, или они воротились назад; и я наконец пошел, чтобы выйти, и когда вышел, пошел к Вольфу. Я весьма жалел, что ушел так, не взглянувши в по-

следний раз, не наглядевшись досыта от своей неловкости, глупости или от нерешительности, — должно было, несмотря на сторука, выйти вон и посмотреть, что с ними, куда они делись. Оттуда к Вас. Петр., от которого в 10 [час.] пришел домой.

28 [июня], вторник. — Должно было отнести письмо, и так как Ив. Гр. не пошел, но должен был идти я, пошел новою дорогою, направо от дома, сзади мыс \*. Переходя тут ручеек, нагнулся пить и потерял наконецник ножен шпаги; воротился искать, — мужик подал. Я сказал, чтоб он пошел со мною до города, где я разменяю свой целковый, который взял у Любиньки. Шли, стали говорить, я стал вливать революционные понятия в него, расспрашивал, как они живут, — весьма глупо вел себя, т.-е. не по принципу или по намерению, а по исполнению, ну, что делать? Переехали мы вместе; у меня болели зубы, я купил табаку, зашел вычистить к Ал. Фед., в 2½ отсюда и около 4 был снова дома. Стали обедать, пришел Вас. Петр., просидел до 9. Когда я пошел проводить, спросил 2 р. сер. У меня от рубля оставалось только 54 к. сер., я ему все отдал, не оставив себе даже чем заплатить за переезд, и сказал, что принесу еще завтра или в четверг утром.

Среда, 29-го [июня]. — Читал «Современник» и т. д. и писал, и дописал для Булычева. Шел все дождь, к 5 [часам] унялся, и я пошел в город через Воскресенский мост к Славинскому, у которого просидел до 9 [час.] и надоел ему. Пошел к Ал. Фед. и у него дописал. После лег спать; его не было. Ночью я горевал, что если не будет, как я буду с Вас. Петр. Пришел, к моему счастью, я взял 6 р. сер. — 3 для Вас. Петр., 3 р. для того, чтобы на один [рубль] съездить в Царское увидеться с Срезневским, другой отдать Любиньке. — Итак, в 9¼ вышел, в 10 был у Срезневского, у которого просидел вместе с Дмитриевым около 20 минут. Говорил он о политике. Булычев заезжал к нему на дороге, сказал, что он думает возвратиться сюда, поэтому хотел продолжать. Срезневский напишет ему, получит от него ответ, который должен быть с деньгами. «До того времени, — говорит, — продолжайте исподволь это». Оттуда к Вас. Петр., которому отнес [за] 10—24 июня «Débats», через несколько минут встал и ушел, сказавши про Булычева; чтоб отдать 3 р., должен был вызвать его, — так глупо. Оттуда к Вольфу, чтоб отдать 20 к., которые был должен, и, конечно, должен был взять еще, так из 3 руб. осталось у меня только 42 к., потому что, чтобы разменять для точной отдачи Любиньке 2 р. 15 к., которые я ей был должен, я купил на 3 к. сер. хлеба белого и съел дорогою. Теперь снова хочется на выставку, чтобы снова смотреть хорошеньких, и перед глазами та девушка, — чтобы увидеть подобных ей, т.-е. таких же милых, как она. У Вольфа просидел до 4 [часов]. Сидел в последний раз надолго, как думал, потому что, для того чтобы сбересть вообще все деньги для Вас. Петр., решился не ходить туда, —

\* Неразборчиво. Ред.

во всяком случае до того времени, когда будет снова довольно много денег, что будет не раньше, как через месяц или полтора; но теперь, когда подумал, что не буду знать новостей, как-то тяжело. Воротился домой в 6 час. и так как целых 3 дня сряду каждый день ходил в город, устал-таки весьма, т.-е. в икрах усталость и почти весь вечер спал, так что не ужинал, т.-е. я воротился в четверг 30 (это все писано 1 июля в 5 час.).

## Июль месяц

1 [июля]. — Вот остается только уже 12 дней до моего рождения. Решил вести журнал с большею правильностью. Срезневский приглашал к себе, поэтому я завтра условился быть вместе с Дмитриевым в библиотеке и поехать вместе, когда будет можно. В библиотеке стал делать выписки, после в Сенат, взять новых книг, если будет можно, скорее нельзя, если нет — на выставку; если возьму, — у Ал. Фед. просмотрю несколько, может быть, обе, которые возьму. Переезжать буду экономно, как и сделал в последние разы, т.-е. дожидаясь, чтоб не платить более одной копейки сер., совестно раньше было, а теперь ничего, решительно ничего. Ныне утром почти два часа переписывал список членов Национального Собрания французского на особый листок. Читал Беккера X том и несколько Курца, после обеда спал до 5 час., после стал писать это.

После обеда почти все время провел в различных пробах того, как удобнее составлять словарь к Нестору.

(Писано 3 [июля] в 11 ровно вечера.) Наконец-таки выбрал, как писать словарь к Нестору; писал несколько; лег в 12 — не спится, не спал до 3 или более, отчасти писал Нестора (которого написал около 80 строк с 6 стран.), отчасти читал Курца, которого дочитал до Гете, которого начал несколько читать. Нехорошо, когда не спится; это тем более было неприятно, что решился на другой день быть в библиотеке и вот знал, что встану поздно.

2-го [июля], суббота. — Проснулся в 10, пошел в 11 в университет, пришел в час, до 2 просидел, с Дмитриевым так и не говорил, ждал, чтобы сам заговорил о поездке, а то что наскучивать. Оттуда на выставку, где не было ни одной девушки хорошенькой; за одной, правда, ходил, но дрянь. Оттуда в более чем 3 [часа] к Вольфу: так не терпится, хоть думал не быть. — Рим взят. В пять [час.] к Вас. Петр.; на дороге пошел дождь, а я ужасно захотел есть, купил на 3 коп. белого хлеба, дорогой съел, ничего. В 6 или более несколько от него; занес несколько листков «Débats», которые прочитал он, к Славинскому, собственно потому, что не хотелось, чтобы они мешали мне писать словарь, «Современник» — Ал. Фед., домой, где писал, но рано лег.

3-го [июля], воскресенье. — Встал в 10 почти, кажется весь день писал до 8 вечера и написал до (написавши 15 страниц, которые были переверочены) половины 4 строки 15-й страницы, всего около 400 строк, и в 8 час. в парк, чтоб встретить Ники-



тенку. Встретил раз и не успел даже поклониться; он тотчас, должно быть, ушел, потому что более не видел его, поэтому несколько неприятно. Когда шел оттуда мимо здания корпуса, пришло в голову, что ведь цифры (строка и страница) можно не писать, а сделать для этого из дерева буквы типографские, это будет короче, потому что тогда буду только печатать вместо того, чтоб писать. Пришел и вздумал, что можно купить их лучше или взять у Ол. Як., поэтому завтра должен быть в городе. Пришел домой, стал делать их, сначала 8 из дерева, после из свинца, — свинец не держит чернил как следует, — после снова из дерева. Если нельзя будет достать настоящих букв или те не станут печатать, можно будет сделать. Теперь остается работы списать, чтоб до того места, где начал словарь в прошлом году (69 страница, княжение Изяслава), 1 800 стр., ровно 60 часов работы. Решил, что к воскресенью следующему будет списано; теперь решил, что спишу до 400 строк — полторы строки недостает, поэтому снова несколько попишу (половина 12-го). Почти половина 12-го; дописал до 7-й строки, разлиневавши новый лист, и, следовательно, теперь 298 плюс 97 плюс 7 равняется 402 строки (то было  $\frac{1}{2}$  пятой, а не 4-й строки). Эти дни читал более Беккера и ныне 14-ю часть его сначала, дочитал почти до 70-й стран. и теперь буду читать его снова. Ложусь.

(Писано 4 июля, в 11 вечера.) Ночью вставал и — как это на даче делал уже, должно быть, два раза, — опять-таки пошел за своим подлым, негодным делом. Анна лежала к стене и была совершенно закрыта, ноги были совершенно также закрыты, поэтому я должен был на руках повиснуть над нею и уже спускался вниз всем телом, как Марья проснулась и сказала в просонках: «Анна! Анна!» Я вышел, но неловко и с некоторым шумом и убежал, ужасно перепугавшись. Мне казалось, что непременно она заметила, что это такое значит и что это был я, но, прислушавшись, я увидел, что она не просыпалась; однако, несмотря на это, все утро был в самом тоскливом духе и теперь, едва разделся — дал зарок, больше от страха, чем из чистых побуждений, которые, однако, всегда есть у меня в этом отношении, никогда больше этого не делать, и при этом перекрестился. Не знаю, удастся ли. Дай бог!

Пошел в город, более за буквами, чем за письмом. В библиотеке читал Эрша Philosophie, а сначала Daniel; первую статью должен дочитать в другой раз. Туда и оттуда идя, встретил Петра Ив. Черняева. Оттуда пошел к Ол. Як., его не было, поэтому к Вангеберу \*, у которого на 50 к. сер., которые одни у меня были, купил 15 цифр. Идя оттуда, встретил Пелопидова, который позвал в Академию, — неловко было не идти; после нельзя было не позвать его, поэтому пригласил, он просидел до 9. При нем пробовал я печатать и выходило хорошо. При нем сделал и чернила

---

\* Неразборчиво. Ред.

из масла (горчичного) и саж. После него все делал ручку, в которую вкладывать, теперь пробовал (15 страница, строки 8—11), и выходит скверно и медленно, так что должно будет бросить, а день потерян, но ничего, более буду делать завтра.

5 июля, ровно 11 час. вечера, вторник. — Утром шел большой дождь. Ив. Гр., который объявил вчера, что отнесет письмо ныне, сказал, что он не пойдет. Я пошел отнести его почти без неудовольствия; вздумал купить цветных чернил или карандашей, чтобы с помощью их отмечать (линия) страницы и строки. Пошел в пальто старом и фуражке; переезжая, толковал с солдатом. Когда шел по Морской, мне показалось, что кто-то с другой стороны кричит мне, — я несколько вспыхнул за свой наряд и пошел далее, не видел, звал ли кто в самом деле, или показалось. Купил красных и синих чернил по 15 к. флакончик и бумаги полдести за 25 к. Взял у Любиньки рубль сер. Пришел, стал пробовать чернила, думал перемешивать их, так, чтоб вышло 5 из 3 (черные, красные, синие, синие с красными, красные с черными), но смесь вышла такая, что не разберешь, поэтому оставил и стал придумывать, как обойтись только с тремя родами и, наконец, придумал. Сначала показалось, что времени этим не выиграешь, теперь кажется — выиграешь, и с 3 или  $3\frac{1}{2}$  все писал один лист и разграфил на страницы и линейки; после писал так, а разграфлю после все вместе, написал до 23-й страницы  $26\frac{1}{2}$  строки, — следовательно, всего (начал с 16) около 240 строк. Остается теперь до начала прежнего словаря 1550 строк. Завтра хочу непременно списать столько, чтоб осталось только 1000 строк, т.-е. до конца 39-й страницы. Теперь ложусь. Читал Беккера начало 14-й части. Думал о Вас. Петр. несколько, думал и [о] всем другом, о чем обыкновенно, и хоть не слишком грустно было, но не без того, главное от двух причин: 1) у Вас. Петр. нет денег и 2) не поехал к своим.

6-го, среда (писано в 12 ч. 8 м. вечера). — Так и дописал, как хотелось, даже несколько более, чтоб кончить лист; писал, почти не вставая с места; успел дописать до (кончил) 10-й строки 40-й страницы; следовательно, списал теперь я 1051 плюс 219 плюс 10 строк равняется 1280; осталось 954, т.-е.  $\frac{3}{7}$ , а списано  $\frac{4}{7}$ . Тосковал несколько снова о том, о чем и вчера, так что думал, когда взглянул на конец того, что это писано ныне. — Снова стало сжиматься сердце. Не от образа ли занятия это, или от времени года? Ложусь. Завтра, если порядочная погода, пойду к Вас. Петр.

7-го [июля], четверг. — Поутру все время писал и думал после обеда (это писано тотчас после обеда) сходить в город, чтобы воротиться ныне же. До обеда написал [до] 24 строки 46-й страницы, т.-е. около 214 строк. Теперь идет мелкий дождь и, кажется, идти будет нельзя; не знаю как. — Половина 3-го.

(Писано в субботу в 1 ч. 5 м. До того, как начал снова писать по 8 столбцов, ровно 24 000 слов выходит.)

(Писано в воскресенье, в 10 ч. 25 м. вечера.) Пошел-таки в город, хотя не совершенно еще просохло, к Вас. Петр., — ничего. Туда пришел Ив. Вас., и мы пошли с ним. Я хотел домой, потому что торопился кончить, что начал, но вместе хотелось узнать, и когда можно видеть здесь Срезневского, чтоб не трагить целкового. На дороге встретился Ал. Фед. Мы пошли все по дороге к нему. Я хотел домой, однако он просил, чтоб я остался, и я остался; пошел к Иванову, а он в баню. У Иванова предубеждения против него рассеялись и буду снова бывать у него, если буду только бывать скоро в кондитерских; выпил чаю там. Проговорили до 3 почти часов; я не с удовольствием и сначала несколько хотелось спать, но нечего было делать. Утром к Срезневскому — бывает он здесь в четверг — это дурно, почему не пошел утром накануне? Скверно, неделя проходит так. Итак —

8-го [июля], *пятница*. — От Срезневского хотел пойти к Панаеву, однако не пошел, собственно потому, что знаю почти наверное, что или нет ответа, или получу назад статью, не стоит. В «Современнике» начали печатать *Wahrheit und Dichtung* Göthe<sup>159</sup> и теперь почти нечего уже писать эпизод его и Лили любви. Пришел домой к обеду, до 7 спал, после писал; после ходил к Филиппову, которого не застал дома.

9-го [июля], *суббота*. — Все утро до 7 часов писал. С 2 до 3 был Филиппов, говорил несколько анекдотов (конечно, большею частью похабных). Вечером пошел в сад, где, сказал Филиппов, будет музыка. Нет ее и никого. Воротился, хотелось на двор, но играли дети хозяйки и неловко, поэтому я пошел в кусты, которая за домом, и сделал там. Потом занялся ящерицею, которая там [была] в луже, вдруг кричит мне Марья. Я думал, что верно потому, что пришел Ал. Фед.; думал, не случилось ли чего с Любинькою снова, пошел. Когда стал выходить из кустов, на балконе избушки (хозяйской, должно быть) стоял какой-то мужчина и, думая, что я там нагадил, стал ругать (сказал — «мерзавец»); я плюнул, сказал — «тьфу ты, дурачина» и ушел. — Почему не стал ругаться, не прижал его? Отчасти потому, что спешил домой, отчасти потому, что не хотелось, а отчасти, кажется, и потому, что струсил, или, лучше, по своей обычной робости, боязливости, подлости; но решился после воротиться и разделаться с ним, т.-е. думал, что может быть придется и поколотить, но тут в воображении явилось университетское начальство, а причиною смущения было отчасти то, что мне вздумалось, что затем Марья звала меня, что это он велел ей вызвать меня. Тогда я хотел спросить ее и если так — воротиться в комнаты к нему и разделаться. Пришел — она говорит: «Ал. Фед. пришел». Я вошел, ничего не сказал ему, все-таки тосковал, что обида остается так, и думал все идти. Однако, не пошел. Он остался ночевать; мы ходили гулять с ним в поле; я тосковал об этой обиде, — главное, что это может разнестись, что я не разделался, что я позволяю банить себя.

10-го [июля], воскресенье. — В 11 [ч.] утра Алекс. Фед. ушел. Я дописал Нестора (оставалось только 30 или 35 строк) и начал разлиnevывать несколько до обеда, несколько после обеда (более) и вместе придумывал извинение перед собою (хотя решительно этому не верю) и главное перед другими, в случае, если узнают, что меня ругали: я думал, скажу, что он пьян, поэтому не стал связываться. Но это неприятно подействовало на меня, т.-е. мое поведение: я показался себе подлецом, трусом, робким, боязливым, ужасно скверно поступил. После обеда после чаю пошел в парк и в Беклешов сад, где была музыка. Одна, как мне показалось, встретилась весьма хорошенькая, почти такая, как на той выставке, но только мельком, и в другой раз я ее уже не встретил; это было в парке; там пробыл я от 7½ до 10 почти отчасти с Филипповым. Ждал Ол. Як.; разлиnevвал около должно быть 15 страниц, так что теперь остается всего  $11 \times 24 + 9 \times 8 = 264 + 72 = 336$  столбцов, из  $74 \times 8 = 592$ . Разлиновка выходит довольно хорошо, но у меня к ней как-то не лежит сердце, как-то выходит слишком безобразно. Несколько читал Курца (Рюккерта *Seinen Traum Lied wob, Frühling kaum Wind schob*, и т. д. Весьма понравилось, так что списал на задней стороне разграфки). Завтра схожу за письмом, зайду может быть к Вас. Петр.

55 м. 11-го. Ложусь.

Вот всего два дня только до моего рождения, т.-е. только один день. Тогда начну новую тетрадь. Что-то будет в тот год — в этом году я только более и более запутывался.

11 июля 1849 г., 10 ч. 28 м. вечера. — Утром пошел за письмом; надел старые брюки и сапоги, отчасти для экономии, отчасти чтоб не зайти никуда, и не надел шпаги. Чтоб не зайти к Вас. Петр., пошел по новой дороге, налево из калитки, по той, которая идет как бы на Смольный, вышел к Арсеналу, — дальше той дороги, по которой ходил обыкновенно. В университете 25 р. денег и письмо от Сашеньки. Не знаю, что писать; повторяю, должно быть, что написал раньше. Дай бог, чтобы он приехал сюда, мне кажется, это было бы лучше. Так как деньги, то должен был к Вас. Петр. Если только мне прислано, думал я, утаю от Терсинских это письмо; деньги — Вас. Петр., отдавши Ал. Фед., что должен. Нет: ей 15, мне только 10 руб. Хотел не разменивать, но зашел к Вольфу и выпил кофе, чтоб разменять, посидел там более 3 часов, почти до 4, после пошел к Вас. Петр., от него в 5 к Ал. Фед., у которого посидел с час, а после, когда он уж пришел, он проводил меня до пристани. Я проезжал 2 к. сер. — одну в университет от дворца, другую сюда от Гагаринской пристани. Ему отдал 9 р. сер. Когда сидел у Ал. Фед., говорили обо мне, тоже когда шли. Когда пришел, несколько времени разлиnevывал. Ив. Гр. сказал, что умер Пластов — дай бог ему царства небесного! Я перекрестился, и жаль умом, но на сердце никакого впечатления — даже не знаю, кажется, не пойду

завтра, чтоб узнать, когда его будут хоронить. Верно, завтра же. Прекрасный был человек. Умер от холеры. Вот и теперь уже несколько товарищей моих по семинарии умерло, а каково-то будет в старости слышать: тот умер, тот умер. Папенька пишет в письме, чтоб я встретил свой день рождения молитвою — без этого напоминания я и не подумал бы о ней, да и теперь едва ли буду в церкви, а следовало бы пойти в город за этим и чтоб присутствовать при похоронах Пластова, бедного моего Павла Николаевича.

Так вот чем заключается этот первый год — известием о смерти близкого ко мне человека! И который был гораздо здоровее меня! Дай бог ему царства небесного! Дай бог! Он был человек добрый, хороший и его заслуживал. Хотя и называли его кутилою, но это по моему мнению несправедливо.

Должен написать что-нибудь о своих мнениях и отношениях.

1. Религия. Ничего не знаю; по привычке, т.-е. по сросшимся с жизнью понятиям, верую в бога и в важных случаях молюсь ему, но по убеждению ли это? — бог знает. Одним словом, я даже не могу сказать, убежден я или [нет] в существовании личного бога, или скорее принимаю его, как пантеисты, или Гегель, или лучше — Фейербах. В бессмертии личное снова трудно сказать, верю ли, — скорее нет, а скорее, как Гегель, верю в слияние моего я с абсолютною субстанциею, из которой оно вышло, сознание тождества я моего и ее останется более или менее ясно, смотря по достоинству моего я.

2. Политика. а) Теория — красный республиканец и социалист; более приверженец попрежнему (более по преданию \* и привычке, но нет — кажется, и по сочувствию) Луи Блана; если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т.-е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.

б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы многим пожертвовать.

3. Наука. — Занимаюсь Нестором, более ничего не делаю; машину свою хочу попробовать в искаженном хотя, т.-е. в упрощенном самом виде.

4. Литература. Теперь ничего нет в голове; поклоняюсь Лермонтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего.

Отношения: к Вас. Петр. все прежние. На Над. Ег. смотрю как на обыкновенную, добрую, простую женщину, которая в иных случаях, т.-е. почти постоянно, слишком мало образована и слишком не в образованном обществе жила. К Терсинским решительно

---

\* Неразборчиво. Ред.

миролюбив, кроток, нет и тени прежней вражды; Ивана Григорьевича жаль, что так мало имеет денег; совестно, что обкрадываю их, как и раньше было совестно.

Мысли: машина; переворот. Что касается собственно до меня — более всего, несравненно более всего, женитьба, любовь, иначе сказать — я хотел бы, чтоб у меня любовь была единственная, чтоб ни одна девушка и не нравилась мне до той самой, на которой предназначено мне жениться, чтоб и не сближался я до того времени ни с одной и не думал ни об одной; об этом думаю постоянно. Надежда на Нестора, т.-е. словарь к нему — следовало бы, чтоб его напечатала Академия. О саратовских думаю несколько более прежнего, но все не столько, сколько заслуживает их любовь ко мне, решительно не столько; я много виноват перед ними и мне их тоже совестно.

Итак, надежды или желания: а) сейчас — пусть поправится Вас. Петр., он выйдет из своего затруднительного положения, образует Надежду Егоровну; я также выйду, поеду на следующий год в Саратов; б) через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана, и женат, и люблю жену, как душу свою; в) надежды вообще: уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды, — все будут жить по крайней мере как теперь живут люди, получающие в год 15—20 000 р. дохода, и это будет осуществлено через мои машины.

Аминь, аминь.

Эта тетрадь кончена в 5 м. 12-го часа веч., 11 числа июля.

18<sup>VII</sup><sub>11</sub> 49

Николай Чернышевский

Итак, здесь 44 страницы и в первое полугодие 100 стр., следовательно, всего 144.

## ДНЕВНИК 22-го ГОДА МОЕЙ ЖИЗНИ

(1849—1850)

### Июль месяц

12-го [июля], вторник. — Вчера (начал писать это в 9 м. 12-го веч.) стал ложиться спать, как вдруг почувствовал ужасное стеснение в груди, как будто б на ней лежало пудов 20 или 30 тяжести, но слабости никакой, так что от давления этого было весьма больно и срывался голос, так что я мог говорить только отрывочно вскрикивая, да и то было едва слышно, так слабы и глухи были звуки; время от времени вдруг сердце начинало биться как живчик, — боль та же самая, которая была, когда бывал у Чистякова, но несравненно сильнее, так что едва ли бы скоро прошла сама, и трудно было переносить ее. Я побежал пить воды, при-

бежал снова в свою комнату и бросился с глухими стонами на диван. Прибежали, стали давать пить горячей воды, тереться дали мне горчичным маслом, стали ставить самовар, — наконец, меня вырвало говядиною, которую я ел за ужином, и мне тотчас стало гораздо легче. Потом выпил два стакана пунша, прикладывал горячие салфетки, и прошло, я думаю, через полчаса после того, как началось, а когда началось и прежде чем вырвало, я думал: ну, верно, это аневризм и лопнула вена, потому что казалось, как будто заливается сердце кровью или что-то в этом роде. Не могу сказать, чтоб мысль о предстоящей через несколько минут, по моему мнению, смерти сильно подействовала на меня, — так, как вообще, головою думал, что это весьма жаль, а чувствовать скорби или тоски чувствовал мало, но сильнее всего была мысль, что умру я такою смертью, что несвободно будет употребление рук для письма, не смогу и говорить, не дожусь никого, напр., Вас. Петр., которому можно бы передать словами, если уж нельзя написать, и машина моя снова исчезнет на бог знает сколько времени для людей, бог знает, скоро ли найдется другой человек, которому придет это в голову, — эта мысль была сильнее всего.

Любимька весьма хлопотала, и мне было совестно, что я так холоден и бесчувствен был во время ее болезни. К часу все совершенно прошло. Когда она была тут, я, чтоб не так было скучно (а может быть несколько и под влиянием рома, но нет), начал рассказывать ей о хашише и ассасинах, что, однако, кажется, и не кончил. Встал, выпил снова стакан пуншу, хлеба не ел с чаем, только несколько съел около 12-ти; обедал мало, вечером тоже почти не ел хлеба с чаем, также почти не ужинал и есть почти не хотелось и теперь почти не хочется — желудок еще не совершенно хорош. Большую часть времени провел в том, что разлиневывал, отчасти и читал Курца. С 3 до 6 спал; в 8<sup>1/2</sup> пошел смотреть шар, который спустился в парке, там пробыл около часу и оттуда воротился с Филипповым, для которого посылаю за табаком. Разлиневал до 55-й стр., так что теперь остается работы на 2<sup>1/2</sup> часа или этак. Завтра вечером хотел идти, чтоб ночевать у Ивана Васильевича, а утром дожидаться Срезневского на железной дороге. Теперь 29 минут 12-го, ложусь.

(Писано 14-го [июля], в четверг, в 10 ч. 10 м. вечера.) Утром долиневывал 13-го числа, вечером решил идти в город ночевать, чтоб утром дожидаться Срезневского на железной дороге. Так и сделал. Ушел около 5 после обеда, подождавши, что выйдет, не станет ли снова теснить грудь, — и точно, около 5 вырвало. Пришел к Славинскому, они играли в карты, несколько времени и я играл за отца, и тоже, как он, проигрывал. От них зашел к Иванову и уж не успел зайти к Вас. Петр., а вместо того — к Ив. Вас., отнес книгу его (Разговоры, которые брал Ив. Гр.) — его не было дома, поэтому я не мог ночевать, а должен был воротиться к Ал. Фед. От него утром —

14-20 [июля] пошел на железную дорогу. Пришел — только что пришла машина, опоздал [на] 2—3 минуты, поэтому не мог знать, приехал ли Срезневский (говорить хочу я с ним о Несторе), и пошел к нему узнать — его нет. Я снова на машину, зашел к Вас. Петр., посидел до 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> и пошел дожидаться; дождался — нет. Снова к нему: говорит слуга — нет. Следовательно, не будет, поэтому должно ехать к нему, и я пошел домой, чтоб взять денег у Любиньки. Пришел домой, уставши от жара, а не от дороги, поэтому теперь и не чувствую решительно ничего, хотя исходил никак не менее 4 часов. Пообедал весьма хорошо, потом читал, потом строил пробу своей машины (около 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> или 9 вечера, когда Терсинские ушли гулять, но не потому, что ушли, а так пришла охота) — сделал коромысло, надел на концы два равновесные деревянные чурбачка, проделал дыру в лагуне старой, распиленной на-двое, которая служит вместо стула Марье и которая служит, чтобы ставить на нее чашку, в которой умывается. Продел туда коромысло, в центре которого (но не совсем, так что перевес был на стороне, которая в лагуне) вддел поперек иголку, так чтобы не проскользнуло оно, налил воды, и чурбачок, который лежал на дне и опускался на него, если поднять, теперь, конечно, всплыл, как будто я в этом не был уверен, как будто не всякий в этом уверен, — да нет, дело такое необыкновенное, что поневоле берет сомнение во всем, что относится к нему, и в расчетах, на которых оно основывается, — это мне было-таки радостно. — Сверял текст первых четырех страниц Нестора, ошибки есть на каждой странице, дело не такое скорое, как я думал: 4 страницы разве в час, поэтому не менее двух суток нужно. Вот теперь Любинька дала целковый и я завтра еду в Царское.

10 ч. 55 м. Это писано после ужина. — Да, не должно забыть сна, который я видел ночью у Ал. Фед. и который так был радостен, что и на весь день оставил по себе радостное воспоминание, и теперь приятно подумать о нем: мне снилась долгая история о том, что я поступил в какое-то знатное семейство учителем сына (лет 7 или 8), и собственно потому, что мы с этою дамою любим друг друга—или собственно она любит меня и хочет этого, я тоже люблю ее, а до этого почти мы не знали с ней друг друга. Она белокурая, высокая, волоса даже весьма светлорусые, золотистые, такая прекрасная. Я у нее целовал 2—3 раза руку в радости, что она заставляет меня жить в их доме. Муж ее человек пожилой, глупый довольно, с брюхом, несколько надутый или собственно не то что надутый, а так. Итак, я чувствовал себя весьма радостным от этой любви с нею, с наслаждением целовал ее руку (которая, кажется, была в перчатке и еще темного цвета). Собственно, для нее уладил я с мужем, который не слишком-то тянулся за мной, но я сначала был разошедшись с ним, после сам завязал снова дело и сказал ему, что я-таки поселяюсь у них, потому что она так велела или желала, или просто сказала: живи у нас. Никакой мысли плотской не было (каким образом? это странно), решительно никакой



плотской мысли, а только радость на душе, что она любит меня, что я любим. — 5 м. 12-го, ложусь.

(Писано 15-го, в 8 ч. 45 м. вечера.) — Марья разбудила в мене чем 6, встал. В 7 вышел, постригши волосы. Едва успел к первому поезду, чтоб посмотреть, здесь ли Срезневский, — нет; следовательно, должно ехать; взял билет, сел. Против меня сидел мужчина, молодой человек, и, кажется, девушка, его сестра, а не жена, собою нехороша, поэтому сначала мне не понравилась, но когда присмотрелся, то лицо показалось имеющим хорошее выражение и милым. Железная дорога не произвела, разумеется, никакого впечатления. Пошел к Срезневскому и, как обыкновенно, прошел сначала мимо. Вхожу. «Дома?» — «Да». — И начали толковать. Он сказал, что к первой половине Нестора составляет Корелкин, а вот если бы к Ипатьевской, так это бы так. — «Велика она?» — говорю я (что пропали мои труды, я и не сказал, да и мало жалею о них). — «Покажите мне». Он повел вверх: 230 страниц и должно быть около 9 000 строк. — «Если, — говорит, — к Новгородской первой, — это 115 страниц» (около 4 800 строк, я думаю). Я говорю: «Все уж равно, буду составлять Ипатьевскую», и встал, чтоб уходить; он оставлял, сказал, что должно посмотреть сад, а потом воротиться к нему пообедать. Мне это было весьма приятно, что он так ласков, но поблагодарил и не остался. Он стал рассказывать о саде Царскосельском, что стоит посмотреть его и т. д.; говорил об арсенале тамошнем, около часа, я думаю. В 12 я встал, но он оставил дожидаться шоколаду, который готовился, и я просидел еще более часа. У него был именинник сын и был в церкви с матерью, которую теперь я рассмотрел хорошенько: в самом деле нехороша, когда смотреть в профиль. Весьма хороший человек этот Срезневский. Итак, я принимаюсь за Ипатьевскую летопись и завтра же куплю ее.

Едва поспел оттуда на машину, поехал. На одной скамье со мною сидел военный, пожилой (и глупый, должно быть), с тремя дочерьми, из которых две маленькие, третья лет 15 и довольно правильное лицо, хотя не слишком хороша, но решительно ничего, — я всю дорогу смотрел на нее. Когда приехал, пошел к Вас. Петр. и рассказал ему о летописях (Срезневский сказал, что будет напечатано) в надежде, что он возьмется, — так и есть. Купить должно. Стал я думать, когда вышел от него, где взять денег. Занять уже не у кого, следовательно... должно что-нибудь продать. Что же? Ничего не мог сначала придумать определенного, после — конечно, книги и, наконец, когда вспомнил, что можно продать библиотеку и что нужно всего 1 р. 50 к. (50 к. есть; стоит только 2 р. сер., как узнал у Юнгмейстера), то решительно развеселился в этом отношении: достанет книг, чтобы приобрести эти деньги. Завтра же иду с ними. А то была забота, что не наберется на полтора рубля сер. — Заходил к Вольфу, собственно чтоб отдохнуть, потому что весьма устал; отдохнул, ничего, и пошел в 7 час. домой. После стал разбирать книги и нашел классиков, которые не

приходили в голову; решился продать, если нужно, и Фукидида, и Светония; не знаю, что-то будет, конечно, полтора руб. сер. достану за них. Дорогою придумывал, чем можно отмечать страницы или строки — прокалывать бумагу булавкой. Теперь поел студени, потому что проголодался. По поводу книг пришло в голову, что в самом деле хорошо иметь ценность в вещах, а не в деньгах, потому что лучше: остается в руках для непредвиденных случаев. Думал и выиграть деньги у Славинского, — но на это не достанет искусства. Вертелась в голове мысль, что причина всего — затруднения Вас. Петр., и никогда не будет у меня денег, пока он будет в таком положении, т.-е. эта причина в сущности тяготит меня, — потому что это существование продлится год, — он хочет держать экзамен в следующем году. Теперь 9 час. 7 мин. — Да, Raveaux не умер, это был ложный слух в газетах. Хорошо.

Писано 16-го в 9 ч. 30 м. — Проснулся — дождь, однако решился идти хоть после обеда, а лучше до него. К 10 ч. поунылся, и можно было думать, что не будет более. Я стал зачинивать старые брюки; ниток черных не было, поэтому я белые опускал в чернила и — на столе лежал раскрытый Курц — я махал ими, капнуло несколько капель на страницы, которые были раскрыты («Вильгельм Телль», начало). Так как кислота не выедала, я выскоблил их насквозь ножом, — это скверно, конечно, и неприятно было, что напакостил Славинскому. Пошел усталый, принес к одному продавцу — слишком дешево; у другого продал библию, алгебру Себржинского, одну часть Кайданова и катехизис за 1 р. 20 к. с., Лукиана и Светония за 30 к., итак — 1 р. 50, сколько мне было нужно (у меня было 55 оставшихся). Потом захотелось купить тут же и бумаги, поэтому остальные книги, которые были со мною, — Фукидида и Теренция, — за 25 к. Удивительно сходно все дают, и [за] эти последние две книжки — у трех или четырех

а

81

был — все решительно давали 25 коп. сер., никак не более. Продал их (эти последние в лавочке, которая отдельно от других — б — ряд лавочек, а — она, как идти от Министерства внутренних дел, так направо, и купец дал тотчас же 25 к. и не согласился ни копейки добавить, не торговался). Хорошо, пошел, чувствовал, что устал, зашел отдохнуть в Казанский собор; после купил полдсти

бумаги, так же, как прежде, за 25 к., у Юнгмейстера взял (2 р. с.) Ипатьевскую летопись и пошел (хотя и решался долго, потому что устал весьма) в университет за письмом. Там посидел, отдыхая на верхних ступеньках, ведущих к студентам, около 20 мин. После пошел домой. Дома несколько времени (мало) отдыхал (теперь не чувствую никаких следов усталости), после стал размечать строки, и вышло, что в Ипатьевской летописи 8485 строк. Решил списать текст к концу июля, т.-е. в течение 15 дней, поэтому на день почти по 600 строк. Когда кончил это, стал рассчитывать, насколько сократится работа, если выпускать грамматические слова (не, же,

яко, и, въ и т. д.), вышло, что  $\frac{1}{5}$  долею — итак, не стоит, лучше уж полнота. Когда кончил, то сел писать это, а теперь должно быть буду читать. Денег осталось у меня теперь 5 коп. сер. — и приятно, что продал, это, знаете, придает какой-то оттенок крайности, или как это — это хорошо (фанфаронство перед собою даже).  $\frac{1}{4}$  10-го. Теперь курить буду трубку для поправления желудка.

(Писано 17-го, воскресенье, почти ровно в 11 ч. вечера.) — Весь день писал, кроме того, что несколько времени курил трубку и отдыхал от нее (курил потому, что желудок ворчал), именно с 10 почти до 12, и от 5 до 6 почти спал. Списал ровно 150 столбцов — 24 строки и 19 страниц или 609 строк. По этому расчету выходит, что мне остается около 130 часов списывать — или около 13 дней. Думал несколько о Вас. Петр. Ложусь. Не устал несколько, кроме этой высунувшейся кости на локте правой руки, которая лежала на столе.

18 [июля], понедельник. — (Писано в 10 ч. вечера, ложусь.) Утром еще-таки писал, но после с 12 большей частью спал; после чувствовал нехорошо в желудке (возясь с которым и трубкою, не спал вчера до часу или более), и нападала-таки порядочная тоска и главным образом о своих, что так обманываю их и в Саратове, и здесь; совестно было и перед своими, и перед Терсинскими; и вообще довольно дурно, я думаю, главным образом, оттого, что нездоров. Утром чувствовал слабость и усталость в спине; после сна ничего. Поэтому написал всего только 330 или около [того] строк до 27-й строки 29-й страницы. Итак, теперь всего списано около 950 строк, около  $\frac{1}{9}$  всего. Теперь ложусь. Домой писал письмо, в котором описал все как есть, свои занятия летописями.

19 [июля], вторник. Почти ровно  $\frac{1}{2}$  11-го. Почти весь день писал Ипатьевскую летопись и списал ровно 44 первых страницы = 1 500 строк из 8 500 строк =  $\frac{15}{85} = \frac{3}{17} = 1 : 5\frac{2}{3}$ . Хотелось бы еще списать теперь 100 строк, т.-е. до 1 600, потому что хотелось бы в день списывать более 600 строк. Думал ныне и о походе в город, чтоб повидаться с Вас. Петр., но это после, может быть завтра, если буду здоров. Здоровье ныне ничего, хотя снова заставило меня потерять, я думаю, часа 2 за трубкою, и с  $2\frac{1}{2}$  до 5 спал после обеда. Сказал Любиньке за ужином, если хочет учиться по-немецки, я буду, пожалуй. А то ей скучно. Читаю «Германа и Доротею»<sup>160</sup> в Курце, — лучше, чем я думал, т.-е. мне-то не нравится, а чем хуже какого угодно Гомера? Мне кажется, решительно все равно. Снова пишу.

20-го [июля]. — Утром писал и дописал до 54-й страницы, т.-е. 1 838 строк, и думаю о том, идти ли в город или нет, затем чтобы достать бумаги (которой остается только 10 листов, поэтому неостанет до послезавтра, а должен может буду идти завтра) и повидаться с Вас. Петр.; желудок почти ничего, хотя все нехорош. Но раньше, чем идти, должно починить сюртук на плече. Начал чинить — вошел Ив. Гр. за трубкою, и я стал писать это. Теперь снова буду чинить, после пойду.

(Писано 22-го, в пятницу, в 5 ч. 38 м. вечера.) — Пошел в город, чтобы продать книги, взял довольно много, так что думал 60—70 к. сер., давали только 30—40, и я не захотел, а решился просить денег у Любиньки снова, хотя это и тяжело довольно, что делать? Зашел к Вас. Петр., там стала такая отрыжка, что я думал, как бы поскорее домой, а с другой стороны, у него уже ставили самовар, а я не хотел там пить, поэтому ушел. Дорогою прошла отрыжка, и я зашел к Славинскому, у которого просидел почти до 9 не без приятности. Устал-таки.

21-го [июля]. — Утром думал, что я решительно здоров, и сел писать. В  $\frac{1}{4}$  12-го пришел Вас. Петр. и просидел до  $8\frac{1}{2}$ , т.-е. — как напились чаю, пошел было дождик и буря, поэтому он оставался переждать его. Утро до обеда он пробыл в моей комнате; после обеда (я, думая, что я решительно здоров почти, ел более, чем сколько бы следовало) пошли к парку. Там началась ужасная отрыжка, и когда пошли домой, меня вырвало дорогою. Мы шли по наружной стороне по большой дороге подле парка. Вас. Петр. стал говорить об этом; его это озаботило, меня мало. Пришли, был уже Ив. Гр. дома, и в это время более всего говорил я до того самого времени, как ушел Вас. Петр. Рассказал «Нафана Мудрого», еще несколько анекдотов. Когда началась гроза, говорил о молнии и т. д. Пошел провожать его и проводил его до поворота к пристани. Дорогою почти все говорил я о своей бесчувственности, глубоком эгоизме и т. д., о холодности своей. Он сказал — так пришлось, — что у меня нет твердых убеждений. Я старался объяснить, в каком отношении это справедливо и отчего это.

22 [июля]. — Утром все писал, и было довольно спокойно в желудке. За обедом ел щи и мало; теперь несколько бурлит, но тоже мало; пойду походить до чаю. — Теперь списано ровно 50 страниц моих или до «вѣдущю» в шестой строке 65-й стран., т.-е. 2 257 строк, почти  $1 : 3\frac{4}{5}$  всего целого.

К ночи стало довольно сильно бурлить. Я выпил рюмку водки — ничего; но через несколько времени стало тяжело в голове и не как от красного вина, которое выпивал у Благосветлова, а скверно; но в желудке как бы улеглось, поэтому, поужинав, выпил еще рюмку. Однако просыпался от возни в желудке и кончил тем, что выпил еще.

23 [июля]. — Утром собрался за письмом и бумагою, просил у Любиньки денег, она сказала, что нет; это дурно. Я все-таки пошел и придумывал, как достать. Спрошу у Ал. Фед.; если не застану, продам новые перчатки или посмотрю, нет ли чего другого, что можно было бы продать. Письма, к удивлению моему, еще не было. Подождал до 12 в библиотеке, где читал о Фейербахе у Эрша в статье Philosophie и несколько о Фесслере. Оттуда уже не пошел к Вас. Петр., а к Вольфу, там до 2 [час.], отсюда к Славинскому, где думал видеть карты, но нет; домой; поел щей и не так много, однако несколько бурлило, так что я предпочел лечь

спать, а писать стал только около 7 [часов]. Теперь дописал до 71-й страницы, то-есть ровно 70 страниц или 2 480 строк =  $1 : 3\frac{2}{5} = \frac{5}{17}$ .

24 [июля], воскресенье, 11 ч. 24 м. утра. — Дописал 60-й листик, последний, — больше бумаги нет, поэтому начну проверять текст и разлинейвывать страницы, пока достану еще. Списано теперь до «Кіева» в 23-й строке 76-й страницы, следовательно, всего 2 693 строки, или 36 000 лоскутиков. Еще нужно будет, судя по этому, бумаги 130 стран., т.-е. десть и 36 листов, или 3 тетрадки. Теперь списано, следовательно, почти  $\frac{1}{3}$  плюс  $\frac{2}{13} = \frac{13}{41} = \frac{6}{19}$ .

(Писано в 10 ч. 40 м. вечера.)

Желудок беспокоил не слишком, хотя все-таки была отрыжка и особенно тяжесть в нем. К обеду я думал, что приготовят кашу из простой крупы, но думали, что все равно и суп с говядиной. Это сделало на меня несколько неприятное впечатление и я был так глуп, что не вспомнил, чтобы сдержать выражение неудовольствия в лице — глупость; должен удерживаться, особенно при таких пустяках. Жаркого не ел; поэтому ничего. После чая пошел гулять в парк, никого не встретил, кроме Олимпа и после Лыжина, с которым ходил. После зашел к Филипову, пришел в 10 ровно почти. Стал проверять текст и теперь проверил до конца 17 страницы, ровно 548 строк. Это весьма медленно, 20 минут на страницу, следовательно, всего около 60 часов. Ложусь. К ужину была каша. Завтра хотелось быть в городе, взять письмо, и если нет денег, продать что-нибудь, напр., перчатки, или спросить у Ал. Фед., и купить бумаги.

(Писано 28 июля, в четверг, почти в 10 ч. вечера.)

25 [июля]. — Пошел за письмом и взял на случай, если будет без денег, с собою свою столовую ложку, чтоб заложить ее. Когда шел, сильно бурлило в желудке. Денег нет, ложку не решился заложить. Пошел к Вас. Петр.; когда стал подходить, стало делаться так, как будто хочет рвать. Я стал ходить между каналом и задами казарм. В самом деле, через несколько времени стало рвать. Хорошо. После этого ничего. Пошел к Вас. Петр., у которого пробыл всего несколько минут, потому что опасался того же и не хотелось поздно придти домой. Пошел. Когда пришел, более, кажется, спал. Да, и писал письмо. Так как бумага вся была исписана, то должен был от этой тетради взять 3 листика, которые были не исписаны. Написал о своей работе. Все-таки не зажил.

26 [июля] (писано 1 августа, почти в 11 час. вечера), вторник. — Должно было отнести письмо. Пошел я и спросил у Любиньки денег, она дала 1 р. сер. Я спросил, можно ли истратить, она сказала, — можно, и я купил на 75 коп.  $1\frac{1}{4}$  десть почтовой бумаги (2 тетради такие, как эта, чтобы дописать до 100 страницы, и десть синей для следующих 100 стран.; для остальных 25 после уже решился купить) и дюжину перьев. Стал писать.

27-го [июля], среда. — Пришел Вас. Петр. после обеда, посидел

часа 4 и ушел. Я провожал его и как выпил пуншу, то чувствовал, что язык как-то тяжел.

28-го [июля], четверг. — Писал между прочим. Поел неосторожно, и вырвало.

29-го [июля], пятница. — Писал между прочим. Желудок все продолжал быть беспокоен. Вечером пришло желание описать на всякий случай свое изобретение, чтоб не могло погибнуть, и написал. Надписал красными чернилами заголовок, вложил в конверт, который тоже надписал красными чернилами.

30-го [июля]. — Пошел за письмом. Оно было с деньгами — 45 р. сер. Любиньке было 20, но я не прочитал хорошо и думал 25, поэтому мне оставил 20 р., 10 отдал Вас. Петр., к которому зашел и которого просил к себе в воскресенье или во вторник (поэтому завтра жду, т.-е. 2 августа), оттуда к Славинскому, чтоб узнать, где живет Троянский, чтоб спросить у него записки для Ол. Яковл.; узнал; заходил, не застал дома. Обедал как следует и ничего не было; думал, что желудок успокаивается. Вечером пришел Никита Алексеевич Горизонтов вместе с Ив. Гр. и ночевал две ночи, поэтому я весьма мало мог писать. Ушел он в понедельник, т.-е. ныне утром. Теперь спать, август после.

## А в г у с т

1 [августа], понедельник. — Пошел в город рано утром и думал, что лучше будет, если поем кашицы. Зашел к Троянскому, его не было снова дома. Была сильная отрыжка, все ждал, что станет рвать. Пошел в Детскую больницу. Что было там, можно видеть в письме к папеньке<sup>161</sup>. Когда туда шел, зашел на дровяной двор, и там меня вырвало и после этого стало весьма хорошо. Так как должен был быть у Кораблева и чувствовал некоторую усталость, то не пошел к Вас. Петр., а к Кораблеву; оттуда купил десять бумаги обыкновенной в 40 к. сер., кажется, будут хорошо писать по ней перья (для Ипатьевской летописи). Оттуда к Вольфу, где просидел до 5 [час.] и выпил чашку чая без булки — чрезвычайно успокоило это желудок. Итак, чай со сливками хорошо, буду это знать. Оттуда к Славинскому, у которого до 7<sup>1/2</sup>. Говорил довольно откровенно о своих товарищах и благонадежности их для серьезного будущего. Дома напился чаю и ничего не ел. Писал себе Ипатьевскую и дописал до конца 23-й страницы своей синей, следовательно, до 4708-й строки.

2 [августа]. — Большую часть времени писал Ипатьевскую летопись. Желудок хорош, только вечером пил слишком много чая с хлебом, так что несколько обременил, но отрыжки нет. Все-таки должен был выкурить трубку, но совершенно не беспокоит теперь, слава богу. Встал рано, до утреннего чая написал 23 страницу и разлиновал 2 тетради, т.-е. до 48-й страницы. Теперь списано у меня до конца 36 стран., или 5290 строк, следовательно, написал я менее строк, чем ожидал, всего только 582, хотя писал довольно

постоянно. Ждал Ал. Фед., поэтому не пошел ночевать в город. Завтра утром хотелось бы пойти к Славинскому, но боюсь разойтись с Вас. Петр. Не знаю, как это будет. Скорее, что пойду уж ночевать туда. Теперь почти  $\frac{1}{2}$  12-го. Ложусь.

(Писано 6 августа, ровно в 10 час. вечера.) — 3 августа, среда. — Утром шел сильный дождь, к 11 $\frac{1}{2}$  перестал, и я уже пошел к Славинскому, между прочим, с намерением ночевать в городе и справиться о книгах утром. Когда шел за огородом из акаций, не доходя казарм Литовского полка, мне закричал Вас. Петр., который шел ко мне и к счастью увидел меня. Пошли вместе. Он, ехавши на лодке, поссорился с одним чиновником, который сказал ему неуточное слово; вот не то, что я, — когда меня называли мерзавцем, я не мог ничего сделать. Посидел до вечера, после пошли вместе, я прямо к Ал. Фед., у которого ночевал и нашел «Débats».

4 [августа]. — Утром пошел в больницу, опоздал к директору и попросил, чтобы сказал письмоводитель смотрителя, что если не будет послано приказание выслать книги, я пожалуюсь директору. Оттуда занес Вас. Петр. «Débats»; половина осталась у него, другую взял с собою и теперь все прочитал. Оттуда к Иванову, у которого думал застать новые журналы, — нет еще. Все-таки выпил чаю, просидел до 6; оттуда к Троянскому (у Иванова понравилось сидеть в последней комнате на мягком диване), после домой. Отдал деньги Ал. Фед., которые был должен (6 р. сер.).

5-го [августа], четверг. — Писал мало, чувствовал себя как-то неловко, много спал — все оттого, что слишком ем много, хотя желудок почти совершенно поправился.

6-го [августа]. — То же самое. Теперь дописал 52-ю стр., или кончена 4-я строка 163-й страницы, ровно 6 027 строк. Дело идет весьма медленно. Вечером (т.-е. после обеда скоро) поел, чего не должен был, и отрывка, которая заставила снова возиться с желудком. Отдал Любиньке 2 р. сер. (хотя, кажется, должен был ей 3), которые был должен. Теперь осталось только 85 к. сер. и 6 к. для переезда. 80 коп. должно отдать Савельичу. Вечером наливал в графин горячей воды, и он лопнул, — должен купить новый. Ложусь выкурить трубку.

(Писано в среду 10 числа.) 7-го [августа], воскресенье. — Утром рано пошел в город. Там Савельич был у обедни, поэтому письмо взял так и пошел к Иванову (решился в этом письме ничего не писать папеньке о книгах) и просидел там с 11 $\frac{1}{4}$  до 5 почти. Читал «Отеч. записки». Ничего порядочного не нашел из того, что читал. Победа над венграми прискорбна<sup>162</sup>. Сначала поверил, после несколько не поверил, после снова поверил, теперь более верю, чем нет, что Гёргей в самом деле сложил оружие. Должно узнать подробности, как, отчего, что значит. После зашел к Славинскому, у которого пил чай.

8-го [августа]. — Пришел вечером из города, ел жаркое, от этого на другой день утром было скверно несколько. После обеда

стало нехорошо и я вздумал воспользоваться средством заставить, чтоб вырвало, запустив пальцы в горло, как делал раз на дороге в городе. Так и сделал.

9-го [августа], вторник. — Утром пришел Вас. Петр. Я сидел и писал и уж сделал, чтоб вырвало. Он посидел до 8. Обедать я не стал бы, если б его не было здесь; обедал; после обеда стало снова дурно, и я на минуту сбегал, чтоб вырвало, и выбрал для этого парк, а не кусты по дороге к Смольному, как раньше. Пришел назад и скоро после пошел проводить его. Вечером был и Пелопидов с Дивногорским. Я больше времени (т.-е. до чаю) сидел с Вас. Петр. в своей комнате; после сидели вместе несколько времени. Когда воротился я, проводивши Вас. Петр., сидели вместе. Итак, сделал два раза, чтоб вырвало. Вечером выпил полстакана водки. Ужинал — селедки и яйца всмятку, что, казалось, подкрепит желудок, но вышло, как после увидел, наоборот.

10 августа. — Утром, когда встал, весьма скверный вкус был, хотя отрывки не было; насили дождался чаю. После должен был сделать, чтоб вырвало, и ходил для этого в парк. Обедать только кашницу. Все-таки должен был сделать около 5 час., чтобы вырвало. Теперь сижу так, выпив рюмку пива с сахаром. Теперь думаю так: в пятницу вечером пойду в город к Иванову, после к Вас. Петр., после ночевать к Ив. Вас., оттуда в больницу, справлюсь или пожалуюсь; после за письмом и домой. Если будет попрежнему дурно, возьму слабительного в аптеке. Итак, по этой болезни мало времени пишу, и теперь списано только всего 68 стран. или до конца 182-й стран., или 6 779 строк. А думал, что все и варианты кончу в пятницу к обеду. Это писал в 7 ч. 40 м. вечера. Терсинские ушли гулять, я жду их, чтобы пить чай, хочу пить с пуншем. Да, еще хлопот наделали мне часы — стали становиться. Должно отдать вычистить, но нет денег. Я вздумал заводить их по два раза в день, и чтоб они лежали, а не висели. Так они шли, и нынешний день вот уж идут как следует, так что я завел вчера в 10 ч. вечера, и теперь идут как должно.

(Писано 15 авг. в понедельник, в 2 часа.) 11-го, четверг. — Ничего особенного, но желудок был скверно попрежнему.

12-го [августа], пятница. — Утром мне казалось как будто довольно сносно. Выпил чаю с молоком и хлебом и кажется как бы ничего сначала, после стало тяжело. Выпил горячего молока кружку, думал будет легче — нет. Все-таки пошел в 2 часа в город. На дороге должен был сделать, чтоб вырвало, и в первый раз при повороте к Литовских казарм огороду, не доходя доски, через которую переходят через канаву. Здесь не успел хорошо сделать, потому что шли за мною. Поэтому снова пошел далее, стало снова дурно, и я должен был сделать это в другой раз. У Иванова видел Славинского, выпил чашку чаю и ничего. Пришел к Вас. Петр. и чувствовал себя изнуренным, весьма изнуренным, так что, когда пошли к Ив. Вас. (которого не было дома), я лег отдохнуть на постель. Вас. Петр. сел ко мне и стал рассказывать несколько



о своих приключениях. — Мне стало теперь досадно на себя, что все еще трачу столько денег даром.

13 [августа]. — Пришел в университет за письмом, отдал за него 20 к. сер., весьма устал (был в Детской больнице — ничего еще; в следующий раз скажу директору) и сел, чтоб отдохнуть. Просидел там до 12<sup>1/2</sup>, более двух часов; все, кто видели (между прочим, и Срезневский), восклицали, что я чрезвычайно похудел. Идя оттуда, взял слабительного на 20 к., понадеявшись на него (серный цвет, магнезия), выпил стакан чаю вместо обеда и вечером выпил с довольно много хлеба, — этим вот меня вырвало.

14 [августа], воскресенье. — Утром почти решительно ничего (да, ходил в аптеку, где взял на 10 к. сер. английской соли, которую выпил всю в этот день), выпил половину соли, выпивши, съел за обедом несколько ложек кашицы гречневой, и стало несколько тяжело на желудке, как будто завал. Я думал, что снова должен буду сделать, чтоб вырвало, и пошел, чтоб помочь желудку. Ходил, хотя была изморось (т.-е. тепло, но весьма мелкий дождь), пошел в лес за Кушелевкою, чтоб собирать грибы, весь испачкался и измок. Пришел только что к чаю.

15 [августа], понедельник. — Утром посылал Марью взять еще на 10 к. соли английской; половину уже и выпил. С чаем ел более чем следовало хлеба, и была тяжелая отрыжка из глубины желудка; чтобы избавиться от нее, удачно вздумал выпить воды с ромом и сахаром. Не обедаю. Теперь ничего. С вчерашнего вечера начало слабеть, и это хорошо. Я думаю, что пройдет решительно через это расстройство в желудке, и не обедаю. Хотелось снова идти за грибами в надежде есть их. Теперь списал 6 страниц большого формата = 25 строк 209 страницы = 7 805 строк. Думаю завтра кончить это и начать варианты. Теперь начинаю писать письмо своим.

(Писано 19-го августа поутру в 7 ч. 20 м.) Писал несколько, после несколько переводил, для того, чтоб прочитать у Никитенки, «Нафана Мудрого» (начало 2-го акта).

16 [августа], вторник. — После обеда ходил собирать грибы. Поздно вечером пришел Ал. Фед. к чаю, принес 6 и 7 №№ «Отеч. запис.» и «Débats» до 1 августа. Я должен был проводить его. После стал читать. Слишком много ел, должно будет сделать, чтоб вырвало, но желудок поправляется.

17-го [августа], среда. — В 12 пришел Вас. Петр. Я был не в духе, но к вечеру ничего. Снова должен был сделать, чтоб вырвало, потому что обедал все, что он, чтоб не показать, что болен, и вечером много ел с чаем.

18-го [августа], четверг. — Несколько писал и дописал до конца 12-й страницы, т.-е. до 8 153-й строки (218 стран.) и перевел больше половины первого акта «Нафана». Кончу этот акт в воскресенье или понедельник ко вторнику. К вечеру снова должен был

сделать, чтоб вырвало (пил соль и золототысячник). Больше читал «Отеч. записки» — «Дженни Эйр»<sup>163</sup>, весьма хорошо, жаль только, что и здесь хотят вмешать трагические сцены до мелодраматического и страшные приключения — этого не следовало.

(Писано 30 августа вечером.) 19-го. Пошел на лекции, но Срезневского не было. Устрялов был. Несколько устал, идя туда, — самое, кажется, дурное время моей болезни. От Вас. Петр. пошел ночевать к Ив. Вас., чтоб пойти в Детскую больницу.

20 [августа]. — Был в Детской больнице, там сказали, что послали, я не верил, а между тем, папенькино письмо когда прочитал, там увидел, что прислали уже. Оттуда пошел к Вольфу, где выпил чаю в долг, оттуда к Славинскому, домой.

21-го и 22-го августа — были праздники. Провел более лежа и читая «Отеч. записки». Несколько переводил и «Нафана» для Никитенки.

23-го [августа], вторник. — У Никитенки был; ничего не удалось сказать, потому что говорил только он. Вечером был у Славинского, после у Ал. Фед. ночевал.

24 [августа], среда. — Был у Плетнева в другой раз, после домой, где пробыл и четверг. Плохо поправляюсь, а теперь даже похудел, должно быть, и в пятницу (был Мих. Павл. Соколов) не ходил, потому что Срезневского лекции не должно было быть.

27 [августа]. Думал получить деньги — однако нет. На лекции Плетнев заметил худобу мою и советовал не изнурять себя. Вечером пошел через Иванова к Славинскому, чтобы выпить чаю, после к Ал. Фед., у которого было скверно спать. Да, из университета проводил Срезневского до его дома; он говорил со мною о моей работе; особенного ничего.

28-го [августа]. — Ал. Фед. дал займы 3 р. сср.; 2 отдал Любиньке за долги. Весьма устал тогда, ну, да это в другой раз напишу, теперь лень и главное — холодно.

(Писано 4 сентября в 9 ч. 50 м. вечера.)

28-го [августа], воскресенье. — Ал. Фед. провел этот день у нас. Я ел больше, чем следует, и поэтому меня вырвало снова. Было не слишком, но довольно скучно и не решительно в хорошем расположении духа, хотя ничего.

29-го [августа], понедельник. — Ал. Фед. вечером отправился в город. Было так же, как и в тот день.

30-го [августа], вторник. — Было весьма холодно у нас, я дрожал все время. Большею частью лежал на диване под одеялом и читал Гизо.

31-го [августа], среда. — Был Вас. Петр., и я думаю, что в этот раз я был несколько полубезнее, чем раньше, хотя весьма мало. Говорил несколько и о болезни моей, но более говорил о нем и его планах.

1 [сентября], четверг, провел дома, читал несколько и Гизо, несколько и писал. Начал, кажется, читать вместе с Любинькою, — так, и даже в среду несколько читали.

2-го [сентября], пятница. — Пошел к Срезневскому на лекцию, и он читал не весьма хорошо. Был у Устрялова и жалел, что должен был и теперь должен пропустить несколько лекций, потому что любопытны. После был у Вольфа, где думал застать «Отеч. записки», но не застал, чтобы почитать «Дженни Эйр», которая заинтересовала. Купил бумаги и, как увидел, весьма хорошей. Это меня обрадовало, т.-е. хорошо идет по ней перо.

3 [сентября], суббота. — Получил деньги 50 р. сер.; 25 р. в университет, 3 р. 25 к. Ал. Фед. (25 к. за извозчика), 10 р. Вас. Петр., и сначала думал 10 р., а теперь 9 р., потому что так приходится (у меня 3 бумажки по 3 р. сер.) Любиньке, потому что совестно ничего не отдать. В пятницу был у Вас. Петр. вечером вместе с Залеманом. Оттуда шли вместе, и я все утешал его насчет кандидатства. В субботу хотел посмотреть квартиру у Зурова, теперь это все равно, потому что Ал. Фед. переехал к Аллезу и не будет жить у нас, а то мне хотелось доставить хоть это облегчение Терсинским. Но шел дождь, поэтому не пошел и к Вас. П., а из почтамта, купивши бумаги, пошел в аптеку и после к Иванову, где до 5¼. Прочитал «Отеч. записки». «Дженни Эйр» 3-я часть не так хороша, как первые две, однако ничего. После домой.

4-го [сентября], воскресенье. — Кажется, что желудок несколько поправляется, хотя сейчас должен был сделать, чтобы вырвало, но это сам виноват, ел лапшенник и весьма много ел хлеба вечером с чаем, а чай был без молока. Был Пелопидов; мне это не было неприятно, хотя и не доставило удовольствия. Остальное время читал, проверяя с Любинькою, и теперь проверено до 170-й стр., и надписывал цифры — теперь надписано 1 520 строк или до 19-й строки 45-й страницы. Не знаю, пойду ли завтра в университет, — скорее нет. Теперь, может быть, съем что-нибудь и ложусь. Пью золототысячник с померанцевым листом, и, кажется, он несколько полезен.

5-го [сентября], ровно 12 час. утра. — Теперь прочитано, сию минуту кончил, до 6 770 г., т.-е. кончены синие листки. Цифры выставлены теперь до 17-й строки 52-й страницы. Любинька ныне спросила денег, и я отдал 10 р. сер. Теперь не знаю, отдам ли Вас. Петр. 10 или 9, лучше 10. Мне, конечно, было совестно, что довел до этого Любиньку; она, конечно, спросила займы, конечно, я дал так. Желудок, кажется, лучше, во всяком случае excrementa более, чем раньше было. Эти excrementa вообще меня занимают, и когда есть, то радуюсь, потому что считаю это признаком поправления желудка. Думал, не пойти ли ныне к Устрялову, однако не пошел,

Сколько времени должно употребить на летопись? Списать:

а) разграфить листы—30 минут на 6 листов, следовательно, 7½ час.

б) переписать — по 60 строк на час (несколько менее 60, поэтому 8 520 получаю строк) — 142 ч. Итак, только переписать текст не разграфленный — 150 ч.

с) проверить текст 25 страниц — одну по 20 м. (несколько менее, поэтому всего 24 полагаю), будет 8 ч., после: 40 страниц по 9 минут с Любинькою читаю, — 360 м., или 6 часов. Наконец, остальные 120 стран. по 7½ м., или по 8 стр. в час — 15 ч. всего. Поставить цифры по 12 м. (несколько менее, поэтому только 180 стр. считаю) или 5 в час. — 36 ч.

Итого 215 часов.

Сколько времени нужно на разграфку — не знаю; верно тоже около 35 часов, и тогда было бы всего работы до разрезывания ровно 250 часов.

5 ч. 25 м. Теперь дочитал все вместе с Любинькою. Ив. Гр. еще не приходил из Сената, поэтому почти все читали, кроме только того, [что] Любинька ходила часа на два гулять, а цифры теперь расставлены до конца 65-й страницы, т.-е. 2 292-й строки.

(Писано 11-го, в 7 ч. 10 м. утра.) — Во вторник был у Никитенки, он думал, что стану что-нибудь читать, но стал читать свой фельетон из «Полицейской газеты» Главинский. Я сделал несколько замечаний, в которых можно было видеть презрение, если угодно. Вечером пошел к Иванову, читал там новые журналы, после к Вас. Петр., у которого до 9½, после к Ив. Вас. вместе с ним, чтоб ночевать. Но у него была в эту ночь должно быть его блядь, о которой он так смешно рассказывал Вас. Петр., и поэтому сказали, что его нет дома. Мы пошли все-таки к его комнате — заперта, а он спрашивает в просонках «кто?» Итак, пошли. Я думал — домой идти или к Корелкину? Решился на последнее. Ночевал не без приятности.

7-го [сентября], среда. — Утром пошел искать квартиры, искал более 2 часов на Васильевском острове и нашел две, которые понравились всем, особенно своею близостью к университету. Пошел сказать об этом Ив. Гр., чтоб посмотреть вместе. На мосту встретил живущий с Никоновым купец и попросил воротиться к нему, чтоб подписать, что я ему даю доверенность распоряжаться оставшимися после Пластова вещами, потому что отец его просил вместе и меня об этом, и теперь этого требует полиция. Пошел. У Плетнева написал записку Ив. Гр-чу, пошел, — его не было в Сенате. Воротился и начал снова расставлять цифры, которых было выставлено так около 1/3 и выставил в этот день несколько.

8-го [сентября], в четверг — еще более.

9-го [сентября], пятница, — утром также несколько, до 165 стр., я думаю, и пошел в университет, взяв с собою несколько листов, чтоб не пропало время, когда буду дожидаться лекции; писал несколько. Лекция Устрялова была так нова, что пожалел, зачем не

бывал раньше в понедельник вместо среды, и теперь хочу делать так. Воротился домой и в этот вечер (переезжая тоже писал цифры и написал около страницы), и следующее утро писал цифры. Итак, оставалось только налиневать.

10-го [сентября], суббота. — Утром начал разлиnevывать. Сине чернила, стоя на солнце, полиняли и обратились просто в красноватую воду, — это ничего, не взбесило меня, хотя, конечно, взбесился бы в другое время. И так они были плохи, что жаль. Итак, стал графить черными и красными чернилами и карандашом, которых было весьма мало, так что ясно, что неостанет. Я боялся, что неостанет красных чернил, но достало. Топили баню, и я ходил. Рука от линеваия сильно устала.

11-го сентября, [воскресенье]. — Как встал — линевал. Ехсcrementa не было весь день почти ничего; это меня несколько беспокоило; хотя желудок днем ничего, а ночь на воскресенье просыпался-таки от бурчания и должен был пить золототысячник (да, тогда в аптеке дали вместо него тысячелистнику, но во вторник переменили так, это меня утешило). Любинька взяла рубль сер., итак, теперь неостанет отдать Ал. Фед. денег. Думаю, уж не отдать ли ему 25 р. Утром приехал Горизонтов с женою и братом. Я не выходил в это время. Они пошли обедать к Карпову, профессору Духовной академии, мы остались, и когда сели обедать, молока не было, поэтому я поел супу и манной каши, думал, что это будет все-таки нехорошо, — напротив, хотя и чай пил с сухарями, — ничего, совершенно спокойно. Как нельзя лучше провел ночь, и бурчания и тяжести вечером не было. Карандаша неостало на 108-й странице, поэтому стал разлиnevывать только чернилами, оставляя для него места, чтобы разлиnevывать, как я думал, в городе, взяв у кого-нибудь карандаш, чтоб не отрываться. К 10 [ч.] вечера долиnevал все и хотя линевал более, чем в предыдущий день, рука устала менее. Вечером воротились Горизонтовы, я вышел, но они посидели только несколько минут. Утром мне послышалось, что Ив. Гр. сказал, что он приостанавливается исканием квартиры, потому что хлопочет о переходе в министерство юстиции. Я вздумал: если так, то спрошу его об этом, и если так, то попрошу Ол. Як., нельзя ли мне жить у него в это время. Но вечером он успокоил, сказавши Горизонтову, что проживет 3—4 дня много, а может быть, уж неделю.

12-го [сентября]. — Не знаю, идти ли к Устрялову или нет. Склоняет идти, между прочим, то, что теперь погода хороша, а завтра идти будет бог знает по какой. Если пойду, возьму с собой недографленные листы, чтоб дографить. Во вторник я у Никитенки должен читать, потому что сказал так, не знаю, что — вероятно, «Нафана», разбирать в то же время неудобства драматической формы, а может быть и о всеобщем языке.

Писано 24 сентября, в субботу, в 6 ч. утра. Итак, снова пропустил полторы недели.

Во вторник у Никитенки я (да, в понедельник был у Устря-

лова, после к Вольфу, оттуда ночевать к Ник. Павл. Корелкину) сказал, что у меня есть перевод «Нафана Мудрого», а если нет, то я буду говорить о всеобщем языке. Никитенко отклонил «Нафана», и я стал говорить. Думал, что не успею дотянуть до конца лекции, но прочел только предисловие о том, что язык этот должен явиться и что он должен быть искусственным. Никитенко сказал комплимент, что весьма ясно и последовательно я говорил, и что если буду учителем, то хорошим. Следовательно, если встретится урок, он отрекомендует меня. Вечером домой на среду.

14-го [сентября]. — Там страшный холод, так что я решился к Олимпу как можно скорее перебраться. Да, карандаша у меня не достало долиневать раньше; поэтому, когда был у Корелкина, я взял у него черный карандаш и долиневал в аудитории. Теперь несколько разрезывал в 10 коробочек (1. — А, Б, Г; 2. — В; 3. — Д, Е, Ж, З; 4. — И; 5. — К, Л; 6. — М, Н; 7. — О, Р; 8. — П; 9. — С; 10. — Т и т. д.), но более, так как было чрезвычайно холодно (9 или 10 градусов и до 8), то лежал под одеялом, читая кое-как Гизо. Но был не совершенно недоволен, потому что это ускорило искание квартиры и переезд, а то бы еще несколько дней прошло.

15-го [сентября], четверг. — Пошел [к Ол. Як.], чтобы попроситься пожить, пока переедут (условились пересечь в субботу непременно), у него. В канцелярии его не застал, а встретил на дороге. Он сказал, что очень можно; я был весьма рад и пошел вечером к нему; он уехал.

16-го [сентября], пятницу, я провел хорошо. Среди дня (лекций не было) был у Доминика — там лучше диван, чем у Вольфа; поэтому и потому, что всегда дают журналы, хочу бывать у него: Здесь истратил последние деньги, и булки к чаю покупала в долг Устинья.

17-го [сентября], суббота. — Среди дня ничего не ел; это несколько уж расстроило дух. Приехал Олимп и когда увидел, что запятнан стол в двух местах стеарином, рассердился. После стал разбирать бумаги, и я его более не видел. Утром говорит Устинья, что он весьма ругался, что я все перетормошил. Я был в весьма дурном расположении оттого, что не сл и т. д., и от Олимпова свинства, и это окончательно поссорило меня в душе с Олимпом: что за педанство, чтоб все не было пошелохнуто, за каждую пылинку ругает и, наконец, даже не мне, а ругает меня перед Устиньей. Кажется, наше близкое знакомство кончится этим делом, не знаю, однако. И велел сказать мне, чтоб я уходил скорее, потому что ждет (как и раньше говорил, это правда) гостей из Гатчины. Ушел в сердцах, но холодных и не раздраженный особенно, к Доминику — это было в понедельник уже, — или нет, еще в субботу у Доминика — итак, заплатил 30 к., да у Доминика 15 к., да калач 5 к. Когда шел оттуда, показалось, что потерял 10 к. сер., это раздосадовало. Пришел к Доминику, купивши калача, и нашел гривенник, а ходил к Славинскому, чтобы выпить чаю, однако не выпил и

скоро ушел. Оттуда снова к Корелкину, где спал уже к своему удовольствию на полу, между тем как в прежние два раза это делал Попов, что мне было совестно.

Итак, теперь *понедельник, 19-го [сентября]*.—К Устрялову пошел, — Вас. Петр. пришел и сказал, что переменял квартиру, переехал в дом Сергиевской церкви, чтоб учить сына Орлова, квартира с дровами 25 р. асс. и порядочная. Это переменяло мою судьбу несколько. Итак, есть теперь надежда, что его дела поправятся и мои поэтому тоже. Можно надеяться, что Орлов достанет ему уроки еще или место управляющего, как было и раньше достал у Озеровой (но другой священник успел перебить место). Приглашал ночевать к нему, потому что теперь можно. Я сказал, что буду, если только наши не переехали еще, а куда переедут, я сам не знал. Был в самом дурном расположении духа, потому что надоело скитанье, да и как же в самом деле не надоест! Вышел из университета — к Доминику. В 5 вышел с весьма слабою надеждою справиться в доме Кошанского об Ив. Гр., — он говорил, что там есть квартира (виделся в последний раз в субботу; в понедельник не застал уже его в Сенате, и он, чудак, не оставил записки), которая мне, правда, не совершенно нравилась, но ничего, уж лучше, чем ничего. Хорошо. Дворник сказал, что они тут, ждут мебели. Это меня чрезвычайно обрадовало, чрезвычайно, что, наконец, кончаются эти путешествия и эти ночевки чорт знает где. Они сидели у Маева, который был раньше в этой квартире (№ 8) (дом Кошанской в Большой Конюшенной, против Шведской церкви, от университета 1 250 шагов через мост); прождали мебели до 8 час. — нет. Решили более не ждать, и Любиньке остаться у Маева. Мы пошли ночевать. Сначала думали оба у Мих. Павл. Соколова, и на другой день, если не будет мебели, ехать мне на Кушелевку за ней. Это было неприятное ожидание для меня, но ничего. У Мих. Павл. красили комнаты, поэтому я пошел к Вас. Петр. Квартирка порядочная, весьма теплая, и теперь его жизнь, как кажется, должна перемениться. Сидели вечер, толковали о том, каково его теперь положение, и т. д. Я дописал лекции Неволлина, которые начал списывать с Корелкиным утром в университете, до 4-й лекции.

*20-го [сентября], вторник.* — Пошел в дом Кошанской — мебель привезена; я так и надеялся, это хорошо. Пошел в радости в почтамт, получил там 5 р. сер. из Аткарска Любиньке, и белье, и чай, и платок прислали из Саратова превосходный. Вечером, когда пришел, было уже все устроено и мне отвели последнюю комнату, может быть лучшую. Но dokonчу уже после, как обыкновенно раньше делал, у Фрейтага, а теперь за Гримма. Его стану писать, выпивши магнезии.

(Писано у Куторги на лекции в четверг, — или нет, некогда.) Продолжаю, пришедши на лекцию к Перро, дожидаясь его. 3 октября первая лекция, понедельник.

Итак, 20-го, во вторник, привезли мебель. Этому я был весьма рад; итак, избавился от хлопот и все слава богу. Пошел в поч-

тамт; деньги 5 р. сер., на которые я уже было надеялся, были присланы Любиньке. После этого пошел в университет. У Никитенки должен был читать Корелкин, но вместо того, чтоб читать, принес Калевалу<sup>164</sup> — кажется, так ее зовут, — финляндскую поэму. Мне хотелось, чтобы он вместо того, чтоб читать ее, дал читать мне «Нафана»; однако, конечно, я ему этого не сказал, он читал. Вечер провел, разбирая разрезанное, что было удивительно медленно, так что привело меня в отчаяние. Отыскал из университета Ал. Фед.

21-го, среда, 22-го [сентября], четверг. — В один из этих дней подошел ко мне Воронин и сказал: «Не поедете ли вы со мною на дачу?» Так, это было в четверг. У меня мелькнула мысль, что, должно быть, что-нибудь сделать для него, потому что Корелкин (теперь как я вижу, по предположению ошибочному, между тем как раньше я думал, что он это знал) сказал мне, когда я ночевал у них, что с его братьями занимается Стасюлевич, так у меня явилось положительное знание, что я потерял безуспешностью своего преподавания уроки у них: мысль, которая явилась во мне еще тогда, когда сказали весною, что Константин болен, — да еще сначала еще раньше, когда в начале прошлого года не возобновились уроки с маленькими его братьями. Я сказал ему своим мягким тоном, как бы делая ему услугу: «Когда вам угодно, с удовольствием». И обрадовался, думал, что вот открывается путь готовиться вместе к экзамену, т.-е. получить деньги. Он продолжал: «А то мы остаемся еще долго на даче, потому что в доме поправляют, а между тем Костеньке не должно уже откладывать; маленькие братья могут погодить до переезда сюда». — Превосходно! Превосходно! Это меня весьма обрадовало как нельзя более — итак, снова источник этот получения денег открывается и снова мне можно будет давать больше Вас. Петр-чу и вместе с тем несколько давать и Терсинским, и оставлять и себе 3—4 р. сер. в месяц. Итак, все устраивается лучше, чем я уже надеялся. Я был в большой радости.

23-го [сентября], пятница. — Так как через мою комнату, угольную, ходили из кухни, то я переселился в переднюю, чему сначала был рад, а теперь, может быть, стану раскаиваться, и со временем, может быть, снова перейду назад. В пятницу подошел к Срезневскому и попросил у него Гримма; он сказал, что можно вечером. Я пошел к нему, думая, что посижу, — не удалось, только взял и пошел. Пришедши домой, почти все время проспал. Смотри о записках Срезневского под «среда, 28».

24-го [сентября], суббота. — Так как увидел, что Гримма читать бесполезно, потому что все позабудешь, то решил сделать из него выписки; начал с вечера пятницы, продолжал этот день и воскресенье и почти совершенно кончил первый том 3-го издания *Vocalismus*; нового мало в методе, и без него я стал бы делать точно так же.

25-го [сентября], воскресенье. — В это время желудок у меня, казалось, все поправлялся, но так как я ел говядину или суп, то



начинало рвать через день два раза. Я воспользовался для этого окном подле нашей двери; вдруг, только что кончил это дело, слышу ужасный шум: это поднялись жильцы нижних этажей, которых окна заливались моею рвотиною, они ругались с Марьею, про которую говорили, что она это выплескивает помой. Мне это, конечно, было неприятно, но я решился промолчать по своему обыкновению, оставив постыдным образом ее расплачиваться за мои грехи. — В предыдущие дни два раза был у Ал. Ф. по его просьбе, чтоб читать *Histoire de la Révolution de Février*, par Lamartine. Он писал так бессвязно, что, чтобы понять его, должно бы было читать со вниманием, а так как этого-то именно и не было, то я почти ничего не узнал оттуда, кроме того, что уже знал, — чего не знал, не мог сообразить, как это было. Да, я ошибся, думая, что праздник был в субботу, — нет, напротив, в понедельник; поэтому я писал Гримма 3 дня: несколько в субботу, после в воскресенье и понедельник.

26-го [сентября], понедельник. — Был около часу Корелкин, я ему обещал Гримма, и теперь он воспользовался этим обещанием, спросил его, что мне было неприятно, потому что проходит время. Мне хотелось как можно скорее разделаться с этими книгами и после снова за летопись, но вот он взял; к счастью, скоро воротит. Так как в субботу мне Любинька додала истраченные мною 3 р. сер. для 25, то я отдал их в университет, и мне велели в воскресенье получить свидетельство.

Во вторник, 27-го [сентября], я хотел быть у Штейнмана, получить свидетельство; в этот день был дождь. Мы условились с Ворониным в субботу, что я буду давать на даче по два урока, во вторник и пятницу, и могу после ночевать там или ворочаться, как мне угодно. Хорошо. Поэтому я сказал Любиньке, что в этот день не ворочусь и чтобы мне не готовили моей кашицы из пшена и молока, которую я выдумал есть после того, как Вас. Петр., застав меня раз за обедом моим из молока и гречневой каши, сказал, что эта каша тяжела. В первые дни эта каша мне чрезвычайно нравилась. — Пришел Перро.

Продолжаю у Фрейтага на лекции. — Перро мало понимал, потому что мало, кроме некоторых фраз, хорошо произносимых и вообще окончательных слов не мог расслышать звуков; однако, кажется, к концу лекции несколько более, но все менее, чем надеялся.

Итак, 27-го пошел к Штейнману, опоздал и это снова показалось мне как после, к моему счастью. Итак, пошел в почтамт за деньгами: 10 р. сер. прислали для Любиньки. Когда воротился оттуда, пошел в дежурную взять свидетельство. Когда стоял у стола, подошел Никитенко и сказал: «А, это вы, весьма рад, подойдите ко мне, когда кончите, я имею вам нечто сказать». — Я думал, что уроки, и обрадовался. Хорошо. Подошел, он говорит: «Скажите, пожалуйста, — у вас ведь, конечно, есть знакомые в кружке, окончившие курс, — кто есть из них, кто бы хорошо знал по-рус-

ски и еще не получил места? Видите, есть место старшего учителя в Пскове русской словесности; ждать некогда, поэтому до вас это место не может остаться». — Я сказал: «Гульельми». — «Да я ему уж доставил место». — «Так я поищу», сказал я, уже образумившись и припомнив, что Вас. Петр. хотел уже держать непременно этот экзамен. — «Ищите поскорее». — «В четверг», сказал я (потому что вечер думал у Ворониных). Итак, я был в радости: или место Вас. Петр., и тогда он и я выходим из затруднительного положения, или, если он не принимает этого места, что я думал тоже, то доставляю несколько услугу кому-нибудь из студентов, во-первых; во-вторых, во всяком случае, значит Никитенко хорошо обо мне думает, когда обращается ко мне с таким поручением, и значит я более всего курса могу на него рассчитывать. (Куторга в этот же день сказал, что из 4-го курса не примет новых, итак, связи с ним вероятно не будет, поэтому не должно рассчитывать на место учителя истории, чего скорее всего мне хотелось бы.) Во всяком случае, это хорошо. «Ах, — думал я, — как благоприятствует мне счастье: вот опоздал, и из этого опоздания выходит такое хорошее дело!» Воронин сказал, что урок завтра, — это уж не хорошо в отношении к обеду, но хорошо в [том] отношении, что ныне же могу увидаться с Вас. Петр., — итак, ничего. После обеда пошел к Вас. Петр., сказал ему — мешал мальчишка, сын Орлова, — он сказал, что слишком рад, как же теперь? Фрака нет, а должно явиться к Никитенке. Решили, что он приедет в университет и я поговорю с Никитенкой, можно ли подождать месяц, который, как мы решили, нужно для приготовления или для того, чтоб выписать ему аттестат, который избавит его от приготовительного экзамена. Я ушел в самом хорошем расположении духа от него.

28-го [сентября], среда. — Дождался Никитенку, сказал ему: «Если бы вы, Александр Васильевич, могли сделать важное благодеяние не только для него, но и для меня, то я попросил бы вас, если можно, подождать месяц. Один мой, можно сказать, друг держит экзамен на старшего учителя и должен дожидаться своего аттестата об окончании курса во второстепенном учебном заведении для того, чтоб не держать гимназического курса». — «Да, но какой он человек, потому что ведь мне нужно же будет опереться на что-нибудь перед попечителем, когда он станет спрашивать, почему». — «Человек весьма умный». — «Так пусть он побывает у меня, потому что нужно же мне самому узнать его». — «Очень хорошо, когда?» — «В воскресенье, в 10 [час.] утра». — Сказал Вас. Петровичу, и весьма хорошо все нам казалось. Начали толковать о фраке, где его взять. Я говорил о Раеве, Виноградове Гавр. Григ., он не согласился, хотел сам достать у Залемана или Ив. Вас. Хорошо.

Из университета поехал к Воронину. Я решил тогда ночевать. Встретили как будто ничего. До обеда я озяб несколько; сели обедать, я ел все, понадеялся, но вышло нехорошо, т.-е. ничего особенного не было, решительно не слишком тяжело, но должно быть по-

чувствовал, что следует, чтоб вырвало, и сделал это в отхожем месте, которое сделано как университетское, поэтому весьма удобно, тем более, что можно совершенно низко наклониться, потому что запаха решительно нет никакого, весьма хорошо. Да, в пятницу ту Срезневский сказал: «Если бы вы были так добры, что писали бы мои записки этого года». Я сказал: «Хорошо, только после масленицы». Но вечером вздумал: разве не все равно? и сказал ему, когда был за Гриммом, что если ему нужно, то хоть и теперь. Он сказал, что теперь лучше, — так и мне показалось, по его способу выражения утром. Итак, стал писать и брал с собою к Воронину, но там ничего не успел. После обеда почти сейчас урок до 8 час., они считали один урок прежний, итак, это был уже второй, хорошо. После 8 час. предлагали мне ехать на извозчике, я остался. Вечер просидел с Ал. Степ. и приготовлялись вместе к латинскому классу. Он знает теперь гораздо лучше по-латыни, чем раньше, так что довольно хорошо знает. После, около 11 час., пошли спать. Мне было весьма хорошо, я долго читал статьи из *Gegenwart*<sup>165</sup> II том, продолжение, и *Convers. Lexikon*<sup>166</sup>, почему этот вечер прошел решительно ничего. Хорошо. Утром, как встали, должны были спешить в университет, где должно было Воронину подать сочинение Фрейтагу. Я его прочитал и показал там переправить несколько, но он не переправил почти, хотел на словах.

29-го [сентября], четверг. — Приехал с Ворониным. Так как он достал мне книгу, то я стал переводить, не весьма хорошо, но ничего. Из университета что я делал? Кажется, был у Ал. Ф. или он у нас. Нет, был, кажется, Вас. Петр., или писал Срезневского. Одним словом, день прошел ничего.

30-го [сентября], пятница. — Воронин сказал, что нынче урока не будет, потому что всегда у них накануне Покрова большой молебен, — это не слишком хорошо было для меня, — а в следующие разы будут в среду и субботу; ну, это как угодно, конечно. Итак, воротился домой. Не было приготовлено кашицы, потому выпил чаю. Вечером пошел отнести Гримма, взял I том 2-го издания. Оттуда идя, зашел к Violet в кондитерскую, после к Вольфу и за чернилами в свою обычную лавку в доме Кошковского\* подле Юнкера, где бумага мне нравится. Так проходил до 8, и когда воротился, должен был уже один пить чай. Так пришла суббота.

## О к т я б р ь

1 [октября], суббота. — Утром был у нас Ал. Фед., пил кофе. Я несколько писал из Гримма (склонения), несколько для Срезневского, для которого уже и раньше написал 9 листиков, в этот день еще 2 с лишком. За обедом кроме своей кашицы съел кусок говядины и показалось, что ничего, т.-е. сначала была отрывка, после и она прошла, так что не вырвало. Я думал, что теперь могу уже есть, но последнее воскресенье показало, что не годится, да и ве-

\* Неразборчиво. Ред.

чером съел пропасть хлеба с чаем; однако ничего. Да, вечером пришел Вас. Петр. и мы потолковали с ним попрежнему, часа три сидели и большею частью толковали хорошо. Он хотел взять фрак у магистра здешней академии Княжинского, придти ко мне в 8 час., надеть мои сапоги и идти к Никитенке. — Звонок.

(Писано 8-го числа в III аудитории на первой лекции.) Пришел в университет в надежде, что может быть есть деньги, поэтому должно будет сходить в почтамт, но их нет. Думал, если так, переписывать для Срезневского лекции — забыл дома его бумажку; итак, должен теперь писать это.

2-го [октября], воскресенье. — Дождался Вас. Петр., — его не было. Ждал, ждал — его нет. Что такое? Наконец, решил, что должно быть он раздумал быть у Никитенки, и стало на душе тяжело. Так провел этот день нехорошо. В 6 час. отнес Срезневскому его книги, чтобы не развлекали от дела, тем более что хотел в следующий вечер быть для чтения журналов у Иванова, поэтому время прошло бы так. Как я пришел к нему, он сказал (я отнес ему еще 5 листиков, всего поэтому 14, до конца его 3-ей лекции, так что оставалось переписать только один): «Скажите, г. Чернышевский, до какой степени владеете вы французским языком?» — «Не могу ни писать, ни говорить», — сказал я. — «Я это спрашиваю потому, что через барона Мейендорфа обратились ко мне с просьбою отрекомендовать им учителя русского языка двое служащих во французском посольстве чиновников, M-r Буало и M-r Lallemant. Они хотели, чтоб я давал им уроки сам, я отказался, а сказал, что порекомендую из студентов, но что трудно сыскать, кто бы говорил по-французски». — «Я не знаю», — сказал я, — кто говорит: Корелкин так же, как я, Лыткин разве? Я спрошу, другого я не знаю». — «Да другого я не могу и рекомендовать, потому что сам не знаю». — «Из других курсов?» — «Нет, из вашего лучше, потому что, конечно, у вас я должен предполагать более методы и умения». — «Так я спрошу; если Лыткин знает лучше меня, так я вам скажу; если нет, так сделайте милость, уж отрекомендуйте меня». — «Хорошо». — «А если не из студентов, то вот один человек, который хорошо говорит по-французски и которого, может быть, вы знаете — он бывает в университете — это Лободовский». — «Нет, не помню». — «Ну, так нечего делать, уж меня». — «А это было бы хорошо и в том отношении, что вы ближе узнали бы западную образованность: вы в душе русский, но увлечены Западом — до невозможности. Так вот вы бы и узнали его: боже мой, какая разница между этими людьми и между нашими молодыми людьми, состоящими при посольствах! Я знал их в трех посольствах, что это за люди! полные знаний, образованности, энергии; а здесь решительно противоположное: один из них, Lallemant, выдает себя еще за филолога, а не знает греческой азбуки, т.-е. вида их букв, — что за образование после этого?»

Я ушел в восторге от того, что буду получать деньги и вместе выучусь по-французски, если удастся поступить мне, а не Лыткину.

Но на дороге лакей шпорою разорвал мне брюки, и это несколько поутишило мой восторг. Пришел домой, напился чаю, Любинька зачинила брюки, и я пошел к Вас. Петр., узнать, что он, как ему. Дорогой сделал, чтоб несколько вырвало. Погода была скверная, на душе нехорошо. Вас. Петр. велел подать свечу в другую комнату, потому что у них была сестра ее, Александра, и сказал, что он не достал фрака у Княжинского, потому что неловко выставить причину, для которой ему нужно, и поэтому решился отложить. — «Как же теперь?» — «Да уж завтра приду увидеться с ним в университете, если не будут болеть зубы и не будет грязи». — Это меня разогорчило, и я начал выкусывать перед ним мою печаль, смешанную с досадою. Это было оттого, что в сущности я через это был поставлен в неловкое, по моему мнению, положение перед Никитенкою этим невежливым неприходом в назначенное время; что через это отлагалась снова на неопределенное время самостоятельная жизнь Вас. Петр. и поэтому возможность не употреблять на него все деньги (тут кроме того, что не совестно будет перед Терсинскими, являлось мне употребление 3—4 руб. сер. на ветчину, калачи с душкою, посещение кондитерских, сладкие вещи от Елисеева или из Милютиных лавок и т. д.). Итак, снова это скверное, стесненное решительно положение, которое, того и смотри, прорвется перед нашими! И что за глупость не взять было мне фрака у Ал. Фед., не спрашиваясь у Вас. Петр.? ведь известно, что сам он не достанет, так как же? Что это за глупая черта в характере не делать для другого, если он положительно не выскажет, что ему это нужно, хотя сам весьма хорошо знаешь, что ему это нужно; черта, от которой именно и терпят люди благородные или, как это сказать, не любящие надоедать просьбами, деликатные, думающие о том, чтоб не обременить, не поставить в затруднительное положение другого. А главное, что вот он заставляет Никитенку ждать, время все проходит и, наконец, дело кончится тем, что он не выдержит экзамена, т.-е. не будет держать его, и мы останемся с ним в подлецах перед Никитенкою, которого поставим в самое неловкое положение. Так от этого всего я сильно досадовал и стал вымещать свою досаду тоскливыми речами на Вас. Петровиче, который оправдывался как мог. Я решился достать ему, не спрашивая его, фрак, чтобы он был у Никитенки и сам сказал ему, хочет или нет держать экзамен. Он решился не быть у него, а быть в университете, чтоб переговорить с ним на лекции. Ушел от него, конечно, в самом скверном расположении духа, которое увеличивалось еще тем, что я так неловко вел разговор и свои упреки, что вместо того, чтоб склонить его думать так, что он не был у Никитенки случайно и будет, как достанет фрак, еще развил в нем и себе мысль, что это он не был с намерением по решимости, потому что не должно и не хочется ему быть у Никитенки, потому что это слишком неловко. Скверно.

3-го [октября], понедельник. — Решился на всякий случай научиться понимать по-французски и поэтому пошел к Перро, что и

записал раньше, кажется — нет, не найду, где это. Раздосадовало несколько то, что понимаю гораздо менее, чем надеялся. У Фрейтага написал Лыткину, подле которого сидел, на бумаге вопрос, говорит ли по-французски, прямо сказавши, в чем дело, только не положительно, а «может представиться случай». Он сказал, что говорит, но с русскими, а с французами говорить трудно. А по окончании лекции, когда я рассказал ему, он отказался, сказавши, что ему и некогда. Это меня обрадовало; итак, я теперь поступлю, если будут просить они Срезневского, с спокойною совестью, между тем как раньше хотел несколько покривить душою, когда услышал ответ: «говорю, но плохо», — все же, конечно, лучше меня, который не понимает, что говорят по-французски. А я, однако, хотел сказать Срезневскому, чтоб меня, а не его. Итак, теперь с чистою совестью скажу Срезневскому, чтобы рекомендовал меня, чистою, потому что Лыткин сам отказался. Воротился домой в веселом от этого расположении духа: одним камнем двух зайцев или трех убью: буду получать деньги, которые так нужны, познакомлюсь с людьми, с которыми познакомиться интересно, и выучусь по-французски, что давно хотел, только не знал, как приняться за это дело, — ведь я хотел уже бывать на лекциях французских поэтов.

Продолжаю уже после звонка, когда уж народ шумит в коридоре. Воротился с твердым намерением (продолжаю в понедельник, 10 ч., дожидаясь Перро на первой лекции) достать фрак Вас. Петр., чтоб мог итти к Никитенке. Как пообедал, действительно пошел и, чтоб не сказывать для [чего] нужен для Вас. Петр., придумывал дорожку, как сказать, и выдумал, что это нужно потому, что разыгрывают у Ворониных (я ему уже говорил, когда почевал не дома, что это я был у них) — сначала хотел сказать: какую-нибудь Гоголеву пьесу; после придумывал, какую же, не мог выбрать, где для меня роль, наконец, вздумал, что лучше всего сказать, что мою пьесу, какую же? — «Учитель», будет разыгрывать все семейство, кроме отца и матери, я буду учитель, поэтому нужен фрак, а впрочем можно, если нельзя, обойтись и без него. Так и сказал. Он дал без отговорок, хотя сначала соображал, завтра или послезавтра лучше быть ему у своего будущего начальника отделения (как бишь его фамилия?). Как встали они из-за стола, мы пошли. Я напился чаю и к Вас. Петр., там оставил, не сказавши ни слова, только что до завтра.

*Вторник, 4-го [октября].* — Утром Вас. Петр. пришел в университет. Никитенки не было ни в этот день, ни вчера, потому что был болен. Пришел он в сюртуке и сказал, что я нехорошо сделал, что принес фрак, потому что у них ведь была Алекс. Ег., а ему не хотелось бы, чтоб она это знала, и решительно отказался быть у Никитенки и просить этого места: «Не успею, потому что мало ли что может случиться, и поставлю Никитенку в неприятное положение». — «Так принесите ныне фрак». — «Хорошо». — Из университета, пообедавши дома, пришел он. Снова стали толковать, особенно когда наши ушли гулять, толковали довольно много. Ре-

шил так он, что не будет входить в обязательства, потому что может изменить им, и это тогда поставит и Никитенку, и меня, и его в скверное положение, меня и его перед Никитенкой, Никитенку перед попечителем. «Итак, я отказываюсь от условий относительно этого места; экзамен на старшего учителя держать буду непременно на этой же трети, до рождества, обязавшись перед вами, если хотите, а когда будет звание учителя, место найдется здесь, потому что есть протекции: Муравьев, Полозов, даже княгиня Белосельская, да и Казанский всегда может доставить». — «Хорошо, итак, вы держите, а теперь отказываетесь». — «Да». — «Итак, я завтра скажу об этом Никитенке, что вы больны и поэтому не можете».

5-го [октября], среда. — Утром у Никитенки, поэтому не мог быть у Перро. Застал дома, сказал, что болен. Он сказал, что попечитель два раза писал ему письма об этом, и, наконец, он должен был отвечать, что не имеет в виду никого. Итак, это и хорошо, что Вас. Петр. решился отказаться, потому что если бы и не решился, было бы уже поздно, когда не был в воскресенье. Никитенко был так деликатен, что мое положение и объяснение с ним не имело ничего неприятного. Из университета к Ворониным, где снова обедал весьма много: было четыре блюда, и я ел всего помногу. Особенно дурно сделал, что поел последнего, какого-то пирожного, которое с маслом, пшеном, должно быть, яйцами и т. д. и должно быть весьма тяжело. Однако особенного ничего не было, и когда после чаю сказали мне, что мне можно ехать (это мне было отчасти вот как: или уж, когда ночевал я у них, не было ли сделано мною что-нибудь такое, что заставило их не желать дальнейших моих ночевок?), я на дороге сделал, чтоб меня вырвало, однако, не весьма много. Начиная, кажется, с этого дня, снова начались почти как следует excrementa. — Видно, Перро не придет, поэтому принимаю за дописывание лекции последней для Срезневского, потому что мне весьма хотелось вчера вечером и ныне хочется отдать ему листки его и именно 25, а не 24, которые теперь написаны, так, чтобы не оставалось уже за мною ничего, кроме самого последнего листка, который нельзя отдавать, потому что не дописан.

(Продолжаю у Фрейтага на 3-й лекции.) 6-го, четверг. — Что делал в этот день? Был у Штейнмана первый раз, потолковал несколько с ним, когда была возможность. Вечером писал несколько для словаря, несколько для Срезневского.

7-го [октября], пятница. — Утром дописал Срезневского лекцию предыдущую, т.-е. 18 листиков, и решился взять в университет, надеясь, однако, что велит отнести домой; однако, ничего, взял. У Устрялова Воронин, когда кончилось, подошел и попросил ехать с ним, — хорошо, а я думал, что рассыхается снова, нет, нисколько; и как я глуп с своею мнительностью. Мне только то было несколько нехорошо, что готовили для меня обед, а я не буду, да и то, что Вас. Петр. хотел быть в этот день у меня, а меня не будет. Итак,

отправился с Ворониным в карете, в которой сидел еще тот человек, которого я видел у них, довольно полный, или родственник, или какой-нибудь главный управляющий. Дорогою толковали о банях довольно много. Приехали, пошли в бильярдную дожидаться обеда. Я взял из «Die Gegenwart» das Deutsche Vorparlament и читал. После обеда. Я много ел, напр., котлетки две и больше довольно. После обеда был я в следующей комнате, и как увидел здесь, что гораздо более фамильярности между семейством Ворониных и живущими у них молодыми людьми, то и я стал гораздо свободнее и не так смирен. После этого стали заниматься до чаю. После входит их гувернер и говорит: «Идите пить чай, дрожки готовы». Я пошел. За чаем была мать только, потому что отца и за обедом не было. Да, в прошлый урок, когда мы переводили на латинский, и тут сидел старичок, который вроде надзирателя за маленькими сыновьями и которого прежде не было, — нам попалось *invado\**, должно было сделать *perfectum\*\**; я сказал *invasi*, он сказал по-французски, я разобрать хорошенько не мог, но кажется: «N'est ce pas, Mr, — *invado, invadi, invasum, invadere, n'est ce pas, Mr?*» Это меня смутило и смешало, что (как мне показалось, однако, я не знаю, так ли) уличает в ошибке, и я сказал: «Да», и сделал форму *invadi*, а между тем, когда после Константин вышел, я-таки посмотрел в словарь у Кошанского, хотя был уверен, что ошибся, сказав раньше *invasi*, и мне представлялось, что этот человек вроде наших прежних знатоков латыни, напр., хоть папенька, который всегда лучше меня знает грамматику, хотя уже 20 лет не занимается ею; посмотрел — о, счастье, *invasi* — это меня утешило решительно. А в этот урок в пятницу (сейчас Фрейтаг спросил, что я пишу на такой *elegantiore papuro* — я сказал, что такую привычку имею. После, так как Нейлисов не мог перевести, спросил — «*tu potes fortasse adjuvare eum*» — это была VII *elegia* около должно быть 20—25-го стиха, там Tyros что-то, — а у меня не было книги; конечно, я молчал, потому что вместо Тибулла у меня был Овидий; спасибо Залеман сказал скоро, как должно) я должен был сделать, чтоб меня вырвало у них, и в среду, когда мы ехали от них, я сделал, чтоб меня вырвало. Когда напился чаю, поехал домой. Когда всходил на лестницу, попался Ал. Ф., который в то время сходил с лестницы; воротился, посидел с полчаса или несколько менее, после ушел. Я пошел к Доминику, не вытерпел, хотя денег не мог уплатить, потому что только 20 к. сер. было, а-таки хотелось как можно скорее узнать характер «Северного обозрения»<sup>167</sup>, чтобы узнать, можно ли отправить туда статью или нет по духу его, т.-е. повесть об этом. Однако, после все-таки или позабыл спросить, или теперь ошибся и пошел так, а не для «Северного обозрения», потому что его не спросил теперь, а в следующий день.

\* Нападаю.

\*\* Прошедшее время.



8 [октября], суббота. — На лекциях спросил у Корелкина, будет ли он читать у Никитенки, чтоб знать, нельзя ли прочитать повесть свою. Сказал, что ничего. Итак, я должен приготoвиться ко вторнику. Хорошо. Он принес все-таки вместе с тем записки Срезневского для Залемана. Я взял их, обещаясь принести в этот вечер или воскресенье утром. Решился быть у Вас. Петр.

(Писано у Фрейтага 13-го в четверг на лекции.) В субботу 8-го вечером пошел к Вас. Петр. Отнес, кажется, что-то — да, именно листки от Славинского «Débats» с твердой решимостью после быть у Иванова, чтобы прочитать «Северное обозрение», чтоб узнать его дух и то, можно ли будет послать в него свою повесть. Но пришел к Иванову — у него нет «Сев. обозрения». Взял на последние 15 к. сер. все-таки чашку чаю, купивши, чтобы разменять двугривенный, на 5 к. сер. в одной булочной сухариков, так всегда буду делать, чтобы покупать таких сухарей, когда буду в кондитерских, так как весьма хорошо с ними пить. Итак, просидел там недолго и после пошел к Славинскому взять Лоренца Историю, которую просил взять Вас. Петр., и взял действительно. В 9 ч. почти воротился домой, но не утерпел и пошел посмотреть, нет ли «Сев. обозрения» у Доминика — нет. Пришел домой и начал переписывать для Срезневского, потому что хотелось в понедельник принести ему, а пошел к Доминику, потому что взял у Залемана записки Корелкина Срезневского, обещался принести ему в тот же день или утром на другой. Пошедши к Вас. Петр., забыл к своей досаде его, теперь должен буду отнести ему. Вас. Петр. сказал мне, что он с четверга поступает служить в квартал, но говорил, что, во-первых, там настоящий ад — это бы, говорит, еще ничего, но должно будет ему там бывать с 8 до 12 и с 6 до 12, поэтому нельзя заниматься с сыном Орлова, поэтому должно что-нибудь бросить, и поэтому он говорит, что ныне поговорит с Орловым; если тот будет давать по 15 р. сер., он бросит квартал. Когда был в понедельник, сказал, что тот обещался, если будет хороший приход, и что он бросит квартал уже по одному тому, что тот чиновник, который нанимал его от себя, требовал его паспорта.

Итак, вечером я написал два листика Срезневского и лег раздумывать, какую, т.-е. о чем, писать повесть — вывести ли главным лицом Вас. Петр. и его характер и то, как подобным людям тяжело жить на свете, или о том, как вообще тяжела участь женщины, или, наконец, о том, как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевают им и сомнение в этих убеждениях, и нерешительность, и непоследовательность, и, наконец, эгоизм действует сильнее, чем в случаях, когда он должен отвергать его для общепринятых уже в свете правил и т. д. — Лежал и все думал и, наконец, выбрал последнее, так с тем и уснул. Прежде всего родилось положение мужа к жене, как он не решается быть таким мужем, быть в таких отношениях к жене, как должен по своим убеждениям; также положение отца перед сыном:

а) выбирающим род жизни, б) желающим жениться; и перед дочерью, желающею выйти замуж (а теперь вздумалось еще — желающею быть актрисою, это чудесно — или писательницею). Но это уже весьма поздний период жизни, а раньше должно изобразить важнейшие случаи жизни этого человека, — так как третье по времени — отношение к детям, второе — отношение к жене, первое — отношение к женщинам до женитьбы. И когда встал поутру, с тем, чтобы писать, только стал думать об этом первом периоде, и развилась мысль, что не женился, когда должен был жениться. Второе — из этого старается устроить женитьбу, которую по своему убеждению не должен был устраивать. Второе по времени должно быть раньше и лучше всего относиться к той же женщине. Между отношениями к жене и с детьми войдут какие-нибудь отношения служебные и светские. Так развивалось постепенно. Писал в этот день поэтому повесть<sup>168</sup>, написал всего 3 первые страницы, кажется, 160 строк; кроме того, писал лекцию Срезневского и дописал почти всю, так что оставалось только один листик дописать, поэтому 24 листика всего или в этот день 4 листика, и прочитал их для поправления. В понедельник пошел снова к Перро, после писал в лекцию, чтоб дописать Срезневскому, и передал ему на четвертой лекции эти листики, всего 25, — это почти  $\frac{1}{5}$  доля всего; итак, всего будет около 125.

(Писано у Фрейтага на лекции в понедельник, 17-го.) Вечером в понедельник писал несколько свою повесть, что должно разуместь и о всех следующих днях до воскресенья, когда утром дописал последнее, т.-е. когда дописал в субботу вечером до смерти Владимира Петровича, писал предисловие, которое заняло 80 строк, чего я не ждал.

Во вторник снова писал свою повесть; утром у Никитенки хотел читать; он отклонил, сказавши, что лучше прочтает один в рукописи, если я доставлю (Я доставлю потому, что это более легкий путь, если ему понравится, а если не понравится, то ведь, конечно, он не продержит более недели, и поэтому замедление небольшое будет), поэтому должен был я, чего решительно не думал, говорить снова и сказал о драматической форме, в которой, как стал доказывать, это всегда есть стеснительность. Он говорил, что никогда не замечал, чтобы от нее выходили крайности \*, как я говорил, у Шекспира и др., которые владеют ею, напр., ничего подобного нет в «Макбете». — «Если позволите, я разберу его в следующий раз, теперь не могу, потому что плохо знаю». — «Весьма хорошо». — Итак, должен буду доставать его. Хотел взять из библиотеки Юнгмейстера, но, однако, у него уж не выдают тома; итак, должен доставать в других местах, лучше всего у самого Никитенки. Вечером писал снова несколько свою повесть; характеры постепенно развивались и положения тоже. Жаль, что я не

---

\* Неразборчиво. Ред.

писал в то время этих записок, как постепенно развивалась повесть эта.

(Да, во вторник купил халат, это должно написать. См. следующую страницу в конце. — Вторник, к концу предыдущей страницы, о халате, который купил 11 октября.) Так как пальто мое почти доносилось, то я стал подумывать, что буду носить после. Все думал о том, что должно купить пальто, но денег, конечно, нет и не будет, — что делать? оно стоит 5 или лучше 10 р. сер. — Вдруг в первых числах октября родилась мысль о халате. Решено, сказал Марье, чтоб позвала татарина с халатами, как увидит; с неделю прошло так; наконец, во вторник пришел татарин. Весьма хорошо, — стал торговать халат, который, главное, решился [купить] потому, что можно — отчасти, во всяком случае, — заплатить за него вместо денег старым платьем, — вынес платье. Я пил чай, читал «Современник» и торговался. Наконец, уступил за двое старых брюк, которые попросил за 1 р. 50 к. сер. обое, и 1 р. 50 к. сер. деньгами, которые взял у Любиньки. Весьма был рад, главное потому, что теперь не нужно так хлопотливо одеваться утром, почти не надевать брюк, да и весьма легок, да и, главное, весьма теплый, так что, напр., теперь 18° в комнате, мне даже несколько жарко, даже и в 17° уже, если угодно, несколько слишком тепло; в 15° кажется только впору. По крайней мере, вчера было 15°, и я ничего не чувствовал, не заметил и потом. Обеспечил себя довольно надолго с этой стороны от расходов (это писано в 40 м. первого ночи, 17 окт.).

*Среда, [12 октября].* — Итак, пошел к Перро снова — его не было. Мы говорили с Голубевым, этим чудачком, студентом 3-го курса; после я писал свою повесть до 3-й лекции. Вечером поехал к Ворониным, снова много ел и снова вырвало, и снова воротился к 9 часам. Хорошо. Никитенку не мог догнать, поэтому так и не сказал, что книги нет; в нашей библиотеке нет также. Где взять? Когда ехал с Ворониным, я спросил у него — есть английский, переводов Шекспира нет. Что делать? Приехавши от Ворониных, писал несколько снова.

*Четверг, 13-го октября.* — Так как у меня был Вас. Петр., то вечером решился быть у него и был, разумеется, на минуту, а в университете спросил, — почти без всякой надежды, что есть, — у Сидонского Шекспира. К счастью, у него есть, и он обещался принести на другой день.

*Пятница, 14-го [октября].* — Срезневский был и ничего не сказал, только прочитал по своей книге лекцию. Я спросил книгу, он сказал, что не может дать, потому что по этому экземпляру поправляет свою речь. Итак, я отложил до того времени, когда получу книгу; переписывать лекции. Вечером писал снова свою повесть, кроме нее ничего почти, однако несколько страниц «Макбета» прочитал — особенного ничего нет, не могу понимать красот.

*15-го [октября], суббота.* — Утром пошел в университет с некоторою надеждою получить деньги пораньше. Ел хлеба с чаем

весьма много, и поэтому отрывка была. Из университета, где Плетнев предложил писать себе на темы — довольно пошлые, но особенного ничего, [на] эти темы я буду писать на две и на одну тотчас по окончании переписки своей повести; это хорошо, что можно будет и с ним сблизиться. Получил деньги, но только 10 р. сер. Итак, если отдать Любиньке, то останется только 4 р. 35 к., поэтому не могу отдать долга за сапоги Фрицу, и тоже не стоит давать 3 р. сер., поэтому лучше всего отдать для поддержания взаимных услуг Ал. Ф., который несколько раз говорил об этом. Из университета поехал к Ворониным, там занялся до обеда, это прекрасно, и после обеда несколько, и в 6 ч. выехал оттуда вместе с Александром, который ехал в театр, и их доктором. Александр дорогою, говоря с доктором обо мне, запнулся, желал назвать меня по имени, потому что мне слышно было, но не помнил, и через это сказал «Чернышевский». Это меня уязвило и то, что довезли только до Полицейского моста, а не до места; но особенного ничего. Напился чаю дома, хоть уже наши напились, и поэтому с досадою пил. Так [как] сделал, чтоб вырвало, ночь спал весьма хорошо. Дописал свою повесть, т.-е. первую часть ее, которая кончается смертью Владимира Петровича. Отдал 10 р. сер. Любиньке.

В воскресенье утром, напившись чаю, пошел к Ал. Фед., чтоб предложить деньги, потому что хотелось разменять и в тот же день отдать Любиньке свой долг, который теперь решился отдавать не весь, а целковый оставить за собою. У Ал. Фед. сдачи не было, поэтому условились, что я принесу завтра. Я надеялся, однако, что 3 р. сер. слишком мало, и поэтому он не возьмет, — а взял, это скверно, — я собственно для того и пошел, чтоб он отказался, и тогда можно будет мне отдать их Вас. Петр., которого ждал в этот день. Оттуда зашел остричься к Victor, у которого скверно то, что вместо 15 к. взяли 20 к. сер., поэтому вперед буду уже у Иванова, оттуда к Вольфу, где с час просидел и почувствовал снова прежнее довольство, сидя и читая газеты. В 11 ч. пришел домой и хорошо сделал, потому что Вас. Петр. дожидался. К Ал. Фед. ходил между прочим и затем, чтобы узнать, нет ли у него знакомых в Палате Государственных Имуществ, чтоб место там канцелярского для Вас. Петр., — нет, сказал. — Итак, когда я воротился, Вас. Петр. уже дожидался меня, просидел до часу; Любинька так была мила, что сделала кофе. После этого я стал писать предисловие, которое начал писать вчера, и когда дописал, то стал поправлять его, чтоб переписывать — весьма медленно, времени несколько нужно на поправку, несколько на то, чтобы писать. Поправил менее 1½ стран. Когда ушли гулять Терсинские, я сказал, что буду обедать один, и тотчас стал, — это мне было лучше, потому что сахару можно было укоротить, для того, чтобы есть с кашецею. К моему удовольствию, были еще макароны, которых также я поел. На кашецу, которая весьма понравилась с сахаром, — кусок, на макароны также, и как

кончил, ушел к Вольфу почти в три часа; зашел к Иванову в булочную купить сухарей, но когда купил на 5 к. сер., увидел, что позабыл 2 куска сахару, которые приготовил для чаю у Вольфа; воротился за ними. У Вольфа прочитал «Дженни Эйр»; «Северного обозрения» и у него нет. Когда вошел, стоял тот мальчик лет 16 или 17, такой неуклюжий, широкоплечий, мужиковатый, с которым мы такие приятели. Я попросил у него чаю, спросил — «Северного обозрения» нет, поэтому попросил «Отеч. записки» — тотчас подал. Я напился чаю с удовольствием, отчасти с их, отчасти с Иванова сухарями и весьма хорошо. Спросил у него, чтоб поддержать приятнь, что его так долго не было видно. Он сказал, что теперь на кухне и здесь только на время, потому что другой мальчик ушел. Когда принесли «Staats-Anzeiger» новый, он сам мне подал его, такой милый; это хорошо, что мы с ним такие друзья; и «Siècle»<sup>169</sup> тоже, когда спросил, есть ли новый, мне подали тотчас, еще не вставленный; весьма хорошо. Просидел там до 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, после домой, где с комфортом напился чаю. После стал писать повесть, написал 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> стран., прочитал с лексиконом 40 стр. «Макбета», и это заняло до часу. Когда стал отдавать Любиньке деньги, она не хотела взять, потому что, говорит, если уж так, то я должна 10 р. сер., взявши раньше. Хорошо, если б не взяла, можно было бы Вас. Петр., — нет, однако, когда утром снова предложил, взяла. Конечно, совестно перед ней, что на их счет живу. Когда стал вынимать деньги, оказалось, что в кондитерской 20 к. сер. потерял, а вчера думал, что 30, это огорчило. Ночью было весьма много excrementa, так что облегчило от них желудок. Вообще день до самого вечера прошел ничего, довольно хорошо.

17-го [октября], понедельник. — Хочу с этого дня каждый вечер снова писать эти записки, а у Фрейтага может быть и не стану уж, потому что лучше слушать его и говорить с ним. Хорошо. Утром дочитал «Макбета» и пошел. Заходил везде, спрашивал в лавках Катулла — нет маленького издания нигде, так [что] должно будет взять в библиотеке; это хорошо, 30 к. сер. останется в кармане, и вознаграждается вчерашняя потеря. Из университета пришел, поел супу и говядины, кроме кашицы, после лег и уснул до 7 слышком час. Днем заходил из университета отдать Ал. Фед., где видел Conseiller du peuple, Lamartine, и может быть завтра пойду к нему. Когда пил чай после этого, скоро пришел Ал. Фед., просидел 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа. Итак, я писал только с 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub> до 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, написал более двух страниц и дописал как раз до начала мыслей, что «этот человек должен бороться и с самим собою, кроме того, что должен бороться, как мы видим, против общества». Выходит теперь по расчету, что это будет ровно 100 стран. в «Отеч. записках», куда, конечно, я думаю, скорее всего обратится Никитенко, если ему покажется, что можно; если нет — я сам должен буду, так тоже туда и верно лично к Краевскому. Теперь 50 минут 11-го.

(Писано 19-го на второй лекции.) *Вторник, 18 [октября]*. — Весьма глупо истратил день. Утром переписывал повесть до 10, конечно, потому, что к Штейнману теперь я хожу, к ГрEFE нет; впрочем, ГрEFE был болен и теперь был в первый раз. Из университета когда пришел, поел две котлетки; это было дурно; хотя не вырвало ничем, кроме воды, что я сделал перед чаем в 8 [час.], но все не хорошо, была отрыжка из глубины желудка говядиною. Пошел-таки, как думал, к Ал. Фед. читать *Conseiller du peuple*, хотя совершенно не было любопытно. Выкурил у него две трубки для уничтожения отрыжки и по крайней мере хоть то хорошо, что G. Sand «*La petite Fadette*»<sup>170</sup> позволил взять посмотреть, а после даст «*L'oeil de Boeuf*», хроники XV и XIV Людовика, хоть то хорошо, что буду брать книги. Итак, был у Ал. Фед., после его просил к нам, он и пошел, до 9 просидел, после я спал, потому что отрыжка. Так потерял день совершенно. Весьма досадно теперь.

*Среда, 19-го [октября]*. — В 6 с небольшим встал, написал 1½ страницы и пошел к Перро, которого не было, поэтому первую лекцию поправлял повесть для переписки, вторую отчасти сидел в библиотеке, а теперь снова буду поправлять. Да, когда шел сюда, т.-е. в университет, думал, что делать с Куторгою. Решился, если не буду писать на медаль, подам ему диссертацию на кандидата — это весьма хорошо, так будет все равно. А писать на медаль уже верно не удастся. Сердце как-то тоскует, тоскует, тоскует.

(Писано в пятницу в 35 м. 10-го утра.) Из университета, где была ужасная тоска оттого, что даром пропускаю время, поехал к Ворониным; у них обедал, как обычно, даже съелдобный пирог с вареньем и не вырвало, — весьма хорошо, весьма хорошо. Когда воротился от них в 8½, был у нас Ал. Фед., который до половины 10-го почти просидел. Когда он ушел, я лег читать, потому что писать было неудобно, потому что ворчал в животе после обеда у Ворониных, и уснул.

\* *20-го [октября], четверг*. — Проснулся в 4 часа и сел писать свою повесть. Писал с небольшими перерывами до часу и написал более 5½ стр., потом вечером еще более страниц, так что около 7 в этот день. Поэтому в университете когда был, тягость от сердца отошла более, потому что таки идет вперед дело. Когда воротился, думал, если не будет Вас. Петр., идти к нему, но он пришел. Он будет давать три урока в неделю у Залемана по 50 к. сер. Это не слишком хорошо, но все лучше, чем ничего. Принес «*Débats*», который вечером отдал я Ал. Фед. — После Вас. Петр. я большею частью возился с трубкою и «*Débats*» и «*Fadette*», после с чаем (Терсинские уходили в гости), так что до прихода Ал. Фед. в 7 час. написал только немного более страницы. На странице 3800—4000 букв, я пишу ее больше часа. — Он просидел до 9, взял еще рубль сер., который я мог дать, потому что Марья, которой я поручил продать старую одежду, при-  
330

несла мне 1 р. 10 к. сер. за сапоги, да теперь 25 к. сер. за фуражку, 30 к. сер. за бедуин; поэтому на неделю денег достанет. Он говорил ныне принести «Débats». В среду я взял Катулла и т. д., издание в 12° в Роттердаме 1805 г., итак 30 к. сер. осталось в кармане, и кроме этого поставил себя в приятную необходимость возвратить книги, которые давно лежали. Уснул рано.

21 [октября], *пятница*. — Проснулся в 7 час. и успел написать несколько более 1½ стр., так что теперь написано 15 страниц до места, где говорится: «кроме жалованья, доходов не было у Ясенева, поэтому только концы с концами сходились». Иду в университет; решил это писать дома, а у Фрейтага слушать и записывать. Дурно то, что пропадает урок завтра у Ворониных, но как-то ничего — скорее кончу свою переписку.

(Писано снова в пятницу у Фрейтага 28-го.) В пятницу ничего, в субботу был праздник, поэтому просидел дома, переписывая свою повесть, написал все-таки не так много, как думал.

22-го [октября], *суббота*. — Утром понес Вас. Петр. газеты, его не застал дома, поэтому пошел домой. Был у Славинского, который именинник, поэтому просил обедать, — я не согласился, поэтому хоть вечером. Я не знал, буду ли. Хорошо, я сказал, что может быть буду. Когда шел домой, у здания, которым кончается улица Б. Конюшенная, — большое, длинное, — встретился Вас. Петр., который был у меня; сказал: «Достаньте фрак, вот чего ради — мне нужно быть у одного человека». Я позвал его к себе, он зашел на минуту и сказал: «Это вот зачем: я был у Щепкина и просился в московский театр, он сказал, что можно, только должен раньше побывать, для того, чтобы справиться об отметке, которую мне поставили здесь, когда я испытывался, у директора». — «Хорошо. Итак, вы едете в Москву?» — «Да, еду». — «Твердо?» — «Твердо, если только получу деньги из общества посещения бедных так, чтоб было на что доехать». — Я обрадовался: итак, я выхожу из своего стеснительного положения, начинаю платить деньги Терсинским, сам пользоваться удовольствиями, которые хочется иметь, изредка и сладким, но нельзя сказать, чтобы не было тягостно несколько за Вас. Петр.: ведь это такой большой риск ехать в Москву: здесь у него все-таки были знакомые, между прочим я, которые его поддерживали, и здесь он все-таки мог надеяться того — другого, а там? Но зато, если поступит, так и будет там жить сколько-нибудь похоже на других, а здесь что за жизнь. Итак, он просидел у меня до часу, после ушел. Я стал писать до обеда, т.-е. с час. Наши ушли, я пообедал один с наслаждением с полчаса и пошел к Вольфу, где просидел около 3 часов, также с удовольствием, и, наконец, пошел к Славинскому. Когда пришел, отца его не было, мы дожидались, после сели играть в карты. Я сначала думал, что проиграю, потому что решительно не умею играть, но уже к концу стал играть, несколько больше понимая, хотя все еще весьма мало, и так как я играл с

ожностью, то ровно ничего не проиграл, даже еще выиграл приз и теперь могу всегда садиться с обыкновенными игроками боясь много проигратся. Так прошло до 11 [час.]. Когда уда, должен был сделать, чтоб вырвало, потому что ел много лепешечек из яблок, которые тяжелы. Когда сидел у них, пришел Лавровский, стал рассказывать о своем брате, который в Педагогическом институте, что его «Реймское евангелие» евский думает представить к демидовской премии, а предлагают к ней около нового года. «Так не поэтому ли говорил и ты?» подумал я и решился сказать ему об этом прямо. Так, то я только часть обработаю. В понедельник утром к Срезневскому, когда быть, тот сказал — завтра. Вечером несколько, был у Ал. Фед., отнес «La petite Fa-», — весьма хорошо, хотя, может быть, другому и покажется, много идеализма; но какое живое знание движений души, развития страстей и склонностей. Вместо этого взял хро-  
«L'Oeil de Bœuf». Несколько писал вечером, но более

горник 24-го [октября]. — Вечером, только пришел из университета, как пришел и Благодетель, которого я поручил попросить мне за запискою ему от Промптова у Славинского брата, мика-медика. — Это писано на 3-й лекции в субботу, когда почта, после в кондитерской на углу Вознесенского и дошел Воронин. Теперь звонок. — Я пошел к Срезневскому, у скоро пришел редактор или что-то в этом роде «Библиотеки чтения»; поэтому я посидел несколько, пока тот [не] ушел. Евский свои намерения объяснил несколько не так, как я думал, он хотел действовать через Пушкина, а не через Академию — это не совсем хорошо для меня, я не люблю Пушкина, и Срезневский говорит, что он дурно говорит обо мне, — и во-менее надежды блестящи, чем я думал. Все-таки он сказал, я делал все, а не часть. К демидовской премии он не думает, видно, представлять, но сказал, что в следующем году будет дать меня заниматься с ним за деньги. Я сказал, что денег не надо, а заниматься и теперь можно, потому что есть время. Когда он отклонил это, что, однако, теперь не было ясно высказано им, ни тем более мною, чтоб у него в доме, но поручил, я сказал, что у меня время свободно, сделать для него раз-5 грамот Новгородских в Собрании Румянцева, которыми он может доказать, что решительный перелом между старым и новым дом русского языка был в XIV веке. С этого дня до 7¼ ч. осенняя (6 дней) я все время употребил для этого дела, все — о своих занятиях не буду писать, — а читал «L'Oeil de Bœuf»<sup>171</sup>, после несколько Munk, о котором напишу, и после 10 № «Сменника». Когда воротился, Благодетель еще сидел у нас, а делать после его ухода. Да, с понедельника я не стал есть мяса. Однако еще рано, поэтому снова начну с вечера, т.-е. с 30-го дня.



Среда [25 октября]. — У Ворониных был; воротясь, тотчас же уснул.

Четверг [26 октября]. — Встал в 4 часа, до часу писал, но только приходил Вас. Петр. на несколько времени и взял у меня 50 р. сер., из которых 40 должен себе взять, 10 мне возвратить, чтобы передать Любиньке. Он хочет сделать условие с извозчиками, которые хотели ехать во вторник, между тем подал просьбу и в Общество посещения. Пошел к Куторге, была ужасная погода, его не было. На дороге почти у университета попался Сидонский, который сказал это и пошли вместе мы с ним. Он нанял извозчика и пригласил меня. Как поехали по Гороховой, то остановились у него, я должен был по его просьбе зайти, просидел с час; он предложил «Историю греческой литературы» Мунка и др. книги, я попросил Шлоссера. Вечером спал и писал.

Пятница [27 октября]. — Пришел Вас. Петр.; принес деньги; сказал, что дал задатка извозчику, который едет в среду, и условился с кондуктором тяжелой почты предоставить ему места, если будут, а это случается часто. Почта в пятницу, в среду он скажет ему решительно, можно ехать с ним или нет. За место 5 р. сер., если будет место. — Это мне уже было несколько неприятно, что на неделю отлагается отъезд. После он стал рассказывать о том, что он был у Бельцовых. Она (которую он весьма много хвалил и раньше) вмиг угадала, когда он сказал об отъезде, что нуждается он в деньгах, и сказала, что у нее есть 700 р. сер., которые может дать, если сказать об этом отцу. «Мне не хочется, — сказал Вас. Петр., — потому что он такой благородный человек и ничего не знает о моем положении, а я сделаю так: возьму рублей 25 у нее, что она может дать, не говоря отцу, и брошку она мне хочет подарить на память — можно будет ее заложить — рублей 30 стоит; тогда можно будет выкупить фрак и Гете». Мое этим мнение о Вас. Петр. снова возвысилось, что ему так многим готовы жертвовать. А кроме того, она сказала: «А если нет, я отдам вам фермуар и скажу папеньке, что потеряла». Так вот как! Чем хуже моих поступков! Поэтому я решительно и не такой необыкновенный человек, как мог думать о себе.

Сидонский принес Шлоссера, — старое издание, 1815 г., поэтому почти не годится; это меня теперь разочаровало, а я ждал нового. Тем лучше, однако, — скорее отдам. Так как Срезневский прислал сказать, что его не будет, поэтому мы и не стали дожидаться Устрялова. Я, потому что думал кончить вечером этим или, во всяком случае, к завтра утру для Срезневского и отнести, зашел более чем на час к Вольфу, между тем как в четверг был у Доминика, все даром. После писал вечером, однако, все-таки не успел дописать, весьма много не успел, так что нечего и думать, что завтра утром успею кончить и отнести.

(Это писано до этого времени у Фрейтага, а теперь до Устрялова.)

29-го [октября], суббота. — Получил письмо с деньгами. Кому? Я думал, мне, и решился уже отдать Вас. Петр., но пошел в почтамт, поэтому вместо Неволлина сговорились сойтись в университете с Ворониным. Деньги из Аткарска<sup>172</sup>. Оттуда зашел на несколько минут в кондитерскую, которая на углу, ничего не взял, конечно. Оттуда в университет, где несколько минут дожидался Воронина после звонка; после поехали. Вместе с нами сидел доктор их; я хотел говорить о лекарстве против желудка, но не решился. До обеда занимались, после обеда мне думалось, что удастся почитать «Gegenwart», но снова сказал Константин: «Если угодно, мы будем продолжать». — Итак, еще четверти три. После поехали вместе с Ворониным и гувернером, — они в театр. Александр позабыл шпагу, я предложил заехать взять мою, и взял, т.-е. остановились, я сбегал за нею. После сделал, чтоб вырвало, и стал пить чай, решившись уже в пятницу вечером, по предложению Любиньки, снова есть молочное.

30-го [октября], воскресенье. — Уснул в субботу снова весьма рано, зато проснулся в 2½ ч., сел писать и писал до 10 или 11, когда пришел Вас. Петр., который просидел до двух почти. Особенного ничего нового не было, поэтому сначала скучно было, после разговорились о характерах своих, вообще о людях, о моих планах относительно того, как устроить свою жизнь после университета. Когда ушел, — снова писать. Писал до чаю, после снова, и только через полчаса после чаю, в 7¼, успел кончить, но не успел перечитать, чтоб сверить. Синтаксиса было гораздо больше, чем я думал: вместо двух страниц занял почти 4. Пошел к Срезневскому, у него ничего особенного, только сказал, что я сделал слишком обширно, что ему было бы довольно одной страницей. Я почти тотчас ушел, потому что ему некогда, и пошел к Вольфу, у которого более часа. — Новость: перемена министерства; что-то будет — не знаю. «Siècle» переменял формат и стал совершенно похож на «Presse» или «Constitutionnel». Это мне не нравится, хотя шрифт не такой, как в «Presse», гадкий, а прежний — прекрасный, но мне прежний формат весьма нравился, чего о теперешнем сказать нельзя. Пришел домой и почти тотчас уснул, потому что и так работал 14—15 час. Устрялов пришел.

(Писано у Фрейтага на лекции 4 ноября, в пятницу.)

Понедельник не помню, кажется ничего особенного, даже кажется, почти ничего не писал повести, а когда пришел из университета, спал должно быть и читал «L'Oeil de Boeuf» и «Современник».

## Н о я б р ь

1 [ноября], вторник. — Пошел слишком рано, поэтому сидел в библиотеке и перебирал исторический каталог. Подошел Лерх и спросил, что я ищу. Так как был Sismondi под глазами, я спросил его, он принес, и я должен был взять билет, который на сле-

дующий день дал подписать Куторге, и взял IX, X, XI томы Sismondi, Histoire des Français<sup>173</sup>. Отдал Сидонскому его Munk, которого почти не читал. Вечером думал, что будет Вас. Петр. у меня. Несколько времени и был и сказал, что Залеман доставил ему в среду переписку ролей в театр по 15 к. сер., что если так, то можно в день заработать по рублю сер., и если будет постоянная работа, то он останется месяца на два, чтоб собрать рублей 60 сер. Это меня раздосадовало: итак, снова остается поглощать мои деньги, итак, снова остается бог знает при чем, итак, снова остается околачиваться здесь неопределенным образом. И притом он, во-первых, помешал обедать мне, во-вторых, я должен был велеть подать обедать ему. Поэтому я досадовал и, может быть, не хорошо обращался с ним. Он хотел уведомить меня, если что будет, — если поедет, то в среду утром, если поедет в среду, а между тем не был до сих пор. Бог знает, что с ним, верно, все-таки, не уехал. — Вечером несколько писал.

2 [ноября], среда. — Утром писал несколько; вечером не поехал с Ворониным, потому что он сказал, что ему нельзя ехать на дачу, а должен здесь остаться. — А чтоб вас к чорту! — однако не слишком рассердился, а если рассердился, то главное потому, что не приготовлено дома молочного, поэтому ел говядину и поэтому вырвало, но не все, а только жареное, поэтому еще довольно порядочный у меня желудок. Писал повесть и дописал до конца 4 листка 3-й тетради. Взял Sismondi; отдал Munk Сидонскому.

3 [ноября], четверг. — Утром писал и написал более 2 листов, вечером также, несколько менее, и как раз кончил третью тетрадь, т.-е. 48-ю страницу. Ждал утром и вечером В. П., — его не было. Мне из 4 р. сер., которые был должен несколько времени тому назад, Ал. Фед. отдал 3 р. сер., и Любинька выпросила из них 2, т.-е. спросила 50 к. сер., но я отдал ей их и просил возвратить мне рубль. Так как ел за обедом много и слишком поджаренные корки кашицы, которая почти каша, то была отрыжка. Приходил вечером Ал. Фед. Заснул, сам не заметил, как это часто теперь случается. Почти дочитал I том «L'Oeil de Boeuf».

4 [ноября], пятница. — Утром встал в 8 с лишком, почитал несколько, написал  $\frac{1}{2}$  стр., после пошел к Вольфу, у которого буду на днях мадлолго, чтоб читать «Отеч. записки», как они выйдут, и выпью тогда чаю. После пошел к Фрейтагу, когда он только что вошел в аудиторию, верно буду переводить у него — нет, переводит Куторга. Я уже начал было, но Лыткин сказал, что он готовился, и я сказал ему, чтобы он переводил вслух. — Несколько думаю о Вас. Петр., но, однако, мало. Не знаю, лучше ли желать, чтоб он здесь остался или уехал, решительно не знаю. В самом [деле], бог знает, верно ли то, что в театр поступит. Если верно, то, кажется, для него лучше. Но затрудняет суждение здесь то, что мой эгоизм желает того же, потому что тогда я освобожусь от всякого стеснения.

(Снова пишу у Фрейтага в понедельник, 7 числа.)

В пятницу, дожидаясь В. П., вечером я пошел узнать, уехал он или нет. Когда шел, то думал, что, конечно, мое ожидание, что уехал, не исполнится, а мне, признаться, как-то более хотелось, чтоб уехал. Пошел в 8 час.; когда вошел во двор, у них огонь, поэтому не уехал. Особого впечатления не сделало, потому что ждал этого: если б уезжал, верно раньше пришел бы. Сказал, что то, что доставил ему переписывать для театра Залеман, удержало его отъезд, что если это не удастся, то уедет в следующую пятницу (но скорее останется, как мне кажется). Над. Ег. получила шитье для невесты Славинского, и жена Орлова обещала доставать ей шитье из института, где ее дочери. Это радует В. П., он думает — 6 рублей. Начал толковать об отъезде; я показывал неосновательность его надежд на то, что успеет скопить денег или что может выдержать экзамен на учителя. Я уверял, что время пройдет ужасно много, и он никогда не примется за дело. Что и говорить, что меня побуждал говорить отчасти и эгоизм, т.-е. собственно он делал, что я высказывал мысли свои, иначе, конечно, промолчал бы. После стали говорить об уме, о литературе, мне удалось уговорить его прочитать мне что-нибудь из того, что есть у него написанного. Он стал читать, как он [говорит], писанное в гоголевском роде, как он говорит — вздор и дрянь. Не могу сказать, чтобы в самом деле видно по отрывкам гениальное произведение, потому что начинал читать его только начало, но гораздо лучше и судя по отрывкам того, что печатается, и уже гораздо лучше всего, что было напечатано с самой «Обыкновенной истории»<sup>174</sup> и «Кто виноват?»<sup>175</sup>. Я опасался несколько, что он не напишет так, как они — весьма хорошо, если не принимать во внимание Ж. Занда и подобных ему, о достоинстве которых я хорошенько, однако, не могу сам судить, а восхищаюсь, потому что все так делают. Часы мои вечером остановились и не стали идти, поэтому я просидел у В. П. до 10<sup>1/2</sup>, а то взял бы их с собою, потому что Ив. Гр. откуда-то достал довольно хорошенькие, т.-е. лучше моих гораздо, золотые часики, которые подарил Любиньке.

*Суббота [5-го ноября].* — Утром писал несколько. У Вороних просидел дольше, может быть, чем обыкновенно в этот день, так что воротился в 8, — это потому, что поехал с отцом, который отправился в баню. Я думал, что может быть что-нибудь нужно будет и говорить, но ничего, кроме нескольких общих слов, которые не имели никакого отношения к какому-нибудь делу. Обедал там, как обыкновенно, и так легко было, как никогда, так что хотя дома напился чаю одного с большим количеством хлеба, но ничего.

*Воскресенье, 6-го [ноября].* — Решился праздновать. Утром писал и к 11 собрался было идти к Вольфу праздновать, читать новые журналы и посмотреть статью Срезневского в библиотеке, но как я одевался, пришел В. П., которого я ждал или теперь, или к вечеру, просидел почти до двух. Ничего особенного не было. Как ушел, я стал обедать, после обеда пошел к Вольфу, у которого пробыл более 3 часов, до чаю своего, и истратил 33 к. сер. таким об-

разом: когда туда шел, взял у Иванова на 3 к. сер. 10 сухарей, как теперь обыкновенно делаю, и потому что так лучше и у Иванова (в доме, где контора «Отеч. записок») весьма хороши сухари. Пил кофе вместо чаю, потому что так, думал, сытнее и хотел пороскошничать; пил, читал газеты. Когда взял «Отеч. записки» (которые подали весьма вежливо, что меня обрадовало, — значит, я пользуюсь авторитетом), то нечего было с ними есть, потому пошел, оставивши книгу у своего приятеля мальчика, который снова был тут в этот раз, к Иванову купить сухарей — не было. Поэтому должен был что-нибудь другое взять, и я взял два пряника — один шоколадный, другой миндальный, один пирожок в 3 к. и один в 1½ к., пряники по 3 к. сер., и воротился читать «Отеч. записки» и читал «Записки Пикквикского клуба»<sup>176</sup> с пряниками. Весьма был рад, что взял, потому что весьма удобны для медленной еды при чтении, так что я читал с ними все «Записки Пикквикского клуба» более часа.

*Понедельник [7-го ноября].* — Писал и более ничего. Особенного, кажется, ровно ничего не было, только письмо получил из дома.

*Вторник [8-го ноября].* — Отнес сам письмо. После отнес. В следующие дни особенного ничего не было. (Это продолжаю писать в среду, 16 числа.)

*В среду [9-го ноября].* — Вас. Петр. был и оставил записку. Я не был у Ворониных, потому что Александру должно было остаться здесь.

*Четверг [10-го ноября] и пятница [11-го ноября].* — Кажется, особенного ничего. Писал свою повесть.

*Суббота [12-го ноября].* — Был у Ворониных и получил деньги; из них 7 р. сер. отдал Любиньке.

*Воскресенье [13-го ноября].* — Дописывал свою повесть. Дописал и начал перечитывать.

*Понедельник [14-го ноября].* — Утром читал повесть, решаюсь в этот день быть с нею у А. А. Краевского, которого адрес накануне узнал в конторе — дом Неслинда против Грязной на Невском. В 11 час., не дочитавши ее, понес. Лакей сказал, что принимает только по воскресеньям. Итак, я отнес Никитенке, у которого просидел несколько минут и не понимал первых знаков его, что пора уходить. Посмотрим, что будет. Вечером начал словарь Ипатьевской летописи снова работать.

*Вторник [15-го ноября].* — Утром начал разрезывать свою работу, переменивши идеи — снова буду делать, как делал раньше — словарь без мест, где слова, после вставляю места зараз с обозначением грамматических форм. Когда вставил, ужасно тяготился тем, что эта работа так медленна была. Поэтому пошел к Вас. Петр., оттуда к Иванову, у которого на 25 к. сер. съел пирожков — это глупость, но ничего, потому что с Ивановым поговорил, что будет стоять брать у него после «Siècle»; он говорит — 12 р. с.

*Среда [16-го ноября].* — Утром разрезывал для словаря. В 11

[час.] пришел Вас. Петр., в 12 вместе пошли — он к Залеману, я в университет за письмом, оттуда у Елисеева взял фунт пастилы и зашел к Вольфу, где пробыл до 4¼, поэтому более 3 часов, съел 5 пирожков и из купленной пастилы на 15 к. сер., — итак, в эти два дня я проел по 25 к. на пирожки, поэтому 50 к. сер., и на 35 к. купил пастилы — это мотовство, которое лелается мыслью, что будут деньги за повесть. У Вольфа было «Северное обозрение», которое я поэтому прочитал. Это для меня любопытно. — Выходит, судя по этой книжке (4-я, где Траисильвания), что вздор, хуже «Библиотеки для чтения» этот журнал. После пришел домой, обедал; после почти все спал и пил чай и т. д., так что нынешний день делал дело только 3 или 3½ ч., но с завтра начинаю работать и, чтобы вознаградить свои издержки, в кондитерских не буду до новых журналов, т.е. до 3—4 декабря, если не получу обещания, что моя повесть будет в «Отеч. записках» или «Современнике». Это писал почти в 12 ч. Вчера А. Ф. принес последние два тома «L'Oeil de Bœuf» и я читаю их. Теперь выкурю и ложусь. Желудок в эти дни все лучше, напр., вчера несколько только отрыгалось кислым, и когда стал делать, чтоб вырвало, почти не вырвало, так хорошо варит; а между тем, вчера я, наевшись у Иванова (2 кусочка ветчины, между прочим), поел дома жаркого и все-таки не вырвало жарким. Завтра схожу, наконец, в баню. Да, вчера написал Саше и Промптову.

(Это писано 29-го во вторник утром.)

Итак, 18-го [ноября], четверг, утром ходил в баню, вечером, кажется писал. В пятницу должно быть тоже. В субботу тоже. Да. В воскресенье тоже. Бывал в кондитерских почти каждый день и разрезывал листики.

Понедельник, 22-го [ноября] — был праздник, поэтому я снова не был в университете. Эту неделю, т.е. с того дня, как отнес я Никитенке повесть, всюду были разведены мосты, поэтому лекций не было, я не ходил в университет, поэтому не взял и письма, и написал домой и пошел во вторник после того за письмом. Там пишет папенька, что пришлют деньги на сюртук со следующей почтою. Это привело меня в сомнение — шить или нет. Решился не шить, а сшить жилет, переменить воротник у шинели, заплатить за сапоги, остальные деньги оставить для взноса в университет. Так и сделал. Нет, это было писано за неделю раньше.

Во вторник получил деньги 70 р. сер. и сделал так: из них прислали 20 р. Любиньке (я перепутал здесь и не могу сказать, когда именно). В этот же день их и отдал. На лекции ждал у Никитенки, что скажет о моей повести, — я этого дня дожидался с нетерпением, — он сказал, что еще почти ничего не читал, потому что неразборчиво писано, и это хорошо: должно будет переписать, следовательно переделать, когда отдавать Краевскому, следовательно тогда выйдет лучше. Во-вторых, — что было бы, если бы я отдал Краевскому переписанное таким образом? Поэтому лучше, что отдал раньше Никитенке, хотя и проведет он времени больше,

чем я думал. Из университета зашел в справочное место, чтобы посмотреть, какие там журналы и стоит ли того, чтобы подписаться (подписаться там по моему расчету выходило дешевле, чем бывать в кондитерских, теперь вижу, что нет почти. Там «Débats», «Siècle», «Presse» — это хорошо, но то дурно, что нет «Немецкой иллюстрации»<sup>177</sup>, да и комната как-то тесна, неудобно, так что едва ли возобновлю подписку, однако, посмотрю; это, главное, зависит от того, будут ли все номера попадаться в руки без пропусков, а сначала весьма понравилось и я сказал, что подпишусь завтра.

*Среда, 23-го [ноября].*—В 10 ч. пошел в это место, подписался. Вечером был у Вас. Петр.

*Четверг, 24-го [ноября].*—Утром пошел делать одежду себе, зашел прежде всего — нет, так, сначала я одним числом ошибся и поэтому не мог сказать, когда получил деньги — в понедельник 21 числа на этой неделе, а то письмо было получено в среду, т.е. 16-го. Итак, в среду уже вечером был я в справочном месте, в понедельник 24-го решился подписаться и сделать одежду себе, сначала воротник. Зашел в Гостиный двор — там 7 р. сер. не слишком хороший, 11 р. сер. хороший, — не стоит, поэтому хотел было уже не делать, зашел узнать цену материям для жилета — 2 р. 50 к. просят, поэтому за 2 р. отдадут. Пошел все-таки в толкучку посмотреть воротник и там купил за 2 р. 50 к., это недорого. Воротник, конечно, скверный, но ничего, все-таки елот и различия с хорошим не так много в качестве, как в цене. К портному, — за жилет 4, брюки 10, за пришивку воротника 1 р. сер., итого 15 р.; Фрицу 6 (но 1 р. вместо него отдал Ал. Ф., а ему только 5 р., но это, однако, все равно); 2 р. 50 к. за воротник; 1 р. в справочное место на месяц (который считается с этого числа), следовательно, 24 р. 50 к.; поэтому 15 р. сер. оставляю для взноса, а 9 или 8 отдам Любиньке. Это хорошо пока. Вечером пошел к Славинскому узнать, когда именинник Иринарх, верно ли, что непременно 27-го; напротив, вышло по святцам, которые достать стоило ему хлопот, что 28-го, теперь зато уже на-верно.

*25-го [ноября], пятница.* — Срезневский болен, поэтому я ушел в справочное место, просидел до двух. Сказали мне, что В. П. был и только что ушел, и хотел быть снова в воскресенье. Я пожалел, что он не застал меня. Послал с Марьей шинель к портному, сам стал разрезывать и читал «L'Oeil de Boeuf».

*26 [ноября], суббота.* — Все сидел дома и разрезывал. В университет не ходил, потому что шинель у портного; я послал в этот день для того, чтоб не давать денег мальчику, которого хотел прислать он за шинелью в субботу; я, чтобы предупредить, и послал в пятницу. Весьма много разрезал, больше чем предполагал, так что оставалось только 5, кажется, листиков, и думал, что кончу к воскресенью. К 6 часам шинели не дождался; за ней пошла Марья, но не ворочалась все. Я решился идти в хо-

лодной к Ворониным, которые теперь переехали и у которых снова начинаются уроки. Там сказали, что в среду будет еще урок с маленькими братьями; итак, три всего урока в неделю. Оттуда зашел на минуту в справочное место — пропустил один № газет, не бывши утром. Когда пришел домой, сидел Ал. Фед., он взял с собой «L'Oeil de Bœuf», который я дочитал, — там Людовик XVI и Мария Антуанета представляются не такими невинными агнцами, как обыкновенно представляют их, — и выпросил один рубль сер. денег.

*Воскресенье, 27 [ноября].* — Утром пришел Фриц, я ему отдал 5 р. сер.; стал разрезывать снова (да, Фриц сделал головки и калоши, — прежние калоши совершенно износились, совершенно, так что нельзя надеть на ногу, — и взял еще сделать головки). В 12 [ч.] пришел Вас. Петр., посидел, для меня довольно приятно. Как он ушел, я стал обедать, и пошел в справочное место, там только до сумерек, поэтому я пошел оттуда к Вольфу, где выпил чаю собственно потому, что был мой приятель мальчик, и [съел] два пряника, поэтому 25 к. сер. истратил. Стал читать процесс Вальдека и был проникнут негодованием некоторым. Когда воротился, у нас сидел Пелопидов, который просидел до 9 час., приходил, чтоб сказать ответ на мою записку, посланную ему со Славинским по просьбе Ал. Фед., какая программа во 2-й разряд ветеринарных наук. Как ушел, я уснул, кажется, или нет — разрезывал несколько, так что оставалось к утру всего только 3½ стран.

*Понедельник, 28-го [ноября].* — Решился быть у Иринарха Ивановича давно уж я и теперь хотел сделать это. Поэтому, разрезавши все, пошел в 10 ч. в справочное место, где пробыл с полчаса, и после пошел к нему, оставив университет так. Пришел к нему в половине первого. Я, должно сказать, сам не знал, когда шел, идти или нет, но почти инстинктивно сошел с мостков, пошел не налево, к дверям университета, но вдоль по университетскому зданию. Пришлось искать долго квартиры, наконец, нашел, постучавшись раньше напрасно в двое дверей. Вошел и в коридоре, когда мимо меня прошла его жена с тарелкою, — они сидели за блинами, а я скидал калоши, задел ее шляпою, т.-е., как обыкновенно, сделал неловкость. — Теперь пишу письмо домой, а это допишу после. Теперь 20 м. 9-го утра, по моим часам, начинает светать. — Продолжаю через полчаса. Вхожу я — он сидит за Краузольдом и тем офицером, которого я помню, за блинами. — «Если я не ошибаюсь, вы ныне именинник, Иринарх Иванович, узнаете ли вы меня?» — «Узнаете, вы говорите!.. Да, но я сам сейчас только вспомнил, что в самом деле я ныне именинник; а теперь мы [за] икру, потому что я кончил свою работу — перевод для следующей книжки «Пикквикского клуба». Весьма рад», — сказал он. — «Что вы перестали бывать у нас?» — «Я сам не знаю». — Итак, я должен был просидеть за блинами, а после подали кофе; я было собирался уйти, но он сказал, что ему



нужно ехать, и поэтому я увидел, что уже должно всем, вместе поэтому вышли. Я просидел у него около часу, и когда пришел в университет, было уже несколько поздно к Устрялову, — мне почти и хотелось этого. Когда я входил в комнату перед дежурною, чтобы сверить часы, шел попечитель в аудитории. Он позвал меня и спросил: «Вы были у Срезневского, г. Чернышевский?» Я сказал что не был; сказал, что он болен серьезно; чем теперь сказал болен, чем был раньше, решительно свободно, несколько не смешавшись и не покраснев, как того ждал. Итак, попечитель решительно не имеет предубеждения против меня, и я могу надеяться служить у него в ведомстве. Не пошел, конечно, к Устрялову — главное потому, что не хотелось, а домой, где ждал Вас. Петр-ча; нет, — поэтому я к Ал. Фед. пошел сказать ему, что сказал Пелопидов. Он достал мне от Поля «Mlle Maurin» Теофиля Готье. Я стал, когда пришел домой, читать ее и почти все время спал, — и перед чаем, и после.

Вторник, 29-го [ноября]. — Проснулся весьма рано, в половине 6-го, и огня не мог достать и поэтому лежал и думал, большею частью о том, как переделывать свою повесть, выдумал одну сцену. Я думал о том, что должно вставить 2—3 сцены, 2—3 случая перед рассказом Ан. Константиновича, случаи, в которых выставлялось бы решительное отсутствие эгоизма и решительно верное следование своим убеждениям. После достал огню и стал писать это письмо. Что-то скажет Никитенко ныне? Или снова ничего? Я иду без большого ожидания что-нибудь услышать от него; скорее, что ничего не скажет, а в прошлый раз ждал, что скажет непременно. Но в этот раз может быть уже и скажет что-нибудь.

Да, когда мы стали собираться уходить, Ир. Ив. пригласил, конечно, меня бывать у них по средам, и когда вышли вместе и шли несколько шагов, пока они с женою наняли извозчика, он также сказал это, и когда сели на извозчика, снова сказал, и она тоже сказала. Итак, я могу с спокойным сердцем бывать у них, потому что приглашение было искреннее. Теперь подан чай. В 10 ч., т.-е. как dokonчу письмо, иду в справочное место, оттуда в университет. Вечером должен бы быть Вас. Петр., поэтому не пойду к портному (он, разумеется, Я. Шмит, живущий на Гороховой у Каменного моста), а пойду к нему завтра утром.

## Декабрь

(Писано 15 декабря, в 12-м часу вечера.) 1-го—5-го. Ничего особенного не могу сказать про эти дни; все приводил в алфавитный порядок свой словарь и кончил разрезку, так что с 7-го (кажется, что с 7-го) начал приводить в алфавитный порядок слова. Портной принес жилет и брюки. В первый раз в жилете я был в четверг, т.-е. 2-го или 3 декабря, в университете. Бывал в справочном месте почти каждый день; читал Сисмонди IX—XI томы.

6 декабря. — День моих именин. Утром был Ал. Фед. на несколько времени, после не приходил. Накануне был Вас. Петр., ему сказала Любинька, что я именинник, и просил его Ив. Гр. обсудить. Мне это не совсем хотелось, знаете, из-за того, чтобы не связываться с ними, и я ничего не сказал, но так как Над. Ег. на весь день уходила к своим, то он решился обедать у нас и просидел с 11 до 5. После обеда, чтоб не скучал, я стал говорить ему о своей повести и рассказывать несколько; а более я это делал для того, чтобы заставить его, когда я у него буду, показать мне то, что он пишет. Вечером читал и спал. За обедом был гусь, и я ел все, однако меня не вырвало.

7-го [декабря]. — Хотел быть у Иринарха Ивановича. В этот день был второй урок у Ворониных у маленьких детей, и я просидел до того, что позвали завтракать, и я, должно быть, поел довольно много и тоже дома. Просил их, нельзя ли начать урок в 5½ вместо 6 в этот день, чтоб пораньше быть у Ир. Ив., но им было нельзя, потому что обед у них будет с гостями. Это для меня ничего. Когда пошел к ним вечером, то меня тошнило, и я у их входа сделал, чтобы несколько вырвало.

8-го [декабря], четверг. — Утро пробыл в справочном месте. Вечером, кажется, был В. П.

9-го [декабря], пятница. — Срезневский, наконец, выздоровел. Фрейтага еще не было, поэтому я был в справочном месте.

10-го [декабря]. — От Ворониных, чтоб не пить дома чаю одному, пошел к Ал. Фед., у которого посидел до 12 ч., взял у Поля Béranger две части, изд. Perrotin, Paris 1843. Первую часть начал читать утром и в эту ночь.

11-го декабря, воскресенье. — Утром был Вас. Петр. и взял первую часть Béranger; я стал читать вторую. Он также сказал, что ему нужно 7 р. сер. У меня как раз оставалось 11 р. сер., когда я отдал 3 р. сер. А. Ф., но я из этих 11—3 р. должен был Любиньке, потому что мне принесли сапоги (головки наделали) от Фрица и попросили денег, а я ему должен был 1 р. сер. Итак, я дал Вас. Петр. 10 р. сер., прося его принести 2 или 3 (он во вторник принес 3), чтоб отдать Любиньке, я и отдал в среду утром.

12 декабря, понедельник. — Наконец, Фрейтаг, у которого не было 4 лекции (болел что-то язык), пришел. Была моя очередь, я дал ему выписку из прибавления к физиологии Вагнера и лекцию эту просидел у него с довольным духом.

13-го [декабря], вторник. — Я думал в среду читать что-нибудь у Плетнева, поэтому писал на вторую его тему (раньше писал на первую несколько), должен был также в этот день читать у Никитенки и написал о том, какие книги должно давать читать детям<sup>178</sup>, но до этого вопроса не доходил, а раньше должно было решить, что всякие почти можно давать и вообще ни в каких нельзя им отказывать. Никитенко был недоволен парадоксальностью этой темы и спорил сильно, весьма был недоволен, это было ясно, отчего я был в дурном расположении духа, особенно когда

после лекции и Корелкин, и Соколов сказали, что он рассердился. Вечером был около полутора часов Вас. Петр. и принес «Современник» 12 №.

14-го [декабря], среда. — Во вторник Корелкин сказал, что будет у Плетнева читать он; это мне было весьма на руку, потому что таким образом он являлся выскочкою перед товарищами, а не я, и это мне было весьма приятно, поэтому я и не писал. Но о среде напишу уж завтра утром. Я докончил букву Б. Весьма много времени отнимает это приведение в алфавитный порядок. Да, в субботу после своих именин я получил из дому 10 р. сер., из которых 9 отдал Любиньке. Итак, в этот месяц я отдал ей 17 р. сер., это хорошо во всяком случае.

(Это писано 26 декабря, в 12 ч. 15 м. ночи.) 14-го [декабря], среда. — Был у Ворониных утром и вечером и оттуда вечером отправился к Ир. Ив. Туда ехал, заплатив 10 к. сер., от угла почтамта, — так дешево, как не думал. Оттуда шел пешком мимо университета и ряда лавок и несколько, хотя весьма мало и только воображением, а не сердцем, трусил. Все-таки не пошел через Неву, к Дворцу, а пошел к Адмиралтейству, — побоялся там идти, потому что еще не было дороги проезжей, и весьма мало народу ходило. У Ир. Ив. просидел до 11 ч., как и трое других, между которыми был тот офицер и Краузольд. Толковали более о средствах или собственно о желаний приобрести деньги, и я не участвовал в разговоре; после о Финляндии — это после, когда сидели у него в кабинете, а раньше, когда сидели за чайным столиком, тут было еще двое — один, я думаю, Дерикер, а другого зовут Николаем Гавриловичем, как меня, и весьма должно быть туп и глуп — должно быть учитель в корпусах. Тут разговор шел отчасти о школьниках, отчасти о Краевском, отчасти о возможности переводить Гегеля. Ир. Ив. сказал, что весьма можно, — я согласился с ним в душе. В этих разговорах я также не участвовал. Оттуда зашел к Вольфу, у которого и забыл шпагу.

15-го [декабря], четверг. — Утром перед лекциями к Никитенке, раньше зашел к Вольфу за шпагою. У Никитенки взял свою рукопись, с тем, чтоб переписать ее и переправить. Переписать должно потому, что Никитенко говорит, что весьма неразборчиво; поэтому, может быть, по этому уж одному не захочет Краевский ломать глаз и головы и не поместит. Лекций не было.

16-го [декабря], 17-го и т. д. — до субботы, кажется, ничего особенного. В субботу урока не было, потому что ученик болен. Я этому был отчасти рад, потому что мне хотелось в этот вечер не помню что-то сделать. В эти дни начал переписывать свою повесть, переписавши сначала сцены, как познакомился рассказчик с Серебряковым. Мне кажется, они нужны, чтоб с первого раза не утомлять разглагольствованиями и описаниями, чтоб хоть сначала было несколько живого действия, которого дальше весьма

мало, и потом чтобы высказать несколько характер Андрея Константиновича в его высоких правилах, чтоб не сказали, прочитавши: «да это в самом деле негодяй, каким и представляет он себя в своем рассказе».

18 [декабря], воскресенье. — Был Вас. Петр. и читал то, что я успел переписать из повести, более ничего не помню, — или нет, еще не читал, кажется. Нет, читал.

19-го [декабря], понедельник. — Уговорились не быть на лекциях, и я пошел к Вас. Петр. сказать, что Béranger спрашивают и что понадобится и Лоренц на этой неделе. У Фрейтага все-таки был. Весьма много времени все дни проводил в справочном месте, весьма много.

20-го [декабря], вторник. — Снова был Вас. Петр., снова читал мою повесть, которой я до среды переписал половину описания характера Андр. Конст.; кончил тем, как оправдывается он, что продал дом и положил деньги в ломбард..

21-го [декабря], в среду, пошел к Корелкину за лекциями. Оттуда вздумал пойти (бывши и у Ворониных) к Срезневскому, чтоб спросить тексты, нужные для составления его лекций, и главное, надеясь, что он скажет, что тех лекций, которые есть напечатанные, не нужно. Он сказал, чтоб я постарался отделать букву Д из своего словаря, чтоб представить ее на образец в Академию наук вместе с Корелкиным отрывком (также буква Д). Он сказал при этом, что надеется, что у меня более будет аккуратности. Снова повторил, что попечитель странно на меня смотрит, и сказал, чтобы я приходил заниматься к нему, когда понадобится. Я вечером был у Ворониных, конечно, снова.

Четверг, 22-го [декабря]. — Сверял свои лекции с Корелкиными и нашел, что у него на этот раз составлено лучше, чем записано у меня, чего до сих пор не было. Вечером должно было спать.

23-го [декабря], пятница. — Утром понес его тетрадь Срезневскому, его не застал дома; то же и Корелкин, который тоже отнес.

24 [декабря]. — Был Вас. Петр., который говорил о том, что Залеман требует Гете, а Гете уже продан тем, у кого был заложен, и что поэтому он может раззнакомиться с Залеманом, но им отошлет с запискою Гете другого — маленькое издание, которое подарили ему Бельцовы. Эта Бельцова должно быть порядочная девушка и должно быть умная; мне бы хотелось познакомиться с нею, если бы я был в состоянии держать себя в обществе, как должно, а то ни говорить по-французски, ни танцевать, да и, главное, слишком неуклюж, семинарист в полной форме. Вечером был-таки Залеман у меня, потому что Вас. Петр. сказал ему, что Гете у меня.

22-го Вас. Петр., когда был, сказал, что повезли тех, которые сидели в крепости<sup>179</sup>, с эскортом на Семеновский плац, говоря, на смертную казнь. Мы не поверили, а думали в ссылку.

Ив. Гр. когда пришел из Сената, сказал, как было дело, поэтому я на другой день этого был у Вольфа, чтобы прочитать газеты об этом: за Ханыкова хлопотали, потому что «по уважению и т. д.». В это утро я был сильно довольно занят этим вопросом и в субботу тоже, и в воскресенье, т.-е. вчера, тоже, а ныне, в понедельник, украл у Вольфа листок «Полицейской газеты», где перепечатано это из «С.-П.-Б. ведомостей».

В субботу я старался уговорить Вас. Петр., что это дело с За-леманом о Гете пустое, поэтому пускался в различные разговоры об этом и о написанном и т. д., поэтому было утро для меня интересно. В этот день и в предыдущий, и не в четверг вечером, а может быть только с пятницы вечера я разбирал; так, только с пятницы вечера — я разбирал и переписывал в алфавитном порядке Д в те  $1\frac{1}{2}$  суток, т.-е. четверг и пятницу до вечера, я разбирал Д от Е, Ж, З, с которыми она у меня вместе в одной коробке, и вместе разбирал ее на место кучкой, чтоб облегчить приведение в алфавитный порядок. — Так как наелся постного, весьма нехорошего для желудка, то должен был сделать, чтоб вырвало; тоже и 25-го и ныне тоже, поэтому с завтра снова ем молоко, а то или гадкая пища, или, если довольно порядочная, обедаюсь. Вообще желудок не совершенно поправился, даже весьма не поправился, а между тем я в лице ужасно потолстел, оттого, что ем пропасть, что именно и мешает желудку поправиться.

В воскресенье утром принес объявление (25)<sup>180</sup> сторож из университета, я дал ему 20 к. сер. У обедни не был, а все писал и в этот день к обеду хотел дописать слова Д. До обеда написал все почти; разобрано было уже вовсе, будет нужно только переписывать; оставил  $1\frac{1}{2}$  кучки (д ъ, д ю, и  $\frac{1}{2}$  кучки д с, д я (д ь я). Когда сели обедать, еще не кончили, когда пришел Ив. Вас., с которым просидел довольно приятно. Я ел так много, что должен был сделать, чтоб вырвало. После дописал словарь и уснул. Теперь начал выписывать места, в которых слова, читая и подчеркивая их в книге. Кончил переписку в 6 ч. и просидел до часу, кажется; успел прочитать около 800 строк, кажется 22 страницы.

Ныне, 26-го, как напился чаю, в почтамт (встал поздно); оттуда (мне только 25 р. и говорят: «сюртук, как хочешь». Это меня облегчает, а то я думал об этом. Но сколько заботы, что у папеньки больны глаза — боже мой!) — оттуда к Срезневскому, отчасти для визита, отчасти чтоб успокоиться, что могу оставить у себя его корректурные листки. Да, вечером, до чаю, после того как кончил вчера переписывать, т.-е. с 6 до 8 вечера, играли в преферанс.

Когда пришел домой, было  $11\frac{1}{4}$ . Я ел и делал дело до обеда, после снова читал Ипатьевскую летопись, отмечая места до  $4\frac{3}{4}$ ; после пошел к Вольфу, собственно чтоб разменять деньги, чтоб отдать сколько можно Любиньке ныне же. Когда пришел оттуда, — читать теперь газеты решительно не стоит, — был чай. Тут я раз-

бил блюдечко, потому что положил «Полицейскую газету» на окно за столом: перед столом стоял стул, я поставил на него стакан, выпивши; Ив. Гр., подошедши за нюхательным табаком, увидел газету и спросил; я хотел (лежа сам на диване) отодвинуть стул, чтоб он мог подойти и взять газету, и стакан полетел. После несколько уснул. После этого снова делал дело и дописал до смерти Юрия Долгорукого. Когда Любиньке стал отдавать деньги (15 р. сер.), не взяла; я положил их в ее ящик, когда они ушли гулять. Когда пришла, она снова стала отдавать и насилу оставила у себя, — хорошая женщина, жаль только, что позволяет себе такие маниловские пошлости (любезности и пр.) с Ив. Гр., жаль, что так неприятно действует на мое эстетическое чувство; она стояла бы лучшего чувства, чем какое я питаю к ней, потому что у нее в самом деле благородное и деликатное сердце; т.-е. я не хочу этим сказать бог знает чего, однако она весьма деликатна и способна понимать, что вам нравится, что нет, как нельзя более, — напр., как всегда она не ходит через мою комнату и не ходит в нее, что не всегда кажется нужным Ив. Гр. Ну, теперь 10 м. 2-го ночи, ложусь, выкурив трубку (Ив. Гр. теперь не курит табаку).

26-го [декабря], понедельник. — Особенного, кажется, ничего не делал, а весь день занимался отметкою мест.

27-го [декабря], вторник. — Утром был Залеман и сказал, что у них не был Вас. Петр., что может быть он и не хочет бывать у них после того, как, может быть, потерял Гете, что это пустяки. Говорил весьма хорошо, как я говорил бы на его месте, и поручил мне сказать это Вас. Петр. Я пошел к нему, зашедши раньше к Славинскому взять книгу для Вас. Петр. Оттуда снова работать.

28-го [декабря], в среду снова работал (прерываю затем, чтобы сходить прогнать и прибить кошку, которая мяучит, и так прибил — так заканчиваю я новый год воинственными подвигами; но ведь и жаль бедной кошки, она мяучит, конечно, не от удовольствия, а ее за это же еще бьют; снова начала мяукать). Вечером был у Ир. Ив. Введенского. Разговор был о заговорщиках. Когда я вошел, было уже человека 4 или 5, между прочим, Билярский и другой, как я после узнал — Чумиков. Я сказал с ними по несколько слов после. Чумиков умнее всех остальных говорил о заговорщиках и решительно отвергал все планы, которые приписываются им. Не Ханыков, а Пальм закричал: «Да здравствует царь», — это меня порадовало. О них говорили так, что думают, что они не получают прощения, а dokonчат свой срок; о возможности восстания, которое бы освободило их, и не думают<sup>181</sup>. После говорили и о социализме и т. д. Чумиков решительный приверженец новых учений, и это меня радует, что есть такие люди и более, чем можно предполагать. Иринарх Ив. говорил в духе, напр., «Siècle» или чего-нибудь в этом роде, или, пожалуй в духе L'empire, что это деспотизм и что права на вознаграждение за

умственный и телесный труд не равны. Разговор не был слишком одушевленный.

Чумиков и Билярский и я вышли вместе. Мы с Чумиковым поехали вместе за двугривенный. Когда слезли, я дал ему 10 к. сер. Он просил меня найти ему переписчика; я думал при этом о Вас. Петр., хотя знал, что он не годится, но если бы он взялся, то я стал бы сам переписывать, бросая переписанное им.

29-го [декабря], четверг. — Пошел в час к Вас. Петр., чтобы сказать об этом, после пошел купить магнезии  $\frac{1}{4}$  фунта во второй лавке от Невского — в первой мне стали давать маленький кусочек и я, сказавши «как вам не совестно», взял деньги назад и пошел. — Вот уже и новый год начался, теперь 2—3 минуты по моим часам. — Заходил в Пассаж, где сделал дурно, что съел говядины кусочек. Вечером был Ал. Фед.

В пятницу к 6 ч. окончил я отметку мест и стал приниматься за значение. Утром был доктор и сказал, что нужно переменить квартиру — Любинька сделалась снова больна ногою. На этот раз мне ее несколько жаль, т.-е. в сердце чувствую симпатию, хотя, правда, весьма слабую. Утром ходил поэтому я смотреть квартиры. Ив. Гр., конечно, этим не воспользовался. Пришел в 3, он также смотрел квартиры. Неизвестно, сходим мы или нет. Я ходил после обеда к доктору справиться о том, как употреблять данное из аптеки. Вечером писал.

В субботу утром пошел к Срезневскому и Корелкину, к первому за словарем и Карамзиным, ко второму отнести речь Срезневского, чтобы сделать ему одолжение, но собственно, чтобы спросить, нет ли писца, и взять Карамзина. (Вас. Петр. отказался переписывать, потому что я сказал несколько слов только, но высказал, что необходима четкая рука.) Карамзина не спрашивал, писца не знает, поэтому я пошел к Соколову, на которого более и надеялся. У него есть такой писец, и я оставил ему адрес Чумикова. Оттуда в университет, получил письмо от своих — дай бог им всякого благополучия. После стал переписывать места, в которых есть да союз. Это заняло около 5 час., две страницы ровно вышло. После стал разбирать значение. Что-то не клеится.

Итак, эта тетрадь кончена.

Да, шел к Срезневскому, встретил его на дороге, он обещал словари, — я пойду на другой день нового года, и сказал он, что обо мне читано торжественно, — мне показалось, что он сказал в Академии на акте. Соколов, у которого я был и который меня как-то затронул своим скромным трудолюбием, тем, что в поте лица достает себе хлеб, Соколов сказал, что это было в университетском Совете.

Ложусь. Эта тетрадь кончена и начинается другая. — О, если бы в ней мог я написать вещи положительные и приятные для своих и если бы записал перемену к лучшему в судьбе Василия Петровича.

## 1850 ГОД

### Январь

(Писано 13-го у Фрейтага на лекции.)

1-ое число было воскресенье. Я проснулся рано и весь этот день писал словарь, — кажется, слово да все отделявал; весьма хорошо занимался в этот день, так что, я думаю, часов 11 или во всяком случае 10.

Зато на другой день — 2-го, понедельник, — почти все спал или не помню, что делал, кажется был у Вольфа; был, кажется, и Вас. Петр., во всяком случае, не более часа или двух. Да, вот что я делал: пошел к Срезневскому, чтоб поздравить с новым годом, но пришел, когда он еще спал, и пошел к Доминику.

3 [января], вторник. — Тоже не слишком много. Был Вас. Петрович.

4 [января], среда. — Был уже у Ворониных. Что-то будет, думал я, в новый год с их уроками? Они сказали, что так как Константин чувствует себя вечером слишком утомленным, то лучше заниматься поутру, и с ним раньше, а потом давать урок маленьким детям. Это для меня было весьма приятно, как нельзя приятнее, конечно. Я этим был весьма доволен. Вечером отправился к Иринарху Ивановичу. У него не было ничего особенного; пришел, когда уже пили чай. Вообще не слишком был доволен, что был у него — лучше бы в следующий раз быть мне у него вместо этого, потому что не было занимательно и рано разошлись. Тут за чаем рассказывали анекдоты о мошенниках.

5 [января], четверг. — Тоже занимался писанием словаря, весьма медленно, гораздо медленнее, чем я предполагал. Я уже отчаялся кончить это к 10-му или 12-му числу, даже к 15-му, и мне стало тяжело это, тем более, что неудачно — много ошибок и многого не умею разрешить.

6 [января], пятница. — Был у Вольфа, кажется, а если и не был, то не слишком много занимался.

7 [января], суб. — Снова был у Ворониных и мне дали книжку переводить с Константином, текст латинский и немецкий евангелия от Иоанна; это хорошо переводить; и сказали, чтоб учить по-латыни маленьких — хорошо. С нового года я постоянно у них завтракаю.

8 [января], воскр. — Писал снова словарь, был у Вольфа, читал «Библиотеку» несколько. Много я с этого дня до вчера тратил денег у Вольфа.

9 [января], понед. — Снова писал словарь. Словари у Срезневского, за которыми, собственно, ходил 2-го уже, решил не брать, потому что не так нужно, как раньше казалось. Был у Славинского в воскресенье, чтобы справиться у него о записках Лоренца, которые просил достать Ал. Фед.

10 [января], вторн. — Писал письмо, конечно. Пришел — нет,



не приходил Вас. Петр., нет, не приходил. Поэтому уж давно мы с ним не виделись.

11 [января]. — Был, конечно, у Ворониных, после у Вольфа, зашедши раньше остричься к Виллиаму, где, как после увидел, остригли весьма мерзко и кроме этого вдруг у меня оказалось, что не взял 1 р. с собою, а только 15 к. сер., как думал, что стоит одна стрижка, поэтому извинили меня, сказали весьма деликатно, что это ничего. Оттуда купил ручку к перу за 15 к. сер., потому что перья слишком узки, так что шатаются в гусяном пере, в которое я до этого времени их вставлял, и ручка в самом деле как-то лучше. После был у Вольфа, воротился более чем в 4, к 5-ти почти только пообедал и лег отдыхать и несколько вздремнул. И когда лежал, думал о своем словаре, как он гадок и как долго делается, — и вздумал бросить его; если Срезневский не спросит, до окончания курса не скажу ничего, если спросит, — скажу, что чувствую, что это труднее, чем я думал. Собственно, это так я решился не потому, что слишком дурно, а потому, что слишком медленно, слишком медленно делается: если продолжить это, то обработка Д займет весь январь, а тут еще три работы до экзаменов — 1) Срезневского лекции, 2) повесть переписать для Краевского, 3) диссертация. Итак, не успею уже заняться Д и вообще словарем. Однако, я надеюсь, что Срезневский спросит; я скажу, что бросил. «Почему»? — «Не могу теперь порядочно сделать». — «А все-таки, — спросит он, — что-нибудь сделано?» — «Начал», — скажу. «Покажите», — скажет. Покажу — он расхвалит и скажет, что это гораздо лучше, чем можно было предполагать и ожидать не от меня только, а и от настоящего ученого, и не потребует более, а представлю одну эту тетрадь, которая готова, — так я избавляюсь от работы и, однако, все равно достигну своей цели, если будет можно ее достичь окончанием работы, и кроме того, приобрету еще репутацию скромника. Конечно, едва ли этот расчет удастся, вероятно, нет, но я стал мало думать о словаре, потому что, как вижу, слишком много работы потребует. Итак, пусть лучше пропадает то, что до сих пор сделано. Поэтому принялся снова переписывать повесть и написал несколько страниц.

(Писано снова у Фрейтага в понедельник [16-го].)

12 [января]. — Писал утром повесть. Пошел в университет, у Куторги был и услышал, что Корелкин болен какой-то внутренней болезнью. Мне нужно было взять у него речь Срезневского, чтобы начать писать, поэтому пошел к ним не обедавши. Просидел до 5½, съел у них кусок чего-то и весьма хорошо было, что не обедал как следует. Пришел оттуда и несколько писал для Срезневского.

13 [января], пятн. — Утром писал несколько для Срезневского. Пошел к Фрейтагу, там посидел и писал \*, а после вдруг вздумал

\* Неразборчиво. Ред.

возмутить студентов, чтобы ушли от Срезневского. Я высказал потому, что думал, что мою мысль не примут, но после некоторого сопротивления приняли и мне поручили сказать Срезневскому, что только 2—3 [студента налицо], потому что остальные ушли, вероятно, на похороны к Кочубею. Я пошел и сказал. Он сказал: «Как же это жаль, у нас и так, должно быть, не останется времени, чтобы дочитать, и придется, верно, взять дополнительные часы. Да я с вами хотел говорить, г. Чернышевский: Корелкин получил возможность купить рублей на 40 книг — это так: я сказал Уварову молодому и Жемчужникову о нем, и они подарили ему эту сумму для книг. Я говорил им и о вас, но предупредил, что вы можете оскорбиться этим, так должно с вами раньше поговорить». Я сказал: «Если так, то в самом деле позвольте вас просить, Измаил Иванович, не делать этого». — «Напротив, по моему мнению, это не имеет ничего оскорбительного или обязательного для вас; напротив, должно стараться о том, чтобы это вошло в обычай», — и сказал еще несколько фраз в этом роде, так, чтобы убедить меня, и я согласился. Но как же мне было совестно после этого! Он так заботится обо мне, а я сыграл перед ним такую мерзкую штуку! Ужасно совестно! А все-таки мало-по-малу ушли один по одному мы из университета и дорогою условились, т.-е. снова я проповедывал, чтобы не быть завтра у Никитенки. Я знал, что этого не сделают — пойдут, но мне нужно было быть у Ворониных, поэтому-то я так уговаривал других и сказал, прощаясь: «Ну, уж я не буду».

14 [января в] субботу поэтому я думал: быть мне у Никитенки или нет? Думал зайти к Ворониным сказать и просить, нельзя ли переменить часы; если можно, то идти к Никитенке. Поэтому взял чернила и т. д., но когда вышел, вздумал, что ведь это будет противно тому, что я говорил вчера, поэтому нехорошо не выдержать своего решения перед студентами и решился не подать повода сказать: «Вот сам говорил, а между тем пришел», поэтому решился не идти. Там тот гувернер (не знаю, как его зовут) сам сказал мне: «Может быть, вам неудобно переменить часы?» Я сказал: «Весьма удобно; если можно в 12 вместо 10 в субботу, а в среду можно как раньше». — «Очень хорошо». Да, в пятницу от Корелкина зашел к Вольфу и там снова ел много, так что пропасть денег вышло у меня в эти дни к Вольфу, и решился до конца месяца, до новых журналов не быть у него, хотя не думаю, чтобы выдержал это решение, потому что на другой же день был у Доминика, хотя не истратил денег.

15 [января], воскр. — Все утро и весь день писал Срезневскому, как и в предыдущие дни. С четверга вечера написал 14 листов, т.-е. 46—75 страницы его речи отдельного издания, и решился вечером отнести к нему, чтобы поговорить о деньгах, и если что замечу, сказать самому первым, что после пришли к нему в пятницу, были после студенты, чтоб избавиться с этой стороны от всякой опасности. Пошел, застал дома. Взял прежние 25 листков, которые

писал на почтовой бумаге (это, на которой писан этот дневник), чтобы переписать для однообразия на такой же бумаге, как те. Он сказал, что для чего тратить так много времени, — я сказал.

Nos in tumulto hiems arida aestatis ossa consumit (fornax)\*, — это предложил Фрейтаг в начале [лекции] 20-го, я разгадал.

(Снова писано у Фрейтага 20-го числа в пятницу, продолжаю.)

Итак... я был у Срезневского... «Так что, — говорю я, — ведь это от меня, а не от вас». Только он: «Так позвольте», сказал он, вынул с этажерки свою книжку «Мысли об истории русского языка»<sup>182</sup> и дал мне. Я развернул и сказал: «Это то же издание, которое теперь у меня ваше лежит. Ведь тут есть опечатки». — «Как же, и весьма глупые». — «Что же вы не давали еще кому-нибудь читать корректуру? Все лучше двое глаз вместо одних». — «Но ведь каждому свое время нужно». — «Помилуйте, разве не все равно пропадает. Конечно, другое дело, если какая-нибудь чешская и т. п., чего не знаешь». — «Да вот у меня лежит чешская корректура». — «Что ж, и чешскую, если есть текст, позвольте попробовать». — «Да мне совестно отнимать у вас столько времени; я не понимаю, что вам за охота столько употреблять для меня времени». — «Это оттого, что я не встречал такого... ну, просто сказать, такого дельного человека — извините, может быть я не имею права произносить своего суждения о вас, но ведь всякий имеет свое мнение». — «У вас нет текста, так вот возьмите эту книгу вовсе» — и дал мне издание Лебедева. — «Разве же вам не нужно?» — «У меня два экземпляра». — «Покорно благодарю. Правписание вы оставляете то же?» — «Нет, меняю, и вот как» (написал главные правила). Я пошел домой, несколько прочитал в этот день, остальное в понедельник и утром во вторник, поправил только опечатки, а не поправил правописания, потому что не умел.

В понедельник утром пошел в университет и когда входил, встретил Алексея Ивановича, которому когда поклонился, тот заметил, что я расстегнут. — «Что это вы, мой батюшка, и без шпаги? — сказал он, отпахнувши полу. — Вы сами себя арестовали, явитесь в 3 часа». Я пошел весьма спокойно, потому что это пустяки и, конечно, я не пойду. И после лекции ушел спокойно домой, но когда шел, эта встреча произвела неблагоприятное действие и был в дурном несколько расположении духа и главное — это расположение было оттого, верно, что было весьма холодно. У меня болели бока и спина, и поэтому я все время пролежал и проспал весь почти вечер, и не пошел поэтому к Ал. Фед., с которым условился быть у Соломки, а отчасти и потому, что мне казалось, будто он сказал, что зайдет ко мне.

Вторник [17 января]. — Идя в университет, опасался, чтоб не встретился Алекс. Иванович, и поэтому ходил по коридору с осто-

\* В таком шуме зима съедает сухие кости лета (кузница). Ред.

рожностью, чтоб не встретиться. У Никитенки некому, конечно, было читать, поэтому я, сидя в аудитории, написал несколько об историческом роде поэзии. Он сказал, что лучше не читать, а говорить, и поэтому мы говорили. Моя главная мысль была, что поскольку изменяет исторические характеры — это недостаток\*. Тогда я начал читать о влиянии поэзии, которое начал писать было для Плетнева, тут же говорил с Данилевским. Никитенко, хотя с трудом, согласился со мною. От него выходя, встретил Срезневского, сказал ему, вынимая из кармана корректуру: «Готово, только я не поправил правописания». — «Уже готово?» — сказал он. Я: «Если угодно, чтоб поправил правописание, вы позвольте мне придти к вам». — «Очень хорошо, когда же?» — «Когда вам угодно». — «Ныне?» — «Как вам угодно». — «Ну, так лучше уж завтра, потому что ныне я хотел вечером заняться». — «Как угодно, для меня все равно. Во сколько часов?» — «Хоть в шесть». — «Очень хорошо». — Домой, написал письмо, в котором отвечал маменьке, написал об Ал. Фед. и моих отношениях к нему, оставив до следующего письма писать о других своих знакомых. Да, в воскресенье, когда был у Срезневского, говорил ему о том, чтобы не выпрашивал для меня книг, как он говорил, потому что, сказал я, это может... (звонок). (Писано это, когда я сидел под арестом, в 5 ч. 10 м. Начал писать в ту же пятницу 20-го числа. Жаль, что пропадает вечер или во всяком случае полвечера.)

Продолжаю: потому что, сказал я, это может оскорбить папеньку. Это правда в самом деле, но более правда то, что мне самому не хотелось бы этого, потому что оскорбительное довольно положение. Но мне совестно сказать прямо Срезневскому, что то, что он вздумал, я считаю унижительным для себя. Он довольно долго говорил о том, что это ничего. Разумеется, я вообще говорил в своем прежнем духе и, наконец, я ушел, не зная хорошенько, будет ли говорить обо мне, если будет случай, или оставит это дело.

В этот день не виделся я с Алексеем Ивановичем и думал, что все может сойти с рук, т.-е. сходить-то с рук нечему, а он может позабыть; а вот, однако, не позабыл.

В среду я был у Ворониных, к Никитенке не пошел уже, а вместо этого должно быть был у Вольфа; да именно был. Когда пришел домой, в 4 часа с лишком, мне сказали, что у меня был Ал. Фед. и сказал, чтоб я непременно отправился с ним ныне в Пажеский корпус, что и в понедельник он был в ужасно затруднительном положении. Хорошо, что мне делать, когда я должен в этот вечер быть у Срезневского? Я, полежавши, т.-е. отдохнувши несколько, пошел в 5 ч. к Ал. Фед. и сказал ему, что так и так, не могу быть. Сначала было мы условились с ним о том, чтобы зайти в Пажеский корпус от Срезневского, после я, более по лени,

---

\* Неразборчиво. *Ред.*

чем потому, что думал, что в самом деле более 8 ч. просижу у него, сказал, что едва ли я успею, что уж лучше в другой раз. Итак, я от своей лени, или как это сказать, потерял два урока или три. Пошел к Срезневскому в 5 ч. 20 м., пришел — не было б. Сели, — он с одной стороны стола, я с другой, и он стал делать какие-то выписки, а я читать корректуру, спрашивая у него, как должно быть правописание слов, если сам не мог решить. Так просидел дальше 8 ч., т.-е. кажется более двух часов, а впрочем не могу сказать, когда позвали пить чай. Когда я вошел в ту комнату, которая направо в этом маленьком коридоре, который служит у него прихожей, я увидел там Данилевского и еще одного молодого человека, которого зовут, как я слышал, Александр Федорович и который брат Катерины Федоровны, его жены. Потом открылось, что это тот же самый, который писал в «Современнике» «О смерти Ярополка», ту статью, которая мне показалась слабою (хотя выкалывающею знания летописи) и особенно написано так, как ее писал бы Соколов и[ли] кто-нибудь в этом роде, которые не умеют слепить несколько фраз вместе, и он же написал об удельных отношениях в древней Руси, которая помещена в «Библиотеке», должно быть (кажется, что не в «Отеч. зап.», нет, точно в «Библиотеке»). Он человек не глупый, т.-е. умнее несколько Данилевского, но принадлежит к тому же классу.

Разговор сначала был о Лермонтове, которого я защищал, хотя не вдавался в жаркие тирады, потому что разговор был спокойный, после несколько о Гоголе, которых Срезневский не хотел считать людьми одной величины с Пушкиным (а я по голосу Вас. Петр. ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно). Здесь разговор был довольно еще занимателен, далее становился все менее занимателен, к концу снова несколько оживился. Я все сначала ждал, что мы снова пойдем работать, после увидел, что нет, но не знал, как встать, когда другие сидят, потому что я тут, конечно, лицо незначительное; таким образом просидел до половины первого. Я говорил не слишком много, даже довольно мало, с некоторою, однако, самостоятельностью, хотя слабою. Несколько раз говорил весьма глупо, как, однако, и всегда это случается.

*Четверг [19 января].* — Все утро читал корректуру, дочитал до  $4\frac{3}{4}$  столбца (всего было  $1\frac{1}{2}$  листа, на каждой странице 3 столбца, на 3-х только 2 вместо 3, и из них  $3\frac{1}{4}$  были прочитаны у Срезневского). На это было употреблено  $2\frac{1}{2}$  часа. После стал читать в третий раз, на это было употреблено более 4-х часов, и кроме того, все эти дни, т.-е. 3 или 4, я читал роман Maturin «Мельмот-Скиталец». Нельзя сказать, чтобы у этого Матюрена, или как там его зовут, не было решительно таланта, напротив, есть талант, есть и некоторое знание человека, но сам роман нелеп и бессмыслен, если не имеет смысла показать бессилие \* искusstеля

\* Неразборчиво. Ред.

или ужасность положения человека, меняющего будущую жизнь на настоящую. Все-таки я читал с любопытством, так я еще глуп, — хотя некоторые части весьма скучны, напр., рассказ этого Монкады о его пребывании в монастыре (вторая и половина третьей части). И вот что еще хорошо характеризует мою трусость при моем религиозном, не то что неверовании, а в этом духе, т.-е. я не христианин по убеждению, т.-е. не был бы христианин, если бы во мне доставало смелости духа, небоязливости перед тем, во что не чувствую нужды верить, — итак, несмотря на это, на меня произвело некоторое действие довольно пламенное, не знаю, однако, хорошо или глупо написанное, описание мучений ада в последней половине 6-й части. Не знаю, хорошо или глупо писано это, говорю я, потому что и эти страницы, как и весь роман, читал как нельзя беглее, читал только 3-ю долю строк и выпускал остальные. Эти книги дал прочитать Любиньке один из поляков.

Итак, к чаю, который в 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час., я кончил свою корректуру; пришел Ал. Фед. и просидел до начала 10-го. Он сказал, чтобы я был у него в понедельник и мы пойдем вместе, — ах, я уже и позабыл день — не в понедельник и не в субботу, а в какой-то другой, нужно, когда выпустят, зайти спросить, в какой именно. Итак, он ушел, я вместе с ним, чтоб отнести листы Срезневскому и сказал ему, что если он более не даст, я сочту это так, что это не годится в дело. Он говорит: «Станный вы человек». Я не сел. В университете не был.

20 [января], пятница. — В среду или пятницу я не был в университете, более затѣм, что думал, что если в эти дни не попадусь на глаза Алекс. Ивановичу, то и вовсе позабудет, а вот между тем нет. Хорошо. Итак, я когда встал, у нас было ужасно холодно — в моей комнате 11 только градусов. Мне Любинька сказала написать что-нибудь аткарским<sup>183</sup>. Так как написать было нечего, то я написал о переводе, если можно, Сашеньки сюда. После пошел в университет, взяв Sismondi, чтобы переменить. Пришел почти перед самою лекциею, просидел у Фрейтага, отгадал загадку<sup>184</sup>, потом глупо сказал, что Таенарос подле Трои, и только всего. Об Алекс. Ив. и не думал, когда кончилась лекция, а между тем как пришли мы к Срезневскому, он подошел к дверям, вызвал меня и сказал: «Что же вы думаете, г. Чернышевский? я нарочно дал нескольким дням пройти». — Я сказал ему: «Я хотел извиниться перед вами, что не мог явиться в те дни, потому что в понедельник обещали мне доставить урок, во вторник у меня был урок, в среду и четверг я был не совсем здоров и не был в университете». Он было мычал что-то, но я, разумеется, не перебивал его слишком, чтобы не горячиться обоим; говорил, что нужно, когда он успеет высказать главные слова своей мысли. Он сказал, наконец: «Явитесь же ко мне в 3 часа». Я был более всего в затруднении — куда явиться: в комнаты к нему, что ли, или куда? А однако, думал и то, что едва ли он в самом деле посадит под арест, а вообще это не произвело на меня, хотя я и уверен

был, что, конечно, посадит, никакого ровно впечатления, и теперь я в хорошем расположении духа, но если (хотя сторож сказал, как напишу ниже, что нет) должен буду просидеть ночь, то расположение моего духа переменится.

Хорошо. Кончилась Устрялова лекция, я пошел. Он стоит в дверях; я, подождавши, когда пройдут студенты, потому что несколько совестно, т.-е. напротив, а вообще я не люблю, чтобы знали, если могут не знать, про меня что бы то ни было, хорошее или худое, — так я подошел к нему и сказал: «На сколько времени?» — когда он сказал, чтоб оставался в сборной комнате. — «После узнаете». — «Нет, это я спрашиваю для того, чтобы, если нужно будет оставаться на ночь, то уведомить об этом своих». Разумеется, остался. Вошел Бострем в эту комнату и спросил, арестован ли я. Я сказал, что да. — «Ну, так останьтесь хоть не надолго». — «Хорошо».

Бострем славный человек, не знаю, впрочем, только он мне нравится своею рассудительностью и обходительностью, между тем как наш Алекс. Ив. глуп и суетлив, хотя в сущности тоже добрый человек, но слишком торопыга и кажется с некоторой, как бы сказать — ну, одним словом, вот что он глуповат, иначе нельзя сказать (в этом роде, напр., — любит Корелкина, а между тем, как Попов пришел ему сказать, что Корелкин болен, так чтобы послал врача, он сказал: «Скажите ему сами, а главное, у вас длинные волосы». — Глуп или нет?). Сначала я дожидался, что принесут обед — нет. Тем лучше, это мне забавно, и если случится, я кольну этим Ал. Ив. Я остался и стал читать Сисмонди и прочитал более 50 стр. в весьма хорошем вообще расположении духа. Когда понадобилась свеча, я отыскал сторожа, зажгли, а если бы нет, то я сказал бы Ал. Ив., чтобы извинил — я уйду (теперь бьет 6 ч.). Сторож сказал: «Да ведь вас отпустят, потому что не приказано выдавать вам койки». Но что мне это, ничего. Есть несколько хочется, но мало, все равно, что в 3 часа, так и теперь. Меня это несколько забавляет, что по забывчивости или потому, что я сам не сказал, не подали мне обед. Я подожду до 7 ч.; если до тех пор не выпустят, я, предупредивши сторожа, схожу в лавочку за булку. Хорошо.

Итак, теперь дописал до самого конца своего земного поприща, т.-е. история моя доведена до настоящей минуты, а как говорят, что остановившаяся история — статистика, разумеется, нравственная и политическая, статистика же материальна, то и принимаюсь очерчивать свой образ мыслей теперешний.

С год должно быть назад тому или несколько помнее писал я о демократии и абсолютизме<sup>185</sup>. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, чтоб как скоро начнется правление народное, правление *de jure* и *de facto* перешло в руки самого низшего и многочисленного класса — земледельцы + поденщики + рабочие, — так, чтоб через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком

случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии. — А теперь я решительно убежден в противном — монарх, и тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душою и телом, принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии. То когда самая верхушка у конуса отнята, не все ли равно? Низшие слои изнемогают под высшими, будет ли у конуса верхушка или нет, только самая верхушка еще порядком давит на них — и давит чрезвычайно порядочно; это, во-первых, стоит народу много денег и слез и крови, во-вторых — как замок в своде, поддерживает, образует, развивает аристократию. Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться, потому что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на совершенное угнетение, на совершенное иссечение средним, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. — Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пьянка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренно, с убеждением, без своекорыстной цели, который тотчас же, как достигает, чего хотел, ломает свои орудия и развил бы свои убеждения до того, до чего они должны быть развиты, до их крайних последствий, а эти последствия:

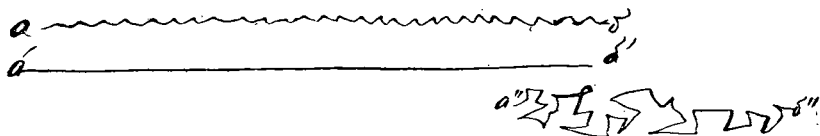
лучше d'en bas\*, чем d'en haut\*\* анархия, потому что там хоть не может быть таких бесчеловечных отношений, понимаете ли, не действий, а отношений, а это важнее. Что мне за дело, хороший я человек или нет, добрый или нет, когда я считаю себя человеком, а другое существо подле меня собака, — разумеется, она всегда и будет для меня собакою и уже человеком ей не бывать для меня; стану или нет я ее бить — это дело случайное, да и дело пустое, а чтобы я сравнивал ее в правах с собою: может ли это быть? Об этом безрассудно и думать. Вот мой образ мысли о России <sup>186</sup>: не-

\* Снизу.

\*\* Сверху.



одолжимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? — Человек, не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может утраститься этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, — я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории. Разве и кровь двигается в человеке не конвульсивно? Биение сердца разве не конвульсия? Разве человек идет, не шатаясь? Нет, с каждым шагом он наклоняется, шатается, и путь его — цепь таких наклонений. Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало. (Оно идет, как человек: путь и человека и человечества от  $a$  к  $b$  — линия  $ab$ , не  $a' b'$ , хорошо, если (как это очень часто бывает) не линия  $a'' b''$ ).



(Ведь это странно, какие я отпускаю штуки — несколько похожу как будто через них на помешанного всегда, между тем как постоянно я весьма апатичен, — ну, как вдруг, говоря спокойно, прибегать для выражения своей мысли к этим чертежам?)

(Сейчас входил на минуту Савельич сказать, чтоб я взял шинель, потому что будет холодно. Я сказал, что еще ничего. Продолжаю.)

По образу своих мыслей принадлежу я сам не знаю, к какой именно партии социалистов-демократов, став не то черным, не то красным; не знаю, к какой именно; не ожидаю исполнения и со-той доли того, чего надеется большая часть приверженцев этого учения от торжества его, т.-е. я сам верю во все это, но моя трусость препятствует мне вообще всегда во всем, что я люблю, ожидать чего бы то ни было, кроме неуспеха, разочарования и т. д., поэтому я несколько не очарован. Я даже думаю, что на самом деле торжество этой партии доставит более блага низшим классам, движет человечество несравненно более вперед, чем я думаю, принесет гораздо менее бедствий при своем введении, т.-е. кровопролитий, войн, бунтов и терроризма, гораздо менее, чем я ожидаю; итак, немало из того, что обещают, ожидаю я, как исполняющегося современем на деле от торжества этой партии. Но я всей душою предан этому новому учению, хотя не могу сказать, чтобы верил

в него относительно догматов его, не только относительно следствий Я слишком большой трус, слишком нерешителен для этого. Но все же я привержен к этому учению всею душою, сколько только могу быть привержен по своему подлому, апатичному, робкому, нерешительному характеру. И в развитии следствий я иду гораздо дальше, чем идут большая часть этих господ, т.-е. идей о «liberté, égalité» и т. д. Это происходит от моего характера, который неспособен к деспотизму от слабости и которого раздражает малейшая несправедливость или притеснение или унижение, которым он подвергается, т.-е. раздражает как факт не всегда, а только судя по состоянию духа, а раздражает всегда в ожидании и в прошедшем, в воспоминании, раздражает и бесит и волнует кровь уж как одна возможность. А факты весьма часто совершаются надо мною самые унижительные, и я несколько не чувствую от этого [боязни] сложить те выводы, которая отличает, как чрезвычайно далеко в этом отношении зашедших, Proudhon, E. de Girardin, L. Blanc и т. п., и применить это к всем возможным случаям, когда составилась мой образ мыслей. Теоретически я всего более сочувствую L. Blanc, потому что он первый был моим учителем в этом, потому что через его беседы в Люксанбуре я узнал все эти вещи, и поэтому здесь он для меня играет почти ту же роль, как Гизо в отношении к установившимся уже и сделавшимся неотъемлемыми, несомненными взглядам. Раз я читал Гизо, раз читал Л. Блана, поэтому я чувствую себя много им обязанным и поэтому готов ставить и до сих пор ставлю их бог знает насколько выше всех, трудящихся с ними на одном поле.

В религии я не знаю, что мне сказать — я не знаю, верю ли я в бытие бога, в бессмертие души и т. д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицании, я был бы последователь Фейербаха<sup>187</sup>, в положении — не знаю чей, — кажется тоже его.

В других отношениях люди, которые занимают меня много: Гоголь, Диккенс, Ж. Занд; Гейне я почти не читал, но теперь может быть он мне понравился бы, не знаю, однако. Из мертвых я не умею назвать никого, кроме Гете, Шиллера (Байрона тоже бы, вероятно, но не читал его), Лермонтова. Эти люди мои друзья, т.-е. я им преданный друг. Также Фильдинг, хотя в меньшей степени против остальных великих людей, т.-е. я говорю про мертвых; может быть, он и не менее Диккенса, но такой сильной симпатии не питаю я к ним, потому что это свое и главное — это защитник низших классов против высших, это каратель лжи и лицемерия.

Что еще сказать о себе? Вас. Петр. я попрежнему считаю если не умнее себя, то во всяком случае проницательнее и гораздо старше по уму во многих отношениях, и не могу защищаться от

этого влияния, когда он произносит суждение свое о каком-нибудь, особенно литературном, сочинении. Но [в нем] много такого, т.-е. одно что-то такое, проявляющееся под различными видами, что мне не нравится, — есть что-то такое, что есть в Любиньке, например, и в других, это я не умею хорошенько назвать, род пошлости, или в этом роде. И ухватки, и манера говорить часто не нравятся мне. Напр., каждый раз, когда он произносит слово «целковый», я слушаю с неудовольствием его произношение, и мне кажется, что манера произносить это слово самое полное выражение той стороны, которая мне в нем не нравится.

Пишу в субботу, 4-го числа, дожидаясь Никитенку, потому что пришел рано — почему, напишу после, если успею.

В неделю, следовавшую за тем, что я описал в предшествующем дневнике, ничего замечательного не было, кроме того, что в следующую пятницу, 27-го, т.-е. через неделю, получил я посылку, т.-е. икру, которую прислали из Саратова. Поляков, с которым прислали, довольно умный человек и несколько образованный. Я напился у него чаю и поговорил с ним без скуки. Он расспрашивал о деле Ханыкова и К<sup>о</sup>. Я представлял ему, что ничего не было, и, кажется, заслужил его недоверие. В предыдущий четверг был у Корелкина в больнице, там весьма хорошо; просидел у него с час или более. Для Вас. Петр. взял в этот день у Славинского английских книг и Гизо, который лежал все у него. А в субботу 28-го был у Срезнезского, чтобы выписать места нужные; просидел до 8 часов, видел *les Antiquités russes*<sup>188</sup>. Когда дописал, что должно, подали самовар, поэтому я остался. Оттуда идя, зашел к Вольфу, потому что с четверга носились слухи (мне первый сообщил их Тимаев), что прусский король бежал в Англию. Я был рад весьма, весьма, но, конечно, не доверял, потому что теперь не такое время и не из-за чего, кроме как разве не стал присягать этой конституции; но я не думаю, чтоб теперь могло быть удачным восстание, однако все-таки думаю: авось, бог милостив. Там пробыл до 11 и почти засыпал от утомления. Когда пришел, мне сказали, что у нас был Поляков.

В воскресенье утром был Вас. Петр. Завтракали вместе икрою и под конец он заговорил о своих отношениях к Над. Ег. Мне снова стало его интересно слушать, как было в первое время [после] свадьбы. Он лучше к ней расположен, чем я обыкновенно думаю, т.-е. более чувствует к ней нежной заботливости, хотя любви совершенно не чувствует. У него теперь надежда получить место при таможне через Бельцова, только чудак Бельцов, что бросил службу и уезжает в Кексгольм, где у него поместье. Я что-то думаю, что это дело рассохнется. Бельцов говорит, что можно получить. Просидел до 4 и обедал у нас. Я проводил его после к Вольфу. Пришел оттуда в 7<sup>1/2</sup>, у нас Анна Дмитриевна (у которой я раньше был и которая, приехавши сюда, остановилась у Н. Дмитр., который довольно порядочный человек). Ал.

Фед., который был с нею, сказал, что он сказал Соломке, что я болен. Я, кажется, уже писал, что Ал. Фед. предложил мне давать уроки у Соломки из химии и аналитики. Я думал, что аналитика равна тригонометрии, и согласился, но потом, когда увидел, как много нужно времени, чтобы готовиться из химии, потому что она вся наполнена (Гессова) техническими процессами и ничего общего нет в ней, так что все должно учить, у меня весьма остыла охота, потому что слишком много нужно времени. А в пятницу перед этим, — нет, в понедельник это, т.-е. не 20-го, а кажется 23-го, — был я у него, и аналитика вовсе не то, а что-то такое, чего я вовсе не знаю, поэтому я решился отказаться и сказал об этом Ал. Фед. утром, во вторник или среду, хоть мне и казалось неловко. Проведши у него несколько времени, сказал прямо, что не могу, потому что не знаю. А главное, не то, что не знаю, это бы еще ничего, а то, что слишком много нужно времени, а теперь не до того, и у меня сжимается сердце, когда я подумаю, что должно сделать мне в эти два месяца: 1) докончить Срезневскому, 2) докончить переписку повести, — это я думаю кончить к концу февраля; в марте должно: 1) переписать записки Куторги и другое, что пропущено, 2) диссертацию написать, — это ужас, едва ли успею как должно; нет, успею. Хорошо. Так слишком много времени будет нужно для Соломки. Итак, теперь Ал. Фед., когда был у нас в воскресенье, сказал, что он сказал Соломке, что я болен и что поэтому ничего. Когда они уехали, я, кажется, немного писал для Срезневского. Должно сказать, что все это время, с самого начала лекций до этого числа, т.-е. до настоящего времени занято у меня перепискою для Срезневского, для которого выписал 53 листа, т.-е. часов 70 или лучше 80 для первого семестра, да теперь написано 8 листов и отнесено 2 семестра, итак, около 90 часов.

Так как наши решили посылать подарки своим всем, то и мне, кажется, нужно послать папеньке бархату на камилавку, тем более, что Ив. Гр. взялся купить ножичек и купил не в английском магазине, а в голландском, и всего за 2 р. сер. вместо 5, как писал папенька. Жаль мне, что я сам этого не сделал.

*Понедельник, 30 [января].* — Должно сказать, что я с самого начала лекций сделал так, что не был ни у кого, кроме Никитенки, Срезневского, большею частью Фрейтага, иногда у Устрялова, только раз у Куторги, ни разу у Неволлина, так что только бываю в понедельник, вторник 3 лекция, среду и четверг пропускаю, в пятницу одна или две, или 3, в субботу Никитенко; так и теперь, писал весь [день] Срезневского и читал, проверяя, так что можно будет отнести последние 13 листов, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> первого полугодия. Думал застать его дома и списать у него следующую лекцию, но не застал дома и вместо этого пробыл несколько времени, кажется, у Доминика.

*Вторник, 31 [января].* — У Никитенки говорил о том, что древние языки не стоят внимания. Он согласился довольно на все,

кроме формы и высокого достоинства отделки, так что я мог сказать: «Итак, идеи нет, содержание не годится, остается форма» в произведениях древности. Довольно разгорячился я на лице, в душе был, как обыкновенно, совершенно холоден, но как-то *téméraire*, т.-е. какая-то забывчивость о всем, так что думал только об этом; кажется, это произвело некоторое впечатление на студентов, напр., Тимаева и Лыжина. Лыжин пошел со мною вместе и говорил об этом и отношении к истории европейских наук (по вопросу о Мальтусе, [про] которого читал он у Милютина<sup>189</sup>), и после Славинский мне сказал, что я реформу задумываю, — значит, об этом говорили у Куторги перед лекциею, с которой я ушел. Вечером пошел к Вас. Петр., который упрекал, что я у него не бываю; все боролся с ним, я доставал его бумаги, он сильнее меня. После зашел к Славинскому, узнал от отца о цене бархата.

### . Ф е в р а л ь .

*Среда, [1 февраля].* — Утром был у Ворониных, как всегда, думал получить деньги — нет. Вечером писал, и только.

*Четверг, 2 [февраля].* — Утром был снова Вас. Петр. несколько времени. Вечером писал. Хотел нести Срезневскому, но не понес, потому что вздумал: не стоит спрашивать следующей лекции, потому что не было ничего такого, чего бы нельзя хорошо записать, а если не стоит спрашивать следующей лекции, [то] не стоит его беспокоить в этот вечер, потому что он готовится. Так и не пошел. Вечером, кажется, что был Ал. Фед., — да, был и отдал вместо 10 руб. сер. мне 8; это ничего — все равно достанет заплатить.

*Пятница, 3 [февраля].* — Утром читал книгу Срезневского,правляя опечатки. Вечером пошел к Срезневскому, только отдал ему. Он не оставлял сидеть, поэтому я воротился домой. Когда пришел, у нас был Ив. Вас.; мы встретились с ним как нельзя дружественнее. (Писано у Фрейтага, в пятницу 10-го.)

(Писано 17-го в пятницу, потому что пришел к Фрейтагу рано.) В эти две недели тоже я бывал только в пятницу у Срезневского, понедельник и пятницу у Фрейтага, субботу и вторник у Никитенки; другие лекции не посещал до 14-го, писал все Срезневского. Переговоры должен был переписывать три раза одну половину, а другую половину два раза, от этого так много времени ушло на переписку их. Потом что делал в неделю до (это пишу у Фрейтага, тогда не закончил, потому что подошли Куторга и Пршеленский) субботы 11-го? Ничего особенного не было, все дожидался перехода на другую квартиру и ходил в кондитерские, потому что после уже нельзя будет часто бывать там. В среду был у Ир. Ив., не бывши пять недель. Он сказал, чтобы не забывал его. Я несколько участвовал в разговоре, хотя мало; слышал, между прочим, рассказ о Гоголе, как он в Германии схо-

дид на двор в кожаный мешок и, как его два раза поднимали ему. Это рассказывал, как кажется, Милюков — должно быть, что его фамилия Милюков. Этот Милюков говорит в социалистическом духе, как говорю я, но мне кажется, что это у него не убеждение, как [у] Ир. Ив. или у меня, что у него не ворочается сердце, когда он говорит об этом, а так это только говорит он, — и все эти господа мне кажутся несколько пошловаты, кроме Ир. Ив. — он, конечно, лучше других, да еще после военный — Дмитр. Иванович, а Краузольд и Вадим Ник. довольно забавны, хотя этот Вад. Ник. лучше Краузольда, а уже и Краузольда далеко непостижимо превосходит один офицер, который бывает у них и которого я в первый раз видел в этот раз и который теперь рассказывал о балете «Взятие Ахты» преуморительно, а еще уморительнее был он в следующий раз, т.-е. 15-го числа, когда говорил о зубном враче праведном с Дм. Ивановичем.

В субботу мы хотели переезжать на новую квартиру, поэтому я от Ворониных пошел отыскивать ее. Нашел, в ней было холодно, как на дворе, и это продолжалось до вторника, я думаю. Поэтому я был весьма недоволен этою квартирою, весьма недоволен.

(Писано у Фрейтага снова, 20-го, в понедельник.) — Следующую неделю особенного ничего; до среды этой я писал Срезневского, в среду был у Введенского снова, — нет, кажется, не был — так, так, я перемешал оттого, что мне показалось, что написал «6 суб.» вместо «7 суб.». Конечно, мы перешли не 6-го. Итак, 14-го мне принесли повестку быть у следственного пристава, я довольно встревожился, потому что решительно не понимал, из-за чего, и тут решительно почувствовал свою робость. Во вторник отнес вечером Срезневскому листы до рождества, которые не нужны Лыткину. В среду, как пообедал (получил утром у Ворониных 10 руб. сер.) — к Вольфу, у которого дочитал «Отеч. зап.» и с любопытством читал газеты. После зашел к Ал. Фед., занес газеты, взял другие. У Введенского говорил довольно много и играл довольно значительную роль в разговоре, так что более даже Вадима Никол., менее только доктора одного. Туда идя, сел отдохнуть у схода на Неву довольно долго. Когда вставал, сказал извозчик на Неве, что за пятак сvezet; я сел и говорил с ним об их положении как крепостных, только вообще говорил, что должно стараться от этого освободиться (дал ему гривенник, и он чрезвычайно был рад). А когда оттуда ехал за 15 коп. сер., теперь говорил уже с извозчиком весьма ясно, что [надо] силою чтоб требовать, добром нельзя дожидаться. Между прочим, я для того был у Ирин. Иван., чтобы позабыть об этом приглашении к следственному приставу.

16-го [февраля], четв. — Там штраф заплатил 60 коп. сер., чтобы избавить от большого штрафа Максимовича, который собственно был виноват, не записавши в книгу моего билета. И успо-

коился. Теперь в пятницу — ничего особенного, в субботу тоже — более всего спал, также читал «Современник» 2 и после 1 № — 19-го, в воскресенье и предыдущие дни несколько писал свою повесть, но весьма мало, потому что сомневался, пошлю ли ее в журнал — едва ли, поэтому и мало писал. После пришел Вас. Петр. и просидел до 5 [час.]. Мы, наконец, стали говорить о переломах, которых должно ждать у нас; он воображает, что он будет главным действующим лицом. Когда ушел, я почти все время проспал до этого времени, до 8 час. понедельника, просыпаясь только для чая. После завтра снова буду у Иринарха Иван., ныне верно придется идти к Славинскому за Галаховым для Никитенки.

(Это писано в пятницу у Фрейтага, 24-го числа.) Утром в понедельник взял деньги в почтамте и отдал их после Любиньке все. Из университета сказал Славинскому, что я к нему, чтобы взять Галахова. Мы поехали на его счет, там обедал; хотел быть у Вас. Петр., однако не был, а вместо того пошел к Вольфу, у которого до 6 час., после домой, проклиная все, потому что скверная погода и чрезвычайно сыро.

Во вторник читал «Памятники» Пушкина и Державина<sup>190</sup>. Мне кажется, что Державина лучше. (В воскресенье отдал 6 руб. сер. из 15, которые получил от Ворониных, Вас. Петровичу.) Никитенко поручил разобрать «Медный всадник», в среду я, увидевши у Вольфа Данилевского, выписал у него. Вечером ничего не делал. В среду (22-го) от Ворониных пошел в университет, оттуда к Вольфу, после зашел к Ал. Фед., который попросил завтра принести ему 3 целковых, я обещал; он сказал также, что Михайлов едет сюда; я этому был рад от души. У Ир. Ив. разговор не был занимателен; только для меня было интересно, что были Чистяковы, и он подошел и поздоровался со мною, между тем как я просто стоял.

В четверг утром пошел к Фрицу заказать сапоги, после к Вас. Петр., который писал, поэтому я ему мешал и поэтому тотчас ушел от него к Иванову, где читал снова газеты. Когда пришел в университет, попался (писано у Фрейтага в понедельник 26-го) Ал. Ив., который сказал, чтоб остриг волосы. Я сказал: «Очень хорошо» — и был чрезвычайно раздосадован этим скотом.

В пятницу рано вышел из дому, чтоб остричься, и пошел к Petit et Wendt, где мерзко остригли виски, слишком коротко, хоть говорил, чтоб этого не делали. Вечером спал.

В субботу у Ворониных обедал, пришел домой в 5, потому что нечего было делать, потому что записок не было, и скоро уснул, написавши несколько из «Медного всадника» разбор. Гораздо слабее, чем я думал, это произведение, «Русалка» (на которую указал мне Михайлов) и «Дон-Жуан» гораздо лучше, гораздо лучше. «Галуб» тоже плох. Я разбирал довольно строго, хотя с большим снисхождением — для Никитенки; если б писал

для журнала, верно 6 резче. В пятницу спросил Фишера, когда входил он в аудиторию: «Позвольте посоветоваться с вами — я хотел писать диссертацию для вас». — «Не делайте этого, пожалуйста, не советую, неудобное время» — это я помню слово в слово. В субботу спросил поэтому у Никитенки, который сказал: «Что же, о трех наших комиках: Фонвизине, Шаховском, Грибоедове, — конечно, с осторожностью». Я сказал, что постараюсь. Но может быть, о трех не успею, и теперь хочу о Фонвизине одним<sup>191</sup>, для этого [надо] подписаться в библиотеку, как получу от Ворониных деньги.

(Писано 13 марта, в понедельник, в университете.) Конец февраля ничего не делал, и ничего особенного не случилось.

### М а р т.

1 [марта]. — Был у Ир. Ив., ничего особенно занимательного там не было, и я играл не слишком блестящую роль. Решился пропустить одну среду и поэтому следующую не был, а буду завтра.

2 [марта], четверг, 3-е пятница, 4-е суббота и т. д. до 7-го, вторник. Читал корректуры для Срезневского, то, что набрано (1 — 48-й столб. певцов чешских), и переписал потом для печати остальные песни из Краледворской рукописи.

В понедельник, 6-го, болели зубы, поэтому не пошел в университет, а поставил сапоги в печь по своему обыкновению; они там сгорели, поэтому я пошел в ужасной досаде к Фрицу, чтоб сделал поскорее. На дороге встретился с Ив. Вас. и зашел к нему. Во вторник этот и прошлый читал (т.-е. 28-го [февраля] и 7-го) у Никитенки «Медного всадника», которого разбор написал, поэтому здесь не буду говорить. Оттуда пошел к Вольфу. Решил или купить сапоги, или взять у Ал. Фед. — не застал дома. Поэтому зашел к сапожнику и купил за 3 [руб.] 50 [коп.] головки и теперь ношу. Не так мерзки, как я думал, конечно, все-таки гадки, т.-е. гадки каблуки, а между тем это было совершенно не нужно, потому что на другой день принес Фриц утром; я несколько подсадовал на себя. Получил из дому 20 руб. сер., осталось 15 за расходом на сапоги, из них 13 отдавал Любиньке, которая возвратила тихонько, и ночью я снова положил ей в ящик.

Итак, 9-го не был у Ир. Ив. В четверг, 9-го был урок у Ворониных вместо того, что не был в среду. Лекция в этот день и ныне, 13-го, дополнительная у Срезневского. 10-го снова был у Вольфа — красные победили<sup>192</sup>, поэтому мне была радость некоторая, что-то теперь там? Ныне, если не будет тетради, от Срезневского зайду.

Суббота, 11 [марта]. — Получил письмо от Сашеньки и стал писать. Вечером был урок у Ворониных.



12 [марта], воскресенье. — Если угодно, этот день несколько опишу подробнее.

Продолжаю дома, в воскресенье, 19-го числа, в 4 часа, кончивши разбор своих университетских тетрадей. При этом у меня, как-то по-старчески, была тоска о прошедшем — итак, боже мой, в последний раз, скоро это будет чуждо!

Итак, в воскресенье, 12-го, был у меня Вас. Петр., пришел довольно не рано и довольно недолго вечером сидел, всего разве 5 часов. Говорил о том, о сем, кажется, весьма откровенно. Я все настаивал, чтоб он что-нибудь писал; он говорил, что не имеет таланта; об этом, как обыкновенно, был спор, я сказал: «Что талант, нет этой вещи, а есть только ум», и отвергал специальность направления от природы: «А, — говорю, — уж если так, то я скорее всего мог бы про себя сказать, что нет таланта — ничего не могу придумать». — «Да что придумывать, — сказал он, — вот напишите например» — и рассказал историю «Экзекуторского места». Потом стал было рассказывать в общих выражениях свою историю с Бельцовой, но остановился и не захотел досказывать. Я ему дрожащим голосом рассказывал «Двойника»<sup>193</sup>, и он сначала думал, что это я писал.

13, понед. — Устрялова не было, Срезневский кончил весьма трогательными словами, весьма трогательными, они несколько записаны у меня в тетради, и теперь я с сожалением каким-то вспоминаю, что перестал быть его слушателем. Ни о каком другом профессоре этого не осталось, а это должно быть оттого, что он слишком горячо любит свою науку.

14 [марта], вторн. — Никитенки не было, хотя мы его дожидались. Мы пошли из университета вместе с Данилевским и Лыжиным. С Лыжиным долго ходили по улицам и рассуждали; сначала мы говорили о заговорщиках, после о своих товарищах, после о его методе образования себя. Он умнее других и, может быть, не глупее меня. Вечером спал. Ходил также к Срезневскому за тетрадями.

15 [марта], среда. — У Ворониных не был, поэтому воротился домой. После к Ир. Иван., раньше, конечно, к Вольфу на несколько времени, и у Ал. Фед. был. У Ворониных урока не было. У Иринарха Ив. пригласил меня к себе Минаев, и несколько слов говорила со мною жена Ир. Ив. Вообще я более и более становлюсь там человеком с голосом некоторым, хотя много уступаю доктору и Минаеву.

16 [марта], четв. — Просидел дома, писал несколько, больше спал.

17 [марта]. — Прочитал Лыткина Тибулла Annotationes; написал 10 листов Срезневского и понес к Славинскому, чтобы тот передал Лыткину; раньше зашел к Иванову, у которого читал, когда пришел Славинский, поэтому передал ему, сам пошел к Вас. Петр., у которого [пробыл] около часу, после воротился.

18 [марта], суб. — Утром писал, после пошел к Певолину, оттуда шел с Корелкиным; к нему почувствовал при этом теплое расположение. Это была моя последняя лекция, и мы одни с ним были на ней из всего курса. После, когда пришел домой (да, в университете взял письмо), до чаю проспал, после писал Срезневского.

19 [марта], воскр. — Как встал, до 2 час. все писал Срезневского, чтоб кончить на всякий случай, потому что я сказал Славинскому, что кончу в воскресенье вечером, и торопился, потому что ждал Вас. Петр.; но его не было. Когда кончил, свернул в трубки, разобрал свои тетради за 4-й курс, после этого стал обедать. Когда кончил обед, стал разбирать тетради за первые 3 курса и кончил это гораздо скорее, чем думал. — Не так громадно, как я думал. Ложусь несколько почитать. Когда будет 5½, пойду к Срезневскому отнести ему тетради.

(Писано 27 марта в первом часу в понедельник.) 19-го отнес Срезневскому и ничего, только поговорил о Польше и т. д., но весьма вяло, и я вышел от него недовольный.

20 [марта], понед. — Не помню, что делал.

21 [марта], вторник. — Пошел к Вас. Петр., посидел у Иванова, заходил к Славинскому и попросил его прислать мне тетради, которые нужно. Взял «Современник» у Вас. Петр., 3 №, и читал его вечером и следующий день.

22 [марта], среда. — У Ворониных было два урока.

23 [марта], четв. — Пошел утром на толкучку, искал Фонвизина, сочинения о нем Вяземского и т. д. — до этого дня прождал, потому что дожидался денег от Ворониных, они были так милы, что ранее, чем я ждал, отдали. Купил за 80 коп. сер. Фонвизина и в этой же лавке за 50 коп. сер. 9 № *Revue Indépendante*<sup>194</sup> 1847 г. Сначала не понравилось, когда я пришел домой, после нашел довольно много хороших статей. Купил за 40 коп. сер. 8 №, 1847, «Отеч. записок», в котором статья первая о Фонвизине; теперь пойду, когда кончу это, отыскивать 9 №, в котором вторая статья. Этот день и следующий читал все Фонвизина, которого всего прочитал, и *Revue Indépendante*, которого половину, я думаю, прочитал.

24 [марта], пятн. — Был у Ворониных, потому что в субботу праздник. Был один урок, там обедал, оттуда к Корелкину, чтобы взять Никитенкину программу, т.-е. конспект за 1-й курс. У них просидел до 10¼, рассказывая события Западной Европы и т. д. Его самого не было — и весьма хорошо сделал, что ушел.

25 [марта], суб. — Утром читал *Revue Indépendante* [и] Фонвизина. Вечером был Ал. Фед., принес 6 номеров «*Débats*», которые я прочитал вечером и 26, воскр. — утром, чтоб приготовить для Вас. Петр. Он пришел в 12, просидел до 4½, я пошел с ним вместе отнести Ал. Фед. газеты, которые он принес, и пошел к Вольфу, у которого положил ноги на диван, — он подошел и сказал мне об этом. После этого я не хочу бывать у него. Вас. Петр. отдал 10 руб. сер.

27 [марта]. — Ныне утром все читал *Revue Indépendante*, до этих самых пор, потому что переписывать нечего в записках Плетнева и Штейнмана. Теперь иду справиться о 9 № «Отеч. записок», достать Фонвизина и отнести записки к Славинскому, может быть, к Залеману и Корелкину.

Писано 17 апреля.

Март. — Решил вместо того, чтоб покупать Вяземского, прочитать его в Публичной библиотеке, и сделал это. Таким образом выиграл 2 руб. сер. — 9 № «Отеч. записок» читали все это время, поэтому я решил спросить у Ворониных и был так счастлив, что получил.

## А п р е л ь

1—8 [апреля]. — С 1-го или 2-го числа начал серьезно готовиться к Фишеру. Среди дня куда-нибудь постоянно выходил, чтоб освежиться, обыкновенно на залив. Приготовился довольно хорошо из всего, кроме, как после оказалось, психологии. 8-го пошел, — экзамен отложили на 10-е, потому что Фишер должен был присутствовать при открытии нового цензурного комитета<sup>195</sup>. Потолковали, как теперь быть с экзаменами, и решили Никитенку перенести на субботу. Я был раздосадован несколько этим, отчасти и нет, потому что через это выигрывал два урока у Ворониных. Так как сидел мало, то не записал в книжку, но сами переправили они, это весьма хорошо.

9 [апреля], воскр. — Был Ал. Фед. и толковал о поездке за границу. Я сказал, что лучше жениться, это более принесет пользы. Пришел Вас. Петр.

10 [апреля], понед. — Экзамен у Фишера для меня кончился довольно хорошо. Мне досталось — «о произвольном воспоминании» и т. д. и «о творческом воображении», — не знаю хорошенько, до каких пор. А из нравственной философии — «о форме, под которой должно являться требование разума нашему сознанию», и «сравнение действительного человека с человеком, каким его знают по сущности». Я говорил весьма живо. Плетнев вызывал, поэтому я вышел четвертым (первым после господ, получивших медали). Оттуда пошел к Иакову, — он нездоров, не принял. Оттуда зашел к Корелкину, оттуда к Нейлисову.

11 [апреля], вторн. — Пошел отнести письмо и пришел к Иванову.

12 [апреля], среда. — Был у Ворониных, после готовился.

13 [апреля], четв. — Готовился к Никитенке и Фрейтагу. Для Фрейтага прочитал несколько раз неправильные глаголы. Находила некоторая тоска, потому что [не] надеялся на этого скота и думал поставит 4.

14 [апреля], пятн. — Фрейтаг меня вызвал четвертым от конца, и дело пошло ничего. Когда я читал, он так сказал, как обыкновенно:

«Non est lugubris elegia, non est ergo tali voce legenda!» — «Est naturae vitium» \*, отвечал я; и, когда читал стихи (мне достались 19—34-й стихи 1-й элегии 1-й книги Тибулла, я прочитал из них все, кроме двух последних, которых не дочитал), в 31-м стихе вместо capellae — puellae \*\*, это насмешило и я сам посмеялся. Фрейтаг поставил 5, это меня порадовало. Оттуда поехали вместе с Славинским к нему, чтобы готовиться вместе из 3-го курса. Читали до 8 почти часов, после я пошел к Иванову.

15 [апреля]. Экзамен Никитенки мерзко шел. Туда я переехал вместе с Казамбеком и несколько говорил с ним. Вышли мы с Корелкиным первыми, потому что Никитенко предложил самим выходить. Корелкин сел обдумывать, я стал отвечать и плохо, вяло, так что мне было совестно. Мне досталось (было так: теории — 2-й, 3-й, половина 1-го курса — смешаны вместе; история литературы снова вместе — 4-й и половина 1-го) «о высоком» из 2-го курса и «об исторических и пр. певцах нашей литературы», и я говорил о Несторе. Это оставило во мне неприятное чувство. Ушел к Ворониным, когда было 11¼, чтоб не потерять урока.

16 [апреля], воскр. — Несколько читал Срезневского (вечером предыдущего дня и до чаю в этот день прочитал весь 1-й курс, который меня ободрил, потому что все помню), 3-й курс сначала, и так скверно читал, что нашла тоска. Я, чтоб уйти от нее, ушел за тетрадями и, между прочим, для Ната, который приходил утром просить достать ему записки [по] истории русской литературы. Пошел сначала к Вас. Петр. — он готовится и говорит об этом с волнением. Когда вышел от него, пришло в голову разбирать его характер, и ясное, чем когда-либо, сознал, что у него воля весьма решительная, но слишком подчинена минутным волнениям. Напр., ему сказал Лерх, что экзамен гимназический весьма легок, — и вот он тотчас принялся, [а] через две недели остынет. Оттуда пошел к Иванову, после к Залеману списать программу и сказать, чтоб отправил к Воронину Срезневского листки. После к Славинскому за Платнева записками и своими книгами; все это достал.

17 [апреля]. — Рано встал, сначала читал несколько Фонвизина и хотел приниматься уже писать его, да не хочется, потому что выйдут общие места, уже известные раньше меня. Поэтому сел писать это. Теперь иду в университет за письмом, между прочим, для того, чтоб как будто в церкви был.

(Писано 2 мая, в 9½ час. вечера.) Ничего особенного не было до самого Срезневского экзамена. Тут, придя в университет, я получил письмо, в котором пишут, что ответ решительный на мое предложение дадут, когда я напишу, что хочу делать, а что места пусть я ишу и что это не помешает. После этого я вздумал, что мне должно хлопотать, и оттого все утро был пасмурен; дожидались по-

\* Не печальная элегия, поэтому не надо читать таким голосом». — «Это природный порок».

\*\* Вместо волосы — деушки.

печителя, поэтому экзаменовались медленно. Когда экзаменовался Корелкин, я сидел на стуле и стал обдумывать и, конечно, не обдумывал, а слушал. Корелкин говорил смешно и плохо, но с жестами; ему досталось о том, болгарское ли наречие церковно-славянское или нет. Попечитель похвалил; Срезневский воспользовался случаем, расхвалил и сказал, что он должен остаться здесь, чтоб продолжать заниматься. Попечитель отвечал: «Нет, пусть едет в Псков — на, время нужно выехать отсюда». Когда я отвечал, Срезневский тоже выставил мои заслуги для него; мне это было неприятно, потому что они являлись ничтожными перед Корелкиными. Мне досталось о сербской народной литературе и о фонетике изменений русского языка.

Вечером я пошел к Срезневскому отнести его тетради и более, чтоб поговорить с ним о том, ехать ли мне. Кладя на стол тетради, я сказал: «Уж это как случится (показывая на 4-й курс), а это я возьму у вас, если останусь здесь (показывая на 2-й, который точно скверно написан), чтоб переделать». — «А останетесь ли вы здесь?» — «Как случится, я сам теперь не знаю, вот так и так». — «Если так, я могу попросить попечителя — Молоствов здесь». — Сам предложил, что за необыкновенно добрый человек! — «Теперь я не знаю, как вам и сказать, — если вы скажете, это, можно сказать, наверное получить это место<sup>196</sup>, а это я сам не знаю, хорошо ли будет», — и ушел, потому что пришла жена.

Когда вышел оттуда, сообразил, что: когда остаться здесь, буду работать над словарем Ипатьевским, — это займет полгода, а ведь это все равно и там делать, даже лучше там, главное это меня заставило решиться. Но тоска была ужасная — с Петербургом расстаться и, может быть, навсегда остаться учителем там, но подумал о том, что буду писать повести и т. д., поэтому получу средства приехать сюда и т. д., и решил, что все равно. Все-таки тоска, которая и теперь не совершенно прошла, хотя как-то теперь мало. Вечером сидел с Любинькою и говорил отчасти о том, ехать ли мне, более о пустяках.

2 [мая]. — Утром пошел к Корелкину показать программу, а главное — спросить Эйнерлинга у Дозе, потому что хочу посмотреть, можно ли писать сличение летописи Лаврентьевской с Ипатьевской. После обеда передумал делать это; теперь снова хочу; нет, не буду, а буду писать Никитенке, потому что это короче и уже чисто для формы, а то какая-то половинчатость. — не то ученая, не то пустая работа. У Воронина оставил программу. После обеда сходил к Срезневскому просить его о том, чтоб просил попечителя, и сказал, что в четверг буду у него сам. После читал Фонвизина для диссертации; теперь, кажется, начну писать, когда кончу это. День этот и предыдущий прошел скверно от раздумья. Теперь легче как-то, потому что решился.

(Писано 14 мая, воскресенье, 16 м. 12 ч. вечера.) 3, среда. — Был у Ворониных и, кажется, более ничего. Ничего не готовился

к Куторгину экзамену, а начал несколько думать, писать теперь для Никитенки, а не для Устрялова, потому что это заняло бы много времени.

4 [мая]. — Утром пошел к попечителю. Саником рано, потому долго ждал на лестнице, после долго сидел, дожидаясь. Наконец, к 11 часам приехал Грефе. Скоро стал и принимать. Я думал о том, что шутил только, и что если это будет при всех, то некрасиво будет. Напротив, принимал у себя в кабинете, и как и сказал, что «место учителя в Саратове, и Молоствов здесь», он сказал: «Хорошо, я дам вам письмо, что знаю вас как хорошего человека. Да почему вам туда хочется?» — «Потому, что у меня там родители». — «Хорошо, приходите завтра».

Вечером сказал об этом Срезневскому, он сказал: «Все-таки, когда увижусь, я попрошу».

5 [мая]. — Получил письмо. Когда вошел, он стал писать, а перед этим несколько времени рассматривал другие бумаги, которые ему подали. Я стоял, вытянувшись в струнку и не шевелясь, так что самому казалось, что хорошо уж — что делать, подлость проклятая. Взяв письмо, тотчас пошел к Молостovu. Он был дома, тотчас вышел, когда я постучал передать ему письмо. «Какое же вам угодно место?» — Я сказал. — «Да я еще не получил об этом бумаги» — и вынес книгу, в которой показал, что записан у него в самом деле еще Волков. — «Он умер», — сказал я. — «Будьте уверены, что для Мих. Ник. я сделаю все, что могу. Теперь со мною здесь нет бумаг, поэтому я не могу ничего сказать, но для Мих. Ник. постараюсь найти вам место». — «Итак, я могу надеяться, ваше превосходительство?» — «Я не знаю, это место, может быть, я кому-нибудь уже обещал, но что могу, сделаю. Я увижусь с Мих. Ник. Вы когда поедете в Саратов?» — «Через месяц». — «Так и подадите и мне просьбу».

Я вышел несколько обрадованный: если так, я и не подам, конечно, потому что должен буду искать здесь место и верно найду, думал я, и незачем будет.

Суббота прошла так. Писал несколько и даже начал переписывать для Никитенки. Нет, это в понедельник уже.

7 [мая], *воскр.* — Был Ал. Фед. довольно долго. Наскучил до смерти. Несколько читал записки, только весьма мало.

8 мая, *понед.* — Был Вас. Петр., когда я писал Никитенке.

9 мая. — С этого дня начал готовиться. Нет, с понедельника, как ушел Вас. Петр. Я отлагал так долго и потому, что Срезневский мне сказал, что Куторга сказал про меня, что я учу наизусть; значит, думал я, должно не так хорошо готовиться, как я делал раньше. Теперь все зато уже остальное время готовился весьма прилежно, так что до 1 часу просиживал и т. д. Последний день просидел до 3 ч.; велел разбудить себя в 5, потому что не успел дочитать всего. Дорогою хотел дочитать, но шел дождь, поэтому листов 6 осталось дочитать в университете из греческой 1-го курса (конец финансового управления).

10 [мая], среда. — Хотя решительно некогда, все-таки был у Ир. Ив. Как бы влекло меня туда предчувствие, что нужно будет быть и что буду благодарен себе после за то, что был. Пришел. У него сидел Минаев с женою и Билярский. Мы говорили о перевороте у нас. Когда кончили они и я остался один, ко мне подсел Иринарх Иванович и сказал: «Сколько у вас экзаменов прошло, сколько осталось?» — Я сказал. — «Что думаете делать по окончании курса?» — «Просился в Саратовскую гимназию». Он с жаром стал говорить: «Не делайте этого, это значит губить себя — я сам на себе это испытал. Вы так много переменялись здесь, что не можете ужиться с теми людьми; для вас здесь это не заметно, потому что постепенно, а я испытал; я ехал, например, туда наслаждаться, а провел время в мучительнейшем состоянии. Не хотите ли в военно-учебное заведение?» — «Ах, если бы это можно было, это было бы весьма хорошо». — «И весьма вероятно, что будет можно. Я вам скажу по секрету: есть место учителя русской словесности в Дворянском полку. Ростовцев прочит это место Ксенофону Полевому, но вы подавайте просьбу, напишите, что представите документы к назначенному времени, и все тут. Назначение в августе, до тех пор можно будет отдохнуть, а перед тем месяц заняться». — «Ах, я был бы чрезвычайно благодарен вам за это». — «Подавайте же». — После говорили о другом. Конечно, я вышел оттуда обрадованный и, конечно, не думал почти хлопотать, если бы даже было нужно, о Саратове. Но с нетерпением ждал экзамена: что-то скажет попечитель? Если ничего, — значит, я совершенно свободен, потому что Молоствов должен уже уехать и стало быть с ним не виделся, и, следовательно, мне не должно иметь твердой надежды на это место. Если скажет, что обещал ему дать мне это место, тогда, конечно, уже нечего мне делать, — можно сказать, что уже получил его. Я вышел первый и тотчас стал отвечать, между тем как Курторга обдумывал. Отвечал я без жара, но довольно развязно, так что шутил и заговаривал с профессорами, которых здесь был только еще Касторский. Но вообще делал довольно промахов, из которых главные: Дитмарсен — город (о Нибуре); первый сомневался в первобытной истории Греции Вольф (а не Винкельман), и позабыл, что плачущий\* источник была мать, которая плакала о детях. Тотчас после ушел в почтамт, где получил письмо, в котором говорится, чтоб я оставался здесь. Это меня так растрогало (и обрадовало довольно много), весьма, весьма и растрогало, и развеселило, и я целовал его несколько раз, довольно без порывов, а в спокойном чувстве, когда шел по дороге оттуда к Дозе за Устрялова историю; оттуда в Штаб узнать форму просьбы; в университет после, где говорили о том, что Славинского нет, и дожидался я попечителя. Из всех (9 чел.) нас получил 4 один Залеман, другие все пятерки, но Залеман был в сильной печали, и я неловко обходился с ним, сказавши на его жалобы, что я не слышал, как

\* Неразборчиво. Ред.

он отвечал. Дома за обедом получил письмо от Славинского и, вышедши, сказал мальчику сказать Як. Степ., что он весьма, весьма дурно сделал, что не был в университете. Я думал, судя по тому, как говорил о нем Лыткин, что он не был потому, что думал, что не приготовился, а между тем экзамен был слишком легкий. После пожалел о том, что так сказал, потому что мог он подумать, что от этого может быть какая-нибудь неприятность. Когда пришел к нему, он сказал: «Зачем вы меня ругаете?» Он был, бедный, болен; мне так жалко стало его, так жалко, бедного. Я просидел несколько времени у него, рассказывая историю и весьма плохо, потому что так как предыдущего дня ночь спал плохо, да и в этот день не спал почти, то тяжелая чрезвычайно была голова. Оттуда к Иванову, у него даже стал засыпать.

15 [мая], воскр.— Утром писал несколько, несколько читал, проснувшись в 10 почти, потом в 12 пошел к Вас. Петр., который обещал дать свои стихи. Посидел у Иванова. У Вас. Петр. долго и с ненавистью, т.-е., лучше сказать, с желчью, говорил о Наполеоне, так что даже в самом деле в душе было чувство враждебное к нему, которое особенно усилилось и определилось, когда сказал я: «Ну, да, поклоняетесь ему, он идол, все равно, что Молох, которому приносили дочерей своих в жертву, так и вы приносите ему людей в жертву». В 7 ч. ушел, — конечно, стихов он не дал, — и ушел серьезно в возбужденном состоянии духа, с желчью, т.-е. не раздраженный, а так, что пробудились чувства.

Уже идя туда, думал о тайном печатном станке. Когда сел в карету<sup>197</sup>, определились больше мысли и вздумал так, что если доживет теперешнее положение общества до того времени, когда я буду жить в отдельной квартире и будет у меня несколько денег, то едва ли я не буду исполнять своих планов, которые, между прочим, были и такие: если напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян, освобождение от рекрутчины (сбавку в половину налогов, сейчас вздумал) и т. д., и разослать его по всем консисториям и т. д. в пакетах от святейшего синода и велеть тотчас исполнить, не объявляя никому до времени исполнения и не смущаясь противоречием, и объяснить, что в газетах появится, в тех, которые будут напечатаны в день по отправке почты, чтобы дворяне не подняли бунта здесь преждевременно, когда народ еще не успел узнать, и не задавили государя. Потом придумал, что должно это послать и губернаторам; потом придумал, что должно не посылать его в самые ближайшие губернии к Петербургу, потому что если так, то могут, получивши оттуда донесения, послать курьеров, которые догонят почту в дальних губерниях до приезда их туда, в назначенное место. И когда думал, что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, которое везде может быть подавлено и может быть сделает многих несчастными на время, но разовьет таки и так расколот народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удерживать его, и даст широкую опору всем восстаниям, — когда подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе решиться на это и не



пожалеть об этом тогда, когда стану погибать за это дело. Когда слез с кареты и пошел, пробудилась и та мысль, что ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в окончательном результате, поэтому не лучше ли написать просто воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила и только они сами через эту силу могут освободиться от этого. И когда подумал, — да как же ложь здесь принесет вред, а не пользу, — тотчас подумал, что так, что убьет доверие народа к воззваниям его приверженцев впоследствии времени.

Да и теперь чувствую себя не просто как за несколько часов перед тем, питающим различные нахватанные из газет мнения, которые делают его расположенным к социализму и врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренне теперь почувствовал, что я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные. Посмотрим, что из меня выйдет при моей трусости и таком характере. Этот ток мыслей и эта перемена вся произошли в 8-м часу вечера, 15 мая 1850 года.

Писано 27 мая, в 9 ч. 52 м. утра, тотчас после чаю.

15 [мая], понедельник. — Ходил к Ворониным; устал и зашел к Ал. Фед., с которым был у Орлонда, для того, чтоб поговорить о платье; тот сказал, чтоб пришел через неделю.

16-го [мая], вторник. — Ходил подавать просьбу в Военно-учебный штаб. Писарь сказал, что должно в августе, а раньше не принимают летом. Хорошо, это все равно.

17-го [мая], среда. — Ходил к Ир. Ив., главным образом, чтоб сообщить о результате. Ничего особенного не было, только Милюков довольно много говорил о Бурачке, как подлинном фанатике. Я тут несколько вмешивался — слабость характера высказывается тем, что в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против нее, поддакивая, между тем как я занят не этими вопросами, а политическо-социальными и, собственно, нисколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно, веры весьма мало.

18-го [мая], четверг. — Писал для Никитенки, как и в предыдущие дни; был у Ворониных, — это во второй раз на даче, на которую переехали они с 12-го, или это в первый раз, истратил 20 коп. сер., во второй 10.

19-го [мая]. — Кончил для Никитенки. К Устрялову еще не начинал готовиться.

20-го [мая], суббота. — Ходил в университет; оттуда к Никитенке пошел отнести «О Бригадире»<sup>198</sup>. На дороге встретил у Полицейского моста Срезневского и пошел проводить его, разговари-

вая с ним. Сказал ему, что не должно просить о поездке в Саратов. — «Что же, вы станете держать на магистра?» — «Конечно, но по чему — не знаю, должно быть, придется по вашему предмету», и поговорил несколько об этом. Наконец, он сказал, чтоб я сделал замечания на его курс. Я сказал, что путного из этого ничего не выйдет, но сделаю. — Никитенки и присауги его не застал, но это ничего, потому что узнал, что они живут здесь.

22-го [мая], понедельник. — Конечно, у Ворониных, как обыкновенно. С воскресенья начал решительно готовиться к Устрялову, несколько даже и в субботу, и все читал. В воскресенье Вас. Петр. не был, чему я был несколько рад.

23-го [мая], вторник. — Тоже читал для Устрялова, но ходил отнести к Никитенке. Слуга сказал, что он заедет домой в час; я пошел к Иванову, дожидаясь до почти часу, пришел и сел его дожидаться, читая лекции Устрялова, которые со мной в кармане были. Пришел Никитенко и взял тотчас.

24-го [мая]. — Снова читал Устрялова, и несколько, как обыкновенно, ругал себя, что так поздно принялся — не успею приготовиться, как должно, но ничего.

25-го [мая], четверг. — Снова был у Ворониных — это в четвертый раз. В третий вышел поздно, поэтому нанял [извозчика] за 30 к. сер. туда, оттуда пришел. Теперь туда в карете, оттуда до парка за 10 к., итак всего 80 к. сер. Меня просили быть у Билярского\*.

26-го [мая], пятница. — Не спал до часу по обыкновенной привычке. Велел разбудить в 5 [час.] и дочитал, что должно было повторить, т.-е. новую историю после Петра, хотя конец только дорогою. Пришел в университет, — там сказали до часу должно погодить. Я, чтобы не тратить времени, сходил к Билярскому\*\*, не застал; пошел заказывать платье. У меня было 33 руб. сер. (30 получил в последний раз у Ворониных, 3 тоже оттуда), зашел к Орлону — нет его самого; поэтому к другому, Duflos — там 20 руб. сер. за фрак, после к Moore, «Мор», который в доме Ольденбурга; его не было дома, вышла жена, которая весьма показала мне хорошенькою, т.-е. так в немецком роде это, как будто из сахарной муки, белая, нежная и розовенькая, и я посмотрел на нее с удовольствием и когда сходил, думал: как много порядочных собою женщин, которых можно любить. Оттуда к J. Schmidt в доме, где Buhre живет, и там нашел ужасного старика, вроде часовщика, которому не хотел заказывать, потому что уже слишком стар и плохо делает, но он взял мерку, я не захотел противоречить, и он снял для фрака (8 р.), жилета и брюк (по 2 р.), итак, всего 12 руб., а между тем у Орлона 16 было бы, так 4 руб. сер. разницы. И когда выходил, почувствовал как бы сознание, что это главным образом отдал ему по двум причинам: [1] что сошьет не

\* Неразборчиво. Ред.

\*\* Та же фамилия, как и выше.

модно, а именно так, как мне нужно, т.-е. довольно аляповато, и 2) что главное, это демократическое чувство: не хочу, чтобы эти свиньи, которые завалены работою, получили еще от меня, — должно поддерживать тех, которые не имеют лишней. Ведь это смешно, а серьезно это чувство было. Пошел к Калугину, купил материи: сукна 2½ по 5; трико 7 р.; жилет, атлас 3 р. 50 к.; подкладка для фрака 1 р. 50 к.; для жилета 40 к.; итого заплатил 24 р. 90 к. Отдал J. Schmidt'у и дал 5 р. задатку; он не хотел взять, и это окончательно подружило нас, так что теперь мы самые короткие и сочувствующие друг другу люди, и я в жару чувства даже пожал ему руку. Сказал, что будет готово в среду.

У Устрялова снова дожидался и, наконец, вошел в аудиторию. Там экзаменовался Корелкин, сидел на стуле Славинский, и мне стало досадно, что я не вошел раньше — это следовало бы мне, может быть, потому что видно, что для министра, который тут был, вызывали лучших. После ориенталистов, наконец, после Залемана — меня. Мне достался 7-й билет — Екатерина I и Петр и 13-й — междуцарствие. Междуцарствие я говорил довольно ничего, но распространялся невпопад, между тем как Устрялову всегда хотелось прямого и положительного краткого ответа, и говорил об условиях, Татищеве и т. д., чего, может быть, ему не совсем хотелось. Это была неловкость и рассеянность с моей стороны, а между тем, когда при выходе Козловский похвалил за это, как будто я сделал это с намерением, что говорил об избрании с условиями и т. д., то я почувствовал большую приятность. А когда говорил о Екатерине, то не так отвечал на вопрос Касторского, кто был наследником до [17]22 года: я сказал — Петр II, а был Петр Петрович, сын Петра I. Так что я был недоволен своим ответом. Когда выходил, попечитель мне в дверях сказал: «Очень хорошо». Поставил всем 5 — это весьма хорошо. А Славинский отвечал превосходно об Иоанне III и после развитие Петра, которое я читал ему, за чем он приходил ко мне в среду вечером; это весьма меня порадовало, что ему пригodiлось к делу; отвечал превосходно он, лучше гораздо всех.

Из университета стал читать L. Blanc, 3-ю часть Истории de dix ans, которую читал урывками и перед экзаменом, что много мешало приготовлению, и теперь дочитал все — здесь говорится о сен-симонистах и их процессе и, признаюсь, сделало на меня впечатление весьма большое и показалось, что чем же *Enfantin* отличается от Иисуса Христа? Может быть степенью, но не прочим, такой же глубокий и почтительный энтузиазм возбуждает к себе, и в этом спокойствии и хладнокровии, с которым отвечает на отречения от него — тоже много сходного, это смирение, проистекающее от сознания, что неизмеримо выше отрекающихся — тоже. И вообще это чрезвычайно трогательно. Вечером разбирал бумаги до часу.

27-го [мая]. — Встал в 9 час.; после чаю стал писать это; те-

перь иду к Вас. Петр., Славинского за книгою, Залеману за программой. Теперь 35 м. 11-го.

Снова пишу: сколько еще нужно для платья? Теперь истрачено 34 р. 90 к.

Пальто . . . . .	10—20
Сюртук . . . . .	22—28
Другой жилет . . . . .	7
Другие брюки . . . . .	9—10
Галстук . . . . .	5— 5
Другой . . . . .	5
Манишки . . . . .	4— 5
	<hr/>
	50—80

Из этого можно отложить сюртук, другой жилет и брюки; остается пальто, галстук, манишки — 19 р., да шляпа 5 р. сер. и перчатки 1 р., всего 25.

Это писано в четверг, 1-го числа, в половине второго дня. Весьма что-то тоскует сердце, главное — не знаю отчего. Я думаю — от неверности положения, которое предстоит, и оттого, что не знаю, ехать ли к своим, или переходить к Ворониным. А предлогом выбираешь экзамены, т. е. из новых языков, которые я не знаю, как держать, потому что не говорю по-немецки, и вчерашнюю отметку, и что не кончу первым и т. д.

27-го [мая]. — Пошел к Вас. Петр.; там перестраивали комнаты. Просидел два часа и говорил о Наполеоне и т. д. Он вспомнил, что я сказал в предыдущий раз, что сделался его врагом, и стал говорить об этом, и я говорил с сердцем или, как это сказать, с тяжелым расположением духа, так что вышел от него довольно расстроенным. Он, когда говорил, совершенно не понимал меня. Сказал, что видел Славинского, говорил с ним о том, кто кончит первым кандидатом, что это его весьма занимает, как видно. Я подумал, что если придется мне, то шутя я уступаю ему. После к Славинскому, от него к Иванову.

28-го [мая], воскресенье. — Приходил Вас. Петр., я ему был весьма рад; и после весь почти вечер сидел со своими.

29-го [мая], понедельник. — Славинский прислал листки Невалина, но не те, которые мне нужны были, поэтому должен буду пойти к нему завтра. Готовился к Грефе и весьма казалось легко.

30-го [мая]. — Кончивши приготовляться к Грефе, разобравши все весьма хорошо, отнес Славинскому книгу, чтобы взять у него листки Невалина. Ему самому были нужны, поэтому решил после. Долго не мог уснуть, потому что слишком кусали клопы, рано лег и все пролежал часа два так.

31-го [мая], среда. — К Грефе. Вызвал меня, так что я отвечал первым. Мне достались 1—21-й стихи, у Штейнмана 13-й билет о философии и Демосфене. Я, как кончил, пошел в библиотеку, там получил билет, отдавши книги, и к счастью нашел там этого

несчастливого Гундулича, с которым не знал, как разделаться; как он туда попал, не могу придумать. После всё в дежурной комнате говорили о различных предметах, главным образом о правительстве и т. д., и я говорил весьма охотно и с большим жаром. Также говорил и Дмитриев об их странах, это также любопытно. Вдруг говорят, что мне поставлено 4. Не знаю, как, это на меня как-то дурно весьма подействовало, так что, я думаю, я выказал несвязность или ошеломленность в своих словах, да и в самом деле этого нельзя было ожидать, потому что, конечно, я отвечал не хуже других. Конечно, это потому, что не ходил круглый год ни разу к Грефе, и не знаю — мне как-то отчасти и несколько приятно было, что не получу права первого и как-то более определяется положение: служить нельзя, поэтому, конечно, должен быть учителем и держать на магистра; а за Славинского я был серьезно доволен, потому что понимаю, как много ему этого хотелось и какую радость, должно быть, это ему доставит, что теперь он кончает первым. Seriously, это было причиною некоторого довольства для меня, и теперь я чист как-то перед Грефе — уж и ценил же я его, — ведь говорил так, что если б он знал мое мнение о нем и о пользе греческого языка, то и не мог бы поставить более. Оттуда к Славинскому, где стал списывать листки Неволлина; так прошло почти до 8 (это списано там, что карандашом). Когда [шел] оттуда, ужасный дождь промочил до самых костей и вымочил его книгу, которую взял я у него готовиться к немецкому экзамену; это нехорошо. Спал как нельзя лучше, но и теперь что-то голова тяжела.

## [Июнь]

1 июня, четверг. — Как встал, после чаю стал читать историю немецкой литературы. Довольно плохо шло это дело, весьма глупо писана она, так что это много содействовало тоске. После обеда, т.-е. почти теперь же, иду к Вас. Петр. и Иванову.

2 июня, пятница. — Был у Ворониных, там сказал, что если не оставят времени мне, то я теперь же скажу, что приму их предложение, а если можно, то пусть оставят до следующего раза, когда получу письмо<sup>199</sup>. Хорошо. — Я думал: смотря по дням — если будет довольно для одежды, поеду; нет — нет.

3 июня, суббота. — Получил 150 р. сер., себе 100, Любиньке 50. После этого, конечно, должен ехать. Зашел сказать об этом Вас. Петр. С ним пошел, посидел в Пассаже. Начал несколько читать Неволлина.

4 июня. — Был Вас. Петр., особенного не говорил ничего. Вечером читал Неволлина.

5 июня. — У Неволлина вышел отвечать первым, и как в прежние разы, когда первым (у Никитенки, Грефе) вышел, отвечал весьма хорошо, но глупость делал, что все останавливался, когда он писал в списках (достался 9-й билет о формах права

при татарах); думал, что 5, — поставил 3. Корелкин, который [экзаменовался] после меня, сказал это. Я подошел к нему и сказал, он сказал: «Возьмите билет, вы более не стоили». Взял 15-й. Когда сидел, сжало грудь, как прошлою весною. Отвечал о Своде законов. Поставил 5, чего я не ожидал. Я тут собирался поблагодарить его дома и предложить свои услуги для поездки в Москву. Дома читал Историю немецкой литературы.

6 июня. — Утром пошел к Эльснеру экзаменоваться. Стал писать сочинение, поправил Лерх, вышел к нему. «Не могу принять его». — «Почему?» — Сказал, чтоб я переводил и т. д.; *ausübt*, говорит, должно, не *übt*. Наконец, говорит: «Более 3 не поставлю». — «Более не хочу я». Так глуп, ужасно. Теперь смешно — что за дурак я, и поблагодарил еще его, а он глупый педант, хуже Фрейтага только. — «Не хочу мешать» — так глуп. Литературы не нужно было. После домой; был у Доминика. В газетах ничего нового. После взял платье, купил фуражку. Пришел домой, посидел с Любинькою, после стал переписывать статью для Никитенки. Пришел Ал. Фед., ничего особенного. Теперь ложусь. Еду 12 — 13-го этого месяца.

Писано 15-го в 6 ч. утра. — 7 июня, среда. — Был у Ворониных в мундире. Идя оттуда, купил в доме Жукова:

Пальто . . . . .	14 р. сер.
Галстук . . . . .	3 „ 75
Манишку и перчатки . . . . .	2 „ сер.
<hr/>	
	19 р. 75 к.
Раньше платье . . . . .	24 „ 90 „
	12 „ — „
<hr/>	
Всего платье стоит . 56 р. 65 к.	

да фуражка 1 р. 50 к. Теперь нужно: сюртук 25, жилет 7, брюки 9 = 41 р. сер., шляпа около 5.

В этой одежде был я вечером у Ир. Ив., где снова говорил он мне о месте в Дворянском полку, поэтому я должен приехать в первых числах августа, чтоб успеть захватить его. Не сказывал об этом из своекорыстия Вас. Петр. до вчерашнего дня (14 числа). Когда надел штатское платье, был весьма рад.

8 [июня], четверг. — Снова писал Никитенке.

9 [июня], пятница. — Снова писал Никитенке.

10 [июня], суббота. — Отнес утром Никитенке. После, конечно, к Ворониным, где сказали, чтоб я привел вместо себя учителя. Я не посмел предложить Вас. Петр. (о котором раньше намекал только), а предложил *einen Studenten*, Благосветлова, которого в этот день не мог найти адреса, 11-го поэтому был в университете, оттуда к нему, чтоб отыскать его. Вечером был Вас. Петр. В понедельник утром с ним на дачу. Заплатил туда и оттуда 60 к., да 15 к. должен был употребить на апельсины, чтобы разменять, а урока не было, как я надеялся, поэтому оттуда к Срезневскому с

машиною, которая в час отходит. Там обедал. Довольно нехорошо прошло это время у него, — ему, конечно, было скучно; сказал, что пришлет письмо к матери.

13 [июня], вторник. — Да, в воскресенье взял место на 15-е в первом заднее<sup>200</sup> за 21 р. сер., во вторник подал просьбу о билете и пошел к попечителю просить о Сашеньке; велел подать записку. Вечером читал L. Blanc, чтоб дочитать.

14 [июня], среда. — Отнес книги к Славинскому и поцеловался с ним. Был у Ворониных, но поздно, поэтому не было урока, а дали за 14 уроков 20 р. сер. Перед этим был у попечителя, который сказал, что спросит о нем у Молостова<sup>201</sup>, — если хорошего поведения, то хорошо. Зашел к Вас. Петр., которого просил к себе, сам пошел к Иванову, — нового ничего.

Вечером пришел Вас. Петр. и был до 9. Перед прощанием я говорил несколько от души и несколько растроганный, особенно оттого, что ведь бог знает, застану ли его здесь по приезде. Вечером уснул, сам не помня хорошо.

Так кончается моя университетская жизнь.

В Саратове буду делать словарь к Ипатьевской [летописи] — думаю сделать страниц на 60—70, может быть, 90 (едва ли); приехавши сюда в первых числах августа — хлопотать о месте в Дворянском полку и приготовиться на магистра.

Что-то будет впереди? До сих пор время шло довольно дурно от слабости характера — должно быть то же будет и впереди, но не хотелось бы кончить это худым предвещанием, лучше дай бог быть утешением для моих папеньки и маменьки.

13 минут 7-го часа 18<sup>VI</sup><sub>15</sub> 50.

Запечатавши это и напившись чаю, иду к Ал. Фед. отнести эти бумаги, которые должно будет прочитать, и к Ив. Вас. взять его письмо и свои перчатки.

(Писано в церкви 29 июня 1850 г. у ранней обедни<sup>202</sup>.)

15-го утром отправился хлопотать по билету и т. д., купил с Ив. Гр. маменьке на платье персидской материи за 20 р. сер. Когда шел туда, мне показалось нехорошо, что Любинька заставляет Ив. Гр. посылать только ее сестрам и ничего не оставляет для его сестры. Я сказал ему об этом и сказал, что скажу Любиньке, чтоб одну шляпку вместо ее сестры Поленьки отдала сестре Ив. Гр. Воротился домой и сказал ей. Она так и уперлась. В два часа вышел, взял извозчика, поехал. Еще было время, поэтому сходил в Сенат, где не застал Ив. Гр., и в университет, где просил Савельича отправлять Терсинским письма. Когда был в конторе, служил переводчиком одному, который не говорил по-русски, а только по-немецки.

Сели, поехали. Со мною сидели трое: старик-немец из Либавы, должно быть, учитель, дочь купца, весьма нехорошая собою, и немка лет 28—30, которая сидела против меня. Собою была она

как-то завялая и с немецкою формою лица, но иногда казалась хороша, особенно когда засыпала, — тогда нижняя часть лица, которая обыкновенно казалась слишком длинною, принимала почти красивый округленный вид и тогда можно было списать с нее портрет. Сначала я шел с такими мыслями, что можно будет, когда она заснет, сделать, что бывало делало я — пощупать. Так продолжалось до вечера. Но верстах в 120 от Петербурга я был вовлечен в разговор их с немцем (это было уже 16-го утром) и нашел, что она весьма образованна и т. д. и бросил игривые мысли, но и почувствовал симпатию к ней. Наконец, вдруг подала она мне свой билет на проезд, в котором сказано, что девица Намап едет в Россию для вступления в брак с доктором богословия Carl Crüger; так все мысли о стремлениях несообразных уничтожила, и я стал ее величайшим доброжелателем, и до Новгорода мы решительно подружались. В Новгороде вышла девица, чему я был рад, потому что весьма нехороша. К нам шел купец Доброхотов, который тотчас же с купеческою развязностью стал обращаться со всеми и разговаривать через меня с другими; наконец, под вечер, выпив 2—3 рюмки, стал петь песни. Я устроил для Гаман так, чтобы можно было ей спать как на постели, положил между ее и своим местом подушки и ее мешок внизу, так что выходило вровень с нашими местами, потом уговорил ее положить ноги на мое место, а сам приютился на краю. Было довольно неловко, но я считал своею обязанностью так сделать и был рад, что успокоил ее несколько, она была весьма благодарна.

17-го [июня], субб. — Купец пересел от нас в другое место, которое опустело, к другому купцу; я пересел на его место и мне стало покойно, как раньше, а Гаман могла спать покойно, как предыдущую ночь.

18 [июня], воскр. — Приехали в 6 ч. Ее встретил у заставы жених. Когда прощались, она мне крепко пожала руку, так что в самом деле считала меня оказавшим ей услуги, просила быть у них, когда я стану ворочаться. Я переехал с Доброхотовым на Шуйское подворье по 40 к. сер. в день. Пошел узнавать по подворьям о попутчиках и пошел в гостиницу Шевалдышева — Срезневского мать там, но уехала к Троице, а попутчиков нет. Оттуда идя, зашел в кондитерскую посмотреть, какие там есть газеты — столько же, сколько в Петербурге.

19, понед. Утром пошел к Кириллу Михайловичу, обрившись на дороге в первый раз в жизни. Они приняли весьма ласково, требовали, чтобы я переехал к ним, я не согласился, — ну, по крайней мере, чтоб пришел обедать — хорошо. Ушел к Срезневской и вместе с тем отыскивать Григ. Степановича Клиентова, имя которого позабыл. Срезневской не было еще. Пошел искать Гр. Степ., но искал Воскресенья без присоединения «Словущего» и вместо него приходил два раза к «На Арбате», или «На свражках», так что хотел уже бросить, но к счастью не бросил, продолжал искать, наконец, нашел. Подхожу, постучался — выходит



Александра Григорьевна. — «Ах, это вы, Николай Гаврилович». Я с чувством поцеловал ее руку. Она была весьма рада, я также; сели. — «А у нас какое несчастье, Ник. Гавр., — сказала она, — у нас теперь осталась только Настенька, все другие умерли — Антонина, Серафима, Марфа». — Признаюсь, на меня это подействовало как-то довольно даже хорошо: «Ну, теперь осталась ты почти одна и отец должен будет обращать на тебя больше внимания и любви», — так велик эгоизм. Стала говорить о своих делах с полчас. — «Вы нисколько не переменились», — сказала она мне. Она похорошела, так что показала мне красавицей, и пополнила, что меня весьма порадовало.

Продолжаю в то время, когда наши у ранней обедни, 8-го числа в 7¼ утра (должно переменить чернила).

Итак, я пришел к Клиентову. Она стала расспрашивать меня о Петербурге, я отвечал весьма мало и нехорошо, потому что не знал хорошенько ничего из того, о чем она спрашивала, и так прошло с полчас. Тогда пришел Гр. Степ. и через несколько времени, видя, что я от нечего делать перебираю в руках «Кто виноват?», лежавшую на столе перед диваном, сказал: «Вот как Сашенька была рада, что нашла эту книгу, которая пропадала 2—3 года, — ей она была подарена ее приятельницей, женой Искандера». — «Так вы ее знали?» — спросил я ее. — «Как же», — и теперь она сказала, что воспитывалась вместе с нею, что он и она дети двух братьев, генералов Яковлевых; она была самым лучшим другом ей; он увез ее и женился на ней. «Так вы его знаете», — сказала она. — «Как же не знать, — сказал я с своим обычным энтузиазмом, — я его так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него». — «Так расскажите что-нибудь о нем». — Я стал говорить о его сочинениях, что знал, и когда кончил, пошел к Колумбовым обедать, обещавшись придти к ним напиться чаю в 5 час.

У Колумбовых за обедом всё говорили, чтоб я перешел к ним и, наконец, после обеда заставили меня перейти к ним. В перевозке прошло время до 6 час., а после этого я тотчас побежал к Ал. Григорьевне, которая восхитила и пленила меня.

Я просидел у них часа два. Она вынула для меня письма к ней от жены Искандера с его приписками. — «Я хотела показать вам, что она достойна его». — «Помилуйте, Алекс. Григорьевна, для того, чтобы быть в этом уверена, довольно было знать, что она ваш друг». Она не умела отразить это, как хотелось ей, и только сказала: «Ах, вот вы говорите комплименты». — «Нет, Ал. Гр., не комплименты». И я тогда говорил в самом деле от души и даже наворачивались слезы.

Он пришел и повел меня показывать мне свой дом, — это меня порадовало, что теперь у Ал. Гр. есть хотя до некоторой степени верный кусок — его дом приносит 650 р. ассигн. Я хотел списать план его дома, но он отнял. — Мы снова говорили с ней об Искан-

дере, русской литературе, о том, что делается с ее братом, который во Владимире учителем, и т. д. — Я говорил постоянно с энтузиазмом к ней. Что возбуждало этот энтузиазм? Конечно, главным образом, ее несчастная участь, которую хочу теперь описать в повести. «Ты не должна любить другого, нет, не должна; ты мертвецу святыней слова обручена», — вот что, — это доходило до того, что я, пожалуй, готов был жениться сам на ней, лишь бы избавить ее от этого положения.

В 8 час. зашел к Срезневского матери — застал ее, наконец; с полчаса посидел у нее. Вечером ничего порядочного не было.

20-го утром завел меня Кир. Мих. в канцелярию генерал-губернатора, где я взял дорожную до Пензы по совету Анны Дмитр., да и самому это приходило в голову, потому что когда рассчитал, денег было мало (недоставало до 5 р. сер. по моему тогдашнему мнению, после оказалось, что несколько больше, и без Шпанова я должен был бы истратить деньги Введенского и еще взять у Ивана Фотича), что потом стало для меня источником беспокойства: что, как станут брать на тройку без дорожной? Так что когда увидел, что денег у меня несколько останется, ругал себя, что не взял до Саратова.

От генерал-губернатора зашел к Александре Григ. и снова говорил с нею от души. Особенно о ее брате говорила она. — «Но что ж, Ал. Гр., говорите вы только о других, а ничего не говорите о себе». — «Ах, Ник. Гавр., это слишком щекотливо». Я вышел от них в восторге, снова, как прежние разы, и перед прощанием сказал ей: «Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая доказать на деле то, что я говорю вам, Ал. Гр., но вы всегда можете требовать от меня всего — я все готов для вас сделать; я не знаю, почему это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного расположения, как к вам». Но должно сказать тут же, что когда я взглянул и увидел, что у нее зубы не белые и не хороши, это подействовало на меня неприятно; значит, основание всегда материальное, и не будь она хороша собою, несчастная участь ее не подействовала бы на меня — я в самом деле чувствовал к ней тогда весьма сильную привязанность. Конечно, это было большею частью фальшиво развито силою воображения, для драпировки своей жизни сильными ощущениями, но основание было истинное, и это истинное было уже довольно сильно; довольно привести одно, что после, когда я ехал вторую или третью станцию (да, третью станцию, первую на следующее утро, в четверг) и думал особенно о ней и о повести, которую я напишу из ее жизни и посвящу ей, и придумал, как начать — посвящением, в котором скажу о том, как я ее спрашивал, почему она ничего не говорит о себе и т. д. — так вот же вам доказательство, что главное известно мне, то мне так сильно хотелось бы видиться с нею чаще, что я жалел, зачем мне нельзя жить в Москве, а этого чувства никогда не рождалось во мне для Вас. Петр., когда я думал о том, что мне придется переехать в Саратов: разлука с ним и не

входила в число мотивов, которые делали на меня прискорбное впечатление.

Итак, я вышел от них, занес подорожную Кир. Михайловичу в Прокурорскую. Лошадей не было, поэтому после обеда я взял вольных за 1 руб. 50 к. сер., выехал в 6 час.; на первой станции не было лошадей (приключение с собачкою), поэтому за 1 р. сер. еще станцию, после всегда лошади были до самого Владимира.

21 [июня], среда. — Во Владимире сказали, что лошади будут только в 7 часов, а я приехал в 3, поэтому пошел к Петру Гр., которому дали письмо и просфору, оставил их у него в квартире (которая довольно плоха), зашел в семинарию сказать ему о себе и когда можно его видеть. Вышел он вялый, глаза оловянные, язык «гугнивый» — что это за брат Ал. Гр.! Нет, женщины несравненно выше мужчин. Тут нашелся попутчик Шпанов. (В: когда я увидел эту фамилию на подорожной, вспомнил о петербургском столкновении с ним через Михайлова.) Сначала счел я его знатнее, чем он на самом деле.

Ехал с ним до субботы вечера до Саранска и переносил его наглость и надменность, хотя это возмущало меня, потому что необходимо было, для того, чтоб остались деньги, а то для меня было весьма неприятно: останавливался, не спрашивая меня, даже не сказавши мне предварительно, и, ехавши с ним, я потерял более суток, но предчувствовал, что возьмется с него на одну лошадь, и необходимо было это, чтоб достало денег. Выгоды от этого были такие: 415 верст и около 25 станций, таким образом —

прогоны на лошадь . . . . .	6 р. 23 к.
за телегу около . . . . .	3 „
ямщикам около . . . . .	1 „

Конечно, рубль я отдал его Ефиму, но 9 р. сер. остались в кармане. Когда расстался с ним, ехал без малейшей остановки, приплатив за телегу почти до Пензы; после должен был давать на чай зрителям, но везли на паре, и привез домой 5 р. 40 к. сер.

В Кондале был у Ив. Фотича более трех часов; [он] напоил чаем и сказал, что папеньки нет дома, поэтому я не стал так торопиться, чтоб приехать домой в 7 час. утра, как хотел раньше, чтобы застать папеньку дома. В Кондале был от 12 до 4 в воскресенье, 25-го, и плакал вместе с Ив. Фот. о его участии<sup>203</sup>; впечатление, однако, не совсем — пахло, как мне показалось (пришли наши и только dokonчу несколько строк), вином (теперь только вздумалось, что это была брага). Но было приятно весьма то, что говорил он более о папеньке и неприятностях, которые через него получил он, чем о себе. Теперь кончаю. Да, почти во всю дорогу до Пензы думал об Алекс. Гр. с энтузиазмом, и раньше, чем встретился со Шпановым, о недостатке денег, после встречи вместо того и о том, что глупо не взял подорожной. При взгляде на Пензу перекрестился, потому что был в умилении, потому что это

родной папеньке город; после ничего и домой подъезжал без особого волнения.

(Писано 9-го, снова когда маменька была у обедни.) Итак. я подъехал к дому. Вхожу — меня встречает Варенька. Она весьма переменилась и не так хороша, как я думал.

(Писано 10-го, когда пьет чай Варенька, а маменька как обыкновенно ходит все и прибирает.)

26-го [июня], понед., в 8 час. въехал в дом... Варенька разбудила Сашеньку, — этот вырос так, как я никогда не мог ожидать, и голос его весьма погрубел, так что он говорит ужасным басом. Через несколько времени входит маменька, которая была на базаре. На меня произвели они весьма неблагоприятное впечатление, потолстели и взошли в комнату так, как ходит Райковский, — и тотчас же началось целование, но не так много, как я думал. Однако в первый день маменька были слишком рады, так что как будто были несколько в восторженном состоянии. Я смотрел на них по их полноте с неприятностью, которая теперь, однако, почти совершенно прошла и остается только тогда, когда они идут по улице.

Продолжаю 12-го, день своего рождения, в 12 часу.

Буду вообще описывать свою жизнь здесь не по дням, что пере-забыл уже.

У Фед. Степ. был два раза, он также у нас 3. Перемен нет, только Ал. Як., которую видел в другой только раз, когда был у них, хорошенько, весьма нехороша собою.

У Алексея Тимофеевича <sup>204</sup> был, и он у нас — странно узкий образ мыслей у него, — видно, один из последователей Бурачка.

После этого, около 1-го числа, приехал папенька. Как-то странно снова мне показалось, зачем так полнеет и т. д. (зубы, что должен повторять, что иногда не так говорит).

С Варенькою иногда говорил, рассказывал ей различные вещи, напр., и ныне о Славинском, Залемане, Полетике.

Фед. Устиновича видел довольно часто и сначала по общему правилу с благоговением преклонялся перед его умом и познаниями, теперь менее и менее, особенно, когда вчера увидел Гусева, которого он весьма хвалил и который довольно пуст = ограниченный человек.

Раз был у меня племянник Иринарха Ивановича.

Распространяю здесь довольно много свои мысли.

Виделся несколько раз на этих днях с Мих. Вас. Альбокринским — это славный человек, совершенно не переменился, должен быть у него.

Раз купался, когда не застал Фед. Устиновича, и потерял очки в воде; дома не сказал и купил тотчас [другие], однако, гораздо хуже тех.

Время проходит довольно скучно, потому что нечего читать и нельзя почти писать — всё сидим вместе с маменькою.

Все собираюсь писать повесть об Ал. Гр. и начну в самом деле. Саша, должно быть, едет со мною.

Меня отпускают в самом деле в Петербург.

Папенька ни о чем не заговаривает, что мне весьма, весьма нравится, весьма, весьма.

Начинают накрывать на стол.

Нынче дочитал «de l'Esprit» <sup>205</sup>, — весьма много мыслей, до которых я дошел «своим умом». Человек весьма умный, но для нашего времени слишком много поверхностного и одностороннего, и многие из основных мыслей принадлежат к этому числу, т.-е. особенно те, которые противоречат социалистическим идеям о естественной привязанности человека к человеку, т.-е. одна сторона эгоизма только выставлена — свое счастье, а то, что для этого счастья необходимо обыкновенно человеку, чтоб и окружающие его не страдали, это выпущено из виду.

(Писано в Петербурге 12 августа 1850 г. в 9<sup>3/4</sup> ч. вечера.)  
(Первое, что я пишу в Петербург, если исключить адрес Ив. Гр., записанный в сенате.)

Итак, буду описывать свое житье в Саратове.

Происшествий замечательных было не так много, поэтому больше буду писать общих очерков.

Папенька сначала, когда приехали, сделали на меня некоторого рода неприятное впечатление тем, что мне показались пополневшими до неловкости, и тем, что говорят уже не чисто, потому что повыпадали зубы; после решительно ничего, так что стали смотреть лучше прежнего. Их иногда не совершенно приличные в данном положении (грубоватые-циничные) объяснения тоже почти ничего. Но как добры! до невозможности. Напр., сколько я противоречил, чтоб не делали мне в Саратове платья, наконец, согласились на это, но все-таки накупили мне всего, чтобы я тут сшил, и даже хотели купить гораздо более, чем было нужно. Я, когда ехал, опасался за разговоры о деликатных предметах (религии, правительстве и т. д.), но, во-первых, они ничего не говорили первыми об этом, так что когда говорили, то начинал я, а расспросов не было, которых именно я и боялся; во-вторых, мог высказать довольно много, и по неопытности в этих мыслях не производили они на них такого впечатления, как бы можно было ждать.

О маменьке писал. Только когда стал прощаться, еще больше прежнего понравились мне и сделали глубокое впечатление.

Около 20-го числа, когда я уже боялся, что не приедут, приехала тетенька с Сашею, Полинькою, Сережею, Петею.

Полинька выросла и походит на ту сестру Над. Ег., которая нравилась Вас. Петр. Я все сажал ее на колена, разговаривал и целовал в личико и несколько раз, когда заметил сладость, большую сладость этого, в плечо и шейку и при этом последнем

на губах чувствовал несколько чисто физического сопротивления. Часто целовал и ручки.

Сережа весьма боек, не так как мы с Сашею, и рассуждает с маменькою, тетенькою и сестрами, не уступая ни слова, и поддепляет их, где промахнутся.

Мне было жаль, что маменька заставляет скучать Вареньку, не вывозя ее никуда, и сами от этого предаются еще более горести и тоске. И поэтому я все уговаривал их выезжать и все тоскливо говорил им о том, что не следует столько тосковать, что это нехорошо. После, когда я расстался с ними, я слишком жалел о том, что придал такой мрачно-тоскливый колорит своему пребыванию у них и вообще все делал им выговоры, весьма жалел о том и теперь жалею.

В последние дни был у меня Промптов, которого уволили из Академии за болезнь, — такие мерзавцы, но мне вообще было скучновато его общество. Был за два дня до моего отъезда и Голубинский, который рассказывал о своей женитьбе и службе и тоже довольно наскучил, особенно потому, что хотелось посидеть это время со своими вместе.

На другой день были Палимпсестовы. — Тоже.

Теперь об отъезде. Мы <sup>206</sup> хотели ехать на пароходе и тогда бы, может быть, взяли одну из сестер.

(Продолжаю 13-го, в 7 ч. утра, дожидаясь чаю и воды для бритья.)

На одном пароходе не могли мы ехать, потому что он не останавливался почти в Саратове — пришел поздно вечером и ушел ночью, а на другом потому, что там свободных мест одна только каюта, которая стоит 50 руб. сер. Папенька сам туда ездил, чтобы узнать это. Наконец, положили выехать 25-го числа поутру (вторник).

25 июля встали рано, стали убираться. Мы с маменькою довольно плакали, т.-е. они много, я более, чем думал, что буду.

(Писано 16 авг., в 11 ч. утра.)

Так мы собирались и плакали, наконец, в 8 час. поехали. Нам надавали на дорогу съестных припасов (варенья, грецких орехов), которых я не хотел брать, а которые, между тем, доставили нам развлечение в дороге; однако в дороге я, чтобы поддержать свой характер, сначала не хотел есть их, после, конечно, ел и с большим удовольствием, однако, думаю о том, что всегда эти и другие (в более важных вещах) противоречия с моей стороны желанию моих родителей были неосновательны и только клонились к моей же невыгоде и огорчению их.

Наконец, поехали из дому в 8 час. Маменька сѣли с нами на телегу. — «Вот как прекрасно, — сказала она, — так бы и поехала с вами до Москвы, ничего, решительно ничего, прекрасно и спокойно» — и вообще в ней было так много грусти, сожаления, что

мне стало жалко, и я сам сидел в каком-то онемении, так что почти ничего и не чувствовал, и мало думал от избытка чувства, — и тут мне, дураку, не пришло в голову сказать решительно, что я остаюсь в Саратове!

Наконец, расстались со слезами на глазах. Едва отъехали мы от того места, где расстались, на две версты (это было за мужским монастырем), и мне стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел, пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что как негодяй покидаю маменьку в жертву тоске, — и я раскаялся, и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад. Я думал, думал об этом две первые станции и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уже это место; но пока я дошел до этого решения, я был грустен, сердце мое сжималось, теперь я успокоился: «Что можно будет сделать, — сказал я, — я сделаю, и если не ворочусь в Саратов, это будет уж не моя вина, а вина невозможности». — И чтоб еще более утвердиться в этой мысли, я на другой день рассказал ее Сашеньке, который сказал, что это дурно, что этим я не успокою маменьки, которая беспокоится, главным образом, не обо мне, а о Любиньке, и которая станет мучиться тем, что отняла у меня карьеру (я это и сам так думал, и это меня утешило на тот случай, если я не ворочусь в Саратов, как я теперь думал). Все-таки я для очищения своей совести решил хлопотать в Казани об этом, — между тем, из этого прекрасного решения ничего не вышло, как и из многого другого, что я хотел сделать хорошего — подлец я, подлец<sup>207</sup>.

Так мы в этих мыслях доехали до самой Казани. Угрызения совести мучили меня, и я, чтобы развлечься, все болтал с Сашенькою, читал ему различные стихи, так что перечитал все, какие знал наизусть, разговаривал в известном силлогистически-софистическом роде о различных предметах и т. д., все только чтоб развлечь себя, однако сердце мое было тяжело.

Так приехали мы в Казань в пятницу рано (в 9 ч.) поутру, пробывши в дороге ровно 3 дня. Лошадей получали везде без всякой остановки; в Сызрани дали нам бешеных. — Теперь иду снова хлопотать по своим делам, раньше этого хочу завтракать.

(Писано 19-го числа, в 8<sup>3/4</sup> утра.)

Стали мы в гостинице Мельникова и тотчас отправились в университет — никого нет, ни Молоствовва (это меня привело в большую печаль — следовательно, мои хлопоты о месте моем не имеют уже и места), ни Лобачевского, никого. Стали разузнавать, что, как. Нам велели отправиться к Цепелеву, управляющему канцелярии, который был болен. Он сказал, что о Саше был запрос, — это меня весьма обрадовало, весьма, весьма, потому что, значит, дело уж решено, но занято ли место учителя русской сло-

вестности в Саратове — он не знал. Я решился узнать об этом у Сосфенова. Он приехал, но никто не знает еще его адреса; стал искать, а между тем, стал искать место в конторе дилижансов; был у Полянского и когда шел оттуда, подошел к двум купцам в доме Жарова спросить из любопытства о пароходах. Мне попался на счастье Бороздин из конторы Коровина: к счастью, потому что Полянского не возят без денег по его несостоятельности; вечером хотел зайти ко мне и зашел. Я был в мрачно-тоскливом расположении духа, оттого, что видел, что места мне, конечно, не получить, потому что попечителя нет, а дожидаться я не смел. На другой день Саша пошел брать свои акты и пробыл там с 10 до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, так что под конец я начал беспокоиться. В это время все у меня сидел Бороздин; наконец, Саша пришел, я побежал к Сосфенову, у которого был уже (встретил студента, который живет с ним и указал мне его квартиру) спрашивать о месте. — «Если угодно, проситесь — я не в претензии». — «Очень хорошо, подайте же за меня мою просьбу». — «Да этого нельзя, должно вам самому», и рассказал, что должно ждать 2—3 недели. Я не мог, ушел и уехал из Казани. У меня в голове была сумятица, а в сердце печаль оттого, что не получил места и не буду жить со своими, и уже родились различные снова мысли: не удалось учителем, так буду хлопотать инспектором или своих переvedу в Петербург, или, наконец, эта машина, которая даст мне возможность жить как и где угодно <sup>208</sup>

(С нами ехала Лизавета Ивановна Левенталь, глупая старуха; ее рассказы о том, как муж ее разрушил два закона и что кому же угодать она должна — унтер-офицерше!)

Так мы доехали до Нижнего, тотчас пустились отыскивать Михайлова. Как искали Максимова вместо Григорьева и проч. Наконец, нашли, остановивши служащего в Соляном отделении. Стали у него и прожили двое суток, — он в самом деле порядочный человек.

Оттуда в бричке. В Москве у Кирилла Михайловича. — Замечательно только мои отношения к Алекс. Гр. Лавровой. Повести я не успел написать; был у них несколько раз — раз в первый день вечером несколько времени. Не мог почти говорить свободно, потому что вместе с Сашею и сидели все вместе. На другой день, снова вечером, был один, и мы пошли на Тверскую гулять. Здесь я старался ходить подле нее, и часто мы оставались вдвоем, так что могли говорить, но я как-то не мог говорить о том, о чем хотелось, т.-е. о ней, не мог завязать и разговора с ее братом в том духе, чтоб обратить его в веру Жорж Занда и Гейне («мы дадим тебе рай на земле») и Фейербаха. Здесь гуляли довольно долго, и это время останется у меня в памяти. Наконец, в третий раз мы были вместе с Сашею, пошли гулять, т.-е. они пошли проводить нас. Мы ходили довольно долго по Никитскому и Арбатскому бульвару (последний к Пречистенке, который имеет два небольших перелома), и мало-по-малу, со слов



Ал. Гр.: «Мне бы любопытно было, изменяются ли ваши взгляды на жизнь!» — я, как объяснение в глубокой симпатии к ней, пошел толковать о том, что я чувствую себя непризнающим провидение, потому что так несчастны многие на земле, и говорил в общих выражениях, так что она могла понять, и поняла, что я говорю о ней, — кажется, что поняла, потому что ответы ее были в таком духе, что видно, что она говорит тоже о себе. Брат несколько возражал мне, она тоже. Я говорил, что не хочу верить, чтоб был бог, когда мы видим, что так несчастны самые лучшие между нами. Я просил стихов ее сестры — «увидит отец», и брат не согласился: я таки украл одно, списал и когда на другой день утром пришел проститься, возвратил, — они этому подивились. Да, оба раза, когда в первый раз я один, в другой с Сашею сидел у них, они с сестрою пели («Черный цвет» и «Ты душа ль моя, красна девица»). Вообще должно сказать, что это пребывание в Москве было неудачно, потому что мне не удалось поговорить с Ал. Гр. так, как я говорил, когда ехал в Саратов, не удалось говорить и с ее братом. Но общий результат тот, что он мне понравился вообще довольно, потому что славный малый, и она — как раньше, даже, может быть, несколько более; особенно произвели на меня впечатление ее слова в последнюю прогулку, когда на мои отрицания провидения, потому что «если оно есть, зачем ниспосылает такие несчастья на лучших из нас», — она сказала: «Затем, чтоб они, не имея собственных радостей, жили радостями других». — «Хорошо, — сказал я, — плохое дело быть сыту от того, что видишь, как едят другие». — «И для того, — сказала она, — чтоб они в борьбе и страдании лучше узнавали цену себе, сознавали свое достоинство и наслаждались этим чувством». — «Хорошо, если так», — сказал я, потому что не нашелся что сказать против этого. Однако я успел сказать ей, что посвящу ей первое, что напечатаю.

Так мы выехали из Москвы в почтовой бричке. Как ехали, ничего особенного не было, не то, что бывает иногда и как, напр., было, когда я ехал до Москвы из Петербурга (у Crüger не был, потому что не хотелось мямлить по-немецки так скверно, как я мямлю).

Так доехали до Петербурга. Всю дорогу я читал и напевал стихи Ант. Григорьевны, лучшие, — «Там, где вишня моя» и т. д., которые, мне кажется, в самом деле замечательны, и я плакал почти каждый раз, как читал их. В самом деле, страшное дело для молодого существа, желающего жизни и любви, чувствовать, что умираешь, присужденная к смерти, не испытавши ни жизни, ни любви, — и эту песню все напевал я про себя, когда мы подъезжали к Петербургу (наложил обещание с Ижор петь, пока увидим Петербург, и исполнил его, хотя приходило в голову: не пою ли я это погребальную песню себе?).

Так приехали в Петербург 11-го числа, в пятницу утром. Тотчас отыскиали Ив. Гр.; квартира хороша; Любинька сделала страш-

ное впечатление. Вечером пошел к Ал. Фед., Славинскому (чтоб узнать о своей диссертации — ничего не узнал), Василию Петровичу, которого (к удовольствию своему) не застал.

Утром (12-го, в субботу) зашел к Благосветлову относительно Ворониных, как явился Введенский, отыскивая меня. Как меня это тронуло — все хлопочет обо мне, чтобы я получил место; велел идти к Павловскому, инспектору Дворянского полка. Был, — сказал, что будет меня иметь в виду, когда я выдержу пробную лекцию, теперь не может оставить часов для меня. Зашел оттуда к Ир. Ив., который велел поскорее держать, поэтому в понедельник подал просьбу, написанную у Корелкина в пустой квартире импровизированными чернилами. Кавелин обещался назначить около 25-го лекцию. На всякий случай накануне (воскресенье, 13-го) был я у Срезневского, чтобы попросил о том же (чтоб 25-го) Кавелина, — обещался в среду быть. Там видел Коссовича, с которым дожидался машины, и тут он мне рассказывал о Белинском, Бакунине, Станкевиче.

Продолжать буду, вероятно, уж в другой раз, а теперь, должно быть, пойду в университет готовиться к лекциям этим.

(Итак, я не писал около месяца; теперь пишу 15 сентября, в 9 почти часов утра.)

Ход дела такой был. Срезневский просил Кавелина, тот обещал, но когда после я справился, он сказал, что нельзя, как мне и говорил Павловский, когда я в первый раз был у него. Я все ждал с недели на неделю и, наконец, назначено было 13 сентября. Мне повестку принесли в воскресенье, 10 ч., утром, когда Любинька и Ив. Гр. ходили гулять. Я все большею частью читал книги, братые у Крашенинникова (Ж. Занд, журналы, Гофмана), и мало приготавливался. Прежде всего я позаботился о языке Кави и взял под подпись Срезневского<sup>209</sup>; там нашел мало собственно касающегося, потом читал Biese (что меня и выручило главным образом на лекции) и делал выписки из него в библиотеке. А о Biese узнал из «Журнала министерства внутр. дел»<sup>210</sup>, который купил по совету Ив. Вас. и думал, что понапрасну истратил деньги. Наконец, когда я сидел и занимался выписками из Бернгарди синтаксиса греческого, где есть история синтаксиса, на которую ссылается Гумбольдт, Лерх сказал мне, что Беккер есть у них, и Саша взял его для меня. Так составились мои лекции из Бизе<sup>211</sup>, Беккера и отчасти Буало + Гораций. Я, разумеется, как всегда, более делал то, чего не нужно, т.-е. читал посторонние вещи и подвел дело так, что не успел переписать черновых, из которых одна (о параллельном способе сочетания) была составлена без Беккера. Вот как шло это дело. Теперь отношу эти книги.

Что касается до моих личных отношений, [то] время большею частью проводил я, читая книги Крашенинниковы, довольно много времени тратил и на разговоры с Сашею. Около 27-го по-

дал Никитенке вновь переписанную диссертацию на 4 листах<sup>212</sup> (прежний экземпляр у него затерян лакеем, которому я передал его, и поэтому мне диплома еще нельзя было получить, — как это было для меня неприятно!). Однако, я утешался философски, что ведь ни одно дело не может кончиться без некоторых неприятных обстоятельств, и уж лучше это, чем чтобы заболеть во время экзамена, как Лыткин.

У Ворониных, кажется, я не буду более и не буду жалеть об этом, если получу другие уроки, потому что дети так мало успевают, что мне теперь совестно, — может быть, я виноват в том и боюсь за последствия. Благосветлов написал мне записку, на которую отвечал ему, чтобы он, если ему не в тягость, оставил уроки за собою.

Отношения к Вас. Петр.: видимся весьма редко, он был всего два раза, потому что ходил к Залеманам на дачу, что, конечно, утомляет его до невозможности. Я у него был несколько раз на полчаса, час. Наконец, заходил и вчера (14 числа), чтобы сказать ему о том, что легко выдержать лекцию.

Отношения мои к Терсинским самые миролюбивые; Ив. Гр. перешел служить в министерство государственных имуществ незадолго перед моим приездом.

Сашино дело не знаю, чем кончилось, до сих пор, несмотря на то, что по согласию Плетнева просьба подана еще около 20 августа — это мне неприятно. Конечно, на лекции ходит.

Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти совершенно от души предан учению Фейербаха, а все-таки, напр., посовестился перед маменькою не зайти 13 числа в церковь, когда шел на пробную лекцию, потому что было еще рано (нужно в 7 ч.), а уже благовестили в той церкви (Конногвардейской), мимо которой я шел.

По делу бывал несколько раз у Ир. Ив., который каждый раз принимал с большею заботливостью и толковал о том, что и как пишут. Он утвердил меня в мысли сделать ответ исторический, что и весьма удается. Он предложил мне и книги, какие мне будут нужны (риторику Ломоносова, Буало, Квинтилиана, даже свои выписки из Цицерона).

Итак, по приезде моем в Петербург я ото всех ничего не встретил, кроме расположения и желания быть полезными для меня, сколько можно.

Как мне расплатиться с Ир. Ив. за его хлопоты, потому что ему обязан я и тем, что держал, и тем, что выдержал хорошо? Он подал мне мысль и сказал, что найдется место, он и помог мне, сколько можно.

Я думаю так, что выучусь по-английски и вдруг принесу ему перевод для следующей книжки «Отеч. записок» — куплю, как получу деньги (завтра в воскресенье), Робертсона и какую-нибудь английскую книжку.

Да, мои хозяйственные распоряжения:

Мы привезли сюда около 55 р. сер. Из этого прежде всего купил я:

пару бритв . . . . .	2 р. сер.
зеркало для бритья . . . . .	— " 75 к.
ремень для бритвы . . . . .	1 " — "
щетку для бритья . . . . .	— " 20 "
	<hr/> 3 р. 95 к.
для Сашеньки шляпу . . . . .	3 " — к.
чашечку к шпаге, вместо прежней, которая не	
годилась . . . . .	— " 15 "
потом сапоги (головки к прежним голенищам) . . . . .	3 " 50 "
	<hr/> 6 р. 65 к.

В библиотеку для чтения на 3 месяца 4 р. заплатил, да 7 р. залогоу.

За грамматику Востокова . . . . .	— р. 75 к.
еще: себе за поправку сапог . . . . .	1 " 80 "
за шитье платья своего 12 р. и Ив. Гр. 3 р. —	15 " 00 "
Наконец, накануне лекции купил шляпу у Цим-	
мермана . . . . .	6 " 00 "
	<hr/> Итого . . . . . 45 р. 15 к.

Куда же еще девались 10 р. сер.?

Бумаги 3 д. (почтовой) по 40 к. . . . .	1 р. 20 к.
перьев, конвертов . . . . .	— " 80 "
	<hr/> 2 р. — к.
Ездил в Царское . . . . .	1 р.

Более теперь не могу вспомнить, но неужели я целых 7 р. или 6 р. 50 коп. истратил на мелкие расходы?

Положим, что 75 к. пошли на письма и т. д.; положим, что 75 к. на табак, — все-таки остается 5 р. 50 коп. Неужели столько вышло на езду в каретах и на кондитерские? Да еще, положим, 50 к. на хлеб; итак, остается 5 р. сер. Действительно, я думаю, более 2 р. сер. я проел в кондитерских и не удивительно, что более 2 руб. и проездил. Да, 30 к. сер. в баню сходили с Сашею.

Итак, остается 4 р. 50 к. — Помада 15 к., поэтому 4 [р.] 35 [к.]. С нынешнего дня буду вести строгую запись своему доходу и расходу. Теперь у меня 30 к. сер. и ломбардская монета, которую должно разменять. На-днях пришлют мне деньги из дому.

Итак, описываю лекцию (все это пишу утром 15 числа).

Утро все я писал лекции. Если б знал, что должно читать не по тетради, а изустно, конечно, не стал бы этого делать. Дописал, вставши в 6 час., лекцию из словесности и прочитал то, что не переписывал (о недостатках новой теории), и потом с некоторого рода судорожною нетерпеливостью дописал, обыкновенно выписывая из Перевлесского учение о сочетании подчинения. Это кончил в 3 часа. После сели обедать, и я читал «Лукрецию Флориани»,

потом почитал несколько [вслух], чтоб не запинаться, когда буду читать наконец, в 5 ч. 50 м. пошел. На дороге зашел в Конно-гвардейскую [церковь], чтоб быть чисту по совести перед маменькою, давая там слово себе дожидаться начала всенощной, и дождался; певчие понравились. Хорошо, пошел, пришел в 6 ч. 40 м. Там уже был Кулагин, который раскланялся со мною, считая меня, вероятно, экзаминатором; потом, конечно, я ему сказал; он показался мне весьма ограниченным человеком, вроде Залемана или хуже. Он учитель чистописания где-то подле Петербурга. В 7 ч. 5 м. пришел Кавелин, и мы вышли из этой комнаты в предыдущую; потом начали сходитьсь другие экзаминаторы, и в 7 ч. 15 м. Кавелин пригласил (по старшинству времени, когда дана тема) Кулагина, сказавши, что читать должно наизусть. Там поднялся скоро сильный спор, и через 25 м. Кулагин вышел, и Кавелин пригласил Иванова, человечка весьма похожего на Алекс. Герас., который у Славинских. Этот читал ровно час до 8 ч. 40 м., и тут-то я узнал, что Кулагин отказался и поэтому так недолго было это.

Я сидел весьма покойно. Стали разносить чай, и когда подавали во второй раз чашки, подали и мне, что мне не то понравилось, не то, что нет. Я сидел все и читал то дела о приеме кадет, лежащие на столе, то правила о приеме в корпуса, то так ничего не делал и не думал. Наконец, Иванов вышел и принялись составлять протокол, жарко споря, наконец, кончили в 8 ч. 55 м.

И я вошел. Сначала я сделал несколько нерешительных движений, потому что не знал, так ли я сделаю, когда сяду за стол, но, конечно, сел и, смотря на военного в серебряных эполетах, который сидел главный, начал читать. Сказал, что грамматика не обработана и учение о сочетании предложений нигде не обработано как должно, и два, три раза повторил мысль, что поэтому ничего полного и я не могу сказать. Тут господин, который сидел подле Чистякова вторым в переднем углу слева от меня, сказал, что, напротив, например, у немцев учение о сочетании предложений разобрано. «А, вы говорите о Беккере», сказал я, и начал [развивать] свое мнение, что у него перенесена Гегелева система, и это делает его учение иногда неполным и натянутым. Потом продолжал о трех периодах разговорного языка в отношении союзов. Чистяков заспорил о том, что народ не мыслит никогда бессвязно, о том, что нельзя заключать от китайского и потом еврейского, о том, что еврейский был раньше, как китайский, а потом, что греческий был раньше как еврейский. Я спорил против этого довольно нескладно и, когда меня попросили привести пример, как сочетание предложений выражается этимологическими формами в других языках и как у нас, я привел в пример: напр. cum dicam, tu audis. Тот, который сидел подле Чистякова, сказал, что это не так; и действительно я вспомнил, что это не так, и сказал, что причастие. Потом он спорил о том, что в русском языке любовь к бессоюзию не проявлялась сильнее, чем в других европей-

ских, что всегда, когда мы можем говорить без союзов, и они могут. Я спорил и тут, говорил несколько мыслей, которые сам не знал хорошенько, верны ли они были, напр., предлагал ему сосчитать союзы на русском и немецком страницы одного объема, в переводе главы из евангелия.

Вообще тут я говорил не слишком связно, отчасти потому, что меня развлекали, отчасти оттого, что я еще не вошел в пафос. Мне сказал «довольно» человек, который сидел подле этого военного, седенький и довольно высокий, и сказал, чтобы я перешел к следующей теме.

Только и успел поговорить об этих трех периодах и периодической речи. Когда говорил о ней, как у меня написано, со мною уже никто не спорил.

Под конец со мною не стал так горячо спорить Чистяков и этот человек, и я начал о теории. Исторический взгляд нужно, сказал я, если хотите и об одном современном.

Этот старик сказал, что скорее о теории вообще, как я раньше сказал. «И я думаю, — сказал я, — к тем более необходим обзор», и начал говорить об Аристотеле, совершенно как у меня было [написано], живо и с жестами и не смешивался более того, чем обыкновенно смешиваюсь в разговоре. Не успел я кончить его реторики, как мне этот старичок сказал, чтоб я перешел к теории XVIII века. Я сказал, как у меня там было, и, против моего ожидания, он поддакивал мне.

Вообще, когда я читал из словесности, мне не делали никаких замечаний, и тут я уже был уверен, что довольны, да и когда читал ту лекцию, то тут являлись на сцену и арабский, и китайский, и т. д. Одним словом, по совету Ир. Ив., я пускал пыль в глаза, что, однако, сделал бы, вероятно, и сам по себе, по своей склонности к историческим выводам о развитии. Наконец, когда я в главных очерках почти сказал свое мнение о теории XVIII века, мне сказали «довольно». Когда кончил, кто-то сказал: «прекрасно». Я раскланялся и вышел.

Когда выходил, Кавелин подошел и сказал, чтоб я завтра был у него, потому что Ржевский из 2-го корпуса хочет, чтоб я был представлен ему. Итак, я был уверен, что принят, и поэтому шел домой весело. Я кончил ровно в 10 час., читал ровно час.

Пришел домой тоже довольно весело, только проклятое «cum dicam, audis» не выходило у меня из головы; я все думал, что ошибся, теперь вздумал, что в самом деле не ошибся, да тогда не догадался сказать, — ведь это действительно так, потому что обыкновенно они мыслят это отношение как причинное. На другой день пошел к Кавелину, но об этом напишу после, теперь иду к Крашенинникову и в университет, чтоб отнести книги и справиться о своем деле и о Саше. Теперь 10 ч.

(Писано 19-го числа, в 8 час. утра, перед тем как идти к попечителю.)

С лекции я шел и пел — чувствовал, что хорошо, и вечером был весел; только вертелось проклятое «cum dicam, audis». На другой день в веселом расположении духа пошел к Кавелину. Там сказали, что Ржевский жалеет, что теперь нет места учителя, а репетитора предлагает. Я сказал, что посоветуюсь, что это такое, с учителями и буду у него во вторник, т.-е. ныне, в 6 час. Оттуда зашел к Корелкину, тот едет в этот день (писал мне письмо об этом, только оно пришло без меня уже). Я его погнал к Срезневскому, сам хотел придти к нему в 4<sup>1/2</sup> ч. проводить его.

Из дому пошел тотчас к Вас. Петр., чтобы сказать ему о своей лекции и о том, что мне предлагают место, чтобы поэтому и он держал. Оттуда к Иванову, чтоб дожидаться времени к Корелкину. У него было довольно много людей, между прочим Родионов, который был навеселе. Ничего особенного, время шло довольно скучно. Корелкин расплакался, когда перед отъездом сел писать к матери, и это меня тронуло. Вечером читал что-то.

15 [сентября], пятница. — Пошел в университет, там неприятно поразило Сашино дело — от попечителя сказали: «принять, если есть вакансия», а есть она или нет, — еще не знают и говорят, что должно быть нет. Это говорил Ярославцев. Это меня поразило неприятно — ну что, как пройдет так полгода — пошел домой, еще более, что свидетельство просрочено, — это, конечно, устроил без всяких хлопот пока, сказавши, что через неделю будет. Вечером пошел к Ир. Ив., где был почти героем вечера; приняли меня радушно, говорили обо мне, — этого, конечно, я не люблю, но ничего. Место у Ржевского не велели принимать, а Ир. Ив. снова говорил Тихонову<sup>213</sup>, и кроме того советовал сходить к Ортенбергу. Оттуда я воротился в весьма хорошем расположении духа; у Ир. Ив. было много народу, одних мужчин 13 или 14 чел. да 3—4 дамы, и время прошло довольно хорошо (с начала вечера Минаев рассказывал о жестокости и грубости царя и т. д. и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который решился бы пожертвовать своей жизнью, чтоб прекратить его). Под конец читали Искандера.

16 [сентября], суббота. — Утром в 10<sup>1/2</sup> час. пошел в Артиллерийское училище отыскивать Тихонова — уехал уже — и, взяв адрес, пошел искать его домой; конечно, измучился довольно порядочно. Тихонов, весьма важничавший человек, довольно грубый, сказал, что пришлет мне, распорядившись часами, расписание, но у меня осталась не совершенно верная надежда получить это место, потому что он слишком как-то, кажется, почел меня молодым для этого. Однако, думаю, что не захочет неприятности с Ир. Ив., которого просил об учителе: как же не принять того, кого тот рекомендовал?

В 2<sup>1/2</sup> часа пошел с Сашею покупать Робертсона и вместо того, что я думал — 2 руб. 50 коп., он стоит 3 руб. 75 коп., — это дурно. Оттуда на беду зашел к Ал. Фед., который спросил 4 руб. сер. денег, между тем как у меня самого только 10 руб. и нужно взять

дином, потому что нужно переменить вид. И чего делать — обещался дать; взял «Emile» J. J. Rousseau на несколько времени (так до вторника), но не читал почти ничего, потому что читаю Робертсона, которого спешу для того, чтоб через месяц мог предложить свои услуги Ир. Ив.

17 [сентября], *воскр.* — Любимькины именины. Ал. Фед. пришел в 2, просидел до 7; после него я несколько времени читал, там вышел ужинать и просидел с Мих. Павл. до 11<sup>1/2</sup>, что было, конечно, очень скучно. Утром ходил к Ортенбергу, не застал его; сказали, чтобы в 6 час. вечера завтра или лучше в половине шестого, чтобы не пропустить. Любимькины именины хотели-таки торжествовать, но не приехали Горизонтов и Топильский, которых просил Ив. Гр.

18-го [сентября] — утром ходил в университет взять через Никитенку Biese, о котором просил Ир. Ив., там взял эти книги, но когда дожидался, инспектор сказал: «Где ваш адрес? Приходите в канцелярию попечителя завтра». Я думал, что о Саше, вместо того он сказал: «Вы просите себе места в Саратове, там пришла бумага, что есть там место». Я был ошеломлен этим, и до сих пор все остальное поглощено этою мыслью — что там написано? Можно будет принять или нет? А приму, если а) старшего учителя, б) не должно будет рисковать ехать туда хлопотать, а нужно только отсюда послать просьбу и здесь ждать определения. Это меня заняло как нельзя более. Оттуда сходил справиться об адресе Ир. Ив., чтоб написать домой; после к Ортенбергу — должен был ждать до 6 час., пришедши в 5<sup>1/2</sup>. Просидел это время на лавке в Гостином дворе; в 6 час. в швейцарской его ждал, пропустил, догнал на дворе. Когда подходил к нему, он сказал: «Я вас узнаю, места нет, но буду весьма рад познакомиться, если вы зайдете когда-нибудь в это же время, потому что теперь на пробную лекцию должен». Это мне даже понравилось, что места нет, потому что не стесняет в приеме в Саратове места, если можно будет принять. Теперь <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 9-го, иду к попечителю.

Теперь 7 декабря, — итак, не писал 2<sup>1/2</sup> месяца. Что же было в эти 2<sup>1/2</sup> месяца? А, дело о месте в Саратове.

Итак, пошел к попечителю и сказал ему, что для этого мне должно подумать. На другой день отвечал ему, что принял бы место с большою радостью, но у меня нет денег ехать и потом не должен подвергаться экзамену. Как на это отвечал попечитель, смотри в переписке моей с нашими<sup>214</sup>. Я думал, что дело этим и покончится, потому что не думал, чтобы Молоствов согласился на эти условия, а между тем вышло наоборот. Во вторник, который был последний в ноябре (28-го, что ли), я, наконец, долго сбиравшись, пошел в университет, чтобы узнать от инспектора, нет ли чего, не мог дожидаться и ушел, а вечером принесли в самом деле повестку. Как это странно, что, сбиравшись понапрасну два месяца, наконец, пошел именно в тот день, когда пришел ответ.



Пошел к попечителю с некоторым волнением, но не весьма большим. Чего мне собственно хотелось: того ли, чтобы отказал Молоствов, или чтобы согласился на мои условия — не знаю. Решительно не мог я решить, что для меня лучше. Главным образом содействовало тому, что я без особой неохоты готов был ехать в Саратов, то, что здесь решительно нет и не будет никогда свободного времени, потому что все одно за другим наполняются чужие дела, от которых ввек не освободишься (сначала Срезневский, после этот Мерк, после вот Ир. Ив., после снова придется у Срезневского<sup>215</sup>, и т. д., и т. д. до бесконечности), так что, когда придешь домой, то чувствуешь себя усталым и большую часть того времени, как бываешь дома, только спишь. Это первое. А второе — это мерзкость того места, которое я получил во 2-м кадетском корпусе, — ужасно скверно, главным образом тем, что весьма дурно сидят мальчики. Третье — я приеду из Саратова через год, через два уже степенным человеком, между тем как теперь в глазах слишком многих имею еще слишком многие следы слишком ранней молодости. В пример хоть Тихонов, который сказал Ир. Ивановичу: «Как же можно такого молодого человека, который сам не старше своих учеников», или Ортенберг, который отказал, конечно, тоже поэтому. Четвертое — наконец, мне было совестно обманывать своих, которым я расписал, что приму с радостью, если будут приняты [мои] условия. Конечно, я писал это более потому, что думал, что условия будут не приняты, потому что странное имеет влияние петербургская жизнь и ужасную силу имеет правило: с глаз долой — и из памяти вон. Когда был в Саратове, жалко было расстаться со своими, а как приехал в Петербург да обжился в нем несколько, так жаль стало расстаться с ним, потому что, как бы то ни было, все надежды в нем, всякое исполнение желаний от него и в нем. — Да, страшное дело эта мерзкая централизация, которая делает, что Петербург решительно втягивает в себя, как водоворот, всю жизнь нашу! Вне его нет надежд, вне его нет движения ни в чинах, ни в местах, ни в умственном и политическом мире.

Итак, когда попечитель сказал, что Молоствов согласился, я сказал, что и я согласен и что завтра принесу бумаги.

(Писано декабря 9 в четверг.) Сказал об этом Ржевскому, который сказал, что не советует, а когда я сказал, что дело уже не зависит от меня, вдруг охладел и не захотел говорить со мною, как и раньше. Утром в пятницу отнес это к попечителю, вечером сказал это у Иринарха Ивановича; он принял с изумлением, но теперь, когда свылся с этою мыслью и понял настоящее значение и цель, привык. Итак, теперь жду.

Другое дело — определение во 2-й корпус. Другого места (в Пажеский корпус к Тихонову) не удалось получить, слишком молод. Итак, через месяц сидел я в почтамте на скамье, читал письмо из Саратова, в котором прислано 50 руб. сер., — подходит

человек и говорит: «Здравствуйте, узнали вы меня?» — Это был Колеров. Он посоветовал принять, и я обрадовался случаю взять это место, потому что другого места не было, так чтобы угодить Ржевскому, который мог после пригодиться. Попросил его узнать у Ржевского, согласится ли тот. Когда узнал, что согласится (для этого приходил к нему вечером), пошел к Ржевскому, подал просьбу и на другой день, когда пришел, представился генералу, который мне сказал, что место есть, т.-е. Геслерово. Хорошо, сказал об этом в пятницу и Иринарху Ивановичу, потому что это было в пятницу, и с субботы я явился в класс. Ржевский ввел меня и только всего; кадеты весьма шумели и теперь довольно шумят; но свои учебные отношения опишу другой раз.

Третье, отношение к Изм. Ив. Срезневскому, для которого я постоянно ходил до половины ноября в Публичную библиотеку. Успел найти там один список толкования на Исаию о... \* еще не известный, нашел несколько любопытное место о русалках в жизнеописании Нифонта, списал для Срезневского поучение Мономаха и т. д., так что до половины октября большую часть дней утро проводил в Публичной библиотеке, что, конечно, весьма меня растранивало, потому что, пришедши оттуда, чувствовал себя утомленным. Читал довольно много до самого поступления на должность.

Четвертое, отношение к Мерку. Раз вечером, именно 12 или 13 октября входят два человека (в пятницу, перед началом моей повести \*\*) — мы пили чай, — один старик, отец, другой — сын, и говорят, что их прислал ко мне Срезневский, чтобы я приготовил сына. Я сказал, что очень рад, но... Отец чрезвычайно просил. Условился два часа в день — по 2 часа урок. Я обыкновенно просиживал более, так что доходило до 3 часов; и это было каждый день. Мерк готовился к экзамену на домашнего учителя из русской словесности и поэтому мне достался. Для меня вообще эти уроки были не очень тягостны, потому что заставили меня самого готовиться, а для меня, конечно, этот предмет нужен. Я начал для этого Шевырева, потом стал проходить по Гречу и Аскоченскому. Только теперь, когда дело подошло к экзамену, вижу, что принес мало пользы для экзамена, потому что ограничивался чтением лекций в роде университетских, а я должен бы был говорить гораздо менее, чем я говорил, и постоянно спрашивать у него отчета и заставлять его мало-по-малу приготовляться; а то и скопилось ему так, что должен он в последние полторы недели повторить всю историю литературы. Наконец, написал он о Несторе, его поправил, отнес к Срезневскому, тот сказал — хорошо. В четверг начал он держать экзамен. Посмотрю, чем кончится. — Верно выдержит, потому что Срезневский уже говорил в этом духе — это род косвенной взятки, в мою выгоду, если

---

\* Неразборчиво — грознь? Ред.

\*\* Неразборчиво. Ред.

угодно. Я теперь дал у него 50 уроков и получил 100 руб. сер. Деньги эти пошли так.

20	р.—	Любиньке
23	„—	на покупку пальто
8	„—	70 к.—сапожнику
3	„—	тоже
10	„—	на возобновление билета в библиотеке для чтения
5	„—	Любиньке

6 руб. за серебряные очки, которые купил главным образом для того, чтобы в классе видеть хорошенько своих учеников, потому что те, которые купил в Саратове, слабы, итак — 75 р. 70 к.

2	р. сер. на бумагу
1	„ 50 к. доплатил за шитье шубы из своих
10	р. сер. Василию Петровичу
<hr/>	
13	р. 50 к.

остальное на извозчиков и в кондитерскую (Доминика, главным образом; а я думаю, целковых 3).

Итак, я к экзамену приготовил Мерка плохо, потому что мало и не так, как следовало, заботился об этом, а старался об его развитии, о внушении ему настоящих понятий о вещах, а к чему это послужит на экзамене?

Пятое, — отношения к Вас. Петр. Редко и ненадолго видимся, но в самом деле это единственный человек, на которого я смотрю как на равного себе по уму, только должен опять сказать, тягостное впечатление сделало на меня его письмо: «дайте 10 руб.», — я рассчитывал на эти деньги купить себе пальто, которое в самом деле было нужно, потому что в шинели тяжело в оттепель и мараются брюки, а теперь должен буду отложить это до следующего получения денег от Мерка; это первое; а второе — что мне должно было спрашивать деньги у Любиньки, которой только что отдал я эти деньги, полученные из дому. Отнес к Залеману и не знаю, дошло ли письмо мое, в которое я вложил эти деньги, до Вас. Петр.

Шестое — отношение к Иринарху Ивановичу. Хотел чем-нибудь отблагодарить его за хлопоты из-за меня, т.-е. собственно за расположение ко мне, потому что хлопотать ему приходилось немного, и думал за это перевести ему несколько листов с английского. Но вышло, что пришлось ему обратиться ко мне за службою важнее этой — экзамен на магистра для занятия кафедры в университете: прежде всего должен был я справиться у Срезневского о том, в каком положении это дело, и когда он решился держать, к чему я старался склонить его, мы с ним вместе готовились. И вот уже третий раз вчера я был у него. В первый раз об индо-германском племени, во второй раз из Остромирова [евангелия], вчера тоже и из Краледворской рукописи. Это меня тоже не очень много тяготило, потому что нужно и для меня самого.

Конечно, это услуга важная, так что я был с ним более чем квит и теперь я стал у них вообще значительным лицом; напр., Александра Ивановна меня потчует, и т. д.

Седьмое. — Отношения к Срезневскому: с ним я более сблизился, потому что выказал мою преданность, готовность делать для него все, что ему нужно. Теперь когда буду у него, снова предложу свои услуги.

Восьмое. — Был у Милюкова, о котором содействовал перемене моего мнения Городков; в самом деле порядочный человек; но главным образом я стал его уважать, прочитав его «Историю поэзии» — в самом деле дельная книжка. Был у него еще и впоследствии времени несколько раз. Жена его, кажется, горбата, но славная женщина, мне весьма понравилась.

Девятое. — Был у Минаева, и вечер прошел довольно занимательно, потому что он рассказывал различные вещи. Обещался достать ему «Кто виноват?» и теперь взял из библиотеки и отнесу ему.

Десятое. — Узнал Яковлева (который теперь в библиотеке), Классовского; молодого человека горбуна у Милюкова; собираюсь быть у Рюмина; жаль, что этот порядочный человек осужден на смерть.

Одиннадцатое. — Тем охотнее принимаю предложение Молоствовова, что останется время для того, чтоб поместить статью или две в «Отечеств. записки», и теперь я пишу «Отрезанный ломоть», — одна треть уже готова, и когда понесу, скажу Краевскому, что он хочет: Аристотеля, о новой теории словесности или о *Geschichte der deutschen Sprache* Grimm'a.

(Писано 11 декабря.)

Двенадцатое. — Нужно написать, какое впечатление произвела на меня шуба: чрезвычайно льстила моему самолюбию и моей гордости, — как же, теперь явлюсь я по одеже как равный этим господам всем. Одним словом, что-то вроде Акакия Акакиевича; и теперь я надеваю ее при малейшей возможности.

Итак, теперь опишу свое времяпровождение в эти дни.

Среда, 6-го [декабря], был Вас. Петр., которого я не мог заставить досидеть до обеда. Пришел Ал. Фед., который ушел в 4 часа, с ним вместе и я к Ир. Ив. Введенскому, у которого пробыл до 8<sup>1/2</sup>. Оттуда к Мерку, с которым повторил историю литературы: знал то, чего не знал раньше, весьма плохо; так что меня это раздосадовало отчасти — что же, глупец, не предвидел этого раньше? Совершенно не так должно было вести дело. Воротился домой в 11.

Четверг, 7 [декабря]. — Из корпуса пошел узнать о Мерке и попросить записки. Мерк ничего себе, пишет о Карамзине, о котором знает. Записки хотели принести; но когда я шел мимо Ир. Ив. Введенского, то поговорил с ним. Он, пришедши домой, вспомнил, что мне ныне снова нужно в корпус в 3 часа, и меня

догнал его мальчик. Я воротился; там была мать и старшая сестра его жены. Эта сестра мне довольно понравилась, правда, довольно понравилась, она имеет сходство с Залеман по устройству своих костей и своим манерам.

*Пятница [8 декабря].* — Зашел в университет, взял Biese у Сашеньки, взял записки у Голубева церковно-славянской грамматики — никуда не годится; взял карту Шафарика, отнес все к Ир. Ив., с которым и сели заниматься. Время тянулось весьма медленно, так что я пришел в 3½ часа. Два раза принимались и бросали заниматься и, наконец, с час мы провели в разговорах, пока еще никого не было. Наконец, явился Рюмин с братом, после Городков, Краузольд и только. Городков принес письмо одного из декабристов к царю и отчасти прочитал его, но большую половину прочитал я, потому что он пил чай. Писано так, ни то ни се, воззрения у человека самые неопределенные; показывает, что само правительство довело дело до этого, возбуждивши везде неудовольствие и т. д.

*9 [декабря], суббота.* — Из корпуса к Доминику подкрепиться. Просидел там до часу, после к Мерку, где более двух часов; писал для него сочинения, спрашивал также из истории литературы. Пришел домой утомленный, так что все почти спал.

*10 [декабря], воскресенье.* — К И. И. Срезневскому с своею программой для Ир. Ив. Оттуда к Бахметеву в дом Турчанинова — его тут нет; пошел зараз к Палимпсестову в надежде не застать дома, — так и есть. Оттуда к Мерку, зашедши в пассаж; оттуда домой и хотел приняться за «Отрезанный ломоть», как вдруг, когда я еще обедал, шашть Благодетель — как громом поразил — и просидел до 11 часов; сказал, что Пелопидов при смерти, так что едва ли выздоровеет; что первая причина его расстройства венерическая, которую схватил год назад и повторил в прошлую зиму. Жаль! Славный был человек! И со мною приехал! А без этого был бы жив! Я привез на смерть! Вот необходимость радикального преобразования отношений полов между собою, т.-е. и всего порядка общества. После ухода Благодетель написал две страницы «Отрезанного ломтя» набело. Принялся этот раз переписывать в лист, чего еще никогда не делал, это удобнее. В этот раз уже верно пойдет.

(Это писано 12 февраля перед отправлением в оперу.) <sup>310</sup>

1, 31 дек. — Gabrielle, la Bossue.

2, 29 янв. — Guelfes et Gibellines.

1 февраля — Davis Deux ménages.

3 февраля — Douairière André, Pont cassé.

4 февраля — Наяда.

6, вторник. — Был еще раз во французском театре без афиши, это должно быть было 6 февраля.

8 февраля — Quitte pour la peur, Héloïse et Abelard, Supplice de Tantale.

- 10 февр. — Les contes de la reine de Navarre, l'hôtel garni.  
11 февр. Наяда.  
13 февр. Карл Смелый.  
14 февр. Акт из Лукреции Борджиа; акт из Пирата; 3-й акт из Гвельфы и Гибеллины.

## [ДНЕВНИК. КОНЕЦ МАРТА 1851 г.]

(Писано в Симбирске у Николая Ефимовича Андреева.)

Итак, мы выехали из Петербурга с Д. И. Минаевым и Николаем Александровичем Гончаровым в повозке Гончарова. Вышло у нас на дорогу до Симбирска по 41 или 42 р. с человека. Дорогою всё рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии (я в духе Штрауса и Фейербаха). Д. И. Минаев показался мне человеком еще лучше того, чем раньше — человеком с светлым умом и благородною душою; я имел на него, как мне кажется, довольно большое влияние своими толками о Штраусе и коммунизме, — он теперь причисляет себя к коммунистам, хотя, может быть, и не понимает хорошо, куда они хотят идти и какими путями.

Расскажу теперь замечательные случаи нашего путешествия. В Москве я виделся с Александрой Григорьевной. Они отдали сестру свою замуж за одного господина, который раз думал уже свататься и, заставши меня у них в августе, счел меня также кандидатом в женихи и усомнился в своем намерении. Ал. Григ. снова мне попрежнему понравилась. Я пришел к ним перед часами и мог остаться у них только  $\frac{3}{4}$  часа, — жаль, потому что пришел домой слишком рано, мы уехали вместо часа или 12 в 4 часа. Скоро отец ушел в церковь, и мы остались с Алекс. Гр. Разговор начался обо мне и о брате ее, который огорчает их своими странностями и тем, что полгода не писал им ничего; она поручила мне видаться с ним в проезд через Владимир; потом стала жаловаться на скуку своей жизни после замужества сестры; я уговаривал ее приехать в Саратов. От этого посещения осталось у меня чувство такое же, как оставалось раньше; я глубоко расположен к ней. Она стала полнеть в лице, что, конечно, производит на меня некоторого рода неприятное ощущение. Жаль, что я мог провести с нею только менее часу.

Зашел во Владимире к брату — он показался мне удивительно странным и был в самом деле с похмелья; мало-по-малу стал несколько походить на человека, а то сидел решительно как сонный. Я посидел с ним полтора часа и осыпал хулами бога и провидение, отрицая будущую жизнь. Он защищался от меня обыкновенными богословскими местами. Под конец стал довольно походить на самого себя в обыкновенном положении. — Эти полгода, сказал он, провел он в пьянстве. Две фразы от него остались у меня в сердце, — это то, что разговор мой (на Арбатском бульваре в августе 402

при прощании) произвел на некоторое время влияние на Алекс. Гр. (я тут хулил бога из-за нее). — «Ведь вы возбудили было в сестре сомнения» и «Ну что, рада ли была вам сестра? ведь она вас весьма любит». — «И я ее также весьма люблю, чрезвычайно люблю». Каким образом сделать бы, чтобы этот человек стал человеком как следует? Мне кажется, не иначе как разрушением его аскетических и ведущих к пьянству из отчаяния убеждений, т.-е. академических лекций.

В Нижнем останавливались мы на полтора часа, и, к моему несчастью, Михайлова не было дома. Оттуда до Казани дорога была большею частью по Волге, на которой были уже провалы под конец, да и на первой станции от Нижнего, где дорога идет через талы, затоплено водою. Здесь, однако, проехали мы, ничего не опасаясь, потому что не знали опасности, между тем как она, кажется, была в самом деле. Но на второй станции ямщик напугал нас чрезвычайно рассказами о том, как опасно ездить, особенно по «Кудуме — теплой речке», которая проела лед, так что мы сами велели ему ехать шагом, а этого ему только и хотелось, кажется. Ник. Алекс. кричал, мы говорили между собою и кошунствовали над смертью, хотя в самом деле я сидел не без некоторых опасений, однако, весьма слабых, от моего постоянного неверия в действительность опасности.

В Казани я был у Гордея Семеновича [Саблукова], подал прошение Лобачевскому с удостоверением от 2-го кадетского корпуса о причинах моей просрочки. — Более ничего. Через Волгу в Казани едва могли проехать — вечером нас не пустили, а сначала вместо трех принудили нас взять 4 лошади. Итак, мы были должны ночевать на почтовом дворе, куда приходил Гавриленко, студент с голосом, похожим на мой. До Казани ехали порядочно, после до Симбирска дурно. В Буинске сломалась в раскате оглобля, и Ник. Ал-ча едва не задушил Дмитрий Иванович, упавши ему задницею на лицо.

В Симбирске теперь что? Остановились у Николая Ефим. Андреева, человека маленького, худого, истощенного, с петербургским цветом лица, напоминающего всем в себе — и цветом лица, и профилем, и голосом, и манерами — весьма благочестивого, человека. Он говел, мы приехали в пятницу в 3 часа и расстроили его говение. Вечер провели в разговорах, большею частью в известном демократическо-социалистическом духе. На другой день обед у Ник. Ал. Гончарова. Его жена, Лизавета Карловна, славная женщина, хороша собою, только весьма худа и зелена, должно быть, от скуки, тоски, может быть, и от болезни, может быть, и оттого, что лишала себя общения с Ник. Ал. (над ним смеются, что она не пускает его спать с собою); женщина своею молодостью, по понятиям и поступкам напоминающая Алекс. Ив. Введенскую, только то, что там не грациозно, у нее грациозно, так что к ней довольно идут эпитеты, которые придает ей Дмитрий Иванович: «воздушная», «Ундина Карловна» и т. п. Она вый-

дет, если соединить Анну Дмитриевну, которую напоминает она своим голосом, с Серафимой Григорьевною, которую напоминает типом своей натуры — своими чертами лица в их общем выражении и своими манерами в их духе, несмотря на то, что в частности они походят на манеры Анны Дмитриевны. С первого раза меня поразило сходство ее дикции, в некоторых местах чрезвычайное, с голосом и игрою Арну Плесси, — это особенно там, где Лизавета Карловна начинает говорить (Плесси вытягивает голос), эта форма, — она решительно Арну Плесси, так что могла бы быть чрезвычайно любимой у нас актрисой. А сложение? Чье сложение — долго я не мог вспомнить, но я с первых слов ее вспомнил, что сложение, ее манеры говорить совершенно одинаковы с манерою говорить какой-то знакомой мне дамы. Наконец, вспомнил, что это — Анна Дмитриевна. Итак, Лизавета Карловна выйдет, если к чертам лица и доброте Серафимы Григ. присоединить манеру говорить Анны Дмитр. и Арну Плесси и наивность, младенчество в понятиях и поступках Александры Ивановны, с придачею грации и легкости движений и порывов, которые есть у многих хороших актрис, так что целое выходит в самом деле милое. Как тут у них после обеда забавничал Дмитр. Ив., как он вырезывал у них себе ордена из карт, покуда спал муж, и заставлял Лизавету Карловну хохотать так, как «я не хотала пять лет», т.-е. со дня отъезда Дм. Ив. Гостеприимство, радушие, напоминающее Лариссу Федоровну, также и свою резко отрывчатостью (*par sa brusquerie*).

Дмитр. Ив. и Ник. Ал. Гончарова описывать я не буду, потому что типы их, я думаю, навсегда запечатлелись в моей памяти после десятидневного пути вместе с ними.

Вот уж сколько людей привлекали меня к себе грустностью, томительностью своего положения. Василий Петрович, Александра Григорьевна — два человека, к которым я чувствовал истинную привязанность, — конечно, эта привязанность много обуславливалась их положением, а не одними их личными достоинствами. Вот если бы дольше с Лизаветою Карловною — и к ней мог бы я привязаться до некоторой степени именно оттого же. Вечером долго сидели, слушая рассказы Николая Ефимовича о Симбирске.

Обедали на другой день у Николая Ивановича<sup>217</sup>, этого бесстыдного пьяницы, которого часто выводят под руки с вечеров и из собрания (рассказ Ник. Ефим. о том, как Воейков сын уезжал из Симбирска в Варшаву и как при этом отец Воейкова и Ник. Ив. прощались друг с другом, обнимались и благословляли, потому что Воейков принял Николая Ив. за своего сына, а Ник. Ив. счел себя Воейковым сыном); гадкое, грязное семейство. С виду добродушный пьяница, на самом деле и по душе низкий человек, — обделил сестер и отжилил по суду полученные от татарина 3 000 рублей из 8 000 за просрочку двух дней.



Инк. Мих. Овсянников — это старый Силен, лысый совершенно, с гадко пришепывающим языком между редкими зубами, из которых один, самый передний, выпал.

Шишков (рассказ его самого об обеде в 25 коп., данном в Сибири Попову, не одному из саратовских, а совершенно другому); (рассказ о том, как он, начитавшись Чичикова, захотел, как он, объездить несколько губернских городов в надежде где-нибудь найти выгодное место и как тут пропил свой домик, свою корову и козу; как умилительно говорит о том, как в то время, когда они жили вместе с этим Поповым, всем слугам велено было слушаться его Александры, которая была высокого ума и души женщина, и как сам Попов глубоко уважал ее); человек, весьма много напоминающий собою (ein archifrommer Mann\*) Матвея Ивановича, весьма много, весьма много, даже лицо обделалось на один лад, не говоря об одинаковости манер и обращения с людьми, так что это внушает мысль о том, как много сходства, доходящего почти до тождества и в физической внешности, развивает между двумя людьми внутреннее сходство направления.

## ДНЕВНИК В САРАТОВЕ

25 ноября 1852 г., 8¼ час. после чаю, перед ужином. — Голова показалось мне, что тяжела, поэтому от нечего делать стал перебирать бумаги, нашел дневник перед отъездом из Петербурга и вздумал продолжать.

И продолжать начинаю в обстоятельствах, совершенно подобных тем, при каких начал: тогда молоденькая дамочка и теперь Катерина Николаевна.

Итак, начинаю со вчерашнего дня, чтоб не дать изгладиться свежим впечатлениям, потом переберу и другие стороны своей саратовской жизни.

С августа или сентября прошлого года, давая уроки у Кобылина его сыну, я не бывал в его семействе и не поздравлял его на именины оттого, что не хотел еще бывать в саратовском обществе. Наконец, вскоре после пасхи (нет, не оттого собственно я не бывал, а оттого, что не смел показаться, не зная, как меня примут; но вместе и нежелание являться в обществе было тут) было у них какое-то торжество, — должно быть день рождения Николая Михайловича, и меня пригласили. У меня не совсем прошел флюс, все-таки я собрался, с большими хлопотами. Когда вошел в залу, там сидели... \*\*, и Млн \*\*\* стоял у рояли, на которой играл Ми-

---

\* Сверхнабожный человек. Ред.

\*\* Неразборчиво — Малышевы? Ред.

\*\*\* Фамилия не разобрана. Ред.

хайловский. Я по обыкновению не знал, что делать, но подошла сама Анжелика Алексеевна и сказала, чтоб я шел в залу, и там я сидел неподвижно; однако, Николай Михайлович удостоил меня чести, что сел вместе со мною и рассказывал свои анекдоты, обращаясь ко мне, что я, конечно, весьма ценил, но был по обыкновению скромн, как баран. Обедал — это все еще ничего; после обеда, благодаря Сер. Гаврил., которая была тут одна из молодых \*, я вступил в разговор: не знаю, про что-то спросили меня, и я должен был отвечать и удостоился таким образом чести в первый раз сказать несколько слов с Катериною Николаевною. Это было в зале у второго окна от рояли. Потом сели играть в вист — она, Сер. Гавр., я и Михайловский, и я помню, как дорого мне было это удовольствие, потому что она с первого раза мне понравилась, да и то, что они первые лица в Саратове по своему положению в обществе, имело тут свое действие. Так это продолжалось до 10 часов, и помню, что первый разговор был о Святогорце и Муравьеве, о котором я сказал, что он может в 3 минуты положить 97 земных поклонов и что на этот фокус собираются смотреть по билетам. Я помню, как я считал себя тогда обязанным Сер. Гавр. за то, что через нее получил я честь сидеть подле Катерины Николаевны и играть с нею в карты. Я помню, как мне хотелось, чтобы Катерина Николаевна всегда выигрывала, и как я старался выиграть, когда играл с нею, и проиграть, когда играл против нее. И я помню, что она всегда выигрывала и мне, может быть, сказала несколько слов, может быть как-нибудь иначе, но оказала (как и всем, конечно) внимание, и в какой я был радости от этого. И после этого я дня три только и видел ее перед глазами.

Но это была пока глупость, более ничего, потому что тогда я еще не знал ее; это было просто действие того, что еще в первый раз я был в обществе миленьких... \*\* (потом что Серафима Гавриловна, конечно, не очень хороша собою). Когда собрались ехать, Михайловский попросил меня взять его и поехать по Соборной площади, чтоб искать извозчиков, потому что была страшная грязь в полном разгаре, и, не найдя, я отвез его на Московскую улицу, где ему попался извозчик.

Итак, после этого я был под сильным (тогда, впрочем, еще глупым) влиянием Катерины Николаевны.

И я несколько времени бредил ею (только не придавайте этому слову уж слишком важного значения). И я с нетерпением ждал 9 мая, думая, что снова будет то же.

И я надел мундир ехать поздравлять Николая Михайловича и взял долгушу. Но увы! Меня не пригласили к обеду, как я надеялся, — потому, должно быть, что никого не приглашали. Это ме-

---

\* Неразборчиво. Ред.

\*\* Одно слово неразборчиво. Малышевых? Ред.

ния огорчило. Разрушило мои надежды на то, что увижу снова вблизи ее.

И после этого месяца 2—3 я не видел ее.

И помню, какую радость доставил мне следующий случай:

Я брал для Николая Ивановича «Revue des deux Mondes». Hans Jacob (это было, должно быть, скоро после пасхи, потому что была страшная грязь), встретясь со мною на улице, просил меня доставить ему ныне же одну из взятых мною книжек. И вот я сам являюсь с ней, и вот я посижу у них вечер, и вот, может быть, я буду бывать у них! И я потащился за нею к Николаю Ивановичу и с биением сердца подъезжал к их дому. Но увы! Они мне встретились на крыльце — они выходили, чтобы ехать гулять, и вслед за ним шел Александр. И я помню, она мне сказала: «Вы к Саше? Он идет за нами». И потащился я с разрушенными мечтами снова домой.

Но когда же это было? Не знаю. Только после первого раза, как я у них был, и была еще грязь.

Но вот начинается и мое знакомство с ними.

Да, помню еще, как я был раз обрадован, когда, идя от них, встретился с Николаем Михайловичем между бульваром и их домом, — радовался случаю поклониться ее отцу.

Но вот начинается и мое знакомство.

И помню, с каким нетерпением я ждал, чтоб они переехали на дачу, надеясь, что буду ездить туда давать уроки и что, следовательно, нельзя, чтобы меня не оставляли там.

Анжелика Алексеевна уже раньше раз говорила мне, что я у них никогда не обедаю; этот раз она вышла к нам вниз, чтобы взять Александра с собою, и попросила меня кончить урок.

Но увы! Александр приезжал брать уроки в город!

Снова разрушились надежды.

Но, наконец, когда раз они поехали в город, в то время, когда у нас был урок, Анжелика Алексеевна вошла в кабинет, где мы сидели, и сказала мне, чтобы я приехал к ним на дачу, сказала определенно. Что у них фейерверки и чтоб я приезжал в воскресенье.

И, наконец, я решился.

И вот — господа, сколько сборов! — И, наконец, я умыт, одет и т. д., и т. д. — В этих сборах прошел час, — как часто после проходил, — и теперь проходит  $1\frac{1}{2}$  часа.

Голова прошла совершенно, и я принимаюсь за свою работу. Теперь 9 часов.

1853 года, января 9, в  $10\frac{1}{2}$  час. утра. Продолжаю. Не пошел в гимназию, чтобы обдумать и начертить устройство клапана, который заказывать должен я был ехать с Николаем Ивановичем в половине второго. Но, соображая, убедился окончательно, что машина не пойдет при таком устройстве (колесо с чечевицеобразными массами), потому что давление воды на входящую массу будет больше, чем вся сила колеса. Это меня так озадачило, что я

решился бросить все это (пока; может быть, после снова примусь, когда будут средства); если делать опыт, то в самом только простом виде — простое колесо, которому во всяком случае не будет мешать давление воды, и решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты, относящиеся к моим последним похождениям у Николая Ивановича, и теперь сажусь продолжать.

Прежде всего описываю два последних случая.

Первый. 6 января, что было на ее день рождения. Я решился в этот день высказать ей свою любовь и какие тут мысли вертелись у меня в голове! Она весьма хороша, но не образована. Я предложу ей давать уроки; конечно, без платы. И я буду иметь потом удовольствие думать, что она обязана мне кое-чем все-таки. Я скажу ей: «Вам приходит время любить; может быть, вы в опасности выбрать недостойного; выберите же меня, потому что я люблю вас искренно, и эта любовь во всяком случае не будет для вас опасна». Я долго обдумывал, как говорить. Все было обдуманно. Хорошо. Конечно, меня оставили обедать. Подали закуску. Она отошла и села у окна, которое у дверей из маленькой комнаты. Я подошел с намерением просить ее на кадрили, но не решился бы, может быть; она сама сказала: «Николай Гаврилович, скажите что-нибудь». — «Я собирался просить вас на кадрили». — «Так рано?» — «После не успеешь». — «Извольте, четвертую, потому что три первые я обещала». — «Еще?» — «Может быть, и четвертую не будут танцевать». — После обеда я оставался там, была и Сераф. Шапошникова, и было весьма скучно, потому что я ничего не мог придумать, чтобы сказать, и, наконец, она стала учить танцевать маленькую девочку, которая иногда бывает у них. Наконец, явились и гости; наконец, вот и гости (двое Юрасовых, Свечина, Стефани). Иван Иванович хотел ехать в театр, я главным образом его удерживал. Первую кадрили я танцевал с Олинькою, которая продолжала сердиться и не говорить ни слова, вторую я играл, третью танцевал с Шапошниковой и защищал Юрасову, которая поругалась с Иваном Ивановичем. Наконец, вот и четвертая кадрили. Я подхожу, она говорит: «Я думала, что вы забудете» (кокетство это было или нет?). Я старался сесть вдоль, чтобы сидеть одним и чтобы некому было подслушивать. И вот во время первой фигуры я начал: «Катерина Николаевна, прежде всего, я должен сказать, что я говорю серьезно и совершенно искренно. Для меня чрезвычайно трудно сказать то, что я решился, наконец, сказать. Но я все-таки скажу... Никогда я не позабуду того расстояния, какое есть между вами и мною...» — «С кем вы танцуете следующую кадрили? Танцуйте с Софьей Юрасовой. Полюбезничайте с нею» (это было сказано таким голосом, каким обыкновенно отклоняется разговор, который не хотят продолжать). — «Я не люблю говорить того, что не думаю». — «Только

смотрите, не задевайте ее, она вам наговорит дерзостей», и т. д. — откуда взялись слова, так что во все время 2 и 3 фигур она мне не дала сказать ни слова, все говорила сама. Во время 4 фигуры вошел свинья Шомполов и подошел к ее стулу, у которого стоял и во время 5 фигуры, подошел Алекс. Никол. к Шомполову, и у них продолжался разговор, во время которого я не мог поймать ни минуты, чтобы сказать ей, что я буду продолжать. По окончании 6 фигуры она сказала: «Благодарю; шена мы не будем танцевать», и отошла налево к каким-то дамам, которые тут сидели. Но шен был, и мы, конечно, сделали его с нею. После этого она в продолжение вечера нисколько не изменила своего обращения со мною, — так же сажала меня за кадрили, так же говорила, не сумею ли я сыграть польки.

Что это такое значит? Поняла она, что я хотел сказать, или нет? Конечно, поняла, иначе не прекратила бы разговора, не отошла бы после шестой фигуры в сторону, хотя всегда танцуют у них шен. Итак, поняла. Прекратила — значит, не хотела дослушать. Так же нецеремонна в своем обращении — значит, не конфузится. Что же, наконец, это такое?

Ныне или в воскресенье буду у них и буду искать случая переговорить с ней об этом.

Второй. Вчера, в четверг, в Собрании. Был назначен концерт любителей. Играли увертюру из «Фрейшица» и «Вильгельма Телля»<sup>218</sup>. Для последней решился я быть там. Отправился вместе с Николаем Ивановичем, которого я уговорил. Итак, мне нельзя было оставаться на бале, который был после концерта. И вот ждал их и дождался. Она и мать сидели на первой стороне в 1 ряду, и я взобрался на подмости для оркестра, чтобы видеть их. Она несколько раз, кажется мне, взглядывала на меня. Я более всего смотрел на нее и любовался по обыкновению (хотелось прибавить для очищения себя от насмешек за неудачный выбор — и старался критически рассмотреть вопрос, хороша ли она или нет; вчера показалась хороша и в профиль). Когда она взглядывала, я переводил глаза, не торопясь, впрочем, на других. И у меня было чувство: останутся ли они на бале? И если останутся?? Со мною, верно, она не будет танцевать, да и я не посмею просить ее на кадрили. И у меня было что-то вроде полузависти, полуревности, что я не буду с ней, а другой будет.

«Вильгельм Телль» приводит меня в восторженное состояние, и когда мы после поехали к Николаю Ивановичу и говорили за шахматами о нем, у меня выступали слезы от волнения. И я чувствовал и во время музыки, и после, что в случае и я оставляю свою вялость, нерешительность.

Иду покурю и снова писать.

Итак, продолжаю прежнее.

Вот я, наконец, на даче (хлопоты с билетом и как мне не хотелось терять денег). Они сидели уже в 1 ряду на правой скамье. Я не посмел подойти к ним...

Нет, принятаться сочинить повесть, чтоб рассказать ей. Вероятно, вечером буду у них. Нет, ничего не могу делать, потому что расстроен разговором о том, что следует еще дать денег А. И. М[алышеву] для Николая Дмитриевича, чтоб получил он место. Маменька не хочет\*.

## ДНЕВНИК МОИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЮ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ МОЕ СЧАСТЬЕ

Марья Евдокимовна <sup>219</sup> будет именинница завтра, поезжай, поздравь ее», — сказали мне наши. Она именинница 26 января, понедельник.

И я поехал. Меня пригласили на вечер. Этого мне и хотелось, потому что я было начал любить волочиться после первого опыта, на вечере у Шапошниковых.

И вот там Палимпсестов (2) \*\*, и вот приехали Катерина Матвеевна Патрикеева и Ольга Сократовна Васильева. Невеста их встретила, и они стали среди залы. Я ангажировал их. Невеста танцевать со мною не хотела. Катерина Матвеевна сказала, что танцует со мною 4 кадрили, Ольга Сократовна — третью. Я слышал о ней от Пескова на вечере у Шапошниковых (где он был переодетый старым приказным), что она раз, поднимая бокал, сказала ему: «за демократию». Я был так простосердечен, что принял это не совсем на шутку. (Да и вижу, что, может быть, не совсем шутка, хотя, может быть, не в моем смысле, — 7 марта.) О чем было говорить? До третьей кадрили я увидел, что она девушка бойкая и что с ней можно любезничать. Две первые кадрили я не танцевал, сидел с Ростиславом.

«О чем нам говорить? Начну откровенно и прямо: я пылаю к вам страстною любовью, но только с условием, если то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас».

Мы сидели в это время на диване, который стоит налево от дверей из передней, она на стуле, я на красном диване (рояль была вынесена куда-то, играли музыканты) почти в углу, так что должно было проходить почти подле стульев. Тут сидела Катерина Матвеевна. Проходя во второй фигуре, Ольга Сократовна подошла к ней. — «Что вы сказали ей?» — «Вы хотите знать?» — «Непременно». — «Я сказала, что Чернышевский очень мил». — И разговор продолжался в этом роде. Пылкие объяснения и уверения в их искренности с моей стороны, шуточные ответы на это с ее стороны — что и она влюблена в меня, если так (8).

\* Далее в записях перерыв до 4 марта. Дневник своих отношений с О. С. Васильевой, начатый 19 февраля, Н. Г. Чернышевский вел особо.

\*\* К этой и следующим цифрам в скобках относятся «Дополнения к моему дневнику о той, которая теперь составляет мое счастье», прибавленные Н. Г. Чернышевским 7 и 14 марта. См. ниже.

Через несколько времени Палимпсестов сказал мне: «Она демократка». — Они проходили по зале. Я подошел к ней и сказал: «Мое предположение верно, и теперь я обожаю вас безусловно». — Виноват, в этой кадрили, именно в этой кадрили я несколько раз уж говорил ей: «Вы не верите искренности моих слов — дайте мне возможность доказать, что я говорю искренно. Требуйте от меня доказательств моей любви». (3) — «Да какого же?» — «Какого угодно». — «Так поставьте моему брату 5 в первый же (5) ваш класс». — «Это сделаю, это я делаю и без того. Требуйте чего-нибудь более важного». — Но она была так умна и осторожна при всей своей бойкости, что не сделала никаких других требований. Тут же (доказательство моей неловкости) я сказал, что она поверит моим словам, когда более узнает меня. — «Да где же я буду иметь случай?» (Приписано после: — «Где-нибудь, напр., у Акимовых, у Шапошниковых, где-нибудь», — и я не сказал, что буду бывать у них, если она это позволит — так я робок и ненаходчив.)

Это писано 19 февраля, в 11½ ч. ночи, после ужина.

*Половина седьмого, 20 февраля.* — Прерываю на время рассказ, чтобы записать свои вчерашние ощущения после решения.

Сказавши такие страшные и странные вещи, давши обязательство такой важности, я чувствовал себя решительно спокойным. Мне даже не казалось это странным. Я ожидал несколько дней, что наши отношения или должны кончиться, или должны привести меня к подобному разговору, конец которого я предугадывал. Итак, я был спокоен, решительно спокоен по окончании разговора.

Так же спокойно посидел я у Чеснокова (4), так же спокойно посидел я вечер дома, спокойно играл в шашки с Николаем Дмитриевичем, дурачился внизу и потом говорил наверху с маменькою о делах Николая Дмитриевича и о том, что А. И. Мал[ышеву] должно отвезти еще денег. Решительно спокойно заснул, с большим, чем раньше, спокойствием читал «Fall und Untergang». И теперь я решительно спокоен. Я доволен собою, я поступил так, как должен был поступить, хотя лежит у меня на совести одно сомнение — об аневризме: я знал, что должно будет вести подобный разговор, и раньше должно было дать послушать свою грудь Стефани. Однако аневризму я не верю, и это меня мало беспокоит.

Да, поступил почти как должно было поступить.

Теперь продолжаю свой рассказ.

Я просил О. С. танцевать со мною еще. Она сказала, что может танцевать девятую кадрили.

В промежутке я любезничал в двух кадрилях с Катериною Матвеевною и делал довольно много дурачеств.

Между прочим Палимпсестов мне сказал, что и ему О. С. назвала себя демократкою. И я, проходя мимо нее, сказал, что мое

предположение оказывается верно, что условие осуществилось, и теперь моя любовь к ней безусловна.

Потом, когда она сидела в углу, где стоит образ, я сказал ей, что ей следовало бы жить не в Саратове, а в Париже. Она приняла это за дерзость (и ушла, не давши мне объясниться), потому что поняла [так], что я хотел этим сказать, что она слишком легкомысленна.

Несколько раз я говорил ей, что она кокетка.

Наконец закуска. (Сначала я сидел подле Катерины Матвеевны, потом сел подле нее) (6). Она кормила со своей руки Палимпсестова; я шалил, отнимал у него тарелку, которую держал он на ее коленях и которую после отдала она ему, дурачился страшно, наконец, взял ее салфетку и приложил к сердцу. Воронов хотел у меня ее вырвать, я не давал; у нас началась настоящая борьба — я вырвал-таки эту салфетку. Она попрежнему продолжала шалить с Палимпсестовым, и наконец я сказал ей: «Бросаю вас, гордая красавица». Она обиделась этим и сказала, что не будет со мною танцевать. Я умаливал, упрямил ее — она ушла в задние комнаты и по возвращении оттуда все не шла танцевать со мною. Я просил брата, который весь вечер был мой визави. Она не шла. Конечно, все это было с моей стороны шутка. Она в самом деле хотела подразнить меня и в самом деле приняла (9) мои слова за оскорбление. — Наконец, я взял вилку и сказал, что проткну себе грудь, если она не простит меня. — «Пусть, пусть, — сказал Палимпсестов, — он этого не сделает». — «Конечно этого я не сделаю, но вот что сделаю, — и я приставил вилку к левой руке, — руку я проткну». — Она, кажется, поверила этому — да и в самом деле я сделал бы это из дурачества. — «Хорошо, хорошо, я танцую с вами», сказала она, закрывая лицо руками. И мы сели у окна на улицу, которое ближе к бабушкиной комнате и к часам. — Я начал говорить любезности несколько серьезным тоном (10) и гораздо умереннее, так что эти фразы заключали уже в себе мало романического (11). — «Вы мне нравитесь, потому что — я не говорю о том, хороши ли вы собою, об этом нечего говорить, — но я теперь могу видеть ваш ум. Я много о вас слышу такого, что заставляет меня смотреть на вас особыми глазами (12), и кроме того в вас есть то, чего нет почти ни у кого из наших девиц — такой образ мыслей, за который я не могу не любить». — «Неужели вы считаете меня настолько глупой, что я поверю вашим словам?» — «Почему же? Я не говорю вам ничего романического». — «А ваше выражение о том, что я парижанка?» — «Вот его смысл: в вас столько ума, что вы должны бы играть такую роль, какой еще не играли женщины в нашем обществе, но какая отчасти уже принадлежит им в Европе, особенно в Париже, где женщина, правда, не равна еще мужчине, но гораздо более, чем у нас, имеет прав, значения и влияния».

(За закускою, когда она протянула руку Палимпсестову, чтобы положить ему в рот какое-то пирожное или сухарь, я поцеловал эту руку — общий смех и крик.)



Итак, мы расстались. Я провожал ее до саней.

Продолжаю 20 февраля, в половине третьего, после обеда. Когда же мы увиделись в следующий раз? Должно быть не раньше катания в следующее за этим воскресенье. Итак:

В следующее воскресенье я был с визитом у Ростислава. Его не застал дома. Все это было пока только обыкновенное желание полюбезничать с кем-нибудь, для того, чтобы иметь случай узнать общество и женщин.

Но буду продолжать после, теперь опишу прямо вчерашние события, пока не спутались они в памяти.

### События 19-го февраля, четверг.

Я после обеда в  $3\frac{3}{4}$  часа сидел в гостиной с Николаем Дмитриевичем, играл в шашки. Через несколько времени я должен был отправиться к Николаю Ивановичу, но я колебался,— не побывать ли мне по дороге у Васильевых. Вероятно, я был бы, потому что после событий вчерашнего дня, когда она показала вид оскорбленной, и когда между тем в разговоре мне показалось, будто она сказала, что у них будет в четверг Палимпсестов, мне не хотелось, чтобы она увиделась с ним, сказала ему что-нибудь нехорошее про меня, потому что этот человек был так доверчив ко мне в отношениях с ней. Но я предполагал зайти только на минуту и попросить у нее прощения во всяком случае, будет ли мне время оправдаться или нет; если удастся, то объяснить ей те из своих поступков, которыми могла она оскорбиться. В пятницу она сказала мне, чтобы я был у них, когда я в среду сказал, что желал бы переговорить с нею серьезно. Что я хотел говорить? Я хотел сказать почти то же, что сказал, и действительно, в четверг план у меня был такой:

«Ольга Сократовна! Вы, вероятно, шутите со мною, но, может быть, и не шутите. Во всяком случае я скажу вам, что вы почти решительно увлекли меня и что я был бы счастлив, если бы мог назвать вас своею супругою, но я не могу этого сделать; причин на это много, некоторые из них я не могу высказать теперь. Вот некоторые из тех, которые можно высказать:

1) Живучи здесь, я не буду никогда иметь средств к жизни, потому что теперь я получаю всего 2 000 [р.] ассигнациями в год и более получить не могу. Карьеры здесь передо мной нет никакой; уроков я здесь иметь не могу, потому что никто не захочет иметь такого учителя, у которого нельзя ничему выучиться.

2) Итак, я должен ехать в Петербург. Там жить дорого, и не знаю, скоро ли могу я иметь там средства для жизни. Кроме того, явиться туда женатым было бы для меня плохую рекомендацией в глазах моих петербургских доброжелателей, которые не позволяют молодым людям жениться раньше, чем они окончательно устроят свои дела. А я уеду непременно в Петербург; итак, я должен ехать туда один и связывать себя семейством не могу.

3) Здесь мы не можем оставаться по моим семейным отношениям и по моим понятиям о том, как должен муж жить с женой, — понятиям, которые никак не могут быть осуществлены здесь.

4) Мой образ мыслей таков, что раньше или позже я непременно попадусь<sup>220</sup> — поэтому я не могу связывать ничьей судьбы со своей. Довольно и того уже, что с моей жизнью связана жизнь маменьки.

5) Я не уверен, что у меня нет аневризма или чахотки (последней, однако, я боюсь менее).

(А причины, которые не хотел высказать, были: мой характер угрюмый, почти неуживчивый в семейном кругу, наконец, такой, что я никак не могу быть главою семейства, а вечно остаюсь каким-то мальчиком.) (Об аневризме я хочу посоветоваться с Стефани в начале марта, после того, как получу жалованье и буду в состоянии сделать ему какой-нибудь подарок — так это и сделаю теперь.)

«Итак, вы видите, что я не могу быть вашим мужем: я не имею права связывать вас. Но если наше знакомство будет продолжаться, я увлекусь вами до того, что не буду в состоянии удержаться от глупости и подлости просить вас о том, чтоб быть моей женою. После того мне кажется, что наши отношения с вами должны быть прекращены, потому что для меня игра перестает быть игрою».

Вот что я хотел сказать ей в пятницу.

Мало этого однако. Я хотел идти дальше.

Я чувствовал, что если я пропущу этот случай жениться, то с моим характером может быть весьма не скоро представится другой случай, и пройдет моя молодость в сухом одиночестве.

Я был убежден, что с подобною женою я был бы счастлив, и что она именно так держала бы себя в отношении ко мне, как должна держать по моему характеру, и что ее характер таков, какой нужен для того, чтобы мой характер не сделался окончательно серьезно-угрюмым. Я чувствовал, что мне нужно жену с твердым характером, которая могла бы управлять мною. И у нее был именно такой характер. Поэтому я должен сказать, что я почел бы высоким счастьем жениться на ней. Поэтому, чтобы оставить себе возможность не отказаться от надежды на это счастье, я хотел прибавить:

«Как бы то ни было, но я люблю вас; поэтому я позволяю себе сказать вам вот что:

Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь молва запятнает ваше имя, так что вы не будете надеяться иметь другого мужа, и что вам все-таки будет хотеться получить защиту мужа, то я в таком случае — когда я буду единственным мужем возможным для вас — всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем».

Чего я ожидал от этого? Разрыва наших отношений. Но было у меня какое-то предчувствие, что они не разорвутся. Этого я [не] желал. А желал, если выразиться определеннее, я вот чего:

«Вы мне нравитесь, я вам нравлюсь — почему же нам не полюбозничать?» — «Вы боитесь за мое имя?» — «Я за него боюсь. Когда будет нам время разойтись, — мы еще увидим».

Итак, я главным образом хотел начать этот разговор для очищения своей совести от тех упреков, которые она уже начинала делать мне и которые мне высказал, как неминуемое следствие продолжения наших отношений, Палимпсестов. Жалкое средство! Жалкое успокоение!

К счастью моему, вышло иначе. Кончилось тем, что я высказал то, о чем бродили у [меня] только темные мысли, однако, бродили.

Итак, мы сидели за шашками с Николаем Дмитриевичем. Мы сидели в гостиной у дивана. Вдруг вошел Василий Дмитриевич. — «Я имею передать новость, — сказал он, взяв меня к окну (Николай Дмитриевич остался у дивана). — Вот вам высочайший приказ отправляться со мною» — и он показал мне на ладони маленькую записочку (руку я узнал по тем вопросам и ответам, которые мы с нею писали друг другу у Шапошниковых):

«Василий Дмитриевич! Приходите к нам в 3<sup>1/2</sup> часа и приводите с собою Чернышевского. Мне весьма нужно его видеть». Кажется, почти так была написана записка. Постараюсь взять подлинник, если будет можно (если он еще цел).

Я думал, что она хочет помириться со мною, думая, что я рассержен ее вчерашним обращением со мною.

Я пошел одеваться к себе наверх. Там спала маменька. Я боялся разбудить ее, чтобы она не стала спрашивать — куда. Удалось. И мы вышли.

(Оставляю писать, чтобы сходить к Василию Дмитриевичу, главным образом затем, чтобы взять записку, если она еще цела у него.)

Итак, мы пошли. Входим по обыкновению с заднего крыльца. Дверь в комнату Ростислава заперта. Он болен. Мы стоим в недоумении в комнате, которая перед ее комнатою. Из-за ширм тогда раздается голос О. С. — что сказала она, я не помню. Она выходит, здоровается, подает руку. Мы садимся у стола столовой. О. С. выносит билетики, которых два остались у меня. Из-за ширм раздается голос Катерины Матвеевны Патрикеевой: «Я больна». Наконец, выходит, я сажусь *vis à vis*, Катерина Матвеевна на высоком стуле подле О. С., которая у окна. Потом стул начинает шататься, мы меняемся стульями. Продолжаем сидеть. Василий Дмитриевич говорит: «Садитесь подле них». — Я говорю: «Зачем?» — Мне велят они садиться. Наконец, я сажусь. А перед этим еще, когда я сидел *vis à vis*, О. С. заворачивает рукав немного выше локтя: «Смотрите, какая прелестная рука!» — «Это обязывает меня поцеловать ее», — говорю я ей обыкновенным своим вялым тоном. А только что взошедши, я говорю О. С.: «Плохая вы кокетка. Я хотел быть у вас ныне и так, вот почему». — «Да с чего вы взяли, что Палимпсестов будет ныне? Он

всего только раз и был у нас, да и то с визитом». — «Все равно, я ныне был бы у вас».

Разговор почти не идет, оттого что я не хочу говорить не серьезно, а серьезно говорить нельзя, потому что подле Катерина Матвеевна. — Они беспрестанно встают и выходят то та, то другая; наконец, когда раз вышла О. С., Катерина Матвеевна села на ее место. О. С., воротившись, села с другой стороны подле меня. Стул мой был оборочен спинкою к ней, и она положила на спинку свою руку, которую рукав закрывал только до локтя. «Это затем, чтобы я целовал ее?» — «Конечно». — И я начал целовать ее руку у локтя. Не помню, о чем мы говорили. Но это были обыкновенные разговоры в том тоне, что говорил, что она кокетничает со мной и что вызывает меня на любезности и комплименты. Наконец она встала и, сходявши в комнаты матери, прибежала, говоря, что мать хочет меня видеть. И они повели меня за руки, говорили обе: «Только смотрите, не слишком долго сидите, потому что это скучно». — «Это зависеть будет не от меня». — И вот входим. Лицо матери весьма умное. Но видно, что не совсем добрая женщина. Сажусь, и Василий Димитриевич тоже. Разговор ведет мать, так что видно ее уменье. После, если будет нужно, опишу подробнее впечатление. (Описание их шалостей в это время.) Наконец я вижу, что пора уйти, и Василий Димитриевич встает и я вслед за ним. Входим в столовую. Несколько времени говорю не помню что, но в обыкновенном роде, среднее между любезничанием и серьезным разговором. Наконец, я говорю, потому что я приготовлялся говорить еще с воскресенья: «О. С., я имею сказать вам несколько слов серьезно». — «Говорите», — «Здесь нельзя. Пойдемте со мной», — и я беру ее под руку, и мы выходим в другую комнату, которая перед комнатою Ростислава. Не помню, как я начал разговор; кажется, я начал с того, что прошу ее выслушать; так, так, с этого. Мы сели на кровать, которая от двери из столовой налево; она села налево, я направо. «Я буду говорить решительно серьезно и прямо. Но только прошу вас выслушать меня и говорить со мною тоже искренно и прямо, как говорю я... Не знаю, как мне начать... Не умею приискать выражения». И я несколько времени придумывал фразы, потому что в самом деле не знал, как сказать те щекотливые вещи, которые решился сказать. Я не мог видеть, конечно, в каком она положении, потому что смотрел прямо вперед, усиливаясь найти выражения как можно деликатнее. «Не знаю, как сказать, не умею выбрать выражения такие, чтобы они не оскорбили вас». — «Не ищите, говорите, что хотите сказать». — «Это будет не совсем то, чего должно ожидать в наших отношениях». — Я не чувствовал, чтобы моя кровь кипела, но я был в напряженном состоянии, хотя несколько не терял головы.

«Вот что я скажу вам. Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь вам случится иметь надобность во мне, вы если когда-нибудь... (я снова не знал, как сказать) вы получите такое оскорбление, после которого вам понадобится бы я, вы можете



О. С. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

Фото. Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове

требовать от меня всего». — «Да этого никогда не случится». — «Я знаю, что этого почти не может быть, но если бы... вы можете требовать от меня всего». — «Так вы хотите быть моим другом? Благодарю вас». (Конечно, это сказала она тоном: «вы отказываетесь, как теперь быть?») — Прибежала Катерина Матвеевна, соскучившись, что мы долго сидим одни, пришел Василий Димитрисвич, подали чай. Катерица Матвеевна мешала продолжать разговор. «Вы все любезничаете». — «Вовсе нет, — сказали мы (в первый раз я говорю о нас вместе), — вы мешаете» (об участии, детей и ее). — И выпивши чай (стакан шоколадный), мы сказали друг другу: «Пойдемте в другую комнату, оставим их» — и вышли снова в столовую, сели, — она у окна, я по другую сторону стола с длинного бока, так что между нами был угол. Это было в 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов. Я посмотрел 2—3 секунды на нее, она не сводила с меня глаз. — «Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но все-таки я скажу:»

«Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы».

«Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая веселость».

«Я не могу, не имею возможности отвечать вам на это тем, чем должен был бы отвечать».

(Продолжаю в 11 часов вечера. А завтра к Стефани, чтоб осмотрел грудь.)

«Скажите, у вас есть женихи?»

«Есть, два».

«Но они дурны? Линдгрэн?» (Это имя я произнес так, что: конечно, уже в числе этих двух вы не считаете его.)

«Нет». (Таким тоном, что: как же это может быть?)

«Яковлев? Он не дурной человек?»

«Поэтому-то я не могу выйти за него. Другой мой жених старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков (к дяде или другому родственнику, как она сказала — не помню я). Там меня сватал один помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик, и я отвечала ему, что без папеньки я не могу согласиться, да не согласилась бы, если б и было согласие папеньки — как же решиться сгубить свою молодость?»

«Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно. Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как

бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и еще более полюбит мою жену».

(Продолжаю 21 февраля в 7 часов утра перед отправлением к Стефани.)

«Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым бы я мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома — я не вхожу ни в какие семейные дела, все мое житье дома ограничивается тем, что я дурачусь с маменькою, и только. Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым?»

«С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою — я такие вещи говорю в классе»<sup>221</sup>.

«Да, я слышала это».

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может быть с годами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?»

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. И я не знаю, охладю ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый христианин каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».

Она почти засмеялась — ей показалось это странно и невероятным.

«Каким же это образом?»

«Вы об этом мало думали или вовсе не думали?»

«Вовсе не думала».

«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет,

я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие».

«Вместе с Костомаровым?»

«Едва ли — он слишком благороден, <sup>и</sup> этичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

«Не испугает и меня». (О, боже мой! Если б эти слова были сказаны с сознанием их значения!)

«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей».

(На ее лице были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы.)

«Довольно и того уже, что с моей судьбой связана судьба маленьки, которая не переживет подобных событий».

«Вот видите — вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не могу говорить. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?»

«Помню».

«Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у нее родится сын глухонемой. Здоровье ее расстраивается на всю жизнь. Наконец, его выпускают. Наконец, ему позволяют уехать из России. Предлогом для него была болезнь жены (ей в самом деле были нужны воды) и лечение сына. Он там продолжает писать против больше\* и о России. Живет где-то в сардинских владениях. Вдруг Людовик Наполеон, теперь император Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диеппе, услышав об этом, падает мертвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю им и что я должен ожидать подобной участи».

Теперь воротился из класса и принимаюсь писать о посещении Стефани.

Пошел к нему в 8¼. Пошел по Немецкой улице, гораздо дальше, чем дом Полякова, и искал его не на той стороне, наконец нашел. Вхожу — никого, выходит сам Стефани. Идем в залу. Он слушает во всех местах грудь и говорит, что дыхание реши-

---

\* Два слова неразборчивы; может быть, несколько или отчасти.  
Ред.



тельно чистое, что биение сердца весьма правильное и что он ручается, что опасности нет никакой. Что до того, что колет грудь против соска, то это было у него самого и прошло вот только с полгода. Но что биение сердца в самом деле сильное, — конечно, от того, что я взволнован, как бы то ни было, весь: жизнь и смерть — не все равно, и оттого, что я шел пешком. (А я нарочно шел пешком, чтобы биение сердца было самое сильное, какое только бывает у меня.) И что таким образом не должно опасаться ни чахотки, ни аневризма. Я ему сказал, зачем мне это нужно, что поэтому мне нужен ответ самый строго истинный, чтобы не погубить других. Он сказал, что уверяет меня честным словом. Я пожал ему руку и пошел назад.

Это теперь сняло всякое сомнение с меня. Теперь я готов просить ее о том, чтобы она не выбирала себе другого жениха. Но нет, этого я не скажу ей, потому что это значило бы стеснять ее. Однако я и ожидал, что мои опасения вздор, что они происходят единственно от моей мнительности.

(Садятся обедать, после обеда буду продолжать.)

Продолжаю после ужина, три четверти двенадцатого.

Итак, я дописал до того, что говорил об образе мыслей. Это все говорилось, сидя в столовой у стола, стоящего у окон. Катерина Матвеевна снова начала приставать, скоро ли мы кончим, и мешать и звать в залу. — «Ну, пойдемте», и пошли. Мы сели у окна на двор, которое ближе к улице. Она села к столу спиной вполоборота, облокотясь на окно, я обернул стул и сел боком к окну, переложивши руку локтем за спинку стула.

«Вот видите, наши отношения не должны кончиться тем, чем следовало бы им кончиться, — нам следовало бы их прекратить».

«Правда».

Мы посидели несколько секунд в молчании. Мне стало жаль ее и себя.

«Вы недовольны окончанием моего разговора. Хорошо, если вам угодно, я скажу то, что не должен бы говорить, что не имею права говорить: вы всегда можете обратиться ко мне».

(Здесь вставка о том, что не она завлекает меня, а я сам хотел вести этот разговор и готовился к нему в пятницу.)

«Да вы уедете».

«Известите меня в Петербурге, все равно, и я по первому вашему слову скажу все, что вы от меня потребуете».

Она молчала.

«Вы недовольны этим? Хорошо, я скажу больше: я поеду весной в Петербург, к рождеству я устрою там свои дела и приеду в Саратов. Если у вас не будет другого жениха лучше, я буду просить вас быть моей женою. Но только с тем условием говорю я это, чтобы вы считали себя решительно не связанной никакими обязанностями в отношении ко мне, только с этим условием, не иначе. Хорошо? Так? Итак, я говорю вам: считайте меня своим

женихом, не давая мне права считать вас своею невестой. Дольны ли вы?»

«Довольна».

«Дайте же мне вашу руку в знак согласия».

И я взял ее руку.

«Дайте же мне еще что-нибудь на память этого вечера».

«Что же?»

«Какую-нибудь безделицу, вроде тех, которые вы давали».

И я вынул папиросницу, вынул папиросы, чтобы закурить, — она сказала:

«Дайте одну мне. Вы сами их делали? Она останется у меня на память».

«Нет, не берите — они гадкие, я лучше дам что-нибудь другое».

«Да с вами нет ничего, что бы вы могли дать».

Я ощупал карманы своего жилета.

«Возьмите этот ключ».

«Это, говорят, дурная примета».

«О, все равно».

«Так вы не верите приметам? хорошо. Да чем же вы отопрете ящик?»

«У меня есть другой».

И она вынула связку ключей, чтобы тотчас ввязать его между них. Но встала и ушла ввязывать в другую комнату. Вышедши оттуда, она подала мне тоже очень маленький ключик.

«Я хотела б дать вам этот перстенок, но он нехорош, лучше что-нибудь другое. Я беру ключ от вашего сердца, вот вам ключ от моего».

«Я не требую непременно вполне один владеть им, я прошу только, чтобы в нем было место для памяти о том, что я искренно привязан и предан вам, что я люблю вас».

Когда она снова вошла в комнату с ключиком, я стоял; она села на то место, где раньше сидел я, а меня посадила на то, где сидела сама, так что теперь она сидела у окна, я у стола.

Но ныне же расскажу, как я был у них.

Нарочно дожидаясь по выходе из класса Венедикта (на дворе) и спросил о здоровье Ростислава — тот засмеялся: «нездоров». Я вчера же, бывши у Николая Ивановича, раскаивался, что не был у них — почему? Это было в нашем разговоре с нею. Итак, отправляясь за покупкою перчаток для завтрашнего маскарада, я зашел к ним. Ростислав лежал в столовой. Она сидела за своими ширмами. Я посидел у постели Ростислава и видя, что ему тяжело, пошел. Но уже я слышал из другой комнаты ее разговор с кузиною и хотел попросить ее выйти ко мне. Но они сидели у окна. Она подрубала платок.

«Ольга Сократовна, мне нужно сказать вам два слова».

«Говорите».

«Нет, одной».

«Ну, говорите» — и кузина встала со стула, но стала у шкапа, так что должна была слышать.

«Нет, Ольга Сократовна, выйдите сюда», — и я взял ее за руку. Мы вышли на середину комнаты.

«Мне должно, я думаю, быть завтра с визитом у Анны Кирилловны?»

«Зачем?»

«Я думаю, что визит должно сделать».

«Нет, не к чему — у нас знакомства ведутся не так».

«Вчера, — она все держалась довольно далеко от меня, так что мне нельзя было говорить шопотом, и я положил ей руку на талию, чтобы стала ближе, — еще я говорил с вами не таким языком, каким должен был бы говорить, каким должен говорить же-них. Меня мучит это. Завтра я буду говорить другим языком. Тогда было препятствие, которое теперь уничтожилось».

«Хорошо, мы переговорим завтра, — сказала она. — Вы будете?»

«Буду непременно. Прощайте же, Ольга Сократовна».

Я пожал ей руку и пошел. Вышел было уже в ту комнату, которая перед переднею, как встретила мне [старуха] с чаем. Я не хотел брать, но служанка старуха сказала: «кушайте» — и я воротился и сел на другом конце стола.

Она сказала, что получила от Палимпсестова стихи, но уже у нее были присланы, что поручает кланяться Палимпсестову и сказать ему, чтобы он был в маскарade, что она танцует с ним четвертую кадрили, что я буду его визави. «Когда был Линдгрен?» — спросил я. — «Вчера. Вы были вчера у Чесноковых в шоколадного цвета пальто и вчера говорили о вас весьма много». — «Как я счастлив, что есть такие добрые люди, которые говорят не о себе, а обо мне». Я, допивши чай, сказал: «Не думайте, чтобы я пил так долго потому, чтобы мне было приятно оставаться подольше в вашем обществе, а потому, что я не могу пить горячего чаю. Прощайте». — «Так вы будете непременно?» — «Буду».

Теперь  $\frac{3}{4}$  первого, ложусь.

(Продолжаю. 10 часов утра 22 февраля, воскресенье. Вечером буду в маскарade.)

...«прошу только о том, чтобы вы помнили о том, что я искренно и глубоко привязан к вам».

И я замолчал на несколько секунд. А между тем маленькая сестрица ее играла, и Катерина Матвеевна, не знаю с кем, должно быть с Василием Дмитриевичем, танцевала, не знаю что.

«Теперь мы с вами почти жених и невеста. Теперь я прошу вас поцеловать меня — это будет залогом наших отношений».

«Нет, я поцелую вас только тогда, когда меня принудят. Нет, это будет меня мучить».

«Я никогда не целовал ни одной женщины».

«И я никогда никого не целовала».

(Конечно, я должен бы сказать, что об этом-то нечего и спрашивать. Это целомудрие при видимом завлечении — например, обнажение руки — сильно подействовало на меня. И я не знаю, что меня более связывало бы: то, если бы она меня поцеловала, или то, что она не согласилась поцеловать меня, — это целомудрие и эти слова, искренние слова: «это будет меня мучить».)

Я говорю, повидимому, спокойно. Но я весь дрожу от волнения (NB. В продолжение всего разговора весьма часто повторял, что я уверен, что жить с нею было бы для меня счастьем).

«Конечно, все это должно остаться тайною. Вы пока никому не будете этого говорить?»

«Конечно».

«И теперь мы должны видиться реже?»

«Конечно».

«Это я буду делать, как мне покажется нужным».

«Если хотите, я не буду выходить к вам, когда вы будете бывать».

Катерина Матвеевна, как уже было несколько раз, снова подошла и приставала, чтоб танцевали. Я встал и сказал, что если она не отойдет, то поцелую ее, и поцеловал ей руку, что ей приятно, но что она боится.

«Как? При мне! Какой бессовестный!»

Катерина Матвеевна ушла, боясь, чтобы я в самом деле не поцеловал ее. Но я едва ли бы это сделал, потому что это было [6] нарушение верности, хотя бы в шутку.

«Так вы в самом деле ревнивы, Ольга Сократовна?»

«В самом деле ревнива».

«Ревновать вам не будет повода»..

«Любили ли вы кого-нибудь уже?»

«Нет, никогда, никого. Только раз в жизни интересовался я одной девицею, чего теперь сам стыжусь. Правда, она хороша, добра, умна, но интересоваться ею было решительно глупо».

«Кто же это?»

«Нет, теперь не назову ее имени, потому что мне стыдно будет перед вами за свое увлечение. Скажу только, что никогда не говорил я с нею ни одной любезности, кроме того, что когда раз одна дама при разговоре о том, кто здесь красавицы, назвала ее, я через несколько дней сказал этой девице, что вот такая-то дама назвала вас красавицею. А потом, недели через две или три (когда, конечно, она уже и позабыла эти слова) я при случае сказал, что люблю всех, кто любит тех, кого я люблю, и поэтому люблю эту даму (NB: это была Прасковья Ивановна Залетаева). Кроме, никогда ни к кому я не чувствовал влечения. Это та девица, с которой, помните, я хотел объясниться предложением ее учить мудрости человеческой. Да, я никого еще не любил. Люблю ли я вас, этого я не знаю, потому что не испытывал никогда любви».

Я не знаю, то ли это чувство, которое я имею к вам. Но я могу сказать, и это будет правда, что с тех пор, как увидел я вас, единственною моею мыслью были вы. Составляет ли это любовь, или для того, чтобы была любовь, нужно еще что-нибудь, не знаю; но что с тех пор, как увидел вас, я думаю только о вас, это правда».

Несколько секунд я промолчал.

Пришли Николай Дмитриевич и Сережа. Мешают. Собираюсь с визитами к Бауэру, может быть Залетаевым. После буду продолжать. Жаль, что не знаю, будет ли она у Акимовых. Однако лучше не быть там. — 25 минут одиннадцатого.

(Продолжаю. 4 часа.)

Я промолчал несколько секунд. Дело решено. Кончилось мое любезничанье. Начинаются серьезные обязанности. Не буду уже более сближаться я ни с одною девицею, я не молодой человек, я семьянин.

«Скоро же прошла моя молодость!» — сказал я, и слезы навернулись у меня на глазах. «Она кончилась нынешний день, а началась с того дня, в который я увидел вас» (т.-е., должен я добавить, у Акимовых) ... (Что однако? Это решительно не в моем характере, это был опасный путь, и хорошо, что он скоро довел меня до конца и конца прекрасного.)

«Да, я всегда позабываю во-время сказать то, что должно сказать: религиозны ли вы?»

«Нет».

«Я должен сказать вам, что я не верю всем этим вещам».

«Я и сама почти не верю».

«Я это сказал потому, что это могло бы в противном случае быть источником огорчений для вас... Но я должен сказать вам, что я делаю вам предложение только потому, что думаю, что этим оказываю вам... (я приискивал слова) оказываю вам услугу. Так ли?»

«Почти так».

«Я говорю вам такие вещи, что вы можете быть искренни. Зачем это почти? Говорите прямо».

«Если хотите, «почти» могу опустить».

«Я человек прямой и искренно привязан к вам. Не думаю, чтобы когда-нибудь я вздумал воспользоваться вашею откровенностью и сказать, что я делал вам одолжение, женюсь на вас. Нет, вы доставляете мне, вероятно, счастье на всю жизнь. Этого ответа я выпрашивал у вас для того, чтобы мне самому быть спокойным, что я не лишил вас лучшей будущности. Я, повторяю вам, принимаю на себя обязанность быть вашим женихом, не возлагая на вас никаких обязанностей. Так ли? Вашу руку, что вы не будете стесняться в выборе, если бы представился кто-нибудь лучше меня».

Она подала руку.

«Да, относительно приданого. Само собою, что чем менее, тем лучше; лишь бы можно было сделать свадьбу».

(Как просто и благородно сказала она!) «Я приношу вам саму себя. Вот настоящее приданое. Но что мне назначено, то будет мне дано. Не думайте, чтобы я любила наряды. Если теперь для меня папенька что-нибудь делает, то это потому, что он меня любит. И я постоянно отказываюсь от того, что он мне хочет сделать. Я не привыкла к роскоши».

«У нас будет в Петербурге может быть 2 000 р. серебром в год, но едва ли; тысячи полторы, конечно, будет. На эти деньги можно кое-как жить в Петербурге без больших лишений»<sup>222</sup>.

«Конечно; разве мы будем давать балы, жить открыто? Я не привязана к удовольствиям».

(Продолжаю в 8 часов вечера перед отправлением в маскарад.)

И снова стали подходить к нам и снова стали мешать, главным образом Катерина Матвеевна.

«Итак, вы выходите за меня потому, что вам тяжело жить дома. Но не позабудете ли вы это, не будете ли раскаиваться?»

«Нет, я слишком много перенесла, чтобы забыть».

«Итак, я ваш жених, если у вас не будет жениха лучше меня. Я вас не стесняю. Но сам обязываюсь. Конечно, я понимаю, что наш разговор не в таком тоне, в каком он должен бы быть, — не так должен говорить жених, предлагающий свою руку. Но я должен был говорить так. Вы недовольны моим тоном?»

«Нет, вы говорили так, как должно».

«Итак, повторяю вам, что я думаю, что жить с вами будет для меня источником весьма, весьма большого счастья. Я буду привязан к вам, предан вам решительно. За это я прошу только, чтобы вы не забывали, что я люблю вас. Теперь вы может быть считаете меня простачком. Но вы увидите, что я не увлекался, не ослеплялся, не обманывался, что я понимаю, что делаю; что я увлекся вами, потому что вы достойны того, чтобы увлечься вами».

К нам снова подошли.

«Наш разговор кажется кончен?» — сказал я.

«Кажется».

«Вы поменялись местами?» — сказал Василий Дмитриевич.

«Да, в самом деле здесь роли были наоборот против обыкновенного», — сказал я.

В самом деле — мне делали предложение, я принимал его.

И мы встали и начали прощаться.

«Вы будете в маскараде в воскресенье?»

«Теперь зачем же?» — сказал я.

«Будьте».

«Непременно буду, если вам так угодно. Я танцую с вами первую и пятую кадрили (с Катериной Матвеевной вторую и четвертую). Когда быть мне в маскараде?»

«В 9 часов, мы будем в десятом».

И мы простились.

Да, еще вставка. — Скоро после того, как мы переменялись ключами, она встала и пошла вместе со мною в комнату Ростислава, и Катерина Матвеевна приставала ко мне, много ли я любезничал с О. С. и кого я более люблю. «Вы ребенок», — сказал я. — «А меня вы как можете назвать? — сказала О. С.: — тоже ребенком?» — «Нет, вас я назову не ребенком, а...» — я должен был закончить и мысленно закончил — «моею невестою, которая знает жизнь и испытала ее».

Весь этот разговор был веден спокойным голосом. Но я дрожал от волнения.

После я зашел к Чеснокову, и как тяжело было мне не высказаться и вести такой разговор, чтобы не высказаться!

Теперь, кажется, описан почти весь разговор. Начинаю собирать.

На другой день я чувствовал себя решительно довольным и счастливым, что это произошло так, что я стал ее женихом, во всяком случае в случае недостатка лучшего. Но теперь я готов просить ее быть моею невестою непременно, хотя не должен говорить этого, чтобы не стеснять ее выбора и не отнимать у нее возможности лучшей будущности, если ей покажется, что с другим ее будущность будет счастливее, чем со мною.

Маскарад. (Писано 23 февраля в 7 часов утра.)

С каким нетерпением я ждал маскарада, чтоб говорить с О. С. так, как должно любящему человеку! Это не удалось, но все-таки я доволен, что был, потому что этот маскарад был ее торжеством.

Днем я сделал много дел. Не делал только своего. Был у Корелина и у Николая Ивановича, т.-е. для того, чтоб говорить с Прудентовым по его делу. Раньше был у Бауэра; был у Залетаевых. Воротившись, играл до обеда в шашки и писал дневник. После обеда снова в шашки, снова писал. Ходил к Чеснокову; после пришел Василий Димитриевич и просидел до 8 ч.; как ушел, я тотчас [стал] одеваться с неимоверным парадом; наконец, оделся, надел даже белый жилет — «теперь я одет почти как жених». Приехал ровно в 9 часов. Никого в зале еще, решительно никого. Я вышел на улицу, простоял с  $\frac{1}{3}$  часа. Вошел. Там уже Дружинин между прочим. Я прошел по зале с ним. Гляжу вверх — О. С. на хорах. Я туда. Сел к ней, сказал несколько слов общего разговора. — «Вас зовет Катерина Матвеевна», — сказала она. Я пересел к ней — раньше я не видел ее. «Как вам не стыдно!» — «Я так близорук — сколько раз я раскланивался

с вами, когда это были не вы!» и т. д. — Подсела О. С. Когда Катерина Матвеевна встала, я начал было разговор с О. С.:

«Ольга Сократовна. Мы говорили в четверг серьезно?»

«Конечно».

«Меня мучит, что я говорил не тем языком, которым должно было, которым хотел бы говорить. Мое счастье так велико, что я не смею верить ему, пока оно [не] исполнится».

Но тут начала играть музыка и мы сошли вниз.

В первой кадрили рядом сидел Линдгрэн, и она более говорила с ним, чем со мною.

Я было начал в первой фигуре что-то о своем счастье.

«Здесь могут подслушать, — и она начала другой разговор, — посмотрите, как танцует Неклюдов» — и еще про кого-то.

«Так вы смотрите на него? Смотрите на кого угодно, делайте, что угодно, но только, прошу вас, помните, что вы не найдете человека, который бы любил вас больше, чем я. Помните, что вас я люблю так много, что ваше счастье предпочитаю даже своей любви».

Она отвечала снова чем-то другим — здесь могут подслушать.

«Верно мне придётся молчать все время, потому что ни о чем другом я не могу говорить».

«Зачем же? Скажут, что этот кавалер и дама сердиты друг на друга, что не говорят».

Но более я ничего не говорил, кроме самых недлинных замечаний о чем-нибудь. После кадрили ушла она и я ушел куда-то. С Катериною Матвеевной во второй кадрили не говорил почти ничего.

И так время прошло до промежутка 4 кадрили и 5. Я был в бильярдной с Шеве. Вдруг подходит Федор Устинович и говорит: «Твоя дама отказывается от тебя на эту кадрили, однако она хочет сама говорить с тобою». — На три первые кадрили был у меня визави Городецкий, четвертую я не танцевал (третью с Афанасиею Яковлевною), на пятую и шестую едва нашел визави с дамою без маски (Абутькова). Я сказал, что визави мой, для того, чтобы найти по моей просьбе даму без маски, весьма хлопотал, и неловко было бы теперь мне отказаться. — «Однако, знаете, с кем вы хотите танцевать? — с Веденяпиным». — «Если у него нет визави, я могу уступить ему эту кадрили». — «Ну, хорошо, спросите его». Долго отыскивал я его, наконец нашел. Он не мог отказаться от своего визави. Я воротился — «нечего делать». — «Ну, хорошо, я танцую с вами». Эту кадрили я говорил довольно свободно, сказал и о том, что начал вести свой дневник снова. Она много говорила с Долинским, который сидел подле. Между 5 и 6 кадрили она не танцевала, так же как и между 4 и 5; я более сидел подле нее; говорил о посторонних предметах. (Да, Куприянова она хотела звать на 6 кадрили, но когда я сказал: «Пожалуйста, нет, это низкий, гадкий



человек» — она тотчас сказала: «Хорошо, позовите Пригаровского».)

(Продолжаю 23-го, понедельник вечером, 11 часов.)

Но из этого я увидел, что можно было говорить с нею серьезно, т.-е. что кавалеры могут говорить с девицами и без масок. И я весьма досадовал на себя за свою неопытность. (Просьба Катерины Матвеевны, чтобы скорее б кадрили моя, походя с А. Ф. Пластуновым, который с лукавою улыбкою смотрел, как я танцевал, — я наконец в этой кадрили любезничал.) Наконец, после б кадрили они собрались уезжать. Мне показалось, что они в уборной, и я их дожидаясь, а между тем они уехали. Я хотел просить О. С. сказать, когда я могу быть у них, чтобы говорить с нею тем тоном, которым следует говорить жениху.

Итак, мне маскарад был неудачен. Но зато мне Максимов сказал (это перед началом первой кадрили), что Васильева лучше всех девиц. Потом Шапошников сказал то же. Наконец, в другие танцы она была приглашаема более всех, так что, наконец, устала решительно и дышала весьма тяжело и танцевала со мною только первые 4 танца, а потом уж отказывалась почти постоянно и танцевать могла весьма немного. Как она разгорячилась! Как шел ей этот румянец! Да, она была истинно хороша! И я гордился тем, что она моя невеста! Да, гордился и радовался!

Так что вообще я доволен, что был в этом маскараде. Но чувство некоторой ревности было во мне, что она танцует и говорит с другими, а я этого всего не умею и не могу.

Ныне я решился быть у нее, чтоб говорить надлежащим тоном. Или лучше, чтоб спросить, когда могу говорить с нею. И вместо этого говорил. И вместо того, чтобы провести несколько минут у них, просидел более двух часов, в том числе с полчаса с Анною Кирилловною, остальное с нею, и никто нам не мешал.

Но ложусь; завтра опишу этот разговор и впечатление.

(Продолжаю 24 февраля в 7<sup>1/2</sup> час. утра, вторник.)

Вследствие разговора вчера (в понедельник) мне кажется, что я не так влюблен, как раньше, но, как бы то ни было, я вчера весь вечер думал о ней, и эти мысли не давали мне уснуть весьма долго — я беспрестанно просыпался, и как проснусь — она в мыслях. Меня огорчают две вещи в ее разговоре: 1) «получите ли вы место в университете?» 2) «разве все мужья любят своих жен, а жены мужей? довольно привязанности». — Это меня огорчает: теперь я вижу, что мне нужно любви. В следующий раз я должен говорить ей об этом. А вопрос о месте в университете как-то огорчил меня тем, что в нем виден какой-то расчет. Но это последнее пустяки. Как бы то ни было, я все люблю ее, может быть более, чем вчера. Ну, описываю наш разговор.

Я должен был обедать у Кобылиных и потом играл в карты ради Катерины Николаевны, которая, бедная, весьма похудела

и которую мне было весьма жаль, так что я в самом деле с участием смотрел на нее. Наконец, около 6 часов пришел Ал. Ник. и можно было обойтись без меня. Я тотчас отправился к О. С. — под тем предлогом, чтобы узнать о здоровье Ростислава, но в самом деле, чтобы увидеть ее и спросить, когда можно будет говорить с нею. Ростислав спал, я вышел в ее комнату, — снова ее голос слышался из-за ширмы.

«Можно взойти?»

«Нет нельзя», — и она вышла.

«Ольга Сократовна, я пришел попросить вас сказать мне, когда можно будет мне поговорить с вами».

«Если хотите, говорите и теперь. Сядемте».

И мы сели. Она к дверям их кухни с короткого бока стола, я с длинного.

«Я в четверг говорил весьма глупо, так что мне совестно; но что же делать? Я не мог говорить так, как бы мне хотелось тогда, потому что у меня было сомнение относительно моего здоровья».

«А теперь вы поздоровели?»

«Да, я был у одного доктора».

«Конечно, у Стефани, потому что он модный».

«Нет, потому что с ним я несколько знаком, видя его у Кобылина. Итак, я был у Стефани с просьбою посмотреть мою грудь — она весьма низкая и иногда болит; особенно я не могу писать — я думал, что это может быть начало болезни».

Она смеялась — и вообще наш разговор был очень испещрен моими просьбами не смеяться.

«Ну, что ж он вам сказал? Что у вас нет чахотки?»

«Не только сказал, а [и] сказал так, что я уверен в том, что он меня не обманывал».

(О, как сильно начинает мне хотеться снова видаться с ней, чтоб переговорить хорошенько! Я должен сказать ей между прочим, что мне нужна любовь, что без любви ее я буду несчастен; я должен сказать ей, что я сам должно быть в самом деле люблю ее, потому что, несмотря на то, что ревность решительно не в моем характере, я чувствую, что ревную ее, хотя без всякой причины конечно, т.-е. не то, что ревную, а мне завидно, мне жаль, если она хоть частичку своей мысли обратит с любовью на другого.)

(Продолжаю в 9<sup>1/2</sup> часов.)

«... Так что я уверен в том, что он меня не обманывал, мало того: посмеялся над моею грустью [перед] Кобылиным, который сказал мне об этом за обедом».

«Ну, итак, теперь вы спокойны?»

«Не смейтесь, пожалуйста. Да, теперь я во всяком случае уверен, что во мне нет никакой болезни, которая вела бы к скорой смерти. Итак, я теперь спокоен за себя и теперь прошу вас быть моей невестой. Согласны ли вы?»

«Да это будет еще на следующую зиму в январе».

«Я надеюсь воротиться раньше. Мне нужно только выдержать магистерский экзамен, это я кончу в 2 месяца. (Сейчас только я вспомнил, что тут рождественский пост, и что если это не будет в начале ноября, то должно быть отложено до января.) Итак: если не явится человек лучше меня, вы будете моею женою?»

«Папенька дал мне полную свободу выбирать, но все-таки это зависит не от одного моего согласия. Вы должны переговорить с папенькою».

«И это зависит от вас. Я сделаю это, когда вам будет угодно. Но вы согласны? Даете мне свое слово?»

«Даю».

«Когда я должен переговорить с Сократом Евгеньевичем, зависит от вас: перед отъездом моим или по возвращении. Если вам так кажется нужным, — даже теперь, хотя, по моему мнению, это не годится — это значило бы слишком рано связывать вас».

«Конечно, теперь рано еще. Но пойдемте к маменьке. Она хочет вас видеть».

Мы встали.

«Так я могу надеяться на вас?» — и я взял ее руку в свою.

«Можете».

В коридоре попался Сократ Евгеньич в рваном халате и поступил почти как Венедикт — чуть не убежал и едва поклонился, когда она сказала: «Папенька, рекомендую вам М-р Чернышевского».

Мы вошли в зал.

«Долго мне сидеть? Недолго?»

«Конечно, недолго».

Анна Кирилловна сидела в зале. Она умная женщина. Я не знал, как кончить разговор, и просидел более получаса. Наконец (она через 10 минут ушла), она выручила меня, введя Тыщенко. Я раскланялся. Теперь мы вышли в зал и сели снова на прежнем месте, где сидели тогда, только с тою разницею, что я сел к столу, она налево от меня.

Да, при самом начале разговора я сказал:

«Вот вы видели вчера, как я неловок: я даже не сумел поговорить с вами. Не будете ли вы стыдиться такого мужа?»

«Да, что вы неловок, нельзя не сказать; но разве мне нужно франта? Я не буду ни выезжать, ни танцовать».

«Скажите же, будете вы завтра на бале? Если будете, буду и я, чтоб полюбоваться вами».

«В самом деле? Хороша я была на вчерашнем бале! В своих голубых шу (choux), которые, как сказали мне, вовсе не идут ко мне».

«Я не знаю, идут ли они к вам или нет, но вы вчера были царицею бала».

«Ну, долго вы засиделись. Уж я привела Тыщенку, чтоб выручить вас. А уж маменька вас полюбила, и я думаю согласилась бы, если бы вы даже теперь сделали предложение».

«Это так, это я сам вижу. Да, я знал, что ей понравлюсь своею скромностью. Да, она очень любит скромных и поэтому-то так не любит вас. Ваша матушка женщина умная; говорят про нее, что она женщина тяжелого характера; она не любит вас, думаете вы; но если она недзвольна вами, это может быть потому, что она опасается за вас».

«Да, от слишком сильной любви».

«Позвольте же мне продолжать наш разговор. Я может быть, кажется вам, поступил безрассудно, неосмотрительно, прося вашей руки, между тем как так мало еще времени знал вас. Но поверьте — и впоследствии для вас, когда вы меня более узнаете, это будет понятно, что я поступаю рассчитанно и совершенно благо-разумно».

«Конечно, не могли же вы сделать это только потому, что 3—4 раза видели меня».

«Видите, я человек весьма мнительный, но вместе с тем и самоуверенный в некоторых случаях. Во всяком случае я уверен, что могу полагаться, [что] впечатление, которое производит на меня человек, бывает верно. Что вы добры, это я знаю — конечно из мелочей, из пустяков, но эти пустые случаи совершенно достаточны, чтобы быть уверену в том, что у вас доброе сердце. Что вы умны, и это уже я решительно знаю. Одним словом, я весьма хорошо знаю, почему я поступаю так».

«Да ведь вы женитесь на мне из сострадания».

«Боже мой, к чему говорить такие вещи?»

«Ведь вы сами же это сказали».

«Разве таков был смысл моих слов? Видите, я настолько умен, что не мог бы никогда полюбить такой девушки, которая на мою привязанность к ней могла бы смотреть с сожалением и насмешкою. А разве вы пошли бы за меня, если бы ваше положение не было тяжело?»

«Что же особенного в моем положении? Я уже так привыкла к нему, что для меня оно не тяжело (она сказала это тоном, в котором не было заметно насмешки, но который высказывал: «да, мое положение тяжело»). — Ведь говорили же, что хотели жениться на какой-то девушке из сожаления к ее положению?»

«Вот видите, в самом деле, как скоро я узнавал, что положение человека, к которому я чувствовал расположение, тяжело, моя привязанность к нему тотчас усиливалась. Скажите ж, почему вы согласились выйти за меня? Что вы во мне думаете найти? Если бы вы ищете более всего привязанности, то в самом деле вы не раскаетесь в выборе, потому что я чрезвычайно буду любить вас. Я и теперь чрезвычайно предан вам — не знаю, любовь ли это (теперь я знаю, кажется, что любовь в самом деле) — потому что я никогда еще не испытывал любви, — и эта преданность будет все бо-

лее и более увеличиваться. Если б вы полюбили меня хоть вполнину того, как я буду любить вас! Но и в этом не смею быть уверен...»

«Вы мне нравитесь; я не влюблена в вас, да разве любовь необходима? Разве ее не может заменить привязанность?»

(Это меня огорчило. Я теперь чувствую — т.-е. [когда] вот теперь пишу это — что у меня на глазах навертываются слезы.)

«Ну вот видите, если я (может быть) кажусь весьма слаб, то не думаю, чтобы я в самом деле был решительно дрянью. Правда, я кажусь вял, апатичен, но у меня есть и энергия. И я могу выказать силу. Я могу, когда понадобится, решиться, на что не все могут решиться; а решившись, сделать ничего не стоит. И если понадобится, я могу защитить себя или кого бы то ни было».

(Николай Димитриевич вошел и начинает говорить — я должен перестать. Буду продолжать, как только будет можно, потому что мне пища припоминается разговор хорошо.)

(Да, я хочу просить ее позволения сказать о моем намерении (не говоря о ее согласии) папеньке, который в самом деле любит меня.)

(Приписано в 5 час. по возвращении от Кобылиных.) — Нет, я рассудил, что теперь еще рано, но что перед отъездом можно. Но раньше должно переговорить об отъезде с маменькою.

(Продолжаю наш вчерашний разговор. 5 часов.)

«...У меня, правда, характер, повидимому, вялый, но я способен и увлечься, способен и быть энергичным. Что же [вы] ищете в муже? Что вы нашли во мне такого, за что согласились выйти за меня? Если вы ищете привязанности, то смело могу вам сказать, что я буду предан вам в самом деле всею душою.

Вы находите во мне ум, то в самом деле я скажу вам без самохвальства — этого я никогда никому кроме вас не сказал бы и обыкновенно говорю противное, — что ум во мне в самом деле есть. (11 часов, после возвращения от Кобылиных, где были вместе с маменькою.) Я не имею гениального ума, не могу создать чего-нибудь нового, но что сделано другими, то я способен понимать. Я понимаю, что из чего следует, что к чему ведет, я понимаю связь и отношение различных вещей и мнений. Обо мне говорят, что я очень высокого мнения о своем уме — я никому не сознаюсь в этом, но вам я скажу, что это правда. В Саратове, напр., я считаю себя выше всех по уму. Я не говорю о молодых людях — может быть, в числе гимназистов есть несколько человек выше меня по уму; я не говорю о людях, не принадлежащих к одному классу со мною по образованности... (О, как мне нетерпеливо хочется снова видеть ее, чтоб переговорить с нею, чтоб больше узнать ее!) ... умных людей, которые мало образованы, я весьма ценю и готов поставить многих выше себя, — но из людей, стоящих на одной ступени образования, я не знаю в Саратове ни одного, которого бы я равнял с собою».

«Костомаров, говорят, тоже весьма умный человек».

«Это правда; но я ставлю себя выше его; это я скажу только вам; ему и другим я всегда скажу, что никак не равняю себя с ним. Видите, я начинаю самохвалствоваться — это не в моем характере, но я говорю с вами совершенно откровенно. И вы со мной можете говорить совершенно откровенно».

«Я говорю совершенно откровенно; так, как с вами, я не говорила ни с кем».

«Итак, если вы хотите выйти за меня потому, что вы видите во мне ум и добрый характер, вы не раскаетесь. Что касается до того, как мы будем жить, — я человек весьма мнительный, я не уверен даже в том, в чем должен быть уверен, но я смею сказать вам, что надеюсь, что со мною вы будете жить [не] хуже того, чем жили до сих пор».

«Хуже того, как я теперь живу, не может быть ничего».

«Нет, я говорю про материальные средства и удобства. Я надеюсь, что не доведу вас до лишений в том, чем вы пользовались до сих пор».

«Вы не будете профессором в университете?»

(Этот вопрос как-то огорчил меня — отчего, я сам не понимаю — мне кажется, что в нем проглянул какой-то эгоизм или — сейчас только нашел я настоящее выражение для своего до сих пор темного чувства — мне показалось, что выходят не за меня, а за профессора университета, как вышли бы за председателя или что-нибудь в этом роде, выходят не за человека, а чиновника, но нет, это было сказано так потому, что ей представлялось, что от этого зависят средства к жизни.)

«Я этого положительно сказать не могу. Кафедры теперь нет. Если бы открылась, я вероятно получил бы ее; открыть для меня новую кафедру едва ли захотят. Но я должен вам сказать, что по своей недоверчивости я представлял себя в худших отношениях к людям, чем было в действительности. Несмотря на свою недоверчивость к себе, несмотря на то, что мои слова будут похожи на самохвалство, я скажу вам все-таки, что я оставил по себе некоторую репутацию в Петербурге. Напр., в военно-учебных заведениях я прослужил всего месяца четыре и не предполагал, чтобы мною были особенно довольны — все-таки меня не забыли там. Напр., в прошлые каникулы пронеслись в военно-учебных заведениях слухи, что я еду в Петербург. Я сам не писал ничего, следовательно, эти слухи были весьма не положительны — все-таки для меня там тотчас назначили место. Я этого не знал; вдруг мне пишут: что же я не еду? вышли из терпения дожидаться меня; мои классы остаются незаняты; если я не приеду в скором времени, их принуждены будут отдать другим. Я отвечал, что не поеду. Это, конечно, должно было невыгодным для меня образом подействовать на тех, которым хотелось это сделать для меня. Хорошо. Новый случай. Хотят изменить курс словесности в военно-учебных заведениях. Программу пишут люди молодые, дель-

ные, однако, по моему мнению, бестолковые — учителя словесности все недовольны ею кроме одного. Правительство назначает диспуты. На эти диспуты вызывают меня, чтоб поддержать программу. Я не поехал. Это была большая потеря для меня, потому что диспуты были торжественные, на них присутствовал наблюдник. Я наделал бы там шуму, я в этом уверен, потому что уж у меня такая привычка: начинается спор — я сначала не хочу участвовать в нем, потому что мне или предмет кажется не стоящим спора, или спорят о пустых пунктах вопроса, или мнения кажутся мне слишком нелепы. Итак, я не хочу мешаться и только из приличия от времени до времени поддакиваю и обыкновенно стараюсь поддакивать обеим сторонам поочередно, стараясь подметить в словах то одного, то другого что-нибудь такое, с чем можно согласиться. Но, наконец, это мне надоедает, и я начинаю сам спорить и уже тут я перекричу всех, потому что уже так устроен и, убедятся они или нет, но я-таки перекричу их всех. Я скажу без преувеличения, что я могу спорить и нелегко спорить со мною. И вот я потерял случай приобрести репутацию. Что я не приехал на диспуты, сильно раздосадовало моих доброжелателей, оттого что они надеялись иметь во мне опору и не получили ее. Но между тем, ругая меня за то, что не приехал, мне [все-]таки написали, что когда я ни приеду в Петербург, место для меня всегда готово. Я надеюсь получать целковых 700 или 800 жалованья. (Теперь, когда пишу, я вижу, что сказал мало, потому что 27 часов, которые мне бы дали, доставили бы по 30 р. за час, а я верно получил бы более — уже 810 р. сер.)

Кроме того я буду писать. Если бы у нас цензура была хоть несколько послабее, не хвалясь скажу, что я имел бы голос в нашей литературе. Теперь это трудно. Но все-таки я надеюсь быть не из числа самых дюжинных писателей. (В: Как жаль, что я не сказал снова, что у меня доходов будет никак не менее 1.500 руб. сер.) Одним словом, я надеюсь, что не доведу вас до того, чтоб вы нуждались в том, к чему привыкли».

«Я не хочу ни выезжать, ни танцевать, потому что все это не имеет для меня особенной приятности».

«Что касается до этого, я так мало знаю петербургскую жизнь с этой стороны, что не знаю, возможно ли будет это — кажется возможно».

«Я сама не захочу, если бы даже вы этого хотели. Я не аристократка, я демократка».

«Что вы хотите сказать этим? (по обыкновению совершенно тихо и нисколько не огорчаясь тем, что предполагал возможным такой смысл) — посмеяться над моими мнениями?»

«Вовсе нет. Я не аристократка, я демократка. Я не хочу бывать в собраниях в Петербурге и танцевать».

«Возможно ли там это, я не знаю. Да, еще один вопрос: умеете ли вы хозяйничать, потому что я решительно не умею распоряжаться деньгами?»

«Не умею. Я в доме чужая, гостя. Я часто сажусь за стол, не зная, какие блюда будут на столе».

«Это для меня понятно. Но захотите ли вы управлять хозяйством?»

«Нечего делать, надобно будет — захочу».

«А если захотите, то верно сумеете. Нечего говорить о том, что вы будете главою дома. Я человек такого характера, что согласен на все, готов уступить во всем — кроме, разумеется, некоторых случаев, в которых нельзя не быть самостоятельным».

(Здесь должен был бы прибавить, что выбор знакомых будет зависеть решительно от нее.)

(А Василий Димитриевич давно уже прискакал, услышав, что я у Васильевых, и давно уже входил и оставил мне только четверть часа на окончание разговора.)

«Я вам скажу еще одно, чего не должно бы говорить».

«Так и не говорите».

«Нет, скажу, потому что мне слишком хочется это сказать. Но раньше, чтобы не позабыть, завтра вы будете на бале?»

«Нет».

«Так и я не буду. А когда вы будете — скажите, чтобы я приехал любоваться на вас».

«Раз когда-нибудь побываю, чтобы проститься (у меня сердце сжалось: неужели замужество со мною будет для нее концом веселья, правда несколько ветреного, но все-таки веселья? но она думала не о том), проститься на 7 недель<sup>223</sup> с этими удовольствиями».

«Пожалуйста же уведоьте меня, когда будете. Так вот что я скажу вам: если б мои надежды быть вашим мужем не сбылись, если б вы выбрали себе человека лучше меня — знайте, что я буду рад видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть за мною; но знайте, что это было бы для меня тяжелым ударом».

«Не до чахотки ли бы это вас довело?» (довольно шутивым тоном, как и весьма часто она смотрела с сомнительною или веселою улыбкою на меня, когда я говорил, и говорила потом мне смеясь).

«Этого я не говорю и этого я не знаю. Но что это будет для меня тяжелым ударом, который мне трудно будет перенести, это я скажу. Помните ж, что я желаю вам счастья, что первый буду рад за вас, но, прошу вас, будьте осторожнее, осмотрительнее в предпочтении мне кого-нибудь».

(Это почти конец моего посещения. Ложусь. Завтра продолжение. — Нет, еще прибавлю, раньше чем лягу.)

Я боялся, что разговор этот менее произвел на меня впечатления, чем разговор в четверг, и что поэтому я буду помнить и опишу его менее подробно. Нет. Он занимает 3½ листа, тот — 6 листов. Но тот и был вдвое длиннее по времени.

Нет, не лицемерю ли я это перед собою? Кажется, я описывал его в самом деле не так подробно, т.-е. упоминал менее



подробно. Неужели ж уже мое увлечение начинает уменьшаться, и неужели же я скоро увижу, что поступил слишком необдуманно? Но раскаиваться в том, что я так поступил, я не стану. Я стал бы упрекать себя, если бы поступил противным образом. Тогда я стал бы считать себя еще более неспособным на что-нибудь важное и смелое, стал бы говорить себе:

«А счастье было так возможно,  
Так близко!»

Теперь я этого не скажу. Я поступаю, как следует мне по моим понятиям, и так, как предписывает мне мое чувство, которое говорит, что я буду счастлив и горд такою женою и составлю ее счастье.

Да, еще вставки в этот разговор 23 февраля:

1) Я хрустнул пальцами в начале разговора (после только я вспомнил, что это примета влюбленности).

«Бедный, как вы сильно влюблены!»

«Не смейтесь надо мною! Пожалуйста, не смейтесь».

(Ложусь, потому что эта вставка будет длинна — так о том, был ли я влюблен.)

(Продолжаю 25 февраля, в 7 час. утра, как встал.)

«Не смейтесь. Я не говорю, чтобы я был в вас влюблен, потому что никогда не испытывал этого чувства и не знаю, то ли это, что я испытываю теперь, или что-нибудь еще другое».

«Ну, как же вам верить? Вы были студентом, да еще петербургским — знаете, какие студенты повесы? Сколько вы шалили в Петербурге?»

«Я вам говорю правду. Я никогда не испытывал этого чувства, и если вы в самом деле ревнивы, то будьте уверены, что вам нечего будет ревновать ни в моем прошедшем, ни тем более в будущем».

«О прошедшем что говорить — за него ревновать я не стану; будущее — другое дело».

«Нет, вам нечего ревновать и в прошедшем, потому что в самом деле я не любил никого до сих пор».

«И вы хотите, чтобы я этому верила?»

«Я так жил в Петербурге. Верьте, для вас нет в моем прошедшем и тем менее будет в моем будущем предметов для ревности. Я в самом деле не испытал большую часть того, что испытывают все молодые люди. Напр., я ни разу не был пьян».

«Я была раз пьяна, т.-е. не пьяна, а развеселилась».

«Я ни разу. И то же почти обо всем остальном».

2, вставка: Венедикту единицу. 3, я бы желал послушать, что вы будете говорить. 4, я буду уважать мужа. 5, вы вели себя гораздо умнее, чем я.

Еще 2) вставка — это когда я спрашивал, согласна ли она, чтобы я был ее мужем, и она отвечала, что это будет на будущую зиму. — «Итак, вы теперь согласны, чтобы я был вашим мужем; когда это будет — и это зависит решительно от вас. Я

повторяю, что я не хотел бы, чтобы это было до моего отъезда в Петербург — мне кажется, что лучше, чтобы это было по моем возвращении, потому теперь у меня решительно нет денег. Но если вы хотите, я поговорю с Сократом Евгеньичем теперь же. Мне кажется, однако, что это будет слишком рано».

3) Она сказала (когда разговор был о моей влюбленности и что я не ревнив): «Вы мне нравитесь; если я после взгляну и скажу — ах, какой хорошенький! то ведь это всего на пять минут».

4) Вскоре после как мы сели в зале, я все останавливался и говорил немного с остановками. Она сказала:

«Ну, что же вы не говорите?»

«Я хочу слушать, что вы будете говорить о наших будущих отношениях».

«Что же мне говорить? У меня тоже свои понятия об отношениях жены к мужу».

«Какие же?»

«То, что жена должна всегда помнить, что она жена; должна уважать мужа и еще что — я не скажу».

«Что же? В том, что вы сказали, нет еще ничего особенного — это обыкновенные понятия. Что же вы хотите сказать еще? Мне все можно говорить».

«Как вас мучит любопытство! Продолжайте говорить, что вы хотите сказать, а я свое скажу когда-нибудь после».

5) Когда я сказал, что весьма высоко ставлю свой ум, она сказала:

«Я знаю, что вы считаете себя умнее всех».

«Что вы хотите этим сказать? То, что я считаю себя умнее вас? Напротив, я скажу, что вы в наших отношениях показали гораздо более ума, чем я».

6) После того, как я сказал, что ворочусь из Петербурга с решительным предложением, если она до тех пор не найдет себе жениха лучше, она сказала:

«Конечно мы должны переписываться, чтобы знать ход обстоятельств». (Да, я должен спросить, в каком тоне должны быть эти письма с моей стороны — решительно сухие или с чувствами.)

Теперь я воротился от Шапошниковых, где виделся с О. С., которая осталась очень довольна.

(Итак, прерываю прежнее описание новым и dokonчу его после.)

В 4<sup>3/4</sup> вдруг вбегает ко мне Вас. Дим. Чесноков и отдает записку от С. Г. Шапошникова, потом бежит, говоря, что ему решительно некогда. Там сказано, что в этот вечер будет у них О. С. и чтобы я был. Я тотчас начинаю собираться. Отъезд Николая Димитриевича в Аткарск задерживает меня на 20 минут. Снова собираюсь. Должно пить чай. Таким образом проходит час почти, и в 40 минут шестого я отправляюсь. Когда подхожу к дому, мне навстречу Серг. Гавр. Шапошников, который идет за мною: «О. С. уже час дожидается вас и падала в обморок». Вхожу к

нему в комнату. Мимо меня пробегают девицы, которых я не различаю в своих вспотевших очках. Я думаю, что между ними и О. С. Вхожу в комнату и начинаю протирать очки. Вдруг с постели встает О. С. и шутя говорит:

«Наконец-то! Как долго заставили вы меня ждать! Я в отчаянии! — (тут С. и Ив. Гавр.) — Посмотрите, как у меня бьется сердце!»

И она берет мою руку и прикладывает ее к своему сердцу.

«Что вам за охота кокетничать?» — по обыкновению говорю я.

«Дайте-ка посмотрю, как у вас бьется сердце — где оно у вас?»

И она прикладывает свою руку к моему сердцу. И мы садимся рядом у стола Сергея Гавриловича. И она начинает подсмеиваться над моими долгими сборами.

«Я ему велела каждый раз бриться, как он должен видаться со мною. Боже мой! весь пропитан розовым маслом. Давайте, я причешу вам голову».

И она начинает переделывать несколько мою прическу и заставляет подойти к зеркалу, чтобы убедиться, что теперь я совсем не тот и что теперь я стал очень хорош. Я иду за нею к зеркалу. Между тем девицы уже снова вошли. Мы сидим рядом, но долго и совершенно тихо, поэтому совершенно свободно мне говорить нельзя. Подают чай. В это время я успел сказать ей:

«Я все пишу свой дневник».

«Дайте мне прочитать».

«Вы [не] прочитаете, потому что я так пишу, что мою рукопись кроме меня никто не может прочитать. Но я, если угодно, прочитаю вам его, когда будет время. Сергей Гаврилович (громко), позвольте бумаги, я напишу что-нибудь, чтобы показать, как я пишу. (Тихо.) — Что прикажете написать для пробы?» (Она тихо):

«Ольга, друг моей души».

Я пишу ей своим манером. Она пишет на этом лоскутке: «Коля, тебя любит Ольга». Я рву этот лоскуток.

Да, раньше этого разговор главным образом вертелся на ее кокетстве и на том, что я говорил, что скромность есть лучшее украшение девицы и что она не хочет иметь этого украшения. Наконец, когда она хочет писать еще что-то, я кладу карандаш на другую сторону; она протягивает мимо меня руку, чтобы достать его; я говорю:

«Снова кокетство — вам угодно, чтобы я поцеловал еще вашу руку».

«Вовсе не угодно», — и она не дает мне ее. Наконец, берет карандаш. Я спрашиваю:

«То, что вы будете писать, будет совершенно серьезно?»

«Совершенно». И она дает мне записку: «Женитесь на Симе, она вас ловит. Она добрая девушка, и вы с нею будете (она написала это слово с ошибкою — будите) счастливы».

(О, подумал я, несколько должно бы поучиться вам право-

писанию, а вы, думал я, не делаете ни одной орфографической ошибки.)

«И это вы пишете серьезно? Тут нет ни одного слова правды!»

«Как нет?»

«Кроме одного: ловит».

«Как же вы говорите: нет?» И тут она начинает причесывать мне голову и после, когда... — нет, раньше этого, раньше чаю и раньше чем взошла Анна Ивановна — после разговора о кокетстве и скромности и после как она дает мне целовать свою руку, я говорю:

«Ольга Сократовна» (тут были С. и Ив. Гавр., маленькие дети и Фогелев) — я говорю вслух, разумеется: «Ольга Сократовна, я не понимаю, к чему вы кокетничаете со мною? У меня есть невеста в Петербурге. Наши отношения не могут повести ни к чему».

Она шутя поворачивается (она сидела на стуле, который между стеной с окнами и столом) к стене, закрывает лицо руками: «Я буду плакать!» — и притворяется, что всхлипывает, потом сообщает это известие вошедшим девицам, с которыми садится на диване С. Гавр.

«Хотите, я опишу вам вашу невесту», — и описывает Серафиму Гавриловну, однако в таких лестных выражениях, что я не догадался, и потом, проходя мимо меня на стул, говорит на ухо: «Это Серафима Гавриловна».

Теперь следуют мои слова о дневнике и переписка, после переписки причесыванье головы. Когда я сел, она снова стала подле меня и начала поправлять волосы. Я сказал громко:

«Что вы кокетничали со мною раньше, это понятно; но зачем вы кокетничаете теперь, когда знаете, что у меня есть невеста?»

Она отходит к окну и садится подле Афанасии Яковлевны; сбоку садится Фогелев, я сажусь в углу. Она говорит с Фогелевым. Я говорю о ней, о ее кокетстве с С. Гавр., который сидит подле меня, она показывает вид, что не хочет слушать, хотя слышит, и что сердится на меня.

Через несколько времени я подсел к ней, когда встал Фогелев. Она не хочет смотреть на меня, не хочет дать мне руки, спрятала их, сложив на груди. Я поцеловал ниже кисти.

«Как вы смеете?»

«Что же (вслух) с вами делать? Вы ведь хотите этого», — и я снова поцеловал.

«Как вы смеете делать то, что вам не позволяют?»

«Ольга Сократовна, — сказал я тихо, — неужели я в самом деле оскорбил вас?»

Это я сказал улыбаясь, она посмотрела на меня. Я наверное думал, что это все шутка, но все-таки у меня была слабая мысль, что может быть я в самом деле оскорбил ее тем, что сказал рань-

ше это (раньше, чем я сел рядом, когда встал Фогелев, я сел на-<sup>\*</sup>против).

(продолжаю 26 числа в 7 час.)

и тут я сказал... Нет, теперь некогда, после возвращения от Кобылиных буду продолжать.

(Продолжаю, 11 часов почти.)

Передал в гимназии конверт Венедикту для передачи О. С. В конверте письма Саши и Введенского и объяснения значения лиц, которые там упоминаются, потом соображения относительно моих будущих доходов.

Итак, продолжаю.

Итак, сидя против нее, я сказал, что у нее есть целая веревка, сплетенная из волос тех людей, которых она дурачила.

«Там есть и ваши, следовательно, я вас дурачу?»

«Конечно».

Вот за это она приняла вид оскорбленной.

Итак, я подсел к ней. Она отворотилась к окну.

«Ольга Сократовна! простите меня!» — Она не отвечала. «Простите». — Не отвечает. «Дайте мне поцеловать вашу ручку — ведь вам хочется», — она спрятала руки, *les mains*, сложивши их на груди, но оставила ниже локтя открытые части, потому что рукава были довольно короткие. Я нагнулся и поцеловал.

«Как вы смеете?»

Я снова поцеловал.

«Как же вы смеете, когда вам не дают позволения?»

Я все это делал с шутливым видом. Она продолжала сидеть, несколько отворотясь к окну. Я нагнулся к ее уху:

«Неужели я в самом деле чем-нибудь оскорбил вас, Ольга Сократовна?»

Она несколько оборотилась, чтобы взглянуть на меня, и я в самом деле принял серьезный и несколько унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что я сказал что-нибудь такое, чем другая на ее месте оскорбилась бы.

«Mesdames, пойдемте танцевать в зал», — сказала кто-то из других девиц.

«Вы будете танцевать со мною, Ольга Сократовна?»

«Конечно».

Но вместо залы пошли в комнату Сер. Гавр. О. С. села на диван, я стал поодаль, представляя человека, состоящего под опалою. На столе лежала ее муфта.

«Это муфта Ольги Сократовны», сказал Сергей Гавр., поцеловал ее и дал мне. Я поцеловал тоже.

«Не смейте дотрагиваться до моей муфты», — и я положил и более не трогал. Довольно долго сидели здесь.

«Сядьте на диван подле Ольги Сократовны».

«Не смею».

И наконец я ушел, чтобы показать вид, что и я кокетничаю.

Выкурив папиросу, воротился и сел подле нее. Она все не смотрела на меня.

«Простили ли вы меня?» — Она ничего не сказала.

«Дайте вашу руку». — Не дала. Но сидит, не отворачиваясь, и уже не показывает, что оскорбляется тем, что я сел подле нее.

«Видите, уже готовы простить вас», — сказали С. Г. и Фогелев. Да, вот что значит пококетничать, — и я умею пользоваться этим: ушел, и меня простили, а если бы не уходил, до сих пор продолжала бы сердиться.

«Простите же меня, Ольга Сократовна», — и я взял ее руку. Она со слабым сопротивлением дала мне поцеловать ее. Тотчас пошли танцевать в залу. Там был Гавриил Михайлович, и я должен был сесть и говорить с ним до начала танцев.

«Берите же даму», — сказал мне, наконец, Сер. Гавр., который готовился сесть за фортепиано. И я стал с О. С., которая стала перед столом и в первой фигуре не садилась.

«Вы может быть в самом деле были оскорблены чем-нибудь с моей стороны, Ольга Сократовна?»

«Разумеется, нет».

«В самом деле?»

«Серьезно нет».

Во время шена Катерина Матвеевна сказала мне, что у нее и О. С. есть ко мне просьба. О. С. сказала потом, что эта просьба — танцевать вторую кадрили с Серафимой Гавриловной.

«Конечно, я исполню это; но я решительно не знаю, что с нею говорить».

«Говорите о том, будет ли она в пятницу в маскараде, и просите, чтобы была».

«Да она может примет это за любезность с моей стороны, а я этого вовсе не хочу».

«Нужды нет, говорите».

Во все время кадрили я пожимал руку О. С. и она с теплою приятностью пожимала мою. Вторую кадрили с Серафимой Гавриловной, во время которой я и вел действительно этот разговор и говорил больше о том, почему она так мало выезжает. Она кажется действительно была довольна этим разговором, потому что он выставлял в полном блеске ее семейные добродетели и был веден решительно в почтительном тоне с моей стороны. Третью кадрили с Катериной Матвеевной, говорил о том, в кого она влюблена и что я в самом деле думал о ней дня 3 или 4 после того, как видел ее в первый раз у Шапошниковых. После танцев (только три кадрили) девицы ушли. Гавриил Михайлович оставил меня: «Останьтесь с нами, они все увлекают вас» — и я просидел довольно долго, говоря о различных вещах, главным образом о Кобылиных. Наконец, кто-то сказал мне, что девицы хотят, чтобы я пришел к ним и к О. С.; я, наконец, мог идти. Мы сели с О. С. в углу между столом и стеною — я направо, она налево от меня.

«Ольга Сократовна, я был огорчен некоторыми вашими выражениями в нашем прошлом разговоре у вас. Вы сказали, что «разве необходимо, чтобы жена любила мужа, а муж жену?»»

«Что же, разве это неправда? Разве всегда женятся по страсти? Напротив, большая часть бывает так, как я сказала, а все-таки живут весьма хорошо и привязаны друг к другу».

«Но я принял эти слова прямо относящимися ко мне».

«Какой вы смешной!»

«Да, я в самом деле смешон и вашими словами я не оскорбился». — А раньше этого о ревности — вставка.

— «Ольга Сократовна, я говорил вам о себе многое неверно. Я говорил, что не ревнив. Это неправда. Нет, я чувствую, что буду ревнив; только это мое чувство будет у меня решительно не то, как обыкновенно его понимают. Видите, я такого характера, что слишком высоко ставлю тех, кого люблю, и у меня будет постоянно мысль, что я недостоин вас».

«Вы меня не знаете».

«Да, это правда, я не знаю вас совершенно, но я знаю, что вы совершенно откровенны, чрезвычайно добры и что вы чрезвычайно благородная девушка».

«Да, я в самом деле откровенна и у меня не может быть тайн. Если бы с моей стороны был какой-нибудь поступок, я не могла бы его скрывать, я прямо призналась бы в нем».

«Нет, я не о том говорю — какие поступки! Я не о них думаю! Я думаю, о том я такого высокого мнения, кого люблю, что всегда буду считать себя недостойным вас».

«Меня никто не понимает и никто не поймет».

Как мне понравилась эта слова — они были совершенно искренни, чистосердечны, происходили от глубины сознания, что ее характер так высок, что его не в состоянии оценить другие.

«Во всяком случае я знаю, что вы совершенно откровенны: опишите себя, и я буду понимать вас так, как вы опишете себя».

В это время вошел Гавриил Михайлович, и я должен был вести разговор с ним и только в промежутках говорить несколько слов с О. С., которая сказала при входе Гавриила Михайловича: «Теперь нам должно прекратить наш разговор шопотом».

Через несколько времени, когда разговор с Гавриилом Михайловичем дал мне время:

«Ольга Сократовна! Умоляю вас, будьте осмотрительнее, осторожнее, если вздумаете предпочесть мне другого. Если вы серьезно и глубоко полюбите другого, я буду рад за вас (NB: когда пишу, у меня наворачиваются слезы), но перенести это для меня будет тяжело. Как бы то ни было, наконец, я более всего желаю вашего счастья (NB: когда я пишу это, я плачу). Но я не обману вас, не преувеличу, когда скажу — для меня будет тяжело перенести это».

«Это не может быть. Я вообще не могу полюбить». (NB: другого? или она говорит то, что и меня не может полюбить так, как я ее?)

«Я не могу обольщать вас денежными средствами. Но, поверьте, вы не найдете мужа, который бы жил более меня для нашего счастья». (NB: я должен буду прибавить после, почему для меня так тяжело будет потерять ее: я создан для семейной жизни, а бог знает, достигну ли ее; по крайней мере достигну ли во-время, если она покинет меня.)

«Пойдемте в залу», — сказали другие и пошли; и она. Я остался на несколько секунд с кем-то, кажется, с Гавриилом Михайловичем. Когда взошел в залу, мне показалось, что готовятся брать дам, чтобы танцевать кадрили, и я пошел к ней. Она стояла посредине залы. Но наткнулся на веревочку — стояли так, держа ленту, чтобы начать играть в веревочку. Все засмеялись надо мной. — «Он ничего не видит», — сказала она, смеясь. Мне скоро досталось быть в кругу и потом пришлось стоять подле нее, налево от нее. Долго не приходилось мне потом быть в кругу и наконец — говорить было нельзя, потому что никто не говорил с своими соседями по веревочке — мне стало неловко стоять в положении влюбленного, чтобы другие сказали: «вот близки сердцами, близки и местами», и мне хотелось попасть в круг, чтобы стать на другом месте. Но — если угодно, выражение нежной заботливости — когда до меня доходило кольцо с левой руки, я не передавал его ей, чтобы не нашли у нее кольца, а передавал снова налево. Наконец, мне пришлось стоять на другом месте, потом несколько времени (недолго) снова подле нее; кольцо, наконец, утомило играющих, и начали ту игру, чтоб бить по рукам. Ни тогда, ни теперь, ни разу не могли поймать ее — так она ловка! Смешно сказать, но я гордился и этим.

Теперь иду вниз сидеть в одной комнате с маменькой, которая, наконец, кончила свои хлопоты по хозяйству, и буду писать письмо Саше. Потом снова этот дневник, если можно будет писать его внизу при разговоре. Это все писано наверху в моей комнате.

27 февраля, 9½ час. вечера Сейчас воротился от Чеснокова, где была она. Пишу это свидание, те окончу после.

Никогда еще не был я в таком восторженном состоянии, как теперь. Но если я буду писать так, как раньше, то это никогда не кончится. Все наши свидания останутся недописанными, и у меня, наконец, никогда не будет оставаться время на мои занятия, которые я должен кончить как можно скорее. Поэтому я с этого дня стану писать только существенное.

Пятница. Василий Димитриевич Чесноков устроил у себя блины и пришел за мною. У них были (приехали в половине двенадцатого) Патрикеевы, Шапошниковы и она. До блинов я говорил и с ней и с Катериною Матвеевною и с другими. Но когда подали блины и после них закуску, мы ушли в кабинет, оттуда



нас вызвали. Наконец, после закуски начали танцевать. Во все это время ничего особенного, кроме только того, что я, тотчас после, как она приехала, не отходил от нее, оттого, что играл роль почти официального жениха. После закуски и танцев мы сели в зале в углу между окном и дверью из гостиной. Тут я сказал:

(Само собою, что я много раз повторял фразу: «Выбирайте лучшего, если он найдется, но для меня это будет весьма тяжело перенести».)

«Передал ли вам Венедикт письма?»

«Письма Введенского я прочитала».

Она показала мне перед ним много нежности, например, в кадрили, которую одну и танцевала, жала мне руку весьма горячо. Наконец, я сказал:

«Ольга Сократовна! Неужели правда, что вы теперь не пошли бы замуж ни за кого, кроме меня».

«Теперь правда, за будущее я не ручаюсь».

«Вот видите, мои понятия таковы, что на будущее никто не имеет право требовать обязательств. Сердцем нельзя распоряжаться. Единственное, чего можно требовать, это то, чтобы помнили, что нас любят, и у вас столько доброты и благородства, что в этом нельзя сомневаться. Я проповедник идей, но у меня такой характер, что я ими не воспользуюсь; да если б в моем характере и была возможность пользоваться этою свободою, то по моим понятиям проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтоб не показалось, что он проповедует ее для собственных выгод. Но от других требовать обязательств на будущее время я не могу».

Потом я сказал:

«По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться».

Она сказала:

«Для меня странно, что в Апостоле на свадьбу читают: «жена да боится своего мужа» — уважать, почитать, это так, но за что же бояться?»

«Это нелепые понятия. Вам кажется странно то, что я говорю о женщине и отношениях жены к мужу. Это потому, что я не знаю степени вашего образования, но вам должно быть неизвестно многое, что должна знать женщина, которая будет замужем за порядочным человеком. Вам не скучно будет слушать меня, когда я буду передавать вам то, что вам неизвестно?»

«Я всегда буду рада слушать».

«Вы говорите об обязанностях и поступках — сущность брака состоит по моим понятиям в искренней взаимной привязанности, все остальное дело второстепенное».

Раньше этого я сказал, что есть все-таки вещи, которые я необходимо должен найти в своей жене — это умственное развитие. Она сказала:

«Так я не могу [быть] вашей женою».

«Я не то хочу сказать, чтоб я считал вас ниже себя по умственному развитию — вы более видели людей, более испытали серьезных вещей, чем я. Но я предполагаю, что вам неизвестно многое из новых понятий о вещах».

Наконец, когда я все это говорил и то, что я буду учить ее, она засмеялась громко так, что ушла в спальню, и потом, когда села снова подле меня и когда подошел Василий Димитриевич, она сказала:

«Вот он находит, что я не развита, и хочет учить меня умразуму».

Это — как она засмеялась и как говорила это, было все так мило, так искренно. Но тут и раньше того, когда мы сидели в гостиной, она высказала мне вот что: когда она была в Киеве, там видел ее молодой человек, богатый помещик, который весьма хорош собою, весьма благородного характера, что он полюбил ее и хочет скоро теперь приехать, чтобы сватать ее — «но я за него не пойду ни в каком случае, потому что я не хочу быть аристократкою». Это все очень хорошо, но что после сказала она, что он мог сделать с ней все, что угодно, и был, однако, так благороден, что удержался — это мучит меня ревностью — так она любит его так, что могла совершенно отдаться ему, а мне не хочет отдаться, т.-е. не отдалась бы? Так она испытала страсть, которую не испытывает ко мне? Нет, это мучительно. Перестаю писать. Ложусь. Завтра.

(Это писано 28 февраля 1853 г. в 8 часов утра.)

Когда мы сидели тут же, я описывал, какой образ жизни будет возможно нам вести в Петербурге. Четыре комнаты, 2 человека прислуги, в театр сколько угодно, в Собрание — не знаю решительно, потому что никогда не слышал даже хорошенько об этих отношениях, но думаю, что это там стоит дешевле, чем здесь, и поэтому может быть даже будет возможно.

«В собраниях я бывать не хочу, лучше бывать в театре».

Наконец, как-то разговор повернулся так, что она стала говорить — именно с того, что я сказал: «Ведь я вероятно всегда должен буду жить в Петербурге — вам придется жить в разлуке с Со-кратом Евгеньичем».

«Что делать! Я очень люблю папеньку, но всегда хотела жить врозь с ним».

«А ведь вы его очень любите?»

«Очень. Когда он был болен, я сказала ему: вы должны жить,

потому что я не переживу вас. И я в самом деле чувствовала, что умру или сойду с ума».

«Он ваша единственная защита».

«Да, он моя единственная защита, не совсем достаточная, но все-таки я живу кое-как при нем; без него я решительно не могла бы жить. Когда он был при смерти, я дня два была в страшном мучении, но потом я стала равнодушна, решительно одурела, потеряла всякую способность что-нибудь чувствовать, была как деревянная. Все плачут, я ничего, спокойна и холодна. Я сказала ему: «Папенька, я умру вместе с вами». — «Нет, я хочу жить для тебя» — для меня, для одной меня, так сказал он — «и я буду жив для тебя» — и он остался жив для меня. Так и когда я сама была больна холерою — я была очень опасна, так что отчаялись в моей жизни, я сказала: «Папенька, я не умру, потому что это огорчило бы вас, я хочу остаться жить для вас», и я осталась жива. (Раньше этого я спрашивал ее об отношениях к Венедикту и Ростиславу.) А мне хотелось все-таки умереть. Тогда я была еще ребенок, но мне хотелось умереть. Не хотелось только потому, что я не хотела огорчать папеньку. А я совсем приготовилась умирать. Я лежала в полузабытьи, не видела и не слышала. Я призвала Венедикта и стала делать свое духовное завещание. Отдала ему ключи от своих ящиков. «Ты возьми все (мы были еще совершенно детьми, собирали пяточки и гривенники; у нас их было довольно много), возьми все. Только мой рабочий ящик и мои начатые работы — тебе они не нужны — отдай Анюте. Ты там найдешь мои секреты, не смейся над ними». Он бросил ключи под кровать, заплакал и убежал. Тут я увидела, что он в самом деле любит меня. Маменька ни разу не входила ко мне во все время моей болезни. Я лежала и думала о том, как я умру, как меня будут хоронить, как будут плакать мои знакомые, потому что я непременно думала, что по мне будут плакать; как и кто меня понесет — я хотела, чтобы меня несли — в каком платье меня положат».

Тут же я спросил, можно ли быть у Патрикеевых, т.-е. можно ли видаться с ней там.

«Я очень часто там бываю, каждое воскресенье».

При этом же я снова увидел чрезвычайную мягкость и доброту ее характера. Серг. Гавр. Шапошников, у которого довольно шумело в голове, все подходил, мешал нам и целовал ее руку. Его неотвязчивость и нежничанье видимо весьма грубо оскорбляли ее. Раз она даже рассердилась весьма серьезно. У [нее] стало дергать губу. Но каждый раз и тут даже она по моей просьбе давала ему целовать руку, чтобы отвязаться от него: как много ума и доброты! Это повторялось раз 6 или 8 и ни разу не заставлял ее гнев изменить своей мягкости.

После этого они поехали на катанье. Лошади были горячие, кучер пьян. Я боялся, чтобы не случилось чего-нибудь, хотя и считал свои опасения неосновательными. Я остался у Чесноковых до-

ждать их, потому что они должны были воротиться пить чай. Очень долго их не было. Я уже думал, что не приедут. Но вдруг нас позвали в дом (мы сидели во флигеле). Входит Катерина Матвеевна, бросается навстречу и говорит, что лошади разбили их (т. е. Ольгу Сократовну, Шапошникову и Анюту Чеснокову — они сидели вместе на чесноковских лошадях). — О. С. сидит в креслах у дивана в гостиной к той стене, которая к спальне. Я сажусь подле нее. Она со смехом, с истинною веселостью начинает рассказывать:

«Я ушибла правый бок и всю правую сторону. Теперь несколько болит, но я скрываю это, нарочно смеюсь. Лошади стали шалить в катании. Должно было уехать, чтобы они проездились; кучер погнал в гору мимо гимназии — как они неслись в гору! Завез нас на какую-то другую песчаную гору, которую навозили подле гимназии. Мы чуть не выпрокинулись. Хотели ехать в Немецкую улицу, я велела ехать мимо Гуськовых. До половины горы ехали хорошо, потом кучер опустил вожжи, заговорившись со мной, и лошади понесли. Серафима Гавриловна и Анюта стали кричать, я хохотать — что же, если убьют? Я вовсе не дорожу жизнью. Да я и знала, что не убьют. Мы проскакали на Волгу, там сани опрокинулись и разбились. Если бы одна лошадь не упала, нас решительно раздавило бы, убило бы санями. Я упала под низ, другие на меня. Все кричат, ахают, я хохочу. Хотят поднимать меня. — «Я сама встану». А я хотела б, чтобы мне переломило руку или ногу — тогда я посмотрела бы, как меня станут любить».

«И я бы желал этого».

«Потому что тогда в меня не стал бы никто влюбляться?»

(Почти так: «тогда вы не были бы привлекательны ни для кого кроме меня; тогда я был бы единственным существом, любящим вас и любимым вами» — почти такова была моя мысль.)

«Тогда бы увидели, стал ли бы я любить вас попрежнему. Вы в самом деле ушиблись, поезжайте скорее домой, потрите чем-нибудь бок».

«Это пустяки. Вот посмотрите — уже прошло, хоть здесь была опухоль» — она показала мне нижнюю часть кисти левой руки: было несколько заметно, что было оцарапано и только, а здесь была опухоль. И здесь на другой (правой) руке тоже — «все прошло». В самом деле, какая у нее здоровая натура! Опухоль решительно прошла в какие-нибудь полчаса.

«Мы дошли пешком до Шапошниковых. Серафима Гавриловна, которая совершенно не ушиблась, потому что вывалилась на меня, кричала, пищала, легла в постель — «Ах, маменька! ах, маменька!» — мне было ужасно смешно».

Я сидел и слушал все это с каким-то увлечением. Во мне разгоралось восхищение ею, потому что все это так просто, так прекрасно. И опасность ее привела меня в какое-то увлечение, про-

потому что я не переживу вас. И я в самом деле чувствовала, что умру или сойду с ума».

«Он ваша единственная защита».

«Да, он моя единственная защита, не совсем достаточная, но все-таки я живу кое-как при нем; без него я решительно не могла бы жить. Когда он был при смерти, я дня два была в страшном мучении, но потом я стала равнодушна, решительно одурела, потеряла всякую способность что-нибудь чувствовать, была как деревянная. Все плачут, я ничего, спокойна и холодна. Я сказала ему: «Папенька, я умру вместе с вами». — «Нет, я хочу жить для тебя» — для меня, для одной меня, так сказал он — «и я буду жив для тебя» — и он остался жив для меня. Так и когда я сама была больна холерою — я была очень опасна, так что отчаялись в моей жизни, я сказала: «Папенька, я не умру, потому что это огорчило бы вас, я хочу остаться жить для вас», и я осталась жива. (Раньше этого я спрашивал ее об отношениях к Венедикту и Ростиславу.) А мне хотелось все-таки умереть. Тогда я была еще ребенок, но мне хотелось умереть. Не хотелось только потому, что я не хотела огорчать папеньку. А я совсем приготовилась умирать. Я лежала в полузабытьи, не видела и не слышала. Я призвала Венедикта и стала делать свое духовное завещание. Отдала ему ключи от своих ящиков. «Ты возьми все (мы были еще совершенно детьми, собирали пяточки и гривенники; у нас их было довольно много), возьми все. Только мой рабочий ящик и мои начатые работы — тебе они не нужны — отдай Аняте. Ты там найдешь мои секреты, не смейся над ними». Он бросил ключи под кровать, заплакал и убежал. Тут я увидела, что он в самом деле любит меня. Маменька ни разу не входила ко мне во все время моей болезни. Я лежала и думала о том, как я умру, как меня будут хоронить, как будут плакать мои знакомые, потому что я непременно думала, что по мне будут плакать; как и кто меня понесет — я хотела, чтобы меня несли — в каком платье меня положат».

Тут же я спросил, можно ли быть у Патрикеевых, т.-е. можно ли видаться с ней там.

«Я очень часто там бываю, каждое воскресенье».

При этом же я снова увидел чрезвычайную мягкость и доброту ее характера. Серг. Гавр. Шапошников, у которого довольно шумело в голове, все подходил, мешал нам и целовал ее руку. Его неотвязчивость и нежничанье видимо весьма грубо оскорбляли ее. Раз она даже рассердилась весьма серьезно. У [нее] стало дергать губу. Но каждый раз и тут даже она по моей просьбе давала ему целовать руку, чтобы отвязаться от него: как много ума и доброты! Это повторялось раз 6 или 8 и ни разу не заставляя ее гнев изменить своей мягкости.

После этого они поехали на катанье. Лошади были горячие, кучер пьян. Я боялся, чтобы не случилось чего-нибудь, хотя и считал свои опасения неосновательными. Я остался у Чесноковых до-

ждать их, потому что они должны были воротиться пить чай. Очень долго их не было. Я уже думал, что не приедут. Но вдруг нас позвали в дом (мы сидели во флигеле). Входит Катерина Матвеевна, бросается навстречу и говорит, что лошади разбили их (т. е. Ольгу Сократовну, Шапошникову и Анюту Чеснокову — они сидели вместе на чесновских лошадях). — О. С. сидит в креслах у дивана в гостиной к той стене, которая к спальне. Я сажусь подле нее. Она со смехом, с истинною веселостью начинает рассказывать:

«Я ушибла правый бок и всю правую сторону. Теперь несколько болит, но я скрываю это, нарочно смеясь. Лошади стали шалить в катании. Должно было уехать, чтобы они проездились; кучер погнал в гору мимо гимназии — как они неслись в гору! Завез нас на какую-то другую песчаную гору, которую навозили подле гимназии. Мы чуть не выпрокинулись. Хотели ехать в Немецкую улицу, я велела ехать мимо Гуськовых. До половины горы ехали хорошо, потом кучер опустил вожжи, заговорившись со мной, и лошади понесли. Серафима Гавриловна и Анюта стали кричать, я хохотать — что же, если убьют? Я вовсе не дорожу жизнью. Да я и знала, что не убьют. Мы проскакали на Волгу, там сани опрокинулись и разбились. Если бы одна лошадь не упала, нас решительно раздавило бы, убило бы санями. Я упала под низ, другие на меня. Все кричат, ахают, я хохочу. Хотят поднимать меня. — «Я сама встану». А я хотела б, чтобы мне переломило руку или ногу — тогда я посмотрела бы, как меня станут любить».

«И я бы желал этого».

«Потому что тогда в меня не стал бы никто влюбляться?»

(Почти так: «тогда вы не были бы привлекательны ни для кого кроме меня; тогда я был бы единственным существом, любящим вас и любимым вами» — почти такова была моя мысль.)

«Тогда бы увидели, стал ли бы я любить вас попрежнему. Вы в самом деле ушиблись, поезжайте скорее домой, потрите чем-нибудь бок».

«Это пустяки. Вот посмотрите — уже прошло, хоть здесь была опухоль» — она показала мне нижнюю часть кисти левой руки: было несколько заметно, что было оцарапано и только, а здесь была опухоль. И здесь на другой (правой) руке тоже — «все прошло». В самом деле, какая у нее здоровая натура! Опухоль решительно прошла в какие-нибудь полчаса.

«Мы дошли пешком до Шапошниковых. Серафима Гавриловна, которая совершенно не ушиблась, потому что вывалилась на меня, кричала, пищала, легла в постель — «Ах, маменька! ах, маменька!» — мне было ужасно смешно».

Я сидел и слушал все это с каким-то увлечением. Во мне разгоралось восхищение ею, потому что все это так просто, так прекрасно. И опасность ее привела меня в какое-то увлечение, про-

будила во мне такое живое чувство, какого я до сих пор не испытывал подле нее.

Через несколько времени мы пересели на другую сторону гостиной, она села в кресла подле дивана, я в другие кресла подле нее — на той стороне, которая в зале. Теперь стена залы закрывала нас от Ольги Андреевны и Елены Ефр., которые сидели в углу залы к гостиной. Мы просидели так часа полтора. Я почти ничего не говорил, изредка только какую-нибудь фразу, обыкновенно о том, что я люблюсь ею. И в самом деле любовался ею: она удивительно хороша! очаровательна! чем более смотришь на нее, тем более восхищаешься, увлекаешься ею! Тут-то я вполне почувствовал то, что начал чувствовать при рассказе ее о том, как их разбили лошади и чего раньше не чувствовал:

*Das Herz wuchs mir so sehnsuchtsvoll.*

Да, именно: «*Das Herz wuchs mir*» Я любовался, восхищался ею. «Как вы хороши!» — «Вы в самом деле обворожительны!» — «Чем более смотрю на вас, тем более увлекаюсь вами!» — «Наконец, если еще продолжать смотреть на вас, в самом деле покажется, что вы первая красавица на свете». — Вот фразы, которые я повторял ей на ухо от времени до времени. И она была в самом деле очаровательна, какое положение ни примет ее милое личико, обернется ли несколько ко мне, облокотясь на правую руку, повернется ли несколько в другую сторону, облокотясь на левую руку, приподнимет ли она головку, опустит ли ее. О, как она хороша! Во всяком случае я не видывал никогда ничего подобного.

Теперь собираюсь к Акимовым, где будет она.

(Писано 1 марта в 9 ч. утра. — Свидание в пятницу 27-го.)

Итак, я сидел и все любовался на нее в решительном увлечении. Она чрезвычайно хороша! Она увлекательна!

«Я в таком увлечении, что поцеловал бы вас, если бы не хотел, чтобы мой первый поцелуй был совершенно таков, как он должен быть и как он здесь не может быть, потому что здесь мешают».

Ее головка была так близка к моим губам (мои кресла были несколько повыше), что я несколько раз слегка поцеловал ее волосы. Наконец, я осмотрелся — из залы и спальни не видит никто, на диване Василий Дмитриевич любезничает с Катериной Матвеевной. Ее головка была так близко — мне казалось даже неловко не воспользоваться этим, мне казалось, что это будет вяло с моей стороны. И тихонько, осторожно я поцеловал ее в лоб. Она тотчас отвернулась и облокотилась на другую ручку кресел.

«Ольга Сократовна, это мой первый поцелуй в лицо женщины». (Раньше этого и потом снова я сказал ей: «Ольга Сократовна! Если вы не будете моей женой, я долго, долго не буду в состоянии позабыть вас». Я хотел прибавить: «Вы будете виноваты, что мое сердце, если будет оно отдано другой, не будет ей отдано вполне, что кроме нее я думал о вас».)

(НЗ: О том, что я любил другую (Кобылину) и что я любил ее менее Катерины Матвеевны.)

«Вы слишком дерзки!» — И лицо ее приняло опечаленное выражение.

Мне стало жаль ее, мне стало совестно моей дерзости, мне стало совестно того, что я думал, что она сама вызывает меня на это.

«Простите, Ольга Сократовна, простите меня. Я забылся, я виноват, я не мог удержаться».

«А другой, в Киеве, удержался. Он мог сделать со мною все, что хотел, и был так благороден, что не позволил себе ничего».

Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует ее ко мне! Итак, я не заменяю ей того, что раньше испытала она!

Это была не ревность, это было прискорбие. Это было сожаление о том, что я не так благороден, как другие, что я не могу внушить ей такой любви, значит сделать ее такою счастливою, как могли бы другие! О, я довольно наказан за свою дерзость!

И я продолжал просить прощения, но она все была печальна. Она не сердилась, она грустила. Наконец, может быть через четверть часа, она стала немного не так грустна.

Наконец, вошли в гостиную Ольга Андреевна, Ел. Ефремовна, Дмитрий Яковлевич; стали подавать закуску. Ел. Ефремовна заняла мое место; я стал говорить с Дмитрием Яковлевичем. Наконец, она уезжает, я прощаюсь. Мы свидимся завтра. Я вышел вместе с нею. Она сидела уже к другому краю саней. Василий Дмитриевич вышел проводить ее.

«Ольга Сократовна, позвольте мне сказать вам два слова».

Я обошел сзади саней, она подвинулась на середину:

«Садитесь».

И я сел на правой стороне. Она подала мне руку и с чувством искренности сжимала ее. Так всю дорогу наши правые руки были одна в другой. Я несколько раз с увлечением целовал ее руку. Наконец, встали. При самом приближении к ее дому я сказал:

«Ольга Сократовна, теперь я вижу, что я люблю вас, теперь нет сомнения — мое чувство любовь, не что-нибудь другое. Я люблю вас».

Последний раз я пожимал ее руку, последний раз целовал ее руку.

(Писано 1 марта в 3<sup>3/4</sup> часа по возвращении с визитов от Кобылина и от Чеснокова.)

Описываю наше последнее свидание вчера у Акимовых.

Накануне она мне сказала, что Василий Акимович именинник и что она там будет, но что вечера там не будет, потому что под воскресенье не хотят. Я боялся, что шутя меня не пригласят.



Когда я явился туда в 12 часов, это было уже перед самыми блинами; меня заставили положить шляпу, значит пригласили остаться.

Она была уже там. Явились Пригаровский с Палимпсестовым, и она начала любезничать с Пригаровским. Она сидела в гостиной на краю дивана к той двери, которая ведет в спальню; я сидел на креслах у окна; Пригаровский стал подле нее; она начала шалить его каскою, сломала у нее верх и спрятала в карман, сказавши, что не отдаст. Скоро подали закуску. Раньше этого девицы вышли в залу. С ними ходили более всего Палимпсестов и Пригаровский, я почти совершенно не ходил, а более сидел на диване у печки с Павлом Васильевичем. Когда стали закусывать, я сначала сел подле и спросил, есть ли у нее Кольцов, которого хотел подарить ей. Потом я отошел в угол к столу, на котором стоят трубки и где сидели другие молодые люди. Она стала кормить Пригаровского, который сел подле нее. Я все шутил, шалил, смеялся, мне было мило, чтобы не показывать своей влюбленности раньше времени, и мне было радостно, что я буду жить с таким очаровательным существом. Когда она стала кормить Пригаровского и мне указали на это, я нарочно встал, подошел и сказал:

«Иисус Христос накормил 5 000 человек, а вы, Ольга Сократовна, вероятно; кормили целые десятки тысяч».

Потом снова продолжалось то же. Она любезничала с Федором Устиновичем и особенно с Пригаровским, которых, особенно последнего, все держала подле себя; я шутил и смеялся. Наконец, явился Куприянов с братом. Я встречаю его радушно, но (шутя) смотрю на него свирепо. Он подходит к ней, она снимает у него кольцо (сердоликовое), надевает себе на палец и говорит, что оставит у себя. Я прошу показать мне. Как попадаетея мне в руки, я беру его поперек, показываю вид, что готовлюсь разломать, и спрашиваю, что оно стоит. У меня его выпрашивают с условием, что О. С. не возьмет его — конечно, все это шутка. Потом вдруг она показывает мне кольцо, завязанное в платок, и говорит, что это Куприянова; я говорю, чтобы отдала, если нет, то будет страшное дело. Она не хочет показать мне и отдать. Я думал, что может быть и в самом деле Куприянова, но хотел, конечно, только продолжить шутку, а вовсе не хотел в самом деле принуждать ее:

«Нет? Не хотите показать? Хотите оставить у себя? Так вот же!»

Иду к свече (для зажигания папирос), кладу в огонь палец, держу несколько секунд. Мне кричат: «Отдано, отдано!» Палец в самом деле я себе несколько прожег, так что его жгло часа три.

После продолжу описание вечера. Теперь разговор у Палимпсестова, который начал говорить об этом еще у Акимовых. Мне не хочется ни кончать этой тетради, ни начинать новой какими-нибудь пересудами и сомнениями.

У Акимовых, незадолго до отъезда, после нашего разговора с нею, Палимпсестов сказал мне, что я поступаю совершенно не-

и совершенно, что общего между нами ничего нет (то-то и есть, что общего много: благородство чувств (смею сказать это), мягкость характера — у нее чрезвычайная — весьма высокая степень ума — и это смею сказать о себе), что наши характеры решительно несходны (это-то мне и нужно, потому что если б такой же характер, как у меня, был у моей жены, мы засохли б с тоски, уныния), что она истаскана душою, между тем как у меня сердце еще решительно свежее. Все остальное оставляя я его говорить без всякого возражения, потому что возражать значило бы быть слишком откровенным; на это сказал:

«Что ж? Обыкновенно истасканные мужчины женятся на свежих девушках, пусть раз будет наоборот».

«Но если она будет продолжать делать то же самое, что теперь? Это кажется лежит в самом ее характере: ей непременно хочется вскружить голову всякому, кто только бывает в одном обществе с нею, — вышедши замуж, она будет продолжать делать то же самое».

«Вот видишь, — сказал я (может быть это и будет так продолжаться, может быть она и будет кокетничать так же, как и теперь, или даже свободнее — я не думаю, кокетство не в ее характере, это вообще живость, бойкость, отчаянная веселость в угнетенном положении), — если она, моя жена, будет делать не только это, если она захочет жить с другим, для меня все равно, если у меня будут чужие дети, это для меня все равно (я не сказал, что я готов на это, перенесу это, с горечью, но перенесу, буду страдать, но любить и молчать). — Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняйся нисколько».

Он мне сказал, что хочет переговорить со мною об О. С., и чтоб я зашел к нему на этой неделе. Но когда мы вышли вместе с ним, моей лошади еще не было, и мы с ним и с Вороновым отправились проводить ее. Он сказал — конечно, она понимала, о чем идет дело, потому я так прямо и отвечал.

«Так ты на-днях зайдешь ко мне, чтобы заняться составлением реестра для моей статистической статьи?»

«Зайду, только я уверен, что в этом реестре не будет ни одного имени».

«Т.-е. не будет твоего?»

«Ни одного имени, ничьего имени».

«А у меня есть много данных».

«Мои данные повернее, потому что происходят от людей, гораздо более меня и тебя знающих».

(Я бы мог прибавить, что и я знаю этот предмет весьма хорошо потому, что никогда и ни с кем не имел таких откровенных разговоров, и что едва ли много найдется девиц; которые выслушали бы мои слова и поняли их, как она.)

Она шла, опираясь на мою руку; кажется, это было сделано с намерением, и взяла мою руку, чтобы сойти с высокого снега в калитку

ке — кажется, это было сделано ею, чтоб выразить свою уверенность во мне и чтоб поблагодарить за мой ответ Палимпсестову.

«Итак, ко мне?»

«К тебе».

И вот я у него. Я просидел у него с 1½ часа. Вот [что] он сообщил мне:

1) Она сама говорила ему, а раньше говорила ему Бусловская то же самое, но он не верил Бусловской:

У них был учитель, какой-то сосланный. — «Я страстно любила его, но он не любил меня, имел ко мне отвращение, и я все-таки любила его. Когда он женился, я возненавидела сначала его жену, но потом полюбила ее, потому что увидела, что он сделал выбор лучше меня, что она действительно более меня могла составить его счастье, и я до сих пор люблю его, хотя, конечно, не такую страстную, безумную любовью, как тогда, и в другой раз такую любовью не могу любить».

Но (теперь говорю я, через сутки) — А) это, вероятно, детская страсть, потому что у них был последний учитель Мопшинцев\*, значит, тот учитель был раньше его — верно ей было лет 16 — это детская наивная влюбленность. В) если бы это было решительно так и эта страсть была бы не детская, а серьезная, какую, например, питала бы она теперь, то это свидетельствовало бы только о возвышенности ее сердца, способного к истинной любви, и о чрезвычайной доброте ее души, готовой любить даже тех, кто нанес ей такой жестокий удар.

2) Есть М-р Ершов, ничтожнейший, весьма вялый человек (равный мне), теперь помощник контролера в Казенной палате, тогда писец. Гусев говорил Палимпсестову: «Она не стоит (он называл ее грубым термином, должно быть потаскушка или негодница) того, чтобы ухаживать за нею.» Вот ты подсмеиваешься над Ершовым, а даже он целовал ее — он говорит так: «Прижмешь, бывало, где-нибудь в коридоре и поцелуешь».

Но, 1) когда это было? Вероятно, давно; Палимпсестов говорит, — верно, давно, год или два; если было — детская шалость. 2) Верно ли, что именно целовал в уста? не в этом важность, а в том, что говорила, что не давала ни одного поцелуя — разумеется, если шутя, насильно, в коридоре — не стоит и говорить об этом; конечно не стоит; да верно ли еще? Едва [ли]. Ершов может быть и не говорил ничего такого, а только сказал, или про него думали, что он любезничал и что она была влюблена в него, как можно сказать, что влюблена в Пригаровского, а Гусев уж употребил более резкое выражение — целовал ее. Одним словом, это вздор.

3) Это важнее, это должно попросить ее объяснить, как это произошло. Бусловская говорила Палимпсестову, что на-днях О. С. сказала ей, что холостая жизнь ей надоела и что она в сере-

---

\* Неразборчиво. Ред.

дние поста даст слово или мне, или Яковлеву. — 1) Едва ли она что говорила, скорее Бусловская сама это сообразила; 2) если говорила, то — А) каким образом возможен для нее выбор между мною и Яковлевым? Б) зачем она говорила, когда я не говорил? Это я спрошу вероятно у нее. Должно быть это выдумала Бусловская.

У Палимпсестова на столе лежит ее браслетка из какой-то материи, которую она на-днях (должно быть, уже после моего предложения) подарила ему. Недавно она прислала ему сердечки конфетные.

Когда все это говорилось, это несколько смутило меня: в самом деле, находит ли она во мне что-нибудь особенное? Или я для нее такой же, как, напр., Яковлев, Палимпсестов? Если так, если она не видит во мне ничего особенного, и в ней самой не должно быть ничего особенного. Нет, это не может быть. Она слишком умна и, что угодно говорите, слишком хороша.

Итак, тогда это несколько смутило меня; даже эти два случая — любовь к учителю и поцелуи Ершова. Тогда я даже хотел расспросить и разузнать об этих двух случаях. Неужели она будет только играть мною? Неужели только играть? Неужели не будет иметь ко мне искренней привязанности?

Теперь мало-по-малу вижу решительно, что все это весьма глупо. Я ее знаю лучше, чем все эти господа.

Как бы то ни было, дело решено. Я не отступаю, не усомнюсь ни в себе, ни в ней. Только бы иметь ее своею женою, только бы устроить свои дела, а то я буду наверное с ней счастливее, чем со всякою другою.

Я решительно спокоен. Я попрежнему уважаю, люблю ее. Не хочу судить судом людей, которые ниже меня, поэтому гораздо менее меня могут [судить] ее.

Я лучше ее знаю. Я знаю ее.

Я люблю тебя. Я уверен, что и ты полюбишь меня, если еще не любишь меня.

О, сомнение прочь! И оно уж прошло.

(Продолжаю описание вчерашних происшествий. Продолжаю, где кончилась 21 страница.)

Наконец, Куприянов сел подле Павла Васильевича. Мне указали на него. Хорошо же, я покажу ему свои чувства. Я сидел в углу и поставил стул так, что сел задом к продолжению стены и к нему, лицом в угол. — «Да вы не к нему одному сидите задом». — Я перенес стул, поставил прямо против него и сел задом к нему. Так просидел несколько минут. Брат Куприянова сказал: «Пора, пойдем». — «Благодарю вас» — и я с чувством (смеясь) пожал ему руку. Он пошел к ней прощаться. И рассыпался в комплиментах. Мне указали на него — «Посмотрите, как он любезничает». — «Хорошо». Я подошел, взял его за руки, повернул спиною к себе и вытеснил из комнаты. Потом затворил дверь и смотрел от времени до времени в щелку.

(Теперь следующая тетрадь.)

# ДНЕВНИК МОИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЮ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ МОЕ СЧАСТЬЕ

Тетрадь 2-я

O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,  
Der ersten Liebe goldne Zeit!  
Das Auge sieht den Himmel offen,  
Es schwelgt das Herz in Seligkeit;  
O, dass sie ewig grünen bliebe,  
Die schöne Zeit der ersten Liebe \*.

Und sie wird ewig grünen bleiben,  
Die schöne Zeit meiner ersten Liebe.

(Писано 17 марта после окончания 41, А\*\*.)

Leben meinem Leben giebt sie allein.

Продолжаю описание 28 февраля. Теперь 1 марта 10 часов вечера.

... Итак, я беру за руки его, поворачиваю спиною к себе, отесняю его бегом в переднюю, затворяю дверь, гляжу от времени до времени в щелку, что делает он — брат уже вышел; когда он затворил за собою дверь на крыльцо, я выбегаю, жму ему несколько раз руку, хохочу, прошу извинения в своей шутке; он, конечно, не оскорбился ею. А между тем, после говорят мне, — когда я стал вытеснять его, поднялся всеобщий хохот; она, когда я вышел в переднюю, бежит к дверям, чтоб проститься еще раз с ним — конечно, шутя; Воронов становится у дверей в переднюю, затворяет их снова, не пускает. Палимпсестов и Пригаровский хотят оттащить Воронова и отворить для нее двери, — сн легко их отталкивает. Дело кончается всеобщим смехом и похвалами моей удали. Но и тут, и несколько раз раньше я спрашивал у нее, не переходит ли моя шутовство за границы. Она говорит — «ничего». Я продолжаю. Через несколько времени она спрашивает воды. Нет, еще это. Я беру мел, который лежит на столе для карточной игры, подхожу к Пригаровскому, ставлю ему на спине крест, потом у Палимпсестова, потом у Воронова; у меня вырывают мел, ставят мне на спине крест — это знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. Я протестую против этого, говорю, что это было справедливо раньше, но не теперь, подхожу к Воронову отцу и ему ставлю крест, потому что ему случилось перед этим случайно пойти из залы в гостиную рядом с О. С., и начинается всеобщее ставление крестов, и весь мой фрак сзади покрыт крестами. Наконец, я начинаю, когда немного утихло, ставить девизы, и у Палимпсестова, когда это могла видеть только Елена Васильевна Акимова, ставлю на отворотах сюртука — на одном Е, на другом

---

\* Шиллер, «Песнь о колоколе». У Шиллера последние слова: *der jungen Liebe. Ред.*

\*\* Страница оригинала, соответствующая стр. 520 настоящего издания. *Ред.*

А и тотчас же стираю этот девиз. Маленькая Воронова шалит также, особенно со мной; я пишу на полу Н. В. и Н. Ч. (Наталья Воронова и Николай Чернышевский). Воронов тотчас приписывает после Н. Ч.: страдает по О. С. В. Я приписываю: страдал, но больше не страдаю. Он исправляет: страдал, страдает и будет страдать. — Общий смех. Наконец, я пишу крупным шрифтом во всю доску: ИЗМЕННИЦА. О. С. кричит — кто ж? и пишет: изменник. Общий шум, хохот, веселье. Дело кончается тем, что кричат: должно сказать об этом Василию Акимовичу, он заставит вас мыть полы. И мы, в самом деле, вымыли их, только не так, как обыкновенно. Едва утих этот шум и расселись все по местам, О. С. спрашивает воды. Пригаровский и Палимпсестов бросаются принести. Пригаровский успевает раньше убежать в спальную за водой. Палимпсестов становится у двери из залы в гостиную, притворяя их, повторение моей проделки. Как Пригаровский подходит, — хочет вырвать у него стакан. Пригаровский не дает, вода плещется, около  $\frac{1}{3}$  доли пролито в той половине зала, которая к гостиной. Пригаровский, торжествуя, удерживая стакан, несет его О. С., но я сижу на дороге, подталкиваю ловко стакан подо дно, он летит, не разбивается, вода разлетается повсюду, попадает на платье невесты. Я вижу, что зашутился слишком, извиняюсь. О. С. меня бранит, я ухожу в гостиную, сажусь подле играющих в карты, притаиваюсь, притворяюсь смиренным. Но оказывается, что платье ничего не потерпело. Я через несколько времени снова выхожу в залу, сажусь с самого края у окна. Наташа Воронова, с которою я много шалил, подходит ко мне, говорит: «Что вы стали так смирен?» — «А вам хочется, чтобы я не был смиренным, хорошо!» — я схватываю ее, она вырывается, я-таки успеваю схватить ее за талию и сажаю к себе на колени. Общий хохот. Подбегает брат: дуэль — готов — просите секундантов. Пригаровский, которого я прошу, отказывается, потому что сидит подле О. С. А ну дуэли без секундантов, а мне именно хотелось сманить m-r Пригаровского с его места. «Дуэль, дуэль!» — «Нет, не могу». Мне предлагают две палки на выбор, вместо шпаг. Подходит Василий Акимович. — О. С. кричит: «Приколотить их лучше, вместо дуэли». Воронов убегает; я остаюсь и говорю тихонько Василию Акимовичу: «Ударьте меня палкою». Он бьет. О. С. говорит: «Вы, сударь, слишком дерзки. Я ревную вас. Как вы смеете делать при мне подобные вещи?» — «А, так вы гневаетесь на меня — хорошо же! Я выхожу на мороз. Или схвачу горячку, или дождусь вашего прощения». Ухожу в комнату бабушки. Там сижу минут 10. Наконец, Пригаровский приходит сам за мною и уводит меня, говоря, что ему должно сказать мне о Городкове, который поручил мне кланяться. Мы начинаем ходить по зале, я не подхожу к О. С., — ведь я под ее гневом. Палимпсестов говорит: «Стань перед нею на колени, проси прощения». Я подхожу. «Это от вашего имени передано мне приказание?» — «От ее, от ее, я свидетель», — говорит Елена Васильевна. Я становлюсь на колени

перед О. С. и повторяю какие-то 2 стиха о прощении, которые диктует мне Палимпсестов. — «Встаньте, встаньте», — говорит О. С. «Вашу руку поцеловать в знак прощения». Она прячет руки. Я не встаю. Наконец, она вполовину сама дает руку, вполовину Ел. Вас. подносит ее к моим губам, я сам беру ее, целую, встаю и говорю, наклоняясь, на ухо О. С., которая сидит крайняя в углу передней: «О. С., это не одна шутка, а в самом деле я буду всегда делать так». Собираюсь кататься. Мы уходим с Пал[импсестовым] и Пригаро[вским], они заходят ко мне. По возвращении к Ак. на чай начинается серьезный разговор с О. С.

Но ложусь спать. До завтра. Но раньше напишу: у меня на глазах слезы от радости о моем счастье.

Не от горя плачу, с радости.

О, милая моя! О, самое светлое, самое благословенное явление моей жизни! О, да будешь ты счастлива, как ты того стоишь!

O Mädchen, Mädchen,  
Wie lieb ich Dich!  
Wie blickt dein Auge!

и, о если б я мог прибавить:

Wie liebst du mich!..  
Wie ich Dich liebe  
Mit warmen Blut,  
Die du mir Jugend  
Und Freud und Muth  
Zu neuem Glücke  
Und Thaten giebst!  
Sei ewig glücklich\*.

О, если б я мог прибавить:

Wie Du mich liebst!

Но любишь ли ты меня, или еще не любишь, ты полюбишь меня, полюбишь! полюбишь! Ты слишком добра, слишком проницательна, чтоб не оценить моей привязанности к тебе, моей полной преданности тебе!

Продолжаю 3 марта, 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> утра.

Меня пригласили к Акимовым возвратиться пить чай. Начинаются танцы. Да, — О. С-вну спрашивают, почему она не заставляет меня полькировать. «Я не думаю, чтоб он мог ловко полькировать, а я не хочу, чтобы он был смешон».

Она танцует со мною первую кадрили. После каждой кадрили я снова сажусь подле нее. Наташа Воронова постоянно подбегает подслушивать нас, садится подле меня и протягивает голову, становится подле нее и подслушивает и хохочет. Мы прогоняем ее. Я говорю, что если она не отстанет, я сделаю дерзость хуже прежней. «Какую же?» — «Какая придет в голову, но сделаю». — «О, какой вы удалец!» — говорит О. С. — «Вы и так уж много наделали глупостей!» — «Да, я могу и делать глупости, и быть дерзким, особенно теперь». — Итак, нам беспрестанно мешают.

\* Гете, «Mailied». Ред.

«О. С., где я могу с вами видаться? Весною вы, конечно, будете гулять, но пока где? Могу ли я бывать изредка у вас?»

«Можете».

«Например, когда теперь?»

«На второй неделе».

«Нельзя ли раньше? Вы судья в этом деле, но я просил бы вас позволить раньше, если можно».

«Хорошо, так и быть, можете в воскресенье».

(Итак, я целую неделю не буду видеть ее. А я уж и теперь, через 1½ суток, стосковался по ней.)

«Могу ли я бывать у Патрикеевых? Ольга Андреевна приглашала меня».

«Можете».

«Т.-е. могу ли я там видаться с вами? Вы там ведь часто бываете?»

«Часто; следующее воскресенье уж непременно».

Итак, я отправлюсь в следующее воскресенье. Завтра, кажется, будет неловко.

«Мне ужасно хотелось привезти сюда маменьку, чтобы она видела вас. Конечно, я ничего бы не сказал ей».

«А если она увидит, как я шалю, скажет: какая кокетка. Если я не понравлюсь ей?»

«Нет, понравится, потому что она (хотя, разумеется, в ней старые понятия о вещах) слишком умна, чтобы не понять вас. Маменька моя в сущности весьма добра и будет любить вас больше, чем меня; это потому, что она постоянно говорит, что так будет и что ее понятия таковы, что свекровь должна брать сторону невестки против сына, что положение жены вообще бывает не довольно хорошо. Это верно в нашей крови».

О. С., я совершенно завишу от вас. Я знаю, что это значило бы стеснять вас, не в отношении ко мне, потому что я не принимаю относительно себя никаких обязательств, сердцем нельзя распорядиться вперед. Но вы верно не имеете таких понятий, потому это стеснило бы вас; но как бы то ни было, я бы хотел теперь сделать так: перед отъездом своим из Саратова сказать своим — папеньке и маменьке — о моем намерении сделать предложение. Потом просить согласия у Сократа Евгеньича».

«Что ж? Об этом никто, кроме него, не будет знать».

«Так, по вашему мнению, я должен так поступить?»

«Как хотите».

«Нет, относительно тех вещей, где я хочу поступать, как мне хочется, я не спрашиваю ничьего совета. Это, например, относительно образа мыслей и относительно моих поступков в некоторых случаях. Но когда я спрашиваю совета, я хочу, чтобы получил приказание. Так я могу так сделать?»

«Можете».

Начинает она: «А если ваши родные будут несогласны?»

«Я не думаю. Но если бы так было, я весьма послушлив, я на-



последок безусловно повиновался родителям, но в этом случае их несогласие не удержит меня. Я могу действовать самостоятельно, когда того потребуют обстоятельства».

«А если мой папенька не согласится?»

Я помолчал. (Что это такое? В самом деле она думала: «а если он не согласится?»), или это было только выражением ее мысли: «У меня есть средство отделаться от тебя, если будет нужно. Я ставлю папеньку отказать тебе». Нет, последнего я не думаю. Она слишком благородна и искренна, чтоб поступить так и чтоб думать подобным образом.)

«А если за мною не будет много денег?»

«Я никак не ожидаю, чтоб могло быть много. Мне б хотелось, чтобы ничего не было. Сейчас я скажу, повидимому, совершенно противное: конечно, чем больше будет у вас денег, тем лучше, но для вас, а не для меня. Ваши деньги будут, конечно, принадлежать вам. Я не буду никогда считать их принадлежащими нам вместе. И если бы когда-нибудь вам — в а м — вздумалось употребить сколько-нибудь из них на наши общие потребности, я смотрел бы на это не иначе, как на принятие взаймы. И вы не настаивайте, не действуйте в таком духе, чтоб за вами дали больше денег. У вас большое семейство. У вас есть сестры. Вероятно, они не будут иметь женихами людей с такими мнениями, как я».

Вот существенное содержание нашего разговора.

Она спросила еще, когда я говорил о Патрикеевых:

«Знакомы ли вы с Макс[имовыми]? Я там часто бываю».

«Нет. Но я бы хотел познакомиться. Только не знаю, как это сделать».

Наш разговор был прерван, и я должен был после спросить, как мне познакомиться с Максим[овыми].

Потом я должен был расстаться с нею. Тут разговор наш с Палимпсестовым. А в его квартире, — после того, как он высказал все, — я сказал: «Ну, теперь я скажу, что она может выйти замуж за кого угодно, но что пока она не выйдет замуж, я не женюсь». Больше этого, прямее, я не смел сказать, хотя мне, конечно, очень хотелось сказать ему, что я уже обязался перед нею.

Теперь кончено описание наших последних свиданий и разговоров. Начну описывать — только существенное — наши предыдущие свидания раньше четверга 19 февраля. Но раньше сойду вниз, посмотрю, что делает маменька. Окончив их описание, стану описывать мои мысли, соображения, расчеты относительно моей женитьбы именно на ней и чувства, произведенные во мне ею и тем, что я стал ее женихом. Пишу все-таки, пока докурится папироса.

Да, я должен прибавить, что в пятницу у Чесноковых, когда мы сидели еще в 1-й раз у дивана в гостиной к стене, отделяющей ее от зала, она мне сказала: «А мне вчера говорили о вас очень дурно, предостерегали от вас, говорили, что вы очень дур-

ной человек, что вам нельзя верить ни в одном слове. Но я знаю, что этот человек говорил от зависти, потому что я вовсе нехороша к нему». — «Что же, он хорошо знает меня?» — «Нет».

(Это должно быть Линдгрен???? — имени она не хотела сказать.) То же самое и по искреннему убеждению могли бы сказать и люди, близкие ко мне. — Потом, когда мы сидели в зале и я описывал свои понятия о супружеских обязанностях (по тому поводу, что она сказала, что поцелует меня только тогда, когда потребуется то; что когда я буду мужем, тогда, конечно, она обязана будет повиноваться мне и что я буду иметь право требовать ее поцелуев) и о свободе жены и о моей покорности ее воле, я наконец прибавил: «Я говорю решительно, как какой-нибудь соблазнитель». — «А разве вы не можете быть соблазнителем?» — «Э! помилуйте» — и я махнул рукой, как бы говоря: «куда!»

Наконец, еще вставки в разговор под конец вечера воскресенья. Когда мы говорили о сватовстве моем и нам мешали, я почти каждый раз, когда снова садился подле нее, говорил: «Я могу продолжать?» Раз она вслух сказала: «Как тускло горит эта лампа». — «Вам скучен этот разговор?» — «Вы умный человек, и не понимаете, почему я говорю это! Нас подслушивают!» — В самом деле, я был чрезвычайно глуп. Наконец, после разговора с Палимистовым, я подошел к ней, когда она ходила по зале, и сказал: «Наши разговоры все остаются неоконченными. Что же скажете мне окончательно? Могу я сделать так, как говорил?»... «Можете». — «Я вам не надоел еще?» — «Фи, как это глупо!» И она, сказав это с чувством совершенно искренним, отвернулась и пошла прочь, так что я в самом деле увидел, что это было весьма глупо. Да, я раньше сказал ей — это было до катанья и до начала моих шалостей: «О. С., вчера была вами [сказана] одна вещь, которая огорчила меня» (это: «Он мог сделать со мною все, что хочет»; сказать это прямо я не успел, но потом, когда стали говорить о том, в кого была влюблена, теперь влюблена и в скольких [будет] влюблена О. С., я сказал, для всех, но главным образом для нее: «Хотите, я вам скажу правду? О. С. ни в кого не влюблена и, вероятно, ни в кого не будет влюблена». — «Это правда», — сказала она. — «А была она влюблена один только раз». — «Ни разу», — сказала она. Я нагнулся к ее уху: «А в Киеве?» — «Он был влюблен в меня, а я в него нисколько». — «Теперь я решительно ничего не понимаю». — «Ну да, он был влюблен в меня, а я его вовсе не любила»).

Теперь, 2 марта, понедельник 1 недели поста, 11 часов утра, принимаюсь описывать события, предшествовавшие нашему разговору с ней у них, следствием которых было предложение.

Вот таблица моих свиданий с нею:

26 января, понед. — Я видел ее в первый раз у Акимовых.

28 — журнал.

30 — пятн. — именины Вас. Дим., любезничание с Ростиславом.

## Февраль

- 1 — воскрес. Я был у них с визитом. Видел ее на катаньи.
- 2 — Сретенье. У Акимовых.
- 3 — вторн. — У Шапошниковых говорили мне о ней.
- 5 — четв. — Ходил к ним с Вас. Дим., не застал Ростислава.
- 8 — воскр. — У Аким.
- 9 — понед. — Первый раз у них.
- 12 — четв. — [У] Аким. Я упросил ее остаться. Она хотела ехать в театр.
- 13 — пятн. — Шапошниковы (весьма важное свидание).
- 15 — воскр. — У Аким. должен был видаться. Неудача.
- 17 — втор. — Нашла робость, не успел переговорить ничего.
- 18 — среда — Акимовы — Куприянов.
- 19 — четв. — Предложение.
- 21 — суб. — Я сказал, что буду говорить с нею, как должно жениху, в маскараде.
- 22 — Маскарад. Воскресенье перед масленицею.
- 23 — понед. — У них долго сижу с ней.
- 25 — Шапошн. Среда.
- 26 — Четверг масленицы — не видел ее.
- 27 — Чеснок. Пятница.
- 28 — Суббота — Акимовы.

## Март

Ни 1-го, ни 2-го еще не видел ее. Неужели до воскресенья? Почему же? Во всяком случае успею написать все и сделать что-нибудь по своей диссертации. Итак, начинаю описывать.

В воскресенье, 1 февраля, я поехал к Васильевым с визитом. Конечно, это была шутка — желание показать ей, что в самом деле интересуюсь ею. Но с какою целью интересуюсь? Чтобы просто полюбезничать. Не застал дома Ростислава. Хорошо же, я увижу ее на катаньи. Зашел к Чеснокову, который уже смеялся над моею влюбленностью. Я сам смеялся и тогда смеялся искренно. Пошел нарочно посредине дороги между рядами экипажей. У Полиции попадается, останавливается поезд. Мне говорят: вы должны будете встать на запятки. Тогда я еще сделал бы это, потому что тут ничего серьезного не было. Но я не догадался — слишком плох. Василий Дмитриевич выругал меня за эту оплошность. Очень долго не видел ее. Наконец, почти у самого конца Сергиевской улицы она встречается нам. Она сидит с Ростиславом. Потом она попадается беспрестанно. Наконец, поезд стоит несколько времени; когда они против нас, Вас. Дим. и Шапошников говорят ей что-то, она отвечает им любезностью на любезность. Трогается с места, я говорю: «О. С., вы всем сказали по ласковому слову, неужели не скажете мне?» — «Хорошо, будьте ныне у Шапошниковых». После объяснилось, что нельзя, потому что Шапошниковы сами были на свадьбе чьей-то. Когда мы зашли к Чесн[оковым], надо мною и моею влюбленностью всё смеялись.

А раньше, в пятницу на именинах Василия Дмитриевича толст. Ростислав, который был там и которого я застал уже много пишущим, любезничал со мною, а я с ним, и над нашею дружбою подсмеивались. Потом он непременно хотел играть в карты, чтобы обыграть тех, которые были несколько пьяны, а он нисколько, хотя притворялся пьяным. Я помог ему устроить игру. Он действительно выиграл около 1 р. 20 коп., я 25 коп., которые отдал ему, потому что у него мелочи не было, а он говорил — теперь непременно хочется зайти к девкам (о, как мне противно осквернять подобными словами эти страницы, посвящаемые О. С.!). Я отдал свои 25 коп., которые, конечно, знал я, он не отдаст мне. Так он поступает. Пользуется выгодою своего положения, чтоб извлекать выгоды из людей, интересующихся его сестрою. Так он опивает и обыгрывает Яковлева, которому тоже, конечно, не отдает проигранных денег. «Он пропьет меня за полштофа», — говорит О. С., и с ее слов Чесноков и Шапошников — и решительно справедливо. Одним словом, он низкий человек.

Да, я еще позабыл одну свою шутку с нею после первого вечера у Акимовых. Мы разъехались в 4<sup>1/4</sup> часа. Я проснулся в 11 часов. Но мне вздумалось исполнить ее просьбу для шутки в 1-й же класс, который был у меня в VII классе. Это должно быть в среду. И я нарочно хотел спросить у нескольких человек урок, чтоб спросить и Васильева и поставить ему 5. Потом отослать журнал к О. С. Я думал, что, может, осердится за эту смелость, но думал, что шутя и объявит мне благодарность. Я сильно колебался, делать ли это, наконец, сказал: да до каких же пор мне быть робким? вздумал сделать, так сделаю. — И вот в среду я взял с собою бумаги, сургуч, печать (церковную для большей важности), нитки и отправился в гимназию. В VII классе спрашивал урок — так, это было в среду, потому что раньше этого были у [меня] часы в IV классе, где я приготовил записку к Ростиславу. Спрашиваю уроки у 4—5 человек, спрашиваю, наконец, и его и потом снова других. Венедикт ничего не знает. Все-таки я ставлю ему 5. После этого ухожу в канцелярию, вкладываю в журнал приготовленную записку в этом роде: «Ростислав Сократович, посылаю к вам мой классный журнал и покорнейше прошу вас показать его О. С., чтобы Она (большою буквою) лично могла сама убедиться в том, как послушно исполняются мною ее приказания». Завертываю в бумагу. Надписываю: Ростиславу Сократовичу Васильеву, обертываю ниткою, запечатываю так, что никто не может видеть, что такое в свертке, вхожу в класс, отдаю Венедикту. Потом меня взяла некоторая робость. Я боялся, что она обидится. На другой день Венедикт отдает мне сверток, из которого дома я вынимаю журнал и несколько конфеток. Я ждал ее записки с изъявлением благодарности. Но записки, конечно, не было. Я был очень обрадован успехом своей шутки. У меня до сих пор цел этот сверток, запечатанный ее ручкою разноцветными печатками. Я его получил 29 февраля в четверг. Конфеты — это первый ее подарок мне —

как будто я предчувствовал, что будут и другие — и до сих пор целы, лежат в свертке. На журнале были выставлены карандашом цифры ее рукою: против Венедикта 6 + несколько раз. потом «и т. д.» по Венедиктовой графе.

Я как дитя радовался всему этому.

Прерываю рассказ, чтобы снова написать. Все мои глупые сомнения в чистоте ее сердца, все мои глупые сомнения в ее искренности, возбужденные словами Палимпсестова, совершенно исчезли без всякого следа. Совершенно. Я спокоен за свое счастье с нею, как раньше. Как и раньше, у меня только одна забота: денег, денег, денег, чтоб она жила в полном довольстве. Будут и деньги. Будут. И она будет счастлива со мною. И я буду счастлив ее счастьем.

(Во вторник, 3 февраля, я надеялся быть на вечере у Шапошниковых, где думал полюбезничать и с нею, и с Патрикеевой. Но мне хотелось быть и у Горбуновых — так еще была слаба моя страсть к ней. Однако не пригласили никуда, что меня огорчило. У Шапошниковых, где я был довольно долго — нет, это после, раньше понедельник Сретенье.) На Сретенье был у нас Василий Акимович и приглашал бывать у них. «У нас по праздникам всегда собираются. Приезжай ныне». — О, как я был счастлив, что воротился во-время домой и застал его у нас.

Я продолжал любезничать с нею еще сильнее, чем раньше, но много любезничал и с Катериною Матвеевною, так что перевес был не так заметен, но на следующий раз был уже решительный перевес, и я с Катериной Матвеевной говорил уже так только, из приличия.

О. С. понравилась мне, как и раньше, так же умела слушать любезности, не конфузясь и не давая права быть дерзким, отвечала на них, так же шутила, шалила, кокетничала. Но в этот раз кормила меня, а не Палимпсестова. Я сказал, что был вчера у них. «А мне просто сказали, что в очках. Я думал, что это Куприянов». И она несколько уверилась в том, что я не просто шучу, что она в самом деле мне нравится. Я в этот вечер и в следующий начинаю к восторженно шутливому языку подмешивать более спокойные и серьезные уверения в том, что она мне нравится в самом деле и что если это будет продолжаться так, то я искренно привяжусь к ней. Но особенного в этот вечер я ничего к ней не чувствовал. Мне было весело говорить любезности, играть легким чувством, быть как бы в легоньком упоении. Но все это делалось только с целью приобрести некоторую ловкость и опытность при будущих моих паркетных подвигах и при будущем выборе невесты. Я сказал ей, что в самом деле она весьма добра, весьма умна и поэтому я в самом деле начинаю привязываться к ней. Но особенного ничего в этот вечер не было. Я ее даже вслух назвал кокеткою и сказал, что только говорю ей комплименты, потому что она вызывает на них меня.

На другой день у Шапошниковых Серафима Гавриловна сказала мне: «А вас здесь дожидались более часу и даже скушали кусок сыру, когда узнали, что вы любите сыр». Я очень жалел, что не застал их, что опоздал приехать. Но меня занимало и то, что меня не пригласили на закуску или на вечер к Горбуновым — значит, все это была еще шутка, игра. Когда ж это перестало быть игрою? А вот расскажу, воротясь от Кобылиных.

(Это писано 3 марта, в 6<sup>1/2</sup> час. утра.)

Хотя до сих пор моя привязанность была более шутка, чем серьезное что-нибудь, однако ж я почти каждый день бывал у Чеснокова, где мог говорить о ней, и чрез которого хотел познакомиться с нею. Таким образом в четверг 5 марта мы собрались к ним, но Ростислава уже не застали дома. В воскресенье 8-го мы условились быть с Шап[ошниковым] у Акимовых. Приехали почти в 8 часов, потому что я работал и опоздал одеваться. Приезжаем, она давно уже там. Выходит из гостиной, подает мне руку, через несколько минут говорит, что хочет ехать в театр — ее упрашивают, она говорит, что непременно. Я ей говорю: «Пожалуйста, останьтесь», и она остается. Конечно, в этом было, может быть, кокетство (может быть, она только говорила, что поедет, чтобы заставить меня просить себя, но скорее, что в самом деле хотела ехать и не поехала в самом деле потому, что я просил, но главное, что в этом участвовало кокетство). Как бы то ни было, она сделала это так, что было видно, что у нее доброе сердце. Она в этот вечер больше сидела с Палимпсестовым, чем со мною. Со мною танцевала две кадрили, 2-ю и 5-тую. Но перед 4 кадрию, когда я сидел подле нее, к ней подошел брат жениха, весьма скромный, тихий, застенчивый молодой человек, прося ее танцевать какую-нибудь кадрию. «Я танцую». Он опечалился. Мне стало его жаль. «Вы не говорили еще Палимпсестову, что танцуете с ним?» — «Нет». — «Видите, как ваш отказ огорчил Сахарова. Танцуйте с ним». — «Хорошо. Mr Сахаров, я с вами танцую». Как мне это понравилось, чрезвычайно, и с этого времени я начал постоянно говорить ей, что у нее доброе сердце. И в самом деле весьма доброе сердце. При прощании Сергей Гаврилович просил позволения ввести меня к ним в дом. Она вполовину дала это согласие. Итак, на другой день мы должны были отправиться.

9, понедельник. Я у них. У меня должен был быть Николай Иванович, и я велел приехать за собою к Васильевым. И приехал около 7 часов брат за мною. Когда мы вошли — прямо в комнату Ростислава — меня поразила страшная грязность задних комнат. Входим в комнату Ростислава. Она и Катерина Матвеевна сидят на диване. У них Линдгрэн, потом на несколько времени Яковлев. На столе между прочим подсолнечные семечки! И это меня неприятно оскорбило: грызет семечки. Я сел на кровати рядом с ней. Василий Димитриевич говорит: «Видите, как она печальна; это оттого, что вы слишком плохо себя держите». — «Я не смею». — «Садитесь подле нее, между нею и Кат. Матв. на диване». — Я в

самом деле не смел. Она, наконец, сказала, чтоб я сел. И тотчас же стала мне давать из своих рук орехи. «Я не могу грызть, потому что у меня зубов нет». — «Ну, так я стану грызть». И она начала разгрызать и класть мне в рот. Я каждый раз целовал ее руку. Наконец, я стал говорить ей: «Вы в самом деле держите себя слишком неосторожно. Со мной, например, вы действительно можете позволить себе подобные вещи, потому что я в сущности порядочный человек. Но другим это покажется не так. Я знаю, что это просто живость, веселость, бойкость характера. Но другие скажут, что это желание завлечь». И т. д., разговор в этом роде. (Раньше Шап[ошников] садился подле ее ног и по ее приказанию лаял собачонкою.) Наконец, встали, пошли в зал, потому что тут было слишком накурено. Она сама за руки повела меня через коридор, — ход весьма запутанный. Пришли тут и другие. Начинают танцевать. Я с ней, и говорил уж серьезно, что я в самом деле довольно сильно привязан к ней, что, конечно, это не любовь, но что она весьма интересуется меня и весьма мне нравится. «И вы начинаете мне нравиться». — За мною приехали. Я хотел говорить ей при следующем свидании о том, что у них в доме страшный беспорядок и что она должна заняться хозяйством.

На другой день был у Чесн[оковых]. Там объяснили мне ее отношения с матерью и братьями. И как я узнал, что мать ее не любит, и что, по выражению Вас. Дим., «ей дома житье тепленькое», — у меня тотчас сильно развилось сочувствие к ней, очень сильно развилось. Итак, это и доброта, высказанная ею в предыдущий вечер у Ак., сделали то, что я начал чувствовать к ней довольно серьезную привязанность. Я с нетерпением дожидался четверга, когда она хотела быть у Акимовых.

12-го, четверг. — Снова то же. Тут я говорил ей более, чем раньше, что уж теперь она почти совершенно держит меня в руках. Она смотрела с своим вопросительным видом, смотрела своими пронизательными глазами. Тут-то особенно сильную роль играли конфетные билетки, которые впрочем и в прежние вечера она постоянно раздавала мне и другим и с большим умением выбирать. Особенно когда мы сидели у стола, который стоит подле окон ближе к гостиной. Я любезничал, называл ее кокеткою, но когда разговор был между нами одними, часто говорил с чувством. Наконец, сели между этим столом и столиком, на котором трубки, Бусловская, она и Палимпсестов. Через несколько времени подсел и я и сказал — не помню, как это пришлось сказать, — вероятно, говорили о чем-нибудь подобном: «Вот я так опишу будущие отношения к жене, когда женюсь. Я буду покорнейшим слугою своей жены, покорнейшим слугою, покорнейшим слугою, только. Покорнейшим слугою». После этого Бусловская, когда кончили танцевать, подошла к ней и поздравила ее с скорым замужеством, как мне сказал на другой день Палимпсестов.

Иду вниз — начерчу расположение комнаты, в которой мы виделись.

Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.

Итак, общий результат наших разговоров и свиданий у Акимовых был тот, что она мне нравилась больше, чем какая-нибудь девица до сих пор, так что при ней все другие и в том числе Кат. Матв. теряли всякую занимательность для меня, и я только из приличия, только из деликатности от времени до времени начинал говорить любезности Кат. Матв.; о Катерине Николаевне не было, конечно, уж никакого помину с 1-го же разу, как я увидел ее.

Мне хотелось видеть ее, хотелось говорить и любезничать с нею, хотелось даже слышать, как говорят о ней. Но жениться в Саратове я не думал. Поэтому, чувствуя, что по неопытности в подобного рода делах, как человек увлекающийся ею в 1-й раз, я могу увлечься, я начинал чувствовать необходимость прекратить эти отношения, не столько, однако, из боязни запутаться самому — хотя и говорил ей, что я у нее почти в руках, но думал, что я совершенно безопасен, и в самом деле тогда был безопасен. Нет, я только боялся, чтобы не повредить ее репутации своим ухаживанием.

На другой день всё-таки мы должны были видаться у Шап[ошниковых].

Вдруг поутру приносят записку от Палимпсестова (она у меня цела) <sup>224</sup>. Я ему говорил шутя, что хочу говорить с ним о серьезном деле, он сказал, что не хочет говорить — поводом к этому было то, что я говорил про него, а он, в раздражении отчасти, про меня ей, чтоб она не слушала, что во всех моих словах нет ни слова правды, что я человек дурной и хитрый.

Я отвечал, что буду у него около 9 часов. Мне кстати нужно было заехать за табаком к Малеевским.

Он поступил чрезвычайно дружески, как следует вполне благородному человеку.

«Послушай, какие у тебя намерения относительно Сократовой?»  
«Никаких».

«Ты не хочешь на ней жениться?»

«Нет». — Я говорил искренно. Тогда я не думал, чтоб мог жениться в Саратове.

«Зачем же ты увлекаешь ее? О вас с ней начнут скоро говорить. Как можно играть ее репутациею. Зачем ты говоришь такие вещи, как вчера, напр., о том, каким бы ты был мужем? Бусловская приняла это за высказывание намерения сватать ее и после, когда она танцевала с мною, Бусловская подошла и поздравила ее с скорым замужеством. Ты решительно можешь увлечь ее. Должно быть осторожнее с девушкой, положение которой и так не завидно, о которой и так уже говорят много дурного. Да и уверен ли ты в себе? Разве ты не можешь увлечься сам?»

«Я сам понимаю необходимость прекратить свои настоящие отношения к ней. А то, что я говорю о том, каким бы я был мужем,



действительно с моей стороны большая неосторожность. Благодаря тебе. Ты поступаешь как истинно порядочный человек».

И мы расстались. Я — с намерением прекратить эти отношения, с чувством, что я зашел было слишком далеко, что, одним словом, я всегда и везде действую или слишком мало, или слишком много, с чувством уважения и благодарности к Палимпсестову.

Итак, завтра у Шап[ошниковых] должен был я видеть ее.

11—13-го я тосковал о том, что едва начинается для меня нечто похожее на жизнь сердца, как уж должно быть остановлено, потому что становится при моем характере слишком серьезно, что у нас невозможна роскошная жизнь сердца, что я должен покинуть эти отношения, которые так были для меня милы и, наконец, так интересны по своей новизне. Теперь следующее свидание у Шап[ошниковых]. Раньше займусь делом, потом снова за это. Теперь 9 часов утра 3 марта, вторник (у меня нет классов). Нет, начинаю писать вслед за предыдущим, потому что хочется писать.

13-го, пятница. — Итак, я в 5½ час. у Шап[ошниковых]. Через несколько времени являются они — она, Кат. Мат., Афанасия Яковлевна. Входят в комнату Сер. Гавр. Мы садимся с нею у стола. Как всегда в нашем обществе, сначала дела не клеятся, разговор идет вяло. Другие сидят на кровати Серг. Гавр. Она берет карандаш и начинает играть со мною в ответы и вопросы (я раньше отдаю ей записку Палимпсестова, — конечно, при всех). «Пишите 3 ответа на 3 вещи, которые напишу я», — говорит она.

1) Я пишу: «Я не смею верить». Я думал, что первое, что она напишет, будет уверение, что любит меня, как у Акимовых накануне давала мне билетки, в которых говорилось: «Я тебя люблю» и т. п. Действительно ею написано: «Я вас люблю» — это продолжалось несколько времени в таком же роде. Мы рвали эти записки. Наконец, она написала: «О. С. Чернышевская». Я взял. — «Это решительно неправда, вы все шутите, а мне вовсе не до шуток». Это я говорил по обыкновению холодным вялым тоном и вслух. Раньше этого я написал: «Игра для меня перестает быть игрою». Она в это время сидела у стола спереди, я сбоку в углу. Наконец, девицы позвали в залу танцевать. Я взял ее руку. «О. С., вы все шутите. Я начинаю не шутить». — «Я вовсе не шучу. Я хочу иметь такого мужа, каким вы будете по вашим словам». Конечно, это сказала она таким тоном, что если б дело расстроилось, то это должно было принять за шутку. «Хорошо, я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться». Не знаю, поверила ли она этому, — кажется, мало, потому что подобные вещи для нее мало привычны. Мы пошли

танцевать. Я танцевал с другими или говорил с Гавр. Мих. и т. п. С нею не могу теперь припомнить, что я говорил, кроме повторений, что все-таки я привязан к ней, что если это будет продолжаться так, то я, наконец, не буду в состоянии рассудить, и т. п. Наконец, танцую с нею последнюю кадрили. Но раньше я упрашивал ее быть у Аким[овых] в воскресенье и дожидался этого дня с нетерпением. В последней кадрили я говорю: «Итак, вы видите, что наши отношения не могут продолжаться. Я теперь расскажу вам повесть моей любви. Сначала мне весьма нравилась одна девушка, имени которой я не скажу, потому что не хочу подшучивать ее насмешке вместе со мной, потому что это была с моей стороны любовь решительно глупая (это я говорил о Кобылиной). И уже готов был объяснить ей, но объяснить странным образом, в таком роде: «Вы умная, добрая, благородная; но вы теперь не можете играть такой роли в обществе, какую могли бы играть, потому что слишком мало развиты. Позвольте мне быть образователем вашего ума и сердца». — Но тут я у Шапошниковых увидел Катерину Матвеевну и увидел, что кроме той девушки есть другие девицы; умные, добрые и милые. Наконец — третье и самое страшное явление в моей жизни — явились вы. Не знаю, чем это кончится, но, вероятно, этот третий акт будет самым серьезным, самым страшным актом. Я теперь еще могу несколько рассудить, но скоро не буду в состоянии. Я и теперь делаю глупости. Но скоро вы может быть заставите меня сделать страшную, самую непростительную глупость. Потому что вы теперь знаете, я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею». «Так вы будете у Акимовых?» — «Буду». — «Какие кадрили вы танцуете со мною?» — 1-ю я хочу танцевать с невестой, 2-ю с Кат. Матв. (Она, бедная, несмотря на то, что я говорил ей: «Не любите никого!» — «Даже вас?» — «Даже меня», — тотчас отвела меня в сторону и просила быть у Аким[овых], а эту кадрили у Шап[ошниковых] танцевать с нею. Это было между 4 и 5 кадрилию в комнате снова Серг. Гавр., потому что мы все беспрестанно переходили из комнаты его в залу и снова в его комнату. Я сказал, что танцую с ней. О. С. взяла бы меня танцевать, но мне жаль было Кат. Матв., я просил позволения у О. С. танцевать с нею, и она ушла без всякого каприза — как она умна и добра!) Итак, какое безумство с моей стороны. Я хотел прекратить отношения к ней, а между тем упрашивал ее быть у Аким[овых]. Мне хотелось видаться с ней еще 2—3 [раза] перед разлукой, чтобы говорить с нею тоном искренней преданности и сожаления о необходимости разлуки, мне хотелось порадоваться еще моею начинающейся любовью перед прощанием с этой любовью. Но я сам не понимал хорошенько, что я делаю. Мне хотелось совершенно серьезно поговорить об этом: «О. С. Чернышевская», я сам не знал хорошенько, что будет следствием этого разговора. Скорее всего я ожидал, что увижу и она сама скажет мне, что это была шутка и что тогда со спокойным сердцем я могу отстать от нее. Но не-

ужели в самом деле только шутка? едва ли», — думал я. Что же делать? Я сам не знал вперед, что я сделаю. Я знал только, что мне сладко быть с нею и что не видеть ее для меня весьма тяжело. Боже мой, как я безумно поступал! Но однако я уж говорил себе, что если бы этого потребовали обстоятельства, я не отказался бы, если бы этого потребовала она, но она не потребует, это кончится одним любезничаньем.

Теперь иду отпустить Кольцова в переплет<sup>225</sup>. Потом снова писать. Теперь уж событий осталось всего только за 4 дня. Потом буду описывать свои чувства, свои соображения.

Да, раньше при втором свидании у Акимовых я сказал Катерине Матвеевне, когда она все просила меня любить ее и все говорила, что я ее обманываю, что я люблю О. С., я сказал ей, что характер О. С. мне гораздо более нравится, потому что она живая, веселая, бойкая. — Когда О. С. потом, по обыкновению, говорила мне: «Как же вам верить, вы то же самое говорите Кате», я сказал: «Нет. Конечно, я шучу с ней так же, как с вами, но тех серьезных и неромантических вещей, которые говорю вам, тех не пламенных, а спокойных уверений в своей привязанности, какие вам, я ей не говорю. И сейчас, например, я сказал ей, что вы по характеру мне нравитесь больше, чем она».

Да, еще должно будет прибавить ее рассказ о первом нашем свидании у Чесноковых и о том, как она боялась меня. Это было сказано мне во 2-й и 3-й вечер у Акимовых.

(Пишу в 12 часов. Должен скоро уйти.)

Итак, я ждал с нетерпением вечера воскресенья. Аким[овых] нет дома. Это меня ошеломило совершенно. Я был совершенно расстроен, больше чем тогда, когда мы неудачно ходили к самим Васильевым. Что делать? Чесн[оков], к которому я заехал, говорит: «Во вторник отправимся». Хорошо. Снова то же нетерпение.

Наконец, вторник. О, как долго, казалось мне, я не видел ее. Да и теперь — всего третьи сутки, а мною овладевает нетерпение так, что я не поручусь, что не буду у них до воскресенья. Нет, выдержу, буду повиноваться ей. Хотя и довольно тяжело это для меня, тем более, что у [нас] не все еще переговорено с нею, что мы с нею не совершенно понимаем друг друга. Может быть, и она не совершенно доверяет мне. Но нет, она слишком умна и слишком проницательна, чтоб у ней могло оставаться во мне какое-нибудь сомнение. Но пора идти. После, по возвращении от Кобылиных.

Сажусь в 10 час. вечера продолжать.

Во вторник мы приходим в комнату Ростислава с Вас. Дмитриевичем, в столовой сидит она с одной из Рычковых, в комнату Ростислава не входит, — я не решаюсь выйти к ним, хотя Фогелев выходил, — не решаюсь выйти, чтоб не показать Ростиславу, что я у нее, а не у него. Она посылает мне Рычкову с билетиком:

Огонь в твоей пылающей груди  
Не для меня ты, для другой храни.

«Я давно был уверен в этом», сказал я. Она входит раз или два в комнату, я только несколькими словами перебрасываюсь с ней и то весьма вяло. Наконец, она входит одетая проститься: «Мы едем в театр». Я был так глуп, что даже не успел, или не догадался, или не посмел спросить, когда она будет у Акимовых. — Весьма неудачное свидание! Через  $\frac{1}{4}$  часа мы уходим, т.-е. Вас. Дим., а не я. Я просидел бы бог знает до каких пор, чтоб показать, что [я] у [них] для Ростислава, а не для нее. Весьма неудачно! Даже Вас. Дим. говорит, что неудачно, и утешает тем, что на масленице устроит блины и «тогда можно будет поправить дело».

Хорошо. На другой день (в среду 18 числа) является [человек] снова с запискою от Палимпсестова. (Эта записка у нее; должно будет приложить ее к делу.) «Если ты сколько-нибудь уважаешь О. С., будь ныне ее ангелом хранителем. Она будет у Аким[овых], там будет один молодой человек весьма дурных правил. Малейшая любезность с ее стороны будет поводом к жесточайшей атаке. Мне к сожалению нельзя быть». Я догадался, что это Куприянов, но думал, что скорее кто-нибудь другой, потому что Купр[иянов] не стоит того. Отвечаю Палимпсестову в восторженных выражениях благодарности и возгласах, что он истинно порядочный человек.

Еду к Акимовым. Вслушиваюсь у двери. — Дома. Но никого еще нет. Я хотел подождать несколько минут на улице, чтобы кто-нибудь приехал. Выхожу за ворота. Подъезжают. Это она. Ее провожает Фогелев. Фогелев уезжает, она остается. Боже мой, как все неосторожно! Я встречаю. Провожая ее по двору. «Палимпсестов истинно порядочный человек, вот что он мне написал. Я отдам вам, хотя бы не следовало отдавать». — «Но как же мы войдем вместе?» — говорит она. — «Я взойду через несколько минут». Через несколько минут вхожу. Скоро является и Куприянов. «Это он?» — «Должно быть он». — «Как же он узнал, что я буду здесь?» — «Да вчера в театре он спрашивал, когда я буду, — я сказала, что завтра или после завтра». Ну, если бы я знал, что это он, конечно, я не сказал бы, что опасения и хлопоты излишни. Она во весь вечер почти не говорила со мною. Весьма много сидела с Купр[ияновым] у стола, который в гостиной подле окон. Я сидел большею частью с Павл. Вас., но от времени до времени подходил к ним. Видно было, что дело не клеится, что она весьма нелюбезна с ним. Я был спокойнее. Теперь она предупреждена, верно будет осторожна. Но тогда я не знал еще всего ее ума.

(Да, в рассуждении о ее пороках: в субботу 28 февраля в квартире Палимпсестова, он сказал: «Конечно, можно кокетничать, но кокетство имеет свои пределы; она переходит эти пределы. Не будь она так умна, что никогда не позволит за-

быть с нею, это было бы отвратительно». А, так вот ты сам хотя ты весьма ограниченный человек, все-таки признаешь ее ум — да и общий голос, что она весьма умна, даже дураки все понимают это, — тем более понимаю и ценю я.)

Однако этот вечер она отрезала волосы и у меня, и у Куприянова, которого я при [ней] дернул за волосы, т.-е. [чтобы] перед собою одурачить, и он не нашелся, что сделать, когда узнал, что это я, а не она; через несколько времени вырвал у нее бумажку с волосами, которые рассыпались по полу; она хотела спасти, но не могла; это мне было приятно, чтобы этот дурак и мерзавец не думал, наконец, что у нее есть его волосы.

Она весь вечер была со мною весьма нелюбезна, говорила больше с Купр[ияновым], говорила мне, что я ревнивец и что я хочу быть ее дядькой, опекуном. Так что, наконец, Елена Вас. это заметила и сказала мне, что, верно, я поссорился с О. С., да и в самом деле под конец вечера я сделал какую-то глупость; конечно, нарочно, чтобы рассердить ее\*; кажется, насильно хотел взять ее под руку, чтобы пройти по зале. Она показывала раздраженный вид. Наконец, я сказал (сказав по обыкновению, что я и теперь почти в руках у нее), что я хочу поговорить с нею серьезно, и просил сказать, когда можно. «В пятницу», — сказала она, и я готовился в пятницу сказать ей, то, что пишу в начале описания 19 числа (описывая свои намерения). Наконец, выходим. Моей лошади еще нет. Я хочу идти пешком. Она садится вместе с Купр[ияновым]. Конечно, ее провожает какая-то старуха Акимовых. Они трогаются с места. Тут в первый, кажется, раз в жизни я догадался, наконец, что должен сделать — они уже выехали из ворот. «О. С., позвольте мне сказать вам весьма важную вещь, всего два слова». — Останавливаются. Я подхожу и сажусь на облучок. Они сидели вдвоем с Купр[ияновым], старуха внизу на дне саней. «Ступай», — кричу я. Что в самом деле вообразил бы себе Куприянов, если бы ехал один с нею? Да разве он и не решился бы на какую-нибудь дерзость? Ведь он дурак и свинья. Едем. Кучер не знает куда и везет мимо Патрикеевых. Она говорит с Куприяновым. Я вмешиваюсь в их разговор и выставляю Купр[иянова] в глупом виде, его разговор выставляю незанимательным, дурачу его, заставляю говорить с собою. Ну, где же ему бороться со мною, когда я хочу дурачить его? «Вы решительно мой дядька», — говорит она; потом не говорит со мною, не отвечает на мои вопросы и т. д. Я нарочно все обращаюсь к ней, зная,

\* Между прочим, когда она не хотела подать мне руку, чтоб пройти по залу, и отвертывалась от меня, я сказал (тут стояла Ел. Вас. и сказала: «О. С. решительно на вас сердится»): «О. С. изволит капризничать, только она забывает, что капризничать можно только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают». — Она обернулась ко мне с раздраженным видом: «Что вы сказали?» — «То, что мы можем капризничать только тогда, когда наши капризы кого-нибудь огорчают, и что поэтому вы напрасно капризничаете». — После этого она еще больше стала выказывать досады на меня. Это было почти перед самым отъездом.

что она не будет отвечать. Говорю различные пустые вещи, только бы говорить. У меня есть предчувствие, что она не в самом деле сердится на меня. Наконец, я говорю: «Говорите со мною или не говорите, это для меня все равно. Неужели вы думаете, что это меня может бесить? Но все-таки, если я ныне вел себя глупо, я имею право на вашу благодарность. Один мой поступок ныне вы должны одобрить (это то, что я был для нее, для того, чтоб предупредить ее). Вы благодарны мне за это?» — «Благодарна». — «И не мне одному? — есть еще человек, имеющий право на вашу благодарность (т.-е. Палимпсестов), — вы благодарны и ему?» — «Да». Наконец, подъезжаем к их дому, ворота заперты. Она выходит из саней и подходит к калитке, опираясь на руку Купр[иянова], который, кажется, не прочь считать свое свидание с нею удачным. Я подхожу к калитке, когда она входит с ним. «О. С., дайте и мне руку в знак прощения». Она не отвечает ни слова и убегает. Я дружески прощаюсь с Куприяновым и иду пешком домой, из всего вечера довольный только тем, что проводил ее, что она не ехала одна с Купр[ияновым]. Боже мой, я и теперь с огорчением вспоминаю, что было бы, если бы она поехала одна с ним. Эта скотина могла вообразить бог знает что. «Итак, все-таки я был у Акимовых недаром», — думал я.

После этого четверг. Теперь только некоторые вставки и начну свои размышления о ней и о себе и стану описывать свои впечатления.

Боже мой, как подробно описано! Все, решительно все с стенографическою подробностью! Никогда я не считал себя способным к тому, чтобы до такой степени дорожить воспоминаниями, которые, наконец, так длинны! Ведь целых 44 простых и 10 двойных страниц! Да еще все старался быть как можно более кратким, только в описаниях двух вечеров давал себе полную волю! И все-таки написал целых 64 страницы. Ведь это выйдет:  $64 \times 27$  (строк)  $\times 80$  (буквы в строке) = 138 200 букв! Ведь это 140 страниц обыкновенной печати! ведь это, наконец, целая повесть. Вот плодовитый писатель! И все это еще не кончено. Начинаются размышления и впечатления, да будут еще вставки. Господи, твоя воля! В самом деле дороги мне эти воспоминания! До воскресенья (когда, наконец, увижу ее — уж я успел стосковаться!) еще ведь испишу немало страниц! Ну, не ожидал от себя такой усидчивости!

Да мало ли чего я не ожидал от себя?

А вот теперь как превзошел свои ожидания!

Ложусь. Завтра вставки и размышления.

Да будешь ты благословенна!

Ныне отдал переплестать Кольцова. Просил, чтобы переплели как можно лучше.

Да будешь ты счастлива, как ты того заслуживаешь!

Да будешь ты счастлива!

Этим хочу закончить:

Да будешь ты счастлива, ты, давшая мне столько счастья. Ты, достойная счастья.

### 1. Почему *Ольга Сократовна* моя невеста

Сажусь писать свои замечания, размышления и т. д. 11 часов<sup>\*</sup> 4 марта, среда. Я в самом спокойном состоянии духа и не расположен совершенно к восторженности.

Итак, 1. Почему я в четверг 19 числа решился сказать ей, что если она не захочет выйти за другого, то может всегда выйти за меня?

Я чувствовал к ней сильную привязанность, это правда. Но чтоб уж тогда эту привязанность можно было назвать настоящей любовью, этого я не скажу. Действительно, это чувство было живо; но это была более потребность любить кого-нибудь, а не именно любовь к ней — именно потребность любить, видя некоторую возможность удовольствия, волновала мое сердце; это было то самое чувство, которое так часто в уединенных мечтах расширяло мое сердце, хотя не было еще никакого предмета, — напр., в Петербурге, где я постоянно мечтал о счастии жениться и постоянно завидовал тем людям, которые могли жениться в первой молодости. Ведь я, главным образом, жалел и о том, что я в Саратове, потому что, живучи здесь, я потерял 2 года для приобретения себе возможности жить, т.-е. содержать как должно жену.

Но и то правда, что я чувствовал к ней несравненно более сильную привязанность, чем, напр., к Кобылиной — какое же сравнение! То просто мысли в досужное время о хорошенькой девушке с весьма добрым сердцем, и — еще более — девушке, которая хорошо одевается и живет не в грязном (хотя довольно пошлом) кругу. Да и казалась ли она хорошенькой? Я постоянно сомневался в ее красоте. В некоторых позах ее лицо действительно красиво, но в иных позах оно мне решительно не нравилось. Но особенно моему желанию считать ее очень хорошенькой мешало то, что ее лицо очень часто имеет глупенькое выражение, т.-е. на нем совершенное отсутствие мысли, когда оно не одушевлено детскою веселостью. Мало того — слишком часто, почти постоянно, когда глаза ее не блещут огнем детской радости, выражение ее лица напоминало мне пошлое и прямо глупое выражение лица Ал. Фед. Раева. И было постоянно совестно, что мне нравится ребенок, потому что, наконец, она решительно дитя, мало того, что по летам, еще более потому, что совершенно неразвита в умственном отношении. Кроме того, я чувствовал и совестился, что главным образом мне нравится в ней то, что они довольно роскошно живут и что она всегда хорошо одета, т.-е. в дорогом платье и т. д. — это мне было решительно совестно. Поэтому, увидевши даже Патрикееву, я совершенно забыл о Кобылиной.

Почему же я думал суток двое после вечера на святках у Шапошниковых о Патрикеевой и с удовольствием любезничал с ней в первый вечер у Акимовых, т.-е. 26 генваря? Главным образом

потому, что это была первая девушка, с которой я говорил смело, с которой я любезничал, — меня радовала моя смелость, мое любезничанье. Я думал не о ней, а о том, что я смело любезничал с нею.

Но как я увидел О. С., я решительно потерял всякую охоту смотреть на Патрикееву и говорить с ней, и если иногда говорил, то единственно из совестливости, чтобы не заставить ее огорчиться моим слишком большим невниманием. Патрикеева даже не казалась мне хорошенькою. У нее нет в лице того глупенького выражения, как у Кобылиной, нет ни одной позы, в которой она абсолютно не нравилась бы, как есть такие позы у Кобылиной, но что она решительно уж нехороша. Выражение ее лица гораздо лучше, но черты лица гораздо хуже. И в 40 лет она не будет вовсе хороша. А теперь она недурна, главное особенно дурного в ее лице нет ничего, но и хорошенькой может быть названа только потому, что у нее весьма молоденькое личико и что держится довольно свободно. Правда, что в ней нет ничего, что бы мне не нравилось, как в большей части других девиц; правда, что она лучше многих. Но зато ведь на тех я смотрю с решительно несприятным чувством, не люблюсь ими, а чувствую какую-то несприятность.

А О. С.? Во-первых, она решительно хороша собою, как мне показалась тогда — теперь я нахожу, что она красавица, и она в самом деле красавица. Но тогда мне показалась она просто весьма хорошенькою. И тогда уж готов я был сказать, что по чертам лица она гораздо лучше всех, кого я видел в Саратове — в Петербурге ведь я никого не видел (кроме той хорошенькой девушки на выставке и молоденькой хозяйки Ив. Вас. Писарева в Семеновском полку на вечере — но тех я видел слишком мельком и слишком издали и только любовался ими, как картинками, никак не более. А дама в бель-этаже в опере на последнем представлении, когда я сидел в креслах? Уж это решительно только любовался и более ничего, еще менее чего-нибудь другого, чем в тех двух случаях; всего этого нельзя даже сравнить с тем, как я любовался Кобылиной, — далеко ниже)<sup>226</sup>. Конечно, мне ничье лицо не нравилось так, как ее лицо или, по-настоящему говоря, я, только глядя на нее, не чувствовал сомнения в том, что она действительно мне нравится, что она действительно хороша!

А она на самом деле хороша! в самом деле хороша! увлекательно хороша!

Но еще более мне нравилась живость, бойкость, инициатива ее характера и обращения. Не из нее надобно выпрашивать, она сама требует — это решительно необходимо при моем характере, [мне] который необходимо должен всегда дожидаться, чтоб им управляли, чтобы говорили: делай то-то и то-то, делай вот что; при моем характере, который решительно лишен всякой инициативы, — на этом-то и основано, что я решительно в душе, по сердцу, а не по одним умственным убеждениям демократ. Я всегда должен



слушаться и хочу слушаться того, что мне велят делать; я сам ничего не делаю и не могу делать — от меня должно требовать, и я сделаю все, что только от меня потребуют; я должен быть подчиненным — как всегда и был, даже подчинен был людям, которых ставлю ниже себя, напр., Срезневскому, а не управляющим им; ведь, напр., и в классе я хотел бы говорить то, что хотят слушать ученики, хотел бы ставить такие отметки, какие должен ставить по их мнению. Так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главою дома. А она именно такова. Это-то мне и нужно. Пусть мне говорит: живи так, ешь то, ложись тогда-то, поезжай со мной туда-то, купи то-то; пусть мне говорит: я хочу, чтоб образ нашей жизни был таков-то, чтоб наши деньги употреблялись так-то.

Да, у нее много характера. Я буду иметь, конечно, много влияния на нее, но она будет иметь на меня гораздо более. Что же выйдет? У меня характер мнительный, робкий, неуверенный в самом себе, поэтому постоянно наклонный к унылости, тоске. Если случается, что у меня гости и что они не придают своего направления разговору, у меня тотчас является унылость и вялость, скука и тоска. Но если в людях, с которыми я сижу, господствует какое-нибудь истинно определенное расположение духа, т.-е. какая-нибудь живость и не тоскливость, я всегда поддаюсь ему и сам от души становлюсь жив и весел.

Такова именно она. Она разольет живость, веселье на нашу жизнь, и мы будем жить игриво, «припеваючи», именно припеваючи, с постоянною улыбкою и радостью в моем сердце.

Не дай бог, чтобы моя жена подчинялась моему расположению духа! Тогда у нас было бы страшное уныние и тоскливость. Напр., если б вроде Кат. Матв. Патрикеевой — она стала бы ходить повесив голову, как хожу я, если предоставлен сам себе, — тосклива б была наша жизнь. И она завяла бы, и я изныл бы, глядя на нее и на себя.

У нее именно такой характер, какой нужен для моего счастья и радости. Это одна из главнейших причин, по которой я хочу иметь своею женою именно ее.

Какая завлекательность в обращении вследствие этого! Этой завлекательности нельзя противиться. Смело, бойко, решительно она овладевает тобою, и радостно идешь, куда ведет она! И как является, бывало, напр., у Акимовых, кто царствует? Она, она царствует над всеми, она душа всех и всего, все смотрят на нее, все хотят говорить с ней, все думают о ней.

Для всех почти это кажется кокетством. Кокетство, может быть, и есть в ней, но его в сущности должно быть довольно мало, менее, чем в других. Нет, что она увлекает — делается без особого желания кокетничать с ее стороны. Нет, в ее характере то, что когда она держит себя совершенно непринужденно, так, как ее характер велит ей держать себя, она увлекает всех.

Это вторая причина по моей программе.

3. — Чрезвычайная доброта сердца (много случаев, назову только два: кадрили с Сахаровым, чтоб его не огорчить, тогда, когда ей хотелось танцевать с Палимпсестовым, и то, что давала целовать руку Шапошникову у Чесн[оковых], — а со мной сколько раз эта доброта проявлялась! Постоянно, постоянно! Чрезвычайная мягкость характера, необыкновенная мягкость — решительно в ней нет упрямства, нет ни малейшего следа капризов.

И эта доброта, эта мягкость, это веселье при ее тяжелом нежном положении в семействе! Да, этот характер переработает меня, не поддастся моей наклонности к апатии, вялости, а сделает меня похожим на нее! А сколько случаев доброты со мной! Постоянно! Напр., хотя 5 кадрили в маскараде, которую хотела она танцевать с Веден[япиным]! Да разве я не делал постоянно выходки очень глупые, неловкие? Сердилась ли она на них? Разве я не держал себя весьма глупо, т.-е. не пользовался случаями сидеть с ней, говорить с ней, какие она сама предлагала мне? Разве я не был весьма часто решительно глуп? bête? Разве я не постоянно вел себя так, что ко мне шла поговорка: *Si jeunesse savait*?\* А разве я не называл ее постоянно кокеткою, большею частью весьма некстати, т.-е. при людях, при которых это вовсе не следует говорить? Разве я не целовал ее руку всегда весьма холодно, по принуждению, говоря, что это я делаю только потому, что она этого хочет? Разве мало и говорил я ей, и делал с нею такого, что решительно раздражало бы, оскорбляло бы всякую другую девушку? А теплое, искреннее пожатие моей руки?

Боже мой, сколько в ней ума и такту! Боже мой, если б во мне была хоть сотая доля этого такту! Я говорю не про неловкость мою, — это само по себе, это другое — а про такт, которого я у себя нахожу более, чем у других!

Обошлась ли она, при всей странности, эксцентричности (не говорю уже о bêtise, глупости, недогадливости) моих поступков и моего характера, со мной хоть раз не попад? Нет, нет! Всегда, всегда какая пронизательность и какой такт! Ни разу ни одного слова, ни одного движения неудачного!

Но теперь я знаю ее ум лучше, чем раньше. Она решительно умнее всех, кого только я ни видывал! Это гениальный ум! Это гениальный такт! Перед ней я чувствую себя почти так же, как в старые годы чувствовал себя перед Вас. Петр. в иные разы при разговорах о политике — вижу, что тут не я попираю других, а что надо мной могут, если захотят, посмеяться, потому что выше меня, потому что дальше и шире меня видят! Потому, что более взрослые, чем я, который всех считает или тупыми, или детьми перед собою.

Нужно только будет развить этот ум, этот такт серьезными учеными беседами, и тогда посмотрим, не должен ли я буду сказать,

\* Если бы молодость знала.

что у меня жена Mme Staël! И тогда посмотрю, кто будет иметь право сказать, что я принадлежу женщине, равной которой нет в истории! (Боже мой, это я пишу без восторженности, если угодно, холодно, а между тем пишу такие вещи, которые решительно для каждого смешны, по своей страшной самонадеянности, по своему страшному удивлению к ней! Но этого я не побоюсь думать! Нет, я буду гордиться ею и не буду сомневаться в основательности моей гордости!)

Прямота — она сама говорит, что у нее не может [быть] скрытности, что она вся наружу, — и это действительно так. Кто скажет, как она, на мой вопрос: «Но я должен сказать, что делаю это (говоря, что я ее жених) только потому, что думаю, что делаю этим услугу вам?» — При ее уме и проницательности она, конечно, видела, что держит меня совершенно в руках и что может заставить меня делать, что угодно, и вовсе не имеет необходимости отвечать на этот вопрос «да», чтобы удержать меня, — «почти» (Нет, мы говорим такие вещи, что должны говорить прямо, к чему это «почти» — говорите решительно. Боже мой, как это глупо! Боже мой, как это глупо, какая глупейшая несноснейшая навязчивость там, где и так ясно.) — «Если хотите, почти можно выпустить». — Ну, кто скажет это?

(Боже мой, как мне хочется видаться с ней — мало ли что нужно переговорить с ней, — но главным образом затем, чтобы спросить ее, что ей во мне не нравится, чтобы постараться уничтожить в себе эти стороны.)

В ней чрезвычайное благородство, как следствие ума, доброты, мягкости сердца, деликатности, такта, прямоты, но, наконец, как дар природы. О, как много благородства! Оно во всем! И ни капли принудительности, притворства! Разве она сколько-нибудь изменила свое обращение с тех пор, как рассчитывает на меня? Разве она старается показать мне больше привязанности, чем в самом деле есть? Разве она оставляет мне хоть малейшее сомнение в том, что может быть влюблена в меня? «Вы мне нравитесь. Вы хороший человек. Вы умный человек». — Разве она притворяется чем-нибудь передо мной, чтоб больше завлечь меня?

Наконец, — отчасти следствие всего этого вместе, — решительное отсутствие пошлости, пошлости, которую вижу почти во всех, на кого смотрю с вниманием, кого считаю стоящим того, чтобы смотреть, есть ли в нем пошлость или нет! Нет, я никогда не мог взглянуть на нее свысока, как смотрю на Ник. Ив., как смотрю на Ан. Ник., не говоря уже о других (Евг. Ал. человек, не имеющий ничего блестящего, отличного — он просто человек, ограниченный человек). Например, хоть эти нежности, любезности — есть ли в них что-нибудь приторного? Что-нибудь отталкивающего, как, напр., в выражениях нежности Ник. Ив. или Анны Никаноровны? Под приторным я понимаю не притворное — в этих двух людях его нет, а что-то такое, что неприятно. Вообще, нежные чувства редко, весьма редко можно видеть без того,

чтобы, кроме радости, они не внушали какого-то неприятного чувства. У нее этого нет.

Ум, благородство, прямота! Нет, подобное ей существо едва ли найду я, если потеряю ее!

И какая рассудительность, осторожность при видимой чрезвычайной свободе! Т.-е. она не хочет остерегаться почти никогда; но разве она позволяет себе что-нибудь в самом деле неосторожное? Как она всегда удерживает мою неосмотрительность!

Наши приехали из церкви. Иду вниз.

Одна половина программы кончена. После обеда другую.

Да будешь ты счастлива, как достойна того!

3 часа. Продолжаю.

Ей хочется избавиться от своих неприятных отношений к матери, которая ее терпеть не может. Это вещь, которая описана у меня раньше. Вообще, как скоро человек в тяжелом положении и я могу помочь ему, у меня рождается к нему любовь, и если это собственно от меня зависит, я всегда исполню все, что он от меня требует. Я говорю это не в похвалу себе. Итак, это была одна из главных причин, по которой я согласился. Но если б я не чувствовал к ней слишком сильной привязанности раньше, собственно за ее качества, а не за ее положение, конечно, я бы не пожертвовал собою. Напр., для Кат. Матв. я никогда не решился [бы], хотя она весьма добрая девушка.

На меня чрезвычайно много подействовала ее доверчивость ко мне. Верно она понимает мой характер и верно я кажусь ей хорошим человеком, честным, благородным человеком, если она решилась поступить так в отношении ко мне. А если она понимает меня так, как я в самом деле, и все-таки решается выйти за меня, значит, она думает быть счастливой со мною. А ума и проницательности, чтобы понять, у нее слишком достанет. Достанет и расчетливости, рассудительности, чтобы не обмануться в своих соображениях о том, хороша ли будет ее жизнь со мною. Но мне ее доверие ко мне чрезвычайно льстит.

После [того], как я увидел глупость своей [первой] привязанности (впрочем, весьма пустой и слабой, привязанности, которая никогда не была даже достаточна, чтобы уверить меня в том, что она действительна, что она не обольщение праздной фантазии, чем она и была), потому что долго я не мог [бы] ей доставить средств жить так, как теперь она живет, я обратился к мыслям, более достойным порядочного человека. Я сначала обольстился блеском, который окружает девицу, принадлежащую к семейству, живущему на широкую ногу. Но потом я увидел мелочность, пустоту этого чувства, вовсе недостойного порядочного или сколько-нибудь умного человека. Я понял, что для счастья в супружеской жизни, и особенно для счастья моего, необходимо, чтобы моя жена была решительно довольна своим положением, — я не могу видеть вокруг себя недовольных чем бы то ни было, тем более недовольных мною. Для довольства своим положением нужно, во-

первых, то, чтобы человек никогда не думал, что его положение (материальные условия для жизни) хуже того, чем могло бы быть. Следовательно, для счастья жены необходимо, чтоб она никогда не имела мысли о возможности найти себе лучшую партию, чем ее муж. Говоря попросту, я пришел к мысли, что никак не должен жениться на девушке, которая была бы по своему положению в обществе выше меня. Сначала, и почти до самого 15 или 16 февраля, во мне преобладала крайность, я хотел жениться не иначе, как на весьма нуждающейся девушке, на девушке, которая была бы весьма бедная и беспомощная, чтобы она всю жизнь радовалась и тому немногому довольству, каким бы пользовалась со мною и какого никогда не видывала раньше. Но когда я узнал О. С., эта мысль у меня ослабела. «Если б можно было жениться на ней», — думал я. «Но она может составить лучшую партию», — думал я. «Я не вправе делать ей предложение; может быть она, не осмотревшись хорошенько, ослепленная моею любовью, и согласилась бы, но как я буду лишать ее лучшего жребия?»

Но вот она сама выбирает меня — если так, я счастлив.

Хорошо. Это все равно, материальная ли или нравственная невыгодность положения заставляет считать девушку жизнь со мной несравненно выше, чем ее прежняя жизнь. Все-таки остается сущность моего образа мыслей, остается [не] нарушенным основное правило, которое я поставил себе законом для женитьбы: выйти за меня замуж кажется ей не потерей, а выигрышем. Она настолько умна и рассудительна и тверда, что не раскается в этом предпочтении. Хорошо. Я спокоен. Моя совесть чиста. Я могу без упрека себе предаться своему увлечению. «Ты говоришь, что для тебя жить со мною лучше, чем жить теперь. Я счастлив, что мои надежды на счастье с тобою встречаются с твоими мыслями о счастье со мною». «Я не обманываю тебя, я не лишаю тебя ничего такого, о чем бы ты могла пожалеть после. Хорошо. Ты можешь располагать мною; я сам не смел бы никогда дерзнуть на это, чтобы не ослепить, не обольстить тебя, своим пламенным языком не заставить тебя забыть о расчетах, про забвение которых ты могла бы пожалеть впоследствии. Я счастлив тем, что ты рассчитала и видишь, что не будешь жалеть о том, что осчастливила меня».

Я могу без упрека совести стать твоим мужем. А могу ли я без упрека совести отказаться от этого счастья? Нет. Я бы стал вечно говорить себе: «Ты мог помочь и не решился помочь, когда требовали твоей помощи. Ты подлец, ты трус, ты мерзавец, tu es lâche — низкий, гадкий, трусливый, подлый человек.

Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы («Егип. ночи» Пушкина).

Отказаться было бы вечным позором для меня. Я навеки потерял бы возможность уважать себя.

Я навеки остался б заклеямен презрением в своих глазах. Я был бы несчастлив, я мучился бы собственным презрением. Я не мог не поступить так, как поступаю.

А советовать с родными? Есть случаи, в которых никто не должен спрашивать ничьего совета. Это те случаи, когда чувствуешь себя обязанным сделать так, а не иначе. Если они будут согласны — лишнее спрашивать их; если бы не согласились — я потерял бы право спрашивать их совета, потому что не послушался бы его.

А если они не согласятся теперь потому, что она покажется им слишком ветрена? Об этом будет речь после. Вот кратко мои мысли: «Вот какова она по моему убеждению. Вы не убеждаетесь, что она такова в самом деле, потому что мне кажется такою. Вы не доверяете мне? Что ж я за человек после этого? Мне лучше не жить. Я решительно спокоен. Даю вам столько-то времени на размышление. Если вы не согласитесь, я убью себя, потому что лучше умереть, чем быть человеком бесчестным и бесхарактерным. Лучше умереть, чем отказаться от счастья». И они согласятся, потому что я буду говорить совершенно спокойно и они увидят, что я сдержу слово. А если не согласятся? Я действительно убью себя. Убью и только. Я не переживу своего бесчестия, но я умру все-таки бесчестным, потому что связал себя обещанием, которое выполнить не в состоянии. Но к чему я говорю вздор? Разве папенька и маменька будут в самом деле противиться? Не думаю, не ожидаю этого. Много-много, если им не совсем приятно будет согласиться, но наверное согласятся, не доводя меня до таких угроз. Я, если нужно, я спокойно сдержу свои угрозы. Маменька не переживет моего самоубийства. Жаль. Но зачем же была так самонадеянна, так малодоверчива ко мне, что довела меня до этого. Зачем поставила меня в такое положение? Мне горько будет убить ее, еще более горько будет то, что, взявши на себя обещание выше моих сил, я связал на несколько времени О. Сокр. — но что же делать? Ссориться я не могу, умереть я могу. А если они скажут: «Дай раньше узнать ее?» — «Нет, нечего узнавать, я ее знаю, жить с ней мне, а не вам. Если я такой дурак, что даже в этом деле нельзя предоставить меня собственной воле, куда же я гожусь? Да или нет, и через час или вы поедете знакомиться с родными моей невесты, или я убью себя». Это я сделаю. Это для меня вовсе нетрудно даже. Это в моем характере.

Во мне, говорят Николай Иванович и Анна Никаноровна, мало фантазии — вот вам доказательство на бумаге, какой я фантазер. Ведь серьезно обдумываю, как поступить в таком случае, который решительно невозможно ожидать. Ведь решительное сопротивление моих родных решительно невероятно. А я все-таки принимаю его в расчет серьезно и уже обдумал все. Жаль, что не припас еще завещания. Я смеюсь над своими глупыми опасениями. Но если б, против всякой возможности, случилось так, как

представляет мне возможным моя необузданная фантазия, конечно, я совершенно хладнокровно поступил бы так, как думаю поступить. Теперь только одно колебание — выбор рода смерти. Вероятно (о, какой положительный человек! — сам люблюсь на свою нелепую фантазию), запасусь к тому времени ядом. Если яда не успею запасти, думаю, что лучше всего будет разрезать себе жилы. Однако, предварительно прочитав, как древние поступали в этом случае, напр., Сенека. Если не успею получить положительных сведений, чтобы успех открытия [жил] был несомненен, зарежусь чем-нибудь, только не бритвою, потому что это слишком неверно. А убить себя все-таки убью. Если понадобится, конечно. Уж это верно. Одним словом —

Что мне крепкий замок,  
Караул, ворота? (в переводе — несогласие родных).  
Не любивши тебя,  
В селах слыла молодцом,  
А с тобою, мой друг,  
Мне и жизнь нипочем.

Смешно. А пишу совершенно серьезно. Знаю, что сопротивление невозможно. А уж приготовился к нему и знаю, что сделаю, если оно будет. Но, само собою разумеется, глупо ожидать его.

Ну, такого смешного, нелепого (и вместе такого несомненного в случае возможности сопротивления, т.-е. возможности невозможного) эпизода не найдется, вероятно, в моей памяти <sup>227</sup>.

Продолжаю. Я не могу отказаться. Это было бы бесчестно. Я бы покрылся позором в своих глазах.

Мало того. Я бы мучился сознанием своего бессилия решиться на что-нибудь. «Не посмел, не посмел, подлец, принять счастья, не спросив папеньки и маменьки; не посмел решиться на свое счастье, потому что это важный шаг — а, да ты, действительно, такая дрянь, какую считал себя! Ты, братец, ни на что не способен! Славная ты, братец, тряпка! Вот уж истинный Гамлет».

Я, действительно, тогда стал бы Гамлетом в своих глазах, мысль, которая и без того уж постоянно меня мучила. Тогда я навек не освободился бы от нее. Теперь я спокоен. Теперь я чувствую себя человеком, который в случае нужды может решиться, может действовать, а не существом из числа тех крыс, которые собирались привязывать звонок на шею коту.

О, как мучила меня мысль о том, что я Гамлет! Теперь вижу, что нет; вижу, что я тоже человек, как другие; правда, не так много имеющий характера, как бы желал иметь, но все-таки человек не совсем без воли, одним словом человек, а не совершенная дрянь.

Меня мучило бы (если б я поступил не так, как поступил 19 февраля <sup>228</sup>, в четверг) и то, что я поступил с таким благородным существом, как О. С., неделикатно, грубо, негуманно, что я человек бесчувственный. Как тяжело ей должно было поставить

меня в такое положение, как она поставила меня! Как дорого это усилие должно было ей стоить! А я все-таки не пожалел ее, не тронулся ее положением! Разве не тяжел ей был вызов? Значит, я должен был принять его, если во мне есть хоть сколько-нибудь способности сочувствовать тяжелому положению; значит, положение тяжелое, когда она решается на такие вещи! Я не тронулся этим? Да после этого я был бы скотина, свинья! Да после этого я не мог бы никак не быть убежден в том, что я деревянный человек, что я бесчувственный человек, что я поступил по-свински, что я бесчувственная скотина.

(Иду вниз к маменьке. Там, конечно, буду делать дело. Именно, поправлять свои цифры в словаре.) (Продолжаю в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов.)

## [2.] Почему я должен иметь невесту?

Мне жаль ее, мне совестно перед собою не дать руки, которую хотели взять, чтобы выйти из пропасти.

Да что ж, наконец, я делаю здесь? И до каких пор это будет продолжаться? Жить здесь — значит терять свою карьеру. Будет ли у меня довольно сил, чтобы вырваться отсюда? Два года, которые я прожил здесь, в течение которых я два раза собирался решительно уехать и все-таки не уехал — почему, это другое дело — отчасти по апатии, отчасти из сожаления оставить маменьку — доказали, что у меня нет решимости уехать отсюда, если меня не принудят обстоятельства. А какие обстоятельства, кроме женитьбы, могут заставить меня сделать это? Здесь я жить женатый не могу, во-первых, потому, что никогда не буду иметь средства к жизни — на 1 400 р. не проживешь; во-вторых, потому, что я здесь буду всегда в зависимости от маменьки или должен буду постоянно иметь неприятности с ней, потому что ее мысли об образе жизни вообще, тем более об отношениях семейной жизни, решительно не сходятся с моими; нет, довольно и того, что я живу в подчинении, но чтоб моя жена должна была подчиняться кому-нибудь, т.-е. чтоб я стал подчиняться кому-нибудь в своих отношениях к жене, т.-е. в повиновении ей, а моя жена подчинялась кому-нибудь и чему-нибудь в образе своей жизни — нет, это уже слишком. Да и может ли она поладить здесь с маменькой? Нет, потому что не она будет главою семейства. Другое дело, если маменька приедет жить с нами в Петербург, — весьма рад, потому что там она будет гостья, будет пользоваться всем уважением, всякою предупредительностью от нас, а мы, т.-е. моя жена будет главою дома. Одним словом, здесь жить женатый я не могу. А я должен, я хочу жениться. Следовательно, уж по одному этому я должен ехать в Петербург. А моя карьера? Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений с перспективою быть ассессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я дол-



жен поскорее уехать в Петербург. А я не могу ехать, если обстоятельства меня не заставят. Какие же обстоятельства? Служебные? Я уверен, что меня не вытеснят, а я скорее поставлю всех вверх дном и останусь, если уж на то пошло. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что принудил меня к тому-то, тем более мой начальник, что мог меня вытеснить. Нет, я слишком самолюбив, чтобы позволить так повернуться делам. Остается одно — приобретение возможности жениться. Да не просто в части возможности жениться, а по необходимости жениться. Мысль о женитьбе только тогда подействует на меня, когда я буду думать не «я хочу жениться», а когда я буду знать, что я должен жениться, что мне уж нельзя не жениться, одним словом, когда я буду не человеком, который думает жениться, а когда я буду женихом. Когда же я буду женихом? Если не стану теперь, если не стану женихом О. С., когда же и чьим же женихом я буду? (об этом после). Итак, я должен стать женихом, чтобы уехать отсюда; без этого у меня не достанет сил уехать отсюда, покинуть маменьку. Я должен уехать. Без этого одного уж я несчастлив на всю жизнь. Итак, я должен стать женихом О. С., чтобы получить силу действовать, иначе —

На путь по душе  
Крепкой воли мне нет.

Ну, хорошо. Если бы даже я уехал отсюда? Я уж испытал прелесть отношений с девицами через отношения к О. С. Эта прелесть уже увлекала меня. И вот что я буду делать в Петербурге? Я должен скоро и решительно, не развлекаясь ничем, устраивать свои дела. А если я явлюсь в Петербург не женихом, я буду увлекаем в женское общество своею потребностью; что же выйдет? То, что я буду заниматься двумя делами — работою и женским обществом, если угодно — волокитством и мыслию о волокитстве, т.-е. это у меня будет не волокитство, а потребность любви и отыскивание любви. И любовь помешает работе. Да еще на меня станут иметь виды господа, имеющие дочерей и т. п. Устою ли я против их увлечений, сам увлекаясь своим сердцем? Нет. И я буду гоняться за двумя зайцами, и одного — работу — упущу. Да и какой мой характер? Разве я не бездельничая вообще все время, когда мне нет решительной необходимости работать? Следовательно, у меня должна быть необходимость работать и окончить, устроить свои дела быстро и скоро. Что ж может заставить меня работать, не теряя времени? Только одно: «Я имею невесту, которая ждет меня, и должен поскорее устроить свои дела так, чтобы она была моею женою». Кроме этого я ничего не вижу, что бы могло меня заставить не терять времени в пустых работах. Настояния со стороны, напр., Срезневского? Э, боже мой, да я у него могу нахватать разных сотрудиществ, так что мои собственные дела будут постоянно отлагаться. Да, он бы настаивал, а я пошел тянуть. Я не могу кончить работы

иначе как тогда, если мне дан срок, к которому я должен ее кончить; так, напр., и мой словарь никогда не был бы отделан, если бы не решительная мысль ехать в Петербург в декабре. А уехал ли я? Нет. Итак, я должен быть женихом. Вот невеста. Если уж этот случай не будет схвачен мною, какой может быть другой случай, столь прекрасный, столь счастливый, столь понудительный?

Хорошо. Я, положим, поеду в Петербург. Там года два не устрою своих дел, как должно, если не буду принужден к этому необходимостью. В эти два года я постарею много, истрачу лучший пыл сердца, сделаюсь расчетливее в выборе. Да и кто мне понравится после нее? И вот сколько лет пройдет у меня! Бог знает сколько! И вот мне 32 года, и вот я должен жениться на 25-летней отцветшей девушке, и вот мне 50 лет, а мои старшие дети еще мальчики, еще девочки. А я хочу свежей любви, а я хочу долго любоваться, наслаждаться молодостью жены. Да и какие девицы в Петербурге? Вялые, бледные, как петербургский климат, как петербургское небо. Нет, я не хочу их. Да у них будет семейство тут, да у моей жены, если она из Петербурга, будут различного рода матери, тетки, братцы и т. д. — я их не хочу. Я не хочу, чтоб [у] нас был кто-нибудь, кроме меня и моей жены, чтобы ей надували в уши, что обыкновенно надувают в уши г-жи родственницы. Нет, моя невеста должна быть не из Петербурга.

Если не женюсь теперь, на ней, — когда же? Бог знает когда, вероятнее всего — никогда. Чтобы я женился, нужно подобный случай. А подобный случай требует подобной девицы. Найдется ли еще хоть одна такая на моем пути? Что же? Я должен буду отыскивать в Петербурге бледную, вялую, золотушную, чахоточную красавицу. Или ехать в качестве кандидата в женихи в Саратов? Господи боже мой! Что это за чепуха! Я не должен опускаться этого чудесного случая. Не должен, или я погиб. И я беру и благословляю руку, которая так доверчиво, так счастливо для меня протянута ко мне. Не найти мне подобной руки! Беру ее, благословляю ее!

О, да будешь ты благословенна, да будешь ты счастлива!  
(Это все писано в среду 4 марта.)

Продолжение. Пишу 5 марта в 12½ час. утра.

Мне должно жениться уже и потому, что через это я из ребенка, каков я теперь, сделаюсь человеком. Исчезнет тогда моя робость, застенчивость и т. д.

Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Поэтому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою. Иначе почему знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против демократи-

ческого, против революционного направления, и этою защитой ничто не может быть, кроме мысли о жене.

Итак, я должен необходимо жениться.

Должен ли я жениться на ней?

Об этом я уж говорил с одной стороны, с той стороны, что я и раньше нашего разговора в четверг 19 февраля чувствовал к ней сильную привязанность и думал, что для моего счастья необходимо такая жена, как она.

Что будет, если я не женюсь на ней? Я никогда не смогу найти такого прекрасного существа, как она; мой выбор будет всегда несравненно хуже, чем тот счастливый случай, который представляется мне теперь. Потому что я знаю, что у меня нет ни довольно пронацительности, ни довольно опытности, чтобы предохранить себя от хитростей, обмана, наконец, самообольщения. Где мне искать, где кому-нибудь найти такую девушку? Такую чистую, такую благородную, такую умную, такую красавицу? Кто лучше ее из тех, которых называют здесь красавицами? Я во всяком случае не знаю, и верно никто мне не будет так нравиться.

Наконец, у меня есть еще одно желание — фантастическое желание, это может быть, но глубокое, давно уже зародившееся и все делающееся более и более сильным желание — не желание даже, а глубокая потребность, основанная на всем моем характере.

Я хочу любить только одну во всю жизнь.

Я не хочу, чтобы у меня были о ком-нибудь какие-нибудь воспоминания, кроме как о моей жене.

Я хочу, чтобы мое сердце не только после брака, но и раньше брака не принадлежало никому кроме той, которая будет моей женой.

Кроме того я хочу поступить в обладание своей женой, и телом не принадлежав ни одной женщине, кроме нее. Я хочу жениться девственным и телом, как будет девственна моя невеста; для этого я должен жениться скорее, потому что я слишком долго не могу удержаться целомудренным; я не хочу прикасаться к женщине, кроме своей жены. Поэтому уж я должен не медлить женитьбою.

А что теперь? Как ни говори, как ни уверяй себя, что то, что я чувствую к ней, еще [не] любовь, — все-таки это любовь.

Да не в названии дело, дело в том, что глубже чувства, которое внушает она мне, я не испытывал, и что это чувство так глубоко, что воспоминание о нем никогда не пропадет из моего сердца. И в объяснях жены, если это будет не она, я буду припоминать: «А было время, мое сердце принадлежало другой! Друг мой, я не всю свою жизнь, не всю свою душу отдал тебе! Часть жизни моей души принадлежит не тебе! Не ты моя первая любовь». Это будет мне мучительно. Я буду ревновать себя за свою жену к О. С., к моей первой любви. Я этого не хочу. Пусть у меня будет одна любовь. Второй любви я не хочу.

Все это весьма идеально, может быть весьма смешно, но что ж делать? Мало ли есть в моем характере такого, что для других должно казаться смешным и от чего все-таки я не могу и не хочу освободиться.

Так, так, будь ты моей единственной любовью, если только это возможно, если только ты согласна!

(Должен сказать, что я пишу это несколько не разгоряченный, — да и от чего мне разгорячаться? Уж шестой день, как я не видел ее, а что теперь имеет на меня какое-нибудь влияние, кроме ее присутствия?)

Итак, я люблю ее. Я не надеюсь найти другую, к которой бы я мог так сильно привязаться; я даже не могу представить себе, никак не могу представить себе, чтобы могло быть существо более по моему характеру, более по моему сердцу, чтобы какой бы то ни было идеал был выше ее. Она мой идеал, или скажу просто: я не в состоянии представить себе идеала, который был бы выше ее, я не могу даже вообразить себе ничего выше, лучше ее. Она мой идеал, но идеал не потому, чтобы я идеально смотрел на нее: я вижу ее, как она есть, я не украшаю ее в моем воображении, нет — потому что в ней все, что может быть лучшего, все, что может пленять, обворожать, заставить биться радостью и счастьем мое сердце.

Это женщина, с которою я буду счастлив, как только могу быть счастлив от женщины. В ней мое счастье, в ней.

Она выбирает меня — значит, она думает найти во мне свое счастье. Это всего важнее, без этого я никогда [бы] не решился для своего счастья рисковать ее счастьем. Она думает быть счастлива со мною — хорошо; если так, я [не] колеблюсь.

Потому что у меня одно колебание: будешь ли ты счастлива со мною; что я буду счастлив с тобою, об этом нечего и толковать, как нечего толковать о том, что днем на небе бывает солнышко. —

Вот мои мысли (конечно, кроме мысли, что она выберет меня, примет мою руку) при начале разговора с ней. Я не сознавал ясно, но я чувствовал ясно, что мой разговор, к которому я готовился в пятницу и который я начал в четверг, кончится с моей стороны тем, что я сделаю ей предложение.

Я хотел его сделать, я готовился к нему.

Но раньше я должен был, как честный человек, высказать ей мои сомнения в том, должна ли она соединить свою судьбу с моею.

Я сделал это. Потому что — как угодно, а в сущности я честный человек, и я правду говорю, когда говорю перед собою и повторяю ей:

Твое счастье для меня дороже моей любви.

Тяжело было для меня говорить так, как я говорил с нею. Вместо любви, вместо восторга, вместо языка жениха — язык человека, который говорит: пожалуйста не решайтесь выходить за меня замуж!

Чем бы это могло кончиться? Этот разговор мог бы быть смертным приговором для моего счастья.

Но я все-таки начал этот разговор и высказал все, что должен был высказать.

Я поступил, как честный человек.

И она выслушала этот грубый язык, она выслушала его и поняла мои речи в их истинном смысле, не оттолкнула меня за мой грубый совет «откажитесь от мысли быть моей женой».

Она поняла, что я говорю, как честный человек, что я говорю это не для того, чтобы мне хотелось заставить ее оттолкнуть меня, — что было бы тогда со мною, я не знаю, — а потому, что я должен был сказать ей, за кого она выходит.

Она поняла, что я не ломаюсь, что я говорю искренно, по чувству обязанности сказать все, а не потому, чтоб хотел отказаться от ее руки. Кто б понял это? Она поняла!

Кто б не оскорбился этим? Она не оскорбилась!

О, как это возвысило мое уважение к ней! О, как это возвысило мою уверенность в том, что я буду счастлив с нею и что она не будет несчастна со мною!

Я не знаю равной тебе! Ты согласна — я счастлив!

Да будешь ты счастлива!

Да будет у меня одно счастье в жизни — счастье тем, что ты счастлива!

Моя жизнь будет посвящена твоему счастью.

Я пишу это совершенно холодно. Я теперь далек от всякой экзальтации, от всякого преувеличения. Я спокоен, я говорю мысль, которая никогда не покинет меня, потому что она имеет источником мой характер и мое знание себя, а не какую-нибудь горючность.

Я рассуждаю о моих чувствах, я теперь не увлекаюсь ими.

Насколько твое счастье зависит от меня, от моих сил, от моей безграничной преданности, ты будешь счастлива!

*5 1/2 час. вечера, 5 марта, четверг.*

Начинаю писать свои размышления о ней.

Первый, самый главный, единственный вопрос, от которого разрешения зависит мое счастье, это вопрос, которого я стыжусь.

Не играет ли только мною она? Я решительно говорю: нет.

Но я человек мнительный и должен записать свои сомнения. Чтоб и впоследствии мог бы видеть, что я не увлекся, не ослепился, а действовал по совести и рассудку, конечно движимый сильным, глубоким, нежным, но вовсе не слепым чувством.

Я пишу их и из ненависти к этой глупой стороне моего характера — мнительности, робости, опасению встретить противодействия, несчастья, горе, неприятности там, где их вовсе нет и не может быть. Эта сторона моего характера должна быть безжа-

лостно казнена, и я казню ее страшным образом, выставляю на неизгладимый позор этим записыванием.

Стыдись, малодушный (вот истинное название для меня)!.. Стыдись, малодушный, своего глупого малодушия — вот оно выставляется тебе самому на показ, чтоб ты мог после, когда будешь продолжать борьбу с этою гнуснейшею, подлейшею, наконец, вреднейшею стороною своего характера, который, скажу без самохвальства, был бы безукоризнен, если бы в нем не было этой стороны, — чтоб тогда ты мог видеть ее на бумаге неизгладимо заклеянною тем самым, что она выставлена целиком, как есть, без всяких прикрас и преувеличений. — Ты увидишь ее, и она будет поражена всякий раз, как ты посмотришь на ее изображение во всей ее гнусности.

Мне тяжело, — о, как тяжело писать то, что я буду писать, — но я напишу все. Я казню себя тем, что пишу. Я не щаю никогда никого, потому что озлоблен против себя тем, что во мне есть такая гнусность; тем более не пощажу своей гнусности, этого источника моего ожесточения.

Пусть, когда рассеются мои глупые сомнения, когда мне придет охота отказаться от них, у меня на бумаге [останется] неизменное доказательство того, как я был глуп со своими опасениями, и тогда я буду всегда иметь право сказать себе, если бы начались снова подобные опасения: Посмотри, как был ты глуп — ты и теперь будешь так же глуп, если не подавишь своих глупых сомнений.

Сомнения были во мне — не против нее — нет; в отношении к ней у меня не было сомнений, не было подозрений, оттого что она слишком благородна и пряма, чтобы у нее могли быть от меня тайны, когда она увидела, что со мной не нужно иметь тайн. Нет, не против нее, а сомнения относительно моих житейских, служебных, литературных, политических отношений. Сомнения против нее — они и теперь нелепы; я и теперь не обращаю внимания на них, а после, если я буду так счастлив, что блаженство жить для нее будет моим уделом, — после у нас не будет никаких недоразумений; я буду знать о ее жизни, о ее чувствах ко мне и к другим, о всех ее отношениях все, что заслуживает быть известным, все, что имеет хоть малейшую важность для меня или для нее.

Опять какой горячий язык, — а ведь я пишу совершенно спокойно! Я пишу так же спокойно, как говорю: «Солнце освещает землю» — что ж делать, что о солнце нельзя не употреблять сильных выражений, как бы спокойно ни говорил о нем; что же делать, что о ней нельзя не писать величественных, торжественных мыслей, как бы холодно ни писал. Она сама виновата в том, что самые спокойные, холодные размышления о ней, излагаясь как нельзя проще и спокойнее, все-таки имеют какой-то возвышенный характер. О возвышенном самые холодные мысли возвышенны!

Играет ли она мною? И я думаю это! Нет, я не думаю это, а в моей малодушной гнусной фантазии есть гнусные эти мысли, и я их выдаю на позор.

Может быть, — клеветает на нее мое необузданное малодушие, — она просто видит в тебе простяка, который без памяти влюблен в нее и с которым она может делать, что ей угодно — ведь это дар божий! Ей хочется выйти замуж. Она имеет надежды, что, может быть, посватает ее кто-нибудь, кто кажется ей лучше тебя, напр. Палимпсестов. Но как девушка весьма умная, видит, что это не легко; может быть это будет, может быть это и не будет. А ей хочется выйти замуж поскорее. Ну, вот она и взяла тебя про запас — будет приискивать себе женихов, увидит, что нет возможности выйти ни за кого, кроме тебя, — «ну, нечего делать, пойду за этого глупенького простяка», — ведь ей весьма несносно жить в доме — «он все-таки избавит меня от матери, а там, когда выйду за него, посмотрим, что будет».

Низко, брат, низко, стыдись этих мыслей.

Иду пить чай. Буду продолжать по возвращении.

Продолжаю 6 марта, пятница, 9 часов утра.

«Плохо, если не найду никого; нечего делать, тогда пойду за этого простяка. Он мне вовсе не нравится. Что ж такого? Можно будет жить и с ним, потому что он будет моим лакеем. Я буду им управлять. Он мне не будет мешать ни в чем, я с тем и пойду, и так буду держать его, чтобы он не смел ревновать и, одним словом, все-таки жить с послушным мужем лучше, чем жить с нетерпящею меня матерью». (Это я хватил уже чересчур — я излагаю в этих строках свои сомнения яснее и резче, чем они представляются мне.)

Итак, я игрушка ее, я запасной дворянин, я лицо, о котором говорится в пословице: «за неимением маркитанта служит и булочник» \*.

Но положим, что, наконец, и не найдется другого жениха. Она выйдет за меня. Что тогда будет? Она будет вести себя так, как ей вздумается. Окружит себя в Петербурге самую блестящую молодежь, какая только будет доступна ей по моему положению и по ее знакомствам, и будет себе с ними любезничать, кокетничать; наконец, найдутся и такие люди, которые заставят ее перейти границы простого кокетства. Сначала она будет остерегаться меня, недоверять мне, но потом, когда увидит мой характер, будет делать все, не скрываясь. Сначала я сильно погорюю о том, что она любит не меня, потом привыкну к этому положению, у меня явится *résignation* \*\*, и я буду жалеть только о том, что моя привязанность пропадает неоцененная, т.-е. зная ее она будет, но будет считать

\* Это слово не совсем разборчиво. Может быть, блинник. Ред.

\*\* Самоотречение.

ее не следствием нежности и привязанности и моих убеждений о праве сердца быть всегда свободным, а следствием моей глупости, моей ослиной влюбленности. И у меня общего с ней будет только то, что мы будем жить в одной квартире и она будет располагать моими доходами.

Я перестану на это время любить ее. У меня будет самое грустное расположение духа. Но быть совершенно в распоряжении у нее я не перестану. Только в одном стану я тогда независим от нее: некоторую часть денег я буду располагать сам, не передавая их ей — буду употреблять ее на посылки и подарки своим родным. Что будет после? Может быть ей надоест полокитство, и она возвратится к соблюдению того, что называется супружескими обязанностями, и мы будем жить без взаимной холодности, может быть даже, когда ей надоедят легкомысленные привязанности, она почувствует некоторую привязанность ко мне, и тогда я снова буду любить ее, как люблю теперь.

Ну, это до крайности нелепо. Эти мысли оскорбительны для нас, недостойны меня. Я знаю, что они глупы, совершенно ложны. Что этого никогда не будет. Будет она любить меня или просто будет чувствовать только некоторую благодарность мне за мою привязанность, но вертопрашничать она не будет. Но если бы я был решительно уверен, что так будет — что бы я сделал? Я знал бы, что через брак с ней буду несчастлив, но я не отступил [бы] от своего обязательства, и если бы даже она сама мне сказала: «Я выхожу за тебя только для того, чтобы пользоваться совершенною свободою делать, что мне угодно, любезничать со всеми, с кем захочу», — я все-таки сказал бы: «Как вам угодно, так и живите, я сказал, что повенчаюсь на вас, и прошу вас ехать в церковь венчаться. Пусть будет, что будет. Я готов на все. Вам угодно, чтобы я был вашим мужем — я готов. Вы будете моею женою и будете совершенно свободны».

Из чего же возникают мои сомнения? Из моего характера прежде всего. Мне нужны слишком ясные доказательства, что мною не пренебрегают, что я не надоед, что я не противен. Мне всегда кажется, когда, напр., я сижу у кого-нибудь или кто-нибудь сидит у меня, что он со мною скучает, что я пришел не вовремя и т. д. Мне трудно убедиться в том, что я на своем месте, что я в хороших отношениях к кому-нибудь. Но этот повод скоро уничтожится, если она в самом деле будет привязана ко мне. Напр., убедился же я, что Николаю Ивановичу я не мешаю, что он не пренебрегает мною; точно так же и относительно Евгения Александровича, Чеснокова, Малышева и т. д. Следовательно, за это нечего бояться, это пройдет весьма скоро, вероятно, раньше моего отъезда в Петербург весной.

Другой источник — мне говорят (Палимпсестов): «Она истощена (конечно, сердцем), она растеряла свои чувства и уже неспособна любить». Это и теперь на меня не действует, потому что



я ставлю себя выше других и их мнения для меня не имеют никакого веса. Я способнее, чем они, понимать таких людей, как О. С.; странно было бы, если бы религиозные мнения Николая Ивановича или Анны Никаноровны имели хотя малейшее действие на меня. — я выше по ясности взгляда, я лучше их понимаю эти вещи, и что они говорят мне, заставляет меня только одобрительно улыбаться: «Друзья мои, вы ничего тут не понимаете, вы городите страшную чепуху». То же самое, только в гораздо большей степени, и с этими толками о том, что она истаскана, что она растратила чувство. «Милые мои, вы говорите благородно, предупреждая меня, что вам кажется вот как. Но вы в сущности люди с грязною душою, вы не можете понимать, что такое за разница между любезничаньем, которое не касается до сердца, и между сердечною привязанностью. Вы неспособны понимать ее. Неужели вам кажется, что она любит кого-нибудь из тех, с кем любезничает, кому кружила головы? Если хотите, она любит так, как любит, напр., тебя, мой милый Федор Устинович, Елена Васильевна Акимова — но вот видите, О. С. решительно другой человек — ее сердце не истощено этими чувствами, она гораздо выше, и ее сердце остается совершенно девственным. Ее любовь еще впереди. Меня она полюбит или другого, я не знаю. Может быть и не найдет она человека, которого полюбила бы истинною любовью, который бы занял место, в самом деле, в ее сердце. Но дело в том, что ее сердце до сих пор еще девственно. И что касается, напр., до тебя, мой милый, мой благородный друг, Федор Устинович, ты не можешь себе представить, как мне смешно было слушать, когда ты говорил, что Елена Васильевна тебе нравится, а О. С. не может нравиться, что у Ел. Вас. милое кокетство, а у О. С. кокетство, которое было бы отвратительно, если бы она не была так умна, и что в Ел. Вас. ты был влюблен, а О. С. никак не могла тебе нравиться; это, мой милый, препотешно было мне слушать после того, как ты говорил о том, что у О. С. истощенное сердце, а у нас с тобою девственное сердце; нелепо, мой милый, потому что, во-первых, напрасно, значит, ты говоришь о девственности своего сердца: ты, мой милый, не понимаешь, что такое девственность сердца; но еще потешнее видеть, что ты не понимаешь разницы между Ел. Вас., пустенькой, глупенькой и поэтою пошленькой девчонкою, которая была и будет пошленькой вертопрашницею, и между таким возвышенным существом, как О. С., существом с такою глубокою и благородною натурою. Смешно (и в самом деле мне было смешно, хотя мне вовсе не до смеха, как скоро дело касается отношений и чувств О. С. ко мне), весьма смешно! Дай тебе бог здоровья, ты честный человек, но — извини — ты решительно глупый и пошлый человек, и эти слова, мой милый Фед. Уст., увы, остаются без всякого действия на меня! Мой милый, напрасно ты трудился, хотя я благодарен тебе за твои честные, благородные усилия просветить меня. Извини — мне стыдно так сказать о человеке, который показал мне истинную дружбу, но *amicus Plato, amicus Socrates, sed magis*

innica veritas\*—ты решительно похож на свинку, которая доказывала бы человеку, что напрасно он ест апельсины, что жолуди гораздо лучше ей нравятся. Славный ты человек! Но не дал тебе бог способности понимать многого на свете. И есть натуры, которые выше тебя, напр., хотя и О. С., и о них ты, мой милый, не судья. Ты производишь на меня то же впечатление, как человек, который стал бы говорить мне, что Вольтер, Луи Блан и Прудон, Искандер и Гоголь ему не нравятся, потому что слишком много в них цинизма, а что Булгарина и Масальского читает он с большим удовольствием.

Но теперь гораздо важнее. Теперь мои собственные сомнения, которые кажутся мне, конечно, неосновательными, но, наконец, пугаются в самом деле в разъяснении. И я не знаю, весьма вероятно, что я даже буду говорить о них с О. С. Я знаю, что это не так, как мне представляется, но, наконец, мне в самом деле представляется это. Наконец, в самом деле во мне есть эти мысли.

«Не хитрит ли она со мною? Не увлекает ли она меня обдуманно, не предполагает ли она, что я могу не сдержать своего обещания приехать сюда как можно скорее сватать ее, не хочет ли она заставить меня жениться на ней до отъезда моего в Петербург?»

Если так, зачем не сказать это прямо? Тогда я представляю свои возражения. Если она не убедится ими, я сделаю, как ей угодно. Об этом должно поговорить с ней. Я начну: «О. С., как вы думаете, я хитрю сколько-нибудь с вами? Вы не уверены сколько-нибудь, что я в самом деле совершенно в ваших руках?» и потом разговор пойдет, как придется. Может быть приведет он меня и к тому, что я спрошу ее: «А вы не хитрите со мною?» и попрошу ее выслушать мои сомнения.

Зачем она говорила мне о двух своих женихах, харьковском (250 душ) и киевском (1 000 душ)? В действительном существовании первого я не сомневаюсь. Но второй не придуман ли впоследствии для эффекта? Мне что-то несколько подозрителен этот киевский жених. Действительно, несомненно, что там ухаживал за ней какой-нибудь молодой богатый человек. Но хотел ли он приехать сюда, чтобы ее сватать? Не просто ли это сказано для того, чтобы сказать мне другими словами: «Женись на мне теперь, потому что, если отложишь до зимы, то я выйду за другого!» И отчего это «женись теперь»? Оттого ли, что ей хочется поскорее вырваться из своего семейства? Это еще весьма естественно, и даже хитрость ее в этом случае не имеет ничего дурного. Но не происходит ли это от мысли: «Кто тебя знает, удержишь ли ты свое слово приехать? Я должна ковать железо, пока оно горячо». — Если так, я скажу ей в первый раз — и в последний раз, потому что это единственный случай, в котором я должен сказать ей

---

\* Друг Платон, друг Сократ, но еще больший друг истина.

«нет», — подобного другого случая не может быть; я скажу ей: «Нет, если вы так мало верите искренности и серьезности, и прочности моей привязанности, вам рано выходить за меня. Должно подождать. Я рискую страшно, но должен раньше riskовать. Я уеду, не женившись на вас. Что я приеду за вами, вы увидите. Я рискую. Потому что, если так мало вы надеетесь на прочность моей привязанности, вы не станете дожидаться меня и, если представится случай, выйдете за другого. Но что ж делать, я лучше готов пожертвовать своим счастьем (я пишу это для себя, потому пишу, как думаю, и пишу все, что думаю — тут нет испытания для нее, тут есть только то, что я пишу), чем связывать вашу судьбу с моей, пока мои обстоятельства еще не устроены, и заставлять вас или нуждаться, или содержать меня на свои деньги несколько месяцев».

То, что говорила она, будто бы, Бусловской, что в половине поста она дает слово или мне, или Яковлеву, несколько на меня не действует. Это что-нибудь не так.

Ну, теперь мои сомнения относительно ее кончены. Теперь перехожу к другим мыслям.

И, во-первых, о моих отношениях к папеньке и маменьке. Что может быть из моего сватовства? Согласятся ли они, чтобы я сватал ее? Может быть ее дурная репутация слишком хорошо известна им, и не согласятся. Если будет решительное несогласие, я уж написал, как я поступаю. Одним словом, они меня не остановят, потому что я не хочу их слушать в этом случае. Но прав ли я буду перед ними? Вот другой вопрос. Я сильно огорчу их. Это так. Но это меня не колеблет. Пусть огорчатся, это будет прискорбно для меня. Но что ж делать? Это такой случай, что слишком большая деликатность вовсе тут не у места. Не об огорчении дело, а о том, прав ли буду перед ними, вправе ли я не слушаться их?

Когда предлагаются подобные вопросы, ответ известен: я вправе так сделать. Вправе ли я, или нет так сделать, но я твердо убежден, что вправе, и вот почему:

Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни решительно не те, как у меня. Я человек совершенно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, напр., политики или религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе. Это вообще. В частности: они совершенно не знают моего характера и того, какая жена нужна мне. В этом деле может быть судьей, мог бы быть напр., — ищущий, ищущий и не найду, потому что никто не может войти в мой характер и в мои понятия, кроме меня самого. — Может быть со временем, когда решительно убедится в том, что я действительно таков, как изображаю ей себя, только О. С. Это все равно, что советоваться с ними, напр., о своих отношениях к Ал. Никол. Пасхаловой. Они тут решительно ничего не понимают. А от этого дела зависит мой мир с самим собою и — веро-

итно — мое счастье. Какие же тут советы от людей, положим письма любящих меня, но которым, решительно, нельзя растолковать ни того, что такое О. С., ни того, что такое я, ни того, какова должна быть, по моим понятиям, жена. Этого мало. У меня к О. С. решительно особые отношения, которые понять могут только весьма немногие, напр. А. Ник. Пасхалова (я думаю, и Ник. Ив., хотя не совсем), а уж вовсе не маменька. Но если бы, напр., моя маменька была и такова, как Анна Ник., т.-е. если бы ей можно было объяснить и если бы она могла сочувствовать этим отношениям, то и тут: разве эти отношения таковы, что могут быть рассказаны кому-нибудь? Нет, им не вправе я рассказывать, Ольге С. и то не должно, потому что они слишком странны, а я не вправе, я был бы подлец, если бы высказал бы хоть один намек на них кому бы то ни было. «Она хочет выйти за меня» — как хорошо рассказывать эти отношения! А эти отношения — одно из самых главных обстоятельств и без них ничего нельзя понять. Следовательно, я не могу, не смею, не вправе советоваться с кем бы то ни было, тем более с людьми, которым чужды все понятия, все отношения этого дела. Я был бы подлец, если бы стал советоваться.

Мне не должно советоваться, наконец, и для того, чтоб не лицемерить более перед собою и перед ними. Разве я послушаюсь их мнения? Да, в сущности, разве я не делал всегда так, как мне казалось нужным, а всегда только прикрывался их волею. «Как вам угодно, так и я сделаю». — «Я сделал так потому, что мне казалось, что вам так угодно», а в самом деле делал так, как мне было угодно. К чему это лицемерие? Оно гнусно, оно лживо. Пора его бросить.

Пора, наконец, перестать выставлять себя мальчиком, который все спрашивается — «что прикажете?», а сам делает, вовсе не обращая внимания на приказания. Пора действовать прямо и самостоятельно, как действуют все другие.

Но я все-таки чувствую некоторое сожаление, что я не могу им высказать свои намерения, т.-е. сказать им, что О. С. мне весьма нравится, что, если будет можно, я приеду из Петербурга просить ее руки, но что, конечно, я не знаю, даст ли она ее мне. Мне тяжело скрываться от них. Но что делать? Не могу я сказать этого, потому что это слишком рано. Это значило бы толковать о том, что еще слишком неверно. Потому что разве я уверен, что она выйдет за меня, а не за другого? До тех самых пор, как я поеду из Петербурга в Саратов, или во всяком случае до тех самых пор, как я поеду в Петербург весною, я не должен говорить ни одного слова. Одним словом, дело находится в таком положении, что пока должно быть еще тайною. Я не имею склонности скрывать. Скорее я болтушка. Но что делать? Тайну я должен хранить, когда ее должно хранить.

Но я буду виноват перед ними, что огорчу их, потому что этот выбор вероятно не понравится им?

В одном я почти совершенно уверен, — что мысль «не понравится», покажется «слишком верченою, слишком кокеткою», что эта мысль одно из тех нелепых произведений моей фантазии, которые рождает она в таком огромном количестве. Скорее понравится. Гораздо скорее. А если не понравится? Что ж делать, должен отвечать обыкновенною фразою: «Не вам жить с нею, а мне». Что делать? Не я виноват, что вы слишком мало полагаетесь на меня, что вы (особенно маменька) слишком самонадеянны, так что вам непременно кажется только то хорошо и рассудительно, что делается по-вашему; что делать? Кто виноват, что вы никак не хотите понять, что могут быть лица, понятия, отношения, которые чужды вашему кругу понятий. Вы слишком самонадеянны, так что же мне делать? Не пожертвовать же своим счастьем и своею *честью* вашей самонадеянности».

Наши приехали от обедни. Кончаю писать. Примусь после обеда. Теперь 12 часов.

Через несколько минут. До обеда могу посидеть в своей комнате, потому что маменька занята разливанием чаю, которого я пить не хочу.

Я создан для повиновения, для послушания, но это послушание должно быть свободно. А вы слишком деспотически смотрите на меня как на ребенка. «Ты и в 70 лет будешь моим сыном и тогда ты будешь меня слушаться, как я до 50 лет слушалась маменьки». Кто ж виноват, что ваши требования так велики, что я должен сказать: «В пустяках, в том, что все равно, — а раньше этими пустяками были важные вещи, — я был послушным ребенком. Но в этом деле не могу, не вправе, потому что это дело серьезное. Нет-с, тут я уж не тот сын, которого вы держали так: «Милая маменька, позвольте мне съездить к Ник. Ив.». — «Хорошо, ступай!» — «Милая маменька, позвольте мне съездить к Анне Ник.». — «И не смей ездить, это гадкая женщина». Нет, в этом деле я не намерен спрашиваться, и если вы хотите приказывать, с сожалением должен сказать вам, что напрасно вы будете приказывать».

«Я мужчина, наконец, и лучше вас понимаю, что делаю. А если станете упрямиться, — извольте, спорить я не стану, а убью себя». Посмотрим, что тогда будет. И если будет необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чем жить бесчестным в собственных глазах или рассорившись с теми, кого люблю, с теми, которые, наконец, сами любят тебя, только слишком странны со своими претензиями на всезнание и безошибочность своих понятий о людях и о том, что «так, а не так должно тут поступать». Но само собою, этого никогда не будет. Много, много, если скажет маменька: «Я не хотела бы; я думаю, что она не составит твоего счастья». — «А я думаю». — «Ну, как хочешь». А папенька ничего и не скажет. А всего вероятнее, что она им понравится и что дурные слухи не остановят их. Во всяком случае, я входить

в рассуждения не буду, скажу просто: «Я лучше вас знаю ее и себя. Согласны вы или нет?»

Боже мой! Что за дикая фантазия! Что за странное свойство ожидать везде сопротивления и неприятностей! Что за странное свойство постоянно готовиться к страшной ссоре с людьми, которые никогда и не думали с тобою ссориться! Что за петушиная храбрость (петушиная — потому что вовсе не представляется случая выказать ее, а не потому, что я не выдержал [бы] себя так, как думаю выдержать — случая-то нет!))! Что за смешное расположение духа везде ожидать или оскорбления, или несогласия? когда весьма согласны и весьма рады! Но буду продолжать. Ведь должен же излагать свои мысли.

Что будет в самом деле, если они будут недовольны моим выбором? Я уверен, что скоро увидят, что я не ошибся, и скажут, что ошибались, не одобряя раньше моего выбора. Потому что источник несогласия может быть только один — если им покажется, что она не составит моего счастья. А они увидят, что я счастлив, и их предубеждения исчезнут. И дело скоро кончится решительным примирением со мною. А если она скажет: «Я не хочу, потому что не нравлюсь вашим родным»? Тогда снова за то же: «Вы должны просить ее выйти за меня». Если она не пойдет, снова то же: «Вы расстроили, извольте устроить, или я не буду жив». — Но это будет роль унижительная для них? Нет, она с ее благородством не потребует от них ничего унижительного. Только маменька должна будет сказать ей: «О. С., будьте моей дочерью. Я буду любить вас не менее, чем люблю сына». Тут унижительного ничего нет. А если маменька не согласится! Как угодно, после не жалеете обо мне, вы, значит, сами хотели моей смерти, сами накликали, так не пеняйте на других. Я не виноват.

Теперь кончено в отношении к родным. Иду вниз смотреть, что делается. 35 мин. 1-го.

Продолжаю после обеда. 2 часа.

Я прав перед родными во всем. В одном только несправедлив я: маменька любит меня всею силою души — а вот является чужая мне до сих пор, которая и не говорит даже, что любит меня, — а я люблю ее так, что привязанность к маменьке совершенно ничтожна перед любовью к ней. Какое право имею я любить ее более маменьки? Где тут справедливость? Тут нет справедливости. Что делать! Любишь больше не тех, кого больше должен любить, а тех, кого более любишь!

Перехожу к ее вероятным отношениям к моим родным.

Маменьке будет не совсем сначала нравиться свобода ее обращения, особенно с молодыми людьми. Но скоро маменька увидит, что здесь ничего дурного нет, что это не грозит мне никаким несчастьем, и примирится с этим. Ей может быть не будет нравиться ее любовь к свету. Но она говорит, что этой любви к выездам и нарядам у нее нет. Не знаю. Может быть она сама ошибается. Но и с этим маменька скоро помирится, когда увидит, что она не

живет выше своих средств (своих средств — потому что мои деньги будут ее деньги). А за все остальное маменька не может не полюбить ее. Особенно она полюбит ее за то, что я в самом деле от души привязан к ней, что я счастлив ею. Потому что мое счастье, наконец, выше всего для маменьки. И как ее не полюбить! Дурные слухи будут доходить до маменьки. Но она увидит их несправедливость и не будет обращать на них внимания, когда увидит, что мне все это известно весьма хорошо, что она ничего не скрывает от меня и что я в самом обыкновенном, самом спокойном состоянии духа, всегда только радуясь на нее, вполне полагаясь, ни в чем не подозреваю ее; когда маменька увидит, что она в самом деле привязана ко мне. А ее отношения к маменьке? Конечно, она будет прекрасною дочерью. Если уж с своею матерью, которая ее ненавидит, она так хороша, тем более она будет хороша с моею маменькою, в которой увидит готовность любить ее более всего на свете, как источник моего счастья.

Одним словом, я не сомневаюсь даже в своей необузданной малодушной фантазии, что маменька будет любить ее, что она будет самую лучшую дочь для маменьки и что она полюбит маменьку, или если не полюбит, то будет весьма хороша к ней и благодарна ей за ее любовь, на которую будет отвечать всевозможною предупредительностью и внимательностью. Таков уж ее милый, добрый характер. А папенька? Папенька, конечно, будет радоваться на нее, потому что на папеньку угодить гораздо легче, он гораздо мягче, нежнее, чем маменька. Папенька никогда никому не был помехою. У него характер чрезвычайно мягкий и нежный, в сущности едва ли не более, чем у меня. Одним словом, она найдет в моих родных самых лучших родных, какие только могут быть. И все наше семейство будет счастливо через нее. А если маменька захочет ехать с нами в Петербург? Должен буду отвечать, что теперь еще нельзя. Одну — и едва ли не главную в самом деле причину — я ей скажу: должно подождать, пока устроятся наши денежные дела и пока мы будем в состоянии как должно успокоить ее в Петербурге. Другая причина должна быть для нее всегда тайною: раньше, чем явится маменька жить с нами, наши отношения с О. С. должны быть уже установлены, чтобы она нашла их уже решительно определенными, твердыми и не могла иметь никакого влияния на них. Потому что, по моему несомненному убеждению, которое я не хочу нарушать ни в каком случае, никто, как бы он ни был близок, как бы он ни любил, не должен иметь влияния на отношения между мною и моею женою. Тут закон — воля моей жены и исполнение всего, что только может быть исполнено при моем характере и моих средствах.

Когда мы совершенно устроимся, тогда милости просим. Мы будем весьма рады. Тогда, наконец, и папенька может быть переедет к нам. Но это едва ли возможно. Он не захочет. И маменька будет у нас только гостьей и скорее всего будет, что она не приедет к нам первая, что мы через два года после своего отправления в Петербург приедем в Саратов.

А наш образ жизни в Петербурге? Здесь одно только сомнение — довольно ли я буду получать денег? Работать я буду как псалъзя больше, насколько у меня достанет сил. А сил у меня останется на 15 часов в сутки. Странно было бы, если бы я не имел возможности получать 2 000 р. сер. в первый же год после нашей свадьбы. Мы будем жить вероятно одни. Брат и Иван Григорьевич<sup>229</sup> не будут жить с нами. К чему? Впрочем, это зависит от нее. Если мы будем жить одни, тогда наш бюджет составит таким образом — смотри записку, которую я составил раньше, отмеченную знаком БЖ<sup>230</sup>.

Квартира из 4 комнат: зал, ее комната, моя рабочая комната, нечто вроде спальни или столовой, — одним словом, не приемная комната. Квартира эта будет выходить на улицу, с порядочным подъездом; вероятно, она будет на Петербургской стороне, если там будут у меня уроки, или, если уроки в Пажевском корпусе, то где-нибудь на Фонтанке — 20 р. сер. в месяц. . . . . 240 р.

В ней будут 2 печи и 1 в кухне. Дров будет выходить в зиму на наши печи 7 сажень, по 8 сажень на кухню, всего 15 саж. по 4 р. сер. — 60 р.; за воду и другие мелкие расходы различного рода 3 р. сер. — 35 р. сер., всего . . . . . 95 р.

Освещение. Обыкновенно 2 стеариновые свечи на зимние вечера, по 2 ф. в неделю, в 6 летних месяцев, всего 24 ф. в летние месяцы, 14 ф. в зимний месяц = 84 ф. + 24 = 108; 30 раз зимою общество, когда 2 лишние свечи, 15 ф. и т. д., всего положим 140 ф. по 10 р. пуд — 35 р.; в кухне и передней 5 ф. в месяц сальных 5 р. сер., всего. . . . . 40 р.

Прислуга. Женщина, которая может быть горничною для нее и кухаркою — 3½ р. сер., 42 р. сер., и мальчик — всего . . . . . 70 р.

Белье для меня 1 р. в мес., для нее — 1 р. 50 к., всего 2 р. 50 к. в месяц; это составит с новой чернорабочей 3 р. сер. и (прислуга из 3 лиц) . . . 35 р.

Таким образом все вместе будет стоять, кроме ежедневных текущих расходов . . . . . 480 р. сер.

Положим для круглого счета . . . . . 500 р. сер.

Стол и чай. Сахар 6 пуд. — 60 р., чай 40 р. = 100 р.

Стол. Собственно кушанье — 50 к. сер. в день; булки и хлеб к столу — 15, молока на 10 = 25 к., всего 75 к. = 270 р. сер. в год; мелкие покупки к столу и закуска 80 р. в год = 350 + 100 р. чай 450 р.

Расходы совершенно необходимые: 10 р. в библиотеку для чтения для нее; кое-какие другие рас-



ходы в следующем роде, напр. бумага и письма  
 40 р. сер. = . . . . . 50 р. сер.  
 Расходы собственно для меня: извозчики 5 р.  
 в месяц = 60 р., платье 140 = 200 р. Всего . . . 1000 р. сер.

Театр. В оперу, если будем абонироваться в  
 креслах — 80 р. сер., извозчики и мелкие расходы  
 10 р. = 90 р. сер. (скорее, ложу пополам с кем-  
 нибудь 50 р. сер. и тогда вместо 90—60), еще  
 60 р. сер. на другие театры, театр . . . . . 150 р.

Итого — кажется все, кроме ее расходов . . . 1350 р. сер.  
 если буду получать 1800 р. сер., — 450 р. на ее наряды и удо-  
 вольствия.

О, если б так! Конечно так, потому что я считал все слишком  
 не экономически. Можно все это делать гораздо выгоднее и вместо  
 1350 р. верно понадобится только 100 р. в месяц, 1200 р. в год.  
 Остальное, собственно, ее расходы. Но само собою и эти расходы  
 совершенно зависят от ее воли.

Я думаю, что глупо было бы мне сомневаться в возможности  
 получать 2000 р. сер. в год. Но теперь обзаведение — вот задача!  
 Главное и почти единственное — мебель. (Тут рояль — что делать  
 с ним?).

Рояль 300 р. сер., — этот расход может быть отложен, если за  
 ней будет рояль, или она может дать мне займы для его покупки.  
 Другая мебель: в ее комнате: диваны 2 = 35 р. сер.; кресла (всего  
 для всех комнат 12 по 10 р.) 120 р. сер. Столы: мой рабочий —  
 20 р. сер.; 5 еще — 50 р.; ее гардероб — 20 р. сер.; другие шкапы  
 20 р. сер. (ковров, если не будет у нее, отложим до приезда в Пе-  
 тербург); другие диваны (3) — 45 р. сер.; стулья 18 = 30 р. сер.;  
 всего 330 р. сер. Посуда 70 р. сер.; всего 400 р. сер. Боже мой,  
 да у меня как гора с плеч свалилась — всего 400 р. сер., да и то  
 еще предполагая все в изобилии. Поездка сюда 70 р. сер. Отсюда  
 до Москвы 3 лошади — 74 р. сер.; из Москвы 26 р. сер. = 100 р.  
 сер.; да различные расходы в дороге = 200 рублей сер. Свадьба —  
 ну это уж дело постороннее; подарки, разумеется, если и на 200 р.  
 сер., одежда моя 50 р. сер., всего 250 р. сер. Всего расходов  
 по свадьбе 450 р. сер., да обзаведение 400 р., всего каких-  
 нибудь 1000 р. сер., и тогда можно будет все сделать без  
 нужды.

Схожу для освежения к Чеснокову. После dokonчу.

Писано 7-го, субб. 7 час. утра. Завтра я увижу ее.

Итак, по серьезном расчете, я вижу, что обзаведение не пред-  
 ставляет никаких существенных неудобств. Конечно, мне хотелось  
 бы, чтобы она нашла при вступлении своем в свою квартиру все  
 вполне готовым — но все это мечты. И если дело пошло на то,  
 что мне не у кого будет занять 1000 р. сер., — в случае крайности  
 можно попросить их у Ник. Ив., который сказал, что даст, если

будут в руках, — то можно будет ограничиться мебелью на 100, посудой на 100, поездка 200 р. сер., расходы свадебные 100 р., всего 500 р. Подарки можно прислать после, после же закупить мебели.

Откуда же я получу 500 р. сер.? От литературных трудов, надеюсь, если уеду отсюда в конце июня; в Саратов за нею отправлюсь в половине октября; все-таки в 3 месяца, конечно, по утрам буду работать для экзамена и кое-что даже Срезневскому; после обеда буду писать и верно получу несколько сот рублей сер. А если бы не получил? Верно кто-нибудь даст взаймы. Может быть даже Введенский, когда перед отъездом скажу на что. А если он не даст? Возьму у ростовщика по 20% и все-таки буду иметь 500 р. Но если у Введенского, то возьму чем больше, тем лучше. Наконец, если б не удалось получить деньги в Петербурге, возьму их в Саратове или собственными знакомствами, или даже через папенькино ходатайство у кого-нибудь из отдающих [под] проценты. Одним словом, когда рассудил и рассмотрел, вижу, что за деньгами остановки не будет. Если за нею будут деньги, для меня все равно; я скажу решительно, что трогать их на наши общие расходы не намерен. Но после, когда, пожив несколько месяцев, она увидит мою чистоту в отношении к ее деньгам, может быть можно будет, не тревожа ее, принять ее предложение дать мне часть своих денег взаймы. Но лучше будет, если этого не делать. И лучше будет, если за ней не будет ничего деньгами. Теперь это ей говорить еще не следует. Конечно, мне бы хотелось иметь перед отъездом 1 500 р. сер., чтобы у нас было при свадьбе все, что нужно.

Но вижу, что в денежном отношении затруднений не будет или они легко могут быть побеждены.

Теперь вопрос: как мы будем жить в Петербурге?

Раз в неделю у нас будут собираться знакомые. В другие дни мы будем дома только для своих, как это делает Введенский. Сами будем бывать у тех людей, которых она почтет достойными. Я без нее не буду бывать нигде, кроме как по делам. Довольно часто, — насколько позволят деньги, — будем бывать в театре. До 6 или 7 часов у меня весь день посвящен работе. Сажу за работою всегда, когда позволяет качество работы, подле нее. Но, наконец, мое время решительно в ее распоряжении, кроме времени, употребляемого на необходимую работу.

Выбор знакомых будет зависеть от нее. Я ее, конечно, познакомлю с кружком Введенского, особенно, кроме Введенского, с Рюминым, Милуковым, Городковыми. Потом от ее усмотрения зависит продолжение этого знакомства.

Мы будем жить вероятно одни. Но если захотят Иван Григорьевич или Саша и если она согласится, то, конечно, вместе. Эти люди не помешают нам, потому что это прекрасные люди, которые не будут ни вмешиваться в наши супружеские отношения, ни стеснять нас. Тогда, конечно, и квартира будет больше, и при-

слуги больше, и стол может быть с большими прихотями. Саша, если уж так будет нужно, может некоторое время жить даром. Ив. Григ. — как угодно, будет ли участвовать в третьей доле расходов, или платить 25 р. сер. в месяц, это будет зависеть от его отношений: захочет ли он быть решительно членом семейства или только жить с нами. Если будем жить вчетвером, тогда комната для Ив. Григ., для Саши, для меня, для нее и 2 общие комнаты. Эта квартира будет стоить 350 или 400 р., прислуга: прибавится лакей.

Маменька если захочет жить с нами, мы постараемся устроить, чтоб приехала года через два. Через два года мы сами, вероятно, приедем сюда в Саратов на каникулы — если она захочет; если нет, съезжу один на месяц.

Теперь, кажется, все. Остаются вопросы: 1) состоится ли наша свадьба; 2) что будет, если не состоится; 3) любит ли она меня. Эти вопросы разрешить теперь рано в слишком подробных соображениях. Это будет гораздо яснее перед отъездом. Напишу только общие соображения.

1) Вероятно. Оттого, что или она привязана ко мне в самом деле и хочет выйти за меня не потому только, чтоб выйти за кого-нибудь, или, если не видит теперь, мало-по-малу увидит, что другие женихи (кроме этого киевского помещика) хуже меня.

2) Если не состоится, если она не дожидается меня — это меня в самом деле весьма поразит, говоря без всяких шуток. Это меня расстроит надолго. Но не состояться может она только в случае, если ей представится жених, который покажется ей лучше меня. Я скорее умру, чем не сдержу своего обязательства, не сдержат которое будет для меня позором, который отравит всю мою жизнь, сдержать которое теперь для меня представляется источником счастья.

3) Любит ли она меня, т.-е. я говорю не про романическую любовь — этого нет, про то, что кажусь ли я ей человеком в самом деле стóящим особой привязанности, человеком, с которым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так. Во всяком случае, все ее обращение дышит истинною нежностью, горячею привязанностью. Все, решительно все. Все дышит горячею привязанностью.

Да будешь же ты счастлива, моя милая! В тебе теперь моя жизнь. Нет ни одной мысли у меня, которую не озаряла бы мысль о тебе. Я вполне предан тебе. Я чувствую себя совершенно другим человеком после 19 февраля. Я стал решителен, смел; мои сомнения, мои колебания исчезли. Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия.

Теперь мои впечатления и моя перемена после 19 февраля. Но это после, теперь иду пить чай.

Писано в 9<sup>1/2</sup> часов утра 7 числа.

### Впечатления и следствия для меня.

В первые минуты после того, как я ушел в четверг от О. С., я был доволен и спокоен, но только чувством того, что я поступил, как следовало поступить, что я не отступил, когда мне говорят: я хочу быть с тобою. Но не могу решительно сказать, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет того, не найду ли я впоследствии в своем поступке опрометчивости и рискования своею участью. Я не мог не рисковать, это я знаю; если бы я отказался от риска, я замучился [бы] упреками совести и собственным презрением, это так. Но мне все-таки казалось, что я сделал страшный риск. «Я не могу не идти; но к чему меня приведет эта дорога, я еще не знаю». Одним словом, я был доволен собою и только.

В пятницу я был в гимназии, после обеда поехал к Ник. Ив. Тут-то, сидя в своей комнате и за обедом, и после обеда, я начал все живее и живее чувствовать, что я не только доволен, что я счастлив. Когда, наконец, я поехал к Ник. Ив. и мог на свободе — первые минуты совершенного уединения и самоуглубления после разговора с ней — совершенно предаться своим впечатлениям, я дошел до решительного восторга, какого никогда еще не ощущал. Я стал решительно блажен. И это продолжается с той минуты до сих пор. И чем больше идет время, тем глубже становится мое счастье тем, что может быть я буду ее мужем. Оно теперь уж вошло в мою натуру, стало частью моего существа, как мои политические и социальные убеждения. К Ник. Ив. я вошел в решительно радостном расположении духа, я чувствовал, что мое сердце стало не таково, как было раньше. «Я теперь решительно изменился», — сказал я ему, хотя вовсе не хотел высказываться, но не мог — от избытка сердца говорили и уста. «И эта перемена все будет усиливаться. Мое презрение к самому себе, источник моего ожесточения, причина того, что я покрываю ядовитым презрением все, прошло. Теперь я почти доволен собою, потому что на-днях поступил почти решительно, как порядочный человек, и в мире с самим собою. Я теперь не хочу ругать никого». И я сдержал свое слово, не хотел даже смеяться над богом и будущею жизнью, от чего не удержался бы раньше. Говорил потом с восторгом о том, что высшее счастье есть семейная жизнь. Наконец, при отъезде почти проболтался: «Я завтра к Стефани. Если нет у [меня] ни аневризма, ни чахотки, я на-днях делаю предложение одной девице. *Nursprechen Sie niemand von meiner Heirath\**». — Почти проболтался. Почти проболтался через неделю, 26 февраля, в четверг, Анне Никаноровне: когда вошла мать, и она хотела показать, что мы говорим решительно не о том, о чем говорили, т.-е. о наших отно-

\* Только не говорите никому о моей женитьбе. *Ред.*

шениях, она сказала: «А вот Николай Гаврилович говорит, что хочет жениться». Когда мать ушла, я сказал: «А вы, не думая сказать правду, сказали правду. Я женюсь». К счастью, конечно, и она, и Ник. Ив. позабыли об этом или не приняли это совершенно серьезно. Я писал с восторгом несколько мест, содержащих в себе общие возгласы, в письме к Саше 26 февраля. К счастью, дело, конечно, не ясно для него. Ник. Ив. и Анна Никаноровна или не обратили внимания, или забыли, или так деликатны, что не напоминают.

А что было бы со мною без этого? Я все дни перед четвергом был в страшной тоске. Я вздыхал беспрестанно, я плакал при мысли, что должен буду прекратить эти отношения, что должен буду расстаться с ней, едва начав, что день моей жизни затмевается в самом начале.

После этого сбилось то, что я ожидал: мое озлобление против себя проходит. Проходит и мое ожесточение, моя желчь против всего, что попадаете мне. Вот совершенная картина моей внутренней жизни до и после: раньше это был туман, покрытое все одной серой тучей небо, на котором только изредка мелькали светлые места между облаков. Теперь это чистое, ясное, лазурное небо, по которому только изредка пробегают облака, но и эти облака озарены солнцем моей жизни, мыслью о ней, и они скоро рассыпаются от теплых лучей яркого солнца. Одним словом, вместо дурного расположения духа я теперь имею хорошее расположение духа.

Я бросил свои гнусности, я перестал рукоблудничать, я потерял всякие грязные мысли, перед моим воображением нет ни одной грязной картины. Разврат воображения, столь сильный раньше, совершенно исчез. Я чист душою, как не был чист никогда.

И женщины, девицы перестали решительно иметь на меня электрическое действие, которое имели раньше. Я теперь могу говорить о себе, как говорит один святой в Четь Минее (я не хочу прибавить даже — нелепый, как прибавил бы раньше — теперь я щажу всех и все). «Как ты чувствовал себя среди женщин?» — «Как дерево среди деревьев». Пусть я вижу в самом соблазнительном положении кого угодно, пусть (я с неохотою пишу эти грязные предположения, но я хочу писать все, что думаю) — пусть меня заставят натирать мазью, напр., Кат. Ник. Кобылину, от кого я приходил в электрическое волнение, — я бы натирал ее так, как натирал бы молодого человека, и мне [было] бы только неприятно смотреть на ее наготу, я бы думал не о ней, да и об О. С. никогда не думал я нецеломудренно. Ни одной грязной мысли не являлось в моей голове с тех пор, как она в моей душе. Я жду. «Ты будешь моею женою». Я теперь смотрю, например, на Кат. Ник., как смотрит 50-летний отец на своих миленьких дочерей, я смотрю на нее, как смотрит Ник. Мих., и я теперь говорю, потому что не боюсь за смысл своих слов, я говорю, как только

разговор идет о ней: «Кат. Ник. нельзя не любить». Да, это решительно так. Пусть меня положат на кровати с красавицею — и буду лежать подле нее и думать об О. С., и ни одной не будет у меня нецеломудренной мысли ни о той, которая подле меня, ни о ней. Теперь я способен к тому, что делали арабы: ложатся на одну постель с женою друга и спят подле нее: дружба предохраняет их от увлечения. Так меня охраняет от всяких чувственных мыслей о всякой другой мысль об О. С. Но моя любовь к ней вовсе не односторонне-идеальна. В ней есть и чувственный элемент, но этот элемент очищен, облагорожен высшей любовью. Для полноты любви должна быть в ней и чувственная сторона — и, конечно, она сильна в моей любви к О. С.! Я чрезвычайно чувственно люблю ее! Но чувственная любовь к ней только дополнение, только проявление, только выражение сердечной любви к ней. Я люблю ее как любовник, но еще больше люблю ее как муж. Я люблю ее как Ромео любит Джульетту, но я люблю ее как Гика \* любит свою... \*\* милую.

Иду отдохнуть от чувств, спокойных, но слишком сильных. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и радостной жизни людей, — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса.

Надежда на счастье быть ее мужем имеет, кажется, уж и прямо благоприятное действие даже на мой организм: пропадает тоска, пропадает и ее следствие — боль в груди против соска, эта боль, которая так заставляла меня сомневаться в здравьи моей груди. По крайней мере, я теперь ничего не чувствую вот уже несколько дней. Да и сама грудь, вероятно, будет крепче, чем раньше: во всяком случае, во все эти дни я писал больше, чем когда-либо, и, однако, не чувствовал боли в груди. Что ж? Весьма естественно, что спокойствие сердца успокаивает и грудь.

Но есть и еще влияние — это то, что пропадает моя нерешительность, мнительность, застенчивость; что из робкого, малодушного я стал человеком твердым и решительным. Действительно, я теперь чувствую, что справедливо написал в этом дневнике несколько дней тому назад:

O Mädchen, Mädchen! Wie lieb ich Dich! Wie ich Dich liebe mit warmen Blut, Die Du mir Jugend und Freud und Muth Zu neuen Thaten Und Glücke giebst. Sei ewig glücklich, Wie Du mich liebst!

Теперь я говорю: Wie Du mich liebst, потому что несколько дней размышления, обдумывания, углубления в твое обращение со мной уверили меня, что ты любишь меня! Что я имею цену

---

\* Неразборчиво. *Ред.*

\*\* Неразборчиво — райскую? *Ред.*

в твоих глазах! Что и для тебя было бы прискорбно разлучиться со мною.

Вот твоё влияние:

Я стал через тебя из тряпки, дряни — человеком; я стал из ожесточенного — радостным, гуманным в мыслях; я стал из мнительного, недоверяющего себе — уверенным в себе, уважающим именно себя.

Да будешь ты счастлива! Кончаю этим:

Да будешь ты счастлива!

И ты будешь счастлива!

Теперь принимаюсь перечитывать написанное и делать дополнения и вставки.

Да будешь ты счастлива! Меня ты уж делаешь счастливым.

И ты будешь счастлива!

(о, как робко прибавлю я — со мною или с другим, но ты будешь счастлива!)

Потому что в тебе столько высоты \*, столько ума, что ты не ошибешься в выборе!

И если ты выберешь другого, этот другой в самом деле будет достойнее тебя, чем я, и ты будешь с ним счастливее, чем со мною.

Но — о, если бы я был признан тобою достойным тебя! И если бы ты думала — а ты настолько умна и проникательна, что твои мысли не будут обманчивы, в пользу ли мою будут они или в пользу другого, — о, если бы ты думала, что будешь счастлива со мною!

Ты во всяком случае будешь счастлива!

8-10. Воскресенье. Половина третьего.

Утром взял Кольцова от Смирнова. Отдал 3 р. сер. Довольно хорошо вышел переплет. Это будет мой первый подарок ей и первый мой подарок женщине. И взял с почты «Копперфильда»<sup>231</sup> Введенского, которого прислал он мне в подарок, и его отдал с надписью. Потом был у Патрикеевых, где могу увидеться с нею. Теперь к Кобылиным, оттуда к ней, но раньше занесу книги. Каково-то будет нынешнее свидание? С трепетом думаю о нем. Так много нужно переговорить: 1, хитрит ли она со мною? 2, мои чувства к ней; 3, где будем видеться? 4, что ей во мне нравится? 5, о моем отъезде и переписке. Чем скорее уехать, тем лучше. Постараюсь — только не сумею сделать, чтобы она больше говорила. Начинаю одеваться.

Со следующей страницы начинаются снова описания событий. Но теперь они будут уж рядом с чувствами, размышлениями, впечатлениями. Завтра я надеюсь видеть тебя. опять говорить с тобою.

\* Неразборчиво. Ред.

8 марта, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. вечера. От Кобылиных отправился к ней в 6 час. по моим и опоздал на <sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа по их. От них в 8 час. к Анне Никан. Утром уговаривался, чтобы у них были Патрик. и Вас. Дим., и накликал на свою шею, потому что нам мешали. Отправляясь к Кобылиным, я заехал к ним, завез книги (Кольцов и Копперфильд). Я вошел во двор и проходил было за заднее крыльцо, как вдруг с лестницы голос: «М-г Чернышевский». — Это она. «Я для вас встала с постели» (она в пятницу и субботу была очень больна: у нее болела грудь и голова — я этого не знал). «Вот какое сильное доказательство любви!» — Тут еще была Рычкова. — «Вы соскучились обо мне?» — «Чрезвычайно», — это я сказал с чувством уж. Я взошел. «На минуту. Вот я привез книги». — «Merci». — «Когда?» — «В 6 часов, но не позже». С ней была младшая Рычкова, но потом ушла, и я, оставшись с ней, несколько раз поцеловал ее руку. От Кобылиных, наконец, — как мне хотелось и как робел, чтобы не притти слишком рано. Вхожу — у них уж Афанасия Яковлевна, Патрикеева, младшая Рычкова, Василий Димитриевич, Ник. Дим., Воронов. Сначала она сидела с Вороновым, и я говорил с Кат. Матв.; милая, добрая, кроткая девушка! Потом сел с ней, когда стали другие танцовать. Патр. сказала мне: «Нет ли у вас книг?» — «Решительно нет». — «Напр. Кольцова, да еще в каком хорошеньком переплете! Или Давида Копперфильда?»

Боже мой, как я глуп. Как я глуп! Как я глуп!

Наконец, сели. Разговору нашему мешают. Сидят подле нас. Подходит беспрестанно Кат. Матв. Между прочим говорили о моих глупостях у Акимовых (Куприянов и Нат. Алекс. Воронова). Отрывками я мог говорить: «О. С., как вы думаете, хитрю я с вами?» — «Может быть». — Я уверял, что нет. — «Уедете и позабудете!» — «Помилуйте». Говорил, что докажу свою любовь чем угодно. «Если хотите доказать, поезжайте в апреле в Петербург и возвращайтесь в июле». — «Не могу. Потому что в это время каникулы. Раньше октября половины не могу. Но знаете что: не хитрите ли вы со мною? Не хотите ли вы заставить меня жениться на вас раньше отъезда в Петербург? Этого не должен я делать, чтоб не заставить вас несколько месяцев нуждаться. Но я совершенно в вашей воле — когда вам угодно и что вам угодно» <sup>232</sup>. — «Нет, я этого не хочу». — «Если вы хотите, скажите мне — скажите, мне должно говорить прямо» — и я привел в доказательство свой приезд в Саратов. — «А если ваши родители не согласятся?» — «У меня есть средства, этого не будет, но я об этом думал». — И я говорил в общих фразах о том, что у меня в дневнике. Не передаю подробностей разговора. Я спросил, говорила ли она Бусловской, что выберет между мной и Яковлевым. Она не говорила — так я и думал. Она сказала: «Мне кажется, вы женитесь на мне из сострадания; как долго! с отчаяния я могу сделать бог знает [что]. Я могу выйти замуж, как чуть не вышла в прошлом июле. Но теперь я не выйду без разбора. Я ни в кого,



вероятно, не влюблюсь. Но никто не нравился мне более вас». Прощаясь, я сказал: «Я решительно недоволен нынешним вечером. Когда мы можем говорить с вами?» — Она сказала: «Будущее воскресенье». — «Так долго?» — «Хорошо, во вторник, в половине седьмого». При прощании я не поцеловал даже ее руки; я просто пожал ее руку. До вторника. Нужно же переговорить все, как следует.

О, моя милая! Как я люблю тебя! Как ты чиста и благородна! Да будешь ты счастлива!

10 марта, 10 часов утра. Вторник.

И вчера, и ныне все думаю о ней. Она сказала в воскресенье на мой вопрос: «Чем же доказать, что я совершенно искренен в моей любви?» — «Вот чем: поезжайте в апреле, возвращайтесь в июле, потому что мне, может быть, будет слишком тяжело, и отчаяние может заставить выйти за человека немилого». — Я сказал, что воротиться раньше октября не могу. Теперь думаю, вчера я решил сделать, во всяком случае, то, что от меня зависит: я уеду в апреле, непременно в начале мая, и то если задержит Кобылин (это все даст мне возможность кончить свои дела несколько раньше), а то как будет путь. Не стану дожидаться здесь, пока кончу диссертацию. Довольно того, что успею, хотя буду работать всеми силами. Довольно переписать словарь. Теперь принялся за диссертацию. Это смотри в другом дневнике. Ныне, когда я входил в комнату, где [пили] чай, маменька говорила Анне Ивановне, которая жаловалась на одышку: «Поедьте к Сократу, к Анне Кирилловне»<sup>233</sup>. — «Поедьте ныне», — сказал я. Маменька сказала, что можно. Если поедем ныне, я раньше должен побывать у них и объяснить, что это не моя мысль, что это сама маменька. Как-то она понравится маменьке? О, моя милая, я живу только тобою.

10 часов вечера. О, как я ждал не дождался времени, когда увижу ее, поговорю с нею! Вот наконец я вхожу на переднее крыльцо, — так она сказала мне — прислушиваюсь: никого, вхожу в переднюю, все тихо; долго стою, весьма долго, дожидаясь, не выйдет ли кто, чтобы не быть принужденным самому отыскивать — нет. Нечего делать, иду; в гостиной, которая отворена, не видно никого. Иду через коридор в заднюю людскую. — «У себя Анна Кирилловна?» — «У себя, да в детской О. С., пожалуйста». — Вхожу, она на диване в комнате Ростислава (Ростислав уехал на следствие куда-то). Вхожу. Подаю ей руку (ни при встрече, ни при прощании не поцеловал, к чему?). Сажусь подле нее. Она говорит мне, что долго оставаться нельзя, что с Анной Кирилловной лучше не видаться — почему? «Мне и так за вас досталось в воскресенье. Маменька не хочет, чтобы я принимала кого-нибудь, даже коротких знакомых, когда нет брата». — «Вы мне сказали, чтоб я уезжал в апреле, приезжал в июле; я думал, думал об этом, наконец, решил: мой ранний отъезд может несколько, весьма немного, ускорить мое возвращение, и я поеду в самом начале мая или даже в конце

апреля. Но только в таком случае, если до тех пор я успею убедить вас, что я решительно искренен. Верите ли вы мне или нет?» — «И верю, и нет». — «Итак, я еду в апреле или мае». — «Нет, лучше оставайтесь до июня». — «Для Венедикта?» — «Да, он говорит, что без вас будет плохо». — «Я уж думал об этом (действительно, я давно уж обдумал это и решил). Я перед отъездом скажу, что нужно. Анне Кирилловне угодно, чтобы он кончил с правом на чин — скажу, чтобы его дали непременно, что если не дадут, то должны ожидать от меня... неприятностей»... Молчание. «Что же, мы будем играть с вами в молчанку?» — «Что ж начинать говорить и не доканчивать». — «Скоро я должен уйти?» — «Чем скорее, тем лучше». — «А к Анне Кирилловне не заходить?» — «Нет». — «Мне кажется это неловко». — «Нет, лучше не заходите, — уходите же» — и она проводила меня. Мне сказали: Анна Кир. просит вас к ней кушать чай (ведь я спрашивал, дома ли Анна Кир., она это не знала; может быть, если [бы] знала, и согласилась бы, что неловко не зайти, а я, олух, не успел сказать ей это! Фу, как я глуп!). — «Неловко не зайти». — «Нет, лучше не заходите». — «Когда же я могу видеть вас?» — сказал я при прощании перед уходом из комнаты Ростислава. — «Вот видите, я не такой страстный любовник, чтоб для меня было необходимо постоянно, беспрестанно видеть предмет своей страсти, но мне хотелось бы говорить с вами, чтобы вы лучше узнали меня». — «В воскресенье на минуту можете быть у нас, потому что это день моего рождения; будут Патрикеевы и Фанни». — «А раньше? Вы не будете у Патр.?» — «Нет, я буду у них в то воскресенье, на 3-й неделе буду говеть». — Боже мой, как я глуп! Боже мой, как я глуп! Не сказал ей, что спрашивал я сам Анну Кир. — и ушел, а должен был зайти к Анне Кир. — и грустно мне теперь.

И грустно, грустно мне. Снова до воскресенья! И еще до того воскресенья, потому что в это воскресенье я должен быть только на минуту и не успею сказать ничего — и в то воскресенье у Патр. снова то же — можно ли там будет говорить? Когда ж, наконец, мы сблизимся так, чтобы лучше узнать друг друга? Т.-е. чтобы мне узнать, действительно ли она, как мне кажется, нежно привязана ко мне, а ей убедиться в том, что я не хитрю, не обольщаю ее обещаниями, которых не сдержу? Грустно! Неужели и все мои ожидания и надежды, и мысли о счастье с ней так же разлетятся, как это наше свидание? Грустно! На глазах у меня слезы.

Нет, не хочу кончить этим. Да будешь ты счастлива! Вот мое окончание.

Да будешь ты счастлива!

Да когда ж я увижусь с тобою, как должно? Да когда ж мы будем видеться с тобою, как должно? Но что ни будь, я хочу в наших отношениях только одного: чтобы ты была счастлива. Я буду счастлив твоим счастьем, хотя бы ты была счастлива с другим.

Да будешь ты счастлива!

11 марта, 9 час. утра.

Хитрит она со мною или нет? Все ее обращение показывает, что нет. И если даже хитрит, как она должна быть умна, чтобы так хитрить! Что она не чувствует ко мне такой глупой привязанности, как я к ней, это так; но если она гораздо более осторожна, чем я, это происходит от того, что она гораздо более стеснена, чем я, и, наконец, она еще не совсем доверяет мне. Я никогда не позабуду того, как у Чесн. в пятницу на масленице, когда мы сидели в зале, она вынула бумагу из кармана. — «Что это такое?» — спросили Вас. Дим. и Кат. Матв. — «Вам нельзя показать это». — «А мне?» — «Вам можно», — и она отдает мне ее. Я вышел в переднюю; это был мой листок, на котором было написано распределение песен Кольцова для гимназии. Когда Воронов брал у меня эту книгу и принес назад, листка не было; он сказал, что потерял — это она взяла его, чтобы иметь что-нибудь моей руки. Это меня чрезвычайно тронуло. Я воротился и отдал ей, потому что она дала с условием, чтобы я возвратил: О. С., неужели это не шутка? Боже мой, нет, как угодно, это не хитрость!

Женюсь ли я на ней? вероятно, т.-е. я говорю не о том, сдержу ли я свои обязательства, а о том, что, вероятно, она не найдет до тех пор человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она предпочла мне. Буду ли я счастлив с нею? Нечего и говорить о том случае, когда она будет иметь ко мне нежную привязанность. Но если бы даже этого и не было, я с нею был бы более счастлив, чем с другою, что в самом деле она такова, какова должна быть моя жена.

А если она выйдет за другого? Что тут поразит меня? То, что я потерял прекрасный случай окончательно устроить свою судьбу. Но будет ли это прямым ударом для моего сердца! Не знаю. Кажется, что нет, но, вероятно, будет. Буду ли я тосковать, как любовник, который потерял свою возлюбленную, или как человек, который потерял возможность устроить наилучшим образом свою судьбу? Кажется мне, что только как последний. Но к чему еще приду я, это неизвестно. Еще полтора месяца впереди.

То, что она не дорожит собственно мною, как я дорожу собственно ею, это несомненно. Что она не хитрит со мною, что она в самом деле рада выйти за меня, а не просто выйти поскорее за человека, с которым, как с весьма многими другими, можно жить — и это правда.

Принимаюсь за дело.

Писано 14 марта в 9 час. утра.

Четверг, 12 марта. Я вложил письмо № 1\* под бумагу, которою

---

\* Ваши отношения ко мне, ваши мысли обо мне, о моих чувствах неопределенны. Эта неопределенность мучит меня. Я решительно затосковал. Ждать до воскресенья — нестерпимо. Да и что будет в воскресенье! снова

обернул «Историю русской поэзии» Милюкова и отдал ее Венедикту. После этого я был спокоен. Но дожидался с трепетом, что будет. Не придет ли Венедикт? Нет. Наконец, 6 часов. Я готов. Но со мною едет Сережа. Я не хочу, чтобы он знал. Я еду к Палимпсестову, у которого хотел быть вечером после О. С. Его еще нет дома. Прекрасно. Посылаю за извозчиком. Еду. Вхожу. Она сидит в зале. «Так вы здесь? Я думала, что вы не будете». Я был рад своей смелости, я со смехом уверял ее в своей любви, просил верить мне. Наконец, — не буду описывать всего в подробности потому, что мне некогда, я должен спешить работать, — наконец, является разговор о Кольцове. Она хотела, чтобы я прочитал оттуда несколько стихов. Я не хотел, потому что читаю дурно, и не хотел, чтоб еще раз показаться ей смешным. Она показывает вид, что сердится. Наконец, я читаю «Бегство». — Она смеется. — «Вы читаете решительно как псалтырь». — «Поэтому-то я и не хотел читать вам». Это был снова веселый эпизод. Но содержание разговора. «Неужели вы думаете, что я могу не сдерживать своих обещаний?» и т. д. Уверял, что никого не люблю, кроме ее, и рассказывал о том, кто мне нравился (между прочим о той красавице в опере в бель-этаже и о жене Василия Петровича. «Мой друг женился, чувство дружбы говорило мне, чтоб я одобрил его выбор. Я напрягал свое воображение и достиг так до того, что его невеста мне стала нравиться». Сказал, что здесь ни одна девица мне не нравится, хоть есть хорошенькие, то я слишком разборчив. «Например Кобылина?» (потому что разговор был и о ее болезни) — сказала она с улыбкою, так что видно, что по ее мнению она не хороша. Я постыдился за себя, как стыдился почти постоянно и раньше, и сказал, что она была бы хороша, если бы на ее лице не было глупенького выражения — что и правда. Я уверял, что привязан к весьма немногим, и, между прочим, в Саратове ни к кому — что и правда, — что мне только люди милы за свои мнения и свои качества. «А в Петербурге, — сказала она, — вы не любите никого? Например, Введенского?» — «Вовсе не думаю, чтобы отношения наши с ним были так коротки». — «Может быть, с его женою были короче?» — «Да, она подарила мне при отъезде сигарочницу. Подарила и сестра. Я ей отдал взамен сигарочницу Введенской, а ее сигарочницу отдал здесь одному из своих приятелей». — «Хорошо ж бережете подарки. Так бы вы сделали и с моим?» — «Нет, все, что я получил от вас, я берегу». — «Напри-

---

не удастся мне сказать с вами ни одного слова. Я прошу у вас позволения быть ныне у Анны Кирилловны. Это тем более необходимо, что во вторник я спрашивал А. К., а не вас, — это ей, конечно, сказали, — и между тем не был у нее. Это неловко. Если вы не пришлете до 5 часов мне с Венедиктом приказания не быть, в 6 часов буду у А. К. Чтob хоть на минуту видеть вас, чтob сказать с вами хоть одно слово. До сих пор я не мог достигнуть даже того, чтob вы считали меня человеком честным. Нет, это невыносимо.

12 марта [1853 г.]

(писано в 1/2 XII и отдано Венедикту).

мер что же? Верно бахромю от мантильи?» — «Да. Но одну вашу вещь я сжег». — «Почему? Какую?» — «Это какое-то вязание, которое дал мне Вас. Дим.». — «Почему это?» — «Я не хотел возвратить его, не хотел и иметь». — «А, потому что это было дано не вам». — Когда о Кольцове она сказала, что подчеркивал ли я там что-нибудь, я сказал, — я подчеркнул в «Последний поцелуй»: «На полгода всего мы расстаться должны» — и «как весна хороша ты» — но «невеста моя» не подчеркнул. — «А другого ничего?» — «Нет». — «Почему же вы не подчеркнули — невеста моя?» — «Не хотел». — «Почему?» — «Так, не хотел». — «Из скромности, знаю». — Она отыскала это и — «Да подчеркните ж и это». — «Нет, нельзя». — «Подчеркните». — И она взяла мою руку и провела ногтем моим по этим словам. Но я не хотел подчеркнуть и не подчеркнул. — Это еще когда будет. — Еще: «Вы довольно смелы» — это при начале разговора. — «Да, мне стоит только вздумать, что так должно сделать, и сделать для меня ничего не стоит». — «Как, напр., вы начали разговор со мною». — Конечно, это была шутка, и сказано это было шуточным тоном, так что нельзя было ошибиться. Но шутил я недолго. Теперь, напр., я припомнил, что через несколько дней я говорил, что, к сожалению, не могу жениться, но если бы мог, то сделал бы предложение. Еще, когда о Кольцове, она со смехом говорила: «Ну, читайте же: «Обойми, поцелуй, приласкай, еще раз поскорей поцелуй горячей». — «Нет, это не нужно, и я этого не хочу».

Снова продолжаю сущность разговора. «Все мои ожидания о том, какое влияние произведут на меня мои отношения к вам, сбылись. Не сбылось только одно: я думал, что они дадут мне спокойствие, а между тем я мучусь и тоскую». — «Как же вы хотите, чтобы я верила, когда вы говорите это и смеетесь». — «Я говорю совершенно серьезно, даром, что смеюсь». — «Если хотите, и я буду вас уверять, что люблю вас, но это будет ложь». — «Я этого и не хочу слышать, я хочу только, чтобы вы мне верили». — «Ну, я вам верю»; я заставил ее это повторить несколько раз и, наконец, в самом деле убедился и успокоился. И теперь решительно спокоен. Потом намеки о ее приданом, — что этого я совершенно не жду, — намеки на то, что у меня решительно нет ничего — это должно еще сказать яснее, я сказал только, что хочу сказать ей оскорбительную вещь, что это неприятно для меня, но что она сама заставляет меня сказать это, потому что два раза говорила об этом, хотя я раньше говорил в таком тоне, что она не должна была возобновлять подобный разговор (Палимпсестов после сказал, что за ней должно быть 3000 р. сер. — я не думаю, что мне представлялась такая же сумма, когда она в четверг сказала, что что назначено ей, то будет дано; для меня это все равно), и я ей скажу. — Намеки на то, что она огорчает меня тем, что сказала, чтобы я остался для Венедикта; но я ей не сказал этого, скажу все-таки. Как она догадлива! Так о поцелуе, — что я этого не хочу (тут большею частью был Венедикт — он знает, что я жених; —

«Поцелуйте же ее», сказал Венедикт. — «Не хочу я этого», — сказали и она, и я. — «Да ведь вы хотели же и поцеловать на пасху». — «Не поцелую», сказала она. — «И я не поцеловал бы вас. Если бы тут было 50 человек, я перецеловал бы всех, но вас не поцеловал бы»). Наконец, разговор о том, что я не должен бывать у них: «Дайте честное слово, что не будете у нас после следующего воскресенья до пасхи». — «Нет, не [дам], потому что мне надо видаться с вами\*». — «Вы будете меня видеть у Патрикеевых в следующее воскресенье, потом в церкви». — «Если я буду видаться с вами, для меня все равно, у вас или где-нибудь». — Раньше этого, когда о том, хитрю ли я — я сказал: «Я-то уж не хитрю, и вы настолько проникательны, что должны это видеть, но другому показалось бы, что вы хотите хитрить со мною. Весьма многое в вашем обращении могло бы показаться кокетством, я думал об этом, весьма многое». — «Почти все», — сказала она. — «Я замечаю это, но вместе с тем я замечаю другие вещи, которые другой не заметил бы; я замечаю, хотя обыкновенно не вижу и не замечаю ничего». Потом я сказал: «Наши характеры, повидимому, весьма различны». — «Да, весьма различны». — «А между тем вы не сказали, не сделали ничего такого, чего бы не желал я — вот поэтому-то вы и нравитесь мне». Но довольно. Опишу расставанье. Когда я стал выходить, — чтоб я был у Анны Кириловны, она не хотела: «Сама пусть позовет, если хочет, она знает, что вы здесь». Когда я выходил, Венедикт накинул на нее мою шубу, она засмеялась, надела шляпу, вышла. «Извозчик», — закричала она и сказала: «Я так прокачусь», и поехала по площади до угла, потом, воротившись, давала мне целовать руку несколько раз. Наконец, смеясь, протянула губки. «Поцелуйте в самом деле», — сказал я — конечно, я не ожидал и не хотел этого, но эта шутка была так мила. Потом она стала за перилами и все ворочала меня и давала несколько раз целовать руку. Оканчивая тем, что она сказала мне: «В самом деле к вам весьма можно привязаться».

Я ей говорил о том, как мне хочется помолиться\*\* за нее. Я ей говорил о том, что если за полчаса до свадьбы она сказала бы, что ей больше нравится другой, я порадовался [бы] за нее. Но я еще должен ей сказать о ее женихе из Киевской губернии, — что я не совершенно этому верю.

Теперь, я совершенно спокоен.

Да будешь ты счастлива, милая, милая!

3½ часа. После обеда.

Я, уверяя ее в том, что сдержу обязательства свои, сказал ей, что если б я нарушил [их], это имело бы следствием такой позор

---

\* Я сказал еще: я довольно жил в своих отношениях, кроме любви к женщине. Я много испытал. Но я никогда не испытывал ничего настолько сильного, как то, что заставляют меня испытывать мои отношения к вам. И это правда.

\*\* Неразборчиво. Ред.

в моих собственных глазах, что я не мог бы оставаться живым, что я не в горячности, а совершенно спокойно убил бы себя; что я совершенно спокойно решился бы, что жизнь после этого мне будет несносна и что я не могу жить. Раньше этого я сказал ей, что я пока не влюблен, но что моя привязанность к ней развивается страшно, так что, наконец, я не отвечаю за то, чтобы я не показался ей еще большим чудаком, чем теперь, и что дело может кончиться тем, что я решительно влюблюсь в нее. Я тяжел на подъем, но когда примусь, то уж тут я пойду далеко. Она ревнует меня. Это кажется ясно. Ревнует не серьезно, конечно, но все-таки ей приятна мысль, что мое сердце не принадлежало никому, кроме нее, и она хочет удостовериться в этом. Значит, в ней есть ко мне привязанность. Я говорил ей об этом дневнике, и она говорила несколько раз, чтоб я принес его. Может быть, — вероятно даже, — что я отнесу его завтра, как и говорил ей, — но когда можно будет читать? Может быть и будет время. Но мне жалко его терять. Кажется, она в самом деле начинает привязываться ко мне. Во всяком случае, она сказала: «К вам весьма можно привязаться».

NB. Она мне весьма часто говорила: вы любите поговорить, вы весьма любите поговорить.

Теперь мои размышления:

Хитрит ли она со мною? Нет, это ясно из ее обращения, откровенности, из всего. Она не хочет и не может хитрить.

А мои сомнения? Совершенно изгладились. Т.-е. сомнения о том, что она говорила Бусловской, что она в понедельник говорила мне, что Яковлев ей сделал предложение; что ее сватали эти два помещика — харьковский (в этом я не сомневался) и киевский — это должно быть так и было. Дождется ли она меня? Вероятно. Она сама сказала: «Раньше я вышла бы за первого встречного, теперь буду разборчива». Дело зависит от того, чтобы кто-нибудь понравился ей больше, чем я. Я думаю, что она успеет привязаться ко мне так, что едва ли найдет человека, который бы ей понравился больше. Когда я ворочусь? Вероятно в сентябре, и в октябре, через 28 дней, буду в Петербурге с ней.

Мои отношения к домашним? Маменька не будет против этого выбора. Если будет, я уж сказал, что я скажу ей и что я сделаю, если она этим не убедится; но, во-первых, едва ли понадобится и сказать, а если понадобится, то будет совершенно достаточно одного намека.

Но мне совестно, что я ее, которая не любит меня, а разве просто думает, что я хороший человек и что за меня можно пойти с удовольствием, что ее я люблю гораздо более, чем маменьку, которая живет только любовью ко мне. Мне совестно.

Как мы будем жить с нею? Решительно счастливо. Как она будет держать себя? Весьма свободно. Но кокетничать будет гораздо меньше, чем теперь. Она весьма остепенится. Но если б и так, пусть она дурачится, шалит — это будет меня радовать за

исе, — хотя, может быть, и будет у меня чувство — не ревности, ист, я так уверен в ее прямоте, что подозрениям против нее никогда не может быть места, — а зависти к тем людям, которые на минуту обратят на себя ее внимание. Будет ли она счастлива со мною? Будет, насколько это позволят денежные средства. А ее шалости и, наконец, это чувство зависти? Я уж и теперь делаюсь более рассудительным, потому что больше уверен в себе и через ее любовь приобретаю я эту уверенность в себе. Я буду менее глуп, менее малодушен, чем теперь. Ее шалости будут просто радовать и развешивать меня. Как я увидел ее в своей шубе и шляпе, я стал думать, не вздумается ли ей носить мужское платье. Если в Петербурге есть хоть одна блумеристка<sup>234</sup>, я сам предложу ей это, и мы будем щеголять с ней по Невскому и мы будем дурачиться. Но я уж успел сообразить: что ж она будет делать со своими волосами? Отрезать их жаль. Впрочем, для меня она будет так же мила с кудрями по плечам, как и с косою. Но в сущности она будет весьма верною женою, верною, как немногие. А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением. А какую радость даст мне ее возвращение! Потому что она увидит, что как бы ни любил ее другой, но что никто не будет любить ее так, как я. Я буду любить ее, как отец любит свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит свою милую. А если предмет ее страсти будет недостойн ее? Тем скорее кончится эта связь, тем более она будет привязана ко мне. Нет, я не Буа Гибер в «*Péché de Mr. Antoine*»<sup>235</sup>, я — одним словом я не нахожу лица, с которым бы я мог сравнить себя. Но пора за работу.

Прощай, дневник, до завтра. Завтра я снова увижу ее. Я счастлив тобою, милая невеста.

5 часов. Был у Чеснокова, чтоб поговорить о завтра, воротился — маменька еще спит. Пока проснется, снова пишу.

Что будет по моем приезде в Петербург? Примусь готовиться к экзамену. Это до обеда. Приеду если в половине мая, до половины августа это будет 3 месяца. Успею приготовиться весьма хорошо. Верно это будет много — заниматься 30 час. в неделю приготовлением. Верно будет до обеда время и для других занятий. Должно будет изучить для Никитенки *Vischer's Aesthetik*<sup>236</sup> — это одна неделя; две недели на историю литературы для Никитенки. Одна неделя для Устрялова. Два месяца для Срезневского. Устный экзамен кончу в две недели. Если диссертация — ее успеет просмотреть Срезневский до начала каникул, и в два месяца успею напечатать — будет готова к защите к началу сентября, буду защищать, если не согласится Совет в начале сентября, — после свадьбы. Это ничего. После обеда конечно много времени должно будет истратить для посещений (встаю в 8, до 3 занимаюсь — из 7 часов конечно в занятиях всегда успею проводить



4 $\frac{1}{4}$  часа и в неделю 30), но наконец будет оставаться часа 1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$  (от 5 до 7) для занятий, иногда ни часу, иногда целый вечер. Итак, часов 15 будет в неделю; в это время можно написать печатный лист, итак 4 листа в месяц. Это доставит мне, конечно, сначала меньше, после больше 200 р. сер., во всяком случае 150 р. сер., итак около 500 р. сер.<sup>237</sup>. Проживу 100 р. сер., на 400 р. можно съездить и купить мебели. Рояль возьму напрокат тотчас по приезде (200 [р.] сер. на мебель, 200 на поездку), еще рублей 500, или, если можно, больше, займу.

Это я пишу потому, что главный предмет моих забот теперь денежные отношения. Остальные все уладятся. У кого займу? Если уж на то пошло — у ростовщика. После можно будет расплатиться. Но вероятно не откажется дать кто-нибудь из знакомых. Ведь нашел же Минаев. В Саратове кто? В последней крайности Николай Иванович. У него едва ли будут готовые деньги. Но для меня он выпишет. Но раньше кто-нибудь из кружка родных, напр., через Анну Иван. или что-нибудь в этом роде. Но раньше должно постараться найти деньги в Петербурге. Верно даст Введенский. Если нет — у ростовщика. Расплачусь. Потому что, наконец, глупо сомневаться в возможности работать и получать деньги, когда я выше всех из кружка Введенского, например, хоть выше его и Милюкова. Одним словом, деньги получу как бы то ни было. В Петербурге о своем намерении ехать жениться не буду говорить до последних дней, когда может понадобится объяснить, для чего нужны деньги.

Главное сыграть свадьбу и устроить квартиру. Там пойдет своим порядком.

Я человек, которым не будут пренебрегать. Я человек нужный. Буду писать в «Отечественных записках» или «Современнике»<sup>238</sup>. Может быть получу несколько денег и через Русскую Академию. Буду писать все, что угодно. Главным образом, если на мой выбор, критические исследования о различного рода литературе и теории словесности. Может быть даже составлю учебник вместе с Введенским. Ему отдам всю честь, себе приму только участие в денежных выгодах.

Одним словом, я скоплю казну и могу сказать ей наверное: «Там всего у нас довольно, эти люди нам друзья, что душе твоей угодно, все добуду с ними я».

В себе я теперь уверен. В ней уверен. В согласии своих родных уверен.

Где же ты, прежнее мое сомнение?

С ней буду переписываться каждую неделю. Она будет посылать письма на мое имя в университет.

О, моя милая невеста!

Ты источник моего довольства самим собою, ты причина того, что я из робкого, мнительного, нерешительного стал человеком с силой воли, решительностью, силою действовать. Благословляю тебя!

Да будешь ты счастлива!

(Все это писано в совершенно холодном состоянии духа.)

*Описание воскресенья, дня ее рождения. Писано 16-го, в понедельник, 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.*

Утром я был у Акимовых, потому что она велела быть, сказав, что это неловко, как бы я бывал только для нее. Я раньше этого читал свой дневник и нашел там описание вечера в Семёновском полку, которое меня много позабавило, но вместе и утешило: там нет ничего собственно об этой брюнетке, а только общие чувства о несчастном положении женщин, подобных ей, и там уж есть мысль — «я хочу любить одну, чтобы мог сказать ей: никого я не обнимал раньше тебя, никого я не любил раньше тебя». Я не думал, чтобы эта мысль была так стара во мне. Это меня обрадовало.

У Акимовых П. Вас. спрашивал меня, женюсь ли я на ней; я сказал, что еду в Петербург через 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца. На вечере Кат. Матв., с которой я говорил больше всех, сказала мне, помню ли я стихи Кольцова «Обойми, поцелуй и т. д.»; я стал говорить их — «На полгода всего мы расстаться должны». — «Вот это я хочу вам напомнить, вы подаете эти надежды». — «Не знаю, сбывается ли это — мало ли что ожидаешь и что не сбывается». — «Зачем же возбуждать надежды?» — «Вот видите, я чрезвычайно привязан к О. С., но она ко мне нисколько» (это я говорил, что думал). — «Да как же можно так скоро?» — «Я ничего не хочу, а говорю только, что от своих слов я не откажусь, но что от нее я не вправе ничего ожидать».

Итак, в 5 час. мы явились с Фед. Дим. Акимовы были уж у них. Она сидела в каком-то белом платье, должно быть не своем, или в блузе, во всяком случае оно было весьма широко. Они сидели в комнате Ростислава; они с Катер. Матв. и Афанасией Яковлевной целый день шалили и передевались во всевозможные наряды. Она тотчас убежала и переделалась — вот что, со мной, при мне она не хочет дурачиться, для меня она держит себя не так, как для других — я что-нибудь значу в ее глазах. Мы пошли в зал. Первую кадрили она имела кавалера — Гуськова, вторую хотела танцевать со мною, третью я должен был с Кат. Матв. В первую кадрили я пригласил Елену Вас., которая весь вечер страшно хотела любезничать со мной. Но она решительно дурная девушка и с ней я не хочу дурачиться, даже, напр., как с Вороновою, потому что она в самом деле кокетка. Я, впрочем, говорил ей довольно много о своей ненаходчивости в разговорах — в оправдание, что я не говорил с ней, и рассказывал довольно много примеров этого, между прочим, о разговорах с Шапошниковою, так что это имело вид откровенности. «Вы будете у нас в воскресенье?» — «Буду». — «Когда?» — «Поутру» (потому что я думал, что вечером будет О. С. у Патр., но теперь буду вечером, потому что вечером О. С. будет у Акимовых). Я

кроме того весьма много говорил с Кат. Матв., почти весь конец вечера. Это добрая девушка, но более ничего как обыкновенная добрая девушка, впрочем умная девушка, с которой можно быть откровенным. Она довольно много понимает в наших отношениях с О. С.

С О. С. я говорил весьма мало, почти только между второю кадрилию и в самом конце вечера, и Вас. Дим. был весьма недоволен моею нелюбезностью и сказал, что я держу себя ни на что не похоже. Я под конец вечера — все время ходил я с ним и с Кат. Матв. — сказал ему на его повторенные слова, что я плох до крайности, что ему, наконец, стыдно иметь такого protégé. «Наши отношения с О. С. довольно странны». — Он несколько понимает их, хотя не знает, кажется, всего. — «Без этих отношений я не поехал бы в Петербург». — Он все хвалил ее, говорил, что имей [он] возможность доставить ей такую жизнь, к какой она привыкла, он женился бы на ней. Значит, он не знает моих отношений к ней вполне. Рассказывал мне о том, какое ее житье, как Ростислав раз сказал ей, когда она приехала к Патрик. от Гуськовых одна: «Я скажу отцу, что ты была в гостинице». Хотел сказать еще более об этом при случае. Сказал, что мать не любит ее до того, что не хотела отдать ее за Персидского, который весьма хороший человек и который ей нравился. Он сказал Сократу Евг., тот сказал, что он не прочь, что должно переговорить с Анной Кирил. «Приезжает он раз — больна, в другой — тоже, в 3, 4 — тоже, и дело тем кончилось».

Шутка с доскою для арифметики, которая стоит у них в углу залы подле передней. В первую кадрили мой визави Воронов любезничал со своею дамою Лидией Иван. (Рычкова, кажется). Фед. Дим. и Пав. Вас., которые не танцевали, написали на доске: «Дежурные старшины Ф. Д. Чесноков и Пав. Вас. Акимов», я тотчас написал сверху: «На свадьбе Лид. Ив. и Мих. Алекс.». Рычкова оскорбилась и ушла. Мы написали сверху: «Свадьба разстроилась», и понесли доску в заднюю комнату, где сидели слушатели — она была там — она вышла после этого, но О. Сокр. сказала, что она рассердилась и хотела жаловаться тетке, Дарье Кирил. Чтоб сколько-нибудь укротить ее, она велела мне написать «О. С. и Ник. Гавр.» и я написал это на двери в переднюю, как бы тайком. Ей тотчас это показали, я не хотел показывать, она, кажется, несколько успокоилась. Какая находчивость и какая доброта! Сколько раз уж я делал подобные неловкости и ставил О. С. в неприятное положение, — и она не оскорблялась, не капризничала никогда. Вас. Дим. говорил о ней под конец вечера в самых выгодных выражениях, и я нашел тут настоящее слово: «Ольга Сократовна редкая девушка».

Теперь кончил описание всех эпизодов, и я начинаю записывать разговоры с ней. (Но раньше иду пить чай и после съезжу к Колесникову за 1 № «Современника» для нее.)

Вообще, должен сказать, что мне она с каждым новым свиданием больше нравится. И с каждым новым свиданием в самом деле я больше и больше вижу в ней чудных, удивительных качеств сердца и характера, с каждым новым свиданием больше и больше вижу в ней редкого ума. О ее уме все говорят в один голос. Качества ее души ценит и Вас. Дим., и все знающие ее коротко, напр. и (даже он!) С. Г. Шапошников и Кат. Матв., которая может ценить, потому что сама весьма добрая девушка. Но я ценю их гораздо более всех, потому что — скажу прямо — во мне самом есть много благородства и нежности, потому мне вполне понятны благородство и нежность, вполне понятны чудные качества ее души. Прощай до 7 часов, мой милый дневник.

Писано 17, вторник, 12<sup>1</sup>/<sub>3</sub> час. утра.

Мы все воскресенье говорили с ней мало.

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen,  
Zu viele Lauscher waren wach,  
Nur ihrem Blick ich konnte fragen,  
Und wohl verstand ich, was er sprach.\*

Она держала себя в отношении ко мне так, что показывала, что уверена, что я уж не нуждаюсь в доказательствах ее приязни ко мне. И я был совершенно доволен. Зачем при других выказывать внимательность, когда я уверен в этом. Разговоры наши были весьма кратки. Первый был у стола, который стоит на улице к гостиной ближе. На нем лежал гребешок, она взяла его и сказала Катерине Матвеевне: «Как же можно так бросать?» — «А вы часто и долго бываете перед зеркалом?» — сказал я. — «Я одеваюсь перед зеркалами только на бал; а так я только вхожу в зал взглянуть, когда уж одета, все ли так; волоса мне причешет девушка, что ж мне быть перед зеркалами?» — Вот девушка! У нее нет даже зеркала, и это правда, я уверен в этом! И я решительно уверен в том, что сказала мне после Кат. Матв.: «Оля решительно не занята собою, хотя держит себя гораздо свободнее Елены Васильевны» (она перед этим сказала, что Елена Вас. весьма занята собою). Да, это совершенная правда.

Потом, когда пили чай (после первой кадрили; вторую я должен был танцевать с ней), мы ходили несколько времени по зале вместе, — она подошла сказать мне, что скоро будет и моя очередь отправиться к Анне Кирилловне на испытание — она поочередно вводит к ней молодых людей. — «Не думайте, чтоб это было для меня особенно скучно. Я вам говорю правду, что для меня всякий разговор потерял свой интерес, кроме разговора с вами. Если говорить не с вами, то для меня решительно все равно — говорить ли с Анной Кирилловной, Кат. Ник., Вас. Дим., Кат. Матв. — решительно все равно». Я сказал, что принес свой прежний дневник, петербургский, прочитать ей несколько мест о том, как я жил

---

\* Она не могла сказать мне ни слова, было слишком много подслушивающих, я мог спросить только ее взор, — и хорошо понял, что он говорил.

в Петербурге. — «Я не могу прочитать его?» — «Нет, он так мною написан, что его нельзя разобрать». — «Ах, как это дурно. Зачем же вы принесли? Вы и так можете рассказать». — «Для того, чтобы вы не могли усомниться в том, что я буду читать правду». — «Я и так поверю». — «Я отыскал там романтическое место, — об одном вечере, на котором я был». — «О, если ваши воспоминания ограничиваются только этим, то нечего о них беспокоиться». — «Вы меня сильно огорчили, О. С., во вторник, когда я был у вас на минуту: вы сказали, чтоб я оставался до конца июня для Венедикта, — неужели вам это кажется важнее?» — «Но ведь вы сказали, что это дело устроится и тогда, если вы уедете? Конечно, это мне кажется важнее, потому что ведь все равно, когда вы ни уедете, вы не воротитесь от этого раньше?» — «Нет, все-таки это ускорит мой приезд». И она отвела меня к Ан. Кир. — «Но сейчас начнут танцевать, я должен танцевать с вами эту кадрили?» — «Все равно, протанцуете четвертую». — «Да будет ли четвертая?» — «Конечно, будет». — Четвертой не было, и я не танцевал с нею в этот вечер, но это для меня несколько не прискорбно, потому что мы с ней теперь обходимся как жених с невестой, как друзья, уверенные друг в друге, которым не нужно мелкой расчетливости в внимательности и любезности для того, чтобы понимать привязанность друг к другу.

Я отправился к Анне Кирилловне. Она говорила о том, что иные девицы бойки весьма, о том, что Ел. Вас. кажется выходит замуж неохотно. Я, чтоб угодить ей, говорил, что ведь, конечно, принудить бог знает как, но и на собственный выбор девицы часто нельзя положиться. Она расспрашивала меня о Пасхаловой, я говорил много и оправдывал ее. Наконец — я просидел минут 25 — Кат. Матв. пришла вызвать меня танцевать третью кадрили. Тут-то мы говорили о том, что О. С. не кокетка и не занята собою.

После этого, через несколько времени, я говорил минуты две с О. С., после того, как Вас. Дим. сказал мне о том, как мать не любит ее до того, что не хотела отдать ее за Персидского: «О. С., а если ваши не согласятся, чтобы вы вышли за меня?» — «Кто ж? Разве один папенька». — «А Анна Кирилловна?» — «Этого нельзя ожидать». — «А как же, вас сватал Персидский и она не захотела?» — «Тогда я была ребенок, это дело началось, когда мне было 15 лет, и кончилось, когда мне не было почти 16. Она не хотела, чтоб я таким ребенком вышла замуж. Да и теперь она называет меня девочкою, говорит, что я еще не привыкла заниматься хозяйством. Я тогда еще училась. Она не хотела, чтобы я прямо со школьной скамьи вышла замуж. Да и я после еще училась, я училась до 17 лет».

Этот разговор совершенно удовлетворил меня. Кажется, насчет Анны Кир. я могу быть спокойным. А теперь спокоен и насчет Сократа Евгеньевича, потому что он не согласился бы только из любви к ней, из опасения, что я не составлю ее счастья; а теперь, когда буду знаком с ним, он увидит, что я хороший человек

и что, насколько от меня будет зависеть, она будет счастлива. Перед тем, как она отвела меня к Ан. Кир. и когда мы ходили, пока я пил чай, перед словами, что для меня все равно, с кем ни говорить, если не с ней, я говорил ей: «Я не влюблен в вас, вы только чрезвычайно мне нравитесь, как никто никогда даже в отдаленной степени не нравился. Я только убежден, что я буду вполне счастлив с вами. Я убежден решительно и в том, что вы не пожалеете никогда о том, что вышли за меня, кроме только одного; за одно я не ручаюсь — это за то, что у меня будет много денег». — «Да разве в деньгах счастье?» — «Деньги одно из условий счастья» — «Это так». — «Да, я только за это не ручаюсь. За все остальное я ручаюсь перед собою. Никогда с моей стороны [не] будет кроме этого ничего, что бы могло мешать нашему счастью». — «А с моей?» — «Я уверен, совершенно уверен, что и с вашей тоже никогда ничего, что бы когда-нибудь возмутило мое счастье». — «А если я буду виновна в чем-нибудь перед вами?» — «Я в том уверен, что никогда ни в чем». — «Почем знать? Конечно, я не могу быть виновна из каприза, но мало ли что может быть?» — «Нет, в вас я уверен совершенно, что вы можете быть только источником счастья».

Теперь иду к Колесникову. Остается только разговор перед отъездом.

Наконец, после как мы всё ходили с Кат. Матв., и Патр. стали собираться домой, О. С. подошла ко мне, взяла мою руку от Кат. Матв. и сказала ей: «Ты ныне совсем отбила у меня Николая Гавриловича». Все в этот вечер происходило так, как бы она имела полное право на меня, и мне не нужно ухаживать за нею. «Когда мы теперь увидимся с вами?» — сказал я. — «В воскресенье у Акимовых». — «Утром вы будете у Патрикеевых?» — «Буду». — «Я могу там быть?» — «Можете». — «А раньше?» — «Нет, раньше нельзя». — «Вы не будете у Патрикеевых на этой неделе?» — «Нет». — «Вы будете говеть, и вас можно видеть в церкви?» — «Нет, не буду говеть, потому что будет грязно, лошади нужны для папеньки».\*

Стали прощаться. «О. С., почему вы не хотите познакомить меня с Сократом Евгеньичем?» — «Если хотите, сейчас можно». (Я думал в самом деле, что она почему-нибудь не хочет, чтобы я был знаком с ним.) И она повела меня к нему в кабинет. «Папенька, рекомендую вам Николая Гавриловича Чернышевского». Он взял меня за руку и просил бывать у него. — «Я сам тоже люблю что-нибудь поговорить; я сам был в университете, да еще на казенном. Медицина мне надоела, и я люблю поговорить о чем-нибудь. Вот теперь читаю «Русскую историю» Ишимовой. Хорошо

---

\* «Так вы уедете в мае?» — «Даже раньше, если можно». — «И мы поедем на лето с папенькою в Харьков недели на две и воротимся в конце июля». И я с грустным, но покорным тоном сказал: «И выйдете там замуж». — «За кого же? Я там знаю всех. Я говорила вам, что там один помещик сватал меня, но я не пошла за него и не пойду».

написано и прекрасный язык». Я простился с ним и спросил О. С., когда я могу быть у него. Она сказала, что можно в четверг. «Достаньте мне 1 № «Современника» за нынешний год, там мне весьма хвалят одну повесть». — «Достану, только не знаю, скоро ли, потому что я не читаю ныне ничего». — «Достаньте поскорее». Мы стали прощаться. Она вышла на крыльцо, и я несколько раз поцеловал ее руку в передней (тут она сказала снова, что говорила раньше: «Как он целует — совершенно машинально», потому что я сам сказал эти слова, сказанные ею раньше) и потом на крыльце.

Я расстался с ней решительно довольный вечером, хотя другой на моем месте и не был [бы] доволен, потому что она избегала любезничать со мною, но для меня именно это и служило самым лучшим доказательством ее истинной привязанности и уверенности в моей привязанности.

Когда на другой день вечером Вас. Дим. был у меня, он сказал, что когда он просил ее быть на-днях у Патр., она спросила его: «Для кого вы хотите этого?» — «Собственно для себя, не для кого другого. Но почему вы так неласковы с Чернышевским?» — «Это могло б зайти слишком далеко. Я пошла бы за него, но он уезжает, и нельзя нам не остерегаться, чтобы не зайти слишком далеко». Я уверен, что это правда, что она в самом деле ставит меня выше и лучше всех, что она ценит мою привязанность.

Теперь понедельник. Я съездил за «Современником» к Колесникову, у которого он был, и решил сам теперь же отвезти им его, а не дожидаться до утра, чтобы передать через Венедикта. Но у меня было некоторое сомнение: понравится ли ей мое посещение, и кроме того, я был не причесан, не приглажен; нужды нет, зачем заставлять ее дожидаться лишние сутки? Да мне хотелось и показать ей мое рвение тотчас исполнять ее желания. Я взошел. Она сидела в зале и читала. Я не стал скидывать шубы. Она вышла ко мне к дверям передней и взяла книгу. «Уж достал? Как скоро. Какой милый, милый!» Я несколько раз поцеловал ее руку, не с пламенной пылкостью, а с спокойною нежностью. «О. С., я буду в четверг у С. Евг.». — «Будьте». — «В 6 часов?» — «Да, около вот этого же времени» — было около 6½ часов. Я еще несколько раз поцеловал ее руку.

Прости, моя милая невеста, будь счастлива, как я счастлив тобою. Прости до четверга и будь счастлива. Еще два дня, и опять увижу тебя. Прости, будь счастлива.

Да будешь ты счастлива!

Должен записать еще перемену в моих чувствах с тех пор, как я писал свои размышления. Теперь я перестал ревновать или завидовать, потому что убедился решительно в том, что она вовсе не кокетничает и что желание вскружить голову всякому, кто попадется ей в руки, как выражается Палимпсестов, решительно ей чуждо. Этого мало. Еще важнее. Я убедился, что никого она не предпочитает мне, что ее чувство ко мне, или, лучше сказать, ее мысли обо мне решительно серьезны и довольно глубоки, что она

привязана ко мне, или, лучше сказать, что я в ее глазах более всех достоин любви и что ни о ком, кроме меня, она не думает и никогда не подумает, кроме разве того случая, что серьезно и пламенно влюбится в кого-нибудь — вещь не очень вероятная, по ее собственным словам, которые должно быть решительно справедливы и в искренности которых я убежден точно так же, как в своих чувствах к ней. Теперь я решительно спокойно чувствую к ней чрезвычайно сильную привязанность. Прошло время беспокойства, время сомнений в том, может ли она верить мне, или может ли она оценить, как глубоко и нежно [я] привязан к ней. Теперь моя привязанность решительно тиха и спокойна, но чрезвычайно глубока, сильна и нежна. О, да будешь ты счастлива, моя милая невеста!

Писано 18 марта в 10<sup>1/2</sup> ч. вечера. Промежуток между свиданиями.

Когда я шел из гимназии, меня догнал Воронов и сказал мне, что «вы хотели быть у них в четверг — О. С. сказала, что их дома не будет до вторника: завтра именины Дарьи Кирилловны, они будут у нее; воскресенье и понедельник именины и рождение Лидии Ивановны».

Я посмеялся этому несчастью перед Вороновым, но это меня обескуражило решительно. Почему? Не умею хорошенько сказать почему. Может казаться мне — потому, что она вообще не дорожит случаями видеться со мною? Она решительно не имеет ко мне привязанности. Но я сам знаю, что это неправда, что она избегает случаев видеться со мною потому, чтоб еще больше не начали говорить о нас, уж и теперь говорят. Или — это ближе — зачем она сказала Воронову, что я хотел быть у них в четверг, зачем она передает мне через него? Она могла бы сказать это через брата. Воронов не так чист и не так привязан к ней, как Чесноков — зачем выбирать его посредником? Но и это не то — нет — скажу, что — весьма глупо — однако ближе всего к истине. Это то, что я влюблен в нее; мало того, что привязан к ней — мне нужно ее видеть; мало того, что я думаю, что лучшей жены для меня не может быть; мало того, что я думаю, что я буду счастлив — во мне потребность видеть ее теперь. Глупо, весьма глупо быть влюбленным — а между тем это правда. Правду я сказал ей, когда был у нее в четверг 12: «Я ожидал от себя подобных вещей, но чтобы, наконец, они были в таком размере, этого уж я не ожидал. Я ожидал, что буду делать глупости, но что буду делать такие глупости, на это уж я от себя не надеялся. А со временем вероятно это все будет еще в большем размере, чем теперь». Так и есть, так и выходит. Я все более и более увлекаюсь. Чем же, наконец, это кончится? До чего, наконец, это дойдет?

Но Вас. Дим. сказал мне, что будет просить ее быть завтра у них. Если она не будет у них, я все-таки буду у С. Евг. Все равно, будет ли она дома или нет, увижу ли ее или нет. Но должно



быть я завтра увижусь с ней. А если завтра не застаю ее дома, буду у них в пятницу или в субботу. Нет, воля ваша, О. С., вы доводите меня до решительно глупого состояния, до состояния влюбленности.

Да будешь ты счастлива, давшая мне столько счастья!

Писано 20 марта, 8 утра. Описание четверга.

Вас. Дим. Чесноков упросил О. С. быть у них в четверг, потому что Д. Гавр. именинница. Я пришел, когда их еще не было. Наконец приехали. Пошли мы из флигеля в дом. О. С. села на креслах с правой стороны дивана, Катерина Матв. на диване, я подле нее. О. С. была весьма грустна. Отчего? Она получила ныне письмо, в котором писали ей о смерти Рычкова и еще какого-то Виктора, «которого я любила», сказала она. Она на память сделала его портрет и показала мне. Она была чрезвычайно грустна, и в весь вечер часто у нее показывались слезы, наконец, она несколько раз принималась плакать, несколько раз уходила, чтоб посидеть одной. Я не сумел заставить ее высказаться мне и тем сколько-нибудь облегчить свою печаль. Она в весь вечер избегала меня. Только раз удалось мне говорить с ней и то так неловко, что она не поняла моих настоящих чувств. Это было вот как. Раньше, часов в 7<sup>1/2</sup>, она ходила по зале с Кат. Матв., я присоединился к ним. Кат. Матв. стала говорить с Ростиславом, я остался с ней. «Кто ж умер? брат?» — «Да», — сказала она, нехотя. «В таком случае эта печаль вовсе не так серьезна и долга, как я думал. Мы родных любим так, что потеря их не так глубоко огорчает нас. Вот если бы это был посторонний\*, дело другое», и т. д. Я говорил несколько минут в этом роде, но так глупо, что она приняла это за выражение ревности и ушла. Я после сказал это, что понял, что она думает, что я ревную, и уверял, что этого нет, что это только выражение одного сочувствия, по которому все, что радует ее, радует меня, и что огорчает ее, огорчает меня. Она не поверила. И скоро уехала. Я должен был остаться, чтобы не показать виду, что был только для нее; не посмел даже проводить ее. Что теперь делать? Ныне в перемену позову Венедикта к себе и поговорю с ним, если можно с ним говорить серьезно.

Что возбудила во мне ее печаль о смерти этого молодого человека? Нет, вовсе не ревность. Нет, одну только скорбь о ее скорби. Но правда и то, что я сказал ей: «Кроме того, что я огорчен вашею печалью, я огорчен еще тем, что вы не доверяете мне, что вы не видите, какое чувство возбуждает во мне ваша печаль о нем, и считаете это чувство ревностью».

Я после, когда она уехала, говорил с Вас. Дим. о наших с ней

---

\* Я был так глуп, что в это время в самом деле думал, что эта смерть только брата, которого, может быть, она любила. Но потом увидел, что умер, в самом деле, еще другой, и о нем она так грустит. Это было уже после.

отношениях и высказал свои намерения, не высказывая своего разговора с нею в четверг 19 февраля.

Что теперь делать? Вероятно, буду просить Венедикта попросить ее от меня, чтобы она была дома и поговорила со мною несколько минут, а сам пойду к Сокр. Евг. и посижу с ним, пока он поедет к больным. Постараюсь, чтоб она поняла мое настоящее чувство, мой настоящий характер. Едва ли это удастся сразу. Для чего я это сделаю? Чтoб она могла мне поверить, высказать свою печаль и тем несколько облегчить ее. И для того, чтоб она больше поняла меня и лучше увидела, что если она редкая девушка, то и я редкий человек, человек, с которым можно говорить все; который в состоянии выслушать, понять все; понять все, что ему говорят, так, как понимает это человек, который говорит ему, как чувствует это он сам; что я человек, который сочувствует всему, даже тому, что в других возбуждает не сочувствие, а ревность или зависть; что я человек с мягкою душою, открытой сочувствию для всякого горя, для всякой радости. А это для чего? Потому что за это более всего можно привязаться ко мне, это лучшая сторона во мне, и я хочу, чтоб она знала и оценила ее. Мало того: я хочу, чтобы наши отношения как можно скорее стали такими, какими они всегда должны быть со мною; что каковы бы ни были мои чувства, хоть даже любовь, хоть даже влюбленность, но что прежде всего — я друг; прежде всего я живу не своею жизнью, а жизнью тех, кого люблю. Установить эти отношения весьма важно для нашего будущего счастья.

Но быть у ней ныне, говорить с ней ныне — не слишком ли это рано? Не значит ли это надоедать ей? В таком ли она состоянии, чтоб могла рассудить и понять кого-нибудь и что-нибудь, кроме своей скорби? Так, рано; поэтому может быть и будет лучше, если она не захочет ныне говорить со мною; но я должен ныне же показать ей готовность говорить с ней, чтоб впоследствии, когда она будет в состоянии говорить со мною, она знала, что я всегда буду таков; что ревность, зависть ни на минуту не были в моей душе от этой скорби об умершем милом. Я думаю теперь о ней больше, чем раньше. Я всю ночь видел ее во сне, что было только один раз до сих пор, да и то во время какой-то бессонницы, продолжавшейся часа два. Теперь я спал весьма крепко, но всю ночь виделась мне она и думалось о ней. Я грущу ее грустью и грущу, что она до сих пор не оценила во мне лучшей моей стороны — способности быть поверенным, того, что со мною можно и должно говорить все.

Alle das Neigen  
Von Herzen zu Herzen.  
Ach! wie so eigen  
Schaffet das Schmerzen!

Но я сочувствую ей больше, чем когда-нибудь, потому что всякое несчастье, всякое горе заставляет меня более заинтересо-

ваться человеком, усиливает мое расположение к нему. Если человек в радости, я радуюсь с ним. Но если он в горе, я полнее разделяю его горе, чем разделял его радость, и люблю его гораздо больше.

Писано в 12 час. вечера. Пятница.

В гимназии я говорил с Тищенко, который сказал, что О. С. поехала заказывать себе черное платье и весьма грустила, много плакала это утро. Я через него передал Венедикту, чтобы он был у него в 12 часов. Мы пошли. И просидели около часу. «Венедикт Сократович, вы дитя или нет, с вами можно говорить серьезно? Вы будете смеяться или перескажете не так?» — «Говорите, перескажу так». — «Я хочу быть ныне у Сокр. Евг. Будет ли О. С. дома?» (я хотел в таком случае просить ее поговорить со мною несколько минут). — «Нет. Значит и вы не будете?» — «Нет, все равно, буду. Мне бы хотелось еще кое-что вам сказать, чтобы вы передали». И я стал говорить о том, чтоб он передал О. С., что она решительно ошибалась, приписывая мой вчерашний разговор чувству ревности (эти слова я однако не высказал, потому что он не знает, кажется, о ком она грустит), приписывая мое желание заставить вчера ее говорить какому-нибудь другому чувству, кроме того, [о] котором я говорил ей — желанию облегчить несколько ее горесть, давши ей возможность высказаться, и чувству скорби о ее скорби. Я чрезвычайно расстроен ее горем. Почти как она сама. Нет, конечно, менее, чем она, но все-таки весьма расстроен, так что не мог ни вчера, ни ныне ни читать, ни писать. Когда человек в горе, он занимает меня вдвое более. Я никогда не видел ее во сне, кроме того, что раз как-то мне не спалось и я только дремал и, конечно, думал о ней, как всегда думаю о ней. Но нынешнюю ночь я всю ночь видел ее во сне. — И т. д. О ее характере, в общих выражениях, так, чтобы она поняла их, если он будет пересказывать сколько-нибудь верно; для того, чтоб он теперь понял, я говорил о чувстве ревности, о том, что не могу ревновать ее, потому что слишком знаю ее; о том, что я с этой стороны настолько знаю, чтоб не нуждаться в расспрашивании; о том, что я человек, который прежде всего создан быть доверенным, которому можно говорить всё; что это замечали мне люди, которые не любят меня и которых я не люблю (я говорю о Пасхаловой), которые, однако, говорили мне, что «на вас можно положиться более, чем на кого-нибудь, с вами скорее будешь высказываться, чем с кем-нибудь». Я говорил о том, что без отношений к ней никогда не уехал бы из Саратова, потому что жаль было бы покинуть маменьку, и т. д. Не знаю, как передаст он и как она примет этот мой поступок — и как она поверит тому, что я пересказывал через него, но мне стало несколько легче, когда я высказался перед ним с надеждою, что он хотя сколько-нибудь передаст ей.

После обеда спал, потому что не шла работа на ум. Я решительно не мог работать. Проснулся в 6 почти, так что когда вошел

на двор к Васильевым, уже стояла лошадь для Сокр. Евг., и я не пошел. Отчасти не пошел и для того, чтоб успеть побывать у Шапошн. для того, чтобы выпросить маменьку березовки. Мне жаль ее, всего более жаль потому, что я покидаю ее, которая живет одним мною, покидаю для О. С., которая не чувствует ко мне никакой особой привязанности. Мне совестно перед ней, что я так мало люблю ее в сравнении с О. С., которая слишком мало любит меня.

Но все-таки в ней моя жизнь, в ней моя радость и скорбь.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,  
Das Mädlein sitzt an Ufer's Grün,  
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,  
Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht,  
Das Auge vom Weinen getrübet:  
«Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,  
Und weiter giebt nichts dem Wunsche nach mehr.  
Du Heilige, rufe dein Kind zurück,  
Ich hab' genossen das irdische Glück,  
Ich habe gelebt und geliebet!»

Она говорила вчера: «Теперь я желала бы умереть. Это первая потеря человека, близкого моему сердцу». —

Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf,  
Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf;  
Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust  
Nach der süßsen Liebe verschwundener Lust,  
Ich, die Himmlische will's nicht versagen.  
Lass rinnen der Thränen vergeblichen Lauf,  
Es wecke die Klage den Toten nicht auf!  
Das süsseste Glück für die traurende Brust  
Nach der schönen Liebe verschwundener Lust  
Sind der Liebe Schmerzen und Klagen \*.

О, буду плакать вместе с тобою о твоём погибшем милом, моя милая, моя милая, милая! .

И я плачу в самом деле.

Писано 26 марта 11<sup>1/2</sup> час. Буду короток как можно более, потому что некогда быть длинным.

Воскресенья 22 марта я дожидался с чрезвычайным нетерпением, чтобы встретить ее у Акимовых. Все-таки я не совсем рас-

---

\* Шумит дубрава, плывут облака; на зеленом берегу сидит девушка, волны разбиваются с силой, а она посылает стоны во мрак ночи, слезы туманят ее глаза. Умерло сердце, мир опустел, нечего больше делать. — Святая, призови свое дитя, я изведала земное счастье, я жила и любила. — Напрасно лить слезы, скорбь не воскресит мертвых. Но скажи, что утешит и исцелит грудь после исчезновения радостей сладкой любви: я, святая, не откажу в том. — Пусть напрасно струятся слезы, и скорбь не воскресит умершего, но самой сладкой отрадой для скорбящей груди после исчезновения радости прекрасной любви являются скорби и сетования любви. — Шиллер, Das Mädchens Klage. 7 стих у Шиллера читается: Und weiter giebt sie dem Wunsche nichts mehr.

считывал на это, поэтому даже мало одевался. Но она была там. Наконец, танцуя кадрили, я ей говорю о моей скорби. Доказательства в тоне, каким я говорю, и на моем лице. После сидим с нею в гостиной, пока другие танцуют гротеск. Она говорит мне, что теперь менее печальна, чем раньше, чем ныне поутру; и она была, правда, печальна, но все-таки не до такой степени, как раньше. Я почувствовал, что у меня на сердце становится легче. Она, наконец, когда подали водку, начала шалить с Пригаровским, который был подле на диване (мы сидели на креслах к зале), заставляла его пить водку и грозила, если он не будет пить, вылить ему на голову, и вылила в самом деле целую рюмку. И я начал шалить: мешал ему пить, когда подавала она, и т. д. Две рюмки разлил, наконец, унес бутылку. И продолжал шалить. Она, наконец, рассердилась, принявши это за дерзость, преднамеренную с моей стороны. Может быть я и сделал в продолжение этих шуток какую-нибудь дерзость, но не замечая сам. Когда ушли в зал, она подала руку Палимпсестову и сказала, что не хочет говорить со мною. Я несколько приставал к ней, чтоб она говорила со мною, потому что мне хотелось узнать, чем я оскорбил ее, и кроме того спросить, почему она думает, что я не могу понравиться Анне Кирилловне, и что я думаю, что понравлюсь, поэтому буду у нее, если О. С. позволит. Но она не хотела говорить и наконец (это было, когда они с Палим. шли по зале к гостиной против дверей передней) — «Вы хотите быть со мною так же дерзки, как с Наташей — с нею можно, потому что она девочка, но с собою я не позволю так обращаться, потому что я девица. Я отвечу вот чем» — и она приподняла несколько руку (т.-е. вы заставите меня ударить вас по щеке). Видя, что она решительно рассержена, я оставил ее. Но когда (тотчас после этого) стала уезжать, я на лестнице спросил, в самом ли деле я ее оскорбил.

Продолжаю писать в 9 часов, воротившись от О. С.

«Oui, je suis fâchée»\*. — «Ну, это еще ничего, не в этом дело — оскорбил ли я вас в самом деле?» — «Oui, je suis fâchée» — и она не хотела подать мне руки ни тут на прощаньи, ни после, когда стали разъезжаться (тут они поехали все вместе, я с Бусловским и Кат. Матв., после один). Это меня расстроило до крайности. Памятниками этого расстройства осталось недописанное письмо к ней и письмо к Саше, писанное во вторник, и еще то, что я не хотел ничего писать об этом в дневнике, пока дела не устроятся.

Наконец настало благовещение. Я все три ночи — на понедельник, вторник и среду — не засыпал до часу, двух или более, поэтому просыпался поздно и утомленный, поэтому проспал и обедню раннюю. Прихожу к поздней в шубе, смотрю — в левом приделе назади стоит Кат. Матв. и подле нее Полина Ивановна Рыч-

---

\* Да, я сердусь. *Ред.*

кова. — О. С. с первого раза я не заметил, но думал, что она должна быть тут, поэтому посмотрел еще раз — она стоит между ними, и когда я оборотился, спряталась за Полину Ивановну. О, так она перестала сердиться, потому что начинает шутить — я думал, что она серьезно и долго будет сердиться, — о, так я подойду к ним. Когда я не видел ее, я хотел подойти; когда увидел, что тут, не хотел, чтобы больше не оскорбить ее своими преследованиями, теперь увидел, что не сердится, поэтому решился подойти. — Я ушел домой, чтобы несколько одеться, потому что теперь ясно, они поедут к Патрикеевым, а Патрикеевы может быть позовут меня — воротился, стал и начал говорить с Кат. Матв., которая стояла слева. О. С. через минуту оборотилась и сказала, чтобы я не говорил. — Я отвечал, как обыкновенно, шутливо-равнодушным тоном: «Я говорю не с вами, для вас должно быть все равно». — «Да вы мне мешаете молиться, уйдите». — «Если вам неприятно, вы можете уйти, куда вам угодно» — и продолжал говорить с Кат. Матв. Она ушла и стала сзади меня, подле О. Андр., но решительно подле меня. Я продолжал говорить с Кат. Матв., которая сердилась и смеялась. О. С. начинала говорить со мною и страшно хотела своему разговору и моим ответам; наконец она сказала: «Что вы не молитесь?» — «Если вы приказываете, буду молиться», — и несколько раз она велела мне становиться на колени, молиться в землю. В это время опустил мне ее муфту Воронов, который стоял подле — верно, по ее приказанию — я взял муфту и, поклонившись в землю, поцеловал ее, потом поцеловал платье Кат. Матв. и сделал это несколько раз, пока взяли у меня муфту; тогда я, когда она велела мне становиться на колени, целовал платье Кат. Матв. и так шалил страшным образом во всю обедню, так что все, кто стоял кругом, смотрели на нас. Она шалила, спрятавшись в карман моего пальто свои ключи, перчатки, четки и т. д.; наконец, что я заметил только, когда был у Кобылина, положила мне в карман папироску — где она ее взяла, бог знает. После конца обедни я спросил ее, будет ли она у Патр. вечером. Она сказала, что нет. Они поехали к Патр., я не зашел к ним утром, хоть и думал, что может быть зайду: вместо этого пошел к Малышеву, которого не застал дома, и потом просидел до 1½ у Кобылина. Анжелика Алексеевна сказала, чтоб я у них обедал; я пошел домой, стал собираться, чтобы быть у них в 3½; в это время принесли мне от Вас. Дим. записку, чтоб я был в 5 ч. у Патр. Я зашел к нему и сказал, что буду. От Кобылина отправился в 1½ 6-го. Когда пришел, у Патр. были уже все, т.-е. Рычковы, Шапошникова, Чесноковы, наконец Ростислав, но ее не было в этих комнатах. Она была в задних, куда ушла должно быть нарочно, увидя меня в передней. Наконец, она вышла и, проходя мимо (я сидел в гостиной с О. Андр.), только поклонилась на мой поклон, но не подала мне руки.

Когда начинали танцевать первую кадрили, Кат. Матв. сказала мне, чтоб я просил О. С., потому что она хочет танцевать со

мной, — я подошел, но она сказала, что имеет кавалера. «Которую же вы хотите танцевать со мной?» — «Никоторой», но (вторую я танцевал с Афанасием Яковлевной) в третью кадрили, когда я должен был танцевать с Кат. Матв., она сказала, что танцует со мной — потом она танцевала со мной следующую кадрили — их только я и танцевал, потому что другие кадрили она не танцевала, так что я не танцевал с Кат. Матв. Потом она сидела со мной в гостиной, сначала у окна, которое к зале, после на креслах, которые от дивана к зале — потом ушла играть на фортепиано; потом села с Лидией Ивановной подле окна, которое к гостиной; я стоял подле, и, когда она уходила, садился говорить с Лид. Иван. Наконец, Лидия Ив. ушла, и мы сидели одни. После этого еще несколько времени мы ходили по зале. Что тут было сказано замечательного, буду писать как можно короче, потому что недостает времени.

Когда мы танцевали вторую кадрили, мы сидели подле двери из передней.

Тут я начал свое объяснение относительно воскресенья. Сущность разговора была в следующих словах, сказанных с самого начала: «Вы еще слишком молоды, я бы вас более любил, если бы вы были годом старше. Вы не понимаете значения того, что делаете, потому что в воскресенье вы сказали мне такие слова, которые имели на меня ужасное действие, — вы не понимали, как оно велико, вы еще не понимаете всей серьезности некоторых вещей. — Она говорила, что я был дерзок нарочно, потому что у меня все делается обдуманно, и что она не верит моим словам, что это было непреднамеренно, что я был дерзок нарочно, чтобы показать, что могу обращаться с нею как с другими. Потом мы сидели у окна, которое к гостиной; тут она сказала мне, что я один только раз оскорбил ее. — «И что ж это такое?» — «Я это не скажу, вы должны знать сами». — Я начал припоминать, что было серьезного сказано мною ей, но не мог отгадать. Наконец, она сказала: «Когда вы были у нас и мы сидели в столовой». — Я начал перебирать весь разговор и, наконец, дошел до места — я женюсь на вас только потому, что думаю этим сделать вам услугу. «Вы сказали «почти» — я сказал, что хочу, прямо, можно опустить «почти» — это оскорбило ее (я думал, что это должно быть в высшей степени оскорбительно, но не заметил, что она этим оскорбилась — смотри этот дневник, размышления о ней) — это оскорбило ее, и она так долго не доверялась мне потому, что это оскорбило ее — как мало еще она откровенна со мною. — Я стал говорить о странности моих понятий, о том, что я хотя понимаю, что это оскорбительно, но готов всегда сказать это во второй раз, если понадобится, начал говорить о том, что мои понятия во многом странны, и разговор перешел к моим понятиям о супружеских отношениях. — «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что ж бы вы тогда сделали?» — Я рассказал ей «Жака» Жорж-

Занда. «Что ж бы вы, тоже застрелились?» — «Не думаю», и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его или во всяком случае не помнит его идей; ныне был у Костомарова, у него нет Жорж Занда, и сказал ей нынче об этом). Наконец, подошла Лидия Ивановна и сказала, что Ан. Кир. поручил поцеловать меня и сделать выговор, что я позабыл их, а раньше этого О. С. сказала мне, что Ростислав говорил Ан. Кир. накануне, что она мне нравится и что я хочу сделать ей предложение, и что Ан. Кир. сказала, что она будет согласна, и Ростислав требовал, чтобы и она согласилась, и что когда она ушла и легла в постель, Ростислав подошел к ней и приставал до тех пор, пока она сказала, что согласится. — «Так я буду у вас». — «Теперь можно бывать, потому что вам дано не только разрешение, даже приказание» — и наконец, когда прощались и все вышли в переднюю вместе, она сказала: «*Demain, à cinq heures\**». Итак, я был у них ныне в 5 часов и пробыл до 8<sup>1/2</sup>, сидел с полчаса с Сокр. Евг., 3 раза был у Анны Кирил., в разговоре с которой попадались намеки, на которые я тоже отвечал намеками. Теперь разговор с нею ныне. Я предугадывал, что она ведет к этому и что кончится тем, что она мне говорила, но не приготовился к этому, не обдумывал этого, потому что считал это не совсем вероятным после ее слов, что она не хочет этого (чтоб раньше моей поездки) — это было сказано ею мне у Акимовых.

26 марта. У нее (продолжаю писать 27-го, пятн. 6<sup>1/2</sup> час. утра).

Она решительно изменила свое обращение со мною — не стесняется ничем со мною, так же, как раньше не стеснялась, напр., с Вас. Дим., и теперь сама сказала, что в субботу я должен быть у них, а в воскресенье может быть у нее будет Кат. Матв., и тогда я снова должен быть. Но сущностью разговора были слова, которые она сказала мне, когда я воротился от ее матери: «Поедем в Петербург вместе». — «Я снова скажу вам — воля ваша». — «То-есть?» — «То-есть, как вам угодно, так я и сделаю, но дело в том, что это, по моему мнению, будет не совсем честно с моей стороны. Но если вам так угодно, я конечно должен сделать так, как вам угодно. Теперь некогда; когда я буду у вас в субботу, я выскажу вам неудобства этого; если вы и после захотите, я сделаю, как вам угодно». Раньше этого, когда она повела меня от Сокр. Евг. к Анне Кир., я сказал: «Если она заговорит о моих намерениях, что мне сказать ей?» — «Она этого не сделает». — «И я так думаю, но если заговорит, что мне сказать ей?» — «Что хотите». — «Но до какой степени я могу высказать ей?» — «Сколько хотите, но она этого не сделает». — «Но если она станет намекать, могу ли я говорить?» — «Даже не мешало бы». — Я сам все-таки не намекал. Но сама О. С., когда Анна Кир. стала просить меня про-

---

\* Завтра в пять часов. *Ред.*



мной, — я подошел, но она сказала, что имеет кавалера. «Которую же вы хотите танцевать со мной?» — «Никоторой», но (вторую я танцевал с Афанасиею Яковлевной) в третью кадрили, когда я должен был танцевать с Кат. Матв., она сказала, что танцует со мной — потом она танцевала со мной следующую кадрили — их только я и танцевал, потому что другие кадрили она не танцевала, так что я не танцевал с Кат. Матв. Потом она сидела со мной в гостиной, сначала у окна, которое к зале, после на креслах, которые от дивана к зале — потом ушла играть на фортепиано; потом села с Лидиею Ивановной подле окна, которое к гостиной; я стоял подле, и, когда она уходила, садился говорить с Лид. Иван. Наконец, Лидия Ив. ушла, и мы сидели одни. После этого еще несколько времени мы ходили по зале. Что тут было сказано замечательного, буду писать как можно короче, потому что недостает времени.

Когда мы танцевали вторую кадрили, мы сидели подле двери из передней.

Тут я начал свое объяснение относительно воскресенья. Сущность разговора была в следующих словах, сказанных с самого начала: «Вы еще слишком молоды, я бы вас более любил, если бы вы были годом старше. Вы не понимаете значения того, что делаете, потому что в воскресенье вы сказали мне такие слова, которые имели на меня ужасное действие, — вы не понимали, как оно велико, вы еще не понимаете всей серьезности некоторых вещей. — Она говорила, что я был дерзок нарочно, потому что у меня все делается обдуманно, и что она не верит моим словам, что это было непреднамеренно, что я был дерзок нарочно, чтобы показать, что могу обращаться с нею как с другими. Потом мы сидели у окна, которое к гостиной; тут она сказала мне, что я один только раз оскорбил ее. — «И что ж это такое?» — «Я это не скажу, вы должны знать сами». — Я начал припоминать, что было серьезного сказано мною ей, но не мог отгадать. Наконец, она сказала: «Когда вы были у нас и мы сидели в столовой». — Я начал перебирать весь разговор и, наконец, дошел до места — я женюсь на вас только потому, что думаю этим сделать вам услугу. «Вы сказали «почти» — я сказал, что хочу, прямо, можно опустить «почти» — это оскорбило ее (я думал, что это должно быть в высшей степени оскорбительно, но не заметил, что она этим оскорбилась — смотри этот дневник, размышления о ней) — это оскорбило ее, и она так долго не доверялась мне потому, что это оскорбило ее — как мало еще она откровенна со мною. — Я стал говорить о странности моих понятий, о том, что я хотя понимаю, что это оскорбительно, но готов всегда сказать это во второй раз, если понадобится, начал говорить о том, что мои понятия во многом странны, и разговор перешел к моим понятиям о супружеских отношениях. — «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что ж бы вы тогда сделали?» — Я рассказал ей «Жака» Жорж-

Занда. «Что ж бы вы, тоже застрелились?» — «Не думаю», и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его или во всяком случае не помнит его идей; ныне был у Костомарова, у него нет Жорж Занда, и сказал ей нынче об этом). Наконец, подошла Лидия Ивановна и сказала, что Ан. Кир. поручил поцеловать меня и сделать выговор, что я позабыл их, а раньше этого О. С. сказала мне, что Ростислав говорил Ан. Кир. накануне, что она мне нравится и что я хочу сделать ей предложение, и что Ан. Кир. сказала, что она будет согласна, и Ростислав требовал, чтобы и она согласилась, и что когда она ушла и легла в постель, Ростислав подошел к ней и приставал до тех пор, пока она сказала, что согласится. — «Так я буду у вас». — «Теперь можно бывать, потому что вам дано не только разрешение, даже приказание» — и наконец, когда прощались и все вышли в переднюю вместе, она сказала: «*Demain, à cinq heures\**». Итак, я был у них ныне в 5 часов и пробыл до 8½, сидел с полчаса с Сокр. Евг., 3 раза был у Анны Кирил., в разговоре с которой попадались намеки, на которые я тоже отвечал намеками. Теперь разговор с нею ныне. Я предугадывал, что она ведет к этому и что кончится тем, что она мне говорила, но не приготовился к этому, не обдумывал этого, потому что считал это не совсем вероятным после ее слов, что она не хочет этого (чтоб раньше моей поездки) — это было сказано ею мне у Акимовых.

26 марта. У нее (продолжаю писать 27-го, пятн. 6½ час. утра).

Она решительно изменила свое обращение со мною — не стесняется ничем со мною, так же, как раньше не стеснялась, напр., с Вас. Дим., и теперь сама сказала, что в субботу я должен быть у них, а в воскресенье может быть у нее будет Кат. Матв., и тогда я снова должен быть. Но сущностью разговора были слова, которые она сказала мне, когда я воротился от ее матери: «Поедем в Петербург вместе». — «Я снова скажу вам — воля ваша». — «То-есть?» — «То-есть, как вам угодно, так я и сделаю, но дело в том, что это, по моему мнению, будет не совсем честно с моей стороны. Но если вам так угодно, я конечно должен сделать так, как вам угодно. Теперь некогда; когда я буду у вас в субботу, я выскажу вам неудобства этого; если вы и после захотите, я сделаю, как вам угодно». Раньше этого, когда она повела меня от Сокр. Евг. к Анне Кир., я сказал: «Если она заговорит о моих намерениях, что мне сказать ей?» — «Она этого не сделает». — «И я так думаю, но если заговорит, что мне сказать ей?» — «Что хотите». — «Но до какой степени я могу высказать ей?» — «Сколько хотите, но она этого не сделает». — «Но если она станет намекать, могу ли я говорить?» — «Даже не мешало бы». — Я сам все-таки не намекал. Но сама О. С., когда Анна Кир. стала просить меня про-

---

\* Завтра в пять часов. Ред.

читать стихи, развернула «Последний поцелуй» из Кольцова и сказала: «Ну, прочитайте же «На полгода всего мы расстаться должны». Я конечно отвечал на это: «И слава богу, что на полгода». — «Т.-е. не более?» — «То-есть не менее». — Потом она сказала Полине Ивановне, что скоро выходит замуж, при матери, — что и она уезжает отсюда, когда та говорила, что ей та сказала, что ей тяжело расставаться с детьми, и после уж добавила, что это она уезжает с отцом в Харьков. — Вообще она хотела заставить меня высказаться перед матерью яснее. Но я говорил только так, чтоб не опровергать намеков Анны Кир. и О. С., а сам не говорил более, чем они. Иду вниз работать.

Я говорил ей на это предложение: 1) у меня нет денег, но если вы решительно хотите, я возьму где-нибудь; 2) я все время буду работать — что ж вам будет за удовольствие и что ж вы станете делать? Она отвечала, что у нее есть деньги и что она сама будет работать в это время. Я ей говорил потом, что она не совершенно знает мой характер и что я один из тех людей, которые «кроют чужую крышу, а свою раскрывают», что я постоянно жертвую своими родными для чужих, и рассказывал свои отношения к Любиньке: «Я не думаю, что так я буду делать и с вами, но бог знает». Но, наконец, я не мог говорить обо всем, потому что уж было поздно, и выскажу ей в субботу, когда она велела быть в 4<sup>1/2</sup> час.

Что ж теперь будет? Вероятно, я женюсь до отъезда. В таком случае поедem в половине мая. А как это устроится? В субботу я буду говорить ей все: 1) денег нет; если угодно, она должна мне дать взаймы на устройство квартиры и т. п. — это будет стоить 1 000 или 1 200 р. сер.; 2) по приезде я буду работать весьма много, так что мало времени могу посвящать ей; 3) вообще мне не хотелось бы, чтоб она должна была беспокоиться о моих делах; мне хотелось бы, чтобы раньше, чем ее судьба соединится с моею, дела мои были устроены; 4) наконец, скажу и то, что эта женитьба будет предметом, который введет в сомнение моих петербургских знакомых относительно того, буду ли я работать как должно; 5) я не хотел бы, чтобы у нее был муж нуждающийся в ком-нибудь, неравный по положению своим покровителям.

(Но что ж такое наконец? Все-таки я буду рад, если это так выйдет.)

Что скажет она на это? Скажет, что все-таки она хочет выйти за меня теперь, до отъезда. Почему же? Я попрошу ее быть так же откровенною и прямою, как я. Что особенного в эти месяцы, что она не хочет исполнения моего желания раньше все устроить, потом жениться, чтобы не было у нее беспокойства насчет возможности жить и насчет моей честности и будущности. Что она скажет, я положительно не знаю, может быть какие-нибудь особенные факты, скорее только то, что ее положение невыносимо тяжело. Чем кончится разговор? Я скажу: «Когда ж я должен

просить вашей руки? сейчас или на святой?» Она вероятно скажет — на святой.

Что же окончательно? Я рад, что это будет так. Все мои сомнения и щепетильности, кроме всякого расчета о деньгах, вздор; конечно, неприятно, что я должен буду пользоваться ее приданным, но что же делать? Это конечно введет ее в сомнение относительно моей честности и бескорыстия — но что ж делать? Я не стал бы просить денег у нее, если бы мог взять их в другом месте, но где кроме? Я не знаю. Все-таки, сказавши это ей, я попробую сыскать в другом месте — только едва ли это удастся. Дело кончится тем, что я попрошу, если она почтет это возможным, у самого Сократа Евг. взаймы, и если так, то 2 000 р. сер. Сейчас принимаюсь составлять смету издержек на обзаведение.

О, моя милая невеста! Ты хочешь таких отношений, каких никогда не хотел бы я, но как тебе угодно, так и будет.

Продолжаю в 11 час., воротясь от Николая Ивановича.

Что будет? Вот что: свои противоречия не выставляю я все; я скажу только о денежных, скажу, что нужно 1 000 р. сер., что если она думает, что это возможно, я попрошу их у Сократа Евг. взаймы; если нет, то у нее (хотя это мне весьма не хочется). Она скажет, что мне сделать. Прежде всего, если она позволит говорить о деньгах с Сократом Евг., я попрошу указать мне, нельзя ли занять у другого, если нет, — у него. Одним словом, дело о деньгах будет решено завтра. Но я предложу ей сутки или сколько угодно времени на размышление. После ее ответа, который конечно будет: «Я хочу ехать теперь в Петербург», я скажу, что прошу позволения объявить о моих намерениях Сократу Евг. сейчас же, и скажу ему так: «Сократ Евгеньич, всматривайтесь в меня попристальнее, потому что я намерен просить руки О. С.». После этого, когда я скажу о своих намерениях своим? Я думаю, лучше это сделать через 2 или этак недели, по получении решительного согласия от Сократа Евг., потому что раньше безрассудно: к чему, если он не согласится? Он, конечно, согласится, но все-таки нужно раньше получить положительное согласие, потом объяснить своим. В каком духе будет объяснение с нашими? Раньше скажу папеньке, и если он не заставит, то не буду входить ни в какие подробности, если заставит, — объясню, почему с нею я буду счастлив, с другою нет; объясню свой характер и то, какая жена мне нужна. Если не поймет и не согласится, скажу свое решение; скажу как можно мягче, что я решил не пережить этого дела, если они не согласятся. Но я не думаю, чтобы не согласились. Только он дурного мнения о Сократе Евг., — что за нужда, это не касается ее — а если он слышал о ее свободном обращении, и о нем объяснюсь. Одним словом, отношения к своим меня теперь решительно перестали тревожить. Они согласятся; так или иначе, но согласятся, и я думаю без большого противоречия. А если папенька скажет: «дай посмотреть нам?» Я скажу: нет, сейчас согласие; ни суток отсрочки. Пожалуй, несколько минут на размышле-

ние, но без совета с кем бы то ни было, даже с маменькою. Со стороны Анны Кир. полное согласие уже видно приглашением бывать у них почаще, зная, зачем я бываю.

После этого объяснения с ней и вследствие его с Сократом Евг. я поговорю с нею о Николае Ивановиче и Лидии Ивановне.

Чем же кончится дело? Тем, что я поеду отсюда с О. Сокр. Поедем, если можно, прямо из церкви, но на это не согласятся; в таком случае после обеда; свадьба будет поутру; я думаю, она согласится с этим, потому что она не любит церемоний, как и я.

Каковы теперь мои мысли, мои чувства о ней?

Во-первых, какое впечатление произвели на меня ее вчерашние слова? Самое успокоительное. Теперь я буду вне опасности потерять ее. Теперь я буду вне своей обычной мнительности о том, что будет, будет ли так, как мне представляется и хочется.

Но мои дела в Петербурге не устроены? Да разве, говоря рассудительно, я могу сомневаться в том, что я буду иметь возможность доставить ей жизнь с такими же удовольствиями, как пользуется она здесь? Мои мысли о том, что не понравится Никитенке (да он мне не нужен) и Введенскому, что я женился? Да это вздор. Спрашивать мнения Введенского о том, когда и на ком мне жениться? Я не позволю и говорить себе об этом, скажу только: по моему характеру так было нужно, без этого я не выехал бы из Саратова. Более ничего не скажу и после этого ничего не позволю себе сказать. Помешает ли моим делам, что я приеду женатый? Разве магистерский экзамен начну я в сентябре вместо мая, да в мае трудно будет и начать; зато я не буду торопиться, и дело пойдет гораздо лучше и основательнее. А магистерский экзамен раньше или позже несколькими месяцами все равно, до или после каникул. Да во всяком случае он и был бы кончен после каникул, потому что защищение диссертации оставалось бы до послеканикулярного семестра во всяком случае.

Будет ли она мешать мне работать? Напротив, тут я буду решительно вне всяких развлечений и буду работать до 6 часов каждый день, сидя подле нее.

Когда будет свадьба и когда мы поедem? В конце мая или начале июня. Когда будет объяснение с нашими? Перед самую свадьбу, если они сами не заговорят раньше об этом, если до них не дойдет решительно слухов.

Какие теперь мои чувства? Так рассудительны и чисты от всяких грязных расчетов, которых раньше я ожидал от себя, что я дивлюсь. Радость моя оттого, что мой союз с ней верен, а не оттого, что я буду ее мужем несколькими месяцами раньше, не от нетерпения чувственности. Чувственная сторона теперь во мне решительно не имеет никакого влияния в сравнении со стороною душевного счастья и рассудительной, спокойной надежды на то, что моя жизнь определяется наилучшим образом, как только мог я представить.

Завтра допишу эту тетрадь до того, как пойду к ним, потому что хочу начать следующую тетрадь окончательным объяснением с нею.

О моя милая невеста! Источник моего счастья! Ты будешь правительницею нашей жизни, и моя жизнь будет счастлива, потому что будет посвящена заботам о твоём счастье.

Писано в субботу в 8<sup>1/2</sup> утра.

Влюблен ли я в нее или нет? Не знаю; во всяком случае мысль об «обладании ею», если употреблять эти гнусные термины, не имеет никакого возбуждающего действия на меня. Я только думаю о том, что я буду с нею счастлив и что в ней столько ума и проницательности, что она не будет раскисаться, что вышла за меня, потому что поступки ее весьма хорошо обдуманы, потому что она довольно понимает меня и чего не знает еще в моем характере, то, я надеюсь, не изменит ее мнения обо мне к худшему, потому что особенности и странности моего характера, который нельзя понять и которому нельзя верить иначе, как после долгого знакомства, — мои хорошие стороны.

Но она мне весьма нравится. Если б она была не хороша собою — а мне хорошенькими кажутся весьма немногие и, собственно говоря, никто, кроме нее, из тех девиц, которых я встречал здесь; Афанасия Яковлевна, впрочем, тоже имеет миленькое лицо, — то, конечно, я не мог бы так быть привязан к ней, как теперь: мне нужно, чтобы я мог любоваться на свою милую. Если бы она не была так хороша, я не очаровался бы ею, но все-таки ее красота, хотя весьма важна для меня, все-таки важнее, гораздо важнее для меня качества ее сердца и характера, и когда я думаю о блаженстве, которое ожидает меня, конечно, тут является и чувственная сторона этого блаженства, но гораздо сильнее занимает, гораздо более очаровывает меня сердечная сторона ее отношений. А каковы будут эти отношения — она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». Это я и сам хотел бы так устроить, может быть думаю об этом серьезнее, чем она; она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене. Она сказала на благовещение у Патрикеевых: «Я не буду хорошей женою, потому что не умею ласкаться»; потом часто говорила, что терпеть не может целоваться — и это у меня точно тоже — особенно моя постоянная мысль и главная черта в моем характере в этом отношении, что я не люблю выказывать свои чувства при ком бы то ни было постороннем и что единственная нежность, которую я хотел бы позволить себе при третьем лице в отношении к жене — это пожатие руки. Целоваться и я не люблю; в сильном движении нежности я готов поцеловать, но только в сильном движении нежности. Вместо этого я любил бы целовать руку, но это снова только в неж-

ных движениях, а [не] при всяком случае, как только случится быть одному подле другого, — но и это я хотел бы почти совершенно изгнать, потому что это показывает, что с женою обращаются как светский властитель Японии с своим духовным императором — за рабское положение в сущности старается вознаградить божеским почитанием по наружности. К чему у меня есть порывы, так это к тому, чтоб прижимать к сердцу. Но и это только в порывах нежности. Но просто прижать к сердцу, какжимают руку. Что касается до чисто чувственных отношений, она в этом отношении не знает еще себя, как и я не знаю. Я довольно сладострастен, вероятно, но не в такой степени, чтобы требовать слишком часто, — это будет зависеть от ее чувств. Судя по ее темпераменту, она должна быть очень сладострастна, потому что ее темперамент огненный, но вместе с тем совершенно холодна по наружности. Если можно так сказать, я представляю себе ее так: решительно холодная внешность; под этой внешностью в глубине огонь чувственности, который может быть совершенно почти неизвестен и ей самой. Если она так сладострастна, буду ли я в состоянии удовлетворить ее? В моем темпераменте довольно сил, так я думаю буду в состоянии быть ей таким физическим мужем, каких немного, если понадобится. — Это тем более, что силы мои совершенно свежи: я не испытывал сифилиса, который так ослабляет половые органы. Но ее будет вероятно сдерживать ее не любовь к нежничанью.

Как это будет совершаться у нас? Я желал бы, чтоб это устроилось так, чтоб обыкновенно я бывал у нее по ее желанию, чтоб инициатива была не так часто с моей стороны. Но это противно всем обычным отношениям между полами? Что ж такого? У нас до сих пор все наоборот против того, как обыкновенно бывает между женихом и невестой: она настаивает, я уступаю. Обыкновенно говорит невеста жениху: «Друг мой, я в твоей власти; я не могу противиться тебе, но, прошу тебя, не злоупотребляй этой властью». У нас наоборот — я ей говорю: «Я в вашей власти; сделайте, что хотите» — и она говорит: «Я хочу быть за вами». — «Очень хорошо, я согласен и прошу вашей руки». — «Но я не хочу откладывать, извольте сейчас». — «Очень хорошо. Я готов сейчас быть вашим женихом». — «Но я не хочу, чтобы это было в сентябре — это должно быть раньше вашего отъезда». — «Очень хорошо, раньше моего отъезда». — Почему ж не быть так и в половых отношениях? Обыкновенно жених ищет невесты, подходит к ней, заговаривает с нею — я наоборот, я дожидаюсь, чтоб она подошла ко мне и сказала: «Говорите со мною, сидите со мною». Так и тут — может быть и будет так: «Вы можете ныне быть у меня». — «Покорно благодарю, О. С.».

Как мы будем проводить день? Все время, когда я дома, я буду постоянно сидеть подле нее, пока ей будет угодно. Я буду работать подле нее. Сколько я буду работать для своих ученых целей? Часа 3 в день, не более, потому что и теперь никогда почти не

работаю постольку, и все-таки у меня столько познаний, как у немногих. А писать для получения денег? Может быть более 3 часов в день. В первые месяцы, пока у меня не будет уроков в корпусах, я буду таким образом работать часов до 2; после гулять вместе с нею, после обеда снова час — два, до 6, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>; после снова я ее собеседник. О чем мы будем говорить? Я буду ее учитель, я буду излагать ей свои понятия, я буду преподавать ей энциклопедию цивилизации. Тут у нас явится курс гораздо более полный, чем какой теперь у меня в гимназии. Этого достанет на несколько лет, на 3—4 года. В материале для разговора таким образом не будет недостатка. Мы будем, наконец, вместе читать. Я сам для этого преподавания повторяю многое, приобрету познания во многом, чего теперь не знаю. Так мы будем учиться вместе. Может быть она будет помогать мне и в работах, может быть она будет сама писать или переводить. Каковы будут мои отношения к ней в социальном смысле? Я желал бы, чтобы мы, наконец, начали говорить друг другу «ты»; особенно, чтобы она говорила мне «ты»; сам я лучше хотел бы говорить ей — «вы». Звать ее я буду всегда полным именем, всегда буду звать ее Ольга Сократовна. Она может быть захочет звать меня полуименем, но едва ли, и вероятно, если будет, скоро оставит это. Одним словом, наши отношения будут иметь по внешности самый официальный и холодный характер; под этою внешностью будет с моей стороны самая полная, самая глубокая нежность.

Теперь наши отношения к родным ее и моим. Какова она будет с маменькою? Не знаю и не хочу знать. Если по внешности она обходительная дочь своей матери, тем более будет она хороша с моей маменькою. Маменька если приедет в Петербург, будет вмешиваться в хозяйственные дела; если О. С. угодно, пусть будет так. Если не угодно, нет. В характере маменьки лежит непременно вмешиваться. Но я буду тверд, и если О. С. не захочет, не допущу маменьку говорить об этих вещах ни ей, ни мне. Я скажу, что не желаю говорить об этом, и только. И не буду говорить, и не буду слушать. И только. Таким образом отношения к маменьке не будут иметь никаких последствий, неприятных для нее. Во всяком случае я поставлю себя и ее в такие отношения к маменьке, что маменька не будет никогда вмешиваться в наши личные отношения и не будет никогда говорить ни слова недовольства относительно того, что она делает и как держит себя. А как она будет держать себя? Весьма бойко, но шалить будет меньше, чем теперь; она будет держать себя несколько похоже на Анну Никаноровну, хотя не в том роде.

У папеньки такой характер, что он никогда никому не может служить помехою.

Наши отношения к ее родным? Это зависит решительно от нее. Главные отношения к Венедикту. Но Анна Кирил. не отпустит его от себя, как сказала мне в последний раз; поэтому эти отношения не могут быть обременительны ни для нее, ни для меня.



Но вообще отношения наши к ее родным будут решительно зависеть от нее.

Наши отношения к Саше? Это все равно, как ей будет угодно. Жить вместе или врозь, все равно, как лучше покажется для нее. Только одно, — чему весьма рада будет, конечно, и она, — Саша будет весьма часто бывать у нас, будет весьма часто обедать и пить вечером чай, всегда, когда у него свободный вечер.

Отношения к знакомым? Выбор кружка будет решительно зависеть от нее. У меня только два семейства, с которыми я буду знаком тесно — Срезневские и Введенские. С женою Срезневского она может познакомиться или нет, это смотря по обстоятельствам и отношениям моим к жене Срезневского и по тому, будет ли ей приятно это знакомство. Ал. Иван. Введенскую она будет принимать хотя изредка по вечерам, если не захочет быть дружна с нею — чего, вероятно, не захочет, потому что едва ли Введенская ей очень понравится — слишком щепетильна. Вероятно, ей понравится Городков, может быть с ним она будет знакома домами. Но остальные знакомства зависят от нее. Если ей понравится кружок Введенского, он будет бывать у нас каждую неделю. Если нет, только раз в месяц, и она может бывать при них в семейных комнатах; но, конечно, будет бывать, потому что в ней есть настолько людскости. Сама она какого рода людей наберет в свои знакомые? Вероятно, более дам и девиц, но несколько человек и мужчин, из которых едва ли хоть один будет для нее коротким знакомым. Во всяком случае кого ей угодно и как и когда ей угодно, так она и будет принимать. Я в этом деле не помеха.

О моя милая невеста, ты будешь настолько довольна своею жизнью, насколько это зависит от моих отношений к тебе.

Итак:

Ныне решительное объяснение о том, что заставляет ее хотеть ехать со мною теперь же. Объяснение о том, откуда взять мне денег. Вероятно, она согласится, чтобы я попросил взаймы у Сократа Евгеньича или попросил его сначала быть лучше только моим посредником при займе денег у кого-нибудь.

Вопрос о том, не ныне ли же объявить о своих намерениях Сократу Евгеньичу.

Вследствие всего этого поездка в Петербург вместе, как скоро путь будет хорош, т.-е. около, вероятно, 10 мая. Перед этим накануне или в этот самый день свадьба. За два, за три дня становлюсь официальным женихом. Может быть за неделю. К свадьбе никаких приготовлений, если можно. У меня шафером Василий Дмитриевич и, если ему будет угодно, Николай Иванович. Но, если можно, в один день и его свадьба, если он захочет жениться на Лидии Ивановне.

Вот приближается новый решительный момент наших отношений, и я встречаю его с таким же полным спокойствием, с каким встретил объяснение девятнадцатого февраля.

И предаюсь твоей воле, моя милая. Таков мой характер. Ты властительница моей жизни и моих поступков. Управляй же мною неограниченно. Ты надеешься быть счастлива со мною. Хорошо. Твоя надежда рассудительна и справедлива. Веди меня к счастью, которого так много уже дала ты мне, и будь сама счастлива.

Желаю тебе счастья и делаю все, что ты считаешь нужным для твоего счастья.

Вполне преданный тебе, повторяю: желаю тебе счастья и делаю и всю мою жизнь буду делать все, что ты считаешь, что ты сочтешь нужным для твоего довольства, для твоего счастья.

1853 года 28 марта, 9 часов 50 мин. утра.

Я повинуюсь тебе..

Я жду своего счастья от своих отношений к тебе.

Я нахожу в них и теперь все свое счастье, всю свою радость.

Ты будешь довольна и счастлива, насколько это в моей власти.

Ты будешь счастлива.

Как весна, хороша  
Ты, невеста моя.

И да будет — и будет, сколько это зависит от меня — вся жизнь твоя светлым днем весны.

Прощай до вечера.

Будь счастлива.

Писано 29, воскресенье, перед тем, как идти к поздней обедне, после которой объяснение с папенькой.

28-го. Долго мы сидели вместе с другими — с Лидией Ивановною, с Ростиславом; наконец, из комнаты Ростислава мы ушли в ее комнату и сели там на кровати, которая стоит у окна к комнате Ростислава. «Что ж вы скажете, О. С.?» — «Я раздумала, это не нужно». — «Почему ж?» (мне хотелось, чтоб было так, как она говорила в четверг). — «Я не хочу, чтоб вы занимали денег. Я не хочу, чтоб вы становились в затруднительное положение». Через несколько времени: «Я боюсь, что буду вам в тягость». Я сказал ей, что денег достану, что это пустяки. Что в тягость мне быть она не может. — «Как же, я буду мешать вам работать». — «Я не так прилежно работаю. Я весьма мало работаю. Если бы я работал, как другие, я знал бы не столько, как теперь. У меня одно сомнение — это то, что связываю вашу жизнь со своей, когда моя еще не устроена», и т. д. в этом роде. «Мне бы этого даже хотелось, если б совесть не запрещала мне, потому что у меня слишком мнительный характер, что я не спокоен, пока дело не кончено решительно. И теперь меня будет беспокоить мысль, что, возвратившись, я не застаю вас». — «Нет, теперь это не будет, потому что я начинаю понимать ваш характер и любить вас». Это было сказано так, как никогда еще. И мало-по-

Но вообще отношения наши к ее родным будут решительно зависеть от нее.

Наши отношения к Саше? Это все равно, как ей будет угодно. Жить вместе или врозь, все равно, как лучше покажется для нее. Только одно, — чему весьма рада будет, конечно, и она, — Саша будет весьма часто бывать у нас, будет весьма часто обедать и пить вечером чай, всегда, когда у него свободный вечер.

Отношения к знакомым? Выбор кружка будет решительно зависеть от нее. У меня только два семейства, с которыми я буду знаком тесно — Срезневские и Введенские. С женою Срезневского она может познакомиться или нет, это смотря по обстоятельствам и отношениям моим к жене Срезневского и по тому, будет ли ей приятно это знакомство. Ал. Иван. Введенскую она будет принимать хотя изредка по вечерам, если не захочет быть дружна с нею — чего, вероятно, не захочет, потому что едва ли Введенская ей очень понравится — слишком щепетильна. Вероятно, ей понравится Городков, может быть с ним она будет знакома домами. Но остальные знакомства зависят от нее. Если ей понравится кружок Введенского, он будет бывать у нас каждую неделю. Если нет, только раз в месяц, и она может бывать при них в семейных комнатах; но, конечно, будет бывать, потому что в ней есть настолько людскости. Сама она какого рода людей наберет в свои знакомые? Вероятно, более дам и девиц, но несколько человек и мужчин, из которых едва ли хоть один будет для нее коротким знакомым. Во всяком случае кого ей угодно и как и когда ей угодно, так она и будет принимать. Я в этом деле не помеха.

О моя милая невеста, ты будешь настолько довольна своею жизнью, насколько это зависит от моих отношений к тебе.

Итак:

Ныне решительное объяснение о том, что заставляет ее хотеть ехать со мною теперь же. Объяснение о том, откуда взять мне денег. Вероятно, она согласится, чтобы я попросил взаймы у Сократа Евгеньича или попросил его сначала быть лучше только моим посредником при займе денег у кого-нибудь.

Вопрос о том, не ныне ли же объявить о своих намерениях Сократу Евгеньичу.

Вследствие всего этого поездка в Петербург вместе, как скоро путь будет хорош, т.-е. около, вероятно, 10 мая. Перед этим накануне или в этот самый день свадьба. За два, за три дня становлюсь официальным женихом. Может быть за неделю. К свадьбе никаких приготовлений, если можно. У меня шафером Василий Дмитриевич и, если ему будет угодно, Николай Иванович. Но, если можно, в один день и его свадьба, если он захочет жениться на Лидии Ивановне.

Вот приближается новый решительный момент наших отношений, и я встречаю его с таким же полным спокойствием, с каким встретил объяснение девятнадцатого февраля.

Я предаюсь твоей воле, моя милая. Таков мой характер. Ты пластительница моей жизни и моих поступков. Управляй же мною неограниченно. Ты надеешься быть счастлива со мною. Хорошо. Твоя надежда рассудительна и справедлива. Веди меня к счастью, которого так много уже дала ты мне, и будь сама счастлива.

Желаю тебе счастья и делаю все, что ты считаешь нужным для твоего счастья.

Вполне преданный тебе, повторяю: желаю тебе счастья и делаю и всю мою жизнь буду делать все, что ты считаешь, что ты сочтешь нужным для твоего довольства, для твоего счастья.

1853 года 28 марта, 9 часов 50 мин. утра.

Я повинуюсь тебе..

Я жду своего счастья от своих отношений к тебе.

Я нахожу в них и теперь все свое счастье, всю свою радость. Ты будешь довольна и счастлива, насколько это в моей власти. Ты будешь счастлива.

Как весна, хороша  
Ты, невеста моя.

И да будет — и будет, сколько это зависит от меня — вся жизнь твоя светлым днем весны.

Прощай до вечера.

Будь счастлива.

Писано 29, воскресенье, перед тем, как идти к поздней обедне, после которой объяснение с папенькой.

28-го. Долго мы сидели вместе с другими — с Лидией Ивановной, с Ростиславом; наконец, из комнаты Ростислава мы ушли в ее комнату и сели там на кровати, которая стоит у окна к комнате Ростислава. «Что ж вы скажете, О. С.?» — «Я раздумала, это не нужно». — «Почему ж?» (мне хотелось, чтоб было так, как она говорила в четверг). — «Я не хочу, чтоб вы занимали денег. Я не хочу, чтоб вы становились в затруднительное положение». Через несколько времени: «Я боюсь, что буду вам в тягость». Я сказал ей, что денег достану, что это пустяки. Что в тягость мне быть она не может. — «Как же, я буду мешать вам работать». — «Я не так прилежно работаю. Я весьма мало работаю. Если бы я работал, как другие, я знал бы не столько, как теперь. У меня одно сомнение — это то, что связываю вашу жизнь со своей, когда моя еще не устроена», и т. д. в этом роде. «Мне бы этого даже хотелось, если б совесть не запрещала мне, потому что у меня слишком мнительный характер, что я не спокоен, пока дело не кончено решительно. И теперь меня будет беспокоить мысль, что, возвратившись, я не застаю вас». — «Нет, теперь это не будет, потому что я начинаю понимать ваш характер и любить вас». Это было сказано так, как никогда еще. И мало-по-

малу ее головка склонилась на мое плечо. Руки наши лежали одна в другой; я беспрестанно целовал ее руку. «У меня только одно сомнение — это деньги; за все остальное я отвечаю. Хотелось бы совершенно устроить все дела, приготовить квартиру, меблировать ее и тогда приехать вместе с вами к всему готовому». — «Это ничего: я готова потерпеть, пока устроится, жить кое-как, потому что у меня будет верный друг». И я, наконец, сказал: «О. С., позвольте поцеловать вас». Она отклонилась в противоположную сторону. — «Нет», — снова наклонилась на мое плечо. «Я этого не сделаю», — и она наклонилась снова; да, она знает, что я не сделаю ничего, что было бы неприятно ей. И почему я хотел поцеловать ее? Не из удовольствия, а чтобы это было залогом наших отношений. «Вы говорили что-нибудь своим?» — «Нет; их мнение для меня в этом деле вовсе не интересно, они не могут быть судьями по своим понятиям». И я говорил о том, что может быть они будут несколько недовольны, потому что может быть слышали что-нибудь о том, что она держит себя вольно, и потому, что не любят Сократа Евгеньича и готовы защищать Анну Кир. «Поговорите с ними и с маменькою. С папенькою я сама поговорю. Раньше со своими, потом с маменькою. Со своими завтра, в понедельник с маменькою».

Я буду говорить с папенькою, потому что его легче склонить и его согласие будет иметь влияние на маменьку. Не думаю, чтобы было такое сопротивление от него, чтобы заставил меня высказать мое намерение не пережить этого. Маменька согласится с папенькою. Поговорю после обедни, потому что не хочется волновать его перед обеднею, которую он должен служить. Итак, около 12 часов утра дело будет окончательно решено с нашими. С папенькою буду говорить весьма мягко и просить и объясняться, насколько можно объясниться. Потом он призовет маменьку и скажет ей: «Николай выбрал себе невесту, что ты скажешь?» — «А вы что?» — скажет маменька. «Я должен согласиться, стеснять нельзя», и маменька скажет то же. Иду к обедне.

2¼ часа. До обеда было некогда. Поэтому говорил с папенькою только сейчас, решительно спокойно. Папенька сказал только, что будут ли у меня средства содержать ее, как она привыкла. Я сказал, что думал об этом, будут. Он сказал, что не будет мне мешать. Я просил поговорить об этом с маменькою и ныне же, потому что, сказал я, если маменька станет спрашивать, ей могут наказать бог знает что, потому что о ней говорят много дурного и многие ее не любят. Я говорил с папенькою спокойно и совершенно откровенно о том, что мне в ней нравится — главный характер, твердый и рассудительный. Говорил о том, что ее не любят мать и брат. «Да хорошо ли ты ее узнал?» — «Очень хорошо, потому что такие были разговоры и главное я смотрел, как и что она делает». Не сказал, конечно, наших отношений. Просил, чтобы переговорил с маменькою ныне же. Разговор продолжался минут 20, решительно хорошо, лучше, чем я ожидал, потому что

то, что о ней говорят дурно, не вызвало никакого замечания с его стороны. Папенька ее видел несколько раз, но решительно нисколько не знает. До сих пор все идет хорошо. Маменька тоже согласится с папенькою. Теперь иду к губернатору<sup>239</sup>, по возвращении от него может быть найду их уже переговорившими. Я решительно спокоен. С моей стороны не будет пужно никаких усилий, потому что не будет несогласия и от маменьки. Маменька согласится.

*Час ночи.* Сейчас кончился разговор безусловным согласием маменьки. Он продолжался весьма долго. Когда я спросил папеньку, пришедши от губернатора, он сказал, что маменька не стала ничего отвечать, что поэтому я должен говорить с ней сам. Я после ужина в своей комнате начал говорить (она все говорила, что ей хочется спать, — немного хитрила, чтобы избежать этого разговора, вообще она немного хитрит и сначала было чуть не провела меня, но я вообще не поддамся в таких случаях, потому что, несмотря на все видимое согласие, не окончу разговора без того, чтобы не сказать: так вот что — изложу самым определенным образом свое мнение — так или нет?). Когда я сказал намерение и имя, она сказала: «Весьма рады мы, что из такого почтенного семейства, с которым хотя незнакомы, но уважаем, что твой выбор пал в хорошую сторону (это меня весьма обрадовало); чсм будешь жить?» Я начал говорить; она начала говорить об обязанностях мужа, совершенно как говорила раньше, так что будет именно такою свекровью (кроме своих вмешательств, могущих быть, но которые я, конечно, останавливаю), как я представлял ее О. С. Потом вниз<sup>240</sup> — «должно переговорить с папенькою». Когда пришел папенька, она стала говорить, что раньше хочет видеть ее — она и наверху говорила: «Почему ты не хотел познакомить?» Я сказал, как радовался, когда собирались к Анне Кир., и как звал к Акимовым. — «Нет, раньше скажите, что согласны, так и увидите» — и тут-то началось длиннейшее и утомительное прение — «раньше должна видеть» — «раньше должны согласиться», — почти только в этих словах. Наконец, она легла; мы остались с папенькою, и я ему в общих намеках сказал, что, если не согласится маменька, это будет иметь ужасные последствия для меня; я предчувствовал, что настоя на своем, но если бы не настоял, если бы, как, между прочим, говорила маменька: «Переговорим еще поутру лучше» — то я может быть для примера, как залог будущего, сочинил бы с собою какую-нибудь легкую операцию вроде жены Брута (и тут ядовитые насмешки над собою: не могу не смеяться над своею решимостью и над своим прежним поведением, которое сделало было то, что эти глупости могли понадобиться). Она легла, я снова начал приставать, даже намекал на то, что это будет иметь для меня такие важные последствия, каких и она не ожидает, говорил, что если не согласится, то это будет страшною печалью на всю мою жизнь, наконец сказал: «Итак, одно слово: согласны или нет? Если не согласны, я не буду больше ни слова говорить об этом деле». — «Согласна». — Тут начинаются уверения в том, что она «облег-

чила меня от страшной тяжести». Она снова говорила о важности этого шага, что должно было посоветоваться; я сказал, что нельзя в этом деле, и т. п. Но в другой раз даже не повторил вопроса, согласны ли, и более не буду говорить и спрашивать о согласии. Может быть снова понадобится возобновить разговор в этом роде, но уже не я начну его и завтра же скажу Анне Кир. о намерении маменьки, как скоро позволит здоровье и погода, приехать к ней с просьбою в известном роде.

Теперь дело решено, и я ложусь спать спокойно. Завтра от Кобылиных возвращусь домой и из дому пойду к Анне Кир., чтоб не показать вида, что иду говорить с ней, когда маменька не ожидала — нет, она должна видеть, куда иду, и перед уходом скажу ей, что буду говорить Анне Кир. На ответ вызывать маменьку не стану. Если будет ответ сколько-нибудь несогласный, снова начну разговор и кончу его не иначе, как получением согласия, если снова вздумает колебаться.

Одним словом: хотел, чтобы ныне мне дали решительный ответ, и настоял на своем.

Я могу быть тверд и неотступен в своих требованиях, когда захочу. *Quod erat demonstrandum*\*.

Теперь нет препятствий ни с чьей стороны, моя милая невеста.

Мне теперь никто не может препятствовать. Теперь ты моя невеста, невеста перед моими родными.

Расположение духа моего в этот день, который был днем ожиданий. И ожиданий большего сопротивления, чем какое было, и большей неуступчивости с моей стороны, чем я ожидал от себя. Несколько раз перед началом разговоров, лучше сказать — при ожидании минуты для разговора, билось сердце, но мало. Так у меня тверда воля, если нужно. Даже биение сердца сдерживается, если я захочу. Разговор веден совершенно спокойно, так как я постоянно в этом длинном и тяжелом разговоре с маменькою сдерживал себя.

Зачем я так безжалостно вынуждал маменьку отказаться от своего желания увидеть раньше, чем согласиться? Так мне казалось нужно, во-первых, для обеспечения согласия, во-вторых, для успокоения себя: что я хочу как сделать, так и сделаю, вот что я хочу. Совесть мучает ли меня за эту безжалостность? Нет. Я знаю, что должен был бы совеститься этой неуступчивости, настоятельности, но так было нужно. Что же делать? Я поступил, как должен был поступить.

До завтра, моя милая, невеста перед моими родными, а уж не перед одним мною.

Завтра увижусь с Анною Кирилловною.

До завтра же, моя милая невеста.

Писано в понедельник 29 марта, 9 час.

---

\* Что и требовалось доказать.

Когда стал собираться тотчас после обеда, маменька позвала меня в гостиную. — «Что же ты хочешь сказать?» — «Вот что». — «Да погоди, разве нельзя мне раньше увидеть?» И снова прежняя история, которая продолжалась более часу. Я, наконец, сказал: «Да или нет; если нет, не пойду и не буду говорить больше ни слова». И ушел и сел писать. — «Хорошо, подожди папеньки от вечерни и попроси у него благословения». И [я] дождался; мне было весьма тяжело, что я заставляю ее ждать. Это продолжалось до 6 час. Наконец, благословение дано, и я отправился. Она в комнате Ростислава, у них Воронов. Отправляюсь через несколько времени к Анне Кирил. Когда ушли другие, кто тут сидел, я через несколько времени говорю ей: «У меня к вам, Анна Кирилловна, важная просьба». — «Какая?» — «Слишком важная». — «Да я для вас все сделаю». — «Но вы меня слишком мало знаете». — «Говорите, нужды нет». — «Мне весьма нравится О. С., я прошу вашего согласия. Маменька хотела б сама быть у вас с этой просьбой, но ей нельзя, потому что она не выходит из комнаты, и я должен говорить от ее и от своего имени». — «Весьма рада; вы говорили с моим мужем?» — «Нет, потому что ваше мнение важнее». — «Я переговорю с ним. С моей стороны полное согласие». Тут вошла Лидия Ивановна и сидела довольно долго. Когда она ушла, я снова повторил: «Так ваше согласие?» — «Я согласна». Я несколько раз поцеловал ее руку и простился. Вошел кто-то. «Желаю вам полного исполнения всех ваших желаний». Какова мать! Ни о чем не стала расспрашивать, ни о моих средствах, ни о том, когда и как, ничего.

Я вышел, и несколько времени нам мешала говорить Лидия Ивановна. Наконец, О. С. сама села подле меня, рука в руку — я сказал ей коротко, что я говорил с Анною Кирил. «Ну, О. С., глупого парня выбираете вы себе; вообразите, с первого слова маменька сказала, что весьма рада; но прибавила, что желала бы раньше вас видеть, но мне вошло в голову — завтра непременно, и я не отстал и не согласился раньше показать ее вам. Видите, я глупый человек, — не щажу никого, может быть не пощажу и вас, если так будет нужно; не думаю, однако, чтобы это простерлось на вас, но почему знать? Не думаю все-таки, чтобы простерлось».

Она сказала, что ждала меня в 5, 6, но раньше я уж сказал ей сам, отчего так поздно: дожидался папеньки от вечерни. «Когда же, О. С., это зависит от вас — теперь или по приезде?» — «Я вам говорила». — «Т.-е. теперь? Хорошо, завтра постараюсь обделать дела», — т.-е. я думал попросить у Костомарова 1 000 р. сер. — «А в четверг скажите мне, потому что в среду я буду у Гуськовой». — Дружно, дружно сидели и ходили мы рука в руку. Вошли другие, и начался общий разговор. Она сняла [нагар] со свечи. «Не снимайте, не будете нравиться», сказал кто-то. «Я и не хочу никому нравиться, кроме одного». — «О. С., — сказал я после всего, — вы будете решительно управлять моими делами; чрезвычайно



немного дел, в которых не от вас будет зависеть решение, и не знаю, представится ли случай к подобным делам; знайте это и готовьтесь распоряжаться моими делами. Я постоянно буду делать все, что вам будет угодно, поэтому сама судите, что лучше мне делать, и управляйте мною». Раньше этого, когда говорил о разговоре с нашими, я сказал, что маменька действительно будет любить ее больше, чем меня. «Все мои отношения зависят от вас, и даже к ним; напр., может быть маменьке вздумается поехать с нами». — «Что ж, верно, она не будет нам в тягость». — «Нет, знайте, что в наши с вами отношения я не допущу вмешиваться никого, ни маменьку, никого, кроме разве тех, кого вы сами захотите иметь советником или как угодно назвать».

Теперь совершенно спокоен. Совесть, что так вынуждал маменьку, — но что делать? так было нужно. О. С. вознаградит ее своею любовью и ласковостью за минутную скорбь. О, ты будешь наилучшею дочерью, мой милый друг.

*Писано 2 апреля, четверг, 10 час. вечера.*

*1 апреля, среда.* Когда я воротился от губернатора, Сережа подал мне записку, писанную рукою Тищенко, что меня непременно ждут. Я тотчас поехал. — Меня звала Анна Кирилл., которая дала мне «будущему сыну»<sup>241</sup>, и просила написать ответ и велела быть завтра.

*2-го, в четверг, в 5 час.* был у них. Мы сидели у Ростислава. Наконец, к Анне Кир. — Она прочитала мои размышления о супружеской жизни, т.-е. главным образом «о приданом позвольте не говорить», что было написано в конце, и сказала, что говорила с Сократом Евгеньичем; позвала О. С. — «Вот ваша невеста». Я поцеловал у О. С. руку, Анна Кир. что-то сказала; кажется, чтобы поцеловались. Я не хотел принуждать Ольгу Сократовну и не хотел получить от нее первый поцелуй при других. «*Asseyez-vous ici*», у нас нет секретов с Николаем Гавриловичем — потом послала за Сокр. Евг. «Вот ваш сын», сказала Анна Кирилловна. Мы поцеловались с Сокр. Евг. Анна Кир. сказала ему, чтобы он соединил наши руки. Недолго посидев, он стал уходить, я пошел, сказав, что мне должно переговорить с ним, но собственно я хотел с Ольгой Сокр. о деньгах, готова ли она употребить свои. — «Готова». — «Так мы едем вместе?» — «Вместе». Это было в зале. Я ушел к Сокр. Евг. и сказал, что после пасхи тотчас, и тотчас едем. Потом говорили об ученых и медицине. Наконец, снова посидел у Анны Кирилл., простился — было уже более 7 часов, пошел в комнату Ростислава. При нем разговор не вязался, но он часто оставлял нас одних, конечно, часто нарочно.

Теперь в первый раз я, когда мы были в зале, брал Ольгу Сокр. за талью, как это делается между друзьями. Мы сели рядом

\* Сядьте здесь.

на диване. Мало-по-малу ее головка оперлась на мой  
один раз Ростислав ушел, я заложил руку за талию  
сидеть, я обняв ее. Волнения во мне не было ника-  
ких, я осмелился поцеловать ее в лоб, в щеку. На-  
конец Ростислав вышел. — «Завтра обручение. Нас заста-  
вят. Я не хотел бы получить от вас первый поцелуй;  
тому что хотел бы, чтобы он был искренний. Позво-  
лите поцеловать вас». — Она ничего не отвечала.  
Он ушел, через несколько времени снова ушел. Тогда я  
целовал ее; она отвечала на мой поцелуй. — «Вам  
спасибо сказала она. Ростислав беспрестанно уходил и при-  
ходил еще раз, я поцеловал ее в другой раз, но она  
уже недовольна моею неотвязчивостью. «У вас с-  
лабый и вялый. Другому на моем месте этого  
довольно». — «Что еще?» — «Еще несколько раз  
этого требует приличие». — «Так вы только из-  
за «Да, приличие непременно должно соблюдать,  
простирать соблюдение приличий до того, чтобы  
содержание». Я все толковал о том, что только кажусь  
только потому, чтобы не надоесть своими чувствами  
привыкла к ласкам». Но я чувствовал, что мне дол-  
жно сказать, и беспрестанно целовал ее волосы, ее лоб,  
которая была ко мне. Раз даже поцеловал ее глаза-  
ми, что с тех пор, как я несколько узнал ее, у ме-  
ня одна мысль о ней и что теперь я живу только ею,  
о ней и о ее счастье. Когда тут сидел и Венедикт  
ее бойкостью, говорил о мужском платье, о том,  
что остается только стрелять из пистолета и пить  
«Что ж? Я и поеду в мужском платье». —  
«Что делать с вашими волосами?» — «Обрежу их  
фальшивую косу; нет, не хочу, чтобы во мне  
никуда фальшивое».

Она хочет, чтобы свадьба была 29 апреля поутру  
никого не было и чтобы мы уехали в тот же день.

Мое расположение духа? Более спокойно, чем  
раньше. Меня не волнует несколько физическая сторона.  
Я муж, не любовник только. А первый поцелуй? —  
от него, я получил от нее залог любви. Физическая  
сторона во мне от него. Во мне есть сладострастие  
сердечной любви.

Прости до завтра, моя милая невеста. Завтра  
Прощай до завтра. Будь счастлива, как я счастлив.

Писано 4 апреля в 8 час. утра, суббота. Опять  
день обручения.

Поутру я пошел за кольцами; взял для Ольги  
то, чтобы можно было выбрать, но когда шел оттуда,  
то на дороге; самое маленькое кольцо приходилось

В 10 час. отправился к ним сказать, что папенька хотел быть раньше; приехал вместе с папенькою; папенька через несколько времени уехал за маменькою, чтоб воротиться к 12 часам, потому что к этому времени должна была отойти обедня, но ждали-ждали — их все нет. Наконец, Ольга Сокр. послала меня за ними в  $1\frac{1}{2}$  2-го, но на дороге они встретились. Маменька держали себя все время по обыкновению чопорно, как женщина, не бывавшая в обществе, но желающая показать себя тонною. Ольге Сокр. это показалось строгостью и недовольством. Когда маменька входила, Ольга Сокр. подошла к ней, а она уж успела сказать, что вовсе не годилось: «Покажи же мне, которая». Когда вошла в гостиную, Ольга Сокр. подала ей скамейку и снова подала, когда она перешла к Анне Кирил. и села там; этого я не ожидал и потом сказал Ольге Сокр., что это уже слишком, что этого не должно быть, но на первый раз так и быть можно. Я тотчас взял Ольгу Сокр. и спросил, как ей нравится маменька. — «Ничего». — Но после молебна, обручения и обеда, когда мы сидели у Ростислава, она мне сказала: «Я боюсь вашей маменьки. Она должно быть очень строгая». Я чувствовал и раньше, что ей неловко, что она опасается, и потому говорил ей, что не позволю никому вмешиваться, а за обедом взял и сломал свою вилку. — «Посмотрите, Ольга Сокр. Вы понимаете, что я этим хочу показать?» За обедом маменька держала себя чопорно. Когда она будет у них в другой раз, я попрошу маменьку быть ласковее. За молебном Ольга Сокр. молилась очень усердно, и мне стало грустно за нее бедную, у меня показались слезы. И потом, когда мы сидели после обеда у Ростислава одни, я несколько раз плакал о том, что она грустит. Я много любезничал с нею после обручения. Наконец, проводил своих домой и через час, около 8 часов возвратился к ним; что было в этот вечер, напишу после обеда, перед тем, как идти к ним.

Папенька, когда ложился спать, на мой вопрос, как ему нравится Ольга Сокр., сказал, что она слишком резва. — Я сказал, что другого характера жена не может ужиться со мною и что это пройдет. Но для меня все равно, и скоро (тотчас после свадьбы) и для нее будет все равно, каковы бы ни были отношения к ней моих родных, потому что она увидит, что это для меня все равно. Кто не любит ее, тот и не может вмешиваться в наши отношения с ней.

Нынешнюю ночь я провел довольно беспокойно, потому что от страстных сцен вечером кровь моя волновалась. Она, бедная, не спала почти в эту ночь накануне обручения.

Теперь вниз к маменьке, за работу.

До 3 часов, моя милая невеста. В  $4\frac{1}{2}$  я снова буду с тобою.

Итак, я пришел к ним; они готовились идти гулять. Сначала нам все мешали. Приезжала Гуськова с женихом. Я должен был оставаться у Ростислава, но Ростислав сказал, что меня вызывают,

и я вышел. Ольга Сокр. вовсе этого не хотела. Они уехали. Рычковы вышли гулять. Ольга Сокр. была очень грустна. Я все допрашивался, отчего? Она никак не хотела сказать; наконец, когда я сказал, что для меня все легко сделать для нее, потому что люблю ее, — она сказала, в том-то и вопрос, люблю ли? Мы остались одни в ростиславовой комнате и заперли ее, чтоб не входили. Сначала Венедикт все заглядывал в окна, наконец перестал. Я, наконец, убедился, что я могу вести себя свободнее, чем до сих пор, что это не оскорбит ее, что, наконец, должен же я выказать свою нежность. И вот я начал ласки и уверения в любви. Слова мои были холодны по тону голоса, потому что сначала я старался сдерживаться, но внутренний жар их был в самом деле велик и все усиливался, и наконец я начал говорить в самом деле страстным языком, хоть не совсем давал себе волю. Наконец, она сказала, отчего она грустна. Гуськова сказала ей: «Он не дворянин, кто будут твои дети?» — Я стал растолковывать ей, что это пустяки, что этого никогда нельзя считать препятствием или вещью, стоящей размышления. — «Вы слишком молоды, вы моложе, чем я думал». Вчера я в самом деле убедился во время своих ласк, что она робка, очень робка. Ласки ей приятны, но она не смеет, стыдится вызывать на них. Я сначала все говорил, что чувствую, что мало нежен, но потому, что я боюсь оскорбить ее. «Больше я не хочу; я не привыкла к ласкам». Тогда-то я, наконец, при всей своей глупости понял, что я должен быть нежнее, и стал ласкаться к ней. Сначала она села на диван с ногами, так что я сидел [у] ее ног; потом, когда моя нежность более стала свободна, я, наконец, сказал ей: «Садитесь ко мне на колени» — и хотел посадить ее. — «Я сама сяду» — и села. И я начал ласкать. Я покрывал ее лицо поцелуями. Несколько раз поцеловал ее в губы. Она несколько раз сама поцеловала меня, даже раза два отвечала на мой поцелуй в губы. Ее щеки разгорелись от моих поцелуев. Ныне я, если можно будет, позволю себе больше: я буду крепко обнимать ее, я хочу непременно поставить ее ножку на свою голову. Бог знает, до каких нежностей дойду я. Я сказал, что я могу сдерживаться, но если дам себе волю, она увидит, что я человек пламенный, и нынче я дам себе несколько воли. Моя чувственность начинала вчера волноваться, и я сказал, наконец, от чистого сердца: «Нет, О. С., с вами опасно оставаться наедине». Кровь моя волновалась. Мой жар воспламенил и ее личико. Она хочет любви, но она слишком робка, застенчива, стыдлива. Я должен быть смелее. Посягнуть на нее я не хочу, она этого и не позволит. Но я буду очень нежен, я буду пылок, хотя не так, как бы мне хотелось, но во всяком случае очень пылок, до такой степени, как только она позволит, до такой степени, чтоб только не оскорбить ее. «Неужели вы любите меня, Ольга Сокр.? Я вижу, что в самом деле любите больше, чем говорите. Теперь пока эта любовь не заслужена, потому что вы или мало понимаете, или не совсем верите тому, чем в самом деле стою я вашей любви.

Но вы любите меня». Да, она еще никого не любила и теперь любит в первый раз.

Прощай, моя робкая, моя нежная подруга, прощай, до свидания через час, всего только через один час. Пора собираться к Тебе.

Писано 5 апреля, 7 час. утра. И ныне моя ночь была очень беспокойна. Она не давала мне уснуть.

Вчера ее долго не было — она уехала в лавки, воротилась около 7 часов. Перед этим я сидел большею частью с Анной Кир. — Какой, в самом деле, странный случай: 15 марта 1833 г., в самый день ее рождения, получил Сократ Евг. перстень от государя. Сидел и с Сократом Евг. — Анна Кирил. ужасно любезничает со мною. Я ее терпеть не могу. Сократа Евг. я люблю.

Наконец, она приехала. И снова мы в комнате Ростислава одни, и снова я ласкаюсь к ней. Положить голову под ногу ее она не допустила. Но я скажу ей ныне: что для других бог, то для меня вы — и помолюсь ей. Снова она сидела на моих коленях, снова ее щеки разгорелись от моих поцелуев. — «Я ошибся в вас; я думал, что вы в самом деле смелы, а вы робкая, стыдливая, застенчивая девушка». Ныне она будет у обедни в нашей церкви и после будет у маменьки с Дарьей Кирилловной. Обедать буду у них. «С вами не всегда могу я оставаться без опасности для вас, я не буду более оставаться с вами один, — сказал ей раньше, — но я всегда предупреждаю вас, когда будет опасно, потому что забыться пред вами я не хочу».

Прощай, моя нежная, милая робкая подруга, прощай, до свидания через 2 часа.

Писано 6 апреля, понед., в 11 часов, перед отправлением к ним.

Утром, по приказанию Анны Кирил., я отправился к ним в 8 часов, чтоб ехать за серебром. Поехали в 10 часов, раньше дожидались долго лошадей. Она выходила ко мне в белой блузе и сидела рядом со мной у Ростислава. Она была весьма мила в ней. Раньше заехали в старый собор; это было мое первое появление вместе с ней, при котором нас видели другие, потому что раньше за кольцами, но тут не видал никто. — Оттуда (от Алпатовой) она поехала к Патрикеевым, я слез у своего дома. У нас был Сократ Евг. Потом, как я оделся, отправился за ними, чтобы вместе с ними явиться домой; она с Дарьей Кир. хотела приехать к нам. Я просил маменьку быть ласковее, она держала себя чопорно. Но Анне Ив. она понравилась. Я уверял, что маменька более всех будет ее любить, что это только глупость. Когда уехали, я долго говорил маменьке, чтобы была ласковее с ней, и, наконец, начал с горя плакать. К ним отправился в час, маменьку уговорил ехать к ним пить чай. После обеда отправились гулять. Ольга Сокр. устала потому что много гуляла. Во время прогулки говорила о приготовлениях к свадьбе и о том, как ей хочется

устроить свадьбу. Теперь уж нельзя, чтобы никого не было, поэтому она шьет себе подвенечное платье. Она хочет, чтоб я сделал ей шкатулку, и ныне я все хлопотал об этом. Но некогда. Воротаясь от Палимпсестова, я нашел маменьку у них — послушна, — и она была несколько ласковее, ныне просила пить чай. Любезничал также. Наконец, расстегивал сначала 2, после 3 пуговицы на ее мантилье и целовал ее в грудь, но в верхнюю только часть. И это ее оскорбляло несколько. Наконец, становился перед нею на колени и говорил ей: «Что для других людей бог, то для меня вы».

6, понедельник (писано во вторник, 7 час.) был у них до Кобылиных, не застал ее — потом от Кобылиных, не пообедав — голоду не чувствовал несколько. Мы сидели с ней в комнате Ростислава несколько времени одни, и я сказал, что не буду целовать ее в губы, потому что это ей не нравится, и не целовал. Вообще целовал только в щеки и шею. Потом ездили к нам пить чай. Маменька была ласковее, чем раньше, но ей все-таки не понравилось. У нас собрались Федор Степ. с внуками, чтобы смотреть ее; она сказала, что ей это ничего, не очень неприятно. Сидели втроем наверху с Алекс. Яковл. Тут она велела мне надеть кольцо, и я надел и ношу его. Потом снова у них и снова несколько времени вместе с ней наедине, но весьма мало. Ныне поутру побываю у них и с 6 часов снова у них.

7, вторник (писано в среду, 12 часов).

Был у них от 10 до 11 утра, пока Ольга Сокр. [не] поехала в лавки. После снова у них; с 6 часов снова у них. Шел сильный дождь почти весь день, и когда она провожала меня, [то] сказала: «Мне жаль вас», — и я при Сереже сказал: «Вы знаете, что мне гораздо более жаль вас». Весь этот день я провел совершенно без всяких насильных любезничаний с нею; сказал себе, что не буду целовать ее в губки, потому что она этого в самом деле не любит, а не то, чтобы только стыдилась, и буду очень скромен и почтителен. Она была нежна и при встрече каждый раз сама первая целовала мне щеку. Несколько шутила и шалила. Маменьку я оставил больную, поэтому воротился [на]  $\frac{1}{2}$  часа раньше обыкновенного. Когда приехал за мною Сережа, он ушел к Ростиславу, мы остались в зале. Она села ко мне на колена. Я посмотрел на нее, и у меня в глазах навернулись слезы, — да и теперь навертываются. — «Мне жаль вас, что вы принуждены любить меня. Не такой бы должен быть у вас жених. Мало у нас порядочных людей. Нет, не таким должен был бы быть у вас жених». Я был все время совершенно скромен. Только поцеловал ее колено, когда рас- сантиментальничался. Ныне хотел быть у них в обед, не знаю, можно ли будет, — верно можно, потому что с маменькою посидит Фекла Никифоровна, но во всяком случае буду вечером. Я все более и более привязываюсь к ней, и моя любовь становится чище и целомудреннее.

## ДОПОЛНЕНИЯ\* К МОЕМУ ДНЕВНИКУ О ТОЙ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ МОЕ СЧАСТЬЕ

Писано в 7 час. вечера, 7 марта, суб.

1. Перед своим описанием отношений моих к ней до 19 февраля я должен, однако, написать, что когда за несколько дней до этого я говорил с Ник. Иван. с тем, чтобы развлечь его, утешить, заставить бывать в обществе (это было у Мелантовича, который тогда жил уже у нас; он с Евг. Ал. Беловым играл в шахматы в зале, мы с Ник. Ив. ушли в гостиную), то я ему сказал, что он наверно нашел бы невесту, если бы посещал общество, потому что вот я гораздо холоднее его, а все-таки ж на-днях побываю у Стефани и если у меня нет аневризма, то я на-днях сделаю предложение. Из этого видно, что и до среды (18 февраля) я был уже в таких отношениях, которые вовсе нельзя назвать простым любезничаньем.

2. Палимпсестов сказал мне: «Вообрази, Николай Иван. уверяет меня, что ты влюблен». Я уверял его, что это самая невероятная вещь. — «Господи помилуй! Да каким же это образом? Вот видишь, как это было: мы после «Вильгельма Телля» приехали к нему; я был решительно взволнован «В. Теллем», даже плакал, и тут в волнении пошутил и стал уверять, что я влюблен; конечно, волнение, искренность чувства, вызванного «В. Теллем», отразились и тут, и он мог представить, что я взволнован любовью». Действительно, раньше, чем я в самом деле влюбился, я любил уверять, что я влюблен, как трезвый иногда любит притворяться пьяным. А вот и вышло из смеха дело, из невероятно — действительное. На вечере музыканты. Вечер продолжался до 4<sup>1/2</sup> часов.

3. Мое поведение было так странно и смело, что после она говорила (танцуя) Палимпсестову: «Станный человек этот Чернышевский; требует от меня случаев доказать свою любовь, хочет, чтоб я требовала от него доказательства любви» (это сказал мне Палимпсестов в разговоре 28 марта у него на квартире).

4. У Чесн. нашел я Фед. Дим., который только что возвратился со свадьбы Ал. Порфир. Иванова и был в восторге от сестры невесты и говорил, что если бы поставить ее рядом с Ольгой Сокр., то вот были бы две соперницы, из которых было бы трудно выбрать. «Ого, как она хороша, — думал я с восхищением: — влюблен и все-таки говорит, что не знает, которая лучше». Он продолжал: «И какая добрая девушка; прислуга любит ее, а это лучшее доказательство, что хороший характер и доброе сердце». — «А Ольгу Сокр. любит прислуга?» — «Любит; особенно один старик-лакей решительно души в ней не чает». Как это меня успокоило, однако я знал, что это должно быть так.

---

\* Относятся к стр. 410—412 настоящего издания. Ред.

5. «Венедикт мой любимый брат». — «Я его не люблю». — «За что же?» — «За то, что в нем нет того, за что я люблю вас (т.-е. демократического направления)».

6. Она сидела на диване в бабушкиной комнате, Катерина Матв. у второго окна на улицу. Итак, сначала я сидел подле Кат. Матв., после пересел к Ольге Сокр.

Писано 14 марта в 12 часов вечера.

7. Мне, наконец, сказал Палимпсестов, что хозяева (собственно Бусловская) находят, что я уже слишком зашалился. Да и в самом деле, кажется, уж я очень шалил.

8, лист 1. Она после говорила мне, что это было чрезвычайно странно, что это даже показалось ей слишком дерзко прямо в первый раз объясниться в любви, но что она подумала: «Оскорбиться мне или не показывать этого? обратить в шутку? лучше обращу в шутку!» О, как она мила, добра и умна!

9. 2 лист, 1 стр. Она в самом деле приняла это за оскорбление, как я теперь вижу после этих слов ее, которые записаны в 8 примечании.

10. Вы требуете от меня, чтобы требовала от вас доказательства любви; если так, сказала она, прежде всего бросьте вашу папироску. Я загасил ее.

11. Неужели вы считаете, что я так глупа, что могу этому верить? — Почему же? То, конечно, я шутил, когда уверял вас в моей пламенной любви, но теперь я не говорю ничего такого.

12. Она, кажется, принимала это и в этот раз за слухи о том, что она держит себя слишком свободно, потому что и раньше уж говорила несколько раз на мои подобные выражения, что я люблю ее за то, что слышал о ней. — Отвечала на это, что она знает, что о ней говорят очень много дурного.

Теперь прочитал 1 страницу 2 листа. Ложусь.

## ДНЕВНИК. МАРТ, 1853.

Писано 4 марта, 8½ час. утра.

Жизнь моя с 19 числа [февраля] стала так богата, что я хочу, чтобы можно было всегда мне припомнить день за днем события, которые все перемешаны, все просветлены мыслью о ней. Через эту мысль о ней и они становятся для меня милы.

4, среда. В гимназию не пойду, потому что не совсем еще прошла охриплость и боюсь, что напряжение голоса в гимназии увеличит ее. Утро все буду заниматься поверкою своего словаря (теперь я поправляю пропущенные и неправильно отмеченные цифры, это ныне кончу). Вечером должен к Николаю Иван., чтобы быть у Стефани. Вчера был вечером у Анны Никаноровны, ко-



торая меня приняла попрежнему; не знаю, хитрость ли это, чтобы не высказать нашей новой дружбы...\* и матери или — скорее — мое предыдущее посещение не разрушило ее подозрений против меня. А утром отнес переплестать Кольцова для О. С., которой имя велел выставить (О. В.). Должно будет заплатить вероятно 3 руб. сер. (а думал, что будет стоить не более 2), готово будет в субботу. Завтра думаю быть у Малышева, к которому ездил было вчера, но не застал дома. Вечером сидел Евгений Алекс. до 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> часов. 3 часа убито.

5. Утро все писал дневник и разбирал листки. К 4 час. кончил разбор листков совершенно, после стал думать о диссертации. Решился прежде всего отделить места, писанные не напыщенным языком, от напыщенных, и написал несколько строк предисловия. Вечером недоволен, потому что с 7 до 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> просидел у Мелантовича, который присылал записку с просьбою помочь на экзамене одному поляку. — Как это меня взбесило! Видно не почел за нужное итти сам! Не считает меня достойным личного посещения! И моя жена будет иметь такого мужа, который доставит ей положение в обществе такое незавидное! Нет, это несносно! Мало-по-малу сообразил, что это вовсе не от гордости, а потому, что я не просил его к себе, и потому, что я живу не один, а с семейством. Но как можно потерять 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа, когда минуты так дороги! Однако я не думал, чтобы было 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, я думал 9. И еще глупость: пригласил Ник. Ив-ча, который был там! Снова потеря времени. В гимназии не был и завтра не буду. Принимаюсь за главный дневник, чтоб написать там страницу. Нет, не хочу, чтобы не кончить описанием сомнений. Завтра лучше окончу свои сомнения и начну описывать свои впечатления.

О. С.! О. С.! О. С.! Нет, я люблю вас, потому что во мне в самом деле перемена. Я не теряю времени ни минуты без сожаления. Деятельность, деятельность!

«Я скоплю казну, сберегу казну».

6, *пятница*. Все утро (в гимназии не был) писал дневник. После обеда был у Чеснокова; оттуда, как воротился, прислали Кобылины, чтоб играть в карты с Катер. Никол. Воротился, уж был Николай Иван., которого я вчера просил к себе. Уехал сейчас, в 12 часов. Ложусь. Дневника о ней написал 5 страниц.

Благословенна да будешь ты! Жду с нетерпением воскресенья.

7, *суббота*. Как встал, сел писать (это написано в 1 час. после окончания 1 стр. 36 листа ее дневника). После чаю поеду к Малышеву, на минуту к Никол. Иван., после в ряды купить для Стефани стакан, после к переплетчику посмотреть Кольцова.

В 11 час. ходил к переплетчику (Смирнов против Полиции) посмотреть, что делается с Кольцовым. Он его окончательно зо-

---

\* Неразборчиво. Эдмонду? Ред.

лотил. Золотой обрез вышел хорошо. И я пробыл более часу, чтобы все это кончил под моим надзором. При мне он отзолотил корешок и положил заглавие. Все это вышло хорошо. Книга любви чистой, как моя любовь, безграничной, как моя любовь; книга, в которой любовь — источник силы и деятельности, как моя любовь к ней, — да будет символом моей любви (это писано в 3 часа).

После обеда писал и докончил свои впечатления и описание действия на меня того, что я стал ее женихом.

Теперь примусь за свою диссертацию. Вечером жду Николая Ивановича, чтобы ехать к Стефани.

$\frac{1}{2}$  2-го ночи. Вместо диссертации сел за перечитывание дневника для его дополнения. Приехал Ник. Ив., чтоб ехать к Стефани. У него просидел до сих пор и довольно не скучно, но, наконец, все-таки даже подобное общество теперь потеряло для меня свою прелесть. Стефани человек решительно порядочный. Там был Сорочинский, тоже порядочный человек. Ложусь. Завтра увижусь с нею.

8, воскресенье. Отправился к Чесноковым, с Вас. Дим. к Ольге Андр. Патрикеевой, которая приглашала в пятницу у Чесноковых (спор с маменькою из-за этого), хотел быть в прошлое воскресенье, но не успел. Там посидел около  $\frac{1}{2}$ -часа и был весьма доволен, что был, потому что там буду видеться с О. С. Потом был у Малышева, который сказал, что место в Кузнецке будет дано и что нельзя от него отказаться. Потом у Кобылиных, к которым теперь иду обедать, но раньше занесу книги к О. С., потом к ним, от них к Анне Никаноровне.

У Кобылиных скучал; когда время стало подходить к 6, у меня билось сердце. [У] Анны Никаноровны сначала разговор никак не вязался. Потом снова я вовлек ее в откровенность, и она стала говорить о том, что в ее жизни есть гнусная сторона — что она не была ни дочерью, ни супругою, ни матерью; я опровергал эти мысли в известном роде. Когда при эпизоде о положении женщины и о том, что должно быть не так, и о том, как, должно быть, будет, она сказала: «Да будут ли эти времена?» — «Будут», сказал я, и слезы выступили у меня от радостной мысли о том, что будет некогда на земле, — да и теперь текут слезы, и о том, что все это будет, когда нас уж не будет, и когда после этого она стала говорить о том, что вообще жила даром на земле, у меня снова показались слезы. «Нет, на других вы имели больше влияния, чем на меня, потому что я уже несколько установился, когда узнал вас, все-таки видел кое-что, и наши темпераменты слишком различны; но если бы, наконец, и никто кроме меня не знал вас, и тогда вы жили бы недаром, потому что следы знакомства с вами не изглаживаются и во мне». И я беспрестанно брал и с чувством истинного участия, симпатии целовал ее руку. Когда мы прощались, я сказал: «Нет, нет, вы жили недаром, если б и я один знал вас».

Какое различие: раньше этот разговор имел бы на меня чувственное действие, теперь я говорил с нею как с сестрою. И я говорил совершенно искренно. У меня были и насмешливые фразы, но не ядовитые, а теплая насмешка. Я был решительно искренней, но мягко, тепло. И все это совершила ты, о моя милая! Да будешь ты благословенна!

С завтра начинается диссертация. О, если бы в начале мая мог я кончить ее!

Писано 10, в 10 часов.

9 марта. — Был в гимназии. С некоторым удовольствием, потому что в охоту. Воротясь в 3¼ от Кобылиных, думал о своей диссертации и словах ее: «Уезжайте в апреле, воротитесь в июле». — Решился ехать в конце апреля. Если к 15 числу не будет готова диссертация о Ипатьевской [летописи], в 10 дней напишу что-нибудь другое, напр., теперь думаю — о заслугах Гумбольдта для теории сравнительного языкоизучения.

Вечером обещался быть у Николая Иван. Не желая терять еще вечера (он хотел быть у Анны Никан.), устроил так, чтобы быть в этот же вечер. Был. Посидел до 11 часов почти. У меня была одна мысль: «я теряю время». Ныне начал писать диссертацию. Может быть и будет кончена к 5 апреля, и тогда можно будет отдать переписывать. В конце апреля постараюсь уехать и чем скорее воротиться сюда.

Писано 11-го, в 11 час. вечера.

10-го, вторник, занимался работою по диссертации — глава о согласовании слов; увидя ее трудность и многосложность, решил оставить до после, а пока отделать главу об управлении слов; этими двумя главами я ограничился; о сочетании предложений не хочу, потому что это нельзя по памятнику, писанному с таким неискусством, таким плохим языком, как Ипатьевская летопись. И вот 5 часов, и я собираюсь. Боже мой, собираться начал еще поутру, раздушился и т. д. и — «уходите поскорее и до воскресенья меня не увидите». Боже мой, как мне было грустно, грустно! Я даже заходил к П. Я. Ефр., чтобы рассеяться несколько! Его не было дома. Даже пошел, воротясь домой, к Мелантовичу, у которого посидел с полчаса (по делу об экзамене юнкера Ремишевского). И было так грустно, что просидел бы гораздо более, если бы не заставила меня уйти мысль: «Я не должен терять времени». Грустно было мне. Да и теперь не совсем хорошо.

11-го, среда, в гимназии не был, потому что еще не поправился голос. Весь день писал материалы для своей диссертации: об управлении слов. Завтра «обстоятельства». На первый случай я разбираю 24 стр. до княжения Изяслава, по ним составляю первую черновую и потом буду приписывать остальное. Работал довольно прилежно. Верно часов 8 в сложности сидел. Что-то будет в воскресенье? Не знаю, как оправдаться перед Анною Кирил. Что-то будет в воскресенье?

О, как она благородна, как добра!

Но некогда терять времени. Ложусь, чтоб завтра раньше приняться за работу. Начинаю работать с удовольствием, потому что должен работать, должен спешить для нее, и потом вижу, что может быть будет что-нибудь интересное для науки. Во всяком случае теперь я вижу, что хорошо и основательно выйдет о двойственном числе. Начинаю пересматривать и свой словарь, чтобы его переписки не задержала меня.

Сообразил, что печатание диссертации не может задержать: в 3—4 месяца, конечно, успеют напечатать.

Милая моя! если бы ты любила меня!

12, четв. Встал в 6<sup>1/2</sup> и прямо за работу.

(Писано 13-го в 9 час. перед гимназиею.)

После того как воротился от Кобылина, да и раньше, и вчера вечером, тосковал страшно, так что не мог приняться за работу после того, как пришел от Кобылиных. Письмо. Вследствие этого 6<sup>1/2</sup>—8 у них, после у Палимпсестова до 10<sup>1/2</sup>. Говорили о различных вещах, я был весьма разговорчив, оттого что мне было легко на душе и для того, чтоб не дать завязаться продолжительному разговору об О. С., потому что я тут высказался бы (у Палимпсестова [был], потому что он звал, говоря, что будет Николай Иванович).

13, пятница, утро работал, теперь в гимназию. Потому что нужно пройти по программе; в классе буду работать. Теперь мне легко, потому что переговорил с нею. Хотя не о всем, но во всяком случае о том, что у меня в письме, и увидел, что она верит мне. Опишу свидание после обеда. Утром ныне работал. Вечером буду снова.

Писано 14-го, суббота, 12 час. Только что уехали Николай Иванович и Евгений Александрович.

13-го, пятница, после обеда к Корелину, который сказал мне через Пескова, что болен, но ему нужно говорить со мною. Я хотел эти дни работать, но печего делать. В самом деле должно спешить. Поехал, его нет дома; несчастный, несмотря на свою болезнь, он отправился в ростепель от Сенной площади к Покрову продавать краски. Воротился к Николаю Ивановичу, от которого поехал к нему, должен был дожидаться. Не совершенно напрасно потратил время, потому что написал письмо к брату. После к Корелину, к сапожнику, наконец к Николаю Ивановичу. Переговорил о метрическом свидетельстве Корелина с Прудентовым, — добрый человек — и с каким восторгом рассказывал о том, как строил дом. Да, умиление, умиление, которое приятно трогает слушателя. После этого поехал от Николая Ивановича, воротился домой в 9<sup>1/2</sup> часов — работать некогда. Но все-таки я не жалел об этом вечере, потому что употребил его на пользу ближнего.

14-го, суббота. Разговор с директором, который, по его мнению,

поступил благородно, отказавшись доносить на меня в Казань<sup>242</sup>. Конечно, благородно с его точки зрения. Я хотя не разделял ее, но был растроган. Инспектор много смеялся нашей дружбе. Я не был бы в состоянии вести себя так раньше, когда не был уверен в своей силе и в том, что я не трус и не малодушен. Но теперь я был спокоен и мягок и *просил* его, а не требовал, чего раньше не мог сделать. Вообще я доволен собою в отношении этого: не уступил и не струсил, но был чрезвычайно мягок и даже нежен. После того, как пришел из класса, я устал. Пошел к Чесн., потому что Вас. Дим. заходил вчера, и узнал, что он приходил, чтобы звать к себе, потому что у них будет Катер. Матв. Я пожалел несколько, потому что славная девушка и мне было бы приятно поговорить с нею — вовсе не любезничая; теперь я перестал любезничать с кем бы то ни было, кроме нее, кроме нес.

Пришедший, стал пересматривать свой дневник за петербургскую жизнь и нашел место о вечере у хозяйек Ивана Вас. Писарева. Это место таково, что я захотел прочитать его Ольге С. и прочитать завтра, если будет можно. А теперешний дневник кончить уж после. Стал работать — приехал Ник. Ив., послал за Евг. Ал., и они просидели с 7<sup>1/2</sup> до 12. Итак, и ныне я почти не работал. Ничего, работа довольно спорая.

Завтра, в воскресенье, я должен быть у Корелина, может быть у инспектора, у Акимовых (О. С. сказала, что неловко не быть, потому что как будто бывал раньше только для нее), у Город., если достанет времени; раньше хотел к директору, чтобы высказать ему, что я оцениваю его поступки со мною, но теперь не буду, потому что не достанет времени. Это можно будет высказать и пред отъездом и будет гораздо лучше.

Вечером буду у нее. О моя милая невеста! Ты делаешь меня счастливым, ты дала мне мир с самим собою, ты дала мне счастье теперь, ты даешь мне надежду на счастье во всю нашу жизнь.

Да будешь ты счастлива.

Но перечитаю несколько дневник о ней для дополнений.

Писано 17-го, во вторник, в 8<sup>1/2</sup> веч.

15, воскресенье, был до обедни у Корелина, после у Город., которому должен был заплатить визит, после у Акимовых, потому что ей так казалось нужным. Любезничал, т.-е. шалил, с Вороновой. Пав. Вас. принял меня радушно и спросил наконец, правда ли, что я женюсь на О. С. — «О. С. прекрасная девушка, но я через 1<sup>1/2</sup> месяца уезжаю, тотчас после пасхи, и когда я приеду в Петербург, у меня останется всего 20 р. сер., — тут нельзя жениться». Вечером был у нее. Как мне было прискорбно, что она не хотела, чтоб я был поутру поздравить ее. Вечер у нее описан в дневнике о ней.

16-го, понедельник, как пообедал, был у Колесникова, после к ней, отвез два первых номера «Современника», которые взял у

Колесн. От нее заехал к Чесноковым, где застал Шапошникова, который смеялся, что я украл из гимназической библиотеки Кольцова. Вечером Вас. Дм. был у меня. Я его приглашал, чтобы поговорить об О. С., но скоро (при моей помощи — так я привык лицемерить и вести разговор вовсе не о том, что мне хотелось бы, а говорить о чем хочется только как бы потому, что другие сами говорят об этом) разговор перешел к политическим вопросам и продолжался так до самого конца. Когда он стал вставать, я удерживал его: «Поговоримте об О. С.», но он сказал: «Теперь я занят не тем». — В самом деле славный человек и искренно предан высоким мыслям об общественных делах.

17-го, вторник. Утром написал письмо к Введенскому, которое вечером отнес Сережа вместе с письмом к Саше, написанным у Николая Иван. Когда пошел к Кобылиным, встретил на лестнице Анжелику Алексеевну, которая сказала, чтоб я обедал у них. Так пришел домой в 6 час. Жаль было терять время. Идя туда, занес книгу, которую нужно было купить, Василию Дм., в Казенную палату; сказал ему, что в четверг буду у Сокр. Евг. Он сказал, что он любит шуточный разговор и что я должен шутить, он будет хотеть и будет доволен мною. После бани. После бани сел за дневник о ней, тотчас после пишу это. Теперь принимаюсь за работу. Окончил выписки, теперь должен буду писать и дополнять их. После разбирать и составлять. К воскресенью эти предварительные работы будут кончены. Посмотрю еще до того времени несколько своего словаря, который скоро должен буду отдать снова переписывать. Завтра нигде не буду, если не будет крайней надобности. После завтра буду у Сокр. Евг., т.-е. увижусь с ней.

18-го, среда, 10 час. веч., после того, как писал в дневнике о ней. Из гимназии пришедши — устал. Как отдохнул — к Чесноковым. Там Вас. Дим. говорил мне, что будет просить ее быть завтра у них, потому что именинница бабушка Дарья Гавриловна. Это меня оживило. Может быть и будет — едва ли однако. Но я хочу надеяться. Как пришел оттуда, отправился снова к нему, чтобы идти вместе к Евг. Алекс., который присылал за мною, у которого был Николай Иван. и Максимов. Там просидел до 10. Работал весьма мало, потому что беспокойство некоторое от моей любви и от того, что бог знает, увижу ли завтра ее, как думал. Однако начал разрезывать и завтра начну писать. Если бы завтра увидеть ее. Я решительно влюблен, мало того, что люблю. Мне совестно за себя. Ну как же такому серьезному человеку, как я, быть влюбленным — воля ваша, Ольга Сокр., вы довели меня до глупого состояния. Как можно с нетерпением дожидаться: «когда я увижу ее!!» Как можно волноваться от мысли: «а если моя надежда увидеть ее не сбудется?» Но — влюблен, так влюблен, от этого я счастлив, от этого я тверже, решительнее. Люблю вас, Ольга Сократовна, люблю вас. Любовь моя решительно, реши-

Писано 27 марта.

Не хотел ничего писать раньше объяснения ее гнева на меня в воскресенье у Акимовых. После было решительно все время занято, и только теперь по окончании вписывания своих чувств в дневник о ней принимаюсь за этот дневник.

22-го, в воскресенье. Утром был у Патрикеевых, не застал там ни ее, ни Катер. Матв. Поэтому пошел к Малышеву, которого не застал дома, и после к Кобылину, у которого и обедал. Вечером прямо от Кобыл. к Акимовым.

23, 24, утро 25, был ужасно расстроен, не был у нее и не писал ей, чтобы более не оскорбить ее.

23-го поэтому не был и в гимназии. Ходил к Николаю Иван. После обедал у Кобылиных. Вечером был так расстроен, что не хотел идти даже к Евгению Алекс., чтобы несколько уйти от себя. Но пришел он и просидел до 11. Все эти ночи воскресенье, понедельник, вторник не спал до двух или трех [часов], потому что слишком мучился.

24-го, вторник, утро работал, после Кобылина снова работал, в 6 часов к Евгению Алекс. и с ним и Максимовым к Василию Дим., у которого до 10. Максимов говорил несколько о ней.

25-го, утром в церкви. После у Кобылиных, к Патрикеевым не хотел зайти, чтобы не заметили слишком, что я только для нее. Обедал у Кобылиных. После у Патрикеевых, где довольно много говорил с Лидией Ивановной — славная девушка. После Патрикеевых Василий Дим. зашел ко мне; тут, когда я просил его зайти ко мне, он сказал: «Я привязан к вам, Николай Гаврилович, как собака». Сначала говорил о мне и ей, после он стал говорить о себе. Мне было совестно не войти в его положение после такой привязанности, и я говорил о том, что ему следует ехать в Петербург. Просидел до 12.

26, четверг, в гимназии не был. Вечером у нее. Сократ Евг. говорил умнее, чем я ожидал. Он умный человек.

27, пятница. — Был в гимназии, ничего особенного не было там. Вечером у Николая Ивановича.

Да, в четверг был именинник. Шапошников — отец. Я долго сидел у них и дочь сидела и говорила со мною с удовольствием. Глупенькая, неужели она до сих пор не поняла смысла моих слов? Я зол на нее и ругаю ее везде, где есть ее знакомые. Я не прощаю ей этого. «Венедикт двумя годами моложе Ольги Сократовны, впрочем, уж он не так молод». У Николая Иван. (пятница, ныне), наконец, предложил ему Рычкову и завтра поговорю об этом с О. С.

Милый мой друг, милый мой друг!

28, суббота. — Писано в перемену в 10 час. (до этого времени все писал дневник о ней).

Когда стал одеваться, принесли от Николая Иван. записку, чтоб не говорил о нем у Васильевых; тотчас сел писать ответ, что

не должно обращать внимания на толки матери, и по-немецки написал, что я, напр., ныне говорю с отцом моей невесты: может быть мне вздумают мешать, тогда я скажу, что лишу себя жизни. И после не позволю ни одного слова, ни одного намека на отношение между мною и женою. Теперь он может понять, кто моя невеста, оттого что я сказал ему, что завтра буду у Васильевых. Но что же делать? Скажу ей, впрочем, об этом.

Писано 30 марта, вторник, в 5 часов утра.

Как оделся после обеда, — к О. С.; от них в 9 час. к Евгению Алекс., где не застал, однако, Николая Ивановича.

Воскресенье, 29-го, был у поздней обедни, после все дожидаясь, когда можно переговорить с папенькою; потом обедать к губернатору. Оттуда к Мелантовичу, чтобы дать время несколько пройти шуму в голове, потому что я слишком много пил и несколько шумело; потом полежал для этого же несколько времени наверху, и, наконец, разговор с маменькою. Я готов был на самоубийство. И верно решился бы.

30, понедельник, из гимназии и после от Кобылиных в 3½ час., после обеда тотчас одеваюсь; разговор с маменькою. Наконец, в 6¼ час. у них; после снова разговор, но уже в мирном духе с маменькою и папенькою. Лег в 10 час. «Надо достать денег», эта мысль не давала мне покоя, и она разбудила меня в 4 часа. Теперь все думаю об этом. Прежде всего к Ник. Иван., если не даст — что делать? Посоветуюсь с кем-нибудь — может быть с Вас. Дим. — после переговорю даже со своими о деньгах. Мне нужно 1 000 руб. сер. Верно, когда он настаивать хотел \* заплатить этот долг. Но это все равно. Где бы то ни было, достану денег. Наконец, если ничего не удастся, обращусь к Сократу Евгеньевичу.

Принимаюсь за работу.

Писано 1 апреля, среда, после гимназии.

31-го, вторник, утром был у Николая Иван. Только вошел я, как приехал Фрейман просить денег. Николай Иван. не дал ему и сказал, когда он уехал, что не даст без залога. Потом я сказал ему о том, что сделал вчера предложение. Он спросил меня о деньгах, но не предложил своих; поэтому я и не стал ему говорить; не стану говорить и со своими, потому что не хочу одолжаться кем бы то ни было и потому что, кажется, они немного на меня дуются, а скажу ей, что если она не усомнится расходовать свои деньги на переезд, обзаведение и первое время жизни, то так, если нет — мои надежды на Костомарова разрушились, но, если угодно, я постараюсь достать в другом месте.

---

\* Неразборчиво. Ред.



Писано 3 апреля, в 6 час. утра, пятница.

В среду я пошел к губернатору, чтоб доставить удовольствие маменьке, воротился оттуда — записка от Тыщенко: у Васильевых была Катер. Матв. и просила послать за мною. Но главное, Анна Кирилловна меня ждала и поручила сказать это Венедикту в классе, тот по обыкновению не сказал. Я пришел от губернатора почти в 8 час. Маменька была недовольна: «Зачем ты окольными путями?» — «Какими окольными путями?» — Снова разговор, снова неприятности. Наконец, у них. Анна Кирил. дала мне свое «будущему сыну» и велела написать о супружеской жизни. Я пошел к стоянию, чтобы угодить маменьке, но мне хотелось прочитать поскорее, что она пишет, и поэтому я ушел из церкви и стал читать под лампою на губернаторском подъезде; воротился домой, сказал, что это посылала Анна Кирилловна и посылала сына, тот послал Тыщенко. Маменька успокоилась.

2 апреля, четверг, утром был у Кобылина, после в гимназии (Палимпсестов был накануне советоваться о поездке в университет, я ему отнес программу), в 4<sup>1/2</sup> к Анне Кирил. Там был Вас. Дим. Разговор с О. С. не вязался при других; я ей дал впрочем прочитать свой ответ Анне Кирил. и отдал ее «будущему сыну». Анна Кирил., кажется, в ужасной радости, что избавляется от О. С. По крайней мере, со мною чрезвычайно мила. Сократ Евг. весьма просто, весьма холодно, но он мне нравится. Вот, наконец, нам объявили, что мы жених и невеста. Ворочаюсь домой в 9 час., прошу папеньку завтра [поехать]. Сначала не согласился, потому что все недоволен: ему кажется неблагоприятно, я ему говорю о своих расчетах, хвалю себя и т. д. Наконец, согласился ехать завтра, т.-е. ныне поутру. По его мнению, должно сказать Федору Степан. и Ан. Иван. — Ан. Иван. и так узнает. — Ольга Сокр. хотела приехать вечером к маменьке. С папенькою у меня были довольно искренние объяснения.

Теперь отправляюсь за кольцами, потом к ним, к Фед. Степ. После домой, вместе со своими снова к ним. В гимназии не был. Завтра скажу директору о разрешении. У Сократа Евг. обедаю. Может быть, и папенька обедает. Кажется, и папенька и маменька перестали почти быть недовольными, особенно папенька, кажется, теперь успокоился. Все идет хорошо, и я умею уговаривать людей, потому что и папенька, и даже маменька собираются делать по-моему. Папенька доволен.

Писано 4 апреля, в 12 час. утра, между классами

Был у Фед. Степ. Потом с папенькою к ним. Потом папенька за маменькою, чтобы воротиться к 12 часам. Я остался, они долго не приезжали. Я предчувствовал это и предчувствовал, что сделал глупость, что не поехал с папенькою. Наконец, О. С. послала меня за ними, но я встретил их на дороге. Маменька после обедни вздумала пить чай — как это нехорошо! Ольгу Сокр. ужасно тяготило

ожидание — наконец, когда я воротился с ними домой, у меня сидел Палимпсестов, который дожидался меня. С ним я посидел с час, между прочим чтобы дать время пройти голове, в которой темного шумело, потому что я выпил 3 рюмки хересу и 3 бокала шампанского. Снова к ним. Вечером маменька была со мною ласкова и, кажется, довольна мною. Папенька сказал, что резва. Должно быть не совершенно нравится. Но маменька по обыкновению хитрит. Я спрошу О. С., хочет ли она быть у них и просить ли маменьку снова к ним ехать.

Ночью все время был в некотором волнении физическом, было напряжение, но только напряжение и больше ничего; мысли оставались целомудренны.

4 апреля, утром был у директора; право разрешения<sup>244</sup> у него, это хорошо. Две недели можно не ходить, это хорошо. Несколько успею поработать в это время и буду бывать только в 7 классе. Потом к Чеснокову, которому сказал это. Вечером у них.

Писано 8 апреля в среду, в 11 час.

Маменька больна<sup>245</sup>, и я все сидел в ее комнате и только, когда уснула крепко, ушел на минуту.

В субботу вечер просидел у них, был в 7 классе.

5-го, воскресенье. — Снова у них весь день. Был у Палимпсестова в 6 часов, пока О. С. ездила в ряды.

6-го, понедельник, в гимназии быть некогда было, потому что должен был заказывать шкатулку. По этому случаю был у Паля снова. Паль не берется. Вамсганц\* взялся и дал чинарового дерева на пробу. Пусть будет чинаровая. Мне пришло в память: «У Черного моря чинара стоит молодая»<sup>246</sup>, — так роскошна ты, моя милая.

Взяли с папенькою на фрак, отдам Мейендорфу. Был у Кобылина, Анжелика Алексеевна очень рада и хвалит ее.

7, вторник. — Снова у Вамсганца, у Кобылиных обедал, потому что ее не было дома в это время. Она говеет и от вечерни в ряды. Вечером страшно больна маменька, просидел у нее до часу, тогда она успокоилась. В 6 час. снова разбудили меня.

8, среда. — До этого времени просидел у маменьки в комнате; во время обеда, может быть, удастся побывать у нее. Нужно еще купить погребок и конфет для Рычковых. Иду к маменьке, если не проснулась, запишу вчерашний день в ее дневнике\*\*.

\* Фамилия неразборчива. *Ред.*

\*\* «Страницы, которые могут быть интересны для Ольги Сократовны (это пишу 14 марта накануне дня ее рождения — 15 марта, воскресенье): 4 стр., конец — о женщинах, не внушающих неприятного чувства; 5, 16 [строка] внизу; 8, [строка] 28; 17, мнения о Василии Петровиче; 18, конец; 25, начало; 28, 12 [строка] снизу.» (Пометка Н. Г. Чернышевского к Дневнику 1848 г.; указанные места соответствуют следующим страницам настоящего издания: 43, 14 строка и след. снизу; 44, 8 и след. снизу; 49, 14 и след. снизу; 63, 15 и след.; 66, 5 и след. снизу; 80, 22 и след.; 85, 21 и след.) *Ред.*

I. ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАПИСИ 1846 и 1848 гг.

1846 г. мая 13

Петр Никифорович Каракозов, священник церкви при Александровской больнице, первый пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: «Дай бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время посеем».

*Н. Чернышевский.*

Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении.

28 мая 1846 года.

Ныне встретился нам отец диакон села Баланды Михаил Семенович Протасов, разговаривал много о Воронеже и поездке туда и, наконец, попрощался после больших пожеланий счастья, здоровья и проч., прибавив мне: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России». Вот второй человек!

Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству.

Маменька сказали: «Это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери». — «Нет, это еще очень мало, — сказал он; — надобно им быть полезным и для всего отечества».

Я вечно должен их помнить.

*Николай Чернышевский.*

18  $\frac{IV}{3}$  48

Прочитав это (которое подано в субботу на шестой неделе великого поста), Фрейтаг сказал, что «весь год я подавал ему переделки или переложения из древних писателей, а это более легкое дело, и поэтому хоть он это не осуждает, но вперед ждет своего», и кроме того здесь нашлось две или три ошибки (*cuiquam*, а должно *cuique* строка 1, *condemneretur*, а должно *condemnaretur* и *veneverint*, а должно *venerint* — ужасные промахи, это главная причина, а не слова Фрейтага), и я целый этот день и несколько следующих был взбешен на себя за эти глупые ошибки и за то, что не предугадал мнения Фрейтага о легкости переделывать из древних, и на него зато, что не сказал этого раньше. Но, главное, за ошибки на себя. Мне неприятно даже было на товарищей, которые, мне казалось, должны спустить теперь на несколько градусов мнение, которое раньше имели, если имели, обо мне. Ужасно бесился.

## МАТЕРИ\*

О религиозных отношениях между женою и мужем, как христианами, я не буду говорить — понятия об этом установлены учением церкви о таинстве брака; учение церкви подробно объяснено великими учителями церкви, и с этой стороны между христианами не может быть никакого разномыслия, никаких недоразумений, и потому даже излагать свои понятия об этом предмете отдельному лицу — вещь лишняя; христианин должен только сказать: я сын церкви и понимаю отношения и обязанности к жене так, как предписывает понимать их церковь.

Но совершенно другое дело житейские, земные отношения между мужем и женою. Конечно, и они во многом определяются учением церкви и ее пастырей; но весьма многое в этих отношениях зависит и от характера и образа мыслей каждого человека, в частности. Я человек малоопытный в жизни. Уже по этому одному многое в моем образе [мыслей] должно быть незрело. Но я надеюсь, что в сущности мой образ [мыслей] хорош и честен.

Если во всех тесных отношениях между людьми для доброго согласия и довольства друг другом необходимо нужна взаимная снисходительность и уступчивость, тем более нужна она в супружеской жизни, самом теснейшем союзе, какой только есть на земле. Эта снисходительность и уступчивость легка, когда есть сердечная привязанность.

В моем характере — о привычках я не говорю, они все могут измениться и, если понадобится, изменятся без всякого особого усилия с моей стороны, — но в моем характере, изменить который и изменить вдруг не всегда и не во всем зависит от собственного желания, есть довольно много такого, что нуждается в снисходительности, есть много слабых и странных сторон. Я уверен, что Ольга Сократовна примирится с ними, потому что в ней много доброты и снисходительности. Еще более дает мне права ожидать этой снисходительности моя привязанность к Ольге Сократовне. Чем более мы будем жить вместе, тем более Ольга Сократовна будет убеждаться в том, как сильна эта привязанность. И, я уверен, из-за безграничной привязанности к ней жена всегда легко простит мужу многое страшное и слабое в его характере, особенно когда будет видеть, что все в его жизни и поступках подчиняется одной мысли — сделать ее, насколько у него достает сил и возможности, довольною и счастливою, потому что он находит главным своим счастьем счастье и довольство жены. А такова была бы моя супружеская жизнь с какой бы то ни было женою, тем более с Ольгою Сократовною.

---

\* Черновик ответа на просьбу А. К. Васильевой изложить взгляды жениха ее дочери на семейную жизнь. См. запись Дневника от 2 апреля 1853 г. Беловой текст не сохранился.

Нужна ли будет с моей стороны снисходительность к ней? Не думаю. По крайней мере, до сих пор, как ни внимательно наблюдал я за нею, не было ею ни сказано, ни сделано ничего, чем бы я когда-нибудь в каком бы то ни было расположении духа мог быть недоволен — мало того, я не заметил в ней ничего, о чем бы мог думать: «Лучше было бы, если б этого не было или если б это было иначе». Уступчивость с моей стороны понадобится во многом, — но она не будет мне несколько тяжела, потому что, насколько я могу судить о себе, уступчивость и предупредительность составляют одну из существеннейших сторон моего характера. Противоречить без крайней необходимости, сделать что-нибудь не так, как хочется это другим, — не в моей натуре. Есть вещи, в которых я непреклонен, но это вещи, не касающиеся несколько житейских отношений, это мои убеждения относительно различных теоретических вопросов, их я не изменю ни для кого, потому что не в моей воле, но или они не будут интересны для моей жены (чего бы я, однако, не желал и не ожидаю от Ольги Сократовны при ее любознательности и ее уме), или Ольга Сократовна сойдется со мною в этих убеждениях. Но во всех житейских отношениях, во всех домашних делах, во всем, что касается образа жизни, я всегда рад уступить, если только это принесет больше удовольствия людям, которых я люблю, потому что главное мое наслаждение — видеть, что мною довольны, а чьим же довольством дорожить, если не довольством жены?

Это естественно приводит меня к объяснениям о том, от кого в семействе должен по моим понятиям зависеть домашний образ жизни.

Мне кажется, гораздо более, чем от мужа, должен зависеть он от жены, потому что муж занят весьма многим кроме своего домашнего быта: и своими служебными делами, и своими собственными работами, и поэтому для него домашний быт — не единственная сфера, в которой живет он. А для жены образ жизни — домашний, и семейный порядок составляет все. А мне кажется, что для кого важное дело, мнение того и должно быть решительным в деле. Само собою, отдавать дело на суд можно только тому, в ком есть довольно рассудительности и благоразумия, чтобы решать его хорошо. Но — перехожу от общего вопроса к своим личным делам — если бы я не видел в Ольге Сократовне весьма много благоразумия, я и не решился бы никогда просить вас дать ее мне в подруги жизни. Я могу очень любить, могу даже уважать людей неблагоразумных, но разделить с ними жизнь я не решился бы никогда. Я совершенно полагаюсь на Ольгу Сократовну, — может быть более, чем на себя, — а полагаться я могу очень на немногих. Поэтому, между прочим, и кажется мне, что я буду с нею счастлив, поэтому-то думаю, что и она будет мною довольна. —

Я дописал это набело, когда пора уже было идти, поэтому я написал прямо набело еще  $\frac{1}{2}$  страницы и пишу теперь на память.

Я далеко не кончил, но время не ждет.

Оканчиваю несколькими словами:

Мне кажется, муж должен гораздо больше заботиться о том, чтоб им была довольна жена, чем жена о том, чтоб ею был доволен муж, потому что у мужа много других занятий, кроме семейного быта, для жены отношения к мужу обыкновенно единственная жизнь, поэтому для нее тяжелее переносить.

О приданом позвольте не говорить ни слова (это-то главное и было).

Доходы в Петербурге, на которые я рассчитываю — 2 000 р. сер., на это можно жить в Петербурге, как в Саратове на 1 400—1 500 р. сер.

## ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

[1]

### Воспоминания слышанного о старине

Священник или дьякон Иван Кириллыч с женою Маврою Перфильевною, у которой на руках была маленькая, чуть ли не грудная, дочка Полинька, переселялся из прежнего «прихода» в новый. Как была фамилия Ивана Кириллыча, не знаю; откуда и куда он переселялся, тоже не знаю; но должно быть, что переселение было в какое-нибудь село Саратовской губернии, потому что после Мавра Перфильевна представляется уж очень старинною, если не коренною гражданкою Саратовской губернии, — и переселялся из какого-нибудь села тоже Саратовской губернии или разве южных уездов Пензенской, — потому что не помнится мне ничего похожего на упоминание о дальности родины Ивана Кириллыча или Мавры Перфильевны. Переселение было летом. Ехали на телеге; Иван Кириллыч сам заменял себе кучера. Сам же приделал и кибитку к телеге для защиты жены и малютки от солнца. Происходило это около 1775 или 1780 года, вот почему: Полиньке (Пелагее Ивановне Голубевой) было около 1840 года лет 65, побольше или скорее поменьше, и она не помнила сама этого переезда.

Итак, в начале последней четверти прошлого века дьякон или священник неизвестной фамилии переселялся неизвестно откуда, неизвестно куда, только неподалеку от Саратова, — вот мое первое генеалогическое сведение о том корне моего родословного древа, по которому родословная длиннее, — Пелагея Ивановна, Полинька этого переселения, была матушка моей матушки. Этот древнейший факт восходит в древность лет на 45 дальше того года, в который родился я, лет на 15 дальше того года, в который родился мой батюшка.

Генеалогические мои сведения со стороны моего батюшки начнутся тем годом, когда он родился — 1793, — я запомнил это по его послужному списку, который перечитывал сотни раз, пере-

листавая «Клировые ведомости» города Саратова, постоянно лежавшие на его рабочем столе. Но, перечитывая этот список сотни раз, я не потрудился запомнить, как звали по батюшке отца моего батюшки и кто он был, дьякон или дьячок, — кажется дьякон, но не ручаюсь. Итак, вот мое родословное древо:

- |  |   |
|--|---|
| 3 — прадед — священник неизвестной фамилии Иван Кириллыч.              | 3 — прадед неизвестно кто.                                |
| 2 — его дочь Пелагея Ивановна, уже с известной мне фамилией, Голубева. | 2 — дед неизвестный по отчеству, дьякон или дьячок, Иван. |
| 1 — моя матушка <sup>1</sup> .   | 1 — мой батюшка.  |

Мой батюшка скончался в октябре 1861, — я прожил в семействе до 18 лет, потом два с лишком года, бывши учителем в Саратовской гимназии; потом два раза приезжал на месяц, на полтора к батюшке и в эти посещения большую часть вечеров проводил с ним. Кажется, было время пополнить генеалогию с его стороны, хотя спросив, как звали дедушку, — не пришлось в голову спросить, — и ему не пришлось в голову сказать.

И теперь можно бы навести справку по послужному его списку, — но так и быть. Так буду писать и дальше — что случилось слышать и запомнить хорошо, но чего не знаю, хоть и нужно оно бы для связи или ясности рассказываемого, о том не навожу справок, — так и легче писать, да и лучше для моей цели, — а цель этой первой части моей автобиографии — дать читателю понятие о том, как и что вела жизнь в голову и в сердце мне в молодости, — а это понятие я хочу дать затем, чтобы можно было по мне приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями вырастало то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века.

О переселении, с которого начинается древнейшая история древнейшего корня моей родословной, я знаю из рассказа, который несколько раз повторяла мне бабушка Пелагея Ивановна:

«Вот, Николинька, как нерассудительны бывают люди, я тебе расскажу какой случай. Едут мой батюшка с матушкой в новый приход, и все сначала едут одни, — встречные попадают, и то редко, попутных нет никого. Только, вот в один день и слышат они за собою тоже телегу. Поровнялась она с ними. На телеге сидят двое молодцов, будто мещане, в синих армяках, в хороших. А батюшка идет подле своей телеги, лошадь жалеет, потому что ведь всем хозяйством переселяются, клади много: и посуда, и сундучок с одежею, — вот, эти молодцы поровнялись с ним, — здравствуйте и разговорились. И едут рядом версты две, три. Потом говорят: ну, Иван Кириллыч, до свиданья, — он уж им и имя сказал, — нашей-то лошади что таким шагом идти, она и рысцой по-



бежит, — с ними-то клади нет, налегке едут, — а после догоните, опять поговорим. И уехали вперед. Только слышит матушка потом: пу! пу! — из ружей стреляют. Проехали еще с полверсты, — стоят знакомые, с телегой на дороге: «Мы, говорят, все поджидали, Иван Кириллыч, вместе-то веселее, с разговором». Опять едут вместе, они сидят на своей телеге, батюшка все больше идет, так оно и вовсе близко разговаривать-то — и совсем с ними подружился. Опять уехали вперед, говорят: до приятного свиданья, Иван Кириллыч, мы опять подождем вас, — опять матушка слышит: пу! пу! — стреляют из ружей. Матушка говорит: Иван Кириллыч, это твои знакомые пукают, — смотри ты, на беду себе ты знакомых завел. — А батюшка: что ты, Мавруша, чего бояться, они люди хорошие. — Ну, смотри, Иван Кириллыч, хорошие. А я тебе говорю: не надо с ними вместе ехать, дорога пустая. — Ну вот, говорит (батюшка-то). Я их спрашивал, что это они больно расстрелялись. «От скуки, — говорят, — забавляемся». — Хороша забава! Опять догнал их, они ждут, опять едут вместе. Дело к вечеру подходит. В матушке души нет. На счастье, уж видно село, где надобно ночевать-то. — Приехали в село, знакомые едут в ворота на постоялый двор, и батюшка за ними. — Иван Кириллыч, подойди ко мне, говорит матушка (чтоб не слышно им было, что она ему скажет), — ступай на другой двор, с ними вместе не останавливайся. — Не слушает, туда же поехал. И такая у них дружба вечером, разговор такой. Уговариваются завтра выезжать вместе. Опять матушка отговаривает батюшку, опять не послушался, выехали вместе. И опять то же, что вчера. То рядом едут; говорят, то знакомые вперед уедут, и как отъедут вперед, опять пу! пу! — из ружья палят. И опять ждут нашу телегу. Так весь день матушка без души была, а батюшка не слушается ее. Только, опять дело к вечеру, опять в село въезжают, опять батюшка на одном дворе с ними становится, уговариваются поутру вместе выезжать. Ну, тут матушка видит, не совладает добром с батюшкой, и говорит ему: как ты хочешь, Иван Кириллыч, а я с ними не еду. Убьют они нас. И себя жаль, и младенца своего не хочу губить. Коли тебе с ними мило, ступай, а я здесь остаюсь, не сойду с двора, коли ты с ними едешь. — Этим только и урезонила батюшку, потому что он ее знал, что хоть она тогда еще молода была, но напрасно слов не говорила, а что скажет, то сделает. Ну, поутру говорит им: моя Мавруша с ребенком-то устала, отдохнуть надо, не попутчик я вам, господа, потому что до завтраго здесь остаемся. Очень жаль, говорят, Иван Кириллыч, что расстаемся, потому что вместе веселей было и нам и вам, а ждать не можем. — Ну, видят, что догадались батюшка с матушкою, кто они и какие мысли у них на уме, — так и уехали. А батюшка с матушкой пообедавши выехали, а утро простояли, чтобы уж не встречаться по дороге с знакомыми-то. Разбойники были. Вот как безрассудны мужчины-то, Николинька: кабы матушка этого не сделала, как есть и ее, и батюшку, и меня с ними укокошили бы».

Замечательно то, что бабушка была женщина умная и хорошо знала, что такое значит охотиться. Как же объяснить, что она совершенно не догадывалась, что прабабушкины разбойники были действительно честные мещане, стрелявшие от скуки по воронам, — а быть может находившие и бекасов или встречавшие зайцев? Да и прабабушка, которую я хорошо помню, тоже была умная женщина. Ее страх я объясняю тем, что вероятно в то время в тех местах в селах еще мало слыхивали об охоте за утками, куликами и подобною мелюзгою, а, вероятно, мужики и их сожители знали только охоту за волками, да господскую видывали псовую охоту. Да, вероятно, и вообще ружье было не совсем обыкновенною вещью. Но как бы ни объяснять ошибку прабабушки, бабушка могла не замечать ее ошибки единственно только по слишком сильной привычке принимать взгляд старших родственников за истину, над которою уж нечего думать, которую остается только повторять. Я не вижу другого объяснения. А подтверждением этого мнения об отношении мыслей бабушки к тому, что слышала она от старших родственников, служит мой собственный пример: бабушка повторяла мне рассказ о безрассудстве дедушки, когда мне было уж лет 12, а я был мальчик и учившийся, и читавший, — кажется, мог бы понять, но нет: как что представлялось бабушке, так оставалось и в моем представлении, — и чуть ли уж не брил я бороду, когда, случайно вспомнив бабушкин рассказ, вздумал догадаться, что попутчики прадедушки не злоумышляли на жизнь его и прабабушки с бабушкой.

Но если во времена молодости прабабушки не догадывались в селах, что простые люди могут охотиться с ружьем за утками, бекасами, тетеревами, то охота с ружьем на волка была не только тогда, а и много после, слишком сильною надобностью. Уж я был не маленький мальчик, когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу — огромное село на другом берегу, несколько powyше города. Расстояние между слободою и городом, вероятно, версты 4, много 5; каждый день летом плывут, зимой идут туда и оттуда сотни людей, значит, эта недалняя дорога слишком не пустынная. А все-таки волки резали на ней. И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки. Должно быть были очень большие стаи, когда вой переносился через реку версты, в 2½ или 3 шириною. Колокольный звон из Покровской слободы едва слышался, — и то не во всякое время, — на нашем дворе. А волки были не многим ближе.

Бабушка рассказывала о каком-то своем старшем родственнике, вроде дяди, много приключений по охотам его за волками. Особенно помнится одно. Этот охотник придумал обзавестись средством вроде того, которым снабдил Мери своего героя для избиения бенгальских тигров в романе «Гева»<sup>2</sup>. Очаровательная Гева, думаю-

щая, что муж ее растерзан тигром, объявляет герою (невообразимо благородному сэру Эдуарду), что отдаст свое сердце и руку только тому, кто отомстит тиграм за гибель ее мужа. Сэр Эдуард велит сделать и перевезти в любимую тиграми пустыню огромную клетку из толстых железных полос, привязывает подле клетки быков или свиней, а сам забирается в клетку с целым арсеналом ружей; сбегаются десятки тигров на крик добычи, он бьет их, они нападают на клетку, но [не] могут достать его лапами, просовываемыми сквозь решетчатых стен, а он все бьет и бьет их и приобретает до 30 или 40 шкур [для] получения руки Гевы (но муж Гевы оказывается не растерзан тиграми, и шкуры оказываются добытыми понапрасну). У бабушкина родственника, сельского дьякона или дьячка, не было таких богатств, как у сэра Эдуарда, и он сам соорудил себе на полянке среди леса маленькую бревенчатую избу, — вместо окон были только прорезки, служившие амбразурами; толстая маленькая дверь засовывалась изнутри толстою дубиною; кровля была из частых бревен, покрытых толстыми досками. Он привязывал у этой засады поросенка или гуся, а сам с двумя ружьями входил в деревянную крепостцу и ждал волков. Долго он побивал их по 3, по 4 штуки в один сеанс, без всякой опасности себе. Но вот волки сговорились, — потому что волки умеют сговариваться между собою, волк тоже умный зверь, как медведь или лиса, — и целая, быть может, сотня их собралась штурмовать избушку. Охотник побил их много, но остальные все только больше свирепели и сильнее ломались в избушку. Терзали и жрали убитых товарищей и все яростнее ломались на своего истребителя. Дверь выдерживала хорошо, — волки стали пробовать кровлю, — сорвали доски, потолок остался решетом из бревен, но решетины были слишком мелкие, чтобы пролезть всему волку, — всовывались только головы до плеч. Заряды у охотника вышли, да и слишком близко к нему были морды волков, меньше, чем на длину ружья, — стоячего, его хватали бы волки лапами за голову, — потолок избушки был, разумеется, немного выше человеческого роста, — охотник, сидя, махал по мордам и лапам топором, но стал выбиваться из сил, — осада продолжалась чуть ли не больше суток, а волки стали пробовать, не выворотят ли какого бревна из потолочной решетки. Избушка скрипела от их напрыгивания. — Но мужики в селе стали опасаться, не случилось [ли] именно такой истории, какая действительно происходит, не осаждают ли охотника большая стая, потому что иначе давно пора бы ему возвратиться; мужики пошли толпою на выручку и выручили, когда охотник уж не чаял спасения. Часы, может быть, целые сутки, проведенные в полутора аршинах от волчьих оскаленных на него зубов и сверкающих глаз, — «глаза были страшны, говорил он, по словам бабушки, — больно страшны, страшной воя, а и вой был страшный», это долгое смертельное томление так перевернуло всю душу в нем, что он зарекся охотиться и с той поры не брал ружья в руки.

Прабабушка сочла за разбойников честных мещан, паливших из ружей по птицам; разумеется, сочла только потому, что слишком не в диковинку были тогда настоящие разбойники. Они не были диковинкою в наших местах и на моей ранней памяти, но лишь как отдельные удалыцы, поодиночке, вдвоем, много втроем-вчетвером скитающиеся по лесам, или как хитрецы, под видом простых воров имеющие приют в обыкновенных мошеннических берлогах. Солидных больших шаек формальных разбойников не было у нас уже и в 30-х годах, которые я помню. Но во времена прабабушки, в конце прошлого века, такие шайки были, с прочными, укрепленными жилищами — вроде городков или деревянных фортов, в лесах нагорной (западной) стороны Волги, — впрочем, это одна сторона и имела тогда население; левая, степная сторона тогдашней Саратовской губернии, нынешняя южная часть Самарской губернии, стала населяться нашими обыкновенными русскими почти уже только на моей памяти; прежде там были только немецкие колонии да полоса малорусских поселений, основанных правительством (при Петре?) для возки соли с Елтона в Камышин, из Камышина в Саратов, да раскольников монастыри на Иргизе, еще и во времена Александра Павловича высывавшиеся в степи очень далеким аванпостом, дорога к которому была через степь, и селились подле этих своих знаменитых монастырей раскольники, да селились тоже по Иргизу молокане пользоваться отдаленностью от регулярного административного действия.

Это были только оазисы среди степи. Да и правая сторона Волги, которая одна имела сплошное население, была даже и в начале XIX века населена слишком не густо<sup>3</sup>. Люди, родившиеся около 1790 года, еще помнили, что мужик разъезжал по полю куда глаза глядят, выбирая место какое распахать; мой крестный отец, о котором я буду говорить довольно много, представлял себе мужиков своей молодости (1795—1800 г.) не пашущими много десятин в одном куске, — нет, говорил он, мужик засеивал десятину, полдесятины на солнечной покатости одного холма, тоже десятину, полдесятины на другом особенно хорошем месте за версту, за полторы, и таких кусков пашни было у него много. Свой рассказ об этом он делал отчасти тоном идилии, показывая сам, что мы должны понимать его очерк тогдашнего быта как идеализацию; но идеализация эта не была чрезмерно выше того, как жили тогда на самом деле.

По степям и лесам были изредка разбросаны большие села, да на многие версты, иногда на десятки верст от такого села и друг от друга, были разбросаны хутора (не в малорусском смысле, а в смысле группы 3-х, пожалуй и 10 изб, — то-есть очень маленькие деревни), выселки из этих больших сел. К югу, нагорная часть губернии, суживаясь, шла, быть может, и тогда открытым полем, как теперь, а быть может, и там еще было много лесного пространства, а в большей, северной половине нагорной стороны губернии лесное пространство преобладало. И в этих лесах шайки имели

прочные, известные окольным жителям оседлости. Рассказов об этом было довольно много; все теперь уже спутались в моей памяти, кроме одного, тоже бабушкина, как и о мнимых разбойниках переселения.

«На новом месте (т.-е. на новой должности, на которую переселились из прежнего прихода) батюшка с матушкой жили, Николинька, хорошо. Только кругом были разбойники, и главный атаман у них был Мезин, старик такой почтенный, видный из себя. Этот Мезин уважал батюшку. Вот, раз работник говорит батюшке поутру, что лошадей из хлева увели ночью. У него была пара хороших лошадей. Батюшка так рассердился, говорит: «Еду к Мезину жаловаться». Матушка не пускает: «Лучше пропадай они, лошади, а у Мезина тебя убьют», — говорит. — «Пусть убьют, говорит, коли убьют, а я не могу так перенести этого дела». Ему и лошадей-то жаль, Николинька, и обидно. У Мезина дом был большой, и двор тоже большой, обнесен высоким забором; забор был из брусьев, стоймя, с заостренными концами, а двор крытый. Повели батюшку к Мезину в дом. Мезин сидит в красной шелковой рубашке — это летним временем было. «Зачем, говорит, пожаловал ко мне, батюшка? Тебе ко мне ездить не след», — сердитый тон подает, чтобы запугать. Батюшка не пугается: «Твои молодцы, говорит, у меня пару лошадей увели. Вороти лошадей», назвал Мезина по имени-по отчеству. «Нет, говорит, мои твоих лошадей не уведут; это, видно, не мои; и я об твоих лошадях ничего не знаю». А сам хмурится. Батюшка все свое: «Вороти лошадей; не уйду без них от тебя. Либо убей меня, либо лошадей мне отыщи». Долго спорили. Мезину не хочется. А батюшка не отстает. Ругался, ругался Мезин, — не то что батюшку ругает, а с досады ругается, в своих словах. «Нечего делать, говорит, не отвяжешься от [тебя], поедем твоих лошадей искать, — хоть мне больно не хочется». Закричал, чтоб ему подали кафтан, опоясал саблю. Большие дроги ему подали, сел на них с батюшкою, четверо своих разбойников с собою взял; поехали. Ехали долго. Пошли поляны по лесу. Приехали на одну поляну, — не очень большая поляна, в лесу, — Мезин свистнул, — кругом из лесу люди повыскакали, голые\* все, в руках сабли. Стоят кругом, подле деревьев, не на середине поляны, а по краям, Мезин их стал спрашивать. Они на него кричать стали. Он видит, дело плохо, — надо за вино приниматься, угощать, — а он знал, что нужно, взял с собою вина. Налил им ведро, либо два. Они подошли. Ковер постлали на поляне, сели все, стали пить. Эти голые сами пьют,

\* Что это значит, я не знаю. Разделись ли они для того, чтобы быть страшнее, как люди совершенно отчаянные, пренебрегшие уже всеми принятыми в общежитии правилами? Тогда это производило на меня такое впечатление. Или бабушка не совсем поняла в детстве рассказ отца, говорившего о голых саблях, а не о том, что сами разбойники были без рубах? Но нет, она тоном, голосом показывала, что именно это обстоятельство было важно, производило на ее батюшку и на самого Мезина такое же ужасное впечатление, как на меня.

и Мезина поят, и батюшку — те отказываются, однако, не смеют, тоже пьют. Выпили разбойники, тогда стали мягче, стали посылать Мезина с батюшкой дальше, — у нас, говорят, твоих лошадей нет, батюшка, а спросите у тех, дальше. Поехали Мезин с батюшкой дальше, опять выехали на другую поляну, и эта поляна как будто лоциною\* выходит и промежду гор и вроде барака (буерака, оврага). Тут опять Мезин свистнул, — и тут опять повыскакали голые с саблями. Опять стал Мезин спрашивать батюшкиных лошадей, и эти тоже стали ругаться. Тут, батюшка говорил, сам Мезин перепугался. Они начали саблями махать, убивать его хотели. Он перед ними на колени стал, — Мезин, — плачет, упрасивает, чтоб они его не убивали. Вина им налил. Три раза так принимались: они все его и батюшку убивать хотят — он на колени станет, и потом пьют вино. Когда в третий раз напились, совсем сжалились: «Ну, говорят, хорошо, уважим вам», — что же ты думаешь, Николинка? — ведь привели, отдали лошадей батюшке. А матушка дома сидела, все плакала: не думала, чтоб он живой воротился. И точно, не только ему, самому Мезину смерть была. Но только не знаю, как тебе сказать, в самом ли деле они хотели убить Мезина, или это было от него же, притворство, чтобы батюшку больше запугать, — должно быть, что так. А может быть, и в самом деле те разбойники уж не его шайки были и озлобились на него».

Отношения Мезина к прадедуске показывают, что прадедуска был тогда священником; был ли Мезин его духовным сыном, или так питал уважение к его священному сану и, без сомнения, честной жизни, этого не видно из рассказа; неизвестно также, где и как был крытый, огороженный заостренными брусками дом Мезина, — в лесу, как дом человека, формально живущего вне покровительства законов, или в селе, где, может быть, и угощались у него местные чиновники, — я хочу сказать, что остается неизвестно, на каком основании занимал свое атаманское положение этот Мезин: только ли избегал он наказания ловкостью, храбростью шайки и, быть может, содействием окрестных жителей, уведомлявших его о всякой опасности, — или он был выше, сильнее мелких местных властей? — Это второе предположение я делаю потому, что аккуратно каждое воскресенье во все мое детство видел своими глазами спокойно молящегося в нашей церкви человека, под командою которого производились грабежи его подданными. Если в 30-тых годах действия таких шаяк с явно живущими в обществе и также явно атаманствующими главами должны были ограничиваться воровскими формами грабежа, то в конце прошлого века натурально было им действовать шире, с формами настоящего разбоя. Этот знакомый мне в лицо атаман, наш прихожанин, точно так же уважал моего батюшку, как Мезин прадедуску.

---

\* Лощина — ущелье с довольно отлогими стенами. У нас в Саратове большая часть садов близ города разведена в лощинах.

Я все рассуждаю о том, священником ли был дедушка в своем новом приходе или дьяконом. Это обстоятельство заинтересовало меня уже долго спустя после того, как прекратились мои беседы с бабушкой, и заинтересовало уже не как ребенка, слушающего анекдоты, а как взрослого мальчика, прочитавшего где-то, что количеством сахара, употребляемого в стране, с точностью определяется мера ее принадлежности к новой цивилизации. Священничество прадедушки и сахар были, по мнению моего детства, связаны очень натурально. Бабушка рассказывала так:

«В старину, Николинка, жили гораздо проще, чем теперь. Батюшка с матушкой жили уже хорошо, когда я была маленькая, а чаю все еще не пили, — вот как не пили. Когда батюшка поехал ставиться во священники в Астрахань\*, стал он советоваться, надобно ли поднести что-нибудь на поклон архиерею; с кем он советовался, не знали сами, надобно ли, а то знали, что если надобно, так приличнее всего поднести голову сахару. Вот батюшка и купил в Саратове голову сахару, везти с собою в Астрахань, только с каким же условием? — Чтобы, если архиерей не примет, скажет: «Незачем, я не беру», то купец опять взял бы назад сахар у батюшки. «Потому что, говорит ему батюшка, мне самому некуда этого девать». Купец был знакомый, согласился».

Неизвестно, принял ли архиерей поклон от прадедушки, и потому неизвестно, проехала ли эта голова в попечении у [пра]дедушки только 1100 верст вниз по Волге, или проехала тоже и вверх те же 1100 верст.

Итак, в молодости прадедушка и прабабушка вовсе не пили чаю, и гости тоже, — когда бы они сами пили хоть по праздникам или подавали гостям, то купленная голова сахару не была [бы] вещью вовсе ненужною для своего хозяйства, и не было бы заключено такого условия с купцом. Но когда я стал помнить прабабушку, старушка пила чай точно так же, как ее потомство, два раза каждый день и очень любила его.

Вообще, сколько я видел на старых и молодых людях, среди которых рос, новые обычаи, имеющие существенный характер, принимаются и легко и быстро, — сопротивления им нет, если кто долго не принимает их, то лишь по недостатку средств, по каким-нибудь непреодолимым внешним причинам, а не из упрямства к старине; если он и прикрывает невозможность мнимым нежеланием, то это делается только для утешения себя и из амбиции перед другими. Так на моих глазах в нашем слое общества гусли заменились фортепьяно, фанты танцами, старые одежды новыми, весь образ жизни в нашем семействе был вовсе не тот, какой был привычен еще менее богатым родным, приезжавшим к нам из деревень, — и никто из этих родных, остававшихся и по большей бедности, и по

---

\* Прежде архиерей в юго-восточном Поволжье был только один, астраханский, а Саратов принадлежал к Астраханской епархии. Потом он принадлежал к Пензенской. Епархия в Саратове открыта уже после 1830 года, чуть не на моей, но еще не на моей памяти.

спосой деревенской заholустности при прежних порядках, не возмущался новым, которое видел у нас. Совсем иная вещь перемены, которые состоят главным образом только в словах. Здрaвый ум и практика не показывают, чтобы от них жизнь делалась удобнее, легче или веселее, потому суждение о них остается на произвол воображения, — оно разыгрывается в пользу воспоминаний, т.-е. старины, и является сопротивление, ожесточение на новое, которое и действительно неправо перед стариною, когда в сущности сходно с нею: если перемены в самом деле нет, то из-за чего же оно нарушает привычку? Оно в таком случае только лишние хлопоты, только тревожный вздор. — Так по впечатлениям детства и юности я сужу о людях старого века тех слоев общества, в которых вырос. Пожилые и даже старые люди этих слоев, — невысоких слоев среднего класса, — вовсе не враги новизны, лишь бы перемена, ею вводимая, была хотя настолько путною, насколько путна была замена прежнего способа проводить вечера в гостях или с гостями, — замена его новым способом, состоявшим в картах и танцах. Кто из старух и стариков не стал играть в карты, кто мешал детям своим учить внуков и внучек танцам? — Но и я, при всей моей молодости и при всем прогрессизме, не восхищался тем, что в приходо-расходных книгах церквей вместо прежнего: «доход 115 рублей, расход — 114 рублей, в остатке 1 рубль» — надобно стало писать: «приход 32 р. 85<sup>5</sup>/<sub>7</sub> коп., расход 32 р. 57<sup>1</sup>/<sub>7</sub> коп., остаток 28<sup>4</sup>/<sub>7</sub> коп.»<sup>4</sup>. В этом случае я, 12-тилетний человек, был человеком старого поколения. Дело в том, что прогресс, хотя бы самый ничтожный, вроде карт и танцев вместо совершенного бараньего уныния или дикой гульбы, даже такой прогресс и путаница — две вещи разные.

Судя по этим трем рассказам бабушки, жизнь прадедушки с прабабушкою шла, постепенно улучшаясь: из одного прихода он перешел в другой, — и в рассказе нет следов того, чтоб он или прабабушка были недовольны переселением, — значит, перемещались по собственному желанию, значит из худшего прихода в лучший; из дьякона он сделался священником, — это еще важнейшее улучшение средств к жизни, — а потом из сельского священника он сделался городским, — это не всегда выигрыш в материальном отношении, но вообще это — почетнее, значит, тоже улучшение. Счастье в жизни было. Но еще до перехода в Саратов подвертывалось было не такое, а очень большое счастье, такое большое, что мы с бабушкою не могли и определить границ ему. Вот как оно подвернулось было и ушло:

«Матушка была, Николинька»...

Пишу я это слово «Николинька» и грустно становится и теперь, как прежде, каждый раз, когда писал его: умер и последний, самый милый из тех, которые так звали меня, но и хорошо сделал, что умер: во-время, а то слишком много было бы ему тревоги и горя. Но к рассказу <sup>5</sup>. —



«Матушка была, Николинька, хорошая мать, заботливая, умы-  
вала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашончки на  
нас были чистенькие, опрятно держала нас, хорошо. А нас было  
тогда то ли три, то ли только две, только еще две ли, три ли, все  
маленькие; я старшая была, а этого не помню, что тебе рассказываю,  
только от матушки слышала после. Только вот, видят батюшка  
с матушкой, едет по селу карета на полозьях \* (зима была) и оста-  
навливается против их ворот. Входит человек и говорит: «Батюшка,  
можно ли попросить у вас остановиться пообедать, барин прислал  
просить». — Можно, ему говорят \*\*. Карета въехала на двор, вошел  
барин. Молодой, красивый, важный, но приветливый, ласковый.  
Очень разговаривался, и с матушкою тоже разговаривался. Вот ба-  
тюшка видит, что матушка его конфузится, а он ее об детях рас-  
спрашивает, она ему нас показывает, — мать, нельзя: спросили о  
детях, она и рада говорить; батюшка видит это, а ему давно хо-  
чется посмотреть поближе на карету, потому что очень хороша, —  
он возьми да и уйди от гостя, — говорит, посмотрю, как вашим  
лошадям корм дают, так ли, как следует (потому что, Николинька,  
лошадям корм давать надобно умеючи, а то испортишь). А сам,  
взглянувши на лошадей, к карете; ходит кругом, рассматривает, что  
очень хорошо сделана, — ну, стекла в карете, только занавески у  
стекол спущены, — он снаружи смотрит, ходит. Только вся утыкана  
медными шпильками \*\*\*, он возьми одну шпильку за головку и по-  
тянул, а она стала вытаскиваться; только, только потянул он, из  
кареты голос, — женский, ласковый, такой приятный: «Батюшка, не  
шалите». — Ей-то стало, видно, заметно, как шпилька-то стала тя-  
нуться, — а он думал, в карете никого нет. Ну, он отошел, воро-  
тился в горницу. А гость все с матушкою и с нами занимается,  
ее об нас все спрашивает, и нас ласкает, и все осматривает нас.  
Только потом и стал говорить: «Батюшка и матушка, как теперь  
я вижу, я о вас правду слышал, что у вас в доме все в порядке,  
и что вы добрые люди и хорошие, и что вы, матушка, рачительная  
мать и хорошо о детях заботитесь. Вот какая будет моя к вам  
просьба: не согласитесь ли, батюшка и матушка, принять к себе  
на воспитание младенца? Про его содержание нечего говорить: бу-  
дет вам присылаться достаточно. И если уход за ним от вас, ма-  
тушка, будет хороший, как я теперь не сомневаюсь, то я буду об  
этом знать. И если вы этого младенца воспитаете, то вы навек  
будете счастливы, и дети ваши». — Позвольте с матушкою посове-

---

\* Возок.

\*\* Даже и я еще помню остатки этого обычая, просить священника по-  
зволению остановиться у него: у него все-таки почище в комнатах, чем на по-  
стоялом дворе. А быть может, постоялого двора и нет на десятки верст, так  
бывало еще и лет 30 назад, а прежде, конечно, таких глухих местностей было  
гораздо больше.

\*\*\* То есть гвоздиками с широкими шляпками, какие теперь употребляются  
при обивке дверей сукном и т. п.

товаться, — говорит батюшка. — Пошли в другую горницу. — «Не трудно ли тебе будет, Мавруша?» — батюшка спрашивает. — «Нет, — говорит: — для своих я бабу возьму для подмоги, а за тем сама буду ходить». — Посоветовались, — взять. Воротились в ту горницу, к нему, говорят: мы согласны. Он так обрадовался. Сказал, что по пяти золотых в месяц будет им присылаться на содержание младенца, и когда воспитают, больше будет награды, — много что-то сказал, матушка и не разобрала, сколько, — потому что, Николинька, ведь они об тысячах и понятия не имели, — и что детей их пристроит (нас), и батюшку в люди выведет, и все — много наобещал. И можно видеть, что не обманывал: не прежде обольщал, а уж когда и так согласились, тогда стал много-то обещать.

Вот как переговорил с ними, пошел в карету, несет оттуда младенца. Подушка обшита кружевами, рубашоночка обшита кружевами, холст самый тонкий. Человек принес много белья, такого же, очень хорошего. Барин простился с младенцем, опять попросил ухаживать, давал обещания, простился с младенцем, расплакался, долго прощался, сел в карету, — проводили, уехал со двора. Ну, Николинька, говорила матушка, уж как я ухаживала за этим младенцем, куда больше, чем за своими детьми; и так, говорит, привязалась к нему, просто души в нем не чаяла. Так прошло с год, благополучно, и деньги присылались, и подарки присылались кроме того, сверх обещанного. Только не угодно было богу такого счастья для батюшки с матушкою и для нас: занемог младенец и скончался. Уж как, говорила матушка, я убивалась по нем, да и нельзя было: и красавец-то он был, и милый такой, точно херувим, — так убивалась, что легче бы мне двоих своих похоронить, чем его. С ума сходила. Тем и кончилось, Николинька. Получили от барина письмо, — писал, что «не осуждаю вас в моем несчастье, батюшка Иван Кириллыч и матушка Мавра Перфильевна, — знаю, что не было вашей нерачительности, а так было богу угодно». Значит, не винил их. Но только тем и кончилось».

Теперь этот рассказ занимает меня своею поэтическою стороною: видно, что была тут какое-то похищение, бегство и нежная любовь, — и кто эта женщина, сидевшая в карете? И почему ее любовь должна была скрываться? И почему она должна была расстаться с своим сыном или дочерью, — ведь, наверное, она любила его или ее еще больше, чем отец? И как она «убивалась» и «сходила с ума», когда узнала о смерти малютки, — верно побольше, чем прабабушка. Но тогда нас с бабушкою занимало не то, а исключительно только то, что подвертывалось счастье прадедушке и прабабушке, да ушло от них. А теперь мне, кроме романических симпатий к этим молодым людям, так поэтически мелькнувшим с своим блеском в истории моих предков, — кроме этого идиллического, отчасти смешного сочувствия к молодым людям, которые уж давно в могиле, если сошли в нее и очень старыми, приходит в голову смешное размышление: зачем же это я тогда жалел, что

счастье ушло от Ивана Кириллыча с Маврою Перфильевною? Ведь если б оно не ушло от них, то мне никак не пришлось бы существовать на свете. Бабушка не считалась бы тогда браком с семинаристом Голубевым, поступающим на священническое место, — ведь ясно, что по ее и прабабушкиным расчетам она вышла бы за генерала, — и что же тогда? — нет детей и внуков Пелагеи Ивановны и Егора Ивановича Голубевых, в том числе и меня нет. Значит, если бабушке было основание жалеть, то я, напротив, должен был радоваться, что счастье ушло от ее семейства.

Но вот еще что открывается теперь мне из этого рассказа. Мы с бабушкой были люди очень строгих нравственных понятий, беспощадно строги к уклонениям даже и мужчин (не говоря уж о женщинах) с пути добродетели. Мы распространяли свое отвращение и на плоды, рождающиеся от таких уклонений. Бабушка не называла эти незаконно происшедшие существа иначе, как словом, которое было бы более эффектно, нежели прилично в печати. И ведь мы очень понимали, что эти барин и барыня ушли с пути добродетели, и «младенец», драгоценный нам, порожден недобродетельно. Что ж это мы совершенно не хотели замечать этой возмутительной для нас стороны дела? Несправедлив к нам был бы тот, кто приписал бы это шопоту нашего корыстолюбия или честолюбия: «закрывай глаза», — нет, мы не закрывали глаз, наши глаза, совершенно открытые и очень внимательно смотревшие, не видели, не могли видеть того, что следовало бы, кажется, заметить. Наши нравственные принципы допускали наше зрение видеть тут только почтенное. Как так? Вот как: да разве могли мы судить таких важных людей, как этот барин и женщина, ехавшая с ним? «Такие люди ничего дурного не делают», — это был наш твердый принцип: чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, и на известной высоте все прекрасно, — мы были тверды в этом.

В воспоминаниях бабушки о старине ее семьи был еще рассказ, выходящий из порядка случаев обыденной жизни.

Чья-то семья, прадедушкина ли, или прабабушкина, была многочисленна, жила в коренном своем селе, и уж не все ее члены были духовные, а некоторые, может быть и большая часть, не бывши в училище и не получив мест, сделались мужиками. Один из этих родных был захвачен «корсаками» (киргиз-кайсаками), когда работал на пашне, далеко от села; через несколько времени корсаки захватили еще одного. Один из этих увезенных в плен через много лет приезжал навестить родных уже богатым и важным человеком: он попал в милость к тамошнему (неизвестно какому, хивинскому или какому другому) царю и был у него большим начальником, женился там, имел детей. Он привез родным подарки и звал их ехать с собою. Натурально, никто не согласился. Мусульманином ли он приезжал, или сохранил христианскую веру, это неизвестно, бабушке не думалось, что это интересно, не упомянула. Ее и меня интересовало собственно то, что был важным человеком у тамо-

иншего царя, под которым разумелся, быть может, и какой-нибудь мелкий улусный начальник, и что рассказывал о себе, что живет богато и делает счастливыми людьми тех родных, которые поедут с ним. Впрочем, мы не осуждали родных за то, что они не поехали быть счастливыми людьми, по-нашему, нельзя было им ехать к нехристям. Судьба другого пленника была иная. Ему не случилось попасть в милость ни к какому царю, он жил обыкновенным пленным рабом где-то в Хиве, Бухаре, Кокане, и ему, как и следовало ждать по нашим понятиям о «корсацких» обычаях, подрезали пятки, чтоб он не убежал; подрезывание пяток состояло, по нашим сведениям, в том, что делали на пятках глубокие прорезы и всовывали туда порядочные комки мелко изрезанного конского волоса или свиной щетины, потом заживляли разрезы. После этого, человеку надобно было ходить, не ступая на пятки, — если же ступать на пятки, то от волоса или щетины делается нестерпимо больно. Стало быть, пленник может ходить на недалекие расстояния, медленно, и годен к работе, но к бегству неспособен. Однако ж, и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать и ушел ночью. Всю ночь шел, как стало светать, лег в траву; так шел по ночам и лежал по дням еще несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость, вероятно часто удававшуюся им с беглецами, не имевшими силы сохранить спокойствие в своей страшной опасности: кричали «видим! видим!»—чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться из открытого ими приюта в другой; тогда бы они и увидели его над травой или распознали по колыханию травы, где он ползет. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошел до какой-то реки и пролежал день в ее камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но все-таки он уберегся незамечен, добрался до русских, пришел домой цел и стал жить по-добру по-здорову. Эта картина его прятания и ловли в камышах довольно сильно действовала на мое воображение. Не скажу, чтобы я много, часто и сильно переносился к ней в своих мечтах. Но все-таки она, бывшая темой моих грез довольно редко, рисовалась в них чаще всего остального чрезвычайного, необыденного, что случилось мне слышать в детстве за правду, бывшую с людьми мне известными или известными кому-нибудь из известных мне. А вообще бабушкины рассказы о старине ее семьи, которых почти только и было всего, сколько я пересказал теперь, — эти рассказы были важнейшим, почти единственным материалом сколько-нибудь фантастического содержания, полученным мною от живых впечатлений в детстве. Из всего, что давала мне жизнь в первую, очень важную эпоху развития, эти рассказы были самым чудесным, самым далеким от обыкновенного скромного и рассудительного порядка жизни. А и в них есть ли что-нибудь противоречащее или законам здравого смысла, или

законам природы, или хотя сколько-нибудь неправдоподобного, требующего принятия по доверию к авторитету?

— На пустой дороге встречаются люди, в которых умная женщина открывает разбойников.— Охотник попадает в большую опасность от волков.— Какие-то богатые люди, которым почему-то неудобно воспитывать своего ребенка при себе, поручают его женщине, о которой узнали, что она добрая женщина, умеет и любит ухаживать за детьми, и обещают наградить ее за труды.— Степные наездники уводят двух мужиков из степи в плен, один успевает хорошо пристроиться у этих полудиких людей, благодаря тому, что он все-таки образованный человек сравнительно с ними, другой успевает бежать из плена, когда перестали опасаться, что он убежит, и начали оставлять его на свободе без надзора.— И при этом видишь и слышишь, что разбойники [существуют] еще и теперь, а прежде их было еще больше, что волки очень очень упрямы в драке, когда сильно разозлятся, что детей часто отдают на воспитание чужим людям, даже подкидывают,—что хивинцы или кто-то там за степью до сих пор хватают русских в плен.—Что же тут сколько-нибудь развивающего легковерие, возбуждающего верить неправдоподобному?

Если б эта черта первых впечатлений жизни,—отсутствие элементов, располагающих рассудок портиться привычкою к неправдоподобному,—если б она была случайною исключительностью моего детства, она, быть может, имела бы важность для объяснения моих личных тенденций, моего образа мыслей и моих общественных отношений, и только. Но, сколько я знаю, это преобладающий характер впечатлений, даваемых жизнью всему нашему племени, а в особенности юго-восточному отделу нашего племени, недавнему поселенцу своего нынешнего края, и в числе местностей, где сильнее всего преобладание этой черты, одно из первых мест—Саратов. Саратов совершенно не имеет живой мифологии. В нем не было никаких невероятных историй, которым бы верили его жители. Первый рассказ, имеющий живое мифологическое содержание, созданное саратовскою головою, я слышал, когда был уже учителем в гимназии, слышал от своего приятеля, в числе анекдотов, которыми характеризовал он уморительную оригинальность своего слуги, страстного отыскивателя кладов. Вот эта история. Доказывая существование кладов своему молодому барину, старавшемуся образумить его, слуга рассказал следующий случай.

Обоз приближался к Саратову с одной из тех сторон, где близко от [него] дорога проходит по горам с ущельями. Смеркалось. Выходит на дорогу человек и говорит мужикам: «Не хотите ли разбогатеть?»—«Как не хотеть!»—«Так идите за мною, я вам покажу столько денег, что возьмете, сколько захотите». Повел их в ущелье; из ущелья ход в пещеру; пещера вроде комнаты; среди этой комнаты котел с золотом. У котла стоит квартальный, в мундире, со шляпою и при шпаге, как следует. «Берите, сколько хотите»,—говорят мужикам квартальный и проводник. А тем вре-

менем мужики оглядывались и видят, в углу стоит старик. Они спросили проводника, что ж этот старик тут стоит в углу, а не идет к котлу брать деньги. «Он уж взял, — говорит проводник, — это купец NN\*, это его душа тут осталась у него в закладе». — «Как так? Значит, если взять деньги, душа остается тут?» — «Да». — «Ну, когда так, мы не хотим», — сказали мужики и ушли. А душа-то купца NN уж стала старая и поседела и длинной бородой обросла\*\*.

Я не слыхивал в Саратове никакого местного мифологического рассказа, сколько-нибудь приближающегося к этому по обстоятельности и способности оставить сколько-нибудь занимательное впечатление. Но и этот сам обнаруживает крайнее невежество своего автора в мифологических занятиях. Единственное идущее к делу обстоятельство тут — то, что деньги лежат в котле, — черта, взятая из рассказов о кладах, которые, как бы ни были неопределенны, все-таки упоминают, что клад лежит в котле; стало быть, достаточно было самого поверхностного знакомства с преданиями о кладах, чтобы вставить эту черту; но все остальные подробности свидетельствуют о неопытности изобретателя. Он даже не знал, что душу, оставленную в закладе, следовало бы мужикам видеть на цепи или на какой-нибудь привязи. Черты поступают совершенно несообразно своему характеру в наших преданиях: они не предупреждают мужиков об условиях, — такой недобросовестности никогда не приписывалось им, они всегда объясняют все по чистой совести. Но тут они даже и не то что недобросовестны, — они просто сами не знают, как им следует держать себя; когда мужики спрашивают их, кто ж это такой стоит в углу, они тотчас объясняют условия своей помощи, — прежде они не высказали их просто по забывчивости, просто потому, что не слыхивали о порядке заключения подобных сделок. Хорошо и то, что чорт, стоящий у котла, одет квартальным, — что это колкость на счет полиции? — подумается вам сначала. Нет, рассказ не имеет никакой язвительной замашки, это не выражение неприязни к полиции, автор просто думал, что так следует: он знал, что при выдаче денег из какого-нибудь ведомства находится чиновник, — ведь

\* Не называю его фамилии, потому что если он еще жив — что очень может быть — и если бы прочел свое имя в такой истории, — чего уж никак не могло быть, потому что он не читал книг, не только новых, но и старых, — то имел бы право рассердиться. Я не знал его лично, но фамилию слышал часто, и во всем, что я слышал, не было ничего, дававшего искателю кладов основание поставить в пещере именно этого, а не другого купца: я не слышал, чтобы он разбогател быстро или как-нибудь загадочно; да он и не особенно богат, — он из очень второстепенных купцов, так что его имя могло представиться бредившему фантазеру только уже вследствие крайней беспомощности найти какое-нибудь пригодное имя, — а его имя представилось потому, что в семье у него перед тем временем случилось несчастье, — слуга именно и указывал на это несчастье, как на божеское наказание за продажу души чорту.

\*\* Купец NN был уже и сам старик, потому неудивительно, что его душа тоже состарилась. Но, значит, он брил бороду, если длинная борода указана как особенность печального положения его души в закладе.

он и выдает, без него кто же выдаст? — и ведь выдача денег — служебное дело, стало быть, чиновник должен быть в форме. В других присутственных [местах], кроме полицейских, автору не случилось быть, других чиновников, кроме полицейских, он не видел в мундирах, — и вот употребил в дело единственный знакомый ему мундир по воображаемой необходимости мундира. Видно, что автор, при своем усердии к фантастическому миру, знал исключительно житейский мир и не мог ни на минуту оторваться мыслью от его порядков. Словом, этот рассказ обнаруживает точно такую же степень знакомства с своим предметом, какую видим во французских повестях из русской жизни, начинающихся такими манерами: «Княжна Феклянька Анфимьевна, позвольте представить вам моего друга, графа Лукьяныча Диячкова, — почтительно сказал молодой и изящный князь Петруша Иваныч блистательной княжне Фекляньке Пономарьевой».

У слуги, рассказ которого я передал, была, как видно, «охота смертная, да участь горькая»: он жил в местности, слишком далекой от мифологической жизни. Его рассказ, дошедший до меня уже как до учителя гимназии, был, как я сказал, единственным сколь-нибудь живым мифологическим фактом, какой случалось когда-нибудь получить из саратовской жизни. А все, что я видел и слышал в детстве, было совершенно лишено этой стороны. Значит ли это, что я хочу сказать, будто в понятиях и словах людей нашего [круга] было мало суеверий? Вовсе нет, суеверия были очень порядочный запас, и оно выливалось по временам разными историями. Помню, например, бабушка как-то сказала старухам, беседовавшим с нею, что один ее родственник, — человек пьющий, — шел из далекого конца города домой, и путь ему лежал через место, еще остававшееся чистым полем; дело было поздно, вечером, встречается нашему родственнику знакомый мещанин: «Отец дьякон, пойдем ко мне в гости». Пошли. Хозяин поднес гостю стакан вина, гость перекрестился и увидел, что сидит не на стуле у знакомого мещанина, а на берегу Волги, свесив ноги на обрыве над «яром» (омут, начинающийся прямо от берега) — «как бы он выпил этот стакан не перекрестившись, столкнул бы его чорт-то в омут-то». Но, перекрестившись, наш родственник благополучно возвратился домой, совершенно трезвый: «с перепугу-то хмель как рукой сняло»; но не исправился и имел вторую такую же встречу, около тех же мест, — но в этот второй [раз] знакомый пригласил его не в гости к себе, а «бродить рыбу», и пьяный опомнился, когда вода стала уж плескать ему в лицо: перекрестившись от страха, он увидел себя зашедшим, во всей одежде, в воду уже выше плеч и едва мог выбраться. Оба эти приключения и действительно могли быть. — Значит, были кое-какие личные мифологические истории, и, может, я слышал их до десятка от знакомых о их родных и знакомых. Были и кое-какие общие городские истории, — впрочем, уж очень скудные и плохи. Сколько могу припомнить, только и было две их, и обе совершенно одинаковые: на площади Нового Собора стоял в мое

детство заброшенным и разваливающимся довольно большой каменный дом; говорили, что в этом доме живут черти; слышен иногда по ночам крик, и даже летят камни из окон на запоздалого прохожего. Точно то же говорили и о другом таком же доме, который стоял среди большой площади, образовавшейся от того, что обвалился и был растаскан деревянный забор дома, занимавшего целый квартал (потом этот дом купила казна, он был поправлен, и в нем поместился приказ общественного призрения). Важнее этих рассказов были живые люди, производившие тоже фантастическое впечатление на наш город. Из них мне в лицо были известны двое: слабоумный мальчик, бродивший в длинной холстовой рубашке вместо всякого платья, босой и без шапки, и настоящий юродивый, Антонушка. Слабоумный мальчик заходил к нам два раза, оба раза не надолго, стоял, рассматривал вещи, какие попадались ему на глаза, был, бедняжка, и смирен, и приличен, не сказал ничего важного, да и говорил очень мало, только отвечал двумя-тремя словами на вопросы, которые делались ему в самых коротких, легких, известных словах, — вопросы были исключительно такие, с какими и следовало обращаться к бедному мальчику, зашедшему в дом: «Поест ли хочешь ли?» — «Нет». — «Да ты, чай, голоден?» — «Да». — «Так вот, возьми-ка пирожка, покушай». — «Ну, хорошо», — кажется, только в оба раза. Если бы видеть только эти его посещения, то и нельзя было бы предположить никакого другого взгляда на этого бедняжку, кроме хорошего человеческого взгляда на бедного слабоумного мальчика. Но около этого времени, как были эти его посещения, раза три, четыре я слышал, что он предрек пожар в каком-то доме, — с азартностью, какой вовсе не было в нем обыкновенно, он побежал взбираться по лестнице на кровлю, — дом был одноэтажный, низенький, так что он легко взлез на него, стоял на крыше и несколько раз прокричал петухом. — Через день или два дом загорелся. Из этого поняли, что мальчик предрекал и предостерегал: своим петушьим криком он хотел объяснить то, чего не умел, по слабоумию не мог выразить словами: «будет у вас на крыше красный петух», то-есть пожар. Это было тем летом начала 1840-х годов, когда выгорело что-то много больше городов и сел, чем обыкновенно (кажется, потому, что была очень сильная засуха, и вся труха, солома, сено, — все было особенно готово с успехом принимать искры, кусочки горячих углей, обломочки горящих щеп, которыми в таком изобилии посыпают русские люди свои полы, крыльца, дворы, клети, сенники и все). Весь край находился в пожарном страхе, и Саратов тоже. Поэтому несколько месяцев попадались в разговорах упоминания о предрекшем пожар мальчике, пытались узнать от него, выгорит ли Саратов или спасется от беды; одни из них говорили, что получили от него ответ, некоторые, — что Саратов сгорит, некоторые, что уцелеет, — а другие искренно признавались, что не добились никакого ответа. А когда, с наступлением сырого времени, слухи о горящих городах и селах прекратились и пожарный страх прошел, то мистическое значение [мальчика] заглохло, и вероятно



все саратовцы стали видеть в нем опять только то же самое, что видели прежде: бедного слабоумного крестьянского мальчика, который из своего села (какого-то недалекого) заходит иногда в город, потому что родные не усмотрят за ним по своему рабочему недосугу, или и вовсе не смотрят за ним, оставляют брести куда хочет, в надежде, что никто не захочет обидеть его, бедняжку, такого смиренного, а может быть, и сами, по бедности, рады, когда он уходит с их скудного хлеба на хлеб добрых людей, из которого еще, может быть, и принесет им иной раз две-три краюхи «калача» (т.-е., по-нашему, хорошего белого хлеба, какого бы то ни было).

Итак, этот мальчик приобретал мистическое значение лишь очень не надолго, да и в это недолгое время занимавшее лишь немногих, да и тех слабо. Точно так же очень немногие говорили и говорили чрезвычайно [мало] о другом существе, которое должно было производить собою мистическое впечатление. Это была девушка, во время моего детства уже не молодая, высокого роста, видная собою, ходившая круглый год только в обыкновенной женской рубашке обыкновенного крестьянского холста, по своей толстоте очень достаточного и в виде одной рубашки на удовлетворение требованиям приличия, босиком и с непокрытою головою. Мальчик, о котором я говорил, занимал собою только одно — да и то не все — лето, и его длинной рубашки было довольно для этой поры года, а как он ходил в холодное время и ходил ли, я не знаю, а вероятно, если родные его выпускали из родной избы зимою, то обували и одевали в теплое, какое могли, — иначе интересовавшиеся им во время его известности городу вероятно упомянули бы о босом в одной рубашке по морозу. Но эта девушка ходила так круглый год по саратовскому морозу, когда иную зиму недели две-три сряду термометр стоит между 20° и 30° мороза, — это, конечно, было потрясающее зрелище. Мальчик, о котором я говорил, только бродил по городу из дома в дом. Эта девушка не бродила по домам и редко соглашалась посетить кого из звавших ее: она ходила только по церквям, на все службы дня, каждый день. Младшая сестра моей бабушки Анна Ивановна, знакомая с нею, говорила, что ужасно смотреть на нее, неподвижными ногами стоящую на каменном полу церкви полтора-два часа, — на полу нетопленной церкви, который почти так же холоден, как открытая паперть. Анна Ивановна, кажется, и познакомилась с нею по обстоятельству этого рода: часть пола в одной церкви, где они бывали, чугунная, и девушка, стоявшая на чугуне, не могла выдержать своей неподвижности, — по временам переступала ногами, и на лице ее было видно страданье. Анна Ивановна после службы заставила ее зайти к себе (Анна Ивановна жила тогда подле этой церкви), заставила вытереть ноги вином. Разумеется, такой рассказ запоминается, но только я не уверен в том, с этого ли случая началось знакомство Анны Ивановны с девушкою, или девушка и прежде уж бывала у нее. Мальчик мало говорил, но потому, что был слабоумный, и сколько умел, столько говорил. Девушка была совершенно умная, и очень умная, но совер-

шенно молчала. Никто не навязывал ей никаких предречений или символических предубаждений будущего, не навязывал ей ни значения святой, ни чего подобного, считали ее подвижницею, — и только, и говорили о ней очень немногие очень мало. Кажется, только от Анны Ивановны мне и случалось слышать сколько-нибудь длинные рассказы о ней, и от Анны Ивановны мы узнали, что она и что это она делает над собою. Анна Ивановна была знакома с крестьянскими семействами, знавшими ее.

Она и сестра остались сиротами из небедной крестьянской семьи, были в это время уже взрослые девушки и продолжали жить одни, по крестьянскому быту не бедно. Старшая сестра была или младшая, не припомню, но только управляла хозяйством она, потому что была очень дельная и бойкая девушка; и говорить была мастерица. Стал сватать ее сестру жених. Сестра не хотела идти за него, — не потому, что жених не нравился, а так, сестра что-то боялась его, сама не знала почему. Она уговорила сестру и выдала за него. Но он вышел негодяй и жестокий человек, истиранил и очень скоро забил в гроб сестру. Тогда-то эта девушка, в мучении сердца, что погубила сестру, наложилла на себя такое страшное наказание и перестала говорить — язык ее погубил сестру. Так она провела много лет, — быть может 15, — но, конечно, свалилась еще в молодые летах. Последнее, что я слышал о ней, было, что она безнадежно больна погами: они были поражены, вероятно, гангреною.

Но, чтобы не оставаться теперь долго под впечатлением этого своего воспоминания, стану рассказывать о другом подвижничестве, которым занимался один из родных наших, — не припомню, кто именно. Это фамильное сведение было мне сообщено случайно. У двери в нашей передней лежала плетенка из пакли для обтирания ног. Кто-то из старших нашего семейства, взглянув на нее, припомнил, что некогда лежала на этом месте с тою целью власяница. Какая власяница? спросил кто-то из нас, младших. Бабушка рассказала нам. Кто-то из ее старших родных, — вероятно, отец или дядя моего дедушки, ее мужа, жил у них в доме, и был уже старичок, и выпивал иногда. Как подопьет, кричит: «подайте власяницу, спастись стану», — и надевает; как пройдет похмелье, власяницу долой, велит опять положить у дверей для обтирания ног; опять подопьет — опять подавай ему власяницу. Зачем же, когда так, ее клали для обтирания ног? Он сам так хотел, думал, что ее грязность помешает ему надевать ее, когда подопьет, потому что сам смеялся над этою фантазиею своего хмеля. Мы уже смеялись над старичком, вспоминая о котором улыбалась бабушка; но мы сидели в комнате, окно которой смотрит на запад, а был вечер, и хороший вечер — бабушка взглянула в окно на пурпуровое небо и призадумалась, — долго любовалась и продолжала: «Вот, бывало, и он так смотрел, — он, дети, уж перестал выпивать, — станет к окну, когда солнышко заходит, и все смотрит, и говорит нам: Какое хорошее оно, Полинька и Егорушка, солнышко-то! Весело на него»

смотреть! Полюбуюсь я на него, пока глаза смотрят, — уж недолго им смотреть на него (он уж был слаб, дети), посмотрю, порадуюсь на него, покуда жив. Любил он это. Добрый и хороший был старичок, дети».

Мои воспоминания, капризно соединившиеся на этих последних страницах, хорошо передают свою последовательностью общий характер той стороны впечатлений моего детства, от которой будто отвлекли меня: то, что было трагического или ужасного в малочисленных впечатлениях, имевших фантастический колорит, быстро сглаживалось впечатлениями, в которых фантастические тенденции представлялись со смешной стороны, и над всем этим господствовало впечатление, что люди, близкие ко мне, — добрые и хорошие люди. Но об этом после. Теперь надобно закончить очерк соприкосновений моего детства с живыми людьми фантастического мира, надобно рассказать о важнейшем для моего детства из этих людей, Антонушке или Антоне Григорьевиче.

Благородную подвижницу, подвиг которой я уже и тогда понимал, как чисто человеческий подвиг, не фантастическое стремление, а страдание о действительном несчастье нашей простой человеческой жизни, эту девушку я никогда не видал сам, только слышал о ней изредка. Бедного мальчика, не надолго и слабо выданного за прорицателя без всякой вины его самого в этой чужой глупости, я видел мельком только два раза, и в оба вовсе неинтересным ни для моей фантазии, ни для окружавших меня. И обое они, и подвижница, и бедный мальчик, мало кому были известны, нисколько не составляли общего достояния городской жизни. Юродивый или блаженный Антонушка был известен всему городу, очень интересовал собою тысячи людей из саратовцев много лет, имел сотни горячих читателей и (конечно в особенности) читателей, был очень часто нашим гостем, часто сидел по долгим часам, много раз и ночевал у нас, раза два-три даже имел дня по два, по три приют у нас от гонений за свои подвиги. Те двое занимали бы мало места в моем детском дневнике, если бы я вел дневник в такие годы, когда никто не ведет дневников, Антонушкою было бы наполнено довольно много страниц.

Антонушка в начале 1840-х годов был человек не молодой, но далеко еще не старик, небольшого роста, сухощавый, с очень темными или и вовсе черными волосами и бородою, в которых при начале моего знакомства с ним не было еще ни одного седого волоска, с карими или и вовсе черными глазами, очень живыми, острыми, и лицо его, довольно красивое, поддерживало свою выразительностью производимое его глазами впечатление, что он человек умный, быть может, человек большого ума. Он и не хотел прикидываться дурачком, — нисколько: юродство его состояло в том, что он пренебрегает условиями житейской формалистики для назидания своих заблуждающихся или слабых в вере ближних по Христу, отрекся сам от благ мирских для душевного спасения, находит полезным излагать свои назидания аллегорическим языком, делает

иногда и поступки, имеющие аллегорическое значение, — вот, только и всего юродства в нем. Но дурачком он не хотел казаться, и никто не принимал его за дурачка. Были люди, — немногие, — которые говорили, что он плутоват, что он просто лентяй, которому стало лень пахать землю или управлять своим хозяйством, понравилось жить на чужой счет, ничего не делая, но и немногие говорили это больше только так, для легкого остроумия, почти что только в шутку или насмешку, а не серьезно. Кое-что такое, очень немножко, могло быть в Антонушке, — настолько, насколько вольная жизнь без обыденной прозаической работы имеет свою долю прелести почти для каждого даже из очень трудолюбивых людей. Но я уверен, что Антонушка если и находил в этой беззаботной воле некоторое вознаграждение за хлопоты и неудобства своего призвания, то принял на себя юродство вовсе не по тунеядским наклонностям, а действительно по призванию, по искреннему влечению служить на пользу ближним и тем спасти свою душу. А предполагать его плутом — чистая нелепица. С такими глазами он мог бы быть плутом, если б захотел, — у него достало бы ума на плутовство. Но он был совершенно честный и благородный человек; я говорю: «был» — быть может, еще и «есть» — он еще не так стар, чтобы уж пора была предполагать его умершим.

Происхождение его юродства вот какое. Он был очень зажиточный или и вовсе богатый мужик. Занимался своим хлебопашеством или своею сельскою торговлею, — не умею сказать в точности, но, кажется, хлебопашеством, — старательно и успешно, коротко сказать, был дельный мужик. Но в какой-то тяжелый год, — какой именно, не припомню определенно: в холерный ли год (первой холеры, она важна в народной памяти, вторая, как все знают, далеко не произвела такого впечатления, хотя была едва ли не сильнее первой<sup>6)</sup>), в голодный ли год, — его совершенно увлекла жалость к людям: он всячески помогал всем в своем селе и кругом, израсходовал на это все свои излишки и так пристрастился к деятельности «брата милосердия», что, когда крайняя всеобщая нужда в материальном пособии прошла с народным бедствием, он обратился к подаванию нравственной помощи: бросил хозяйство, сдал его жене, бросил жену и детей и пошел бродить по саратовскому свету. Но забота о подавании нравственной помощи, в которой, с его точки зрения, нуждались, конечно, все, не заслоняла от него понимания, что следует оказывать и материальную помощь несчастным. В первые годы его знакомства с нашим семейством, когда карьера его юродства была наиболее успешна, он [в] своей избушке, — у него была тогда нанята особая избушка, — поместил одного, потом двух, а может быть и троих, неизлечимо больных и бесприютных бедняков, то-есть устроил у себя больничную богадельню, какую мог по своим средствам, и ухаживал за помещенным или помещенными в ней, как следует доброму человеку, взявшему на себя уход за больными. С этой стороны в чем состояло его юродство? — он выражался о своих больных фигуральным язы-

ком, называл их «жемчужинами» или «перлами», или «сокровищами», что-то в этом роде, называл их также «подарочками, которые послал ему бог», — эту метафору я помню хорошо. Но тем не ограничивалось юродство: раза три-четыре приходилось нам узнавать, от него или по слухам, такие выходки. Антонушка приходит к зажиточному хозяину или хозяйке и ведет свои речи, половину которых не могут хорошенько разобрать слушающие, потому что аллегоризм очень преобладал у него и сам по себе уже часто бывал туманен, а кроме того, он любил иронические юмористические обороты, и они, усложняя аллегоризм, еще более затрудняли ум слушающих, вообще, конечно, людей не бойких в мышлении. Очень часто они даже не знали, как решить: шутит он или говорит серьезно, хвалит или порицает. Такова, разумеется, и должна быть речь юродивого. Вот, в этой речи Антон Григорьич и вставляет обещание, что он завтра, послезавтра «привезет подарочек»; если догадаются, скажут: «Нет, Антон Григорьич, не надобно, у нас своих хлопот много», — он примет оговорку; но не всегда же догадывались, особенно сначала. Антонушка в это время часто разъезжал на ломовом извозчике, а по временам бывала у него и своя тележка и лошадь: он собирал иконы для некоторых церквей в селах, собирал старое платье, собирал всякий хлам для бедных и, принимая подарки этого рода, иногда получал понемножку денег, сам часто оплачивая за них подарками: иконами, маленькими образами, еще чаще просфорами и т. п. — поэтому легко было не предположить особенного умысла ни в «привезу», ни в «подарочек» — и если говорили: «Привези, Антон Григорьич, очень благодарны будем», — он на другой, на третий день рано поутру привозил больного старика или дряхлую старуху на ухаживанье напросившимся, конечно, те отказывались, сердились, выходили истории, в особенности, когда Антонушка не сам привозил «подарочек», а нанимал ломового извозчика и отправлял с ним больного, уверив ничего не подозревающего извозчика, что там уже ждут этого гостя, или когда он, привезши сам на рассвете, летом, в теплую погоду, оставлял «подарочек» на пустом крыльце, а сам уезжал. Он всячески делывал. Помнится, я раза четыре слышал такие истории, значит, их было не очень мало. Кончалось, разумеется, тем, что его заставляли брать больного опять к себе и долго на него сердились.

Еще больше юродства было в его проделках над монахами и монашенками; он любил бранить и тех, и других, — и натурально было, что человеку с восторженными понятиями о нравственных обязанностях особенно досадно было находить обыкновенных людей в классе, которому, по его мнению, следовало вести самую суровую жизнь и отличаться ангельскими качествами. Мужской монастырь Саратова, находящийся за городом и очень скудный и средствами, и числом живущих в нем, меньше занимал собою Антонушку, чем женский, — да и наше семейство почти вовсе не имело отношений ни к монастырю, ни к его жителям, и слухи оттуда

слишком плохо доходили до меня; но все-таки я слышал раза два, что Антонушка, во время службы, когда монахи в церкви, забирался в их кельи, разливал и разбрасывал по двору небольшие запасы съестного и тому подобного, какие находил. Вероятно, и это не обходилось без неприятностей. Но главным предметом его проделок был женский монастырь. Он стоит в середине прибрежной полосы города; в нем тогда жило, если не ошибаюсь, до сотни монахинь и послушниц (больше послушниц; число монахинь, — то-есть лиц, уже давших торжественный обет монашества, — было сравнительно невелико); они часто встречались на улицах, бывали во многих домах; монастырь имел порядочные средства, постоянно шли в нем постройки и пристройки, — значит, была возможность; мать игуменьи и некоторые из сестер играли довольно заметную роль в некоторых, немногих и не бог знает как важных, но все-таки почетных провинциальных кружках. Следовательно, нельзя было Антонушке не заниматься женским монастырем усердно и постоянно.

Был ли саратовский женский монастырь особенно достоин его преследования? Сколько я знаю, — а я все-таки не мог не знать его довольно порядочно, — он не был хуже других женских монастырей. И я полагаю, что характер всех женских монастырей одинаков, — не только русских между собою, но и католических женских монастырей всех стран. Между мужскими есть большая разница, от какого-нибудь сен-бернарского до тунейского римского; от антипатриотического французского с иезуитским духом до простодушного и пламенно патриотического сицилийского; и русские обыкновенные мужские монастыри имеют особый характер, собственно русский, а кроме их есть особенные монастыри, каждый с своим индивидуальным характером. Но женские монастыри почти все во всей Европе одинаковы, и потому мне нет нужды описывать тогдашней жизни саратовского женского монастыря, — по крайней мере, здесь; в следующих главах быть мо[жет]. Всякий и не слышавший никогда о ней знает ее по многочисленным описаниям совершенно подобных учреждений. Те из саратовских православных, которые занимались этим монастырем, вообще находили его хорошим.

Но Антонушка был гонителем женского монастыря. В том же роде, как два-три раза в мужском, он гораздо чаще юродствовал в женском. Особенно эффектно вышла одна его проделка: также во время обедни, забравшись в пустые кельи, он в довольно многих успел выпустить пух и перья [из] перин и подушек, а в них вместо прежнего положил кирпичи, которых заранее натаскал с другого конца двора, где что-то строилось. Они должны спать на камнях, какие они монахини, когда у них подушки и перины? — говорил он, когда его потом порицали за это. Народ, выходя из церкви, изумлялся, видя весь монастырский [двор] усыпанным перьями и пухом. Когда монахини возвратились в кельи и увидели, что такое это сочинено, они тотчас догадались, что это дело Анто-

нушки, стали ловить его, но он успел убежать и несколько дней прятался.

Конечно, ему нередко приходилось бегать и прятаться. Я не припомню, чтобы в его проделках бывало что-нибудь сальное или дрянное; полагаю, что рассказанная мною — самая резкая из [них], по крайней [мере], о ней только и говорили, когда по какому-нибудь новому, менее важному юродству вспоминали прежние. Но, конечно, полиция была совершенно права, не одобряя и таких подвигов. На него жаловались, — жалобы были основательны, — полиция искала его, иногда и отыскивала; поступала с ним мягко, — разве иногда, кажется, бывала принуждена поддержать его под арестом двое-трое суток, только и всего, но главное — старалась выжить его из города, — несколько раз отсылала в родное село — кажется, где-то около Петровска. — Кстати о Петровске: один из моих бывших приятелей, а нынешних противников, по литературе и прочему вздору очень мило доказывал, что действие «Ревизора» происходит именно в Петровске: и точно, это очень вероятно, по соображению маршрута Хлестакова, и пусть Петровск пользуется хоть этою известностью, при совершенной невозможности иметь никакой другой<sup>7</sup>. — Итак, Антонушку иногда высылали из Саратова в Петровский уезд, но он опять появлялся. Хорошо, когда обижавшиеся жаловались полиции, а иногда и сами расправлялись и бивали его сильно; несколько раз он лежал не по одному дню от побоев.

Но все это я рассказываю по рассказам его самого и других. А каков он был в обыкновенном своем занятии юродством, за исключением этих экстренных проделок? Бывая у нас по временам очень часто и очень подолгу, он всегда бывал вот каким. Когда ему не мешали говорить, он говорил своим аллегорическим языком; когда хотели не слушать его, а рассказывать, он слушал, как и всякий обыкновенный человек на его месте; когда не хотели ни слушать, ни говорить с ним, а занимались разговором между собою, мимо него, он иногда и подолгу сидел молча, как сидят в подобных случаях обыкновенные неважные гости у хозяев, важных сравнительно с ними; часто он не выдерживал этой безмолвной почтительности, вмешивался в разговор, когда другой простой человек не вмешивался бы, но эту смелость не столько брал он на себя сознательно, по праву юродства, сколько увлекался природною живостью характера и бойкостью языка: он был из людей «неугомонных», как у нас говорят.

Самое резкое из его назиданий в нашем семействе, — и чуть ли даже не единственное назидание, по крайней мере, я решительно не припомню никакого случая, чтобы он высказал кому-нибудь из нас неодобрение за что-нибудь, — итак, едва ли не единственное, а во всяком случае уж самое [резкое] его назидание было следующее. Моя матушка и тетушка очень много шили (и шили отлично). Чугунных наперстков тогда еще не выдывали в Саратове, были только медные, плохие, тоненькие, хиленькие, скоро прокалывав-

шиеся от работы. Часто меняли их, а все-таки часто кололи руки, — ведь нельзя же менять, как прокололся хоть в одном месте: незкономно было бы, еще послужит, только нужно остерегаться, не подставлять под иглоку проколотое место, — итак, часто кололи; и наконец вздумали вот что: и матушка, и тетушка заказали себе серебряные наперстки с железными верхушками, служащими под иглу. Эти наперстки, безвредно для себя и для рук служившие потом множество лет (думаю, не служат ли еще и теперь тетушке и старшей моей кузине), были одной из величайших прихотей роскоши моих матушки и тетушки; оба они вместе обошлись чуть ли не больше трехрублевого (75 коп. серебром), но меньше целкового, это я помню, что меньше. Вот, однажды, Антонушка, проходя через гостиную, увидел на столе у зеркала один из этих наперстков, приостановился на секунду, будто взглянуть в зеркало, и тотчас же пошедши дальше, шага через два-три произнес: «а вот я хочу себе серебряный кочедычек\* сделать».

Только и всего было. Больше он ничего не сказал, — да этот упрек в роскоши, как дипломатично он сделал? — Я уже сказал, что не помню не только случая более прямого назидания, но и вовсе никакого другого случая назидания.

Итак, Антонушка был дипломат, очень и очень тонко соблюдавший границы в своем юродстве. И как следует умному, он держал себя к разным членам нашей семьи в разных отношениях, смотря по тому, кто какие отношения хотел допускать. Батюшка мой, человек занятой и по своему характеру не любивший видеть никаких выходов, совершенно связывал его юродство своим присутствием, — хотя тоже, по своему характеру, никогда не делал ни словом, ни выражением лица никакого намека в смысле того, что «не нравится это мне, Антон Григорьевич». — Антон Григорьевич без всяких намеков соображал, что не нравится моему батюшке, и старался не делать этого. И не потому, чтобы боялся его, — мой батюшка был не такой человек, да и Антонушка не стеснясь входил к нему в кабинет, когда батюшка сидел (как сидел большую часть каждого дня) за работою, — подходил под благословение, обменивался несколькими словами, без всякой робости. Нет, он не боялся, а просто понимал, что его юродствование не нравится моему батюшке, что моему батюшке и некогда, и скучно заниматься с ним, — потому и ограничивался обменом недолгих и неважных разговоров с ним, как делает всякий гость относительно тех членов знакомой семьи, собственно к которым не относятся его посещения. Почти так же держал он себя с моею матушкою, тетушкою, дядюшкою (мужем тетушки), — он бывал не у них, — они были не его компания, они были тоже ласковы к нему, как и мой батюшка, но он очень хорошо понимал, что эта ласковость происходит, во-первых, от уважения их к Пелагее Ивановне, их матери, во-вторых, оттого, что все они вообще люди ласковые и добрые, но что напрасно было бы

---

\* Нечто вроде широкого шила; им плетут лапти.



надоедать им; он и не надоедал. — Даже с нами, детьми, он не позволял себе бесцеремонностей, — был ласков, шутил, как всегда взрослый добрый и неглупый гость считает нужным заниматься детьми хозяев, — да он и по правде любил детей, как почти всякий добрый человек, — но, лаская и говоря шутки, он не фамильярничал с нами, детьми. Вот пример его дипломатичности относительно даже нас, детей. Мы, когда не были заняты делом или играми, больше всего бывали в комнате бабушки, между прочим, уже и потому, что в те годы она была столовою, в ней все собирались пить чай, — она была, так сказать, самою жилою из всех жилых комнат. А он, как гость бабушки, сидел почти все только в этой комнате. Когда бывало удобное ему время, он устраивал молитву: становился поближе к образам и начинал петь церковные гимны своим звонким тенором; бабушка стояла и тоже молилась. Мы, дети, большею частью уходили, как начиналось это; я не припомню, чтоб он когда или удержал, или хоть заметил, что не следует уходить, а надобно оставаться и молиться. Но попавшихся ему под руку детей прислуги он брал за руки и ставил молиться вместе с ним и бабушкою. Мало того, что он не хватал нас за руки или не старался замечаниями остановить для моления; он и вообще не навязывался нам, детям, даже простыми разговорами: он видел, что мы — не то, что не любим его, а не охотники быть его собеседниками, — и этого было ему достаточно, чтобы соблюдать очень большую умеренность в количестве своих ласковых разговоров с нами.

Итак, он был собственно приятелем только бабушки Пелагии Ивановны. Из того, как он держал себя относительно остальных наших старших, уже понятно, как они смотрели на него, — как на человека доброго, стремящегося делать хорошее, но в стремлении бросившегося на странную дорогу, которого нельзя порицать за ошибку, потому что он человек безграмотный, — что с него требовать в тонком распознавании удачного и неудачного морализованья? — но и только, то-есть, что сам по себе он хороший человек, и не надобно судить о нем строго. Снисходительность к странностям экзальтированного, честного, но невежественного стремления — вот взгляд на Антонушку, который сообщался мне, ребенку, отношения моих батюшки, матушки, тетушки, дядюшки к Антону Григоричу и суждениями о нем. Но он бывал собственно у бабушки, из уважения к ней ласково принимали его другие наши старшие, — каковы же были отношения к нему бабушки, его приятельницы? — Она была большая приятельница ему; мало того, что она потчевала его и чаем и обедом, — это делали все наши, это было в тогдашних провинциальных нравах — не оставлять без участия в своей, все-таки более хорошей, пище бедного человека, попадающего в комнаты незадолго перед временем чая или обеда, — и я скажу, что в этом старом хлебосольстве, неудобные и пошлые стороны которого я осмеиваю уж наверное не хуже кого угодно, вредные стороны которого я могу расписать так, как едва ли кто

другой, — не потому, что мне или моим близким приходилось испытывать их — нет, оно не имело вредного влияния ни в нашей семье, ни вообще в Саратове, а потому, что мой идеал человеческого быта слишком различен от быта, элемент которого составляет хлебосольство, — итак, я скажу, что в этом хлебосольстве главным элементом было хорошее, доброе человеческое чувство: его не следует выводить из праздности, из того, что съестные припасы были дешевы или ничего не стоили, — все это вздор: где хлеб стоит 25 коп. сер. пуд, там 25 коп. ценнее 5 рублей Петербурга или Лондона; расчетливым хозяевам, то-есть большинству хозяев, угощение везде составляет одинаковый по размеру их средств расчет, а дела у дельных людей, т.-е. опять у большинства людей, везде довольно и праздного времени мало, и в провинциальной глуши забот и работ не меньше, чем у хлопотливейших и замкнутнейших петербургских людей, — но дело в том, что глухая жизнь захолустья имела стороны, развивавшие добродушие, и эта сторона ее выразилась хлебосольством. Опять замечу: эта жизнь едва ли имеет в ком-нибудь более безусловного противника, чем во мне, — я на нее смотрю так, как из сотни читателей 99 могут смотреть разве на жизнь чукчей и бурят, но не в том дело: на Шпицбергене бывают часы теплого времени, и в самом дрянном быте есть что-нибудь теплое и милое, — из этого не следует, что на Шпицбергене сносный климат, не следует также, что не должно всеми силами стремиться к замене дрянного быта более хорошим.

Ну-с, итак, дружба бабушки с Антоном Григорьичем доказывается не тем, что бабушка поила и кормила Антонушку, это еще не велика важность; но Антонушка считал наш дом одним из вернейших своих приютов от гонений, — вот это уж значит, что у него было мало таких надежных друзей, как бабушка. И точно, она давала ему убежище от преследователей — давала с готовностью, с удовольствием. Иногда это имело достаточно забавный характер. Уже известно из прежних страниц, что Антонушка навлекал на себя преследования в особенности своими выходками в женском монастыре. Монахини жаловались — и основательно; нельзя было начальству не дать хода их претензии, не подвергнуть Антонушку преследованию. Кто ж был это начальство, бывшее посредствующим звеном гонения, воздвигавшегося женским монастырем и действовавшего руками полиции? — Мой батюшка. Он был благочинный женского монастыря. Ему жаловались монахини. Он, если мог, обязан был предать Антонушку в руки карающей власти, а если не мог сам, то подвигнуть эту карающую власть не [только] к покаранию пойманного Антонушки, но и к предварительной поимке его для покарания. И не раз случалось, что в то время, как мой батюшка жалуется полиции на Антонушку, и ни батюшка, ни полиция не знают, где отыскать Антонушку, Антонушка живет у нас в «людской», по распоряжению, отданному бабушкою прислуге: «Спрячьте Антона Григорьича в людской, да не говорите Гаврилу Ивановичу, что он у нас». Значит, была дружба. Конечно,

гонители не были ожесточенными врагами — у полиции и у моего батюшки были дела важнее антонюшкиных проказ, да и у самих монахинь тоже, — через три-четыре дня монахини готовы были бы и сами простить его, а мой батюшка и полиция забывали о нем. Итак, просидев два-три дня в людской, он безопасно являлся опять в свой свет. Но все-таки, мне помнится, раза два-три батюшка, уходя после все дело от самой же бабушки, говорил ей: «Матушка, зачем вы у себя-то прячете его? Нехорошо, пусть прячется где в другом месте; а то скажут: да благочинный-то ему и потатчик». — «Ну, всего не переслушаешь, что будут говорить: я прятала, а не ты», — отвечала бабушка. — «Э, матушка, вы все так», — отвечал батюшка, и тем кончалось объяснение. Из этого видно, что не могло быть важных размолвок между бабушкою и батюшкою из-за Антона Григорьича; но все-таки бабушка знала, что поступает неловко относительно зятя, скрывая Антона Григорьича, а семья наша была дружная, никто в ней не любил делать неудобного для других. Значит, дружба бабушки к Антону Григорьичу была сильна. Как же бабушка смотрела на него?

Но вот что: как бы ни судила бабушка об Антоне Григорьиче, хоть бы выставляла его за святого, а нам, детям, в том числе и мне, из этих историй преследований Антона Григорьича моим батюшкою, прятания его моею бабушкою и следующих затем объяснений между гонителем и покровительницею видно было, что все это пустяки: если бы дело Антона Григорьича было важное, то бабушка не стала бы его прятать, когда батюшка ответчик за ее прятанье, — стало быть, Антонюшку преследуют из-за пустяков, следовательно Антонюшка занимается пустяками, следовательно, что бы ни говорила бабушка об Антоне Григорьиче, а мне, ее внуку, ясно было, что в сущности и она, подобно всем нашим старшим, понимает, что Антонюшка занимается пустяками.

Но нечего было мне самому доискиваться этого — это я не только слышал в разговорах других старших между собою, это говорила сама бабушка самому Антону Григорьичу, своему приятелю. Старушка была охотница поговорить и послушать, у ней было довольно много неважных старух и стариков, которые годились для ее развлечения разговорами, и Антонюшка занимал место между ними, и далеко не первое место по уважению бабушки. Как так? — Пелагея Ивановна принимала Антона Григорьича не за человека, заживо причисленного к лику святых, даже не за особенного просветителя духовной жизни? — Да, и до такой степени, что не он ей читал, а она ему читала мораль: «зачем же ты это делал, Антон Григорьич», — «этого не надобно делать, Антон Григорьич», — «это нехорошо, Антон Григорьич». — А что ж Антон Григорьич? Антон Григорьич защищался, оправдывался, извинялся, признавался, винился, — но больше увертывался своими аллегориями, а бабушка, не обращая внимания на их высокий смысл, настаивала на своих советах обыкновенного здравого смысла.

Легко теперь рассудить, была ли мне опасность очароваться фантастическим элементом в лице Антона Григорьича, или была ли хоть возможность придать какое-нибудь важное значение этому элементу из-за личности Антона Григорьича.

Во мне, как в ребенке, только заметнее выражалось то отношение к нему, в какое стал к нему я по примеру своих старших — матушки, тетушки, дяди, — они сторонились от интимности с Антонушкою, а я и вовсе сторонился от него, — по тем же причинам, как и они: он чужак, он занимается пустяками, он говорил бог знает что, потому что хоть и умный человек, но не за свое дело взялся, — что он понимает в нравственности? — он сбивается с толку по своей необразованности; с ним скучно и неприятно. Неприятно потому, что он все говорит ломаным языком, который приторен; и еще потому, что он не совсем опрятен.

Да, уж и этого одного было бы довольно, чтобы он производил на нас, детей, впечатление, не располагающее ни к интимности, ни к благоговению. Не то, чтобы он щеголял неопрятностью, напротив, он заботился о благовидности, как следует: мазал и причесывал голову, старался о чистоте своих сапогов, умывался, все, как следует; но стараясь быть совершенно как следует, он все-таки оставался неудовлетворителен на мой взгляд: от его полушубка пахло кислою овчиною, как от всякого полушубка, а он не всегда снимал его (этот полушубок был засален, как обыкновенно); он брал стакан, захватывая пальцем внутрь стенки, не замечая, что другие так не делают, — и много таких мелочей. Словом, он был мужик из глухого села, куда не проникла утонченность городов и сел, лежащих на бойких местах. У нас бывали и сельские родственники, очень незнатные, у бабушки бывали и городские гости и гости такие же незнатные, которых я находил приятными для себя, но это были уж другого образования, светские благовоспитанные люди сравнительно с Антонушкою. Мне было приятно сидеть с чистенькою, деликатною «иерусалимкою»<sup>8</sup> Прасковьєю Ивановною, я не чувствовал разницы между нею и собою, и разговоры ее были достаточно деликатны, и ветхий капот хорош и все хорошо, а Антонушка был неприятен.

Когда я был уже взрослым мальчиком, лет 12, Антонушка стал часто и надолго пропадать из Саратова, — сначала только по случаю удаления полициию в свой уезд, а потом и по собственному желанию: карьера его суживалась год от году, все яснее он видел, что его считают в Саратове чудачком, все меньше находил он сочувствия; да, вероятно, ему самому стало по временам надоедать юродство, и я полагаю, что он удалялся в свою глушь не столько для того, чтобы подкрепить свою ревность в кругу более ободряющем, сколько для того, чтобы в безвестности отдохнуть от принятого им на себя подвижничества. — Но как бы то ни было, звезда его юродства померкала.

В последние годы перед отъездом моим в университет Антон Григорьич получил официальное положение, очень мало гармони-

ровавшее с юродством. Когда он, явившись после долгой отлучки, объявил нам, что «теперь Антон Григорьич купец 2-й гильдии, вот как», долго никто из нас не хотел принимать этого иначе, как за шутку. Но действительно было так, он стал купцом 2-й гильдии. Его дети, — два сына, — вышли дельные, умные люди и пошли служить по откупам; стали получать хорошее жалованье, по их служебным расчетам оказалось полезно причислиться ко 2-й гильдии, и они записали в нее отца. Они упрашивали его бросить подвижничество, которое, конечно, считали дурачеством; он тогда еще не слушался их вполне, но перестал делать выходки, не одобряемые полицией, и ограничился аллегоризированьем в речах. — Как следует всякому, не бывавшему дальше губернского города, он имел вражду к Петербургу, называл его «дьявол-город» за его безверие (совершенно напрасно: в Петербурге гораздо больше набожности, чем в Саратове; совершенная напраслина также считать Петербург только полурусским городом: наша национальность в массе его населения господствует несколько не слабее, чем в Саратове; а высшие классы везде имеют в себе очень много иностранцев. У нас любят видеть особенную черту русской официальной жизни в том, что она представляет очень много немецких фамилий; во французских списках чиновников и сановников наберется, конечно, почти такая же пропорция итальянских, английских и особенно немецких фамилий; в немецких списках неисчислимое множество французских фамилий. Особенного тут мало. Люди высших сословий имеют больше средств переезжать из одной страны в другую, потому высшие классы везде получают много иноплеменных элементов, и это прекрасно; надобно желать, чтоб и массе становились доступны эти удобства сближения племен). — «В дьявол-город, за рябу (рябую) реку поехал», — с сильным порицанием отзывался, бывало, Антон Григорьич об отправлявшихся в Петербург; но его сыновья вслед за откупщиком или управляющим откупа, своим патроном, переселились в Петербург, и я не слышал от Антона Григорьича, чтобы он огорчался этим, считал людьми, губящими свои души, — да, кажется, следовало бы ему и вообще скорбеть о том, что сыновья погрузились в житейские заботы, пекутся о благах земных и забывают о душевном спасении, сидя над счетными книгами и производя ревизии, — нет, он от души радовался, что его сыновья и вышли дельные люди, и служат хорошо, и теперь живут в благосостоянии, и зарабатывают себе кусок хлеба на старость, утешался этим, как утешался бы всякий обыкновенный отец.

Купец 2-й гильдии, отец, утешающийся успехами детей по службе, — это уж такая проза, что из рук вон; но и прежде ее наступления Антон Григорьич, как я полагаю, очень видно, не был интересен для моей детской фантазии, не играл никакой роли в моей детской жизни, — да тоже и в жизни города Саратова, даже и в жизни той части горожан, которые принимали его. Зачем же я посвятил ему столько страниц? — Это потому, что

я хочу вывести великие философские истины из его роли в городе Саратове, хочу возвести в тип всемирно-исторический. Но еще надобно повременить с этим, это уж будет в общем выводе, которым стали выражаться впечатления моего детства в образе моих мыслей, когда я стал искать для себя убеждений более удовлетворительных, чем смесь Голубинского и Феофана Прокоповича с Ролленом в переводе Тредьяковского и всяческими романами, журнальными статьями и учеными книгами всяческих тенденций сочинений Димитрия Ростовского до Диккенса и Белинского. А теперь пока надобно еще докончить очерки живых отношений моего детства к живым людям фантастического направления.

Антонушка был человек далекий мне, хотя и бывавший часто на моих глазах. Но было другое лицо, от близости с которым нельзя было отказаться, — наш родственник, в какой именно степени родства, не знаю, но звавший прабабушку тетушкой, следовательно, по всей вероятности, двоюродный брат моей бабушки, — Матвей Иванович Архаров. Он был очень богомолен и благочестив, говорил о божественном и простирал свое усердие к спасению душевному до того, что Антонушка оказывался перед ним холодным рационалистом и однажды даже произвел раздражение его вицмундирного фрака для удержания его на земном поприще. Эта сцена произошла таким манером, что однажды Антонушка, частый гость Матвея Ивановича, сидел с ним поутру, — кажется, переночевав у него, — и Матвей Иванович, служивший где-то столоначальником, контролером или архивариусом, стал одеваться: сначала он пойдет, простоят обедню, — Матвей Иванович бывал у обедни каждый день, — а потом, — день был будничный, — пройдет и в должность. «Нет, ты к обедне не ходи, — стал говорить Антонушка: — у тебя церковь в будни — служба твоя, тебе на нее пора, в должность тебе пора, ступай в должность». — Заспорили; Матвей Иванович пошел, Антонушка за ним, Матвей Иванович идет в церковь (он жил у самой ограды Ильинской церкви, ему и Антонушке нужно было пройти лишь несколько шагов, чтобы достигнуть развязки, которая произошла). — «Не пушу, ступай в должность», — твердил свое Антонушка и загромождал ему дорогу, когда он повернул к церкви; Матвей Иванович отсторонил или обошел его и шел себе к паперти, Антонушка за ним; «не пушу», «не послушаюсь» — и побежал от Антонушки, — Антонушка пустился вслед и поймал за фалды фрака, развевавшиеся на бегу; Матвей Иванович рванулся, фалды отлетели, — и Матвей Иванович пошел домой отдать Александре Павловне пришить оторванные фалды.

«Но, значит, Антонушка не был фанатик, если рассуждал, что Матвею Ивановичу душеспасительнее будет сидеть в должности, чем заставлять других работать за себя?» — Значит.

Матвей Иванович прежде был горьким пьяницею. Если бы он пил запоем, это было бы [не] порицанием ему, а только его несчастною судьбою. Не знаю, всем ли ныне так твердо известна раз-

ница между «пьет запоем» и просто «пьянствует», как была известна она в мое детство в простом народе и в среднем классе. Пьющий запоем вообще — не берет капли вина в рот, но по временам он пьет несколько недель сряду, не выходя из хмеля ни на минуту: как приходит несколько в память от выпитого вина, еще совершенно пьяный, тотчас опять пьет до бесчувствия, и эта смена бесчувствия несколькими минутами питья буквально без всякого перерыва продолжается две, три недели, месяц, больше. Человек ничего или почти ничего не ест в это время. Он страшно истощается, но не столько от недостатка пищи, сколько собственно от питья, — под конец он почти умирает. В эту эпоху крайнего изнурения питье вина прекращается вдруг наотрез, и пивший запоем опять не берет в рот ни капли вина до нового запоя. Эти периоды питья запоем происходят у разных людей различно. У одних они начинаются случайным образом, в совершенно неопределенные сроки, и ближайшим поводом бывает очевидная для всех несостоятельность характера: подверженный запою не остережется, не удержится, — выпьет рюмку в гостях, уступая просьбе глупого упрашивающего хозяина, или сам как-нибудь соблазнившись, — и лишь выпил рюмку, пошло писать неудержимо, начался запой. У других этого не бывает. Они начинают запой не по недостатку твердости или осторожности, — нет, приходит время, запой овладевает ими против их воли не пить, очень твердой, после борьбы, доводящей их до полного физического расслабления. Начинается болезненное состояние души, человеком овладевает тоска, все усиливающаяся, доводящая напоследок до смертельного томления; человек делает всевозможное, чтобы побороть, разогнать ее: или напряженно погружается в дела, или ищет ежеминутной поддержки в обществе других, сидит в своем семействе, чтобы развлечься, лаская любимых детей, чтобы поддерживать свою бодрость разговором с любимой и любящею женою, с уважаемой матерью, — ничто не помогает, он чувствует: «умру, если не начну пить», — и начинает с отвращением, с отчаянием, стыдом. Это время непреодолимого требования организма посещает иных два раза в год, других один раз, правильно, каждого в определенный месяц, один и тот с каждым годом. Этого правильного, периодического возобновления потребности пить нельзя, кажется, сравнить ни с чем так верно, как с потребностью кровопускания, которую чувствуют многие каждый год в известное время: душит, душит человека кровь; если не пустит он кровь, он умрет, — а перед тем он тоскует, мучится. Само собою, что при незазорности запоя в общем мнении многие дрянные люди, просто кутилы, употребляют эту маску в обман, — я, дескать, не кучу, а подвержен запою, я не презренный, а несчастный человек. Но не подлежит ни малейшему сомнению для людей, выдавших простую жизнь, что кроме обманщиков, накидывающих на себя самозванный запой, есть люди, действительно подверженные ему против своей воли, как несчастно, — если запой употребляется в обман, то сам по себе не

обман, а действительная болезненность, все равно как кроме кликушества, накидываемого на себя плутовками, есть действительно несчастные, больные кликушеством. Что такое неподдельное кликушество, это так хорошо разобрано медиками, так усердно разъясняется ими в печати и в разговорах, что и до меня, как вероятно до всякого моего читателя, дошло знание, медицинское объяснение вопроса: кликушество — это истерика, принимающая известный характер под влиянием народных понятий, владеющих и умом страдалицы. Но мне не случалось прочесть или слышать хорошее медицинское объяснение запоя, а теперь, когда пишу это, я не имею под руками ни людей, ни библиотеки, чтобы справиться. Да и характер этого рассказа состоит в том, чтобы писать без справок, только то, что я запомнил и вынес из жизни, говорить только то, что уже собственно мое. Слышанное мною в детстве и молодости о запое оставило во мне такие впечатления, что я составил себе о запое такое понятие. Это меланхолия, та меланхолия, которая в Англии, под влиянием местных условий, приобретает характер сплина, — разумеется, я говорю про серьезный сплин, тот, который нередко заставляет англичан пускать себе пулю в лоб. В русской жизни простого и среднего класса, под другими условиями, меланхолия, развившаяся до сильной болезни, становится запоем. Это такое же местное видоизменение меланхолии, как местное видоизменение истерики — кликушество. Надобно сказать, что характер жизни, о которой я говорю, очень благоприятствует развитию меланхолии: тосклива эта жизнь, очень тосклива. Потому и запой во время моего детства был болезнью очень частою. Наверное, в городе Саратове страдала им не одна сотня людей. Я, будучи ребенком, хорошо знал одного из них. Это был немолодой купец, не очень богатый, — о, далеко нет, куда же, — я помню, как батюшка усердно советовал ему записаться на несколько времени, хоть года на два, во вторую гильдию, для достижения одной официальной цели, которая сильно нравилась этому купцу, — но нет, он не мог пожертвовать несколькими сотнями рублей в удовольствие себе. Этот купец, такой небогатый, был всегда первый в городе по уважению городского общества к нему. Он был честью саратовского купечества, действительно человеком замечательного ума, безукоризненной честности, очень твердого характера. Он вообще вел строгую жизнь и ничего не пил. То, что он страдал запоем, уж никак нельзя назвать ничем иным, как припадками болезни, столь же неодолимой волею, как падучая болезнь. Если бы можно было одолеть ее волею, то у этого купца уж наверное достало бы воли. Но если запой есть сильная степень меланхолии в условиях русской простой жизни, то ему, конечно, и следовало страдать запоем.

Память другого лица, страдавшего запоем, драгоценна мне. Это был спаситель моей матушки и человек очень редкого благородства, медик тогдашней Марининской колонии питомцев, Иван Яковлевич Яковлев. С тех пор, как помню мою матушку, я помню ее бес-



престанно страдающе мучительною болью — то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге. Иногда переход мучительной резкой боли из одной части организма в другую сопровождался успокоением ее на несколько дней, — будто нервы страдавшей части устали страдать, будто впечатлительность их притупилась, и они передают свою обязанность страдать другим, которые успели освежиться для впечатлительности, а эти будто не спешат входить в свою очередь, принимают боль постепенно; эти промежутки были днями облегчения, — сравнительного, потому что оно все-таки боль очень сильна. Иногда не было никакого промежутка при переходе страшно резкой боли из одной части организма в другую; иногда и две, и три части чувствовали боль во всей резкости: и голова трещит от страшной «стрельбы», и дух захватывает от боли в правом боку, — или другая комбинация. С течением времени страдания все усиливались. Начались они вскоре после того, как родился я, года через 4 были уже очень сильны, еще года через 4 матушка уже большую [часть] дней в году проводила в столах. — Она считала коренным источником всех этих болей затверделость в правой ноге выше колена, — эта затверделость все увеличивалась в объеме и подымалась. Саратовские медики употребляли всяческие смягчающие средства, — припарки, мази, — быть может, для них уже давно было ясно, что надобно бы сделать операцию, но они были плохие хирурги и так добросовестны, что не хотели играть ножом, которым не умели владеть. Дело в том, что разрез надобно было бы производить по соседству [с] одной из больших артерий. Поэтому, когда матушка сама стала требовать операции, медики не соглашались.

Вот, каким-то случайным образом, пробрался к нам один из двух фельдшеров, состоявших при больнице колонии питомцев. Это был человек очень бойкий, хорошо говоривший, по всей вероятности очень неглупый. Он часто приезжал в Саратов (Мариинская колония лежит всего в 45 или 50 верстах от Саратова, почтовые лошади по этому (Аткарскому) тракту были и тогда, и после очень хороши — из Аткарска 88 верст не особенно спеша, не давая на водку больше 3 коп. сер., то-есть гривны, — приезжали в 8 часов, даже меньше, из Мариинской колонии было всего 4 часа езды), — имел некоторую практику в городе. Тогда в городе не было ни одного замечательного медика — первым действительно хорошим медиком явился туда через несколько лет после той эпохи, — вероятно около 1842 года, — Николай Фомич Троицкий, кажется, из Московского университета, молодой человек, приехавший в саратовскую — страшную тогда — глушь с намерением не бросать науку и действительно не бросивший ее, а через несколько времени приготовившийся к докторской степени и получивший ее. Он умер очень скоро, и весь город был глубоко опечален его смертью, потому что он был и благородный человек, не только искусный медик. С той поры редко случалось, что Саратов не имел хорошего медика, — назову Кабалерова, который также умер в молодости,

потом приехал Стефани, — но до Троицкого не было медиков, которые [заслуживали] бы особенного предпочтения перед опытными фельдшерами. Мой тесть, в молодости бывший хорошим медиком, прожил эти свои хорошие годы в Камышине, и оттуда выписывали у него рецепты, лечились по корреспонденции через 180 верст, с почтою, ходившей раз в неделю! — значит медики города Саратова были хороши! Можно характеризовать их двумя анекдотами о двух. Одного я назову — это покойный Покасовский, бывший, между прочим, медиком при семинарии, когда я учился в семинарии. В больнице семинарии была «микстура», — какая, я не знаю, но одна микстура, — если горчичник и шпанская мушка не годились в дело, Покасовский говорил ученику семинарии, исправлявшему должность фельдшера: дать микстуру — и давали «микстуру» от всего, против чего не действует шпанская мушка, от чахотки до тифа, от всего одну и ту же микстуру. Конечно, средства больницы были неимоверно скудны; и натурально, единственная микстура была какая-нибудь очень дешевая; но ведь, конечно, есть не один десяток таких же дешевых, — поэтому ее единственность объясняется тем, что действительно достаточно было одной ее.

Другой анекдот о другом медике рассказан мне моим тестем, Сократом Евгеньичем Васильевым, в 1853 г., как приключение, увеселившее его своею оригинальностью незадолго перед тем. Тесть мой в это время уже давно отказался от практики. Однажды он заехал к своим знакомым, как знакомый, а [не] как медик. В разговоре дошло дело до того, что малютка сын или дочь хозяев немножко страдает кашлем; рассказывая об этом, мать вздумала прибавить: «А взгляните, пожалуйста, Сократ Евгеньич, на лекарство, одобрите ли вы его», — и возвратилась из детской с очень большою банкою. Тесть взглянул: в банке порошок, который дается по половине чайной ложечки раза три в день. — А в банке было фунта 4 этого порошка. — «Что это такое? Да это целый аптечный запас!» — «Мы и сами удивлялись, — отвечала мать излечаемого порошком; — думали, что в аптеке отпустили по ошибке, посылали справиться; нет, говорят, столько прописано в рецепте». — «Да чей же рецепт? Кто лечит ребенка?» — Хозяйка назвала фамилию врача. — Ну, понимаю, сказал тесть: медик, прописавший ребенку целый аптечный запас, ездит по больным с рецептурною книгою, — на память не знает ни одного рецепта. На этот раз ему случилось взять такую книгу, в которой написаны для аптекарей пропорции, в каких следует брать ингредиенты обыкновеннейших лекарств, которые по беспрестанному их требованию аптекарь разом готовит себе [в] запас на полгода, на год. Медик совершенно не знал, что количество, им прописываемое, книга заготавливает на сотню больных, а не на одного.

Конечно, такой медик есть уже феномен, поражающий всякое зрение, и надобно сказать, что он не имел практики. Но Покасовский ничего, имел порядочную практику.

Натурально, что при таких медиках не грех перед наукою было доверяться и фельдшерам, — и один из двух фельдшеров Марининской колонии, часто ездивший в город, человек бойкий, приобрел себе в Саратове небольшую практику. Кто-то из знакомых привел его к нам. Он сказал, что операции не будет нужно, что он знает и наверное вылечит болезнь. Но взявшись за дело слишком самоуверенно, он имел добросовестность поступить как следует, когда увидел, что сам не сладит, и стал рекомендовать своего медика. Медик не хотел иметь практики в городе, он ограничивался своею больницею, жил очень скромно, так что в 15 или 20 лет службы образовалось у него из жалованья сбережение, тысяч до 10 ассигнациями (жалованье, по-тогдашнему, было хорошее), — и в это время он уже почти все жалованье прибавлял к сбережению, лежавшему в банке, ему почти доставало процентов с накопленного. Он был человек не жадный к деньгам, любивший спокойствие, очень скромный, — трудно было устроить, чтобы он взялся пользоваться матушкою, которая решила переехать для этого в Марининскую колонию. Священник в колонии, Иван Андреевич Росницкий, был брат одному из близких с нами городских священников; повидались, сговорились, и батюшка поехал с матушкою и со мною в колонию, — батюшка только проводить, мы с матушкою остаться у Росницких. Исследовав болезнь, Иван Яковлевич тотчас же сказал, что необходима операция и что он завтра же ее сделает. Операция была сделана твердою рукою, — а рука была нужна твердая, потому что болезненные отложения, бывшие причиною опухоли, находились очень глубоко в теле, глубже, чем думал было Иван Яковлевич, и ему приходилось углублять нож по мере того, как он продолжал разрез, — пришлось бы плохо, если бы он не имел хладнокровия, — но нож дошел до надлежащей глубины, и матушка была избавлена от главной причины своих страданий. Операция удалась превосходно. Но разрез был очень глубок, рана по своей огромности была тяжела, дня через два матушка [находилась] совершенно в том положении, как тяжело раненные, и еще недели две надобно было пользоваться ее очень внимательно, при малейшей небрежности рана приняла бы дурной оборот. Иван Яковлевич пользовался внимательно. Сомнительны были первые четыре, пять дней, — после того уже не представлялось опасности. Но все же оставалась нужна постоянная внимательность, и Иван Яковлевич оставался внимателен.

— Слава богу, — слышал я через несколько дней, — вероятно, недели через полторы по нашем приезде и после операции, — сидя с Иваном Андреевичем в гостях у управляющего колонию, г. Хрущова: — слава богу, что Иван Яковлевич выдержал! — Обещался, и выдержал! А мы как боялись! — Это говорили и Иван Андреевич, и г. Хрущов, и его сестры. — Что такое? — думал я. — А должно быть, что он обещался вылечить маменьку и вылечивает. — Нет, не то. Еще через несколько дней, когда матушка уж порядоч-

но оправилась, Иван Андреевич объяснил ей и мне, слушавшему тут же, чего боялись и что обещал Иван Яковлевич.

Операция была сделана около рождества. Каждый год, около рождества, Иван Яковлевич пил запоем — месяц, недель пять. Начнись эта болезнь с ним, когда уже сделана операция, матушка была [бы] в опасности умереть от раны. Но он понадеялся, что выдержит, и выдержал.

Понятно было это другим и мне тогда: добросовестный медик, хороший и добрый человек, он имел силу подавить свою болезненную потребность, когда от этого зависела жизнь его пациентки. Но еще понятнее мне стало это потом, когда я побольше узнал, что такое умственная жизнь, что такое жажда деятельности, что такое тоска не от неудачи в житейских расчетах, что такое радость человека, нашедшего интересную задачу для своей умственной деятельности.

Когда я рассказывал в Петербурге своим добрым знакомым, медикам, болезнь матушки и описывал форму болезненных отложений, образовавших опухоль, — они понимали меня, несмотря на необходимую сбивчивость слов человека, совершенно незнакомого с медициною, назвали мне эту болезнь, поправили мои неточности, — и поправили верно, как я увидел, когда их же слова напомнили мне черты, которых я сам не припомнил бы. Значит, эти медики сказали мне правду, что этот вид болезни известен, — они даже и видели примеры ее, — два или три, — в громадной клинике здешней Академии и в громадных военных госпиталях Петербурга. Но ведь эти медики из числа передовых людей науки, — как можно сравнивать их ученые сведения с сведениями, какие сохраняются у человека, прожившего 20 лет в Мариинской колонии? И притом, я говорил с ними через 15 лет после того, как была операция. В эти 15 лет медицина много ушла вперед, — быть может, около 1840 года и она не знала того, что было известно в 1855 году. — Иван Яковлевич следил за наукою: Иван Андреевич Росницкий говорил мне тогда, что он выписывает медицинские журналы. Но какие? — И будто легко держаться в уровень с развитием теоретических знаний, когда живешь на половине пути из города Саратова в город Аткарск! Я хочу сказать этими словами тем из медиков, живущих в ученых городах, чтобы они не рисковали выводить заключений о степени любви Ивана Яковлевича к науке из того обстоятельства, что он в 1840 году не знал вида болезни, который называли известным мои знакомые медики в Петербурге в 1855 году, — пусть не рискует выводить из этого, что у него было мало любви к науке, если не испытали, каково следить за наукою из глухого захолустья. — Итак, Иван Яковлевич не знал того вида болезненных отложений, которые нашел в опухоли у моей матушки. Я и тогда, хотя был 10-летний мальчик, не мог не заметить удовольствия, с которым он через несколько дней рассказывал моей матушке, что он не знал того вида болезни, которым она страдала, что это новость для него, что это замечатель-

ный случай, что он думает написать статью об этом новом виде болезненных отложений, который еще не был описан.

Понятно, что от этого разлетелась на время его меланхолия, и обошлось то рождество без запоя. И точно, Росницкие, наши хозяева, да и Хрущовы говорили, что Иван Яковлевич веселее обыкновенного. Они принимали это за радость человека, увидевшего, что может победить несчастную свою болезнь, которая отвратительна и унизительна в его собственных глазах, — за радость доброго человека, которому удалось избавить свою пациентку от тяжелых страданий, — за радость медика, которому приятно, что станут теперь говорить о нем, как хорошем хирурге, — и конечно, все это было; но кроме того была еще радость ученого, нашедшего то, что не было известно.

Я пишу эту часть своих воспоминаний, как будто не думая о внутренней связи между ними, все сплошь, как припоминается, — доскажу же и все остальное, что я помню об Иване Яковлевиче.

Его фамилия была то же самое имя, которое послужило для его отчества, — Яковлев, потому что он был из Воспитательного дома, человек без рода и племени. В 1840 г. было ему лет 45. Он был немножко выше среднего роста, человек еще крепкий здоровьем, но черты его лица уже приняли почти стариковский характер. В моих глазах вид старика особенно придавался ему медленною тихостью его походки, жестов, мягкостью голоса и прическою его волос. Какая была эта прическа, я решительно не умею представить себе теперь, — совершенно забыл, — помню только, что он носил волосы довольно длинные, что они не были подстрижены сзади, не были взбиты кверху на лбу, и причесаны на висках квадратами, направленными к углу глаза, — тогдашняя прическа всего благородного сословия в Саратове, — прическа *a la moujik*, возбуждавшая через несколько лет такое же строго-нравственное неодобрение наших солидных людей, как еще годами десятью позднее стали возбуждать такое же чувство таких же английских людей усы. И мягкость характера у него была до такой степени, какую чаще встречаем у добрых людей в старости, когда добрый человек уже совершенно понял ничтожность пустяков, из-за которых горячился прежде, и видит, что важно только одно: делать все возможное для пользы других, — в этом только и есть настоящее удовольствие. Не знаю, замечали ли вы, что эта черта развивается с годами в добрых людях? Если нет, всматривайтесь, — мое замечание выведено из опыта. Иван Яковлевич [был] кроток чрезвычайно, был так добр, что я не слышал ни одного слова, кроме похвал ему, ни от кого из говоривших о нем при мне. А ведь они были темные провинциалы, то-есть люди, которые прослыли в обществе вышних замашек страшными любителями злословия.

Но все в один голос хваля, в один голос жалели о нем. Он с давних пор жил с женщиною, которая была у него экономкою и кухаркою вместе. Конечно, его не только жалели бы, но и строго порицали бы, если бы это незаконное отношение было незаконным

по воле Ивана Яковлевича. Но его экономка была крепостная девушка какой-то госпожи какой-то далекой от нас, чуть ли не подмосковной губернии. Без позволения госпожи нельзя было повенчаться, — я сказал: «без позволения» — нет, по нашим нравам и общественному положению Ивана Яковлевича дело шло сначала вовсе не о «позволениях» свадьбы со стороны госпожи. Иван Яковлевич уже дослужился до дворянства, — он был чуть ли не коллежский советник, — он и сам уж мог покупать крестьян и крестьянок, и чтобы дело имело совершенно обыкновенный вид, он просто писал госпоже своей экономки, не продаст ли она ему ее, — тогда он отпустил бы свою крестьянку на волю, потом и повенчались бы. Госпожа не соглашалась продать, — по всему ее образу действий видно, что она была честная женщина: она знала, в чем тут штука, и, по обыкновенному соображению, действительно справедливому в большей части подобных случаев, предполагала, что ее крепостная девушка, отошедшая от нее на оброк очень давно, оказалась пройдохой, шельмой, которая опутала человека и хочет совсем загубить его законным браком с собою. Чуть ли и сам Иван Яковлевич не участвовал в возбуждении такого мнения у госпожи: кажется, он начал переписку предложением не купить девушку, а выкупить ее на волю, и только уже получив отказ в этом, заговорил о покупке. А если он говорил о выкупе на волю, то уж из этого одного было бы ясно для госпожи, в каких он отношениях к ее девушке. Но содействовал ли получению отказа на свою просьбу сам Иван Яковлевич неловкостью первой формы просьбы, или он имел осторожность не делать непрактичного предложения о выкупе и начал прямо с покупки, за это не ручается моя память; а твердо знаю я то, что [если] он сам не выказал госпоже сомнительную сторону этого дела, то раскрыли ее перед госпожою его приятели. Разумеется, между отправлением письма о выкупе или покупке и первою мыслью об этом шло время, и вероятно не малое; разумеется, мысль не сохранялась в дипломатической тайнственности, — если не беседовал о ней Иван Яковлевич с своим мариинским кружком, — а вероятно говорил: не говорить не в наших нравах, — то уж наверное рассказывала его экономка прислуге этого кружка, и прислуга кружку. Таким образом, госпоже послали предупреждение, что дело состоит вот в чем: ваша крепостная девушка опутала нашего (или моего) доброго знакомого, прекраснейшего человека, И. Я. Яковлева, имеющего большой чин, имеющего капитал в ломбарде, и хочет еще стать его женою, дворянкою, барынею; как благородную женщину, мы просим (или я прошу вас) не допустить этого. — Госпожа и не допустила. — Какие были побуждения тех или того или той, кто послал предостережение? Дурных, своекорыстных не было, — за это я ручаюсь по общему тону разговоров об этом, слышанных мною; а вернее того ручается дальнейший ход. Могли тут играть важную роль общественные понятия, которые пусть называет дурными предрассудками кто хочет, а я считаю основательными, — понятия, не одобряю-

щие неравных браков, склоняющие людей мешать им и без всякого личного расчета, по требованию принципа, по искреннему убеждению в своей обязанности: дворянин женится на дворовой девушке (т.-е. дворовой девке) — нехорошо, нехорошо («дворянин», это говорят дворяне; если же не дворяне, а только «благородные», то «благородный» женится, и проч.). — Вы считаете эти понятия основательными? вы, которого знают за человека радикального образа мыслей? — Считаю, и полагаю, что это не мешает мне иметь такой образ мыслей, какой я имею, — радикальный ли, другой ли какой, еще менее похвальный и полезный, — полагаю, что это даже прямо вытекает из него, что это составляет сущность его: положение и отрицание всегда равносильны; кто мало или слабо признает, тот мало или слабо отвергает; а чем больше, тем больше. Вообразим себе, что мы с вами перенесены на остров Яву к народу, называемому баттами; теперь, эти батты не дикари, — как можно! — у них есть азбука, — они пишут друг другу письма, они пишут стихи, у них есть литература, не слишком богатая, но и не ничтожная. Но кроме любви к чтению и сочинению литературных произведений, у них есть любовь к кушанию человеческого мяса. Это делается хорошо, прилично. Общество собирается на обед чинно, благопорядочно, как европейцы на свои обеды; к мясу, по европейской кухне, требуется соус, по баттской — тоже; каждому сорту мяса особенно идет свой особый соус, — к телятине — один, к баранине — другой — это по европейской кухне — и по баттской тоже. В том соусе, который лучше всего идет к человечине, главная вещь лимонный сок, если не ошибаюсь. В настоящее время баттское образованное общество делится на две партии. Одна находит многие обычаи, многие понятия своей страны не совершенно основательными. Люди другой партии говорят, что неосновательно делить жизнь на две половины и объявлять: эта половина основательна, а эта неосновательна; они утверждают, что все явления их общественной жизни связаны, срослись, — мало сказать, срослись, выросли из общих корней, и не следует легкомысленно рассуждать об этом, — что каждое понятие вышло из общего понятия жизни; что каждый обычай основан на общем характере жизни. Представьте же себе, что мне и вам предложено решить спор этих двух партий по вопросу об обычае кушать человечину. Одна партия говорит: это можно выбросить из баттской жизни, как вещь негодную для нее. Другая возражает: извините, этот обычай основан на существенном характере баттской жизни. Что вы скажете, ведь баттские консерваторы правы, людоедство основательно в баттской жизни. Что из этого следует, другое дело. Из этого, по-вашему, следует, что вся баттская жизнь должна пересоздаться, — вся цивилизация измениться, — вероятно, так. Будет ли это? Вероятно. Но баттские легкомысленники ничего этого не знают, они не предвидят, что будут казаться своим детям полуварварами, своим внукам — дикарями, своим правнукам — людьми более похожими на orangутанов, чем на людей, — они не понимают этого, потому что

они варвары, хоть у них (или хоть у французов, немцев, у нас, все равно, — это, по-моему, разница только в степени, а не в сущности) есть наука, литература, общественная жизнь и все такое; если б они и понимали это, они не надеялись бы этого, потому что они еще остаются баттами в душе и потому не чувствуют, что человек может быть не баттом. А мы знаем все это, потому и рассуждаем о баттских обычаях не по фантазиям баттских легкомысленников, дробящих свою жизнь по своим малодушным фантазиям на основательную и неосновательную, а говорим: нет, у вас все основательно, только ваши основания плохи; а пока они остаются, нельзя баттской нации не рассуждать и не делать так, как она рассуждает и делает.

Мешая Ивану Яковлевичу, человеку большого чина, дворянину, выкупить или купить крепостную девушку, кружок действовал, конечно, под влиянием основательной враждебности к неравным бракам; но по содержанию частых разговоров, слышанных мною, несомненно, что гораздо больше сословного чувства (дворянского в одних, вообще «благородного» в других) тут действовало искреннее доброжелательство к Ивану Яковлевичу. О нем говорили с действительным расположением, о нем жалели с искренним участием. Я теперь не могу отчетливо представить себе характер господ Хрущовых, тогда уже почти старух, сестер управляющего колониею<sup>9</sup>, — тогда они казались мне добрыми женщинами, и, вероятно, это правда. По крайней мере, дети чиновников колонии, — и я вместе с ними, — играли и хохотали в гостях у гг. Хрущовых совершенно привольно, — а управляющий и его сестры были лица слишком важные в мариинском мире, и если бы господа Хрущовы были горды, или суровы, или хитры, или что-нибудь такое, детям подчиненных их братья не было бы такой веселой воли у них. Однажды как-то было особенно много гостей, так что нас, детей, посадили обедать в другой комнате, — за столом в зале не достало места; 10, 12-летние мальчики, мы стали дурачиться, выпили по три-четыре рюмки и расшумелись из рук вон; никому из нас не было после никаких выговоров, — значит, хозяйки сказали матерям: это хорошо, что дети веселятся. Однажды вечером, когда мы играли одни, без старших, я столкнулся с другим мальчиком, — он остался невредим, но у меня вскочила большая шишка на лбу, — и это прошло без истории, только велели мне держать медную гривну на шишке, — это лучшее лекарство, как известно. Значит, г-жи Хрущовы были хорошие женщины. А фигура г. Хрущова, управляющего, осталась у меня в памяти очень ясным типом честного, прямодушного, открытого воина наших наполеоновских войн. Он был говорун, рассказывал множество всяких случаев из походной и не походной [жизни], так что мне весело было слушать его. В моем воспоминании нет никакого повода к предположению, чтобы предупреждение госпоже экономки Ивана Яковлевича было послано кем-нибудь из семейства управляющего, — г. Хрущовым или его сестрами, или чтобы хотя мысль об этом вышла от них; но они



знали об этом. Г-жи Хрущовы по всей вероятности, г. Хрущов без всякого сомнения были хорошие люди. Все семейство очень уважало и любило Ивана Яковлевича. Если бы письмо к помещице было нехорошим делом или вредным для Ивана Яковлевича, оно и не было бы сделано, — управляющий наверное сказал бы: «нехорошо»; а против управляющего никто не пошел бы. Итак, знакомые Ивана Яковлевича просили помещицу не принимать его предложения, — просили потому, что любили его, желали ему добра. Помещица исполнила их просьбу, без всякого сомнения, только потому, что была хорошая, благородная женщина. Это доказывается уж самым отказом ее Ивану Яковлевичу. Ведь ясно было, что она могла бы взять с Ивана Яковлевича очень хорошую цену, — по крайней мере впятеро больше, чем стоит крепостная девка (тогда цена хорошей крепостной девки была 100 рублей ассигнациями, — 25-рублевая бумажка ходила за 6 рублей, за 6 рублей 20 копеек, — по этому курсу выходит, что цена хорошей, молодой, здоровой крепостной девке была в конце 30-х годов около 23 руб. сер.). Помещица жертвовала денежною выгодою чувству благородства, велевшему ей не допускать несчастья хорошего человека. Этого мало, — она показала свой характер делом, которое можно уже назвать не совсем обыкновенною вещью: она даже не захотела воспользоваться сведениями о драгоценности своей крепостной девки для Ивана Яковлевича, чтобы возвысить оброк. Эта уже черта действительного благородства.

Что ж за человек была эта крепостная девка, от женитьбы на которой был спасен соединением искренней любви к нему в его знакомых с довольно редким благородством помещицы [Иван Яковлевич]? Не была ли она, точно, дурная женщина, — или, что было бы гораздо эффектнее для рассказа, существо более или менее прекрасное и идеальное? Я ее видел несколько раз. Она была уже немолода, некрасива, — не урод, а просто невзрачная, маленького роста женщина средних лет и такой степени некрасивости лица, какая найдется разве в 10 лицах из 100 лиц наших простолюдинок средних лет. Она одевалась очень не щегольски, как вероятно одевалась [бы] и тогда, если бы была просто кухаркою, а не хозяйкою у Ивана Яковлевича. Слыша очень много разговоров, исполненных негодования на нее за ее отношения к Ивану Яковлевичу, я не слышал ничего дурного о ней. Не говорили, чтобы обижала Ивана Яковлевича, — а ей было бы очень легко обижать такого кроткого человека, — не слышал даже, чтобы она сколько-нибудь самовластвовала над ним, — значит, она была женщина доброй души, хорошего характера; когда я стал постарше, то мог сообразить, что в негодующих разговорах о ней все-таки проглядывало, что она заботлива к Ивану Яковлевичу, привязана к нему; я не слышал, чтобы предполагали у ней особенные богатства, — а если б у ней в долгие годы жизни с Иваном Яковлевичем и накопилось хотя рублей сот пять ассигнациями (рублей хоть сотня с небольшим на серебро), — это уж никак не было бы

тайною и считалось бы богатством (по ее званию крепостной девки), и это уж непременно выставлялось бы обиранием, обворованием Ивана Яковлевича; а утаивать деньги у такого доброго и простого человека было бы слишком легко, да и не понадобилось бы утаивать — очень легко было бы выпрашивать. Значит, она была женщина очень не своекорыстная.

Я даже не вижу оснований утверждать, чтоб она имела честолюбивый замысел повенчаться с Иваном Яковлевичем. Из этого не следует, что я хочу назвать напрасным опасение его знакомых, — нет сомнения, что они не ошибались, предполагая неминуемым последствием ее покупки или выкупа им — женитьбу его на ней. Такой простак и добряк не мог не кончить тем, чтобы жениться на женщине, с которою жил. Но ни из чего не видно, чтоб у него или даже хоть у ней, для которой эта мысль ближе, чем для него, было уже ясное представление о свадьбе, когда он хотел купить или выкупить ее. Человеческие мысли идут постепенно: освобождение женщины, с которой живешь, обеспечение себя и ее от разлуки по чужой воле — эта мысль достаточно натуральная, чтобы считать возможным ее существование в голове человека без всяких других подпорок и расчетов, и достаточно важная, чтобы соображения останавливались на ней, не хватая дальше ее, пока она не исполнена. А я не слышал ничего, показывавшего что-нибудь больше этой мысли в Иване Яковлевиче или в его экомке. Впрочем, я только говорю, что не было никаких признаков, чтобы в нем или в ней уже была отчетливая мысль о свадьбе, — а я уже сказал, что ею непременно кончилось бы дело, если б не помешали ему, — и нет ничего невероятного, — напротив, очень правдоподобно, что он и в особенности она уже очень отчетливо и твердо думали об этой развязке, когда такая развязка оказалась невозможною. — Но если принять это слишком правдоподобное предположение, что она уже готовилась к свадьбе, то уже решительно оказывается, что она была женщина добрая и хорошая; я не слышал, чтобы ее называли озлобившеюся на расстройство приписываемого ей замысла, — а называли бы, если бы она особенно приняла это к сердцу, — а не браниться, не выходить из себя от подобной неудачи могла только женщина очень добрая.

И вот уже давно Иван Яковлевич и она сожительствова­ли под запрещением свадьбы, и хотя их связь оставалась незаконною, — вернее сказать: преступною, постыдною для него, позорною для нее, — но не они сами были причиною того, что отношение их оставалось в такой предосудительной незаконности, — оно оставалось таким по препятствию, конечно, спасительному для Ивана Яковлевича, положенному другими; и хотя эти другие положили препятствие с чистой совестью, но та же самая совесть и воспрещала им строго порицать Ивана Яковлевича за незаконность, которую наложили на него они же сами. А весь кружок предварительными разговорами и последующими одобрениями принимал участие в наложении и сохранении запрещения, потому никто из

кружка и не порицал, а только все жалели Ивана Яковлевича, как я уже и сказал.

Жалели, — но сожаление было давнишнего начала, стало быть, уже успокоившееся, притерпевшееся, привыкшее к прискорбному факту, примирившееся с ним, дремлющее, говорливое, но бездейственное. Иван Яковлевич и его экономка жили, уже не тревожимые никем, никак. Так и шло время уже сыздавна, до операции, которою Иван Яковлевич спас мою матушку.

Операция эта всколыхнула, оживила жизнь самого Ивана Яковлевича, — так оживила, что даже пропустилось время болезненного ежегодного приступа его меланхолии. Несколько недель он мечтал, — о работе для науки, наверное, — об известности, может быть. Конечно, умный, очень немолодой, давно остывший до дремоты человек не будет долго обольщаться натолкнувшимися на него мечтами. — Марининская колония — в 40 или 45 верстах на север Аткарск, в 45 или 50 верстах на юг — Саратов, на запад и на восток — чистое поле, бесконечные расстояния, — при такой определенности местоположения скоро очнешься, то-есть задремлешь. Внутренняя жизнь Ивана Яковлевича вошла в прежнюю колею.

Но внешняя его деятельность не воротилась в нее, и мысли других о нем, выведенные из прежних сонных отношений бездейственного сожаления, уже не могли успокоиться.

Наше семейство не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска, — куда же, помилуйте! — но все-таки, ведь многие из далеко высшего нас среднего провинциального круга знали нас, а должностным образом батюшка мой имел отношения и к самой высшей знати, — в Сергиевском приходе жило несколько помещиков из числа важнейших между жившими в Саратове, а не в Петербурге, жил сам губернатор, кроме того, батюшка был благочинный, а при свадьбах очень часто случается надобность в каких-нибудь объяснениях с благочинным: или у жениха недостает какого-нибудь документа, или надобно хлопотать о том, вышли ли лета невесте (т.-е. исполнилось ли 16 лет). Поэтому не совсем же не знал город, — то-есть «благородный» город, — что моя матушка — больная женщина, сильно страдающая, что ничем не могут пособить ей саратовские медики, — а когда произошла операция, то и вовсе заговорили довольно много, что вот, жена благочинного была так больна, и что вот каким хирургом оказался медик Марининской колонии. Говор был не очень громкий, потому что мы не были важные люди, но все-таки был. А наше семейство, конечно, стало чуть ли не молиться на Ивана Яковлевича, веровать в него, и особенно матушка настоятельно требовала, чтобы больные знакомые, не находившие помощи от других медиков, обращались к нему — он спасет. По ее убеждению, знакомая ей советница убедила мужа отправить в Марининскую колонию сына, 10-летнего ребенка, у которого от ушиба во время игры стали гнить кости ноги, ниже колена, и гнили, и вываливались кусочками, с нестерпимыми постоянными страданиями, — это лечение, вероятно, было действи-

тально трудное, вероятно, действительно требовало большого искусства от медика, — гниение костей уже очень давнее, очень разившееся, — Иван Яковлевич быстро сладил с ним, и нога ребенка совершенно исцелилась, выгнившие части костей стали зарастать хрящом, и ясно было, что не останется никаких следов несчастья в ребенке. Стали являться пациенты к Ивану Яковлевичу в Мариинскую колонию, — еще немногие, — но все-таки уже стало так, что не переводились эти саратовские гости в Мариинской колонии, — бывало в одно время уже и по-двое, может быть и по-трое. Конечно, исключительно только уже очень тяжело больные, отчаявшиеся получить облегчение от городских медиков. Об Иване Яковлевиче еще не кричал Саратов, но уже знал его, и с каждым месяцем хоть медленно, но постоянно росла его известность.

Саратов, конечно, не соображал, что жизнь Ивана Яковлевича должна измениться от этого, да еще и очень мало думал о нем. Ивану Яковлевичу было спокойно и привычно в Мариинской колонии, денег ему не было нужно, — до такой степени, что он не соглашался брать их от своих больных, — он ни за что не захотел бы переселиться в Саратов. Что ж особенное может произойти с ним оттого, что некоторые из тяжело больных стали уезжать лечиться к нему? —хлопоты над ними, но приятные для него, служащие благородным развлечением; несколько семейств в Саратове очень привязались к нему, все зовут его к себе в гости, — поэтому он стал — очень изредка — приезжать в Саратов; все, к кому приезжает, принимают его с почтением и признательностью, — тоже развлечение, и тоже приятное. Больше ничего не могли сообразить саратовцы, начавшие знать его.

Но если ни для Саратова, ни для самого Ивана Яковлевича не было еще тут ничего чрезвычайного, то для Мариинской колонии перемена не могла пройти так легко. Там давно привыкли было видеть Ивана Яковлевича распределяющим свое время известным образом, — положим, проходящим из больницы прямо в свою квартиру; теперь он шел из больницы к больному и возвращался домой не в 11, а в 12 часов. Привыкли было смотреть на него известным образом и не знать о нем ничего нового; теперь он доставлял много новостей: через него являлись новые лица — больные и сопровождающие их здоровые; они разговаривали об Иване Яковлевиче, им надобно было рассказывать, объяснять его жизнь, привычки; и на него, вносителя новостей, нельзя было смотреть по-прежнему. Кто он был прежде? — «Наш добрый Иван Яковлевич, который хорошо лечит нас», — а теперь «наш Иван Яковлевич знаменитый доктор; как же? — приобрел славу». Стало быть, пришлось в десять раз больше прежнего говорить об Иване Яковлевиче, гордиться им, хвастаться им, перетолковывать о нем, передумывать о нем, — словом сказать, возобновился и возродился «вопрос об Иване Яковлевиче», давно было сданный в архив.

Общественная мысль мариинская, при некоторой помощи малой частицы общественной мысли саратовской, начала работать над

этим вопросом, — под дружными усилиями разрабатывавших его он стал скоро выясняться, — и было решено единогласно, что возможно одно решение и что оно необходимо: Ивану Яковлевичу надобно жениться.

С точки зрения абстрактного разума, отвлекшегося от опоры в условиях местности и эпохи, нельзя увидеть никаких оснований для необходимости такого решения. В абстрактной аргументации этот вывод был даже несообразен с некоторыми важными данными. Иван Яковлевич был человек уж немолодых лет, — полагаю, около 45, может быть и под 50, — а вид и манеры у него были еще более пожилые, совершенно стариковские; он был столько же похож на людей, вид которых в абстрактном разуме может сочетаться с понятием «жених», сколько овца походит на сокола или сколько курица на арабского скакуна. Отвлеченный разум, находя совершенную субъективную непригодность Ивана Яковлевича к такому результату, нашел бы объективную невозможность для него: понятие жениха предполагает понятие невесты, а в мыслях кружка, решившего женить Ивана Яковлевича, не было ни тени представления о какой-нибудь невесте для него.

Да, это последнее обстоятельство самое странное во всем деле. В провинциях ли мало девиц и вдов? И когда бывает, чтобы люди, хлопочущие женить человека, не заботились собственно о том, чтобы пристроить какую-нибудь родную ли, знакомую ли, девицу или вдову? — Это очень редко бывает, но тут было именно так; и хоть в Саратове были сотни невест, но мариинское и сочувствующий его заботам очень маленький кусочек саратовского общества решительно не имели не только в своем составе, но и до крайних пределов своего свадебного горизонта никакой ни родственницы, ни знакомой в кандидатки для сватанья за Ивана Яковлевича.

Но это ничего, невеста найдется, — справедливо рассуждали друзья Ивана Яковлевича: невесте как не найтись! — Мало ли невест в городе? Сила не в этом, а в том, что не уломаешь искать невесту, пока он живет с этой девкой. Эта недостойная связь так его опутала, что где же ему думать о женитьбе? Надобно избавить его от этой девки.

И что же вы думаете? — Опять было послано письмо к помещице. — «Связь с вашей девкой спутала человека, мешает ему составить приличную партию, между тем как теперь его уважает весь город, и он мог бы выбрать себе прекрасную партию. Обращаемся (или обращаюсь) к вам, как благородной женщине: спасите нашего доброго, прекрасного, благородного Ивана Яковлевича из рук этой твари». — Я не помню, кто написал это письмо и прежнее письмо, одна ли рука писала оба письма, или две разных руки, — я слышал это, но забыл, — не погрешил перед историческою точностью тем, что забыл: не стоило помнить, как не стоило помнить того, кто из саратовских маляров красил наш деревянный забор, — оба эти дела были такие, что многие другие люди совершенно так же могли исполнить их. Все находили хорошим, что наш забор выкра-

писен, все находили, что он выкрашен как следует, — одобряли, — но никто не видел ровно ничего особенного в том, что забор выкрашен, и не считал замечательным художником того маляра, который имел способность исполнить это дело, — дело честное и хорошее.

Серьезно, успели ли вы стать на ту точку зрения, что отправление этих писем было делом вовсе не дурным, — нет, хорошим, благородным; что это делалось с чистою совестью, по чистым побуждениям, из искреннего расположения к Ивану Яковлевичу, с твердою уверенностью оказать ему важную услугу, принести большую пользу? — Если вы не в состоянии понять этого, то знаете ли, как вы должны смотреть на эти мои записки? — для других и для меня самого это произведение не важное; а для вас оно должно иметь такую цену, какую имел в свое время для всех трактат Коперника: для вас, значит, я открываю тайны мироздания, показываю вам, что жизнь движется вовсе не так, как вы полагали, а совершенно другим манером. О, если бы масса вредного и дурного делалась дурными людьми с целью вредить, — о, как было бы тогда хорошо на свете, потому что как мала была бы эта масса! Всю бы ее можно одному, каждому из нас захватить в горсть и забросить в сор, чтобы не оставалось ее ни на чьем жизненном пути.

Но, будучи хорошим, чистым делом, отправление письма с этою просьбою не было таким делом, которое уже само по себе давало право на имя замечательного, благородного человека тому или той, кто сделал его. Услуга другу, не требующая жертвования со стороны делающего ее, — это еще не бог знает какой высокий подвиг. Очень может [быть], что человек, сделавший это, был очень хороший человек, но очень может быть, что он был и просто обыкновенный недурной человек, каких во всякой сотне бывает 70 или 80 человек. Но помещица как прежде показала себя действительно благородной женщиною, которая для пользы другого, даже вовсе незнакомого ей, готова забыть свой денежный расчет, так и теперь. Она вызвала к себе экономку Ивана Яковлевича, объявив, что не хочет дольше позволять ей ходить по оброку. Она для спасения человека от дурной, вредной ему женщины жертвовала доходом, который получала от этой женщины. Прежде помещица являлась нам человеком, который не хочет пользоваться особенностью и благоприятностью случая для получения особенных выгод; это черта не совсем дюжинная; теперь она отказывалась от обыкновенной, уже получавшейся выгоды, чтобы сделать пользу человеку совершенно чуждому ей, — это уж очень и очень недюжинная черта. Вызываемая девушка не была нужна ей; она теряла оброк и должна была кормить бесполезную ей женщину.

Я не знаю, как пошла жизнь этой вызванной девушки, много ли она убивалась — вероятно; но, разумеется, о ней не было никаких слухов. А Иван Яковлевич был совершенно расстроен, — тосковал, тосковал, и однажды слуга, подавший ему бриться, уви-

дел его лежащего облитого кровью, с перерезанным горлом, когда вошел через полчаса; слуга закричал, — побежали за фельдшерами, фельдшера нашли Ивана Яковлевича еще дышащим, перевязали рану, — рана оказалась не смертельна, — через несколько времени [он] уже сам помогал своим помощникам залечивать ее. Скоро он выздоровел, опять занялся больницею, больными; говорил, что очень доволен, что не удалась его попытка зарезаться, что ему самому смешна она, — бывал, попрежнему, в гостях, — приезжал в Саратов, — был у нас, — наши не заметили в нем ничего, показывающего отчаяние, — но через два, три месяца после этого свиданья мы слышали, что он опять перерезал себе горло бритвою, и на этот раз уже смертельно.

Это история, дошедшая до чрезвычайной развязки, которая придавала ей необыкновенность. Но бесчисленное множество обыкновенных историй страдания, происходивших около нас, производило впечатление того же смысла. Не злые люди, а добрые, хорошие бывали причиною большей части тех бед, свидетелем или слушателем которых я был в детстве. И, конечно, это очень сильно подготовило меня к тому понятию о страданиях людей, которое с полнейшею точностью олицетворилось для меня следующим происшествием.

В 1851 году, в самом конце зимы, я отправлялся в Саратов; нашлись попутчики, — двое приятелей, из которых у одного была порядочная зимняя повозка. Отлично. Мы поехали. В дороге я подружился с моими попутчиками, — одного я и прежде несколько знал, как отличного человека, другой оказался добряком, простодушие которого неимоверно. Вот, и ехали мы очень довольные друг другом, занимаясь всяческими рассказами и шутками. Я сидел, — то-есть лежал в отличном спокойном повозочном положении, с правого края, двое приятелей занимали точно такие же положения, один посредине, другой на левом краю повозки. Выпадал маленький сырой снежок. Мы застегнули фартук повозки и ехали себе, весело болтая. Вдруг, — хлоп! — повозка на бок, на левую сторону; лошади — смирные, хорошие, на том же шагу остановились, — я увидел себя составляющим верхний слой трехъярусного общества и очень удобно вылез в широкую щель между фартуком и верхним боком повозки. Но мои спутники расположились не так удачно: «Дмитрий Иванович! Григорий (или Николай, не помню теперь) Александрович! вылезайте же! Что же вы?» — кричал я со смехом. — «Не могу вылезать. Режьте фартук!» — отвечал глухим голосом, один из двух друзей моих спутников; другой вовсе не подавал голоса. Фартук поочередно натягивался двумя поперечными полосами, далеко не доходившими до верхнего края. Я, слуга одного из моих спутников, ямщик хватились по карманам — ни у кого нет ножа. Принялись отстегивать фартук — застежка длинная, крепкая, кольцо тоже крепкое, фартук тяжело натянут наискось, — вся тяжесть, давящая на него, притянула кольцо в глубину застежки, не можем отстегнуть! — мы рвать фартук, — но

куда же? — такая здоровенная кожа, попытка рвать была чисто только уже выражением нашего отчаяния отстегнуть, — опять принялись отстегивать, — «скорее, скорее, удар будет! задушу!» — изредка с усилием произносил один из зафартучных моих спутников, задыхаясь на каждом слоге. Другой так и вовсе не подавал голоса. Долго мы бились — наконец, кто-то из нас, — кажется слуга, — изловчился, — кольцо шмыгнуло по застёжке, фартук отлетел, — мои спутники благополучно вывадились на снег, живы, здоровы и целы, — что они здоровы и целы, этого и нельзя было ожидать иначе: ушибиться не было возможности, — но продлись история еще две минуты, один наверное оказался бы задушен. В минуту падения повозки среднему случилось встряхнуться таким манером, что он повалился головою к низу, — ноги его были прижаты фартуком, а плечами он навалился прямо на лицо нижнему, — нижний всею своею тяжестью давил на фартук, на него самого всею тяжестью давил верхний, — воротник шубы нижнего закутывал ему лицо, — в том числе и рот, и нос, — этот душитель был отлично придавлен корпусом товарища, — руками не мог пошевелить ни тот, ни другой, они были между фартуком и боками своих владельцев, только ноги верхнего двигались по фартуку, изменяя направление его натянутости и заставляя кольцо вырываться из руки отстегивающего.

Вот вам в живой картине экстракт отношений, от которых происходит более 99% человеческого страдания: отличный человек без всякого дурного умысла навалился на другого, которому нимало не желает вреда, и сам едва не задыхается от отношения, которое душит того.

Либерал говорит: «Да, дороги плохи; ухабы, раскаты; натурально, что при таких дорогах сани и повозки опрокидываются. Гнусные дороги, надо сравнивать ухабы и раска[ты]». — «Рассудите, пожалуйста, возможно ли это? — отвечает консерватор: — достанет ли человеческих сил выровнять сотни тысяч верст наших зимних дорог? не достанет; и ведь через неделю после выровнения, с первым новым снегом, с первою новою оттепелью или вьюгою опять были бы точно такие же ухабы и раскаты. Закон природы, сущность вещей, непреодолимые вечные силы природы, — хорошо или дурно, но неодолимо, неотвратимо, неисправимо. Бороться против непреодолимого — значит только напрасно изнуряться и делать новые, лишние беды себе и другим; вооружаться против законов природы — значит только показывать дешевое умничанье, которое свидетельствует лишь о легкомыслии и поверхностности занимающегося им».

Правду говорит либерал, что зимние дороги имеют очень плохую свою сторону в ухабах и раскатах; правду говорит консерватор, что с этою плохую стороною их трудно справиться, — неизвестно, мог ли [бы] одолеть ее весь народ, опрокидывающийся на зимних дорогах, подобно нам, — а уже совершенно бесспорная вещь, что мы втроем никак не могли выровнять нашу дорогу, —



но... но дело в том, что дело было вовсе не в том. Отводы у нашей повозки были, как видно, недостаточно широки, — от этого она повалилась, и если бы кто-нибудь из нас троих догадался посмотреть на отводы, да догадаться, что они не достаточно широки, — за 5 коп. в две минуты подвязали бы к ним куски старых оглобелей, и повозка не могла бы опрокинуться, и не пришлось бы одному прекрасному человеку, задыхаясь самому, душить другого. Что тут рассуждать о законах природы, — просто мы не догадались, только.

Я объяснил, отчего, по моему рассуждению, сильно подготовленному впечатлениями, происходят беды и страдания людей; но еще не объяснил, отчего по рассуждению саратовцев моего времени происходит запой. Это объяснение тоже немудреное: «под сердцем» у человека заводится «особенная глиста, вроде, как бы сказать, змеи», и «сосет» ему «сердце», — но когда он пьет, часть вина попадает в рот змеи; нужно очень долго обливать ее вином, чтобы она опьянела, — наконец, она опьянеет, — и надолго, очень надолго; тогда, разумеется, страдание проходит, — ведь она лежит пьяная, не сосет сердца, и надобность в вине минует для человека до той поры, когда хмель змеи, — через несколько месяцев, — проходит: тогда опять надобно пить. Замечательным подтверждением этому приводилась догадливость одного страдавшего запоем купца: он рассудил, что чем крепче напиток, тем скорее усыпит змею, — и попробовал, когда пришло время запоя, начать стаканом самого крепкого рома: змея опьянела с одного стакана, — а сам он еще остался трезв, потому что был здоровый, — и надобность пить исчезла. Но, опьянев так быстро, змея и опьянела не так надолго, как от долгого обливания водкою; через неделю опять начала сосать сердце. Он опять выпил стакан рома, и опять успокоился. Таким образом, благодаря своему уму, он отделялся от запоя несколькими стаканами рома в год. Саратовцы буквально поняли два выражения: о тоске, «змея сосет сердце», — и о рюмке водки перед закускою: «заморить червяка», — свели оба выражения в одно, получили полное объяснение причины запоя и удовлетворились.

Итак, если бы Матвей Иванович пил запоем, это было бы горе, но не грех и не стыд; но он не пил запоем, а просто пьянствовал. Напрасно плакалась жена, напрасно усовещевала прабабушка (моя, — как именно была родственница ему, не умею сказать в точности; вероятно, двоюродная тетка, — он звал ее тетушкою, мою бабушку сестрицею). Но неизвестно почему, он исправился, — и уже совершенно перестал пить, стал человек примерно строгой жизни. Но если Александре [Павловне] стало легче в нравственном отношении, то в материальном не произошло большого облегчения нужды: Матвей Иванович все свое небольшое жалование продолжал попрежнему обращать на покупку вина, — купит, и приводит к себе пьяниц, самых обнищавших и беспутных, и угощает их, — а сам ведь уж ничего не пьет.

Александра Павловна бедствовала попрежнему, прабабушка, — тогда Матвей Иванович был на квартире у нее, — бранила, изумляясь такой странной манере тратить деньги. «Приятно, что ли, тебе с ними? — говорила она, — ведь на них смотреть гадко». — «Гадко, тетушка», — отвечал Матвей Иванович. — «Так что же ты на них убиваешь все деньги?» — «Тетушка, — отвечал Матвей Иванович, — кабы вы знали, какое мучение пьянствующему человеку, когда у него нечего выпить, вы не удивлялись [бы] и не осуждали. Это такое мучение, тетушка, которого и представить себе нельзя, — я испытал его, знаю, потому и не могу удержать своей жалости: очень они мучатся». — Этот период жизни Матвея Ивановича кончился еще до моей памяти, и я знаю его только по рассказам; бабушка, которая была очень строга к пьяницам, передавала, однако же, ответ Матвея Ивановича печальным тоном такого серьезного убеждения в его справедливости, что и у меня, ребенка, щемило сердце: верно, в самом деле, большое мучение испытывают бедные пьяницы, когда бабушка произносит ответ Матвея Ивановича таким голосом и не повторяет в конце замечания, которое делала в начале, что Матвей Иванович поступал безрассудно, тратя на вино пьяницам деньги, когда жене было почти что нечего есть, — верно, и сама бабушка разжалобилась.

Но по мере того, как время сглаживало живость воспоминания о собственном мучении в период пьянствования при недостатке вина, ослабевала и расточительность Матвея Ивановича на покупку вина пьяницам. На моей памяти Матвей Иванович уже не имел заметного обычая угощать их, — я знал только, что иногда он приводит к себе пьянчужку, которого увидит на улице в особенно несчастном состоянии, даст ему выпить рюмку, две, долго увещевает его и отпускает. Но это случалось изредка, так что самому мне не привелось ни разу быть свидетелем такого случая.

Конечно, когда Матвей Иванович перестал расточать все деньги на пьяниц, Александра Павловна должна была терпеть менее нужды, чем прежде. Но это лишь умозаключение, — и справедливое, — а не то, чтобы наблюдение: Александра Павловна продолжала жить так скудно, что, глядя на ее жизнь, я не мог бы предположить, что прежде она жила еще скуднее, — я только не мог сомневаться в очевидной справедливости рассуждений бабушки и других старших, что прежде Александре Павловне было еще хуже.

Ко всему, что я говорил о Матвее Ивановиче, привязывалась заметка о печальном влиянии его действий на судьбу Александры Павловны; этим я только сохраняю своему рассказу колорит. какой имели впечатления, полученные моим детством от особенностей Матвея Ивановича: я не слышал ни одного серьезного разговора о нем между своими старшими и родными, веденного иначе, как с той точки зрения, каково отзываются его особенности на судьбе его жены.

Не она, а он был родня нам. Она была женщина и не нашего круга. Мы не были ни от кого зависимы, но и никто из моих старших не был в близких прикосновениях с богатыми или знатными. Александра Павловна была воспитанницею какой-то графини, не только знатной, но и очень богатой; ни фамилии этой графини, ни каких подробностей о ней я [не] знаю и, кажется, никогда не слыхивал. Очень вероятно, что жизнь Александры Павловны в доме графини была обыкновенная незавидная жизнь воспитанниц богатых помещиц, — иначе, как же бы выдала ее графиня за ничтожного, вероятно, тогда еще и бесчиновного и просто канцелярского чиновника? Но все-таки, как бы ни стеснительна была жизнь воспитанницы, это была жизнь в богатом барском доме, в котором вообще обстановка была не та, какая привычна была моим старшим и их родне. После я увидел, что из дома графини Александра Павловна вынесла две привязанности, из которых одну просто хвалила моя бабушка, а другую считала несколько неприличной. Эту порицаемую бабушкою привязанность Александры Павловны составляли комнатные собачки. У Александры Павловны постоянно была семья их — мать с детьми; иногда и щенки достигали преклонных лет, но большую часть времени взрослое поколение состояло из немногих особ, — двух или даже только одной, окруженной молодежью; Александра Павловна вероятно дарила своим знакомым подраставших и выученных воспитанников, потому что кормить их составляло бы уже стеснительный расход; но каким бы способом она ни расставалась с ними, разлука с каждым наверное была для нее не совсем легка, потому что они действительно были ее воспитанники и воспитанницы: она ухаживала за своими собаками с нежною, неусыпною заботливостью и сама учила всему, что нужно в их звании; она даже была уверена, — и я не поручусь, что она обольщалась мечтою, — что ее собачки умеют кланяться гостям по ее приказанию, — мои старшие не могли заметить, чтобы они действительно кланялись, когда Александра Павловна с добродушною радостью указывала на то, что они кланяются, — поэтому и я не замечал, чтобы действительно были поклоны, — мои старшие потом между собою посмеивались иногда над этою мечтою, — посмеивался и я вслед за ними; но — почему же знать, быть может, мы не видели только потому, что были расположены не видеть? — По мнению Александры Павловны поклоны ее собачек гостям состояли в тех самых поклонах, какими мы приветствуем друг друга, — в легком наклонении головы, — свободном, без всякого раболепства, только с учтивостью, а не в каких-нибудь собачьих штуках, которым учат дрессировальщики, учащие собаку быть подлым шутком. Нет, Александра Павловна любила своих комнатных собачек не так, как любят причудницы, которым комнатная собачка служит куклою, потешницею капризов или предметом глупой сентиментальности, — она была привязана к своим комнатным собачкам тою неподдельною и не экзальтированную любовью, какую я в детстве имел и теперь имеют мои

маленькие племянники и сынишка к нашим дворовым собакам: это добрые собеседницы, с которыми говоришь от души, товарищи, приятели. Бабушка находила, что держать собак в комнате неприлично; другие мои старшие — ее дочери и зятья — конечно, этого [не думали], но сами чуждались такой привычки; матушка даже не любила комнатных собак; другие не имели природного нерасположения к ним. После я, конечно, понял, [что] манера иметь комнатных собачек, чуждая нашему кругу, зашла в него с Александрой Павловной из барской жизни. Но если мои не сочувствовали этой ее привязанности, подсмеивались над ее крайностями, проде мечты об уменьши собачек кланяться гостям, то все симпатизировали другой привязанности, которая еще более занимала собою Александру Павловну, — ее страсти к цветам. И при жизни мужа, когда деликатная Александра Павловна не хотела делать того, что не соответствовало его понятиям о виде комнат, у нее было занято цветами все то пространство маленьких комнат, которое можно было занять ими без нарушения обыкновенного [порядка]: середина комнаты должна быть свободна, и не должны быть ничем замаскированы стулья, диван; углы комнат, промежутки между мебелью, все было наполнено горшками цветов. А когда Александра Павловна осталась вдовой, хозяйкою своих комнат, то ее домик весь наполнился цветами. Это было, уже когда я жил в Петербурге. Когда я заходил к Александре Павловне в 1861 году, цветов было много, — больше, чем я видел при [Матвее] Ивановиче; но Александра Павловна уже жаловалась на то, что ей изменяют силы, что в последнее время недостало их на уход за столькими цветами, сколько было у нее прежде, — многие погибли оттого, что она не могла заботиться о всех как следует. Такая сильная страсть к цветам, конечно, дело натуры; но вероятно много тут значили и воспоминания первой молодости, оранжерей, зала, устроенного зимним садом. — Вероятно, я не пускаюсь в слишком тонкие соображения, думая видеть в обеих особенных привязанностях Александры Павловны следы ее молодости, проведенной хоть и скудно, и стесненно, но в богатом барском доме. Но и теперь следы этого я могу отыскивать в ее известной мне жизни только по соображению: сама она никогда не пускалась в эти воспоминания, и мои родные тоже не обращались к ним, когда говорили о ней. Уж по одному этому можно было бы сказать наверное, что Александра Павловна была очень хорошая и благородная женщина: пышность, блеск, из какого бы темного и дрянного уголка ни видели мы их близко, так заманчивы нашему тщеславию и всем пошлым нашим качествам, что лишь очень хорошие люди не имеют слабости как-нибудь нет-нет, да и припомнить что-нибудь в таком роде, что дескать пышная обстановка мне знакома. А если не только мне не случалось слышать таких воспоминаний от Александры Павловны, но и мои родные не занимались ими, то, значит, и они не слышали их от Александры Павловны и тогда, когда они были свежее в ней.

И действительно, Александра Павловна была очень благородная, почтенная женщина. Все мои близкие и дальние родные говорили о ней всегда только с уважением и похвалою. Бабушка была охотница бранить людей — это ей не порицанье, потому что она и в глаза резала такие же приговоры, какие делала за глаза, — и подле нее, старушки, не мало было пересудов, так что дочери очень часто держались в стороне от ее разговоров, а зятя возражали ей, — один, дядя мой, основательными, подробными объяснениями, что осуждаемый или осуждаемая вовсе не так дурны, — другой, мой батюшка, почти только общими замечаниями: «матушка, ну, что так строго говорить о людях», — и, конечно, бывали в нашем кругу, особенно в комнате бабушки, собеседники и собеседницы, не уступавшие ей критическими наклонностями, — но и от самой бабушки я не слышал, кроме порицания комнатных собачек, ни одного слова об Александре Павловне, сказанного иначе, как с уважением и расположением, ничего кроме похвал и сочувствия.

И она стоила их. Например, она была близка к двум очень богатым семействам; с нею советовались в затруднительных семейных делах; за нею присылали, как что-нибудь случится в семействе, — какая-нибудь размолвка, или занеможет ребенок, — ей поручали детей, когда уезжали на несколько дней в деревню, — она была для этих очень богатых семейств, совершенно посторонних ей, тем, чем бывает для богатых людей бедная, но живущая своим особым хозяйством родственница, которая старше летами, опытнее нестарых людей в этих семействах и просто умнее равных ей летами. Это — прибежище и помощь всегда, когда нужна, и ненужное лицо, когда ненужна. Я не полагаю, чтобы эти семейства были особенно скупы, но, получая на каждой неделе сотню услуг от Александров Павловны, они не производили никакого заметного улучшения в ее быте; значит, она держала себя так, что они и не думали о ее нуждах, — знали, что она женщина бедная, но не имели случаев вспоминать об этом. Она любила рассказывать о жизни этих семейств, но ее подробные рассказы были рассказы, какие каждый любит делать о людях, к которым расположен: она готова была целый час толковать, как, например, собирались NN в деревню, как доехали до деревни, какие поправки делаются теперь в их городском доме, пока их нет, как раскашлялась маленькая дочь, как опасались, не скарлатина ли это, — и все бесчисленное и бесконечное прочее, что так занимает искренних друзей и что решительно непригодно ни для каких пересудов. Не только ничего похожего на сплетню не было в ее собственных словах, — и другой никто не мог извлечь из них никакого материала для сплетни. Но можно было извлечь из них, — хоть до этого она не думала касаться, что она, бедная, держит себя в этих богатых домах чрезвычайно благородно, как очень немногие умеют быть и не заносчивы и почтенны в подобных отношениях. Надобно ли после этого говорить, что она никогда не жаловалась на мужа? — Женщина

умная и очень рассудительная, вовсе не притворщица, не охотница хитрить, она не старалась притворяться, что не понимает нелепости его поступков или не чувствует на себе вред их. Но она никогда не заводила разговора, никогда [не] вдавалась в него, если он начинался без ее воли, и все понимали, что для нее такой разговор неприятен, потому не пускались при ней в суждения о Матвее Ивановиче, — разве подведет невзначай к этому вообще разговор о житейских делах, — тогда Александра Павловна неохотно и в мягкой форме выражала мнение, что Матвей Иванович поступает странно и нерасчетливо.

А даже и мне, ребенку, видно было по лицу Александры Павловны, что Матвей Иванович плохой семьянин. Александра Павловна была женщина высокого роста, крепкого, стройного сложения, с правильными чертами лица, — следовало бы, чтобы она была хороша собою. В то время, когда начинается моя память, ей было лет 35, может быть 40, — но это ничего. Анна Ивановна, — младшая сестра моей бабушки, — была старше, вероятно, годами пятью, и я еще помню ее с молодым, очень красивым лицом. При том образе жизни, какой вели мы и наши родные, женщины очень долго сохраняют молодость, — особенно, когда у них нет детей; а у Александры Павловны не было детей. У моей матушки было двое детей; она была очень долго очень больною женщиною, — лет десять, — и потом, после операции, о которой я рассказывал, хотя очень поправилось ее здоровье, но все-таки осталась довольно хилою; а когда она провожала меня в Петербург, в университет, на постоянных дворах меня иногда принимали не за сына, а за мужа ее, и не высказывали замечания, что жена стара для мужа, — вероятно давая мне лет за 20, и ей давали лет 25, хоть ей было 42 года. Александра Павловна не была на моих детских глазах красива собою не потому, что ей было 40 лет, а потому, что цвет ее лица был не тот, при котором женщина сохраняет красоту дальше молодости. Никто из нас и наших родных не принадлежал к людям с состоянием, все жили очень скромно, и женщины моих родных семейств принимали очень много участия в домашних работах. И Александра Павловна не сама была стряпухою и полойкою, — у ней была служанка, пожилая девушка. Но видно, что все-таки и барыне приходилось исполнять слишком много тяжелой работы, видно, что и стол ее был слишком скромен: ее лицо загрубело, будто муж ее не был «благородный».

После периода «беспутной» жизни Матвей Иванович стал вином облегчать страдания таких же мучеников, каким был сам недавно; но это направление его деятельности не было продолжительно, — скоро моления в церквях и дома, назидательные разговоры и благочестивые размышления совершенно поглотили его, и уже навсегда.

Из рассказов бабушки я узнал такие черты раннего периода благочестивой жизни Матвея Ивановича.

«Вздумалось ему ехать в Киев. Куда чиновнику от службы ехать? Хорошо ли? И ехать надобно с деньгами, — это хорошо достаточным людям, а у него какие деньги? Ну, сколотил деньжонок, одержонку продал, — ведь у Александры Павловны было хорошее приданое: белье самого отличного полотна, и много; платья тоже, ну, и вещицы кое-какие» (из этого не следует заключать, что у Александры Павловны было приданое, заслуживающее имени приданого: может быть, и всего-то было: белья, платья и вещей рублей на пять-на шестьсот ассигнациями, — может быть, и больше, и много больше, — я не знаю, — но и такого приданого, ценность которого я определяю, было очень достаточно по тому кругу и времени, чтобы бабушка называла его «хорошим», пожалуй иной раз и «богатым»), — все спустил сначала на вино, потом на другие свои сумасшествия. Может, и выпросил у кого деньжонок, помогли, — ну, сколотил сколько там рублей. Купил телегу с кибиткой, лошаденку, — тащит с собою и Александру Павловну. — «Да мне-то зачем, Матвей Иванович? — она говорит: — и одному ехать лишний расход, да еще на меня. Лучше я останусь; как-нибудь проживу. Ступай один, дешевле». (Умная женщина.) — «Нет, говорит, подлячка». — Так и звал ее подлячкой, свинья этакий, варвар, подметок ее не стоит. — Да и сам хорошо об этом сказал, каков он. Все «подлячка» да «подлячка» — вот, раз она и не стерпела, сказала: «Если я подлячка, Матвей Иванович, зачем же ты на мне женился?» — «Да как бы ты не подлячка была, разве бы тебя за меня отдал?» — он-то отвечает. Нашел ответ, видно, что сам себя хорошо понимает, что и тот злодей, кто за такого человека выдал девушку. Так чорт же его знал, что он выйдет этакой урод и тиран. Тогда ведь еще не пил; а о нынешних своих глупостях и понятия не имел. — Так вот, собираются-то они в Киев да в Москву, богу молиться, — мало места ему, дураку, в саратовских-то церквях, — просторные, хотя во весь рост растягивайся на полу-то по будням-то: просторно, никого нет, — и полы-то каменные: хоть пробей лоб-то, коли усердие есть, можно, камень-то здоровый, выдержит. — Тащит Александру Павловну с собою, да и только. — «Да что ж мне ехать, — она говорит, — когда не на что и тебе одному. Зачем я поеду?» — «Ах, ты, подлячка! Да разве ты не жена? Я за твою душу-то должен отвечать. Да и сладко ли мне будет смотреть, как ты в аду-то будешь сидеть?» — Вот тебе и резон. Так и взял с собою. И натерпелась же она мученья в этой дороге! Сам ест как следует, а ее сухими корками кормит. Это, говорит, лучше для душевного спасения. — Ну, недостает ее терпенья, — да и смешно уж ей, с горя-то. Говорит: — «Матвей Иванович, что ж это, меня корками спасаешь, а сам ешь, как следует, — ты бы уж и себя-то спасал». — «На тебе много грехов, говорит, тебе надобно смирять себя постом и умерщвлением плоти, а мне уж нечего, на мне грехов нет никаких». — Так ведь и говорит, дурак. Праведник какой завелся. — Лошаденка плохая, — как дождик, чуть дорога в гору,

она и становится. — Что же вы думаете? — Сам сидит, а жену гонит с телеги: «Слезай, говорит, лошади тяжело, ступай пешком». — «Матвей Иванович, ты в сапогах, да и то не слезаешь, а я в башмаках как буду идти по такой грязи?» — «Мне, подлячка, можно сидеть, на мне грехов нет, а тебе надо пешком идти, чтобы усердием этим искупить свои грехи». — Так и сгонит с телеги, и идет она пешком по дождю да по грязи. Вот они какие, праведники-то. У них у всех сердце жестокое. В них человеческого чувства нет».

Вспомнился мне совершенно другой анекдот, не из того времени, не из того быта, вовсе не к тому делу относящийся и слышанный мною, уже когда я жил в Петербурге совершенно в другом кругу, в 1856—1857 годах<sup>10</sup>. Вспомнился мне от слов Матвея Ивановича, что ему нечего много подвизаться, потому что он и так хорош, а надобно много подвизаться Александре Павловне. Рассказывал мне это сам тот, кто затеял дело, решенное резолюцией, сходною с мнением Матвея Ивановича.

Этот мой знакомый, очень умный и очень хороший человек, один из лучших людей на свете, но имеющий ту смешную слабость, — и я, и все его знакомые постоянно трунили над ним за это, но на него не действовали насмешки, и его не охлаждали неудачи, это человек не такого сорта, чтобы опустить руки, — имеющий ту слабость, что если видит нелепость или вред, непременно старается объяснить кому надобно, что это нелепо или вредно и что надобно это исправить. — Итак, этот мой знакомый, не русский, проходил в необыкновенно далеких местах и необыкновенно малых чинах военное поприще. Однажды, сидя в казарме, стал он вслушиваться, как солдат, готовясь к осмотру, твердит «словесность». — «Словесность» — это значит «пунктики», а «пунктики» — это значит: изложение основных понятий о звании и обязанностях солдата, которое надобно солдату знать твердо, потому что начальники, приезжающие осматривать войска, должны удостовериться между прочим и в этом, и спрашивают у солдат эти «пунктики». Один из пунктиков служит ответом на вопрос: «что нужно солдату?» — и начинается так: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество», и т. д. Вот, мой знакомый слушает, — солдат твердит: «Солдату нужно» — остановка — «немного любить бога, царя и отечество». В другой, в третий раз — все то же самое, — «Солдату нужно: немного любить бога», и проч. — «Ты, мой друг, не так учишь, надобно вот как: «Солдату нужно немного», — это значит, что немного требуется от солдата, что обязанность у него легкая, — и вот какая: «любить бога, царя и отечество», а любить их надобно усердно. Учи же так: «Солдату нужно немного», — знакомый делает остановку в голосе, — «любить бога, царя и отечество». — «Так, как вы говорите, выходит больше толку, но фельдфебель показывал так, как я учу», — сказал солдат. «Не может быть!» — знакомый возбудил вопрос между своими сотоварищами. Все учат так, как первый, у которого он подслушал, грамотные по-



казали ему и списки пунктиков, — во всех списках так: «Солдату нужно» — две точки — «немного любить», и проч. Мой знакомый пошел к ротному командиру. Ротный командир был человек очень простого образования или вовсе никакого. — «Солдаты учат пунктики вот как, а надобно вот так». — «Я и сам знаю пунктик так, как они, а не так, как говорите вы. Так написано. Ступайте к батальонному командиру, я не могу переменить». Правда. Мой знакомый пошел к батальонному командиру. И тот то же: «Я сам так знаю пунктик, как они. Должно быть, что так написано в списке, который прислали нам из корпусной канцелярии». — «Посмотримте, так ли». — «Посмотрим, в самом деле», — сказал батальонный командир, — призвал писаря, писарь нашел, принес подлинный список, который должен служить основанием для всех копий, — посмотрели, — точно, и в нем так написано: «Солдат должен» — две точки — «немного любить» и т. д. — Выше батальонного не было начальника на 100 верст, а может быть и на 500 кругом, — итак, батальонный командир, тоже человек простой, не мог отправить моего знакомого к высшему начальству за разрешением, должен был решить вопрос о «словесности» сам. Мой знакомый стал объяснять то, что объяснял своему товарищу. Батальонный командир конечно также понял, что манера чтения знакомого более идет к делу, чем та, которую он называет ошибочно. — «Но позвольте, однако ж, надобно еще подумать», — сказал он. Подумал несколько минут, и сказал: «Нет, написано так; ошибки нет». — «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить», и проч.

Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории по крайней мере за последние 375 лет, если не больше, в батальонном командире — олицетворение русской нации за все это время. Он был, как видно, не очень ученый человек, — но уже кое-что знал; он имел понятие о том, что за штука двоеочие, — так и русская нация, хоть и ни теперь, ни в XVI веке не была из передовых по просвещению, но уже и тогда сильно понатерлась в книжной мудрости, благодаря Византии. Но именно знание-то силы двоеочия и подкупило батальонного командира: будь он человек безграмотный, ему не на чем бы упереться против здравого смысла. Православную Русь наука стала затуманивать не с Петра Великого, а гораздо раньше, и с половины XV века уже очевидно ее тяготение над нашею жизнью. Батальонный командир не был орел — и мы

тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака, — нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума, — нужно было гораздо больше ума, чем было бы достаточно для здравого решения дела; отчего ж это он так странно решил? — да оттого же, отчего мы с бабушкой не догадались, что попукивавшие из ружей спутники ее матушки, моей прабабушки, не были разбойники, — а какая это причина, там уж и объяснено, где рассказано о попукивавших спутниках. Две точки поставлены на этом месте; следовательно, вся сила ума должна быть обращена уже на то, чтобы убедить себя и других в красоте и основательности их стояния на этом месте.

По рассказу о путешествии в Киев и Москву Матвей Иванович является грубым, гадким человеком, — ругает жену, мучит ее. Но как дурного человека, грубого притеснителя, я знал его только по этому рассказу, относившемуся к давнопрошедшим временам. На моей памяти он был уже вовсе не таков. Он обращался с Александрой Павловной почтительно, так что нисколько не шокировал меня, привыкшего видеть, что мои батюшка и дядюшка никогда не говорят своим женам сколько-нибудь грубого или жесткого слова. Он уже и не заботился о ее душевном спасении, и не объяснял ей, что на ней много грехов, — он уже спасал только себя. Вероятно, он и сам отчасти рассмотрел понемножечку, что его жена — [женщина], которую следует уважать; вероятно, он и по природе не был нахал и «ругатель», а грубые бранные слова нацепились ему на язык во время его кабацкого гулянья с сквернословями и выходили из употребления по мере того, как вообще сглаживались годами следы этого грязного гулянья; конечно, помогло ему почувствовать почтение к жене то, что он видел уважение к ней со стороны своих родных, которые были важнее его самого по общественному положению, — первый муж тетушки был дворянин, офицер; второй, — которого я называю дядюшкой, — помещик; мой батюшка — второе лицо, а муж другой сестры моей бабушки, мой крестный отец, первое лицо по почету в саратовском белом духовенстве, и каковы бы ни были действительные отношения несколько важных светских людей к ним, — об этих отношениях еще будет речь, — но формальным образом все-таки часто случалось им сидеть на первом месте за столами у начальников Матвея Ивановича; их уважение к Александре Павловне должно было показывать Матвею Ивановичу, что не годится ему не уважать ее. Но много я полагаю, — вероятно, больше всего, направили его прямые наказания, — то-есть очень резкая брань, — моей бабушки, ее сестры и в особенности ее матушки, моей прабабушки, а его тетушки. Дальше будет история о том, как отучила моя бабушка одного из своих клиентов от дурного обращения с женою; прабабушка была тоже женщина с бойким характером, — она бранила как мальчишку при многочисленных гостях другого своего племянника, уже важного человека в саратовском мире, за то, что он непочтительно выразился о своем отце, через меру выпивавшем старичке. А в это вре-

мя она была уже хила. Матвей Иванович должен был [пройти] ее школу раньше, когда она была еще бодрою старушкою, и я не знаю, до какой степени она, назидая Матвея Ивановича, ограничивалась только словами. Это ей и ему было знать.

Но как бы то ни было, при помощи ли прямых родственников мер назидания, или преимущественно сам собою исправился Матвей Иванович, а я знал его уже человеком, не обижавшим жену грубостями, — и вообще человеком — как это сказать? — хорошим или нехорошим? Это, положим, трудно решить, но по справедливости надобно сказать: человеком безукоризненным. Честен он был вероятно всегда, низостей не делал, — вероятно никогда. А на моей памяти он был уже таков, что нелепо было бы ждать от него нечестного или нехорошего поступка. Он даже [не] был человек сурового сердца, — пробным камнем этого служит, как вероятно и до меня было известно читателю, обращение человека с детьми. Матвей Иванович, здороваясь и прощаясь с нами, детьми, гладил нас по головке, ласкал, как всякий другой обыкновенный человек, — не приторно, не натянуто, не притворно, — мне кажется, что в голосе его ласковых слов звучало иногда и довольно теплое расположение ко мне или другому ребенку, с которым он здоровался или прощался. Я не могу сказать, чтоб и в разговорах его с взрослыми или в его взглядах, манерах было что-нибудь притворное, льстивое, — а я в детстве был, вероятно, чуток на это, по крайней мере терпеть не мог нескольких своих более или менее дальних родственников, в которых было притворство; и мои старшие, даже сама бабушка, не винили его в притворстве или «иезуитстве», как она выражалась.

Итак, я теперь полагаю, что Матвей Иванович не был ни злой, ни дурной человек, и положительно уверен, что он был человек честный, и в детстве не думал о нем иначе. А между тем, я тогда ставил резкую разницу между ним и всеми остальными нашими родными и близкими знакомыми, — разницу в невыгоду ему. Я знал, что некоторые из людей, с которыми я не хочу сравнивать его, нечестные люди: взяточники или плуты, а он ни то ни другое; к этим людям я имел неприязнь, — к нему не имел; тем я желал бы вредить, ему нет; а между тем, у меня к нему меньше лежало сердце, нежели к ним, — не знаю, понятно ли я выражаю это довольно сложное, но очень частое отношение. Это похоже на разницу впечатления, делаемого на вас негодяем, пожалуй злодеем, но здоровым, чистым, — вы пожалуй можете опасаться его умыслов на вас, может быть, он ранил вас, хотел убить, — может быть, вы убили его, обороняясь, — но вы не чувствуете физической брезгливости к нему, — его прикосновение не гадко для вас, хоть, может быть, ужасно; а если вам привита оспа, вы ведь нисколько не опасаетесь вреда себе от прикосновения к человеку, который покрыт оспенными нагноениями, — и пусть этот человек честный и хороший человек, — вам все-таки хочется отворачивать глаза от него, неприятно дотрогиваться до него.

И не то, чтобы содержание разговоров, которые велись, когда Матвей Иванович бывал у нас, или мы бывали у него, или встречал я его у других родных, имело очень много элемента, производившего такое впечатление на меня. До какой степени содержание разговоров могло быть проникнуто особенным запахом, легко будет судить по одному случаю, который был уже незадолго перед моим отъездом в университет. В то время, 1845—1846 годы, у нас бывал почти как свой человек И. Г. Терсинский, который думал сделать предложение старшей из моих кузин. Это было и видно нам, да и не утаиваемо им, разумеется, хоть он еще и не говорил об этом; но он говорил, что не останется в Саратове, поедет служить в Петербург. Он — магистр Петербургской духовной академии и, что еще важнее для характеристики случая, был тогда профессором богословия в саратовской семинарии. Сидел у нас он, сидел и Матвей Иванович. Говорили. И долго сидели и говорили. Вдруг, как-то, разговор повернулся на то, что Иван Григорьевич едет в Петербург. Услышав это, Матвей Иванович, который еще не знал об этом, редко видел его, сказал: «Кто едет в Петербург, тому нужно вот это крепко иметь». — Матвей Иванович, говоря это, коснулся рукою своей груди.

— Да, — отвечал Иван Григорьевич, — она у меня иногда побаливает, но это ничего, я за нее не боюсь. Это вероятно легкая простуда. Грудь у меня здоровая.

— Веру крепкую нужно иметь, — в сердце надобно иметь крепкую веру, — пояснил Матвей Иванович, видя, что его не понимают.

— Ах, вот что! — сказал Иван Григорьевич. И все мы присутствовавшие мысленно повторили его выражение неожиданного открытия и, переглянувшись, увидели, что все мы, подобно Ивану Григорьевичу, не догадывались, в чем нужна крепость.

Вероятно, магистр духовной академии и профессор богословия не был медлен и неопытен в понимании духовного смысла слов; значит уже слишком мало имел такого смысла весь предшествовавший длинный разговор, если Иван Григорьевич мог до такой степени забыть о возможности духовного смысла в человеческих словах, что не понял такого ясного духовного смысла «крепости» в груди с положением руки на сердце. Ведь очень хорошо известно, что провинциалы считают Петербург безбожным городом, подрывающим благочестие в поселенцах своих, и следовало ждать от Матвея Ивановича предостережения в этом духе, — но нет, никто не ждал, и никто не понял.

Кстати о Петербурге и моем отправлении в петербургский университет. Что я поеду в университет, было решено за целый год до отъезда; прежде того много советовались в семье; тогда же и о том, в какой университет ехать, казанский, московский или петербургский; и потом несколько времени колебались между этими городами; и когда уже решились, моя поездка в Петербург конечно оставалась одним из главных предметов семейного разговора до самого отъезда. Само собою, что с Матвеем Ивановичем не сове-

товались же об этом. Но все-таки упоминания об этом необходимо делались при нем много раз. Не может быть никакого сомнения в том, что его глубоко возмущало решение вопроса о высшем образовании сына протоиерея в пользу светского заведения, а не духовной академии; что точно так же, если мои старшие уже сделали такое неблагоприятное решение, то все же легче для Матвея Ивановича была бы Москва с ее святынею, чем нечестивый Петербург. Но он решительно ни одним словом не выказал своих мнений по вопросам, решаемым в духе, столь возмутительном для него. Вероятно, уже слишком ясно для него было его положение в наших разговорах, если он не сделал ни малейшей попытки подать руку помощи по этому делу. Значит, он уже очень твердо был убежден, что с такими людьми, как мои старшие, нечего расточать словеса духовные.

И точно, он, бедный, видел прискорбную необходимость рассматривать предметы в беседах с нашей семьей и другими нашими родными исключительно с земной точки зрения. Духовный смысл никак не клеивался в эти разговоры. Все мы были или духовные люди, или, как моя тетушка и дядюшка, если сами не духовные люди, то слишком тесно связанные с ними люди; церковь, священник, обедня, архиерей, пост, исповедь и принадлежащие к тому же кругу жизни слова конечно составляли чрезвычайно значительную долю произносимых нами слов, и понятия, им соответствующие, составляли может быть целую половину наших мыслей. Но все это занимало нас исключительно со стороны, совершенно неудовлетворительной для Матвея Ивановича. Церковь — это было у нас преимущественно «наша церковь», т.-е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка; в доме Федора Степановича, моего крестного отца и мужа сестры моей бабушки, — преимущественно «соброр» и исключительно «новый»; эти церкви очень озабочивали собою всех нас, вслед за батюшкою и крестным отцом: нас — наша церковь главным образом со стороны обыкновенного ремонта, на который вообще нехватало ее доходов; например, «белить церковь» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. — «Священник» — это был у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви», прекрасный человек, которого обидели, отставив от должности эконома при семинарии, чтобы отдать эту должность тоже священнику NN, о котором предсказывалось (и сбылось), что он растратит казенные деньги; и все другие священники, и дьяконы, и дьячки, и пономари занимали нас все с таких же сторон, — наш дьякон, например, Яков Федорович был прекраснейший человек и очень хорош со всеми нами, почти родной, — но дьякон NN был дурной семьянин. Архиерей (покойный) Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то-есть законов и форм, и поэтому Федор Степанович и батюшка часто видели, что все их усилия направить «дело» по

правде расстроены докладчиком NN и что такой-то священник от этого пострадал, — переведен из «хорошего» прихода в «дурной», по проискам другого священника у докладчика, — но Федор Степанович и чрезвычайно утешался другим свойством архиерея: Иаков был очень скромен в одежде, мебели, экипажах и проч., так что Федор Степанович, бывший казначеем архиерейского дома, успевал устраивать запасный капитал для этого дома, — накопил архиерейскому дому уже тысяч 25 (ассигнациями). Вот разговоры моих родных — и Матвей Иванович принужден был ограничиваться такими разговорами о «церкви», «архиерее» и всем принадлежащем к церковному и архиерейскому ведомству.

Поэтому хотя он в то время, как начинается моя память, постоянно был уже только в хороших отношениях с нами, он не часто бывал у нас, и мы не часто бывали у него, — то-есть у него-то мы, пожалуй, и вовсе не бывали; мы бывали у Александры Павловны, и она бывала у нас гораздо чаще, чем он; и она бывала как вообще бывают родные, не оттягиваемые в дом заботой о детях: с утра до вечера, с полудня до ночи, — разумеется, как своя: и соснет, если вздумается, и в хозяйство вступится, если вздумается. А Матвей Иванович бывал вроде гостя. Зайдет по утру — не остается обедать; зайдет вечером — едва досидит до чаю, без которого нельзя же уйти, и бежит. Скучно ему, не компания, хоть родные, и потому он любит их и они любят его.

Но если телом он не часто пребывал среди нас, то мысли наши — конечно, не в присутствии Александры Павловны, — часто довольно подолгу и не без приятности останавливались на нем. Манеры его, тон голоса, слова его — все это служило недурным предметом разговора, когда не случится другого предмета.

Сама бабушка не считала его «иезуитом». Но, — чтобы сказать о нем словами из его любимых источников аллегоризма, — видно уже такой предел положен, что «прикасающийся к смоле бывает замаран смолою», хотя бы вовсе не был сам смолокур. Его плавные, тихие, медлительные, скромные, смиренные движения, его тихий, медленный, мягко внушительный говор, его постное лицо, умиленный и ласкающий взгляд — все это было как следует быть всемоу этому у «иезуита». Это все было у него в довольно слабом развитии, потому что было не «сиянием внутреннего света» иезуитской натуры, а внешним «осмолением», лишь придающим несколько лоску. Легко было рассмотреть, что под внешностью «иезуита» скрывается обыкновенный смертный, не ядовитый. Но эта внешность уже отталкивала от него меня, ребенка. Я привык видеть простых людей, — близко к себе почти все только хороших, а не очень близко и многих дурных, — и между дурными людьми были хитрецы, интриганы — но хитрецы и интриганы, ломавшиеся не на тот манер, как он, — по-житейски, по-земному, — они не были любезны моему сердцу, но все-таки они были частью, — хоть и неприятною частью, — того мира, в котором я жил. А Матвей Иванович был на мои [глаза] — бог знает что такое, вовсе ни к чему

не подходящее. Те, дурные люди, не нравились мне, как дурной квас; как у нас да и у родных этот национальный напиток был почти всегда хорош; но и дурной квас можно пить, хоть с неприятным чувством; а Матвей Иванович был — какая-то «кава», которою жители Сандвичевых островов подчивали капитана Кука, как я прочел тогда у Дюмон-Дюрвиля: жуют корешок, плюют на корешок, — нажевав, наплевав, разводят все это водою и подносят капитану Куку. — Нет, нет, нас этим не угощайте, — у нас от этого «душу воротит».

Но Матвей Иванович давно уже был существо смиренное и безвредное, — по крайней мере для всех остальных людей на свете, кроме Александры Павловны; а Александра Павловна и не жаловалась на него, да и привыкли уж [видеть ее] живущею очень небогато, стало быть, живо принимать это к сердцу было уж не по времени, когда время стало на моей памяти; потому и не рассуждали серьезно о безобидной каве Матвея Ивановича, а только потешались над нею. Поводы к потехам были беспрестанные, но все очень мелкие: то комический разговор с каким-нибудь буяном парнишкой, которого он станет назидать на улице и который сконфузит его какой-нибудь уличною мальчишескою выходкою, то встреча Матвея Ивановича с каким-нибудь подобным ему боголюбцем, с которым они, начав рассуждать о любви и смирении, тут же кстати и побранятся; конечно, эти анекдотцы прикрашивались, но и в прикрашенном виде все они были так мелки, что ни одного из них не уцелело в моей памяти; осталась только басенка, которую с большим юмором рассказывал мой крестный отец, — шутник и отличный рассказчик, не претендуя и выдавать ее за истину. Содержание побасенки состояло в том, что вот вчера, — а вчера был страшно знойный день — часа в два, в три, в самый жар, случилось ему ехать мимо домика Матвея, и вздумал он зайти. Отворил ворота, и видит что же? Стоит на одной стороне двора полуразобранная поленица дров, на противоположной стороне — полусложенная поленица дров, а Матвей Иванович с домочадцами, то-есть Александрою Павловною и служанкою, пожилою девушкою Агафьею, занимаются перетаскиванием дров из одной поленицы в другую. — «Что это вы делаете?» — «Матвей Иванович заставил нас с Александрою Павловною души свои спасти с ним вместе, — подвигаемся», — отвечает Агафья, смеясь пополам с горем. — «Да вы бы лучше по холодку, утром пораньше или вечером попозже души-то спасали», — говорит убедительно-добросовестным голосом гость, будто простяк, не понимающий в чем дело: — «а теперь вот и собаки в конурах лежат, высуня язык от жару». — «По холодку-то спасенья не будет, говорит Матвей Иванович», — возражает служанка. — «А, вот что! Так вы бы, Матвей Иванович, уж Агафину-то душу не спасали, — говорит гость, обращаясь к Матвею Ивановичу: — ведь она поди, чай, до сих пор молоканка, какая смолоду была, — так уж не спасете». — Агафья, точно, молоканка, смеется. — «И много вы так спасаетесь?» — обращается

он опять к Агафье. — «Да вот, как жары начались, каждый день об эту пору по пяти раз поленницу перекладываем». — «Ну, подкрепи вас господь! Хорошее дело».

В действительности было кое-что подавшее основание к этой шутке. Матвей Иванович как-то, точно, таскал несколько булыжник с места на место, но не по зною, а по холодку, и один: звал жену и служанку, не пошли; да и самому дня через три-четыре надоело.

После этого замечательнейшим из известных мне подвигов Матвея Ивановича было хождение его в Москву к св. мощам, через Воронеж и Киев. Он для этого соорудил себе какой-то особый костюм, в котором важнейшую часть составляли брюки, обшитые кожей в некоторых местах, на манер кавалериста, или, что было гораздо знакомее в Саратове, венгерского бродячего торговца лекарственными снадобьями, гранатами и нарядами, то-есть на манер «цыцарца» (цесарца, австрийца), как звались у нас эти люди. Можно было смеяться, что Матвей Иванович для спасения души пошел в цыцарцы и надел на спину цыцарскую «аптечку». В ходьбе он был крепок и быстр, так что обгонял партии, к которым приставал, и почти всю дорогу улепetyвал один, — но с первых же верст ревность его поубавилась настолько, что, пошедши в Москву через Воронеж и Киев, он повернул курс с запада на север, уже прямо в Москву, чтобы спасти душу не 3 500, а только 2 000 верст путешествия, — и таким образом, когда дядюшка и тетушка, жившие тогда в Аткарске (по прямейшей, но не официальной дороге из Саратова в Москву), поехали с детьми однажды за город, то увидели среди поля идущую к Аткарску странно одетую фигуру, вроде маленького, старенького статского пешеходного кавалериста, — и по достаточном приближении эта фигура оказалась Матвеем Ивановичем, идущим спасти душу в Москву с изменою Киеву. — Не только дети, и тетушка с дядюшкою долго не могли без смеху вспоминать о его потешном виде, — посадили его к себе на дроги, — он было сомневался, не грешно ли ему будет садиться ехать часть дороги, которую он должен пройти пешком, — его убедили, что нет, бог не взыщет, когда это не по недостатку усердия, а по просьбе родных, — повезли его в город, привезли, напоили чаем, оставили ночевать, поутру вывезли в другую сторону от города и пустили молодца опять в чистое поле. Под Аткарском он сомневался, позволительно ли садиться на дроги, а когда возвратился из паломничества, то у него же самого вывели, что потом он частенько и частенько принимал попутных извозчиков, подвезти его, — бойкие ноги изменяли, хоть и были снабжены рейтузами, собственно для них изобретенными. Ну, и журили его родные ровесницы: «Куда уж вам, Матвей Иванович, на старости лет по святым местам ходить, — хоть бы дома-то бог грехам терпел, спина бы не ломилась, и то в наши с вами лета хорошо».

И вот, все важное по этой части, что прикасалось моей детской жизни, Антонушка, добрый мужичок, шалун, — жаль, что без-



грамотный, а то бы при своем уме мог бы и чем-нибудь путным заняться на пользу людям, а по безграмотности занимается — дело извинительное ему, — пустяками, — да Матвей Иванович, занимающийся перекладыванием дров от одного забора к другому, — ну, этот от роду видно был с придурью, хорошо хоть и то, что стал смирен, а путного ничего никогда не вышло бы из него, — бог с ним, пусть перекладывает дрова, только Александру Павловну жаль, заел ее век. Ну, да как быть-то, этак-то и частенько бывает, что муж женин век заедает: с пьяницею-то еще хуже бы жить-то ей.

Такие рассуждения слышал я от бабушки, и они слишком подтверждались способом обращения других моих старших с субъектами этих рассуждений, гораздо менее занимавшими всех их, чем бабушку. А и бабушку-то они очень мало занимали — и насколько занимали, то почти только в качестве мелочи, пригодной на то, чтобы от скуки улыбнуться над ней.

Вот что давала мне жизнь по этой части. — «Неужели же не было ничего более важного?» — «Не было». — «Но»... Знаю, только перед этим «но» надо сделать небольшое объяснение об одной «дистинкции», выражаясь языком латинского сочинения Феофана Прокоповича, о котором скоро пойдет речь. Впечатления жизни и чтение книг *distinguo*, «различаю», — второе многовато послабее первого. — «Но кроме чтения неужели и в разговорах»... Без сомнения, только опять: речь, в которой слышится трепетание жизни говорящего, и речь, которая говорится от нечего делать, для препровождения времени, при оскудении других предметов разговоров, — *distinguo*, различаю, — это две вещи разные. Приступив, *distinctis distinguendis, disseramus*, «постановив надлежащее различие предметов, различных между собою, займемся рассуждением о них».

## II

Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано. В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймii, и о Петавии, и о Гревии, и об ученой госпоже Дасиер, — в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди в [роде] Корнелиуса à Лапиде, Буддея, Адама Зерникава (его я в особенности уважал), — как я познакомился с этими более или менее неслыханными в XIX веке великими знаменитостями ученого мира моего детства, объяснится ниже, — и вероятно многими сотнями страниц ниже, — раньше я не надеюсь достичь до настоящего рассказывания о том, как я выучился читать и что стал читать, когда выучился. А теперь я хотел только показать, что при таких отдаленных поездках по книжной части странно было бы мне не исходить вдоль и поперек более близкие книжные пажити.

Не умею сказать в точности, 12 или 11, или уж и 13 лет было мне, когда я принялся читать Минеи-Четиих, — заглавие, которое тогда мне казалось понятным, потому что я знал по-славянски не лучше их составителя, думавшего, что он пишет по-славянски, а

в последствии времени оказавшееся для меня непостижимым ни на каком языке индо-европейского племени: «Четтих» слово решительно невозможное ни в какой из славянских грамматик, а оно очевидно хочет быть славянским, — итак, Миней-Четтих, неправильно называемые попросту Четь-Минейями, что по старинному русскому языку понятно и правильно, но ни для меня тогда, ни для кого из разговаривающих о них со времени составления доныне всегда было непонятно.

Я находил в этих Четь-Минейях одно огорчение себе: они слишком коротки. В них беспрестанно ссылки такого рода: это здесь рассказывается вкратце, а подробно зри в Макариевской Четь-Минее. Ах, как мне хотелось бы читать Макариевскую Четь-Минейю! Но этот громадный сборник — увы! — остается рукописью и лежит в Новгороде, Москве, может быть еще в Петербурге, — и даже ни в одном из этих городов нет полного списка. Когда я стал жить в Петербурге, я уже знал, что мог бы удовлетворить своему стремлению к Макариевской Четь-Минее даже гораздо полнее, чем чтением ее самой: Румянцевский музей и Публичная библиотека богаты произведениями, из которых только уже извлечение поместилось в Макариевской Четь-Минее, которые превосходят богатством своим Макариевскую Четь-Минейю еще в гораздо большей пропорции, чем она превосходит нашу печатную, — я бывал и в Публичной библиотеке и в Румянцевском музее, но мне тогда уже было не 11, 12, а 19, 20 лет, — и я не дотронулся ни до одного из этих сборников.

«Восемь лет прошло между теми и этими годами, от 12 лет до 20, еще бы не перемениться человеку!» — Так, но в этом я несколько не изменился, — теперь прошло еще 15 лет, и я остался совершенно с теми же пристрастиями в этом отношении, с какими был в 12 лет. Вот, и теперь, например, — у меня лежат три серьезные сочинения, очень любопытные, до того любопытные мне, что я принялся за все три разом — так и тянуло к каждому, — третьего дня мне принесли пять томов Диккенса, которых я еще не читал. — Что ж? — все три ученые произведения перенеслись со стола, у которого, и с кровати, на которой я читаю, на окно, — меня угрызает совесть, мне стыдно за себя, — по пяти раз в день я собираюсь возвратить хоть одно из ученых произведений из его ссылки, — нет! — предвижу, что пролежать им на окне, пока не дочитаю Диккенса. И сколько убытку делает он мне! — ученые произведения я читал для отдыха от работы, — а теперь ленюсь, ленюсь работать, — давно уж отдохнул, а все еще лежу с Диккенсом в руках. Милый он, трудно оторваться от него. А я, угрызаясь совестью за леность в работе из-за него, твсржу себе: «а ведь, однако же, то, что было в детстве, еще сильнее стало во мне в молодости, и с той поры не ослабело, остается до сих пор. Авось и в старике во мне сохранится все то хорошее, что было в юноше».

«Так вот что? Будто, только?» — Только-с; только, и не спешите верить тем, кто говорит про себя, что не только: сто веро-

ятностей против одной, они лишь не умеют разобрать себя. И решительно не верьте тем, кто говорит про большинство людей, что не только, — не понимают они людей, врут они, это положительно.

Поэзия. Когда я не умел читать французских книг, я любил читать в тогдашних «Отечественных записках» переводы романов Жоржа Занда. Теперь читать их было бы для меня положительно неприятностью. Долго после я продолжал любить русские переводы Диккенса, — и к [ним] стал в то же отношение, когда выучился читать книги по-английски. Ослабела ли моя любовь к Жоржу Занду, к Диккенсу? Нет, несколько; но они стали доступны в настоящей своей форме, и я бросил форму, в которой одной мог знать их прежде, — в которой красоты сильно сгладились, смазались, в которой все отразилось не совсем так, многое вовсе не так.

Я знал чуть не все лирические пьесы Лермонтова.

Я читал с восхищением «Монастырку» Погорельского; она показалась мне очень скучновата и плоховата, когда потом попалась в руки около того времени, как я восхищался «Обыкновенною историею»; я до сих пор прочел полторы из четырех частей «Обломова» и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною, — разве опять примусь [за] рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом.

Что следует из первой истории, случившейся относительно Диккенса и Жоржа Занда? Только то, что способы мои к удовлетворению известного моего влечения расширились. Что следует из судьбы, постигшей в моей жизни сначала «Монастырку», а потом не сжалившейся и над красотами «Обломова»? Только то, что мой вкус, благодаря отчасти ходу органического моего развития от ребячества к совершеннолетию, отчасти расширению моих средств удовлетворять ему, стал тоньше, разборчивее. Но поэзию я люблю не меньше, чем когда-нибудь любил.

Вот еще любопытное обстоятельство. У нас была особая книжка, содержащая в себе службу Варваре великомученице, и в виде вступления подробное житие ее. Мне не хотелось читать его в этой книге. А само по себе оно было интересно для меня. В Четь-Минее я прочел его с любопытством и с убеждением, что в особой книжке оно еще любопытнее, потому что подробнее. А в особой книжке все-таки не прочел его. Почему? Тогда не думал об этом, а теперь вижу, почему: книжка была в сафьянном переплете, с золотым обрезом, с золотым тиснением на крышках переплета, — не любил я ее за это, она возбуждала этим впечатление, что претендует быть не простою книгою, как все другие, хочет, чтобы ее читали, как читает Матвей Иванович. Нет, это не мое, — то-есть нашего семейства, — чтение.

Когда я достиг удовольствия читать Четь-Минее, я достиг этого уже благодаря сану своего батюшки в саратовском церковном мире. Ни у нас, ни у кого из наших знакомых не находил я Четь-Минее. И в нашей церкви не было ее. Была она тогда только в одной церкви, Сретенской, да и то не старое издание в лист, по

три месяца в томе, а новое, в 8-ую долю, по одному месяцу в томе, — я попросил, сретенские дьячки стали носить мне том за томом, заходя к моему батюшке по делам. Но вы не думайте, что в этом сущность дела, — это одолжение было милое одолжение, но что ж в нем важного? — важность в другом. С незапамятных для меня времен на том шкапе, где на верхних полочках стояли чайные чашки, лежала огромная книга. Я был еще юн и мал, чтобы рискнуть стащить посмотреть эту книгу, — потянешься за нею, став на стуле, перебьешь чашки, и дожил я таким манером лет до 9, уже года два роясь в книгах, доступных моим рукам, — а этой книги все еще не случилось узнать, что она за книга. Вот, однажды зимою, вечером, бабушка, позевавши много и долго, вдруг напала на мысль: «Марья! (или «Федора!») Сними-ка вот большую книгу-то со шкапа да выбей пыль из нее». — Марья или Федора исполнила все, принесла выбитую книгу. «Давайте-ко, дети, читать, это Четь-Минейя». Старшая моя кузина стала читать. Бабушке понравилось. И на другой вечер стали читать. Читали, читали сестра (то-есть кузина) и я, долго ли, коротко ли находила бабушка приятным это препровождение времени, — но только чтение наше, постепенно сокращаясь в размере приемов и растягиваясь в рас-срочках между приемами, замерло через несколько недель ли, или месяцев, этого не умею припомнить, но только твердо помню, что на половине пятого числа месяца, которым начинался трехмесячный том, — то-есть прочли мы страниц 50, 60, или и меньше, если переложить тот формат на журнальный, для понятности. И лежала эта книга с закладкою на половине пятого числа, пока увидела ее сестра бабушки, Анна Ивановна, и сказала, что возьмет ее к себе. — «Возьми, Аннушка», сказала [бабушка], — видно, уже твердо убедилась, что у нас с нею закладка не додвинется до 6-го числа. Анна Ивановна, бездетная вдова, жила одна; поэтому я не сомневаюсь, что она подвигала закладку гораздо дальше, — быть может, числа до 15-го, а то и 20-го; подкреплением такого мнения служит то, что я довольно долго — чуть ли не до самой весны — видел книгу лежащую у Анны Ивановны на одном из столов. Но, с другой стороны, представляется и вот какое обстоятельство: после перенесения книг с нашего шкапа на один из наших столов бабушка несколько времени упоминала иногда о Филарете Милостивом, — житие его было самое первое в нашей книге и единственное интересное из прочитанных нами, — правда, упоминания были так нечасты, что я теперь уж ничего не припомню из него, но все-таки были, а от Анны Ивановны не случилось мне услышать ничего почерпнутого из книги, несмотря на то, что она проводила у нас третью часть своего времени. Итак, было бы основание подозревать, что она еще меньше нас с бабушкою углублялась в книгу, — но я готов думать, что все-таки сколько-нибудь прочла же она в ней.

А все-таки скоро стало ясно, что книга даром лежит у нее на столе. Через несколько времени я увидел книгу вознесшуюся у ней на шкап, подобный тому, с какого снеслась она к нам, и [она]

возобновила на новом месте прежнюю безмятежную жизнь. Теперь представляется вопрос: почему я, вздумав читать Четь-Минею, не спросил у Анны Ивановны книгу, которая не была нужна ей, а ждал, пока дебудется чужой экземпляр? — А этот самый вопрос и напомнил мне, по какому случаю выражено было мною желание читать Четь-Минею. Батюшка писал свои деловые бумаги, я стоял подле и пересматривал каталог синодальной книжной лавки, ежегодно присылавшийся официальным путем к батюшке для справок при официальном требовании книг для церквей. Я тогда уже любил просматривать каталоги. Много было завлекательного в этом каталоге: книги на грузинском, на армянском языках, с заглавиями, напечатанными грузинским, армянским шрифтом, — я любил неизвестные шрифты, — и задумался: что, если бы иметь такие книги? — попросить папеньку купить? — Соблазняла эта мысль, — но все-таки холодный рассудок победил: да как же покупать книги, прочесть которые не умеешь и не можешь ни у кого выучиться? — и я продолжал пересматривать каталог, — а понятие «купить» тосковало, оставшись одно без предмета для себя, — вдруг: «Папенька, купите Четь-Минею». — Папенька положил перо и со словами, «кажется, не по нашим деньгам, миленький сыночек» — это было его обыкновенное название мне, — взял у меня из рук каталог: «дорого, миленький сыночек (точно, Четь-Минея стоила более 100 р. ассигнациями, более 30 руб. сер.), — а если тебе хочется почитать ее, так она, кажется, есть в какой-то церкви, — да, в Сретенской, — спросим, ведь никому же там не нужна, — пожалуй, почитай». — Из этого ясно, что я почти что напросился с ковшом на брагу, — фраза, засевшая в голову по случаю грузинского и армянского шрифтов, сорвалась с языка в неожиданном для меня самого виде просьбы о покупке Четь-Минеи, — но воротаться назад было поздно, и я стал получать том за томом. — Впрочем, разумеется, неожиданное испрошение книги, о которой не думал за две минуты перед тем, не было неприятностью для меня — напротив. Я очень долго читал решительно все, что попадалось под руку, — так долго, что у меня осталось в памяти, какая именно книга была первая книга, которую я не стал читать, как незанимательную, — это факт замечательный по характеру книги, и я скажу о нем подробно в своем месте. Я не помню, сколько именно лет было мне, когда он случился, вероятно лет 13; но вижу по его обстановке, что он случился после периода чтения Четь-Минеи. А до него я читал решительно все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, которая напечатана в четвертку и в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул.

Не похваюсь, что я прочел всю эту Астрономию сплошь, — слишком уж ясно было мне, что я не понимаю в ней ни слова, и я все пробовал в разных местах, не наткнулся ли на такие строки, которые бы понял. Но все-таки я читал ее очень много. Впрочем, в Четь-Минее я прочитывал гораздо большую пропорцию из каждой сотни страниц, чем в книге, состоящей исключительно из

интегральных формул, полагаю, что половину. Но я совершенно пропускал проповеди и краткие жития, читал исключительно только длинные, состоящие из ряда отдельных сцен, рассказанных вообще с беллетристическою обстоятельностью или с анекдотическою живостью. Это читалось легко и с удовольствием.

Не скажу, чтобы из этого чтения забыл я теперь многое, что помнилось через полгода после него. А теперь я почти ничего не помню из него. В 15, в 14 лет — почти не больше [помнил]. То, что я помню теперь из житий святых, запомнилось из чтения других книг, имевшего уже собственно ученическую цель: я [читал] издававшиеся духовными академиями духовные журналы уже как семинарист, отыскивая примеры, доводы для писания задаваемых профессором [тем]. От этого чтения по ученической надобности довольно много удержалось в памяти. От прежнего добровольного чтения Четь-Миней — почти ничего. Оно проскользнуло через мысли почти бесследно. Раз — все в ту же поездку, один случай из которой я уже рассказал — мы довольно долго сидели на станции, где расположились пить чай, я увидел на окне Четь-Минею, стал пересматривать, — даже этот пересмотр не воскрешал ни одного воспоминания из прежнего чтения.

Но если Четь-Минья читаемая скользнула так легко по фантазии ребенка, то не могли же не запасть в памяти гораздо прочнее те рассказы из Четь-Миней, которые я слышал в живом разговоре? Да, они вошли в память, и так прочно, что я до сих пор помню все их. Несколько раз я слышал отрывочные, но связанные в этой выдержке события из жития Евстафия Плакиды. Слышанное мною было вот что. Евстафий Плакида, важный чиновник, — военный, — переправлялся с своим семейством вброд через реку. Семейство состояло из жены и двух маленьких сыновей. Он взял одного из детей и перенес на другой берег. Вернулся, взял и понес другого сына. Дошедши до середины реки, он услышал крик жены, оставшейся на прежнем берегу, — на нее напали разбойники. Он поспешно вернулся спасать; но когда вышел на берег, разбойники уже скакали довольно далеко с похищенною женщиною. Он побежал за ними, посадив сына на берег, — не догнал; возвращался, был уже недалеко от реки, когда с другого берега сын, уже перенесенный, закричал: к нему приближался лев. Отец бросился спасать этого сына, забыв о другом, еще не перенесенном, — но лев уже унес ребенка, когда отец выходил на берег; теперь послышался с прежнего берега крик другого сына, — к нему приближался медведь и также унес его прежде, чем отец поспел на помощь. В отчаянии Плакида углубился в пустыню и много лет прожил, не видя людей: ему было тяжело смотреть на людей, когда он потерял всех людей, ему милых. Через много лет он соскучился о людях и пошел в город. Там сел он отдохнуть на улице у лавки, в тени, — день был знойный. В лавке сидела женщина. Также пришли отдохнуть в тени, — сначала один молодой офицер, потом другой. Офицеры разговорились между собою. Одному издумалось

спросить у другого, кто его родные. «У меня нет родных», — отвечал его новый знакомый. — «Как странно — и у меня тоже. Царь, выехавши на охоту, отбил меня у льва». — «Как странно! — точно так же и меня отбил царь на охоте, только не у льва, а у медведя». — «Вы братья, вы мои дети!» — вскричал Плакида, бросаясь обнимать их. Внимание женщины, сидевшей в лавке, было привлечено радостными восклицаниями, — она всмотрелась в отца, обнимающего детей, и узнала в нем мужа: разбойники, проехав с нею несколько верст, были пойманы полицией, и она освобождена. Как бог милостив! — сохранил всех их и привел всех в одно место, в одно время, чтобы они узнали друг друга. Плакида получил должность еще лучше прежней, — он был и прежде генерал; и хороший генерал, искусный в войне, и царь очень жалел, что он куда-то исчезал, а теперь Плакида опять явился к нему. Разумеется, бог был так милостив к нему, его жене и детям, потому что все они были хорошие люди.

Если вы даже и меньше, чем я, знаете и помните подлинный рассказ, все равно, вы не можете не знать, что он имеет характер гораздо более определенный, чем эта выдержка из него; все специальное мотивирование событий, все особенное, чем приведена развязка, оставлено без внимания; вы чувствуете, что и развязка не совсем верна: Евстафий и его жена становятся людьми, занимающими в свете положение еще выше прежнего, и возобновляют светскую жизнь. Чувствуете ли вы, что в рассказах, мною слышанных, взяты только черты внешней занимательности, а дух подлинника совершенно потерялся в нем, — что рассказывавшие были заинтересованы только анекдотическою стороною подлинника и совершенно не поняли его духа? Мои рассказчики обнаруживают своим рассказом, что сфера жизни, которую изображает подлинник, так же чужда их чувствам, так же неуловима их понятиям, как поэзия Байрона была непонятна нашим его подражателям, — да, моя бабушка, Анна Ивановна и наша служанка Марья Акимовна, от которых от всех трех я слышал этот рассказ, все показали себя людьми, не лучше Пушкина разумевшими то, с чем по их (и его) мнению они (он) знакомили (знакомил) свою публику.

От бабушки и Анны Ивановны больше ничего я не слышал в этом роде. Но в разговорах Марьи Акимовны случилось мне однажды слышать еще один рассказ, о котором я не могу сказать, чтоб я и теперь отчасти не сочувствовал ему. Вот он.

Святой, проходя по улице города, увидел толпу народа, слушавшего уличного музыканта, — святой сотворил мысленно молитву, очи его отверзлись, и он увидел подле музыканта беса; кто-то из толпы бросил музыканту монету, музыкант положил ее в карман, — бес взял монету и полетел с нею в ад к сатане. «Вот, мой слуга выработал дань тебе от людей». — «Хорошо, — сказал сатана, — точно, эту дань мне дал тот, кто дал ему монету, стал моим подданным. Хорошо». Бес с похвалою от своего властителя возвратился к музыканту и положил опять в карман ему монету. Все

это сделалось в одну минуту. — «Вот что такое эти увеселения. Дань сатане».

В этом рассказе выражается ультра-пуританский взгляд на жизнь, и с известной стороны, до известной степени, в известном направлении [я] действительно разделяю его, — с какой, до какой, в каком — объяснить об этом еще будут случаи — пока довольно сказать, что для меня он не пустой анекдот — здесь пока дело не о том, какое отношение он имеет к моей действительной жизни, а о том, насколько он имел какое-нибудь действительное значение для лица, которому я обязан знакомством с ним.

Марья Акимовна была служанкою в моем семействе в первые годы нашей жизни в Петербурге. В 1854 году мы переменили квартиру. Жене моей очень понравилась квартира в доме Диллингсгаузена в Хлебном переулке, у Владимирской; но она затруднялась одним: кухня — в подвальном этаже, значит будет сырая; дурно для прислуги. Узнав об этом, Марья [Акимовна] просила жену нисколько не считать этого неудобством. Хорошо, мы взяли квартиру. И точно, оказалось, что помещение кухни в подвальном этаже не есть неудобство для Марьи Акимовны, напротив. Сырость помещения с избытком вознаграждалась тем, что Марья Акимовна могла уже не стесняться там, что что-нибудь делающееся в кухне будет мешать нам. Каждый день, с семи часов до глубокой ночи, у Марьи Акимовны была неумолчная музыка. Сначала только гармоника, потом и гитары, и скрипки, и всякие сподручные кимвалы раздавались решительно в нашей кухне, и большею частью мы тогда засыпали, напутствуемые звуками этого оркестра и этих соло. — Марья Акимовна была хорошая женщина; но у ней была дочь, уже взрослая девушка невеста; Марья Акимовна была строгая, — даже слишком строгая мать, съела бы дочь за малейшее замеченное уклонение от нравственности. Но видите, она ровно столько считала музыку и танцы греховным или безнравственным делом, сколько самая усердная светская любительница балов, и очень немногие из самых усердных светских матерей так изобильно доставляют дочерям это невинное удовольствие, как она: у ней семь раз в неделю был вечер с музыкою и танцами.

А как же рассказ-то о музыканте, монете и бесе? — Я не спросил ее об этом, — и не спросил, полагаю, не столько по нежеланию ставить ее в затруднение, сколько потому, что уж слишком большую тупость ума засвидетельствовал бы я в себе, если бы видел тут что-нибудь требующее объяснения. Мало ли какие анекдоты случается рассказывать каждому из нас, смертных, и чувствовать некоторое влечение к тому анекдоту, который рассказываешь? Мимолетная игра фантазии, — неужели она к чему-нибудь обязывает? Неужели мы, простые обыкновенные люди, можем так жить, чтобы в наши разговоры не попадали вещи, в сущности незначительные для нас? Сколько раз мне, например, приходилось выражать свое мнение о том, хорошая ли танцовщица г-жа Богданова. А я никогда не видел, как танцует г-жа Богданова. Неужели же



справедлив бы был тот, кто придрался бы ко мне из-за [этого] с таким назиданием: «Вы соглашаетесь, милостивый государь, что г-жа Богданова танцует превосходно; как же вы не ездите на балеты, в которых она танцует?» — «Милостивый государь, — возражал бы я такому господину, — пощадите род человеческий. Ведь если каждый из нас говорил бы только о том, что глубоко интересуется [его], то, во-первых, разговоры между людьми были бы так редки, что люди разучились бы говорить; во-вторых, люди [стали] бы невыносимо скучны друг другу, и жизнь была бы театральнойшею нелепостью».

Напрягая все силы воспоминания, чтобы уменьшить скудость этой стороны моих детских впечатлений, я решительно не отыскиваю ничего идущего к предмету, кроме одной частички одного разговора. Сидела у бабушки одна из ее посетительниц, тоже старушка, Авдотья Яковлевна, о которой еще придется мне упоминать. Толковали о разных страшных людях и приключениях — ворах, разбойниках, убийствах и самоубийствах. Увлечшись предметом, Авдотья Яковлевна выразила мнение, что кроме всех других злодеев, есть на свете и фармазоны. Бабушка подтвердила это, — фармазоны действительно ужасные люди, но в чем их фармазонство, этого не случалось ей узнать.

«Вот в чем оно, — отвечала Авдотья Яковлевна: — я вам скажу случай. Был барин, и жил у него лакей наемный. Барин был богатый, и человек веселый; и добрый к лакею. Только, много лет проживши у него, лакей стал видеть, что барин начал тосковать, — не по своему характеру. «Что вы, сударь, тоскуете?» — «Так», говорит. Все больше и больше тоскует. Только в один вечер лакей раздевает его, — спать укладывает, — барин стал с ним прощаться — «прости, говорит, коль я в чем тебя обидел, а вот тебе награда за верную службу и твою любовь», — и дает ему двести ли, триста ли целковых. — «Что это вы, сударь? будто не чае до завтраго дожить, а болезни в вас я не вижу никакой». — «Не от болезни, говорит барин, а срок мой пришел, — прослезился, — приходи, говорит, через час посмотреть, что от меня останется, раньше не смей, нельзя, а через час приходи». Пришел лакей через час в спальню, а среди спальни куча золы лежит, — только [и] осталось от барина; а пол цел, не тронуло огнем. Вот что фармазоны, Пелагея Ивановна. Это фармазон был. Они душу продают чорту, он содержит в богатстве, сколько там лет условились. А кончились года, пришел срок чорту брать душу, фармазон огнем загорится и сгорит весь, только зола останется».

«Так вот они какие, фармазоны-то, — сказала бабушка, — а я и не знала; только говорят все «фармазоны», «фармазоны», а сами тоже не знают, что за фармазоны».

После этого разговор опять перешел к предметам более известным.

Сколько я теперь знаю, Авдотья Яковлевна была сообщительницею мнения, которое действительно существует в низших слоях

среднего класса, в городских слоях простонародья. Но об анекдоте, которым олицетворилось это мнение в ее рассказе, я должен [сделать] такое же невыгодное суждение, как о рассказе про чертей, раздающих золото в пещере подле Саратова.

Рассказ Авдотьи Яковлевны носит на себе печать полнейшего незнакомства с той областью понятий, знакомить с которою претендует. Человек, продавший душу чорту — остается хороший; в нем даже незаметно ничего особенного; он даже не кутит, не пьянствует, не развратничает, — рассказ не понимает, что это необходимо, что этого человека мучит совесть, терзает страх, что он должен искать забвения, и как бы добр ни был он прежде, в его мыслях и поступках должны высказываться дьявольские черты, когда он продал душу чорту. Рассказ совершенно не знает, что такое продать душу чорту, какие люди продают ее, как они живут. Он даже не знает, что у чорта нет счета деньгам, что продающие ему душу делаются обладателями изумительнейших богатств, блистательного великолепия — нет, барин живет в достатке, только. Рассказ не понимает, что из-за простого достатка никогда не продаётся душа чорту — для этого чортовская помощь не нужна.

И вот общий вывод из всего моего припоминания соприкосновений моего детства с средневековым романтизмом: этих соприкосновений было очень мало, и все они были ничтожны. Из сотен людей, которые часто бывали у меня на глазах, только двое были представителями этого направления. Один из них даже и не был фанатиком, а только делал странности, по своему деревенскому беспомощному незнанию; другой считался глупцом и настолько дурным человеком, насколько было в нем средневекового романтизма; оба они слышали выговоры со стороны тех из близких, которые занимались ими от безделья и скуки, оба чувствовали себя очень робко и плоховато перед другими близкими мне; из близких мне людей никто не имел ни малейшей не то что склонности, даже снисходительности к мистицизму, и вся жизнь их была так чужда ему, что даже в их разговорах, в которых ежедневно слышалось обо всем на свете, не попадалось ровно ничего, относящегося к этому; из бесчисленных знакомых также не было никого сколько-нибудь способного хоть вскользь касаться этого направления, и в течение лет десятка, впечатления которых я перебираю теперь (лет с 4 до 14, когда я поступил в семинарию), я вспоминаю только анекдот, лишившийся своего колорита в слышанных мною пересказах, да другой маленький анекдот, опровергавшийся характером и жизнью женщины, которой случилось как-то раз вспомнить о нем, да другой анекдот, показывающий совершенное незнакомство рассказчицы с своим предметом. — Вот и все, и тут бы мог я кончить эту материю, если бы не был охотник предвидеть возражения и, что еще важнее, не был научен многолетним опытом, что самая простая и очевидная мысль нуждается в многочисленных пояснениях и оговорках, — иначе или не будет вовсе понята, или поймется, как говорилось у нас в Саратове, шиворот навыворот.

Сначала возражения и оговорки. Не думал ли я говорить, что в обществе, среди которого я вырос, было мало невежества, пред-  
рассудков, суеверия? Нимало не думал: были целые кучи, груды,  
горы всякого этого материала. — Если бы захотеть делать эффекты,  
рисовать картины, поражающие мрачностью дикости, а не думать  
о том, до какой степени соответствовали бы они колориту действи-  
тельной жизни, можно бы разрисовать. Пожалуй, попробуем: если  
кому правда не кажется верна истине, пусть утешится, — начнем  
говорить в его угоду.

У нашего кучера, Данилы Ивановича, дядя был запарен  
в бане чертями. После него кучером нашим был Павел (не помню,  
как по отчеству) — знахарь, пользовавшийся большою известно-  
стью. К Прасковье Ивановне, иерусалимке, — я упоминал о ней,  
после скажу больше, — подходил чорт, когда она шла к заутрене,  
и издевался над нею. Это личные знакомства моих знакомых с чер-  
тями. Вероятно, можно бы припомнить еще два-три таких случая.  
Но довольно и этих — ясно, черти были не редкостью вокруг моего  
детства. — Или говорить о других суевериях? Стоит ли? — Я жил  
среди наших русских людей, можете смело повторить в уме все,  
что вы знаете о русских суевериях, — и я вперед говорю: да, все  
это было в окружавших меня или взамен этого было другое, точно  
такое же. — Или от суеверий обратиться к предрассудкам? — Жи-  
ды, лютеры, католики, раскольники — все это известно было с той са-  
мой стороны, с какой известно было испанской инквизиции, —  
разница воззрений была только в том, что теория, относившаяся  
в Саратове к «католикам», относилась испанскою инквизициею  
к «схизматикам», — остальное все было слово в слово. Можете дать  
разгул воображению.

Да что воображению? бывали и дела. Около 1830 года — ве-  
роятно, пораньше, но рассказы были еще свежи в начале моего  
детства, — явился в селе Копенах злодей, корчивший из себя спаса-  
теля душ<sup>11</sup>. Убеждал, убеждал и убедил: семейств двадцать, если  
не больше, нагрузили все свои пожитки на телеги и поехали обозом.  
Приехали, — где-то за селом к овину или к риге, — и началось спа-  
сение душ, приобретение венцов мученических: положена была  
плаха, — они затем и ехали, — у плахи стал с топором злодей, не-  
счастные подходили, один за другим, одна за другою, клали го-  
лову на плаху, — наставник отрубал голову, следующие искатели  
спасения относили в сторону тела и головы и ложились в свою  
очередь для принятия венца мученического. Нескольким десяткам  
человек злодей дал венец мученический и уехал с телегами.

Что это такое? Этого не видел ни Бенарес, ни Джагарнат, та-  
ких жертвоприношений не получали Шива и Бахвани<sup>12</sup>. В Индии  
приносят себя в жертву отдельные люди, только передовые люди  
геройского фанатизма, — у нас, в Саратовской губернии, одно село  
в несколько недель, может быть дней, выставило в одну сцену,  
дало массу охотников, какая в десять лет собирается со всей  
Индии.

«Население, в котором могло совершиться подобное событие, имеет право назваться одним из суевернейших, фанатичнейших на земном шаре».

Если кто сделает такое размышление, я не имею ничего возразить. Оно очень похоже на правду. Оно, может быть, чистая правда. Я не жил в Бенаресе, я не посещал праздников джагартских, — я не могу до тонкости сравнивать гиндусов и саратовцев, — не могу поручиться за саратовцев, быть может, и суевернее гиндусов. Я только говорю, каковы саратовцы сами по себе, безотносительно, — а по сравнению с другими людьми, быть может, они фанатичнейший из народов и племен и поколений всех стран и веков.

Я даже расположен думать это. История, рассказы путешественников, но особенно история, — о, об этом у меня есть своя теория, которая одним из своих оснований имеет и мое личное знакомство с обыденною жизнью массы, — а значительная доля этого знакомства приобретена мною еще в детстве, — поэтому не познакомить ли вас здесь с моею теориею истории?

Я всегда готов на услуги, которых от меня не ждут, — вы не ждали, что в мою автобиографию войдет извлечение из книги, написанной по бумагам английского главнокомандующего в Крыму, лорда Раглана, в которых, вероятно, ничего не упоминается ни обо мне ни даже о целом Саратове? — А вот увидите же, как плотно войдет.

Знаете ли вы, что такое Крымская война? — спрошу я вас: какой характер имели столкновения, из которых она возникла, какими силами она была вызвана? — Как не знать, отвечаете вы: державы боролись из-за преобладающего влияния в Константинополе, императору французов нужно было приобрести себе славу, — потому дипломатические ссоры не уладились дипломатически, как без того было бы, а превратились в сражения и осады. — Это не важность, отвечаю я вам, — война была порождением религиозного энтузиазма нашего русского населения. — Вы разеваете рот. Вы жили в то время среди русского населения, вы помните, что до битвы на Дунае оно ровно ничего и не знало о том, готовится ли война; о войне на Дунае оно стало слышать, но очень мало интересовалось ею, желало, чтобы она поскорее кончилась, чтобы ему не подвергнуться обременительным пожертвованиям; но, думая в пользу мира, все еще очень мало думало об этих делах и очень мало знало о них. Узнало и стало много думать, когда потребовались громадные жертвы на оборону Севастополя, и тогда сильно пожелало мира. Вы это помните, но я говорю противное и доказываю, что вы ошибаетесь. Извольте слушать, что говорит история.

Неприятности начались, как известно, из-за притязаний Франции несколько расширить участие католического духовенства в хранении некоторых из святых мест Палестины. История, беспристрастная к обоим нациям и правительствам и к обоим исповеданиям, признает справедливость в этом споре за русскими.

«Мы ошиблись бы, предположив возможность хотя тени сравнения (it would be wrong [to suppose that there was] any approach to an equality — видите, как сильно и по-английски) по силе и искренности чувств между правительствами, вступавшими в спор по этому вопросу. В греческой церкви пилигримствование считается делом столь важным, что если у семейства есть деньги для путешествия в Палестину, — это семейство, хотя бы жило в отдаленнейших от нее областях России, не чувствует в себе спокойствия за искренность своего благочестия (they can scarcely remain in the sensation of being truly devout), если не предпримет святого подвига, и на него радостно посвящаются плоды бережливости и труда, собираемые во все цветущие годы жизни. Такое далекое путешествие с скудными средствами поселянина совершается не без лишений, столь тяжелых, что от них многие умирают. Эта опасность не устрашает честный, набожный народ севера. В награду за этот трудный подвиг священники этого народа именем неба обещают неизреченные блага. Блаженство, им заслуживаемое, не обуславливается волею, побуждениями паломника, оно нисходит и на детей, подобно благодатному действию крещения. Император русский, стараясь приобрести или сохранить для своей церкви святые места Палестины, говорит как выразитель мнения (spoke on behalf) пятидесяти миллионов честных и храбрых набожных подданных, из которых тысячи готовы были радостно рисковать жизнью (would joyfully risk their lives) за это дело. От крепостного мужика в его избушке и до самого царя, у всех убеждение это действительно было пламенным убеждением сердца (really glowing), неодолимо направляющим их волю (violently swaying)».

Следовательно, продолжает история... Но вы протираете глаза и говорите: «дайте мне прежде очнуться, я будто что-то грезил и, должно быть, вздремнул». — Нет-с, вы не грезили, вы читали историю. «Но это»... — Прошу не возражать, извольте молчать, — это история, а вы невежда, когда смеее говорить, что вы этого не знаете. Назидайтесь же, и уж без возражений, до конца, — когда кончу, разрешу уста ваши, а теперь извольте слушать — я только буду замечать, что и по-моему будет правда, чтобы успокоивать ваши чувства охотным предоставлением остального на волю вашим замечаниям.

Итак, продолжает история, дипломаты Европы должны были бы смотреть с уважением на чувства русского народа (это правда). — В католической церкви путешествие к святым местам в Палестине развито несравненно меньше, чем в греческой (это правда), и претензии французского правительства по этому предмету нисколько не выражали чувств французской нации (правда). А оно предъявило притязания, — это было вовсе нехорошо (правда). Но вы не только сам не знаете, не найдете, — где бы в России вы ни жили, хоть бы между Москвою и Петербургом, — на 1 000 верст кругом ни одного человека, который помнил бы, в чем собственно был спор. О правах участия духовенства нашего и ка-

толического в охранении святых мест в Палестине, — но каких же? и в каком же размере была разница величины участия, требуемого спорившими? — Это никто не знает теперь, через десять лет, это уже знает только история. Вот что такое говорит она, и говорит правду:

«Спор был о том, должны ли латинские монахи иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви и по одному из ключей от двух боковых дверей. Они также требовали права служить однажды в год в приделе богородицы в Гефсиманской церкви. Но существенным затруднением было именно их требование иметь ключ от главных дверей Вифлеемской церкви, между тем как прежде они имели ключ только от боковых дверей ее».

Это правда. Итак, спор не относился к главному месту поклонения, к церкви гроба господня. Спор собственно относился только к одному из многочисленных святых мест палестинских, важность которых и всех вместе взятых далеко не равняется в сердцах наших паломников важности церкви гроба господня; и спор по поводу одного из этих многих святых мест не состоял в том, чтобы одно из исповеданий было исключено из такого святого места, которое прежде было доступно ему, или получило доступ к такому святому месту, которое прежде было исключительно в руках другого исповедания, — нет, это место было доступно обоим исповеданиям и прежде, должно было оставаться доступно обоим; в этом не было разногласия; не предполагалось изменения требованиями ни того, ни другого из споривших исповеданий; изменение относилось только к размеру пользования одним из входов в это святое место.

Кроме этого побуждения к войне, у русского народа было и другое, продолжает история:

«Пятьдесят миллионов человек в России исповедуют одну веру и исповедуют ее с тою горячностью, какую некогда имела Западная Европа. Все свои войны Россия вела с народами не своей веры, и два раза, когда национальная жизнь умирала, когда всякая другая надежда исчезла, она была спасена воинственным усердием своего духовенства. Поэтому любовь к родине и преданность церкви так тесно слились в одно всеобъемлющее чувство, что русские не могут отделить одного из этих понятий от другого, и хотя они по природе племени кроткое и добродушное, но они воспаляются, когда дело коснется их веры». — Вот поэтому русский народ всегда очень желал, — то-есть тот русский народ, которого 50 миллионов, — эти 50 миллионов желали очень давно и очень горячо взять Константинополь и истребить турок, — *extirpate the Turks*, — «на горизонте набожной массы виделся купол св. Софии», — говорит история. Поэтому, продолжает она, русский царь, глава церкви, имел обязанности, которые ему необходимо было исполнять, потому что «хотя русский народ прост и послушен, но религиозный дух обширной империи пришел бы в опасное волнение», если бы правительство не удовлетворило его ожиданиям в этом отноше-

нии. Русское правительство действовало под тяготением этого напора стремлений массы. И началась «война за веру», по мнению «массы русского населения», когда наши войска вступили в дунайские княжества.

Все это подтверждает история документами и ссылками на ученые исследования, так что не остается места сомнению: депеши, прокламации, манифесты, проповеди, свидетельства самих действовавших лиц, — все ведет к тому взгляду, с которым я вас познакомил. Конечно, ведет, иначе история и не приняла бы его, потому что она беспристрастна и ищет только истины.

Кроме шуток, книга, из которой я сделал выписки, очень беспристрастна и основательна; нет никакого сомнения, что эта книга, «The Invasion of Crimea, by Kinglake», надолго останется одним из драгоценнейших и надежнейших источников для людей, которые будут писать о предмете, ею излагаемом<sup>13</sup>.

Но что ж это такое наконец? — Я думаю, вот что: это не «История Крымской войны», как она скромно называет себя, а история и Крымской войны, и религиозных смут Англии, и гугенотских волнений во Франции, и всего относящегося к реформации во всей Западной Европе, и всего относящегося к инквизиции, и альбигойских войн, и крестовых походов и так дальше, — я знал, что в Саратове жизнь была вот какова с известной стороны; история открывает мне, что мои современники саратовцы, представители самого крайнего развития этой стороны, превосходят в нем все народы Западной Европы и могут быть сравнены только с народами средневековой поры энтузиазма; я совершенно соглашаюсь.

Что следует из этого, вероятно еще придется вам читать на многих страницах следующих моих эпизодов и всяких рассуждений обо всем на свете.

Убедившись, что саратовцы, среди которых я вырос и тенденции которых совершенно разделял в моем детстве, были такие удивительные люди, непременно хотевшие завоевать Константинополь, видевшие на своем горизонте купол св. Софии, я прихожу отчасти даже в сомнение, точно ли я был в моем детстве такой человек, каким помню себя, а не такой, каким познаю себя (вместе с остальными саратовцами) в истории. Неужели, в самом деле, на моем «горизонте» «виделись» Соколова гора с одной стороны, Лысая гора — с другой, Увекская или, как у нас зовут, Увецкая гора — с третьей, Волга — с четвертой, а не что-либо иное?

Я думаю об этом долго и серьезно, потому что вопрос, который пишу я в шутливой форме, вопрос такой, что при ответе на него, какой я считаю справедливым, действительно надобно сызнова писать всю среднюю и новую историю, — чего еще не сделано и даже еще почти не начато, — и надобно сделать еще многое другое. Но нет, память не обманывает меня, — жизнь моего [детства] действительно почти не имела соприкосновения с фантазмагорическим элементом, потому что его почти не было в жизни моих, моего народа,

которая тогда охватывала меня со всех сторон. Самые фантазмагории моего детства доказывают это.

Я часто видел сны, — конечно, в числе их было много страшных. Очень испуган был я одним: Волга поднялась очень высокою волною и заливала нас, в том числе и меня. Другой сон очень огорчил меня: я, шаливши, как часто шалил, перочинным ножичком моего батюшки, сломал его, а ножичек этот был его любимый, — ах, как я был рад, проснувшись, что это было во сне! — Еще, пожалуй, можно бы рассказать несколько моих снов, но все они относились бы к этим двум сферам жизни: к явлениям природы и к впечатлениям общественной и домашней жизни. Но самый страшный сон мой, надолго оставшийся смущением для меня в трусливые минуты, состоял в том, что обезьяны очень большого роста, — с высокого человека, и необыкновенно сильные, — сильнее медведя, и страшные лицами, похожими на человеческие, напали на группу людей, в числе которых был и я, стали бить, кусать и тащить к себе в лес. Я долго дрожал, если случалось вспоминать этот сон вечером, когда собираешься спать: ну что, если он опять приснится? — ужасно! — и точно, он иногда повторялся при начале дремоты с вечера, впросонках поутру.

Года два, три назад на столике продавца плохих картинок обыкновенного гравированья, заменивших прежние лубочные картины, я увидел картину, изображающую событие того же содержания, как мой сон. Надпись объясняла, что дело происходило в Африке, а эти обезьяны называются гориллы. Гориллы пущены в моду уже только в 50-х годах каким-то хвастливым путешественником по Африке из разряда путешествующих вралей. Я видел во сне точно таких обезьян, но они были не гориллы, а еще просто орангутанги — имя это моя сонная фантазия заимствовала из «Натуральной истории» Рейпольского, а сцену — из «Московских ведомостей», которые помещали ее где-то в Америке.

Из этого можно, кажется, убедиться, что насколько занималась грезами моя детская фантазия, она гораздо сильнее возбуждение и гораздо обильнейшие материалы получала из чтения, которым я занимался уже как член русской литературной публики, чем из жизни и рассказов окружавших меня людей.

Я был очень труслив и воображал себе ужаснейшие страхи, когда оставался один в темноте или хоть и не в темноте, хоть и среди белого дня, но как-нибудь далеко от людей, — однажды даже представилась мне в одном из таких страхов галлюцинация, она тоже замечательна с той же стороны. Я шел, сильно трусая, через комнату, в которой не было свечи, но было и не совсем темно: в окно светил месяц, и большой желтый четырехугольник его света ярко лежал на полу, — я взглянул — и увидел, что на этом четырехугольнике сидит на задних лапах очень большой белый тигр. С крайним трепетом я однако же как-то странно в тот же миг вздумал, что это только вообразилось мне, а в самом деле тигры живут в Индии, и бывают не белые, и что это не живой тигр, а



представившаяся мне в увеличенном виде наша белая кошка, которая точно так сидит на задних лапах и любит сидеть точно так на светлом четырехугольнике окна, только не от месяца, а от солнышка, — разумеется, тигр не выдержал такой ученой критической беседы, и я еще несколько не оправился от ужаса, им наведенного, как он исчез.

Как смирна и скудна в отношении средневековой фантазмагоричности должна быть та обстановка, вырастая в которой трусливый ребенок принужден заимствовать свои галлюцинации и страшные сны из «Натуральной истории» Рейпольского и «Московских ведомостей»!

### III

Начнем новую главу, — о другом предмете, — не потому, чтобы я высказал о прежнем все, что хотел высказать, нет, мы еще вернемся к нему не раз и не два, как постоянно будем и возвращаться назад, и забегать вперед, и больше всего делать экскурсии в стороны, — прежний предмет оставим не потому, что он истощен, а потому, что уж много страниц занято им, надоел он покуда, и покуда не пройдет чувство пресыщения им, незачем продолжать толковать о нем. Итак, пусть будет новый предмет.

После времен доисторических всякая история должна начинать говорить о временах исторических, — за мифами следуют факты действительной народной жизни. Стало быть, так должно быть и в моей истории.

Всякая история, обещаясь рассказывать жизнь народа, вместо того рассказывает жизнь правителей, чего обещается не делать. Стало быть, и моя история поступит так же.

За временами и элементами мифическими во всякой истории следуют времена эпические, в которые действуют и восхищают сердца своим величием «герои сумрака», по счастливому выражению известного русского поэта и стилиста Н. М. Карамзина: после Юпитера — Геркулес и проч., после Одина, Тора — Зигфрид и проч., у нас после никого — Рюрик, Олег и Святослав. Так и в моей. Но моя история, как уже известно, находит свою седую древность во временах очень новых по обыкновенному мнению других историков, и ее эпические времена выходят не далее неизвестных мне с точностью годов первой четверти XIX столетия, и мой «герой сумрака» — один из пряников, отпечатанных по образу и подобию Людовика XIV.

О предместниках Алексея Давыдовича<sup>14</sup> не дошло до меня никаких слухов. Но великолепием и благостью Алексея Давыдовича полны были рассказы бабушки и бабушкиной компании. Алексей Давыдович не жил в городе, как и следует Людовику XIV, а тоже по соседству, вроде Версаля, на «даче». Дача на моей памяти еще была верстах в двух от конца города, — теперь город уже подтянулся к ней. Это был огромный (пропорционально тогдашнему саратовскому размеру) дом, с флигелями, службами, с другим

домом, поменьше, но тоже большим, под боком, и у этого дома факигеля и службы, — все это тянулось, быть может, на целую треть версты, если считать по длине каменного забора, — с боков и позади были роща, сад, — сад с прудами, пруды с островами и мостами, острова с киосками, киоски с цветными стеклами, цветные стекла с — нет, уже ни с чем больше, только сами с собою. По прудам плавали люди в лодках и лебеди без лодок, в роще и в саду, на мостах и на прудах и островах бывали иллюминации и фейерверки, в домах бывали балы и банкеты, превышавшие своим блеском все, что могла представить себе фантазия повествовавших мне о том саратовок и саратовцев. Эпоха Алексея Давыдовича — в их воображении — один непрерывный праздник, двадцатилетнее всенародное ликование без одного не то что хоть месяца, а хоть дня для передышки.

Я не видел этих праздников, но мог бы их описать, — балы, если бы соединил маленький кусочек зала так называемого клуба в его балльные дни с маленьким кусочком вокзала, буфета и сада Минеральных Вод в один из их вечеров, — но, во-первых, я не был и на этих увеселениях, потому не могу описать и их, во-вторых, они очень известны всякому и без моего описания. Итак, всякий, кроме меня, может отчетливо вообразить себе картину великолепия эпических времен Саратова, невообразимую только одному мне, знакомящему с нею Россию и человечество, современников и потомство.

Но, не в силах будучи ни изобразить, ни вообразить этой картины, я могу дать некоторые указания для точнейшего ее воссоздания воображением всякого другого человека.

Едва ли [не] половина высшего дамского круга, блиставшего на балах Алексея Давыдовича, состояла из дам и девиц, не обученных искусству чтения. Еще в моем детстве доживали век некоторые саратовские аристократки, не умевшие читать. Едва ли одна десятая часть высшего мужского общества тех же балов не называлась мертвецки к концу бала — это не требует доказательств. Но каковы бы ни были их светские совершенства при таких данных, они и эти балы [были] представителями такого развития великолепия и тонкой светскости, которая повергала остальную толпу присутствующих в изумление, доходившее до сомнения, до неверия своим пяти чувствам, до отрицания перед самими собою и другими фактов, виденных собственными глазами отрицателей: нет, такого великолепия не может быть на земле! Нет, такого изящества не может достичь человеческая натура! — говорили новички, и только уже после долгой привычки получали силу постижения возможности действительно совершающего[ся] перед их глазами и воскликали: верю тому, что вижу!

Сообразно предмету, мой рассказ стал, как я вижу, эпосею, то-есть я сильно заврался: конечно, никто и с первого своего присутствия на бале Алексея Давыдовича не сомневался, что он действительно, а не во сне видел все, что видел, — и, не понимая

возможности существования такого великолепия на земле, не думал отрицать его существования. Но если не было этого, то это должно было быть.

Великолепный, как Людовик XIV, Алексей Давыдович был и великодушен, благодетелен и благотворителен, как Людовик XIV,— подобно ему, был покровителем всяких достоинств, заслуг и добродетелей, помогал бедным,— хотя бедных не могло существовать в правление Алексея Давыдовича, но все-таки он помогал им щедро; отирал слезы страдающих, защищал угнетенную невинность,— хотя, конечно, в его правление не могло быть страдающих и не могла угнетаться невинность, но все-таки он защищал ее и утешал их.

Такое дифирамбично-эпическое созерцание величественного образа Алексея Давыдовича и блаженства времен его было внесено [в] мои созерцательные способности рассказами бабушки. И хотя холодный рассудок говорит, что дифирамбичность сильно украшает истину, но он же, как известно, говорит, что под украшениями идеализации лежит истина.

Так и я, в моем детстве, когда ниспадал из области эпического созерцания в рефлексию, видел, что если Алексей Давыдович и не был окружен величием и великолепием уже совершенно невиданным никогда ни прежде, ни после нигде на земле, то все-таки он действительно должен был жить очень пышно, задавать балы и банкеты с очень большим количеством блюд и вин, свеч и плошек, дам и кавалеров. Елтонская соляная операция была в его руках очень фамильярным образом, дававшим, по молве, чуть ли не сотни тысяч, и кроме того, он брал в Саратове и пригородах, тянувшихся к нему, всякие большие суммы, какие кто соглашался давать ему в заем, а таких простяков было довольно; про обыкновенные источники дохода нечего говорить.

Это холодное рассудочное объяснение первоначально запало мне в память не из рассказов бабушки о великолепии и благодати Алексея Давыдовича, а из сожалений моей матушки о судьбе ее доброй знакомой, которую звали Катерина Егоровна, — фамилии не помню. Катерина Егоровна была очень дружна с моею матушкою, и я помню ее как очень добрую и ласковую девушку; она была для девушки уже не молода — вероятно, ровесница моей матушки. Она не имела ровно ничего и жила по каким-то родственным ли отношениям, или по памяти людей о важных одолжениях, полученных от ее отца, в семействе вовсе не богатом, но не нуждающемся. Она была очень добрая, кроткая, по тогдашнему времени очень образованная женщина. Вот, жалея о ней в семейных разговорах, моя матушка и говорила постоянно, что ее сделал нищею Алексей Давыдович. После отца Катерине Егоровне осталось 40 000 ассигнациями наследства; по тогдашнему саратовскому это было богатство, равное по крайней мере 80 000 р. для нынешнего времени в Петербурге. По какому-то случаю Алексей Давыдович имел возможность сделать распоряжение об этих деньгах, — кажется, Кате-

рина Егоровна осталась малолетнею после отца, и можно было распорядиться через опеку, — или другим способом, все равно, дело только в том, что Алексей Давыдович взял эти деньги долгом на себе. Само собою, что не было возможности воскресить сгоревшее сало с дегтем плошек, в виде которых эти деньги озаряли и восхищали Саратов, следовательно, не Алексей Давыдович, а закон природы был виноват в невозможности этим деньгам возвратиться в руки Катерины Егоровны ни при жизни, ни по кончине Людовика XIV моей саратовской истории. Когда мне было лет 10, Катерина Егоровна уже была только страдальцею, — она упала с экипажа, лошади разбили ей голову, ее ум ослабел, за нею смотрела какая-нибудь старушка из прислуги, как за ребенком; моя матушка навещала ее, но меня уже не брала с собою; следовательно, мои воспоминания о ней, умной, доброй, прекрасной, ехать к которой было для меня радостью, принадлежат только самому первому детству, лет до 9 или до 8; следовательно, и знание мое об Алексее Давыдовиче с финансовой стороны начинается вместе с эпическими сведениями о нем, если не раньше их. Может быть, поэтому и не действовала на меня эпопея.

После времен, так отчетливо и живо отразившихся в эпосе Гомера, надолго все прячется в туман неизвестности, и наконец, когда вновь открывается занавес, на сцене греческой истории вместо «богоподобных» Ахиллов, Агамемнонов, Приамов и Гекторов являются уже обыкновенные смертные, с обыкновенными человеческими приключениями. Так и в моей саратовской истории. После иллюминированной эпохи Алексея Давыдовича, подобного Людовику XIV, который был «подобен богам» по мнению надписей на его медалях, история Саратова на долгий период скрывается от моего детства во мрак безвестности, пока является история о путешествии Прасковьи Ивановны к Ивану Постному и его последствиях.

Одна из сестер бабушки, Прасковья Ивановна, молодая, прекрасная женщина, долго не имела детей. А жили они с мужем, Николаем Ивановичем, не бедно. Николай Иванович на моей памяти был уже священником, — тогда он был только дьяконом или даже дьячком, но жили они с женою без нужды. А если так, то натурально, что дети были бы на радость, и Прасковья Ивановна горевала о своем неплодии. У нее была задушевная приятельница, меццанка, тоже молодая, добрая, прекрасная женщина, тоже жившая с мужем без нужды и точно так же не благословляемая от бога детьми и горевавшая о том. Обе приятельницы, толкуя со всеми добрыми приятельницами, а в особенности между собою о своем горестном обстоятельстве, беспрестанно доходили до выражения желания, не редкого в те времена в тех кругах у молодых женщин добрых, не нуждающихся и бездетных: «Если уж не дает бог своих детей, хоть бы подкинули ребенка, — рада была бы, как своего стала бы любить». В таких разговорах шел год за годом, и пришел неизвестный мне год, когда произошел такой случай. Начиналась

осень, подходил Иван Постный (29 августа), — праздник в селе Увеке, верстах в 15 или 18 ниже Саратова на том же берегу Волги, — увекский Иван Постный очень уважается в Саратове и служит местом ближайшего паломничества благочестивых горожан. И я с моими старшими раза два-три ходил к Ивану Постному, то есть к обедне в Увекскую церковь, только не в этот день, потому что в этот день — толпа, давка, шум и конечно не без очень сильного кутежа; но таких посетителей, не в день храмового праздника, очень мало бывало в Увеке; вся масса паломников идет туда собственно «на Иван Постный», 29 августа, и только одним этим ограничивается паломничество: зато в этот день ходят туда очень многие. — Вот, накануне Ивана Постного, Прасковья Ивановна со своею приятельницею спросили друг друга, пойдут ли к Ивану Постному. «Мне нельзя, надо завтра полы мыть», или что-то такое, особое по хозяйству, сказала одна. «И мне тоже некогда, тороплюсь дошить рубашку мужу», или что-то тоже такое по хозяйству, сказала другая. Обе решили, что и не надобно много жалеть об этом, потому что работа — та же молитва, так ее бог принимает. Разошлись. Спят. Среди ночи слышит Прасковья Ивановна — стучатся в ставень: «Спите что ли, добрые люди? Так проснитесь». — Прасковья Ивановна встала, — за ставнем услышали шорох и продолжали: «проснулись? — так выходите, примите, что бог послал», — дело уже несомненное после этих слов, да и по первому стуку понятное для тогдашних саратовцев: стук спокойный, не пожарный какой-нибудь, не пугающий, а только будящий, — известно: младенца подкинули. Прасковья Ивановна выбежала за ворота, подбежала к окну, у которого стучались: конечно, уж тех и след простыл, а младенец лежит под окном. Взывала Прасковья Ивановна, — но воем не поправишь дела: надо ум приложить. Прасковья Ивановна стала прикладывать ум, то-есть куда девать подкинутого младенца, — и приложила: «Да вот, — она произнесла в мыслях имя своей приятельницы, я его не слышал и не знаю, но для удобства надобно как-нибудь назвать приятельницу, пусть она будет хоть Прасковья Петровна, — да вот Прасковья Петровна говорила, что с радостью взяла бы такого младенца, — к ней надо». Надевши башмаки и остальные принадлежности, Прасковья Ивановна пошла с малюткою, положила его у окна приятельницы, постучалась как следует, сказала как следует, что дескать бог послал, — сказала, разумеется, чужим голосом, как следует, и торопливо отбежала в сторону, дожидаться, пока выйдут взять младенца (добрые люди так подкидывают: ждут за углом, пока выйдут взять младенца, иначе нельзя, не христианское дело: ну, что, если не добудились? младенца собаки съедят). — Слышит, приятельница стукнула дверь, идет принимать младенца, — и Прасковья Ивановна благим матом, — то-есть сломя голову, — бросилась бежать домой. Благополучно добежавши домой, стала она рассуждать, — конечно, после такого дела не вдруг-то заснешь: «А ведь ко мне к первой придет Прасковья Петровна рассказывать,

а я какими глазами буду смотреть на нее? — Уйду к Ивану Постному».

Бродит Прасковья Ивановна около церкви, пришедши к Ивану Постному, — глядь, и ее приятельница тут же. «Как она здесь, когда сказала, что не пойдет? Видно, прибежала ко мне, сказала ей матушка об нашем происшествии, как подкидывали к нам, она и догадалась, от кого получила, пришла сюда меня ругать». — И Прасковья Ивановна пятилась в толпу подальше от своей приятельницы, — благо та еще не заметила ее. Но вот, — идет, идет! не спрячешься! — Что ж, уж надо самой начать каяться. «Прости ты меня, мать моя Прасковья Петровна, согрешила я перед тобою», — обратилась Прасковья Ивановна к подходящей приятельнице, чтобы воспользоваться хоть снисходительностью к «повинной голове», которую «меч не сечет». — «Что, моя матка, Прасковья Ивановна, какая твоя вина передо мною? — отвечала еще вздыхательнейшим тоном приятельница: — моя вина перед тобою больше. Я начала. Как ты мне его принесла, я так и подумала, что ты догадалась, от кого тебе было приношение, потому и назад воротила ко мне. Со стыда, моя матушка, и сюда-то ушла, от тебя, — да как увидела тебя тут, совесть-то не вытерпела, пойду, говорю, покаюсь теперь же перед нею: ведь когда-нибудь надобно же будет каяться, так уж лучше поскорее грех-то с души долой. Прости ты меня, Прасковья Ивановна, матушка». — «Так вот оно какое дело-то вышло! Это ты мне его подкинула!» — говорила Прасковья Ивановна. — «Я подкинула, мать моя, вот оно какое дело-то вышло. Как подкинули мне его, я думаю: куда девать. Думаю: отнесу к Прасковье Ивановне, она часто говорила, что рада была бы принять». — «Так-то и я про тебя рассудила, мать моя, Прасковья Петровна, что понесла его к тебе подкинуть». Повторивши по несколько десятков раз: «матка моя» и «матушка моя», и «мать моя» с взаимными именами и отчествами, «вот оно дело-то какое вышло», «вот оно как вышло-то» и прочее, и досыта накачавшись головами и навздыхавшись над таким вышедшим делом, приятельницы могли, наконец, двинуть дальше свой разговор. — «Что же ты, матка моя, будешь с ним делать-то?» — спросила Прасковья Ивановна, — «Как, моя матка, что делать? Я уж сделала, — и не в догадку, что надо рассказать, совсем забыла: уж подкинула». — «Подкинула?» — «Как же, матка, в тою же секунду, как ты мне назад-то принесла, я опять пошла подкидывать, — да уж, чтобы опять греха не было, не воротился бы ко мне, так в тот конец города, к Илье Пророку, — далеко, так одной-то страшно, мужа с собой брала». — «И хорошо подкинула?» — «Хорошо, тут бог помог, хорошо. Да еще я тебе скажу, как хорошо-то вышло: знаешь, стоим мы с мужем-то, за углом-то, ждем, покуда выйдут младенца-то принять, — а в эту самую пору, как они выходят-то, бог на наше счастье и пошли, идет человек, — лакей ли, приказный ли, в шинели, — так и идет себе, — знаешь, ничего этого не знает. Они на него: это ты, говорят, подкинул! — Знаешь, двое мужчин выскочили, — видно,

семейство уж опытное, не то, что у нас с тобою. — «Ты, говорят, подлец, подкинул!» да [за] шиворот его: «бери», говорят. А мы с мужем-то: слава те, господи! — крестимся, да бежать, бежим да крестимся: слава те, господи! Вот оно устроилось как хорошо». — «Ну, слава богу: истинно хорошо, что так». — «Хорошо, матушка».

Итак, приятельницы еще не знали, чем кончилось устройство дела, но когда воротились в город, все еще твердя «вот оно как вышло», «вот оно, какое дело-то выходит», — то слышали, что вышло еще дело, и несколько дней душа у них была в пятках, не проболтаться бы как, не добрались бы до них, — но слава богу, остерег их милостивый господь, не проболтались, и никто тогда не дознался, что от них это вышла такая история, что губернатора схватили за шиворот и заставили взять младенца. Впрочем, если б и дознались, не было бы им большой беды, — поясняла нам моя бабушка: — потому что и с этими людьми, — тоже из мещан, — которые схватили его за воротник, он ничего не сделал: оттого что нельзя было ему шум-то подымать: зачем, скажут, в такую пору по дальним улицам ходил? — «А зачем же, бабенка?» — Ну, известно зачем: распутник был. А они ему и бока помяли, покуда сначала спор-то у них был. Он сначала не сообразил, что уж нечего, покориться надо, чтобы не вышло больше сраму, поупрямился было, говорит: не я подкидывал, не беру. Да спасибо, скоро образумился, — взяла, понес. — На часть принес, там отдал, на их содержание, — приставу в наказанье, что за порядком не смотрит. Только тем и кончилось».

Фамилию Алексея Давыдовича я очень хорошо знаю, и тогда же мне сказывали; но как была фамилия этого его преемника, не помню: он, видно, не выдавался ничем особенным из ряда предместников и преемников и сливался с ними в общем прозвании по должности. Но как бы ни была его фамилия, а ясно, что эпоха, обозначаемая этим его приключением в детской истории Саратова соответствует временам Регента и Людовика XV в обыкновенной французской истории. Нельзя не возвышаться духом и не ликовать мыслью, находя такую правильность исторического развития и в великом, и в малом масштабе, и нельзя не воскликнуть: непреложны пути истории, всегда и повсюду одни и те же, и своим тожеством во всех временах и странах свидетельствующие о единстве коренных сил, развивающих движение событий, и о неизбежности для всякой страны того же прогресса, какой достигнут хоть где-нибудь!

Но если в саратовской истории был Людовик XIV, потом были Регент и Людовик XV, то через несколько времени была и эпоха террора? — Была. Она лежит на границе моих детских и моих уже не детских годов, — как и эпоха, называемая террором и тому подобными именами в обыкновенных историях, лежит всегда на границе между детскою и уже не совсем детскою жизнью нации. Англия имела эту эпоху в половине XVII века, Франция в конце XVIII, моя детская история Саратова в 40-х годах XIX века.

После губернаторов, имена которых погибли для моей истории по причине моего нахождения в малолетии под их управлением, настало, наконец, время губернатора, фамилию которого я знаю уже по личной своей памяти, а не [по] преданиям древности. К этому губернатору приехал и поселился в Саратове его сын, молодой человек, отличавшийся довольно буйными свойствами. Конечно, никакие преграды не противопоставлялись им, и скоро стал он ездить по ночам с своею компаниею по улицам для потехи молодецкой над прохожими. Издевались, хватали, трепали, колотили, — и ничего, Саратов благодушествовал, — порицал в сокровенности дружеских бесед, роптал себе под нос, чтобы никто не услышал, но благодушествовал. Скоро стали каждое утро находить на улицах то одного, то двух убитых. Но благо[ду]шествовали. Говорили: губернаторский сын режет людей, это его с его шайкою дело. Шла неделя за неделю; режущие, видя благодушествование города и наслаждаясь безмятежным спокойствием, ободрялись больше и больше. Стали резать не только во мраке ночном, но расширили свои занятия и на время рассвета, и на время сумерек, — наконец, совершенно убедившись, что их дело не такое дело, которому надобно бояться света, стали заниматься им на стогнах града и при свете солнечном. Да не подумайте же, что я употребляю такие выражения в виде украшительных словизвитий, — несколько. Резали в раннюю обедню и возобновляли резанье в вечерню, — буквально; резали на всяких улицах, не то что только в глухих, пустынных, — нет, и на главных. Особенно хорошо и много резали на площади Нового Собора, через которую надобно проходить из южной половины прибрежной части города на рынок съестных припасов, на «Верхний базар». На Соборной площади стоит самое большое из тогдашних зданий Саратова, корпус, в котором тогда помещались почти все присутственные места, с другой стороны — архиерейский дом, с третьей стороны — гауптвахта. Средина площади, довольно большой, занята бульваром. На этой-то площади и резали в продолжение всего времени от начала вечерни до конца ранней обедни, а от конца ранней обедни до начала вечерни не резали. «Нельзя, губернаторский сын», говорила полиция. — «Что делать, губернаторский сын», говорил город. И благодушествовали. Сколько времени это продолжалось, я не могу сказать в точности, но наверное не две, не три недели, а гораздо, гораздо больше. Я полагаю, месяца три, если не больше. Сколько народу было перерезано, этого, конечно, не только не умею сказать я, этого нельзя доискаться и никакими справками: сочтешь ли всех. Но положительно надобно сказать, что в это время было перерезано не то, что десятка какие-нибудь полтора, два человек, а несравненно больше; по размеру впечатлений готов бы сказать, что было перерезано человек полтора, двести, — может быть, до трехсот; но, конечно, это будут преувеличенные цифры; а верно то, что не две, не три недели продолжалось открытое резанье людей на улицах, не только без поимки, даже без всякого преследо-



вания резавших. Это было уже в 40-х годах, в губернском городе, на главных улицах и площадях города. Это так странно, что я готов бы сам не верить точности выражений, употребляемых мною для характеристики этой удивительной процедуры, но не могу не видеть, что эти выражения точны, — как же я отрекусь от них из трусости показаться человеком, прикрашивающим дело, когда в моей памяти остается, например, следующий рассказ.

Авдотья Петровна, одно из лиц, составлявших население нашего двора, героиня одного из следующих моих повествований, наша добрая знакомая, небогатая мещанка, имевшая лавочку на Верхнем базаре, пришла к нам под вечер и рассказала, что поутру чуть не зарезали ее. Она шла в свою лавочку. Звонили «достойную» ранней обедни то в той, то в другой церкви, когда она переходила площадь Нового Собора. Она шла, держась подле бульвара, огороженного тогда решеточкою только четверти в три или в аршин вышины. На бульваре было довольно много ям, приготовленных для посадки новых лип. На той стороне площади, по которой шла Авдотья Петровна, шло еще человек пять, шесть. Был полный солнечный свет. Вдруг крик, — на двух из шедших по площади наскочили откуда-то взявшиеся люди, сбили их и стали резать. Другие прохожие поспешили убежать, кому куда ближе, с площади в улицы. Авдотье Петровне до всякой улицы было далеко, она перескочила через низенькую решеточку бульвара, добежала до одной из ям, бросилась в нее и просидела там с полчаса, если не больше. Через несколько минут операция зарезывания была кончена, зарезавшие ушли, все стало тихо, — через минуту опять шли по площади обыкновенные прохожие, но Авдотья Петровна боялась высунуться из своей ямы, пока не стало слышно на площади уж очень много проходящих.

Вот вам, — что вы прикажете делать с таким обстоятельством? Я готов бы положить, что молва подвигала резню слишком далеко в дневное время, слишком надвигала ее от темного вечера и от темного утра к обеду, — но когда же могла Авдотья Петровна идти отпирать свою лавку, как не перед самым началом базарного времени? Неужели же базар начинается бог знает в какие утренние потемки?

Этот случай отчетливо остался в моей памяти, потому что был с хорошою нашею знакомою, рассказ которой я и слушал в тот же день. Но совершенно подобные случаи слышались тогда беспрестанно.

Опять: я готов был бы не говорить, что полиция оправдывалась перед жителями в полном непреследовании режущих, объясняя, что «нельзя: ведь это губернаторский сын». Само собою кажется, ясно, что губернаторский сын не резал же людей на улицах, чтобы отбирать с убитых одежонку, какие-нибудь два, три целковых деньжонка, — то-есть само собою кажется ясно бы должно представляться полиции, что такая отговорка слишком нелепа, а жителям, что это просто насмешка над их простотою, когда употребляется

такая отговорка; я понимаю, что и делающие, и принимающие отговорку выставляются ею жителями какого-то до неправдоподобности идиотского века и места. Но что ж мне делать, когда так было? Нельзя же утаивать правду для того, чтобы не нарушать правдоподобия.

И опять, я чувствую, что прилагаю к рассказываемой мною жизни мерку, чуждую ей, когда нахожу невероятным то, что помню и что действительно так было. Что губернаторский сын не резал, это, конечно, так; что и сорванцы, окружавшие его в ночных проказах, могли не заниматься сами резанием, когда упражняли свои сорванецкие таланты в отдельности от своего патрона, как самостоятельные герильясы, это может быть, хотя может быть и иначе. Он мог только не знать, что его сорванцы стали заниматься и настоящим разбойничеством. Но участвовали ли в резаньи людей эти сорванцы или нет, а несомненно то, что резанье для грабежа основалось на сорванецких проказах, производившихся для потехи, и прикрывалось ими. Это доказано развязкою дела.

Развязка дела имеет характер подвига, совершенного в древности Брутом Старшим<sup>15</sup>. Отец-патриот принес сына в жертву на алтаре отечества. Как, до кого дошли слухи, этого мои саратовцы, конечно, не знали, — только отец узнал, что слухи дошли, и написал письмо, в котором говорил, что вот сам доносит о беззакониях своего сына, пусть делают с сыном, что хотят, хоть казнят смертью, он, отец, будет рад. Сына отправили из Саратова на Кавказ. Из этого ясно, что ночные буйства для потехи и резанье имели действительно тесную связь, — иначе не зачем было бы подвизаться в виде Брута Старшего.

И опять, шалости шалостям рознь. Об ином сорванце, конечно, только дураки могут говорить или верить, что он режет людей на улицах, — так, для упражнения руки. А как назвать выдавание или принятие такого мнения за правду идиотством, когда, например, был такой случай.

Подле дома, где жил Брут с сыном, был дом нашего знакомого, отчасти непостижимо далекой степени родственника, помещика средней руки. У него было несколько дочерей. Большую часть двора занимал сад. Окна Брутовского дома смотрели в сад. Однажды дочери помещика гуляли по саду, услышали пистолетный выстрел из окна Брутовского дома, взглянули, увидели, что выстрелил сын Брута, впоследствии принесенный на алтарь отечества, а теперь пока вздумавший попробовать, не удастся ли ему сделать то, что рассказывают про старинных венгерских удальцов: отбить пулю каблук у башмака идущей дамы или девицы. Но не удалось: пуля вошла в землю довольно далеко от пятки, для которой предназначалась, — четверти на две промахнулся.

И только? — только. Теперь: если днем, — следовательно менее пьяный, чем ночью, — из своего дома, следовательно не до того разгоряченный, как при скачке с криком, гвалтом и схватками на улице, — человек стрелял в пятки людям для пробы руки, — то

скажите, что же особенно глупого в предположении, что трупы, находимые на улицах после его кутежных прогулок по улицам, могут быть трупами его фабрикации?

Опять меня берет сомнение: не покажется ли странновато, что могли производиться сыном Брута ночные проделки, от которых один шаг до разбоя? Но нет, есть же предел всякому скептицизму, — иначе, пожалуй, я усомнюсь и в следующем происшествии, которое засвидетельствовано судебным приговором.

Когда находил набожный стих на мою бабушку и ее собеседниц, то выражали они сожаление, что в Саратове нет мощей. В будущем была очень верная надежда на мощи. Преосвященный Иаков был человек такой строгой и святой жизни, что собеседницы не сомневались в достоинстве его быть прославлену от бога открытием его мощей (когда его перевели в Нижний-Новгород, говорили, этот шанс погиб для будущности Саратова, и я слышал такие размышления: видно, не угоден богу наш город, что отнимает он у нас архиерея, от которого были бы у нас мощи). Но все-таки, если была надежда в будущем, то еще только далеком: ведь мощи открываются через десятки [лет] по смерти святого мужа; а тут и святой еще находился в добром здоровье и не старых летах. — Но вот, одна из собеседниц (чуть ли не моя бабушка) сообщила другим, что по примете одной старушки (чуть ли не моей прабабушки) должны скоро открыться мощи: старушка из своего окна, обращенного к Соколовой горе, видит на этой горе, на пустынном месте, каждую ночь маленький огонек, — будто свеча теплится, — должно быть, над мощами, и, должно быть, скоро они должны открыться, когда уже возжигается над ними небесный свет. Кружок бабушковых собеседниц стал наблюдать по ночам из окон: точно, возжигается свет на Соколовой горе, будто свеча теплится. Положили: быть тут мощам и скоро открыться им. Кажется мне, что именно моя прабабушка первая заметила этот симптом будущего и что через мою бабушку он вошел в сведение кружка, в котором и я сидел. Но не ручаясь, действительно ли открытие это принадлежит прабабушке, а его распространение — бабушке, я уже отчетливо помню, что кружок убедился в возжигающемся свете собственными наблюдениями и что моя бабушка и ее сестра Анна Ивановна твердо ждали открытия мощей.

Итак, возжигающийся свет не представлял в себе темноты, как и натурально. Но совершенно другое дело, чисто житейское и коммерческое, представляло темноту. Вокруг Саратова много ветряных мельниц. Построилась еще одна мельница, которую наши заметили оттого, что она была видна с дороги в мужской монастырь, куда нередко ездил летом мой батюшка по делам, к архиерею Иакову, переселявшемуся туда вместо дачи. С батюшкою, — когда было время собраться, а не вдруг ему встречалась надобность ехать, — отправлялись и мы гулять по монастырской роще, пока он занимается делами с Иаковым. Матушка и тетюшка говорили: что-то странна эта мельница, никогда не видно, чтобы она молола. Да и

поставлена она на таком месте, что неоткуда возить хлеб на нее. И место слишком неудобно для мельницы еще в другом отношении: закрыто горами от господствующих ветров, так что вообще в нем затишье.

После этих двух предисловий начинается история. В нескольких верстах от Саратова, близ деревни Гуселки, но отдельно от деревни, выстроил себе порядочный домик один вновь присхавший господин, одинокий, немолодых лет, хороший человек, по словам соседних владельцев, с которыми познакомился, — но главное не в том, что хороший человек, а что были у него некоторые прихоти, тоже все хорошие: любил он читать книги, любил смотреть на звезды, на тот берег Волги в зрительную трубу, — это все прекрасно, но опять не в том дело, что прекрасно, а вот, что для своего смотрения в зрительную трубу он купил хорошую зрительную трубу, — любя читать книги, покупал их; то-есть не отказывал себе человек в прихотях, — ясно, что у него есть деньги. Также у него были и ружья хорошие, — он тоже развлекался и охотою, да вообще у него были хорошие вещи. Словом, видно, очень видно, что у него есть деньги. Вы ждете: «окажется разбойник», — нет, он так действительно и был хороший человек, немолодых лет, отставной офицер или моряк, — и разбойник был не он, а на него напали разбойники, потому что у него, явное дело, есть деньги, а живет он один. Кроме него, было только человека два прислуги, чуть ли не женщины, — да девочка, дочка слуги или служанки. Вот в одну ночь нагрянули разбойники, живо связали прислугу, — барин, кажется, успел заметить шум, так что оборонялся, чуть ли не успел сделать и выстрел из ружья, но это все равно, его скоро одолели и связали, — а девочка успела убежать, разбойники и не заметили ее, стали искать денег, — нашли деньги самые ничтожные, только на текущий ежедневный расход, каких-нибудь 15, 50 рублей, в этом роде, — где ж деньги? — Расспрашивали прислугу, барина, — не добились искреннего показания, стали грозить пыткой, — и тем не проняли, — стали пытать, — все эти обыски и допросы заняли [так] много времени, что девочка добежала до деревни, поднялись, собрались мужики, пришли, окружили дом, гаркнули «лови!» — разбойники бросились бежать — соседняя деревушка небольшая, мужиков было немного, не успели поймать никого, все разбойники убежали. — Убежали, но в торопливости оставили разные свои вещи нападательного свойства, которые положили было, чтобы рукам была свобода заниматься обыскиванием и пыткой. Мужики нашли трофеями своей победы несколько обыкновенных принадлежностей ремесла побежденных, из разряда кистеней, ножей, топоров, — и одну штуку, вовсе необыкновенную в такой компании: шагу военно-гражданской службы — оправившийся хозяин дома с удивлением стал рассматривать ее — и прочел на ней фамилию владельца: «Баус»<sup>16</sup>. Баус был один из четырех частных приставов богохранимого, — уж действительно бого-, а не человека-хранимого, как ясно видим из этой истории, — города Саратова. Тут уж

ничего нельзя было сделать: промах дан слишком сильный. Баус был атаманом одной из разбойничьих ватаг. Эта ватага, между прочим, устроила себе приют, «пещерку малу», по выражению летописца Нестора, в том месте Соколовой горы, где мои старушки видели «возжигающийся огонь, как бы свеча теплится»; той же ватаге принадлежала и флегматическая мельница. — «Гле-ко (гляди-ко), смотрите-ко, что вышло,— говорили мои старушки:— а мы совсем не то полагали на Соколовой-то горе».

Этот уголовный случай напоминает мне маленькую историю совершенно невинного, — скорее даже благодетельного характера, в которой мы втроем с приятелем моим NN и нашим кучером колдуном Павлом играли прекрасную роль спасителей гибнущего человечества. Дело было более чем десять лет по окончании моего детства, но мы увидим, что оно хорошо для истории моего детства с историческо-гражданской стороны.

Я был учителем в саратовской гимназии. Один из моих товарищей, Сергей Алексеевич Колесников, позвал нас к себе на закуску как-то зимою, чуть ли не на масленицу. Я отправился вместе с одним из моих тогдашних друзей. Мы с [ним] поехали на нашем экипаже, если можно назвать этим именем наши сани, свойства которых я опишу, когда дойдет до того дело. Подъезжая уже к дому, где жил С. А. Колесников, мы обогнали старушку, шедшую по той тропинке вдоль забора, которая соответствовала тротуару, скрывавшемуся под нею на пол-аршина или аршин снега. Старушка была замечена нами собственно как старушка,—с филантропической точки зрения, что в такой мороз идет она в шубенке недостаточно комфортабельной по некоторой недостаточности и некоторому излишеству прорех. Пожалели, обогнали, приехали к С. А. Колесникову, закусили, я поиграл в карты (я играю в карты; как, это вероятно тоже будет объяснено мною со временем, по психологической интересности этого процесса), — значит, мы просидели часа три, — может быть, и побольше. Но мой спутник, не игравший в карты, торопил меня, скучал среди играющих, — и мы в начале сумерек поехали назад. — «Что это? По сугробу! — возьми поправее, Павел, надобно [посмотреть], что это за женщина. Да это та же самая старуха!» — Точно, она, — бредет около того же места, где мы обогнали ее, только уж не по тропинке, а целиком по широкой полосе, занимаемой неприкосновенным снегом в полтора аршина глубины, между пешеходною тропинкою вдоль забора и санною дорогою посредине улицы. — «Бабушка, да это все ты же тут ходишь?» — мы вывели старуху из сугроба на средину улицы. — «Что ж это ты?» — «Иду, батюшки мои». — «Куда же ты идешь, бабушка?» — «Домой». — «Где ж у тебя дом?» — «Зятек с дочкою живут в избушке подле Уфимцева сада». — «Да ведь это версты три за городом? Как ты дойдешь? Где тебе дойти? У тебя уж рот-то стал коченеть, не то что ноги, — вишь тебе уж и говорить-то не свободно». — «Точно, батюшки мои, точно, что сводит лицо-то, заскорузло». — «Как же ты

дойдешь? Тебе надобно переночевать здесь где-нибудь. Ты у кого была в городе-то?» — «У кумы, батюшки мои». — «Где живет кума?» — Старуха назвала очень далекую местность города. — Туда везти ее — не приходится, а так оставить нельзя: старуха от мороза и заоченела и уж совсем потеряла рассудок, — не разберет, что идет по сугробу, не разберет, что все прохаживается взад и вперед по одной улице. Как быть с нею? — «Мы тебя, бабушка, довезем до части, там обязаны дать тебе переночевать, да и пристава мы попросим, или кто там есть, хорошо приютят и покормят, а завтра поутру и пойдешь домой». — «Батюшки мои! — взывала старуха: — не губите моей души. Там меня убьют!» — Мы доказывали ей, что нет, не убьют, а дадут поужинать и уложат спать. Но никакие резоны не действовали: «Убьют! там убьют! в части убьют! В части всегда убьют!» — твердила старуха с таким убеждением, что мы подались и пошли на компромисс: вместо части предложили соседнюю будку; против будки старуха не имела такого твердого убеждения, была сбита нашею диалектикою, сказала наконец: «Ну, на будку так и быть подвезите, мои батюшки». — Мы сдали старуху будочнику с объявлением, что завтра полицеймейстер наведет справки о том, спокойно ли старуха проспала ночь и в целости ли отпущена.

Мнение старухи важно потому, что подано в обстоятельствах, при которых изливается из души чистейшая искренность, без всякой возможности софистики, риторики или капризности, а главное, при которых слова человека уже не могут считаться проявлением индивидуальности, а должны быть принимаемы за квинт-эссенцию национальной мысли: у старухи все личное уже находилось в замороженности: глаза не разбирали дороги, рот с трудом разевался, рассудок перестал действовать, — и в этом состоянии человек уже бывает только эхом духа своей нации. Такая находка с ученой стороны всегда бывает психологическою драгоценностью.

Да, старуха выразила сущность нашего саратовского воззрения на часть, представительницу организующего начала нашей национальной жизни в ее глазах. — Но за шутку или не за шутку захотите вы [принять] такое значение, находимое мною в словах старухи, — не подумайте, что я виню нашу русскую полицию вообще или хочу выставить вам особенно дурную саратовскую полицию моего детства. Правда, я нахожу, что если в данном случае ожидание смерти себе от рук полиции было ошибочно со стороны старухи, то признаю вполне основательным ее убеждение как общий принцип, из которого ее дело было исключением, из которого множество дел, миллионы дел, — пожалуй, огромное большинство отдельных случаев бывают исключением, но который все-таки обнимает собою национальную жизнь и жизнь каждого постоянно и повсюду, без всяких исключений. Несколько странновато кажется такое мое рассуждение: что, дескать, хотя огромное большинство случаев не подходит под принцип, но все факты подходят под него без всяких исключений. Это ничего: читайте дальше, вы увидите,

что я все так рассуждаю, что хотя  $2 \times 2$  и составляют очень часто 4, но решительно всегда бывают 5, а не 4. Я собственно [говорю] с тем, чтобы рекомендовать вам такую логику. С отвлеченной точки зрения она кажется странновата; но жизнь вообще всего человечества от эпохи обезьянного периода до наших времен, а по преимуществу жизнь нашей с вами нации с XVI века по сие время постигается только при помощи такой логики. Потому до сих пор и нет порядочной истории ни всеобщей, ни какой частной, ни в особенности русской, что историки не умели овладеть ключом к истории, то-есть логикою, с которою я вас знакомлю.

Проникнуться этою логикою не совсем легко, и для вашей практики в ней я расскажу вам другой случай, в котором она прилагается довольно просто.

Однажды зимою в начале 1840-х годов я сидел у окна, выходящего на улицу. На улице ничего любопытного, по обыкновению, — но все-таки приятно смотреть на улицу, — вдруг, что такое? — бегут несколько человек, сломя голову, — еще, еще, — десятки, сотни людей, — не на пожар, не [на] другое какое зрелище, нет, не тот бег, не любопытный и спокойный, а отчаянный, — бег от погони. Эта преследуемая незримой опасностью процессия была так велика, что все наши успели заметить ее, подошли к окнам, смотрели, дивились. Большинство бегущих были простые люди в полушубках, но много было и армяков, были и волчьи шубы, и благородные шинели, — процессия состояла исключительно из мужского пола, — были в ней и дети, так называемые мальчишки (потому что дети только благородные), но мальчишки только уже порядочных лет: десяти, двенадцати; были и старцы, убежденные седины, но старцы бойкие ногами, благословенно процветающие крепостью сил, и в небольшом числе, — а огромное большинство составляли пылкие юноши и люди в летах мужества, полного сил и гордого силами. Словом сказать, бегущие составляли отличнейшую часть физических сил саратовского населения. «А, это должно быть с кулачного боя погнались», стали замечать мои старшие по мере того, как подходили к окнам, — точно, никто из старших не ошибся, как все подумали одно, так все и угадали истину. Бой в ту зиму были на Волге, несколько пониже нашего дома. Бой был в полном разгаре, как на берегу явился полицейский с несколькими будочниками, — и сражающиеся ринулись бежать. Будочники погнались за ними; вероятно, кое-кого, у кого ноги были поплосше, успели и захватить; а может быть, и все спаслись, не случилось слышать.

Что тут особенного? — скажете вы: — так всегда бывает. И стоило ли это рассказывать?

Всегда, или почти всегда, и ничего особенного тут нет; но тем оно и важно, что ничего особенного тут нет. А рассказывать это стоило потому, что после такого рассказа вы обратите серьезное внимание на следующие мои дефиниции, а не отвергнете их с пренебрежением, как бессмыслицу. — Что такое волк и медведь? — спрашиваю я себя и отвечаю:

Так называемый волк есть обыкновенная овца; что же касается до медведей, то большинство их — телята, но некоторые — из породы козлов.

Так учит жизнь. Она странно, странно колеблет незыблемость всякого рассуждения о свойствах вещей. Вы видите кусок воска — я вам говорю: не ручайтесь, что это не кусок железа, что он не может вдруг оказаться крепким и острым перочинным ножичком. Вы видите камень — я вам говорю: не ручайтесь, что это не булка, очень вкусная и питательная.

Эх, говорю я хитро, непонятно.

Попробуем говорить проще. Бегущая кавалькада, виденная мною в древности, сильно припоминалась мне в средние века, когда я был уже философом, то-есть учеником философского класса в семинарии, ходил смотреть на кулачные бои, в которых подвизались и мои товарищи, некоторые друзья. Мне нельзя было и думать принять участие в битве: синяк на лице моем опечалил бы семейство, — я не вмешивался даже в любовные, дружеские кулачные бои в классе, — я так привык думать о себе, что мысль вмешаться в кулачный бой была так же чужда мне, когда я смотрел на него, как мысль быть муравьем, когда я, любясь на них, сиживал у муравейника, — да если б и пришло мне в мысль пойти в бой, мои приятели, небьющиеся и бьющиеся, не пустили бы меня, — итак, я стоял одним из тех немногих зрителей, которые смотрят на бой как на дело, которое никак не касается их, — но в какой экстаз все-таки постепенно приходил я! Это опьянение, это восторг! И сердце бьется, и кровь кипит, и сам чувствуешь, что твои глаза сверкают.

Это чистая битва, — но только самая горячая битва, когда дело идет в штыки или рубится кавалерия, — такое же одуряющее, упоющее действие. Бывали ль вы в порывах экстаза от чего-нибудь, — от пения, концерта, оперы, — я бывал и плакал от восторга, — но это все не то, все слабо перед впечатлением моим от кулачных боев.

Теперь, — действующий увлекается сильнее, чем зритель, — я полагаю, что это понятно; теперь: эти действующие, они не только увлечены опояющим действием, они — большинство их — и по всегдашнему темпераменту люди отважные, многие — бесстрашные, некоторые — герои в полном смысле слова. Итак, отважные, руководимые героями, разгоряченные до высочайшего экстаза — вдруг бегут, как зайцы, от нескольких завиденных вдали крикунов, которые не смели бы подойти близко и к одному из них, если б он хоть слегка нахмурил брови и сказал: назад! — не посмели бы, потому что он один сомнет их всех одним движением руки, как я смял бы пяток, десяток пятилетних ребятишек, — и сотни таких людей — бегут! — Что это такое? Это непостижимо для меня по правилам вашей логики, это объясняется только моею: дуб есть хилая липа, свинец есть пух, желтое есть синее, зеленое есть красное, белое есть черное.



Позвольте, еще два случая, в которых героем был уже я.

В первую половину моего детства на должности нашей дворовой собаки был Орешко, — разумеется, мой приятель, уже не молодой, потому солидный и при благородстве своего характера снисходительный к шалостям молодежи. Я ездил на нем верхом, много надоедал ему, он смотрел на это сквозь пальцы. Однажды, он лежал на одной из площадок лестницы, я сидел подле и шалил над ним, — у меня в руке было несколько листьев зори, — вы знаете эту пахучую траву? — Я, между прочим, давал ее нюхать ему, пихал ее в нос ему, — он воротил нос, — и все обходилось снисходительно с его стороны, — вы уже знаете развязку; ну, да, конечно: вдруг Орешко хамкнул с громким стуком зубов в полувершке от моего носа, — в эту секунду я чуть не умер со страха, — и опять Орешко спокойно лежит, положив голову на лапы, — когда я через секунду раскрыл глаза, чувствуя, что не проглочен им и даже не укушен, — и опять он, добрый, снисходительно смотрит на мои шалости.

Нет ничего особенного и в этом анекдоте? — Хорошо, другой. Тоже в первую половину моего детства, несколько лет жили у нас павлины, — иногда пара, иногда и много. В одно лето я возымел охоту гоняться за павлинами и упражнялся в этом неутомимо. Десятки раз я доводил павлина до того, что он плакал бы от моего надоедания, если бы птицы могли плакать. И вот, в двадцатый или пятидесятый раз я преследовал несчастного павлина, как вдруг он усиленно прыгнул вперед, взмахнув крыльями, обернулся, взмахнул крыльями, подскочил и клевнул меня в голову; я так и присел на месте. Как рукой сняло, перестал гоняться за ним.

— Да и во втором анекдоте нет ничего необыкновенного, — скажете вы. А разве я говорил, что второй анекдот будет необыкновеннее первого?

Теперь, однако, сообразите, что ж это такое? — ведь настоящий отдел моих воспоминаний занимается историею общественной жизни Саратова, как я знал ее в моем детстве, — и чем же наполнился? Есть некоторые страницы как будто путные, относящиеся к делу; на других — чорт знает что, все вместе — нескладница, какой свет не производил. Не скажу, что у меня сначала было намерение, чтобы вышло так, — не скажу и того; чтобы почти при самом начале не увидел, что выходит так, — не скажу, что если бы зрелое обдумывание да возможность следовать ему, то я почел бы именно такую манеру обработки предмета наилучшею для передачи вам сущности его, — но опять не скажу, чтобы, когда манера обработки стала выходить такая, то чтобы не показалось мне очень хорошо передающею сущность предмета.

Очень давно, не помню, в средних ли только веках моей личной истории, то-есть до третьего, четвертого месяца 1848 года, или еще в древности, то-есть до поступления в семинарию, мне стало думаться, что если арабский язык, как я прочел еще в детстве, превосходит все другие необычайным богатством терминов для обозначения

верблюда, — то русский точно так же превосходит все другие богатством выражений для обозначения бессмыслицы.

— Чепуха, вздор, дичь, галиматья, дребедень, ахинея, безалаберщина; ерунда, нескладница, бессмыслица, нелепица, гиль, ералаш, сумбур, кавардак, бестолковщина, чушь, белиберда —

продолжайте, немудрено дополнить до сотни, до двух, до трех сотен.

Быть может, моя гордость несравненным богатством родного языка по этой части — только патриотическое пристрастие, национальное предубеждение; как мыслитель, я даже убежден, что мое открывание в нем большего обилия, чем во всех других известных мне языках, зависит только от того, что я знаю его лучше других языков, — но как человек я не могу вырвать из моего сердца чувство, объявляемое за неосновательное пристрастие моим рассудком, и это чувство согревает меня, дает приятную теплоту и моей речи. — Однако ж неприлично было бы обманывать ожидание читателя, который имеет право требовать от меня отчета о впечатлениях, оставленных во мне гражданственною и всякою тому подобною стороною моей обстановки, когда я сказал в заглавии, что дам такой отчет. Почему ж и не дать?

Прежде всего надобно объяснить, что такое Саратов. Некоторые, — в том числе все учившиеся географии или хоть чему-нибудь, — полагают, что Саратов не более, как город, находящийся в русской империи. Это мнение не лишено некоторого основания, но все-таки оно до крайности неточно и ведет к совершенно ложному взгляду на предмет.

Что такое есть Европа? — Это пространство земли, занимаемое очень многими государствами, из которых некоторые сильны, другие слабы, но из которых каждое имеет свою особенную верховную власть, свои особые законы, свои особые нравы, понятия и пользуется независимостью. Слабые государства ищут покровительства сильных, сильные, когда захотят, заставляют слабые исполнять их требования, берут у них сколько могут взять, иногда покоряют их и проч. Просвещенному читателю известно, что такое Европа.

Саратов есть Европа в чрезвычайно увеличенном и усложненном размере. В мое детство число его жителей считали, — как случится, — от 30 до 50 тысяч человек. По этим цифрам надобно считать, что Саратов заключал в себе от 6 до 10 тысяч государств. Не подумайте, что я играю словами, — я прошу принимать термин «государство» в самом строгом буквальном смысле, со всеми дипломатическими, юридическими и т. д. чертами, лежащими в понятии государства.

Как в Европе, так и в Саратове образ правления государств был чрезвычайно разнообразен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии с парламентами, республики аристократические и демократические. Как и почему какое государство имело такой, а не иной образ правления, зависело от особенностей нации,

составлявшей государство, и других обстоятельств, определяющих форму правления и в Европе. Во всякой форме правления были, как и в Европе, примеры устройств, освященных временем, прочных, и, наоборот, недавних, борющихся за свое существование. Как в Европе, правительства, освященные давностью, считались со стороны всех других правительств свойственными каждое своему государству, и различие в формах правления несколько не мешало этому взаимному признанию натуральности, целесообразности и хорошего достоинства существующего устройства. Поясним.

Англия — конституционная монархия; Швейцария — республика; Китай — богдыханство; Кабул — военная орда. Формы правления совершенно различны; но каждое государство издавна пользуется своею формою, и все остальные считают ее натуральною для него, приличною для него. Англия не доказывает Швейцарии или Китаю, что они должны принять ее форму правления. Швейцария точно так же находит, что смешно думать об обращении Англии или Кабула к швейцарскому устройству.

Точно так было в Саратове. В некоторых государствах, безусловно, владычествовало одно лицо, — в иных церемониальным и чинным порядком, как в Китае, в других — экстренными мерами, ежеминутно изменяющимися по прихоти и не знающими никаких форм, как в Кабуле. Лицо это было — иногда старший летами из мужчин, иногда и не старший летами, но старший богатством или чем-нибудь другим, иногда и решительно ничем не старший, кроме как властью, а во всех других отношениях младший и меньший некоторых из своих подданных. Но часто абсолютная власть принадлежала и лицу женского пола, даже и при военной форме правления. Были конституционные монархии, всяких видов, были республики, всяких форм устройства. Все эти государства взаимно признавали друг за другом свои разнообразные формы правления, когда видели их прочность каждой на своем месте. Приведу примеры.

В нашем семействе, в мое раннее детство, было пять человек совершеннолетних членов: моя бабушка, две ее дочери и мужья дочерей. Жили все. Это была — чистейшая Швейцария, состоящая из пяти кантонов. Никто не присваивал себе никакой власти ни над кем из четырех остальных. Никто не спрашивался ни у кого из четырех остальных, когда не нуждался в их содействии и не хотел советоваться. Но [по] очень близкой связи интересов и чувств каждого со всеми остальными никто не делал ничего важного без совещания, — совершенно добровольного, — со всеми остальными. Ни революций, ни *coup d'état*, ни возмущений, ни узурпаторств не было; потому, видя прочность и безостановочное действие такой формы правления в этом государстве, все другие признавали ее свойственною ему и даже не подвергали ее критике с точки зрения своего устройства, как англичанин не рассуждает о швейцарском устройстве, что оно нехорошо для Швейцарии потому, что в нем [нет] палаты лордов и других английских принадлежностей.

Так. Берем другое государство. Оно состояло из двух лиц, мужа и жены. Мужа звали Иван Родионович, — я называю его имя потому, что оно почти никому неизвестно, а имени жены не назову потому, что оно известно, а я пишу с ученою целью и потому избегаю всяких личностей; по этой же причине я умолчу и фамилию четы. Государство имело форму правления, среднюю между китайскою и старинною алжирскою, с примесью чисто идиотского элемента и сумасшедшего элемента. Муж был человек любивший есть, — жена (богатая) морила его голодом (как и себя). Муж не мог без вреда себе есть постной пищи, — жена кормила его ею, и он бывал нездоров; она ссылала его в изгнание; она возвращала его вновь на исправление мальчишеских обязанностей при ней, — не лакейских, этого мало, нет, какие исправляются так называемыми «казаками» — порядочные люди у нас в Саратове не заставляли взрослых слуг находиться при них по долгим часам в ожидании повелений «подай платок», «поправь ковер», — взрослых слуг звали, когда встретятся надобности исполнить такое повеление, и позволяли им опять уходить по его исполнению. Да что описывать, форма известна: женщина гадкого характера без толку мучит мужа и помыкает им.

Но слушайте, к чему ж я описываю это государство, форма правления в котором не составляет особенной редкости. Чета сочеталась не в молодых летах; стало быть, покорность мужа не могла произойти из влюбленности; да эта женщина и в молодости, конечно, не была хороша собою; она не имела ни ума, ни хитрости, ни силы характера. На чем же основывалась ее власть? Чета была богата; жена была старинной помещицей фамилии, имела большое поместье. Муж не был помещик. Для меня было ясно: бедный человек женился на богатой, и натурально ему быть лакеем жены, у которой он на содержании. В таком убеждении я оставался все свое детство, и уже когда потом был в Саратове учителем, то случайно услышал, что богатство-то принадлежало мужу; он даже и выкупил поместье жены, которая перед свадьбою была по уши в долгу. — Эта черта показывает вам, как мало слышал я в детстве о внутренних делах описываемого мною государства. А между тем о нем говорили очень много, — но исключительно только о войнах и других иностранных делах его правителя. Нация — то-есть муж — не возмущалась, Нерон — то-есть жена — сидел в своем деспотизме прочно. Поэтому никто не говорил, что глупо неглупому человеку быть лакеем скверной рожей и душой бабы, когда он человек с состоянием.

Из этого видно, что отношения между саратовскими государствами были чисто международные отношения. Все прочные правительства занимались только иностранною политикою друг друга, а внутренних дел и форм правления не дискутировали. — Но точно так, как и в Европе, когда правительство какого-нибудь [государства] было непрочное, когда нация искала помощи у заграничных держав против своего правительства, — тогда, по необходимости,

начиналась дискуссия, и, точно так же, как в Европе, иностранцы осуждали правительство, не умеющее быть прочным, — совершенно так, как Европа рассуждала о Бурбонах, когда они упали, о Луи Филиппе, когда он упал, и проч. И совершенно так же, как в Европе, в Саратове общественное мнение накидывалось главным образом не на принципы государственного устройства, а на частные личные недостатки и ошибки правителя.

Я ввел читателя в предмет с этой стороны, с формы правления, потому что с этой стороны легче всего взойти на надлежащую точку зрения на Саратов, то-есть на собрание множества независимых государств. Но гораздо важнее другие стороны предмета, которые теперь легче будет увидеть так, как следует.

Имея независимое правительство, каждое государство имеет и свои особенные законы. В Англии вешают, во Франции рубят головы, — разница; в Англии солдат набирают вербовкою и секут (ныне уж очень мало); во Франции набирают солдат конскрипциею, но вовсе не секут; многие английские преступления вовсе не преступления по французским законам, законы о наследстве и множество других важных частей гражданского права в этих двух государствах различны. — Точно так же разнообразны были законы саратовских государств. Возьмем в пример законы о наследстве. В одном государстве наследовали поровну все дети, как во Франции; в других — один старший сын, как в Англии; в третьих — один младший сын, как в древности у некоторых славянских племен; в четвертых наследство оста[ва]лось в общем нераздельном владении у всех сыновей, как у других славянских племен; в пятых наследовали одни дочери, а сыновья исключались из наследования, как было у амазонок. Возьмем другой пример, законы о браке. В большей части государств саратовских, как и европейских, господствовало единоженство; но как в Европе есть исключение — Турция, — так были исключения и в Саратове. Были государства, — я говорю о русской части Саратова, татарской части населения я совершенно не касаюсь в этом очерке, во-первых, потому, что я не имел с нею сношений в детстве, во-вторых, потому, что мусульманский мир более известен, чем русская система саратовских государств, до сих пор остававшаяся совершенно непонятною как для отечественных, так и для иноземных историков и географов. Итак, в Саратове было несколько русских государств, имевших многоженство. Все знали, что у такого-то господина жива прежняя жена, а он законно повенчан с другою женщиною. В противоположность этому, были в других государствах законы, которых нет теперь ни в одном из государств всех пяти частей света, но которые, по свидетельству Юлия Цезаря, существовали у британцев его времени: одна жена имела несколько мужей. Все знали, что у известной госпожи жив первый муж, а она законно повенчалась с другим. Как судили об этих законах? Точно так же, [как] в Европе люди разных государств о чужих законах, — с международной точки зрения. Если государство процветает, то законы его хороши

для него, хотя и различны от законов, которые считает хорошими для себя нация другого государства, рассуждающая об этих иностранцах. Но если государство плохо, то бывали строги в суждениях о всяком различии его законов от своих. — Нечего и говорить о том, что совершенно различны были в разных государствах законы о состояниях: в некоторых саратовских государствах существовало крепостное право, в других нет; из государств, в которых все были лично свободны, некоторые государства признавали неравенство политических прав между своими гражданами, — в них были или два сословия, как в древнем Риме, патриции и плебеи, или три сословия, как [в] Риме последних времен республики (патриции, всадники, плебеи) и нынешней Англии (nobility, gentry, people), или четыре, как в Швеции (аристократия, духовенство, горожане, простой сельский народ), и было кроме всех подобных, известных в обыкновенной истории сословий множество других, что и неудивительно, потому что во всей обыкновенной всемирной истории не наберется столько различных государств и законодательств, сколько было в мое время в саратовской системе государств, заключавшей, как я сказал, от 6 до 10 тысяч правительств с особыми законами у каждого. Приведу некоторые примеры для засвидетельствования указанного мною превосходства саратовской системы государств над всею не только нынешнею землею, но и всею всемирною историею по обилию разнообразных законодательств о сословиях.

В нашем государстве, имевшем, как я сказал, пять человек полноправных граждан (почти столько же, сколько имела Спарта во времена попыток реформ Агиса), были следующие сословия: 1) помещики, — сословие, соответствующее потомственному дворянству русского законодательства, — мой дядюшка и по нем моя тетушка; 2) духовенство — моя бабушка, мои батюшка и матушка; 3) домовладельцы — мои бабушка и матушка; 4) лица, не имеющие недвижимой собственности в своей резиденции — батюшка, тетушка и дядюшка; 5) сословие, получающее доход, — мои бабушка, матушка и тетушка; 6) сословие, отдающее все свои деньги лицам сословия, получающего доход, и не имеющее никакой движимой собственности кроме платья, — мои батюшка и дядюшка; 7) — но довольно, довольно и этого перечня, составляющего только начало перечня сословий нашего государства, чтобы видеть, во-первых, чрезвычайную многосложность сословного состава, признаваемого его законодательством, и, во-вторых, его совершенную оригинальность, потому что во всей обыкновенной всеобщей истории от начала мира до наших времен нет примера такого сословного законодательства. Читатель уже видит, что в нашем государстве были лица, которые, имея право владения и действительно владея поместьями на правах, одинаковых с правами, какие признавались тогдашним русским законодательством, в то же время были лишены права иметь доход, обязаны были отдавать в дань все получаемое ими и лишены были права иметь какую бы то ни было движимую собственность, кроме

платья, — такое лицо был мой дядюшка. Или: были лица духовного звания, подлежавшие тем же самым даням и ограничениям, — такое лицо был мой батюшка. Эти юридические положения, смею надеяться, беспримерны во всеобщей истории всего остального человечества. Но в саратовской системе государств было, кроме нашего, и несколько, — вероятно, довольно много, — государств, имевших подобные сословия. Подобные, говорю я, — и конечно, только подобные, а не совершенно такие, потому что при многосложности сословной части законодательств были всегда оттенки разности между двумя подобными сословиями двух государств.

Я хотел привести несколько примеров, но раздумал. Довольно будет и одного, если я успею убедить вас взглянуть на дело с моей точки зрения, — вы сами легко наберете сотни и сотни примеров на каждое мое слово; да пожалуй и не нужно будет полбировать: дело так известно всякому, что удобно можно заниматься общими соображениями о нем, как прямо говорим: зимою в Саратове или в Казани, или в Вологде бывает много снега, — нечего описывать подробности, что такое зима, что такое снег, это явления слишком известные. Поэтому я не стану подробно доказывать и чрезвычайного разнообразия в обычаях и нравах разных наций саратовской системы государств: полагаю, что мой читатель не будет сомневаться в следующих выводах: по обычаям, различные саратовские нации представляли все степени и переходы и оттенки от наций, опрятностью подобных голландцам, до наций, стоявших на такой же степени неряшества, как эскимосы; от наций, сохранявших однажды сделанные привычки с постоянством, превосходящим английское, до других, у которых несравненно больше пятниц на одной неделе, чем бывает у французов по мнению людей, считающих французов ветренейшим и расположеннейшим к лживизне из всех народов; от наций, равнявшихся простотою жизни и мыслей американским краснокожим, до наций, которые равнялись изысканностью обычаев древним сибаритам, и т. д., и т. д. — По отношению к нравам были также все степени и оттенки, от суровости, правдивости, приписываемой Ксенофонтом древним персам во времена Кира, до неимоверной лживости, приписываемой Маколеем новым гиндусам; были нации, пьянствовавшие несравненно больше англичан не только нынешних, но и XVII века; были нации, не употреблявшие и в мужском своем поле никаких хмельных напитков; нации, развратничавшие более древних вавилонян и вавилонянок, описываемых Геродотом, и нации, равнявшиеся чистотою добродетели древним римлянам, у которых будто бы более 500 лет не было ни одного примера измены супружеским обязанностям, по словам чуть ли не Тита Ливия; были нации...

Но довольно, довольно. Не в том дело, что я не уверен в том, достаточно ли ясно вы можете представить себе разнообразие нравов, обычаев, законодательств и правлений в саратовской системе государств, — это вы можете представить себе удовлетворительно, я знаю; дело в том, что отношения между этими разнообразиями

были чисто международные, что это были разные государства с разными народами, бесчисленные государства с бесчисленными народами.

Представьте же себе теперь, что вас попросили припомнить все, что помните из всеобщей истории, и все, что вы помните из всяких географий, этнографий, путешествий, — и спросили: теперь, вспоминая все это, скажи мне, какое ж мнение ты имеешь о понятиях, нравах, обычаях людей, понятия, обычаи, нравы которых пронеслись в твоей памяти? — Что вы можете сказать? Да вам вспомнился и Леонид в Термопилах, и Наполеон на Эльбе, и пиры Лукулла, и парфы, побеждающие неприятеля бегством от него, и фокусник, идущий по канату через Ниагарский водопад, и бедуин, питающийся одною горстью фиников в сутки, и парижанин, сидящий в театре, и все на свете, — вы ничего не можете сказать о всех них вместе, — вы говорите: вопрос нелеп, надобно говорить о сотнях разных сотни разных мнений.

Так. Само собою, что я скажу о саратовской системе государств: нельзя сказать ничего общего об убеждениях и жизни бесчисленных ее наций; но это само собою, а теперь я веду речь еще к другому. Вообразите себе тысячу следующего ряда: англичанин, итальянец, древний скиф, средневековый барон, готтентот, кардинал Ришелье, персиянин, испанец, вор, Петр Пустынник...

И так далее, пока наберется несколько сот, — вообразите, что они живут вместе, каждый по-своему, рассуждают каждый по-своему, — и вы выросли в этом обществе, — какие убеждения давала вам ваша обстановка?

Я вам скажу, какие:

Будь честен; пьянствуй; будь добр; воруй; люди все подлецы; будь справедлив; все на свете продажно; молись богу; не пей вина; бога нет; будь трудолюбив; бей всех по зубам; кланяйся всем; от ученья один вред; бездельничай; от науки все полезное для людей; законы надобно уважать; плутуй; люби людей; дуракам счастье; смелому удача; говори всегда правду; без ума плохо жить; будь тише воды, ниже травы; закон никогда не исполняется; закон всегда исполняется; будь —

неизвестно что, или что хотите, все на свете.

Я говорю, что все люди моего времени выросли среди обстановки, внушавшей такие убеждения. Да какие? — Всякие, — то-есть по всякому умственному, нравственному, житейскому вопросу: да, и нет, и все степени среднего между да и нет.

Эта путаница невообразимая, неудобомыслимая, — это как то, если бы в одно время слышали крики сумасшедших, чтение умной лекции, пение Марио, лаianie собаки и все другие речи и звуки, могущие раздаваться на земном шаре. Ахинея.

Нет, не ахинея, а только хаос. Из него выйдет порядок, в нем есть все силы, которыми создается порядок, они уже действуют, но они еще слишком недавно действуют; в нем есть все, все элементы, из которых развернется прекрасная и добрая жизнь, —



потому что ведь это все-таки же несомненно люди, у них есть глаза и руки, у них есть головы и сердца, — так, — что ж тут сомнительного, что они не обезьяны, — у обезьян совсем не тот вид.

Но если нельзя сомневаться, что этот хаос придет в стройность, что из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу, то теперь в целом еще нет ее. Все еще только кусочки, клочочки, перепутанные со всякою дрянью. И если не только нельзя сомневаться, что они очистятся и склеятся, если можно даже разобрать, что отбросится и что останется по очистке, и как это чистое построится в стройное целое, — ведь это можно разобрать, — то нужно же разбирать, — а чтобы разбирать, для этого нужны же силы и опытность не ребенка. Для ребенка это хаос, хаос одурачивающий, сбивающий с толку, — дающий материалы, чтобы потом, после, вникнуть в толк, — но в детстве человека сбивающий человека с толку.

И думаю ли я, что это была особенная моя участь или хотя особенная участь моих соотечественников моего времени, или моих соотечественников всех времен, — или всех людей всех наций моего времени, — что это была их особенная участь? — Нет, я не вижу в этом ничего особенного: все люди всех племен с той поры, как начиналась в каждом племени историческая жизнь, появлялись хотя первейшие, слабейшие начатки превращения из совершенных дикарей хотя в варваров, — все люди вырастали в хаосе, сбивающем с толку.

Но сущность хаоса именно то, что в нем все непоследовательно, все зависит от случайности места, на котором привелось [быть] известной группе атомов, — и случайность, гибельная или безразличная для огромного большинства, бывает также случайно для некоторых такого, что дает им случай понять когда-нибудь то, что это такое этот хаос, к чему он влечется, что из него выйдет.

Попал ли я в число таких случайных счастливых? — Я полагаю. Если так, то постепенно и будет разъясняться моими воспоминаниями хаос, часть которого произвела их. Но ведь это должно и в рассказе отразиться так же, как шло в жизни, — а теперь пока я говорю о своем детстве, и рассказ о нем был бы неверен его характеру, если бы не начинался не с калейдоскопическим характером.

#### IV

Горы огибают Волгу полукругом, имеющим верст 20 по берегу в длину, верст 5, 6 в глубину по своей середине. Саратов лежит в этом амфитеатре на предгорьи северной стороны; местность живописна. Соколова гора, — как называется та часть стены амфитеатра, к которой прилегает Саратов, — видна со всех улиц города. Она подходит полною своею высотой к самому берегу реки, — отвесным обрывом, — это так обрезал ее напор течения в разлив реки, когда вода поднимается на несколько сажен по этому обрыву. Когда вода спадает, остается между обрывом и водою узкая,

но довольно полагая полоса побережья. Противоположный конец амфитеатра синее далеко мысом, врезающимся в Волгу, — действительно ли это мыс, огибаемый рекою, я не знаю, я не был дальше подошвы этой стороны амфитеатра; но из Саратова он кажется мысом, далеко врезающимся в реку.

Амфитеатр гор прекрасен. На 25, 30 или больше верстах полукруга горы множество лощин, буераков, — и диких, и светлых, веселых, — иные из них прелестны. Мне помнится, например, Баранников буерак; в каком месте гор он, я не знаю, я ездил туда, когда мне было лет 6, 7, 8 — меня брал с собою мой батюшка. Там был раскольниковый скит; к скиту присоединились какие-то мошеники, чуть ли не делатели фальшивой монеты; их открыли, перехватили или рассеяли, а старики, человек десяток, стали подозрительны. Кроме светской полиции, за ними должно было наблюдать теперь и духовное начальство; батюшка, — как благочинный, — должен был доносить, как живут старики, и по временам ездая взглянуть на это. Из разговоров, бывших там, у меня осталось в памяти только последнее мое посещение. Старик почтенного вида, в старинной полумещанской одежде, вышел из кельи, услышав, что кто-то едет, и с час гулял с батюшкою по тропинкам оврага, хвалясь своими пчелами, чем-то вроде нескольких яблонь или вишневых деревьев; толковали о сельских работах, — оба собеседника были опытные пахари, — я слушал с удовольствием и проникся таким уважением к старику, что когда мы подошли к ручью и я, увидев ковш, вздумал кстати напиться, то, поднося воду к губам, как-то инстинктивно перекрестился, — у меня не было тогда обычая перекреститься перед тем, как пить, но мне почувствовалось, что теперь надобно перекреститься, что иначе старик осудит. Старик был прост и разговорчив и, кажется, был рад гостю, с которым можно поболтать о сельском быте. — Я теперь только начинаю любить природу, — в себе я считаю это признаком пожилых лет, — в молодости я не был охотником любоваться ею, а в детстве и тем меньше. Но Баранников буерак даже тогда казался мне живописен и хорош.

В очень многих лощинах и ущельях гор — сады; и по предгорью внутри амфитеатра много садов, — быть может, до 150, до 200 в этом полукруге. В мое детство была молва, что садами умели и любили заниматься старики, что у нынешних владельцев мало этой охоты; если действительно было такое время ослабления любви к садам, [то] теперь оно уже прошло. Теперь опять много людей, с любовью занимающихся своими садами.

Верстах в 3, 4 от берега Соколова гора спускается в глубину амфитеатра довольно отлого; весенняя вода с северного края амфитеатра, нашедши небольшой перегиб в отлогости спуска, обратила его в глубокий овраг; этот овраг и отделяет предгорье, принадлежащее настоящему городу, от горы. Вдоль оврага подъем от берега в глубину амфитеатра ровный, пологий; но подалее к югу предгорье падает к берегу террасою; между террасою и берегом весенней воды

идет полоса с полверсты шириною. Эта прибрежная полоса, крутой спуск террасы, вся терраса занята городом; еще дальше вниз по Волге, к югу, терраса опять незаметно переходит в дно амфитеатра, — зато само дно поднимается довольно высоким берегом, — и это все застроено, отчасти уж на моих глазах; еще дальше начинаются поемные луга, с небольшими озерами или большими плоскими блюдечками воды, остающимися от разлива. Но до этих мест еще несколько верст от нынешнего конца города.

Город тянется от Соколовского оврага по берегу версты на три, на четыре; в глубину амфитеатра от берега версты на две, на три и больше. Где-то в верховье Соколовского оврага — татарская слобода. По склону Соколовой горы, по соседству берега, много места вверх на гору занято предместьем.

Вдоль берега, версты две с половиною от мест, соседних с Соколовским оврагом, до другого, Ильинского оврага идет почти совершенно прямая улица. На плане, бывшем у моего батюшки, она называется Царицынскою. Почти на половине длины этой улицы стоит наша церковь, Сергиевская, и от нее средняя часть улицы всегда, а большей частью и вся улица называлась в мое время Сергиевскою. На этой улице, в нескольких десятках сажен от нашей церкви, книзу по течению Волги, стоит наш дом.

С другой стороны церкви, церковь выходит своею оградой на площадь, которая вся ниже к берегу от Сергиевской улицы. Тут пространство между Сергиевскою улицею и берегом так велико, что с нижнего конца площади идет к Соколовскому оврагу другая улица, с версту длиной, параллельная Сергиевской — Покровская. •

Покровская улица другим концом выходит на площадь Старого собора. С площади Старого собора, параллельно оврагу, идет в глубину амфитеатра Московская улица. Сергиевская улица кончается, пересекаясь нижним концом ее. На Покровской улице жили наши родные; между площадью Старого собора и концом Сергиевской улицы стоит Гостиный двор; потому эти две улицы были мне, ребенку, свои, знакомые, чуть не ежедневные.

Мимо нашего дома, от Волги в гору, идет улица на площадь Нового собора, где архиерейский дом; а часть архиерейского дома отделена особым двором, на котором стоит консистория, куда я в первую пору детства беспрестанно ездил за моим батюшкою: скорее уйдет из присутствия, когда сын тут ждет и надоедает — зовет — по этому соображению и поощрялись моею матушкою мои поездки в консисторию. Немножко в сторону от Соборной площади, по направлению к Соколовой горе, жили наши родственники. Потому местность между Новым собором и нашим домом тоже была мне своя, ежедневная, знакомая.

Да еще тоже знакомый, ежедневный в теплое полугодие, был берег Волги, на три версты от Соколовского (Казанского, как зовут его в нижней его части, по Казанской церкви, стоящей подле него) оврага и до местности на версту ниже нашего места берега.

Что берег играл важную роль в жизни ребенка, это разумеется;

но и вид Волги, хоть я не любил любоваться ею, был тоже родной,— роднее всего, кроме своего двора, моему детству. Окна дома, в котором жили мы, выходили [на] Волгу. Все она и она перед глазами, — и не любишь, а полюбишь. Славная река, что говорить.

Вот местности главного знакомства моего: Волга, берег, две улицы, идущие по берегу, две-три улицы подле нашего дома, идущие наперерез Сергиевской в гору, да небольшой уголок подле площади Нового собора. Остальной [город] отчасти был мало знаком, а большая половина его и вовсе незнакома моему детству.

Уж видно из этого, что, кроме родных, наше семейство мало у кого бывало. Кроме родных, да семейств и лиц, живших на нашем дворе, да семейств, живших на соседних дворах, да людей, которых я видывал бывающими у моего батюшки по должностным его отношениям, я в детстве видывал не очень многих близко к своему носу. А кого я не видел в двух, трех шагах, того и не видел в лицо, хоть видел его в общем составе его одеяния, потому что с той самой поры, как помню себя, я помню себя таким же близоруким, как теперь.

Но все-таки набирается много лиц, которые имели так или иначе влияние на мою детскую жизнь или оставили своими особенностями, приключениями или рассказами не совсем неважные мысли во мне, ребенке.

Одно из самых первых моих воспоминаний о самом себе — у меня в руках рюмка, и я пью за здоровье своего приятеля. — Я уже говорил, что мое рождение дорого обошлось моей матушке: она сделалась страдальцею, — и была ею десять лет, пока, наконец, много поправилось ее здоровье благодаря доброму Ивану Яковлевичу. Поэтому постоянными нашими гостями были медики. Многие из них были в дружеских отношениях с нами. Первый, которого я помню — Грацианский, уже немолодой мужчина, с грубоватым румянцем на лице, — вероятно, он был рябой, этот грубый оттенок очень часто бывает на рябых лицах. Он уехал куда-то из Саратова, — и вероятно, я был еще очень мал, когда он уехал, — так что даже не помню его имени и отчества, — он продолжал переписываться с батюшкою и вот уже только по этим позднейшим разговорам я помню его фамилию. — Итак, когда он еще жил в Саратове и лечил мою матушку, случилось и мне чем-то занемочь, неважным чем-то, потому что я помню себя лечащимся, не укладываясь в постель. Лекарство прописал Грацианский. Принесли лекарство, я отведал: не хочу пить; уговаривали, упрашивали, подкупали, — не хочу. Что делать с парнем? — «Для нас выпей, за наше здоровье», говорили мои старшие. — «Не стану». — «Так выпей по крайней мере за здоровье Грацианского — ведь он тебе это прописал, — так за него». — «Ну, за его здоровье выпью». — Так и шло все это лечение: я каждый раз пил микстуру не иначе, как за здоровье Грацианского.

Это занимательно для меня вот почему: видно, что я любил Грацианского: даже помню, что точно, любил; но, разумеется, ведь

я любил его гораздо же меньше, чем своих, матушку, батюшку, двоюродную сестру. Почему ж я мог отказываться пить за их здоровье, а пить за здоровье Грацианского не мог отказаться? Ясно: относительно чужого человека непростительна такая неучтивость, которую не примут в дурную сторону свои близкие. — Ведь это мотив, кажется, совершенно принадлежащий взрослому человеку; а между тем я был еще в той поре детства, из которой имена не удерживаются в памяти. Когда мне говорили: «ну, вот, готово, налито, — пей же за него», — его называли не фамилией, а именем и отчеством, и я, произнося тост, произносил имя и отчество, — но какие они были, я не помню, сколько ж мне было лет? Вероятно 5, если не меньше. А уж имел тонкие мотивы соображений. А между тем я не был ребенком чрезвычайно быстрого развития, — нисколько.

Дальше, я помню другого медика, Култукова. Он был у нас недолгим знакомым, жил в Саратове только каким-то промежутком между службою в действующих войсках и скоро уехал на Кавказ. Наши очень жалели потом, услышав об его смерти, — они тоже переписывались по его отъезде, и он просил там своих товарищей написать нашим об его смерти. И запомнился он мне тоже по мрачному рассказу. Говорили о его походной жизни, ее тревогах. Он стал рассказывать об опасностях, которых избегал, — например, в турецкую войну часть войска, при которой он был, была отправлена на кораблях сделать какую-то высадку. Приплыли, сели в шлюпки, поплыли к берегу на веслах. На берегу были турецкие батареи. Ядро ударило в шлюпку, и когда очнулся Култуков, он очнулся сидящим на дне. Рванулся встать — нельзя. Сидит на дне и не может встать. Пока он еще владел мыслями, он ничего [не мог] сделать, — но мысли уже стали туманиться, он чувствовал, что уже не в силах не дохнуть и не захлебнуться, — судорожно метнулся, — и поплыл вверх, и благополучно приплыл к берегу, бывшему в нескольких десятках шагов и уже занятому нашими. Тут он понял, какое обстоятельство держало его на дне. Он был в шинели. В шлюпке лежало множество ружей; когда он пошел ко дну, шинель распахнулась, ружья навалились на развернувшиеся полы. Судорожное движение разорвало застежки воротника шинели, и он выплыл из савана. Это будто из Монте-Кристо; но это странный случай, не больше; а вот собственно то, что произвело на меня впечатление. Некоторые, — главные, — слова Култукова так и врезались целиком в мою память.

Это было в турецкую или в персидскую войну, не знаю. Култуков был в каком-то отряде, которому случилось иметь несколько очень утомительных дней похода, стычек, погонь за неприятелем. В неприятельской стороне была кое в каких местностях чума, как слышали наши. В таких обстоятельствах и медикам было очень тяжело, чуть ли не утомительнее, чем воюющим: беспрестанно приносят раненых, приводят пленных, которых надобно осматривать, не зачумлены ли они. Медиков было четверо. Дежурили поодиноч-

ке, но и не в дежурные часы почти не имели отдыха. После нескольких суток без сна был на дежурстве Култуков; голова ломила, горела, глаза слипались, — почти как в бреду был человек. Привели пленного. «Хорош, не опасен», сказал Култуков. Через несколько часов в отряде явилась чума. Пленный уж чуть ли и не умер. Кто пропустил его? — «Я. Судите». Суд. Все ясно: расстрелять. — «Правда. Я сам говорю: надобно расстрелять меня». Поблагодарил судей — сослуживцев, просил простить его в душе за то, что сделал всем такую ужасную беду. Я был спокоен, говорил он: дело решенное, что тут думать. Сидел, отчасти скучая, в ожидании смерти. Но вот, уж и недолго остается скучать: через два часа, — через полтора часа, — через час позовут расстреливать, — вот и идут за ним. — «Пожалуйте к своей должности. Приговор отменен». — «Что такое? Как можно, отменен? Нельзя». — «Расстрелять уж нельзя: вы одни остались». В эти часы, между приговором и исполнением приговора, все трое остальные уже заразились чумою, все умерли или уже сказали про себя, что умрут. Нельзя было оставить отряд без медика, и командующий генерал отменил приговор, когда последний из трех остальных медиков прислал сказать, что умирает. «Итак, моя жизнь была спасена тем, что все мои товарищи были погублены мною. Что ж это такое, Евгения Егоровна? Где же справедливость, Гавриил Иванович?»

Да, что отвечать на такие вопросы? «Да», произнесли один за другим и матушка, и батюшка, и сам рассказчик. И семи или восьмилетнему ребенку тоже было понятно: «Что ж это такое? Где же справедливость? Да».

Как теперь вижу сидящего вечером в тогдашней нашей гостиной на кресле этого смуглого, черноволосого, курчавого, еще молодого человека, просто и честно говорящего о судьбе, которая спасла его от смерти: «Что ж это? Где же справедливость?»

Но дольше всех медиков был нашим приятелем г. Балинский, наш сосед по домам, поляк и католик. В последние года полтора перед его отъездом из Саратова в деревеньку, которую он купил, уж несомненно было, что мой батюшка — самый главный его приятель: г. Балинский, приготовляясь к удалению на отдых, стал прекращать свою практику, времени у него стало довольно, и в последние месяцы, когда его семейство уж уехало, он проводил большую часть своих вечеров у нас.

Кстати, об этом предмете. В 1840 или 1841 году пришел к нам какой-то господин странного и бедного вида, средних лет, и спросил батюшку. Батюшка вышел. — «Что вам угодно?» — Вошедший молча подал бумагу. — Батюшка взглянул на бумагу, — «пожалуйте, вот, в мою комнату». — Через несколько времени привел посетителя в гостиную, где сидели матушка и бабушка, и отрекомендовал и познакомил с ними, как Наума Фаддеевича Носовича (в фамилии-то я не ошибаюсь, в имени или отчестве, быть может, только Фаддей уже наверное было, в имени или отчестве). Начались расспросы, рассказы, я тоже тут вертелся и слушал. После того на-

чались заботы, какие дозволялись средствами бабушки и матушки,—изготовились, между прочим, сверточек с чаем, другой, несколько побольше, с сахаром,—еще побольше с одною или двумя переменами белья,—Наум Фаддеевич уж и целовался со всеми, когда уходил, и до конца жизни остался нашим приятелем; но в помощи наших скоро,—так через полгода, что ли,—перестал нуждаться.

Я, в первое время знакомства, два раза начинал сильно доказывать Науму Фаддеевичу его ошибку. Я тогда уже много читал,—иные сотни страниц по многу раз,—огромный латинский курс Феофана Прокоповича,—как я жалел, что из 18 книг, предназначенных по плану курса, обработано и напечатано было только 12,—у Феофана Прокоповича трактат о filioque был превосходен,—аргументов было бесчисленное множество: из одного Адама Церникава триста цитат, и то лишь «важнейшие». Я представил Науму Фаддеевичу некоторые доводы. Он оба раза слушал меня ласково, но отвечал неохотно, и диспутировать с недиспутирующим было неудобно,—я бросил невыходивший спор и порешил на том, что Наум Фаддеевич человек неученый, и какие же диспуты заводить с ним?—Потому что у меня не было никакой другой мысли, кроме желания диспутировать.

Но вот что занимательно: как же это я, парень уж лет 13, не только сам не сообразил, что в положении Наума Фаддеевича неловко, не деликатно заводить с ним подобные диспуты,—не только сам не сообразил этого, а даже не догадался вывести этого из того, как держат себя с ним мои старшие,—ведь мой батюшка не хуже меня знает тему filioque, что ж он не спорит о ней с ним? Скажете: ребенок, где ж понять? А в 5 лет понимал, что деликатность требует пить за здоровье Грацианского. Тут дело было проще, не деликатность гораздо виднее. Из этого я хочу вывести вот что: если видишь, что ребенок не сообразил чего-нибудь, то еще не следует прямо заключать: «где ж понять это ребенку»,—очень может быть, что это чисто случайная вещь, не пришлось ему вздумать этого, и только,—ошибка с его стороны, опрометчивость, такая же, какая беспрестанно случается и с взрослыми, а не следствие его детских лет. Я, например, конечно, очень в силах был сообразить, что сделал ошибку своими пробами диспута.

Носович был присланный на житье в Саратов униатский священник, не захотевший подписать согласие на отделение от папы. Это дело он рассказывал подробно,—что это было, как это делалось и как потом он провел время между своим отъездом из бывшего своего прихода и своим прибытием в Саратов.

Он был человек скромный, правдивый, ни в красноречие, ни в увлечение не вдавался,—каждое слово его рассказа так и дышало полнотою верности истине. Но я не скажу, что мои старшие поверили его рассказу, как рассказу правдивого человека,—характер принятия ими его рассказа был совершенно другой: его слушали, как бы он рассказывал, что вчера было сначала утро, потом

полдень, потом вечер, — что в прошлую зиму и в Пензе, и в Тамбове топили печь, ездили на санях, что в прошлую весну мужики в Симбирской губернии пахали, — его рассказ принимали так, что на лицах было написано: «Ну, конечно, иначе и быть не могло, — само [собою] иначе и предположить нельзя».

Странная вещь. Я не знаю, какие люди пишут, например, историю? и какие люди могут верить той истории, какую те пишут. — Я не встречал людей, способных писать историю, как она пишется, или верить ей в таком виде, как она пишется. У всех людей в здравом уме, которых я встречал, — и тоже у меня самого, — решительно у всех есть какой-нибудь рассудок, — сильный, слабый, твердый, хилый, но все же есть; есть — большая, малая, какая случится, но все же какая-нибудь — житейская опытность. Наблюдая других, наблюдая себя, я замечаю, что все мы сколько-нибудь — много, мало, но все же сколько-нибудь — руководимся здравым смыслом, умеем отличать сказки от несказочного. При этих условиях я нахожу совершенно невозможным, чтобы кто-нибудь писал историю, как она пишется, или верил такой истории. Ведь мы же понимаем все, что Илиада, Нибелунги, романсы о Сиде, наши песни о Владимире, — что все это прекрасно, как произведения поэзии, но что [это] не ученые исторические трактаты.

И с другой стороны, я вижу, что все читают историю и верят ей, вижу, что сам принадлежу к числу этих людей, вижу, что люди, похожие на обыкновенных людей в здравом уме, пишут историю, и сам пописывал статьи исторического содержания, будучи в полном уме. Странно.

Я смущаюсь тут вот в чем. Все мы знаем, как идет жизнь, — рассуждаем обо всем, как умеем, на этом основании: мужик, например, по нашему рассуждению, пашет землю, чтоб родился хлеб, который насыщает голод, купец торгует, чтобы получать тоже прибыль, и т. д. — Как беремся за историю, пошло совсем другое: такая небылица в лицах, что ни пером написать, ни умом разгадать, только в сказке сказать. А пишут пером и разгадывают умом. — Вы видите перед [собою] не жизнь, какую вы знаете, а сцену итальянской оперы, где ходят так величественно, жестикулируют так благовидно, даже шутят и шалят так возвышенно и грациозно, и все поют, все поют так отлично искусно, и даже не сморкаются, не чихают — никогда. И вы верите, что это было так. Что вы делаете (то-есть и я в вашем числе), — можно понять забвение действительной жизни, когда вы смотрите и слушаете итальянскую оперу, читаете идеализирующую поэму, экзальтированный роман, — там с начала до конца выдержан свой тон, — вы поднимаетесь на воздушном шаре, несетесь так легко, — нет на вашей дороге ни ухабов, ни неровностей мостовой, ни подпрыгиванья вагона по рельсам, ни подергивания парохода от ударов машины, — так плавно, и самые порывы плавны, — так гладко и однородно. Легко замечаться, забыть всякие стуки и толчки. Но в истории нет вам (и мне в вашем числе) и этого извинения, — это дикая,



дикая смесь фантастического с действительным, — это то, как если бы на сцену итальянской [оперы] ежеминутно выскакивали обыкновенные смертные в халатах и пеньюарах, армяках и сорочках и кричали бы о своих делах, а итальянская опера одновременно с этими эпизодами своим манерным, — прекрасным, — тоном. На одной и той же странице половина людей, мыслей, слов из фантастического мира, другая — из действительного, — и на каждой странице то же. Это не что иное, как сапоги в смятку, — кушанье, состоящее наполовину из двух материалов, которые оба очень хороши, — яйца в смятку — очень удобная пища, сапоги — очень удобная обувь; но вместе — яичница всмятку, в которую положены сапоги или которая влита в сапоги, — воля ваша, это неудобно ни для рта, ни для желудка, ни для ног.

Вы видите мою тенденцию: я беру вещь, которая всем известна, — например, выражение «сапоги в смятку». Спрашиваю: что это значит? Вы приходите в смущение, — никто в мире до меня не задавал себе такого вопроса, и вы говорите: эта вещь непонятна, — какой смысл заключается в выражении «сапоги в смятку», никто не знает; я с доброю, но гордою улыбкою объясняю: это значит вот что: сапоги в смятку значит: яичница в смятку, в которую положены сапоги. Вы видите, что это так, что это несомненно, и соображаете, что эти две прекрасные [вещи] составляют вместе нелепость, потому... — простите, вы (и я в вашем числе) ничего не соображаете, и потому вас (и меня в вашем числе) угощают (и я бывал в числе угощаемых) сапогами в смятку, и от этого у очень многих ноги в сабо, в лаптях или вовсе босы, — потому что вы (и я в вашем числе) скушали их сапоги, и от этого у вас (и у меня в вашем числе) спазмы в желудке.

Но если я подобно вам имею теперь сильную привычку кушать сапоги в смятку, то я имел в жизни элементы — некоторые как человек, живущий между людьми, некоторые как человек, читающий книги, — эпизоды, учащие меня, что сапоги в смятку — не кушанье, а дрянь. Один из этих элементов я теперь начинаю показывать вам. Это — семья, в которой прошло мое детство. Я рано стал смотреть свысока на ее понятия, и со стороны логики, теории, был совершенно прав. Насколько могли бы излагать мои старшие свои мысли в виде теории, теория была бы неудовлетворительна — даже и очень (почти настолько, насколько теории 99-ти из сотни моих читателей). Но они не были теоретики — они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе.

А были они — все пятеро — люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, непрерывный, близкий

пример в такое время, как детство (не мог не лечь очень солидным весом, не мог не давать очень ясного света многому, когда для меня пришла пора разбирать теоретически), не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло.

Я ни в чем не похож на человека, раздумье которого теперь мне вспомнилось: он был отважен, — я нет (он был пылок, рвался вперед, я нет); его силы пропадали в напрасной борьбе, — я почти не боролся, всегда избегал борьбы, — а насколько есть во мне сил, они пошли и идут в дело, не пропадая; он грустил о напрасно убитой своей жизни, — я не имею ни права, ни охоты считать свою жизнь такою, — но в одном я схожусь с его воспоминаниями и чувствами:

Стучусь я робко у дверей  
Убогой юности моей:  
Не помяни мне дерзких грез,  
С какими, бросив край родной,  
Я издевался над тобой;  
Не помяни мне глупых слез,  
Какими плакал я не раз,  
Твоим покоем тяготясь, —

моя убогая юность дала живое чувство небогатой обыденной жизни, — внушила его мне так неодолимо, что из моих понятий легко выбрасывалась потом всякая нарядная ложь.

Судите сами. Мои старшие были люди известной системы теоретических мнений. По этим понятиям одна сторона в известном деле должна была считаться безусловно хорошою и правую, другая — безусловно дурною и виноватою. Вдруг является человек, начинающий речь с того, что он, безусловно, держится стороны, противоположной стороне, которой, безусловно, держатся мои старшие; начинает рассказ, без всяких прикрытий объясняющий, что в известном деле все было прямо противоположно тому, что следует думать о нем по теоретическим понятиям моих старших. Мои старшие не только соглашались без всякого спора, что он говорит истину, — они принимают его рассказ с видом, говорящим, — а потом, когда случается коснуться этого предмета, то и говорят между собою, — что, само собою разумеется, это дело не могло быть иначе.

Я очень хорошо знаю, что пример, в котором яставляю действие элемента, чрезвычайно важного по моему мнению, не есть явление исключительное, — почти каждый, выраставший, подобно мне, в честном и небогатом семействе, беспрестанно видел такие примеры, — а такие люди составляют массу читателей; поэтому я знаю, что нелегко придать в глазах такого читателя делу то важное значение, какое оно действительно имеет: оно слишком обыкновенно, в нем нет ничего поразительного. Но я прошу обратить внимание на принцип, на силы, действующие в этом обыденном случае, — потому-то они и важны, что действуют постоянно, проявляются беспрестанно. Ведь характер этих сил можно, пожалуй, выставить и

ярко на случае, который был бы поразителен необычайностью, — я даже считаю полезным сделать такое пояснение.

Вообразите себе, что русский мужичок или французский мужичок, имеющий гораздо более сходства, чем саратовский русский мужик с симбирским русским мужиком (хотя саратовский русский мужик тоже не чрезвычайно, как вы и можете предполагать, отличается от симбирского), — вообразите себе, что он по щучьему веленью, по Иванушкину (то-есть моему) прошенью перенесен на время нашего с вами назидания его примером в самый центр Африки, где никогда не бывала нога европейца, и какие там народы живут, остается без дальнейших и точнейших известий не только для этого мужичка, не слыхивавшего ни о чем существующем далее 50 верст, или, что почти то же, километров от его села, но и для нас, образованных людей, с той поры, как средневековые космографии, одни и те же и на Западе, и у нас, поместили там людей, у которых нет головы на плечах, а находится рот с носом и глазами и всеми принадлежностями головы — на груди. Как можете себе вообразить, эти люди должны довольно значительно отличаться от нас или от французов, потому что, по всем вероятностям, когда голова помещается там, где по европейскому обыкновению помещаются легкие, то голова эта несколько не похожа на общепринятую, какую получают от природы русские и французы. Но если способ физического устройства этих людей и их манеры жизни могут казаться несколько странноваты, то можно предположить, что и наша фигура и наша манера жизни должна показаться не совсем похожей на обыкновенную у них. До сих пор я рассуждаю, как вы видите, очень правдоподобно.

После этой длинной присказки начинается сказка, состоящая лишь в десятке слов: эти люди и перенесенный к ним мужичок с первой минуты, с первого слова совершенно понимают друг друга, находят все друг в друге совершенно как следует по их обыкновению и совершенно сходятся друг с другом во всем.

Вот это уж удивительно, скажете вы, — это даже неправдоподобно. Что это удивительно, я согласен, — я и вперед [сказал], что возьму пример удивительный; что это неправдоподобно, я не могу согласиться, потому что совершенно такие случаи видел я сотнями и тысячами.

Я видел изумительные вещи, каких не видывал ни Марко Поло, ни наш путешественник г. Муравьев, ни сам Гулливер (впрочем, далеко уступающий моему соотечественнику). Я, например, [видел] — в Саратове и в Петербурге, смею вас уверить, клянусь вам, — русских и немцев, знакомых между собою, даже приятелей, даже искренних друзей. — Да, я видел и в Саратове и в Петербурге людей разных наций и вер, — русских и немцев, русских и французов, французам и немцев, православных и католиков и протестантов, и раскольников, и мухаммедан, живущих между собою ладно, — по крайней мере, не зарезывающих друг друга, не отравляющих друг друга, — клянусь вам, видел.

Но нет, — неужели я в самом деле видел это? Позвольте, ведь я еще не сошел с ума, — могу соображать, что возможно и что невозможно, — нет, я понимаю, что это невозможно, я не видел этого, это был обман чувств. Эти люди, если бы они были действительные люди, а не фантамы, созданные моим бредом, должны были все до одного кусаться, грызться и целиком съедать друг друга.

Мне странно, что я за человек: я знаю, что фантазия у меня очень слаба; будь у меня хоть настолько фантазии, насколько есть у пятидесяти человек из сотни, я был бы великим художником, потому что я очень хорошо знаю, в чем заключается поэзия, в чем состоит художественность, — но я только знаю, что и как надобно писать художнику, — а не умею, не могу, — значит, у меня слишком слаба фантазия. — Но если так, то каким же образом у меня [удалось] фантазии создать такие полные, законченные типы, как: русский, француз, немец, — множество других, — католик, раскольник, лютеранин, герингутер, множество других, — вы согласитесь, что у самого Шекспира нет десятой доли того количества типов, какое выставляю я вам этими двумя началами перечней, — и самые полные, законченные типы Шекспира — Гамлет, Яго, Макбет, Лир — не имеют тысячной доли той полноты, яркости, законченности, рельефности, живой выразительности, как любой из сотен типов, поставляемых мною перед вами, — откуда ж у меня взялась такая изумительная сила поэтического творчества? — Ведь эти типы, мои типы, точно такие же создания фантазии, как Офелия, Гамлет, Дездемона, — в действительности нет лиц, соответствующих им; нет, я слишком скромн: я и с этой стороны сильнее самого Шекспира фантазией: нет в действительности лиц, которых мы знаем из Шекспира под именами Ромео и Джульетты, Макбета и леди Макбет, но есть лица, очень похожие на них. Мои типы, столь живые, столь яркие, не имеют ничего подобного себе в действительности. Шекспир по силе идеализации — пигмей передо мною, Геркулесом, — его полеты [в] сферах поэтического творчества — куриные полеты перед моими, орлиными.

Но я не горжусь этой силой, — я знаю, откуда она у меня, я знаю, какая она. — Видите ли, в моем организме нет ни малейшей склонности к чуме, он сам не в состоянии породить ничего, сколько-нибудь похожего хоть на слабый симптом чумы (я этому, разумеется, очень рад), — но перенесите меня в чумный город, — и как нельзя легче разовьет мой организм превосходнейшие симптомы чумы. Повальность дает силы бессилию, вносит зародыш и дает ему роскошное развитие. И мой бред — повальный бред. И вы, кто бы вы ни были, имсете этот бред, — иначе вам не попалась бы в руки эта книга. Она, видите, предназначена к обращению только в кругу людей, зараженных тем же повальным бредом.

Дикий бред, страшный бред. — Вы, может быть, не знаете, что это бред — у вас нет интервалов светлого простого человеческого сознания. У меня они есть. Они часты. Они продолжительны. Но

нет, не может же быть, чтобы и у вас не было. Ведь вы все-таки человек.

Но по частому и продолжительному прерыванию моего бреда интервалами здорового человеческого смысла я принадлежу к наиболее счастливым из моих собратий по бреду. Я обязан своей семье этим счастьем.

Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье. Мои старшие были люди в здравом уме.

Фаддей Ильич по своем приезде в Саратов провел несколько дней — не голодный, вовсе нет: его покормил в эти дни кто-то из постояльцев ли, из хозяев ли, постоялого ли двора, квартирники ли, где он остановился ли, был ли оставлен, — и не голый, потому что у него, — на нем самом, — была пара белья, а посверх белья тоже было все, чему следует быть на человеке мужского пола и не простого звания: сапоги, брюки, жилет, галстук, сюртук, — все было, — и шапка, даже похожая на фуражку, с козырьком, как следует. Но пить чай в эти дни ему не привелось, — да что-то и давно уж не случалось, и пища была в эти дни более здоровая, нежели роскошная, — вроде хлеба (т.-е. черного, «хлеб» по-саратовски — только ржаной хлеб, а пшеничный — калач, пирог), хлеба с квасом, и, вероятно, не простым квасом, а квасом с луком, — каша, вероятно с маслом, — полагаю, и щи, — горяченькое-то очень хорошо, — надеюсь, были и щи, — едва ли с говядиною, потому кто же ест говядину кроме как по праздникам. Едят многие, но те не едят, при которых он пропитывался, — но ведь они живут восхваляя бога, — и он жил, восхваляя бога даже больше, чем они, потому что сравнительно с прежним попал в роскошь по отношению к пище: вступил, можно сказать, в землю обетованную после скудного жития пустынного, продолжавшегося для него, впрочем, не 40 лет, а в 40 раз меньше. Но что пища? — Не о хлебе едином жив будет человек, — приволье-то какое! Сидит он, например, в комнате, где воспринимает пищу от доброхотных дателей, своих новых друзей, граждан славного города Саратова, и где пользуется он кровом и одром ношным, — сидит он, я говорю, в этой комнате, — дверь есть в ней, но [не] то важность, дверь-то всегда бывает, а важно, что вздумал Фаддей Ильич, отворяет дверь, идет, — двор, — он и по двору идет, — калитка, — отворяет калитку, — улица, — он и по улице идет, — да так и ходит по всем улицам. Экое приволье-то какое!

Да это еще что! До такого ли приволья и благоденствия дожил Фаддей Ильич в нашем Саратове! — Через несколько дней он достал бумагу, препровождавшую его под зоркий и строгий надзор к моему батюшке и никак не хотевшую написать и препроводиться к моему батюшке, который потому и дремотствовал много дней по части строгости к Фаддею Ильичу, не имея понятия ни о существовании этого субъекта для строгости, ни о своей обязанности неослабно бдеть строгостью над этим субъектом. Но вот

Фаддей Ильич упросил, написали, выдали ему эту бумагу, — и новый Беллерофонт понес документ, в котором прописано все, чему следует подвергнуть подателя документа, — понес, отличаясь от прежнего Беллерофонта тем, что знал содержание несомого документа и сам добивался получить его для отнесения. Конечно, не без страха думал о прописанном в бумаге подвергнутии его всему, что там прописано, — но, — о, Фаддей Ильич был в таком гарпагонском настроении характера, что Гудсон Лоу, к которому он шел под тяжелую стражу, представлялся ему человеком, который, строго надзирая за ним, — будучи, конечно, и груб, и придирчив, и подозрителен, и враждебен, — все-таки, авось, не согласится ли представить по начальству, что оный злонамеренный и достоискореняемый Фаддей Ильич, при всей своей свирепой неблагомысленности, имеет нечто якобы вроде желудка, аки бы сильно подведенного к ребрам, на наполнение какового чрева требуется провиант, — то не благоугодно ли будет ассигновать Фаддею Ильичу впредь до искоренения от  $2\frac{3}{7}$  до  $2\frac{4}{7}$  коп. сер. в сутки, что вполне достаточно, ибо, конечно, баловать Фаддея Ильича не следует, — и, почему знать? На эту гипотезу может придти такое решение: выдавать Фаддею Ильичу впредь до его искоренения, о скорейшем достижении которого надобно стараться, по  $2\frac{3}{7}$  коп. сер. в сутки. На крылах и летел Беллерофонт с роковым документом, — приятно, приятно, хотя не без большой горечи эта приятность.

И вдруг, — эх, да какое же счастье! — и горечи-то не оказалось никакой в роковом документе, — одна беспримерная сладость от него! — Фаддей Ильич видит, что не замечают, не хотят замечать его злонамеренности и достоискореняемости, — лицо, обязываемое документом грызть, пилить и сверлить глазами и зубами ту особу, о которой прописано в документе, прочитав документ, подходит к Фаддею Ильичу с явным намерением применить к нему обычай, соблюдаемый саратовскими священниками при встрече с товарищами по званию, — у нас тогда священники при встрече целовались, — исполняет этот обычай, как будто Фаддей Ильич не Фаддей Ильич, прописанный в бумаге, а Фаддей Ильич, бывший на свете три года тому назад, — и дальше, — что ж это такое за блаженство человеку! — женщины, дети, порядочно одетые, — похожие на тех, какими когда-то был он окружен — господа, что это такое! — он видит семейную жизнь, ему говорят, что мы очень рады вашему знакомству, Фаддей Ильич, — и вдруг, чай, — так ли? — так, у него в руке чашка, в чашке чай, — с сахаром, — и он пьет этот чай. Вот так притча вышла!

Везет, везет счастье Фаддею Ильичу! Идет он домой, так, — да полно, то ли в этом узелке? ой, замечтался старик! — Щупает, нюхает: да не замечтался же, так: чай и сахар! — А в кармане жилета уж не может же быть его, — щупает — он, он, точно, он в кармане, целковый-то, не фантазия, а настоящий целковый! Чай, сахар, деньги в руках, и — ходи по всем улицам, куда глаза глядят! — О, о, раздолье-то, приволье-то, роскошь-то!

Фаддей Ильич рассказывал все эти свои ощущения моим старшим, — конечно, и мы, дети, вертелись тут же. Он рассказывал их не таким тоном, каким передаю я, и я очень жалею, что не нашел в себе умения передать его ощущения его добрым, кротким тоном, не имевшим никакого оттенка иронии, — незлобивая речь его без всякой задней мысли, речь, действительно дышащая только чувством отрады, произвела бы гораздо более сильное впечатление. Но, хоть и я человек кроткий, я не в силах выдержать незлобия Фаддея Ильича.

Люди с простым житейским взглядом на вещи не могут, если они не злы, переварить таких рассказов. И мои старшие качали головами и говорили: «нехорошо, нехорошо». И я, ребенок, чувствовал вслед за моими старшими, что нехорошо, когда человек доведен до чувствования таких отрад.

Скоро жизнь Фаддея Ильича в Саратове стала и вовсе поправляться. Во-первых, целковый его скоро чуть ли не упятерился. Иаков, тогдашний архиерей, был очень сильным ревнителем распространения своей паствы: он очень усердно занимался сокрушением раскола. Он считал это своею обязанностью по совести, перед богом. У него были очень аскетические понятия и о вещах, которые могли бы скорее этой представляться ему в таком же виде, в каком знают их обыкновенные люди. Быть может, мне придется подробно рассказать о том, как по его мнению священники не имеют надобности ни в жалованьи, ни вообще в каких бы то ни было денежных средствах для жизни. Но независимо от всего этого, он был человек добрый. Услышав от моего батюшки об обстоятельствах Фаддея Ильича, он дал из своих денег рублей 5, чуть ли даже не рублей 7 серебром для передачи ему. Для Иакова это был значительный расход: он сам был очень беден деньгами. А для Фаддея Ильича это была сумма и вовсе значительная. Он был в восторге. Иаков усердно взялся за просьбу моего батюшки потребовать назначения содержания Фаддею Ильичу, — и содержание было скоро назначено. Помню, что цифра была от 25 до 28 рублей, но только не помню, в год ли, или в треть; если в треть, — богатство; но если и в год, обеспечение хорошее. Конечно, если и в треть, то чаев много не разопьешь, но щей можно есть вволю; рубашек много не купишь, а перемывка все-таки будет; это очень хорошо, когда есть перемывка: снимешь, знаете, рубашку для мытья, — покуда ее вымоют, имеешь другую, носишь; ту вымыли, эту отдаешь, вымытую надеваешь, — и никакого затруднения нет. А с одною рубашкою трудно обходиться. Можно, но есть трудность, говорил Фаддей Ильич.

Уже высоко поднялся Фаддей Ильич по лестнице благосостояния, когда получил содержание. Но судьба подняла его еще выше. Не знаю, через наше ли семейство, или как иначе, он познакомился с семейством Горбуновых (Николая Максимовича и Евлампии Никифоровны, — имена нужны, потому что Горбуновых в Саратове не одно семейство), людьми хорошими, — у них был под городом

сад, который тогда давал мало дохода, потому что был запущен во время долголетнего житья гг. Горбуновых вне Саратова. Фаддей Ильич знал, любил садовое дело и стал садовником. Николай Максимович и Евлампия Никифоровна не имели тогда больших денег, сами порядочно нуждались. Потому не мог и Фаддей [Ильич] делать больших работ для поправки сада, — не было средств, — и хозяева сада не могли давать ему большого жалованья; но все-таки и у него было занятие, любимое им, и сад поправлялся, и хозяева сада давали Фаддею Ильичу, сколько могли, — он стал жить в полном благоденствии.

И жил, пока умер. Умер скоро. Напрасно, с одной стороны, это было напрасно потому, что ему уже было очень хорошо жить; с другой стороны — и потому, что впоследствии стало бы ему жить еще лучше. Когда я был у гг. Горбуновых в этом саду в 1859 году, сад был уже хороший, и хозяева уже получали от него порядочный доход, и наверное не обделяли бы Фаддея Ильича из порядочного дохода, как не обделяли даже из небольшого. Наверное его обстоятельства улучшались бы вместе с их обстоятельствами, потому что они люди хорошие.

Значит, Фаддей Ильич не имел никакой причины жалеть, что судьба перебросила его в Саратов: он сошелся в нем с хорошими людьми; мое семейство было хорошее, полюбило его, — Н. М. и Е. Н. Горбуновы — также, и их знакомство было для него еще гораздо полезнее, чем знакомство с моим семейством.

Он и не считал себя особенно несчастным. Напротив. Правда, была у него мечта о жизни другого Фаддея Ильича, который сам жил так, как его саратовские знакомые, — который сам делал для других то, что они делали для него. У того Фаддея Ильича был большой хороший дом, с большим садом, — в том доме весело играли дети. Ну, да мало ли что было? — Фаддей Ильич называл себя счастливецом, — эти дети были не родные его дети, это были дети его сестры, овдовевшей и поселившейся у него. Какое для него счастье! — сестра — все-таки далеко не то, что жена, племянники и племянницы далеко не то, что сыновья и дочери, — слава богу, слава богу, что далеко не то! — у других его компаньонов были дети и жены, — значит, он перед ними был счастливцем.

Фаддей Ильич был во время моего детства не единственным украшением Саратова в том архитектурном стиле, к которому относился.

Когда я был очень маленьким ребенком, по саратовским улицам бродили трое или четверо старичков в персидском платье, — желтые, сморщенные, — как они перебивались зимою, бог их знает, — зимою что-то не помнятся они мне, — вероятно, они прятались безвыходно на холодное время; но как начинали дребезжать винтики и гайки дрожек, появлялись и старички персияне и бродили по городу до осени. Три, четыре самые теплые месяца они вероятно проводили на солнышке все время, пока есть солнышко, — все грелись на нем, — устанут бродить, сидят, — точно кошки ищут где по-



больше пригревает, и усалятся; сидели они уж по-русски на скамьях; но говорить по-русски не учились; с детьми были ласковы — мне говорили, что они и дарят бедным детям понемножку деньжонок; что они ласкали детей, это я часто видел. Со взрослыми не входили в сношения, но если кто заговаривал с ними, то они отвечали знаками благодарности — ласковым киваньем голов, улыбкою, — на сочувствие, которое понимали по выражению лица говоривших, — но сами не завязывали и таких отношений и не старались продолжать их. Видно было будто такой принцип: «Против вас я не имею ничего, я вижу, что вы человек добрый; я такой же, как вы видите. Но — вы русский; согласитесь, что нам не приходится сближаться. Пока вам угодно обращаться ко мне, я обязан деликатно отвечать на ваши чувства; но я не желал бы иметь сочувствия себе ни от кого из русских. Считаю это излишним». — Так они сидели на солнышке и бродили, как тени, — и хоть знакомые, но чужие.

Два раза в год они оживлялись и быстро, как могли, шли стариковским дрожащим бегом или пожалуй отчего не сказать и «бежали» вниз, к Волге, поскорее свидеться с персиянами, которые тогда непременно останавливались на два, на три [дня], или и больше, в Саратове и на пути в Нижний, и возвращаясь оттуда. Итак, два раза в год был для саратовских желтых старичков восхитительный праздник. Они не расставались ни на минуту с проезжими персиянами, пока те жили в Саратове. У этих проезжих персиян были тогда два знакомые приюта для остановок: в доме купцов Скорняковых и в доме моей прабабушки. Вот поэтому-то я и слышал, что старички молодели и веселели с своими земляками и болтали без умолку с утра до ночи.

Впрочем, они вообще были очень болтливы: бродя по улицам, все болтали между собою. — Но вот, вместо троих, стали бродить только двое. Когда мне было лет 10, бродил уже только один. Этому уж не с кем было болтать. Он что-то много лет бродил один.

Кто были эти персидские старички, зачем они жили в Саратове — никто не знал; когда они появились в Саратове, тоже неизвестно, — только, вероятно, тогда они были помоложе, — значит, это очень давно, — может быть, в XIX веке, может быть еще в XVIII, — а если судить по желтизне и сморщенности их лиц, то надобно полагать, что гораздо раньше, — очень правдоподобно, что это были остальные из персидских пленных, оставшихся в руках туземцев Саратовской губернии из войска Дария Гистаспа. — Если так, то очень жаль, что я тогда еще не был так усерден к науке, как стал впоследствии: старички, оставшись вне театра своей отечественной истории еще на первых порах ее, конечно, не могли бы сами рассказать ничего о важнейших ее временах: Ксеркс, Артаксерксы, Марафон, Платея, Микале, Лизандр, Агезилай, Александр Македонский, все это было уже после них; но и времена Кира, Гистаспа имеют довольно большую важность; а главное, старички дали бы алфавит для чтения гвоздеобразных надписей. Жаль, что не пожили

они еще лет пяток, — тогда я уже интересовался по статье «Энциклопедического лексикона» Плюшара<sup>17</sup> вопросом о чтении гвоздеобразных надписей.

Фанатизм Фаддея Ильича, — потому что не может же быть, чтобы он не был фанатик, — напоминает мне приключение другого господина, той же веры.

Двор моей бабушки тянется, вероятно, сажен на 50 в длину, вниз по Волге, и спускается к ней тремя террасами. Двор моего батюшки — тут же рядом, выше продолжение верхней террасы. — На второй из террас двора моей бабушки стоит, между прочим, маленький флигель. Когда мы жили уже все на дворе моего батюшки, этот флигель отдавался в наем. Поселилось в нем очень бедное мещанское семейство, с тем расчетом, что само все станет жить в крошечной кухоньке его, а комнаты будет отдавать жильцам-на хлебникам. Кто были эти жильцы, нам уж не было никакого дела; может быть, бабушка и слыхивала о них, — а может быть, и вовсе нет; времена были еще простые, полиция еще не требовала от хозяев извещений о проживающих у них, — то-есть был еще такой же порядок, какой и до сих пор остается в Англии, которую Саратов обогнал в этом отношении лет 15—20 тому назад, — не знаю, как теперь ведется в Саратове новый порядок, составляющий прогресс Саратова перед Англиею, — вероятно, полиция уж открыла в нем что-нибудь хорошее, а на первое время она была недовольна нововведенною своею обязанностью отбирать справки от проживающих, — говорила, что это лишнее обременение, которое ни к чему не ведет; честные люди и так не прячутся от полиции, а мошенники — все известны: мошенник не может жить без того, чтобы не быть известен полиции; иначе он в один день угодил бы в острог. — Жители давно имели эту аксиому самым общим и твердым своим убеждением. — Итак, в те времена полиция еще не требовала, чтобы хозяева доставляли ей извещения о том, кто переселяется на их двор, кто съезжает с него, а бабушка в это время была уже плоха здоровьем, не бродила по двору для хозяйских распоряжений, как прежде; потому, я полагаю, ей и вовсе не приходилось узнавать, кто жильцы у мещан во флигеле на втором уступе ее двора. А мы, остальные, положительно не знали ни одного из них.

Но вот, однажды поутру, приходит пожилой офицер, спрашивает мою бабушку, — его просят в комнату, где она сидела вместе с остальною семьею, — сделайте одолжение, садитесь, что вам угодно.

— Я отставной поручик Иосафат Петрович Скарино, Пелагея Ивановна, — честь имею рекомендоваться вам, потому что я перехожу жить на ваш двор, к мещанам, — он назвал фамилию мещан, которую я теперь не припомню.

— Очень приятно познакомиться.

— Это нужды нет, Пелагея Ивановна, что я одинокий человек: я обе комнаты у них снял. Потому что, что же мне не жить в обеих комнатах, хоть я и один?

— Это ваша правда, тут нет ничего предосудительного.

— И я теперь зашел к вам в стареньком вицмундире, а у меня есть и новый вицмундир, Пелагея Ивановна, — право, есть.

— Я верю, Иосафат Петрович, — это очень хорошо, что вы по будням носите тот вицмундир, который попроще и постарше, а новый надеваете по праздникам.

— Я так и делаю, Пелагея Ивановна; у меня тоже и панталоны (тогда в Саратове наименее предосудительным названием этой статьи туалета считалось «панталоны») — тоже не одни, — у меня их двое суконных; эти, вы видите, заштопанные, — а другие у меня новые, хорошие.

— Это хорошо, Иосафат Петрович. — И так дальше. Буквально, это было начало разговора, который так и шел дальше. Иосафат Петрович тут же без утайки во всем исповедался моей бабушке и остальным нам: все свои вещи, все свои нравы, и все, все, до капли. Это был при очень, очень недалеком уме, — почти идиотстве, — простяк и в смысле откровенничанья. — Прекрасно. Так он и заходил к нам частенько, — он был человек отставной, жил своею маленькою пенсией, делать ему было совершенно нечего, — часто он ходил на гауптвахту у Нового собора проводить там время с дежурным офицером, если офицер хотел говорить с ним; но больше с солдатами, потому что офицер редко хотел пользоваться его собеседничеством, а из солдат все найдет кто-нибудь, что не очень поскучает и таким немудрящим компаньоном; тоже сиживал Иосафат Петрович у себя под окном, поглядывая на крышу соседнего флигеля, сиживал на крыльце у себя, ходил постоять на берег Волги, ходил и в церковь, тоже очень часто, каждый день, — он был очень усерден к нашему храму божию, Сергиевскому, но только по будням, — по праздникам ходил в Новый собор, потому что там служит архиерей и все военные бывают. Обо всем этом он, разумеется, очень подробно сообщал моей бабушке, а кстати пользовались этими сведениями и все мы, кому случалось здесь сидеть. А очень часто случалось сидеть тут всему семейству, потому что обыкновенно приходил он около времени чаю, поутру, — идет из церкви и зайдет посидеть.

Вот однажды Иосафат Петрович во время чаю и начинает рассказывать, что вот ныне сподобил бог его причаститься.

— Как, Иосафат Петрович, значит, вы католик (время было вовсе не обычное для говения у православных)?

— Как же, я католик. А я разве еще не рассказывал вам?

— Нет еще, не рассказывали.

— Как же это я позабыл сказать?

Мой батюшка, сидевший тут же, услышал этот разговор.

— Так вы католик, Иосафат Петрович? Что же это вы все в нашу церковь ходите? Ведь это для вас может быть нехорошо: ваш священник узнает, побранит вас; да еще и нас с Яковом Яковлевичем (другой священник, товарищ моего батюшки по Сергиевской церкви) бранить станет.

— Нет, батюшка, Гавриил Иванович, я спрашивался; он говорит: ходи, говорит, нужды нет.

— А когда так, то, разумеется, это ничего, — сказал мой батюшка.

— Я, батюшка, Гавриил Иванович, всегда так спрашивался; во скольких городах на службе бывал, — всегда спрашивался у своего священника, — что мне, говорю, русская церковная служба привычнее, — потому что ведь все по-русски, между русскими, — ну, наши священники и говорят: ходи, говорят, ходи.

Конечно, Иосафат Петрович имел гораздо менее возможности, чем великий князь Владимир Святославич, из-за которого по Нестору состязались вероучители греческие, латинские, иудейские и мухаммеданские, — но все-таки и судьба вероисповедания Иосафата Петровича поучительна: с молодости до старости ходил человек в русские церкви, — и надобно полагать, что не трудно было бы совладеть с умом человека такого необширного ума, если бы кто-нибудь вздумал обращать его из католичества; но вот, так и дожил он до кончины в преклонной старости, не натолкнувшись ни на одного охотника обратить его, хоть подходил под благословение по крайней мере к сотне русских священников. Но положим, русское духовенство не считается чрезвычайно усердным к деланию прозелитов; так зато католическое считается самым усердным и ревнивым. Мне кажется, трудно предполагать, чтобы в течение 30 или 40 или 50 лет, когда Иосафат Петрович все спрашивал разрешения ходить в русскую церковь, ему приходилось в разных городах спрашивать все одного и того же католического священника, — вероятно, тоже по крайней мере десятков католических священников перебывали его духовными отцами, — и никто из них не...

## [АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ]

### I

### НАША УЛИЦА

### I

### Корнилов дом

Мы играли с бабушкою в шашки.

— Пелагея Ивановна, какой-то мужик велел вам сказать, что пришел Никита Панфилич, — сказала служанка.

— Зови сюда, — сказала с радостью бабушка.

— Здравствуй, Полинька!

— Здравствуйте, Никита Панфилич! — Они обнялись и поцеловались несколько раз.

Я смотрел с удивлением. Много неказистых родных было у нас, но такого я не видал еще ни одного. Коренастый, приземистый мужик в нагольном длинном полушубке, еще здоровенный мужик, хотя уж был по виду лет 60, а по разговору вышло потом за 70, облобызался с моею бабушкою, назвал ее милою племянницею. Шашечница была отодвинута в сторону, и Никита Панфилич уселся на моем стуле, широко расставив колени, положил на полушубок между колен мерлушчатую высокую шапку весом фунтов в пять, вынул из шапки синий ситцевый платок, долго утирал им пот, — а бабушка в это время говорила:

— Лет двадцать не виделись, Никита Панфилич, — что это вы не заходили столько лет?

Обтершись, Никита Панфилич начал толковать, — но о Никите Панфиличе будет особая история, а теперь пока важно только то, что Никита Панфилич сказал:

— А вот от тебя, Полинька, пойду к Корнилову, — тоже давно не виделись.

— Бабушка, Никита Панфилич пойдет к Корнилову? — сказал я.

— А [ато] твой внучек, что ли? — спросил Никита Панфилич.

— Внучек Николая, вот с ним в шашки все играем, — сказала бабушка, погладила меня по голове и подвинула за руку вперед к Никите Панфиличу.

— Здравствуй, Николя, — сказал Никита Панфилич, тоже глядя меня по голове.

— Да вот ему все хотелось, Никита Панфилич, побывать в Корниловом доме, — сказала бабушка, — все заглядывается на него, как идем мимо.

— Что ж, Николя, пойдем со мною, я тебя сведу, — сказал Никита Панфилич.

Вот каким манером я сподобился видеть внутри Корнилов дом, и вдобавок самого Степана Корнилыча с супругою.

Точно, нельзя было не пожелать побывать в Корниловом доме. Три-четыре казенные здания — корпус присутственных мест, дворянское собрание, семинария — были гораздо больше его, но из частных домов он был тогда самый большой в нашем городе, — в два этажа, 18 окон на нашу улицу и 7 окон на Московскую улицу. Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная тоже железная кровля была красная.

Мы с Никитою Панфиличем остановились в передней, по-нашему — прихожей. Он уселся на коник, — в нашем городе в прихожих тогда везде были коники — длинные ящики или сундуки во всю длину прихожей, заменяющие собою лавки. С четверть часа мы посидели, дожидаясь, пока кто заглянет в прихожую и увидит нас. Вошел слуга, из мелких приказчиков или «молодцов», и был послан Никитою Панфиличем к Степану Корнилычу с таким же докладом, какой получила моя бабушка: «скажи, что пришел Никита Панфилич», — тоже Никита Панфилич был немедленно поведен к Степану Корнилычу. Через три большие комнаты, показавшиеся мне тогда великолепными, а теперь припоминающиеся мне грязноватыми сараями почти без мебели, прошли в маленькую комнату с лежанкою. На лежанке сидел Степан Корнилыч, старик маленького роста, еще не дряхлый, но очень старый: волосы из седых стали уже желтыми. Лицо издали показалось мне румяным, но из близости я рассмотрел, что оно было покрыто кровавыми жилками. На старике были высокие валеные сапоги с кожанною обшивкою подошв, нанковый халат, засаленный до того, что только пониже колен можно было рассмотреть зеленые полоски по желтому полю, а с колен до самого ворота все слилось в густой изжелта-черный цвет от толстого лака жирной грязи.

— Здравствуй, Никита Панфилич, давно не видались, садись.

Никита Панфилич расселся точно так же, как у бабушки. Я стоял, опершись локтем на коленку Никиты Панфилыча.

Обменявшись с ним несколькими словами, хозяин спросил про меня:

— А это кто с тобою? внучек, что ли?

— Правнучек приходится, — Пелагеи Ивановны внучек, — сказал Никита Панфилич, погладив меня по голове, и, взяв за руку повыше локтя, подле плеча, подвинул к лежанке.

Хотя мой нос подвинулся к Степану Корнилычу от нагольного полушубка, но все-таки услышал сильный прелый и жирный запах от одежды и рук Степана Корнилыча.

Степан Корнилыч тоже погладил меня по голове, Никита Панфилов отодвинул назад к себе, я снова оперся на его коленку локтем и так простоял все время нашего посещения, часа три, я думаю, и, должно быть, не устал, не помню.

— Чайку надо с тобою выпить, Никита Панфилович. Прасковья Петровна, вели чаю дать.

Никита Панфилович начал свои рассказы, которые говорил и бабушке, Степан Корнилыч слушал. Молодец внес самовар, поставил прибор. Степан Корнилыч слез с лежанки, подсел к столу с чаем; стол был простой липовый, крашенный «мумиею» (крово-красная краска), как и стулья.

— Давай чай наливать, — таким чаем тебя никто не угостит, как я, — не умеют, надо знать, как с ним обходиться.

Он взял толстое, грязноватое полотенце, разостлал его по широко расставленным коленам по своему засаленному халату, так что концы висели с обеих сторон поровну, высморкал нос рукою, обтер руку о халат, взял полотенце обеими руками — на половину рука от руки — в горсть, так что середина полотенца свернулась и натянулась, этим натянутым свертком он два раза провел у себя под носом — утерся — и снова разложил его на коленях прежним развернутым порядком, ототкнул жестяную чайницу, взял в правую руку, подставил левую ладонь, высыпал на нее чаю, сколько было нужно по чайнику, заткнул чайницу, отставил к стороне, наложил правую руку на левую, на которой лежал чай, — а руки были весьма потные и грязные, какие даже у меня редко бывали после игры в бабки (по-нашему — в козны), — и начал растирать чай. Тер долго, начал так, что провел ладонь вдоль ладони, потом так вертел ладонь на ладони, потом снова вел вдоль, — сделал раза четыре такую смену дирекции, сказал: «теперь можно в чайник, — от этого вкус в нем: не растер — вкусу того не будет».

Когда он снял правую ладонь с левой, на левой ладони была куча мелкого порошка щепотки в три, порошок был весьма влажный от вошедшего в него пота, так что были в нем довольно большие комочки, слегка слипшиеся. Пока чайник стоял на самоваре, Степан Корнилыч раза два вытирал полотенцем пот с лица, наконец стал вытирать им чашки. В это время вошли в комнату двое, — эти, конечно, без всякого доклада, потому что были благородные; один из них — Андрей Васильич, о котором будет особая история, человек, знакомый со всем городом, другой — незнакомый ни мне, ни кому.

— Вот господин ученый, — сказал Андрей Васильич и назвал: «Петр Арсеньич такой-то (назвал фамилию ученого), коллежский советник приехал к нам (при слове «коллежский советник» Степан Корнилыч встал, поклонился и снова сел); обращается к вам, Степан Корнилыч, как здешнему старожилу, чтобы вы ему порасска-

зали, что ему хочется узнать о нашей старине, — и старину вы помните, и о нынешних делах тоже, — а он хочет книгу писать об этом.

— Можно, — сказал Степан Корнилыч, — много помним, извольте, сударь Петр Арсеньич, спрашивать. Только вперед скажу, об нашем соляном праве не спрашивать: потому, мне нет выгоды об этом рассказывать, потому что всякое право — значит, и наше тоже — секретом держится. А об других обо всяких делах могу рассказывать.

Приезжий ученый стал расспрашивать, и видно [было], что он доволен ответами Степана Корнилыча. Степан Корнилыч отвечал в таком духе:

— А относительно старины вы, сударь, спрашиваете, лучше ли тогда было. Как можно, сударь? нет, сударь, хоть привольности, точно, больше было, зато и притеснения было не в пример больше, и порядку не было. Наше купеческое право возьмите: теперь почта из Москвы к нам два раза в неделю ходит, — тогда этого не было; по дорогам разбой были, по Волге разбой, — теперь этого нет. Меня в пример возьмите — 2-й гильдии купец, а грамоте не знаю; какое же купеческое право без грамоты?

Лет через пять мне случилось читать статью расспрашивавшего ученого о нашем городе, и я нашел там, что он с признательностью упоминает «о множестве интересных сведений, сообщенных ему почтенным и умным старожилом нашего губернского города, купцом Степаном Корнилычем Корниловым». И точно, похвала была не напрасна. Да возьмите уж то, что 85-летний старик, безграмотный, не испугался сообщить все, что знал (кроме своего соляного права), ученому, который все будет записывать и описывать, — это редкость. Часа полтора, я думаю, говорил он, и ученый все слушал со вниманием.

Промежду разговоров напились чаю, — хорошо, что ученый не видел его приготовления, — а я пил, ничего, хоть и видел. Закусили, — и Степан Корнилыч, угощая других, сам выпил только одну рюмку Ерофеича.

Но вот Андрей Васильич \* подмигнул своему товарищу, — как я теперь вспоминаю, старик начинал повторяться, и Андрей Васильич знал, что больше уж нечего от него узнавать, — подмигнул товарищу и спросил:

— А сколько вам лет, Степан Корнилыч?

— Да 98, батюшка.

— Сколько было в Пугачи?

— 16 лет было.

— Это значит, теперь должно быть 86, — с Пугачей только 70 лет прошло.

— Ну, коли так, так в Пугачи было больше, — значит, под 30 было.

---

\* Здесь и дальше Андрей Васильич именуется в рукописи В. М. — *Ред.*



Но этот приступ Андрея Васильича еще не подействовал на ученого: вещь известная, что старики любят прихвастнуть годами.

— А вы бы рассказали, Степан Корнилыч, Петру Арсеньичу, как Петра Великого встречали.

— Как же батюшка, с почетом встречали, как следует великого царя, — в колокола звонили, хлеб-соль подносили в Старом соборе — на паперти в верхней-то церкви, на галдарее. И так мило-стиво говорил со всеми и шутить изволил, всем сказал привет, и мне: «ты, говорит, Степан, у меня соль-то с Елтона покупаешь али воруешь?» (Ведь я ратманом тогда был, так подле, значит, самого головы стоял.) — «Не ворую, говорю, ваше императорское величество, а покупаю». — «Ой, воруешь, говорит, меня не обманешь, брось воровать, — вишь палка-то у меня какая, — она воровские спины любит». — Пошутить, значит, изволил — шутник был, но грозный, как есть царь.

При этом рассказе теперь не только приезжий ученый — даже и я выпучил глаза: если б Степан Корнилыч был пьян, еще можно было бы понять такую гиль, — но нет, он выпил еще только одну рюмку, и по глазам было видно, что совершенно трезв.

— Да как же вы говорите, Степан Корнилыч, — продолжал Андрей Васильич, — что вы тогда ратманом были: ведь и по вашим словам вам 98 лет, а Петр Великий уже 115 лет как умер, — значит, тогда еще и отец-то ваш соску сосал, а может и не родился еще.

— Так что, я тебе врать что ли стану? — сердито сказал Степан Корнилыч.

Андрей Васильич завел другой разговор, продолжая закусывать. Степан Корнилыч выпил еще несколько рюмок. Тогда Андрей Васильич возобновил пробу.

— А что, Степан Корнилыч, ведь Логинов-то врет, англичанин правду пишет, что в наших местах море было? (После я узнал, как произошел такой вопрос: редактор «Губернских ведомостей» писал статьи, в которых доказывал, что Мурчисон ошибся в том, что юго-восточный край России был некогда дном моря; редактор «Ведомостей» понимал в геологии едва ли не меньше, чем я, и над его полемикою против Мурчисона много смеялись грамотные люди в городе.)

— Врет Логинов, море здесь было, точно.

— Да вы-то почему знаете, Степан Корнилыч?

— Чать, своими глазами видел — до самых Хвалынских гор было, я бывал на Хвалынских горах, смотрел на море. И, шумно плещет.

— Пойдемте, Андрей Васильич, — сказал приезжий. Гости ушли.

Я тогда совершенно растерялся от уверения Степана Корнилыча, что он видел море у Хвалынских гор. Но в это время он был уже навеселе. Но и теперь мне трудно понять рассказ Степана Корнилыча, еще трезвого, о том, как он встречал Петра Великого.

Конечно, ясно, как это образовалось в нем: привык кричать на домашних, не терпел противоречия никакой дикой своей выходке, в первый раз соврал, вероятно, навеселе и по упрямству продолжал утверждать то же самое и пьяный и трезвый. Но все-таки вещь невероятная, и тем нелепее, что Андрей Васильич уже не один десяток раз подъезжал к нему при чужих людях с этим вопросом, чтобы выставить его дураком на посмеяние, — и он все-таки каждый раз повторял свой рассказ.

По уходе Андрея Васильича Степан Корнилыч с Никитою Панфилычем продолжали закусывать и выпивать. Никита Панфилыч, еще крепкий, оставался в своем уме, когда Степана Корнилыча уже совершенно разобрал хмель, и старик приложил руку к уху, загнув голову набекрень, и затянул какую-то скверную песню. Но не успел он пропеть двух-трех стихов, как влетела в комнату старуха и прямо на него, как ворона на падаль.

— Ах ты, старый чорт, пьяница, снова горланишь, буянишь!

Старуха взмахнула жгутом вроде того, каким бьют друг друга дети в своих играх, только скрученным из большого шейного бумажного платка, и весьма круто, так что удары жгута раздавались отчетливо и звонко, как от палочных ударов. Старуха держала Степана Корнилыча за шиворот и била жгутом, не разбирая места; удары сыпались по затылку, по темени, по вискам.

Почему для наказания служило такое необыкновенное орудие — крепкий, как палка, жгут из огромного платка? Дети таких жгутов не делают, да едва ли были дети в доме. Откуда же взялся этот жгут? Неужели Прасковья Петровна сделала его и постоянно держала наготове именно для этого употребления? Иначе трудно объяснить, зачем такая замысловатость? Почему не просто кулак, не палка, не плетка, вещи готовые, а жгут? Но как ни непостижимо происхождение жгута, он работал над стариком страшно.

Никита Панфилыч испугался.

— Прасковья Петровна, вы его убьете так; уж если сердце взяло, лучше таскайте его за косы!

— Не убью! Здоров нахальник, выдержит!

А он едва барахтался под ее рукою и все твердил: «прости, Параша, виноват, не буду». Наконец Прасковья Петровна подняла его пинками со стула и наполовину потащила, наполовину погнала пинками и ударами жгута.

Застучал засов, повалилось что-то, т.-е. старик, снова стукнул засов, и Прасковья Петровна воротилась к нам.

— Заперла в чулан разбойника, чтоб проспался.

— Больно уж вы без разбору бьете по голове, Прасковья Петровна, как можно так! — повторял Никита Панфилыч.

— Он 60 лет надо мною надругался. Это что? Никита Панфилыч, уж я тебе показывала.

Прасковья Петровна повернулась к Никите Панфилычу и ко мне, стоявшему опершись на его колено, одним ухом, потом другим:

— Смотри, где серьги-то!

В одном ухе серьга была вдета на половине, в другом выше половины, — и точно, ниже не было для них места: нижние половинки ушей были в клочках, глубоко изорваны, чуть не [до] самого корня. Но ходить без серег зазорно женщине, и потому как муж вырывал серьги с клочком ушей, Прасковья Петровна отыскивала подальше от отправной каймы и повыше новое место для этого необходимого украшения. На каждом ухе было десятка по полтора следов этих прежних положений. Прасковья Петровна, как услышал я из разговора ее с Никитою Панфилычем, была старше двумя годами, — в Пугачи ей было уже 18 лет, — но она сохранилась бодрее мужа, потому что смолоду вовсе не пила и теперь пила, по ее словам, с умом, без безобразия, днем только по рюмочкам, на ночь больше. Благодаря этому она уже несколько лет вымещала на Степане Корнилыче старые поругания и учила его разуму.

Посидев с нею полчаса, Никита Панфилыч простился и отвел меня домой.

И самого Никиту Панфилыча видел я один только этот раз, и стариков Корниловых тоже. О Степане Корнилыче мне уже и не случалось слышать ничего в следующее время, когда я был знаком с его внуком, но Прасковью Петровну, пережившую мужа несколькими годами, внук помнил.

Когда она получила перевес силы и трезвости над Степаном Корнилычем, она, разумеется, взяла в свои руки и доходы и сохраняла эту власть после него, до самой смерти. Доход они получали большими кушами: Степан Корнилыч в это время уже не торговал, — он употребил деньги на покупку и устройство большой крупчатой мельницы и уже давно не сам заведывал ею, а отдавал в аренду. За аренду платили ему 30 000 руб. (ассигнациями), сумма по тогдашнему (в 30-х годах) весьма большая, и это продолжалось лет по крайней мере пятнадцать. А он с Прасковьею Петровною жили весьма скупно и грязно, так что едва проживали по полторы тысячи в год. Следовало ожидать, что найдется после старухи большой наличный капитал, — он и действительно составил, старуха сама говорила об этом дочери. И дочь, и гости, при которых случилось, видели, как поступала Прасковья Петровна с деньгами, которые арендатор приносил три-четыре раза в год.

Деньги в то время были все серебряные и золотые, серебряные — больше всего испанские пиастры с двумя столбами, золотые — «лобанчики», луидоры с портретом Людовика XVIII, по высокому лбу которого они и были прозваны лобанчиками. Ассигнаций было разве на одну пятую долю против серебра и золота. Вот Прасковья Петровна сложит в фартук мешочки и свертки, составлявшие порядочный груз, с полпуда или и до пуда, и кряхтя потащит эту ношу, — идет за службы на задний двор, где баня и тоже амбары и разные клетки. Калитку за собою запрет, а сама скрывается за службами, так что нельзя подсмотреть, где она зарывает в землю

или в какой клетушке прячет деньги. Она и умерла, не успев сказать дочери, где спрятала, и деньги пропали.

От этого Корниловы, которые считались людьми богатыми при Степане Корнилыче и Прасковье Петровне, оказались не весьма богатыми по их смерти, а лет через десять стали вовсе небогаты, по бестолковости дочери-вдовы, которой досталось заведывать всем.

Дочь эту, Дарью Степановну, я видел много раз лет через пять и десять после того, как видел стариков. Женщина высокого роста, широкой кости, дородная, но и весьма толстая, она своею вялою фигурою и мямлящим порою голосом заставляла вас предполагать в ней идиотку, и чем дольше вы ее слушали, тем тверже оставались в этом мнении. Слова были так бессвязны, она, говоря медленно и вяло, делала, однако, после каждых десяти слов такие повороты от одного предмета к другому, не имеющему никакого отношения к прежнему, что никто не мог ее понимать, кроме очень близких знакомых, вперед знавших все, что она могла сказать. Вот, например, одна из ее речей:

— Саша у меня что-то жалуется, что в Москве засуха, мельница стала, воды мало, потому что Иван Игнатьич ворот не чинит, я и говорю: Фленочка, тебе надо в деревне жить.

Это означало вот что: сын, учившийся в московском университете, писал ей, жаловался на строгость экзаминаторов, — она забыла договорить, а вместо того заключила фразу сожалением, что арендатор мельницы не внес в срок денег, — но до этого она не успела договорить, забыла, успевши сказать только причину, которой тот оправдывался в неисправности, и уже заговорила о другой своей жалобе на сидельца Ивана Игнатьича, заведывающего домом; а Фленочка, ее двоюродная племянница, бедная чахоточная девушка. И она все эти четыре вещи спутала в одну, хотя между ними нет ни малейшего отношения, и ни об одной из них не сказала того, что хотела сказать. И еще если бы это говорилось бойко, скороговоркою, — тогда хоть речь ее была бы несколько бестолкова, но по крайней мере можно было бы думать, что хоть она сама понимает, что говорит, что идиотство только в ее словах, от прыганья языка, а ход мыслей у нее в голове все-таки имеет какой-то смысл. Но нет, она говорила эту бестолочь тихо, спокойно, систематически. Чистая идиотка.

Особенно знаменита была [она] в нашем детском кругу своею манерою молиться. Я, когда был еще ребенком, задолго до того, как стал видеть ее, уж знал два образца ее молитв по рассказам ее родственниц-девочек, наших знакомых, и особенно по рассказам этой Фленочки, которая была старше нас годами пятью и которую я помню уже только взрослой девочкой, почти невестою. Вот одна из ее многих таких молитв, переданных нам, маленьким, Фленочкой. Молитва относится к вечерней поре, читается перед отходом на сон грядущий.

Дарья Степановна становится перед кивотою, — она женщина усердная в вере, как и все, не бог знает какая богомолка, как и все, но в молитве усердна, и вздыхает, кланяясь в землю, и поплачет от умиления.

— Отче наш... сех, да святится — Лиза (сноха), ты еще не ложишься спать? — имя твое, да при... — Нет еще, матушка. — Да будет воля твоя (поклон в землю), яко... на земли. Вот в углу-то таракан ползет... Хлеб наш... — Татьяна... — даждь нам днесь.

— Что угодно, Дарья Степановна? — Дарья Степановна теперь, встав с полу, поворачивает лицо к Татьяне:

— Снег на дворе еще ли идет или перестал?

— Идет еще, Дарья Степановна.

Дарья Степановна повертывается снова лицом к земле и продолжает: днесь и остави, и т. д.

И хоть бы думала-то или спрашивала о чем-нибудь по хозяйству что-нибудь с толком, а то вещи совершенно ненужные.

Но серьезнее всего доказывается ее крайняя глупость тем, что деньги, запрятанные матерью на заднем дворе, так и пропали. Ей говорили: «Сломайте всю дрянь, построенную на заднем дворе, разберите все по бревну, по доске; не найдете — перекопайте землю на аршин, — не могла же мать своими старыми руками закапывать бог знает как глубоко, — серебро и золото найдется все в целости, а если бумажки и нашлись бы уже сгнившими, то бумажек было не так много; почти весь капитал возвратите». — Но нет, не могли втолковать ей это. Она только жаловалась и охала, — да и охаты начала уже лет через пять по получении наследства, когда дела ее стали плохи, а прежде думали, что мать сказала ей, где деньги. Ее родственники — наши знакомые — были люди небогатые и не могли ничего сделать против нее, напротив, должны были оказывать ей уважение. Через год после того, как она стала жаловаться и охаты на безденежье, ловкий и богатый купец Сырников сделал смелый, но верный оборот: продал всю свою лавку, занял денег, подъехал к Дарье Степановне и купил у нее дом. После того тотчас он повел большую торговлю. Все говорили тогда: «Отыскал спрятанные деньги, — должно быть, так». Теперь он из немногих миллионеров нашего города, где купечества много, но особенно богатых купцов меньше, чем во многих других городах, далеко уступающих нашему общему суммою своих торговых оборотов.

Сырникова я никогда не видел и ничего не знаю о нем, кроме того, что он оборотливый купец. Мои воспоминания теряют всякую связь с домом Корнилова по переходе этого дома в его руки. Но мои воспоминания о семействе Корниловых получают гораздо больше определенности именно со времени продажи дома. Она показала обеднение Корниловых. Дарья Степановна раньше почти не бывала у своих небогатых родственников, наших знакомых, — теперь гордиться было уж нечем, она стала часто бывать у них, я тут видел ее, потом ее сына и сноху.

При такой хозяйке, разумеется, все пошло прахом, и когда он подрос и занялся делами — лет через пять после смерти бабушки — он вместо огромного куска земли с богатою мельницею нашел уцелевшими уж только 200 десятин.

Отчего так глупа была Дарья Степановна? Случайно ли попал [в] ее голову кусок такого коровьего мозга, или вдруг разразились в бедной голове следствия дикой пьяной жизни, одуряющей жизни трех-четырех предшествовавших поколений, или отец и мать как-нибудь при родственном наказании отшибли ей рассудок неосторожным ударом, или такого особого удара не было, а вообще они заколачивали ее в глупость постепенно? Не знаю.

И что же вы думаете! Женщина такой замечательной глупости все-таки сама могла много помочь выйти в несколько порядочные люди и приобрести кусок хлеба своему сыну, который вместе с нею остался бы бедняком по ее милости.

Как она была одна дочь у отца и матери, так и у нее был только один сын. Сама она была безграмотна, подобно своим родителям, но сына отдала в гимназию — почему? Бог ее знает, разобратъ было нельзя. Иной раз она говорила: «хоть чтоб был благородный», в другой раз: «без ученья нельзя». Вернее всего, что она и эти объяснения повторяла понаслышке, как попугай, но тем замечательнее. Если говорить высоким слогом, то она, по всей вероятности, была «орудием времени» — и верным орудием: отец и мать ее, люди, далеко бывшие все-таки не ей четой по уму и характеру, говорили ей, что это ненужно, — она не слушалась; они велели взять сына из гимназии, — не слушалась. Сын был мальчик хороший, но не бойких способностей, не переходил из класса в класс и ленился, да и не хотелось, — она не жалела денег на взятки учителям и все-таки дотащила его к 20 годам до седьмого класса, из седьмого класса не могла вытащить, — сама отправилась с ним в Казань и поместила в университет на юридический факультет. Слов «университет», «факультет» она никогда не могла выучиться произносить, но ездила в Казань каждую весну во время экзаменов, хлопотала, тратила деньги и все-таки добыла сыну аттестат действительного студента, привезла назад и определила на службу. Ученик и студент он был плохой, но чиновник вышел хороший, — недалекий, не бойкий делец, но работающий, все-таки был образованнее других, — тогда, лет 30, 20 назад, в провинции было весьма мало университетских между чиновниками, — и шел себе по службе, года через два был столоначальником в гражданской палате, — по небогатому столу, но все-таки мог кормить себя и жену, потому вздумал жениться. Или нет: поэтому только мог бы жениться, и мать стала говорить: «пора жениться», а вздумал жениться потому, что влюбился — однако это слово не годится в таких рассказах, и оно в той жизни, в какой я вырос, вовсе неизвестно. В тех кругах тогда говорили: «понравилась ему девушка», — это в хорошем смысле, а в дурном говорили: «хочет любовницей иметь» или «хочет связь завести».

## II

### ЖГУТ

Архиерей брал моего батюшку своим провожатым «по епархии», а ехал он по епархии в заволжские уезды. В день отъезда папенька отправился к архиерею очень рано поутру, — осмотреть карету, уложить вещи и сделать все такие сборы; как будут они кончены, так и поедет папенька с архиереем прямо на пристань, где со вчерашнего дня стоит «дощаник» (небольшое судно с палубой) \* для перевоза архиерея с его свитою через Волгу; итак, с архиерейского двора прямо на дощаник; захватить домой еще раз проститься будет нельзя, хотя для этого довольно было бы менее четверти часа, — наш дом был менее чем в полуверсте от архиерейского, и можно бы, кажется, отпустить на четверть часа человека, который проработал над вашими удобствами с 4 часов утра до 12 или до часу. — Архиерей был Иаков (бывший потом в Нижнем), писавший ученые сочинения о местных наших золотоордынских древностях, — эти брошюры он переписывал с рукописных листов профессора нашей семинарии Г. С. Саблукова (после бывшего профессором Казанской Академии), одного из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей, каких я знал, — печатавший и свои проповеди, которые замечательны не сами по себе, а по переписке. Папенька был человек, страшно заваленный работою: он своею рукою писал от 1 500 до 2 000 «исходящих» бумаг в год, — да кроме того, производил бог знает сколько следствий, кроме того был тогда членом консистории (интересно его удаление от этой должности: история изумительная, — хорошо, если можно будет рассказать ее), — кроме того, имел службу по своей приходской церкви, — много было дела. Но у него был хороший почерк, хоть вовсе не каллиграфический, почему-то почерк этот стал нравиться Иакову больше всякого каллиграфического, и он отдавал свои проповеди переписывать моему папеньке; папеньке, человеку до такой степени заваленному работою (которая почти вся проходила под резолюциями Иакова, стало быть была известна, велика ли), имевшему тогда уже под 50 лет, слабевшему глазами. Если бы Иакову пришло в голову, что это — лишнее обременение, он, конечно, не стал бы делать этого. — Вот, так и теперь: если бы Иакову пришло в голову, что папенька имеет семейство, что папенька приехал укладывать его вещи в 4 часа утра, что семейство еще спало в это время, — если б Иакову пришло это в голову, он отпустил бы папеньку перед отъездом к нам и не на четверть часа, а на час. Но ему не сообразилось этого, хоть все это знал не хуже самих нас.

---

\* Наши волжские «суда» разделялись на два тогда (вероятно, и теперь тоже) [сорта]: судно — это большой сорт, — то же, как в морском деле «корабль» — и всякий корабль, и, собственно, только линейный корабль; дощаник относился к «судну», как фрегат к кораблю, и тоже славился перед ним легкостью на ходу.

И семья наша знала, что это не сообразится ему: потому с вечера условились, что мы поедем ждать проезда архиерейской кареты в дом родственников, у пристани. Когда карета поровняется с домом, — вот, папенька и скажет: «ваше преосвященство, позвольте забежать (50-летнему забежать!) — на минутку проститься со своими — они тут меня ждут?», — папенька не посмел бы сказать и этого, — как можно задерживать? — но задержки от этого не выходило: проулки, спускающиеся к Волге, — по-нашему, «взвозы», — у нас очень круты, тогда еще не были мощены, были страшно изрыты весеннею водою в течение сотни лет, — карета должна была вилять слишком медленным шагом между крупных рытвин, — значит, папенька и успеет сбегать, перецеловать нас и догнать карету. Архиерей добрый, — отпустит. — И точно, отпустил, и мы простились с папенькою.

Но мы ждали проезда архиерейской кареты очень долго: Иаков хотел выехать часов в 12, — и мы забрались к родным часов в 11, а архиерей выехал уже перед вечерними, в половине 4-го, и благодаря этому долгому ожиданию были мы свидетелями случая, о котором и пишется мною этот рассказец. Но прежде, — кого же благодарить за это промедление, интересное в воспоминании? — В 11 часов приехала к Иакову «Дмитриха» — г-жа Дмитриева — одна из наших тогдашних пожилых аристократок средней руки, и просидела у него часа четыре, рассказывая о телятах, об овсе, о гусыне, которая кладет что-то очень много яиц, и о своей Матрене, умеющей отлично варить щи, — но больше всего о телятах. Бедняжка Иаков три-четыре раза в неделю проводил так время с Дмитрихою и другими праздными идиотами и идиотками, — и как папенька не смел сказать ему: «ваше преосвященство, позвольте мне на четверть часа съездить домой», — так у Иакова недоставало духу сказать: «извините, мне некогда». — Преемник Иакова стал без церемонии говорить это, и только в нашем, духовном кругу поняли тогда, что он в этом прав; весь город негодовал, — даже люди, считавшиеся умными и не надоедавшие ему сами, обижались за других таким «невежеством». А наши духовные не могли не понять, — им слишком часто приходилось ждать по нескольку часов, да и слышали они жалобные стоны измученного Иакова по отпуске гостей. — Так вот, Дмитриха сидела, Иаков страдал, и 20 человек, собравшихся провожать его, — священники, иные прямо от обедни, то-есть не пивши чаю, — тоже страдали, а Дмитриха сидела до 3 часов, хотя и знала, что Иаков хочет ехать в 12, — она, видите ли, очень уважала его преосвященство, не могла расстаться с ним; и правда: в самом деле, очень уважала.

Какого звания был старец, с которым произошла неожиданная для меня сцена, это все равно, — это могло случиться во всяком звании. Он еще занимал должность и служил более или менее исправно. Росту был маленького, крепкого сложения, но сильно выпивал, и оттого в глубокой своей старости стал уступать силами своей жене, которая была старше его двумя годами, — ей в «Пу-



гачи» (то-есть во время Пугачевского бунта) было 14 лет, а ему 12, — но она выпивала только под вечер, потому и сохранилась молодцоватее мужа.

Когда мы приехали, старик был на службе. Семейство все было дома, — беседа шла, ничего себе. Я сидел и скучал. Но вот, явился со службы старик, — назову его хоть Трофимом Григорьевичем, — потолковавши несколько минут, он обратил внимание на меня.

— Что, учишься по-латыни?

— Учусь, Трофим Григорьевич.

— Это полезный язык. А хрии умеешь писать?

— Нет еще, не учился, Трофим Григорьевич.

— Я ведь до реторики доходил, — мастер хрии писать. Теперь таких не пишут. У нас писали по 5 листов, что твоя проповедь.

Итак, разговор был ученый. Старик постепенно разгорячался, — он был уже выпивши, но немного, — сказавши, что в Пугачи ему было 12 лет, он тут же прибавил, что ему теперь 98 лет, — а это было в начале 40-х годов, да и по спискам подчиненных, лежавшим у папеньки, я знал, что ему было 84 или 83 года, — потом пошел и дальше, — стал рассказывать, как он встречал Петра Великого, приезжавшего в Саратов, — но не сказал о том, как он видел море, — стало быть, еще был в своем уме. А море он видел вот как. Тогдашний редактор наших «Губернских ведомостей» написал статейку, в которой оспаривал мнение, что саратовская степь была морским дном; разумеется, он не имел понятия о геологии, это знали и смеялись над ним. Однажды зашла об этом речь при Трофиме Григорьевиче, — дело было вечером, следовательно, он был уже пьян, — он вскочил и закричал: «так, врет Леопольдов, тут было море, я сам видел, до самых Хвалынских гор, — прямо, бывало, с Хвалынских гор на корабли садятся, морские пристани там были». (Хвалыnsk уже на границе Симбирской губернии.) — С тех пор так и засело это в Трофиме Григорьевиче: как пьян, так и начинает рассказывать о море, которое он видел с Хвалынских гор. — Но теперь дальше Петра Великого он не заходил, значит, еще не был пьян. После встречи Петра Великого стал он мне рассказывать что-то о Москве, в которой случилось ему быть, и заинтересовался предметом.

— Трофим Григорьевич, не кричи, мешаешь нам говорить, — строго сказала жена.

— Я не кричу, Мавруша; — и точно, он не кричал; однако понизил голос, — но опять воодушевился, заговорил громко. — «Постой же, я тебя поучу, старый», — и я не успел моргнуть глазом, как уже вижу — старуха подбежала, подняла мужа за шиворот одною рукою, — старик повиновался, поднять и нагнуть было не трудно, — и...

## [ИЗ РАССКАЗОВ О СТАРИНЕ]

В конце прошлого века священник одного из сельских приходов Пензенской епархии, к составу которой принадлежала тогда и нынешняя Саратовская, был переведен из прежнего своего прихода в другой, тоже сельский, находившийся за несколько сот верст от прежнего. Фамилия его осталась неизвестна мне — по имени и отчеству он был Иван Кириллович. Жену его звали Мавра Перфильевна. Оба они были, надобно полагать, люди еще очень молодые, и детей у них была только одна дочка-малютка Полинька. Весь скарб, с которым они отправлялись на новое место, можно было уложить на одну телегу, на которой еще и оставался простор для жены священника с ее малюткой. Дело было летом. Чтобы устроить прикрытие от солнца для жены и дочки, Иван Кириллыч набрал ивовых прутьев и сплел из них прекраснейшую кибитку. Была у него и лошадь; запрягли ее и отправились в путь. Жена с дочкой сидели под кибиткою, муж, держа концы вожжей в руках, шел рядом. Благодаря этому лошади было не очень тяжело. Но все-таки жаль было лошади. Иван Кириллыч придумывал, каким бы образом облегчить ее труд. Возможность нашлась скоро: ветер был попутный, дорога шла мимо лесов; Иван Кириллыч вырубил две длинные палки, укрепил их впереди телеги в стоячем положении, привязал к ним полог и таким образом устроил парус. Ветер надувал парус, и лошади стало очень легко везти телегу.

Два дня или три, а может быть и четыре Иван Кириллыч и Марья\* Перфильевна с дочкой ехали благополучно и без всяких приключений. Но вот однажды утром Марья\*\* Перфильевна услышала вдали ружейный выстрел. Местность была совершенно пустынная, дорога шла лесом и очень большими прогалинами, через которые виднелись по сторонам луга и озера. Во все утро не попалось путешественникам ни одного проезжего или прохожего. Что такое этот выстрел? Не разбойники ли это? Мавра Перфильевна не могла отогнать от себя страшной мысли, но тревожить мужа своей боязнью не хотелось ей; выстрел был сделан где-то очень вдалеке, так что Иван Кириллыч, повидимому, и не расслышал его; быть может, разбойники проедут где-нибудь стороною, так что и не заметят Мавру Перфильевну с мужем и дочерью. Через несколько времени послышался другой выстрел, уже ближе. Мавра Перфильевна не могла теперь сдерживать более свою тревогу.

— Иван Кириллыч, ты не слышал?

— Что?

— Я говорю, ты не слышал?

— Слышал.

\* Так в рукописи; следует Мавра.

\*\* Так в рукописи: Мавра.

— Что ж нам теперь делать?

— Нечего нам делать: едем, то и едем, только.

— Как же только? Ведь это разбойники!

— Полно, Мавруша, какие разбойники! Это, должно быть, какие-нибудь городские купцы разъезжают по деревням с товаром, а вот едут мимо озер, увидали уток, ну и стреляют.

— Нет, нет, Иван Кирилыч, это разбойники, уж я знаю, что разбойники, гони лошадь-то!

— Эх, Мавруша! Если это разбойники, то у них лошади лучше нашей, да и клади меньше — не уедем от них. Только ты напрасно беспокоишься, вовсе это не разбойники, я говорю тебе — это проезжие купцы стреляют уток.

Настаивать или нет, чтобы муж сел на облучок и погнал лошадь? Муж послушался бы: он был сговорчив и любил угождать жене, но действительно была правда в его соображении о том, что гнать лошадь пользы не будет: не ускачешь от них; если заметили, то догонят. То не лучше ли в самом деле ехать шагом, как ехали? Пустить лошадь вскачь — будет много стуку от телеги, тогда разбойники наверное услышат, а теперь они, может быть, еще не заметили и проедут мимо. Это соображение заставило Мавру Перфильевну сидеть молча и заботиться лишь о том, чтобы не дать какого-нибудь повода раскричаться Полиньке, чтобы не прискакали разбойники на голос малютки.

Полинька дремала или вовсе почивала. Это было хорошо.

Довольно долго не было ничего слышно с той стороны, где разбойники. Быть может, свернули куда-нибудь дальше.

Но послышался опять выстрел, и уже гораздо ближе.

— Иван Кирилыч, гони лошадь! Теперь уже все равно; видно, что уж заметили нас, гони лошадь!

— Видишь ли что, Мавруша, ускакать от них не ускачем, а если это разбойники, то опаснее будет, когда мы поскачем от них: будем ехать шагом, то догонят нас они, увидят, что мы не гнали лошадь от них, значит не имеем от них опасения, думаем — они добрые люди, то, может быть, и у разбойников будет жалость к нам обидеть нас, когда мы считаем их за добрых людей.

Муж рассуждал справедливо. Мавра Перфильевна замолчала. Муж раза два посмотрел на нее.

— Мавруша! Да что ты в самом деле перепугалась? Лица на тебе нет! Это ты совсем напрасно. Поверь ты мне — вовсе это не разбойники, сама увидишь, как поровняются с нами; должно быть, купцы стреляют уток. Или, может быть, не купцы, а барин какой-нибудь или приказный. А скорее всего, что купцы — чаще они попадают по таким местам.

Какие странные люди эти мужчины! Иное он сообразит как следует. Вот хоть бы о том, [что скакать] еще хуже, чем ехать шагом. Но упрямые они. Заберется ему что-нибудь в голову, и не соспоришь с ним. Не разбойники это, купцы! Вот поди и переспорь его!

Стал слышен шум колес, топот лошади в стороне за лесом. Может быть, бог и пронесет мимо. Топот был быстрый, по дребезжанью телеги тоже было заметно, что едут быстро. Все ближе и ближе; но все-таки не видать еще за лесом. Должно быть, на эту дорогу выходит какая-нибудь дорожка с другой стороны. Вот хорошо было бы, если бы они выехали на эту дорожку далеко впереди и скакали бы, не оглядываясь. Что ж? Погони за ними не слышно, так чего же им оглядываться?

— Иван Кирилыч! Ты попридержи лошадь-то! Остановимся, постоим, пока они проедут.

— Нет, Мавруша, останавливаться поздно: та дорога, по которой они выедут на нашу, выходит уж совсем вблизи от нас, — все равно не утаимся. Да и чего нам таиться от них? Увидишь, купцы.

Мавра Перфильевна высунулась из кибитки взглянуть на дорогу впереди. Действительно, дорожка с той стороны, откуда приближался шум, выходила на эту дорогу вовсе подле, шагах в тридцати, не больше. Мавра Перфильевна стала смотреть направо, налево, нельзя ли свернуть в сторону за деревья; нет, место было низменное, поросло березой и осиной так густо, что нельзя провезти телегу между деревьями. Будь воля божия!

Проехали мимо той дорожки, Мавра Перфильевна оглянула[сь], нет, дорожка была извилистая, не видно их.

Проехали еще шагов тридцать. Слышно стало, что те выехали на эту дорогу.

— Здравствуйте, батюшка! — сказал один голос, такой звонкий, здоровый, настоящий разбойничий.

— Здравствуйте, батюшка! — сказал другой голос, такой же.

— Доброго здоровья и вам желаю, почтенные господа! — отвечал Иван Кирилыч.

— Что это вы, батюшка? Должно быть, с места на место перебираетесь? В телеге-то поклажа. Да и на телеге-то прилажена кибиточка. Семейство, значит, ваше с вами?

— Точно так, господа. Из одного прихода в другой перемещаемся, а в кибиточке точно сидят у меня жена с маленькой дочкой.

— Откуда же вы переходите, батюшка, и куда?

— А вот видите ли, почтенные господа, прежний мой приход был... — и принялся Иван Кирилыч рассказывать о прежнем приходе, о том, как просился у архиерея в другой приход, потому что тот приход слишком бедный, и т. д., и т. д. Те слушали. Досказал Иван Кирилыч, спрашивает:

— Теперь позвольте спросить у вас, почтенные господа, кто такие вы и куда едете?

— А мы, батюшка, купеческие прикащики, на доверии у хозяина. Вот он дает нам товар, а мы с этим товаром разъезжаем по селам. Вот едем так-то, видим озера, а на озерах утки сидят. Мы, знаете, вынули ружьецо, да и постреляли немножко.

— Так, так, господа. Отчего же и этим не развлечься от скуки.

И продолжается у них такой разговор. Совсем как есть приятели. И все выложил им Иван Кирилыч, как есть все: до того дошел, что и рясы свои пересчитал им, и женины наряды, и сколько денег, даже и то сказал. А денег у них было много: известное дело, был в том приходе домик, была скотинка; продали, а новых расходов еще никаких не было, все деньги еще целы; «Господи, хоть бы он о деньгах-то промолчал перед ними, нет, ведь и это выложил им!»

Ехали лесом, теперь выехали на прогалину.

— Но вот, батюшка, теперь есть место рядом ехать, этак-то будет ловчее разговаривать.

Хлопнули по лошади, она пошла поскорее, сворачивая в ту сторону, с ...

## IV

### БАБУШКИНЫ РАССКАЗЫ

#### I. Переселение прадедушки и прабабушки в новый приход.

Вот, расскажу я вам, Любинька, Николенька, какое было происшествие с батюшкою, матушкою, когда они ехали в новый приход.

По какому это было случаю, что архирей \* перевел батюшку вскоре после посвящения — на втором году, должно быть, судя по тому, что я была тогда грудной ребенок, или не дальше, как на третьем — в новый приход, не умею сказать: может быть, прежний приход был уж очень беден, то батюшка и просил архирея; а не мудрено и то, что мужики просили архирея перевести к ним батюшку, зная его за человека хорошего; но только, как бы то ни было, перевел архирей батюшку в новый приход. Расстояние было, должно быть, не маленькое; может быть, и двести или триста верст, а может быть и больше, потому что епархия была тогда либо пензенская, либо тамбовская, до самого Царицына все одна: не знаю какая, пензенская ль она была, или тамбовская, — только очень большая: народу тогда в здешних местах было еще мало; все леса да леса были.

Ну, распродали батюшка, матушка все лишнее, чего на одну телегу не положить, и уложили на одну телегу, что у них оставлено было взять с собою. Много ли, немного ли, а все же поклажа. А лошадь-то одна. А у матушки грудной ребенок — это я; идти ей нельзя же было бы много, хоть бы и не заботлив был о ней муж.

---

\* Так в рукописи и далее.

А батюшка в ней души не чаял, стало быть, ей всю дорогу ехать: батюшка не допустит ее сойти с телеги, кроме как разве, чтобы немножко ноги размять, когда устанет сидеть. И устроил же ей батюшка спокойствие для сиденья и прикрытjie от жару, от дождя! Она говорила, такую кибитку устроил, что вроде даже карету \* вышло. Ну, а это опять все равно, что клажа, как же? — Хороший-то навес во всю телегу, разве это мало тяжести? Он кожаный был и с дверкою: как есть карета. Теперь, как же и об лошади-то не подумать было, нельзя ли ей доставить облегчения? Подумать-то всякий хозяин подумал бы; и думают, да что придумывают? — Ничего. А батюшка придумал: привязал к переднему краю своей кареты по бокам по жерди, стоячие, как бы сказать аршина четыре в вышину; как подует попутный ветер, батюшка привяжет к этим жердям полог, и выходит парус; ветер-то и помогает лошади везти, а попутный-то ветер дул много; большое, говорит матушка, облегченье было лошади. — Ну, сам батюшка на телегу не садился, это уж вы сами можете понимать. Всю дорогу шел пешком.

Хорошо. Едут день, едут другой, может быть и третий, а то и четвертый. Почти что все лес, да лес, да кое-где между лесом пустые полянки; деревня от деревни — двадцать верст, это близко, а то и все пятьдесят, коли не семьдесят. Деревень почти только те и видели батюшка с матушкою по дороге, в которых ночевали; это уж всегда подгонял батюшка так, чтобы ночевать в деревне, для матушки и для ребенка: ежели переезд велик очень, — ну, на кормежке среди дня поменьше дает проклажаться \*\* лошади: как бы-то? Лошадку-то жалеет, а жену-то с младенцем больше.

Ехали они таким манером три дня, четыре ли. Проселок, места пустые. По целым дням ехали, ни души не встречавши. Известно, какая езда по некоторым проселкам в наших местах и теперь, особенно летом; а тогда и той не было. Совсем пустые места были. Едут; попутчиков как есть никого: встречных — иной день одна телега, либо две, а в иной день и ни одной во весь день. Едут, все одни да одни! Только на четвертый ли день, или уж на пятый, едут они после кормежки — значит, уж полдень прошел — слышит матушка, издали, сзади, громко так вдруг раздалось, шелкнуло вроде сильного треска: пу! Что такое? — Через минуту опять: пу! Приподняла занавеску — кожу-то, вроде дверцы, — высунулась, говорит батюшке: «Иван Кирилыч». — А он идет подле лошади, вожжи держит; обернулся на ее голос. «Слышишь, Иван Кирилыч, пу-кань-то?» — «Слышу, Мавруша». — «Это что такое? Это из ружья стреляют». — «Из ружья, Мавруша». — «Садись, гони лошадь». — «Зачем, Мавруша?» — «Ускакать от них, ведь это разбойники». — «Какие разбойники, Мавруша? Барин какой-нибудь или офицер едет, от скуки по уткам стреляет; по сторонам-то озера попадаются». — «Садись, гони лошадь, говорю тебе. Какое там по

\* Так в рукописи.

\*\* Так в рукописи.

уткам стреляют: разбойники». — «Разбойники не станут шума подымать, Мавруша, они тайком ездят». — «Известно, не без надобности стреляют: стало быть, попался им кто, убивают. Садись, гони лошадь!» — «Да не бойся ты, Мавруша, не разбойники это; догонят нас, увидишь: барин либо офицер. А если и разбойники это, как ты говоришь, гнать лошадей не в пользу нам: у нас кладь; они порожняком; да и лошади-то у разбойников не такие бывают, как наша. Поскачем, только на себя их наведем стуком от колес. Нам от них не ускакать. Шагом-то ехать, ежели и разбойники, ежели и догонят, скорее не тронут: много ли корысти-то зарезать-то нас? Будут видеть, какое наше богатство, и велики ль у нас должны быть деньги; а мы едем себе спокойно, стало быть и не понимаем, что они разбойники, слухов об них от нас не пойдет, — так зачем им нас резать? Поздороваются, как будто добрые люди, и поедут мимо. Так-то, Мавруша: хоть бы это и разбойники были, бояться их нам с тобою нечего. А ускакать нельзя, а попробовать скакать — беда; значит, мы поняли, кто они, и нельзя им упустить нас из рук, чтобы мы не подняли в селе шуму про них. То и будем себе ехать шажком, хоть бы это были и разбойники. Только это не разбойники. Не бойся, Мавруша».

Что ты прикажешь делать? Не столкуешь с человеком: уперся на своем; и слушать его, то будто и дело говорит. Запахнула занавеску матушка, сидит, плачет. — Слушает: тихо, не пукают. Думает матушка: ну, может, сделавши свое, убивши, ограбивши, повернули разбойники в лес к себе, а нас и не слышали. Утешает себя этими мыслями. Хорошо. Проходит, может быть, полчаса — все тихо. Успокоилась было матушка: уехали разбойники в лес. Только вдруг опять: пу! но уж совсем близко! Догоняют! — И стук от колес будто слышно. Слышно же и есть: и стук от колес, и топот от лошади: рысцою бежит, должно быть. Ну, теперь уж поздно и говорить мужу, чтобы сядился, гнал лошадь. Сидит матушка, дрожит.

Совсем близко подъехали. Пошла у них лошадь шагом.

— Здравствуйте, батюшка. — Это сзади-то раздалось.

— Здравствуйте, господа. — Это батюшка отвечает.

— Вы отец иерей будете или дьяконствуете?

— Священник я, господа.

— И тем лучше, батюшка. Значит, вот на полянку выедем, можно будет поровняться с вами, надобно будет слезать, под благословение к вам подойти. А куда едете?

Батюшка говорит, куда; называет село, в которое переведен: Сосновка это была.

— Знаем, батюшка. Выходит, мы с вами до самого конца вашей дороги будем попутчиками. Мы тоже в Сосновке должны побывать и дальше поедем. Мы приказчики; разъезжаем везде тут, большие круги делаем везде, все покупаем.

Ну, видно, полянка вышла: слышно матушке, поехали они в объезд мимо ее телеги. Давши им поровняться, пропустивши их

немножко, приотпахнула матушка свою дверцу, выглянула осторожно одним глазком в щелку: тележка небольшая, крашеная, красивая такая; сидят двое, в синих азиях, оба большие и высокие, и плечистые. И ножа, пожалуй, вынимать не станут: руками придушат. Опустила занавеску. И плакать-то боится, сидит ни жива, ни мертва.

— Здравствуйте еще раз, батюшка. Благословите.

— Бог вас благословит, господа.

Благословляет батюшка одного, другого: слышно это матушке по словам, какие говорит священник, когда благословляет; говорит эти слова раз — и слышно, чмокнул тот руку батюшки так звонко, будто с усердием; говорит батюшка благословенье в другой раз, слышно и другой чмокает, тоже звонко так, тоже, видно, благочестивый.

Идут с батюшкою, разговаривают. О себе рассказывают сначала: и от какого купца ездят приказчиками, и какие деньги с собою возят, и все такое; и кто сами, о своих родных и обо всем. Потом батюшку спрашивают: первым делом о супруге, детки есть ли, батюшка отвечает; и мало того, что отвечает, все им выкладывает, о чем и не спрашивали; как скот, вещи распродали, сколько денег выручили, сколько прежде было скоплено... Господи, твоя воля! До чего затмение-то рассудка может доходить! Что им нужно знать, о чем и спросить остерегаются, о том он им сам докладывает!

— Ну, — говорят, услышавши все, что ни нужно было знать:— Ну, — говорят, — когда так, батюшка, то и тем лучше, что вот мы вам нашлись попутчики: конечно, хоть и смиренные здесь места, ничего такого не слышно, а все же вам, будучи при деньгах, хотя и небольших для другого, а для вас немалых, тем больше для злого человека, при том же голого, даже очень завидных, лучше с нами-то, чем одному. Мы в обиду не дадимся; у нас два ружья, да кинжалы, нам без того нельзя: нам по всяким местам приходится ездить. Так мы до ночлега вместе с вами.

— Благодарю вас покорно, господа, — отвечает батюшка. Еще благодарит!

— Проводим, батюшка. Но только клажи-то у нас поменьше, да и лошадка-то побойчее; ей с вашею долго-то в ногу идти как будто скучновато; она у нас рысцою бегать охотница. Мы свернем, поищем, озерка нет ли опять, не попадется ли уток. Поколем, да и опять к вам. Не то, что для опасности, потому что это больше к слову только сказано — какие в здешних (местах) опасности! — а для того собственно, что в разговорах время идет приятнее, когда, вот как теперь, вы нам понравились, а надеемся, что и мы вам не противны. Между собою у нас уж все сто раз переговорено; ну, и едем...



## НАШЕ СЧАСТЬЕ

Рассказ П. К. Голубевой ее внучке и внуку.

Ну, сама я этого не помню, Любинька, Николенька, а рассказываю вам, как мне говорила матушка. Где же мне помнить, когда и Малаша не помнила. Ей было тогда четвертый год, я думаю.

Стало быть, четвертый год, либо пятый батюшка с матушкой жили на новом месте, потому что, вы знаете, Любинька, Николенька, Малаша была грудная малютка, когда они ехали туда. Я, говорит матушка, уж хорошо ходила; и была у них Параша; и она была тогда грудная и вовсе еще маленькая; сколько ей было недель, не знаю, только немного еще.

Хорошо. Вот раз — в зимнее это было время — вечером, только еще не поздно, слышат батюшка с матушкой скрипит снег на улице под чем-то тяжелым, только не под возом, потому что едет это тяжелое с большой скоростью, да и лошадей запряжено, слышно, что-то больше тройки, больше чем у возов не бывает. Ближе, ближе, — проехало это тяжелое мимо их окон и остановилось, значит, у их ворот. Ну, когда так, дело понятное: это едут в возке — так назывались зимние кареты — и хотят проситься переночевать у них. Так тогда делалось: кроме как у священника, негде было переночевать, кто не хотел терпеть духоты и смраду. Оно и теперь в глухих местах еще так, Любинька, Николенька. А тогда и по большим дорогам так было; тем больше по таким малопроезжим, как там у них.

И точно: постучался кто-то в ворота; заскрипела калитка, открыл, значит, работник. Входит в переднюю, — у них даже передняя была, такой хороший был у них дом, — входит в переднюю слуга в хорошей шубе, кланяется и говорит: батюшка и матушка, барин просит у вас позволения переночевать. Они говорят: милости просим. Уходит слуга, заскрипели ворота, въезжает на двор возок, входит в комнату мужчины, молодой мужчина, высокий, собой красавец; здоровается, подходит под благословение к батюшке, но только, принявши благословение, руку батюшкину не поцеловал, а пожал. Ну, батюшка знал, что в высоком кругу не целуют руку у священника, и матушка об этом слышала; стало быть, это ничего. Поздоровавшись, приняв благословение, садится, — просит и их сесть; сели. Он говорит о себе, что едет издалека и далеко, стало быть, больше приходится ему ехать по большим дорогам, как это обыкновенно выходит в дальних поездках, но что местами приходится ему с одной большой дороги на другую переезжать проселком, для сокращения пути, вот как и здесь. Рассказавши это о себе, спрашивает у них, давно ли они здесь, хорошо ли устроились и все такое. Между тем слуга принес погребец, принес какой-то сундук. Не сундук, а вроде будто сундука, только кожа-

ный, — чемодан, значит, это был, только хорошей работы, каких батюшка с матушкой и не видавали; вынимает из этого сундука, из погребца, столовое белье, посуду, закуски разные, чай, кофей, сахар; чай-то батюшка с матушкой уж сами пили. хоть, разумеется, только по праздникам; кофею хоть сами не пили, но видавали, — стало быть, и о нем понимают, что это такое; вынул еще что-то — желтая плитка, красноватая; ну, что такое это, батюшка с матушкой не знали. А что посуда серебряная, позолоченная, некоторая и золотая, это — вы сами понимаете, Любинька, Николенька, — не могло быть им в диковинку; как же хоть даже им не знать, что всельможи едят с серебра и с золота? Это всегда все знали.

## ВОСПОМИНАНИЯ

### № 1

#### ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ

Мы приехали в Петербург в мае 1853 [г.]<sup>1</sup>, Оленька и я. Денег у нас было мало. Я должен был искать работы. Довольно скоро я был рекомендован А. А. Краевскому одним из второстепенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним знакомым<sup>2</sup>. Краевский стал давать мне работу в «Отечественных записках», сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных сотрудников. Это было очень мало. Я должен был искать работы и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в «Современнике». Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, Панаев<sup>3</sup>. Я думал, что это и на деле так. Несколько месяцев прошло прежде, чем я нашел случай попросить работы у Панаева, которого видел у одного из людей, знавших меня по университетским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли я в сотрудники «Современнику». Пусть я приду завтра утром. Я пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие длинных статей. Я принес Панаеву мои рецензии скоро; если не ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли я работать в «Современнике», и опять пригласил посидеть, поговорить. На следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня посидеть, поговорить.

Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его

увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне в ответ на мой поклон, и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел»... спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев...» я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шопот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. — Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву — это была минута или две — он повернул, — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот, прежде познакомься: это» — он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь, сказал своим шопотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был сирокшен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом,\* как дряхлый старик. — Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне — дальше двери, — где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шопот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поровнялся с ним; и поровнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редактируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. — Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще о том, что

относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад\*\*\*». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. — Пойдем ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате<sup>4</sup>.

Этому началу первого моего разговора с Некрасовым теперь двадцать девять лет. Разумеется, я не могу ручаться, что помню слово в слово то, что говорил он в эти две, три первые, навсегда установившие мои отношения к нему, минуты, пока я сидел, а он оставался стоять. Но смысл и тон был тот самый, это прошу считать достоверным.

Мы стали ходить по комнате. Он говорил мне о денежном положении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую правду, безо всякой утрировки. (Я в довольно скором времени стал сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существенные черты тогдашнего положения «Современника» были: он обременен большими долгами за прежние годы издания. (Не умею теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, около конца осени 1853 [г.]; быть может, не очень ошибаюсь думая, будто мне помнится, что сумма долгов за прежние годы была около 25 000.) Расходы по изданию едва покрываются с году на год подпискою<sup>5</sup>; да и то лишь при помощи кредита: те из расходов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор — Прац (хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). Он человек с хорошим состоянием, много денег лежит у него в запасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты долгов за прежние годы с году на год и отсрочку уплат за каждый текущий год до новой подписки. И он не алчный человек, не ростовщик; проценты берет не грабительские. Но цены работ в его типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он берет дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь

для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хорошими рисунками и на дорогой бумаге. А в журнале, печатающемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. (Если не ошибаюсь, тысячи 4 рублей в год.) Следовало бы перенести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. Но до сих пор не было возможности сделать этого, потому что журнал связан с типографией Праца долгами ее хозяину. — И так далее, и так далее, с этою же точностью вел Некрасов подробный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения журнала. Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современника», он перешел к рассказу о своих денежных отношениях к журналу. Хозяин и по совету и по деловому расчету не он один; Панаев имеет на журнал равные с ним денежные права. А Панаеву нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он легкомысленный ветреник, любит сорить деньгами. — «Я держу его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. Но за всякою мелочью не усмотришь; кое-что он успевает захватывать из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия<sup>6</sup>. А надобно же нам с ним и жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство с ними стоит очень дорого, потому что для этого надо жить довольно широко; но это расход, необходимый для поддержания журнала», — и так далее, обо всем, относящемся к личным расходам Панаева и его самого, и обо всем, тому подобном. — «Сам я не в тягость кассе журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из нее или занимаю, делая заем иногда, как заем журнала у книгопродавцев, в магазинах которых его конторы; в особенности у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при магазине Базунова); «вообще, я расходую и деньги подписки и займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы уплачиваю всегда все. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов в вознаграждение себе за редакторский труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но не могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж очень порядочные деньги. Но как наберется у меня столько, чтоб можно было начать играть в банк, не могу удер-

жаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю все, с чем начал игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы журнала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться» \*. Он продолжал говорить, объясняя мне, какие расчеты и надежды можно иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и заключил свое всестороннее, точное объяснение всего выводом совета мне:

«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журналы не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев говорил, вы уж работаете для Краевского. Он враг нам, т.-е. мне. Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас. А пока я буду — я уж говорил — до новой подписки буду давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у меня денег дать вам. Начнется подписка, вы будете писать для меня столько, сколько будете успевать писать». — После этого он повел разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» на следующий месяц, и [стал] соображать, какую работу и сколько работы для этой книжки даст он мне.

Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков был первый его разговор со мною \*\*.

---

\* После, когда возобновлял он разговор о том, что как начнет играть в банк, непременно проигрывается, я стал объяснять ему, почему это неизбежно должно всегда бывать так: он иногда понтировал; а по условиям игры в банк понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает. Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок дает понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, которые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остается проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести возможность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу обзоров игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает.

\*\* Продолжение пришло через несколько дней.

Мне казалось, что человек, говорящий так просто и прямо-душно, заслуживает полного доверия. Само собою разумеется, что это оказалось справедливым. Я постоянно видел, что Некрасов держит себя относительно меня совершенно так, как обещал.

Когда Краевский увидел, что Некрасов считает меня полезным сотрудником, стал и сам считать меня таким. Это предсказание Некрасова сбылось; и дело пошло дальше тем самым ходом, как он предсказывал. Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я работал только для него: работы мне найдется достаточно и у него одного. Я отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать для «Современника» и что я посоветуюсь с Некрасовым. Рассказал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он в ответ повторил мне прежние свои замечания о скудости кассы и шаткости дела «Современника», о денежной надежности Краевского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Краевскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует поступить. Было ясно, что Краевский поставил вопрос так, как предвидел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником, откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и шаткости положения «Современника» благоразумие требовало последовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я чувствовал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краевского ему. У него иной раз мало, иной раз вовсе нет денег. Но он все-таки не допустит меня слишком нуждаться: как при безденежье берет у Базунова или у какого-нибудь другого книгопродавца деньги для своих безотлагательных надобностей, так будет находить деньги и для моих. Он полагает, что ему не долго остается жить на свете. Это, вероятно, так. Но это лишь вероятность. А пока он жив, он не допустит меня нуждаться, это не вероятность, а достоверность. Потому, не будет ли мне благоразумнее, наперекор его совету, держаться его? — Краевский несколько раз возобновлял разговор о своем желании, чтоб я работал исключительно для него, и с каждым разом говорил настойчивее. Я по-прежнему отвечал ему, что посоветуюсь об этом с Некрасовым; говорил с Некрасовым снова и снова, и слышал от него все прежний совет: «благоразумнее будет вам держаться Краевского». Наконец, Краевский сказал мне то, чего, как предсказывал Некрасов, да и сам я теперь понимал, следовало ожидать: «Вам нельзя участвовать вместе и в «Отечественных записках» и в «Современнике». Вам надобно выбрать между мною и Некрасовым». — Я отвечал: «Почему ж мне нельзя участвовать вместе в обоих журналах? Участвуют же в них обоих очень многие другие». — «Это совсем не то, — сказал Краевский: — другие, на которых вы ссылаетесь, кто они, чем участвуют они в журналах моем и Некрасова? Это поэты, беллетристы. Написал стихи или роман, отдал редактору, и



только всего. Участия в редакционной работе они не принимают. Я не говорю с ними о делах моего журнала; Некрасов не говорит с ними о делах своего. Они посторонние журналам люди, и отношения между журналами не касаются их. Ваше положение не то. Вы пишете статьи в тех отделах журналов, которые составляют редакционную часть их; вы участвуете в редакционной работе. Я говорю с вами о делах моего журнала, Некрасов о делах своего. Вы по необходимости вмешаны в отношения между нами и нашими журналами. А эти отношения враждебны. Помогать вместе и мне и Некрасову — это неудобно. Ваше участие в редакционной работе и у меня и у Некрасова растёт, и отношения, бывшие прежде только неудобными, становятся неудобными до невозможности. Нельзя долее откладывать решение. Чтобы быть сотрудником «Отечественных записок», вы должны отказаться от сотрудничества в «Современнике». Откажитесь». — Я отвечал, что посоветуюсь с Некрасовым. Он, выслушав, чем мотивировал свое требование Краевский, сказал: «Теперь, когда вы слышали это от него, я скажу вам, что он прав. Ваше положение сотрудника в двух враждебных один другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для вас предположениям. Вы живете вне литературного круга и не знаете, что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в «Современнике» против «Отечественных записок», в «Отечественных записках» против «Современника». Говорят, вы передаете мне редакционные тайны «Отечественных записок», а Краевскому редакционные тайны «Современника». Так это или нет, известно лишь мне относительно слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной половине слуха, но о другой неизвестна. И мне тоже. Выдаёте ль вы мне Краевского или нет, я знаю. Но выдаёте ль вы Краевскому меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, что вы не выдаёте его мне? Вы скажете, что я не опасаясь предательства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб он пренебрегал слухом о том, что вы предатель. Он совершенно в праве находить невозможным, чтобы вы, участвуя в его журнале, оставались сотрудником моего». — Я понял, что действительно хочу невозможного, желая убедить Краевского отказаться от его требования, и сказал Некрасову, что, убедившись теперь в необходимости сделать выбор между ним и Краевским, я откажусь от сотрудничества Краевскому. Он отвечал: «не пришлось бы вам расканиваться. Подумайте хорошенько». — Я отправился к Краевскому и сказал, что, убедившись в основательности его требования, благодарю его за расположение, которое он всегда оказывал мне, и прошу его принять без гнева мой отказ от сотрудничества ему. Он ждал противоположного и сказал это без утайки; не стал скрывать и того, что не может не осуждать моего решения, кажущегося ему неблагоразумным; но прибавил, что, бывши в самом деле расположен ко мне, остается, несмотря на досаду, которую я сделал

ему своим неблагоприятным выбором, человеком, искренно желающим мне добра. Словом, он держал себя при прощании со мною, как прилично человеку хорошего тона и, в сущности, не дурной души. — Кстати замечу, что во все продолжение моего сотрудничества он был неизменно ласков и искренно доброжелателен ко мне, так что я не могу сказать о его отношениях ко мне ничего кроме хорошего; и насколько я знаю его, а я мог в то время узнать его довольно близко, — я знаю его за человека недурного. — Когда я пришел к Некрасову и сказал, что остался при своем решении и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: — «Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может, вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное положение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским»<sup>7</sup>.

И, разумеется, я не имел причины раскаиваться. Об этом нечего и говорить; потому что, если б я не был доволен своими отношениями к Некрасову, что ж помешало бы мне, сделавшемуся через несколько времени человеком, пользующимся расположением публики, возвратиться к Краевскому? Он не отказал бы мне в хороших условиях сотрудничества. Нуждается ли эта моя уверенность в доказательствах? Вероятно, нет. Но если бы нуждалась, достаточно припомнить один из многих фактов, отнимающих возможность сомнения. Когда я начал писать для «Современника», самым важным и самым деятельным сотрудником его, собственно журнального отдела его, был Дружинин<sup>8</sup>. Этот бойкий журнальный работник любил мальтретировать тех, нападать на кого приходила ему охота; а охота полемизировать была у него чрезвычайно сильная. Главною целью своих нападений он избрал Краевского и восхищался тем, что постоянно раздражает его своими насмешками. Когда Некрасов говорил с людьми, близкими и ему и Краевскому, что вражда между «Современником» и «Отечественными записками» дело напрасное и что лучше бросить ее, Краевский возражал, что он не может примириться с «Современником», пока в этом журнале пишет Дружинин; если Некрасов перестанет позволять Дружинину нападать на него, этим он не может удовлетвориться; в наказание за обиды ему Дружинин должен быть выгнан из «Современника»; он не может допустить, чтобы такой дрянной забияка оставался терпим в литературе. — Когда я стал писать исключительно для «Современника», я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих; и при моем возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов «Современника» Дружинин оказался непригодным для него по образу мыслей. Как только [он] увидел, что ему надобно вовсе удалиться из «Современника», Дружинин предложил свое сотрудничество Краевскому и был принят им с распростертыми объятиями. Предположим — хоть и мудрено предположить, — что прежде я

не знал, рад ли будет Краевский моему предложению вернуться к нему. После приема, сделанного им Дружинину, не могло не стать ясно для меня, что он будет очень рад мне. Ни в одной из статей «Современника», о которых возможно было ему думать, что они писаны мною, не было ничего обидного лично ему, ничего подобного нападениям на него, насмешкам над ним, которыми непрерывно раздражал его Дружинин. И вытеснивший Дружинина из «Современника» журналист несомненно должен был казаться сотрудником, приобрести которого для «Отечественных записок» будет гораздо важнее, чем было для них приобрести сотрудника, забракованного «Современником». Что ж мешало бы мне возвратиться к Краевскому, если б я не был доволен отношениями Некрасова ко мне?

Нахожу надобным говорить об этом потому, что людям, не знавшим денежных расчетов между Некрасовым и мною, могло казаться совершенно противное тому, что было на деле. Меня знали, как человека, не умеющего отстаивать свои денежные интересы; о Некрасове некоторые думали, что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости. Разница между нами в этом отношении была не совсем та, какую можно было предполагать людям, не знавшим фактов. Во все продолжение моих деловых отношений к Некрасову не было ни одного денежного вопроса между нами, в котором он не согласился бы принять мое решение. И, кроме одного случая, он принимал мое решение без малейшего противоречия. Этот единственный случай денежного спора между нами был таков, что я сам считал себя неправым в своем требовании. Я и не возражал на доводы Некрасова; я только говорил, что остаюсь при своем требовании. И он, после длившегося часа три тяжелого для нас обоих разговора, вполне принял мое решение. Дело в том, что я придумал это решение из желания успокоить болезненную мнительность Добролюбова (бывшего тогда за границею)<sup>9</sup>. Я жертвовал интересами Некрасова и Панаева, чтоб избавить Добролюбова от фантастических сомнений. За свои интересы Некрасов не стоял; он хотел только охранить интересы Панаева. И был совершенно прав, доказывая, что я требую нарушения их. Но я, ничего не возражая, не принимал никаких резонов, и, скрепя сердце, Некрасов пожертвовал мне интересами — не своими: свои он с первого слова отдал на мой произвол — но интересами постороннего спору, беззащитного при покинутости Некрасовым, беспомощного и безответного Панаева. — Если доведу рассказ до того времени, к которому относится этот спор, изложу его с подробною точностью.

Поправка к одной из строк страниц[ы] начала. В том месте, где я говорю о степени точности, с какою передаю первые слова Некрасова мне, я выражаюсь: «этому разговору теперь двадцать девять лет»; не двадцать девять, а тридцать; разговор был не в 1854, а в 1853 году. Причина ошибки — арифметический недосмотр. Прошу исправить.

# ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ.

(Ответ на вопрос)

О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определенных воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения Добролюбову и мне случалось говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых, долгих разговорах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем; едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Но вероятно в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.

По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или мне.

Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда, и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения он был очень любезен и с Добролюбовым, но об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям.

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова, и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 г. Переселение Добролюбова в квартиру рядом с квартирою Панаева и Некрасова произошло таким образом.

Добролюбов, человек с довольно большими практическими способностями в ведении тех дел, которыми интересовался, совершенно неглижировал своей житейской обстановкой, и потому она, на-

сколько ее устройство зависело от его участия, всегда была очень неудовлетворительна.

По выходе из Педагогического института Добролюбов поселился на квартире сырой и производившей неприятное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка которых была старая, полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хоз-яев) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, служившая приемной, представляла вид амбара почти пустого. Мне не раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посещений не выходило, разумеется, никакого результата для улучшения его житейской обстановки. Как только вздумалось Некрасову побывать у него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо ко мне и начал разговор прямо словами: «я сейчас был у Добролюбова, я не воображал, как он живет. Так жить нельзя. Надобно приискать ему другую квартиру». За этим началом следовало продолжение, переполненное упреками мне за мою беззаботность о Добролюбове. — «Положим, вы сам не умеете ни за что взяться, но хоть сказали бы вы мне». — Особенно много огорчала Некрасова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если останется в такой обстановке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату (Федору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добролюбова. Дал такое же поручение и своему слуге Василию. Когда я зашел к Некрасову, часа через два, через три после того, как он был у меня, он говорил уже о том, что затруднений с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квартиру и меблировать ее, разумеется, нетрудно, но это еще ничего не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. Как быть с этим? Обедать каждый день в ресторане это скучно, да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушел. Когда пришел к Некрасову на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось удобнее, чем можно было надеяться.

Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире в доме Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По черной лестнице этой квартиры, в том же этаже было помещение из двух комнат с передней. Не умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой небольшой квартире, или она стояла пустая. Но так или иначе она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некрасову. Ее тотчас же начали поправлять\*, и дня через два или три Некрасов уже мог переселить туда Добролюбова<sup>1</sup>.

\* Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с радостью передали Некрасову квартиру, получив от него вознаграждение за согласие переселиться из нее. Кажется, именно так и было: квартира была сожжена у прежних жильцов.

Поселившись тут, Добролюбов не имел своего особенного обеда; он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особе от Панаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или с Некрасовыми или с Панаевым. Изредка ему случалась надобность обедать на своей квартире. Это бывало, например, когда у него гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хотелось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову был досуг оторваться надолго от работы на время обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый; по окончании его обедавшие пили чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, или потому, что у него был кто-нибудь. Но утром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оставался тут и завтракать. Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей работы по редактированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова.

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге<sup>2</sup>, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день.

Та половина квартиры Панаева и Некрасова в доме Краевского, которую занимал Некрасов, состояла из двух комнат: зала и спальней. Была кроме передней еще одна комната, но ту нечего считать, потому что она служила только умывальной. В ней никогда никого не бывало, и даже мне случалось заходить в нее лишь тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами руки. Вход в нее был из передней прямо. Из передней налево были двери в зал — это была очень большая комната. Двери из передней были с длинной стороны, противоположной окнам. В дальней налево поперечной стене зала были двери в спальную. Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели; пил утренний чай в постели; если не было посетителей, то оставался

в постели иногда и до самого завтрака. Он и читал рукописи и корректуры и писал, лежа в постели. Тургенев, конечно, не принадлежал к тем посетителям, которые мешали Некрасову оставаться в ней. Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрака, Некрасов приходил в зал и после того вообще оставался уже в этой комнате. Тут вдоль всей стены, противоположной дверям в спальную (вдоль поперечной стены направо от дверей из передней), был турецкий диван очень широкий и мягкий, а недалеко от дивана по соседству с окном стояла кушетка: Некрасову было так же удобно валяться на этой мебели в зале, как на постели в спальне, куда он, раз вышедши в зал, уходил только по каким-нибудь делам; например, для того, чтобы заняться работой без помехи от гостей, продолжавших и без него благодушествовать в зале, или для того, чтобы без помехи от них переговорить с кем-нибудь, уводимым туда для деловой беседы. Таким образом, вообще говоря, одна из двух комнат половины Некрасова оставалась пустою: пока Некрасов в спальне, там с ним те близкие знакомые, кого принимает он в спальне; переходит он в зал, переходят с ним туда и они. Мне, разумеется, очень часто была надобность оставлять Некрасова и его гостей в зале и уходить в спальню одному, чтобы работать там. Иногда делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь не хотел переходить с работою в свои комнаты; но вообще, даже я оставался в той комнате, где Некрасов. Тем больше надобно сказать это о Добролюбове: когда я должен был исполнять подвернувшуюся на квартире у Некрасова спешную работу, не имея времени уйти с нею домой, то я занимался ею один; мои работы были такие, в которых Некрасов не принимал участия; а доля Добролюбова в редактировании журнала относилась более всего к тому отделу, которым занимался и Некрасов, так что они любили работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. Тургенев, разумеется, мог проводить время в той из комнат Некрасова, в какой хотел; он был тут свой человек, вполне свободный делать, как ему угодно и что ему угодно; но он бывал тут собственно для того, чтобы разговаривать с Некрасовым, и потому постоянно держался подле него. Некрасову часто случалось по деловой надобности уходить от Тургенева; Тургенев от Некрасова не отходил, кроме, разумеется, тех случаев, когда бывало много гостей и гости разделялись на группы.

Как держал себя Добролюбов относительно Тургенева в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мною об этом; он не имел охоты быть экспансивным со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне.

Итак, человек не наблюдательный, я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу

случаю легко сообразить, сколько любезности приводилось по всей вероятности находить Некрасову в моих замечаниях, делаемых по рассеянности безо всякого внимания к их смыслу для него. Само собой понятно, что не могла не остыть в нем охота рассказывать что-нибудь интимное о себе такому собеседнику, который вставлял в паузы рассказа совершенно посторонние делу замечания, отношения которых к предмету рассказа не замечал, потому что приносил их без всякого намерения, не придавая им никакого значения.

Не умею рассудить, достаточны ли эти соображения для объяснения тому, что Некрасов вскоре после начала моего знакомства с ним утратил влечение к интимным рассказам мне о своей личной жизни, или были ему даны моими неловкостями еще какие-нибудь мотивы, догадаться о которых не приходит мне в голову. Но факт в том, что я после двух, трех вечеров вдвоем с ним у него, при самом начале знакомства уже не слышал от него рассказов о его личной жизни иначе, как по какой-нибудь очень серьезной надобности ему предоставить мне участие в его отношениях к кому-нибудь из людей, очень близких или очень интересовавших его. Одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого привелось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать Германию от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу<sup>7</sup>.

Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда, при отсутствии интереса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что в сущности я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить «Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая.

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел ее. Я развернул: это был один из томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое: — Тургенев очень хвалит их и советует перевести в «Современнике»; особенно он настаивает на том, что надобно перевести один из этих рассказов, — на котором



и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но достаточно знал по панегирикам ему, из которых видно было: он жеманник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора не заслуживающим перевода в «Современнике», но что я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я перемену мнение о нем и что в частности тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть *Barfüssele*. Она не понравилась мне. Других рассказов я и не пробовал читать. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из нее переводить не стоит. — Тургенев долго не отставал и много раз спорил со мною и был очень раздражен неуспехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, кроме нас, неизвестной; а другой случай подобного рода произошел в присутствии многочисленного общества.

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них постоянно бывал приглашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, бывал Арапетов.

Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. Панаева<sup>8</sup> никогда не бывал приглашаем на эти собрания. (Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими обыкновенно бывали те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.

И вот, после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. (Камин был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея — высокое художественное

произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант и т. д., и т. д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал с своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вел я спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще, при моем вступлении в «Современник» Тургенев имел большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редактировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего против рекомендации плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу.

Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нем, я не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей часть своих поместий. Огарева умерла. Поместья должны были быть возвращены Огареву; но управлявший поместьями, дальний родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший свое, прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, ле-

жавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, воображали, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в доверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некрасова в те годы, в которые были делаемы г-жою Огаревой неприятные ее мужу распоряжения. Но Герцен имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать которые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем, оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и всем ученым, занимающимся историею русской литературы того времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена<sup>9</sup>.

Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т.-е. тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться с мыслями Герцена и подобно людям менее робким, более твердым, как, например, П. В. Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена. И кончилось тем, что он поддался Герцену.

К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желания других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева.

Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок; но вчера я получил Посмертное издание стихотворений Некрасова (четыре тома 1879). Просматривая «примечания», помещенные во второй части четвертого тома, я нашел

в них цитату из моей статьи («Полемиические красоты», напечатанной в № 6 «Современника» за 1861 год). Вот это место, очевидно служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с «Современником», т.-е. по необходимости и с Некрасовым, — рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моем ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? — Ссылаемся на самого г. Тургенева».

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что единственным, решившим дело, мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», т.-е. на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю все, то разумеется были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышали только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин великий поэт и что он умер от раны, полученной на дуэли; а, вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собою; но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видаться у Некрасова. Не говоря о чем другом, надобно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета «Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым» в первый год по основании этого Общества<sup>10</sup>. Комитет собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петровича Ковалевского, который был председателем. До начала заседания долго шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете; по окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьезных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я,

постоянно повертывавший разговор в шутовское направление, говорил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще, мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими; но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова; тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову, этого нельзя было не понимать и наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня: и однако же Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.

Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал Пассажа. Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по которым развешивался занавес, так что образовался особый отдел в роде кабинета не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведывавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читалось публике, я никогда не был повинен. Естественно всякий другой из членов комитета, усердно слушавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду его о том, как всегда обижал, теперь после разрыва его с Некрасовым еще больше обижает его Добролюбов<sup>11</sup>. Под конец он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. Какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нем так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы поправить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое горе в шутку. Мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее

каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно иное; именно так: «Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутивно развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце.

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбова, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого Тургенева — иначе я не мог бы ссылаться на него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне.

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова; попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений<sup>12</sup>. Но это были только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал, — рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то или в Италии или во Франции; быть может в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отомстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил, как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. Это действительно портрет действительного лица, но совершенно иного; это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания. Г-жа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев

сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман.

Мое личное мнение об этом деле основано на фактах, которые случилось мне слышать об одном из прежних романов Тургенева — «Рудин».

Вскоре после того, как «Рудин» был напечатан, В. П. Боткин приехал на несколько времени в Петербург. Он поселился жить, как обыкновенно делал в те годы, у Некрасова и проводил большую часть утра и после своих разъездов по городу все остальное время дня в той комнате, где случалось бывать в эти часы Некрасову. Потому я постоянно виделся с ним в этот его приезд, как и в другие, подобные. Особенно близкого знакомства со мною он не заводил, но был очень добр ко мне и потому охотно разговаривал со мною. В один из очень длинных разговоров втроем, между Некрасовым, Боткиным и мною, случилось Боткину заговорить с Некрасовым о «Рудине». Я вставил в их беседу о нем какие-то маловажные слова, имевшие тот смысл, что портрет Бакунина, начерченный Тургеневым в лице Рудина, едва ли верен. По всей вероятности, сходство утрачено через то, что черты слишком изменены с намерением сделать их дурными. Некрасов на это сказал: «Да, но если б вы видели, каково был изображен Бакунин в третьей или четвертой редакции романа, которую Тургенев хотел отдать в печать как окончательную. Только благодаря Василию Петровичу он понял, что обесславил бы себя, если бы напечатал роман в том виде. Тургенев переделал роман, выбрасывая слишком черное из того, что говорилось там о Рудине». — Я попросил Боткина рассказать мне, как это было. Боткин стал рассказывать. Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом. Он дописал или почти дописал в этом направлении, когда струсил. Ему вообразилось, что репутация его способности понимать людей пострадает, если он изобразит главное лицо своего романа только одними светлыми красками. Скажут: где же тут анализ, открывающий в человеческом сердце темные уголки. Без темных уголков никакое человеческое сердце не обходится: кто не нашел их, тот не умел глубоко заглянуть в него. Тургенев начал переделывать роман, стирая слишком светлые краски и внося тени. Долго возился он, то стирая слишком много, то опять восстанавливая сияние ореола. В разных стадиях этой колеблющейся переделки он читал совершенствуемый роман тем из приятелей, эстетическому вкусу которых доверял: читал и Некрасову, и ему (Боткину), и Дружинину, и Коршу (Евгению Федоровичу), и Кетчеру, и не помню теперь еще кому-то. Каждый судил, разумеется, по-своему, и Тургенев уступал в чем-нибудь советам каждого. Но в общем переделка шла к тому, что темные краски делались все гуще и гуще. Этим, конечно, сглаживались несообразности остатков прежнего панегирика со вносимыми в него страницами пасквиля. И когда не осталось в романе ничего, кроме пасквиля, Тургенев увидел, что теперь ро-

ман хорош: все в нем связно и гармонично. Он объявил приятелям, что вот роман наконец готов для печати, он прочтет им его, и начал читать. В собрании приятелей, на котором происходило чтение, был и Василий Петрович. Выслушав, он стал говорить Тургеневу, что напечатать роман в таком виде будет невыгодно для репутации автора. На этом месте рассказа Боткина Некрасов, ограничивавшийся прежде короткими и маловажными напоминаниями и замечаниями, сказал, что продолжать будет он и продолжал, попросив Боткина слушать и направлять, если он скажет что-нибудь не так. Действительно, самому Боткину было бы затруднительно продолжать рассказ с прежнею подробностью и живостью, приходилось бы передавать негодующую речь, имевшую характер нотации, какие читают взрослые солидные люди зашалившимся школьникам. Боткин, в те годы, когда я знал его, был человеком очень умеренных мнений, более склонявшимся на сторону осторожного консерватизма, нежели расположенным одобрять что-нибудь рискованное или эксцентрическое, прогрессивное. Но он не забывал, что люди, с которыми был он дружен в молодости, были в сущности люди честные, и был возмущен сплошною клеветою на одного из них. Рудин был в этой окончательной редакции романа, с первого слова и поступка до последнего фанфарон, лицемер, мошенник, и только фанфарон, лжец и мошенник, больше ничего. Когда Боткин кончил свою оценку характера, какой дан Рудину в этой редакции романа, Тургенев был смущен до того, что оставался совершенно растерявшимся. Он, повидимому, сам не понимал, что такое вышло из его Рудина. Тут Боткин остановил Некрасова возражением, которое начиналось словами в таком роде: «извините, Некрасов, он понимал», и продолжалось беспощадным анализом некоторых сторон характера Тургенева. Боткин говорил с ядовитым негодованием. Когда он кончил, Некрасов не мог сказать ничего в защиту Тургенева и только убеждал Боткина судить снисходительнее о человеке, который если поступает иногда нехорошо, то лишь по слабости характера. После этого эпизода Боткин и Некрасов dokonчили рассказ об истории переделок романа. Боткин сказал тогда Тургеневу, что если он не хочет погубить свою репутацию, то должен вновь переделать «Рудина» или бросить его. В таком виде, как теперь, роман не может быть напечатан без позора для автора. Тургенев сказал, что переделает. И переделал. По мнению Боткина и Некрасова, роман, испытавший столько перипетий, вышел в том виде, как напечатан, мозаикой клочков противоположных тенденций, в особенности в характере Рудина. На одних страницах, или клочках страниц, это человек сильного ума и возвышенного характера, а на других человек дрянной. Кажется, и мне самому думалось тогда, что характер Рудина — путаница несообразностей. Не умею припомнить теперь ни того, думалось ли мне так тогда, ни того, так ли это на самом деле<sup>13</sup>.

Но выдержан или не выдержан в романе характер Рудина, во всяком случае это вовсе не портрет Бакунина и даже не кари-



катура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина. Такими ярлычками нельзя не признать, например, того, что Рудин оратор, и того, что он иногда забывает отдать приятелю какие-нибудь ничтожные деньги, взятые в заем. Вероятно, подобных заимствований из характера или биографии Бакунина очень много в романе, но я плохо помню его.

В заключение истории переделок «Рудина» расскажу последнее, что случилось мне узнать о его судьбе. Не умею определить теперь, через сколько времени после того, как он был в первый раз напечатан, Тургенев издал собрание своих сочинений. Панаев, отдавая мне экземпляр этого издания, передал мне желание Тургенева, что если я буду писать что-нибудь об этом издании, то чтоб я не упоминал о прибавлении, которое он сделал к «Рудину»: роман теперь кончается тем, что Рудин участвует в одном из парижских народных восстаний (Панаев, разумеется, называл, в каком именно, но я теперь не умею припомнить в каком: в июньском или междуусобицы, или в февральской революции), сражается геройски и умирает славною смертью бойца за свободу. Если журналы выставят на вид этот эпилог, все издание может подвергнуться запрещению и потому не надобно говорить о нем. Желание Тургенева, если только следует называть это желанием, а не заявлением справедливого авторского требования, которому честные люди обязаны повиноваться по внушению совести, конечно, было принято мной с полным одобрением; но так как из этого вышло, что мне, обязанному не писать об эпилоге, нет и надобности прочесть его, то я и оставил его не прочтенным; потому не знаю, хорош ли он в художественном отношении и может ли выгодный для репутации Рудина конец заставить простить ему те слабости или дурные качества, которые в целом длинном романе навязывал ему автор<sup>14</sup>. Но важен ли сам по себе или маловажен этот эпилог, он заслуживает большого внимания, как факт, доказывающий стремление Тургенева загладить сделанную ошибку, когда достало у него характера и умения.

Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в самом деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил г-же Маркович (говорил в последствии времени и многим другим; быть может даже и заявлял что-нибудь такое в печати: мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моем воспоминании). Но если предположить, что публика была права, находя

в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ораторы и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налечки, которая годилась бы в признаки, что он должен изображать собою Добролюбова. Разве одно: я слышал сейчас, что Базаров высок ростом, но я слышу это, как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный по возможности сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев<sup>15</sup>. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? — Написал ли он после «Отцов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? — Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об «Отцах и детях»<sup>16</sup>.

Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остается прибавить то, что я знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после разрыва между ними. Я не умею припомнить никаких отзывов моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за это время. Но, разумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне иногда говорить о нем что-нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову о Тургеневе, все было сказано тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким образом, он имел с моей стороны возбуждение говорить мне о Тургеневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нем тоном человека, дорожающего воспоминаниями своей прежней дружбы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком жестоким; но если не всегда в своих поступках (надобно помнить, что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший от безденежья, после того больной), то всегда в своих чувствах он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек справедливый и великодушный.

**[ЗАМЕТКИ О НЕКРАСОВЕ]**

Заметки при чтении «Биографических сведений» о Некрасове, помещенных в I томе «Посмертного издания» его «Стихотворений»,

СПБ, 1879<sup>1</sup>

Стран. XVIII и XIX.

На стран. XVIII и XIX приведена выписка из воспоминаний Достоевского о Некрасове<sup>2</sup>. Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться. Для примера тому, как вздорны рассуждения Достоевского о Некрасове, возьму из выписки полторы строки. Однажды Некрасов стал рассказывать Достоевскому о своем детстве, и в этом рассказе «обрисовался» перед Достоевским «этот загадочный человек самой затаенной стороной своего духа»; а самая затаенная сторона его духа была — то, что его детство оставило в нем грустные воспоминания. — Каким образом это могло быть «затаенною», даже «самой затаенной» стороною духа «загадочного» человека, когда он в стольких лирических пьесах и стольких эпизодах поэм передавал всей русской публике тяжелые впечатления своего детства? — Да и чего было бы таить в них? — Как любил он передавать их публике, точно так же любил и пересказывать их в разговорах. — После этого натурален вопрос: был ли «загадочен» человек, который так таил «самую затаенную сторону своего духа», который столько раз говорил о ней публике и любил подробно рассказывать о ней каждому знакомому, желающему слушать? — Ровно ничего «загадочного» в Некрасове не было. Он был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нисколько загадочными сами по себе; не было ничего загадочного и в том, почему они развились в нем: общеизвестные факты его жизни очень отчетливо объясняют это. — А если кому-нибудь из его знакомых не ясно было, почему он поступил так, а не иначе в каком-нибудь случае, то надобно было только спросить у него, почему он поступил так, и он отвечал прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда б уклонился от прямодушного объяснения своих мотивов, — ни одного такого случая не было, не то что лишь в разговорах его со мною, но и во всех тех разговорах с другими, какие происходили при мне. Он был человек очень прямодушный.

Стран. XXVII.

Кем была внушена Некрасову мысль поступить в университет? — По рассказу его мне, матерью.

Дело было, по его рассказу мне, так:

Мать хотела, чтоб он был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образо-

ванность приобретается в университете, а не в специальных школах: Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе, как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошел отдать. Полозов, прочитав письмо, без всяких расспросов сказал Некрасову, что представит его Ростовцеву. Отказаться было невозможно. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? — «Мечта, друг, не выдержишь экзамена», — и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Промолчав об университете, не имел возможности отказаться от представления Ростовцеву и был представлен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своем намерении.

Итак, употребленное в «Биографич. сведениях» выражение, что «случайная встреча с Глушицким перерешила всю судьбу» Некрасова, и все соответствующее этому выражению в изложении дела о поездке Некрасова в Петербург — ошибочные слова. Если в тех разговорах, по которым написан рассказ «Биограф. сведений», попадались выражения, заставлявшие полагать, что мысль о поступлении в университет внушена была Некрасову Глушицким, это были выражения не достаточно полные; но вероятнее, что мысль о перемене намерения Некрасова вследствие встречи с Глушицким только догадка, порожденная горячим чувством признательности, с каким говорил Некрасов о заботливости Глушицкого доставить ему возможность подготовиться к экзамену. Вероятно, это были разговоры собственно о петербургской жизни Некрасова; потому и попадали в них только отношения к Глушицкому, не попадали воспоминания о разговорах с матерью перед отъездом в Петербург<sup>3</sup>.

Стран. LXVII и LXVIII.

По перечислении мотивов, из которых могла происходить «мягкость» — то-есть снисходительность, доброжелательность -- тона рецензий Некрасова, говорится, что кроме этих соображений «мягкость некрасовской критики могла обуславливаться и благодушными чертами его характера»<sup>4</sup>; без сомнения, собственно ими она и «обуславливалась», другие причины если были, то были только очень второстепенными мотивами; главное дело было в том, что Некрасов был человек очень добрый.

В характеристике начинающегося 1856 годом «второго периода журнальной деятельности» Некрасова говорится, между прочим, что «умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его». — Дело было не в расширении «умственного и нравственного горизонта поэта», а в том, что цензурные рамки несколько «раздвинулись» и «поэт» получил возможность писать кое о чем из того, о чем прежде нельзя было ему писать. — Когда дошло и до крайнего своего предела расширение цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему; слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать ее будет нельзя, и он подавляет мысли о ней; это тяжело, это требует времени; а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах; и когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности, слишком узкой. — Я говорил ему: «если б у меня был поэтический талант, я делал бы не так, я писал бы и без возможности напечатать теперь ли, или хоть через десять лет; писал бы и оставлял бы у себя до поры, когда будет можно напечатать; хотя бы думал, что и не доживу до той поры, все равно: когда ж нибудь, хоть после моей смерти, было бы напечатано». — Он отвечал, что его характер не таков, и потому он не может делать так; о чем он думает, что этого невозможно напечатать скоро, над тем он не может работать. — Причина невозможности всегда была — цензурная.

Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою.

Итак, писать без надежды скоро увидеть произведение напечатанным Некрасов не имел влечения. Потому содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий. Из того, что оно после Крымской войны стало шире прежнего, нисколько не следует, что за три, за четыре года до начала ее «умственный и нравственный горизонт» его был менее широк.

Имела ли большое влияние на образ его мыслей перемена в настроении массы образованного общества, произведенная Крымской войною? (по выражению «Биогр. сведений», «горизонт» его «раз-

двинулся» отчасти под влиянием этой перемены). Припомним, в чем состояла перемена. Было создано массою общества, что надобно отменить крепостное право, улучшить судопроизводство и провинциальную администрацию, дать некоторый простор печатному слову. Только. Что нового для Некрасова могло быть в этих мыслях, новых для массы образованного общества? — Задолго до Крымской войны они были ясными и твердыми мыслями — только ли того литературного передового круга, в котором жил Некрасов с 1846, если не с 1845 года? — Нет, не этому только кругу они были уже привычны в 1846 году и раньше того; около 1845 они были уже вполне усвоены большинством той части образованного общества, мнения которой рано или поздно приобретают владычество над мыслями другой, более многочисленной части его; вполне усвоены большинством тех людей, которые сами чувствовали разницу таланта между Пушкиным и Бенедиктовым, Шекспиром и Коцебу и т. д., — которые чувствовали эту разницу сами и с голоса которых научились говорить о ней менее развитые образованные люди. — Перемена, произведенная Крымской войною в настроении русского общества, нисколько не была переменою в мыслях той части русской публики, которая до Крымской войны любила Жоржа Занда и Диккенса, она состояла лишь в том, что другая, более многочисленная часть образованного общества, — та, которая любила Александра Дюма, — примкнула к более развитой части по вопросам о русском быте; это и дало возможность развитым людям заговорить громко о надобности преобразований, издавна составлявших предмет их затаенных желаний; поддерживаемые новыми своими многочисленными союзниками, они доставили некоторый простор печати, — и Некрасов, подобно другим передовым деятелям печатного слова, получил возможность расширить содержание своей деятельности; вот этим он действительно обязан «тому сильному движению, которое началось в обществе», — обязан точно так же, как и все талантливые ли, не особенно ли даровитые поэты, беллетристы, драматурги, его сверстники или старшие его, имевшие прогрессивный образ мыслей: всем им можно стало писать кое о чем из того, о чем желали, [но] не могли они писать прежде.

Итак, перемена в настроении большинства многочисленнейшей части образованного общества не «раздвинула умственный и нравственный горизонт» Некрасова, потому что он гораздо раньше этой перемены имел понятия более широкие, нежели какие могли быть внесены в его мысли овладевшими тогда этою частью общества желаниями, не очень широкими, или, вернее сказать, очень узкими; но все-таки это «сильное движение», начавшееся в обществе, имело большое влияние на его поэтическую деятельность: нисколько не «раздвигая» его «умственный и нравственный горизонт», оно раздвинуло внешние ограничения, сжимавшие прежде деятельность его, дало ему возможность писать о том, о чем не дозволялось писать до той поры; это влияние перемены в настроении общества действительно обнаруживалось в содержании поэтических произведе-

ний Некрасова. Но—имели ли на его поэзию какое-нибудь влияние «новые люди, которые окружили его»?

Кто были эти «новые люди»? — Обыкновенно, когда употреблялось это выражение в характеристиках журнала, фактическим (не формальным; по названию редактор был Панаев; но фактическим) редактором которого был Некрасов, то подразумевались я и Добролюбов; только мы двое; в этом смысле, по всей вероятности, должно понимать выражение «новые люди» и здесь.

Хорошо; разберу вопрос о том, имел ли влияние на «умственный и нравственный горизонт» Некрасова я; потом выскажу свое мнение о том, в чем могло состоять влияние сближения с Добролюбовым на мысли Некрасова.

Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно<sup>5</sup>. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли более определенные, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него, как для поэта, они были не нужны; это были сведения и решения более специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для передачи в поэтических произведениях. Поэзия не допускает технических подробностей, чуждается и такой определенности решений, которая дается техническими подробностями; та точность решений, которая нужна в статьях политического или экономического содержания, противна духу поэзии; слишком узки для поэзии эти точные решения. В поэзии не годится давать градусы и минуты широты и долготы Петербурга; поэзия говорит только, что он лежит на очень далеком севере и что он лежит близ западной границы России. И число жителей Петербурга она не может определить с точностью хотя бы только до десятков тысяч; в поэзии неловко даже сказать «город с населением в 900 000 человек»; это слишком узкая точность; поэзия говорит или «город с населением многих сот тысяч людей» или «с миллионным населением».

Те сведения, которые мог бы получать от меня Некрасов, были непригодны для поэзии. А он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности. То, что нужно было знать ему, как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня.

Но в числе тех мыслей, которые мог он слышать от меня и которых не имел до знакомства со мною, находились и широкие, способные или быть предметами поэтической разработки, или по крайней мере давать окраску поэтическим произведениям? — Были. Воспринял ли их от меня Некрасов? — Покажу это на двух примерах.

Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их

друзья). Я и теперь полагаю, что Мегмет-Али не был полезен для Египта. Не считаю полезной для Турции деятельность Махмуда II. В те времена я не судил о них мягче, нежели теперь. — Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большое влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал<sup>6</sup>.

Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.

Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготавливавшемся решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?

Мне следовало полагать: да, мое мнение об этом деле известно Некрасову.

Прекрасно. И вот факт.

В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения.

Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему. Я был тогда несколько удивлен, увидев, что решение, полученное крестьянским делом, произвело на него впечатление неожиданности. Но я дивился совершенно напрасно. То, что казалось мне важно в готовившемся решении дела, не интересовало его: это были технические подробности, подвергавшиеся обработке одн



за другую; каждая из них, как особый предмет молвы, могла представляться не очень важною частью целого; а он думал лишь о целом и не обращал внимания на мои мысли об этих специальных, повидимому мелочных подробностях; они исчезали для него в общем представлении «освобождения крестьян с землею». Мои статьи, мои разговоры скользили мимо его мыслей, и когда оказалось наконец, что такое сложилось из этих технических подробностей, результат вышел для него неожиданностью.

Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я? Его сближение с Некрасовым началось только по возвращении Некрасова из-за границы, в 1857 году; гораздо позднее моего сближения (трем с половиною или почти четырьмя годами); все, что мог бы узнать Некрасов от Добролюбова, он более трех лет слышал от меня; все, потому что если была какая-нибудь разница в мыслях между мною и Добролюбовым, она была ничтожна с той точки зрения, с какой смотрел на вопросы Некрасов.

Любовь к Добролюбову могла освежать сердце Некрасова; и я полагаю, освежала. Но это совсем иное дело, не расширение «умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады. Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы. За десять лет до знакомства с Добролюбовым подобное благотворное влияние имело на Некрасова знакомство с тою женщиною, которая была предметом многих его лирических пьес <sup>7</sup>.

Перехожу к следующим строкам характеристики «второго периода» деятельности Некрасова.

В чем же состояло расширение «умственного и нравственного горизонта поэта»? — В том, поясняют «Биографические сведения», что «прежние идеалы» его «оттеснились» «новыми». Как Белинский не любил, чтоб ему напоминали о его статьях в роде «Бородинской годовщины» или «Менцеля», так и Некрасов «неохотно потом вспоминал о грехах своей молодости в роде «Трех стран света», — говорится в «Биограф. сведениях» <sup>8</sup>. Действительно ли он «неохотно вспоминал» о «Трех странах света»? — Это замечание произошло вероятно из недоразумения. Некрасов был не охотник говорить о своих произведениях. Вероятно, ему случилось устранить вопрос о «Трех странах света» выражением недостатка охоты говорить об этом романе; человеку, не знавшему, что он не любит рассуждать ни о каких своих произведениях, могло показаться, что он не любит говорить собственно об этом романе.

Главною причиною его неохоты говорить о своих произведениях была скромность. Он был очень скромный человек. Другая — второстепенная — причина состояла в том, что он слишком хорошо знал по опыту, как скучна и смешна для слушателя слабость большинства беллетристов и поэтов разглагольствовать о своих произведениях. Человек с сильной волей, он легко удерживался от этой слабости.

«Три страны света» и другие прежние слабые произведения Некрасова («грехи его молодости» по выражению «Биограф. сведений») вовсе не находятся в таком отношении к последующим его произведениям, как статьи Белинского о «Бородинской годовщине» и «Менцеле» к позднейшим статьям. Белинский выражал в тех прежних статьях мысли, которые после стали казаться ему ошибочны, дурны, ненавистны. В «Трех странах света» нет ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или общественной точки зрения. И, сколько мне помнится, там и не было ничего такого. В анализе этого романа, даваемом «Биограф. сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и обо всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые «любовью к народу», вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа<sup>9</sup>.

«Биографич. сведения» продолжают: прежде (до 1856 года) у Некрасова был только «горячий, но крайне неопределенный протест против рабства и угнетения» — если протест был неопределенным, то [по] недостатку ли определенности в мыслях Некрасова или по цензурной невозможности писать определеннее? — припомним тогдашние цензурные условия, и не будет ровно никакой надобности пускаться в предположения о расширении умственного и нравственного горизонта Некрасова для объяснения тому обстоятельству, что как только несколько пораздвинулись цензурные рамки, он стал писать то, чего не дозволялось писать прежде, и стал «певцом народного горя», — певцом которого был он и прежде, насколько то было возможно.

Он и прежде писал произведения одинаковые по мысли с теми, за которые «Биограф. сведения» называют его «певцом народного горя». Приведу заглавия некоторых из пьес этого содержания, написанных раньше (до начала и движения в обществе и сближения со мною).

1846. Тройка.

1848. Вино.

1850. Проводы. (Вторая пьеса в ряду соединенных общим заглавием «На улице».)

1853. В деревне.

1853. Отрывки из путевых заметок графа Гаранского.

Пьесы «В деревне» и «Отрывки из записок Гаранского» написаны Некрасовым тоже не только до начала «сильного движе-

ния в обществе», но и до сближения со мною, которое началось только с 1854 года; я стал бывать у Некрасова несколько раньше, во второй половине 1853 года; но сближение началось лишь в 1854 году.

Стран. XXVIII.

В начале выписки из рассказа доктора Белоголового<sup>10</sup> о болезни Некрасова находится выражение: «При всей скрытности своего характера и необыкновенном умении владеть собою» (Некрасов не мог не выражать, что проявления симпатии общества к нему трогают его). — Очень большое умение владеть собою действительно было у Некрасова. Но «скрытен» он не был. Он только не был охотник говорить о себе, отчасти по скромности (это главное), отчасти потому, что знал из собственного опыта, как скучно и утомительно и смешно слушать охотников много толковать о себе; он не хотел быть скучным и смешным. Но когда видел, что человек желает слушать, то говорил с полной откровенностью, лишь бы человек, желающий слушать, казался ему заслуживающим его откровенность.

Заметки при просмотре «Примечаний» (к стихотворениям Некрасова), помещенных в IV томе «Посмертного издания» его стихотворений,

СПБ. 1879

Стран. XXXV, XXXVI.

По поводу «Отрывков из путевых записок графа Гаранского» «Примечания» говорят: «Несмотря на примечание автора» (цитирующего заглавие французской книги графа Гаранского), «едва ли можно сомневаться в том, что это — оригинальная пьеса, а не перевод». Еще бы, сомневаться в этом. Но для полного убеждения охотников до подобных выражений, «едва ли можно» и т. д., когда и толковать тут было б не о чем, если бы не было употреблено кем-нибудь такое выражение, скажу, что перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал, но сказал, что я не умею писать по-французски, потому надобно показать мой перевод знающему хорошо французский язык; вероятно будет надобно поправить что-нибудь; через несколько времени вошел Тургенев, мы показали, он поправил.

Стран. XLVI.

Примечание к пьесе:

«Тяжелый крест достался ей на долю».

«Содержание, повидимому, имеет ближайшее отношение к поэме «Мать». — Ровно никакого; дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова.

Вообще по поводу «Примечаний» должно пожалеть о претензии составителя их поправлять стихи Некрасова, кажущиеся ему неправильными. Напрасно он испортил текст своими поправками.— Обыкновенный повод к поправкам подает ему «неправильность размера»; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности.

Приведу один пример. В «Песне странника» (в «Коробейниках») Некрасов написал:

«Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь?»

В «Посмертном издании» стих поправлен

... Что ты бабу-то бьешь?

Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. — Поправка портит стих.

Так и в других случаях.

Автор «Примечаний» делает две-три заметки о неверности выражений (например, о том, что нельзя сказать «женщина входила на Афонские высоты», потому что женщинам воспрещен вход в афонские монастыри). В этих двух-трех случаях он быть может прав; но следовало ограничиться замечкой о неправильности выражения, а не поправлять стих. — Впрочем, что касается «Афонских высот», то надобно было бы спроситься, нет ли на перешейке Афонского мыса за стеною, отделяющею монастырь от северной части полуострова, каких-нибудь монастырей, церквей или вообще мест поклонения, доступных женщинам.

Заметка к «Своду статей о Некрасове», помещенному в том же (IV) томе

На стр. CLXXV говорится, что помещенное в «Современнике» за 1856 год, в томе LXX, на страницах 1—12 (по нумерации библиографического отдела) «Краткое известие о выходе собрания стихотворений» (Некрасова) с выпиской некоторых пьес — «статья самого Некрасова»; нет, эта статья написана мною, и пьесы, приведенные в ней, выбраны для помещения в ней мною <sup>11</sup>.

Это дело моей неопытности и несообразительности имело чрезвычайно тяжелое влияние и на «Современник» и на судьбу «Стихотворений Некрасова»..

Перед отъездом за границу Некрасов приготовил собрание своих стихотворений к изданию; но книга вышла уж по его отъезде. Я уж заведывал тогда библиографическим отделом «Современника»

и рассудил, извещая о выходе издания стихотворений, взять и перепечатать три стихотворения; это были:

Поэт и гражданин;

Отрывки из записок графа Гаранского, и — какое было третье, я не умею припомнить сам; но в «Примечаниях» (стр. XLV) говорится, что «Забывшая деревня» была перепечатана в той статье; итак, третьим из перепечатанных там стихотворений была, как вижу, эта пьеса.

Вслед за выходом книжки «Современника» с этою безрассудною перепечаткою поднялась буря и против журнала и против книги «Стихотворений Некрасова». Она была поднята собственно перепечаткою «Поэта и гражданина» и двух других пьес в «Современнике»; и в особенности перепечаткою «Поэта и гражданина». Я старался убедить себя, что она поднялась бы и без того, что она произведена не перепечаткою, которую сделал я, а самою книгою «Стихотворений». Но принужден был отбросить из мыслей это вздорное оправдание своему поступку. Дело произошло исключительно по поводу появления в «Современнике» перепечатанных мною пьес. Книга «Стихотворений» не попала бы в руки тех любителей и любительниц сплетен, которые подняли шум и заставили официальный круг удовлетворить их требованию. Это были какие-то — я не помню теперь имен — пожилые великосветские люди, совершенно посторонние цензурному ведомству и полицейским учреждениям, контролировавшим цензурное ведомство. Они выписывали журналы, в том числе «Современник», но русских книг не покупали. Книга «Стихотворений Некрасова» если бы попала когда-нибудь в их руки, то очень не скоро, и цензура могла бы отвечать на их шум, что он неоснователен, что книга уж давно в обращении, и вредных следствий от того никаких не произошло; и контролирующее цензуру ведомство имело бы возможность подтвердить, что это так. Оно подтвердило бы, потому что, подобно всякому другому ведомству, не любило принимать назиданий от людей, не имеющих формального права делать ему выговоры. Но оно не могло дать отпора им, потому что не было единственного возможного отпора: «Это уж давно в руках публики, и время оправдало нашу мысль, что от этого не будет вреда». — Итак, причину бури было исключительно то, что я перепечатал в «Современнике» те три пьесы, и в частности перепечатка пьесы «Поэт и гражданин».

Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник», — года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него. — Мое сотрудничество принесло много пользы «Современнику», в том нет спора; но я не знаю, уравновесился ли этою пользою тот вред, который нанес я ему безрассудною перепечаткою «Поэта и гражданина».

О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»; оставалась бы лишена и дольше, если бы по счастью не принял на себя заботу, о разрешении цензуры этого дозволения граф Адлерберг, граф А. В. А., о котором говорится на стран. LXXII «Биограф. сведений».

Когда я написал Некрасову (бывшему за границу) о буре, постигшей «Современник», в ответ я получил только выражение, что это очень жаль, но — никакого упрека мне.

Как назвать это, если не великодушием?

Когда он возвратился из-за границы, я при первой встрече стал говорить о том, что моя ошибка очень много повредила «Современнику»; он сказал добродушно, без малейшей досады: «Да, конечно, эта была ошибка; вы не догадались подумать, что если я не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике», то значит находил это неудобным» — и, сказав это, он стал говорить о другом, а после того ни разу не напоминал мне ошибку, сделанную мною тогда; ни разу.

Случалось мне и после делать ошибки, наносившие тяжелый вред «Современнику»; никогда не слышал я от Некрасова никакого упрека ни за одну из них. — Наконец, издание «Современника» было приостановлено. Из-за кого? — Исключительно из-за меня<sup>12</sup>. Я не услышал от Некрасова ничего подобного упреку и после этого удара, полученного журналом из-за меня.

Он был великодушный человек сильного характера.

Прибавлю к прежним заметкам еще две.

1) Для всех очевидно, что в пьесе

«На Волге (Детство Валежникова)»

есть личные воспоминания Некрасова о его детстве. — Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им, ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. — Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо

«а кабы умереть к утру, так было б еще лучше», — в пьесе сказано:

А кабы к утру умереть,  
Так лучше было бы еще;

только такими пятью, шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне. Когда я читал пьесу в первый раз, у меня в памяти еще были совершенно тверды слова, слышанные мною.

## 2) О пьесе

«Размышления у парадного подъезда»

могу сказать, что картина

«Созерцающая, как солнце пурпурное  
Погружается в море лазурное» и т. д.

— живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев.

Вторая заметка:

в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

«Иль, судеб повинуюсь закону», —

этот напечатанный стих лишь замена другому, который когда-нибудь услышишь от меня, мой милый друг, если он не попал до сих пор в печать<sup>13</sup>.

«Предисловие» издательницы<sup>14</sup> должно быть перепечатываемо при всех будущих изданиях стихотворений Некрасова. Оно достойно того. И оно незаменимо никаким другим.

На заглавном листе не выставлено имя издательницы. И под предисловием нет ее имени. В предисловии неизбежно было ей упомянуть о себе, кто же она. И она сказала о себе, что она «сестра покойного»; только.

Ясно, каков был характер Анны Алексеевны Буткевич. Действительно, она была женщина чрезвычайно скромная. Можно было десятки раз вести при ней разговоры о литературных делах с Николаем Алексеевичем и не услышать от нее ни одного слова, относящегося к содержанию этих разговоров; до такой степени была она чужда желанию выказывать свой ум и свою начитанность.

Предисловие свое начинает она тем, что приводит слова, которыми Некрасов мотивировал и высказывал желание, чтобы по его смерти не были вносимы в собрания его стихотворений те пьесы или части пьес, которые, по его желанию, не должны быть вносимы.

Желание было разумно. И Анна Алексеевна заслуживает безусловно похвалы за то, что «сочла своею обязанностью свято исполнить» эту «волю» своего брата.

«Незадолго до своей смерти он, повидимому, был занят мыслью приготовить текст нового издания», — продолжает она: — «После него сохранился экземпляр, который [он] перечитывал, исправлял». Действительно, нельзя сомневаться: то было приготовление нового издания.

# ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА С Н. А. ДОБРЮЛОВЫМ

Милый друг,

Расскажу Тебе некоторые из своих воспоминаний о начале моего знакомства с Добрюловым.

Бывши учителем гимназии в Саратове, я познакомился с некоторыми из молодых людей, находившихся тогда в высших классах ее. Те из них, которым случилось попасть в Петербургские учебные заведения, были частыми гостями у меня в Петербурге. Одним из них был Николай Петрович Турчанинов, юноша очень благородного характера и возвышенного образа мыслей. Он был студент Педагогического Института.

Я в те годы довольно часто бывал у Срезневского. Он читал лекции по славянским наречиям и в Пед[агогическо]м Институте, как в Университете. Однажды он рассказал мне, что два студента Пед. Ин-а подверглись бедственной случайности: у них были найдены заграничные издания Герцена, Давыдов (директор Института) хочет вести это дело формальным порядком; если будет так, они погибнут. Одного из них ему (Срезневскому) жаль только, как было бы жаль всякого погибающего молодого человека, это юноша посредственный, скорее даже плохой, чем хороший; но другой — человек необыкновенно даровитый и уж обладающий знаниями, обширными не по летам его; притом благородный; этого молодого человека ему очень жаль; и не ему одному из профессоров Пед. Ин-та; он и некоторые другие профессора П. Ин-а решили настойчиво убеждать Давыдова бросить дело, по сущности своей ничтожное даже с официальной точки зрения, но при формальном порядке ведения его подвергающее гибельной судьбе попавших под него. Срезневский называл фамилии этих студентов; я плохо запомнил их. — Через несколько дней Срезневский сказал мне, что ему и его товарищам удалось урезонить Давыдова; молодые люди избавились от беды. Избавились, то и прекрасно. Я совершенно перестал помнить эту историю<sup>1</sup>.

Прошло довольно много времени, несколько месяцев, или год, или больше, не помню теперь; но много времени<sup>2</sup>. Однажды Турчанинов принес мне тетрадь и сказал, что его товарищ, Добрюлов, просил его отдать ее мне, чтоб я посмотрел, годится ль она для «Современника». Это была статья о «Собеседнике любителей русского слова». Турч — в очень хвалил автора и говорил, что горячо любит его.

Не помню, тотчас ли, при Т—е, я прочел несколько страниц и тогда же сказал ему ответ, или отложил тетрадь в сторону и сказал Т—у, что дам ответ, когда он зайдет в следующий раз. Помню только, что, прочитав две, три страницы, я увидел: статья написана хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие изла-



гались тогда в «Совр—е», и читать дальше нет надобности. И когда, в тот ли раз, или при следующем посещении Турч—а, я давал ему ответ, то дал такой: статья хороша, будет напечатана в «Совр—е», и я прошу Т—а пригласить автора побывать у меня.

Через день или через два пришел ко мне Добролюбов; один ли, или с Турч—вым, я не помню; если с Турч—вым, то Турч—в скоро ушел, — то-есть, может быть, через час или полтора, напившись чаю; и пока был тут, то не играл никакой роли в разговоре. Так ли или иначе, один или вместе с Тур—вым Добролюбов зашел ко мне в первый раз, но он просидел со мною очень долго один; пришли они вдвоем или пришел один он, вечером; а часов с 9 мы сидели с Добр—вым только вдвоем; если приходил с ним Т—в, то к этому времени ушел и остался (если так, то, разумеется, по моему приглашению остаться) один Д—в; и просидели мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух, и толковали мы с ним о его понятиях. Я спрашивал, как он думает о том, о другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником «Совр—а». Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям, излагавшимся тогда в «Совр—е». Оказалось, соответствуют вполне. Я, наконец, сказал ему: «я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Совр—а»; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником «Совр—а». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить все ему и ему. — Тогда я стал спрашивать его о личных его делах. Рассказав об отце, о своем сиротстве, о сестрах, он стал говорить о своем положении в Институте; дошло дело до того, что он находится в опале у Давыдова, по поводу того, что у него и Щеглова (не помню эту фамилию, кажется — Щеглов) были найдены заграничные издания Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышанная от Срезневского; «Так это были вы, Николай Александрович! Вот что!» — Мысли у меня в ту же секунду перевернулись. — «Когда так, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе: эту статью, так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше не годится вам печатать ничего в «Совр—е» до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в «Совр—е», то беда была бы вам. Итак, когда кончите курс и станете независим от Дав—ва, тогда и начнете постоянно писать для «Совр—а»; а раньше нельзя». Он возражал. Я, разумеется, остался при своем.

И не вполне выдержал решение, которое считал необходимым для безопасности Добр—ва. Через несколько недель он принес мне рецензию, написанную им об «Описании Главного Педагогического Института». Если чего не следовало для его безопасности печатать до окончания им курса, то конечно именно такой статьи. Но ему очень хотелось, чтоб она была напечатана, и я уступил.

Дело сошло благополучно для него; статья была принята за написанную мною, как я и надеялся, уступая желанию Добр—ва<sup>3</sup>.

Сделал я и другую уступку ему, но уж не такую извинительную: месяца через три напечатал его ответ Галахову<sup>4</sup>; предмет был безопасен для него.

Сделал, незадолго до развязки его отношений к Институту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал его статью «О значении авторитета в воспитании». Эта уступка тоже извинительна: предмет статьи был безопасный для него. Притом, до окончания курса Добр—ву оставалось так мало времени, что можно было иметь уверенность: дело не успеет обнаружиться.

## № 5

### ПО ПОВОДУ «АВТОБИОГРАФИИ» Н. И. КОСТОМАРОВА

Ты говорил, чтобы я делился с Тобой своими литературными воспоминаниями. Я и вздумал употребить этот вечер на то, чтоб рассказать Тебе что-нибудь из них. Хотел писать о Некрасове. Но это заняло бы не один вечер. А я имею только один свободный. Перебирал я в мыслях другие темы. Но все они оказывались тоже слишком обширны. Взглянул — на столе лежит июньская книжка «Русской мысли». Вот и прекрасно. Напишу что-нибудь по поводу «Автобиографии» бедного больного чудака, моего бывшего приятеля, бегавшего от меня в последнее время моей петербургской жизни<sup>1</sup>.

А кстати, знаешь ли Ты, почему он стал бегать от меня? Ты и два другие интригана, Утин и Спасович, были причиною того, что ему заблагорассудилось бегать от меня. Теперь понимаешь? — Да, разумеется, вышло то, что Ты теперь, по всей вероятности, уж угадываешь.

Однажды он вбегает ко мне в неистовом азарте и с криками, с беготнею по комнате начинает жаловаться на Тебя, Утина и Спасовича: вы устроили против него интригу; целью вашей интриги было добиться того, чтоб он не читал свою речь; и вы добились этого: он не будет читать свою речь! — Что такое? Какая речь? Где и как он хотел читать ее? И почему он не будет читать ее? — Я в то время совершенно не интересовался университетскими делами; забыл, что скоро будет акт в университете; вероятно, слышал от Костомарова, что в этом году будет читать речь на акте он; но если и слышал, то забыл<sup>2</sup>. — «А! скоро будет акт в университете; и вы написали речь для акта? И вам сказано кем-нибудь, что вы не будете читать ее?» — «Да, Плетнев сказал». — «И это он сказал по наущению Утина, Спасовича и моего брата?» — «Да». — «Он сказал, что он делает это по их наущению?» — «Нет, он сказал не то; он сказал: речь очень длинна; акт и без того будет длинен. Но я сам знаю: это они! Это они!» — «Да какая охота могла

быть им мешать вам читать вашу речь?» — «Да она о Константине Аксакове». — «Ну, так что ж?» — «Да я в своей речи хвалю его». — «Ну, так что ж? Какая надобность им мешать вам хвалить его на акте?» — «Да он был славянофил». — «Ну да. Но им-то какое же огорчение от ваших похвал ему?» — Начинаю объяснять моему бедному чудаку, что Спасович и Утин — люди вовсе посторонние спорам славянофилов с западниками. Начинаю объяснять ему, что Ты, хорошо знающий его, по всей вероятности легко простишь ему его клевету; но что Утин и Спасович не будут так снисходительны, потому я буду толковать с ним только о них, оставляя дело о клевете на Тебя без внимания. И стараюсь вразумить его, что Утин и Спасович — люди благородные, прямодушные; что они неспособны унизиться до интриги; потому, его фантазия о них — гадкая нелепость. В заключение всего говорю ему, что он должен сейчас же ехать к Утину и к Спасовичу; он прибежал ко мне, как только сочинилась в его голове глупая фантазия, потому они еще не могли ничего знать о ней. — «Поезжайте к ним сейчас же; в вашей компании вы уж толковали о их интриге, потому слух дойдет до них; но теперь еще не мог дойти; дорожите временем, спешите к ним; расскажите все сам; и за Утина, и за Спасовича ручаюсь вам: они простят, если вы успеете повиниться перед ними, пока они еще не слышали эту сплетню от других. Но когда она дойдет до них, извиняться будет поздно». — Я долго и сильно говорил ему о необходимости просить извинения у Спасовича и Утина и требовал, чтобы он прямо от меня ехал к ним. — Он говорил, что ему надобно подумать, как поступить. Я проводил его словами, что думать тут не о чем, он должен ехать к Утину и Спасовичу, и что терять времени ему нельзя.

Он говорит («Русская мысль», июнь, стран. 35): «Я написал о Константине Аксакове. Речь эта возмутила против меня Стасюлевича, Пыпина, Б. Утина, которые видели в ней переход к славянофильству. Кавелин был на их стороне». Из четырех злоумышленников двое тут уж позднейшее изобретение бедного больного человека. В разговоре со мною об участии Кавелина в интриге он не упоминал. А Стасюлевича он тут поставил на место, которое, в разговоре его со мною, дано было им Спасовичу. Когда диктовал «Автобиографию», он перепутал фамилии по созвучию первой и последних букв. Ни о Стасюлевиче, ни о Кавелине он не говорил ни слова. Он говорил только о Тебе, Спасовиче и Утине.

Итак, Кавелин, Стасюлевич, Утин, Ты — вы были против его речи; «Чернышевский, напротив, отнесся сочувственно». Я тогда не имел понятия о том, что написал он в этой речи. И теперь не знаю. Я не читал ее. И разговор наш вовсе не касался ее содержания. «Я хвалю в ней Аксакова» — только по этим его словам я узнал о ее содержании. И мне не было никакого дела до него. Я вел разговор исключительно о несчастной фантазии бедного чудака, будто бы Ты, Утин и Спасович интриговали против него. — Далее, он говорит, что я «и вообще не был врагом славянофилов».

Мне случалось и раньше этого читать о себе, что я не разделял вражды крайних западников к славянофилам. Толковать об этом я не имею теперь досуга. Замечу только, что славянофильство казалось мне тогда глупостью и пошлостью более глупою и пошлою, чем какому казалось и самым крайним западникам. В западничестве были кое-какие элементы родства с славянофильством. В моем образе мыслей этих элементов не было. — Каждое ли слово в Куране — мерзко? Но в нем есть добрые мысли, честные мысли. Но они попали в Куран лишь потому, что Мухаммед — все-таки был человек, живший среди людей, слышавший и добрые, честные мысли, которых невозможно не слышать, когда живешь не в лесу между хищными зверями, а в человеческом обществе, и не мог не покоряться кое в чем и влиянию мыслей честных, добрых людей. Но все, чем отличается Куран от произведений арабской письменности, до-Мухаммеданского времени, — все, безусловно все в нем по моему мнению или глупость или мерзость. Многие ли из самых горячих врагов мухаммеданства думают о Куране так? — Такова же разница между западническими и моими понятиями о славянофильстве.

Однако ж, пора вернуться к воспоминаниям о бедном больном чудаксе, моем бывшем приятеле, начавшем бегать от меня после разговора об интриге «Утина, Пыпина и» — не «Стасюлевича», а Спасовича.

Я нимало не изменил своего мнения о нем после этого разговора. Я и прежде знал его жалкие слабости. Когда я виделся с ним, я говорил с ним попрежнему. Но он робел, ему было тяжело. Скоро мы стали встречаться лишь случайно. И встречались редко.

Рассказав, что после беды, постигшей Павлова<sup>3</sup>, студенты хотели прекратить лекции, а он не соглашался, подвергался за это обидам, но оставался тверд в своем намерении продолжать читать свои лекции, он говорит: «Наконец, ко мне приехал Чернышевский<sup>4</sup> и стал умаливать меня не читать, чуть ли не на коленях упрасивал, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня. Я стоял на своем, говоря, что не могу отступить от своего слова» (то есть от заявления, что будет продолжать читать лекции). — «Вы можете сослаться на то, что это слово было опрометчиво, данное в раздражении». — Я не уступал. «Ну, так по крайней мере, поезжайте к Головнину и просите, чтобы вам запретили читать». — «Не могу и этого сделать: я сам хлопотал о разрешении лекций». — «Ну, так я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, где вам угрожают скандалом». — Я дал письмо, в котором мне угрожали 200-ми свистков и где, между прочим, было сказано: «Смотрите, вас вынесут насильно, читать не будете». — Чернышевский сам съездил к Суворову и к Головнину и устроил дело так, что мне запретили читать лекции».

В этом рассказе есть несколько ошибок.

«Чернышевский умаливал меня не читать». Тон разговора был вовсе не такой.

«Чернышевский умаливал меня, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня». Ничего подобного я не говорил; если б я полагал, что «студенты хотят устроить демонстрацию», я, прежде, нежели ехать к кому бы то ни было с какими бы то ни было предложениями ли, советами ли, поехал бы в заседание комитета студентов, заведывавшего теми курсами, которые были теперь прекращены по решению самого же этого комитета студентов. Он, комитет студентов, решил прекратить лекции; он; те профессора, которые читали лекции, могли и сами считать это надобным; быть может, некоторые из них сами поднимали бы вопрос об этом на каком-нибудь собрании профессоров; и быть может, большинство профессоров по собственной инициативе решило бы прекратить чтение лекций; очень может быть; но те из них, которые могли иметь мысль поднять вопрос об этом, — если были такие, то — опоздали взять на себя инициативу. Комитет студентов<sup>5</sup> уж решил, что необходимо прекратить лекции. Профессорам оставалось только согласиться с решением студентов или действовать наперекор ему. — Итак, инициатива решения, принятого профессорами и студентами, принадлежала студентам. Почему они пришли к убеждению, что лекции надобно прекратить? — Потому, что на лекциях происходили бы демонстрации. Комитет студентов не хотел демонстраций; если б он хотел их, ему стоило бы только не прекращать лекций, — и демонстрации происходили бы неизбежно, хотя бы ни один студент не принимал участия в них. На лекциях бывала публика. Публика не считала, разумеется, надобным подчинять себя студентам. Демонстрировало бы огромное большинство публики. Остановить его было бы невозможно никакими усилиями студентов. Потому-то Комитет студентов и нашел надобным прекратить лекции. — Ты не читал тогда лекций. С другими профессорами я виделся в это время редко. Потому, о их мыслях я знал мало. Но тех членов Комитета студентов, которые были в нем руководящими людьми, я видел в те дни часто. И хотя наше знакомство было еще недавнее, я хорошо знал их. Это были люди очень умные и очень благородные. Помимо их намерений, ни один из членов Комитета не захотел бы высказывать каких-нибудь советов студентам. Не говорю уж о том, что постановления Комитета вполне соответствовали их намерениям: они были руководителями его; большинство было всегда за них, без того я и не называл бы их руководителями. Ни один из студентов, сколько-нибудь уважаемый товарищами, не отказывался сообразовать свои поступки с решениями Комитета. Потому, очень неудачно составлено выражение, которое Костомаров приписывает мне: «студенты хотят побить» его. Ничего подобного намерению «побить» кого бы то ни было не могли иметь «студенты». — И нет ни малейшего сомнения в том, что если бы какой-нибудь посторонний студентам человек поднял

руку на Костомарова, то «студенты», хоть и не сочувствовали тогда ему, защитили б его; как защитили б и самого злобного, самого презренного из своих врагов.

Далее, по рассказу Костомарова, я говорю ему: «Поезжайте к Головнину и просите его, чтобы вам запретили читать». Ничего подобного я ему не говорил.

Далее: он отказывается ехать к Головнину; — не мог не отказываться, разумеется, когда не было ему предлагаемо это; но так как он отказался, то я говорю: «Ну так я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, в которых вам угрожают скандалом». Я дал письмо, в котором» и т. д. — Никакого письма он мне не давал. Ничего подобного тому, чтоб он дал мне письмо, я ему не говорил. Никакого письма он мне и не показывал. Потому, я даже не знаю, действительно ли были у него тогда какие-нибудь угрожающие письма, или они только стали грезиться его больному воображению впоследствии времени. Может быть, и были; мало ли случается получать угрожающих писем людям в тревожные времена? Но если и были, действительно, присылаемы ему какие-нибудь письма с угрозами, то уж, конечно, нельзя было бы заподозрить в авторстве их никого из членов студенческого Комитета и никого из студентов, сколько-нибудь уважаемых товарищами. Если были они, то писаны они были кем-нибудь из людей посторонних и Комитету и всем тем студентам, представителем которых был Комитет, то-есть огромному большинству студентов. Но — я не видел ни одного такого письма.

«Чернышевский съездил к Суворову и к Головнину». К Суворову я не съездил. И не говорил Костомарову, что поеду к нему. Не зачем было ехать к нему. Для того, чтобы запретить лекции, достаточно было власти у самого Головнина. Ни в чьем согласии на это Головнин не нуждался.

Итак, приходится мне самому рассказать об этом моем разговоре с Костомаровым, потому что из его рассказа остается, по устранении его ошибок, не очень-то много.

Студенты не хотели демонстраций. Мне было известно это. На лекции Костомарова произошла бы, помимо воли студентов, демонстрация. Это было известно всякому, желавшему знать. Было известно и правительству. Намерения правительства мне не были известны. Но я имел случай убедиться, что оно не желает быть принуждено производить аресты. А демонстрация поставила б его, по его мнению, в необходимость принять меры подавляющего характера. Я решил, что если Костомаров не откажется от своего намерения продолжать чтение лекций, то надобно попросить Головнина запретить ему чтение. Я не могу сказать, что я был знаком с Головниным; — нет, я был человек не достаточно важный для того, чтобы быть с людьми в положении Головнина на правах знакомства. Но мне случалось несколько раз быть у Головнина. Каждый раз, когда я приходил к нему, он принимал меня и терпеливо выслушивал то, что я говорил ему. Я надеялся,

что и на этот раз он не откажется принять и выслушать меня.

Но будет ли неизбежно мне просить его о запрещении Костомарову читать? — Запрещать, это было не по душе Головнину. Быть может, у Костомарова достанет рассудка избавить его от этой неприятности, а себя от стыда, в который он залез своим упрямством. Надежды было мало. Но надобно ж было попробовать.

Я уж не был в это время знаком с Костомаровым. Он дичился, робел, когда видел меня. Мне надоело это. И довольно давно мне уж не случилось встречаться с ним. Тем меньше мог я не попытаться теперь урезонить его: быть может, он рассудит, что когда я, не имевший желания возобновлять знакомство с ним, зашел к нему дать совет, то значит дело не может кончиться его отказом принять мой совет; вероятно я поведу дело по-своему, если он не уступит. Прямо с этого я и начал, как вошел в комнату: «Здравствуйте, Николай Иванович; мы давно не видимся; и разумеется, если я зашел к вам, то считаю важным дело, о котором хочу поговорить с вами. Вы хотите читать лекцию. Будет демонстрация. Наперекор воле студентов будет. Они не хотят обидеть вас. Но большинство публики осуждает вас. И вы будете преданы позору публикою». — И так дальше, в этом роде. — «Вы имеете заслуги. Не позорьте себя». — Я говорил долго. — Он отвечал, что он будет читать. — Тогда я стал говорить точнее прежнего о том, какую роль хочет он разыграть. — «Результатом демонстрации будут аресты, процессы, ссылки. Люди, которые устраивают такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер, — это агенты-provокаторы. Не берите на себя роль агента-provокатора». На тему «агент-provокатор» я говорил долго. — «Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу», — отвечал он. «Студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспотизм. Не подчинюсь деспотизму». На этом пункте засела его мысль, и никакими резонами нельзя было стащить ее с этой умной позиции. — «Не о деспотизме тут дело, а об арестах и ссылках тех людей, которые кажутся вам поступившими деспотически. Демонстрировать будут не они, а в ответе за демонстрацию будут они. Они погибнут, если вы будете читать лекцию». — Он твердил свое: «Это деспотизм; не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу». — «Хотите губить сотни честных людей?» — Твердил свое одно и то же: «Не хочу подчиняться» и т. д. — «В таком случае, скажу вам: от вас я еду к Головнину просить его, чтоб он запретил вам читать». — «Это деспотизм!» — «Думайте об этом, как вам угодно; но знаете: читать лекцию вы не будете ни в каком случае. То лучше скажите, что не хотите. Этим вы избавите ваше имя от позора. Не будьте человеком, которому запрещено играть роль агента-provокатора; откажитесь от нее сам». — «Нет, буду читать». — «Нет, не будете. Головнин запретит». — «Не запретит». — «Говорю вам: запретит». — «Почему запретит?» — «Он не захочет, чтобы произошли аресты и ссылки,

когда от него зависит предотвратить их». — «Не запретит!» — Уперся на том, что Головнин не запретит — и баста! — не собьешь его и с этой позиции. — Я посмотрел на часы. Тянуть разговор дольше было нельзя; иначе я не застал бы Головнина. «Кончим, Николай Иванович. Если вы остаетесь при своем намерении читать, то мне пора ехать. Иначе, не застану Головнина». — «Не запретит». — «Запретит. Откажитесь лучше сам». — «Не запретит». — «Будьте здоровы». — «Не запретит!» — Я пошел; он, провожая меня, все твердил свое: «Не запретит!»

«Не запретит!» — слышу я, затворяя дверь. Это и были последние слова, которые слышал я от бедного чудака.

Вхожу к Головнину. — «Я пришел просить вас о том, чтобы вы запретили Костомарову продолжать чтение лекций». — «Вы думаете, что надобно запретить? Почему вы так думаете?» — Я стал говорить: студенты не сделают демонстрации, но публика сделает; это будет иметь своим последствием аресты. Я говорил подробно. Головнин по временам делал вопросы: «Вы говорите вот что; почему вы так думаете?» — Я отвечал, почему, и продолжал. И говорил, говорил, говорил. Это было долго, очень долго. Больше часа, наверное. Итак, я говорил; Головнин делал по временам коротенькие вопросы, слушал; и я говорил, говорил, — и наконец, договорил и остановился.

«Вы высказали все?» — «Все». — «Я совершенно разделяю ваше мнение. И я уже сделал распоряжение о запрещении лекций Костомарова». — «Это было тяжело вам, я уверен; но тем больше приобрели вы права на признательность рассудительных людей», сказал я и встал, простился.

Зачем же он не сказал этого с самого начала? Зачем дал мне рассуждать и рассуждать? Понятно: у него был в это время досуг, и он хотел подшутить над непрошеным советником. И подшутил, очень ловко, умно и мило.

Это было часа в два, в три дня.

Вечером, часов в восемь, подают мне письмо<sup>6</sup>. — Беру — по адресу вижу: от Костомарова. Читаю: «Через час или два после того, как вы ушли, мне принесли бумагу, запрещающую мне читать. О, как раскаиваюсь я в том, что не отказался сам!» — в этом роде, все письмо довольно большое.

Соображая время, когда Костомаров получил бумагу, я видел, что распоряжение о запрещении ему читать действительно было сделано до моего приезда к Головнину и что Головнин действительно имел полное право подшутить надо мною.

Вот нашелся у меня досуг продолжать передачу Тебе моих воспоминаний о Н. И. Костомарове. Прежде всего расскажу, что знаю и что думаю о том эпизоде его жизни, о котором в частности спрашиваешь Ты, — о его отношениях к Наталье Дмитриевне Ступиной<sup>7</sup>.

Я знаю только по его рассказам. Его рассказы мне о них делаются на два класса.



До сцены у ворот дома Ступиных я слышал от Костомарова о Наталье Дмитриевне лишь изредка. Это были общие, краткие очерки их отношений. Сначала он хвалил Наталью Дмитриевну, говорил, что она очень умная и благородная девушка. Я очень мало знал ее; собственно говоря, вовсе не знал. Я видел ее очень редко, и то лишь мельком. Ровно никакого мнения, ни хорошего, ни дурного, ни об уме ее, ни о характере я не имел. Она была совершенно чужой мне человек, слушать о котором я не видел надобности. При первой паузе Костомарова я начинал говорить о чем-нибудь другом. Потому его рассказы оставались кратки и вероятно потому же были редки. — Через несколько времени он стал говорить о ней с ожесточением: она — навязчивая девушка; он прекратил знакомство с ней; она пишет ему письма, он возвращает их ей. Попрежнему я не видел надобности слушать. Если она дурная девушка, то теперь он безопасен от нее. И как прежде похвалы, так теперь порицания ей я слушал молча до первой паузы и при первой паузе начинал говорить о чем-нибудь другом. Потому и они оставались кратки и вероятно потому же были тоже редки. — Содержанию этих кратких рассказов Костомарова соответствует, отчасти совпадая, отчасти не совпадая с ними, то, что рассказывает он об этой, как он называет ее, истории своей любви в своей «Автобиографии» («Русская мысль», 1885, июнь, стран. 23) до слов «она писала мне письма, я возвращал их».

Когда случилась сцена у ворот дома Ступиных, Костомаров прямо оттуда пришел ко мне рассказать, что случилось. Дело, которое считал я утратившим важность, оказалось получившим очень серьезный оборот. Если он полагает, что ему нужна поддержка, то я обязан слушать, видел я. Я слушал, и мы долго разговаривали. С этого дня он каждый день рассказывал мне о дальнейшем ходе дела, до окончательной развязки его. Содержанию этих подробных, шедших день за день рассказов соответствуют в «Автобиографии» странные слова: «а потом» и т. д. Переписываю их вместе с предыдущими, необходимыми для полноты смысла:

(«Она писала мне письма, я возвращал их»), а потом, одумавшись, хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно, и она утешилась».

До сцены у ворот он не думал о примирении. Это он говорил мне. Притом, если б он думал тогда о примирении, не могла бы произойти сцена у ворот.

«А потом одумавшись» — то есть через несколько недель, вероятно, или, по крайней мере, дней? — или хоть через несколько часов?

Когда он вбежал ко мне, первым его словом было восклицание: «Женюсь!» — От ворот дома Ступиных до нашего дома будет ли верста? Сколько времени нужно, чтобы торопливым шагом перейти это расстояние? Он вбежал ко мне взволнованный. Это он называет: «а потом одумавшись».

«Хотел было примириться с нею» — то есть, вероятно, простить ей ее двоедушие, ее навязчивость?

Он просил прощения у нее и упрасивал ее согласиться стать его женою.

«Хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно»; «узнал» — то есть, от посторонних; так по ходу речи.

«Узнал, что уже поздно, и она утешилась» — то есть, что она уж успела обзавестись новым поклонником; вероятно так; таков смысл слова «утешилась» в разговорах о разрыве отношений между мужчиною и женщиною.

На его просьбы она отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может. Это он называет «узнал, что уже поздно, и она утешилась».

Но быть может он не заметил, что такое говорит он словами «она утешилась», быть может он хотел сказать только, что она не мучилась душою, когда он вздумал было «примириться» с нею? — Пусть так. Но и этого не мог он сказать, не отдавая своему желанию думать так предпочтения перед фактом, известным ему. Ему было известно, каково было состояние ее души в эти дни. Ее положение в кругу знакомых было невыносимо. Она уехала из Саратова как только могла скорее. Он знал это.

Ясно, какого доверия заслуживает то, что рассказывает он в своей «Автобиографии» о своих отношениях к Наталье Дмитриевне. Какой характер имели его рассказы мне об этом деле? — Приведу один пример.

Решившись просить руки Натальи Дмитриевны, он сказал матери, что хочет жениться. Татьяна Петровна была рада. Я знал это по разговорам с нею и без него, и при нем. И при нем. Мешало ль это ему уверять меня, что она противится его браку? — Нисколько не мешало. Напрасно я убеждал его перестать говорить противоположное тому, что мы оба знаем; он твердил свое: «мать несогласна». А когда получил отказ, то стал делать сцены матери. «Это вы расстроили свадьбу! Вы отняли у меня счастье!» — Это при мне, знающем правду. Я урезонивал его не говорить при мне этой неправды; он, нимало не смущаясь, продолжал бегать по комнате и кричать: «Это вы, маменька, виновата! Вы отняли у меня счастье!»

Я полагаю, что рассказываемое им в «Автобиографии» о его отношениях к Наталье Дмитриевне до слов «она писала мне письма, я возвращал их» не заслуживает ни малейшего доверия. Заслуживают ли доверия его рассказы мне о том, что было до сцены у ворот? — Тоже не заслуживают, само собою ясно. — В его подробных рассказах о дальнейшем ходе дела я мог очищать истину от фантастической примеси: они были подробны; они шли день за день; я расспрашивал и переспрашивал его. Но в тех кратких, общих очерках, которые изредка делал он и которые прекращал я при первой его паузе, я не могу различить, что в них правда, что фантазия.

Я говорил, что их содержание отчасти совпадает, отчасти не совпадает с рассказом его в «Автобиографии». Некоторые черты одинаковы; другие существенно различны.

Одинаковы, собственно, лишь начало и конец; я цитирую эти черты из «Автобиографии»:

«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские» — начало; конец: «Мы разошлись. Она писала мне письма, я возвращал их».

Это достоверно. Не потому достоверно, что одинаково в «Автобиографии» и в рассказах, слышанных мною: одинаковость еще ничего не доказывала бы, при его склонности твердо верить в свои фантазии; но потому достоверно, что само собою ясно из дальнейшего, известного мне хода дела.

Была дружба; она кончилась разрывом потому, что были попытки превратить ее в любовь. После разрыва он получал письма, на которые не отвечал; это было, потому что без этого не могла бы произойти сцена у ворот.

Но все то, что находится в «Автобиографии» между переписанными мною здесь словами, я считаю рассказанным фантастически. Почти все это рассказывал он и мне; но или не в том порядке, или не совсем так, или вовсе не так.

Приведу один пример. В «Автобиографии» он говорит:

(«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские»), рассказывал ей о моей невесте, как вдруг неожиданно получаю от нее письмо, где она признается мне в любви. Я ответил ей холодным письмом» и т. д.

Он говорил мне об этом ее письме; он приводил мне и самые слова, которыми она, по его выражению в «Автобиографии», признавалась ему в любви. Он несколько раз повторял мне эти слова, всегда одинаково; и я помню их.

Я полагаю, что это письмо ее — факт, а не фантазия; полагаю, что и слова из него, которые приводил он мне, были приводимы им верно. Не знаю; быть может и ошибаюсь в этом моем предположении; но полагаю так.

Итак, положим, это ее письмо факт. — Но, во-первых, когда оно было написано ею? — Во-вторых, верно ли передается характер факта выражением, что она написала ему «признание в любви»?

По «Автобиографии», оно было написано раньше, нежели невеста Костомарова вышла замуж. По его рассказам мне, позднее отъезда «одинокоего старика С.», который «хотел посвататься» к Наталье Дмитриевне. А это было гораздо позднее получения Костомаровым известия о замужестве его невесты, по его рассказу в «Автобиографии».

От этой разницы выходит непримиримое противоречие между «Автобиографией» и слышанными мною рассказами: весь ход дела от начала отношений, характеризуемого словами «чисто дружеские», до ссоры, о которой он говорит: «прав ли я был, или нет, не знаю» — оказывается имевшим иной порядок, и вся мотивировка

этих (действительных ли, или мнимых) фактов оказывается не та.

Но пусть это письмо было написано до замужества невесты Костомарова. По тем словам, которые приводил он мне из него, ясно, что оно было ответом Натальи Дмитриевны на слова Костомарова, не «признанием в любви» к нему, а выражением согласия принять его любовь. Вот слова, которые он приводил мне:

«Я буду путеводною звездою вашей жизни».

Ясно, этому предшествовали с его стороны жалобы ей на то, что у него нет «путеводной звезды». Вероятно, он толковал о том, что его сердце разбито (потерю невесты; она еще не вышла замуж, но он уже считал себя утратившим ее; об этом после). Сердце разбито, нет цели жизни, некого любить и т. д., и т. д.; это он говорил наедине с девушкою; и не замечал, какой смысл имеют эти жалобы мужчины, излагающего их девушке в разговоре наедине с нею. Он не догадывался, что они в таких разговорах значат: «пожалей меня, полюби меня». — Напрашивался на любовь, получил ответ и — изумился: «вдруг неожиданно получаю» и т. д. А не следовало б изумиться. Если девушка долго слушает такие жалобы, не уклоняется от знакомства, то надобно ожидать, что она согласится принять любовь. А она слушала долго; времени было достаточно: по крайней мере за полгода, — а по его счету, больше чем за полгода до замужества своей невесты он уже считал себя утратившим ее, это я знаю, потому что это он говорил мне с самого начала моего знакомства с ним.

Он познакомился со мною «в начале 1851 года» («Автобиография», стран. 24). Точнее говоря, не в начале года, а в начале весны<sup>8</sup>. Когда я ехал в Саратов, вскрывались реки. Я познакомился с Костомаровым скоро после приезда. Вероятно, в апреле. Его невеста вышла замуж в конце 1851 года («Автобиография», стран. 22). Возможно ли полагать, что он не начал говорить Наталье Дмитриевне о утрате невесты по крайней мере с того же времени, как стал слышать об этом от него я? — Знакомство с Натальею [Дмитриевною] началось, по его словам, раньше: «еще в 1850 году», говорит он в «Автобиографии».

Итак, я полагаю: он пускался в разговорах (или в переписке) с Натальею Дмитриевною в жалобы, значения которых в подобных разговорах (или переписках) не замечал. И получил на них ответ, сообразный с тем значением, какое они имеют в подобных случаях.

Но это лишь предположение. И я высказываю его лишь для примера. Я хотел этим примером объяснить мои слова: кроме фактов, что была дружба и по произведенном чьею-то — его или ее не знаю — попыткою превратить дружбу в любовь разрыве знакомства Наталья Дмитриевна писала письма, нет в рассказах его мне ничего такого, что не находилось бы в противоречии с чем-нибудь из рассказываемого им в «Автобиографии».

Но — и рассказы его мне фантастичны, как его рассказ в «Автобиографии». Я полагаю, что ни согласие, ни разноречие двух

фантастических источников не дает прочного основания ни для каких заключений о том, в чем состояла фактическая истина. Потому, дав один пример постройки предположений на этом шатком основании, нахожу, что продолжать это было бы делом бесполезным. Ясно, что выводы получились бы не в пользу Костомарова. Но я предпочитаю думать, что сам он достаточно предостерег от доверия к дурным элементам своего фантазерства в «Автобиографии». Он говорит о своих подозрениях: «Прав ли я был, или нет, не знаю», раньше того он делает оговорку, показывающую, как надобно, по его собственному понятию о своем характере, думать о его подозрениях: «мои подозрения, при моей крайней природной мнительности, дошли до крайней степени». — Мне кажется, что этими словами «при моей крайней природной мнительности» он с достаточной точностью определил, что такое его подозрения: продукт его характера.

Разумеется, я должен передать то, что слышал от него до сцены у ворот дома Ступиных о его отношениях к Наталье Дмитриевне. Но я говорил, что эти рассказы его мне фантастичны. Сущность их была такова:

Он был дружен с Натальею Дмитриевною. Он часто бывал у Ступиных. Наталья Дмитриевна попросила его перестать на некоторое время бывать у них, потому что ее отец и мать предубеждены против него; когда их предубеждения рассеются, тогда он и возобновит свои посещения. По этой ее просьбе он перестал бывать у них. Но он и Наталья Дмитриевна продолжали видеться. И кроме того, что виделись, переписывались. Содержанием их переписки был обмен мыслей о поэзии, литературе, искусстве, о философских и научных вопросах. Но вот, читая ее письма, начинавшиеся тоже изложением ее мыслей об одном из обыкновенных предметов их переписки, он дочитался до того, что никак не ожидал прочесть: она писала ему, что будет путеводною звездою его жизни (дошедши до этого, он цитировал, повторяя несколько раз, подлинные, как он говорил, слова ее письма; я приводил их в буквальном виде: «я буду путеводною звездою» и т. д. — Раза три он рассказывал мне об этом письме и при каждом рассказе по несколько раз повторял эти слова). Он был удивлен. У него не было мысли о женитьбе на ней. Он отвечал ей письмом, в котором говорил, что не имел мысли о женитьбе на ней и что он прекращает знакомство с нею. Она присылала ему письма, он возвращал их ей.

Я должен был передать содержание его рассказов мне. И передал. Но я говорил: его рассказы мне фантастичны. Из того, что пересказал я, только первые два слова (о дружбе) и последние слова (она присылала ему письма, он возвращал их), я считаю, достоверны. Все, что находится между ними — сказка, которой я полагаю, что какая-нибудь доля правды есть в ней; но что в ней правда, я не могу решить.

В мою краткую передачу его рассказов я не ввел его подозрений. Это потому, что сам он в рассказах своих мне лишь вскользь упоминал о них и никакого значения не придавал им. Он толковал

лишь о том, что продолжать знакомство значило бы—стать ее женихом, а у него не было мысли жениться на ней.

Я не передал похвал ей; само собою разумеется, что в первых его рассказах, предшествовавших его разрыву с нею, отзывы его о ней были похвалами, исполненными уважения. Но я имсю падобность передавать лишь то, что было содержанием рассказов его в период его ожесточения против нее. Прежние его, панегирические, отзывы о ней были честные, искренние. Но он отбросил их из последующих рассказов. Потому отбросил и я из моего пересказа.

По «Автобиографии» он хотел жениться на Наталье Дмитриевне и говорил ей об этом; но она просила его подождать со сватовством. В рассказах мне он не упоминал об этом. Было ль это? — Может быть это было, и он только умалчивал мне об этом. — Или, быть может, он в «Автобиографии» перепутал порядок фактов, рассказал раньше разрыва, поставил причиною разрыва то, что было после сцены у ворот? — Быть может.

Итак, для меня достоверно лишь то, что у него была дружба с Натальею [Дмитриевною], что были какие-то попытки превратить дружбу в любовь, и из этих попыток произошел разрыв. С чьей стороны были эти попытки, я не могу сказать достоверно и предпочитаю оставлять это в моих мыслях не решенным.

То, что буду говорить дальше, известно мне достоверно.

После разрыва знакомства с нею она писала ему. Он был раздражен этим. Встретив ее у ворот ее дома, он нанес ей оскорбление. Она удалилась. Он пошел ко мне. Пришел уже с готовым решением просить ее руки. Он хотел, чтобы разговоры со мною поддерживали в нем эту решимость. Разумеется, я соглашался с ним, что ему следует просить ее руки. Он послал ей письмо, в котором просил ее прощения и упрасивал ее согласиться стать его женою. Она отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может. Он продолжал упрасивать ее. Это длилось несколько дней. Ему казалось, что она уступит его просьбам. Но кончилось тем, что она отвечала ему выражением своей непоколебимой решимости не быть его женою.

Таковы общие, совершенно достоверные черты хода дела. Расскажу теперь те подробности, которые твердо помню.

Это было в совершенно теплое время года, когда окна бывают открыты с утра до ночи; то-есть, вероятно, не раньше мая и не позже августа (1852 года)..

Однажды вечером я сидел у Костомарова. Тут был и еще один из его знакомых, бывший и моим знакомым, Павел Дмитриевич Горбунов (младший брат Александра Дмитриевича Горбунова, о котором Костомаров упоминает в своей «Автобиографии»). Он ушел раньше меня. Когда он ушел, мы заметили, что он забыл свою палку. Она была суковатая.

На другой день, после обеда, я читал в моей комнате на мезонине. Мы обедали рано. После обеда прошло не очень много времени, когда я услышал быстрые шаги мужчины, всходящего по лестни-

це на мезонин. Был, вероятно, второй час дня, около половины и несколько поближе к концу. — Я услышал шаги, только уж когда они были на последних ступенях лестницы, и пока я опускал книгу, в дверь комнаты вбежал Костомаров, с тою, забытою у него, палкою в руке, взволнованный, и останавливаясь на первом шаге от двери, воскликнул: «Женось!» — махнул палкою, толкнул ее к соседнему с дверью углу и подошел ко мне, только еще встававшему с дивана, — так это было быстро. — Мы сели на диван, и он начал рассказывать, что такое случилось. — Он был взволнован; потому вставал, отходил на шаг и стоял, подходил опять к дивану и садился; но это было лишь то, как держит себя всякий взволнованный человек; обыкновенных эксцентричностей его волнения вовсе не было: он не бегал по комнате, не кричал. И рассказывал без эффектных выражений, совершенно просто. То-есть серьезность его волнения была более глубокая, чем обыкновенно. — Вот сущность того, что он рассказал мне.

Он поехал (у него была лошадь) в ресторан (тогда был в Саратове какой-то ресторан) играть с Мелантовичем на бильярде. (Он в своей «Автобиографии» упоминает о Мелантовиче. Они — он и Мелантович — в это время почти каждый день сходились или съезжались в этом ресторане сыграть перед обедом несколько партий на бильярде. И он, и тем более Мелантович, человек с привычками богатого светского общества, обедали гораздо позднее, чем мы.) Отправляясь из дому, он взял с собою палку, забытую у него Горбуновым, думая занести ему ее, когда пойдет домой из ресторана. (Это было, действительно, по пути ему. Ресторан был где-то около Театральной площади или на ней; я не знал, где именно, но знал, что в тех местах. Его путь домой был мимо Архиерейского дома, через Бульвар, мимо дома — все еще остававшегося домом Хариной или уже принадлежавшего самой Анне Эльпидифоровне, жене А. Д. Горбунова? — где жил, при брате, Павел Дмитриевич.) Входя в ресторан, он отпустил лошадь. В ресторане еще не было Мелантовича. Он подождал несколько минут, соскучился и вздумал сам сходить за Мелантовичем. Когда он подходил к дому Ступиных (действительно ли он шел к Мелантовичу? — то-есть: действительно ли он не искал встречи с Натальею Дмитриевною? — Я считаю достоверным его уверение, что у него не было умысла искать встречи с нею. Где жил тогда Мелантович, я не знал. Но я не сомневался и теперь не сомневаюсь, что Костомаров действительно шел к нему и не искал встречи с Натальею Дмитриевною. — Порядок домов, мимо которых шел он, был, по направлению его пути: Архиерейский дом; дом Сократа Евгеньевича; дом Ступиных; дом Мордовина; кажется, Мордовина? — большой, каменный. — Дом Ступиных стоял во дворе, в нескольких саженях от линии улицы; по улице были только забор и ворота этого дома. Ворота всегда были весь день отворены), — итак: когда он приближался к воротам дома Ступиных, он увидел идущую через тротуар перед этими воротами (не припомню, выходящую ли из ворот, или возвращающуюся

домой; но в том ли, в другом ли направлении, от бульвара ль к воротам, или от ворот к бульвару, переходящую через тротуар перед воротами своего дома) Наталью Дмитриевну. Одну. При виде ее досада на нее вспыхнула в нем, и, мгновенно ускорив шаг, он стремительно подошел к ней и громким голосом раздражения сказал: «Сударыня, избавьте меня от ваших писем». Когда он быстро подходил к ней, она оглянулась на стук шагов и остановилась было; но когда зазвучал раздраженным тоном его голос, она, при первых звуках, отступила на шаг от него, подступившего вовсе близко к ней; а когда он произносил последнее слово своей фразы, она ринулась вперед; дело в том, что в эти секунды брат ее, Михаил Дмитриевич (молодой человек; ростом выше Костомарова), шедший со двора в ворота или стоявший в воротах, бросился на Костомарова, поднимая кулаки; Костомаров размахнулся палкою ударить его по голове; но Наталья Дмитриевна, в этот миг ринувшаяся вперед, простирая руки между братом и Костомаровым, оттолкнула брата, и палка, не достав его головы, ударила по голове Наталью Дмитриевну. Удар был по верхней части лба, над глазом; левым глазом, если не ошибаюсь. Брызнула кровь. Наталья Дмитриевна крепко охватила у плеча руку брата, хотевшего снова броситься на Костомарова, и пошла в ворота, принуждая брата идти с нею. А Костомаров пошел ко мне.

Так рассказывал он мне.

Я полагаю, что в этом его рассказе не было фантазий. Он был в серьезном глубоком волнении. Он был не в таком настроении духа, чтобы фантазировать. Могло быть одно: он мог смягчить свою роль. Она могла в действительности быть хуже, нежели в его рассказе. — У ворот дома Мордовина стояло несколько человек, как заметил он, когда шел мимо: они хохотали, они тыкали пальцем по направлению к нему; потому он и заметил их. — Им должны были быть слышны его слова у соседних ворот: он говорил громко.

Были свидетели сцены и кроме них. Окна домов были открыты. У окон сидели люди. Этого он не видел. Но мне случилось слышать, что были люди, видевшие эту сцену из окон. Городская молва вообще мало доходила до меня. Но дошли и до меня отголоски молвы об этой сцене. Молва приписывала Костомарову роль еще более грубую, чем та, которую играл он по его рассказу мне. Говорили, что он «гнал» с палкою за Натальею Дмитриевною; что он «ругал» ее. — Я расположен думать, что это преувеличения, предпочитаю думать, что было лишь то, что рассказал он мне.

Когда он кончил рассказ, то стал говорить, что будет просить прощения у Натальи Дмитриевны и сделает предложению ей. Мне оставалось только сказать, что это решение хорошо, и говорить то, что могло поддержать его решимость. Я не имел никакого, ни хорошего, ни дурного мнения о характере Натальи Дмитриевны; я не знал ее. Но теперь это было для меня все равно. Я стал хвалить ее, стал говорить, что брак с такою благородною девушкою будет счастьем для него. И сам он говорил так.



Он в этом разговоре был рассудительным, серьезным человеком. Сначала очень взволнованным, правда; но и с самого начала человеком, рассуждающим здраво. — Когда он бывал таким в следующие дни, то мать радовалась на него.

Но не всегда он бывал таким. Я уж говорил, какой вздор выдумал он о матери. Тогда надобно было спорить с ним. Мне приходилось спорить с ним.

Когда его переговоры с Натальею Дмитриевною кончились решительным отказом ее продолжать их, я стал говорить ему, что Наталья Дмитриевна поступила благоразумно, отказавшись быть его женою: при болезненной капризности своего характера он был бы мучителем ее и мучился бы сам. Мне казалось, что это помогает ему успокоиться. На него жаль было смотреть.

Разумеется, если б она, начав отказом, кончила согласием, то их брак был бы счастлив. Жене такого мужа надобно только быть хитрою лицемеркою — и муж будет в восторге от нее, ангела; она будет вертеть им, как ей угодно, и будет тоже счастлива. До сцены у ворот Наталья Дмитриевна могла не понимать характера Костомарова. После этой сцены — должна была понять. Если бы согласилась быть его женою, то знала бы, на что решается.

Но она отказалась. Когда так, то, значит, роль притворщицы не казалась привлекательною ей. А когда так, то мне было ясно, что брак ее не был бы счастьем ни для Костомарова, ни для нее. — За ее отказ я стал действительно уважать ее.

Она была благородная девушка. Это я узнал в те дни, когда Костомаров упрашивал ее быть его женою. Она держала себя благородно, великодушно. Я знаю это по его рассказам. По его собственным рассказам. Других сведений у меня нет никаких. Но и того, что рассказывал сам он, достаточно, чтобы сказать с полной достоверностью: она была благородною девушкою.

Я познакомился с Костомаровым вскоре после моего приезда в Саратов, как я уже говорил, — вероятно, в апреле (или, быть может, в мае) 1851 года. Знакомство началось, действительно, тем, что я приехал к нему, как он упоминает в «Автобиографии»; и действительно, мы виделись очень часто. Действительно, играли в шахматы (только напрасно он думает, что я «играл мастерски»; я играл, как тогда, так и после, до такой степени плохо, что хорошие игроки, попробовав сыграть со мною одну партию, не хотели играть больше: моя игра была так слаба, что не представляла занимательности для них. Костомаров тоже играл плохо; потому и мог находить, что я умею играть). Но «читали вместе» мы с ним разве лишь как-нибудь случайно какую-нибудь страницу, для подтверждения или опровержения какой-нибудь ссылки на какой-нибудь факт, сделанной кем-нибудь из нас в разговоре. Вероятно, бывали такие случаи; но если и бывали, то очень редко. А того, что в собственном смысле слова называется «читать вместе», — никогда не

было. Мы «толковали», как выражается он; вот это действительно так; собственно в этом и состоял главный элемент наших отношений с ним: мы «толковали». Он говорит, что меня тогда «занимало славянство»; оно занимало его; меня не занимало; но он говорил о нем много и горячо; его идеал — федерация всех славянских племен — казался мне идеалом ошибочным, влечение к которому дает результаты, вредные для русских, вредные и для других славян. Потому я спорил против мысли о славянской федерации в той форме, в какой желал этой федерации Костомаров. — Дальше он говорит, что я «изучал» тогда сербские песни. У меня был Вук Караджич, это правда; но едва ли я прочел хоть половину его. Я так мало читал его, что никогда не знал по-сербски сколько-нибудь порядочно. «Мелантович, человек поэтический и увлекающийся, недолюбливал» меня, по словам Костомарова. Я так мало видел Мелантовича, что не замечал, хорошего ли мнения обо мне он или дурного. Но прочитав эти слова в «Автобиографии», я увидел, что в самом деле он «недолюбливал» меня. Иначе он поддержал бы знакомство со мною; он был человек светский, он умел бы поддержать знакомство, если бы хотел; а оно расклеилось как-то; как именно, я и не замечал, по своему незнанию привычек Мелантовича; я полагал, что нам с ним не случается видаться, только и всего. Я с своей стороны был вовсе не прочь поддержать знакомство с ним; но — он был человек богатого светского общества, мне казалось, что в Саратове он живет — для одинокого молодого человека скромных нравов, каким был, мне казалось, он — на широкую ногу. И я стеснялся навязываться на сближение с ним. А само собою сближение не устраивалось; только, казалось мне. Теперь вижу: не то, что сближение не устраивалось само собою, нет: он преднамеренно устранился от продолжения едва начавшегося знакомства со мною. Но, человек светский, сумел отстраниться деликатно. — Итак, я очень мало знал его. Но сколько я знал его, он казался мне очень хорошим человеком. И я всегда сохранил расположение думать о нем с симпатиею. — Костомаров продолжает: Мелантович называл (меня) сухим, самолюбивым (человеком); и «не мог простить отсутствие поэзии» во мне. Жаль, что Мелантович думал обо мне так; но это все равно: он для меня остался навсегда симпатичным человеком. — Мелантович, по мнению Костомарова, едва ли ошибался в том, что у меня нет любви к поэзии или умения понимать ее, и рассказывает маленький анекдот: сидели мы с ним у окна, в мае; вид был прекрасный: Волга в разливе, горы, сады, зелень. — «Я совершенно увлекся» (продолжает он). — И он стал хвалить вид и сказал: «Если освобожусь когда-нибудь, то пожалею это место». — А я на это отвечал: «Я не способен наслаждаться красотами природы». Я помню этот случай, и Костомаров пересказывает его совершенно верно. Дело только в том, что он хвалил «красоты природы» слишком долго, так что стало скучно слушать, и если бы не прекратить этих похвал, то он продолжал бы твердить их до глубокой ночи. Я отвечал шуткою, чтобы отвязаться от слушания

бесконечных повторений одного и того же. Но красоты природы были еще очень сносны сравнительно с звездами. О звездах он чуть ли не целый год начинал говорить каждый раз, как виделся со мною, и каждый раз толковал без конца, — то-есть до конца преждевременного, производимого какою-нибудь моею шуткою вроде приводимого им ответа моего на похвалы красоте природы. Это была скука, которая была бы невыносима ни для какой из старинных девиц, охотниц смотреть на луну.

Обо мне кончено. Дальше идет речь об Анне Никаноровне Пасхаловой. И по поводу Анны Никаноровны опять обо мне: я подсмеивался над их дружбою, и «вообще Чернышевский и Пасхалова не особенно долюбливали друг друга». — О том, что Мелантович недолюбливал меня, он, как и следует порядочному человеку, не говорил мне, потому что не было никакой надобности мне слышать это. Но об Анне Никаноровне я говорил с ним очень много и настойчиво; потому он имел право не умалчивать передо мною, что она «недолюбливает меня». Для меня было все равно, хорошего ль она мнения обо мне или дурного. Мне казалось надобным не только «подсмеиваться» над их дружбою, но и очень серьезным тоном доказывать ему, что ему следует помнить, к чему обязывает дружба. — Лично я мало знал тогда Анну Никаноровну. Но с нею — несколько раньше того — был дружен один из близких мне людей (Ты знаешь, мой друг, о ком я говорю). Потому, я был расположен думать о ней, как об очень хорошей женщине. — Ее домашние отношения были, как я слышала, тяжелы. Она была в полной зависимости от матери, у которой жила; муж обобрал ее; у нее не оставалось ничего, — так я слышал. — Ее матери не нравилась ее дружба с Костомаровым, слышал я; мне говорили, что мать стала обращаться с нею хуже прежнего по неудовольствию на ее дружбу с Костомаровым. — Он соглашался, что все это так. Он говорит в своей «Автобиографии», что он и Пасхалова «занимались астрономиею и даже лазали по чердакам, чтобы наблюдать звезды»; все «занятия» их астрономиею только в том и состояли, что они «наблюдали» звезды, — то-есть вовсе не «наблюдали» их, потому что не имели ни астрономических инструментов, хоть бы плохих, ни малейшего понятия о том, как надобно «наблюдать» звезды; вовсе не «наблюдали» звезды, а просто сидели и смотрели на них, твердя друг другу: «Как прекрасны звезды!» или, в частности, «как прекрасна эта звезда!» Некоторое время в особенности им нравилась Капелла; что-то долго твердил мне Костомаров о красоте Капеллы, которая, вот, и в прошлую ночь была удивительно хороша. — Мать сердилась на Анну Никаноровну за эти «занятия астрономиею»; и я доказывал Костомарову, что не должно ему «лазать по чердакам» с Анною Никаноровною, которая подвергается за это неприятностям от матери; пусть он лазит один, на свой чердак, Анна Никаноровна, если ей угодно, пусть тоже лазит, сколько ей угодно, на свой чердак; и вдвоем на один чердак пусть не лезут; я говорил ему, что виноват в этих дурачествах он один; что он из-за своего

дурачества пренебрегает серьезными интересами Анны Никаноровны. — «Впоследствии, когда я увлекся русскими народными песнями, мы вдвоем» — с Пасхаловою — «ходили по кабакам и записывали песни», — продолжает он. — Могло это нравиться матери Анны Никаноровны? Как же мне было не порицать его за это? — Но, разумеется, я толковал с ним без всякого успеха.

Он имел упрямство больного человека.

Дальше он говорит о своем участии в «так называемом жидовском деле»<sup>9</sup>. Он рассказывает об этом гнусном процессе так, как будто обвинение против «жидов» имело серьезные основания и — как знать? — пожалуй, было справедливо. Это был процесс гнусный. Так решил Сенат. Неужели ему было неизвестно решение Сената? Неужели и раньше того он не слышал, кто были обвинитель и обвинительница? — Они были мерзавец и мерзавка (павший до самого пошлого мошенничества образованный человек и пьяная, гадкая, промышлявшая развратом женщина). И все в процессе против несчастных было таково. — Его участие в этом процессе — прискорбный эпизод его деятельности. Но он и не думал скорбеть о нем, когда диктовал свою «Автобиографию». — Этого, при всем моем знании его болезненных недостатков, я не ожидал от него. Я думал, он жалеет и стыдится.

Да, когда он диктовал свою «Автобиографию», — он был человеком еще более больным душою, чем каков он был, когда я знал [его].

Но он был уж очень больной духом человек и в то время, когда я познакомился с ним.

И физическое его здоровье было уж очень расстроено. Кроме нервных страданий, у него тогда не было никакой болезни. Ему воображалось, что он болен физически. Это была фантазия его больного воображения, только. Но он, не слушая порядочных медиков, смеявшихся над его мнимой болезнью и советовавших ему бросить мысль о ней, лечился все время, которое прожил я тогда в Саратове. Он находил медиков, соглашавшихся переписывать и подписывать своим именем рецепты, которые он выбирал для себя из медицинских книг или составлял сам. И он глотал вредные для него, сильно действующие лекарства. Нервные страдания и эти лекарства уже сделали его хилым, когда я познакомился с ним. — Мне казалось, что в Петербурге, в те годы, которые жил он там до прекращения моего знакомства с ним, он был менее хил, нежели каким я знал его в Саратове. — О его медицинских проделках над собою много было у нас с ним разговоров. Разумеется, ни постоянные насмешки мои, ни очень частые серьезные урезонивания не помогали: он и хохотал над собою, но продолжал изнурять себя вредным лечением от несуществовавшей болезни.

Я смотрел на него, как на человека, больного душою. Потому извинял ему и такие дурные эксцентричности, как дикая сцена у ворот дома Ступиных, и то, что он был мучителем своей матери, превосходной женщины.

И не все ж он только капризничал и безрассудствовал. И не со всеми ж он держал себя так нехорошо, как относительно Натальи Дмитриевны. — Сколько я мог судить, большинство его знакомых не имели причин быть недовольны его обращением с ними.

Относительно меня он держал себя так, что я никогда не имел ни малейшего личного неудовольствия против него. А мы виделись очень часто; временами по целым месяцам каждый день, и почти каждый день просиживали вместе долго. И однако же ни одного раза не встретилось мне никакого повода к личному неудовольствию против него. Я часто раздражал его серьезными порицаниями; еще чаще, несравненно чаще, или насмешками, или неловкими шутками. Но и в минуты раздражения он держал себя со мною безукоризненно: говорил, что ему больно или обидно, но говорил безукоризненно хорошо.

Мое знакомство с ним было знакомство человека, любящего говорить об ученых и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком ученым и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уж твердым. Потому, если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково, то спор мог идти бесконечно, не приводя к соглашению. Были вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена в России было между учеными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом было основано мое расположение к нему.

Попробую разъяснить двумя-тремя примерами, в чем состояла симпатичность его образа мыслей мне и в чем была разница между его и моими решениями вопросов.

Он в те годы еще оставался очень горячим приверженцем мысли о федерации славянских племен. Я был заинтересован судьбою славянских племен, живущих за границею русского государства, — или выражусь яснее: судьбою болгар, сербов, словаков и живущих далее на запад — ровно столько же, как судьбою греков, албанцев и других некрупных европейских народов, не живущих в России; ровно столько же, ни меньше, ни больше. Потому, о чехах лично я был так же мало расположен вести частые или длинные разговоры, как о датчанах, о сербах так же мало, как о бретонцах, то есть еще гораздо меньше, нежели о чехах. Но он любил говорить о них, — не о каком-нибудь из этих славянских племен в частности, а обо всех вместе со всеми другими славянскими народами или племенами, о федерации, которая охватывала бы всех. Эта федерация была бы, как мне казалось тогда (и кажется теперь), вредна для всей Европы и в частности гибельна для каждого из славянских племен, начиная с того, к которому принадлежу я, и кончая хоть бы кашубами или лужичанами. Потому идея о федерации всех славянских племен была тогда (и остается теперь) ненавистна мне. И мы с Костомаровым спорили о ней очень часто. Но, желая того, что, по моему мнению, было бы гибельно, например, для кроатов,

он желал этого по чистой, безоговорочной и чуждой всяких — например, малорусских — эгоистических расчетов, бескорыстной любви к кроатам. — Ему кроаты были очень интересны или милы, как одно из подразделений одного из славянских племен. Мне они были не интереснее и не милее, чем калабрийцы. Но я желал добра и кроатам, как желал калабрийцам. И отсутствие малорусских или каких других не-кроатских племенных эгоистических мотивов в мыслях Костомарова о кроатах было симпатично мне. Это составляло разницу между его идеями и идеями славянофилов. Географический характер построения — один и тот же; но мотивы географического построения у него были не те, как у славянофилов.

Я хотел привести два-три примера. Вижу, довольно и одного. — Таких спорных вопросов, поднимаемых Костомаровым, было много. И я спорил, потому что это интересовало его. — Но обо многом судил он, по моему мнению, или совершенно правильно, или несравненно правильнее, чем большинство тогдашних русских ученых <sup>10</sup>.

## № 6

### МОИ СВИДАНИЯ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспевают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание». — Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через не-

сколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о первом попавшемся мне на мысль постороннем его болезненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как велит поступать в подобных случаях медики. Я спросил его, в каком положении находятся денежные обстоятельства издаваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникает ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал обременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю; я дал ему говорить о делах его журнала, сколько угодно. Он рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам запоздал к чтению корректур и вероятно задержал меня, встал, простился. Я пошел проводить его до двери, отвечая, что меня он не задержал, что правда я всегда занят делом, но и всегда имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими словами я раскланялся с ним, уходящим в дверь.

Через неделю или полторы зашел ко мне незнакомый человек скромного и почтенного вида. Отрекомендовавшись и, по моему приглашению, усевшись, он сказал, что думает издать книгу для чтения малообразованным, но любознательным людям, не имеющим много денег; это будет нечто вроде хрестоматии для взрослых; вынул два или три листа и попросил меня прочесть их. Это было оглавление его предполагаемой книги. Взглянув на три, четыре строки первой, потом четвертой или пятой страниц, я сказал ему, что читать бесполезно: по строкам, попавшимся мне на глаза, достаточно ясно, что подбор сделан человеком, хорошо понявшим, каков должен быть состав хрестоматии для взрослых, прекрасно знающим нашу беллетристику и популярную научную литературу, что никаких поправок или пополнений не нужно ему слышать от меня. Он сказал на это, что в таком случае есть у него другая просьба: он человек, чуждый литературному миру, незнакомый ни с одним литератором; он просит меня, если это не представляет мне особого труда, выпросить у авторов выбранных им для его книги отрывков дозволения воспользоваться ими. Цена книги была назначена очень дешевая, только покрывающая издержки издания при распродаже всех экземпляров. Потому я сказал моему гостю, что ручаюсь ему за согласие почти всех литераторов, отрывки из которых он берет, и при случае скажу тем, с кем выдаюсь, что дал от их имени согласие, а с теми, о ком не знаю вперед, одобряют ли они согласие, данное за них, я безотлагательно поговорю и прошу его пожаловать ко мне за их ответом дня через два. Сказав это, я просмотрел имена авторов в оглавлении, нашел в них только одного такого, в согласии которого не мог быть уверен без разговора с ним; это был Ф. М. Достоевский. Я выписал из оглавления книги, какие отрывки его рассказов предполагается взять, и на следую-

щее утро отправился к нему с этой запиской, рассказал ему, в чем дело, попросил его согласия. Он охотно дал. Просидев у него, сколько требовала учтивость, вероятно больше пяти минут и наверное меньше четверти часа, я простился. Разговор в эти минуты, по получении его согласия, был ничтожный; кажется, он хвалил своего брата Михаила Михайловича и своего сотрудника г. Страхова; наверное, он говорил что-то в этом роде; я слушал, не противоречил, не выражал одобрения. Дав хозяину кончить начатую тему разговора, я пожелал его журналу успеха, простился и ушел.

Это были два единственные случая, когда я виделся с Ф. М. Достоевским.

Н. Чернышевский.

26 мая [18]88[г.] Астрахань.

•



## ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ\*

### ДНЕВНИКИ

7 июля 1862 г. Н. Г. Чернышевский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Десять дней спустя был тщательно обыскан его кабинет, опечатанный при аресте, причем были изъяты, как отмечено в акте обыска, «восемь запрещенных книг, три пакета с письмами и тетрадь, писанная стенографическим способом», а также несколько полосок картона с цифрами от 1 до 33 на каждой полоске и буквами против каждой цифры. Тетрадь эта вместе с картонными полосками, принятыми за ключ к шифру, была отослана для расшифровки в министерство иностранных дел. 10 августа товарищ министра иностранных дел Муханов уведомил управляющего III отделением ген. Потапова, члена следственной комиссии, что «приложенный к оным (бумагам) указатель повидному совершенно к ним не принадлежит, к тому же он весьма не полон; засим не представляется возможности разобрать написанное в бумагах, но должно полагать, что они составлены вовсе не шифром, но только с условными сокращениями и потому будут сделаны еще некоторые опыты для раскрытия смысла оных. Исполнить это вскоре нельзя и даже обещать вполне успех невозможно, но будут приложены все старания...» Только 14 ноября Муханов послал Потапову расшифровку части рукописи Чернышевского, уведомляя, что «рукописи эти, как и предполагалось и прежде, писаны не шифрами, но только с сокращениями и употреблением часто вместо слов, слогов и букв особых знаков». — «При всем желании, — писал Муханов, — при множестве текущих, не терпящих отлагательства дел не было никакой возможности разобрать, что настоящего времени всю рукопись, но из содержания разобранного можно думать, что слог сей имеет условный смысл. Между тем, в предположении, что, кроме видимого содержания рукописи, могло находиться написанное симпатическими чернилами, были употреблены разные способы для открытия этого, но такового письма не оказалось».

Рукопись, побывавшая в министерстве иностранных дел, — часть саратовского дневника Чернышевского 1852—53 гг. Расшифрованные чиновниками страницы ее составляют начало второй тетради «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» (страницы 454—472 настоящего издания, от слов: «Я беру мел...» до слов: «Почему О. С. моя невеста»). В расшифровке этой много пробелов и погрешностей. Для примера приведем расшифровку того места Дневника, которое привлекло особое внимание следственной комиссии. Вот как оно было расшифровано в министерстве иностранных дел (пропуски обозначены в ней многоточиями; рядом с неправильно разобранными словами ставим в прямых скобках правильную расшифровку):

«Хорошо, я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю... сколько времени пробуду я на свободе... Меня каждый день могут взять. Какая будет

\* Составлены: к «Дневникам» и «Автобиографии» — Н. А. Алексеевым; к «Воспоминаниям» — Н. М. Чернышевской.

тут моя роль? У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные [подозрения против меня будут весьма сильные]. Что могу я другое делать? [Что же я буду делать?] Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться. Не знаю, поверила ли она этому, — кажется, мало, потому что подобные вещи для нее мало привычны. Мы пошли танцевать. Я танцевал с нею [другими] или говорил с Гавр. Мих. и т. п., с нею не могу теперь [почти] припомнить, что я говорил, кроме... повторений, что все-таки я привязан к ней, что... если бы это было [если это будет] продолжительнее [продолжаться так], то я наконец не был бы [не буду] в состоянии рассудить, и т. п.»

Дефекты расшифровки и заключенные министерства иностранных дел, что «слог сей имеет условный смысл», позволили Чернышевскому утверждать, что попавший в руки властей Дневник повествует вовсе не о нем самом, а представляет собою собственно черновые материалы для будущих беллетристических произведений (см. его заявление в Сенат от 25 сентября 1863 г.).

Вшитая в дело следственной комиссии о Чернышевском часть его Дневника была полностью расшифрована его сыном М. Н. Чернышевским и напечатана в 1906 г. в X томе «Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского». Остальные части Дневника, относящиеся к 1848—1851 гг., были найдены позже в бумагах А. Н. Пыпина. Весь Дневник в расшифровке М. Н. Чернышевского был впервые напечатан нами в 1928 г. в I томе «Литературного наследия Н. Г. Чернышевского». Для второго издания Дневника, выпущенного в 1931 г. Издательством политкаторжан, мы сверили расшифровку М. Н. Чернышевского с оригиналом, вставили все пропущенные места и исправили замеченные погрешности. Для настоящего издания мы вновь сверили печатный текст с фотостатической копией оригинала и внесли необходимые исправления.

Рукописи дневника Н. Г. Чернышевского хранятся в Саратове, в Доме-музее его имени, за исключением второй тетради «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье», «Дневника в Саратове» и «Дневника. Март 1853», которые вшиты в дело следственной комиссии о нем, находящиеся в Москве в Архиве революции и внешней политики.

Запись дневника, относящаяся к маю 1848 г., сделана на трех листках: в четвертушку и в полчетвертушку писчей бумаги и в четверть листка почтовой бумаги обычного формата.

Записи со второй половины 1848 г. по 2 февраля 1850 г. сделаны в тетрадках из почтовой бумаги обычного формата, причем листки записей 1848 г. перенумерованы цифрами с 1 по 100, а записей 1849 и 1850 гг. (по 2 февраля) — цифрами с 1 по 40; дальнейшие записи 1850 г. занесены в тетрадь в четвертую долю листа писчей бумаги, с нумерацией страниц с 1 по 19. Единственная запись, относящаяся к 1851 г., сделана на двух полулистах писчей бумаги. Первая тетрадь «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» — в четвертую долю листа писчей бумаги, страницы перенумерованы цифрами с 1 по 22; вторая тетрадь в полулист писчей бумаги, страницы перенумерованы цифрами с 23 по 44, затем идут без нумерации. «Дневник в Саратове» (записи 25 ноября 1852 и 9 января 1853 г.) писан на двух полулистах, остальной саратовский дневник занесен в тетрадь в полулист писчей бумаги, без авторской нумерации. Почерк записей на почтовой бумаге чрезвычайно густой и мелкий, прочие записи сделаны более крупным почерком. Во многих местах имеются подчеркивания, сделанные очевидно М. Н. Чернышевским при расшифровке более трудных фраз и слов.

Дневник писался Н. Г. Чернышевским в те годы, когда он еще только мечтал быть литератором, писался для самого себя, а не для печати, притом в обстановке, не располагавшей к отделыванию слога и порою самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у домашних, то в университете на лекциях, то даже в церкви во время богослужения... Не мудрено, что язык Дневника далеко не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы Дневник более удобочитаемым для современного читателя. Но они отняли бы у этого драгоценного человеческого документа колорит подлинности, и поэтому мы считали их недопустимыми.

Дневник печатается с соблюдением принятой в настоящее время орфографии и пунктуации, с разбивкой сплошного текста на абзацы для облегчения чтения.

Зачеркнутые в рукописи дневников места, имеющие политическое или биографическое значение, мы приводим ниже, равным образом и явные описки, вкравшиеся в рукописи и исправленные нами в тексте.

Но прежде мы считаем необходимым познакомить читателя с шифром, которым пользовался Чернышевский, делая записи в свой дневник; этим же шифром он пользовался еще в семинарии, затем для записи университетских лекций и переписывая для себя некоторые литературные произведения, напр., «Княжну Мери» Лермонтова. Такою же скорописью была писана им позже в крепости часть черновиков романа «Что делать?» и повести «Алферьев».

«Расшифровка Дневника,— пишет М. Н. Чернышевский,— представляла громадную трудность не только из-за шифра и чрезвычайно мелкого, сжатого почерка, но и ввиду того, что Дневник писался наскорю, хотелось написать побольше и поскорее, мысли опережали писание, а потому ни о слоге, ни о знаках препинания думать не приходилось. Происходили нередко и описки, главным образом в падежах и временах или в местоимениях «он» и «она», что иногда могло изменить смысл целой фразы. Чрезвычайно трудно было иной раз, при отсутствии запятых и слитности слов, не только разбивать фразу на отдельные слова, но и определять само слово, так как некоторые буквы имеют почти одинаковое начертание, а между тем каждой букве присваивается особое значение... Кроме русского алфавита, встречается и греческий, и латинский: так, сигма означает местоимение это; бета — всякий; латинское ку — чем; латинское в — истина, и т. д. Но одними буквами шифр не ограничивается: введены особые значки для обозначения некоторых слов,— например, для слов он, она, их, конечно, и т. д.»

Трудности расшифровки скорописи Чернышевского зависят от следующих обстоятельств:

Чернышевский обычно пишет чрезвычайно мелким почерком, с малыми промежутками между строками.

Очертания разных букв порою очень сходны.

Отдельные слова порою слиты.

Знаки препинания часто вовсе отсутствуют или ставятся не те, какие употребляются обычно (например, тире и запятые вместо точек).

Особые обозначения для различных глагольных форм часто пропускаются.

При сокращении слов одинаковые сокращенные начертания иногда употребляются для слов, имеющих разное значение.

Помимо русского алфавита, употребляется латинский, иногда и греческий и — в очень редких случаях — арабский.

Вообще Чернышевский не строго следует придуманной им системе скорописи. В чем состоит эта система, которою Чернышевский пользовался и в семинарии, и в студенческие годы, и в последующее время, включая пребывание в Петропавловской крепости, когда писал начерно некоторые свои произведения («Что делать?», «Алферьев»)? Выбираются буквы то начала, то середины, то конца слова. Некоторые слова обозначаются одной буквой. Для ряда слов придуманы особые знаки. Употребляются особые знаки для обозначения глагольных форм. Но система не выдерживается, слова сокращаются как попало, при густом письме случаются описки, и все это затрудняет расшифровку. Но при известном навыке трудности преодолимы. То обстоятельство, что чиновникам министерства иностранных дел понадобилось три месяца для расшифровки нескольких полулистов рукописи Дневника, объясняется не сложностью придуманной Чернышевским системы скорописи, а отсутствием интереса к работе, которая не могла раскрыть каких-либо дипломатических секретов и требовалась для другого ведомства. Надо отметить, что III отделение, посылая рукопись для расшифровки, не уведомило министерство иностранных дел, чья это рукопись, но министерству скоро стало ясно, что автор ее к дипломатической службе не причастен.

Укажем особые знаки, которыми пользовался Чернышевский, и значение обычных в его рукописях сокращений слов:

# Глагольные формы:

неопределенное наклонение:

чит

читать

изъявительное наклонение настоящего времени:

гов

говорю

прошедшего времени:

зна

знал

деепричастие настоящего времени:

отдых

отдыхая

„ прошедшего времени:

отда

отдавши

причастие настоящего времени действ. залога:

сущ

настоящий

„ „ страдат. залога:

общес

общесчитаемый

прошедшего времени

пис

писано

мн

мне, меня, мой

ред

редко

его

его

кро

кроме

ее

ее

пра

права

она,

она,

чер

через

их

их

ско

сколько

этот, тот

этот, тот

ст

столько

всякий

всякий

нес

нес

несколько

другой

другой

дов

довольно

как

как

сно

снова

конечно

конечно

чем

чем

очень

очень

для

для

почти

почти

ме

между

когда

когда

пос

после того как

тогда

тогда

а	делать	рае	растение
ас	однако	лда	друг друга
ак	»	дсвтей	действителей
апе	направление	дсто	противостоит
б	без	дечие	противоречие
	бы	евно	естественно
	был	ж	может
	будет	жво	могущество
	быть	жд	каждый
	бог	з	здесь
бк	бесконечный; божеский	зкы	законы
бо	благо	змы	размышлять
бхие	благодушие	знь	разность
бч	большую частью	экдта	законодатель
в	истина	элэнь	распознавать
ве	выражение	ич	ничего
вя	время	иэъ	присоединить
вн	внешний	иш	пришел
внь	внешность	ім	непосредственный
	вместо	іп	внутренний
веъ	вместе	іобрет	приобретение
взгрде	вознаграждение	јаподобие	правдоподобие
г	всегда	к	который
	говорить	ка	книга
д	должно	кжа	книжка
	добрый	кс	кажется
	достойный	кч	кончить
дд	вести		
дд	подводит	до	либо
дс	добродетель		
	действовать		
м	сам	рлие	различие
мо	много	ршае	совершает
мы	мыслить	са	сделать
мыъ	мысль	сь	степень, ступень
ня	нелья	сва	свойства
нло	начало	ста	система
нсз	несознательно	счи	счастью
нхъ	необходимость	сцю	счастью
нхся	находится	ссс	согласиться
обнь	объективность	сунъ	субъективность
ослабе	ослабление	сшее	существующее
пк	приказ	свѣно	совместно
пм	предмет	ткс	отказаться
пр	и проч.	тчи	отчасти
пже	положение	тише	отношение
пра	природа	тх	отдых
пча	причина	tie	понятие
»	получает	тія	отправления
псо	пространство	удле	удаление
пся	прося	yise	удовлетворению
поз	посмотрим	фк	философский
птрво	притворство	фія	философия
пизходе	происхождение	ха	душа
р	раньше, пред	хъ	дух, способ
рл	различный	хн	способный
рн	прежний	хни	способности
рш	совершенно, решительно	хр	характер
рид	предыдущий	ць	церковь; царь

чн	частный
чщы	частицы
чувя	чувствования
ш	лучше
щ	общий; вообще; так
щвѣ	обществе
щччк	общечеловеческий
ы	слог вы
ѣ	после
ѣ	один
ѣв	одинаков
ѣжно	единодушно
зе	основание
звс	основывается

- Стр. 34, строка 4. Первоначально вместо: сосуд божий — орудие б[ога].
- Стр. 61, строка 15. В рукописи ошибка: 30 июля, суббота.
- Стр. 66, строка 19 сн. В рукописи Леру [и Прудон].
- Стр. 73, строка 19 сн. Зачеркнуто: а о том деист ли он.
- Стр. 76, строка 17. В рукописи ошибка: что этот случай.
- Стр. 107, строка 5. В рукописи описка: «Пошлос» Корфа.
- Стр. 141, строка 12 сн. В рукописи описка: Encycl. d. deux Mondes.
- Стр. 238, строка 19 сн. В рукописи описка: повесть «Каприз».
- Стр. 272, строка 24. В рукописи: писал доклад к [Нату] я не пошел, а вместо того к Корелкину, чтоб оттуда пойти за письмом. У Корелкина не слишком скучал, и в 12 отправились вместе, — он должен был к Мейендорфу. Я не нашел письма, пошел должно быть к Иванову. Вечером был должно быть А. Ф.
- Стр. 311, строка 12. В рукописи описка: 3 [сентября], среда.
- Стр. 331, строка 17. В рукописи описка: 22-го [октября], воскресенье.
- Стр. 349, строка 10 сн. В рукописи ошибочно: 14 [января].
- Стр. 349, строка 3 сн. В рукописи ошибочно: 15 [января], пятница.
- Стр. 350, строка 26. В рукописи ошибочно: 16 [января в] субботу.
- Стр. 350, строка 7 сн. В рукописи ошибочно: 17 [января], воск.
- Стр. 359, строка 12. В рукописи ошибочно: в субботу, 3-го числа.
- Стр. 360, строка 17 сн. В рукописи ошибочно: Понедельник 29 [января].
- Стр. 381, строка 16 сн. В рукописи: чтоб я перешел к ним [(потому что лошадей на почте нет, хотя за ними ходил сам Фед. Павл., что мне было весьма совестно)] — с пометкою: [нет, это было на следующий день].
- Стр. 381, строки 14 и 10 сн. В рукописи ошибочно: Ал. Степановна и Алекс. Степ.
- Стр. 405, строка 13 сн. В рукописи фамилия Кобылина написана арабскими буквами.
- Стр. 418, строка 14 сн. В рукописи: у нас будет скоро бунт [и в нем я буду одним из главных участников].
- Стр. 418, строка 14. В рукописи: Я начал было в первой фигуре. [Что бы вы ни думали обо мне, но будьте уверены, что вы не найдете человека, который любил бы вас больше моего. Помните, что ваше счастье предпочитаю я даже своей любви.]
- Стр. 464, строка 2—1 сн. Вслед за этим абзацем в рукописи приписка карандашом: Нельзя спуститься. Теперь буду заниматься работою. Начертить можно после в свободное время, потому что знаю их комнаты.
- Стр. 479, строка 20. В рукописи: они увидят, что я сдержу слово. [Но к чему говорить вздор.]
- Стр. 480, строка 13 сн. В рукописи: Теперь я чувствую себя [не школьником, который только.]
- Стр. 487, строка 15. В рукописи: Я не щажу никогда никого, [потому что не щажу себя.]

Стр. 497, строка 6. В рукописи описка: Чай 6 пуд.

Стр. 533, строка 25. В рукописи: но все-таки ее красота [не так для меня важна, как.]

Стр. 549, строка 9 сн. Далее в оригинале зачеркнуто:

Это программа для описания моих побуждений принять ее руку. Смотри в дневнике о ней с 29 листа (и на обороте 28).

### П о б у ж д е н и я :

1. Красота.
2. Характер, живость, инициатива, бойкость, решительность, то, что она будет управлять мною так, как и должно быть всегда со мною.
- 2 в. Завлекательность обращения вследствие этого.
3. Доброта и решительное отсутствие капризов.
4. Ум.
5. Прямота.
6. Чрезвычайное благородство.
7. Постоянная грациозность; как следствие всего этого отсутствия пошлости.

### В е щ и в д р у г о м р о д е :

1. Тяжелое положение.
  2. Доверие ко мне,— значит, понимание меня. (Как она говорила со мною; всегда выслушивала она меня, не раздражаясь, понимая, что я говорю не как человек, который ломается, видя, что он нужен, а просто как честный человек, который хочет выставить себя в настоящем виде, чтобы не обманулись, выбирая его).
  3. Искала моей помощи — бесчестно отказаться от того, чтобы помочь.
  4. Желание иметь одну любовь в жизни и чувство, что тут есть нечто в этом роде и что поэтому мое сердце, если бы стал ожидать, уже не будет передано ей решительно не принадлежавшим никогда другой.
  5. Вследствие этого убеждение, что я с ней буду счастлив.
  6. Главное — ее мысль, что я такой человек, какой нужен для ее счастья. Боже мой! Сколько причин, а наберутся еще!
  - 3 в. Убеждение в том, что, отказавшись, я буду мучиться: А — сознанием своего бессилия решиться на что-нибудь; В — сознанием, что поступил с нею не гуманно, [по] свински; С — что, решившись на это, наконец стану действовать, что и было в самом деле, что исчезнет мое Гамлетское состояние\*.
  - 3 с. Убеждение, что меня поймает какая-нибудь другая, в миллион раз менее достойная любви, не могущая составить мое счастье; что если я буду выбирать, то попадусь впросак.
  - 3 d. Что потребность искать любви, т.-е. волокитствовать, будет мне сильно мешать в моих делах, как мешала ныне всю зиму.
  - 3 е. Если не женюсь теперь, [то] когда ж? В Петербурге едва ли.
  - 3 f. Моя жена должна быть не из Петербурга.
- Я должен чем-нибудь сдерживать себя на дороге к Искандеру.

## АВТОБИОГРАФИЯ

Наброски «Автобиографии» были написаны Н. Г. Чернышевским в Петропавловской крепости. Из дат, имеющихся на рукописи, видно, что эту работу Чернышевский писал с 8 июня по 30 июля 1863 г., но оставил ее незаконченной. Листы, на которых написаны «Воспоминания», перенумерованы цифрами 177—229.

«Воспоминания слышанного о старине» впервые были опубликованы в I томе «Литературного наследия» Чернышевского, стр. 3—125. Для настоящего издания текст «Воспоминаний» вновь сверен с оригиналом, хранящимся в Архиве революции и внешней политики в Москве.

\* Под этим пунктом стоит: [здесь 5, раньше 6 + 8 = 19! Дальше — 20!]. т.-е. побуждений.

Тогда же в 1863 г. Чернышевский принялся за переработку своей автобиографии, результатом чего явился ее второй вариант, опубликованный в I томе «Литературного наследия», стр. 126—170. По мысли Чернышевского этот второй вариант его автобиографии, написанный 8 июня—6 ноября 1863 г., должен был составить одну из глав его беллетристического произведения «Повесть в повести», поэтому в настоящем издании второй вариант автобиографии будет напечатан в составе «Повести в повести», органической частью которой он является.

В приложении к автобиографии мы даем: во-первых, два черновых отрывка из нее («Наша улица. Корнилов дом» и «Жгут»), написанные также в 1863 г. в Петропавловской крепости, и, во-вторых, три автобиографических отрывка, написанных Чернышевским уже в астраханский период его жизни.

Отрывок «Наша улица. Корнилов дом» написан на 8 листах в четверик и датирован 30 марта. «Жгут» же датирован 5 апреля. Оригиналы хранятся в Архиве революции и внешней политики.

I. «В конце прошлого века»... Рукопись на 4-х листах почтовой бумаги большого формата. На первом листе сверху на полях карандашная пометка: «Это писано мною под диктовку моего отца в Астрахани летом 1884 г. (одни из вариантов рассказа о саратовской старине). Мих. Чернышевский». Рукопись почти без помарок; поправок и помет Н. Г. Чернышевского не имеет. Хранится в Доме-музее Чернышевского.

II—III. «Бабушкины рассказы». Рукопись-автограф на 3-х листах почтовой бумаги большого формата, почти без помарок. Первые два листа заняты рассказом «Переселение прадедушки и прабабушки в новый приход», третий — рассказом «Наше счастье». Хранится в Доме-музее Чернышевского.

Стр. 576, строка 5 сн. В рукописи: на постоялом дворе [Теперь на станциях вообще не хуже, часто и лучше. Лет тридцать тому назад станций с такою комнатою было немного].

Стр. 577, строка 7 сн. В рукописи: прадедушке и прабабушке [с их потомством, к числу которого тогда конечно уж и не принадлежал бы я].

Стр. 578, строка 9. В рукописи: счастье ушло от ее семейства, [это выводит философия доктора Панглосса, что все, что происходит, до крайности хорошо, и все на свете идет как нельзя лучше].

Стр. 597, строка 5. В рукописи: в образе моих мыслей [совершеннолетнего человека, переставшего удовлетворяться [гегелевского по наслышке] вольтеранизмом, с одной стороны, гегелизмом, с другой].

Стр. 597, строка 8. В рукописи: книгами всяческих тенденций от [«Вечного жида» Сю до].

Стр. 608, строка 14. В рукописи описка: 5-рублевая бумажка.

Стр. 619, строка 21 сн. В рукописи: как следует. [Моя матушка тоже любила цветы, но когда стала было достигать пожилых лет, в ней пропала охота ухаживать за ними; у Александры Павловны — нет: и стали изменять силы, привязанность все-таки не изменила цветам].

Стр. 621, строка 3 сн. В рукописи: и уже навсегда [У этих холопей у всех жестокие сердца, часто говорила бабушка, браня кого-нибудь из знакомых; если можно было прибавить, что он или она ханжа — вот, хоть бы мой братец Матвей Иванович — и шли рассказы о проделках Матвея Ивановича. Таким образом...]

Стр. 630, строка 6. В рукописи: прочел тогда у Дюмон-Дюрвиля [и от мысли о которой меня чуть не тошнило с месяц после того, как я читал о ней].

Стр. 630, строка 9. В рукописи: «душу воротит» [но в Матвее Ивановиче кава была очень сильно разведена водою].

Стр. 630, строка 18. В рукописи: все очень мелкис; [то спор с каким-нибудь ассессором о том, что Матвей Иванович слишком уж мало времени оставляет себе на то, чтобы позаняться кесарево кесареви, т.-е. сидеть на службе].

Стр. 634, строка 3. В рукописи: врут они, это положительно; [Скажу больше. Я не любитель итальянской оперы. Мне скучно в ней. Но я с удовольствием слушал «Гугенотов» — пожалуй, готов бы часто слушать. Почему? А какие мотивы преобладают...]



Стр. 634, стр. 15. В рукописи: я читал с восхищением: [«Черный ящик» Масальского].

Стр. 635, строка 7 сн. В рукописи описка: *потому* что она проводила.

Стр. 637, строка 5. В рукописи: Это читалось легко и с удовольствием. [Сказать ли, какое было мое господствующее впечатление во время этого чтения? Вот какое. По числу страниц большая часть Четъ-Миней состоит из истории подвигов и страданий святых мучеников. Тут было много чудес,—мученика ввергали в реку, в огненную печь, свергали со скалы; очень часто...]

Стр. 642, строка 1 сн. В рукописи: собирается со всей Индии! [В Тире и Карфагене приносили в жертву и разом хорошую порцию населения,—но ведь не такую же, ведь там же десятки, вероятно сотни тысяч людей, из которых набирались десятки жертв,—а у нас сотни оказались достаточными для того, чтобы дать десятки,—и ведь там же давали в жертву других, а не себя,—положим милых, но все же не самих себя].

Стр. 644, строка 19 сн. В рукописи: вы читали историю. [Но что же это такое? Кое-что действительно тут правда,—но как это преувеличено! так что дело получает совершенно неверный колорит.—Нет, извольте слушать дальше, будут доказательства].

Стр. 648, строка 12. В рукописи по ошибке вместо III поставлено II.

Стр. 648, строка 18 сн. В рукописи: по счастливому выражению [автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы»].

Стр. 648, строка 15 сн. В рукописи: Рюрик [плохой герой].

Стр. 672. В рукописи неправильная нумерация главы: III вместо IV.

Стр. 674, строка 23. В рукописи описка: параллельная *Саратовской*.

Стр. 681, строка 1. В рукописи: в такое время как детство, [не мог не лечь очень солидным весом, не мог не давать очень ясного света многому, когда для меня пришла пора разбирать теоретически].

Стр. 681, строка 7. В рукописи: он был отважен,—я нет; [он был пылок, рвался вперед,—я нет].

Стр. 702, строка 19 сн. В рукописи: много было дела, [так что ему редко выдалось тогда время поиграть в шашки, он был мастер, второй игрок по силе из тех, кого я знал; здесь в гостинином дворе лучшие играют хуже, чем игрывал тогда я, а я уже считал удачею, когда папенька только просто выигрывал, делал мне «сухую», без «запертых» шашек; первый игрок в шашки это уж истинно-дивный игрок,—был мой крестный отец, Федор Степанович Вязовский,—тоже священник,—но к проповедям Иакова...].

Стр. 702, строка 10 сн. В рукописи: папенька имеет семейство, [о котором он же, Иаков, ласково его спрашивает очень часто].

Стр. 703, строка 5. В рукописи: (50-летнему забежать!) [и он точно «бежал» и к нам, и от нас].

## ВОСПОМИНАНИЯ

### № 1.

Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 9 декабря 1883 г. (см. XI том настоящего издания). Опубликовано впервые Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 9, стр. 143—150, с небольшими сокращениями; полностью — в № 4 «Литература и марксизм» 1928 г. и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 455—463. Печатается с подлинника, написанного рукою Чернышевского на 6 страницах почтовой бумаги.

### № 2.

Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 21 января 1884 г. С пропусками опубликовано Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 10, стр. 162—182; полностью в № 4 «Литература и марксизм» 1923 г. и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 464—481. Печатается с подлинника, написанного А. Н. Чернышевским под диктовку.

отца на 53 страницах почтовой бумаги. В оригинале имеются поправки рукою Н. Г. Чернышевского.

### № 3.

Три первые «заметки» были присоединены Н. Г. Чернышевским к письму его А. Н. Пыпину от 17 июня 1886 г. «Заметки» эти написаны самим Чернышевским на 22 страницах почтовой бумаги, почти без помарок. В извлечениях они были впервые напечатаны в книге А. Н. Пыпина «Н. А. Некрасов», СПб, 1905 г., стр. 244—258, и оттуда перепечатаны в «Полном собрании сочинений Чернышевского, т. X, ч. 2, стр. 230—236. Пропущенные Пыпиным места отчасти опубликованы Е. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 10, стр. 164—168 и 171—172, а полностью напечатаны в III томе «Литературного наследия» Чернышевского, стр. 485—496. Четвертая заметка, написанная Чернышевским на полулисте писчей бумаги и посвященная предисловию издательницы «Стихотворений» Некрасова, сохранилась среди его рукописей астраханского периода и впервые напечатана в III томе «Литературного наследия», стр. 496. «Заметки» Чернышевского написаны по поводу «Стихотворений» Н. А. Некрасова, Посмертное издание, в четырех томах, СПб, 1879 г.

### № 4.

Написано в виде приложения к письму А. Н. Пыпину от 1 ноября 1886 г.; опубликовано Е. А. Ляцким в «Современном мире», 1911 г., № 11, стр. 186—188, и в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 498—500. Печатается с подлинника, написанного Н. Г. Чернышевским на 4-х страницах почтовой бумаги.

### № 5.

Выделено из писем к А. Н. Пыпину от 9 августа и 28 октября 1885 г. Опубликовано впервые в III томе «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского, стр. 511—529.

### № 6.

Впервые опубликовано Н. Ф. Бельчиковым в газете «Читатель и писатель», 1928 г., № 29; затем в «Литературном наследии» Н. Г. Чернышевского, том III, стр. 532—533.

Написаны на 6 страницах писчей бумаги среднего формата рукой секретаря К. М. Федорова под диктовку Н. Г. Чернышевского; в рукописи имеются поправки, сделанные Н. Г. Чернышевским на полях и в тексте. На последней странице есть пометка А. Н. Пыпина: «26 мая 88, Астрахань».

Стр. 714, строка 7. В рукописи: но давним [но не близким, потому, не наделившим меня сведениями о «Современнике»] знакомым.

Стр. 714, строка 9. В рукописи: у своих [давних] постоянных.

Стр. 723, строка 22 сн. В рукописи: как Некрасов [да и я... и как сам я]: это хороший человек [и только всего]. Вероятно.

Стр. 723, строка 19 сн. В рукописи: или мне. [(Вставка № 1) (Примечание I)] Тургенев.

Стр. 723, строка 11 сн. В рукописи: не по воспоминаниям [(Примечание 2)].

Стр. 723, строка 6 сн. В рукописи: в 1857-м [(Примечание 3)].

Стр. 728, строка 25. В рукописи: никаких ошибок [(Кстати замечу, что именно поэтому я с давнего времени и перестал находить надобным прочитывать то, что писал Добролюбов: я не находил бы ничего возражать против его понятий, а если приходилось ему касаться предметов, в которых мог он ошибаться относительно фактов, то он сам вперед указывал мне на эти места своих статей. Досуга читать то, что можно было оставить непрочтенным, я не имел)]. Услышав от меня.

Стр. 730, строка 11 сн. В рукописи: что он [сорит] тратит.

Стр. 730, строка 1 сн. В рукописи: раньше; [Кто] хоть [несколько знает теплоту задушевных отношений Некрасова к некоторым из близких ему людей, например хоть бы к Тургеневу] по этому ничтожному случаю.

Стр. 731, строка 22. В рукописи: и Добролюбова [украсить на некоторое время своей персоной три важнейшие столицы Европы], проспать Германию.

Стр. 731, строка 9 сн. В рукописи: рекомендуемого им [скучного] произведения.

Стр. 734, строка 19 сн. В рукописи: чернит [его дядька] руководитель.

Стр. 737, строка 19 сн. В рукописи первоначально: Маркович, затем везде ошибочно исправлено Ч-ским: *Маркевич*.

Стр. 739, строка 6 сн. В рукописи: а на других [дрянь-дряню] человек дрянный.

Стр. 740, строка 19. В рукописи: за свободу [или за страдающий народ].  
Если.

Стр. 741, строка 17. В рукописи [резкий] приговор.

## ПРИМЕЧАНИЯ\*

### ДНЕВНИКИ

<sup>1</sup> Изобретение «вечного двигателя» (*perpetuum mobile*) занимало Чернышевского в течение 1848 и 1849 гг. Он придавал ему огромное значение, рассчитывая стать при удачном разрешении проблемы «благодетелем человечества» (7/III, 22/V и 11/VII 1849 г.; 9/I 1853 г.), и столь верил в возможность этого разрешения, что летом 1849 г. приступал к практическому (и, разумеется, неудачному) опыту.

<sup>2</sup> «Débats» — «Journal des Débats» — парижская ежедневная газета; после февральского переворота 1848 г. отражала мнение так называемой «партии порядка»; при выборе президента не поддерживала ни одной из выставленных кандидатур. Газета ведет свое начало от «Journal des débats et décrets», издававшегося с 1789 г. и в 1814 г. получившего свое позднейшее название.

<sup>3</sup> На третьем курсе, в 1848—1849 уч. году, Н. Г. Чернышевский работал под руководством проф. Срезневского над составлением толкового словаря к начальной летописи. Эта запись в дневнике, как и многие последующие (см. записи от 20/VII, 28/VII, 1848 г.; 3/VII 1849 г. и др.), посвящена техническим приемам, применяемым при составлении словаря. Еще летом 1849 г. Чернышевский рассчитывал, что словарь будет издан Академией наук (см. 12/VII 1849 г.), связывал с этим свою ученую карьеру (см. 1/VIII 1848 г.). О судьбах этой работы см. запись в Дневнике 14/VII 1849 г.

<sup>4</sup> Здесь, очевидно, имеется в виду 2-е издание «Теории финансов» И. Горлова, «исправленное и умноженное» (Спб., тип. И. Глазунова и К<sup>о</sup>. 1845 г., 227 стр.). В «Отечественных записках» за 1845 г. (т. 40) на эту книгу было обращено внимание читателей как на «редкий у нас истинно-добросовестный ученый труд» и как на работу, касающуюся «одной из наиболее живых струй современной жизни». При всей рутинности взглядов Горлова эта работа натолкнула Чернышевского на ценные выводы (см. запись от 15/VII 1848 г.). Впоследствии Н. Г. Чернышевский дал уничтожающий разбор экономических взглядов Горлова; см. его статью «Капитал и труд» в VII томе настоящего издания.

<sup>5</sup> В течение 1848 и 1849 гг. Чернышевский оказывал постоянную материальную поддержку своему другу В. П. Лободовскому, передавая ему большую часть денег, присылаемых из Саратова родителями, и свой заработок от частных уроков. Делал он это втайне от своих родных, в частности и от Терсинских, совместно с которыми в это время жил, — этим и объясняется попытка подделать письмо. Отдавая почти все деньги Лободовскому, Чернышевский в эти годы рассчитывал каждую копейку, тратя на себя минимальные суммы.

<sup>6</sup> «Домби и сын» — роман Чарльза Диккенса; русский перевод его печатался в «Отечественных записках» за 1847—1848 гг.; тт. 54—56 и 59.

\* Составлены: к «Дневникам» — А. С. Нифонтовым; к «Автобиографии» — С. Н. Черновым, к воспоминаниям «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» — Н. Ф. Бельчиковым, к остальным воспоминаниям — Б. П. Козьминым.

7 «Том Джонс» — роман Генриха Филдинга, в 18 книгах; русский перевод его, сделанный А. И. Кронебергом, печатался в «Современнике» за 1848 г., №№ 5 — 12.

8 Повидимому, речь шла о попечителе петербургского учебного округа Мусине-Пушкине.

9 Комедия Гоголя «Ревизор», изданная в 1836 г., известна, очевидно, была Чернышевскому раньше. «Похождения Чичикова, или Мертвые души, поэма Н. Г.», первый том которой вышел в Москве в 1842 г., повидимому, до того времени Николаем Гавриловичем была прочитан, о чем свидетельствует ряд записей в его «Дневнике» (см., например, записи от 4 — 5/VIII и 6/IX 1848 г.).

10 «Иллюстрация» — иллюстрированный сатирический еженедельный журнал, издававшийся в 1845 — 1849 гг. в Петербурге. До середины 1847 г. издателем-редактором его был Н. В. Кукольник.

11 Участие Л. Блана в «бунте 25 июня» — здесь имеется в виду обвинение, выдвинутое против Л. Блана реакционными партиями и печатью, возлагавшими на него ответственность за июньское восстание (22—26 июня) в Париже, когда пролетариат отстаивал свои классовые интересы в открытой вооруженной борьбе со сплоченным фронтом буржуазии.

12 Бабенька — Пелагея Ивановна Голубева, мать Е. Е. Чернышевской.

13 «Выбранные места из переписки с друзьями» (Спб., 1847 г.) Гоголя в основном включают его письма за 1845 — 1846 гг. Полное одобрение в этих письмах существующего в России общественного строя, изложенное к тому же в пророческом тоне, вызвало резко-отрицательную оценку этого издания со стороны западников (см. известное письмо Белинского к Гоголю, чтение которого вменялось петрашевцу Ф. М. Достоевскому в основную вину). О впечатлении, произведенном этой книгой, «Москвитянин», близкий к славянофилам, писал: «В течение двух месяцев по выходе книги она составляла любимый живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы... где бы не толковали о ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки. Действие «Мертвых душ» не было столь значительное, как действие «Переписки»: первое отдалось звонким хохотом на всю Россию, не везде хорошо сознанным, не везде благотворным; второе разбудило мысль, привело в движение мнения, подняло вопросы» («Москвитянин», 1848 г., № 1).

14 «Герой нашего времени» Лермонтова отдельным изданием вышел в 1840 г. Именно в этом издании впервые опубликованы были «Максим Максимыч» и «Княжна Мери» («Бала», «Фаталист» и «Тамань» напечатаны были раньше в «Отечественных записках» — 1839 г., тт. 2 и 6 и 1840 г., т. 8). Второе издание этого произведения вышло в 1842 г. и третье — в 1843 г. Первое собрание сочинений Лермонтова издано Смирдиным в 1847 г.

15 Н. Г. Чернышевский вырос в религиозной семье, корни религиозного мировоззрения в нем заложены были глубоко и критический пересмотр основ этого мировоззрения протекал у него крайне болезненно. Многие страницы «Дневника» дают яркую картину этого внутреннего кризиса Чернышевского в студенческие его годы; 2/VIII 1848 г. он записывает: «Старого держусь более по силе привычки», отмечает свое настроение в церкви (1/IX, 13/IX), подробно разбирается в этом мучившем его вопросе (25/IX).

16 В студенческие годы Чернышевского складывались основные положения его общественно-политических воззрений, на что несомненно решающее влияние оказали революционные события в Европе. Чернышевский констатировал: «Кажется, я принадлежу к партии крайних, ультра» (2/VIII 1848 г.), «я террорист и последователь красной республики» (2/IX), «я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (18/IX). Чернышевский нащупывал верную основу революционных переворотов, видя ее в общественных отношениях (7/VIII, 7/IX и др.) и обнаруживал особый интерес к радикальным деятелям современных ему революционных событий в Европе, правда, не всегда четко отдавая себе отчет в действительной роли отдельных лиц (см., например, явную переоценку им роли Л. Блана).

17 Совместная жизнь с родственниками на одной квартире, к тому же малоудобной, крайне мешала Чернышевскому, — он стеснялся приглашать к себе

своих товарищей (в частности — В. П. Лободовского), принужден был время работы по вечерам согласовывать со своими сожителями, экономившими на свечках, и т. д. Естественна поэтому его мысль — поселиться отдельно от Терсинских.

18 Имеется в виду французское учредительное собрание 1848 г., выбранное в конце апреля и состоявшее в основном из умеренных республиканцев при значительном меньшинстве орлеанистов. Социалисты на выборах повсюду потерпели поражение, проведя в собрание лишь небольшое число своих представителей. Разработанная учредительным собранием конституция в замаскированной общими принципами «свободы, равенства и братства» форме укрепляла основы буржуазного строя — «декларативный принцип конституции должен был прикрыть ее реакционную сущность» (Маркс). По этой конституции, наряду с представительным собранием выборных депутатов, устанавливалась фактически независимая от него власть президента, также выбираемого прямым голосованием.

19 О своей будущности Чернышевский пишет в «Дневнике» довольно часто, что и понятно накануне окончания университета. Но ясности в этом у него нет — он то сознает свое превосходство над товарищами (29/VIII и 28/IX), то сомневается в своих способностях (18/VIII); он то мечтает об ученой деятельности, то о работе в области журналистики. Как правило, все же Чернышевский сознает свои исключительные способности и не раз пишет о той крупной роли, которую он призван сыграть в будущем; некоторые из этих записей имеют почти пророческий характер (23/IX и 24/IX, 1848 г. и 2/I, 11/VII 1849 г.).

20 Речь идет о возможности избежать взноса платы за учение в университете. Для этого нужно было достать через полицию свидетельство о несостоятельности, чем Чернышевский и был озабочен до первых чисел октября, когда, наконец, в выдаче такого свидетельства ему было отказано (см. 7/X).

21 В соответствии с этой пренебрежительной характеристикой русской действительности стоит следующая запись «Дневника» от 18/IX: «России уважаю мало и даже почти не думаю о ней». Но эта оценка Чернышевского оказалась неглубокой — уже 23/IX он признает, что «пришло России время действовать на умственном поприще», а 11/XII, после разговора с петрашевцем Ханюковым, мысль о возможности революции в России кажется ему уже довольно обоснованной.

22 «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художества, промышленности, новостей и мод». Издавался в 1834—1864 гг. в Петербурге: с 1834 по 1858 г. — А. Ф. Смирдиным, а с 1859 по 1864 г. — В. Н. Печаткиным. Редакторами журнала были: О. И. Сенковский и Н. И. Греч (1834—1836), один Сенковский (1837—1856), А. В. Дружинин (1856—1860), А. Ф. Писемский (1860—1863) и П. Д. Боборыкин — по 1864 г. В 30—50-х годах был одним из самых распространенных «толстых» журналов, особенно популярный в провинции. До середины 50-х годов не имел четкой принципиальной линии, выступая, однако, защитником существующего порядка, и стремился дать подписчикам (а к 40-м годам их было уже до 7 тыс. человек) лишь «занимательное чтение». Ср. характеристику Сенковского, данную Чернышевским в «Очерках гоголевского периода».

23 Уважение Чернышевского к Краевскому объясняется тем, что в 40-х годах еще в Саратове Николай Гаврилович не мог не выделить «Отечественные записки» времени Белинского как наиболее содержательный и серьезный журнал и естественно видел в этом заслугу его издателя. Более близкое знакомство с журнальным миром показало ему вскоре истинное лицо Краевского — талантливого организатора «доходного дела» журналистики, но бездарного и мало разборчивого в принципиальных вопросах.

24 Чернышевский не раз отмечал все нараставшую после разгрома июньского восстания реакцию и утешительным в этом видел лишь то, что буржуазия «решительно снова берет верх..., но как хищница, а не по закону», и что поэтому окончательная победа над ней облегчается: «хищение легче разрушить, чем закон» (см. 12/IX).

25 Шутя — здесь и во многих местах ниже — в смысле: пожалуй.

26 Чернышевский имеет в виду следующее место из известной агитационной проповеди церковного оратора Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, произнесенной по случаю опубликования царского манифеста 14 марта 1848 г. и напечатанной почти во всех газетах и журналах: обращаясь риторически к народам Запада, Иннокентий говорил: «Не знаем, кто с вами; а с нами бог великий и премудрый». Такого рода реакционно-патриотические проповеди широко использовались в то время как орудие правительственной агитации.

27 Романы Ж. Занд «Hogase» и «Le Compagnon du tour de France» вышли в свет в 1841 г., и «Орас» в русском переводе был напечатан в «Отечественных записках» за 1842 г. В названных Чернышевским томах «Отечественных записок» за 1848 г. (тт. 56—57) печатались русские переводы следующих произведений того же автора: «Проступок господина Антуана» и «Проклятое болото».

28 В 1848 г. в Европе свирепствовала эпидемия холеры, поразившая в первую очередь Россию, но затем проникшая и в западноевропейские страны. В ослабленной форме эпидемия наблюдалась в России и в 1849 г.

29 Имеется в виду переводная работа, напечатанная в тт. 56—60 «Отечественных записок» за 1848 г. под названием: «Завоевание Мехики» — сочинение «североамериканца» Вилиама Прескотта, в 7 книгах.

30 «История цивилизации во Франции» Гизо прочитана была Чернышевским в оригинале — см. именной указатель — «Гизо».

31 Журнал — подразумевается настоящий дневник.

32 «Космос». Опыт физического миропонимания, сочинение Александра Гумбольдта, в русском переводе напечатан в «Отечественных записках» за 1845—1846 гг. (тт. 42—46). Критический разбор этого произведения был дан в том же журнале за 1848—1849 гг. (тт. 48—59).

33 «Дютроше», статья Н. Я. Данилевского в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 58), дающая русскому читателю понятие о жизни и деятельности Дютроше, умершего в 1847 г. (см. именной указатель — «Дютроше»).

34 Это письмо не сохранилось.

35 Решение Чернышевского не писать кандидатской работы по предмету Срезневского (славянские древности) обусловлено было прежде всего опасением осуждения со стороны товарищей-студентов, в среде которых этот профессор не был популярен. Как известно, впоследствии Чернышевский взял тему по научной специализации у проф. Никитенко. Собственное, и притом положительное, мнение о Срезневском Чернышевский составил себе позднее (см. 14/VII 1849 г.).

36 Австрийский генерал Радецкий, подавивший революционное движение в Италии, демонстративно был награжден русским императором Николаем I еще летом 1848 г., о чем было сообщено и в русских газетах (см., например, «Северную пчелу», № 182, от 16/VIII 1848 г.).

37 По просьбе Срезневского, в этот период Чернышевский занимался обработкой и составлением текста лекций Срезневского по курсу славянских древностей.

38 После подавления июньского восстания 1848 г. в Париже первой задачей победившей реакции было назначение следственной комиссии по расследованию событий 15 мая и июня. Следствие было направлено против Л. Блана, Ледрю-Роллена и Коссидьера, как вождей социалистических и демократических партий. «Буржуазные республиканцы горели нетерпением освободиться от этих соперников» (Маркс). Председателем комиссии был О. Барро, который сочинил целое дело против февральской революции, резюмировав его так: «17 марта манифестация, 16 апреля заговор, 15 мая покушение, 23 июня гражданская война». Луи Блану удалось избежать ареста и эмигрировать в Англию (см. запись 1/IX).

39 Кондитерская Вольфа на Невском, как многие петербургские кондитерские (в «Дневнике» упомянуты еще Доминик, Иванов, Излер), являлась местом времяпровождения интеллигенции того времени. Владелец предприятый выписывали для чтения посетителей не только русские, но и иностранные газеты и журналы. При относительно высокой подписной плате на толстые журналы

(18—20 руб. сер.) и при трудностях получения разрешения на выпуск иностранных изданий эти кондитерские в те годы с успехом заменили отсутствовавшие читальни.

40 «*Illustrierte Zeitung*» — старейший немецкий иллюстрированный еженедельный журнал, издаваемый И. И. Вебером с 1843 по 1880 г. в Лейпциге, а после его смерти в 1880 г. перешедший в руки его сыновей.

41 Из «*Mailed*» Гете.

42 Из «*Die Piccolomini*», Шиллера, 3-е действие, 7-е явление.

43 Энциклопедический словарь Эрша и Грубера — «*Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste*», начавший издаваться в 1818 г. и с 1831 г. продолженный Брокгаузом (Эрш — Ersch, 1766 — 1828 гг. — немецкий библиограф, профессор географии и статистики в Галле).

44 Имеется в виду Белинский, идейные противники которого часто указывали на отсутствие у него систематического образования, что не мешало, однако, Белинскому быть одним из образованнейших людей своего времени.

45 «*Прошлое*» — повесть барона Ф. Ф. Корфа, напечатанная в «*Отечественных записках*» за 1839 г. (т. 5).

46 Повесть Фредерика Сулье «*Влюбленный лев*» была напечатана в «*Отечественных записках*» за 1839 г. (т. 6).

47 Имеется в виду донесение специальной следственной комиссии учредительному собранию о результатах расследования июньских событий в Париже.

48 Люксембургская комиссия для изучения рабочего вопроса — образованное временным правительством взамен министерства труда совещание представителей рабочих. Занятия комиссии проводились под председательством Л. Блана в помещении Люксембургского дворца, откуда произошло и название комиссии. Вместо активной борьбы за интересы рабочего класса члены комиссии занимались академическим обсуждением речей Л. Блана по рабочему вопросу, что демобилизовало пролетариат и обеспечило укрепление фронта реакции.

49 «*Монитор*» — ежедневная политическая газета, выходившая в Париже с 1789 г. При Наполеоне I, а также в период с 1/II 1816 г. по 1868 г. эта газета являлась официальным органом правительства.

50 Тема об «отношении искусства к действительности» интересовала таким образом Н. Г. Чернышевского еще в студенческие годы — в 1848 г. Первое же упоминание о работе над диссертацией «*Эстетические отношения искусства к действительности*» относится к августу 1853 г. (см. его письмо к отцу от 7 сентября 1853 г. в XIV т. наст. издания).

51 Poleмика между Розеном (в «*Сыне отечества*») и Шевыревым («*Москвитин*») велась по поводу допущенного Розеном искажения текста процитированной им статьи Гоголя о переводе «*Одиссея*» Жуковского. «*Современник*» изложил эту полемику в «*Современных известиях*», № 9 за 1848 г.

52 Здесь имеется в виду публикация протоколов Люксембургской комиссии (см. выше, примеч. 48).

53 «*Петушков*» — повесть И. С. Тургенева, напечатанная в «*Современнике*» за 1848 г., № 9.

54 «*Москва*» М. Н. Загоскина — его сборник «*Москва и москвичи*», посвященный прошлому и настоящему этого города.

55 Чумбуров — анонимная повесть «*Путевые приключения Чумбура, великого знатока лошадей*» в №№ 9 и 10 «*Современника*», 1848 г., в отделе «*Смесь*».

56 Письмо от Пыпиных, которые тогда жили в Аткарске.

57 «*Constitutionnel*» — французская газета, выходившая с 1815 г. В эпоху реставрации — оппозиционный орган либеральной буржуазии. В годы июльской монархии значение газеты падает — ведущим органом либералов становится «*National*», «*Constitutionnel*» принимал участие в проведении реформистских банкетов конца 1847 — начала 1848 г., после февральской революции занимал антиреспубликанскую, реакционную позицию.

58 Эти противоречивые и нечеткие рассуждения крайне характерны для периода кризиса общественно-политического мировоззрения Чернышевского в студенческие годы. Позднее, в своих зрелых работах, он вплотную подошел к пониманию классового характера государственной власти в классовом обществе.



59 В середине сентября 1848 г. во Франкфурте радикалами было организовано восстание, которое было разбито вызванными имперским правительством австро-прусскими войсками.

60 «*Journal de St.-Petersburg*» — официальная газета министерства иностранных дел России, в 1825 г. заменившая газету «*Conservateur imperial*» выходившую три раза в неделю в течение 1812—1825 гг.

61 Несомненно имеются в виду статьи Белинского о Державине, напечатанные в «Отечественных записках» за 1843 г. (т. 26—27) и за 1845 г. (т. 42).

62 «С.-Петербургские ведомости» — ежедневная петербургская газета, издававшаяся Академией наук с 1727 г. (как продолжение первого, периодического русского издания «Ведомости о военных и иных делах», выходившие в 1703—1727 гг.). В 1836—1850 гг. редактором газеты был А. Н. Очкин. С 1851 года газета сдавалась в аренду разным лицам.

63 Описание своего путешествия за границу Н. И. Греч дал в книгах: «28 дней за границей или действительная поездка в Германию» (СПб. 1837 г.), «Путевые письма» (СПб. 1839 г.), «Письма с дороги» (1843). Судя по записи в «Дневнике» от 2/X 1848 г., здесь имеется в виду именно первая книга.

64 «Полицейская газета» — «Ведомости с.-петербургской городской полиции», издававшаяся с 1839 по 1873 г. Редакторами этих «Ведомостей» были В. С. Межевич, с № 54 за 1849 г. — И. Мокрицкий, с № 128 за 1849 г. — Е. Ф. Корш.

65 Попытки создания беллетристических произведений таким образом делались Чернышевским еще в Саратове, то есть не позднее начала 1846 г. До середины 1848 г. Чернышевский уже дважды пытался поместить свои работы в «Отечественных записках», но неудачно (см. 17/XII 1848 г.). В «Дневнике» 1848—1849 гг. мы встречаем новые попытки литературного творчества со стороны Чернышевского (статья его «О Жозефине» — или о воспитании — 13/I 1849 г., «Понимание» — эпизод из жизни Гете — 10/VI 1849 г., статья «Теория и практика» — 10/X 1849 г.) и новые безрезультатные попытки с его стороны поместить рассказ в «Современнике» (5/III и 25/VI 1849 г.) и снова в «Отечественных записках» (14/XI 1849 г.).

66 Письмо это не сохранилось.

67 Попечитель М. А. Мусин-Пушкин был типичным представителем полицейского режима в высших школах в эпоху Николая I. Он часто посещал университетские лекции, чтобы следить за благонадежностью профессоров.

68 Мюнх — см. именной указатель.

69 «*Times*» — английская консервативная газета.

70 «*National*» — влиятельная политическая газета, издававшаяся с начала 1830 г. в Париже Тьером, Минье, Каррелем и др. Газета являлась органом оппозиции либеральной буржуазии в годы июльской монархии. Ведущую роль в редакции по 1836 г. играл Каррель, а с 1841 г. — А. Марраст. «*National*» сыграла заметную роль в подготовке февральской революции, и из кругов близких к ней лиц в 1848 г. сложилось временное правительство первого состава. Вскоре партия «*National*» заняла четко реакционную позицию и поддерживала при выборе президента кандидатуру палача июньского восстания — генерала Кавеньяка.

71 «Коринфская невеста» («*Braut von Korinth*») — баллада Гете.

72 «О древней и новой России» Карамзина — см. именной указатель — «Карамзин». Характеристика, данная здесь карамзинской записке, Сперанскому и Александру I, ясно свидетельствует о противоречивости и нечеткости политических взглядов Чернышевского в эти годы.

73 «*Revue des deux Mondes*» — французский двухнедельный журнал, начавший издаваться в 1849 г. В нем печатались оригинальные художественные произведения, философские, научные и политические статьи. Журнал консервативного направления, — по словам одного современника, он шагал на двух ногах: одной ногой ему служила литература, а другой — политика, причем политика была его «правой ногой».

74 «Миссионер» — в данном случае название домашнего платья.

75 Книга Сальванди «*Seize mois ou la révolution et les révolutionnaires*». Paris, 1831.

76 Куторгина брошюра — книга М. Куторги «История афинской республики». СПб. 1848 г.

77 «Маяк» — ежемесячный журнал, крайне реакционного направления, издававшийся в Петербурге в 1840—1845 гг., с конца 1841 г. под редакцией С. А. Бурачка (см. именной указатель).

78 О характере занятий студентов с Никитенкой в 1848—1849 гг. Чернышевский писал своим родителям: «Никитенкины лекции педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. д.» (см. письмо Н. Г. к родителям от 29 августа 1849 г. в XIV т. наст. издания). Этим «педагогическим» характером лекций Никитенко и объясняются произвольная тематика выступлений студентов и свободная программа занятий.

79 «Путеводитель в пустыне» — роман американского писателя Ф. Купера, вышедший отдельным изданием в русском переводе Кетчера (СПб. 1841 г.).

80 В октябре 1848 г. в Вене в течение трех недель происходили баррикадные бои, и наконец город был взят правительственными войсками под командою Виндишгреца. Причиной венского восстания являлось желание рабочих, учащихся и части национальной гвардии помочь венгерскому восстанию. Восстание было подавлено благодаря предательству буржуазии и колебаниям радикальных демократов. В результате разгрома восстания в Вене введен был режим правительственного террора, с массовыми расстрелами участников баррикадных боёв, причем тогда же был расстрелян и член франкфуртского парламента Роберт Блюм (см. запись 14/XI).

81 «Сын отечества» — журнал истории, политики, словесности, наук и художеств, издававшийся в Петербурге в 1812—1852 гг. До 1825 г. журнал был еженедельным, затем выходил дважды в месяц, а в 40-х годах ежемесячно. К возникновению журнала причастен был граф С. Уваров, и по его мысли это издание должно было являться органом внедрения и защиты официальной идеологии. Редакторами журнала были: Н. И. Греч, А. Воейков, Ф. Булгарин, О. Сенковский, а с 1842 по 1852 г. К. Масальский.

82 Граф — министр путей сообщения Клейнмихель.

83 Один из рассказов В. И. Даля, напечатанных в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 56 и 61) под общим заголовком «Картины из русского быта». Здесь Чернышевский имеет в виду рассказ «Упырь. Украинское предание», напечатанный в т. 61.

84 «Замогильные записки» Шатобриана печатались в «Отечественных записках» за 1848 г. в т. 61 (перевод производился из газеты «La Presse», в то время публиковавшейся его произведением). Очерк о Шатобриане, в связи с его кончиной, был опубликован в том же журнале, в т. 59 за тот же год.

85 Буржуазное по своему составу национальное собрание Пруссии боялось революции и, оставаясь на почве формального права, должно было уступить реальной силе окрепших реакционеров; несмотря на принятое депутатами решение продолжать заседания, оно было разогнано.

86 Здесь имеется в виду Виноградов И. Г.

87 См. примечание 80.

88 Произведение А. Майкова «Встречи и рассказы: II Пикник во Флоренции» напечатано было в «Современнике» за 1848 г., № 11.

89 Командующий правительственными войсками, взявшими Вену в октябре 1848 г., ген. Виндишгрец был демонстративно награжден орденом русским правительством Николая I (см. извещение об этом в «Северной пчеле» № 255, от 12/XI 1848 г.).

90 Критическая статья А. Д. Галахова о книге «Сочинения Кантемира» (Полное собрание сочинений русских авторов — изд. Ад. Смирдина, Спб. 1847 г.) напечатана в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 61).

91 Очевидно, речь идет о предложении Л. Блану выставить свою кандидатуру на пост президента, так как 10 декабря 1848 г. должны были производиться путем всеобщего голосования выборы президента Франции.

92 «Господин Светелкин» — повесть М. М. Достоевского, напечатанная в «Отечественных записках» за 1848 г., т. 60.

93 «Gazette de France» — старейшая парижская политическая газета, осно-

ванная в 1631 г. и не раз менявшая свое название вплоть до 1848 г., когда приняла, наконец, приведенный выше заголовок.

94 «La Presse» — французская газета, одно из первых массовых ежедневных периодических изданий современного типа (большой формат, богатое и разнообразное содержание, доступная цена). Эта газета основана была Э. Жиранденом в 1834 г. и выходила под его редакцией до 1856 г. В числе сотрудников газеты были Бальзак, Ал. Дюма, Т. Готье, Е. Сю, В. Гюго и др. Вскоре после начала издания газета получила незиданное для 30-х годов количество подписчиков — свыше 20 тыс. При июльской монархии имела консервативный характер; в 1848 г. поддерживала республику; с конца этого года стала бонапартистской.

95 С удовлетворением отмечая отсутствие кворума «в Бранденбурге», Чернышевский имеет в виду перенесенное по решению правительства заседание национального собрания Пруссии из Берлина в Бранденбург.

96 «Парижские тайны» — роман Е. Сю, впервые напечатан в «Journal des Débats» за 1842 г. Русский перевод романа печатался в «Отечественных записках» в 40-х годах и не раз выходил отдельным изданием в разных переводах.

97 Деятельность Франкфуртского национального собрания, осуждавшаяся Чернышевским, бралась Марксом и Энгельсом как образец буржуазного парламентаризма, отгораживающегося от реальной классовой борьбы формальной деятельностью: в то время как укрепившаяся реакция, подавив рабочее восстание, разогнала национальные собрания в Берлине и Вене, депутаты во Франкфурте продолжали обсуждать проект конституции; это обсуждение продолжалось даже тогда, когда к парламенту были стянуты войска, при помощи которых собрание было разогнано.

98 Здесь Чернышевский имеет в виду главу итальянского правительства Росси, убитого восставшим народом 15/XI 1848 г., и представителей реакции: Латира, военного министра, повешенного восставшими венцами в октябре 1848 г., и правого депутата франкфуртского собрания Лихновского, убитого во время октябрьского восстания во Франкфурте.

99 «La Phalange, journal de la Science Social» — журнал фурьеристов, основанный в 1836 г. (выходил два раза в месяц). С 1843 г. вместо «Phalange» фурьеристы стали издавать ежедневную газету «Democratie pacifique».

100 Песня Маргариты из «Фауста» Гете (15 сцена).

101 Повндимому, Дон-Жуана.

102 «Прусский Монитор» — очевидно, имеется в виду официальный орган прусского правительства «Preussischer Staats-Anzeiger» (см. примечание 114).

103 10 декабря 1848 г. Луи-Наполеон был выбран президентом французской республики, получив 51½ млн. голосов из 71½ млн. общего числа голосовавших, причем его кандидатура прошла именно благодаря голосам крестьянства: «10 декабря было крестьянским соуд d'état, свергнувшим существующее правительство»... «Остальные классы помогли довершить победу крестьянства» (Маркс и Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 36).

104 «Allgemeine Zeitung» — ежедневная политическая газета, получившая широкую известность в период издания ее в Аугсбурге (1810—1882 гг.). Газета считалась органом «независимо-либерального» направления. Редактором ее в 1837—1863 гг. был Густав Кольб (Kolb).

105 «Физиогномика» — книга швейцарского писателя Лафатера, вышедшая в 1772—1778 гг. в Лейпциге. Эта книга переиздавалась на многих европейских языках и в 1817 г. была переведена на русский язык.

106 Здесь Чернышевский имеет в виду следующие произведения: а) критическую статью К. Д. Кавелина о книге «Быт русского народа», соч. А. Терещенко (Спб. 1848 г.). Статья напечатана в «Современнике» за 1843 г. (№ 9—10). б) Роман в 8 частях «Три страны света», написанный Н. А. Некрасовым и Н. И. Станицким (псевдоним А. Я. Панаевой). Роман печатался в «Современнике» за 1848 г. (№ 10—12) и 1849 г. (№ 1—5). в) Статью А. Н. Егунова «Взгляд на торговлю в древнейшей Руси», печатавшуюся в «Современнике» за 1848 г. (№ 8—10).

107 «Москвитянин» — журнал, издававшийся в Москве в 1841—1856 гг.

М. Н. Погодиным. В 1841—1848 г. выходил ежемесячно, а с 1849 г. два раза в месяц, но крайне нерегулярно (например, за 1855 г. №№ 23 и 24 вышли лишь в апреле 1856 г., а за 1856 г. издано было всего 16 номеров). Журнал «охранительного», реакционного направления, полностью принимавший формулу официальной идеологии («православие, самодержавие, народность»); как орган правого крыла славянофилов вел, не стесняясь формой и приемами, ожесточенную борьбу с западниками, постоянно полемизируя с «Отечественными записками», а с 1847 г. и с «Современником».

108 «Пантеон и репертуар русской сцены» — ежемесячный журнал, выходивший в 1848 г. и 1850—51 гг. в Петербурге под редакцией Ф. А. Копи.

109 Роман Евг. Сю «Семь смертных грехов», I том которого назывался «Гордость» (1—4 части). Роман печатался в «Отечественных записках» за 1848 г. (тт. 56, 57, 60 и 61).

110 Рассказ Ф. М. Достоевского «Ревнивый муж. Происшествие необыкновенное»; напечатан в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 61, отд. VIII — «Смесь»).

111 «Белые ночи. Сантиментальный роман (из воспоминаний мечтателя)» Ф. М. Достоевского в «Отечественных записках» за 1848 г., т. 61.

112 Голосуя за кандидатуру Луи-Наполеона, крестьянство голосовало против налогов, в частности против обременительного налога на соль. Правительство же, президент Наполеон уже 27 декабря предложило этот налог сохранить. Учредительное собрание, желая свергнуть министерство и опереться в борьбе с Наполеоном на крестьянство, отвергло проект правительства — снизило налог до одной трети прежнего размера. Эта мера собрания, боровшегося в рамках легальности с Наполеоном, имевшим в своем распоряжении государственный аппарат и опиравшимся на 51½ млн. голосов избирателей, открыла затяжной период борьбы собрания с президентом, победа в которой осталась за Наполеоном.

113 «Independance Belge» — бельгийская ежедневная газета консервативного направления, начавшая издаваться в 1831 г.

114 «Staats-Anzeiger» — официальная ежедневная правительственная газета. «Deutscher Reichs-Anzeiger», издававшаяся в Берлине с 1719 г. (вначале она называлась «Allgemeine Preussische Staats-Zeitung»).

115 До 1871 г. Германия была экономически и политически раздроблена на ряд самостоятельных государств, объединяемых союзным сеймом из уполномоченных представителей Германии, заседавших во Франкфурте. Франкфуртский парламент, открывшийся в мае 1848 г., не имел в своих руках реальной власти; армия, государственный аппарат, бюджет — все это оставалось в распоряжении фактических правительств. Парламент этот не был признан отдельными государствами «Германского союза». В нем не было также представителей Австрии, чем и объясняются переговоры с нею, «как с отдельной державой».

116 Роман Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» был напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62).

117 «Капельмейстер Сусликов» — повесть Д. В. Григоровича, помещена в № 12 «Современника» за 1848 г.

118 Эскиз Г. Горчакова «Наталия Ивановна» напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62, отдел «Смесь»).

119 «Рустем и Зораб» в переводе Жуковского издан был в 1848 г.

120 В № 1 «Пантеона» за 1848 г. была напечатана «повесть из бессарабских преданий» В. А. Каприцкого (псевдоним) «Дердий Гиржа».

121 Высказанное Чернышевским предположение о невозможности роспуска Наполеоном учредительного собрания связано с затянувшейся борьбой правительства О. Барро и собрания, в отдельные моменты достигавшей большого обострения. Учредительное собрание было распущено лишь в начале мая, и созванное в конце того же месяца законодательное собрание имело следующий состав: из 700 депутатов около 450 было монархистов; умеренных республиканцев («победители» июньского восстания) всего 75 чел. и демократов-социалистов около 180 чел. Таким образом «левая сторона» хотя и усилилась, но составляла явное меньшинство. В дальнейшем борьба развернулась между монархически настроенной буржуазией и коалицией мелкой буржуазии и рабочих.

122 «De la démocratie en France» — брошюра Гизо, написанная им в годы эмиграции (1848—1849 гг.) в Англии и изданная в 1849 г.

123 «Les Confidences» («Признания») Ламартинна печатались в 1849 г. в газете «La Presse» и в отрывках на русском языке были опубликованы в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 63—64).

124 Роман в 2 частях А. В. Дружинина «Жюли» был напечатан в «Современнике» за 1849 г. (№ 1).

125 Очевидно, «Illustrated London News», старейший английский еженедельный иллюстрированный журнал, с 1842 г. издававшийся Г. Инграмом (H. Ingram) в Лондоне.

126 «Galignani Messenger» — ежедневная газета по вопросам политики, литературы и торговли, издававшаяся с 1814 г. в Париже на английском языке. В ней давалась перепечатка важнейших статей и сообщений из всех основных периодических изданий Лондона и Парижа.

127 Из 25 сцены «Фауста» Гете, в переводе Губера.

128 26—29 января 1849 г. имели место наиболее острые моменты борьбы учредительного собрания с министерством Луи-Наполеона (см. выше, примечание 121).

129 Статья Е. П. Ковалевского «Негрития. Из путешествия во внутреннюю Африку», напечатана в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 62).

130 Имеется в виду продолжение романа Е. Сю «Семь смертных грехов», а именно часть 2-я, «Зависть», напечатанная в «Отечественных записках» за 1849 г. в т. 62—63 (продолжение 1-й части «Гордость», опубликованной в том же журнале за 1848 г.).

131 «Journal pour rire» — иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Париже с 1848 по 1856 г. Среди сотрудничавших в нем художников были: Nadar, Daumier, Grévin, Randon и Doré.

131а Имеется в виду, по видимому, попечитель петербургского округа Мусин-Пушкин.

132 Чернышевский имеет в виду драматическую повесть Октава Фелье «Кризис», напечатанную в «Современнике» за 1849 г., № 2, отдел «Смесь».

133 Куторга С. С. — брат профессора истории Куторги М. С., исполнявший обязанности цензора (см. именной указатель).

134 Имеется в виду одна из работ французского экономиста Адольфа Бланки (см. именной указатель).

135 В «Отечественных записках», 1849 г., № 3, была помещена рецензия на книгу М. Михайлова «История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до уложения 1649 г.».

136 Революционные события в Европе вызвали резкое усиление реакционных настроений в России; органы полиции и цензуры проявляли исключительное рвение. Неудивительно, что распространившийся в начале января 1849 г. слух о закрытии университетов (или, по крайней мере, о реорганизации их), при всей очевидной нелепости этого слуха, казался вполне обоснованным. Статья об университетах была написана И. И. Давыдовым и напечатана в «Современнике» с ведома министра народного просвещения Уварова, не сочувствовавшего крайним реакционным мероприятиям правительства (скоро он был смещен с министерского поста), и в умелой форме, обезоруживая сторонников оголтелой реакции, отстаивала университеты. Статья эта вызвала раздраженную резолюцию Николая I: «Нахожу статью, пропущенную в «Современнике», не приличною... Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе. Объявить цензорам, чтобы впредь подобного не допускали, а в случаях недоумений спрашивали разрешения». Таким образом, Чернышевский не понял основного значения статьи и усмотрел в ней лишь обычное реакционное выступление в поисках истоков «крамолы».

137 Лавальер Луиза-Франсуаза (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV, ушедшая в монастырь после того, как король увлекся другой женщиной.

138 «Московский телеграф» — московский журнал литературы, критики, наук и художеств, издававшийся в 1825—1834 гг. Н. А. Полевым. Первый русский научно-литературный журнал, пытавшийся проводить точку зрения свободы мысли и независимости творчества. В нем впервые давались общественно-

политические оценки литературных произведений. Журнал был закрыт решением правительственных органов, поводом для чего послужил помещенный в нем неблагоприятный отзыв о патриотической драме Кукольника «Рука всс-ышнего отечество спасла», получившей одобрение Николая I.

139 См. в настоящем дневнике запись 11/VIII 1848 г.

140 «Письма об изучении природы» — серия статей Герцена, напечатанных в «Отечественных записках» за 1845—1846 гг. (тт. 39, 41, 43 и 45). Эти статьи Герцена наряду с циклом статей «Дилетантизм в науке» (см. «Отечественные записки» за 1843 г.) написаны Герценом в Москве после возвращения из новгородской ссылки. Эти блестяще написанные статьи научно-философского характера посвящены вопросу сближения философии с естествознанием и резко заострены против всякого рода метафизических и религиозных концепций. Однако, стоя на точке зрения так называемого «реализма», Герцен и в этих работах (равно как и в последующих) не свободен от влияния философского и исторического идеализма. «Письма об изучении природы» известны были Чернышевскому еще в 1844—1846 гг. в Саратове (см. А. Н. Пыпин — «Мои заметки», стр. 58).

141 Роман Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чодзльвита» напечатан в «Отечественных записках» за 1844 г. (тт. 36 и 37).

142 Статья «Реформация» напечатана в «Отечественных записках» за 1844—1845 гг. (тт. 36, 37 и 40) в разделе «Науки и художества». Это сокращенный перевод работы Леопольда Ранке — «Deutsche Geschichte in Zeitalter der Reformation», вышедшей в 1843 г. В журнале давалось, по словам редакции, «содержание этой книги по возможности полное, сколько позволяют нам пределы повременного издания».

143 Роман в 3 частях Ж. Занд «Жак» напечатан был в «Отечественных записках» за 1844 г. (тт. 35 и 36).

144 По рекомендации А. В. Никитенко Чернышевский в 1849 г. для крупного сенатского чиновника Булычева делал из Полного собрания законов выписки тех мест, которые имели отношение к Сибири. В бумагах Николая Гавриловича сохранился лист этих выписок с пометкой: «Это еще во время студенчества делал выписки для Булычева из Полного собрания законов, все относящееся до Сибири». В 1857 г. Чернышевский напечатал в «Современнике» рецензию на книгу Булычева «Путешествие по Восточной Сибири», см. IV т. настоящего издания.

145 «Kladernadtsch» — еженедельный иллюстрированный журнал политической сатиры, издаваемый в Берлине с 1848 г. Давидом Калиш совместно с книгопродавцем А. Готфрейдом. Редактором журнала был И. Троян (Trojan). Среди сотрудников журнала были художники — Г. Брандт, Л. Штурц, Иттер и др.

146 «Neue Preussische Zeitung» — берлинская газета консервативного направления, возникшая в 1848 г. и в период победившей контрреволюции игравшая ведущую реакционную роль. Консервативный характер газеты типичен для нее и в последующие годы. Первым редактором издания до 1853 г. был Вагнер.

147 Остромирово евангелие — один из древнейших памятников церковно-славянской письменности, относящийся к середине XI века. Оригиналом для него служила, очевидно, рукопись южнославянского происхождения. Благодаря точной передаче правописания оригинала Остромирово евангелие является первоисточником для изучения староцерковного славянского языка.

148 Арест основной группы петрашевцев произведен был в ночь на 23/IV. Решив начать вооруженную борьбу с революцией в Европе и желая обезопасить положение в тылу, Николай I отдал распоряжение об аресте «заговорщиков», сразу после получения о них сведений, за несколько дней до манифеста о выступлении русских войск в Венгрию (манифест подписан 26/IV). Дело петрашевцев было несомненно раздуто в результате соперничества «ведомств»: открывшее «заговор» министерство внутренних дел заинтересовано было в преувеличении серьезности сделанного открытия, желая тем самым доказать бездеятельность III отделения (жандармерии), не обратившего внимания на петрашевцев. Чернышевский, лично знавший некоторых из арестованных петрашев-

цев (Ханыков, Дебу, Филиппов), прав был, характеризуя их арест как «подлую и глупую историю».

149 Норманское моление (?). Из записей Чернышевского в «Дневнике» за 21—25/IV видно, что, давая уроки в семье М. Б. Чистякова, Николай Гаврилович преимущественно занимался с учениками историей средних веков. Повидимому, упоминание о «норманском молении» (запись здесь не вполне четка) связано с его рассказом о набегах скандинавов-норманов на европейские государства в VIII—IX вв.

150 Повесть Ж. Занд «Теверино» была напечатана в «Отечественных записках» за 1845 г. (т. 42).

151 Любуша, по преданию, чешская королева IX в., за несправедливый суд принуждена была отказаться от управления государством. Этот эпизод составляет главное содержание так называемой Зеленогорской рукописи, которая вместе с Краледворской рукописью являются поддельными памятниками древне-чешской литературы X—XI в. На русском языке издано несколько переводов Краледворской рукописи еще в первой половине XIX в.: перевод Шишкова — Спб. 1820, А. Соколова — в «Ученых записках Казанского университета» (1845 г., т. IV, и 1846 г., т. I), Н. Берга — в «Московском сборнике на 1846 г.» (М. 1846 г.).

152 Вероятнее всего, здесь имеется в виду одна из печатных работ немецкого филолога Готфрида Германа (1772—1848 гг.), лейпцигского профессора. Менее вероятно, что здесь речь идет о трудах основателя в России научной статистики К. Ф. Германа (1767—1838 гг.).

153 Как следует из ряда последующих записей в «Дневнике», письмо это было от родителей из Саратова с предложением провести летние каникулы на родине.

154 Перевод романа А. Дюма «Две Дианы» печатался в «Отечественных записках» за 1847 г. (тт. 51—55).

155 «Записки императорского русского географического общества» — неперiodическое издание, выходившее в СПб. с 1846 г. «Записки» издавались по трем отделениям: 1) по общей географии (физическая и математическая география), 2) по статистике, 3) по этнографии.

156 Рост числа голосов, поданных за кандидатуры демократов при выборах в законодательное собрание (см. выше, прим. 121), поставил их лицом к лицу с большинством собрания, состоявшим из монархистов. Лидеры демократов под давлением рабочих организаций пошли на парламентское оппозиционное выступление против правительства, закончившееся «мирной демонстрацией» 13 июня 1849 г. под лозунгом защиты конституции. Демонстрация была разогнана, вожди демократов бежали. Одновременно произошел ряд демонстраций в провинции, причем в отдельных случаях они переросли в вооруженные восстания (Лион, Тулуза, Страсбург), вскоре, однако, подавленные войсками правительства.

157 Чернышевский здесь имеет в виду бомбардировку Рима французским экспедиционным корпусом под командой генерала Удино.

158 «Натан Мудрый» — драма Лессинга, изданная в 1779 г.

159 «Поэзия и правда моей жизни» — автобиография Гете, изданная в 1811—1831 гг. (4 тома). Сокращенный русский перевод этого произведения печатался в «Современнике» за 1849 г. (№№ 7—10).

160 Русский перевод «Германа и Дороген» Гете, выполненный Фетом, напечатан в «Современнике» за 1856 г. (№ 7).

161 Письмо это не сохранилось.

162 13/VIII 1849 г. венгерские революционные войска под командой Гергея принуждены были капитулировать перед превосходящими их численностью русскими войсками, посланными Николаем I для подавления венгерского восстания.

163 «Дженни Эйр» — английский роман в пяти частях, перевод которого был напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (тт. 64—66). Редакция журнала, отмечая успех романа в Англии, указывает, что автор его неизвестен. Существовало предположение, что роман этот написан гувернанткой, работавшей в семье Теккерей, которому 2-е издание этого анонимного произведения

и посвящено. (Одновременно в Англии шумным успехом пользовался роман на ту же тему самого Теккерея — «Vanity Fair»).

164 «Калевала» — финская поэма, составленная из народных карельских песен ученым Э. Ленротом, опубликованная в печати впервые в 1835 г. и в расширенном, повторном издании — в 1849 г. Составителем поэмы использован был текст 50 песен (рун). Отрывки из «Калевалы» в русском переводе Я. Г. Грота помещены были в «Современнике» за 1840 г.

165 Здесь разумеется Чернышевским одно из двух энциклопедических изданий фирмы Брокгауз: или «Conversations-Lexicon der Gegenwart» (4 тома, 1838—1841 гг.), или «Die Gegenwart» (12 томов, 1848—1856 гг.).

166 «Conversations - Lexicon» — немецкий энциклопедический словарь, начавший издаваться в 1796 г. В 1808 г. издание перешло в руки Брокгауза (см. именной указатель). Первое издание словаря вышло в 1809—1811 гг. Словарь много раз переиздавался и значительно перерабатывался и обновлялся — до 1848 г. вышло уже седьмое его издание.

167 «Северное обозрение» — учено-литературный ежемесячный журнал, издававшийся в 1848—1850 гг. в Петербурге Ф. К. Дершау.

168 Повесть эта называлась «Теория и практика», см. XI том настоящего издания.

169 «Siècle» наряду с «La Presse» — одна из популярнейших французских газет умеренно-либерального направления. Основана она была в период июльской монархии, в 1836 г., и имела среди своих постоянных сотрудников Дюпона де Лера, Одилона Барро и др. В 1839 г. газета уже имела около 30 тыс. подписчиков. Представляя мнение оппозиционных конституционалистов, эта газета после февральской революции 1848 г. высказывается за республику. Редактором ее в этот период (по 1851 г.) был М. Chambolle.

170 Роман Ж. Занд «La petite Fadette» издан был в 1846—1848 гг.

171 Здесь имеется в виду работа французского литератора и журналиста Touchard-Lafosse (1788—1847) — «Chroniques de l'Oeil-de-Boeuf, des petits appartements de la cour et des salons de Paris sous les régnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI» (изд. 1829—1833 гг. в восьми томах).

172 То есть от Пыпиных для И. Н. Герсннской.

173 «Histoire des Français» Сисмонди (1—31 том) издана была в 1821—1844 гг.

174 Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» был напечатан в «Отечественных записках» за 1848 г. (т. 57).

175 Повесть А. И. Герцена «Кто виноват?» (1-я часть) напечатана в «Отечественных записках» за 1845—1846 гг. (т. 43 и 45).

176 Роман Чарльза Диккенса «Замогильные записки Пикквикского клуба» или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба напечатан в «Отечественных записках» за 1849 г. (т. 67).

177 «Немецкая иллюстрация» — очевидно, «Illustrierte Zeitung» (см. выше, примечание 40).

178 Эта работа Чернышевского включена во II том настоящего издания.

179 Имеется в виду исполнение приговора над петрашевцами 22/XII 1849 г. на Семеновской площади. Привезенным туда петрашевцам был прочитан смертный приговор. Затем их одели в белые рубашки с колпаками и трюхи из них привязали к столбам. После этого войскам была дана команда готовиться к стрельбе. В эту минуту прискакал фельдъегерь, сообщивший о «высочайшем помиловании», то есть о замене смертной казни ссылкой на каторгу на разные сроки.

180 То есть повестку на получение 25 рублей.

181 Заговорщики — петрашевцы. Разгул реакции исключал в представлении современников мысли о возможности смягчения участи осужденных.

182 Книга Срезневского И. И. «Мысли об истории русского языка» была издана в 1849 г. и явилась крупным событием в науке. Эта работа оказалась необходимым предшествующим этапом для «Опыта исторической грамматики русского языка» Буслаева (изд. в 1858 г.).



183 То есть Пыпины, жившие в Аткарске.

184 Загадка, предложенная Фрейтагом; см. запись 17/I 1849 г.

185 Здесь Чернышевский имеет в виду свою запись в «Дневнике» от 18 сентября 1848 г.

186 Эта запись свидетельствует о быстром политическом росте студента Чернышевского, еще не так давно (18/IX 1848 г.) совершенно безнадежно смотревшего на будущее России (см. примечание 21). См. аналогичную запись от 11/II 1853 г.

187 Следует напомнить, что с произведениями Фейербаха Чернышевский познакомился лишь в начале 1849 г. (см. запись 27/II). О влиянии Фейербаха см. запись от 15/IX 1850 г.

188 *Les Antiquités russes.* — Вероятнее всего, здесь Чернышевский имеет в виду издание императорского Русского археологического общества «*Mémoires de la Société d'archéologie et de numismatique de St.-Petersbourg*» (6 тт., изд. 1847—1852 гг.).

189 Статья В. А. Милютина о Мальтусе и его противниках была напечатана в «Современнике» 1847 г., №№ 8 и 9.

190 «Памятник» Державина написан был в 1796 г. Об этом произведении Белинский был очень высокого мнения: «Хотя мысль этого превосходного стихотворения взята Державиным у Горация, но он умел выразить ее в такой оригинальной, одному ему свойственной форме, так хорошо применить ее к себе, что честь этой мысли также принадлежит ему, как и Горацию» (Белинский, Соч., том VII, стр. 149). Стихотворение Пушкина «Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...») написано в 1836 г.

191 Окончательная тема для кандидатской диссертации взята Чернышевским у Никитенко («О «Бригадире» Фонвизина», см. том II настоящего издания). Степень кандидата получена Чернышевским 11/IX 1850 г. Тему для магистерской диссертации Чернышевский, как известно, взял тоже по кафедре Никитенко (см. примечание 44).

192 Очевидно, здесь Чернышевский имеет в виду итоги дополнительных выборов депутатов в Законодательное собрание 10 марта 1850 г. (не надо забывать при этом о разнице между счетом времени по старому и новому стилю, которая равнялась в XIX в. 12 дням). 10 марта в больших городах одержал победу «красный список», и от Парижа были избраны Карно, Видаль и де Флотт. Но реакция продолжала усиливаться. Признаком этого явился закон 31 мая 1850 г. об отмене всеобщего избирательного права.

193 Повесть Ф. М. Достоевского «Двойник» была напечатана в «Отечественных записках» 1846 г., т. XLIV.

194 «*Revue Indépendante*» — французский журнал, издававшийся в 1841—1847 гг. П. Леру, Виардо и Ж. Занд.

195 Фишер А. А. исполнял в 40—50-х годах обязанности цензора.

196 Н. Г. Чернышевский писал родителям в Саратов о своем предположении остаться в Петербурге по окончании университета и спрашивал согласия на это. Из позднейших записей «Дневника» видно, что это согласие ему было дано (см. запись от 10/V 1850 г.). Однако это решение и у самого Чернышевского было недостаточно твердое — он одновременно с подыскиванием места в Петербурге (по ведомству военно-учебных заведений) хлопотал через попечителя Казанского учебного округа В. П. Молостова о преподавании в саратовской гимназии.

197 Карета — дилижанс, курсировавший по городу в установленном направлении и за небольшую плату перевозивший всех желающих; введен был в Москве и Петербурге лишь в конце 40-х годов.

198 См. примечание 191.

199 В 1850 г. Чернышевский оканчивал университетский курс и в связи с нерешенным вопросом о своей дальнейшей работе колебался, ехать ли летом на родину в Саратов или оставаться в Петербурге, перейдя на жительство в семью Ворониных, где он давал уроки. В конце концов он решил ехать в Саратов (см. запись от 3/VI 1850 г.).

200 Путешествие из Петербурга в Саратов производилось до Москвы в карете-дилижансе, проходившей это расстояние в течение 80 часов. Железная до-

рога между двумя столицами была открыта лишь во второй половине 1851 г.

201 Приехавшего в Петербург попечителя Казанского учебного округа Молостова Чернышевский посетил в связи с хлопотами о переводе А. Н. Пыпина из Казанского в Петербургский университет.

202 Эта часть «Дневника» писалась уже в Саратове, и запись событий по 26 июня производилась по памяти, задним числом.

203 Ив. Фот. — племянник Гав. Ив. Чернышевского, священник, лишенный права совершать церковную службу и долго хлопотавший о реабилитации. О его деле см. в прим. к XIV т. наст. издания.

204 В отличие от всех других случаев под именем Алексея Тимофеевича здесь разумеется не Петровский А. Т., а дьякон Сергиевской церкви в Саратове, в которой настоятелем был отец Николая Гавриловича.

205 De l'Esprit — очевидно, Чернышевский имеет здесь в виду произведение французского философа Гельвеция (1715—1771 гг.) «*Livre de l'esprit*», появившееся в печати в 1758 г. По мнению Гельвеция, человеческое поведение обуславливается стремлением к наслаждению и отрицанием страдания. Таким образом эгоизм является источником всякой деятельности людей.

206 Мы — Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин.

207 Рукопись «Дневника» продолжается дальше на черновике прошения о месте в Саратове. Прошение это подано не было, так как попечителя учебного округа В. П. Молостова в это время в Казани не было, а, как следует из последующих записей, прошение должно было быть подано лично Чернышевским.

208 Имеется в виду проект изобретения Чернышевским «вечного двигателя» (см. примечание 1).

209 Здесь Чернышевский говорит о работе Вильгельма Гумбольдта — см. именной указатель — «Гумбольдт В.».

210 «Журнал министерства внутренних дел» издавался ежемесячно с 1829 по 1861 г. и являлся официальным ведомственным изданием. В 1861 г. заменен был ежедневной газетой «Северная почта».

211 Речь идет здесь о тексте пробных лекций, которые должны были быть прочитаны Чернышевским на испытании для поступления преподавателем в военно-учебные заведения.

212 См. примечание 192.

213 Переговоры с Тихоновым касались вопроса о поступлении Чернышевского преподавателем в Артиллерийское училище. Как следует из записи 9/XII, это место Чернышевским не было получено.

214 Переписка, на которую ссылается Н. Г. Чернышевский, до нас не дошла — за 1850 г. сохранились его письма лишь до 13 июня.

215 Чернышевский составлял записки лекций Срезневского и помогал ему при держании авторской корректуры. В это время (с середины октября) Чернышевский занимался с одним молодым человеком (Мерк), готовившимся к сдаче экзамена на домашнего учителя, и, наконец, Чернышевский решил сделать для И. И. Введенского перевод с английского языка для «Отечественных записок» (в благодарность за помощь при подыскании места в Петербурге).

216 Дальше Чернышевский приводит перечень виденных им драматических и оперных спектаклей.

217 Обычно под именем Николая Ивановича Чернышевский разумеет в своем «Дневнике» Н. И. Костомарова. Кого он имеет в виду здесь (разумеется, что не Костомарова), — установить не удалось.

218 «Фрейшиц» («Волшебный стрелок») — опера немецкого композитора Вебера (1786—1826), написанная в 1817—1820 гг., впервые была поставлена в 1821 г. «Вильгельм Телль» — опера итальянского композитора Россини (1792—1868 г.), впервые была исполнена в 1829 г. Любопытно, что до 60-х годов на русской сцене эта опера давалась с музыкой Россини, но при искаженном сюжете и с измененным названием («Карл Смелый»).

219 Описываемые здесь эпизоды происходят на квартире Акимова; одна из дочерей хозяев, Елена Васильевна, была в это время невестой и вскоре вышла замуж.

220 Эта мысль о неизбежности столкновения в будущем с карательными органами царской России неоднократно встречается во многих последующих записях «Дневника» (см. 21/II, 13/III 1853 г.).

221 Что Чернышевский пользовался своим положением педагога для посильного распространения своих революционных взглядов, видно из той оценки, какая ему давалась его учениками: «Среди смешного и дурного в бытность мою в гимназии было хорошее и светлое; последние годы моего пребывания в заведении это хорошее и светлое тесно связано с воспоминаниями об одном учителе (Н. Г. Чернышевском. — *Ред.*), имевшем громадное и благотворное влияние на умственное и нравственное развитие своих учеников» (воспоминания В. И. Дурасова — см. «Русская старина», 1911 г., том I, ст. 76—77). Связи Чернышевского с саратовскими его учениками не прекратились и после ухода его из гимназии — приезжавшие саратовцы охотно посещали в Петербурге дом Н. Г. Чернышевского в годы его работы в «Современнике».

222 Расчеты Чернышевского были верны. Правда, по приезде в Петербург ему пришлось браться за самую разнообразную работу (он служил во 2-м кадетском корпусе преподавателем, работал по правке корректуры, сотрудничал в «Отечественных записках», в «Современнике», в «Петербургских ведомостях», в журнале «Мода» и т. д.). Но уже в 1856 г. за работу в редакции «Современника» он имел 3 тыс. рублей в год и сверх того по 40 руб. с листа за все написанные для журнала работы (с 1858 г. полустыльный гонорар ему был повышен до 50 руб.).

223 То есть на 7 недель великого поста.

224 Записка Палимпсестова опубликована в приложениях ко II тому «Дневника» Чернышевского, М. 1932 г., стр. 295.

225 Н. Г. Чернышевский решил подарить О. С. Васильевой книгу сочинений Кольцова и предварительно отдал ее в переплет.

226 К этим встречам в Петербурге Чернышевский еще раз возвращался позднее. Впечатление от неизвестной девушки на выставке (запись от 21/VI 1849 г.) сохранилось у него до старости (см. его письмо из Сибири от 8 марта 1876 г.), а о вечере у Писарева (запись от 29/XII 1848 г.) он еще раз упоминает дальше в «Дневнике» (см. запись 14/III 1853 г.).

227 Предположения Н. Г. Чернышевского были ошибочны — его родители весьма отрицательно отнеслись к его женитьбе на Ольге Сократовне, и этот вопрос его сильно заботил впоследствии (см. запись 28/III и дальше).

228 19/II 1853 г. Н. Г. Чернышевский сделал предложение О. С. Васильевой.

229 Брат — здесь и ниже — это двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин, в то время студент Петербургского университета. Иван Григорьевич — Герсинский, женатый на сестре А. Н. Пыпина, вскоре умершей.

230 Записка эта не сохранилась.

231 «Давид Копперфильд» Диккенса был издан на русском языке в переводе И. И. Введенского (на английском языке он напечатан был в 1849—1850 годах).

232 Как видно из последующих записей (см. запись 2/IV), Ольга Сократовна решила выйти замуж до отъезда Н. Г. Чернышевского из Саратова, и в Петербург Чернышевский уехал в начале мая уже вместе с женой (его свадьба состоялась 29 апреля).

233 Речь идет о родителях Ольги Сократовны, невесты Н. Г. Чернышевского.

234 Блумеристки — так назывались последовательницы американки Амалии Блумер, которая в 1850 г. начала носить мужской костюм, считая покррой женского платья вредным для здоровья. Блумеризм в 50-х годах XIX века нашел ряд сторонников в Америке и в Англии, но вскоре интерес к нему пропал.

235 «Проступок г. Антуана» — роман Ж. Занд.

236 Об «Эстике» Фишера см. в Именином указателе: Фишер Ф.-Т.

237 То есть за три месяца.

238 В первое время самостоятельной семейной жизни в Петербурге Н. Г. Чернышевский сотрудничал в ряде журналов и имел постоянную работу по найму. В частности его работы в 1853—1856 годах печатались одновременно и

в «Отечественных записках» и в «Современнике». Лишь с апреля 1856 г. он является сотрудником и вскоре руководящим редакционным работником лишь в одном «Современнике».

239 Н. Г. Чернышевский не раз получал приглашение на обед к саратовскому губернатору М. А. Кожевникову. Здесь речь идет об одном из таких случаев.

240 Комната Н. Г. помещалась наверху в мезонине.

241 То есть записку с надписью «будущему сыну».

242 Н. Г. Чернышевский неоднократно имел столкновения с директором саратовской гимназии — типичным представителем дореформенной школьной администрации. Обычно предметом расхождения их являлся характер школьных занятий, так как Н. Г. Чернышевский, как правило, отступал от казенных формальных приемов преподавания, что сказывалось как на темах, подлежащих изучению, так и на методике его занятий.

243 Чернышевский имеет в виду здесь настроение Ольги Сократовны в связи со смертью ее двоюродного брата В. И. Рычкова.

244 Разрешение на вступление в брак.

245 Евгения Егоровна, мать Н. Г. Чернышевского, серьезно болела и 19 апреля 1853 г. умерла. Свадьба Н. Г. Чернышевского с О. С. Васильевой произошла 29 апреля, и через несколько дней они уехали в Петербург. Очевидно, все эти события помешали дальнейшему ведению «Дневника».

246 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дубовый листок оторвался от ветки родимой».

## АВТОБИОГРАФИЯ

1 О предках Чернышевского известно немного. Его прадед по отцу Василий (отчество неизвестно) и дед Иван служили дьяконами церкви в с. Чернышево, Чембарского у., Пензенской губ. Иван был женат на сестре священника этой церкви. По преданию ее предки, как, видимо, и предки Ивана, принадлежали истари к духовенству; но ее отец, в порядке рекрутского набора, выбыл из его рядов на военную службу. 5 июня 1793 г. от этого брака родился отец Чернышевского Гавриил Иванович. Прадед Чернышевского по матери известен только именем — Иван. Дед по ней Георгий Иванович Голубев был протоиереем Сергиевской церкви. От его брака с дочерью крестовоздвиженского священника И. К. Кириллова Пелагеей родилась мать Чернышевского Евгения Егоровна Голубева-Чернышевская.

Подробнее о семействе Чернышевских см. в статье С. Н. Чернова «Семья Чернышевских» в II томе «Известий Научно-исследовательского института по изучению Южно-Волжской области им. А. М. Горького в Саратове».

2 Русский перевод романа французского романиста Жозефа Мери «Гева» был издан в 1849 г.

3 Население Саратовского Заволжья начало более или менее расти лишь в конце XVIII в. Впрочем, уже в начале XVIII в. или даже в конце XVII в. в нем по Б. Иргизу возник ряд селений беглых «раскольников». Позже в край проникает много беглых, особенно крепостных помещичьих крестьян. Во второй половине XVIII в., в связи с эксплоатацией соляных богатств Заволжья, в край были переселены и устроены в особые слободах против Саратова (Покровская) и Камышина (Николаевская) привычные к «чужачеству» «коренные малороссияне». Тогда же были вызваны из-за границы для поселения в Заволжье русские старообрядцы и иностранные (почти исключительно немецкие) колонисты. Приостановленные восстанием Пугачева планомерные мероприятия правительства по колонизации Заволжья возрождаются лишь после совершенной ликвидации в крае последних отголосков восстания и осуществляются под защитой укрепленной линии от Урала к Волге, через среднее течение Узеней, в форме расселения выходцев из-за рубежа и из внутренних губерний по Узеньям, Еруслану и Иргизам. Однако рост населения оказался заметен лишь к 30-м годам XIX века; он позволил в 1835 г. открыть за Волгой два новых уезда: Николаевский и Новоузенский. В 40-х годах XIX века в крае производилось специальное межование, между прочим рассчитанное и на подготовку колониационного земельного фонда, — знак того, что край был заселен еще очень слабо. На правом берегу Волги население было гуще, чем в Заволжье,

но все же и здесь простор был очень значителен, особенно на юге, в Камышинском и Царицынском уездах.

4 Переход от счета на ассигнации к счету на серебро был, в существе дела, девальвацией. Эта реформа была вызвана невозможностью поднять ассигнации, курс которых к тому же колебался от 350 до 380 за 100. Проведена она была в конце 30-х—начале 40-х гг. Ее этапы: в 1839 г. учреждение депозитной кассы, выпускающей билеты, обмениваемые на золотую и серебряную монету, то есть полностью обеспеченные металлом, в 1841—43 гг. выпуск кредитных билетов, обеспеченных серебром на одну треть. При девальвации ассигнация считалась 350 за 100.

5 Чернышевский разумеет тревоги и горе, которые несомненно испытал бы от его ареста и судебного дела отец Г. И. Старик умер за несколько месяцев до ареста Чернышевского.

6 Холера в Саратове появилась в начале августа 1830 г. В июне 1831 г. холера вновь появилась в Саратове, но была уже значительно слабее, чем в 1830 г. После этого холера в Саратове была в 1847—48 гг.

7 Мнение о том, что действие гоголевского «Ревизора» протекает в Петровске, Саратовской г., естественнее всего было выразить кому-либо из саратовцев, знающих местные обстоятельства и направление местных дорог. Так как Чернышевский называет автора этого мнения своим «бывшим приятелем, а нынешним противником по литературе и прочему вздору», возможно счастье таковым Н. И. Костомарова, саратовского приятеля Чернышевского, с которым в Петербурге он сильно разошелся в политических взглядах. С другими «бывшими приятелями» по Саратову у Чернышевского, кажется, не было разрыва.

8 Иерусалимки — паломницы, ходившие на богомолье в Иерусалим.

9 Колония питомцев Московского воспитательного дома была первоначально устроена в Горелове, Смоленской губ.; в ее организации и быте заметны общие черты с военными поселениями А. А. Аракчеева. В 1830 г. состоялось переселение питомцев в заново устроенную колонию меж городами Саратовом и Аткарском. На беду питомцев общий режим на новом месте испытал мало изменений, быстро усвоив характерные черты жестокого николаевского царствования. Одним из его проводников был Михаил Николаевич Хрущов, о котором рассказывает Чернышевский, жестокий в наказаниях, горячий на руку и несдержанно-вспыльчивый человек.

10 С рассказом Чернышевского об его знакомом необходимо сопоставить переданный В. Н. Шагановым его же рассказ о Сераковском в бытность его солдатом одного из оренбургских линейных батальонов: «Генерал делал смотр. Ему сейчас же донесли, что в рядах находится солдат из политических преступников. Генерал прямо подошел к Сераковскому, долго смотрел на него, не говоря ни слова, и, наконец, произнес: «читайте пунктики», то есть катехизис об обязанностях солдата. Сераковский нарочно общесолдатским манером, как бы без всякого понимания того, что говорит, начал, — «Стойте, — закричал генерал. — Стойте! Читайте снова опять!» Сераковский начал снова и тем же способом. — «Как же, как же это можно образованному человеку?». И зачем вы мне это отвечаете?» — залопотал генерал, не зная, как выразить боровшиеся в нем человеческие чувства и сообразовать их с требованиями военной субординации. — «Возьмите, возьмите его из строя!» — приказал генерал и потом, после смотра, долго толковал с Сераковским. С тех пор Сераковскому стало легче жить в солдатах». См. Шаганов В. Н. «Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. Воспоминания». СПб. 1907.

11 В селе Копенах или Львово, Аткарского у., образовалось гнездо крайнего старообрядческого толка — «нетовцев» или «спасовцев». Они утверждали, что антихрист — царь Петр «потребил» все «божественные тайны» не только в русском православии — «никонианстве», но и во всем мире, что «благодать» взята богом на небо, что поэтому исчезли все обычно употреблявшиеся человеком пути и средства спасения и осталось только два: один «сторонний» человек — «спасова милость» и другой совершенно ему необычный — «самоубийственная смерть». В делах веры и поведения копенские нетовцы долго подчинялись главному наставнику вероисповедной группы И. С. Бездельеву, проживав-

шему в скиту Формозовского буерака, в 30 км от Саратова. Однако социальный состав Копен и Формозовского скита был различен: в первом — владельческие крепостные крестьяне, во втором — смешанный, крестьянско-мещанско-купеческий, с заметным преобладанием городского элемента; отсюда в Копенах не только держится, но крепнет психологическая готовность уйти из греховного и безблагодатного царства антихриста в небесный рай верным путем «самоубийственных смертей», а в скиту, с его тихим и далеким от жизни бытом одних и ростом благосостояния других, сначала увядает и никнет решимость стать на этот путь, а потом он уже кажется бесполезным и даже вредным, и вся надежда возлагается на «спасову милость». В итоге отступления вождей копенцы слагаются в самостоятельную религиозную группу, с руководящею семьею Юшкиных. Отец — А. Юшкин — в 1802 г. начал проповедывать близкое пришествие антихриста и «самоубийственную смерть» как верное средство спасения и сумел подготовить, но не сумел осуществить массовое самоубийство, попытка к которому была ликвидирована местными крестьянами, не принадлежащими к секте «нетовцев». Тогда и самое копенское гнездо секты было раздвлено. Отбыв наказание, Юшкин в 1819 г. или несколько позже вместе с одною своею последовательницею принял в пещере близ Копен «самоубийственную смерть». Повидимому, это подняло упавшие с 1802 г. настроения копенцев, среди которых к тому же постепенно сложился новый руководящий центр во главе с И. Юшкиным — сыном. Последний в ночь на 1 марта 1827 г. организовал и провел массовое добровольное убийство двух семей, в 35 человек, полностью, от полугодичного ребенка до 70-летнего старика: у семи из них было перерезано, у остальных перерублено горло. Следует иметь в виду, что часть копенских нетовцев отклонила предложенную им Юшкиным «самоубийственную смерть» (40 чел.); из них 16 впоследствии были обращены в православие. «Копенское действо» имело огромные последствия во всем укладе отношений к старообрядчеству местной светской и духовной власти. Инициатором произведенных реформ (в том числе и образования особой саратовской епархии) был губернатор кн. А. Б. Голицын, а одним из деятелей по борьбе со старообрядчеством стал отец Чернышевского, выдвинувшийся в этой области в 1827 г. при второй ликвидации копенского гнезда нетовцев и награжденный по этому делу фиолетовой бархатной скуфьей. Об отношении отца Чернышевского к расколу можно судить по следующему неопубликованному документу, «предложению» обер-прокурора гр. Протасова синоду от 12 апреля 1837 г., копия коего сообщена редакции Н. А. Алексеевым.

«Саратовский преосвященный сообщил мне, что благочинный г. Саратова протоиерей Чернышевский, для водворения порядка при существующих в сем городе раскольнических часовнях, признает, по местным обстоятельствам, весьма полезными следующие предположения: 1) поскольку известно, что секта поповская и поморская имеют старшин или попечителей, то сим лицам выдавать именной список, за подписанием полицмейстера, для внесения в оный вновь родившихся и умерших, который ежегодно поверять полицмейстеру или по доверию его чиновнику полиции, и без огласки, но не без сведения местного приходского духовенства и благочинного. 2) Раскольники не должны переходить своевольно из одной секты в другую, а ежели убеждаются в неправоте своей секты, — обязаны обращаться к соединению с православною церковью; за нарушение сего хотя следует судить и переходящего, но всю строгость законов обращать на принявшего, как распространителя раскола. 3) Также не должны они, раскольники, принимать новоприбывшего в г. Саратов, хотя бы то был и старообрядец же, на общественное моление, ни исправлять у него треб без дозволения полицмейстера. 4) Не излишним было бы, к сокращению своевольства попечителей или старшин общества, подчинить их в отчетности прихода и расхода денег, поступающих от продажи свеч, вкладов и кошелевого сбора, или магистрату, или думе, и для сего выдавать им шнурозапечатанные книги. 5) Для записи рождающихся, брачующихся и умерших выдавать им ежегодно таковые же книги из саратовской градской полиции и особо шнурованную книгу для писания обысков брачных, и писать оные по формам, каковы пишутся сии же книги в церквах православных; метрические книги по окончании года представ-

лять полицмейстеру, а обыскные оставлять при молитвенном доме, пока испишутся. 6) От старшин поповской секты требовать исповедных росписей за подписью священников, по образцу подаваемых православным духовенством. 7) Поскольку в секте поморской числится только около 600 душ мужского пола, а молитвенных домов сей секты в Саратове три: первый, каменный, на общественном сей секты месте, второй при доме дворянина Волкова, третий при саде купца Никитина, Кабанова тож, то полезно было бы причислить всех поморцев к одному молитвенному дому. 8) Для собраний их на моление оставить первый из вышеупомянутых домов, как достаточный к помещению показанного числа душ, включая и женский пол, и 9) затем остальные два молитвенные дома упразднить.

Преосвященный, признав с своей стороны предположения сии уважительными и полезными к уничтожению раскола, просил на приведение их в исполнение согласия саратовского гражданского губернатора, но как он отозвался, что на сие нужно иметь предписание министерства внутренних дел, то преосвященный отнесся ко мне об оказании в сем случае содействия. Вследствие сего я относил вышеозначенные предположения по принадлежности на усмотрение г. министра внутренних дел, который представлял об оных на высочайшее разрешение.

Его императорское величество, находя предположения сии неудобными, ибо оные согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священники при церквах, между тем как раскольнические действия не признаются законными, высочайшее повелеть соизволил: предоставить св. Синоду сделать преосвященному саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». (Оригинал этого документа находится в Ленинградском центральном историческом архиве.)

<sup>12</sup> Бенарес или Бонарес — главный город одноименной области в Индии, центр браминской учениости; священный город индусов. Джагарнат или Джагернат, также Джаганнатха — девятое воплощение Вишны в виде Кршны. Упомянуто Чернышевским вместо местечка Пури, где происходило поклонение Джаганнатхе. Шива — одно из трех главных божеств индусов последующей поры. Под Бахвани Чернышевский, вероятно, разумел Бгавани, жеиу Вишну.

<sup>13</sup> С замечаниями Чернышевского по поводу книги Кинглека «The invasion of the Crimea», 1863, ср. его статью «Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)», написанную, как и автобиография, в крепости (см. X том настоящего издания).

<sup>14</sup> Алексей Давыдович — А. Д. Панчулидзе, саратовский губернатор с 1808 по 1826 г. До назначения на должность губернатора работал в Саратове по соляному делу. Будучи губернатором, Панчулидзе вел весьма широкую и веселую жизнь, требовавшую значительных расходов. Между тем средства, которыми он обладал, были весьма ограниченными. Под влиянием этого Панчулидзе допустил ряд злоупотреблений по должности, раскрытых ревизией, произведенной в 1826 г. и приведшей к отставке Панчулидзева.

<sup>15</sup> Старший Брут — Люций Юний Брут, внук Тарквиния Древнего, — римский государственный деятель конца VI в. до н. э., организатор и вождь патрицианского восстания против царской власти. По легенде, он осудил на смерть, вместе с другими заговорщиками против нового порядка, двух своих сыновей и сам присутствовал при их казни.

<sup>16</sup> Баус, Федор Яковлевич, начал свою службу в пензенской градской полиции; приехав в Саратов, он последовательно проходил должности квартального надзирателя, пристава 4-й части и с 1842 г. пристава 1-й части. Находясь на службе в 1-й части, Баус возбудил против себя подозрения как в неправильных действиях по розыску в уголовных делах, так и в причастности к ряду таковых дел. Особенно сильны были улики против Бауса в деле о грабеже у отставного чиновника Секавина, в Долгом буераке, близ Саратова: в одном из грабителей, убитом Секавиным при защите, был опознан работник на мельнице жены Бауса Пятаков, причем относительно последнего выяснилось, что он состоял под следствием по обвинению в конокрадстве и ограблении церкви в слободе Покровской против Саратова, и что он был по «приказанию» Бауса, скрывшего его

второе преступление, взят на поруки неким мещанином Астрадамовым и тогда же определен Баусом работником на женину мельницу. Гибель Пятакова в секавинском саду дала возможность начать распутывать клубок грабежей и дерзких краж в Саратове, особенно за 1843 г.; не доверяя местной власти, министерство внутренних дел поручило расследование своему чиновнику Васильчикову. Следствие открыло шайку грабителей — разбойников и обширный круг их пособников; оно имело указания на связи их с Баусом, но не смогло установить организационного характера этих связей. Баус был предан суду саратовской уголовной палаты, а затем сената. Первая оставила его в сильном подозрении, а второй признал виновным в ряде служебных преступлений и постановил лишить его всех прав состояния и сослать на поселение в Сибирь. Но ни та, ни другая, несмотря на ряд улик, не признали его виновным в соучастии с грабителями. Тем не менее министр внутренних дел Л. А. Перовский в разговоре с саратовским губернатором А. М. Фадеевым определенно говорил о соучастии Бауса.

<sup>17</sup> Энциклопедия Плюшара — «Энциклопедический лексикон», издававшийся в 1835 — 1841 гг. петербургским издателем А. Плюшаром и бывший первым в России опытом издания энциклопедического словаря. Издание его не было доведено до конца, прекратившись на букве «Д».

## ВОСПОМИНАНИЯ

### № 1.

<sup>1</sup> Как видно из письма Н. Г. Чернышевского к отцу от 18 мая 1853 г. (см. XIV том настоящего издания), Чернышевский и его жена приехали в Петербург 13 мая 1853 г.

<sup>2</sup> Сотрудничество Н. Г. Чернышевского в «Отечественных записках» началось с № 7 за 1853 г. Возможно, что литератором, рекомендовавшим его А. А. Краевскому, был М. Л. Михайлов, с которым Чернышевский был знаком еще со студенческих лет и который с 1852 г. являлся постоянным сотрудником «Отечественных записок», или А. П. Милюков, участвовавший в библиографическом отделе этого журнала.

<sup>3</sup> Это сообщение Чернышевского не вполне точно. На титульном листе «Современника» печаталось: «Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым». Однако объявления об издании «Современника» (см., например, объявление на 1854 г. в №№ 11 и 12 «Современника») подписывались Панаевым, как редактором и издателем, и Некрасовым, только как издателем журнала. Это и могло давать людям, недостаточно осведомленным в редакционных делах «Современника», повод предполагать, что по делам чисто редакционным надлежит обращаться к И. И. Панаеву. В действительности же львиная доля редакционной работы лежала на Н. А. Некрасове.

<sup>4</sup> Из дальнейшего рассказа Чернышевского видно, что его переговоры с Панаевым, а затем с Некрасовым происходили в конце осени 1853 г. Ниже Чернышевский исправляет допущенную им в этом месте ошибку: не 29, а 30 лет.

<sup>5</sup> В 1850 — 1853 гг. «Современник» имел от двух до трех тысяч подписчиков. С 1854 г. подписка начала расти (В. Евгеньев, «Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова» — «Голос минувшего», 1915 г., № 11, стр. 94 — 95). Естественно, что при таких условиях журнал не мог окупаться, и долг, лежавший на «Современнике», возрастал.

<sup>6</sup> Этот отзыв Некрасова об И. И. Панаеве находит документальное подтверждение в письмах Некрасова. В конце 1856 г. он писал заведующему конторой «Современника» И. А. Панаеву: «Прежде всего не доверяй денег И. И. и пресекай ему пути к получению их, где бы то ни было, резко и решительно. Можешь действовать моим именем и показать ему это письмо. Это для него же лучше». Некрасов. Сочинения, т. V. М. — Л., 1930 г., стр. 277.

<sup>7</sup> Сотрудничество Чернышевского в «Отечественных записках» прекратилось в начале 1855 г. Последние его рецензии были напечатаны в этом журнале в №№ 1 и 3 за указанный год.



8 А. В. Дружинин был одним из основных сотрудников «Современника» в 1849—1854 гг. и после смерти Белинского сменил его в качестве литературного критика. «Это был добрый и образованный человек, большой англоман, — пишет о нем сотрудник «Современника» Е. Я. Колбасин, — но по принципам ярый крепостник и защитник мракобесия. Он владел сотней — другой крепостных душ и не допускал мысли о возможности освобождения крестьян. Некрасов страшно сердил его, наводя разговоры на этот предмет» (Е. Колбасин. «Тени старого «Современника». «Современник», 1911 г., № 8, стр. 238). В своих литературно-критических статьях Дружинин выступал как сторонник теории «чистого искусства» и вел борьбу против «натуральной школы», горячим сторонником которой выступал Белинский. Чернышевский относился к Дружинину резко отрицательно. В 1857 г. он писал И. С. Тургеневу: «Я попрошу вас указать мне во всем, что написано Боткиным, Дружининым, Дудышкиным, хотя бы одну мысль, которая не была бы или банальною пошlostью, или бестолковым плагиатом. По-моему, уж лучше Аполлон Григорьев — он сумасшедший, но все же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма». Дружинин в свою очередь питал непримиримую вражду к Чернышевскому. «Неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика, — писал он в 1856 г. Тургеневу, — и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его распадах, неловких и в цензурном отношении?» (Тургенев и круг «Современника», М.—Л., 1930 г., стр. 194). Естественно, что при таких условиях сотрудничество Чернышевского и Дружинина в одном журнале было невозможным. Опираясь на свою близость к Некрасову и дружбу с ближайшими сотрудниками «Современника» (Тургеневым, Боткиным и др.), Дружинин делал неоднократные попытки вытеснить из «Современника» Чернышевского. Он обвинял последнего в том, что он ничего не понимает в искусстве, стремится перессорить редакцию «Современника» со всеми сотрудниками и что он подводит журнал под цензурные гонения. Пользуясь приездом Некрасова в июле 1855 г. в Москву, где в то время был и Дружинин, последний совместно с Боткиным сделал решительную попытку воздействовать на Некрасова, чтобы убедить его расстаться с Чернышевским. Однако и эта попытка оказалась безуспешной, и Дружинину не осталось ничего другого, как прекратить сотрудничество в «Современнике». Он начинает деятельно сотрудничать в «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения», а с конца 1856 г. становится редактором этого последнего журнала. В №№ 11 и 12 «Библиотеки для чтения» Дружинин печатает статью «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», являвшуюся прямым ответом на «Очерки гоголевского периода» Чернышевского. В отличие от Чернышевского Дружинин отрицательно относился к «гоголевскому направлению», противопоставляя ему «пушкинское» и приглася литературу вернуться к нему. На статью Дружинина Чернышевский ответил, не называя его фамилии, чрезвычайно резкой критикой его взглядов на задачи литературы и на теорию «искусство для искусства». Это было сделано Чернышевским в рецензии на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, напечатанной в № 4 «Современника» за 1857 г.

9 Этот спор между Чернышевским и Некрасовым касался денежного обеспечения больного и находившегося на излечении за границей Н. А. Добролюбова. См. письма Чернышевского к Добролюбову от 14 (26) декабря 1860 г. и от 3 (15) мая 1861 г. Об этом же споре Чернышевский вспоминал в письме к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. Из этого письма видно, что Чернышевский считал Некрасова правым, но находил необходимым, считаясь с болезненным состоянием Добролюбова, выполнить предъявленные им редакции «Современника» требования.

## № 2

1 Добролюбов поселился в доме Краевского на Литейном в двадцатых числах августа 1858 г. Из письма его к В. И. Добролюбову, датированного 25 августа, видно, что Н. А. в это время уже жил на новой квартире, но еще «не вполне устроился» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М., 1890 г., стр. 453). Добролюбов прожил на этой квартире до конца августа или начала сентября 1859 г.; это видно из письма его к И. И. Бордгову от

5 сентября, в котором Дობролюбов писал: «Жизну я теперь на новой квартире в Моховой, дом Гуткова» (там же, стр. 529).

2 Тургенев прожил в Петербурге с конца 1858 г. по 20 марта 1859 г., затем был там проездом пять дней в апреле того же года. В конце ноября 1859 г. он вновь приехал в Петербург и пробыл здесь до 24 апреля 1860 г. (с 14 января по 8 февраля 1860 г. он был в Москве). Этими датами определяется время, к которому относятся встречи с ним Дობролюбова.

3 Несомненно, что этот разговор Чернышевского с Тургеневым и Некрасовым происходил не после отпечатания статьи Дობролюбова, а до появления ее в печати. Чернышевский не мог не знать тех осложнений, которые эта статья вызвала в цензуре. Просматривавший ее цензор Бекетов счел нужным показать ее Тургеневу; последний же заявил Некрасову протест против ее напечатания на том основании, что она «несправедлива и резка». «Я не буду знать, куда бежать, если она напечатается», — писал он Некрасову (В. Евгеньев. «Некрасов и люди 40-х годов». «Голос минувшего», 1916 г., № 10, стр. 101). В то же время Бекетов сообщил Дობролюбову (письмо от 19 февраля 1860 г.), что пропустить его статью нет никакой возможности: «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского... Напечатать ее так, как она вышла из-под вашего пера, по убеждению, значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному». Что именно так испугало Бекетова и Тургенева в статье Дობролюбова, в точности нам неизвестно, так как первоначальный текст этой статьи до нас не дошел. В «Современнике» же она была напечатана в значительно переделанном виде.

4 В письме к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. Чернышевский, рассказывая об отношении своем к Дობролюбову, писал: «Статей его я никогда не читал. Я всегда только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего».

5 Это была уже переделанная Дობролюбовым рукопись, а не первоначальный вариант его статьи.

6 Окончательный разрыв Тургенева с Некрасовым и «Современником» произошел уже после отъезда Дობролюбова за границу и был вызван появлением в № 6 «Современника» за 1860 г. рецензии Н. Г. Чернышевского на книгу Н. Готориа «Собрание чудес». Автор рецензии, не называя имени Тургенева, весьма прозрачно указывал на то, что в «Рудине» им дана карикатура на М. А. Бакунина. Прочитав эту рецензию, Тургенев написал И. И. Панаеву письмо с отказом от сотрудничества в «Современнике» (1 октября 1860 г.). Письмо это не дошло по назначению, так как его задержал П. В. Анненков, которого Тургенев просил переслать это письмо Панаеву.

7 Имется в виду поездка Чернышевского в июне 1859 г. в Лондон к Герцену для объяснений по поводу статьи последнего «Very dangerous!!!», заключавшей в себе резкие выпады против «Современника».

8 Имеются в виду Ипполит Александрович Панаев, заведывавший в 1856 г. конторой и хозяйственной частью «Современника», и публицист Валериан Александрович Панаев, сотрудничавший в этом журнале.

9 Вопреки ожиданиям Чернышевского, дело о наследстве М. Л. Огаревой до сих пор не выяснено в полной мере и продолжает возбуждать споры среди исследователей. Можно считать установленным, что А. Я. Панаева сыграла в этом деле весьма некрасивую роль, присвоив себе часть огаревских денег. Что же касается Некрасова, то он лично не был причастен к этому делу, но знал о его обстоятельствах и в силу личных своих отношений к Панаевой «прикрывал», по его собственному выражению, ее «в этом ужасном деле».

10 Литературный фонд был организован в 1859 г. Выборы его комитета происходили 8 ноября.

11 Как видно из статьи Чернышевского «В изъявление признательности», этот разговор его с Тургеневым происходил на первом литературном вечере, организованном Литературным фондом. Этот вечер состоялся 10 января 1860 г.

12 Чернышевский имеет в виду статью Тургенева «По поводу «Отцов и детей», опубликованную впервые в 1 томе Сочинений Тургенева, изд. 1869 г.

13 Тургенев сам не скрывал того, что в «Рудине» пытался изобразить Бакунина. В 1862 г. он писал М. А. Маркович: «Я в Рудине представил довольно верный его портрет» («Минувшие годы», 1908 г., № 8, стр. 96). В 1873 г. он говорил Н. А. Островской: «В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина; только мне это не удалось; Рудин вышел вместе и ниже, и выше его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже по характеру» (Воспоминания о Тургеневе Н. А. Островской. Тургеневский сборник, П., 1915 г., стр. 95). Вне сомнений стоит и факт переделки «Рудина» автором по советам и настояниям друзей, в частности Боткина и Анненкова. Еще в 1857 г. об этом писал А. В. Дружинин, указывая, что эта повесть Тургенева «была много раз прочитана в кругу друзей, которых мнением дорожил автор», и что она «исправлялась и переделывалась вплоть до того дня, когда обычаи нашей спешной журнальной деятельности могли терпеть такую медленность» («Библиотека для чтения», 1857 г., № 5, стр. 40). О том же писал и Чернышевский в упомянутой выше рецензии на книгу Готорна.

14 Эпilog, в котором рассказывается о смерти Рудина на парижских баррикадах, отсутствовал в журнальном тексте и был добавлен Тургеневым лишь при переиздании «Рудина» в составе III тома «Повестей и рассказов» Тургенева, изданных в 1856 г. Вопреки сообщению Чернышевского, эпilog к «Рудину» был ему известен; мало этого, несмотря на просьбу Тургенева, переданную Чернышевскому Панаевым, он упомянул об этом эпilогe в печати. Говоря о кружке западников 40-х годов, Чернышевский в 5-й главе «Очерков гоголевского периода» писал: «И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть прочтает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпilog повести г. Тургенева».

15 Повидимому, Чернышевский имеет в виду то место своей статьи «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», напечатанной в № 1 «Современника» за 1862 г., где он называет «тупоумными глупцами» и «дурными пошляками» людей, считающих Добролюбова «человеком без души и сердца». Другим лицом, которого Чернышевский имеет в виду, был А. И. Герцен.

16 Приведенный в предыдущем примечании выпад Чернышевского против Тургенева не может быть приписан влиянию воспоминаний об «Отцах и детях», так как этот роман был напечатан позже статьи Чернышевского.

### № 3

1 «Биографические сведения» о Некрасове в I томе его «Стихотворений» составлены А. М. Скабичевским. Примечания же к стихотворениям и «Свод статей о Некрасове», к которым относятся следующие две «Заметки» Чернышевского, помещены в IV томе того же издания и составлены А. М. Скабичевским совместно с библиографом С. И. Пономаревым.

2 Воспоминания Достоевского были напечатаны после смерти Некрасова в № 12 «Дневника писателя» за 1877 г.

3 Сообщение Скабичевского о роли Андрея Глушицкого в судьбе Некрасова основано на воспоминаниях брата Андрея, Н. Глушицкого, напечатанных в виде письма в редакцию в № 107 «Петербургского листка» за 1877 г.; однако эти воспоминания не дают основания для такого категорического заключения о роли А. Глушицкого, какое сделано Скабичевским. Н. Глушицкий говорит только о том, что по приезде Некрасова в Петербург А. Глушицкий отговаривал его от поступления в дворянский полк (а не в кадетский корпус, как пишет Чернышевский), на чем настаивал отец Некрасова, и помогал Некрасову готовиться к вступительным экзаменам в университет. Все это не исключает того, что первая мысль о поступлении в университет могла быть дана Некрасову его матерью, и не дает основания говорить подобно Скабичевскому, что встреча с А. Глушицким «перерешила всю судьбу юноши» Некрасова (стр. XXVII). Некрасов не был принят в студенты вследствие того, что не выдержал экзамена; ему удалось поступить в университет только в качестве вольнослушателя.

4 В качестве мотивов, порождавших «мягкость» критических отзывов Некрасова, Скабичевский наряду с «благодушием» его указывает на цензурные условия того времени, при которых резкий, задорный тон статей рассматривался как нарушение «мирного настроения общества и благочиния», и на ограниченность тогдашних литературных кадров и отсутствие в их среде «непримиримо враждебных лагерей».

5 Высказанное Чернышевским мнение о том, что к эпохе 60-х годов во взглядах и убеждениях Некрасова не произошло никакой перемены и что знакомство его с «новыми людьми» в лице самого Чернышевского и Добролюбова не оказало никакого влияния на его образ мыслей, нуждается в весьма существенных оговорках. Конечно, Скабичевский был не прав, когда он утверждал, что в поэзии Некрасова до эпохи 1856 и следующих годов проявлялся только «горячий, но крайне неопределенный протест против пошлости, насилия, рабства и всяческого угнетения» и что только после 1856 г. Некрасов становится «певцом народного горя — в широком и глубоком, но вполне определенном смысле» (стр. XXI). Перечисленные Чернышевским стихотворения 1846—1853 гг. действительно показывают, как глубоко Некрасов уже тогда сочувствовал судьбе русского крестьянства, как уже тогда он возмущался и горячо протестовал против рабства и угнетения и, наконец, что уже тогда Некрасов был тем «певцом народного горя», каким он являлся в течение всей его последующей деятельности. Однако наряду с этим в поэзии Некрасова второй половины 50-х годов и 60-х годов появляются новые, отсутствовавшие в ней ранее ноты, свидетельствующие, что он начинает понимать невозможность улучшения участи крестьянства мирным путем. Именно в это время в поэзии Некрасова появляются призывы идти в борьбу «за честь отчины, за убеждения, за любовь», и он начинает понимать, что «дело прочно, когда под ним струится кровь» («Поэт и гражданин», 1856 г.). В этом прояснении и углублении политических взглядов Некрасова громадную роль сыграло сближение его с Чернышевским. Не столько «специальные сведения» и «технические подробности» воспринимал Некрасов из бесед с Чернышевским, сколько понимание непримиримой противоположности интересов эксплуатируемых и эксплуататоров и убеждение в том, что только путем борьбы первые могут освободиться от гнета последних. Достаточно вспомнить разрыв Некрасова с его прежними друзьями из лагеря либерального дворянства (Боткин, Тургенев, Анненков и др.), чтобы убедиться в том, насколько велико было на Некрасова влияние идей, пропагандистами которых выступали Чернышевский и Добролюбов. Несмотря на настоятельные советы своих прежних друзей порвать с Чернышевским, который, по их словам, губит «Современник», Некрасов предпочел сохранить его сотрудничество хотя бы ценою полного разрыва с людьми, дружбой и близостью которых он чрезвычайно дорожил. Конечно, в воззрениях Некрасова не произошло столь резкого перелома, какой пережил, например, Белинский, перешедший от примирения с действительностью к «маратовской» любви к человечеству; в этом Чернышевский безусловно прав, и параллель, проводимая Скабичевским между «Менцелем» Белинского и «Тремя странами света» Некрасова, лишена достаточных оснований, но от этого еще далеко до отрицания какой бы то ни было перемены в его взглядах под влиянием Чернышевского и Добролюбова.

6 Высокое мнение о Петре I Некрасов выразил в поэме «Несчастные», где он отзывался об этом царе, как о «мудром государе, кому в царях никто не равен, кто до скопачанья мира славен и свят». Чернышевский неправ, утверждая о себе, будто он всегда одинаково отрицательно относился к личности и преобразовательной деятельности Петра. В IV главе «Очерков гоголевского периода» он писал: «Для нас идеал патриота — Петр Великий». Соответствующую этому характеристику Петра он давал и в статье «О новых условиях сельского быта» (см. V том настоящего издания), где он между прочим писал: «Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и существенно величие совершенного им дела». Таким образом в начале сотрудничества Чернышевского в «Современнике» расхождение между ним и Некрасовым в оценке петровской реформы и личности самого Петра ни в чем не проявлялось. Однако

через некоторое время отношение Чернышевского к Петру стало принимать более скептический характер. В написанной в 1861 г., но в то время ненапечатанной статье об «Апологии сумасшедшего» Чаадаева (см. том VII настоящего издания) Чернышевский решительно выступает против панегиристов Петра. По его мнению, Петр вовсе не имел в виду перенести в Россию западную цивилизацию, а заботился исключительно лишь о том, чтобы сделать из России могущественную военную державу, способную вынести борьбу с западноевропейскими государствами. Чернышевский утверждает, что в результате реформ Петра изменились лишь «имена, а не характер вещей» и что «способ его действования был чисто национальный, без малейшей примеси западного характера».

7 Имеется в виду А. Я. Панаева.

8 Статьи Белинского «Менцель как критик Гете» и «Бородинская годовщина» были написаны Белинским в эпоху увлечения его идеями Гегеля и связанного с этим «примирения» с действительностью. Позднее Белинский не только не любил вспоминать об этих статьях, но и негодовал на себя за их опубликование. Что же касается романа «Три страны света», написанного Некрасовым в сотрудничестве с А. Я. Панаевой (под псевдонимом Н. Станицкий) и впервые напечатанного в «Современнике» в 1848—49 гг., то роман этот имел авантюрный характер и в нем не было ничего, от чего Некрасову приходилось бы впоследствии отрекаться, за исключением лишь некоторой апологии приобретения, свойственного герою этого романа.

9 Для правильного понимания этих слов Чернышевского необходимо иметь в виду следующее. Из его примечаний к «Очеркам политической экономии» Милля и из ряда его статей («Капитал и труд» и др.) совершенно ясно, что Чернышевский вполне понимал эксплуататорскую роль капитала в народном хозяйстве и непримиримость его интересов с интересами труда. Однако Чернышевский понимал и то, что, несмотря на все темные стороны, свойственные капитализму, капиталистический строй является прогрессом по сравнению с феодально-крепостническим и что поэтому в условиях русской политической жизни его эпохи у буржуазии и у трудящихся классов общества имеются на известном этапе общие интересы, сводящиеся к борьбе против самодержавия, как диктатуры феодального дворянства.

10 В биографии Некрасова, напечатанной в I томе его «Стихотворений», цитировалась статья доктора Н. А. Белоголового «Болезнь Н. А. Некрасова», напечатанная в № 10 «Отечественных записок» за 1878 г.

11 Заметка Чернышевского о сборнике стихотворений Некрасова была напечатана в № 11 «Современника» за 1856 г.; она сопровождалась перепечаткой трех наиболее острых в политическом отношении стихотворений. Эта заметка вызвала целую цензурную бурю. Министр народного просвещения А. С. Норов отдал предписание: «Запретить как перепечатание книги, так и всякие из оной выписки. Издателю «Современника» объявить, что первая подобная выходка подвергнет его журнал совершенному прекращению; а цензору — что он будет отрешен от должности за первый пропуск чего-либо подобного». Сам Некрасов в это время находился за границей. На первых порах по получении известия о происшедшем в Петербурге он сильно негодовал на Чернышевского и особенно на И. И. Панаева, согласившегося на печатание заметки Чернышевского, но вскоре успокоился настолько, что все усилия его друзей из либерального лагеря, воспользовавшись этим инцидентом, побудить Некрасова порвать с Чернышевским, не увенчались успехом.

12 Нет никакого сомнения в том, что в 1862 г. «Современник» был приостановлен вовсе не исключительно из-за Чернышевского, а из-за общего направления этого журнала, за которое Некрасов был ответственен столько же, сколько и Чернышевский.

13 Первоначальный вариант этого изуродованного в угоду цензуре стиха до сих пор неизвестен.

14 Предисловие издательницы А. А. Буткевич было помещено в I томе «Стихотворений» Некрасова, стр. V—XI.

1 Рассказанная Чернышевским история произошла в начале 1855 г. По случаю 50-летнего юбилея Н. И. Греча Добролюбов написал весьма резкое стихотворение, широко разошедшееся в списках по Петербургу. Вследствие нескромности товарищей Добролюбова его авторство стало известно директору педагогического института Давыдову, по распоряжению которого у Добролюбова был произведен обыск, причем были найдены издания Герцена. Одновременно обыск был произведен у товарища Добролюбова Д. Ф. Щеглова. Однако вся эта история не имела для Добролюбова серьезных последствий. «Я мог заплатить за свое легкомыслие целую карьеру, — писал Добролюбов М. И. Добролюбову, — но, к счастью, имел довольно благоразумия, чтобы не заперяться перед директором, признавшись в либеральности своего направления, показал вид чистосердечного раскаяния. Профессора заступились за меня» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М. 1890 г., стр. 230—231).

2 Знакомство Чернышевского с Добролюбовым состоялось в июне 1856 г.

3 В письме к Н. А. Некрасову от 17 июня 1856 г. Чернышевский писал: «Статья (в библиографии) о педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно коифужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне)».

4 Ответ А. Галахову был напечатан в № 11 «Современника» за 1856 г., как часть обзора «Заметки о журналах», составленного Н. Г. Чернышевским. Статья Галахова «Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины II» была напечатана в «Отечественных записках» 1856 г., № 10. Автор ее доказывал, что сатира Екатерины II имела более серьезный характер, чем тот, который придавал ей Добролюбов в его статье «Собеседник любителей русского слова».

## № 5

1 В «Русской мысли», 1885 г., №№ 5 и 6, была опубликована автобиография Н. И. Костомарова, записанная с его слов в 1869 г. Другой вариант его автобиографии, значительно более обширный, записанный со слов Костомарова в 1875 г., был опубликован частично в 1890 г. в «Литературном наследии» Костомарова, а полностью — в 1922 г. издательством «Задруга».

2 8 февраля 1861 г. Н. И. Костомаров должен был прочитать на годовичном акте в Петербургском университете речь на тему «О значении в обработке русской истории трудов Константина Аксакова». Однако, по распоряжению министра народного просвещения, речь Костомарова была снята. Это послужило поводом для шумной демонстрации, произведенной студентами во время акта. Чтобы успокоить студентов, ректор университета заявил им, что речь Костомарова будет прочтена в ближайшие дни на публичном литературном вечере. Это обещание было сдержано. Костомаров действительно прочитал свою речь, а вслед за этим она появилась в печати («Русское слово», 1861 г., № 2). Абсолютно без всяких оснований Костомаров, как это видно из его «Автобиографии», воображал, что отмена его выступления на акте явилась результатом интриг нескольких профессоров, придерживавшихся «западнического направления» и увидавших в его намерении прочитать речь, посвященную памяти незадолго до того умершего К. С. Аксакова, переход к славянофильству. «Чернышевский, — добавляет, рассказывая об этом, Костомаров, — напротив, отнесся сочувственно, да он и вообще не был врагом славянофилов, только не терпел их поповского направления» («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 351). Конечно, это сообщение Костомарова надо принимать как свидетельство не о действительном отношении Чернышевского к славянофилам, а о том, как мало разбирался в этом отношении Костомаров и как превратно он понимал взгляды Чернышевского.

3 Популярный среди студенчества профессор П. В. Павлов был выслан из Петербурга за речь о тысячелетии России, произнесенную им на литературном вечере 2 марта 1862 г. Петербургский университет в то время был закрыт правительством в связи с студенческими волнениями, разыгравшимися в сентябре и октябре 1861 г., но в здании городской думы происходило организо-

важное по инициативе студентов чтение публичных лекций по различным предметам университетского курса. Возбужденное высказкой Павлова студенчество решило реагировать на этот акт правительственного произвола прекращением публичных лекций. Что касается профессоров, то среди них замечалось колебание по этому вопросу; однако большинство склонялось в пользу продолжения лекций. На такой именно точке зрения стоял и Костомаров. 8 марта во время очередной его лекции между ним и студентами произошло резкое столкновение. На заявление Костомарова о том, что он намерен продолжать чтение лекций, студенты ответили свистками. Костомаров же в ответ на это обозвал студентов «Репетиловыми, из которых лет через десять выйдут Расплюевы».

4. Посещение Костомарова Чернышевским приходится отнести на один из ближайших дней после 8 марта, — вероятно, 9 или 10. Во втором варианте «Автобиографии» Костомаров значительно изменил рассказ о посещении его Чернышевским. См. «Автобиография», М. 1922 г., стр. 303.

5 Студенческий комитет образовался в декабре 1861 г. для распределения между нуждающимися студентами собираемых в их пользу денег. В состав этого комитета входили студенты, принимавшие деятельное участие как в студенческих волнениях 1861 г., так и в революционном движении той эпохи: Н. И. Утин, Л. Ф. Пантелеев, П. А. Гайдебуров, А. Я. Герд, В. Л. Гогоберидзе, С. И. Ламанский, П. Ф. Моравский, Е. П. Печаткин и П. Л. Спасский. Среди них были люди, принадлежавшие, подобно Утину и Гогоберидзе, к числу частых посетителей Чернышевского. Последний проявлял большой интерес к деятельности комитета. По свидетельству Пантелеева, Чернышевский присутствовал на одном из заседаний студенческого комитета, состоявшемся вскоре после 8 марта, и отговаривал его членов подавать правительству адрес о помиловании проф. Павлова, сбором подписей под которым в то время занимались члены комитета (Л. Ф. Пантелеев. «Из воспоминаний прошлого». М.—Л., 1934 г., стр. 226).

6 Это письмо Костомарова к Чернышевскому опубликовано в книге М. К. Лемке «Политические процессы в России 1860-х годов», М., 1923 г., стр. 194—196.

7 Н. Д. Ступину Костомаров характеризует как «крайне экзальтированную девушку, недурную собою». Познакомившись с ней в 1850 г., Костомаров, по его словам, подружился с ней. Получив неожиданно от нее письмо с признанием в любви, он ответил холодным письмом, в котором указал, что ей известно о существовании у него невесты в Киеве. После этого всякие отношения между ним и Ступиной были прерваны. Однако, когда Костомарову стало известно, что его невеста вышла за другого, он возобновил знакомство со Ступиной и заговорил с нею о женитьбе. Но, по его словам, Ступина медлила дать ему окончательный ответ на его предложение, и он, по свойственной ему мнительности, приписывал это тому, что Ступина ждет предложения со стороны эдного богатого старика, посещавшего ее родителей. Вскоре старик уехал из Саратова, и тогда Ступина заявила Костомарову, что он может официально свататься к ней. «Это, — рассказывает Костомаров, — окончательно взбесило меня; прав ли я был или нет, не знаю, но после нескольких сцен мы разошлись». К этому вкратце сводится рассказ Костомарова о его взаимоотношениях со Ступиной («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 23). Подробный разбор его рассказа Чернышевским показывает, как мало искренен был Костомаров, повествуя об этом эпизоде своей биографии.

8 Из письма Чернышевского к родителям от 29 марта 1851 г. видно, что в это время он находился в Симбирске и рассчитывал приехать в Саратов между 3 и 5 апреля. Этим приблизительно определяется время знакомства его с Костомаровым.

9 Участие в саратовском ритуальном процессе является одной из наиболее мрачных страниц в биографии Костомарова. Обстоятельства этого дела, по всей справедливости названного Чернышевским «гнусным», сводятся к следующему. В конце 1852 и в начале 1853 г. в Саратове были убиты два христианские мальчика; подозрение, основанное на сбивчивых и противоречивых показаниях некоторых темных личностей и заведомых авантюристов, пало на трех местных евреев. Процесс тянулся около восьми лет и кончился только в 1860 г.,

когда Государственный совет, несмотря на оправдательный приговор Смата и на заключение министра юстиции, признавшего отсутствие в деле достаточных данных для обвинения привлеченных к делу, большинством голосов приговорил последних к каторжным работам. Царь утвердил этот приговор. Костомаров входил в состав следственной комиссии по этому делу. В своей автобиографии он обвинял саратовские власти в том, что они прикрывали обвиняемых: следователи, по его словам, «хлопотали только о том, чтобы замаять дело»; губернатору «хотелось во что бы то ни стало оправдать жидов». «Я, — говорит Костомаров, — написал скорее в обратном смысле» («Русская мысль», 1885 г., № 6, стр. 25—26). Им была составлена «ученая записка», в которой он доказывал, что обвинение евреев в пролитии христианской детской крови «не лишено исторического основания» («Автобиография», М., 1922 г., стр. 216). Мало этого: когда в 70-х годах известный ориенталист Д. Хвольсон, также принимавший участие в расследовании саратовского дела, опубликовал брошюру, в которой доказывал, что ритуальная легенда, возникшая на почве мрачного фанатизма в средние века, не имеет под собою никаких оснований, Костомаров напечатал в «Новом времени» (1872 г., № 1172) разбор этой брошюры, в котором между прочим писал: «Не имея повода разделять с евреями их племенного патриотизма, не можем в ущерб здравому смыслу и в противность истории согласиться с г. Хвольсоном, что между евреями не могло возникнуть этого суеверия».

10 Чернышевский до конца жизни признавал научные заслуги Костомарова; это видно из лестной оценки им исторических трудов Костомарова в своем предисловии к XI тому русского перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера. Что касается Костомарова, то он дает Чернышевскому следующую характеристику: «Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотой, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием. Он, впрочем, лишен был того, что носит название поэзии, но зато был энергичен до фанатизма, верен своим убеждениям во всей жизни и в своих поступках и стал ярым апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти» (Автобиография Костомарова, 1922 г., стр. 330).

## № 6.

О свиданиях с Ф. М. Достоевским Н. Г. Чернышевский, возможно, написал в ответ на воспоминания самого Достоевского о встречах с ним. Достоевский в IV главе «Нечто личное» «Дневника писателя» за 1873 г. рассказал о «кратком и радужном знакомстве» своим с Чернышевским. Достоевский усиленно подчеркивал взаимное расположение свое и Чернышевского, чтобы своим рассказом разрушить «глупую сплетню», циркулировавшую среди литераторов и кругов, близких к «Современнику», и переданную Некрасовым лично при встрече с Достоевским, о том, что он (Достоевский) «в своей повести («Крокодил») не постыдился надругаться над несчастным ссыльным (Чернышевским) и окариатурал его» в «Крокодиле» (см. «Дневник писателя» за 1873 г., Собр. соч. в изд. «Просвещения», т. XIX, стр. 176).

Достоевский фактическую историю своих отношений с Чернышевским рисует так: «С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень не часто, разговаривали, но очись мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, т.-е. наужностью, манерою. Мне наужность и манера Чернышевского нравились».

Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появились, а появлялось их тогда довольно. Она называлась: «К молодому поколению». (Надо думать, что это была прокламация «Молодая Россия», составленная П. Г. Заичневским. — *Ред.*) Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день...



Перед вечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня.

Я вспоминаю, что это было часов в пять пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.

Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

— Ну что же? — спросил он с легкой улыбкой.

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и поекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в этом уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Я уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.

— И однако всем и всему вредят.

Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верно, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радужного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестоким и необщительным. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже... Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство, таким образом, прекратилось. За сим произошел арест Чернышевского и его ссылка.

Устраним фактическую неточность. Показание Достоевского о том, что он на девять месяцев будто бы уехал в Москву, не соответствует действительности. На самом деле он выезжал не в Москву, а в июне 1862 г. за границу.

Достоевский вовсе не говорит о том, что мы узнаем из воспоминаний Чернышевского. А между тем известно, что петербургские пожары 1862 г., начавшиеся с 16 мая и продолжавшиеся в течение двух недель, оказали свое влияние как на общественное мнение того времени, так и на Достоевского. Так, Н. Н. Страхов, друг и единомышленник братьев Достоевских в те годы, в своих воспоминаниях не преминул отметить это обстоятельство: «Почти вслед за самую ярко из прокламаций, обещающую залить улицы кровью и не оставить камня на камне, начались петербургские пожары. Это была самая ужасная минута нашей *воздушной революции* (курсив автора. — *Ред.*), брожения, возникшего в оторвавшихся от почвы умах и душах... Пожары наводили ужас, который трудно описать. Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гулянье. Издали с парохода видны были клубы дыма, в трех или четырех местах поднимавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но, как мы ни старались позабавиться, тяжелое настроение не проходило» \*. Пожары и другие современники связывали с появлением прокламаций и приписывали

\* См. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб. 1883, стр. 239.

их революционерам. Мало этого, молва связывала с пожарами имя Чернышевского. «Знаменитый апраксинский пожар (пожар Апраксина двора произошел 28 мая 1862 года, — *Ред.*), — писал А. Н. Пыпин в своей «Записке о деле Н. Г. Чернышевского» 18 февраля 1881 г., — происшедший, как после образумившись утвердительно говорили, от мошеннического поджога лавочника, дикая молва громко приписывала нигилистам, а Чернышевского провозглашала их главой» (см. «Красный архив», 1927, том XXII, стр. 219). Осведомленный во всех этих слухах и мнениях, носившихся по Петербургу, Л. Ф. Пантелеев в своих воспоминаниях без всяких колебаний связывает посещение Достоевским Чернышевского с пожарами 1862 года: «До какой степени, однако, в обществе существовало убеждение в причастности Чернышевского даже к крайним революционным проявлениям, всего лучше свидетельствует визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский после апраксинского пожара. Ф. М. убеждал Чернышевского употребить все свое влияние, чтобы остановить революционный поток» (см. «Из воспоминаний прошлого», изд. «Academia», 1934 г., стр., 267). Связь между посещением Чернышевского Достоевским и пожарами подтверждается и В. Н. Шагановым. В своих воспоминаниях последний говорит: «Другой анекдот рассказал сам Чернышевский. В мае 1862 года в самое время петербургских пожаров рано поутру врывается в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему с следующими словами: «Николай Гаврилович, ради самого господина, прикажите остановить пожары!» Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь объяснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и, кажется, с этим неверием, с отчаянием в душе убеждал обратно» (см. «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке», восп. В. Н. Шаганова. СПб., 1907, стр. 8). Достоевскому не удалось в то время выступить в печати по поводу пожаров, но тем не менее имеются основания предполагать, что Достоевский, до известной степени, склонялся к мнению о причастности революционеров к поджогам и о связи между поджогами и «Молодой Россией».

Не выступая публично против революционной группы журналистов, Достоевский в частной беседе с Чернышевским сделал попытку протестовать против творимых якобы по заданиям вождя этой группы пожаров. Достоевский был сдержан в беседе с Чернышевским; однако его свидетельство о себе и его поведение отнюдь не лишают историка права и возможности усомниться в заверениях Достоевского относительно доброжелательных отношений его к Чернышевскому в 1862 году.

Расхождение Достоевского с Чернышевским обозначилось раньше 1862 года. Первое печатное заявление Достоевского о несогласии с Чернышевским относится к 1861 году. Отвечая на полемику «Русского вестника» по вопросу об эмансипации женщин, Достоевский отклоняет обвинения Каткова в солидарности с «Современником» и довольно прозрачно намекает на несходство в коренных вопросах своего мировоззрения с мировоззрением Чернышевского, незадолго до того в своей статье «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860 г., № 4—5) познакомившего русское общество с основами материалистической философии: «Уверяю вас, — обращается Достоевский к редактору «Русского вестника», — что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел из реторты. Я не могу этому верить» (см. его статью «Ответ «Русскому вестнику» в журнале «Время», 1861 г., № 5; Собр. соч., изд. «Просвещение», т. XXIII, стр. 60). В этих словах прямой выпад против материалистического монизма, провозглашенного Чернышевским. Продолжая полемику с «Русским вестником», Достоевский в статье «По поводу эстетической заметки «Русского времени», напечатанной в журнале «Время», 1861 г., № 10, еще более откровенно говорит о размежевании с Чернышевским: «А знаете, — обращается Достоевский к Каткову, — что мы скажем в заключение? Ведь это вас г. Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотою» (статьи Чернышевского под таким названием появились в «Современнике», 1861 г., № 6. «Коллекция первая. Красоты, собранные из «Русского вестника», № 7. «Коллекция вторая. Красоты, собранные из «Отечественных записок». — *Ред.*), вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г. Чернышевском, не боясь, что нас примут за

его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто уже задевали нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним» (Соч., т. XXIII, стр. 120). Достоевский, насколько нам известно, кроме указанного случая, ранее не полемизировал лично с Чернышевским, но он к этому времени провел большую дискуссию с Добролюбовым по вопросам искусства («Введение», «Г — бов и вопрос об искусстве») и, выступая против утилитаристов и обличительной литературы, через голову Добролюбова «задевал» Чернышевского. Таким образом, еще в 1861 г. Достоевский вполне ясно отмежеввался от Чернышевского. Несмотря на все расхождения между воспоминаниями Чернышевского и Достоевского, есть все основания верить тому, как Чернышевский освещает эпизод посещения его Достоевским. Воспоминания Чернышевского ценны и тем, что раскрывают неточность показаний Достоевского и позволяют пересмотреть вопрос о «дружеском расположении» автора «Бесов» к революционному демократу. Подтверждая факт встреч с Достоевским, Чернышевский дает клиническую картину состояния Достоевского. Этот диагноз, оказывается, определил и характер отношения Чернышевского к взволнованному событиями автору «Записок из подполья». Чернышевский отнесся к нему бережно и внимательно, как подобает здоровому человеку, вернее — психиатру, невропатологу, вообще врачу к пациенту. Достоевский же, не зная подлинной причины внимательного отношения Чернышевского к нему, приписал все это дружескому расположению, на которое-де и он отвечал тем же.

•

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Настоящий именной указатель преследует две цели: во-первых, дать краткие биографические сведения о лицах, упомянутых Чернышевским, в целях облегчения понимания читателями публикуемых текстов, и, во-вторых, помочь читателям находить относительно лиц, интересующих их, упоминания, встречающиеся в сочинениях Чернышевского.

Исходя из этих задач, поставленных при составлении указателя, в него не включены многочисленные упоминания о случайных лицах, встретившихся почему-либо Чернышевскому на его жизненном пути, например, о владельцах магазинов, домовладельцах, случайных дорожных спутниках и т. д., если только из самого текста Чернышевского ясно, кем были эти лица, и если составители указателя не имели возможности сообщить относительно этих лиц никаких дополнительных сведений по сравнению с имеющимися в тексте.

К сожалению, далеко не все фамилии, упоминаемые Чернышевским, составителям удалось расшифровать. Некоторых лиц Чернышевский называет только по имени и отчеству; если установить их фамилии не удалось, то эти лица включались в указатель под теми буквами, с которых начинаются их имена.

**Абаза** — кто-то из семейства Аггея Васильевича Абазы (1782—1852) — члена комитета по постройке Николаевской железной дороги. — 95.

**Абутькова** — из семьи саратовских дворян. — 427.

**Авдотья Яковлевна Богданова**, вдова офицера, богаделка. — 640, 641.

**Агезилай** — спартанский царь IV в. до н. э. — 688.

**Агис (Агиз)** — имя нескольких царей древней Спарты. — 669.

**Адам Бременский** — каноник и миссионер XI в. (умер в 1076 г.). Его сочинения содержат ценные сведения по истории северных и севе́рно-славянских народов и по географии скандинавских и балканских стран. — 165.

**Адамович** — знакомый В. П. Лободовского. — 84.

**Адлер** — знакомый В. П. Лободовского. — 102—104.

**Адлерберг Александр Владимирович** (1819—1888) — генерал-адъютант; с 1870 г. министр двора. — 753.

**Акимов Василий Акимович** — дальний родственник Чернышевских, саратовский брендмейстер. — 448—451, 455, 456, 459—474, 505, 515, 529, 539, 554, 558.

**Акимов Павел Васильевич** — сын В. А. Акимова. — 450, 451, 469, 515, 516, 554.

**Акимова Елена Васильевна** — дочь В. А. Акимова — 470, 515—518, 557.

**Акимова Елизавета Васильевна** — см. Бусловская Е. В.

**Акимова Мария Евдокимовна** — жена В. А. Акимова, двоюродная сестра матери Н. Г. Чернышевского. — 410, 411, 424.

**Аксаков Константин Сергеевич** (1817—1860) — писатель-славянофил. — 758.

- Александр I (1777—1825). — 571.
- Александр Федорович — см. Раев А. Ф.
- Александра Григорьевна — см. Клиентова А. Г.
- Александр Македонский (356—323 до н. э.). — 688.
- Александра Егоровна — сестра Лободовской Н. Е. — 54, 118, 120, 257, 321, 322.
- Александра Ивановна — см. Введенская А. И.
- Алексей Давыдович — см. Панчулидзе А. Д.
- Алексей Иванович — инспектор студентов Петербургского университета. — 159, 238, 351—355, 363.
- Аллеэ — учитель французского языка, на квартире которого в 1846 г. жил Чернышевский. — 311.
- Алексей Тимофеевич — см. Петровский А. Т.
- Алпатова — знакомая Чернышевского по Саратову. — 546.
- Альбер (Александр Мартен) (1815—1895) — рабочий, участник революции 1830 г., лионского восстания 1834 г., один из вождей тайных революционных обществ, в 1848 г. член временного правительства и вице-президент Люксембургской комиссии. По обвинению в соучастии в демонстрации 15 мая 1848 г. приговорен к 20 годам тюрьмы. В 1859 г. был освобожден по амнистии. — 241.
- Альбинская — из семьи саратовского полицмейстера Альбинского. — 31.
- Альбокринский Михаил Васильевич — знакомый Чернышевского по Саратову. — 384.
- Амвросий (340—397) — епископ Миланский. — 272.
- Андреев — саратовец, умерший в 1846 г., знакомый Чернышевского. — 53.
- Андреевский — священник. — 264.
- Анжелика Алексеевна — см. Кобылина А. А.
- Анна — прислуга у Терсинских. — 83, 91, 152, 293.
- Андреев Николай Ефимович — знакомый Чернышевского в Симбирске. — 402—404.
- Андрей Иванович — см. Райковский А. И.
- Анна Дмитриевна — см. Колумбова А. Д. (На стр. 298—299 имеется в виду Ступина А. Д.)
- Анна Ивановна — см. Цибулевская А. И.
- Анна Кирилловна — см. Васильева А. К.
- Анна Никаноровна — см. Пасхалова А. Н.
- Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — западник 40-х годов, литературный критик и мемуарист. — 734.
- Антон — лакей у Терсинских. — 159, 160.
- Антон Григорьевич (Антонushка) — см. Пустовойтов А. Г.
- Антоний (1816—1879) — ректор киевской духовной семинарии в 1845—1848 гг. — 89.
- Антонович — знакомый М. С. Куторги. — 174.
- Антоновский — знакомый В. П. Лободовского. — 44, 84, 240, 262—264.
- Анфантен Бартеlemi Проспер (1796—1864) — французский социалист-утопист, ученик и последователь Сен-Симона; один из виднейших теоретиков сен-симонизма. — 375.
- Анюта — см. Васильева А. С.
- Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — чиновник министерства императорского двора, был близок к кружку литераторов, группировавшихся в 50-х гг. вокруг „Современника“. — 732.
- Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ. — 234, 394, 400.
- Аркадий — император византийский (377—408), сын Феодосия I. Царствовал с 395 по 408 г. Первый император восточной империи. — 272.
- Арну Плесси (родилась в 1819 г.) — известная французская артистка. С середины 40-х годов до 1855 г. жила в России, выступала на французской сцене Михайловского театра в Петербурге. — 404.

- Артаксеркс — имя трех царей Персии (V—IV вв. до н. э.). — 633.
- Архаров Матвей Иванович (ум. в 1851 г.) — чиновник, родственник Чернышевского по матери. — 405, 557, 613—634.
- Архарова Александра Павловна — жена М. И. Архарова. — 616—625, 629, 630, 632.
- Аскочянский Виктор Ипатьевич (1813—1879) — журналист и писатель реакционного направления; редактор обскурантского журнала „Домашняя беседа“. Автор „Краткого начертания истории русской литературы“ (1846). — 398.
- Ауэрбах Бертольд (1812—1882) — немецкий беллетрист, автор рассказов из жизни шварцвальдских крестьян и ряда романов. — 731, 732.
- Афанасия Яковлевна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 427, 439, 466, 505, 515, 528, 533.
- Бабенька — см. Голубева П. И.
- Базунов Александр Федорович (ум. в 1876 г.) — издатель и книгопродавец. — 717, 719.
- Байрон Джордж Гордон (1788—1824). — 54, 57, 178, 358, 638.
- Бакуни Михаил Александрович (1814—1876). — 390, 738—741.
- Балбенков — знакомые Чернышевского. — 196, 234.
- Балинский — саратовский врач. — 677.
- Баласный — помещик Екатеринославской губернии, поляк, в семье которого В. П. Лободовский давал уроки. — 262, 263.
- Барант (Barante) Гильом Проспер (1782—1866) — французский историк и политический деятель. Автор „Истории бургундских герцогов“, в 13 томах, изд. 1824—1826 гг. — 85, 87, 88, 144.
- Барбес Арман (1809—1870) — французский революционер, участник и организатор ряда тайных революционных обществ. В 1839 г. вместе с Бланки руководил восстанием в Париже, за что приговорен был к пожизненному заключению. В 1848 г. избран в законодательное собрание. За участие в демонстрации 15/V 1848 г. вновь присужден к пожизненному заключению. В 1854 г. отказался от амнистии Наполеона III и был изгнан из Франции. — 233, 241.
- Барро Одион (1791—1873) — лидер либерально-буржуазной оппозиции накануне революции 1848 г., организатор „банкетной компании“ в 1847—1848 гг. Член национального собрания в 1848—1849 гг.; после избрания президентом Луи-Наполеона был назначен председателем совета министров и провел ряд реакционных законов. — 110, 224, 225.
- Бассерман (Basserman) Фридрих-Даниель (1811—1855) — баденский политический деятель, умеренный либерал. В 1848 г. представитель баденского правительства при франкфуртском национальном собрании и поверенный имперского правительства при прусском правительстве. Сторонник объединения Германии под главенством прусского короля. — 237.
- Батё (Баттё — Batteux) Шарль (1713—1780) — аббат, французский философ и педагог, автор „*Les beaux arts, réduits q'un même principe*“ (1746). Главное положение теории Баттё: задачей искусства является подражание природе, но лишь прекрасной природе. — 186.
- Баус — пристав в Саратове в 40-х гг. XIX в. — 659, 660.
- Бауэр Карл Карлович — учитель латинского языка в саратовской гимназии. — 424, 426.
- Бахметьев — или Павел Александрович, саратовский помещик, выведенный Н. Г. Чернышевским в романе „Что делать?“ под фамилией Рахметова, или Николай Иванович (1807—1891) — саратовский губернский предводитель дворянства, композитор и музыкальный деятель. — 401.
- Беккер Карл-Фридрих (1777—1806) — немецкий историк, автор „Всеобщей истории“ (7 томов, изд. 1801—1805 гг.), выдержавшей несколько изданий. На русском языке этот труд издан Гречем в 1843—1849 гг. — 109, 119, 139, 155, 159, 160, 177, 178, 251, 280, 284, 292—294, 390, 393.
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848). — 106, 161, 242, 390, 597, 647, 732, 746 — 749.
- Белов Евгений Александрович (1826—1895) — историк. В 1852—1859 гг. был преподавателем саратовской гимназии. С 1864 г. являлся преподава-

телем Александровского лицея в Петербурге. Автор учебника по русской истории и ряда исследований по истории России XVI—XVII вв. — 476, 479, 548, 550, 553—555, 557—559.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач и публицист; в 70-х годах был близок к редакции „Отечественных записок“; с 1881 г. жил за границей и редактировал эмигрантский журнал „Общее дело“. Лечил Н. А. Некрасова и оставил воспоминания о его болезни. — 750.

Белосельская — Белозерская Елена Павловна — кн. (1812—1888), по второму браку жена помощника попечителя Петербургского учебного округа кн. В. В. Кочубея. — 323.

Бельцовы — знакомые В. П. Лободовского. — 249, 250, 333, 344, 359, 365.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, пользовавшийся большой популярностью в 30-х годах и развенчанный Белинским, отметившим, что под внешним блеском поэзии Бенедиктова скрываются внутренняя пустота и неестественность. — 745.

Беранже Пьер (1780—1857) — французский поэт, выразитель интересов радикальной мелкой буржуазии. Расцвет творчества Беранже падает на эпоху Реставрации и июльской монархии. Песни-памфлеты его пользовались огромной популярностью в широких кругах населения. Непосредственного участия в политической деятельности Беранже не принимал, хотя и был в 1848 г. избран в национальное собрание. — 342, 344.

Бернгарди Готфрид (1800—1875) — немецкий филолог, профессор университета в Берлине, а затем в Галле. Автор ряда трудов по истории греческой и римской литературы, наиболее известен „Wissenschaftliche Syntax der griechischen Sprache“ (Берлин. 1829 г.). — 390.

Бибул Люций Кальпурий — римский историк эпохи Августа. — 130.

Бизе — немецкий филолог, автор книги „Философия Аристотеля“ (1835). — 390, 396, 401.

Биларский Петр Спиридонович (1819—1867) — чиновник Академии наук и сената, сотрудник „Журнала министерства народного просвещения“. Впоследствии профессор славянской филологии в Одессе. В 40-х годах был членом кружка И. И. Введенского. — 346, 371, 374.

Благовещенский Николай Михайлович (1821—1892) — профессор римской литературы Петербургского университета с 1852 г. — 240.

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — товарищ Чернышевского по саратовской семинарии, студент Петербургской медико-хирургической академии, а затем юридического факультета Петербургского университета. Впоследствии известный журналист, редактор-издатель журналов „Русское слово“ и „Дело“. — 89, 90, 104, 213, 304, 332, 378, 390, 391, 401.

Благосветлов Серапион Евлампиевич — брат Благосветлова Г. Е. — 104, 215, 228.

Блан Луи (1811—1882) — французский политический деятель и историк. По определению Маркса, это был „буржуазный демократ с некоторой социалистической примесью и со смутным религиозным и националистическим образом мыслей“. Брошюра Л. Блана „Организация труда“ (изд. 1840 г.) создала ему громадную популярность в рабочих массах, чем определилось избрание его в 1848 г. в члены временного правительства и ожесточенные нападки на него и на возглавляемую им Люксембургскую комиссию со стороны вскоре окрепших реакционеров. После „июньских дней“ Л. Блан эмигрировал в Англию. В 1870-г. он возвращается во Францию и в дни Парижской коммуны является членом национального собрания, чинившего расправу над коммунарами. В 1876 г. избран в палату депутатов и вступил в радикальную партию. Из исторических работ его наиболее известны: „История французской революции“, „История десяти лет, 1830—1840“, „История революции 1848 г.“ — 51, 61, 66, 68, 77, 96, 101, 103, 104, 105, 107, 109—111, 115, 121, 132, 139, 143, 146, 174, 186, 214, 224, 241, 287, 298, 358, 375, 379, 491.

Бланки (Blanqui) Адольф-Жером (1798—1854) — французский экономист, старший брат Огюста Бланки. Автор ряда трудов: „Pré-iz élémentaire d'économie politique“ 1826 г. (русск. перевод Порошина — „Руководство к полити-

ческой экономии", СПб. 1838 г.), „Histoire de l'économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'à nos jours" Р. 1838 г. (русск. перевод в 1869 г.) — 251—253, 261

Б л а н к и Луи-Огюст (1805—1881) — французский революционер, участник всех парижских восстаний и революций на протяжении 1830—1871 гг. Организатор ряда политических тайных обществ. 37 лет своей жизни провел в тюрьмах. Активный участник революции 1848 г., защищавший интересы рабочего класса (по словам Маркса, „единственный истинный вождь партии пролетариата"). Как участник и организатор демонстрации 15 мая 1848 г. приговорен был к 10-летнему тюремному заключению. — 254.

Б л ю м Роберт (1807—1848) — член франкфуртского национального собрания, демократ. Входил в состав делегации, отправленной левым крылом франкфуртского парламента в революционную Вену, где принял участие в баррикадной борьбе. После взятия Вены войсками Виндштресса был 9 ноября 1848 г. расстрелян по приговору военного суда, несмотря на свою депутатскую неприкосновенность. — 171, 172, 182, 193, 221, 237.

Б о г д а н Х р и с т о ф о р о в и ч — саратовец, знакомый Чернышевских. — 40.

Б о г д а н о в а Надежда Константиновна (1836—1897) — балерина, с большим успехом гастролировавшая за границей в 1850-х годах. — 639, 640.

Б о р д (de la Bordes) Александр-Луи-Жозеф (1774—1842) — член палаты депутатов во Франции 1830—1841 гг., примыкавший к либеральной оппозиции. — 145.

Б о р д ж и а Лукреция (1480—1520) — дочь римского папы Александра VI, прославившаяся красотой и развратной жизнью. — 257, 258.

Б о с т р с м — помощник инспектора Петербургского университета. — 355.

Б о т к и н Василий Петрович (1811—1869) — западник 40-х годов, литературный критик, автор „Писем об Испании"; в 60-х годах реакционер. — 738, 739.

Б р а н д е н б у р г Фридрих-Вильгельм (1772—1850) — прусский генерал; с конца 1848 г. глава прусского реакционного правительства, распустившего прусское национальное собрание. — 237.

Б р е г е Луи-Абраам (1747—1823) — механик и часовщик. — 175.

Б р о к г а у з Фридрих-Арнольд (1772—1823) — создатель известной издательской фирмы в Лейпциге, выпустившей ряд энциклопедических изданий (основное из них „Conversations — Lexikon", до 1848 г. выдержавшее 7 переизданий). С 1823 года преемником основателя издательства явился сын его Генрих (1804—1874). — 170.

Б р у т Люций Юний — глава заговора в древнем Риме, низвергнувшего царя Тарквиния. По основании в 509 г. до н. э. республики был избран консулом. — 657, 658.

Б р у т Марк Юний (85—42 до н. э.) — глава заговора против римского диктатора Цезаря. Продолжал борьбу с Антонием и Октавианом. Когда его отряды были разбиты в Македонии, лишил себя жизни. — 539.

Б у а л о — чиновник французского посольства в Петербурге. — 320.

Б у а л о Николай (1636—1711) — французский поэт и сатирик, известен главным образом как автор трактата „О поэтическом искусстве" (изд. 1674 г.), в котором устанавливались единые нормы (каноны) для разных поэтических жанров. Поэтика Буало имела сильное влияние на последующую историю науки о литературе. — 390, 391.

Б у а ш о (Boichot) Жан-Батист — член французского законодательного собрания (1848 г.); вместе с Ледрю-Ролленом руководил выступлением 13 июня 1849 г. и после его неудачи эмигрировал; в 1854 г. арестован при попытке нелегально вернуться во Францию; освобожден в 1859 г., после чего жил в Бельгии. — 287.

Б у д д е й (Буддеус) Иоган-Франц (1667—1729) — немецкий богослов. — 632,

Б у л б е н к о в ы — см. Балбенковы.

Б у л г а р и н Фадей Венедиктович (1789—1859) — реакционный журналист, издатель газеты „Северная пчела" и журналов „Северный архив" и „Сын отечества" (совместно с Н. И. Гречем). Сторонник и защитник официальной



правительственной идеологии, поддерживал непрерывную связь с III Отделением (известны многочисленные доносы его на литераторов-современников). Широко использовал свое положение журналиста и связи с III Отделением в личных интересах. — 94, 185, 491.

Будычев Иван Демьянович (1813—1877) — чиновник, автор „Путешествия по Восточной Сибири“ и ряда работ по геральдике. — 265 — 269, 273, 275—279, 281—283, 289—291.

Бурачек Степан Анисимович (1800—1876) — корабельный инженер и реакционный журналист, редактор журнала „Маяк“. — 149, 373, 384.

Бурбоны — французская королевская династия. — 149, 224, 668.

Бусловская Елизавета Васильевна, урожденная Акимова — дочь Акимова В. А. — 452 — 455, 464, 465, 490, 492, 505, 512, 526, 549.

Бусловский Григорий Николаевич, муж Е. В. Бусловской — саратовский губернский контролер. — 526.

Буткевич Анна Алексеевна, урожденная Некрасова (1827 — 1882) — сестра Н. А. Некрасова. — 754.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849) — сенатор и военный писатель; первый председатель негласного чрезвычайного „Комитета 2 апреля 1848 г.“ (так называемый „Бутурлинский комитет“). Представитель крайней реакции, один из главных вдохновителей жестокого цензурного гнета на русскую печать в годы „цензурного террора“ (1848—1855 гг.). — 274.

Бюжо Тома-Робер (1784—1849) — маршал Франции. В 1848 г. депутат законодательного собрания, командовал альпийской армией. — 247.

Бюше (Buchet) Филипп-Жозеф (1796—1865) — историк, журналист и редактор ряда журналов. Его тезис об усовершенствовании общества и нации на основании католического вероучения привел к разрыву с журналом сен-симонистов „Le Producteur“. Основанный им „L'Europeene“ превратился в орган новокатолической группы. В 1848 г., благодаря поддержке партии „National“, был избран первым председателем учредительного собрания. Автор ряда исторических работ, в частности в 1833—1838 гг. совместно с Ру-Лавернь издал многотомную „Парламентскую историю Французской революции“, ценные материалы за период 1789—1815 гг. (40 томов, Paris) — 141, 193, 254.

Вагнер Рудольф (1805 — 1864) — немецкий физиолог и анатом; автор многочисленных научных трудов. — 342.

Вадим Ник. — знакомый И. И. Введенского. — 362.

Вальдек Бенедикт (1802—1870) — член и товарищ председателя прусского национального собрания, демократ, один из вождей крайней левой. 16 мая 1849 г. после роспуска прусского сейма был арестован по обвинению в заговоре, но оправдан судом. Позднее один из вождей партии прогрессистов. — 340.

Варенька — см. Пыпина.

Василий Акимович — см. Акимов В. А.

Василий Дмитриевич — см. Чесноков В. Д.

Василий Петрович — см. Лободовский В. П.

Васильев Ростислав Сократович — брат Чернышевской О. С. — 410, 413, 415, 416, 421, 426, 429, 446, 459—461, 463, 469, 506, 507, 516, 522, 527.

Васильев Сократ Евгеньевич — отец Чернышевской О. С., врач. — 413, 430, 435, 437, 445, 446, 457, 463, 506, 516, 518—521, 523—525, 529, 531, 532, 536, 538, 542, 546, 555—560, 601, 770.

Васильева Анна Кирилловна — урожденная Казачковская, дочь генерал-лейтенанта, мать Чернышевской О. С. — 428, 430, 446, 506, 507, 511, 516—519, 526, 529, 530, 532, 535, 538—542, 544, 546, 553, 557, 560, 563—565.

Васильева Анна Сократовна — сестра Чернышевской О. С. — 446.

Васильева Ольга Сократовна — см. Чернышевская О. С.

Вася — брат Лободовской Н. Е. — 51.

Введенская Александра Ивановна — жена Введенского И. И. — 403, 536.

Введенский Иринарх Иванович (1813—1855) — саратовец, окончил саратовскую семинарию в 1834 г., а в 1842 г. философский факультет

Петербургского университета. Педагог, журналист и переводчик произведений Диккенса, Теккерея и др. — 49, 139, 181, 228, 271, 339—343, 346—348, 361—365, 371, 373, 378, 384, 390, 391, 394—399, 401, 440, 444, 499, 504, 509, 514, 515, 532, 536, 555.

Веденяпин — офицер в Саратове. — 427, 475.

Ведров Владимир Максимович (1824—1892) — студент Петербургского университета, позднее профессор истории Казанского университета, цензор. — 130.

Венедикт — брат О. С. Чернышевской. — 411, 421, 430, 440, 444, 446, 461, 462, 507, 509—511, 523, 524, 535, 543, 545, 549, 557, 558, 560.

Венедиктов — знакомый А. Ф. Раева.

Вентворт Томас — см. Страфорд.

Вентурини — редактор немецкого издания „Хроника XIX столетия“. — 191.

Верньо Пьер (1753—1793) — один из лидеров партии жирондистов, блестящий оратор. Противился уничтожению королевской власти во Франции и пытался предотвратить казнь Людовика XVI. Во время террора был казнен. — 109.

Верочка — дочь Терсинских, умершая в 1848 г., вскоре после рождения. — 55, 57, 59.

Веселовский Константин Степанович (1819—1901) — статистик и экономист, академик. — 73.

Виктор — см. Рычков В. И.

Виндигрец Альфред (1787—1862) — австрийский генерал, известный жестоким подавлением восстания в 1848 г. в Вене. В 1849 г. командовал австрийскими войсками во время войны с Венгрией. — 171, 172, 191, 237.

Винкельман Иоганн (1717—1768) — немецкий ученый, автор „Истории античного искусства“ (изд. 1764 г.). Полное собрание сочинений Винкельмана неоднократно издавалось на немецком языке, начиная с 1803 г. — 371.

Виноградов Иван Григорьевич — петербургский чиновник. — 164, 318.

Владимир Мономах (1053—1125) — киевский великий князь. — 38, 398.

Владимир Николаевич — см. Рюмин В. Н.

Владимир Святославич — киевский князь (X—XI вв.). — 691.

Воейковы — симбирские помещики. — 404.

Волков Федор Павлович (ум. в 1850 г.) — преподаватель русской словесности в саратовской гимназии. — 370.

Вологодские — студенты Петербургского университета. — 144.

Вольтер (1694—1778). — 491.

Вольф — владелец кондитерской в Петербурге. — 102, 103, 124—126, 131, 137, 139, 140, 156, 157, 162, 163, 165, 167, 171—173, 176, 177, 179, 180, 182, 185, 187, 188, 191, 192, 197, 202, 203, 208, 209, 230, 232, 234, 236—238, 240, 241, 243—247, 249, 251—255, 261, 265—269, 274, 276—279, 284—292, 301, 304, 306, 310, 311, 314, 328, 329, 331—336, 338, 340, 343, 345, 348—350, 352, 359, 362—366.

Вольф Оскар (род. в 1799 г.) — немецкий романист и историк литературы, составитель ряда историко-литературных сборников. — 371.

Волянский Тадеуш — польский археолог и филолог. — 269.

Вороин — петербургский чиновник. — 206.

Воропин Александр Семенович — студент, однокурсник Чернышевского. — 87, 112, 116—120, 123, 124, 126, 130, 137, 255, 316, 317, 319, 323, 328, 332, 337.

Воропины — семья в Петербурге, в которой Чернышевский был преподавателем. — 33, 49, 66, 134, 140, 143, 146, 149, 150, 159, 162, 163, 167, 168, 171, 173, 176, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 198—203, 217, 219, 220, 225—229, 231—236, 239, 243—247, 250—256, 261, 266, 316—319, 322—324, 327—331, 333—337, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 361—369, 373, 374, 377—379, 390, 391.

Воронов — студент Петербургского университета. — 83.

Воронов Иван Алексеевич — сын саратовского брендмейстера — 451, 454, 455, 505, 508, 516.

Воронова Наталья Алексеевна — сестра И. А. Воронова. — 454—456, 505.  
Воскресенский Александр Абрамович (1809—1880) — профессор химии Петербургского университета. В 1863—1866 гг. его ректор. Известен преимущественно как педагог, давший ряд выдающихся учеников — русских химиков. — 73.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — известный филолог. В 1831 г. им изданы: „Сокращенная русская грамматика“ и „Русская грамматика по начертанию сокращенной грамматики, полнее изложенная“. Востоков являлся автором ряда других исследовательских работ и редактировал ряд публикаций. — 269.

Врангель Егор Егорович, барон (1827—1875) — сослуживец И. Г. Терсинского по сенату, с 1867 г. сенатор. — 286.

Вронченко Михаил Павлович (1801—1855) — военный топограф. Известен как переводчик произведений классиков („Гамлет“ — изд. 1828 г., „Манфред“ — изд. 1828 г., „Макбет“ — изд. 1837 г., „Фауст“ — перевод первой части и изложение второй части, изд. 1844 г.). — 227, 228.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — критик и поэт „пушкинской плеяды“; в молодости был близок к декабристам; позднее реакционер. Его монография о Фонвизине вышла в 1848 г. — 366, 367.

Вязовская Лариса Федоровна, по мужу Розанова, — дочь Ф. С. Вязовского. — 404.

Вязовский Федор Степанович (родился около 1793 г.) — саратовский священник, крестный отец Чернышевского. — 260, 628, 629.

Гавриленко — студент. — 403.

Гагерн Генрих-Вильгельм (1799—1880) — немецкий политический деятель, представитель либеральной южногерманской крупной буржуазии. В 1848 г. председатель Франкфуртского национального собрания и имперский министр-президент. — 221.

Галахов Алексей Дмитриевич (1837—1892) — педагог, историк русской литературы, составитель ряда учебников и учебных пособий. — 363, 757.

Галлер — студент; однокурсник Чернышевского. — 88, 145, 269.

Гарнье-Пажес Луи-Антуан (1803—1878) — при июльской монархии член палаты депутатов. После февральской революции 1848 г. мэр г. Парижа, а затем министр финансов временного правительства. Сторонник буржуазной республики. В 1870 г. — член правительства национальной обороны. Автор трестомной „Истории революции 1848 г.“ (изд. в 1861—1862 гг., русский перевод вышел в 1862—1864 гг.). — 226, 227.

Гасфельд — лектор-датчанин, читавший в 1849 г. в Петербурге публичные лекции. — 277.

Гебер (Hebert) Жак-Рене (1757—1794) — деятель французской революции, один из вождей левого крыла Парижской коммуны. — 105.

Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831). — 127, 128, 147, 148, 171, 177, 178, 193, 194, 229—235, 237, 239, 247, 297, 343, 393.

Гедда Михаил Федорович (1818—1883) — сослуживец И. Г. Терсинского по сенату, позднее сенатор, автор ряда юридических работ. — 286.

Гейне Генрих (1797—1856). — 358, 388.

Гельмольд — историк XII столетия, написавший „Chronicon slavorum“ (см. том 21 „Monumenta Germaniae“). — 165, 175.

Генрихсон — знакомый Раева А. Ф. — 251.

Герасимов — знакомый Писарева И. В. — 89, 91.

Гергей Артур (1818—1916) — венгерский революционер, полководец венгерской революционной армии в 1848—1849 гг. 13 августа 1849 г. был вынужден капитулировать перед подавляющим превосходством русских войск, посланных Николаем I для подавления революции в Венгрии. — 307.

Геро де Сешель (Herauld de Sechelles) Жан-Мари (1760—1794) — деятель французской революции, член Конвента, сторонник Дантона, казненный вместе с ним. — 105.

Геродот — греческий историк V в. до н. э. — 670.

Герцен Александр Иванович (1812—1870). — 331, 382, 395, 419, 491, 734, 746, 747, 755, 756.

Гесслер — преподаватель в военно-учебных заведениях в Петербурге. — 398.

Гесс Герман (1806—1850) — химик, работал в области термодинамики. — 360.

Гете Вольфганг (1749—1832). — 43, 54, 106, 124, 133—135, 138, 139, 150, 151, 153, 164—167, 170, 177, 178, 182, 184, 207, 221, 227, 228, 233, 235, 241, 244, 248, 285, 289, 292, 295, 333, 344—346, 358, 458.

Гизо Франсуа-Пьер-Гильом (1787—1874) — французский государственный деятель и историк. При июльской монархии неоднократно был министром, а с 1840 по 1848 г. главой кабинета. Проводил политику реакции, представляя интересы финансово-промышленной олигархии. Совершеннейшей формой государственного строя считал английскую конституционную монархию. В 1848 г., после переворота, бежал в Англию; возвратившись оттуда, активного участия в политической жизни больше не принимал. Основными его историческими трудами являются: „История английской революции“ (изд. 1828 г., русский перевод — 3 тома, Спб. 1860 г.) и „История цивилизации во Франции“ (изд. 1829—1832 гг., русский перевод 4 тома, Москва 1877—1881 гг.). — 84, 85, 88, 90, 91, 104—107, 118, 124—130, 134, 136—148, 150, 152, 155, 156, 159—163, 168, 170—175, 177, 179, 197, 198, 201, 203, 204, 206—208, 213—216, 221, 223—225, 227, 251, 252, 258, 285, 310, 311, 314, 358, 359.

Главинский Иван — студент, однокурсник Чернышевского. — 108, 136, 140, 146, 156, 229, 245, 265, 276, 317.

Глушицкий Андрей Иванович — друг юности Н. А. Некрасова. — 743.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852). — 50, 54, 58, 60, 66, 68—70, 73, 75, 88, 94, 97, 112, 127, 135, 138, 140, 143, 150, 160, 189, 195, 206, 219, 248, 297, 353, 358, 361, 491.

Головин Александр Васильевич (1821—1886) — видный представитель либеральной бюрократии, группировавшейся в эпоху отмены крепостного права вокруг великого князя Константина Николаевича; в 1861—1866 гг. министр народного просвещения. — 759, 761—763.

Голубев Егор Иванович (1781—1818) — саратовский священник, отец матери Чернышевского. — 578, 585.

Голубев Николай — студент, однокурсник Чернышевского. — 265, 327, 401.

Голубева Пелагея Ивановна (1780—1847) — мать Е. Е. Чернышевской, бабка Чернышевского. — 53, 566—578, 583—586, 591—595, 619, 621, 635, 640, 658, 690, 692, 693, 705, 706, 708, 709, 712, 713.

Голубинский Федор Александрович (1797—1864) — профессор философии Московской духовной академии. — 386, 597.

Голубков Платон Васильевич (ум. в 1855 г.) — московский купец, едавший значительные пожертвования Географическому обществу для обеспечения изучения условий торговли с Индией. Издал ряд переводных работ об Индии и об английской колониальной политике. — 286.

Гончаров Николай Александрович — брат писателя И. А. Гончарова. — 402—404, 614.

Гончарова Елизавета Карловна — жена Н. А. Гончарова. — 403, 404.

Гораций (65—8 до н. э.) — римский поэт. — 279, 390.

Горбунов Александр Дмитриевич — саратовский чиновник, сотрудник „Саратовских губернских ведомостей“, переводчик „Коирада Валепрода“ Мицкевича. — 770.

Горбунов Павел Дмитриевич — брат А. Д. Горбунова. — 770.

Горбунова Анна Эльпидифоровна — жена А. Д. Горбунова. — 770.

Горбуновы — Николай Максимович, тов. председателя саратовской палаты гражданского суда, и Евлампия Никифоровна — его жена. — 462, 463, 686, 687.

Гордей Семенович — см. Саблуков Г. С.

Горизонтов Никита Алексеевич (1825—1893) — студент петербургской духовной семинарии, затем — священник. — 48, 152, 155, 217, 306, 313.

Горизонтов Петр Алексеевич (ум. в 1884 г.) — священник. — 48, 183, 207, 228, 313, 396.

Горлов Иван Яковлевич (1814—1890) — профессор политической экономики и статистики Петербургского университета. Автор „Теории финансов“ (изд. 1841 и 1845 гг.), „Экономической статистики России“ (изд. Спб. 1849 г.) и др. Последователь Сэ и его школы. — 39, 45, 48, 136, 252.

Городецкий — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427, 554.

Городков Гаврил Родионович (ум. 1887 г.) — врач 2-го кадетского корпуса в Петербурге, участник кружка И. И. Введенского в 40-х годах. С 1884 г. был фабричным инспектором Виленского округа. На сестре его жены был женат А. Н. Пыпин. — 400, 401, 455, 499, 536.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — дипломат, с 1841 по 1853 посол в Штутгарте; впоследствии министр иностранных дел, канцлер. — 222.

Готье Теофиль (1811—1872) — французский поэт, романист и критик. Лучшие его романы: „Мадемуазель Мопэн“, изд. 1831 г., и „Капитан Фрзкас“, изд. 1863 г. Много путешествовал по Европе и Азии. Был и в России (его путевые впечатления опубликованы в 60-х годах). — 341.

Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, романтик. Автор фантастических новелл. — 390.

Грацианский — саратовский врач. — 675, 676.

Гривиус (Грефе) Иоанн (1632—1703) — профессор филологии в Утрехте. — 632.

Грейсон Дмитрий Кириллович — с 1836 г. инспектор студентов Петербургского университета. — 141.

Грефе Федор Богданович (1780—1851) — профессор греческой словесности Петербургского университета. С 1820 г. академик. — 105, 106, 111—113, 116, 119, 125, 126, 131, 136, 137, 146, 148, 151, 152, 156, 157, 162, 185, 248, 282, 330, 370, 376, 377.

Грефе — студент Петербургского университета. — 104.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — реакционный журналист, соратник Булгарина по „Северной пчеле“ и „Сыну отечества“. Автор учебников по грамматике и литературе, ряда романов и повестей. 1835—1840 гг. редактировал отдел литературы в энциклопедии Плюшера. — 134, 138, 142, 398.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829). — 364.

Гримм, братья — Яков (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), — немецкие филологи-германисты, авторы капитальных трудов по истории и грамматике немецкого языка, собиратели народных немецких народных сказаний. — 128, 315 — 317, 319, 400.

Гринцович — родственник В. Заземана. — 199, 202.

Губер Эдуард Иванович (1814—1847) — сотрудник ряда журналов, главным образом „Библиотеки для чтения“. Известен как переводчик „Фауста“ Гете (этот перевод местами редактирован Пушкиным). — 217, 221, 232.

Гульельми — преподаватель словесности, окончивший Петербургский университет. — 318.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — путешественник и натуралист, положивший начало физической географии как научной дисциплине. Автор капитального труда „Космос, или физическое описание мира“, изд. 1847—1851 гг. — 128, 196.

Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — немецкий ученый и государственный деятель Пруссии. Работал в области языковедения, философии и эстетики. Один из основателей сравнительного языковедения. Итоги его исследования даны в основном труде: „О языке „кави“ на острове Ява, с введением о различии строения человеческих языков и о влиянии его на духовное развитие человеческого рода“, изд. 1836—1840 гг. — 128, 390, 552.

Гундулич Иван (1588—1638) — иллорийский поэт. Его героическая поэма „Осман“ издана была в 1826 г. — 377.

Гусев П. И. — знакомый Чернышевского по Саратову. — 384, 452.

Гуськов — знакомый Чернышевского по Саратову. — 447.

Гуськова — подруга О. С. Чернышевской в Саратове. — 447, 515, 516, 541, 544, 545.

Гюго Виктор (1802—1885) — французский писатель, глава французской романтической школы. С 1841 г. член французской академии. В 1848—1851 гг.

депутат учредительного и законодательного собраний, активный противник Луи-Наполеона, принужден был в 1851 г. эмигрировать. Во Францию вернулся в 1870 г. и был избран членом национального собрания. Его драма „Марион де Лорм“ издана в 1828 г., „Лукреция Борджиа“ — 1833 г. Произведения Гюго на русский язык начали переводиться с конца 20-х годов („Последние дни приговоренного к смерти“, СПб, 1829 г., „Гернани“, 1830 г., „Ганс-исландец“, „Анжело“ и „Лирические стихотворения“, СПб. 1833 г. и др.). — 257, 258.

Д а в ы д о в Иван Иванович (1794—1863) — профессор философии и словесности Московского университета, с 1847 г. директор Главного педагогического института. Типичный чиновник-карьерист. Для его работ характерна эклектичность и подражательность. Основной труд — „Чтения о словесности“ М. 1837—1838 гг., „Опыт общесравнительной грамматики русского языка“, вышел в 1852 г., СПб. — 186, 253, 254, 755, 756.

Д а л ь Владимир Иванович (1801—1872) — беллетрист, этнограф, составитель „Толкового словаря живого великорусского языка“. — 163.

Д а н и л е в с к и й Николай Яковлевич (1822—1885) — в 1849 г. привлекался по делу Петрашевского и после трех месяцев заключения в крепости выслан в провинцию; позднее писатель, близкий к славянофильству. — 222, 352, 353, 363, 365.

Д а р и й Гистасп (550—486 до н. э.) — персидский царь. — 688.

Д а р ь я Г а в р и л о в н а — бабушка Чеснокова В. Д. — 555.

Д а р ь я К и р и л л о в н а — см. Казачковская Д. К.

Д а с ь е Анна (1654—1720) — переводчица на французский язык „Илиады“ и „Одиссея“. — 632.

Д е б у Ипполит Матвеевич (1824—1890) — служил в министерстве иностранных дел. Участник кружка Кашкина. Приговорен в 1849 г. по делу Петрашевского к расстрелу, замененному по конфирмации двумя годами арстантских работ, с последующей сдачей в рядовые. — 184, 274.

Д е в и л ь — член французского учредительного собрания в 1848 г. — 143.

Д е л о р м Марион (1611—1650) — известная французская куртизанка. — 257, 258.

Д е м о с ф е н (383—322 до н. э.) — афинский оратор и политический деятель. Умеренный демократ, боролся с аристократами, поддерживавшими монархическую Македонию. Руководил борьбой греков против Филиппа II Македонского. — 376.

Д е п п Филипп (1824—1866) — юрист; в 1849 г. защищал в Петербургском университете диссертацию „Об уголовных наказаниях в России до царя Алексея Михайловича“. — 284.

Д е р ж а в и н Гавриил Романович (1743—1816) — поэт. — 127, 197, 221, 242, 257, 266, 363.

Д е р и к е р — знакомый И. И. Введенского, преподаватель в военно-учебных заведениях. — 343.

Д и в н о г о р с к и й — товарищ Чернышевского по семинарии. — 308.

Д и к к е н с Чарльз (1812—1870). — 358, 597, 633, 634, 745.

Д м и т р и е в — студент-болгарин. — 265, 290—292, 377.

Д м и т р и й И в а н о в и ч — см. Минаев Д. И.

Д м и т р и й Р о с т о в с к и й (1651—1709) — богослов, автор ряда сочинений на религиозные темы. — 597.

Д м и т р и й Я к о в л е в и ч — см. Чесноков Д. Я.

Д о б р о л ю б о в Николай Александрович (1836—1861). — 721—740, 745, 746, 754—756.

Д о з е Федор Иванович (1831—1873) — студент Петербургского университета; позднее педагог; в 1862 г. арестован в связи с распространением прокламаций и выслан в Кострому. — 102, 269, 369, 371.

Д о л и н с к и й — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427.

Д о м и н и к — владелец ресторана в Петербурге. — 314, 315, 324, 325, 350, 360, 378, 399, 401.

Д о с т о е в с к и й Михаил Михайлович (1820—1864) — писатель. Привлекался по делу Петрашевского (1849), причем вскоре после ареста был освобожден. Издатель журналов „Время“ (1861—1863) и „Эпоха“ (1864). — 274, 778, 779.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881).—208, 274, 742, 777—779.

Дройзен Иоганн-Густав (1808—1884)—немецкий историк и политический деятель; автор „Истории Александра Великого“, изд. 1833 г., „Истории эллинизма“, изд. 1836—1843 гг. и др. В 1848—1849 гг. был членом Франкфуртского национального собрания, примыкал к правому центру; являлся сторонником малогерманской ориентации. — 161.

Дружинин — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — критик и беллетрист, один из ближайших сотрудников „Современника“ после смерти Белинского; в 1856 г. порвал с этим журналом, сделавшись редактором „Библиотеки для чтения“. Придерживаясь теории „чистого искусства“, вел борьбу против Чернышевского и Добролюбова и отстаивал „пушкинское направление“ в литературе, противопоставляя его „гоголевскому“. — 721, 722, 738.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — управляющий „Третьим отделением“, а с 1839 г. начальник корпуса жандармов и член Главного управления цензуры. В истории русской литературы известен как представитель безудержного цензурного гонения на печать. — 274.

Дюма Александр — отец (1803—1870) — французский драматург и романист, автор многочисленных исторических авантюрных романов. Русские переводы его произведений в журналах печатались с конца 30-х годов, сначала в „Библиотеке для чтения“ (1838 г., т. 30 — „Капитан Поль“) и в „Отечественных записках“ (1843 г., т. 28 — „Полковник Санта-Кроче“, 1845 г., тт. 41—43 — „Королева Марго“, 1845 г., тт. 44—45 — „Графиня Монсоро“) и т. д. Не менее многочисленны отдельные издания переводов романов Дюма: „Генрих III и его двор“ (СПб. 1829 г.), „Похожение марсельского охотника“ (СПб. 1847 г.), „Две Дианы“ (СПб. 1847 г.) и т. д. — 82, 226, 227, 745.

Дюмон (Dumont) Пьер-Этьен-Луи (1759—1829) — философ и публицист; в 1782 г. приехал в Россию и был пастором и проповедником во французской церкви в Петербурге. С 1792 г. жил в Англии, занимаясь распространением философских взглядов Бентама. — 240.

Дюмон-Дювилль Жюль (1790—1842) — французский путешественник, натуралист. — 630.

Дюроше (1776—1847) — французский естествоиспытатель, известен многочисленными работами по физиологии животных и растений. — 88.

Дюфор Жюль-Арманд (1798—1881) — в 1848 г. член учредительного собрания; при диктатуре Кавеньяка и в президентство Луи-Наполеона был министром внутренних дел. Позднее, в 70-х годах, неоднократно занимал министерские посты и возглавлял кабинеты министров — 155.

Евгений Александрович — см. Белов Е. А.

Егор Гаврилович — тесть В. П. Лободовского. — 29.

Егорюшка — брат Л. Н. Терсинской. — 285.

Екатерина I (1684—1727) — жена Петра I; после его смерти — русская императрица. — 375.

Елена Васильевна — см. Акимова Е. В.

Елена Ефремовна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 448, 449.

Елизавета Васильевна — см. Бусловская Е. В.

Елисеев — владелец гастрономического магазина в Петербурге. — 321, 338.

Ершов — помощник контролера саратовской казенной палаты. — 452, 453.

Ефремов Петр Яковлевич — учитель математики саратовской гимназии. — 552.

Жакото Жан (1770—1840) — французский педагог, выступивший со своим методом преподавания. Основные его положения: 1) умственные способности у всех одинаковы, 2) кто сильно хочет, тот может, 3) человеческий разум способен сам образоваться себя, без указаний преподавателя. — 229.

Жанен Жюль (1804—1874) — французский критик, постоянный сотрудник „Journal des Débats“. Особенно известен своими театральными фельетонами. — 60.

**Жемчужников Алексей Михайлович** (1821—1908) — поэт-лирик и сатирик. Служил в сенате и был помощником стас-секретаря государственного совета. Вместе с гр. А. К. Толстым и братом Владимиром Жемчужниковым писал под псевдонимом Кузьмы Пругкова. — 350.

**Женуд** (Genoude) Антуан-Эжень (1792—1849) — французский публицист-клерикал, с 1827 г. редактор „Gazette de France“; во времена Луи-Филиппа подвергался преследованиям за пропаганду легитимизма. После революции 1848 г. отошел от политической деятельности. — 193.

**Жирарден Эмиль** (1806—1881) — французский журналист, основатель и редактор газеты „La Presse“ (см. примеч. 94). — 358.

**Жуковский Василий Андреевич** (1783—1852) — поэт. — 178, 221.

**Загоскин Михаил Николаевич** (1789—1852) — писатель, автор ряда исторических романов („Юрий Милославский“ — 1829 г., „Рославлев“ — 1830 г., „Аскольдова могила“ — 1838 г. и др.). — 119.

**Залеман** — возможно, Роберт Карлович (1813 — 1874) — скульптор. — 47.

**Залеман** студент, однокурсник Чернышевского. — 30, 35, 44, 59, 62, 68, 70, 76, 101, 107, 108, 114, 117, 118, 124, 128, 131, 132, 136, 144, 149.

**Залетаева** Прасковья Ивановна — знакомая Чернышевского по Саратову. — 424, 426.

**Занд Жорж** (1804—1876) — псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. Французская писательница, автор романов, проникнутых освободительными тенденциями (протест против мещанских устоев семьи). В 40-х годах в ее романах характерна тенденция к примирению противоречий общественных классов. — 77, 258, 276, 288, 297, 336, 358, 388, 529, 634.

**Зарубаева Анна Андреевна** — знакомая А. Н. Терсинской, жившая в Саратове. — 53, 55.

**Захаров Владимир Иванович** — студент Петербургского университета; в 1851 г. защищал диссертацию на звание магистра римской словесности. — 130, 255.

**Зерниклв Адам** (1652—1693) — немецкий богослов, переселившийся в Россию и принявший православие; автор богословских сочинений. — 632, 678.

**Златорунный** — товарищ Чернышевского по семинарии. — 189.

**Зубовы** семья, в которой Фурсов, товарищ Чернышевского, служил репетитором. — 84, 113.

**Зуров** — петербургский домовладелец, в семье которого И. Г. Терсинский должен был давать уроки. — 147, 162, 163, 184, 311.

**Иаков** (Вечерков, 1792—1850) — саратовский епископ в 1832—1847 гг. — 367, 628, 658, 686, 702, 703.

**Иван Васильевич** — см. Писарев И. В.

**Иван Гаврилович** — повидимому, сын Г. М. Шапошникова, см.

**Иван Григорьевич** — см. Терсинский И. Г.

**Иван Фотич** — см. Чернышевский И. Ф.

**Иван Яковлевич** — см. Горлов И. Я.

**Иванов** — владелец кондитерской в Петербурге. — 246—250, 255, 268, 271, 275, 277, 295, 299, 307, 308, 310—312, 320, 325, 328, 329, 337, 338, 363, 365—368, 372, 374, 376, 377, 379, 395.

**Иванов** — учитель в Петербурге. — 393.

**Иванов Ал. Порф.** — знакомый Чернышевского по Саратову. — 548.

**Излер** — владелец кофейной в Петербурге. — 179—183, 190—199, 202, 203, 218, 219, 225.

**Изяслав Ярославович** — великий князь киевский в 1050—1078 гг. — 293, 552.

**Илиодор** (Чистяков, ум. в 1861 г.) — архиепископ курский и белгородский. — 30.

**Ильин** — чиновник Сената. 268, 286, 287.

**Иннокентий** (Борисов, Иван Алексеевич. 1800—1857) — русский богослов и церковный оратор. В 1841 г. архиеп. в Харькове; в 1848 г. архиеп. херсонский и таврический. — 30, 73.



Иннокентий — папа римский. Повидимому, имеется в виду Иннокентий III (1198—1216), объявивший себя „наместником Христа“, организатор четвертого крестового похода. — 261.

Иоанн Экзарх — болгарский церковный писатель X в. — 206.

Иоанн III (1440—1505) — царь московский. — 375.

Иорнанд — хронист раннего средневековья (VI в.), благодаря произведениям которого до нас сохранились работы древних авторов, не уцелевшие в оригиналах. — 152.

Иринарх — см. Введенский И. И.

Искандер — см. Герцен А. И.

Исаков Яков Александрович (1811—1881) — петербургский книгопродавец и издатель. — 180, 205.

Ишимова Александра Иосифовна (1804—1881) — писательница для детей, издававшая ряд детских журналов. Написанная ею „История России в рассказах для детей“ (изд. 1841 г.) была награждена Демидовской премией. — 519.

Кабалеров — саратовский врач. — 600.

Кабе Этьенн (1788—1856) — французский коммунист-утопист. Изложение своей системы дал в „Путешествии в Икарию“ (изд. 1840 г.). — 125.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — публицист, историк и правовед, профессор Петербургского университета; представитель умеренного либерализма, приветствовавший арест Чернышевского. Выведен Чернышевским в романе „Пролог“ под именем Рязанцева. — 114, 390, 393—395, 758.

Кавеньяк Луи-Эжен (1802—1857) — генерал, французский политический деятель. Депутат учредительного собрания в 1848 г. Беспощадно подавил июньское восстание и стал председателем совета министров. В декабре 1848 г. — кандидат на пост президента республики. — 110, 119, 124, 179, 196, 203, 224, 225.

Казанский — священник в Петербурге. — 50, 51, 60, 70, 82, 86, 88, 91, 94, 95, 101, 323.

Казачковская Дарья Кирилловна — сестра А. К. Васильевой. — 516, 521, 546.

Казембек Александр Касимович (ум. в 1870 г.) — известный ориенталист; с 1849 г. занимал кафедру персидской словесности в Петербургском университете. Автор ряда оригинальных научных трудов. — 368.

Кайданов Иван Кузьмич (1782—1843) — педагог и писатель, автор ряда исторических учебников. — 302.

Калигула Кай (12—41) — римский император. — 106.

Кант Иммануил (1724—1804). — 57, 148, 152.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик. — 173.

Караджич Вук Стефанович (1787—1864) — сербский филолог и этнограф. — 773.

Каракозов Петр Никифорович — священник в Саратове. — 562.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк и журналист („Детское чтение“, „Московский журнал“, „Вестник Европы“). Автор „Истории государства Российского“ (12 томов, изд. 1803—1826 гг.). Яркий представитель дворянско-помещичьей историографии. Реакционные политические взгляды его формулированы в „Записке о древней и новой России“, поданной им Александру I в 1811 г. Глава сентиментального направления в литературе, много способствовавший созданию русского литературного языка. — 83, 146, 347, 400, 648.

Каратыгин 2-й Петр Андреевич (1805—1879) — брат известного трагика В. А. Каратыгина (1802—1853). Актер-комик и водевилист; заведывал драматическим классом Петербургской театральной школы в 1832—1838 гг. — 150.

Карл Великий (742—814) — король франков. Создатель громадной империи, централизовавший управление государством и уделявший много внимания организации хозяйства. — 91, 276.

Карл I — король английский (1600—1649) — 11 лет правил без парламента, но в 1640 г. принужден был его созвать. Разрыв короля с парламентом

(„долгий парламент“) привел к революции 1640—1653 гг., во время которой король был низложен и после процесса казнен. — 139.

Карне (Carné) Луи-Марсьен (1804—1876) — французский политический деятель и историк. При июльской монархии в палате депутатов принадлежал к ультра-католической оппозиции. Постоянный сотрудник „Journal des Débats“, „Revue des deux Mondes“ и др., автор работ по истории XIX в. — 146.

Карпов Василий Николаевич (1798—1867) — философ идеалистического направления, профессор духовной академии в Киеве, а затем в Петербурге. — 313.

Каррель Арман (1800—1836) — французский публицист и политический деятель, либерал, видный участник революции 1830 г., основатель газеты „National“. — 145.

Касторский Михаил Иванович (1809—1866) — профессор всеобщей истории Петербургского университета. — 104, 172, 250, 371, 375.

Катерина Егоровна — знакомая Чернышевского. — 650, 651.

Катерина Матвеевна — см. Патрикеева Е. М.

Катерина Николаевна — см. Кобылина Е. Н.

Катерина Павловна — квартирная хозяйка Раева. — 45, 103.

Катерина Федоровна — см. Срезневская К. Ф.

Катков — повидимому, саратовец, знакомый Чернышевского. — 116.

Катулл Гай-Валерий (87—54 до н. э.) — римский поэт-лирик. — 329, 331.

Квинтилиан — римский педагог и литературный критик I века н. э. Автор сочинения „Об ораторском образовании“. — 391.

Кинглек Александр-Вильям (1809—1891) — английский политический деятель и историк, автор истории Крымской войны, частично переведенной Чернышевским с его обширными дополнениями (см. X том настоящего издания). — 646.

Кипарисов — саратовский семинарист. — 96.

Кир — персидский царь VI века до н. э. — 670, 688.

Кирилл (827—869) — проповедник христианства среди славян, составитель славянской азбуки, переводчик церковных книг на славянский язык. — 161.

Кирилл Михайлович — см. Колумбов К. М.

Кириллов Иван Кириллович — саратовский священник, прадед Чернышевского по матери, умер в 1825 г. — 566—568, 572—578, 705—711.

Кириллова Мария Перфильевна (Порфирьевна) — жена И. К. Кириллова, умерла в 1825 г. — 566, 568, 571, 574—578, 704—711.

Клавдий — римский император I века н. э. (41—54 гг.), преемник Калигулы. — 106.

Классовский Владимир Игнатьевич (1815—1877) — педагог и писатель, преподаватель 2-го кадетского корпуса. — 400.

Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1868) — с 1842 по 1855 г. главноуправляющий путями сообщения и общественными зданиями. Типичная фигура сановника времен Николая I. Уволен в отставку вскоре после восшествия на престол Александра II, что рассматривалось как уступка общественному мнению. — 152.

Клеон (ум. в 422 г. до н. э.) — афинский политический деятель, вождь городской демократии, преемник Перикла. — 238, 239.

Клиентов Григорий Степанович — священник в Москве. — 380, 381.

Клиентов Петр Григорьевич — священник во Владимире, сын Г. С. Клиентова. — 383.

Клиентова Александра Григорьевич — дочь Г. С. Клиентова. См. ее воспоминания о пребывании Н. Г. с матерью в Москве проездом в Петербург в 1846 г. („Русская старина“, 1892 г., № 3). — 43, 44, 157, 381—383, 385, 388, 389, 402—404.

Клюков — саратовский семинарист. — 96.

Княжинский Василий Стахивич (ум. в 1882 г.) — магистр, а впоследствии ректор Петербургской духовной академии. — 320, 321.

Кобылин Александр сын Кобылина Н. М. — 407.

Кобылин Николай Михайлович — председатель саратовской казенной палаты, младшему сыну которого (Александру) Н. Г. Чернышевский в 1852—

1853 г. давал уроки. — 405—409, 428, 429, 432, 440, 441, 449, 463, 468, 502, 504, 505, 527, 540, 547, 550—555, 558—561.

Кобылина Анжелина Алексеевна — жена Кобылина Н. М. — 406, 407, 527, 555, 561.

Кобылина Катерина Николаевна — дочь Кобылина Н. М. — 405, 406, 408, 428, 449, 465, 467, 472, 473, 502, 503, 509, 517, 550.

Ковалевский Егор Петрович (1809—1868) — писатель и путешественник, один из основателей и председатель литературного фонда. — 234, 735.

Коврайский — студент Петербургского университета. — 206.

Козловский Сергей — студент Петербургского университета. — 375.

Кокрель Атанас (1795—1868) — протестантский проповедник; член французского учредительного собрания 1848 г. — 56.

Колеровы — Василий Степанович, чиновник Синода, родом из Саратова, и его жена Прасковья Алексеевна. — 226, 227, 398.

Колесников Сергей Алексеевич — учитель математики саратовской гимназии. — 516, 519, 520, 554, 555, 560.

Колумбов Кирилл Михайлович — прокурор московской гражданской палаты. — 380—383, 388.

Колумбова Анна Дмитриевна — жена К. М. Колумбова. — 63, 382.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт. Первое издание сочинений Кольцова вышло в 1835 г., а следующее издание появилось в 1846 г. (с приложением статьи Белинского). — 450, 468, 471, 504, 505, 508—510, 515, 530, 550, 551, 555.

Кондратий Герасимович — см. Медведев К. Г.

Консидеран Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист, посядователь Фурье; издавал журналы „Флланстер“, „Фаланга“ и газету „Мирная демократия“; в ряде книг популяризовал учение Фурье. В 1848—1849 гг., будучи членом учредительного собрания, занимал соглашательскую позицию. В июне 1849 г., после подавления мелкобуржуазной демонстрации против реакционной политики законодательного собрания, бежал в Бельгию. — 287.

Констан Бенжамен (1767—1830) — французский публицист и государственный деятель; сторонник конституционной монархии, глава оппозиции в эпоху реставрации Бурбонов. — 182, 185.

Константин VIII Порфирородный (905—959) — византийский император. — 163.

Конт Огюст (1798—1857) — французский социолог и философ, глава позитивизма; основы его учения изложены в „Курсе положительной философии“ (6 томов, изд. 1830—1842 гг.). Отзыв о нем Чернышевского — см. письмо к сыновьям из Сибири от 27/IV 1876 г. — 196, 197.

Коперник Николай (1473—1543) — основоположник научной астрономии, обосновавший гелиоцентрическое строение планетной системы. — 128.

Кораблев — комиссионер детской больницы в Петербурге. — 274, 306.

Корелин — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426, 553, 554.

Корелкин Николай Павлович (1830—1855) — студент Петербургского университета, однокурник Чернышевского. Получил золотую медаль за „Рассуждение о языке летописи Нестора“. Позднее был учителем гимназии и в 1852—1855 гг. дал ряд рецензий и разбор деятельности А. Х. Востокова в „Отечественных записках“. — 33, 71, 79, 102, 105, 108, 112—114, 117, 118, 124, 130, 136, 139, 140, 144, 146, 149, 150, 171, 177, 188, 197, 198, 200—203, 206, 214, 217, 229, 234—237, 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 269, 274, 301, 312, 314—317, 320, 325, 343, 344, 347, 349, 350, 355, 359, 366—369, 375, 378, 390, 395.

Кормнен (Cormenin) Луи-Мари (1788—1868) — французский юрист и политический деятель. Депутат и вице-президент учредительного собрания в 1848 г., председатель комиссии по разработке конституции. — 61.

Корн (Corne) Мари-Августин (1802—1887) — французский политический деятель и писатель. В 1848 г. депутат учредительного собрания, генеральный прокурор. Примыкал к группе ген. Кавеньяка. — 143.

Корнелиус а Лепиде (1568—1637) — католический комментатор биб-  
лии. — 632.

Корф Федор Федорович, барон (1803—1853) — беллетрист. — 107.

Корш Евгений Федорович (1810—1897) — журналист и переводчик, за-  
падник 40-х годов, редактор „Московских ведомостей“ (1843—1848) и журна-  
ла „Атеней“ (1858—1859). — 738.

Коссидьер Марк (1809—1861) — до 1848 г. один из руководителей  
левого крыла республиканской партии во Франции. После февральской ре-  
волюции префект полиции. Кандидат в состав правительства со стороны  
восставших в июне рабочих; принужден был эмигрировать в Англию после  
разгрома восстания. — 96, 109, 110, 115.

Коссович Казтан Андреевич (1815—1883) — санскритолог, профессор  
Петербургского университета. — 390.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк-украинец,  
представитель мелкобуржуазной националистической историографии. В 40-х  
годах был членом тайного общества „Кирилло-Мефодиевое братство“. По-  
сле года заключения в крепости был сослан в Саратов, где жил под над-  
зором полиции до 1859 г. В этот период он близко познакомился с Н. Г.  
Чернышевским. — 407, 409, 413, 419, 421, 426, 433, 463, 476, 479, 489, 490,  
493, 494, 498, 501, 502, 514, 529, 531, 532, 536, 541, 548, 550—555, 558, 559,  
757—777.

Костомарова Татьяна Петровна — мать Н. И. Костомарова. — 765.

Котляревская — см. Терсинская Л. Н.

Коцебу Август (1761—1819) — немецкий драматург и романист, реакцио-  
нер, состоявший агентом русского правительства; убит студентом Зандом; в  
1810—1820 гг. его драмы пользовались большим успехом в России. — 745.

Кочубей Василий Викторович (1812—1850) — нумизмат, с 1848 г. по-  
мощник попечителя Петербургского учебного округа. — 197, 232, 350.

Кошанский Николай Федорович (1781—1831) — профессор русской  
и латинской словесности в Царскосельском лицее в 1811—1828 гг., автор ряда  
учебников и пособий. — 315.

Кошут Людвиг (1802—1894) — венгерский революционер. Глава револю-  
ционного правительства и диктатор республиканской Венгрии в 1849 г. По-  
сле подавления революции бежал за границу и жил в Англии и Италии. — 227.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, один из  
первых крупнейших издателей капиталистического типа. С 1839 г. издавал  
„Отечественные записки“, позднее „Спб. ведомости“ и с 1863 г. газету  
„Голос“. — 66, 75, 157, 329, 337, 338, 343, 349, 400, 714, 718—722, 724, 725.

Крашенинников Петр Иванович (ум. в 1867 г.) — известный книго-  
продавец, купивший в 1847 г. библиотеку Смирдина, при которой открыл  
книжный магазин. — 279, 289, 390, 394.

Крауцольд Евгений Эммануилович — педагог, преподаватель в „Дворян-  
ском полку“. — 340, 343, 362, 401.

Кромвель Оливер (1599—1658). — 221.

Крылов Иван Андреевич (1768—1844). — 54, 57.

Крюгер Карл — доктор богословия. — 380, 389.

Ксенофонт (около 434—359 до н. э.) — греческий историк и философ. —  
670.

Ксеркс — персидский царь в 486—465 гг. до н. э. — 688.

Кудрявцев Николай Иванович — саратовский священник. — 404, 651.

Кудрявцева Прасковья Ивановна — жена Н. И. Кудрявцева, урожден-  
ная Кириллова, сестра бабки Чернышевского. — 651—653.

Кук Джемс (1728—1779) — английский путешественник. — 630..

Кулагин — совместно с Чернышевским кандидат на место преподавателя  
в военно-учебных заведениях. — 393.

Култуков — саратовский военный врач. — 676, 677.

Кульматидский — учитель. — 98.

Купер Фенимор (1789—1851) — североамериканский писатель, автор мно-  
гих романов, посвященных захвату и колонизации Америки переселенцами  
из Европы. — 154, 155, 160.

Куприянов — знакомый Чернышевского по Саратову из местной дворянской семьи. — 427, 450, 453, 460, 462, 469—471, 505.

Курц Генрих (1805—1873) — немецкий историк литературы. Автор „Истории немецкой литературы“ (3 тома, изд. 1851 г.) и составитель хрестоматийного типа сборников: „Handbuch der poet. Nationalliteratur“ (1840—1843) и „Handbuch der deutschen Prosa“ (1845—1846). — 289, 292, 296, 299, 302, 303.

Куткины — Евгений Алексеевич, саратовский помещик, и Мария Васильевна, его жена. — 222.

Куторга Михаил Семенович (1809—1886) — профессор всеобщей истории Петербургского университета, специалист по истории древней Греции. — 33, 35, 100, 104—106, 111, 112, 114, 116, 119, 120, 125, 130, 131, 136, 141, 144, 149, 156, 161, 174, 175, 178, 179, 181, 187, 191, 194, 202, 222, 224, 227, 232, 237—244, 250—255, 267, 269, 275—277, 315, 318, 330, 333, 335, 349, 360, 361, 370.

Куторга Степан Семенович (1805—1861) — зоолог, профессор Петербургского университета. — 243, 252.

Кюннер Рафаэль (1802—1878) — немецкий филолог, составитель учебников латинской и греческой грамматики. — 280.

Лавальер Луиза-Франсуаза (1644—1710) — фаворитка Французского короля Людовика XIV; в 1674 г. постриглась в монахини. — 257.

Лаврова А. Г. — фамилия по мужу А. Г. Клиентовой (см.).

Лавровский И. Николай Алексеевич (1825—1899) — студент Главного педагогического института; позднее — профессор истории русской литературы Харьковского университета. — 332.

Лальмань — чиновник французского посольства в Петербурге. — 320.

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт, политический деятель и историк, буржуазный либерал. Автор „Истории жирондистов“ (изд. 1847 г.) и „Истории февральской революции“ (изд. 1849 г.). В 1848 г. министр иностранных дел временного правительства. Блестящие ораторские способности сделали его популярным в первые месяцы революции. После демонстрации 15 мая 1848 г. сблизился с Кавеньяком и потерял популярность в массах. — 61, 146, 149, 218, 224—227, 234, 240, 241, 252, 255, 317.

Ламенне Робер (1782—1854) — аббат; французский общественный деятель, публицист, нападавший на монархию, церковь и существующий социальный строй и черпавший свои идеалы в первобытном христианстве. Из его многочисленных брошюр особенно известна „Слова верующего“ (1834). В 1841 г. издана его работа „Очерк философии“ (2 тома), излагающая систему спиритуалистической философии. — 233, 346.

Лариса Федоровна — см. Вязовская Л. Ф.

Латур Теодор (1780—1848) — австрийский генерал, реакционер. В 1848 г. военный министр. Во время венского восстания в октябре того же года повешен восставшим народом. — 182.

Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский священник, писатель, автор „Физиогномики“. — 199.

Лебедев — издатель. — 351.

Левитов — знакомый Чернышевского по саратовской семинарии. — 258.

Левитский — товарищ Чернышевского по саратовской семинарии. — 96.

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807—1874) — французский публицист и политический деятель, вождь мелкобуржуазной демократии. В 1848 г. министр внутренних дел временного правительства. После неудачного выступления мелкобуржуазных демократов в июне 1849 г. эмигрировал в Англию, где жил до 1870 г. — 68, 105, 106, 109—111, 224, 225, 233, 287, 289.

Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ и математик, открывший дифференциальное исчисление. — 195.

Ленц Эмилий Христианович (1804—1865) — профессор физики в Петербургском университете. Ему Н. Г. Чернышевский подавал проект изобретаемой им машины вечного движения. — 408.

Лео Генрих (1799—1878) — немецкий историк, автор ряда учебников и исторических работ. — 250, 251, 253.

Леонид I — спартанский царь V века до н. э. — 671.

Леопольдов Андрей Филиппович (1800—1875) — саратовский журналист, краевед, редактор „Саратовских губ. ведомостей“ в 1841—1847 и 1850—1851 гг. — 696, 704.

Лерминье Луи-Эжен (1803—1859) — французский юрист и публицист. Профессор Collège de France; вынужден был прекратить лекции благодаря оппозиции слушателей его реакционным взглядам. — 141.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 47, 55, 58, 60, 66, 67, 70, 73, 74, 102, 112, 127, 187, 235, 297, 353, 358, 634.

Леру Пьер (1798—1871) — французский социалист-утопист. В 1848 г. член учредительного и законодательного собраний, примыкающий к крайней левой. В декабре 1851 г. изгнан из Франции, куда вернулся по амнистии в 1869 г. — 38, 66, 106, 119, 132.

Лерх Петр Иванович (1827—1884) — студент Петербургского университета, позднее библиотечный того же университета, автор работ по археологии Среднего Востока. — 148, 149, 161, 334, 368, 378, 390.

Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк. — 670.

Лидия Ивановна — см. Рычкова Л. И.

Лизавета Карповна — см. Гончарова Е. К.

Лизандр (Лисандр) — спартанский царь V века до н. э. — 688.

Либиенфельд Павел Федорович (1829—1903) — окончил Александровский лицей и служил в министерстве внутренних дел. В 60—70-х годах выступил с работами по вопросам социологии в духе „органической школы“. — 101—103, 112, 288.

Лимайрак (Limayrac) Поль (1817—1868) — французский журналист, постоянный сотрудник и одно время один из редакторов журнала „Revue des deux Mondes“. Писал главным образом по вопросам литературы. При Наполеоне III горячий сторонник его политики. — 180, 185.

Линдгрен — знакомый О. С. Чернышевской, из семьи аптекаря в Саратове. — 417, 427, 459, 463.

Линке — член франкфуртского национального собрания 1848 г. — 221.

Липранди Иван Петрович (1790—1880) — военный писатель. С 1840 по 1856 г. был чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел. Ему было поручено министром внутренних дел Перовским наблюдение за кружком Петрашевского; 20 апреля 1849 г. он представил списки лиц, более или менее причастных к этому кружку, что повлекло за собою их аресты. — 275.

Лихачевы — родственники И. И. Панаева. — 732.

Лихновский Феликс (1814—1848) — прусский офицер. Депутат франкфуртского национального собрания, принадлежавший к правому его крылу. Убит во время франкфуртского восстания в сентябре 1848 г. — 182.

Лобачевский Николай Иванович (1793—1856) — известный математик, основатель не-евклидовой геометрии; был помощником попечителя казанского учебного округа с 1846 по 1855 г. — 387, 403.

Лободовская Анна Петровна — сестра В. П. Лободовского. — 43.

Лободовская Мария Петровна — сестра В. П. Лободовского. — 92—94.

Лободовская Надежда Егоровна — дочь стационарного смотрителя, жена В. П. Лободовского. — 29—38, 41—54, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74—78, 80—99, 101, 108, 111, 114—121, 124, 134, 136—139, 142—151, 154—166, 170—173, 178, 180, 181, 190, 192, 198—203, 206, 212—220, 226, 227, 230, 231, 235, 239, 245, 246, 252, 257, 259, 261, 266, 270, 274, 279, 286, 288, 290, 297, 298, 336, 342, 359, 361.

Лободовский Василий Петрович — студент Харьковского, а затем Петербургского университета; курса не окончил; имел сильное влияние на Чернышевского в студенческие годы и получал от него материальную поддержку. В 1854 г. преподавал (одновременно с Н. Г.) во 2-м кадетском корпусе, а позднее в кадетском корпусе в г. Омске. — 21—56, 58—92, 94, 96—101, 111, 113—130, 134—175, 178—209, 212—222, 226—258, 261, 262, 265—312, 315—349, 353, 358—379, 382, 385, 390, 391, 399, 400, 404, 475, 509.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765). — 391.

Лоренц Фридрих Карлович (1803—1861) — немецкий историк, был профессором Главного педагогического института в Петербурге до 1857 г. Автор „Руководства по всеобщей истории“ (Спб., 1841 г.). — 325, 344, 348.

Лоу Гудсон (1770—1844) — губернатор острова св. Елены, тюремщик Наполеона I. — 685.

Луи-Филипп (1773—1850) — французский король с 1830 г., свергнутый февральской революцией 1848 г. — 668.

Лукиан (около 120—180 гг.). — древнегреческий философ и писатель, известный остроумными сатирическими диалогами. — 302.

Лукулл Люций-Лициний (115—57 до н. э.) — римский полководец, богач, прославившийся своею роскошью и изысканными обедами. — 671.

Лыжин Николай Петрович — студент Петербургского университета; в 1858 г. получил степень магистра русской истории. — 305, 361, 365.

Лыткин Николай Александрович (1826—1890) — студент, одноклассник Чернышевского; впоследствии педагог-историк и инспектор Петербургской консерватории. — 38, 39, 89, 101, 102, 104, 121, 126, 130, 134, 136, 142, 144, 175—177, 191, 265, 278, 279, 320, 322, 335, 362, 365, 372, 391.

Любинька — см. Терсинская Л. П.

Любуша — по преданию, чешская королева IX в. — 277.

Людвик XIV — французский король с 1643 по 1715 г. — 119, 648, 650, 651.

Людвик XV — французский король с 1715 по 1774 г. — 257, 654.

Людвик XVI — французский король с 1774 г.; казнен в 1793 г. во время революции. — 340.

Людвик XVIII — французский король с 1814 по 1824 г. — 698.

Магомет (Мухамед, 571—632) — основатель магометанства. — 759.

Майер — соквартирант Писарева И. В. — 235.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. — 171, 206, 211.

Макарий — митрополит московский в 1542—1564 гг., составитель Четьи-Минеи. — 633.

Маколей Томас (1800—1859) — английский историк и политический деятель либерального направления. — 670.

Максимов — знакомый Чернышевского по Саратову. — 428, 458, 555, 558.

Максимович — квартирохозяин Терсинских. — 192, 278, 362.

Мальтус Роберт (1766—1834) — известный английский буржуазный экономист. Автор сочинения „Опыт о законе народонаселения“ (изд. 1798 г.). Основное положение его теории — бедствия и нищета являются результатом вечных законов природы, а не общественного строя; по его расчетам, рост населения происходит в геометрической, а средств существования в арифметической прогрессии. — 361.

Малышев Андрей Иванович — секретарь саратовского губернского правления. — 217, 405, 410, 411, 417—419, 550, 551, 558.

Марина (фон-Швейден) — подруга детства Л. Н. Терсинской и Чернышевского. — 53.

Марио (1812—1883) — итальянский тенор, гастролировавший в России в 1843 г. — 671.

Мария Акимовна — служанка Чернышевских. — 638, 639.

Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI. Имела сильное влияние на короля, направляя политику правительства на путь реакции. Решением революционного трибунала казнена 16/X 1793 г. — 340.

Мария Дмитриевна — саратовка, знакомая Чернышевского. — 40.

Мария Евдокимовна — см. Акимова М. Е.

Мария Константиновна — знакомая Писарева И. В. — 97, 209, 210.

Мария Петровна — см. Лободовская М. П.

Марко Поло (1254—1323) — венецианский купец-путешественник, автор описания путешествия в Среднюю Азию. — 682.

Марков Иван Михайлович — студент. — 126.

Маркович Мария Александровна (1834—1907) — русско-украинская беллетристка и переводчица; писала под псевдонимом Марко Вовчок. — 737, 740.

Мара (Марраст) Арман (1801—1852) — французский публицист и государственный деятель, редактор газеты „National“; после февральской революции 1848 г. был членом временного правительства, мэром Парижа и с августа председателем учредительного собрания. —124, 224.

Масальский Константин Петрович (1802—1861) — писатель, автор ряда исторических повестей и романов, популярных в 20—30-х годах XIX века. Полное собрание сочинений его вышло в 1843—1845 гг. —491.

Матвеев Федор Михайлович (1758 — 1826) — художник-пейзажист. —172.

Матвей Иванович см. Архаров М. И.

Матюрен Чарльз-Роберт (1782—1825) — ирландский поэт и романист. —353.

Махмуд II (1785—1839) — турецкий султан с 1808 г., пытавшийся проводить реформы по сирийскому образцу и уничтоживший корпус янычар. —747.

Медведев Кондратий Герасимович — дьякон в Саратове, родственник Чернышевского. —162.

Мезин — атаман разбойников в Саратове. —572.

Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург и переводчик. —732.

Мейендорф студент. —246, 252, 320.

Медантович (ум. в 1856—1857 г.) — поляк, виленский студент, сосланный в Саратов на жительство под надзором полиции. —548, 550, 552, 559, 770, 773.

Мельников студент, однокурсник Чернышевского. —237.

Мери Жозеф (1798—1866) — французский беллетрист. —569.

Мерк ученик Чернышевского, готовившийся к сдаче экзаменов на домашнего учителя по русской словесности. —397—401.

Мехмет-Али (1769—1849) — турецкий генерал, наместник Египта, диктаторски правивший страной и проводивший ряд реформ на основе полной централизации управления; реорганизовав египетскую армию по европейскому образцу, вел две войны с Турцией, в результате которых был признан наследственным владетелем Египта. —747.

Милон — римский политический деятель (I век до н. э.), сторонник аристократической партии; за убийство политического противника был судим (речь Цицерона „Pro Milone“) и изгнан из Рима; убит во время борьбы, которую вел против Юлия Цезаря. —136.

Милюков Александр Петрович (1817—1897) — писатель, преподавал литературу в петербургских гимназиях и институтах. Автор „Очерка русской поэзии“ (изд. 1847 г.) и других работ. Был причастен к делу петрашевцев, но от суда освобожден. —362, 373, 400, 499, 509, 514.

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855) — историк и экономист, автор ряда оригинальных научных и популярных произведений. Сотрудничал в „Отечественных записках“ и в „Современнике“. Автор статьи „Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции“, напечатанной в „Отечественных записках“ за 1847 г. (т. 50 и 51), ряда статей о книге Бутовского „Опыт о народном богатстве“ и о Мальтусе (в „Современнике“). Магистерская и неоконченная докторская диссертации написаны на исторические темы. Был близок к кружку петрашевцев. —361.

Минаев — дядя А. Ф. Раева. —46.

Минаев Дмитрий Иванович (1808—1876) — отец поэта Д. Д. Минаева. Уроженец Симбирска. Служил в учебном саперном батальоне и в провиантском департаменте. Позднее жил в провинции. Автор стихотворного перевода „Слова о полку Игореве“ (изд. в 1847 г.), ряда поэм, повестей и стихотворений. —362, 365, 371, 395, 400, 402—404, 514, 614.

Мирабо Оноре-Габриель (1749—1791) — вождь либеральной буржуазии в годы французской революции конца XVIII в.; напуганный разлитием революции, вступил в соглашение с королем, пытаясь предотвратить гибель монархии. —182.

Михаил Николаевич — см. Мусин-Пушкин М. И.

Михаил Павлович (1798—1848) — пол. кн., брат Николая I, с 1831 г. начальник военно-учебных заведений. —102, 216, 270, 228, 286.



- Михаил Павлович — см. Соколов М. П.
- Михайлов — один из братьев М. А. Михайлова. — 87, 171.
- Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) — товарищ Чернышевского по университету, позднее сотрудник „Современника“, поэт, переводчик, критик, публицист. В сентябре 1861 г. арестован за распространение прокламации „К молодому поколению“, написанной Н. В. Шелгуновым. Приговорен к 6 годам каторги, которую отбывал в Кадае, Нерчинского округа, где и умер. — 60, 70, 79, 90, 145, 194, 234, 262, 363, 383, 388, 403.
- Михайлов Михаил Михайлович (1826—1891) — профессор гражданского права в Петербургском университете. — 253.
- Михайловский — знакомый О. С. Васильевой. — 405, 406.
- Мишле (Michelet) Карл-Людвиг (1801—1893) — берлинский профессор, левый гегельянец, автор ряда работ по истории философии, в частности *Geschichte der System der Philosophie in Deutschland* (изд. 1837—1839 гг.) и *Entwicklungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie* (изд. 1843 г.). — 147—150, 152, 155, 171, 189, 203, 204, 239, 249, 250.
- Молоствов Владимир Порфирьевич (1794—1863) — попечитель Казанского учебного округа. — 369—371, 379, 387, 396, 397, 400.
- Мономах — см. Владимир Мономах.
- Монталамбер Шарль-Форб (1810—1870) — французский политический деятель. Глава католической партии в Учредительном собрании 1848 г. — 137.
- Монтань (Montagne) — французский издатель. — 182.
- Монтескье Шарль-Луи (1689—1755) — французский политический писатель. Родоначальник буржуазного либерализма, сторонник правового государства, творец теории „разделения властей“. — 146.
- Мордвинов — очевидно, один из потомков М. И. Мордвинова (1725—1782), возможно Д. М. Мордвинов (1772—1848) или А. Н. Мордвинов (1792—1869). — 245, 246.
- Мунк (Munk) Эдуард (1803—1871) — немецкий филолог, автор „Истории греческой литературы“, изданной в Берлине в 1849 г. — 332, 333, 335.
- Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874) — писатель по религиозным вопросам, реакционер. — 406, 682.
- Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — генерал, министр государственных имуществ с 1856 г., противник освобождения крестьян; жестокий усмиритель польского восстания 1863 г. („Муравьев-вешатель“). — 39, 323.
- Мурчисон Родерик (1792—1871) — английский геолог, автор работы по геологии России. — 696.
- Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862) — с 1829 по 1845 г. попечитель Казанского учебного округа, а с 1845 г. — попечитель Петербургского округа. — 47, 136, 141, 177, 237, 332, 369, 370, 379, 397.
- Мюнх (Münch) Эрнст (1798—1841) — немецкий историк; автор ряда исторических работ. — 141, 145, 146, 148.
- Мюнцер Фомз (1490—1525) — радикальный деятель эпохи реформации и крестьянской войны XVI в. в Германии. — 185.
- Надежда Егоровна — см. Лободовская Н. Е.
- Надеждинский — студент-медик, саратовец. — 267.
- Наполеон I (1769—1821). — 169, 235, 241, 372, 376, 671.
- Наполеон-Луи (1808—1873) — племянник Наполеона I, французский император с 1852 по 1870 г. Пришел к власти в результате поддержки армии и крестьянства, используя страх буржуазии перед революцией. — 125, 173, 194, 196, 203, 224, 419.
- Нат — финляндец, которого Чернышевский готовил к экзамену. — 258, 261, 264, 265, 268, 272, 274, 368.
- Наталия Ивановна — квартирохозяйка Терсинских. — 167.
- Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — профессор правоведения Петербургского университета — с 1843 г., читал курс истории российского законодательства. Его „Энциклопедия законоведения“ издана в 1839—1840 гг. — 89.
- Нейлисов Константин Фемистоклович (1828—1887) — студент, однокурсник Чернышевского; позднее преподаватель-филолог, директор гимназии в Петербурге. — 283, 324, 367.

- Неклюдов — из саратовской дворянской семьи. — 427.
- Некрасов Алексей Сергеевич (1788—1862) — отец Н. А. Некрасова — 743.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877). — 289, 714—754, 757.
- Некрасов Федор Алексеевич (ум. в 1813 г.) — брат Н. А. Некрасова. — 724.
- Некрасова Елена Андреевна (ум. в 1841 г.) — урожденная Закревская, мать Н. А. Некрасова. — 742, 743.
- Нерон — римский император в 54—68 гг. — 667.
- Нестор — монах-летописец XI в. — 39, 49, 56, 61—63, 68, 77, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 124, 163, 292, 296, 298, 300, 301, 368, 398, 660.
- Нибуэр Бартольд-Георг (1776—1831) — немецкий историк, изучавший главным образом римскую историю. Известен как автор „Римской истории“ (изд. в 1811—1832 гг.) и „Истории греческих героев“ (изд. в 1842 г., вышла в ряде русских переводов). — 371.
- Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — профессор русской словесности; в 1847—1848 гг. один из редакторов „Современника“; по его кафедре Н. Г. брал темы для кандидатской („О „Бригадире“ Фонвизина“) и для магистерской работы („Эстетические отношения искусства к действительности“). С 1833 г. был цензором. Об отношении к Чернышевскому и его деятельности см. Никитенко А. В. „Моя повесть о самом себе“ (СПб., 1905 г., т. II). — 65, 84, 97, 100, 105, 108, 111, 116, 119, 124, 128, 130, 134—136, 140, 146, 150—157, 160, 161, 165—170, 178—186, 190—192, 199, 226—229, 234, 240, 242, 245, 249—253, 256, 257, 261, 265, 283, 288, 290, 292, 309—314, 316—329, 337, 338, 341, 342, 350, 352, 359—370, 373, 374, 377, 378, 391, 396, 513, 532.
- Николай I (1796—1855) — 237, 243, 419.
- Николай Гаврилович — знакомый И. И. Введенского, преподаватель в военно-учебных заведениях. — 343.
- Николай Дмитриевич — см. Пыпин Н. Д.
- Николай Дмитриевич — см. Чесноков Н. Д.
- Николай Ефимович — см. Андреев Н. Е.
- Николай Иванович — см. Костомаров Н. И.
- Николай Иванович — см. Кудрявцев Н. И.
- Николай Самойлович — студент Петербургского университета. — 51.
- Нифонт — новгородский епископ 1130—1156 гг. — 398.
- Норманская — вероятно, кто-нибудь из семьи саратовского дьякона Норманова. — 271.
- Носович Наум Фаддеевич (Фаддей Ильич) — священник-униат, сосланный в Саратов. — 677, 678, 684—687, 689.
- Овидий Назон Публий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт, классик. — 324.
- Огарев Николай Платонович (1813—1877). — 733, 734.
- Огарева Мария Львовна (ум. в 1853 г.) — урожденная Рославлева, жена Н. П. Огарева. — 733, 734.
- Олег (878—912) — киевский князь. — 648.
- Ольга Андреевна — повидимому, член семьи Патрикесых. 448, 449.
- Ольга Егоровна — см. Самбурская О. Е.
- Ольга Сократовна — см. Чернышевская О. С.
- Олимп и Олимп Яковлевич — см. Рождественский О. Я.
- Оржевские — Василий Владимирович (1797—1867), чиновник министерства внутренних дел, позднее сенатор, и его жена Прасковья Петровна. 190, 271.
- Орлеаны — боковая ветвь французского королевского дома. 224.
- Орлов Алексей Федорович (1787—1862) — генерал-адъютант, за участие в подавлении восстания декабристов в 1825 г. получил титул графа. С 1844 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения. В 1856 г. назначен председателем государственного совета. — 274.
- Орлов — студент, однокурсник Чернышевского. 126, 218, 285.
- Орлов Павел Осипович — чиновник, в семье которого В. П. Лободовский давал уроки. — 315, 318, 325.

Ортенберг Иван Федорович (1793—1866) — генерал, инспектор кадетского корпуса; с 1856 г. — член ученого комитета (военно-учебных заведений). — 395, 396.

Павел Васильевич — см. Акимов П. В.

Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — историк, профессор Киевского, а с 1860 г. Петербургского университета; один из инициаторов движения в пользу открытия воскресных школ; в 1862 г. выслан из Петербурга за произнесенную им речь по поводу тысячелетия России. — 759.

Павловский Дмитрий Михайлович — инспектор классов „Дворянского полка“. — 390.

Павский Герасим Петрович (1787—1863) — священник, профессор богословия и еврейского языка Петербургского университета; подвергался преследованиям со стороны синода и правительства за сделанный им перевод некоторых частей библии, расходившийся с принятым в православной церкви текстом. — 287.

Палимпсестов Иван Устинович (1818—1902) — агроном, преподаватель саратовской гимназии, впоследствии профессор сельского хозяйства. Автор воспоминаний о Н. Г. („Русский архив“, 1890, № 4). — 40, 134.

Палимпсестов Федор Устинович — брат И. У., товарищ Чернышевского по семинарии; впоследствии смотритель губернской типографии и акцизный чиновник в Саратове. — 384, 386, 401, 410, 411, 415, 427, 450—459, 462—466, 469, 471, 475, 488—490, 509, 510, 526, 547—549, 553, 557, 560, 561.

Пальм Александр Иванович (1822—1885) — писатель. Привлекался в 1849 г. по делу Петрашевского, провел 8 месяцев в крепости, но был освобожден. Автор ряда романов и драматических произведений. — 346.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — журналист и беллетрист, с 1847 г. издатель „Современника“. — 284, 288, 295, 714—718, 722—725, 732, 733, 740, 746.

Панчулидзе Алексей Давыдович (1762—1834) — саратовский губернатор в 1808—1826 гг. — 648—651.

Паркумов — откупщик, муж сестры Лободовского В. П. — 91—94.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик и философ, активно выступавший против иезуитов на стороне сторонников „ясенизма“ (приверженцы „строного христианства“). — 132.

Пасхалова Анна Никаноровна, урожденная Залетаева, по второму мужу Мордовцева; вдова саратовского чиновника; автор книги стихотворений „Отзвуки жизни“ (1877 г.). — 476, 479, 490, 492, 493, 501, 502, 505, 518, 524, 535, 550—552, 774, 775.

Патрикеева Екатерина Матвеевна — подруга О. С. Чернышевской по Саратову. — 410—412, 415—417, 421, 425—428, 441, 443, 446—449, 457, 458, 462, 465—474, 477, 504—508, 511, 515, 520, 522, 526—529, 533, 546, 549, 554, 556, 558, 566.

Патрикеева Ольга Андреевна — мать Е. М. Патрикеевой. — 457, 551.

Пелагея Васильевна — теща В. П. Лободовского. — 40, 75.

Пелопидов — студент-медик, саратовец. — 89, 134, 213, 267, 293, 308, 311, 340, 341, 401.

Перевлесский Петр Миронович (ум. в 1866 г.) — профессор русской словесности в Александровском лицее. Автор ряда учебников и учебных пособий. В 1842 г. изданы его „Практическая орфография“ и „Практический синтаксис“. — 392.

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880) — профессор астрономии Московского университета, сотрудник „Современника“. — 636.

Перре (Perrée) Луи (род. в 1816 г.) — адвокат и политический деятель, редактор газеты „Siècle“, член учредительного собрания 1848 г. — 236.

Перро Жюль — преподаватель французского языка в Петербургском университете в 1849—1856 гг. — 315, 317, 321—323, 326, 327, 330.

Персидский — саратовский помещик. — 516, 518.

Песков — знакомый Чернышевского по Саратову. — 410, 553.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — организатор и идеолог „Южного общества“ декабристов. — 90.

- Петавий (1583—1652) — богослов-иезуит. — 632.
- Петр I (1672—1725). — 91, 122, 238, 374, 375, 624, 696, 704, 746, 747.
- Петр II Алексеевич (1715—1730) — внук Петра I, номинально царствовавший с 1727 по 1730 г. Фактическое управление государством в эти годы было в руках представителей знати, организовавших так называемый „Верховный тайный совет“. — 375.
- Петр Григорьевич — см. Клиентов П. Г.
- Петр Петрович (1715—1719) — царевич, сын Петра I. — 375.
- Петр Пустыжник — монах-проповедник XI в., организатор первого крестового похода. — 671.
- Петр Федорович — см. Раев П. Ф.
- Петрашевский (Буташевич-П.) Михаил Васильевич (1821—1866) — служивший в министерстве иностранных дел. Организовал регулярные собрания молодежи, на которых обсуждались общеполитические вопросы и планы общественно-политического преобразования России (обычно в духе социалистов-утопистов, в частности Фурье). 23 апреля 1849 г. был арестован. 22 декабря 1849 г. приговорен к расстрелу, замененному по конфирмации пожизненной каторгой в Забайкалье. Осенью 1856 г. переведен на поселение в Иркутск. — 274.
- Петров Александр Дмитриевич (1794—1867) — шахматист, автор руководства по шахматной игре. — 233.
- Петровский Алексей Тимофеевич (1818—1867) — родственник Чернышевского, священник, преподаватель саратовской семинарии. — 50, 53, 65, 96, 177, 384.
- Петя — см. Пыпин П. Н.
- Пий IX (1792—1878) — папа римский в 1846—1878 гг. — 56.
- Писарев Иван Васильевич — сожитель Чернышевского по квартире, знакомый по Саратову, смотритель Камышинского духовного училища, позднее петербургский чиновник. — 30—36, 42, 62, 63, 74, 75, 77, 84—86, 89, 92, 93, 96—98, 102, 104, 105, 111—114, 124, 134, 135, 149, 152, 160—167, 189, 203, 208—210, 213, 215, 233, 235, 239, 265, 279, 283, 284, 287, 288, 295, 299, 308, 310, 312, 318, 345, 361, 364, 379, 390, 473, 554.
- Планш (Planché) Густав (1808—1856) — французский литератор и критик. Сотрудничал с начала 30-х годов в ряде журналов: „Revue des deux Mondes“, „Journal des Débats“ и др. — 258.
- Пластов Павел Николаевич (ум. в 1849 г.) — студент-медик, товарищ Чернышевского по саратовской семинарии. — 56—60, 213, 217, 220, 297, 312.
- Пластунов А. Ф. — знакомый Чернышевского по Саратову. — 428.
- Платон (427—347 до н. э.). — 66, 128, 490.
- Плетнев Петр Александрович (1792—1862) — профессор истории литературы, ректор Петербургского университета с 1840 по 1861 г., редактор-издатель журнала „Современник“ в 1838—1846 гг. — 108, 237, 287, 288, 310, 312, 328, 342, 343, 352, 367, 368, 391, 757.
- Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт. В 1849 г. был арестован по делу Петрашевского и сослан рядовым в оренбургские линейные батальоны; амнистирован в 1856 г. В процессе Чернышевского фигурировало поддельное письмо последнего к Плещееву. — 274.
- Плюшар Адольф Александрович (1806—1865) — издатель русской энциклопедии „Энциклопедический лексикон“ (17 томов, изд. 1838—1841 гг.) и ряда периодических изданий и книг. — 228, 689.
- Погорельский Антон — псевдоним писателя-беллетриста Перовского Алексея Алексеевича (1787—1836). — 634.
- Покосовский — саратовский врач. — 601.
- Покровский Герасим — студент, однокурсник Чернышевского. — 136, 142.
- Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867) — брат П. А. Полевого, писатель, автор „Записок“. — 371.
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — известный литератор и историк, издатель „Московского телеграфа“ (в 1825—1834 гг.), закрытого правительством. Автор „Истории русского народа“. После закрытия „Московского телеграфа“ — реакционер, соратник Булгарина и Греча. — 175.

- Полина Ивановна — см. Рычковы.
- Полинька — см. Голубева П. И.
- Полинька — см. Пыпина П. Н.
- Полозов Даниил Петрович (1794—1850) — генерал-лейтенант, начальник I округа корпуса жандармов. — 323, 743.
- Поляков Иван Егорович — сын саратовского купца. — 205, 359, 413.
- Попов — студент, соквартирант Н. П. Корелкина. — 139, 147, 156, 269, 286, 315, 355.
- Прасковья Ивановна — см. Кудрявцева П. И.
- Прац Эдуард — владелец типографии, в которой печатался „Современник“. — 716, 717.
- Прейс Петр Иванович (1810—1846) — преподаватель Петербургского университета по кафедре истории и литературы славянских наречий с 1843 г. — 149.
- Прескотт Вильям (1796—1859) — американский историк, автор „Завоевания Мексики“, „Истории царствования Филиппа II“ и др. Переводы работ Прескотта печатались в конце 40-х годов в „Отечественных записках“ и в „Современнике“. — 81.
- Пригаровский — офицер в Саратове. — 428, 450, 453, 460, 462, 469, 470, 471, 505.
- Прокопий (V—VI в.) — историк ранней византийской эпохи. Автор „Истории“ (8 томов). — 152.
- Прокопович Феодан (1681—1736) — проповедник и публицист эпохи Петра I. — 597, 632, 678.
- Промптов Петр Иванович — петербургский чиновник. — 36, 96, 134, 139, 214, 332, 338, 386.
- Протасов Михаил Семенович — дьякон. — 562.
- Прудентов Николай Дмитриевич (ум. в 1902 г.) — с 1828 г. архивариус саратовской духовной консистории. — 426, 553.
- Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865). — 60, 101, 106, 107, 114, 130, 132, 146, 224, 233, 358, 491.
- Пти Поль — французский издатель. — 85.
- Пугачев Емельян Иванович (1726—1775). — 67.
- Пустовойтов Антон Григорьевич — купец, юрловый в Саратове. — 583—597, 631.
- Пушкин — см. Мусин-Пушкин.
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). — 67, 161, 207, 230, 242, 353, 363, 478, 638, 735, 745.
- Пшеленский — студент, однокурсник Чернышевского. — 104, 106.
- Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — двоюродный брат Чернышевского, историк литературы, профессор Петербургского университета. В 1861 г. подал в отставку как протест против репрессий по отношению к студентам. Сотрудник „Современника“ и „Вестника Европы“. В годы ссылки Н. Г. содержал его семью. Воспоминания его о Чернышевском — см. Пыпин А. Н. „Мои заметки“, М. 1910. — 66, 67, 218, 284, 296, 338, 354, 364, 379, 384—396, 401, 440, 497, 499, 500, 502, 526, 536, 555, 758, 759.
- Пыпин Николай Дмитриевич (1808—1893) — чиновник из мелкопоместных дворян, дядя Чернышевского, отец А. Н. Пыпина. — 410, 411, 413, 415, 424, 432, 437.
- Пыпин Сергей Николаевич — младший брат А. Н. Пыпина, учившийся в саратовской гимназии. — 385, 386, 424, 509, 542, 547, 555.
- Пыпина Варвара Николаевна (1831—1892) — двоюродная сестра Чернышевского, родная сестра А. Н. Пыпина. — 384, 386.
- Пыпина Пелагея Николаевна (1835—1909) — двоюродная сестра Чернышевского. — 379, 385.
- Раво (Raveaux) Франц (1810—1851) — рейнский демократ, член франкфуртского национального собрания, член баденского революционного правительства. — 302.
- Рагла Фицрой (1788—1855) — главнокомандующий английской армией в Крымскую войну. — 643.

Радецкий Иосиф (1766—1858) — австрийский фельдмаршал. Яркий представитель реакционного генералитета, жестоко подавлявший всякие попытки революционного движения в 1848—1849 гг. — 89.

Раев Александр Федорович (1823—1901) — родственник Чернышевского; жил с ним в первые годы учения в Петербурге на одной квартире; студент, позднее видный петербургский чиновник, член совета министерства финансов. — 42, 45—49, 50, 51, 53, 55, 59, 62, 63, 67—80, 86—113, 118—120, 123, 124, 126, 128—131, 134, 137, 139, 140, 142, 146, 147, 152, 155, 157, 162—165, 168, 172, 173, 176, 177, 180—183, 188—192, 195—199, 201—203, 207—210, 213, 215—219, 234—243, 245—249, 251, 252, 255, 256, 261, 266—270, 272, 274, 276—279, 283—292, 295—300, 304—307, 310, 311, 313, 315—319, 321, 324, 327—332, 335, 338—342, 347, 348, 351, 352, 354, 359—367, 370, 373, 378, 379, 390, 395, 396, 400, 472.

Раев Петр Федорович — брат Раева А. Ф. — 51, 251.

Раев Федор Иванович (ум. в 1848 г.) — священник, отец А. Ф. Раева. — 53.

Райковский Андрей Иванович (1802—1860) — профессор Петербургского университета, протоиерей. — 384.

Райковский Сергей Андреевич (1828—1871) — студент Петербургского университета, сын А. И. Райковского; позднее военный, сотрудник „Московских ведомостей“. — 126, 228, 231, 232, 234, 236.

Райковский — полковник, учителем детей которого был В. П. Лободовский. — 260.

Распайль Франсуа (1794—1878) — французский революционер, публицист и врач. Организатор и руководитель массовых рабочих демонстраций в 1848 г. Депутат учредительного собрания. Осужден за выступление 15/V 1848 г. и выслан из Франции. Вернулся на родину по амнистии в 1850 г. Избирался депутатом и примыкал к левым радикалам в 60—70 годах. — 124, 125, 143, 253, 287.

Рато (Rateau) Жан-Пьер (род. в 1800 г.) — французский политический деятель, депутат учредительного собрания в 1848 г., активный участник разработки текста конституции. — 221, 236.

Раттье (Rattiez) Франсуа (род. в 1822 г.) — французский политический деятель, депутат законодательного собрания, участник выступления 13 июня 1849 г., принужденный эмигрировать в Лондон. — 287.

Резимон — знакомая А. Ф. Раева. — 190.

Рейбо (Reybaud) Луи (1799—1879) — французский литератор и публицист. В 1836 г. начал публиковать в „Revue des deux Mondes“ серию статей, посвященных „реформаторам социального строя“. В 1848—1851 гг. принимал участие в политической деятельности, поддерживая Наполеона. — 150.

Рейпольский Иван Николаевич (1789—1863) — медик, профессор Харьковского университета. — 647.

Ремишевский — юнкер. — 552.

Репинский Григорий Кузьмич (1832—1906) — сын товарища Г. И. Чернышевского по пензенской семинарии; позднее судебный деятель и председатель литературного фонда. — 104, 105.

Ржевский Владимир Константинович (1811—1885) — начальник 2-го кадетского корпуса в Петербурге. Впоследствии член совета министра внутренних дел и реакционный публицист. — 394, 395, 397, 398.

Риттер Карл (1779—1859) — немецкий географ, автор многотомного труда „Всеобщая сравнительная география“. — 286.

Ришелье Арман (1585—1642) — кардинал, фактический правитель Франции в эпоху Людовика XIII. — 671.

Робертсон Вильям (1721—1793) — английский историк. — 391, 395, 396.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794). — 214.

Родионов — знакомый Н. П. Корелкина. — 395.

Рождественский Олимп Яковлевич — спратонец, служил чиновником в Петербурге. — 40, 42, 45, 46, 48, 69, 78, 103, 104, 107, 109, 116, 124, 125, 128, 141, 147, 157, 167, 180, 183, 196, 197, 203, 217, 220, 234, 245, 246, 248, 257, 265, 269, 275, 283, 285, 293, 296, 305, 306, 313, 314.

Розен Егор Федорович (1800—1860) — литератор, автор ряда посредственных беллетристических произведений. В 40-х годах постоянный сотрудник „Сына отечества“. — 112.

Розенберг — знакомый А. Ф. Раева. — 146, 207.

Роллен Шарль (1661—1741) — французский историк, автор „Истории римского народа“. — 597.

Росницкий Иван Андреевич (1808—1889) — священник Марининской колонии Саратовской губ. — 602, 603.

Росси (Rossi) Луиджи (1787—1848) — итальянский криминалист, экономист и политический деятель. Фактический глава итальянского кабинета в 1848 г., убитый 15 ноября того же года во время восстания. — 226, 227, 234, 237.

Ростислав — см. Васильев Р. С.

Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — государственный деятель: участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. С 1835 г. состоял начальником штаба по управлению военно-учебными заведениями. — 371, 743.

Рубцева — племянница Оржевских. — 271.

Ру-Лавернь (Roux-Lavergne) Пьер (1802—1874) — французский писатель и политический деятель клерикального направления. В 1848 г. депутат учредительного собрания; поддерживал Наполеона. — 141, 153.

Румянцев Николай Петрович, граф (1754—1826) — министр иностранных дел при Александре I, основатель ценного собрания картин, книг и рукописей. — 332.

Руссо Жан-Жак (1712—1778). — 396.

Рычков Вениамин Иванович (ум. в 1853 г.) — двоюродный брат О. С. Чернышевской. — 522.

Рычковы — Лидия Ивановна и Полина Ивановна — двоюродные сестры О. С. Чернышевской. — 468, 505, 521, 526—530, 532, 536, 537, 541, 545, 558.

Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт. — 296.

Рюмин Владимир Николаевич — преподаватель в „Дворянском полку“, член кружка И. И. Введенского; в 1857—1858 гг. редактор-издатель журнала „Общезначимый вестник“. — 400, 401, 499.

Рюрик — киевский князь в 862—879 гг. — 648.

Саблуков Гордей Семенович (1804—1880) — преподаватель саратовской семинарии, а затем казанской духовной академии. Ориенталист и археолог. У него Н. Г. Чернышевский учился татарскому и арабскому языкам. — 403, 702.

Савельич (Прытков Варлаам Савельевич, ум. в 1865 г.) — университетский швейцар. — 91, 99, 219, 285, 307, 357, 379.

Савин — знакомый А. Ф. Раева. — 104.

Сальванди (Salvandy) Нарцисс (1795—1856) — французский историк и политический деятель; при Луи-Филиппе был дважды министром народного просвещения. — 148, 149.

Самбурская Ольга Егоровна — сестра Лободовской, жена Самбурского Н. С. — 32, 143—145, 147, 151, 222, 234, 235, 261, 270.

Самбурский Николай Самойлович — свояк В. П. Лободовского. — 43, 143, 144, 180.

Сахаров — саратовский чиновник. — 463, 475.

Саша (Сашенька) — см. Пыпина А. Н.

Светоний — римский историк, живший в конце I и в первой половине II века н. э. Автор „Жизни 12 императоров“. — 106, 130, 140, 142, 175, 186, 302.

Свечина — из саратовской дворянской семьи. — 408.

Свинцовы (отец и сын) — саратовские знакомые Чернышевского. — 39.

Святогорец (Семен Авдеевич Веснин, 1814—1853) — в монашестве Сергей. Воспитанник вятской семинарии, принявший монашество и в 1843 г., поселившийся на Афоне. Автор книг об Афоне и его монастырях. — 406.

Святослав (942—972) — киевский князь. — 648.

Сей Жан-Батист (1767—1832) — французский экономист, один из родоначальников так называемой „вульгарной школы“ политической экономии.

Его работа „Катехизис политической экономии“ в русском переводе была издана в 1833 г. — 188.

Сенар Антуан-Мари (1800—1885) — французский адвокат и политический деятель; председатель учредительного собрания в 1848 г. и министр внутренних дел в кабинете Кавеньяка. — 124.

Сенека Луций (54 до н. э. — 39 н. э.) — римский философ-стоик. — 480.

Сент-Олер Луи-Клер (1778—1854) — французский историк и политический деятель при июльской монархии. Автор „Истории фронды“ (изд. 1827 г.), где фронда рассматривалась как первая попытка создания конституционной монархии. — 139.

Сераковский Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) — польский революционер; в 1848 г. арестован и сослан рядовым в оренбургский корпус; в 1856 г. произведен в офицеры и поступил в Академию генерального штаба. В Петербурге сблизился с Чернышевским, сотрудничал в „Современнике“. В 1863 г. принимал активное участие в польском восстании, был взят в плен и повешен. — 623, 624.

Серапион — см. Благосветлов С. Е.

Серафима Григорьевна — см. Шапошникова С. Г.

Сербжинский Василий Иванович (1786—1833) — профессор математики Петербургской духовной академии, составитель учебника алгебры. — 302.

Сергей Гаврилович — см. Шапошников С. Г.

Сережа — см. Пыпин С. Н.

Сидонский Иван Федорович — студент Петербургского университета, сын Ф. Ф. Сидонского. — 82, 104, 327, 333, 335.

Сидонский Федор Федорович (1805—1873) — священник, профессор философии и богословия Петербургского университета. — 8, 104, 217—220, 231, 233.

Сисмонди Леонард (1773—1842) — швейцарский экономист и историк; идеолог мелкой буржуазии, хозяйству которой угрожал развивающийся капитализм. — 191, 334, 335, 341, 354.

Скарино Иосиф Петрович — отставной поручик. — 689—691.

Славинский — студент-медик, сын С. Славинского. — 332.

Славинский Степан — священник в Петербурге. — 266.

Славинский Яков Степанович — сын С. Славинского, однокурсник Чернышевского. — 33, 38, 74, 75, 78, 89, 90, 104, 128, 129, 131, 132, 137, 141, 144, 146—150, 171, 177, 182, 195—198, 201, 202, 204, 206, 213, 217—219, 233, 238, 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 268, 269, 275, 279, 283, 285, 286, 288—292, 299, 301, 304—308, 310, 325, 331, 332, 336, 339, 340, 346, 359, 361, 363, 365—368, 371, 372, 375—377, 379, 384, 390, 393.

Смарагдов Сергей Николаевич (ум. в 1871 г.) — писатель и педагог; автор ряда учебников по всеобщей истории. — 183.

Смирнов — переплетчик в Саратове. — 504, 551.

Снежницкий Александр Яковлевич (ум. в 1876 г.) — священник в Гатчине. — 96, 203.

Снежницкий Яков Яковлевич — священник в Саратове. — 627, 690.

Соколов Александр — студент, однокурсник Чернышевского. — 104, 159, 172, 225, 347, 353.

Соколов Иван Яковлевич — преподаватель греческого языка в Петербургском университете. — 124.

Соколов Михаил Павлович — знакомый И. Г. Терсинского. — 310, 315.

Сокольский Петр Максимович — саратовец, брат преподавателя саратовской семинарии К. М. Сокольского. — 238.

Сократ Евгеньевич — см. Васильев С. Е.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — крупнейший русский историк середины XIX в., оказавший значительное влияние на развитие русской исторической науки. — 202.

Соломко — возможно, Афанасий Данилович (1786—1872), инспектор приставов и портов. — 111, 351, 360.

Сорочинский — знакомый Чернышевского по Саратову. — 551.



Губернатор Парижа и руководитель его защиты в 1870 г. Был избран президентом правительства национальной обороны после падения Третьей империи. — 252.

Трояновский (или Троянский) — студент, однокурсник Чернышевского. — 227, 229, 238, 306, 307.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). — 723 — 741, 746, 747, 750.

Турчанинов Николай Петрович — ученик Чернышевского по саратовской гимназии, товарищ Добролюбова по педагогическому институту. — 755, 756.

Туффе Мария Семеновна — жена управляющего домом, где жил И. В. Писарев. — 85.

Туффе Н. Анд. — родственница М. С. Туффе. — 209, 210, 235.

Тушев — студент, однокурсник Чернышевского. — 33, 124, 126, 130, 144, 159, 226, 283.

Тьер Адольф (1797—1877) — французский историк и политический деятель. Автор многотомной „Истории консульства и империи“ (21 том, изд. с 1845 по 1869 г.). При июльской монархии был не раз министром и показал себя ожесточенным противником демократии и социализма. После революции 1848 г. не играл видной политической роли до 1870 г. В 1871 г. избран „главой исполнительной власти“ и президентом республики. Беспощадный палач Парижской коммуны. — 107, 173, 174, 220, 224, 225, 227, 233.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — министр народного просвещения в 1833—1849 гг. Ему принадлежит формула „православие, самодержавие и народность“ как основной принцип политики самодержавия в области просвещения. — 66.

Уваров (молодой) — очевидно, имеется в виду известный археолог Уваров Алексей Сергеевич (1828—1884). Он окончил в 1845 г. Петербургский университет и с 1848 г. занимался археологическими исследованиями на юге России. Оказывал материальную помощь ученым-археологам. С 1864 г. был председателем Московского археологического общества. — 350.

Удино (Oudinot) Николай-Шарль (1791—1863) — французский генерал и политический деятель (сын наполеоновского маршала Шарля-Николая Удино, 1767—1847). Командовал войсками итальянской экспедиции и в 1849 г. I/VII взял Рим. В законодательном собрании примыкал к орлеанистам. — 236.

Ульяна Яковлевна — мать Лободовской Н. Е. — 218.

Устинья — домработница у О. Я. Рождественского. — 314.

Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — профессор русской истории в Петербургском университете, автор „Русской истории“ (5 томов 1837—1841 гг.), „Истории Петра Великого“ (4 тома, 1858—1864 гг.) и ряда учебников. — 100, 111, 116, 117, 120, 123, 149, 150, 160, 175, 176, 181, 187, 194, 202, 225, 227, 232, 240, 246, 251, 277, 278, 310—313, 315, 323, 333, 334, 341, 355, 360, 365, 370, 371, 373—375, 513.

Утин Борис Исаакович (1832—1872) — юрист, профессор Петербургского университета; позднее судебный деятель и либеральный публицист, сотрудник „Вестника Европы“. — 757—759.

Феваль Поль (1817—1887) — романист, один из наиболее плодотворных французских писателей, бравший для своих произведений необычные сюжеты и эффектные ситуации. — 226.

Федор Афанасьевич — знакомый В. П. Лободовского. — 248, 249.

Федор Дмитриевич — см. Чесноков Ф. Д.

Федор Иванович — см. Раев Ф. И.

Федор Степанович — знакомый Чернышевского по Саратову — 384, 547, 560.

Федор Степанович — см. Вязовский Ф. С.

Федор Устинович — см. Палимпсестов Ф. У.

Федот Матвеевич — полицейский чиновник. — 114, 115, 129,

Фейербах Людвиг (1804—1872). — 248, 249, 251, 253—256, 297, 304, 358, 388, 391, 402.

**Фесслер Игнатий-Аврелий** (1756—1839) — философ, богослов и историк; в 1809 г. был приглашен из Берлина в Петербург на должность профессора восточных языков и философии, но вскоре обвинен в атеизме и выслан в Вольск, Саратовской губ.; в 1813—1833 гг. президент евангелической консистории в Саратове; с 1833 г. занимал такую же должность в Петербурге. — 304.

**Филипп Прекрасный** — Филипп IV, король французский в 1285—1314 гг. В его царствование продолжался процесс упадка могущества феодалов и укрепления абсолютизма. — 91.

**Филиппов Павел Николаевич** (1825—1855) — студент Петербургского университета; в апреле 1849 г. был арестован по делу Петрашевского и приговорен к расстрелу, замененному военно-арестантскими ротами. Убит при штурме Карса. — 222, 295, 296, 299, 305.

**Фильдинг Генри** (1707—1754) — английский беллетрист. — 358.

**Фихте Иоганн** (1762—1814) — немецкий философ-идеалист. — 232.

**Фишер Адам Андреевич** (1799—1861) — профессор философии и педагогики в Петербургском университете. — 33, 119, 136, 141, 185, 207, 227, 282, 283, 364, 367.

**Фишер Фридрих-Теодор** (1807—1888) — немецкий эстетик, профессор Тюбингенского университета. Был учеником Гегеля. Автор известной работы по эстетике: „Aesthethik oder Wissenschaft des Schönen“ (6 тт., Лейпциг, 1846—1856 гг.). — 513.

**Флокон Фердинанд** (1800—1866) — французский политический деятель и журналист. В 1845—1848 гг. редактор „Réforme“. После февральского перевертывания член временного правительства. Противник июньского восстания, но требовал амнистии для участников восстания. В 1851 г. вынужден был эмигрировать в Швейцарию. — 115, 124.

**Фогелов** — знакомый семьи Васильевых, впоследствии женившийся на П. И. Рычковой, двоюродной сестре О. С. Чернышевской. — 439—441, 468, 469.

**Фонвизин Денис Иванович** (1745—1792) — автор „Недоросля“. — 364, 366, 368, 369.

**Фребель Юлиус** (1805—1893) — немецкий радикальный публицист, депутат Франкфуртского национального собрания, примыкавший к левому крылу. В 60-х годах состоял на службе австрийского правительства. — 125, 172.

**Фрейман** — знакомый Н. И. Костомарова. — 559.

**Фройнштейн Иоанн** (1608—1660) — немецкий филолог и историк. — 632.

**Фройдтат Федор Карлович** (1800—1859) — профессор римской словесности и древностей в Петербургском университете. — 105—107, 113, 114, 116, 120, 121, 130, 131, 134, 136, 137, 142, 144, 149, 155, 157, 159, 175, 181, 182, 186, 188, 191—194, 202, 222, 225, 227, 228, 231—236, 240, 243, 245, 248, 250, 253, 255, 258, 260, 265, 278, 279, 315, 317, 319, 322—326, 329, 331, 333—335, 342, 344, 348, 349, 351, 354, 360—363, 367, 368, 378, 561.

**Фукидид** (около 460—399 до н. э.) — греческий историк. Автор „Истории Пелопонесской войны“. Один из основоположников истории как особой дисциплины. — 116, 125, 238.

**Фурков** — студент университета, назначен учителем в Псков в 1848 г. — 44, 104, 114, 184, 241.

**Фурье Шарль** (1772—1847) — французский социалист-утопист. Основные положения его учения положены им в работах „Теория четырех движений“ (изд. 1801 г.), „Нискобное единство“ (изд. 1822 г.), „Новый мир“ (изд. 1829 г.). Идеалистические корни фурьеризма ясны из особого значения, которое Фурье придавал своей теории „человеческих страстей“. Характерной положительной чертой фурьеризма является признание им внутреннего противоречия капиталистического строя. Учение Фурье оказало заметное влияние на мировоззрение Чернышевского. — 178, 181, 183, 186, 188, 191, 194, 196, 241.

**Ханжиков Александр Владимирович** (1828—1853) — полнослушатель Петербургского университета, член кружка Петрашевского, один из репо-

стных последователей учения Фурье. В 1849 г. Ханыков был арестован и приговорен к расстрелу, замененному лишением прав состояния и отдачей в рядовые в оренбургские линейные батальоны. Умер в Орской крепости от холеры. — 178, 179, 181, 182, 184—186, 188, 190, 191, 195, 196, 200, 202, 219, 229, 230, 235, 239, 240, 247, 248, 256, 265, 266, 274, 345, 346, 359.

Хрущов Михаил Николаевич — управляющий Мариинской колонией Саратовской губ. — 602, 604, 607, 608.

Цезарь Юлий (102—44 до н. э.) — римский диктатор. — 193, 668.

Цепелев — управляющий канцелярией попечителя Казанского учебного округа. — 387.

Церников Адам — см. Зерников А.

Цибулевская Анна Ивановна (ум. в 1853 г.) — урожденная Кириллова, сестра бабки Чернышевского. — 439, 506, 514, 546, 560, 583, 584, 635, 636, 638, 658.

Цицерон Марк (106—43 до н. э.) — римский оратор и писатель. В истории античной литературы его произведения берутся как образцы классического ораторского искусства. — 193, 265, 391.

Чайковский Антоний Павлович (1816—1873) — профессор польского права Петербургского университета. — 191.

Черницкий — дякон. — 226.

Чернышев Александр Иванович, князь (1785—1857) — военный министр в 1827—1852 гг., позднее председатель государственного совета; типичный представитель абсолютизма эпохи Николая I. — 754.

Чернышевская Евгения Егоровна (1803—1853), урожденная Голубева, дочь саратовского священника, мать Н. Г. Чернышевского. — 384—386, 410, 415, 457, 479—481, 493—496, 500, 506, 512, 535, 538, 539, 541, 544, 546, 547, 557, 560—562, 567, 590, 675, 677.

Чернышевская Ольга Сократовна (1833—1918), урожденная Васильева — дочь саратовского врача, жена Н. Г. Чернышевского. — 410—564, 639, 714.

Чернышевский Гавриил Иванович (1793—1861) — саратовский протоиерей, отец Н. Г. Чернышевского. Окончил пензенскую духовную семинарию. В 1818 г. был посвящен в священники и назначен настоятелем Сергиевской церкви в Саратове. Преподавал разные предметы в ряде учебных заведений и состоял инспектором саратовских духовных и приходских училищ. — 385, 386, 457, 479, 480, 494, 496, 535, 538, 539, 544, 560, 561, 567, 591, 593, 594, 628, 636, 677, 691, 702, 703.

Чернышевский Иван Фотиевич — священник, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. — 382, 383.

Чернявский — знакомый А. Ф. Раева. — 213, 282, 288.

Черняев Константин Иванович — бывший студент университета, окончивший юридический факультет. — 268—270, 275, 279, 287, 288.

Черняев Петр Иванович — повидимому, брат Черняева К. И. — 293.

Чесноков Василий Дмитриевич — сын Д. Я. Чеснокова, сверстник Н. Г. Чернышевского. Воспоминания его о Чернышевском напечатаны в „Русской старине“ за 1890 г., № 9, в статье В. Ф. Духовникова „Н. Г. Чернышевский и его жизнь в Саратове. — 1828—1846 гг.“ 411, 415—417, 425, 426, 435, 437, 443, 445, 446, 448, 449, 475, 479, 493, 505, 508, 510, 513, 516—518, 520—522, 529, 536, 548, 550, 551, 554—561.

Чесноковы Дмитрий Яковлевич — в 40-х годах чиновник саратовской казенной палаты — и его жена Дарья Гавриловна. — 449, 522.

Чесноков Николай Дмитриевич — сын Чеснокова Д. Я. — 359.

Чесноков Федор Дмитриевич — сын Чеснокова Д. Я. — 545, 546, 548.

Чеснокова Анна (Анюта) — дочь Чеснокова Д. Я. — 359, 447.

Чистяков Михаил Борисович (1809—1885) — педагог петербургских гимназий, инспектор сиротского института. Автор „Очерка теории изящной словесности“ (СПб., 1842) и „Курса теории словесности“ (СПб., 1847). — 269—272, 274—276, 298, 363, 393, 394.

Чумиков Александр Александрович (1819—1902) — педагог и писатель. Автор „Первоначального чтения“ (1847) и других учебных пособий. При-

мыкал к кружку И. И. Введенского. Издавал „Журнал для воспитания“ с 1857 по 1863 г., в котором сотрудничал Н. А. Добролюбов. — 346, 347.

**Шабо** (Chabot) Франсуа (1759—1794) — член конвента, сторонник Дантона, казненный вместе с ним. — 193.

**Шаплет** Самуил Самуилович (ум. в 1834 г.) — известный в начале XIX в. переводчик. Ему принадлежит русский перевод нескольких романов Вальтер-Скотта, перевод „Дон-Кихота“ (1831) и др. — 147.

**Шапошников** Гавриил Михайлович — саратовский губернский казначей. — 410, 411, 415, 437, 441—443, 460—467, 472, 525, 527.

**Шапошников** Иван Гаврилович — сын Шапошникова Г. М. — 438, 439.

**Шапошников** Сергей Гаврилович — сын Шапошникова Г. М., чиновник саратовской казенной палаты. — 428, 438, 461, 464, 467, 475, 517, 555, 556.

**Шапошникова** Анна Ивановна — жена Шапошникова Г. М. — 439, 506, 514, 546, 560.

**Шапошникова** Серафима Гавриловна — дочь Шапошникова Г. М. — 404, 406, 408, 437—441, 446, 447, 453, 456, 515, 527, 556, 557.

**Шатобриан** Франсуа (1768—1848) — французский писатель. В его произведениях отразились настроения разгромленного революцией старого дворянства, что придало его творчеству реакционно-меланхолическое направление, идеализирующее старину. — 82, 163, 184, 188, 198, 218, 221, 237, 239, 255.

**Шфарик** Павел (1795—1861) — известный словацкий филолог и политический деятель. Автор „Славянских древностей“ (изд. 1837 г.), „Истории славянского языка и литературы по всем наречиям“, „Славянской этнографии“ и др. — 91, 139, 170, 401.

**Шатовской** Александр Александрович (1777—1846) — писатель-драматург. — 364.

**Швецов** Петр Иванович — знакомый Чернышевского. — 222, 223, 243.

**Шеве** — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427.

**Шевырев** Степан Петрович (1806—1864) — историк литературы и писатель, один из идеологов так называемой „официальной народности“; находился в близких отношениях с Погодиным, С. С. Уваровым и др. — 112, 398.

**Шекспир** Вильям (1564—1616). — 88, 111, 135, 241, 326, 327, 353, 683, 745.

**Шеллинг** Фридрих (1775—1854) — немецкий философ-идеалист. Влияние его философии в России было особенно велико в 30—40-х годах XIX в. (В. Ф. Одоевский, бр. Киреевские, Хомяков, Белинский в молодости и др.). — 147, 203.

**Шереметевы** — дворянская семья, одни из крупнейших земельных собственников в России. — 100.

**Шиллер** Иоганн Фридрих (1759—1805). — 103, 106, 358, 525.

**Шлегель** братья Август-Вильгельм (1767—1845) и Фридрих (1772—1829) — немецкие философы и поэты. Идеологи романтизма. „Лекции о драматическом искусстве и литературе“ Августа-Вильгельма и „Лекции о древней и новой литературе“ Фридриха пользовались большой известностью. — 204.

**Шантгар** Эдуард Егорович (1800—1848) — адъюнкт по кафедре римской словесности в Петербургском университете. — 144.

**Шатобриан** Фридрих Христофор (1776—1861) — немецкий историк. Его „Всемирная история“, доведенная до 1815 г., и „История XVIII века“ были позднее переведены на русский язык по инициативе Чернышевского и при его ближайшем участии. — 201, 254, 471.

**Шомин** Александр Иванович, Шоминус В. А., чиновник при саратовском губернаторе; позже саратовский предводитель дворянства. — 409.

**Шнякин** — полковник Чернышевского во время посылки его в Саратов. — 302, 303.

**Штейнман** Иван Владимирович (1820—1872) — профессор греческой словесности Петербургского университета. — 117, 324, 330, 367, 376.

Штраус Давид-Фридрих (1808—1874) — немецкий философ, левый гегельянец. Автор известной работы „Жизнь Иисуса“ (изд. в 1835 г.). В этой книге Штраус, считая Иисуса личностью исторической, евангельские рассказы признает легендами, сложившимися в первых христианских общинах. — 402.

Шеглов Дмитрий Федорович (ум. в 1902 г.) — товарищ Добролюбова по педагогическому институту; в то время человек, настроенный революционно, позже реакционный публицист, педагог. — 756.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — известный артист московского Малого театра. — 331.

Эггерс — владелец книжного магазина в Петербурге. — 140.

Эджворт Мария (1767—1849) — английская писательница. Автор ряда популярных дидактических романов и детских рассказов. — 228.

Эйнерлинг — издатель 5-го издания „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина. — 369.

Элькан Александр Львович (1786—1868) — чиновник управы благочиния, переводчик и театральный рецензент. — 169, 170, 173, 184.

Эльслер Фанни (1810—1878) — известная танцовщица, в 40-х годах с огромным успехом гастролировавшая в России. — 171, 196, 217.

Эльснер Людвиг Федорович — преподаватель немецкого языка в Петербургском университете. — 378.

Эрш — Энциклопедический словарь Эрша и Грубера — см. примеч. 43. — 103, 293, 304.

Юнгмейстер — владелец публичной библиотеки в Петербурге. — 301, 302, 326.

Юрасова Софья Ивановна — дочь советника саратовского губернского правления. — 408.

Юрасовы — семья Ивана Павловича Юрасова, советника саратовского губернского правления. — 408.

Юрий Долгорукий (ок. 1090—1157) — великий князь Владимиро-Суздальской Руси. — 346.

Языков Михаил Александрович (1811—1885) — член кружка В. Г. Белинского. — 732.

Якоби — управляющий соляным отделением. — 234. \*

Яков Степанович — см. Славинский Я. С.

Яков Яковлевич — см. Снежицкий Я. Я.

Яковлев Владимир Дмитриевич (1817—1884) — писатель, сотрудник „Современника“ и „Отечественных записок“. — 400.

Яковлев — знакомый О. С. Чернышевской. — 417, 453, 461, 463, 492, 505, 512.

Яковлев Иван Яковлевич — врач Мариинской колонии Саратовской губ. — 599, 602—614, 675.

Яковлевы братья — Иван Алексеевич (1767—1846), отец А. И. Герцена, и Александр Алексеевич (1762—1825). — 381.

Ярополк I — киевский князь в 973—980 гг. — 353.

Ярославцев Андрей Константинович (1815—1884) — беллетрист, секретарь совета Петербургского университета, цензор. — 395.

Яхонтов Иван Константинович (1819—1888) — священник, духовный писатель; с 1862 г. редактор „Духовной беседы“. — 71, 147, 247.

## СОДЕРЖАНИЕ:

Н. Мещеряков. Ленин о Чернышевском . . . . .	5
От редакции . . . . .	24

### ДНЕВНИКИ

[Дневник. Май 1848 г.] . . . . .	29
Дневник второй половины 1848 г. и первой половины 1849 . . . . .	38
Дневник 1849 год . . . . .	215
Дневник 1849 г. № 2 с апреля 13 . . . . .	267
Дневник 22-го года моей жизни (1849—1850) . . . . .	298
[Дневник. Конец марта 1851 г.] . . . . .	402
Дневник в Саратове . . . . .	405
Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье	410
Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье.	410
Тетрадь 2-я . . . . .	454
Дополнения к моему дневнику о той, которая теперь составляет мое счастье . . . . .	548
Дневник. Март 1853 г. . . . .	549

### Приложения.

Отрывочные записи 1846 и 1848 гг. . . . .	562
Матери . . . . .	563

### АВТОБИОГРАФИЯ

Из автобиографии . . . . .	566
[Автобиографические отрывки]	
Наша улица. I. Корнилов дом . . . . .	692
Жгут . . . . .	702
[Из рассказов о старине] . . . . .	705
Бабушкины рассказы . . . . .	708
Наше счастье . . . . .	712

### ВОСПОМИНАНИЯ.

Воспоминания о Некрасове . . . . .	714
Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым . . . . .	723
[Заметки о Некрасове] . . . . .	742
Воспоминания о начале знакомства с Н. А. Добролюбовым . . . . .	755
По поводу „Автобиографии“ Н. И. Костомарова . . . . .	757
Мои свидания с Ф. М. Достоевским . . . . .	777

### ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Дневники . . . . .	780
Автобиография . . . . .	786
Воспоминания . . . . .	788

### Примечания.

Дневники . . . . .	791
Автобиография . . . . .	807
Воспоминания . . . . .	811

Именной указатель . . . . .	823
-----------------------------	-----

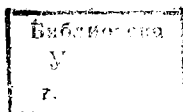
**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 16 ТОМОВ**

**СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ**

- I том — „Дневники“. „Из автобиографии“. Воспоминания.  
II том — „Эстетические отношения искусства к действительности“. Статьи и рецензии 1853—1855 годов.  
III том — „Очерки гоголевского периода русской литературы“. Статьи и рецензии 1856 года.  
IV том — „Лессинг и его время“. Статьи и рецензии 1857 года.  
V том — Статьи 1858—1859 годов.  
VI том — „Политика“ 1859 года.  
VII том — Статьи 1860—1861 годов.  
VIII том — „Политика“ 1860—1862 годов.  
IX том — „Основания политической экономии Д. С. Милля“.  
X том — Статьи 1862 года и следующих годов.  
XI том — „Что делать?“. Юношеские беллетристические произведения.  
XII том — „Повести в повести“. „Алферьев“. Рассказы, написанные в Петропавловской крепости.  
XIII том — „Пролог“. „Отблески сияния“ и другие беллетристические произведения сибирского периода.  
XIV том — Письма 1843—1876 годов.  
XV том — Письма 1877—1889 годов.  
XVI том — Библиография. Предметный указатель.

48104



Редактор С. А. Белевский. Технический редактор Н. И. Гарвей. Художник А. Радищев. Корректор М. М. Лоренцо. Изд. № 296. Ч. 49. Тираж 12 000 экз. 53 $\frac{1}{4}$  печ. л. 66,35 уч.-авт. л. Уполн. Главлита № А-2651. Бумага Красновишерского бумкомбината им. Менжинского. Формат бумаги 60×92 $\frac{1}{16}$ . Сдано в набор 26 декабря 1937 г. Подписано к печати 9/II 1939 г.

1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига“. Москва, Валовая

